ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

НЕИЗДАННЫЙ ЛЕСКОВ

НЕИЗДАННЫЙ ЛЕСКОВ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А.М.ГОРЬКОГО

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

Серия основана в 1931 году
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙНОМ и С. А. МАКАШИНЫМ

ТОМ СТО ПЕРВЫЙ
В ДВУХ КНИГАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАСЛЕДИЕ»
1 • 9 • МОСКВА • 9 • 7

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

НЕИЗДАННЫЙ ЛЕСКОВ

КНИГА ПЕРВАЯ

Ответственные редакторы
К.П.БОГАЕВСКАЯ, О.Е.МАЙОРОВА, Л.М.РОЗЕНБЛЮМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАСЛЕДИЕ»
1 • 9 • МОСКВА • 9 • 7

Рецензенты

Л. Д. ГРОМОВА-ОПУЛЬСКАЯ, В. А. ТУНИМАНОВ

Издание осуществлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда № проекта 95-06-31846

ГОД ИЗДАНИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ

ISBN 5-201-13294-4

ОТ РЕДАКЦИИ

Том “Неизданный Лесков” впервые вводит в научный оборот обширный корпус неопубликованных и малоисследованных творческих рукописей Лескова, а также значительный массив архивных и впервые атрибутированных печатных материалов, проливающих новый свет на творческую биографию Лескова.

Том был задуман более двадцати лет назад И.С.Зильберштейном и К.П.Богаевской. Еще в ходе работы над 87 томом “Литературного наследства” (вышел в свет в 1977 г.), большой раздел которого был посвящен Лескову (в него вошли творческие рукописи, неизвестные произведения, а также обзор библиотеки писателя), стала ясна необходимость систематического изучения и публикации архивных материалов, раскрывающих творческую биографию писателя. Решение этой задачи оказалось возможным, благодаря огромному массиву автографов Лескова, собранному В.Д.Бонч-Бруевичем еще в 1930-х годах, когда по его инициативе в Москве был создан Литературный музей. Бонч-Бруевич убедил сына писателя, Андрея Николаевича, продать музею рукописи и переписку отца. Эти материалы позднее легли в основу фонда Лескова в РГАЛИ. Тогда же Бонч-Бруевичем было задумано и издание двух томов “Летописей” Литературного музея, посвященных Лескову. Первый том состоял из художественной прозы, критики и публицистики писателя, второй — из его переписки. Второй том, включавший “Труды и дни Лескова”, был уже подготовлен к печати С.П.Шестериковым, замечательным литературоведом и библиографом, одним из самых авторитетных исследователей писателя, когда началась Великая Отечественная война и издание “Летописей” прекратилось. С.П.Шестериков погиб на фронте. К счастью, К.П.Богаевская сохранила подготовленные им рукописи, частично использованные при работе над настоящим томом.

В дальнейшем велась целенаправленная работа по разысканию неизданных материалов в архивохранилищах Москвы, Петербурга, Орла, Киева. Были подвергнуты систематическому обследованию крупнейшие газеты второй половины прошлого века, в которых сотрудничал Лесков. Над дополнительными разысканиями работало несколько поколений литературоведов, как отечественных, так и зарубежных, активно действовавших в 1960—1990-е годы. Собранные в результате материалы (как творческие рукописи, так и публицистические статьи) охватывают почти всю биографию Лескова и представляют разные стороны его наследия. Однако расширение состава привело к увеличению срока работы и изменению структуры тома, ныне состоящего из двух книг. В первой книге сосредоточены в основном творческие рукописи и другие материалы, раскрывающие характер работы Лескова над художественными произведениями, во второй — публицистика и биографические источники (письма, воспоминания).

Двухтомник состоит из четырех разделов и открывается статьей академика Д.С.Лихачева “Слово о Лескове”.

Всю *книгу первую* занимает самый обширный раздел — “Лесков-художник. Страницы творческой биографии” Он включает в себя прежде всего неизданные тексты писателя: рукописную редакцию хроники “Соборяне” (значительно отличающуюся от дефинитивного текста), окончание романа “Чертовы куклы” — последнего крупного произведения Лескова, неизвестный отрывок из повести “Очарованный странник”, фрагменты черновой редакции хроники “Захудалый род” и другие материалы. Весь этот обширный комплекс текстов послужит и в дальнейшем ценным источником для углубленного анализа поэтики Лескова, его эволюции, внутренней связи его разных замыслов и того, что традиционно называется творческой лабораторией писателя. Стремясь отразить характер работы Лескова над рукописями, редакция включила в том не только черновые и подготовительные материалы к произведени-

ям, но и отвергнутые писателем варианты текста, представив их в разветвленной системе текстологических примечаний.

Значительное место в первом разделе тома занимают также неосуществленные и незавершенные замыслы Лескова 1870–1890-х годов — "Повесть о безголовой Наяде", роман "Соколий перелет", очерки и рассказы мемуарного характера, сатирические зарисовки, святочные рассказы, сказки. Эти незавершенные произведения дают серьезные основания под новым углом зрения проанализировать творчество Лескова этого периода — увидеть тематическое, жанровое, стилистическое разнообразие его художественных исканий этой поры, его незатухавшую даже в последние годы жизни страсть к художественному экспериментированию.

Завершают этот раздел статьи и исследования, обобщающие результаты разысканий в орловских, петербургских и московских архивах, в ходе которых были выявлены реальные источники ряда сюжетов Лескова, а также биографические материалы как о самом писателе, так и о конкретных людях, служивших прототипами его героев. В этих статьях собран фактографический материал, который в дальнейшем может быть использован для комментирования таких широко известных произведений Лескова, как "Несмертельный Голован", "Грабеж", "Кадетский монастырь", "Мелочи архирейской жизни" и другие.

Книга вторая открывается обширным разделом "Публицистика Лескова", который охватывает три с лишним десятилетия: от первых шагов писателя в литературе до последних статей и заметок. Этот раздел включает прежде всего статьи, где раскрывается характер сотрудничества Лескова в целом ряде крупнейших изданий. Исследователям удалось обнаружить большое количество анонимных статей, очерков, литературно-критических фельетонов и небольших заметок, часть которых публикуется на страницах настоящего тома, остальные анализируются в исследовательских статьях.

Как отмечается во вступительных статьях к публикациям, выявленные материалы с разной степенью уверенности можно атрибутировать Лескову. В некоторых случаях задача сводилась лишь к тому, чтобы найти и привлечь внимание специалистов к малоизвестным материалам, которые могут быть связаны с именем писателя, но требуют дальнейшего анализа.

Здесь публикуются и подписанные Лесковым, но затерянные на страницах периодики прошлого века, его статьи и заметки, а также та часть публицистического наследия писателя, которая по разным причинам (в основном, по причинам цензурного характера) надолго отложилась в архиве писателя. Такова судьба таких программных статей Лескова, как "Ошибки и погрешности в суждениях о гр. Л.Толстом. (Несколько простых замечаний против двух философов)" и "Бракоразводное забвение. (Причины разводов брачных по законам греко-российской церкви)". Эти произведения, в совокупности с другими материалами тома, позволяют углубить сложившиеся представления о религиозных и общественных взглядах позднего Лескова. В целом раздел публицистики очерчивает широкую панораму проблем, волновавших писателя в пореформенную эпоху.

Том завершают два сравнительно небольших раздела: "Материалы к биографии", где сосредоточены мемуары и письма, проливающие свет на некоторые малоизученные страницы жизни писателя, и "Лесков в зарубежном мире", где помещены статьи о рецепции Лескова в Англии и Америке, Франции, Швейцарии и Италии (все обзоры подготовлены исследователями из этих стран). В "Материалах к биографии" публикуется переписка Лескова с членами семьи Льва Толстого, проанализированы пометы Толстого, сохранившиеся на экземплярах лесковских книг из Яснополянской библиотеки, выявлены неизвестные факты долитературной биографии писателя, послужившей богатым источником для его зрелого творчества. Здесь же публикуются хранящиеся в Югославии мемуары пасынка Лескова Н.М.Бубнова, раскрывающие наименее изученный период биографии писателя (конец 1860-х — начало 1870-х годов), а также выдержки из писем Бубнова к Лескову и о Лескове. Особый интерес представляет значительный по объему комплекс воспоминаний А.М. и Е.Д. Хирьяковых (в молодости последователей Толстого), поддерживавших дружеские отношения с Лесковым.

Разумеется, даже двухтомник не мог охватить всего объема неизданных произведений Лескова. Обилие материала объясняется, в частности, тем, что в истории изу-

чения писателя традиционно сложилась определенная диспропорция исследовательских приоритетов. После выхода в свет мемуарной книги А.Н.Лескова "Жизнь Николая Лескова" (Москва, "Художественная литература", 1954 г.), а также первого в советское время собрания сочинений писателя, подготовленного при ближайшем участии Б.М.Эйхенбаума и до сих остающегося лучшим в текстологическом отношении (Москва, "Художественная литература", 1956–1958 гг.), не только читательский, но и исследовательский интерес к Лескову обострился. Его творчество постепенно обрело статус утвердившегося в академической науке объекта изучения. С тех пор было напечатано немало работ о "художественных особенностях", "жанровой природе", "методе изображения", сатирических "принципах типизации" и т.п. Появлялись, конечно, и публикации "неизвестных", "забытых", "затерянных" произведений и писем Лескова, но они долгое время занимали скромное место в лесковедении. В итоге, после многих лет изучения писателя, его архивы, хотя и привлекали внимание исследователей, но систематическому обследованию не подвергались, а работа архивистов, занимавшихся разбором бумаг Лескова, не получала научной поддержки специалистов.

Том "Литературного наследства" на всех этапах работы мыслился как издание, призванное скорректировать эту ситуацию. Однако и после его выхода в свет еще целые пласты неизученного материала ждут исследования. За пределами обеих книг остается немало неопубликованных текстов, по преимуществу публицистического характера, а также огромный массив неизданной переписки Лескова.

Состав тома в значительной степени продиктован состоянием архивных источников.

Творческие рукописи, а также художественные и публицистические произведения 1880–1890-х годов занимают значительное место в томе, поскольку представляют собой ту часть архива писателя, которая лучше всего сохранилась. Черновики же ранних произведений, как и письма 1860–1870-х годов, до нас дошли в сравнительно небольшом количестве. Речь идет прежде всего о рукописной редакции "Соборян" (сохранившейся, к сожалению, не полностью) и о черновых материалах хроники "Захудалый род". Редакция включила в состав тома эти черновые рукописи, учитывая их исключительную ценность для изучения раннего периода творческой биографии писателя. Хотя позднее творчество Лескова исследовано в большей степени, публикуемые художественные и публицистические произведения, а также панорама неосуществленных замыслов 1880–1890-х годов дают новый богатый материал для его осмысления.

При подготовке тома редакция руководствовалась едиными принципами изучения и публикации материала, но вместе с тем стремилась сохранить живое разнообразие позиций авторов тома, не стирать различий в методологических подходах и интерпретации материала. Не устранено, разумеется, и различие в предположительных датировках одних и тех же произведений, обсуждаемых на страницах тома в нескольких работах. Речь идет прежде всего о черновых набросках под названием "Чертовы куклы", не вошедших в настоящий том. Совпадение с названием позднего романа Лескова спровоцировало уже давно идущую и продолженную в томе полемику по поводу времени создания и генезиса этих текстов.

В томе выделяются сквозные темы, волновавшие писателя всю жизнь: трагическая судьба художника (незавершенная "Повесть о безголовой Наяде" и роман "Чертовы куклы"), драматичные отношения интеллигенции и власти (хроника "Божедомы", фрагменты незавершенного романа о "человеке без направления", "Бытовые апокрифы. Посланцы Амура"), Лев Толстой и толстовство (рассказ "Соляной столб", статья "Ошибки и погрешности в суждениях о гр. Л.Толстом") и многие другие. При знакомстве с этим материалом поражает многообразие Лескова-художника. Одни и те же или сходные темы, мотивы, сюжеты разрабатывались писателем в широком диапазоне жанровых и стилистических возможностей — от вполне "реалистической" зарисовки до гротесковой легенды, от романа до сказки. Яркий пример тому — стилистически различная интерпретация одного и того же сюжета в остросюжетном сатирическом рассказе "Пумперлей" (из цикла "Памятные встречи") и в очерке-аллегории "Живые растения". Представленные в настоящем томе тексты в проекции на все творчество зрелого Лескова дают богатый материал для подобного

рода сопоставлений, в перспективе открывающих новые возможности для осмысления художественного мира Лескова.

Поскольку подготовка тома растянулась на много лет, редакция считает своим долгом выразить благодарность тем авторам, которые сохранили свои публикации для "Литературного наследства", что позволило широко представить в томе неизданного Лескова.

Редакция выражает глубокую благодарность рецензентам тома доктору филологических наук Л.Д.Громовой-Опульской и доктору филологических наук В.А.Туниманову за внимание к тому, ценные предложения и критические замечания.

Редакция признательна В.А.Мильчиной и Л.Р.Ланскому за помощь в переводе франкоязычных текстов.

Том иллюстрирован материалами (фотографиями, акварельными зарисовками Орла и Петербурга), хранящимися в частных и государственных архивах. Редакция приносит благодарность авторам тома Р.М.Алексиной, О.А.Голиненко, А.Д.Романенко, Б.М.Шумовой, участвовавшим в подборе иллюстраций и составлении подписей к ним. В этой работе принимала также участие О.Ю.Авдеева.

Раздел "Лесков в зарубежном мире" отредактирован при участии Н.В.Котрелева.

Д. С. ЛИХАЧЕВ

СЛОВО О ЛЕСКОВЕ

В историю литературы время от времени врываются творческие личности, взрывающие спокойное течение традиций. Они не терпят того, что академик А.С.Орлов называл в свое время "гладкописью", привычностью, "хорошим тоном" в литературе, создают вокруг себя атмосферу беспокойства, вступают в конфликт с профессиональной средой литераторов и... в конечном счете энергично способствуют прогрессу в литературе, расширяют возможности литературы, развивают ее жанровую систему, вносят новые темы, обогащают язык.

Откуда все это берется? Ведь вырваться за пределы эпохи не так-то легко! Такие писатели-бунтари — это своего рода Антеи, которым нужно набраться новых сил от Земли, от действительности, от языка обыденной прозы, приобщить к литературе низшие жанры или жанры деловой прозы. Конфликт с традиционной литературой и писательской средой обычно имеет свои поводы, но в основе его лежат глубокие внутренние и внешние причины. Это и потребности самого литературного развития, и потребности психологические, свойственные людям с избыточной энергией, порой не знающим ей применения и поэтому бросающимся производить опыты, задавать своим творчеством загадки. Это люди — обижающие и обижающиеся, недостаточно ценящие себя и других, легко все переворачивающие, не принадлежащие ни к каким оформленным мировоззрениям и школам.

В своем личном быту они часто совсем не бунтари, а бунтарство свое распространяют главным образом на свое творчество.

Именно к таким писателям принадлежит Лесков. Он изумительный экспериментатор — экспериментатор озорной, иногда раздраженный, иногда веселый, а вместе с тем и чрезвычайно серьезный, ставящий себе большие воспитательные цели. Первое, на что я хочу обратить внимание,— это на его поиски в области литературных жанров. Он постоянно ищет, пробует силы в новых и новых жанрах, часть которых берет из "деловой" письменности, из литературы журнальной, газетной, научной прозы.

Обращение к деловой прозе, к деловым жанрам было не таким уж редким явлением в русской литературе. Литература постоянно черпала новые силы из сознательного "снижения" своих тем, жанров, языка. И в этом отношении Лесков-художник органически связан со всей историей отечественной литературы от древности до нового времени; в его творчестве прослеживаются многообразные отношения с самыми различными историческими пластами русской словесности.

Не случайно исследователи сравнивали и сравнивают творчество Лескова с творчеством русских писателей-новаторов, с Гоголем, Достоевским, Толстым, Щедриным, Чеховым. Да и сам Лесков, вполне сознавая свою оригинальность, считал важным подчеркнуть художественное единство своего

творчества с развитием современной ему литературы. Он с раздражением протестовал против обособления его от современников, не раз указывал на свои творческие связи с Гоголем, Островским, Достоевским и Толстым. По поводу рассуждений об уникальности своего творчества он писал: «Говорят о моем “языке”, его колоритности и народности; о богатстве фабулы, о сконцентрированности манеры письма, о “сходстве” и т.д., а главное не замечают...»[1]. Это главное и состояло в органической связи с глубинным развитием русской классической прозы. Однако при всем том Лесков ярко самобытен и породил целую волну художественных поисков в русской литературе.

Очень многие из произведений Лескова имеют под своими названиями жанровые, сюжетно-тематические и прочие определения, которые он им дает, как бы предупреждая читателя о необычности их форм для “большой литературы”: “автобиографическая заметка”, “авторское признание”, “открытое письмо”, “биографический очерк” (“Алексей Петрович Ермолов”), “фантастический рассказ” (“Белый орел”), “маленький фельетон”, “заметки о родовых прозвищах” (“Геральдический туман”), “семейная хроника” (“Захудалый род”), “наблюдения, опыты и приключения <...>” (“Заячий ремиз”), “картинки с натуры” (“Импровизаторы” и “Мелочи архиерейской жизни”), “из народных легенд нового сложения” (“Леон дворецкий сын”, “Застольный хищник”), “Nota bene к воспоминаниям <...>” (“Народники и раскоповеды на службе”), “легендарный случай” (“Некрещеный поп”), “библиографическая заметка” (“Не напечатанные рукописи пьес умерших писателей”), “post-scriptum” («О “квакереях”»), “литературное объяснение” (“О русском Левше”), “краткая трилогия в просонке” (“Отборное зерно”), “справка” («Откуда заимствованы сюжеты пьесы графа Л.Н.Толстого “Первый винокур”»), “отрывки из юношеских воспоминаний” (“Печерские антики”), “научная записка” (“О русской иконописи”), “историческая поправка” (“Нескладица о Гоголе и Костомарове”), “пейзаж и жанр” (“Зимний день”, “Полунощники”), “рапсодия” (“Юдоль”), “рассказ чиновника особых поручений” (“Язвительный”), “буколическая повесть на исторической канве” (“Совместители”), “спиритический случай” (“Дух госпожи Жанлис”) и т.д. и т.п.

Лесков как бы избегает обычных для литературы форм. Если он даже пишет роман, то в качестве уточняющего определения ставит в подзаголовке “роман в трех книжках” (“Некуда”), давая этим понять читателю, что это роман чем-то необычный. Если он пишет рассказ, то и в этом случае он стремится как-то отличить его от обычного рассказа — например: “рассказ на могиле” (“Тупейный художник”).

Лесков как бы хочет сделать вид, что его произведения не принадлежат к “признанной” литературе и что они написаны “так”, между делом, написаны в “малых формах”, словно они относятся к низшему роду литературы. Это не только результат очень характерной для русской литературы особой “стыдливости формы”, но желание, чтобы читатель не видел в его произведениях нечто законченное, “не верил” ему как автору и сам додумывался до нравственного смысла его произведения. При этом Лесков как бы разрушает, а точнее сказать — обновляет жанровую форму своих произведений, как только они приобретают какую-то жанровую традиционность, могут быть восприняты как произведения “обычной” и высокой литературы. “Здесь бы и надлежало закончить повествование”, но... Лесков его продолжает, уводит в сторону, передает другому рассказчику и пр.

Странные и “нелитературные” жанровые и сюжетно-тематические определения играют в произведениях Лескова особую роль: это особого рода

предупреждения читателю не принимать названные произведения за выражение авторского отношения к описываемому. Этим предоставляется свобода читателю, они оставляют читателя один на один с произведением — "хотите — верьте, хотите — нет". Он снимает с себя известную долю ответственности за них. Он делает форму своих произведений как бы "чужой", стремится ответственность за форму переложить на рассказчика, на документ, который он приводит. Он как бы скрывается от своего читателя.

Этим закрепляется та любопытная особенность произведений Лескова, что они интригуют читателя истолкованием нравственного смысла происходящего в них (о чем я в свое время писал уже[2]).

Собрание произведений Лескова на первый взгляд удивительно пестро по жанрово-тематическому составу: здесь и "сказы", и "легенды", и "буколические картинки", и фельетоны, и справки, отрывки из воспоминаний и т.п. Создается впечатление, что в этом разнообразии произведений главенствующее положение занимают пестрые "литературные мелочи", написанные, как любил говорить писатель, "вовремя и кстати" Но это первое впечатление, при всей своей относительной верности, в существе своем требует еще одного уточнения.

Лесковские "литературные мелочи", пестрые и занимательные (а он сам заботился о том, чтобы его произведения были с веселой путаницей в интриге)[3], оказываются всегда как бы недосказанными, недоговоренными, чем-то вводящими читателя в сомнение. В сознании читателя каждый раз обязательно появляется недоумение, озадаченность, некое духовное замешательство: и сам читатель должен найти ответ на вопрос, который таит в себе незатейливая на первый взгляд литературная "мелочь" Дело оказывается гораздо сложнее: незначительное на первый взгляд произведение заставляет вдумчивого читателя значительно задумываться, серьезно размышлять.

Таким образом, собрание сочинений Лескова, в котором внешне преобладают "литературные мелочи", оказывается арсеналом очень больших, часто трудно поддающихся решению насущных вопросов, проблем, объединенных, как верно заметил Горький, думой о судьбе России.

* * *

Есть у Лескова такая придуманная им литературная форма — "пейзаж и жанр" (под "жанром" Лесков разумеет жанровые картины). Эту литературную форму (она, кстати, предвосхищает многие из достижений литературы XX в.) Лесков создает для полного авторского самоустранения. Автор даже не прячется здесь за спины своих рассказчиков или корреспондентов, со слов которых он якобы передает события, как в других своих произведениях,— он вообще отсутствует, предлагая читателю как бы стенографическую запись разговоров, происходящих в гостиной ("Зимний день") или гостинице ("Полунощники"). По этим разговорам читатель сам должен судить о характере и нравственном облике разговаривающих и о тех событиях и жизненных ситуациях, которые за этими разговорами постепенно обнаруживаются перед читателем.

Моральное воздействие на читателя этих произведений особенно сильно тем, что в них (это обусловлено подачей материала) ничего не проясняется автором: читатель как будто бы обо всем сам догадывается. По существу, он действительно сам решает предложенную ему моральную задачу.

Сложнее, например, задача в рассказе "Бесстыдник", носящем подзаголовок "Из беседы в кают-компании". Здесь Лесков "обыгрывает" точку зрения Толстого, высказанную им в "Севастопольских рассказах", в одном из которых Толстой говорит про трусоватого офицерика: "Он действительно бы был героем, ежели бы из П. попал прямо на бастионы" У Лескова в "Бес-

стыднике" интендант, воровавший в Севастополе (прототипом его был Хрулев), говорит: "А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы... крали..." (VI, 158). Этот ответ, цинический смысл которого должен вызвать возмущение, заставляет однако слушателей "примириться" с "бесстыдником" (хотя один из них — «совсем приготовился ему отрезать: — "Какой вы скотина"»), потому что ответ этот *остроумен,* а слушатели умеют ценить остроумие. И все же высказанная сентенция приобретает у Лескова и значение ложного решения моральной проблемы...[4]

Сказ Лескова "Левша", который обычно воспринимается как явно патриотический, как воспевающий труд и умение тульских рабочих, также далеко не прост в своей тенденции. Он патриотичен, но не только... Лесков по каким-то соображениям снял авторское предисловие, где указывается, что автора нельзя отождествлять с рассказчиком. И вопрос остается без ответа: почему же все умение тульских кузнецов привело только к тому результату, что блоха перестала "дансы танцевать" и "вариации делать"? Ответ, очевидно, и в том, что все искусство тульских кузнецов поставлено на службу капризам "господ"

* * *

Обратим внимание еще на один чрезвычайно характерный прием художественной прозы Лескова — на его пристрастие к особым словечкам — "искажениям" в духе "народной этимологии" и к созданию загадочных терминов для разных явлений. Прием этот известен главным образом по самому популярному сказу Лескова "Левша" и неоднократно исследовался как явление языкового стиля.

Но прием этот никак не может быть сведен только к стилю, к балагурству, желанию рассмешить читателя. Это и средство сатиры, и прием литературной интриги, существенный элемент сюжетного построения его произведений. "Словечки" и "термины", искусственно создаваемые в языке произведений Лескова самыми различными способами (здесь не только "народная этимология", но и использование местных выражений, иногда прозвищ и пр.), также иногда интригуют читателя на промежуточных этапах развития сюжета. Лесков сообщает читателю свои "термины" и загадочные определения, странные прозвища и пр. раньше, чем дает читателю материал, чтобы понять их значение, и именно этим он придает дополнительный интерес главной интриге.

Вот, например, "Умершее сословие", имеющее подзаголовок (жанровое определение) "Из юношеских воспоминаний" Прежде всего отметим, что элемент интриги, занимательности вводит уже само название произведения — о каком сословии, да еще "умершем" будет идти речь? Затем, первый же термин, который Лесков вводит в эти воспоминания,— "дикие фантазии" старых русских губернаторов, выходки чиновников. Только в последующем объясняется — что́ же это за выходки. Загадка разрешается для читателя неожиданно. Читатель ждет повествования о каком-то чудовищном поведении старых губернаторов (ведь говорится "*дикие* фантазии".— Курсив мой — *Д.Л.*), но выясняется, что речь идет просто о чудачествах. Лесков берется противопоставить старое дурное "боевое время" современному благополучию, но оказывается, что в старину было все проще и даже безобиднее. Прошлое, противопоставляемое новому, очень часто служит Лескову для критики переживаемой эпохи.

Лесков употребляет термин "боевое время", но затем выясняется, что вся война сводится к тому, что орловский губернатор Трубецкой был большой охотник "пошуметь" (снова термин) и, как оказывается, "пошуметь" он



ЛЕСКОВ

Фотография, 1889 г.

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

любил не по злобе, а как своего рода художник. Лесков пишет: «О начальниках, которых особенно хотели похвалить, всегда говорили: "Охотник пошуметь. Если к чему привяжется, и зашумит и изругает как нельзя хуже, а неприятности не сделает. Все одним шумом кончал!"» (VIII, 452–453). Далее употребляется термин "надерзить" (опять в кавычках) и добавляется: «О нем (т.е. о том же губернаторе — *Д.Л.*) так и говорили в Орле, что он "любит дерзить"» (VIII, 453). В таком же роде даются "термины" — "напрягай", "на выскочку" А далее выясняется — шибкая езда у губернаторов служила признаком "твердой власти" и "украшала", как утверждает Лесков, старые русские города, когда начальники ездили "на выскочку". О шибкой езде старинных губернаторов Лесков говорит и в других своих произведениях, но — характерно,— снова интригуя читателя, правда уже другими "терминами" В "Однодуме", например, Лесков пишет: «Тогда (в старое время — *Д.Л.*) губернаторы ездили "страшно", а встречали их "притрепетно"» (VI, 229). Разъяснение того и другого термина сделано в "Однодуме" удивительно, причем Лесков походя употребляет и различные другие "термины", которые служат подсобными интригующими приемами, готовящими читателя к появлению в повествовании "надменной фигуры" "самого"

Создавая "термин", Лесков обычно ссылается на "местное употребление", на "местную молву", придавая тем своим "терминам" "народный" колорит. О том же орловском губернаторе Трубецком, которого я уже упоминал, Лесков приводит много местных выражений: «Прибавьте к этому,— пишет Лесков,— что человек, о котором говорим, по верному местному определению, был "невразумителен" (снова термин — *Д.Л.*), груб и самовластен,— и тогда вам станет понятно, что он мог внушать и ужас и желание избегать всякой с ним встречи. Но простой народ с удовольствием любил глядеть, когда "ён садит" Мужики, побывавшие в Орле и имевшие *счастье* (курсив мой — *Д.Л.*) видеть ехавшего князя, бывало, долго рассказывают:

— И-и-их, как ён садит! Ажно быдто весь город тарахтит» (VIII, 456).

Далее Лесков говорит о Трубецком: «Это был "губернатор *со всех сторон*" (снова термин; курсив мой — *Д.Л.*); такой губернатор, какие теперь перевелись за "неблагоприятными обстоятельствами"» (VIII, 458).

Последний термин, который связан с этим орловским губернатором, это термин "растопыриться". Термин дается сперва, чтобы поразить читателя своею неожиданностью, а потом сообщается уже его разъяснение: «Это было самое любимое его (губернатора — *Д.Л.*) устроение своей фигуры, когда ему надо было идти, а не ехать. Он брал руки "в боки", или "фертом", отчего капишон и полы его военного плаща растопыривались и занимали столько широты, что на его месте могли бы пройти три человека: всякому видно, что идет губернатор» (VIII, 459–460).

Я не касаюсь здесь многих других терминов, связанных в том же произведении с другим губернатором: киевским Иваном Ивановичем Фундуклеем: "выпотнение", "прекрасная испанка", "дьяк с горы спускается" и пр. Важно следующее: такого рода термины уже встречались в русской литературе (у Ф.М.Достоевского, М.Е.Салтыкова-Щедрина), но у Лескова они вводятся в самую интригу повествования, служат нарастанию интереса. Это дополнительный элемент интриги. Когда в произведении Лескова киевский губернатор Фундуклей ("Умершее сословие") называется "прекрасной испанкой", естественно, что читатель ждет объяснения этому прозвищу. Объяснений требуют и другие выражения Лескова, и он никогда не торопится с этими объяснениями, рассчитывая в то же время, чтобы читатель не успел забыть эти загадочные слова и выражения.

И.В.Столярова в своей работе «Принципы "коварной сатиры" Лескова (слово в сказе о Левше)» обращает внимание на эту замечательную особенность лесковской поэтики. Она пишет: «Как своеобразный сигнал внимания, обращенный к читателю, писатель использует неологизм или просто необычное слово, загадочное по своему реальному смыслу и потому возбуждающее читательский интерес. Рассказывая, например, о поездке царева посла, Лесков многозначительно замечает: "Платов ехал очень спешно и с церемонией..." Последнее слово, очевидно, является ударным и произносится рассказчиком с особым смыслом, "с растяжкой" (если воспользоваться выражением Лескова из его повести "Очарованный странник"). Все последующее в этом длинном периоде — описание этой церемонии, таящей в себе, как вправе ожидать читатель, нечто интересное, необычное, заслуживающее внимания»[5].

Наряду со странными и загадочными словечками и выражениями ("терминами", как я их называю) в интригу произведений вводятся и прозвища, которые "работают" тем же самым способом. Это тоже загадки, которые ставятся в начале произведения и только потом разъясняются. Так начинаются даже самые крупные произведения, как "Соборяне" В первой главе "Соборян", например, Лесков дает четыре прозвища Ахиллы Десницына. И

СМѢХЪ и ГОРЕ

РАЗНОХАРАКТЕРНОЕ POTPOURRI

ИЗЪ ПЕСТРЫХЪ ВОСПОМИНАНІЙ

ПОЛИНЯВШАГО ЧЕЛОВѢКА.

Посвящается всѣмъ находящимся не на своихъ мѣстахъ и не при своемъ дѣлѣ

Н. С. Лѣскова

(Стебницкаго.)

МОСКВА.
Въ Университетской типографіи, (Катковъ и К°).
на Страстномъ бульварѣ.
1871.

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ПОВЕСТИ "СМЕХ И ГОРЕ"
В типографии М.Н.Каткова (М., 1871)

С дарственной надписью: "Достолюбезному старшему брату моему, другу и благодетелю Алексею Семеновичу *Лескову*, врачу, воителю, домовладыке и младопитателю от его младшего брата, бесплодного фантазера, пролетария бездомного и сия книги автора. 7 июля 71 г. С.П.б."

Орловский государственный литературный музей И.С.Тургенева, Орел

хотя четвертое прозвище — "уязвленный" — в этой же первой главе объясняется, но в совокупности все четыре прозвища раскрываются постепенно, по мере чтения "Соборян" Разъяснение же первого прозвища поддерживает интерес читателя к смыслу остальных трех.

Необычный язык рассказчика у Лескова, отдельные выражения, определяемые Лесковым как местные словечки, прозвища служат вместе с тем в произведениях опять-таки сокрытию личности автора, его личного отношения к описываемому. Он говорит "чужими словами", следовательно, не дает никакой оценки тому, о чем говорит. Лесков-автор как бы прячется за "чужие" слова и словечки — так же, как он прячется за своих рассказчиков или вымышленный документ или за какой-либо псевдоним.

* * *

Лесков — "русский Диккенс" Не потому, что он похож на Диккенса вообще, в манере своего письма, а потому, что оба — и Диккенс, и Лесков — "семейные писатели",— писатели, которых читали в семье, обсуждали всей семьей, писатели, которые имеют огромное значение для нравственного формирования человека, воспитывают в юности, а потом сопровождают всю

жизнь, смешиваясь с лучшими воспоминаниями детства. Но Диккенс — типично *английский* семейный писатель, а Лесков — *русский*. Даже очень русский. Настолько русский, что ему, пожалуй, труднее войти в английскую семью так, как вошел в русскую Диккенс. И все же далеко не случайна увеличивающаяся популярность Лескова за рубежом и прежде всего в англоязычных странах.

Но есть одно, что очень сильно сближает Лескова и Диккенса: это чудаки-праведники. Чем не лесковский праведник мистер Дик в "Давиде Копперфильде", чье любимое занятие было запускать змеев и который на все вопросы находил правильный и добрый ответ? И чем не диккенсовский чудак Несмертельный Голован, который делал добро втайне, сам даже не замечая, что он делает добро?

А ведь добрый герой как раз и нужен для семейного чтения. Нарочито "идеальный" герой не всегда имеет шансы стать любимым героем. Любимый герой должен быть в известной мере *тайной* читателя и писателя, ибо по-настоящему добрый человек, если делает добро, то делает его всегда тайно, в секрете.

Чудак не только хранит тайну своей доброты, но он еще и сам по себе составляет что-то, привлекающее читателя. Выведение чудаков в произведениях, по крайней мере у Лескова, это не только стремление воссоздать галерею положительных типов (что, пожалуй, самое важное), но это же и один из приемов литературной интриги. Чудак всегда несет в себе загадку. Интрига у Лескова подчиняет себе, следовательно, моральную оценку, язык произведения и "характереографию" произведения.

* * *

Если учесть всю сумму фактов, свидетельствующих о том, как ведет повествование Лесков, как он всячески "отчуждает" и текст своих произведений, и самое их содержание, выводит свое творчество за пределы "высокой" литературы, снижая жанры, снижая психологию рассказчика, его язык и пр., предпочитает писать под различными псевдонимами, то можно с убежденностью говорить обо всем этом как о поэтическом принципе. Не исключено, что кое-что здесь было связано и с личными вкусами. Но главное все же в другом: в необыкновенном даре художника увидеть и почувствовать человека из народа "изнутри", так сказать, чувствуя его чувствами и думая его думами. Эти свойства могли возникнуть у писателя, способного к глубокому "проникновению" в святая святых человека, к глубокому сочувствию и состраданию человеческому в человеке. А если еще вспомнить, что Лесков был "нетерпячим" ко всякому злу, если принять во внимание его убеждение, что "снисхождение к злу очень тесно граничит с равнодушием к добру и неспособность презирать и ненавидеть чаще всего живет вместе с неспособностью уважать и любить"[6], то перед нами прояснятся те черты личности Лескова, которые не могли не отложить глубокий отпечаток на все его творчество. Это прежде всего — любовь и сочувствие к человеку, гуманизм, хотя это слово, кажется, не передает всей гаммы сочувствия и любви, которая свойственна творчеству писателя. Главное, что торжествовало в произведениях Лескова — это доброта. Лесков был добрым писателем, удивительно добрым, но он не обнаруживал своей доброты в явных нравоучениях...

* * *

У Лескова есть еще одна замечательная особенность как "семейного" и очень национального писателя, которая находится в связи и с остальными отмеченными нами чертами.

Для Лескова весь мир официальной и неофициальной России — как бы

"свой" Он вообще относился ко всей современной литературе и русской общественной жизни как к своеобразному разговору. Вся Россия была для него родной, родным краем, где все знакомы друг с другом, помнят и чтут умерших, умеют о них рассказать, знают их семейные тайны. Так говорит он о Толстом, Пушкине, Жуковском и даже Каткове. Даже умершего шефа жандармов он называет (возможно, не без иронии) "незабвенный Леонтий Васильевич Дубельт" (см. "Административную грацию"). Ермолов для него прежде всего Алексей Петрович, а Милорадович — Михаил Андреевич. И он никогда не забывает упомянуть об их семейной жизни, об их родстве с тем или иным другим персонажем повествования, о знакомствах... И это отнюдь не тщеславное хвастовство "коротким знакомством с большими людьми" Это сознание — искреннее и глубокое — своего родства со всей Россией, со всеми ее людьми — и добрыми и недобрыми, с ее многовековой культурой, на что Николай Семенович Лесков имел действительное право.

* * *

Творчество Лескова имеет важнейшие истоки даже не в литературе, а в устной разговорной традиции. Оно восходит не только к глубоко жизненным характерам и событиям русской действительности, но и к тому, что я бы назвал "разговаривающей Россией" Творчество Лескова, порожденное разговорами в кают-компаниях, трактирах, гостиницах и гостиных, в свою очередь возвращалось к этой "разговаривающей России", давая повод к новым разговорам, спорам, обсуждениям, будя нравственное чувство людей и уча их самостоятельно решать нравственные проблемы.

Отразивший разговоры, споры в различных компаниях и семьях, он снова возвращался через свое творчество в эти разговоры и споры, возвращался во всю огромную семейную и "разговаривающую Россию"

Стиль писателя может рассматриваться как часть его поведения. Я пишу "может", потому что стиль иногда воспринимается писателем уже готовым. Тогда это не его поведение. Писатель его только воспроизводит. Иногда стиль следует принятому в литературе этикету. Этикет, конечно, тоже "поведение", вернее — некий принятый штамп поведения, и тогда стиль писателя лишен индивидуальных черт. Однако, когда индивидуальность писателя выражена отчетливо, стиль писателя, его поведение,— поведение в литературе.

Стиль Лескова — часть его поведения в литературе. В стиль его произведений входит не только стиль языка, но отношение к жанрам, выбор "образа автора", выбор тем и сюжетов, способы построения интриги, попытки вступить в особые "озорные" отношения с читателем, создание "образа читателя" — недоверчивого и одновременно простодушного, а с другой стороны — изощренного в литературе и думающего на общественные темы, читателя-друга и читателя-врага, читателя-полемиста, и читателя — "ложного" (например — произведение обращено к одному единственному человеку, а печатается для всех).

Выше мы стремились показать Лескова как бы "прячущегося", скрывающегося, играющего с читателем в жмурки, пишущего под псевдонимами, как бы по случайным поводам во второстепенных разделах журналов, как бы отказывающегося от "авторитетных" и импозантных жанров, писателя самолюбивого и как бы оскорбленного...

Почему?

В первый момент ответ напрашивается сам собой.

Неудачная статья Лескова по поводу пожара, начавшегося в Петербурге 28 мая 1862 г., подорвала его "литературное положение <...> почти на два десятка лет"[7]. Она была воспринята как натравливание общественного мнения на студентов и вынудила Лескова надолго уехать за границу, а затем

сторониться литературных кругов или, во всяком случае, относиться к этим кругам с опаской. Он был оскорблен и иногда оскорблял сам. Новая волна общественного возмущения против Лескова была вызвана его романом "Некуда" Жанр романа не только не удался Лескову, но заставил Д.И.Писарева заявить: "Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к собственной репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами Стебницкого"[8].

Вся деятельность Лескова как писателя была подчинена задаче "скрываться", уйти из ненавистной ему среды, прятаться, говорить как бы "с чужого голоса" И чудаков он мог любить — потому, что он в известной мере отождествлял их с собой. Потому будто бы и делал своих чудаков и праведников по большей части одинокими и непонятыми...

"Отвержение от литературы" сказалось во всем характере творчества Лескова. Но можно ли признать, что оно сформировало все его особенности? Нет! Тут было все вместе: "отвержение" создавало характер творчества, а характер творчества и стиль в широком смысле этого слова вели к "отвержению от литературы",— разумеется, только от литературы переднего ряда. Но именно это-то и позволило Лескову стать в литературе новатором, ибо зарождение нового в литературе часто идет именно снизу — от второстепенных и полуделовых жанров, от прозы писем, от рассказов и разговоров, от приближения к обыденности и повседневности в самом творчестве.

Однако никакое "отвержение от литературы", потребность "скрываться", играть в прятки и даже приближаться к "земле", т.е. к обыденности в языке, темах, жанрах и т.п., не способно само по себе создать великого писателя. Великим писателя создает талант, умноженный его связью с национальной жизнью и громадной этической чуткостью, чувством своей моральной ответственности за все происходящее. Это-то и отличало Лескова в первую очередь.

Сделанное Лесковым в русской литературе было чрезвычайно нужно, значительно и ярко. Без Лескова русская литература утратила бы значительную долю своего национального колорита и национальной проблемности, которая в значительной мере определяет и мировое значение каждого писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 *Фаресов.* С. 379.

2 *Лихачев Д.С.* Ложная этическая оценка у Н.С.Лескова // Звезда. 1980. № 7. С. 176–179. То же в кн.: *Лихачев Д.С.* Литература — реальность — литература. Л., 1981. С. 158–165.

3 В письме к В.М. Лаврову 24 ноября 1887 г. Лесков писал о своем рассказе "Грабеж": ...По жанру он бытовой, по сюжету — это веселая путаница", "в общем — веселое чтение и верная бытовая картинка воровского города <...>" (XI, 359).

4 Подробнее см. в указанной выше моей статье "Ложная этическая оценка у Н.С.Лескова"

5 *Столярова И.В.* Принципы "коварной сатиры" Лескова (слово в сказе о Левше) // Творчество Н.С.Лескова. Курск, 1977. С. 65–66.

6 *Лесков Н.С.* Русский драматический театр в Петербурге // *ОЗ.* 1866. № 24. С. 279.

7 *Жизнь Лескова.* Т. 1. С. 210.

8 *Писарев Д.И.* Прогулка по садам российской словесности // Русское слово. 1865. № 3. С. 16. Перепечатано в кн.: *Писарев Д.И.* Соч.: В 4-х т. Т. 3. М., 1956.

ЛЕСКОВ — ХУДОЖНИК

СТРАНИЦЫ
ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛЕСКОВА

БОЖЕДОМЫ

ПОВЕСТЬ ЛЕТ ВРЕМЕННЫХ

Рукописная редакция хроники Лескова “Соборяне”

Вступительная статья О.Е.Майоровой
Публикация О.Е.Майоровой и Е.Б.Шульги
Комментарии Е.Б.Шульги

Хроника “Соборяне” и в научной традиции, и в читательском восприятии, запечатленном в мемуарах и переписке, обычно выступает в роли самого репрезентативного произведения Лескова, своего рода грамматики его художественного языка. Не вполне регламентированная жанровая природа “Соборян”, задающая вместе с тем устойчивую парадигму восприятия множества других произведений писателя (включая те, что вовсе лишены жанрового определения), пестрая стилевая стихия, позволяющая угадывать в “Соборянах” генезис многих, причем самых разных текстов Лескова, и наконец, экзотический или, как он сам писал, “несколько необыкновенный” (X, 279) изображенный мир — “церковный причет <...> русского города” (X, 279), провинциальное духовенство с многосложными аксессуарами его бытовой жизни, обращение к которому автор хроники не раз квалифицировал как свою особую специальность в литературе,— уже эти качества придают “Соборянам” центральное положение в корпусе текстов Лескова.

Сам писатель, несомненно, считал это произведение ключевым в своем творчестве, часто упоминая его в статьях, письмах и даже художественных текстах. Один из примеров тому — небольшой, стилизованный под автобиографическое признание фрагмент “Мелочей архиерейской жизни” (1878), где генеалогия “Мелочей...”, между прочим, открыто полемичных по отношению к “Соборянам”, лукаво возводится именно к хронике. Авторский голос почти навязывает читателю сравнение, чтобы в итоге яснее чувствовался контраст: «...я с детства моего не разделял презрительных взглядов и отношений “культурных” людей моей родины к бедному сельскому духовенству <...> я знал, что среди страдающего и приниженного духовенства русской церкви не все одни “грошевики, алтынники и блинохваты”, каких выводили многие повествователи, и я дерзнул написать “Соборян”. Но в тех же хранилищах моей памяти, из коих я черпал типичные черты для изображения лиц, выведенных мною в названной моей хронике, у меня остается еще много клочков и обрезков или, как нынче говорят по-русски, “купюров”» (VI, 410).

Метафорика этого фрагмента — часть обычной авторской игры вокруг “Соборян” Отложившийся в памяти, но не пошедший в дело житейский материал уподобляется предметным плодам редактуры — “клочкам и обрезкам”, что рождает представление о “Соборянах” как некоем исходном тексте, аккумулировавшем богатство опыта писателя, как неисчерпаемом резервуаре “картин” и “образов”, обладающих способностью перетекать в другие произведения.

В переписке Лесков тоже любил отсылать к “Соборянам”, причем по самым разным поводам — как к универсальной объясняющей модели, тексту повышенной смысловой емкости[1]. Если читать хронику только как очерк быта провинциального духовенства (а такое восприятие писатель любил провоцировать), то подобные отсылки покажутся лишь автоиронией. Элемент игры здесь, конечно, был, но не исчерпывал и не объяснял сути дела. Лесков всегда испытывал артистическое пристрастие к полуироничному, едва ли не абсурдистскому “взращиванию” новых смыслов в своих произведениях. Однако сама по себе эта игра определялась, а иногда и форсировалась природой текста, свидетельствуя о его исключительном значении для писателя.

По-видимому, есть основания говорить о зашифрованном автобиографизме “Соборян” Недаром Лесков любил характеризовать самого себя через внутренний мир героев хроники. Так, в декабре 1874 г., имея в виду сразу и “Соборян” и “Захудалый род”, он писал И.С.Аксакову: “Если Вы хотя сколько-нибудь знали меня по типам, худо или хорошо мною воспроизведенным, то Вы, конечно, знаете, что все мои симпатии клонят к простоте и искренности отношений <...>” (X, 369). Иногда в тексте “Соборян” распознаются знаки скрытого автобиографизма. Уже справедливо отмечалось, например, что дата рукоположения главного героя хроники протопопа Савелия Туберозова совпадает с днем и годом рождения самого писателя[2]. Для Лескова это, безусловно, не могло быть случайным совпадением. Возможно, первоначально авторское присутствие в тексте мыслилось широко и разнообразно представленным. Так, на промежуточном этапе работы Лесков снабдил один из фрагментов дневника Туберозова развернутым “мемуарным” примечанием, которое впоследствии изъял: “В курских и орловских садах, в Богом хранимой тени которых проспал свои детские годы автор этого рассказа, есть сорт очень вкусных и красивых яблок “Доброго Крестьянина” Автор любил их, и пять из них завязывает в платочек, с которым идет домой протопоп Савелий”[3]. Здесь очевидна тенденция к сближению авторского мира и мира героев, далеких и эмоционально, и интеллектуально от самого Лескова, насколько мы его знаем по мемуарным и эпистолярным источникам. Однако в ходе работы над хроникой писатель стирал эти знаки автобиографического начала, уводя их в самые глубинные слои текста.

О скрытых смысловых пластах “Соборян”, пожалуй, проницательнее всех писал в свое время Аким Волынский: “...Лесков <...> таинственно отвлекает внимание читателя от подробностей к чему-то высокому и важному. Ни на одну минуту мы не перестаем следить за развитием одной большой, сверхчувственной правды, которая как-то невидимо приближается к нам и неслышно овладевает душой”[4]. Волынский последовательно избегал характеристики этих “неслышных” мотивов, однако он твердо обозначил ту нигде явно не сформулированную Лесковым творческую задачу, которая предопределила, по всей вероятности, исключительное значение хроники для писателя: за конкретным планом повествования, за бытовой оболочкой просвечивает нечто “высокое и важное”, введенное полунамеком, растворенное в мелочах, но прорастающее из текста как целого.

Эта поэтика просветления и преодоления быта, закрепленная в “Соборянах”, навсегда определила творческий почерк Лескова. Вырабатывалась она не без срывов, чем и объяснялась, по-видимому, трудная судьба произведения. Речь идет не только о драматичной издательской судьбе, но и о довольно запутанной творческой истории хроники, в которой особое, до сих пор еще не выясненное место занимает рукописная редакция.

Практически ни в одной монографии о Лескове не обойден вопрос о многоэтапной истории создания хроники. Интерес вызывали не только ее три печатные редакции, но и рукописная, обширные фрагменты которой цитировали в своих книгах В.А. Гебель, Б.М.Другов, а подробнее всех Н.С.Плещунов[5]. Однако цитаты, конечно, не давали представления о рукописи в целом, тем более что выбор их неизбежно определялся исходной позицией исследователя, в то время как ценность “Божедомов” в том прежде всего и заключается, что текст таит в себе много неожиданного и позволяет скорректировать сложившиеся представления о Лескове. Кроме того, без рукописного текста хроники, не совпадающего ни с одной из известных нам печатных редакций “Соборян”, реконструкция и общего замысла и всех этапов творческой истории произведения неизбежно обеднена.

Задача настоящей публикации — ввести в научный оборот текст рукописи, определив ее место в последовательности печатных редакций и выявив в ней те особенности поэтики и те смысловые пласты, которые позволяют, во-первых, вновь обратиться к интерпретации художественной природы "Соборян" и, во-вторых, дешифровать некоторые мотивы хроники, остававшиеся до сих пор в тени.

I

Две журнальные редакции хроники, предшествовавшие окончательной и следовавшие в печати одна за другой — с разрывом меньше года — остались незавершенными. Первая, значительно отличающаяся от дефинитивного текста "Соборян", печаталась в 1867 г. в "Отечественных записках" под названием "Чающие движения воды. Романическая хроника" (т.171, № 3, 4) и была прервана (в финале помета — "конец первой книги"), поскольку, как подробно рассказывал Лесков в письме в Литературный фонд 26 мая 1867 г., он не мог "стерпеть никаких произвольных сокращений в этом романе", которые дозволялось делать "негласным цензорам, удерживающим бесцензурный журнал г. Краевского от увлечений" (речь шла об издательской политике А.А.Краевского после скоропостижной смерти С.С.Дудышкина, дружески поддерживавшего Лескова): «Я сообщил г. Краевскому, что роман "Чающие движения воды" есть роман, задуманный по такому щекотливому плану, что с исполнением его нужно обходиться очень осторожно; что я имею в виду выставить нынешние типы и нынешние положения людей, "чающих движения" легального, мирного, тихого; но не желаю быть, не могу быть и не буду апологетом тех лиц и тех принципов и направлений, интересы которых дороги и милы секретным цензорам бесцензурного издания г. Краевского» (X, 264). Однако, как следует из того же письма Лескова, уже в апрельской книжке "Отечественных записок" хроника была напечатана с "вымаранными местами",существенно искажавшими замысел, что заставило писателя решительно отказаться от сотрудничества: "...рукопись романа остается у меня, пока я оправлюсь, обдумаюсь и найдусь, что мне можно с ней сделать <...>" (X, 265).

Хотя Лесков "нашелся" довольно быстро, следующая попытка напечатать произведение (Литературная библиотека. 1868. № 1, 2) тоже оказалась неудачной. Доведенная в журнале до восьмой главы (здесь нет деления на "части" или "книги"), хроника, несмотря на традиционное уведомление "окончание будет", оборвалась силою вещей: прекратил существование журнал, в котором она печаталась.

В том же году Лесков связал судьбу "Соборян" с вновь образовавшимся тогда журналом "Заря", намереваясь "разделять" вместе с Н.Н.Страховым и В.П.Клюшниковым "труды" В.В.Кашпирева "по редакторству" (X, 270) и сразу, видимо, запродав в журнал текст хроники. Этот план кончился самым крупным скандалом в истории публикации "Соборян" — скандалом публичным, в ходе которого Лесков вынужден был искать "защиты от тяжкой клеветы" (X, 275) не только у А.П.Милюкова и А.К.Толстого, которых считал своими литературными "единоверцами", но также и у А.С.Суворина с М.М.Стасюлевичем, т.е. у представителей враждебного журнального лагеря. Летом 1869 г. состоялось судебное разбирательство в С.-Петербургском окружном суде по иску Кашпирева, обвинявшего Лескова «в подмене рукописи и исторгнутии из романа "существенной части"» (X, 276). Речь шла о напечатанном в "Русском вестнике" (1869, № 2) фрагменте хроники под названием "Плодомасовские карлики" Кашпирев требовал от Лескова возвращения аванса за хронику. Лесков защищался, нападая: он предъявил встречный иск редактору "Зари", настаивая на уплате ему полного гонорара, поскольку снимал с себя вину в том, что хроника не появилась в "Заре", и утверждал, что "Плодомасовские карлики", "этот кусочек в $1\frac{1}{2}$ листа", не может «и по существу, и по объему почитаться "существенной частью" романа» (X, 276). Суд отказал в иске обоим.

По мнению М.М.Стасюлевича, дошедшему до нас в пересказе Суворина, "дела подобного рода не следовало бы доводить до обыкновенного суда, который на них по необходимости смотрит как на ремесленные, не входя в рассмотрение литературных обычаев"[6], и Лесков, сознавая это, упорно, но тщетно стал добиваться литературного третейского суда, чтобы снять с себя "тягчайшие оскорбления" (X, 276). Насколько болезненно писатель переживал этот конфликт, свидетельствуют его

позднейшие воспоминания: ...этот нелепый и, к сожалению, для авторского права не выясненный процесс досаждал мне неимоверно и, двоя все мои мысли, несказанно мешал моей новой работе"[7]. Скандальная история случилась не только из-за "воительного" характера Лескова. Объясняется она в значительной мере тем, что сам замысел хроники претерпел существенные изменения и не вливался в старые рамки. Уже на стадии подготовки текста для "Литературной библиотеки", т.е. меньше года спустя после появления "Чающих движения воды", первоначальная конструкция рассыпалась, и писатель стал "отклеивать" от хроники целые куски (такие, как "Плодомасовские карлики"), превращая их в самостоятельные произведения. Собственно, и слово "хроника" теперь из названия исчезло. Озаглавленные "Божедомы", будущие "Соборяне" получили и новый подзаголовок «Эпизоды из неоконченного романа "Чающие движения воды"», что ясно свидетельствовало об отказе от осуществления исходного замысла в полном объеме. Новым подзаголовком декларировалась фрагментарность и незавершенность произведения, измененным названием — смещение его смыслового центра: теперь (как, кстати, и в окончательном тексте "Соборян") повествование сосредотачивалось вокруг "жителей старгородской соборной поповки", "житье-бытье которых" уже на первой странице "Божедомов" определялось как главный "предмет <...> рассказа"[8]. В целом, по сравнению с первопечатной редакцией, замысел хроники резко сузился: исчезла богатая ретроспективная линия — рассказ о "древних судьбах"[9] Старого Города, о борьбе никониан со староверами и о внезапном, последовавшем после Отечественной войны 1812 г. решении "доброй половины" раскольников города преодолеть "всякую рознь с общею матерью нашею церковью русскою"[10], исчезла и вся линия "оригинального человека, ставшего вне старогородских религиозных партий"[11] и воплощавшего истинно христианскую доброту и смирение,— история Пизонского и его племянниц (Лесков превратил этот фрагмент хроники в отдельный рассказ "Котин доилец и Платонида", включив его еще в 1867 г. в двухтомник своих избранных сочинений[12]). В "Чающих движения воды" Лесков рисовал насыщенную персонажами и сюжетными линиями картину, представавшую обобщенным образом национального бытия,— картину со смещенной хронологией (у Старого Города свой отсчет времени, иногда отстающий от общенационального на века: так, борьба раскольников с никонианами в стенах Старого Города разворачивается в XIX веке) и с размытой локализацией событий (Старый Город — условное пространство, способное расширяться до общенациональных масштабов и сжиматься до захолустного городка). Некоторые из этих элементов поэтики первой редакции удержаны и в "Соборянах" Более того, хотя сюжетные линии, уводящие в прошлое Старого Города, практически исчезли позднее, во второй редакции хроники, как и в окончательном тексте, сохранились связанные с ними тематические блоки (прежде всего, тема раскола), "сгустившиеся" до деталей, упоминаний, самое большее — незначительных по объему фрагментов. Прошлое из развернутого сюжетного повествования превратилось в едва намеченное поле для проекции настоящего.

Трудно сказать, в какой мере сужение замысла было обусловлено внешними обстоятельствами. Принято считать, опираясь на мнение самого писателя, что журнальные мытарства и цензурные притеснения послужили импульсом к переработке текста. Вряд ли, однако, Лесков только потому дробил первоначальную конструкцию "Соборян", что не находилось издания, где хроника была бы напечатана полностью. Ведь еще в 1867 г., только что расставшись с "Отечественными записками", писатель начал распубликовывать "Чающих..." по частям, а позднее, намереваясь поместить хронику в "Заре", он продолжал отдавать отдельные фрагменты в другие издания. Как справедливо предположил Л.А.Аннинский, распад первоначального замысла объяснялся скорее причинами внутреннего порядка: «Что-то глубинное мешает Лескову увидеть и объять русскую действительность как целое <....> Лесков смотрит на русскую жизнь с какого-то другого уровня, чем Толстой и Достоевский; ощущение такое, что он трезвее и горше их, что он смотрит <...> из "нутра" <...> он знает в душе народа что-то такое, чего не знают небожители духа, и это знание мешает ему выстроить законченный и совершенный национальный эпос»[13].

Несомненна заслуга Аннинского в изменении русла традиционных размышлений, связывавших причины распада "Чающих..." с внешними обстоятельствами. Однако мысль о том, что Лесков уходил от чуждого его таланту эпического замысла, не

вполне подтверждается историей текста. Уходил писатель скорее от элементов романного повествования. Колебания в выборе жанра и тяготение к роману ясно видны в "Чающих...", где автор не раз выражал намерение сделать судьбы отдельных героев основой сюжета: "Старый Город <...> видел очень нарядную свадьбу Глафиры и будет свидетелем других таинств ее судьбы и жизни"[14]. В такого рода "обещаниях" просматривается романный генезис "Соборян", что, кстати, прослеживается и по рукописной редакции, сохранившей в самом нижнем, "грунтовом", слое рудименты первоначального замысла, также тяготеющего к "романному" раскрытию судеб героев. По рукописи вообще хорошо видно, из какого зерна вырастали "Соборяне", как постепенно прощупывались контуры будущей хроники. Начало дошедшего до нас рукописного текста читается как вполне традиционный, тургеневского типа роман с обширными предысториями героев и с классической завязкой событий (приезд гостей из столицы в провинциальный город).

Однако недаром в конечном итоге Лесков твердо определил жанр "Соборян" как хронику. Хотя в центре повествования оказалась судьба одного героя — протопопа Савелия Туберозова, писатель придал этому образу надличностный смысл, что стало устойчивой чертой его поэтики (наиболее известный пример — образ Флягина в "Очарованном страннике"), и решил тем самым двойную задачу. С одной стороны, Лесков сохранил изначально взятую высокую меру обобщения, с другой — избавился от той "лоскутности", дробности композиции, которая свойственна была "Чающим движения воды" и даже сознавалась автором как стержневой повествовательный принцип: "События, заносимые в эту хронику, составляют *эпизод* из жизни людей одного очень старого города <...>" [15] (курсив мой — *О.М.*). Последовательно отказавшись от экскурсов в прошлое и от побочных, уводящих в сторону сюжетных линий, от обилия персонажей и от развернутых характерологических отступлений, Лесков выдвинул на первый план Савелия Туберозова, выведя его образ за рамки частной судьбы и нагрузив тем богатым комплексом мотивов, которые в "Чающих..." писатель пытался реализовать в основном сюжетными средствами, на композиционно разветвленном и пестром материале.

Первоначально протопоп явно не мыслился как центральная фигура хроники. На страницах "Чающих движения воды" он впервые появляется в XVII-й главе как духовный лидер "старогородской поповки", рассказ о которой представляет собой лишь одну из сюжетных линий. Однако и в окончательном тексте, и в журнальной редакции "Божедомов" знакомство с "жителями старогородской соборной поповки", во-первых, открывает хронику, и во-вторых, сопровождается авторским комментарием, свидетельствующим о резком, сравнительно с предыдущими этапами работы, сужении замысла. "Житье-бытье" обитателей поповки теперь становится смысловым ядром повествования.

С образом Туберозова в хронику входят проблемы социального измерения веры, актуализированные пошатнувшимся авторитетом церкви в пореформенном обществе. Церковное "нестроение" осмысляется как проблема выживания нации — таковым оно представляется прежде всего самому центральному герою, поэтому его "житие" (напомню слова протопопа, завершающие третью часть хроники: «...жизнь уже кончена; теперь начинается "житие"» — IV, 235) перерастает в некую надвременную модель героического поведения, ведущую — в полном соответствии с исходным жанром — к спасению. Спасению не отдельного человека, но всего народа. Мотивы спасения, близкого возрождения России и воцарения вечной правды на русской земле — подспудные, но очень важные для "Соборян", и держатся они в хронике прежде всего образом Савелия Туберозова.

В рукописной редакции этот комплекс мотивов выражен прямо и решается в традиционном для националистической идеологии ключе — предполагает дискредитацию Запада и актуализацию национальных мессианских надежд. На фоне грозно звучащих апокалиптических настроений здесь прорываются хилиастические ожидания. В дефинитивном тексте "Соборян" эти мотивы едва различимы: введены пунктирно и неявно. Чтобы их опознать, нужны определенные усилия по расшифровке намеков, по интерпретации едва очерченных героев, эпизодов, монологов, сцен. В "Чающих..." они звучат слышнее, чем в окончательном тексте. Само название и связанный с ним евангельский эпиграф первой редакции служат важным сигналом: "В тех слежаще множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движения воды"

(Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 3). Образ "чающих движения воды" разрабатывается далее как символ грядущего обновления: "Боже мой и творче и создателю! — молится Туберозов. — Открой ушеса наши и очи, дабы мы не просмотрели и ангела твоего, что прийдет целебною силою возмутить воду купели, и не посмеялись бы ему <...>"[16]. Однако рукописная редакция в большей мере, чем все остальные, напитана хилиастическими мотивами. В качестве иллюстрации приведем пока лишь один фрагмент хроники, чрезвычайно, как кажется, показательный.

В финале третьей части "Соборян" протопоп Туберозов собирает в храме весь Старогород, чтобы произнести проповедь, которую называют бунтарской все — и прибывшие из Петербурга "нигилисты" новейшей формации, и "старогородская интеллигенция" (IV, 233; под интеллигенцией — в соответствии с распространенным словоупотреблением 1870-х годов — имелись в виду разночинцы, представлявшие образованные слои общества левой ориентации), и даже друзья Туберозова: "...это не проповедь, а революция <...> если протопоп пойдет говорить в таком духе, то чиновным людям скоро будет неловко даже выходить на улицу <...> самые друзья и приятели Савелия строго обвиняли его в неосторожном возбуждении страстей черни" (IV, 233).

Протопоп произнес проповедь на текст "Боже, суд Твой цареви даждь и правду Твою сыну цареву" (IV, 232), т.е. на текст 71 псалма, где отражен характер царствования Соломона, но подразумевается и тысячелетнее царствование Мессии: "Во дни его процветет праведник и будет обилие мира, доколе не престанет луна" (Псалом 71, стих 7). Этот тайный прообразовательный смысл псалма в окончательном тексте проповеди как будто бы не всплывает. Правда, протопоп обращается здесь к теме спасения, центральной для 71-го псалма: "Там ли спасенье, где его чаем, — там ли погибель, где оной боимся?" (IV, 321), и традиционные рефлексы этой темы включают в себя эсхатологические представления, но лишь в самом расплывчатом виде. Твердых оснований к тому окончательный текст хроники не дает.

Между тем черновой вариант проповеди, теснее связанный с образностью псалма, позволяет высказать более определенные суждения на этот счет.

Выбор текста "Боже, суд Твой цареви даждь..." мотивирован в рукописи тем, что и время действия, и изображенные в хронике события, и начало работы над замыслом впрямую связаны с проведением судебной реформы, причем главный герой хроники Туберозов видит в новом суде залог возрождения России. Этим объясняется острота его разочарования, когда он узнает, что в роли мирового судьи первого призыва в Старогород является экс-нигилист Борноволоков, оказавшийся к тому же марионеткой в руках другого "отставного" нигилиста, отъявленного мошенника Термосёсова.

Отсюда трагический пафос проповеди. Туберозов винит в происходящем все общество и называет собравшихся в храме горожан "лукавыми рабами": "...с такими рабами, которые не хотят быть костью от костей царя своего, государю этому трудно водворить тот Божий суд, о котором молится его сердце, и оставить по себе сыну ту правду на земле, которую он, всеконечно, хочет оставить" (л. 267 об.; здесь и далее в скобках указаны номера листов рукописи согласно архивной пагинации). Протопоп говорит об "одной святой, самим веком и всем пред нами совершающимся указанной цели: к возвеличению нашей родины в среде держав света и к водворению в ней царства правды" (л. 268). Здесь можно было бы не усматривать хилиастических настроений, если бы в финале проповеди они не звучали прямо: "Встает иной дух... Дух вечной правды на Руси встает, и сядет он и воцарится здесь на нашей родине" (л. 269—269 об.). "Правда" судебной системы намеренно сливается — или не вполне различается — с "вечной правдой на земле", которая в свою очередь оказывается неотделима от мессианских надежд.

В окончательной редакции хроники бунтарская проповедь Туберозова звучит иначе: актуальные аллюзии размыты, связь с судебной реформой элиминирована вовсе, хилиастическая мечта завуалирована, едва различима в последних словах протопопа: "Да соблюдется до века Русь, ей же благодеял еси!" (IV, 232). И все же пунктирно эти главные темы черновика сохранены в дефинитивном тексте, что превращает рукописные "Божедомы" в своего рода развернутый комментарий к окончательным, хрестоматийно известным "Соборянам"

II

Прежде чем вплотную обратиться к анализу рукописи, необходимо ее датировать, понять, какой этап работы над замыслом она отражает и что представляет собой в целом.

Статус публикуемого текста, как ни странно, составляет проблему. Выбранное определение — "рукописная редакция" — нельзя не признать условным. Во-первых, рукопись дошла до нас далеко не в полном объеме: утрачены ее начало и обширный финал, соответствующие первой и трем последним частям дефинитивного текста "Соборян", что затрудняет характеристику целого. Во-вторых, мы имеем дело с автографом, к которому писатель обращался на разных стадиях воплощения замысла, и в конечном итоге он не свел текста воедино: верхний слой правки в некоторых случаях не завершен, стыкующие "швы" не всегда заделаны, отдельные фрагменты не согласуются друг с другом, есть и дублирующиеся эпизоды. Наконец, в этой рукописи обнаруживается огромное количество отвергнутых вариантов, отнюдь не только стилистического характера. Здесь есть детально разработанные, а затем отброшенные сюжетные линии, есть образы героев — с подробной предысторией и тщательно прописанной характерологией, — которые не вошли в итоге в "Соборян" даже в качестве эпизодических лиц, встречаются многостраничные эпизоды и сцены, перечеркнутые Лесковым. Кроме того, целый ряд тем, мотивов и сюжетных линий, играющих в рукописи важную, иногда ключевую роль, выпал из хроники на следующих этапах работы, не отраженных на страницах публикуемого текста. Кое-что из отброшенных вариантов вошло в другие произведения писателя, правда, как правило, — в значительно трансформированном виде.

О многоэтапной работе Лескова над рукописью свидетельствует даже ее внешний вид: наряду со свеженаписанными страницами, еще не подвергшимися первичной авторедактуре, в текст вмонтированы уже вполне отшлифованные, как правило, значительные по объему фрагменты, представляющие собой писарскую копию и почти не тронутые Лесковым в дальнейшем — при подготовке окончательной редакции "Соборян" (таков, скажем, фрагмент о плодомасовских карликах, введенный после незначительной стилистической правки и в дефинитивный текст хроники). Иногда рядом с отшлифованными страницами соседствуют наброски и пассажи явно "экспериментального" характера, либо лишь вчерне заготовленные как материал для дальнейшей работы, либо пускающие повествование в какое-то новое русло, в конечном итоге блокированное Лесковым. На страницах черновой рукописи "Соборян", как видно, прощупывалась почва в поисках новых поворотов замысла, причем по конкретной правке можно проследить за авторскими колебаниями в воплощении даже центральных для хроники мотивов.

По-видимому, дошедший до нас автограф правомерно рассматривать как нечто промежуточное между подготовительными материалами к "Соборянам" и самостоятельной редакцией хроники (мы имеем дело все же со связным текстом, соотносимым с дефинитивным). Более того, с известными оговорками эта рукопись или, вернее, некоторые ее фрагменты читаются как подготовительные материалы к целому корпусу текстов Лескова 1870-х годов, на большой глубине действительно связанных как с хроникой, так и между собой. Речь идет об отдельных сценах, героях, сюжетных ходах, развернутых авторских размышлениях, перекочевавших позднее из публикуемого текста в роман "На ножах" (роман, безусловно, — самый близкий "родственник" хроники) или перекликающихся, иногда вплоть до текстуальных совпадений, с рассказами "Очарованный странник", "Запечатленный Ангел", "На краю света"

Здесь закономерно встает вопрос: является ли рукопись продолжением одной из двух журнальных редакций хроники, представляет ли собой допечатную версию или может рассматриваться как часть более поздней самостоятельной редакции?

Твердо ответить на этот вопрос практически невозможно уже потому, что обе журнальные редакции "Соборян" приблизительно соответствуют лишь первой части окончательного текста, тогда как автограф — 2-й и 3-й частям. Рукописный текст, с одной стороны, последовательно корреспондирует с дефинитивным (в противоположность "Чающим движения воды", значительные фрагменты которых не находят никакого соответствия в "Соборянах"), что позволяет четко отследить конкретные

изменения замысла, с другой — рукопись отличается от окончательного текста достаточно глубоко, много глубже, чем "Божедомы" (вторая журнальная версия), что приближает ее к исходному замыслу.

В процессе авторедактуры Лесков сохранял некоторые фрагменты, иногда большого объема, почти в нетронутом виде, что не мешало, правда, вводить их в очередную редакцию с измененным заданием. Эти кочующие из редакции в редакцию фрагменты могут служить хронологическими ориентирами, поскольку естественно предположить, что они оформились на ранних стадиях работы и восходят к изначальному замыслу. К сожалению, наиболее известный из таких фрагментов — "Демикотоновая книга" протопопа Туберозова, — вошедший во все три печатные редакции (в окончательном тексте см.: IV, 134—149), в рукописи не сохранился. Однако другие "кочующие" фрагменты полностью представлены в рукописи, причем они видны сразу: в отличие от основного текста, являющегося автографом Лескова, они скопированы неизвестной рукой и лишь правлены писателем.

Первый из них — дьякон Ахилла наказывает комиссара Данилку за богохульство и приводит его в дом Туберозова для вынесения окончательного вердикта — включен еще в "Чающие движения воды" и сохранен вплоть до дефинитивного текста (см.: IV, 123—129), где играет роль сюжетной пружины: по наущению "прогрессистов", Данилка подает в суд жалобу на дьякона и протопопа, и это событие оказывается завязкой борьбы Туберозова с "темными силами" Этот эпизод несет ту же функциональную нагрузку и занимает то же место в композиции (начало 2-й части хроники) и в публикуемом тексте, тогда как в "Чающих..." он помещен в другой части и не получает дальнейшего развития, служит лишь жанровой сценкой, характеризующей нравы "обитателей поповки"

Следующий "кочующий" фрагмент, также скопированный рукой переписчика,— "Плодомасовские карлики", напечатанные Лесковым отдельно и не вошедшие ни в одну из журнальных редакций, хотя этот "эпизод" был написан до появления в "Литературной библиотеке" хроники "Божедомы" В журнальных "Божедомах" можно указать даже отводившееся для "Карликов" место. Как ни странно, этот фрагмент, по-видимому, предполагалось ввести в "Демикотоновую книгу" Туберозова[17], но на этой стадии работы Лесков не стал его вообще монтировать в текст. В рукописи, как и в окончательном тексте, "Плодомасовские карлики" занимают изолированное положение: сюжетно совершенно самостоятельны.

И наконец, последний, самый большой из фрагментов, написанных неизвестной рукой,— почти вся 3-я часть рукописи (с середины 8-й главы почти до конца) — в существенно переработанном виде вошел лишь в окончательный текст. Этот фрагмент теснее всего связан с какой-то предыдущей редакцией. На месте его стыковки с автографом "швы", в отличие от предыдущих случаев, сделаны явно на скорую руку: здесь встречаются заметные сюжетные противоречия и неувязки[18]. Возможно, эти страницы — самая рудиментарная часть текста.

Однако в целом рукописная редакция не может рассматриваться как первоначальная, поскольку включает целые фрагменты, уже отшлифованные на каком-то предыдущем этапе.

Крайне сомнительно, кроме того, чтобы работа над ней шла до или одновременно с публикацией "Чающих движения воды", во-первых, потому, что в ряде "кочующих" эпизодов рукопись текстуально ближе к "Божедомам" (второй журнальной редакции), во-вторых, потому, что в рукописи встречается язвительные выпады в адрес владельца "Отечественных записок" А.А.Краевского (что было бы невозможно, если бы эта часть создавалась до или одновременно с "Чающими...", печатавшимися у Краевского). Если же Лесков работал над рукописью уже после смерти С.С.Дудышкина и перехода журнала в руки Н.А.Некрасова и М.Е.Салтыкова-Щедрина, то раздражение в адрес Краевского, с которым писатель порвал именно из-за вмешательства в текст "Чающих...", вполне понятно.

Не может рукопись рассматриваться и как непосредственное продолжение "Чающих...", так как непротиворечивого сочетания этих текстов не получается. Например, эпизод с наказанием комиссара Данилки в рукописной редакции, как и в окончательной, введен во вторую часть хроники, тогда как в "Чающих..." он включен в первую.

Итак, с первопечатной редакцией "Соборян" рукопись не монтируется. Однако безоговорочно она не вписывается ни в одну из известных нам редакций: либо недостает каких-то звеньев, либо одни события противоречат другим. Некоторые композиционные решения сближают ее с журнальными "Божедомами" и с окончательным текстом, вместе с тем здесь есть фрагменты рудиментарного характера, восходящие к первоначальному очертанию замысла. Все это позволяет предполагать, что перед нами текст неоднородный, отражающий хронологически разные этапы работы писателя над хроникой.

С уверенностью можно лишь утверждать, что Лесков дописывал, существенно дополнял и редактировал публикуемый текст в 1868 г., уже после появления "Божедомов" в "Литературной библиотеке" Основания для этого вывода дают содержащиеся в рукописи отсылки к конкретным датам и хронологически фиксированным реалиям. Так, в начале второй части хроники "уездная нигилистка" Данка Бизюкина, верная прописям нигилистической морали, в ожидании "настоящих людей" из Петербурга припрятывает все, что может вызвать их осуждение: «Я не хочу, чтобы мне Термосёсов написал что-нибудь вроде того, что у Марка Вовчка в "Живой душе" умная Маша написала жениху, который жил в хорошем доме и пил чай из серебряного самовара, что, мол, "после того, что я у вас видела, между нами все кончено"» (л. 79 об.; этот эпизод сохранен и в окончательном тексте — см.: IV,155). Роман Марко Вовчок появился в 1868 г.[19], упомянутый эпизод был напечатан в февральской книжке "Отечественных записок" за этот год, а весь посвященный ему фрагмент вписан Лесковым на полях уже готового текста. Далее, в третьей части хроники дьякон Ахилла на именинах Порохонцевой читает вслух свежие газеты. Лесков здесь просто вклеил в рукопись вырезки из августовских номеров "Биржевых ведомостей" за 1868 г. Как и цитата из "Живой души", эпизод с чтением газет — позднейшая вставка, сделанная рукой Лескова, тогда как весь эпизод, в который она была вмонтирована,— писарская копия[20].

Важно, что в рукописи нет реалий, относящихся к следующим годам — 1869 или 1870 гг. Существенно также, что, работая над окончательным текстом хроники, Лесков изъял многие фрагменты, отсылающие читателя к 1867 или 1868-му годам. Складывается впечатление, что во всех редакциях "Соборян" Лесков стремился предельно приблизить к читателю время действия хроники, поэтому в 1871—1872 гг., готовя окончательный текст, снимал реалии, сигнализировавшие о другой, более ранней эпохе.

Сказанное позволяет думать, что писатель интенсивно работал над публикуемой рукописью в промежутке между журнальными "Божедомами"(1868) и окончательными "Соборянами"(1872). Вместе с тем ключевые решения финального текста здесь еще не прояснились, недаром эта рукопись не использовалась при создании окончательной редакции: последняя правка здесь не отражена. Видимо, с этой сложной и многосоставной рукописи была сделана еще одна копия, которая уже и легла в основу дефинитивного текста "Соборян"

Ценность публикуемых "Божедомов" тем в значительной мере и определяется, что здесь оказались сведенными воедино фрагменты, написанные в разное время и отражающие разные стадии работы над замыслом. Анализируя все слои рукописи, мы получаем возможность сделать ее глубокий хронологический срез и, добравшись до "грунтового пласта", обнаружить тот комплекс мотивов, который послужил импульсом для создания хроники. Смысловое ядро исходного замысла — как бы далеко в конечном итоге писатель от него ни отошел — задает определенный вектор осмысления хрестоматийно известного текста.

Кроме того, сама по себе проблема реконструкции первоначального замысла и его постепенного переосмысления тоже может найти теперь уточненное решение, поскольку поле наших наблюдений, ограниченное до сих пор двумя журнальными редакциями хроники, теперь резко расширяется.

Открывает рукопись и неожиданные, как кажется, перспективы для более широких выводов о своеобразии лесковской модели мира.

Лесков — писатель узнаваемый. Устойчивый набор мотивов, повторяемость сюжетных и характерологических решений, даже пристрастие к одним и тем же фабулам (точнее, мелким фабульным единицам — "анекдотам", за изобилие которых так критиковали Лескова современники) и словесным формулам, мигрирующим из про-

изведения в произведение, не говоря уже о константных стилистических признаках, — все это провоцирует, при разнообразии и даже пестроте лесковского мира, читать его как единый текст. Рукописная редакция "Соборян" — своего рода "документальное" подтверждение правомерности такого восприятия. Ниже предложена попытка интерпретировать рукопись как своего рода протограф всего зрелого творчества Лескова.

Наконец, сопоставляя разные редакции "Соборян", мы получаем возможность выявить основное направление авторских усилий по переработке текста: из наблюдений над характером авторедактуры вычленяются некоторые устойчивые принципы поэтики Лескова — целая система приемов, до сих пор специально не обсуждавшихся, но представляющихся ключевыми для его творчества.

И последнее. Анализируя трансформацию этого замысла, мы можем проследить за динамикой художника, его идеологической эволюцией в один из самых продуктивных и наименее изученных периодов его творческой биографии.

III

Хроника "Соборяне" стала поворотным событием в судьбе писателя. «В начале семидесятых годов, — вспоминал в 1881 г. анонимный критик журнала "Странник", — появились "Соборяне" Н.С.Лескова. Не можем забыть, с каким удовольствием мы читали тогда это произведение. Что-то любовное, возвышенно-благородное и привлекательное слышалось нам в душевном складе его "старогородских соборян", в их взаимных отношениях и столкновениях, в их общей несложной жизни»[21]. Достоинства хроники, ее подлинный успех критик связывал с внутренней свободой писателя — с отступлением скандально известного творца антинигилистических романов в область чистого художества: «Читая "Соборян", вы смеетесь и грустите, вас занимает, смешит этот маленький мирок скромных, невидных людей, но он вам уже близок, вы полюбили его, и вам и в голову не придет доискиваться, с какой целию автор занимает вашу мысль и фантазию своим рассказом <...> До его тенденций вам нет дела, он знает это и предоставляет вам покойно наслаждаться его художественной работой»[22].

Здесь как будто бы начисто позабыто об антинигилистической линии "Соборян", не только несущей важную смысловую нагрузку, но играющей в хронике роль сюжетной пружины. Подобного рода аберрации объяснимы прежде всего временем — десятилетием, истекшим после появления "Соборян". Первые рецензенты, особенно из радикального лагеря, напротив того, не упускали случая предъявить Лескову-Стебницкому старый счет. В этом отношении вполне рядовым был отклик Н.К.Михайловского на хронику: «Я совсем обойду ту инсинуационную, плоскую литературу, представителем которой можно признать хоть г. Стебницкого, показавшего в своих "Соборянах", что для него не существует предел "Некуда"»[23].

Интересно, что и еженедельник "Всемирная иллюстрация" — издание, отнюдь не враждебное Лескову, тяготевшее к нейтральной позиции в борьбе литературных партий 1870-х годов, поместил подчеркнуто прохладное, если не скрыто язвительное, сообщение о выходе в свет первого отдельного издания "Соборян": "У Стебницкого, обладающего несомненным талантом, хотя и весьма резко и своеобразно очерченным, — есть свой обширный круг читателей, и мы считаем своевременным оповестить их о выходе в свет одного из крупных произведений автора"[24]. И все же вовсе не случайно — не только в силу разного рода аберраций (а таковых в истории восприятия Лескова было немало) и не только в силу кореннных метаморфоз общественных настроений — уже к 1880-м годам тенденциозность "Соборян" отходила на второй план, тускнела на фоне новой эпохи, и широкое бытование получила легенда о "чистой художественности" хроники.

Сам текст давал к тому основания. Во-первых, как и многие произведения Лескова, он способен разными гранями актуализироваться в читательском сознании, допуская внешне противоречивые интепретации. Во-вторых, миф о "чистой художественности" "Соборян" был спровоцирован эстетической новизной хроники: во многих отношениях она оказалась настолько необычной, столь решительно шла вразрез с литературной привычкой, что хорошо известная современникам тенденци-

озность Лескова-Стебницкого в конечном итоге вытеснялась более яркими впечатлениями.

Показательно, что в 1889 г. Лесков открыл свое первое, оказавшееся единственным, прижизненное собрание сочинений именно "Соборянами", причем принял это решение по совету своего издателя А.С.Суворина. Здесь значима и авторская оценка хроники как наиболее репрезентативного текста, и сама по себе рекомендация Суворина, возглавлявшего, между прочим, в годы создания "Соборян" крестовый поход левой прессы на Лескова. Уже этот факт, в сочетании со многими другими, свидетельствует о том, что ретроспективному взгляду — даже взгляду самых горячих участников полемики 1860—1870-х годов — всего десятилетие или полтора спустя хроника открывалась как произведение рубежное, принесшее настоящее признание и обеспечившее нечто вроде прощения автору "Некуда"

Отношение самого Лескова к хронике тем не менее всегда колебалось.

"— Ахилла ввел меня в Европу,— говорил он с гордостью после того, как этот дьячок появился в переводе на французском языке"[25]. Эта запись, сделанная А.И.Фаресовым, первым биографом и младшим современником Лескова, относится к концу жизни писателя. Однако тогда же, в последние годы, Лесков страстно отказывался от "Соборян": «...теперь я бы не стал их писать и охотно написал бы "Записки расстриги"»[26].

Приведенное признание адресовано Л.И.Веселитской в 1893 г. (не единственное подобное признание, сделанное в те годы). Почти двадцатилетием ранее, всего три года спустя после появления хроники в печати, Лесков подверг "Соборян" довольно мрачной переоценке. В 1875 г. в письме к П.К.Щебальскому из-за границы он почти отказывался от хроники: «Вообще сделался "перевертнем" и не жгу фимиама многим старым богам. Более всего разладил с церковностью, по вопросам которой всласть начитался вещей, в Россию не допускаемых <...> Более чем когда-либо верю в великое значение церкви, но не вижу нигде того духа, который приличествует обществу, носящему Христово имя <...> Скажу лишь одно, что прочитай я все, что теперь много по этому предмету прочитал, и выслушай то, что услышал, — я не написал бы "Соборян" так, как они написаны, а это было бы мне неприятно» (X, 411—412).

Менялись религиозные взгляды, под знаком которых Лесков возвращался к хронике, существенную эволюцию прошли и общественные настроения писателя — отсюда значительные колебания и пристрастность авторских суждений о "Соборянах" Однако Лесков никогда не мог просто отвернуться от этого произведения: в разных контекстах и с различной коннотацией — и негативной, и позитивной — оно всегда оставалось едва ли не главным предметом авторефлексии, всегда упоминалось как поворотный факт литературной судьбы, как мера художественного совершенства, как текст надличностного плана, впитавший в себя опыт поколений. В незавершенной заметке 1880-х годов Лесков начал изложение своей литературной биографии именно с "Соборян", связывая хронику с глубинными пластами семейной памяти: «Из рассказов тетки я почерпнул первые идеи для написанного мною романа "Соборяне", где в лице протоиерея Савелия Туберозова старался изобразить моего деда, который, однако, на самом деле был гораздо проще Савелия, но напоминал его по характеру» (XI,15).

Лесков-писатель обладал чем-то вроде неспособности к отчуждению своих текстов. Уже давно напечатанные произведения он как будто не считал завершенными, продолжая их комментировать, интерпретировать, примысливать к ним новые значения, источники и мотивы. Собственное творчество всегда лежало перед ним открытым для мифологизации полем — обширным владением, нуждающимся в неустанных попечениях хозяина. Но даже на этом фоне его настойчивое обращение к "Соборянам" выделяется частотой и внутренней подвижностью. Писатель создавал вокруг хроники зону повышенного напряжения, что отчасти объяснялось историей создания текста — огромными затратами творческой энергии, которой он потребовал.

Годы работы над "Соборянами" — это годы смелого экспериментаторства, приобретавшего иногда саморазрушительный характер: отшлифованные, высоко оцененные в дружеском кругу, частично уже опубликованные фрагменты могли кардинально перекраиваться, иногда уничтожаться. Как легко убедиться из сравнения

разных редакций хроники, Лесков не раз менял русло повествования, тасовал и перетасовывал центральных персонажей, варьировал стилистические принципы — вырабатывал свой художественный язык. При этом он пытался вместить в хронику такое богатство содержания, столь широкую панораму событий, так густо представить идеологический фон эпохи, что изначальный замысел неизбежно распался, однако накопленного материала хватило надолго.

Даже тот тип героя, вокруг которого циклизовались написанные много позднее рассказы о “праведниках”, получил уже вполне законченное оформление на страницах “Соборян” Речь идет прежде всего о Константине Пизонском (в окончательном тексте он стал эпизодическим персонажем, но в первой журнальной редакции этот герой занимал центральное место в сюжете). В Пизонском сконцентрированы константные черты лесковского “праведника”, уточнявшиеся и варьировавшиеся в последующие годы: низкое место в общественной иерархии и вместе с тем высокий нравственный статус в рамках замкнутого социума; атрофированная или подавленная сексуальность (что доведено до комедийных форм) в сочетании с культом семьи и самозабвенным служением близким (в “Несмертельном Головане” главный герой создает “безгрешную семью”, и здесь этот мотив лишен уже комического оттенка, предполагая самую высокую — евангельскую — параллель); нелепая, странная, выпавшая из “своей препорции” внешность; “зеркальное” по отношению к общепринятому поведение.

Не менее показательна в перспективе всего творчества Лескова фигура дьякона Ахиллы, “удалого” великана, “который живет как стихийная сила, не зная сам, для чего и к чему он поставлен” (IV, 203). В нем угадывается общий абрис Ивана Флягина, Шерамура, отчасти даже Левши.

О пробном характере этих образов свидетельствует то обстоятельство, что Пизонский, например, выстроен еще в прямой ориентации на гоголевского Акакия Акакиевича: нагнетаются детали и ситуации, вызывающие пронзительную жалость к убогому герою, предмету насмешки окружающих, причем параллель усиливается тем, что Пизонский претерпевает особые страдания на писарской должности. Однако в дальнейшем тот же набор характеристик реализуется уже без непосредственной ориентации на традицию и уверенно воплощается в таком, например, “неимоверном” “мифическом лице” с “баснословной репутацией” (VI, 357), как главный герой “Несмертельного Голована” (1880).

В рукописной редакции хроники есть персонаж, ротмистр Порохонцев — своего рода черновой набросок Голована, нагруженный, однако, таким богатством характеристик, иногда полярных, что герой в итоге не состоялся (в окончательной редакции он появляется эпизодически и автора почти не занимает). Образ распался, оставшись для нас оригинальным памятником лесковского экпериментаторства. Порохонцев наделен чертами исключительного благородства, предвосхищающего “праведность” Голована: чтобы спасти давнего друга от позора и банкротства, он не задумываясь продает свое имение, женится на его благодарной дочери, обеспечивая тем самым семью друга (по первой версии — он прикрывает грех девушки), и хотя “женившись <...> он не был мужем”, “Порохонцев наивно хитрил и рассказывал <...> какой он до сих пор повеса и сколько виноват перед своей женой” (л. 36). Вместе с тем, страстный охотник до лошадей, он “надувал, как умел, лошадьми всякого”, “водился с барышниками и цыганами”, “держал у себя казачками своих же побочных детей и заставлял себя мыть и купать прежнюю свою фаворитку Аффимью” (л. 36 об.).

Все эти пробные характеры и отброшенные сюжетные варианты, через которые шел Лесков в работе над хроникой, свидетельствуют о попытке создать произведение большой формы и, с одной стороны, выйти за рамки антинигилистического романа, уйти от памфлетности, с другой — дать настоящий отпор нигилистам, полностью рассчитаться с ними, нанести им сокрушительное поражение.

Симптоматично, что мотивы воцарения “вечной правды” тесно — по антитезе — связаны с антинигилистической линией повествования, о которой поспешно забывали современники, но которая составляет органичную часть хроники. Ведь проповедь Туберозова потому и названа в черновике “чудной, странной”, а в окончательном тексте “не проповедью, а революцией”, что хилиастические мотивы имеют христианско-социалистический субстрат. По-видимому, и рождаются эти мотивы в

качестве антитезы разрушительной энергии нигилистов. Недаром уже в начале рукописи словом "предприятие", выступающим в роли тайного кода, заимствованного у противников (в первую очередь у Чернышевского), описываются в равной мере как намерения нигилистов, так и решимость Туберозова "ополчиться" за веру. Тем самым подчеркивается со- и противопоставленность этих линий сюжета.

Видимо, "Соборянами" — если иметь в виду всю совокупность редакций — надо датировать поворот Стебницкого к Лескову. Хроника начинает печататься и в рукописи представлена как произведение Стебницкого, но выходит в итоге в "Русском вестнике" за подписью Лескова. "Соборяне" — действительно поворотное произведение писателя. И главное выражение этого поворота — образ Туберозова.

Во всех отзывах о "Соборянах", исходивших из ближайшего окружения Лескова, даже в тех случаях, когда прямо было высказано недовольство прочитанным, протопоп Туберозов оценивался неизменно высоко. Близкий приятель Лескова в 1870-е годы, переводчик Сведенборга, один из самых известных в ту эпоху спиритов, А.Н.Аксаков, прочитав хронику в "Русском вестнике", находился под глубоким впечатлением от первой части "Соборян", в особенности от "Демикотоновой книги" протопопа Туберозова, но не скрыл своего глубокого разочарования продолжением. В июле 1872 г. он писал Лескову о второй части хроники: «...жаден был прочитать ее, хотя опасался, и не без основания, что не чета будет первой, т.е. собственно "дневнику" <...> К сожалению, "дневник" глохнет в остальном, можно сказать, затирается им» [27].

Дневник Савелия Туберозова поражал прежде всего необычной стилистикой, а сам по себе образ протопопа, как писал В.Г.Авсеенко (в то время постоянный собеседник Лескова) "сосредоточивал на себе интерес хроники" Еще до окончания публикации "Соборян" в "Русском вестнике" Авсеенко, видимо, знакомый уже с полным текстом хроники, утверждал, что есть все основания отнести Туберозова к категории "вечных типов"[28]. Именно этот образ привлек к хронике внимание и рецензентов духовных изданий — "Руководства для сельских пастырей" и "Православного обозрения" (стоит здесь отметить, что и журнал "Странник", чей отзыв приведен в самом начале, — тоже авторитетный духовный журнал)[29]. И наконец, А.П.Милюков, один из самых близких Лескову литераторов рубежа1860—1870-х годов, внимательно следивший за трансформацией замысла, читавший все редакции хроники и расценивший окончательный текст как обманутое ожидание, в письме к Г.П.Данилевскому высказал немало претензий в адрес автора "Соборян" Он упрекал Лескова за то, что тот пожертвовал цельностью и стройностью повествования, за то, что "чудные" и "грациозные" образы на последнем этапе работы ушли из текста или стали "почти ненужными", — но все-таки фигуру протопопа по-прежнему ценил высоко, выделяя его "глубокохудожественный" дневник и называя одну из центральных сцен хроники, где Туберозову отведена главная роль, "страницами, под которыми не задумался бы подписать свое имя Диккенс"[30].

Возможно, повышенный интерес лесковского окружения к Туберозову и высокая оценка этого образа связаны были с тем, что в окончательной редакции хроники протопоп оказался едва ли не единственным носителем хилиастических мотивов, которые занимали Лескова, судя по рукописной редакции, с самого начала. А.П.Милюков, В.Г. Авсеенко, А.Н.Аксаков могли быть знакомы с замыслом еще на ранних стадиях работы над хроникой (в их кругу Лесков вслух читал еще далеких от завершения "Соборян") и, значит, воспринимали Туберозова в особом ключе. Возможно, их разочарование объяснялось приглушенностью первоначальных мотивов в окончательной редакции "Соборян"

Милюков извинял художественные издержки хроники тяжелыми житейскими обстоятельствами Лескова: "Конечно, Николай Семенович скажет на это: хорошо вам толковать, не принимая в расчет ни истории моего романа при скитании его по мытарствам нашей журналистики, ни того, что я не владею состоянием Толстого и Тургенева, а живу трудом и не могу целые годы сидеть над 20 листами"[31]. У Лескова действительно не было сложившегося быта, он вел в те годы жизнь литературного пролетария. И хотя сам он связывал серию неудач (если не провалов, предшествовавших появлению "Соборян" в катковском "Русском вестнике") с трудным, даже двусмысленным своим положением в журнальном мире — а у него в самом деле было к тому немало оснований,— однако характер работы писателя над рукописью убежда-

ет, что драматичная издательская судьба хроники определялась ее сложной творческой историей: преобразовывался композиционный каркас, смещались сюжетные линии (многие из них уступили место новым сюжетам, многие выпали вовсе), происходили глубокие метаморфозы в системе персонажей. Самое главное, изменилось место в хронике протопопа Туберозова, превратившегося из рядового действующего лица в главного героя. Движение его образа — следствие общей трансформации замысла.

Обратимся к узловым, посвященным Туберозову эпизодам хроники как к факту творческой истории "Соборян"

IV

В финале третьей части "Соборян", в композиционном центре хроники, помещен эпизод, внезапно переломивший спокойный ход повествования: размеренная жизнь главного героя, неспешное течение событий в Старом Городе, идиллическая картина захолустного быта — все это рухнуло почти внезапно вслед за эпизодом грозы, застигшей протоиерея Туберозова "одним-одинешенька среди леса и полей" рядом с "гремучим ручьем" (IV, 226). Описание "нестерпимого дыхания" грозы, "дремотных мечтаний" протопопа и пережитого им во время грозы потрясения исполнено мистического смысла. "И мнится ему, что сейчас возле него стоял кто-то прохладный и тихий в длинной одежде цвета зреющей сливы..." (IV, 224). Это видение, явившееся герою на грани сна и яви, внезапно исчезает, даже не упоминаясь в дальнейшем. Но сразу вслед за тем, без всякой, однако, видимой связи, "Туберозову приходит на память легенда" о "чудесном происхождении" ручья (IV, 225), рядом с которым он встречает грозу: "Образование этой котловины приписывают громовой стреле", ударившей в "изнемогшего в бою русского витязя", которого, по преданию, "отовсюду облегла несметная сила неверных": он "взмолился Христу, чтобы Спаситель избавил его от позорного плена", — "в то же мгновение из-под чистого неба стрекнула стрела и взвилась опять кверху", а на месте, где стоял раненый витязь, "бил вверх высокою струей ключ студеной воды"

Торжественный образный строй этого фрагмента и "грозовая" атмосфера всего эпизода изымают Туберозова из будничной, обыденной обстановки, в которой он до сих пор жил. В его судьбе наступает трагический перелом. Едва избежав гибели от молнии, на краю чудесного ручья протопоп получает нечто вроде таинственного предвестия, и у него крепнет решимость действовать — "ссориться" и "страдать" за веру (IV, 183). Приподнятое состояние героя автор передает цитатой из Псалтири: "Словно орлу обновились крылья!" (IV, 229; см. Псалом 102, ст. 5). Видимым образом оправдывается предание о том, что родник наделен "чудотворной силой" и что здесь живо "всегдашнее таинственное присутствие Ратая веры" (IV, 225).

Вернувшийся домой протопоп собирает в храме весь город и произносит "удивительную" проповедь, вызвавшую общее недовольство и брожение: «...я порицаю и осуждаю <...> торговлю совестью, которую вижу пред собою во храме. Церкви противна сия наемничья молитва <...> Пусть лучше будет празднен храм, я не смущуся сего: я изнесу на главе моей тело и кровь Господа моего в пустыню, и там пред дикими камнями в затрапезной ризе запою: "Боже, суд Твой цареви даждь и правду Твою сыну цареву", да соблюдется до века Русь <...>» (IV, 232).

Проповедь Туберозова с очевидностью вписывается прежде всего в остро звучавший для Лескова злободневный контекст. Сознание "лжи церковной", унижения и нравственной немощи духовенства, равнодушия и невежества паствы, и главное, ослабления "духовных уз" между приходом и причтом, — все это стало в 1860-е годы, в эпоху обсуждения назревших (и действительно готовившихся) преобразований в церковной жизни, одной из болезненных проблем, постоянно находившихся в поле зрения Лескова[32].

В более разработанном и значительно более детализированном виде, чем в окончательном тексте, эта злободневная проблематика вошла в рукописную редакцию хроники. Так, в ходе долгого диалога Туберозова с предводителем дворянства Тугановым, безбожником и вольтерианцем, тем не менее любимым собеседником протопопа (эта сцена в дефинитивном тексте "свернута" до одной страницы, тогда как в черновике она занимает огромную главу, ставшую средоточием важнейших идеоло-

гических мотивов хроники), Туберозов горько жалуется: "Нестерпимо, что дело церковное гибнет. Упразднить ее, что ли, совсем, веру эту... меньше будет порицаний... чем над нею смеяться. По крайности поворот будет сам собою. Русь не безумна, сама схватится" (л. 158 об.).

Подобного рода радикальные суждения о кризисе церкви рассыпаны по всему черновику, причем вложены не только в уста Туберозова. О том же — об изгнании "самой христианской идеи" из общества — говорит один из эпизодических персонажей, безымянный священник, упомянутый как опасный вольнодумец в доносе экснигилиста Борноволокова, заглаживающего верной службой грехи молодости. О том же размышляет и скептик Туганов: "Веру режут, да уж почти и зарезали" (л. 188 об.). Более того, как читатель узнает со слов Туганова, не лучшего мнения о церковной жизни и сам архиерей: «...все скорбит, что людей нет: "Я, говорит, плыву по обуревающей пучине на расшатанном корабле с пьяными матросами"» (л.168). Примечателен, наконец, диалог Туберозова с Тугановым:

" — Свобода совести необходима, и очень жаль, что ее нет еще.

— Церковь несет большие порицания за это" (169 об.; ср.: IV, 188).

Симптоматично, что на страницах рукописной редакции часто — и в самом высоком контексте — упоминается имя И.С.Аксакова, одного из самых авторитетных в 1860-е годы защитников самодеятельности и независимости церкви, много писавшего о царящей в церковном управлении "стихии казенности", о забвении пастырского призвания церкви, об ослабленной связи между пастырем и пасомыми, что создавало угрозу распада "того духовного народного единства, которого не заменит никакое внешнее и формальное единство государственное"[33]. По тому пиетету, которым окружено в рукописной редакции имя Аксакова, ясно, что его позиция во многом, если не полностью, была близка писателю. В период работы над "Соборянами", вероятно, и выяснилась почва для стремительного, пришедшегося на 1870-е годы сближения Лескова с Аксаковым. Писатель искал сочувствия, и Аксаков казался ему фигурой, подходящей на роль вдохновителя и конфидента. Очень скоро, однако, эти надежды рассеялись — обнаружились непреодолимые разногласия, пометившие собой важный поворот в идеологической биографии писателя и ставшие знаком отступления от аксаковского направления мысли, которое для Лескова, как показывает рукописная редакция "Соборян", в конце 1860-х годов во многом было притягательно.

Но, конечно, не только выступления аксаковских газет "День" и "Москва" учитывал Лесков, вкладывая в уста Туберозова страстное порицание "торговли совестью" в храме.

В черновой редакции "Соборян" есть немало фрагментов, как будто вырезанных со страниц острых передовых по церковному вопросу. Любопытно, что в некоторых случаях — специально, правда, оговоренных, оформленных как чтение газет героями хроники — писатель в самом деле вклеил в рукопись, предварительно сократив и отредактировав, вырезки из "Биржевых ведомостей", где сам в те годы интенсивно сотрудничал. Эти вырезки — наглядная иллюстрация исходного материала, питавшего замысел "Соборян" Однако среди источников такого рода на первое место должны быть поставлены не издания Аксакова и даже не газеты, где сотрудничал писатель, но оживившаяся в 1860-е годы духовная журналистика.

По-видимому, и проблематику "Соборян", и возбужденный хроникой резонанс нельзя понять, не учитывая сложившейся в те годы атмосферы, когда такие духовные издания, как "Православный собеседник" и "Православное обозрение", несколько позднее — и "Церковно-общественный вестник", читались в самых разных слоях общества и открывали свои страницы для сотрудничества светских писателей, в число которых в 1870-е годы вошел и Лесков. Что же касается 1860-х годов — времени работы над хроникой, — то ряд источников, и в частности рукопись "Соборян", позволяют рассматривать журнал "Православное обозрение" как издание, входившее в круг постоянного чтения Лескова.

«Наилучший духовный журнал нашего времени, — пишет автор хроники, сливая свои размышления с несобственно-прямой речью Туберозова, — недавно сказал: "Слово само собою уже становится бессильно: нужны подвиги"» (л. 25 об.). Эту фразу Лесков любил цитировать — он "обживал" ее в разных произведениях и в разных контекстах. В окончательную редакцию "Соборян" она вошла в преображен-

ном, до сих пор нераспознанном виде, разложенная на несколько реплик главного героя. В ответ на замечание Туганова о том, что новая эпоха вывела из употребления такие понятия, как "идеал" и "вера", Туберозов "улыбнулся и, вздохнув кротко, ответил, что прошло не время веры и идеалов, а прошло время слов", и даже "дел теперь тоже мало": нужны "подвиги" (IV, 183).

Под "наилучшим духовным журналом" Лесков имел в виду "Православное обозрение", поскольку вольно цитировал здесь фрагмент из статьи постоянного сотрудника этого издания священника М.Я.Морошкина, часто с пиететом упоминавшегося Лесковым. В одном из "Обозрений французской богословской журналистики" Морошкин писал: "Теперь ничего не сделаете с обществом одними благочестивыми размышлениями, подборкою текстов и отрывочных мыслей святых отцев <...> Мало этого: чтобы пробудить от сна эту бесчувственную толпу, нужно, кроме сочинений такого рода, действовать на нее примерами, поразительными действиями самоотвержения, благочестия, любви, подвижничества <...> В настоящую эпоху от богослова требуется проповедь не только глубоко ученая, но и деятельная, требуется апостольство первых веков, мужество исповедничества, даже мученичества"[34]. Эта цитата "проникла" в хронику не раньше января 1868 г., когда и была напечатана статья Морошкина. Значит, к моменту публикации "Божедомов" в "Литературной библиотеке" (январь того же года) этот мотив — столь важный для окончательного текста — еще не был введен в текст. Этот пример позволяет убедиться, что работа над хроникой интенсивно шла на всех этапах и что после появления журнальных "Божедомов", казалось бы, таких близких окончательному тексту, Лесков вносил еще очень существенные изменения в хронику.

Правда, высокие слова о подвиге вообще были в духе 1860-х годов, они входили в набор широко обращавшихся, если не затертых, риторических фигур эпохи. Недаром после приведенной фразы Туберозова сразу следует неточная цитата из Некрасова ("Век жертв очистительных просит")[35], с которым в других фрагментах рукописи велась острая полемика. Перекликаются эти слова и с передовыми статьями из газеты "День": "...нам нужно восстановить духовную цельность нашего народного организма <...> — писал Аксаков в 1865 г., — для этого требуется личный и вовсе нелегкий нравственный подвиг от каждого из нас порознь и всех в совокупности"[36]. В целом текст черновика в большей мере, чем окончательный, впитал лексику и споры, литературные и общественные реалии 1860-х годов, что дает возможность сегодня реконструировать ту питательную среду, в которой складывался замысел "Соборян", и вместе с тем проследить за его трансформацией. Растянутая на несколько лет напряженного труда, задуманная на исходе 1860-х годов, но в полном виде воплощенная лишь в 1872 г., хроника вобрала в себя интеллектуальный опыт писателя, приобретенный в одну из самых бурных эпох в истории русского общества, к которой Лесков позднее всю жизнь, во многих своих крупных замыслах, возвращался. Стоит, кстати, обратить внимание, что подзаголовок рукописной редакции "Соборян" — "Повесть лет временных" — совпадает с подзаголовком задуманного в конце 1870-х или начале 1880-х годов и неосуществленного романа "Соколий перелет", где, по замыслу писателя, "изображался" путь русского общества за последние двадцать лет: «В романе я хотел изобразить "перелет" от идей, отмеченных мною двадцать лет назад в романе "Некуда", — к идеям новейшего времени» (XI, 222)[37].

Итак, если в черновой рукописи "Соборян" критические оценки церкви разлиты по всему тексту и отданы, как видно, разным героям — и главным, и эпизодическим (даже безымянным), то в окончательной редакции они сконцентрированы в устах Туберозова и "сгущены" до одной—двух фраз, выделенных, однако, композиционно: эти фразы звучат в дневнике Туберозова, в финале его бунтарской проповеди, наконец, в сцене кончины протопопа, т.е. в поворотные моменты повествования. Умирающий Туберозов говорит о преследовавшем его церковном начальстве: "...букву мертвую блюдя... они здесь... Божие живое дело губят..." (IV, 284) — и эти слова героя на краю могилы оказываются более весомыми в структуре целого, чем многостраничные критические пассажи черновика.

В итоге в последней редакции хроники злободневная тематика не то чтобы затушевана или отодвинута на периферию, но "сжата" и почти зашифрована — нуждается во всяком случае в опознании. Показательно, что в окончательном тексте "Собо-

рян" Туберозов почти случайно, со слов уездного предводителя Плодомасова (см.: IV, 186), узнает о "современных реформах в духовенстве" Протопоп как будто стоит в стороне от событий эпохи, на обочине или, как он сам выражается, "далеко <...> в угле" (л.159). Не менее симптоматично, что проект протопопа об улучшении быта духовенства отнесен в окончательной редакции к ранним годам его служения, т.е. к 1830–1840-м, тогда как предложения протопопа органично вписываются в длинный ряд подобных проектов, широко обсуждавшихся в печати в пореформенную эпоху. Этот характерный для автора "Соборян" прием смещения хронологии продиктован, вероятно, желанием ослабить жесткую связь главного героя с эпохой, избежать его трактовки лишь как реплики на споры 1860-х годов (хотя бы и реплики целого сословия). Видимо, с этой же целью писатель вывел из окончательного текста образ двойника Туберозова — священника-обличителя, упомянутого в доносе экс-нигилиста Борноволокова, — и последовательно убрал все упомянутые в черновике имена реальных духовных лиц, которые выступали на политическом поприще и могли, с разной мерой условности, рассматриваться как прототипы Туберозова.

Главный герой в конце концов приобретает черты единственности, если не исключительности, а идеологический субстрат образа подчеркнуто не ограничивается злободневным смыслом.

«Не хлопочи: жизнь уже кончена; теперь начинается "житие"» (IV, 235), — говорит Туберозов испуганной протопопице перед собравшейся толпой, когда его увозят по доносу в губернский город. Уже этот эпизод, передающий напряжение высокого накала, подсказывает, что поступки протопопа моделируются каким-то высоким образцом, а торжественная образность его проповеди — не просто пример церковного красноречия. Здесь пробивается на поверхность, полунамеком дает о себе знать скрытый план повествования, подробнее всего развернутый в черновой редакции хроники, где все эти поворотные в жизни Туберозова события, включая и бунтарскую проповедь, и сцену грозы, поданы существенно иначе, чем в окончательном тексте.

В цитированном выше финале проповеди Туберозова звучат два мотива, которые до сих пор, не располагая черновой редакцией хроники, исследователи не имели повода специально выделять и тем более анализировать как нечто самостоятельное, несущее важную смысловую нагрузку. Рукопись хроники, точнее, идущая от нее образность, включенная в свернутом виде и в окончательный текст, дает к тому основания.

В проповеди Туберозова различим прежде всего идеал пустынножительства «"...я изнесу на главе моей тело и кровь Господа моего в пустыню и там пред дикими камнями <...> запою"» и вместе с тем не вполне четко, но все же узнаваемо выговаривается мессианская идея: "...да соблюдется до века Русь, ей же благодеял еси!" (IV, 232).

Первый из этих мотивов получает парадоксальную реализацию в сюжете, представая в инверсированном виде: протопоп "уходит" в молчание и одиночество, отказываясь, вопреки требованию начальства, покаяться. Тем самым он превращает наказание в добровольный уход: "Туберозов сидел дома, читал Джона Буниана, думал и молился. Он показывался из дома редко, или, лучше сказать, совсем не показывался, и на вопросы навещавших его людей, почему он не выходит, коротко отвечал: — Да вот... все собираюсь. — Он действительно все собирался и жил усиленной и сосредоточенною жизнью самоповеряющего себя духа" (IV, 274). Бунтарской проповедью Туберозов завершил "все свое служение церкви" (IV, 233) и до конца жизни остался разлучен со своею паствой (лишь в гроб Туберозова кладут в иерейском облачении — после его смерти карлик Николаша привозит бумагу с официальным прощением).

Эта инверсированная реализация мотива ухода объясняется тем, что не сам по себе идеал пустынножительства привлекает Туберозова. Протопоп скорее настроен воевать в миру — "ополчаться" и "сражаться" Недаром в черновой редакции хроники он уподоблен "не русскому попу <...> а разве гарибальдийскому" (л. 270 об.), а в окончательной Туганов с легкой иронией говорит о вечной готовности Туберозова "ссориться" (IV, 183). Близок герою более широкий комплекс настроений, связанный с мотивом ухода. Речь идет о глубокой апокалиптической тревоге, острой тоске по миру преображенному, вере в водворение царства правды на земле.

В окончательной редакции "Соборян" туманно и полузагадочно говорится и о тревожных настроениях Туберозова, утвердивших за ним репутацию "маньяка" (IV, 183), и о его хилиастической мечте, которую вполне можно воспринять как выражение неопределенных надежд на изменения к лучшему: "Чуден и светел новый храм возведут на Руси, и будет в нем светло и тепло молящимся внукам" (IV, 152). Не без патетики рассказано далее о пережитом дьяконом Ахиллой кризисе, когда — ближе к финалу хроники — он проникается трагическими предчувствиями протопопа и умоляет в своей покаянной молитве "и за себя, и за весь мир <...> удержать праведный гнев, на нас движимый!" (IV,281). Можно привести еще несколько подобных примеров, но все они в дефинитивном тексте хроники носят "точечный" и не вполне проясненный характер: могут быть истолкованы как случайные, не укладывающиеся в систему штрихи, мотивы, образы, по разным причинам и с различными заданиями введенные в текст. Однако в рукописной редакции весь этот комплекс мотивов находит прямое, развернутое и очень настойчивое осуществление, что дает основания "ревизовать" и окончательный текст хроники.

В цитированной выше беседе Туберозова с предводителем Тугановым есть примечательный диалог. В ответ на реплику Туганова: "...европеизм для нас сегодня и вред, и глупость", протопоп, с жаром подхватывая его мысль, высказывает свое давнее намерение, остававшееся до сих пор тайной для читателя: " Вот, вот, вот! и я тебе скажу <...> что я себе решил, что против этого пора ополчиться <...> Конечно, я далеко стою в угле, из которого меня нигде не видно, но ведь скажи, пожалуйста, вон век-то древних христиан! Да даже в позднейшее вот время у раскольников... вот Аввакум, знаком чай?" (л. 159).

Намерение "ополчиться" герой связывает с возвратом к чистоте веры, с отказом от лежащего в грехе мира и проецирует свою решимость сразу и на времена первохристианства, и на старообрядческий протест. Эта двойная ассоциация поддерживается и внутренне мотивируется тем, что сами раскольники уподобляли себя ранним христианам. На первом плане здесь, конечно, стоит параллель с расколом, звучавшая для обоих собеседников исключительно актуально.

Проблема старообрядцев, знаменовавшая собой один из самых трагических конфликтов русской истории, получила особый резонанс в полемике 1860-х годов и оказалась вовлеченной в ключевые коллизии эпохи: радикальные круги (начиная с А.И.Герцена) делали политическую ставку на оппозиционность раскольников, что вызвало сложную реакцию во всех слоях общества, поскольку, веками остававшаяся неразрешенной, эта проблема аккумулировала конфликтный потенциал социума. Лесков оказался отнюдь не беспристрастным участником полемики, вспыхнувшей вокруг раскола в те годы.

Еще в начале 1860-х годов по заданию министерства внутренних дел он ездил в Ригу изучать вопрос о школах для детей раскольников и напечатал по возвращении брошюру, далеко выходившую за рамки первоначального задания: тот образ "людей древлего благочестия", который сформировался у Лескова в эту поездку, навсегда вошел в публицистику писателя, в равной мере интересовавшегося и бытом, и религиозными убеждениями раскольников. В пику радикальной прессе Лесков настаивал на их политической лояльности и приобщенности к общенациональной жизни, в пику церковной казенщине — на "истовости" их веры, глубокой искренности и фанатизме. В этой трактовке раскола Лесков вновь оказался близок Аксакову, писавшему в 1864 г., что раскольники — "действительно православные и только вследствие разных невежественных недоразумений отвергают общение — не с православием вообще, а с внешним проявлением православия в России со времен патриарха Никона. Старообрядцы не еретики, но сектаторы, — народная история их одна с прочими русскими; они воспитались от единой духовной трапезы" и сохраняют "полную верность" "духовному историческому началу русской народности"[38].

Найденное в "Соборянах" решение темы раскола в общих чертах отвечало публицистике Лескова. В "Чающих движения воды" (первой журнальной редакции хроники) неотделимость старообрядчества от национальной истории и культуры, устремленность раскольников к воссоединению со всем народом выражена даже сюжетно, что предваряло появившийся позднее рассказ "Запечатленный Ангел", где проблема национальной разобщенности и ее преодоления рассматривалась сквозь призму конфессионального раскола[39]. В "Чающих движения воды" духовный лидер

старообрядцев, много претерпевший за веру, до такой степени воодушевлен победой над Наполеоном, что присоединяется к господствующей церкви, объясняя свое решение собравшимся в молельне единоверцам: "разделившееся о себе царство — погибнет"[40]. Он увлекает за собой основную часть старообрядцев города. В рукописной редакции хроники мысль о неотделимости раскольников от всего народа воплощается еще настойчивее, недаром в религиозных настроениях старообрядцев Туберозов видит квинтэссенцию национального. Он напоминает Туганову о способности русского человека к горячему религиозному чувству: "Ты забываешь про раскол: его душили и жали за веру; а они ведь русские тоже" (л.158 об.). Более того, одним из прообразов Туберозова или даже непосредственным импульсом к созданию этого героя послужил протопоп Аввакум, не случайно упомянутый Туберозовым в беседе с Тугановым. Публикуемый ниже текст убеждает в том, что хроника создавалась под непосредственным впечатлением от знакомства с "Житием" Аввакума.

Впервые напечатанное Н.С.Тихонравовым в 1861 г. "Житие" протопопа Аввакума стало в ту эпоху остро переживавшимся литературным фактом, столь важным для Лескова, что он ввел образ Аввакума в рукописную редакцию хроники. Текст его "Жития" — подробный пересказ с обширными цитатами — писатель вмонтривал (фрагментами просто вклеил) прямо в рукопись, отредактировав таким образом, что собственно полемические вопросы раскола, даже сам факт споров старообрядцев с никонианами оказались тщательно затушеваны.

Лесков не по незнанию, конечно, игнорировал собственно полемическую сторону "Жития" Автора "Соборян" Аввакум занимал главным образом как критик "нестроения дел церковных", как "нетерпеливый ратоборец", "неуломный поп" (л. 23—25). Лескова привлекали те стороны его облика, которые позволяли воспринимать Аввакума в большом историческом времени и давали основания считать его "идеалом народного попа" (л.23), сближая с "ратаем веры" любой эпохи, даже со священником середины XIX в., принадлежащим к господствующей церкви.

Писатель потому столь настойчиво проецировал Туберозова на фигуру Аввакума, что категорически не разделял мысли о политической оппозиционности старообрядчества, о его отчужденности от нации в целом. Более того, Лесков трактовал Аввакума как национального героя, мученика, чье имя востребовано в переломную эпоху 1860-х годов, ознаменованную высвобождением дремавших сил истории: "Он и ему подобные народные герои <...> ныне совершают великое служение сжившей их со света новой России" (л.25). Как бы заодно с Туберозовым Аввакум "и ныне" противостоит "всем перевертням и предателям", "лукавым сынам света" (л. 25 об.) — на этой мысли кончается обширный пассаж с пересказом "Жития".

Образ Аввакума в черновой редакции полностью согласуется с общей трактовкой темы раскола в "Соборянах" — темы как будто эпизодически звучащей в дефинитивном тексте, но центральной во всех известных нам — и печатных, и рукописной — редакциях, предшествовавших окончательной.

Аввакум вновь появляется на страницах рукописной редакции хроники в сцене грозы — в той сцене, где важное место занимает легендарный витязь, "ратай веры" В окончательной редакции хроники из этого фрагмента Аввакум изъят (впрямую он вообще ни разу не упоминается в дефинитивном тексте "Соборян"), и "таинственный посетитель" — мистическое видение протопопа на берегу чудесного ручья — с ним никак не соотносится, тогда как в рукописи они отождествляются. Правда, Аввакум введен в сцену грозы не раз, причем в различных обличьях. Сначала он предстает в фантастическом виде: над лесом видна лишь его "голова с красноватым лицом, отставшими ушами и непреклонными серыми глазками", а у "корня дерев" — "две стопы в старых котах" (л. 254). Затем он появляется вновь, уже наделенный атрибутами "таинственного посетителя": "...он теперь кроток и тих, и голос его мягок, как шум ручейка, и на нем чудная ряса цвета созревающей сливы": "Я, брат, длинно не думал, — говорит он Савелию, — я бит и увечен и за старую Русь как гусь сжарен" (л. 255).

И само по себе появление Аввакума, и его реплики позволяют раскрыть, как кажется, исходный смысл сцены грозы. Все три центральных образа этого фрагмента — "витязь, обложенный неверными", Аввакум и Туберозов — сливаются в образе "ратая веры" Связующая их внутренняя логика в черновике обнажена, вытянута на поверхность. Недаром спустя несколько страниц протопоп, идущий в храм в день

проповеди, уподоблен “воину, который с тяжелыми думами идет навстречу вражескому строю <...>” (л.259). В этом контексте весомо — как исповедание веры — звучат предыдущие реплики Туберозова о желании “ополчиться” и “порадеть за веру”: “Правда запечатленная святее выжидающей и крепче” (л. 160).

Объединяются все эти три образа и поворотом конфессиональной темы, характерным для всего творчества Лескова 1870-х годов. В судьбе каждого из этих персонажей “радение за веру” сливается с “ревностью к России”, подвиг веры отождествляется с патриотизмом. Недаром в цитированной выше беседе Туберозова с Тугановым слова протопопа о намерении “ополчиться” звучат сразу вслед за разговором героев об угрозе “европеизации” русского общества. Аввакум в сцене грозы кричит в уши Туберозову: “я <...> за старую Русь <...> сжарен”; а в изложение “Жития” Аввакума включены отсутствующие в первоисточнике слова о “страсти русских князей и бояр изменять отческой вере” (зачеркнут вариант, позднее отозвавшийся в рассказе “На краю света”: “молиться чужому Богу” — л. 24). Наконец, легендарный витязь погибает, по преданию, обложенный “неверными”: ратный подвиг неотделим здесь от “радения за веру”

Все три персонажа, совмещающие патриотическое рвение с подвигом веры,— эмблема национального самостояния. Читая черновую рукопись “Соборян”, мы получаем редкую возможность проследить за тем, как Лесков искал ключ к художественному решению этой центральной мифологемы русского сознания — отождествлению национального с конфессиональным.

В сцене грозы отчетливо звучит и тема высокого призвания России: “Здесь Русь, в которой несть ни лести, ни киченья. Она, избранница небес, здесь Богу одному послушна, ждет, покуда час призванию ее великому ударит” (л. 240). Создавая надвременной образ подвижника-богатыря, Лесков связывал этот образ с мессианскими мотивами. Ими и обусловлена характерная для черновика экзальтированная интонация и повышенная пафосность описаний, фрагментами переходящих в ритмизованную прозу и в изобилии включающих поэтические цитаты (так, в приводимом далее примере неточно цитируется “Руслан и Людмила”): “Здесь томно горлицы воркуют и тяжко крячет ворон над разодранной добычей: здесь русский дух, здесь Русью веет. Отсюда русских снов и саг ручьи живые льются. Здесь сын земли вдыхает в грудь свою земли своей непобедимую, спокойную отвагу” (л 240).

В окончательном тексте “Соборян” Лесков решительно снизил интонацию, о чем позволяет судить хотя бы следующая фраза — результат авторедактуры только что процитированного фрагмента: «Мерный рокот ручья и прохлада повеяли здоровым “русским духом” на опаленную зноем голову Туберозова, и он не заметил сам, как заснул, и заснул нехотя <...>» (IV, 223—224). Эта правка отражает общее направление работы писателя, предпочитавшего в итоге спокойную, обыденную интонацию, за которой лишь пунктирно прорисовывался высокий поэтический план.

Некоторыми особенно торжественными и притязательными пассажами Лесков пожертвовал еще в рукописи. В цитированной беседе Туберозова с Тугановым протопоп формулирует свой символ веры. Текст этот многократно переработан Лесковым и все же в конце концов зачеркнут: “Я в то верую, что Русь — земля спасенная, да только не хочу, чтобы она спасения этого ужасно долго ждала. Мне, брат, сдается, что надобно запечатлеть идею пред народом, что надобно, чтоб ему пророк пришел оттуда, откуда его учат ждать только одного вреда” (л.160). Как ясно из контекста, спасение стране должна принести церковь, и Туберозов видит самого себя “пророком”, способным “запечатлеть идею пред народом” (кстати, здесь приоткрывается одно из значений полисемичного названия рассказа “Запечатленный Ангел”).

На фоне творчества Лескова следующих десятилетий приведенная фраза кажется проблематичной — настолько скептичен был зрелый писатель в отношении идеи божественной избранности и мистического предназначения России, а позднее — и в отношении способности церкви решать общенациональные проблемы. Весь этот комплекс мотивов в 1880-е годы Лесков разрабатывал то в ядовито-памфлетном, то в травестийном ключе. Однако в 1860-е ему суждено было на себе испытать их притягательность. Причем писатель находил для них оправдание, идущее из глубин народных представлений.

В рукописной редакции "Соборян" мессианская идея увязана с мечтой о царстве вечной правды: русская земля мыслится родиной и домом хилиастических надежд, которым суждено сбыться после близящихся потрясений — страшных испытаний "праведным гневом, на нас движимым" (IV, 281). Отсюда — глубокая апокалиптическая тревога, разлитая по всему тексту рукописных "Божедомов" и "точечным" образом прорывающаяся в окончательной редакции "Соборян"

В сцене грозы, в самом патетическом ее фрагменте, когда у главного героя рождается решимость "истину поднять против интриг и ковов" (л.248), в его внутренний монолог вводится неточная цитата из Библии, придающая трагическим предчувствиям героя провидческий характер — он как будто слышит гул близящихся катаклизмов: "Еще ль не слышите... там мнят уже распятым дух России и жребий мечут о его хитоне..." (л. 248). Эти слова восходят к 21 Псалму — прообразу крестных мук Христа, как они описаны евангелистами (соотвественно в Евангелиях этот образ повторяется[41]). Если первая часть Псалма имеет прообразовательное значение, то финальная — пророческое. С 24 стиха предсказано обращение к Господу "всех концов земли" и "всех племен язычников", "ибо Господне есть царство" Монолог Туберозова выдерживает, если не репродуцирует, логику первоисточника, разрешась радостным предчувствием грядущей славы: "...над ним (духом России — О.М.) пророки совершаются: воскреснет он и облечется силою и славой..." (л. 248).

Многими страницами ранее почти теми же словами возрождение России предрекает сам автор: "Дух Руси скоро свершит завет свой: скоро правда жизни воссияет и враги ее расточатся" (л. 108). Оголенность авторской позиции, в принципе для Лескова нехарактерная, последовательно выдержана в рукописной редакции, что приближает рукопись к лесковской публицистике тех лет и придает ей особое значение для реконструкции идеологической биографии писателя. Так, для понимания его эволюции важно, что в первом — отброшенном — варианте приведенной фразы акцент был несколько иной. Первоначально писатель форсировал мессианскую идею, доведя ее до экзальтированной интонации: "Дух Руси скоро свершит завет свой: скоро правда жизни осияет с Востока Европу" (л. 108). Но уже в черновой редакции Лесков отказался от этого варианта.

Тем не менее в сцене грозы, когда на Туберозова находит "наитье" "великого... страшного... непобедимого духа", неотделимость хилиастических настроений героя от мессианских предстает почти в оголенном виде и сливается с готовностью "ополчиться": "То Минин Сухорук проснулся и встает в могиле... то звон меча, который вновь берет и им препоясуется Пожарский... Вставай, вставай, наш русский князь, и рассеки своим мечом врагов родной земли хитросплетенный узел! Светильники земли родной! восстаньте вы от Запада, и севера, и моря, из стран цветущей Гурии, из киевских пещер и соловецких льдов и осветите путь встающей духом Руси! Пускай она не тешит больше убожеством своих заблудшихся сынов кичливый, гордый Запад! <...> То он, то дух, благоволящий Руси... а встречь ему... я зрю... во всеоружье правды грядет от века нам предсказанный царевич русский <...> О, я хочу коснуться вечной правды <...>" (л. 248 — 248 об.). Мысль о богоизбранности России сливается с хилиастической мечтой, осложненной злободневным планом повествования. "Свет не боится тьмы, — успокаивает себя Туберозов, с нетерпением ждавший судебной реформы и разочарованный уже первой встречей с новым судьей, — пусть кто как хочет мыслит, а всё идем к свету, всё в царство правды входим!" (л. 63 об.). В одном из зачеркнутых фрагментов хроники Туберозов прямо говорит о новой судебной системе: "...ждали равной правды для всех" (л. 20 об.). Эпоха реформ и возбужденные ею ожидания предстают как искание преображенного мира. В этом, видимо, для Лескова и заключалось особое значение фигуры Туберозова, вписывающейся одновременно и в злободневный контекст и в мессианско-хилиастический, а значит, способной соединить эти два плана повествования.

Однако в рукописной редакции не только образ Туберозова несет эту двойную нагрузку. Обширный фрагмент, текстуально близкий внутреннему монологу протопопа во время грозы (со слов "там мнят уже распятым дух России..."), обнаруживается в рукописи и значительно ранее — в развернутых авторских размышлениях об антагонисте Туберозова, нигилисте новейшей формации Термосёсове. Скорее всего мы имеем дело с различными вариантами одного и того же пассажа, дважды — в

силу рабочего характера черновика — введенного в текст. Но вряд ли правомерно было бы объяснять дело простым авторским недосмотром.

Навязчивая повторяемость мотивов в принципе характерна для рукописной редакции "Соборян" Более того, часто складывается впечатление, что тождественные мотивы беспорядочно рассыпаны по тексту, возникая то в репликах и монологах разных персонажей, то в авторских комментариях. Похоже, на стадии черновой редакции первостепенно важным для писателя был определенный комплекс идей и мотивов, плотно оккупировавших его сознание, а затем уже — их конкретное воплощение и место в структуре целого.

Однако сама по себе "привязка" почти идентичных фрагментов к героям-антагонистам неожиданна и нуждается в объяснении, тем более, что оба фрагмента написаны рукой Лескова, т.е. ни один из них не принадлежит более ранней редакции хроники, дошедшей до нас в виде писарской копии. Естественно предположить, что значительного хронологического разрыва в работе над этими фрагментами не было, и их дублирование отражает авторские колебания в поиске принципиальных сюжетных решений, обнаруживая глубинную сопряженность нигилистической линии повествования с тем, что можно обозначить как комплекс хилиастически-мессианских мотивов, выразителем которых служит Туберозов.

После первого появления на страницах хроники его антагониста Термосёсова — появления шумного, эпатирующего как решительным отступлением от канонов нигилистического поведения, так и смелой ревизией катехизиса радикалов, т.е. всем тем, что названо в черновой редакции хроники "*негилизмом*" (позднее это слово ушло из "Соборян", перекочевав в роман "На ножах"), — итак, за рассказом о явлении Термосёсова Старому Городу следует развернутый монолог автора, опыт характеристики нового действующего лица, которое Лесков склонен трактовать как новый тип героя в литературе: "...ему все надоело и надоело не по-онегински, не по-печорински", "...его (если заглянуть в его сокровенную глубь), не интересует ничто <...> он ни во что не верит и чувствует, что он тлен, ложь <...>" (л. 103). Демонические ассоциации вокруг Термосёсова в дальнейшем усугубляются, что вполне в традиции антинигилистического романа, к которому фрагментами явственно тяготеют "Соборяне" (правда, значительная часть подобных фрагментов и мотивов на завершающей стадии работы над хроникой "ушла" в роман "На ножах"). В апогее "сатанинских" намеков автор доверяет Термосёсову ту же цитату из 21 Псалма, которая в сцене грозы в самом патетическом тоне произносится Туберозовым: «Термосёсову не только не нужны последователи: они даже противны ему, потому что, чем больше их, тем скорее раздерут они между собою ризы распинаемого ими и метнут жребий о его хитоне, а это будет днем торжества и днем гибели, ибо в день тот потрясется земля, дадут трещины скалы, и открытые гробы устами восставших жильцов своих прогремят легковерному русскому миру нестерпимые укоризны, и тех укоризн не стерпит "живый"» (л. 106). Эти слова о близящихся потрясениях обращают нас к тому фрагменту Писания, где рассказано о событиях, происшедших в минуту смерти Христа[42]. Учитывая, однако, сколь глубокий интерес Лесков питал к духовным стихам, как и вообще ко всем внецерковным, "народным" формам христианства[43], можно предположить, что этот фрагмент Евангелия жил в сознании писателя, наделенный не только исходными значениями первоисточника, но и теми смысловыми обертонами, которые получила приведенная цитата в русском фольклоре, прежде всего — в духовном стихе о Страшном суде:

Да приидет последнее время,
Земля и небо потрясется,
И солнце и месяц померкнет,
Часты звезды на земь распадутся,
Завесы—престолы порушатся,
Пройдет река огненная,
Пожрет она всю тварь земную.
Михайло архангел с небес сойдет,
В трубы небесные вострубит,
И мертвых от гроба всех разбудит,
И мертвы от гроба все восстанут[44].

Как видно, в духовном стихе цитата из Евангелия от Матфея, приуроченная к смерти Христа, смешивается с описанием конца света и Страшного суда. В другом варианте духовного стиха можно усмотреть более глубокую связь с лесковским текстом:

Тогда земля потрясется.
И камения распадутся.
Ангелы в трубы вострубют,
Всех мертвых от гроба разбудют:
Тогда мертвые все восстанут

Апостолы и пророки,
Святители и мученики,
Патриархи, праведные,
Преподобные, святые
Около престола стоять будут[45].

Этот вариант стиха интересен тем, что восставшие из гробов (в большинстве вариантов — святые и праведники) принимают непосредственное участие в сцене Страшного суда, иногда даже кричат на "неверников"[46], подобно тому, как в лесковском тексте "открытые гробы устами восставших жильцов своих прогремят легковерному русскому миру нестерпимые укоризны"

Тема Страшного суда далее нарастает — становится все более полнозвучной, тревожной и несомненной. Ее уже нельзя не расслышать в следующем абзаце, как бы развивающем подсказанные духовным стихом ассоциации: "И тогда исполняются пророки и совершается закон, и мерзость запустения станет на месте храма, в котором торговала истиной фарисейская хитрость" (л. 106). Эта фраза обращает нас к 24-й главе Евангелия от Матфея, где предсказываются бедствия Израиля, наступление времен антихристовых, Страшный суд и грядущее царство Христа. С темой антихриста особенно тесно связан как раз процитированный Лесковым 15-й стих этой главы: "мерзость запустения <...> на святом месте" — знамение господства антихриста.

С этого момента и начинаются основные разночтения между, условно говоря, туберозовским и термосёсовским вариантами этого фрагмента. В монологе Туберозова нет слов о "мерзости запустения", более того — вся тема господства антихриста в устах Туберозова редуцирована и заслонена экзальтированным ожиданием царства правды на земле: "...во всеоружье правды грядет от века нам предсказанный царевич русский" Термосёсову, напротив, отдана как раз тема антихриста и тема торжества зла перед Вторым пришествием, развернутая далее в притче о рабе (завершающей ту же, уже цитированную Лесковым 24-ю главу Евангелия от Матфея[47]): "Подобны лукавым рабам, ожидающим близкое возвращение домовладыки, люди лжи, помня все злобы свои, не ждут себе пощады. Но помысел о покаянии им чужд, и вот они, таясь друг от друга, преуспевают лишь в хищении и более не верят ни во что. Они уж видят день своей погибели" (л. 107 об. — 108). Лесков явно напоминает здесь читателю о тех образах Евангелия, которые служат аллегорией общего падения перед Вторым пришествием и Страшным судом, во времена господства антихриста. В черновом, отвергнутом варианте процитированной фразы мотив близящейся расплаты форсирован и "предгрозовая" атмосфера нагнетается: "...обрывают все, что чья рука еще способна оборвать <...> и треск от работы грабящих рук смущает издали слух входящего в дом свой владыки, но наглая дерзость лукавых рабов равна краткости времени, остающегося им на хищения" (л. 107 об.). Правда, в термосёсовском варианте тоже есть и апелляция к "царевичу русскому", идущему "во всеоружье правды", однако далее антихристовы ассоциации все настойчивее — плотным кольцом — окружают Термосёсова.

Эсхатологические мотивы черновой редакции "Соборян", свидетельствующие и об остром сознании катастрофичности переживаемой эпохи, и об искании преображенного мира, связывают героев-антагонистов в единый узел как полярные варианты поведения перед лицом близящихся катаклизмов. "Апокалиптическому оптимизму" Туберозова противостоит служение антихристу "людей лжи", подобных Термосёсову.

Антинигилистическая линия тем более важна и уместна в хронике, что писатель здесь выбивает нигилистов с их собственного поля — искания справедливости и правды. Вступает на это поле священник — фигура одиозная в радикалистском сознании 1860-х годов.

Особый смысл в этой перспективе приобретает вложенное Лесковым в уста "негилистов" сближение христианства и социализма. Термосёсов провоцирующе вопрошает своего патрона: "Да ведь христианство равняет людей или нет? Ведь известные, так сказать, государственные люди усматривали же вред в переводе Библии на народные языки. Нет-с, христианство... оно легко может быть толкуемо, знаете, этак, в опасном смысле. А таким толкователем может быть каждый поп" (IV, 172). Туберозов и оказывается таким попом. Напомню, что словечко "предприятие", служившее в литературе 1860-х годов сигналом оппозиционности, в хронике произносят как уездные нигилисты, так и Туберозов, отождествляющий "предприятие" с радением за веру и патриотическим подвигом. Протопоп в противоположность "нигилистам" мыслит свое "предприятие" органичным звеном в цепи исторических событий: решившись "ополчиться", он апеллирует не только к Аввакуму, но к Минину и Пожарскому. Появление этих имен логично. Польское восстание 1863 г. и первые годы после него были эпохой кризисной, часто сопоставлявшейся тогда со Смутным временем. Туберозов видит себя преемником исторических героев, отстаивавших "духовную самостоятельность" (IV, 202) страны в переломные годы. В этом ключе, видимо, и следует трактовать известную, часто цитируемую реплику протопопа: "Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старою сказкою" (IV, 152). Под "старой сказкою" подразумевалось историческое прошлое, живая связь с которым требует усилия, подвига и ведет в конечном итоге к воцарению справедливости.

Эти настроения Туберозова до некоторой степени правомерно переадресовать самому Лескову. Путь от социалистических надежд (а они, как известно, были не совсем чужды молодому Лескову) к вере в водворение царства Божия на земле — это, возможно, скрытый от нас путь автора "Соборян" Вообще говоря, писателю всегда была присуща трезвость и даже "практичность" мысли, ясность и безыллюзорность в оценке исторических перспектив. Это господствующие черты духовного облика Лескова, но не подавляющие. Сквозь них проступает и другая, потаенная сторона его интеллектуального мира, которую никак нельзя рассматривать в качестве случайного выпадения из "нормы" Ведь "Соборянами" хилиастические мотивы у Лескова не исчерпываются. Они вычитываются и из публицистики писателя 1870-х годов, и из произведений последующих лет, где хилиастическая мечта отдана обычно близким автору героям. Так, в "рапсодии" "Юдоль" (1892) тетка повествователя, "неимоверная танта" (IX, 288), прочитав Библию, «"понесла фантазии" вроде того, что "хороших времен еще не было" или что "лучшая жизнь на земле будет впереди нас, а не та, которая осталась позади нас" И она в это не только верила, но говорила, что в такой вере только и находит силу жить и трудиться для того, чтобы равнять путь к лучшему, которое идет и непременно придет — когда "горы и юдоли сравняются и лев ляжет с ягненком и не завредит ему"» (IX, 289). В позднем незавершенном очерке "Соляной столб" (из мемуарного цикла "Памятные встречи") сын художника, человек из интеллигентной среды, вызывающий несомненные авторские симпатии (его прототип — сын Н.Н.Ге), совершая паломничество "в народ", учит крестьян жить так, "як Бог показал, що бы всим равно было", и "утешает" их тем, что "впереди с веками придет на землю Царство Божие и настанет для всех людей жизнь безобидная и радостная <...>"[48]. Адам Безбедович, герой не дописанного Лесковым, но долгое годы притягивавшего его романа "Незаметный след", еще ребенком задумывается о равенстве людей и мечтает претерпеть мучения за веру[49]. Один из самых загадочных лесковских "праведников", герой "Обнищеванцев", очерков "религиозного движения в фабричной среде" (1881), надеется "объединить все человечество в любви Божией", причем его "нежнейшее рвение осчастливить все человечество" последовательно противопоставлено страсти "облыжно рядить нашего фабричного рабочего в шутовской колпак революционного скомороха"[50].

Можно привести еще немало подобных примеров из произведений Лескова. Что касается прямого выражения его взглядов на этот счет, то здесь чрезвычайно крас-

норечивы два биографических факта: дружба писателя с Владимиром Соловьевым в 1870–80-е годы, когда молодой Соловьев в значительной мере был заражен хилиастическими настроениями[51], и схватка Лескова с Константином Леонтьевым — необычайно темпераментная реакция писателя на статьи Леонтьева о Толстом и Достоевском как о выразителях "розового христианства", верящих в царство правды на земле[52]. Еще раз обратим внимание, что в поздние годы хилиастические мотивы были избавлены у Лескова от той националистической оправы и тех мессианских упований, которые очевидны в рукописной редакции "Соборян"

Как видно, рукописная редакция "Соборян" позволяет реконструировать "затененную" до сих пор страницу идеологической биографии писателя. Что же касается окончательной редакции хроники, то и здесь просматривается комплекс выявленных в рукописи мотивов, но представлен он "точечным" образом, в "свернутом", требующем расшифровки виде: эти мотивы прорываются в отдельных репликах и сценах, открытых высокому толкованию, но допускающих и "обыденное" прочтение.

В целом, при сравнении рукописного текста с окончательным хорошо видно, как на последнем этапе работы тщательно прописанная бытовая фактура заслоняет, чаще всего вытесняет притязательные пафосные пассажи, но не отменяет, а впитывает их напряжение, что очень точно почувствовал А.Волынский, говоря о "неслышных" мотивах хроники. Бытовой слой сохраняет у Лескова — и, кажется, сохраняет во всех его произведениях — повышенную проницаемость: высокий подтекст "слышен" сквозь него, пробивается подземными толчками, особенно в такие поворотные моменты сюжета, как сцена грозы и бунтарская проповедь Туберозова.

V

Выделенный выше комплекс мотивов -- лишь один из многих в том богатом сюжетами и темами полотне, которое представляет собой публикуемая рукопись. Эпизоды, сосредоточившие в себе хилиастические настроения главного героя, не могли не привлечь нашего внимания прежде других: слишком неожиданными они предстают на первый взгляд и вместе с тем на редкость важными оказываются в перспективе всего творчества писателя. Однако в рукописной редакции в роли несущих общую конструкцию выступают и другие мотивы — более традиционные для Лескова, но оттого не менее существенные для интерпретации хроники и к тому же тесно связанные с хилиастическими. Они требуют краткого комментария.

В самом начале второй части рукописной редакции (второй частью, напомню, открывается дошедший до нас автограф) Данка Бизюкина ораторствует в кругу уездных нигилистов, с апломбом пересказывая суждения Термосёсова, только что вычитанные из его письма: "Литература сделала свое дело и теперь надобны предприятия <...> Всматриваемся в окружающую нас жизнь, приводим на память наших лучших писателей и приходим к убеждению, что у нас никакие предприятия невозможны <...> мы полагали, что предприятие это значит революция <...> но затем нам дают чувствовать, что решено, что революция глупость и ее не надо. Факт этот принят" (л. 9 — 9 об.). Сбивчивая тирада восторженной прогрессистки, выдержанная в обычном для лесковских нигилисток стиле захлебывающейся болтовни, отражает, правда, в кривом зеркале, то кризисное состояние радикальных кругов середины 1860-х годов, которое, благодаря памфлету Ф.М. Достоевского, принято связывать с "расколом в нигилистах"

О самом "расколе" Термосёсов уже при первом своем появлении в Старом Городе спешит сообщить сильно отставшей Данке: «...Варфоломея Зайцева... читали, чай, что-нибудь? Критик он <...> Бойко писал Бубка, но всегда вздор <...> дружески бывало говоришь ему: "Бубка! Зачем пишешь вздор?" Не верит <...> Он на Щедрина осердился! <...> Маленький ты критик! Чего ты сердишься? Щедрин — голова <...> Щедрин — пророк» (л. 88 об.). О реальной основе этих слов Термосёсова, его невыдуманной причастности к литературному миру свидетельствует уже фигурирующее здесь прозвище В.А.Зайцева, "которого <...> в кружке <В.А.> Слепцова называли Бобкой"[53]. О полемике Зайцева с М.Е.Салтыковым-Щедриным герой Лескова тоже знает не понаслышке. Он довольно близко к тексту, разумеется, без точной ссылки, цитирует хронику Щедрина "Наша общественная жизнь", напечатанную в январ-

ской книжке “Современника” за 1864 г.: «Щедрин написал, что нигилист есть нераскаявшийся титулярный советник, а титулярный советник есть раскаявшийся нигилист, да прибавил, что “все тут будем”, — и верно!» (л. 88 об.)[54]. Взаимные обвинения в попрании идеалов, звучавшие со страниц “Современника” и “Русского слова” (т.е. Щедрина, с одной стороны, В.А.Зайцева и Д.И.Писарева, с другой), для Термосёсова меньше всего выглядели забавным эпизодом литературной борьбы. Герой Лескова решительно разомкнул сферу идеологии, превратив журнальный сюжет в жизненную стратегию: в щедринской условной маске — искаженной гримасе “раскаявшегося” нигилиста — Термосёсов распознал выгодное амплуа, иронические пророчества Щедрина он обратил в реальность и не только прошел уже путь из “нигилистов” в “благонамеренные”, но понял тщету всех споров. Его программа — действовать так, “чтобы сам черт-дьявол не знал, куда нас определить, в рай или в пекло” (л. 103). Написав приведенные слова, Лесков их зачеркнул (причем, по-видимому, сразу), найдя еще более убедительный вариант: “Нам все равно, что фригийский колпак, что мономахова шапка[55] <...> В России нет партий, а есть умные люди и есть глупые люди: я от умных людей говорю” (л. 102 об. — 103). Ставя знак равенства между “умным человеком” и “щедристом”, Термосёсов предельно упростил позицию Щедрина (а может быть, сознательно ее мистифицировал) и произнес в итоге мрачный, но вполне обычный для конца 1860-х годов приговор началу десятилетия: «Время было дурацкое, похордыбачили пять—шесть лет <...> то за Базаровым тянувшись, то “Что делать?” истолковывая, но <...> пора и за разум взяться» (л.89).

Здесь почти буквально повторены известные строки из “Преступления и наказания” — горькие признания Разумихина: “...мне вся эта болтовня-себятешение, все эти неумолчные, беспрерывные общие места <...> до того в три года опротивели, что, ей-Богу, краснею, когда и другие-то <...> при мне говорят”[56]. Однако Термосёсов меньше всего способен “краснеть” за других, он чужд разумихинской тоске по реальному делу.

По житейской своей философии Термосёсов куда ближе другому персонажу романа — Петру Петровичу Лужину, подводящему под примитивную идею наживы громкие слова об интересах “общего дела”: “Мысль простая, но, к несчастию, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностию <...>”[57]. Выгоды этой “простой мысли” герой Лескова сознает столь же твердо и принимает ее столь же бесповоротно, как и те, по определению Разумихина, “разные промышленники”, что “к общему-то делу в последнее время прицепились” Правда, под пером Лескова “промышленник” приобретает зловещие черты: Термосёсов мечтает не дело организовать, но к “государству присосаться”

Перекличка с Достоевским обусловлена не только общностью реалий, занимавших собой обоих писателей. Для Лескова Достоевский всегда служил важным ориентиром: он потому и вызывал болезненную ревность Лескова, потому и провоцировал на резкие выпады[58], что изначально, во многих своих исходных позициях они были близки друг другу. Недаром в Термосёсове угадываются нигилисты-отступники, появившиеся у Достоевского позднее, — Липутин (“Бесы”), Ракитин (“Братья Карамазовы”), и, пожалуй, больше всего Петр Степанович Верховенский (“Бесы”), чьи декларации и чья поведенческая стратегия напоминают — иногда вплоть до текстуальных совпадений — рассуждения Термосёсова и его положение при Борноволокове.

Может быть, ближайшим по времени творческим импульсом, способствовавшим окончательному оформлению лесковского “негилиста”, послужило признание А.М.Скабичевского в статье с программным названием “Новое время и старые боги”, появившейся в начале 1868 г., т.е. как раз тогда, когда Лесков, по нашим расчетам (см. выше раздел II), очередной раз плотно принялся за работу над хроникой: “Прежние поколения были люди по преимуществу слов, люди разъедающей рефлексии и бесплодного анализа <...> Ныне совершенно наоборот: горячка дела до такой степени овладела нынешним поколением, что оно часто впадает в противоположную крайность <...> многие ошибки, неудачи и промахи последнего времени нельзя иначе объяснить, как именно излишнею поспешностью поскорее осуществить задуманное <...>”[59]. Поучения Термосёсова звучат как издевательская пародия на подобные покаяния “нигилистов”: “На кой черт, — говорит он Данке, — она нам те-

перь, революция, когда и так дело идет как нельзя лучше" (90 об.). Намеченный в статье Скабичевского тактический поворот превращается в устах Термосёсова в изощренное обоснование тотального предательства, а демонические черты, которыми, как мы видели выше, наделен лесковский герой, теряют теперь высокий ореол: ассоциации с антихристом (см. раздел IV) рассеиваются, и Термосёсов превращается в мелкого беса, ввергающего в пучины цинизма робких уездных "нигилистов"

Среди идолов нигилизма, на которых замахивается лесковкий герой, — на первое место должен быть поставлен "народ" Под пером писателя, до конца жизни верного просветительскому и народническому пафосу 1860-х годов, презрительные суждения Термосёсова о народе служили по сути главным пунктом обвинения героя: "Вы вон школы заводите, -- обращается он к Данке. — Ведь что же по-настоящему как принято-то у красных петухов, вас надо за это хвалить, а Андрей Иванов Термосёсов не станет этого делать <...> А знаете ли вы, что народ, обучась грамоте, станет святые книги да романцы читать <...> Беда нам будет от народа" (л.90). Вообще говоря, монологи Термосёсова часто приобретают в рукописи слишком уж саморазоблачительный характер, что, возможно, и побудило Лескова в итоге от большинства из них отказаться. Самые резкие инвективы Термосёсова, призванные дискредитировать его в глазах читателя, адресованы "народническим" мечтам молодого поколения: "...вы зашли далеко по пути заблуждений, и отцы-то, чиновники, ближе вас были к делу. Чиновник не враждовал с начальством <...> и он как хотел с этим народом расправлялся" (л. 90 об.).

"Раскол в нигилистах", имевший многоаспектную конфликтологию, прошел и по линии споров о народе, безусловно, хорошо известных Лескову. Писатель не мог, например, не знать "Очерков из истории труда" (1863) Д.И.Писарева, поразивших современников, в частности Щедрина[60], острым скепсисом в отношении народных движений и тех "чудес", которые способно творить "национальное чувство": оно уподоблено в "Очерках" "страшным конвульсиям больного организма"[61]. Между прочим, в качестве примера Писарев ссылался на те же периоды общенационального подъема — "эпоха Минина и 1812 год"[62], на которые с восхищением оглядывались герои "Соборян" во всех редакциях хроники, предшествовавших окончательной. Хотя в дефинитивном тексте проблема народа всплывает лишь эпизодически и кажется второстепенной, в рукописных "Божедомах" она служит главным полем сражений героев-антагонистов — тем материалом, на котором вырабатывалась общая концепция произведения.

В самом начале рукописного текста, задолго до появления Термосёсова, Данка ссылается на повесть В.А.Слепцова "Трудное время" как на последнее слово прогрессистской мысли, видя в ней нечто вроде инструкции для "разумной" части общества. "Трудное время" упомянуто в хронике недаром (в окончательном тексте это упоминание Лесков снял): публикуемая рукопись фрагментами читается как прямая полемика со Слепцовым. Напомню, что карикатурный портрет автора этой повести нарисован в романе "Некуда": со Слепцовым были старые и к тому же личные счеты. В новом, масштабном по замыслу произведении, Лесков продолжал эту полемику, отказываясь, однако, от памфлетности и как бы усиливая тем самым свою аргументацию. Но даже если наше предположение неверно, даже если в "Божедомах" писатель не ставил перед собой специальной задачи дать ответ на "Трудное время", обилие перекличек между двумя произведениями значимо само по себе: оно свидетельствует о глубокой поглощенности Лескова в период работы над хроникой теми проблемами эпохи, которые остро, даже трагически остро были поставлены в повести Слепцова. А это значит, что "Соборяне", уже в 1880-е годы восхищавшие современников "чистой художественностью" и казавшиеся такими далекими от политических и литературных баталий, на самом деле рождались как прямой ответ на болезненные проблемы пореформенной эпохи, не в последнюю очередь — как ответ "нигилистам"

Главный герой "Трудного времени", литератор Рязанов, уже в начале повести отвечая на вопрос, не от станового ли он приехал, мрачно замечает: "...я сам от себя"[63]. Ответ многозначительный и совершенно правдивый. Рязанов одинок, бездомен и почти демонстративно замкнут. Всеми словами и поступками он опровергает традиционную модель поведения молодого прогрессиста, прибывшего из столицы в провинцию: не произносит зажигательных монологов, неохотно вступает в споры,

в основном угрюмо молчит. Все, что он ни видит в поместье у своего давнего приятеля Щетинина, в уезде и в губернии, — все вызывает у Рязанова лишь скептическую усмешку. Он отказывается, правда, не без некоторых усилий над собой, и от открыто ему предложенной романической перспективы. Внешний облик Рязанова ("тощая фигура, с исхудалым лицом и неподвижным взглядом"), редкие признания, как бы случайно им оброненные ("у меня цели больше нет"[64]), свидетельствуют о глубоком разочаровании героя. Скептицизм Рязанова и стоящий за ним безыллюзорный взгляд самого автора повести оказываются в прямой оппозиции тем надеждам на обновление и возрождение России, которыми живут герои "Соборян" Обнаруживаются эти полярные настроения в обоих произведениях по преимуществу в ходе споров вокруг проблемы народа.

Любопытно, что в "Трудном времени" почти все персонажи (за исключением Щетинина) возмущаются бесхозяйственностью, распущенностью крестьян и с удовольствием рассказывают анекдоты о народной глупости. Самый заядлый обличитель мужика — помощник Щетинина, ипохондрик-письмоводитель, от начала до конца повести ругающий народ при многозначительном молчании Рязанова: "Вон в газетах пишут: здравый смысл народа... Дьяволы! <...> А? Свобода!.. здравый смысл! Нет, их, анафем, за этот здравый смысл мало еще тово... мало пробирали..."[65]. И действительно, мужик показан в повести упрямым, непонятливым, не принимающим выгодных для него преобразований, а все старания Щетинина, с увлечением рассуждающего о счастьи быть полезным народу, оказываются тщетными[66]. Взятые "из газет" слова — "здравый смысл народа" — были штампом эпохи, и восходили они к тексту высочайшего манифеста об освобождении крестьян ("Полагаемся и на здравый смысл Нашего народа"[67]). В рукописных "Божедомах" тоже звучат эти слова, но произносятся они совсем с иной интонацией. В ответ на реплику Туберозова: "...в народе шатость большая", — Туганов успокаивает протопопа: "Оставь эти тревоги! у народа в сборе страшный умище, а что хаос велик,— ну,— из хаоса свет создан. Береги себя <...> Дьявол хочет сеять нас, как тисницу, и поодиночке, брат, и рассеет, а ты держись своего и надейся, на что царь надеялся, свободу подписывая. Понадеемся на смысл народа" (л. 159 об. — 160). Ставка на инстинктивную правоту и стихийную силу народа связывается в хронике с именами Аксакова и Каткова: западник и вольтерьянец Туганов оказывается их неожиданным единомышленником.

Катков и Аксаков упоминаются в хронике обычно в паре — как знак верности "отческим преданиям", "патриотической" позиции, которым, понятно, глубоко был враждебен нигилист Рязанов, с кривой усмешкой выслушивающий восторженные монологи Щетинина о мужике. Рязанов, как и Термосёсов, с нескрываемой иронией относится к школам для крестьян, к заботам о мужицком хозяйстве. В деревенской жизни он видит лишь бесконечную битву: "...везде, где есть сильный и слабый, богатый и бедный, хозяин и работник — там и война <...>"[68].

Как будто в ответ на эти слова лесковский Туганов говорит от лица дворянства, обращаясь к старогородским нигилистам: "Мы с мужиком нынче соседи по имению. Мой союз с ним — союз естественный, нас соединяет Божие казначейство,— земля,— наша единственная кормилица, за которую мы оба постоим <...> а вы всё нас, соседей, хотите перессорить <...>" (л.193). Далее в рукописи на разные лады, усилиями разных героев развивается мысль о единении народа, дворянства и духовенства, о спасительном слиянии сословий в пореформенной России. Эта не вполне свободная от утопизма мысль позднее была критически отрефлексирована Лесковым: в окончательный текст она вошла в сильно урезанном виде, не говоря уже о том, что в последующие годы "сословное одиночество" стало одной из центральных тем писателя. Но на стадии работы над рукописью эта мечта, глубинно связанная с хилиастическими настроениями главного героя, имела определенную власть над автором "Соборян". Лесков настойчиво развивает ее в рукописи, причем как будто отталкиваясь от "Трудного времени", где в соответствии с общим духом повести иронически описано "открытие дворянского клуба с переименованием его в соединенный"[69] — по сути нарисована злая карикатура на "слияние сословий".

Другой вопрос, широко обсуждавшийся в 1860-е годы и тоже занимающий центральное положение в обоих произведениях,— преобразование судебной системы.

Мы видели, что в рукописной редакции "Соборян" новый суд вызывает экзальтированные ожидания Туберозова: вера в реформированный суд сплеталась в сознании героя с верой в воцарение вечной правды на русской земле, а фальсификация новых судебных учреждений доводила его до крайних решений, рождая готовность "ополчиться" В повести Слепцова новый суд, напротив, предстает очередной уловкой власти, логическим следствием взаимной ненависти сословий, средством "понуждения глупорожденных к труду"[70].

Рязанов зло смеется над попытками Щетинина быть справедливым в спорах с мужиками и рисует ему картину формальной правоты Щетинина–истца в суде — картину, отталкивающую и доброго помещика, и его жену. Равноправное положение всех граждан в суде, так же, как и соединение сословий, предстает в "Трудном времени" наивной утопией.

На фоне сквозной полемической переклички повести Слепцова и рукописной редакции лесковской хроники особый смысл приобретает один из второстепенных героев "Трудного времени" — ограниченный, трусоватый, корыстолюбивый сельский священник, изображенный в насмешливых, традиционных для литературы эпохи, тонах. "Батюшка" оказывается почти единственным персонажем повести, прямо обнаруживающим неприязнь к Рязанову и даже бросающим ему вызов: "...вы сердцем ожесточены <...> Смеяться умеете, а хорошего вот и не знаете. Стало быть, забыли, чему учились"[71]. Претензии священника так неоригинальны, выпады его так беспомощны, что Рязанов на них даже не отвечает.

Этот комический образ (или вереницу подобных ему) — дежурную мишень насмешек в 1860-е годы — Лесков превратил в "Соборянах" в трагическое лицо, способное вступить в нешуточное противоборство с нигилистами. Первоначально, судя, по крайней мере, по рукописной редакции, где Туберозов и Термосёсов занимают примерно равноправное положение, священник мыслился лишь в роли противника главного "негилиста" Правда, в отличие от "Трудного времени", он сразу виделся Лескову противником достойным — если не побеждающим, то и не уступающим. Однако постепенно Туберозов заслонил и вытеснил своего оппонента, став объектом преимущественного авторского внимания, тогда как Термосёсов существенно "урезан" в окончательной редакции, причем некоторые его монологи перекочевали в роман "На ножах", определив основные черты образа Горданова, самого зловещего "негилиста" романа.

В "На ножах" ушло многое из публикуемой рукописи, вплоть до отдельных фрагментов. Даже система персонажей частично дублируется в обоих произведениях: пара "Туберозов — Термосёсов" повторяется в оппозиции "отец Евангел — Горданов", причем пропорции авторского внимания зеркально соотносятся: если Туберозов — главный герой "Соборян", а Термосёсов второстепенный, то Евангел оказывается на периферии романа, тогда как Горданов в центре. Нельзя не обратить внимания, кроме того, на сходство Евангела с Туберозовым — сходство столь сильное, что некоторые фрагменты рукописного текста (рассуждения Туберозова о целебных травах, монологи о красоте и поэзии) отданы в конце концов отцу Евангелу.

Само по себе сопоставление романа и хроники уже дает основания предполагать их общий генезис[72]. Публикуемая рукопись служит тому документальным подтверждением, она позволяет даже частично проследить, как постепенно расслаивался текст на эти два произведения. В ходе работы над "Соборянами" от хроники отделилась та тяжеловесная идеологическая оправа, связанная как с полемикой 1860-х годов, так и с хилиастическими ожиданиями, в которой представлены основные герои и ключевые эпизоды публикуемого ниже текста. Однако, освободив окончательный текст от этой оправы, Лесков сохранил в "Соборянах" общий смысл исходной конструкции, сложившейся в кризисной и в то же время утопической духовной атмосфере конца 1860-х годов, вне которой восприятие хроники было бы по крайней мере обеднено.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См., например, письмо к И.С.Аксакову от 1 января 1875 г., где Лесков обыгрывал эпизод из жизни дьякона Ахиллы как травестийную параллель своему собственному положению в литературе (X, 373).

2 *Мосалева Г.В.* Поэтика Н.С.Лескова. Учебное пособие. Ижевск. 1993. С. 37.

3 *М.Стебницкий* <*Лесков Н.С.*> Божедомы. Эпизоды из неоконченного романа "Чающие движения воды" // Литературная библиотека. 1868. № 1. С. 39.

4 *Волынский А.Л.* <*Флексер Х.Л.*> Н.С.Лесков. Пб. 1923. С. 38.

5 См.: *Гебель В.А.* Н.С.Лесков. В творческой лаборатории. М., 1945. С. 128—140. *Другов Б.М.* Н.С.Лесков. Очерк творчества. М., 1957. С. 30—36. *Плещунов Н.С.* Романы Лескова "Некуда" и "Соборяне" Баку. 1963. В книге В.А.Гебель содержится беглый обзор рукописного текста, проведено выборочное сравнение печатной и рукописной редакций и дана характеристика взглядов Лескова в период работы над хроникой.

6 Письмо А.С.Суворина к Лескову от 6 апреля 1870 г. // *РГАЛИ.* Ф.275. Оп.1. Ед.хр. 301. Незадолго до смерти Лесков вернул Суворину все полученные от него письма (и они до нас не дошли), за исключением процитированного, сохранившегося в архиве писателя. Лесков оставил это письмо у себя (возможно, в расчете на будущего читателя) как документ, проливающий свет на тот резонанс, который получил в литературном мире этот конфликт с Кашпиревым, видимо, до последних дней остававшийся мучительно памятным Лескову. Подробнее о переписке Лескова с Сувориным см.: *Майорова О.Е.* К истории пожизненного диалога // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 78—82.

7 *Лесков Н.С.* Честное слово. Этюд из культа мертвых // *НВ.* 1879. 17 июля. См. об этом процессе также: *Жизнь Лескова.* Т. 2. С. 376—377.

8 Литературная библиотека. 1868. № 1. С.3. Та же фраза — в окончательном тексте "Соборян" (см.: IV, 5).

9 *М.Стебницкий* <*Лесков Н.С.*> Чающие движения воды. Романическая хроника // *ОЗ.* 1867. № 3. С. 182.

10 Там же. С. 187.

11 Там же. С. 191.

12 Старогородцы. (Отрывки из неоконченного романа "Чающие движение воды"). Котин доилец и Платонида // <*Лесков Н.С.*> Повести, очерки и рассказы М.Стебницкого. Т.1. Спб., 1867. О сужении первоначального замысла хроники подробно писали В.А.Гебель, Н.С.Плещунов (см. примеч.5), Л.А.Аннинский (см.: *Аннинский Л.* Лесковское ожерелье. М., 1986. С. 109—162), а также Hugh McLean (см.: *McLean, Hugh.* Nikolai Leskov: The Man and His Art. London — Massachusetts, 1977. P. 173—190). О творческой истории хроники см. также: Eakman, Thomas E. The Genesis of Leskov's Soborjane // California Slavic Studies. 1963. № 12.

13 *Аннинский Л.* Указ. соч. С. 127—128.

14 *ОЗ.* 1867. № 4. С. 478.

15 Там же. № 3. С. 181.

16 *Лесков Н.С.* Чающие движения воды. Романическая хроника // *ОЗ.* 1867. № 4. С. 615.

17 Об этом в журнальном тексте "Божедомов" свидетельствует редакционное примечание к дневнику Туберозова, повествующего о знакомстве с боярыней Плодомасовой и своей беседе по пути из ее имения домой с карликом Николаем Афанасьевичем: "Весь рассказ сего карлы полностью, как его память моя удержала, я занотовываю" (Литературная библиотека. 1868. № 1. С. 52). Скорее всего, здесь должны были раполагаться все очерки о боярыне Плодомасовой и ее карликах, вошедшие в итоге в хронику "Старые годы в селе Плодомасове" Известно, что очерк "Плодомасовские карлики" в конце концов был включен Лесковым в обе хроники, и поэтому дважды напечатан в 11-томном собрании сочинений писателя.

18 Так, в 8-й главе рассказано, как Данка заперла дверь в свою комнату, раздраженная разговором с Омнепотенским, а в следующей главе оказывается, что она заперлась еще до его прихода. В 9-й главе говорится о том, что комиссар Данилка был "строго наказан Ахиллой" из-за истории с костями, а затем "еще строже наказан сам дьякон", однако таких фрагментов на предыдущих страницах рукописи нет. Кроме того, в той же 9-й главе повторяется эпизод, уже вошедший в предшествующие главы (рассказ о том, как Данка в ожидании гостей из Петербурга прячет предметы роскоши). Наконец, в этой части рукописи есть дублирующиеся эпизоды (следы стыковки каких-то уже отработанных на самом раннем этапе фрагментов).

19 *ОЗ.* 1868. № 1—3, 5.

20 Есть в тексте рукописи еще несколько хронологически закрепленных реалий. Так, нигилист новейшей формации Термосёсов, поучая отставшую Данку, сравнивает себя с Базаровым: "...свет глуп до отчаяния. Если они про Базарова семь лет спорили и еще не доспорились, так Термосёсов — это фрукт покрепче <...>" Поскольку "Отцы и дети" были напечатаны в начале 1861 г., о семи годах споров вокруг романа герой скорее всего мог упомянуть в 1868 г. Весь монолог Термосёсова, как, впрочем, и глава, в которую он включен, представляет собой автограф Лескова. Упоминаются в тексте и события, приходящиеся на 1867 г. Так, дважды сказано в рукописи о судебном разбирательстве по делу Г.Е. Благосветлова и типографских рабочих, про-

ходившем в 1867 г. (см. ниже примечания к публикуемому тексту рукописи). Заходит речь и о постановке лесковского "Расточителя", также осуществленной в 1867 г. И наконец, один из персонажей, учитель Омнепотенский (в окончательном тексте — Препотенский), возмущаясь самоуправством Ахиллы, прямо говорит: "Сделайте ваше одолжение, это в девятнадцатом столетии, в 1867 году, за два дня до введения мировых судов".

21 Новые книги <Рецензия на сборник произведений Лескова "Русская рознь" Спб., 1881> // Странник. 1881. № 10. С. 319.

22 Там же. С.319—320.

23 *Н.М.* <*Михайловский Н.К.*> Литературные и журнальные заметки // *ОЗ.* 1873. № 1. Отд. II. С.140.

24 Всемирная иллюстрация. 1872. № 195. С. 206.

25 *Фаресов А.И.* Умственные переломы в деятельности Н.С.Лескова // *ИВ.* 1916. № 1. С. 791.

26 Письмо Лескова к Л.И.Веселитской от 27 января 1893 г. // *Веселитская.* С. 170.

27 Цит. по: *Фаресов А.И.* Умственные переломы в деятельности Н.С.Лескова // *ИВ.* 1916. № 1. С. 791—792.

28 *А.О.* <*В.Г.Авсеенко*> Очерки текущей литературы // Русский мир. 1872. 6 мая.

29 Отзывы духовной прессы на "Соборян" суммированы в книге профессора С.-Петербургской духовной академии Николая Барсова "Исторические, критические и полемические опыты" (Спб., 1879).

30 Письмо А.П.Милюкова к Г.П.Данилевскому от 31 октября 1872 // *РС.* 1904. № 6. С. 623—625.

31 Там же. С. 625.

32 Об обсуждении в прессе 1860-х годов, в частности на страницах духовных изданий, вопроса о церковных преобразованиях см.: *Флоровский Георгий.* Пути русского богословия. Вильнюс. 1991. С. 332—344.

33 *Аксаков И.С.* Полн. собр. соч. Т. 4. М., 1886. С. 125, 144.

34 *Морошкин М.* Обозрение французской богословской журналистики//*ПО.* 1868. № 1. С. 74—75.

35 См. далее примечание 37 к публикуемому тексту хроники.

36 *Аксаков И.С.* Цит. соч.. Т. 2. М., 1886. С. 272 (передовая статья от 30 января 1865 г.)

37 См. ниже в настоящем томе публикацию фрагментов романа "Соколий перелет", подготовленных К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной.

38 *Аксаков И.С.* Цит. соч. Т. 2. С. 215.

39 О проблеме единения нации в "Запечатленном Ангеле" см.: *Горелов А.А.* Н.С.Лесков и народная культура. Л., 1988. С. 106—181. Рукописная редакция "Соборян" позволяет пересмотреть выводы И.З.Сермана, сделанные в важной для своего времени работе "Протопоп Аввакум в творчестве Н.С.Лескова" (Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы. Т. XIV. М. — Л., 1958. С. 404—406). Опираясь на цитаты из рукописи "Соборян", приведенные в книге В.А.Гебель (см. выше примеч. 5), а также на отдельные, изъятые из контекста критические суждения Лескова о расколе, Серман писал об "общем отрицательном отношении" автора "Соборян" к расколу, что не подтверждается публицистикой писателя, всегда соединявшего — как и в "Соборянах" — критику раскола с его поэтизацией. Серман считал, что Лесков потому и отказался в окончательном тексте от введения образа Аввакума в хронику, что пересмотрел свое отношение и к расколу и к раскольникам, придя в итоге к противопоставлению Туберозова Аввакуму: "Савелий обращен к будущему, тогда как Аввакум, в представлении Лескова, смотрел назад" (С. 406). По-видимому, исчезновение из хроники протопопа Аввакума как действующего лица объясняется общей тенденцией Лескова к "сжиманию" текста при доработке рукописи, к сгущению фона, в конечном итоге — к "упрятыванию" в подтекст важнейших смысловых мотивов хроники.

40 *ОЗ.* 1867. № 3. С. 187.

41 *Матфей,* 27: 35; *Марк,* 15: 24; *Иоанн,* 19:23—24.

42 *Матфей,* 27: 50—53.

43 См. об этом: *Майорова О.Е.* Рассказ Н.С.Лескова "Несмертельный Голован" и житийные традиции // *РЛ.* 1987. № 3.

44 Калики перехожие. Сборник стихов и исследование П. Бессонова. М., 1863. Вып. 5. С. 98.

45 Там же. С. 74.

46 Там же. С. 72.

47 Этот сюжет повторен и другими евангелистами (см.: *Марк,* 13:34—37; *Лука,* 12:41—48).

48 "Соляной столб" публикуется в наст. томе К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной (см. ниже)

49 *Лесков Н.С.* Незаметный след. (Из истории одного семейства) // Новь. 1884. № 1. С. 122. Этот незавершенный роман также публикуется ниже.

50 *Лесков Н.С.* Русская рознь. Очерки и рассказы. СПб., 1881. С. 295 — 301.

51 См. об этом: *Флоровский Георгий.* Указ. соч. С. 308 — 311.

[52] *Лесков Н.С.* Граф Л.Н.Толстой и Ф. М.Достоевский как ересиархи. Религия страха и религия любви // Новости и Биржевая газета. 1883. 1 и 3 апр.; Золотой век. Утопия общественного переустройства. Картины жизни по программе К.Н.Леонтьева // Там же. 22 и 29 июня (как документально доказано П.П.Кудрявцевым, обе статьи написаны Лесковым в соавторстве с Ф.А.Терновским — см.: *Кудрявцев П.П.* Из моих лесковиан. Материалы для изучения Н.С.Лескова // *РГАЛИ.* Ф. 275. Оп. 1. Ед.хр. 825).

[53] *Мазуренко Н.Н.* Литературные воспоминания // *ИВ.* 1901. №12. С. 1070.

[54] См. подробнее примеч. 57 к публикуемому тексту хроники.

[55] Искаженная цитата из А.И.Герцена (см. примеч. 82 к публикуемому тексту).

[56] *Достоевский.* Т. 6. С. 116.

[57] Там же.

[58] См.: *Виноградов В.В.* Достоевский и Лесков в 70-е годы XIX в. // *Виноградов В.В.* Проблемы авторства и теория стилей. М., 1961. *Пульхритудова Е.М.* Достоевский и Лесков. (К истории творческих взаимоотношений) // Достоевский и русские писатели. Традиции. Новаторство. Мастерство. Сб. ст. М., 1971. С. 81—138. *Видуэцкая И.П.* Достоевский и Лесков // *РЛ.* 1975. № 4.

[59] *Скабичевский А.М.* Новое время и старые боги // ОЗ. 1868. № 1. Отд. II. С. 17.

[60] См.: *Салтыков-Щедрин.* Т. 6. С. 233, 645 (примечания).

[61] *Писарев Д.И.* Соч.: В 4-х т. Т. 1. М., 1955. С. 283. Очерки были напечатаны сначала в "Русском слове" (1863), а в 1866 г. переизданы в составе первого собрания сочинений Писарева.

[62] Интерес к "эпохе Минина" в значительной мере объяснялся резонанасом, который вызвали незадолго до того появившиеся "драматические хроники" А.Н. Островского "Козьма Захарьич Минин, Сухорук" (1862—1866), "Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский" (1867), "Тушино" (1867).

[63] *Слепцов В.А.* Трудное время // Русские повести XIX века 60-х годов. Т. 1. М., 1956. С. 213.

[64] Там же. С. 216, 218.

[65] Там же. С. 215.

[66] Щетинин и в конфликтах с крестьянами, и в своих альтруистических порывах во многом предвосхищает толстовского Левина — вплоть до совпадения сюжетных ситуаций и отдельных реплик. Значительный хронологический разрыв между "Трудным временем" и "Анной Карениной", так же, как и глубокое различие взглядов обоих писателей, придают особую выразительность этим перекличкам, побуждающим анализировать острые проблемы эпохи поверх идеологических барьеров.

[67] См. примеч. 124 к публикуемому тексту хроники.

[68] *Слепцов В.А.* Трудное время. С. 284. Таким образом, процитированная реплика письмоводителя оказывается частью той разветвленной системы иносказаний в повести Слепцова, о которой убедительно писал К.И.Чуковский в статье «Тайнопись "Трудного времени"» (*Чуковский К.И.* Собр. соч.: В 6-ти т. Т. 5. М., 1967. С. 254—299). Стоит, однако, отметить, что ирония героя в отношении слов о "здравом смысле народа" ставит под сомнение предложенную Чуковским интерпретацию этого образа как скрытой пародии на М.Н.Каткова. Для издателя "Московских ведомостей" в 1860-е годы характерна была, напротив, апелляция к "здравому смыслу народа".

[69] Там же. С. 254. О подцензурном варианте этого фрагмента см.: *Чуковский К.И.* Указ. соч. С. 271—272.

[70] Там же. С. 238.

[71] Там же. С. 244.

[72] *MacLean, Hugh.* Указ.соч.

БОЖЕДОМЫ

Повесть лет временных
Шесть частей

Часть вторая

ОТСТАЛЫЕ[1*]

I

В те самые часы, когда отцу Савелию Туберозову было так немощно, а судье Дарьянову так недужно от их диалога на прогулке, люди, собравшиеся в доме акцизного чиновника Бизюкина, чувствовали себя превосходно. Здесь был не пир, не бал и не заседание, а аримофейский вечер: здесь были друзья, вполне единомышленные, вполне собою довольные и притом друзья, обрадованные общею радостью до восхищения.

За исключением Омнепотенского, которого мы уже видели, здесь всё люди знакомые нам только по слуху, и потому нам необходимо взглянуть в их физиономии. Кроме Омнепотенского, здесь три лица: хозяин, хозяйка и жена Дарьянова Мелания, или Маланья. Важней, видней и представительней всех здесь сам акцизный чиновник. Он как нельзя более репрезентует либеральное ведомство, по которому служит: он прежде всего хорошо одет и хорошо накормлен, потом велик, бел, румян, с умеренной гривкой и с глубокомысленнейшими бакенбардами. Ногти его чисты, зубы его белы, серые глаза дышат благодушием. Это человек, встретив которого, непременно подумаешь: "Тебе, дружок, очень нехудо живется",— и подумавши так и не ошибешься. У Бизюкина нет ни бед, ни горя, ни врагов; он не обременен службой; не боится никакой ответственности; пьет-ест сладко и доволен всеми и всем. Сытое положение ли, или даже прямо самый род службы заставляют Бизюкина называть своими врагами людей, хранящих отеческие предания[2*]: людей, содержащих веру, любящих семью и вообще соблюдающих формы отеческой жизни, но это он считал необходимым, так сказать, только для контенансу[3*], не как Бизюкин, а как либеральный чиновник акцизный. Он также и против собственности, но и это опять не потому, чтобы он не любил собственности, а потому, что так принято было относиться к этому в губернаторском доме, из которого Бизюкин взял свою жену, которой он и предан и покóрен. Сам он, человек самый белый и непорочный, отливает краснотой единственно только потому, что нельзя же акцизному чиновнику быть без красноватого оттенка. Отчего, почему без этого нельзя,— это еще покуда не сказалось, но, что как комиссару нельзя быть без панталон, так акцизнику невозможно без вольномыслия,— это все знают. Может быть, это такой хороший подбор, а может быть, тут работает та незримая сила, по законам которой, например, у всех нигилистов такие дубовые и ломовые фамилии, что газета Каткова, назвав которую-то из них, оговаривалась в скобках: "у автора такая фамилия"; а может быть,— и это всего вероятнее,— что акцизному чиновнику без красноты и вольномыслия невоз-

---

[1*] Первоначальный, зачеркнутый в рукописи вариант названия части второй — "Суетники"

[2*] Зачеркнутый вариант в рукописи: "считать врагами <...> патриотов <...>"

[3*] Для приличия (от франц. contenance — манера держаться).

"БОЖЕДОМЫ. ПОВЕСТЬ ЛЕТ ВРЕМЕННЫХ"

Часть вторая. "Отсталые". Зачеркнуто название "Суетники"
Автограф. Тетрадь первая. Лист 1

Этой тетрадью открывается дошедший до нас черновик хроники

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

можно обойтись просто от сытости, которая на чиновничью натуру действует, как овес на долго голодавшую мужичью лошадь: жирнеющая кляча лягает того, кто ей засыпает корм под ее лошадиную морду.— Но оставим времени и специалистам решать неразрешимый вопрос этот и будем представлять себе акцизного надзирателя Митрофана Егорыча Бизюкина таким, каким мы его отрекомендовали.

Жене его Дарье Николаевне, или Данке, теперь двадцать семь лет. Она вышла замуж за Бизюкина не по любви, не по принуждению и не по расчету. Мы, разумеется, могли бы заставить ее саму, собственными устами рассказать нам, почему она вышла замуж за Бизюкина; но сама она знает об этом менее, чем кто-нибудь. Ее отец был в очень недавнее время в этой же губернии гражданским губернатором[1*]: он был в одно и то же время педант и либерал; набожный христианин и взяточник, но жил с людьми в согласии и в губернии его любили.— "Брал, но *благородно* брал,— говорят о нем и по сие блаженное время. Он брал и делал". Таких у нас еще и хвалили, и берегли, и *любили*. Но вот ныне царствующий Император сошел ангелом в купель русского Силоамля и возмутил воду, и начались чудотворения[1]: Русь затребовала правды и бескорыстия от своих деятелей, и благородно бравший губернатор, отец Данки, слетел с места зауряд со многими бравшими неблагородно, т.е. с бравшими и не делающими того, за что взято.

Смещенный из генералов в капралы, отставной губернатор обратился в мирного помещика, живущего зимой в городе, летом в деревне, выписывающего книги и журналы, довольно великодушного для своих крестьян и от всей души желающего, "чтобы все в этой обновленной России полетело к черту!" Сановник этот был давно вдов и воспитывал шестерых дочерей при содействии француженки, в которой, как Фамусов, умел им принанять вторую мать[2]. Француженка эта была религиозная роялистка, потерявшая в революцию право надеяться на какое-то наследство. Она ходила по церквям, знала наизусть русскую обедню, служила молебны и ежегодно уезжала месяца на два в Москву, где имела обычай расставаться со своим девятимесячным бременем. Когда старшие девочки стали подрастать, присутствие в доме этой воспитательницы начало представлять некоторые неудобства. Ее спустили со двора, и воспитание детей перешло в руки овдовевшей тетки, некогда сбежавшей замуж за француза, который ее, как водится, обобрал и бросил. Эта терпеть не могла Францию и, порицая французские нравы, питала очень многим в России свойственное убеждение, что непогрешимая мораль со всего света сбежала в Англию, где ее рафинируют и оттуда опять развозят по свету в произведениях высоконравственной английской литературы[3]. Обманутая старуха веровала, что все, напечатанное на английском языке, позволительно и нравственно; а следовательно, и удобно для чтения вверенных ей губернаторских юниц, и юницы распалялись философиею Каина, Дон Жуана, Ричарда III, супружества Макбет, Крессиды, Елены, <1 *нрзб*> и других[4]. О ранней поре их захватила умственная революция, тихо произведенная лучшими людьми России в первые годы царствования Александра II-го: юницы слышали что-то пронесшееся как рокот, слышали, что рокот этот радует всех, кроме тех, чья печаль была им вместо радости. Отца и тетку они видели невеселыми, а все прочие ликовали, и они стали на сторону ликовавших. Старые боги развенчивались, безобразные кумиры снимались[5], и тихо и смирно вновь уставлялось что следовало ставить наново: надо было становиться за дело и идти в новой обстановке. Но Русь по излишней ретивости разбрыкалась, заступила постромки и начала в лицах басню о возах с горшками. "По ямам, рытвинам пошли скачки, прыжки — на славу и ...в канаву"[6]. За великой порой пробуждения непосредственно следовала другая пора,— пора шарлатанства словом и делом свободы, пора, которую один современный поэт метко назвал: "*комическое время*"[7]. В эту вторую пору и со-

---

[1*] Далее в рукописи вместо всего последующего фрагмента, завершающего абзац, шел более краткий, зачеркнутый вариант: "оклеветан, или скомпрометирован чем-то перед начальством по части взяток"

вершилось совершеннолетие Данки. Перед ее глазами не открывали уже ни Англии, ни Америки и не толковали про то, что невежда демократ может спесивиться и докучать своим демократизмом хуже, чем иной князь своим княжеством. Все, что так недавно занимало людей, лучшие инстинкты которых расшевелил и пробудил "Русский вестник" Каткова[8],— в пору Данки почти все уже было брошено и сочтено бесконечно малым и недостойным внимания людей истинного прогресса,— на очереди стояли вопросы другие: женский, детский, т.е. достоит ли любить своих детей, вопрос имущественный, вопрос о житье сообща и тому подобные серьезные вопросы "комического времени" Данка хотела служить делу и, чтобы показать неуважение к своей семье, вышла, как мы знаем из рассказа Омнепотенского, замуж за ничтожного чиновника Бизюкина — вышла уходом и высеченная[1*].

Отец ее все-таки сжалился над ней и при содействии своих старых связей достал ее мужу сытое место по акцизам. С тех пор бегучая Данка живет в Старом Городе, нимало не тяготясь своим глуповатым мужем. Он ей ни нравится, ни не нравится, да она об этом даже и не думает: ей все равно, какой он и кто он: ее занимают другие, высшие вопросы. Она любит суету и думает, что ее все считают опасной,— это ее пассия. Вторая ее слабость заключается в том, что она хочет казаться имеющею секреты, открытие которых могло бы очень многим стоить свободы и даже жизни. Она не пошлая дура от природы, но не понимает прямо ничего.

Употребляя слово *ничего,* следует оговориться, что слово это не сорвалось с пера, а стоит там, где ему следует стоять. Данка решительно *ничего не умеет понимать.* Ее можно было удивить всем чем угодно: самые обыденнейшие вещи имели для нее значение удивительных новостей, половине которых она даже не могла верить. Она, например, до сих пор не знает и не может верить, что законоположения, ограничивающие свободу печати, одинаково тяготеют над писателями всех направлений и что отстаивать национальные интересы во многих отношениях гораздо труднее, чем служить началам разрушительным[9]. Она думает, что совершает дело страшной смелости, не молясь Богу перед обедом, и что это только она одна такое и может и что за это ее правительство рано или поздно распилит живую. Она не может верить, что можно не желать революции, не будучи врагом свободы и тем более не будучи нисколько подкупленным агентом; она не поверит, что даже самые просвещенные коронованные лица не считают нынешних форм правления совершенными и вековечными; не поверит, что русскими богословскими философами давно решено, что критическое отношение к священному писанию не противно духу нашей религии или что на русском языке напечатана и свободно продается за два рубля "Теория нравственных чувств" Адама Смита[10], где между прочим читаем, что "перед точным определением права рушатся сами собою притязания представителей власти, притязания, изгнавшие из общества естественную свободу и равенство и почитаемые при всем том у народов *правами*"[2*]. Данке неизвестно и неведомо ничто,— ей неизвестно даже то, что сама она никем не преследуема и не гонима и что вообще многие, некогда гонимые, ныне в силу благоприятствующих для их положения условий, сами сделались гонителями. Ее призва-

---

[1*] Этот "рассказ Омнепотенского" (в окончательной редакции фамилия героя — Препотенский) входил, вероятно, в первую часть рукописной редакции хроники. Этот фрагмент не отражен ни в одной из журнальных редакций и известен лишь по окончательному тексту "Соборян" (см.: IV, 106–107).

[2*] Далее в рукописи зачеркнуто: "Как будто разум может допустить, например, что *права* детей, основанные на заслугах родителей, могут быть чем-нибудь, кроме предрассудков"

ние — суета; ее разговор — словоизвержения, которые можно вести век, никогда ни до чего не договариваясь. Конечный и ясный вывод ей противны: она как бы страшится, что после их ей не о чем будет говорить.

Данка довольно высока ростом, с недурною фигурой и даже с недурным личиком. У нее живой цвет лица, небольшие коричневые глаза с красноватым оттенком, хорошие, густые каштановые волосы, странный ротик почти без следа губ и любопытный нос,— у основания толстый и круто суживающийся к концу в остренькую точку. Нос этот все как будто что-то нюхает; чего-то ищет и во что-то засматривает. Вообще все ее красноглазое без губ личико и подвижная фигурка как нельзя более напоминают поднятого за уши кролика.

Мелания Дарьянова, небольшая молоденькая брюнеточка с отпечатком беспрестанного каприза на хорошеньком личике. Она здесь гость у Бизюкиных и притом редкий гость: она обыкновенно домоседка, но при неудовольствии на мужа перестает быть такою. Тогда она непременно уходит из дома и идет прямо к тем из знакомых, кого наименее любит, или наиболее не любит ее муж. Обыкновенно в этом случае местоубежищем ей служит дом Бизюкиных, которых она не любит, не уважает и у которых, сидя по целым дням, часто не вмешивается ни в какие разговоры и даже часто вовсе не слышит речей, с которыми к ней обращаются.

— Мелания влюблена в своего мужа,— говорят о ней знающие ее дамы, и они говорят правду. Как Данку Бизюкину не занимал дом, так Меланию Дарьянову не интересовал весь свет и все его законы: она вся стремилась к мужу, который награждал ее за это свободой.

Сегодня Дарьянова у Бизюкиных потому, что муж ее пошел к Серболовой, к которой она его ревнует, хотя знает, что Серболова женщина выше всяких подозрений. Мелания ничего не имеет против Серболовой,— напротив, она чтит ее и даже очень бы ее любила, если бы не любила страстно своего мужа. Она признает все достоинства Серболовой, как признает и значение свободы, но ненавидит речи об этой свободе в устах своего мужа, потому что сама к ней не чувствует никакого позыва и очень ясно выводит, что свобода, о которой воркует ей муж, нужна собственно одному ему. Она горяча, вспыльчива и неоткровенна. Вспылив на мужа, она не умела жаловаться и объясняться; но устремляла все силы мстить ему, и в городе были три лица, которые, зная и Меланию, и любя Дарьянова, серьезно опасались, как бы она ему когда-нибудь больно не отомстила. Эти три лица были: протоиерей Туберозов, Серболова и очень солидная жена городничего Ольга Арсентьевна Порохонцева.

Таково было общество, находившееся в доме Бизюкиных вечером того дня, в который учитель Омнепотенский явился туда с своими костями[1*].

II

Общество это, за исключением Мелании Дарьяновой, было необыкновенно оживлено. Сам Бизюкин, жена его и Омнепотенский — все здесь говорили вдруг, все друг друга перебивали и спорили. Повод к этакому шумному выражению чувств подавало не одно сегодняшнее появление Варнавы с его костями и происшедший по сему случаю общественный скандал. Это событие, весьма важное в другое время, теперь было принято наскоро; по поводу его отпустили шутку с дьяконом Ахиллой и отложили его на время в

[1*] Эпизод "с костями" (скелетом) завершает первую часть хроники (см. IV, 120—121).

сторону. Была более крупная новость: она заключалась в письме, полученном час тому назад Митрофаном Бизюкиным из Петербурга от одного из старых его школьных товарищей Андрея Ивановича Термосёсова[1*]. Письмо это было уже прочитано хозяевами за несколько минут перед прибытием Варнавы, но с его приходом, как только унялась суета, было вновь предложено общественному вниманию во второй раз. Теперь Данка собиралась читать это письмо вслух, и потому и нянька, водившая за руку маленького Бизюкина, была выслана из залы, а казачок Ермошка отпущен из передней.

— Это так следует,— сказала Бизюкина.— Нянька, конечно, верная женщина, и она меня выходила, а Ермошка глуп, но все-таки черт их знает.

— Осторожность не мешает,— подтвердил Бизюкин.

— На людей полагаться не следует, они за грош продадут.

— Да и без гроша даже,— вставил Омнепотенский,— они и даром на духу у попов все выболтают.

— Ну, за Ермошку в этом случае я, пожалуй, ручаюсь,— отвечала Бизюкина,— потому что из этого мальца будет когда-нибудь прок. Он Бога не признает и даже яйца у меня в страстную пятницу ел, когда красили.

— Он каналья,— заметил весело муж,— нянька, когда нездорова, посылает его в собор просвирочку вынуть, он пятак в карман, а сам просвиру ножом выколупает и принесет[2*].

— Он молодец,— заключила жена и, вынув из кармана распечатанный конверт с петербургским штемпелем, сказала:

— Это письмо, конечно, не заключает в себе ничего особенного, но оно должно радовать нас потому, что нас давно ничего не радовало. Всем вам известно, что вокруг нас застой,— дел никаких, и повсюду всевластно царствует рутина...

— И попы,— подсказал Омнепотенский.

— Позвольте,— продолжала Данка.— Я сказала: застой и всевластно царствует рутина. Но... но это... но это, однако, замечается не вокруг одних нас, но это замечается и повсюду: литература наша убита...

— Дана!..— начал было муж.

— Я сказала: литература наша убита,— подтвердила, возвысив голос на одну ноту, жена.— Я говорю об одной честной литературе.

Бизюкин прервал жену нетерпеливым движением.

— Я говорю об одной честной литературе,— повторила еще громче Данка и, услыхав, что ее муж тихо проговорил: “но позволь же!”,— воскликнула,— Нечего позволять, и я знаю все, что ты можешь сказать: литература наша убита, я говорю.

— Дана, да я то же самое хотел сказать, что она даже не убита, а уничтожена,— поспешил как можно скорее проговорить акцизник.

— Не уничтожена, а убита: это так, как я сказала, потому что уничтожено то, чего нет, как, например, уничтожено крепостное право, хотя оно de

---

1* Зачеркнутый вариант имени и отчества героя — Михаил Михайлович.

2* Далее в рукописи зачеркнуто:

«— Да; из этого мальчишки будет прок; а нянька глуха и не слыхала бы, но, впрочем, как это говорится: “береженого и Бог бережет”

— Бог! — с иронией проговорил Омнепотенский.

— Ну, Бог не Бог,— это все равно: я того убеждения, что пословицы говорить можно, хотя бы в них были слова и Бог, и царь, потому что здесь эти слова не имеют значения.

— Отчего же-с?

— Оттого, что настоящее значение заключается в письме,— сказал, улыбнувшись, Бизюкин».

facto и остается в виде запрещения труда капиталу; но в существе оно все-таки изменено; да, но оно изменено. Так и литература: у нас есть те же деятели; мы читаем почитаемые нами имена, но что они пишут нам, мы этого не понимаем.

— Решительно не понимаем! — не утерпел, чтобы отозваться, Бизюкин.

— Не понимаем,— заметил и Варнава.

— Да; позвольте! Мы этого решительно не понимаем, и это очень понятно. Это очень просто происходит...

— От правительства,— подсказал Бизюкин.

— Что?.. Да, от правительства. Частию от правительства, а частию же оттого, что мы сами...

— Бездействуем.

— Совсем не то.— А частию от того-с, что сами мы (Данка возвысила голос) стоим уже слишком в стороне от настоящей жизни. Да-с! Расстояния имеют свое фактическое значение,— это факт, и это не подлежит никакому сомнению и потому мы продолжаем говорить, между тем как нам давно надо бы нечто делать.

— Делать! Делать! — подсказали Бизюкин и Омнепотенский.

— Да-с; именно *делать*. И вот люди поняли это и обратились от литературы к делу, потому что... Позвольте, Омнепотенский, не перебивайте меня!.. Потому что дело гораздо действительнее слов и соловья баснями не кормят, а надобны предприятия. Омнепотенский, я вас прошу меня не перебивать. Надобны предприятия. Сказав это, наша литература кончилась потому, что дальше этого ей по самому существу литературы идти невозможно. Литература сделала свое дело, и теперь надобны предприятия[11].

— Но какие же-с! — привскочил Омнепотенский.

— Да, какие? Это все очень глухо пишется,— поддержал Варнаву Бизюкин.

— А вот я теперь именно до этого и договорилась,— продолжала Данка.— Решено, что надо слов как можно меньше, а даже лучше, чтобы и совсем слов никаких не было, а больше было бы предприятий.

— Но позвольте... как же?.. ведь надо же условиться?

— Я прошу вас не прерывать! — Надо больше предприятий, то есть дела.

— Но какого ж дела?

— Я прошу вас не прерывать. В чем может заключаться предприятие? Мы задаем себе вопрос: в чем предприятия могут заключаться? Всматриваемся в окружающую нас жизнь, приводим на память наших лучших писателей и приходим к убеждению, что у нас никакие предприятия невозможны.

— Невозможны! — подсказал Омнепотенский.— И я всегда говорил, что они невозможны.

Бизюкин не замедлил поддержать Варнаву:

— Невозможны,— сказал он,— и решительно невозможны потому что...

— За них вешают,— досказал Омнепотенский.

— Я вас прошу не перебивать! — остановила мужчин Данка.— Невозможны потому, что мы, не имея прямого сближения с настоящими современными деятелями, не знали настоящего, что надо делать? Литература, на которую мы в этом случае надеялись, оказывается бесполезною. Даже более: она в этом деле скорее способна приносить вред, а не пользу. Она наши понятия наполнила туманом. Из всех родов предприятия, которые ею рекомендованы, ясней всех мы дóлжны считать намек, сделанный нам в повести "Трудное время"[12]. Здесь автор, становясь на практическую почву, представляет, что герой, уезжая, берет с собой мальчика и уезжает делать предпри-

ятие, т.е. обучит его и приготовит из него деятеля. Это прекрасно, все другие писатели, предлагавшие предприятия, были еще темнее, и мы полагали, что *предприятие* — это значит революция...

— Революция.

— Ах, да не перебивайте! Революция... но затем нам дают чувствовать, что решено, что революция глупость и что ее не надо. Факт этот принят. Но рождается вопрос: что делать с этим мальчишкой?

Ответом Бизюкиной послужило всеобщее удивление и молчание: никто не понимал, к какому она свела вдруг мальчишке?

— Разберем этот факт,— продолжала Данка.

— Да ну скорей, Данка! — это скучно,— перебил Бизюкин.

— Прежде всего,— продолжала она,— я полагаю, что мальчика надо учить и потому я сама учу своего Ермошку: я из него вырвала все предрассудки и... Понька, закрой окно!

— Зачем? — спросил не ожидавший этого перехода муж, которому было скучно и который со скуки вылез по пояс в открытое окно.

— Закрой, повторяю, окно.

— Да что за прихоти, когда здесь так душно.

— Понька, третий и последний раз говорю: закрой!

— Зачем закрывать? Там нет никого.

— Есть.

— Да кто же?

— Гром.

Вдали чуть-чуть прорезались на небе безгромные молоньи; но грома не было ни звука.

— Грома нет никакого,— сказал Бизюкин.

— Я тебе говорю, не либеральничай и закрой,— отвечала жена.

Чиновник пожал плечами, встал и, закрыв раму, сел с неудовольствием у окна.

— Я продолжаю мое педагогическое дело,— начала Данка,— и я его продолжаю среди таких обстоятельств, при коих мое предприятие дальше невозможно. Я говорю "невозможно" потому, что, с одной стороны, опасные предприятия отрицаются, с другой, этот же самый мальчик может меня выдать и, вы сами видите, я нарочно высылаю его за двери...

— Данка, да кончи! — крикнул Бизюкин.

— И кончу. Но я желаю знать, что будут делать с тем мальчиком?

— Да с каким!.. Какая ты, ей-Богу, скучная!

— С мальчиком, который является в "Трудном времени"?

— Черт возьми... ничего не понимаю! Все мальчики в довольно трудном времени являются?

— Понька, вы глупы и для вас будет небесполезно, если вы этого не станете забывать, что вы глупы. Рязанов увез с собой мальчика. В этом нет никакого промаха...

— Да кто это Рязанов!

— В "Трудном времени"

— Тпфу, черт их возьми: "Наше время", "Трудное время" миллион газет и ничего не разберешь[13].

— Понька, вы глупы,— напоминаю вторично... Но на деле мы видим, что в том, что он увез мальчика, нет промаха. Даже само правительство, и оно в этом случае полагало, что оно не совсем бестактно, потому что и оно к этому не придиралось. Увез, и литература этим кончила свое дело; литературы больше не нужно потому, что начинается жизнь. Здесь в моих руках вы видите письмо... Понька, отойди от окна!.. Видите письмо... Вы все видите

"БОЖЕДОМЫ. ПОВЕСТЬ ЛЕТ ВРЕМЕННЫХ"

Часть вторая. "Отсталые"

Автограф. Тетрадь первая. Лист 12

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

это письмо? Это письмо от Андрея Термосёсова, литератора... Как он писал, Понька,— под каким названием?

— Да я вовсе не читал, что писал он.

— Я спрашиваю, *как* он писал, а не что он писал? Как он подписывался?

— "Михайлов"

— Да, да, "Михайлов"

— Я так и думал,— подсказал, оживясь, Омнепотенский.

— А почему это вы могли *так* думать?

— Потому что это самое лучшее.

— Конечно. Разумеется, “Михайлов” это самое лучшее. Ну-с: продолжаем: Термосёсов еще прежде был товарищем моего мужа. Нынче Термосёсов более не литератор.

— Не литератор! Он не литератор!

— Позвольте. Он литератор, но он бросил заниматься литературою и едет сюда. Вы это сейчас увидите из этого письма, к слушанию которого я вас должна была приготовить... А ты, Понька, либерал поганый, так и не отходишь! — Это для тебя скверно кончится.

— Вот, господа, письмо Термосёсова: “Ты, как и я, конечно, помнишь, Бизюкин, что мы с тобой расстались недругами по поводу твоей выходки с ста рублями, которых не хотел дать мне, и низкопоклонства твоего при добыче себе места”

— Сам очень честен! — проговорил Бизюкин.

— Нечего, нечего “очень честен”! В вас, господин Бизюкин, это так и есть “приидите поклонимся”-то[14].

— А он... с ростовщиком в стачке был, да на товарищей доносил.

— Не врите.

— Да что ты его знаешь, что ль?

— Я по письму вижу, что это честная натура: «...и низкопоклонства в добыче себе места. Но тем не менее я думаю, что это нам не помешает встретиться с тобою дружно. Я скоро увижу тебя и буду для тебя полезен. Я, брат, и сам не тот, что был, и ты меня во многом не узнаешь: моя натура не поддавалась никаким соблазнам: я не мирился ни с какой подлостью и пёр напролом и много за то помялся и потискался, но довел свое дело до конца и теперь из области слова перехожу к действительной жизни. После разлуки с тобою я до сих пор литераторствовал и, сколько мне кажется, не без успеха. Я познал зло, и подлецы будут меня помнить. Я не останавливался ни перед чем и ни перед чем не остановлюся. Но как тебе, вероятно, известно, мы дали маленькую ошибку: мы слепо немножко подхватили то, что втолковывали публике наши первые писатели, и втолковали, что сапоги лучше Шекспира и что всему корень жратва[15]. Это в литературном смысле вышло преглупо; но когда мы увидали, что это глупо, было уже поздно: шельмовская наша публика приняла это злодейски крепко и нам приходится плохо[1*] Каждый норовит свои пятнадцать рублей лучше прожрать или употребить на сапоги, а журнала не купит. Впрочем, жалеть, конечно, не о чем, потому что время уже не писать, а действовать, и литература более не нужна, ибо, хотя обстоятельства нам и благоприятствуют, и мы в нынешнее время можем все писать свободнее патриотов, но главное дело, сказав, что нам “*нужны предприятия*”, мы уже кончили и больше раскрывать ничего не можем. Намеками уже всем преподано ясно, что “делать предприятие” значит, что надо подготовлять избиение монархистов и собственников, а прямо сказать это нам все-таки еще некоторое время не позволят...»

Бизюкина остановилась и сказала:

[1*] Далее зачеркнуто: “В литературе читается только то, что занимает праздную глупость, изругай сколько хочешь этих Писемских, Клюшниковых, Стебницких и Крестовских[16] — им от этого ничего, даже как будто и лучше; а между тем наши издатели грохаются. Очевидно, что в наше время в литературе нам грязнуть не стоит, особенно с тех пор, как новый закон о печати развязал им языки[17]. Они в своем червивом направлении могут писать, что хотят, и хотя то же самое можем и мы, но мы, договорившись до необходимости предприятий, больше ничего не можем”

"БОЖЕДОМЫ. ПОВЕСТЬ ЛЕТ ВРЕМЕННЫХ"

Часть вторая. "Отсталые"

Автограф. Тетрадь первая. Лист 13

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

— Видите, какая подлость! Вот отчего все и было непонятно: им не дозволяют раскрыть, что такое предприятие.

— «Правда,— продолжала она свое чтение.— Правда, что и мы достаточно заливаем патриотам горячего за ворот и для этого все-таки надо содержать некий литературный гарнизонишко, чтобы науськивать на патриотов, если они разлиберальничаются. Я всегда был этого мнения и доказал, что может быть этим способом достигнуто: при представлении "Расточителя",

что накропал Стебницкий, мы как хватили да как указали некоторые местишки, на другой же день автора потребовали куда следует[18]. "Ничего, говорят, что вам это цензурой дозволено, но мы вас просим исключить эти места" И понимаешь: цензура пропустила, а *мы, мы* можем не пропустить, и начальство нас слушает, братец, слушает, потому теперь мы уже, без базаровского хвастовства, *сила*»[19].

— А это честно? — перебил Бизюкин.

— А еще бы! Не трогай,— возразила жена и продолжила снова. «Но это все действует только в Петербурге и то потому, что мы нынче здесь во всех ведомствах имеем своих, а у вас в провинциях, как справедливо пишет корреспондент "Голоса", "всё подряд метут и честных писателей даже читают менее, чем этих Писемских да Стебницких. Это-то вот и надо искоренить. Надо, чтобы везде и у вас в провинциях, как и здесь, в столице, развитые люди нашего направления сели на службу...»

— Точно польский катехизис,— перебил тихим замечанием Омнепотенский.

— Позвольте! "Люди нашего направления сели на службу по всем ведомствам и на все влиятельные места по всем ведомствам"

— Ну, конечно, это польский катехизис![20]

— Да позвольте-ж-е-е-с!

«Мы решились всё это, всякую открытую борьбу бросить и идти верною служебною дорогою к осуществлению своих предприятий: мы идем все на службу. В Петербурге это более не считается позорным, как было в твое время, а считается честью, и все друг другу помогают. Я тебе объясню, почему это так все нынче устроено. На это есть три причины: *первая* из них та, что есть надо, а на службе сытней, чем в этом писательстве, и тут же есть и разумное основание и справедливость. В самом деле, не вечно же нам всё обирать своих, чтоб буар, манже и сортир[1*], да и некого стало и обирать, а потом: медведь на себе носит и своей плотью питает клеща, который к нему пристанет. Мы присосались к этому государству, чтобы его опровергнуть, и оно должно нас и кормить. *Вторая* причина та, что когда государственные деньги у правительства берут наши, а не патриоты, которые сдуру готовы, может быть, и даром служить из шелудивой любви к шелудивой родине, то за нас будут все, которые хотя и не совсем еще наши, но от службы кормятся, ибо им всяческое бескорыстие в патриотическом духе и непонятно, и противно. Это у нас пункт соприкосновения со всем служащим, и в сем случае все мы "Михайловы" И наконец, *третья* и последняя причина нам все силы свои устремить на государственную службу есть та, что на службе всякое нашинское предприятие можно обделать гораздо лучше, чем во всякой литературе. Таким образом, видишь, что я пришел к тому же, к чему ты пошел прежде: я иду на службу».

— На службу! — воскликнул в удивлении Омнепотенский.— И он... "Михайлов" на службу!

— Да; а что это вас удивляет? Вы слышите: все "Михайловы" идут на службу, да вы и сами разве не служите?

— Я служу, но...

— Но что такое *но*?

— Но мне даже ни разу и не позволили подписаться полным словом "Михайлов" я служу по учебному ведомству, стало быть я врежу России... я все равно... что не служу... я веду пропаганду...

— Ну и прекрасно: а вы лучше дослушивайте, чем это все разъясняется:

[1*] От франц. boire, manger, sortir — пить, есть, выходить.

«Но разница между мной и тобой та, что я иду на службу[1*] по принципу и по убеждению, что это теперь так должно, а ты шел на службу, как бы стыдясь, по рутине. Я, конечно, мог бы заняться и частными делами, как у нас уже и очень многие из наших открыли кассы ссуд и наживают хорошие деньги и ведут пропаганду, так как приходящие всегда недовольны и, следовательно, взыскивая с них чувствительные проценты, их наилучше можно в это время поджигать. Если помнишь Постельникова — он это отлично ведет. Он хотя и не бросил литературы, но занимается ростовщичеством и с большой пользой, потому что взялся с тем, чтобы обирать прочих, а своих не трогать, и вел бы это отлично, да только подлец на несчастье: я ему заложил шинель и не выкупил, а он, скот, ее и продал, как и всякий другой бы ростовщик. Таков тоже, если помнишь, и литератор Фатеев: все они наши и занимаются ростовщичеством, но хотя чувство неправомерности в закладчиках и раздражают, но и своих дерут тоже как сидоровых коз, а Фатеев, каналья, еще и на счет купцов и сочинения свои издает и отправляет. Мне эти подлости надоели, да и денег на такое предприятие нет, а потому я определился по найму к Борноволокову, что в ваш город выбран мировым судьею. Я с ним был давно знаком и еду с ним вводить у вас новый суд[21]. Он барин отличный: весь наш и совсем молодчина. Он был драгоманом при одном нашем посольстве и демонстрации против России устраивал. Молодчина! — мировым судьей он еще не то выкинет! Будем, брат, будем делать дела. Я ему сказал про тебя, что у меня есть в Старом Городе приятель, который к Герцену ездил. "Молодчина!" — говорит и просил тебе написать, чтобы ты нас на первые дни как-нибудь приютил у себя или где-нибудь. Я тебя об этом и прошу, а послезавтра мы приедем и пойдем вас и трясти и мести, ты, братец, увидишь в чем штука. "Что делать?"-то Чернышевского это уж и старо, да и брошено; а вот присядем-ко с тобой у столишка, да разопьем бутылочку, так я тебе и расскажу взаправское *что делать*, которое и можно сделать.— Ответь мне завтра же на первую станцию: по-прежнему ли ты не веришь в Бога, не почитаешь родителей и презираешь начальство и в силу этого даешь приют и мне, и тому, кого к тебе привезет твой Термосёсов.

P.S. Буде знаешь такое делишко против местных благонамеренных, пошепчи кому надо, чтобы без нас не начинали, а впрочем, мы "яко бози",— мы умеем творить все и из ничего"[22].

III

Письмо это произвело сильное, хотя и довольно различное впечатление на трех из присутствовавших здесь лиц. Безучастною к нему осталась одна Мелания Дарьянова, которая его не слыхала, потому что ей хотелось домой, и она, надувшись, сидела и ждала, когда пришлет за ней муж и как она отошлет посланного назад и скажет, что хочет оставаться, пока ей вздумается.

Бизюкин же, жена его и Омнепотенский утратили всякое самообладание: Бизюкин кусал нетерпеливо розовый ноготь левой руки, отплевывался и был не в духе. Его, очевидно, смущали какие-то тяжелые воспоминания и вовсе не радовал ожидаемый наезд Термосёсова с Борноволоковым. Данка была вне себя от восторга и, тщательно складывая назад в конверт письмо Термосёсова, собиралась говорить; Омнепотенский уже говорил, но говорил потерянно и так тихо, что его никто не слыхал. Он был похож на того языческого кумира, который по преданиям потерял дар смысла и разумения при

[1*] В рукописи далее зачеркнуто: "не по рутине, не ради денег, как ты"

известии о нарождении Мессии[23]: он только поводил глазами и шептал: "Да это что ж?.. Разве же..." Больше этих сомнений у него ничего не выходило. Бизюкина не обращала никакого внимания ни на мужа, ни на Омнепотенского и начала с заявления крупной радости по поводу близкого ожидания наидрагоценнейших гостей.

— Но прежде всего,— сказала она мужу,— ты сядь и пиши и пошлем рано на почту,— или тут всего двадцать пять верст,— я пошлю верхом кучера.

— Кучер мне нужен,— отвечал Бизюкин.— У меня служба.

— Ну мало ли, что нужен! Одно другого дороже: здесь тоже служба. Пиши.

Бизюкин сел к столу и написал: «Я, конечно, не мог забыть, Андрей Иванович, всего, что ты мне когда-то устроил, обобрав меня дочиста в пользу несуществовавшего общества "*Безбедных тружеников*"; но старым считаться нам уже нечего и попрекать тебя ничем не хочу. Встретиться мне с тобой ничто не помешает, тем более, что в теории твой взгляд я все-таки уважаю и признаю твой ум и талант. Но хотя я и в Бога не верю, и родителей не почитаю, и презираю свое начальство, однако тебе с Борноволоковым приют дать не могу, потому что женат, имею детей и ни одной свободной комнаты; а потому извини. У нас на горе есть хороший постоялый двор Власа Данилова, прикажи везти себя ямщику прямо туда, и вам там, пока осмотритесь, будет отлично. Твой Бизюкин».

Окончив свою записку, чиновник засыпал ее золотым песком и хотел положить в конверт, как вдруг письмо это исчезло из его рук и очутилось в руках его жены. Данка прочитала это письмо и, покачав головой, нимало не церемонясь, сказала: "Эх ты, скотина, скотина! Это ты его уже боишься? Боишься как раб своего господина!"[24].

— Кто это мой господин?

— Да тот, кого ты боишься. Что ты разнежился: "У меня жена, дети" Да ему что за дело, что у тебя дети и жена? Ах ты дурак! Но нет; ты и не дурак, а ты это подличаешь: пожалейте мол меня: я женат на губернаторской дочери и несвободен в своих поступках. Но нет, брат Бизюкин, я тебе говорю: ты не на ту напал: я не позволю тебе представить меня, какою ты хочешь,— аристократкою!

Она быстро схватила перо и, перечеркнув хером писание мужа, тут же внизу начертала: "Приезжайте! Мы ждем вас и, чем скорее, тем лучше, и во всякое время. К вашим услугам весь наш дом и все, что в нем есть..."

— Ну, что же это за глупость! — воскликнул смотревший через плечо в письмо жены Бизюкин.

— Не беспокойтесь, не глупо,— отвечала она, подписав имя и законвертовывая записку.

— "И все, что в нем есть" Да тут ты, например, есть.

— Так что ж такое?

— И ты, стало быть, "к его услугам"

— Ты, Понька, дурак.

— Нет, не дурак.

— Нет, дурак. Разве я стала бы тебя спрашивать, если бы я захотела быть готовою к чьим-нибудь услугам? Я тебе мильон раз об этом говорила, что придет мне такая фантазия,— сделаю и о твоем согласии справляться не стану; а не придет,— не сделаю, и до этого тебе дела нет. Права одинаковы: мужчина не поверяет своего поведения до свадьбы,— женщина имеет право не поверять его после свадьбы, и тогда они квиты. Но это не стоит разговора.— Ермошка! Ермошка! Скорее кучера Ивана ко мне!

— Неужто сейчас посылать?

— А что же такое?

— Да так, пустяки: ночь, темень, тучи нависли, дождь каплет, и вдалеке слышен гром.

— Пустяки: мужики в поле ночуют, и то ничего. Ермошка!

— Да полно кричать. Ты сама же его ведь услала, чтобы не был здесь.

— Согласна, что это я,— сказала Бизюкина и бросила письмо на стол.

— Пускай прочистится.

— Да ладно, ладно, уж не визжи, пожалуйста! Давайте, господа, придумаем, с чего бы можно было начать? Мое мнение, с мещанина Данилки-комиссара. Он бьет свою жену страшно: я ее встретила,— несет воду попу и вся в синяках.

— Неужто и протопоп сам дерется! — вскричал Омнепотенский.

— Нет; это муж ее пришел вечером к протопопу на кухню и приколотил.

— А это все мы виноваты! — сказал Бизюкин.

— А чем же мы?

— Зачем мы их сватали? зачем выпихнули Домасю замуж за этого мерзавца? Прекрасно жила бы девушкой; прекрасно б служила, и было бы ей в тысячу раз лучше.

— Ну этого вы, положим, не понимаете и судить об этом не можете, потому что все это довольно сложно. Склоняя Данилку свататься на Домицели, мы имели другую цель: цель эта была политическая, и она достигнута. Мы устроили это затем, чтобы показать, что русский народ ничего против родства с Польшей не имеет и что простые люди женятся на польках. Это было сделано, собственно, в пику Аксакову и Каткову. Вот зачем и выпихнули, как вы выражаетесь, эту Домасю замуж. Прекрасно ль бы она жила в девушках, я не волшебница и не отгадываю, потому что в их быту и любовник все равно так же, как муж, поколотит. Но теперь мы имеем повод заступаться за нее потому, что с Катковым и с Аксаковым кончено, а теперь, добиваясь сепарации для Домицели с ее мужем, мы дадим удар мужскому деспотизму и шаг праву женщин, удар браку и шаг свободе женщин. Я не знаю, что за особенное значение в ваших глазах имеет эта Данилкина жена: она в этом случае только наш эксперимент; наш субъект для опытов — да, не больше, не меньше как субъект для опытов. Муж хочет ее определить кухаркой к ксендзу Збышевскому, который ей как польке и, может быть, как хорошенькой, предлагает четыре целковых, когда она живет у протопопа за полтора. Муж сам этого желает,— следовательно, он не ревнив; следовательно, он за свободу женщин; следовательно, за него, а не за нее должны стоять мы. Понятно и то, что ксендз имеет на Домницелию свои виды. Это только показывает, что у него есть вкус и сообразительность: она хороша и она католичка, следовательно, он на ее скромность может полагаться; но она оказывается глупа и остается у своего Савелия, где их матушка с батюшкой в теплой кухоньке греет. Что же нам за повод, господа, за нее заступаться? Не всякая же, в самом деле, женщина — то же самое, что женский вопрос?

— Моя мать, например? — вставил Варнава.

— Да даже и эта польская нимфа Домася, которая сама своей свободы не хочет?

— Да, с этой точки зрения, я согласен, что она виновата,— сообразил акцизный чиновник.

— Конечно! Она виновата; но он ее все-таки бил, и это есть достойный повод, на который надо обратить внимание мирового судьи. Таким образом, у нас он получит возможность начать стояньем за угнетенных женщин, а

после Данилка может перевесть свою жену на другое место по своему праву мужа.

— Я на это не согласен,— отозвался Бизюкин.

— Чего-с?

— Я не согласен.

— А ты можешь не соглашаться, но отойди сейчас от окна! Слышишь, отойди от окна!

— Чего мне отходить от окна, когда я грозы не боюсь?

— Отойди!.. отойди, потому что *я, я боюсь*...— Она бросилась к мужу, рванула его за сюртук прочь от окна и азартно крикнула: “Прочь! Я не хочу, чтобы у меня в доме завтра мертвец был!” — Вскрикнув это, Бизюкина тотчас же, выпустив мужнин сюртук, бросилась в угол покоя, взвизгнула и задрожала. За ней шарахнулись и столпились сюда же ее муж и Варнава и даже немотствующая Дарьянова, хотя причина ужаса Данки была понятна одной ей. Данка, оправясь, только могла громко сказать: “Ермолай! Ермолай! Ермошка-а-а!” И вдруг на этот отчаянный зов двери передней закачались и затряслись. Сзади за ними кто-то шевелился, царапался и лез, но никак не влезал. Прошла минута, другая,— царапанье не умолкает, напротив, неведомый пришлец берется все плотней и плотней: испуганное общество в зале окаменевает и стоит неподвижно. Незримый все царапается смелей и напирает все бесцеремонней. Минуты становятся ужасны: еще одно мгновение и чьи-нибудь поджилки не выдержат, Данка даже чувствует, что она первая шлепнется на пол, но ее посетила минута душевной силы: “возьми в руки образ и выйди”,— шепнула она мужу.

Бизюкин быстро схватил со стены маленькую иконку и отчаянно распахнул двери.

Что-то отлетело и повалилось.

В распахнувшихся дверях при свете можно было рассмотреть, что это Ермошка. Он был заспан, всклокочен и сидел посреди пола.

— Это ты спал, когда тебе велели уйти,— обратился к нему Бизюкин.

— Нет,— отвечал сонный Ермошка.— Я так глаза заплющил, да голову поклал, да и сидел.

— Подслушивал? Подслушивал? — приступила к нему ободрившаяся Данка.

— Да нет, не подслушивал! Я так глаза заплющил, да голову поклал, а прочунял, да думал, что на конике, а не на полу, да ищу краю.

— Иди поскорей посмотри, кто это там стоит против наших окон?

— Где-с?

— Где? Вон там — “где”? У забора напротив. Видишь?

Мальчик стал у темного окна, за ним осмелились стать и хозяева и Омнепотенский. В густой тьме нельзя было рассмотреть ничего; дождь лил и с шумом катился с крыш на землю; но вот опять блеснула молонья, и все, кроме Ермошки, отскочили вглубь комнаты.

— Видишь! — крикнула Данка.

Ермошка не отвечал.

— Видишь ты, поросенок? — нетерпеливо крикнула, топнув ногою, Данка.

— Вижу,— отвечал Ермошка.— Это комиссар Данилка стоит под голубцом от дождя.

— Данилка!

— Да, Данилка.— Вон, он и бурчит что-то.

— Спроси его, спроси, чего он стоит? Он, верно, подслушивает.

Мальчик высунулся в окно и закричал: “Данило, а Данило! Чего ты тут стоишь?.. А?.. Чего?”

Только что в шуме дождя замер звонкий голос ребенка, с той стороны улицы послышался короткий, но совершенно нерасслышанный здесь ответ.

— Что он сказал? — спросила Бизюкина.

Ермошка усмехнулся и отвечал: нельзя доложить-с.

— Он, верно, пьян?

— Должно быть-с: он ходит что день к ксендзовой старухе,— говорит, что у них на посылках... Ишь, что-то бурчит.

— Спроси-ка его? Опять спроси?

— Да чего ты, Данило, бурчишь? На кого?

— На черта-дьяволыча,— ответил мещанин.

— Что ж он тебе сделал?

— Да как же не сделал? Видишь, дожжыще какой порет, что домой не попасть. Сушь была,— надо было в меру молить, а наш протопоп-то ишь какой вытребовал!

Мальчик передал претензию Данилки на протопопа Савелия. Бизюкин расхохотался; но жена его нашла это гораздо менее смешным, чем замечательным, и, обратясь к Омнепотенскому, сказала:

— Послушайте, Омнепотенский?! Я все-таки вам одним верю больше других. В самом деле: начнемте-ка мы с духовенства! Пойдите вы домой с этим Данилкой и... Надо ведь, господа, в самом деле, чтобы у нас тут хоть на что-нибудь было похоже; чтоб мировой судья прямо мог стать на нашу сторону? Правда? — обратилась она, перервав свою речь, к предстоящим.

— Конечно, правда,— ответил Варнава.

— Так одевайтесь! Скорей, скорей одевайтесь.

Варнава взял в руки фуражку.

— Так и послушайте... того... Да; ступайте, ступайте!.. и например, хотя бы это... хоть этот дождь... Я позабыла, что его ждали и о нем молились, и он как назло и пролил, и сейчас доказать, что он глупо пролил... или постойте... не то... лучше доказать, что он совсем не от того... Доказать отчего он, понимаете, объяснить... Да прощайте, прощайте! Сегодня устройте с Данилкой, а завтра нам может быть много, много дела. Да; завтра, господа, завтра перед нами... я знаю, что завтра перед нами без всяких недомолвок и цензуры откроется настоящее *что делать*[1*].

III[2*]

Дом Бизюкиных не пользовался в городе никаким уважением. Несмотря на то, что акцизный чиновник имел относительно очень хорошие средства и, стало быть, мог задавать тон полунищему уездному люду, но никакого этого тона не чувствовалось, да и с самим акцизником никто иначе не говорил, как с легкой насмешкой. Его либерализм был пословицей, жена его была притчей во языцех, собрания у них назывались “акцизною скукой”, дом их считался чуть-чуть не домом неизлечимых сумасшедших. А потому разнесшийся по городу на другой же день после описанного вечера слух, что долгожданный представитель нового, святого правосудия,— мировой судья

[1*] Далее зачеркнуто: “Меланья, вы меня извините, ваша лошадь давно под сараем; а я очень устала от всех тревог этого дня.

Дождь перестал; гости простились с хозяевами и отправились по домам. Дарьянова в крытых дрожках, а Омнепотенский по инфантерии, в сопровождении прихваченного им с собою комиссара Данилки”

[2*] Авторская ошибка в нумерации глав (глава III в рукописи повторяется дважды).

Борноволоков приедет прямо к акцизнику и остановится в этом сумасшедшем доме, подействовал на старогородцев чрезвычайно дурно: одних это крайне удивило и заставило рассмеяться, другие же сочли себя глубоко оскорбленными таким пренебрежением к общественному мнению. К числу последних принадлежали и наши знакомые уездный начальник Дарьянов и отец Савелий Туберозов.

Протопоп и Дарьянов были удивлены и самым избранием Борноволокова в мировые судьи. Борноволоков был местный, уездный обыватель, но его никто не знал, потому что он никогда здесь не жил, а служил где-то русским посольским чиновником и ходил как изменник с знаменем, возбуждая восстание против России за Польшу. Выбрали его Бог знает почему,— потому, что его брату Николаю Борноволокову, местному вице-губернатору, хотелось приснастить революционного братца к четырем тысячам жалованья. А как он утвержден? — как утверждены многие совершенно ему подобные.

Самое избрание Борноволокова обескураживало уже нетерпеливых ожидателей мирового суда, а очевидное якшательство судьи с людьми, противными городу, доканчивало разрушение обаятельных надежд.

— “Он *их,* а не наш”,— сказало людям их сторожкое чувство.

Туберозову весть эту сообщил Дарьянов, а ему рассказала об этом за утренним чаем жена. Дарьянов же, идучи в свое управление, встретился с протопопом, который в это время возвращался домой, отслужив обедню, и рассказал в свою очередь эту новость протопопу.

Протопоп выслушал рассказ самым внимательным образом и не выразил по этому случаю никакого гнева, ни удивления. Дарьянов беспокоился более и сказал: “Неужто же вам в этом ничего не чувствуется и ничто вас в этом не удивляет?”

— Да что ж: ничего нового! — ответил протопоп[1*].— Все по-старому шутки: видно, и на новую воду с старым огнем поплывем, и ничего более.

— Но досадно[2*]: как нарочно, первое сближение и прямо как будто колом в нос всем, как будто назло: кто всем презрителен и противен, тем и особое почтение.

— Сердиться за это нечего: свой своему весть подает.

— Нет-с, *кто* его выбрал?

— Нет-с, *как* его выбрали? — лучше спросите.

— Да все это просто: того не хотим мы, этот вам не нравится,— валяй назло кого попало: вот и выбрали.

— Ну, и говорить надо оставить, и пусть он вас судит. Хохол купил редьку, да очень уж горькую, так ел ее да приговаривал: “Видели вы, глаза мои, что покупали,— теперь ешьте, хоть вон вылезьте”,— говорите себе и вы то в свое утешение[3*].

— Никак не ждал, чтобы у нас это так вышло!

— Ба! отчего ж так?

— Да так... этакая воистину царская милость: излюбленный суд безсудной земле, и бац... Одна, одна эта выходка: борноволоковское избрание, да

1* Далее зачеркнуто: “Я уже давно привык ничему не удивляться”.

2* Далее зачеркнуто: “всё ждали все, ждали равной правды для всех и вдруг”

3* Далее зачеркнуто: “Все это выходит и вновь та же шутливость, что встарь мы видали.

— Однако боюсь, что опять мы запорем!

— И вправду.

— По-моему, все-таки новое, что бы оно ни было, лучше старого. За новый суд вечное будет спасибо Царю от России.

— И впрямь ваше слово правдиво, Царь свое сделал: теперь будем смотреть, что его люди делать станут”

его якшательство с шалопаями нашими и... душа смущена, и надежды подорваны.

— Сударь, сударь! Земле российской и сие не ново: наша пословица говорит: "Царь жалует, да псарь разжалывает". Без школы, сударь, страна, без школы. Куда нас ни пусти, всё норовим либо на кулаки, либо зубы скалить. Что вы с нами поделаете? Да чем здесь стоять, не свободны ль? — зайдемте,— говорить в хате сподручней.

— Нет; благодарю,— у меня много дела.

— А, если дело есть, то дело прежде всего. До свиданья.

Протоиерей подал Дарьянову руку, которую тот удержал, и, улыбаясь, спросил: "Наш вчерашний разговор, конечно, не одолеет нашей приязни?"

— Да, конечно, не одолеет,— отвечал протопоп[1*].

Протопоп сжал руку Дарьянова, и они разошлись.

Савелий скрывал, как он принял весть о близости мирового судьи с неприятнейшими людьми целому городу. Это ему было неприятно более, чем что-нибудь на свете. Чувство понятное и всем нам свойственное, когда видим человека, на которого возлагали наши лучшие надежды, в сближении с людьми, по нашему мнению, вредными этим лучшим надеждам. Это страх, ревность, неохота видеть этого лучшего из боязни, что оно явится не таким, каким ожидалось, и потемнит прекрасный лик свой перед очами людей, которым мы в восторге своем говорили: "Вот оно! вот солнце правды! Глядите,— оно всходит на небо!" — Это издалека привезенный заочно сшитый роскошный наряд, получив который, видят его не оправдывающим великих ожиданий: его прячут и чувствуют себя очень неловко от того, что должны его прятать. Перенесенное к вопросам более важным и делам более крупным,— это горячую душу повергает в состояние страшной досады и сбивает человека со всех путей, кроме пути погибельного, пути небрегущего жизнью. Пренебрежение переходит в геройство,— геройство становится не целью, но потребностью. Отсюда равнодушие юношей к огненной печи; отсюда бесстрашная ревность Илии, которому "омузися зело ходить вослед мерзости"[25]; — отсюда протопоп Аввакум, ревность и сила которого росла и крепла по мере[2*] возраставшего в его глазах у людей равнодушия к тому, что сам он считал святою истиной и правдой. На него случайно падает и на нем задерживается внимание Туберозова.— Как долго у русского человека подготовляется этот процесс потери терпения и зато как неотразимо его развитие после разчина. Двадцати трех лет Аввакум со всею энергией своей натуры вооружился против лжи, откуда бы она ни шла, и встретил за это порицание и гонение властей, долг которых был отстаивать истину. Воевода пришел в церковь и "задавил Аввакума до полусмерти"; в другой раз бил его и "откусил перст у руки"; в третий стрелял в него из пищалей, потом разорил его дом и выгнал оттуда с женой и с некрещеным ребенком.— Аввакум становится непреклоннее и придирчивей. Пришли в село "плясовые медведи с домрами и бубнами", и поп Аввакум не терпит и этого: "он хари и бубны сломал; медведя одного ушиб, другого пустил в поле" Его, Аввакума, зовут благословить брадобритого болярина Шереметева, а он обличает его за "блудностный образ", неуломного попа велят бросить в Волгу. Он и тут уце-

---

[1*] Далее зачеркнуто продолжение диалога, начинающееся словами Дарьянова:

"— Вы теперь успокоились.

— Да; ничего... спокоен, ничего. Я крепко спал, а утром рано погулял по огороду, и стало хорошо, а после помолился и теперь еще лучше... Вы вот мне немножко... подкинули ножницами <?>... с судьей-то с этим с вашим, что с первого шага с Варнавкой да с Бизюкиншей сходится; да ин Бог с ним. Прощайте!"

[2*] Далее зачеркнуто: "возраставших гонений в его глазах"

лел. Про высокую душу и честнейшую жизнь Аввакума достигают вести и до Государя. Царь Алексей проникается уважением к Аввакуму и шлет прямого попа в Юрьев Поволжский, но "дьявол" в образе низкой интриги смущает людей, и мужчины и бабы бьют Аввакума, кто батожьем, кто рычагами и, считая мертвым, бросают его под избяной угол. Государь, щадя Аввакума,[1*] берет его поближе к себе и сажает его править с Никоном книги, но не всем дело, как царю, до высокой души попа Аввакума. Его прячут под землю на цепь, "где токмо мыши и сверчки кричат и блох доволько", и лицемерные слуги патриарха, рисуясь своею покорностью против аввакумовой строптивости, "дерут его у церкви за волосы и под бока толкают, и за чепь трогают, и в глаза плюют" Но что это всё Аввакуму — всё его собственное радетельство за истину мизерно ему,— перед ним мерцает вдали другой идеал народного попа,— это Логгин, протопоп муромский[26]. Аввакум видел и свидетельствует о том, как расстригал Никон попа Логгина, и свидетельство его исполнено выспреннего восторга и неукротимой ревности поревновать по нем. "Остригши, сорвали с него однорядку и кафтан,— пишет Аввакум про расстрижение Логгина;— но Логгин же разжегся ревностью божественнаго огня, Никона порицал и через порог Никону в олтарь в глаза плевал и, сняв опояску, схватил с себя и рубашку, и ту Никону в олтарь, в глаза бросил. И в то время была в церкви и царица" Самого Аввакума только лишь сам Государь умолил патриарха не расстригать: его шлют в Тобольск, и в Тобольске его встретили добро и воевода и архиепископ, да дьяк Струна захотел без вины наказать дьякона той церкви, где служил протопоп. Струна вбежал с челядью в церковь и схватил дьякона на клиросе за бороду. Это ли снесть Аввакуму? Аввакум с дьяконом посадили дьяка Струну на пол посередь церкви и "за церковный мятеж нарочито его постегали ремнем" После этого на Аввакума поднялся весь город и пришла ему такая жизнь, что он "в тюрьму просился, чтобы душу сохранить" За эту ревность везут его на пустынную Лену; но и это кажется мало,— и шлют его в Даурию к зверю Пашкову[27], а этому на благо вспало и с дощеника, на котором плыли, согнать протопопа. "О горе! — возроптал несокрушимый Аввакум[2*].

«Горы высоки, дебри непроходимыя,утес каменный, яко стена стоит,— и поглядеть, заломя голову; в горах тех обретаются змии великия; в них же витают гуси и утицы — перье красное, вороны черные и галки серыя; в тех же горах орлы и соколы и кречеты и курята индейския и бабы и лебеди и иныя дикия, многое множество птицы разныя. На тех же горах гуляют звери многие: дикия козы и олени и зубры и лоси и кабаны, волки, бараны дикие во очию нашу, а взять нельзя. На те горы выбивал меня Пашков со зверьми и птицами витати, аз ему малое писаньице написал, аще начало: "Человече! убойся Бога, Его же грепещут небесныя силы, един ты презираешь и неудобство показуешь", и послал к нему. А и бегут человек с пятьдесят и помчали к нему. Он с шпагою стоит и дрожит, рыкнул, яко дикий зверь, и ударил меня по щеке, тоже по другой и паки в голову, и сбил меня с ног, и чепь ухватя, лежачаго по спине ударил трижды и затем, по той же спине 72 удара кнутом. И я говорил: "Господи Иисусе Христе, сыне Божий! помогай мне". Да то же беспрестанно говорю; тако горько ему, что не говорю: "пощади" Ко всякому удару молитву говорил, да середи побой вскричал я к нему: "полно бить-то", так он велел перестать».

И, кинув Аввакума в лодку, везут его[3*].

«Сверьху дождь и снег, а мне на плеча накинут кафтанишко просто; льет вода по брюху и по спине, нуждно было гораздо... По сем привезли в острог и в тюрьму кинули, соломки дали. И сидел до Филипова поста в студеной башне; там зима в те поры живет, да Бог грел и без платья; что собачка, на соломке лежу; коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их скуфьею

[1*] Зачеркнуто: "Благочестивый царь, щадя благочестивого попа"

[2*] Следующий далее текст представляет собой вклеенную в рукопись печатную страницу из "Жития протопопа Аввакума" с небольшими сокращениями.

[3*] Эта фраза вписана Лесковым.

бил, и батожка не дадут, дурачки; все на брюхе лежал, спина гнила, блох да вшей было много»[1*].

И это все не смущает души протопопа. Идет потом голод, ест он сосенку, вкушает и "кобылятинки" Надо б смириться[2*]; но у Аввакума нет неустойки. Православный сын Пашкова, отправляясь в поход на Монгольское царство, попросил языческого шамана помолиться за него. Аввакум как бы предувидел в этом страсть русских князей и бояр[3*] изменять отеческой вере и "завопил к Богу" так, что старый Пашков велел для него "учредить застенок и огонь расклал", а "Аввакум ко исходу души и молитвы проговорил, ведая, что после того огня мало живут" Не помеха Аввакуму и ни жена, ни дети[4*], ни любовь и ни нежность душевная. Прощенный и возвращенный назад на Москву, он, видя нестроение дел церковных, только раз раздумался, как страшно вновь ссориться и вновь заставлять семью претерпевать то, что терпели. "Опечалился,— рассказывает он про себя,— и рассуждаю: что сотворю? проповедаю ли слово Божие, или сокрыюся? Жена и дети связали меня! Жена же вопроси меня: что, господине, опечалился? Аз же подробно известих: жена! что сотворю? — говорить ли мне, или молчать? связали вы меня. А она: Господи помилуй! — рекла. Что ты, Петрович, говоришь? Я тебя и с детьми благословляю: *дерзай*; а о нас не тужи додеже Бог изволит. Поди, поди, обличай блудню еретическую.— Я ей за то челом и, отрясши от себя печаль[5*], начал паки еще и со дерзновением". Уважавший его царь Алексей приласкал его и сказал: "Здорово, протопоп! Еще Господь велел видеться!" — "Жив Господь и жива душа моя, а вперед, что позволит Бог",— отвечал протопоп Аввакум и засим "видя, яко церковное ничто же успевает, паки заворчал" и на угрозы царя отвечал ему в лицо: "Аще и умрети мне Бог повелит, со отступниками не соединюся. Задушат меня,— ты, Господи, причти меня с Филиппом московским[28], зарежут, и ты причти меня с Захариею пророком[29], в воду посадят, и ты яко Стефана Пермского меня помяни!"[30] И доворчался ворчун до того, что, чтобы покончить с ним разом, его взяли да наконец и сожгли. Сгорел на костре огнем ревности пылавший протопоп, а легкий попел его сожженного праха разлетелся по лицу земли и пал на головы миллионов, которые не усумнились признать его святым, не требуя на то никакой канонизации. Они признали этого мученика святым единою канонизациею своей веры и благоговения к этому одушевленному кивоту, в котором столь величественно явлено миру преобладание несокрушимого духа над податливою на уступки плотью. Истекает два столетия с тех пор, как Аввакум сожжен в 1681-м году в Пустозерском остроге, и два столетия имя его произносилось яко зло всеми людьми, не способными почтить силы духа в погибшем, но непобежденном противнике. Его порицали писатели духовные[31]; его хулили и поносили раболепные историки; к нему прилагали свою заушающую руку даже известные исторические романисты[32]: но *невежды* хранили чистою его память[33] и сохранили ее таковой до сего дня, когда свободно можно удивляться великому духу этого нетерпеливого ратоборца[34]. Он и ему подобные[6*] народные герои,"яже на Москве кнут прияша и предаша души своя в дебрях и пропастях земных",[35] ныне совершают великое служе-

---

1* Здесь кончается печатный текст.

2* Далее зачеркнуто: "Новые пророки все неустойки человеческой нравственности видят в силе недостатков и голода, а Аввакум не так думал".

3* Зачеркнуто: "молиться чужому Богу".

4* Далее зачеркнуто: "потому что знал он, кого в жены брал"

5* Зачеркнут текстуально точный вариант "Жития": "печальную слепоту".

6* Зачеркнуто: "непризнаваемые господствующею церковью святые".

ние сжившей их со света новой России. Они, эти кнутобойные стратиги, с лучшими людьми земли русской ведут ныне родную неученую Русь посреди всех соблазнов и[1*] совращений к той цели, которой ей назначено достичь с отеческой верой и "правдой, по закону святу, его же принесоша с собой наши деды через три реки на нашу землю" Пока земля русская не устала рождать этаких *богатырей вопля и терпенья*, до тех пор да прощено будет ей даже рождение всех перевертней[2*] и предателей. Пусть им, этим лукавым *сынам света,* брошен будет в жертву борец, пусть и батожка не положат ему дурачки,— как собачка он среди зимы свернется и на соломке он выспится и, лишенный батожка, скуфейкою иерейской от докучающей гадины отобьется. Надо сжечь его... но сожженный, он полетит легким пепелом, и уста, не знавшие песен хвалы, запоют ему славу.

Наилучший духовный журнал нашего времени недавно сказал: "слово само собою уже становится *бессильно*: нужны подвиги"[36]; современный поэт восклицает:

"Век жертв очистительных просит!"[37]

Савелий, взращенный в суровой логике мышленья, постигает всю правду первого замечания, и, как человек, полный восторгов вдохновенья, слышит и просьбу, которую шлет его век устами поэта, и ему становится все веселее[3*], все радостней. Он даже счастливо улыбается, подходя к дому, и как будто думает: "О, век мой, алчба твоя будет сыта: тебе будет дан *человек,* чтобы ты не смеялся безлюдью"

IV

Возвратясь домой в таких мыслях, протоиерей Туберозов удивил и обрадовал жену спокойствием, какого она давно не видала на лице его. Это спокойствие было просто интервал между нервическою возбужденностию, которая очень долгое время обдержала Савелия. Опять самый незначительный повод, и спокойствие это разлетится в клочья, как легкое облако от ветра; но пока оно есть, оно обманчиво. Однако ему ненадолго пришлось и обманывать протопопицу[4*].

Туберозов, возвратясь домой, пил чай, сидя один на том же самом диване, на котором спал ночью, и за тем же самым столом, за которым писал свои "нотатки".— Мать протопопица только прислуживала мужу: она подала ему стакан чаю и небольшую серебряную тарелочку, на которую отец Савелий осторожно поставил принесенную им в кармане просвирку, и уселся.

Сердобольная Наталья Николаевна[5*], сберегая покой мужа, ухаживала за ним, боясь каким бы то ни было вопросом нарушить его строгие думы. Она шепотом велела девочке Афонаске набить табаком и поставить в угол на подносик обе трубки мужа и, подпершись ручкою под подбородок, ждала, когда протоиерей выкушает свой стакан и попросит второй.

Но прежде чем она дождалась этой просьбы, внимание ее было отвлечено шумом, который она услыхала невдалеке от своего дома. Слышны были торопливые шаги и беспорядочный говор, переходящий минутами в азартный крик. Выглянув из окна своей спальни, протопопица увидала, что шум

[1*] Далее зачеркнуто: "крамолы, равнодушия к попираемой правде"

[2*] Первоначально вместо "перевертней" было "мышей и гадов"

[3*] Далее зачеркнуто: "он впадает в восторг, он слышит зовущий его голос"

[4*] Далее, до конца главы, текст скопирован неизвестной рукой, затем дополнен и отредактирован Лесковым.

[5*] Зачеркнутый вариант: "по замечаниям Натальи Николаевны, протопоп был очень грустно настроен и потому сердобольная протопопица"

этот и крик производила кучка людей, человек в десять, которые шли очень быстрыми шагами как бы прямо к их дому и на ходу толкались, размахивали руками, спорили и то упирались, то вдруг снова почти бегом подвигались вперед.

"Что бы это такое?" — подумала протопопица и, выйдя в залу к мужу, сказала:

— Посмотри, отец Савелий, что-то как много народу идет.

— Народу как людей, мой друг,— отвечал спокойно Савелий[1*].

— Нет, в самом деле очень уж много.

— Господь с ними, пусть их расхаживают; а ты дай-ка мне еще стаканчик чаю.

Протопопица взяла стакан, налила его новым чаем и, подав мужу, снова возвратилась к окну, но шумливой кучки людей уже не было. Вместо всего сборища только три, не то четыре человека стояли кое-где вразнобивку и глядели на дом Туберозова с видимым замешательством и смущением[2*].

— Господи, да не горим ли мы, отец Савелий! — воскликнула, в перепуге бросаясь в комнату мужа, протопопица, но тотчас же на пороге остановилась и поняла, в чем заключалась история.

Протопопица увидала в окна, что выходили на двор, дьякона Ахиллу, который летел, размахивая рукавами своей широкой рясы, и тащил за ухо мужа туберозовской служанки Доминцели мещанина комиссара Данилку.

Протопопица показала на это мужу, но прежде чем протопоп успел встать с своего места, дверь их передней с шумом распахнулась, и в залу протоиерейского дома предстал Ахилла, непосредственно ведя за собою за ухо раскрасневшегося и переконфуженного комиссара Данилку.

— Отец протопоп! — начал Ахилла, бросив Данилку и подставляя пригоршни Туберозову.

Савелий благословил его.

За Ахиллою подошел и точно так же принял благословение Туберозова Данилка. Затем дьякон отдернул мещанина на два шага назад и, снова взяв его крепко за ухо, заговорил:

— Прохожу, слышу говор. Мещане говорят о дожде, что дождь послан после молебствия, а сей (Ахилла уставил указательный палец левой руки в самый нос моргающего Данилки), а сей опровергал это.

Отец Туберозов поднял голову.

— Он говорил,— опять начал дьякон, потянув Данилку за ухо,— что дождь, сею ночью шедший, после вчерашнего мирского молебствия, не по молебствию воспоследовал.

— Откуда ты это знаешь? — спросил Туберозов стоящего перед ним растрепанного Данилку.

Сконфуженный Данилка молчал.

— Говорил, отец протопоп,— продолжал дьякон,— что это силою природы последовало.

— Силою природы? — процедил, собирая придыханием с ладони крошечки просфоры, отец Туберозов.— Силою природы тоже вот такие пустомели и неучи, как ты, рождаются, но и то силою той же природы на них посылается учительная лоза, вводящая их в послушание и в разум. Где ты это научился таким рассуждениям? А! Говори, я тебе приказываю.

[1*] В рукописи зачеркнута следующая реплика Туберозова, поясняющая предыдущую и восстановленная (в измененном варианте) в окончательном тексте: "А человека небось ни одного нет".

[2*] Зачеркнуто: "с видом страха"

— По сомнению, отец протопоп,— скромно отвечал Данилка.

— Сомнения, как и самомнения, тебе, невежде круглому, вовсе не принадлежат, и посему ты вполне достойное по заслугам своим и принял,— решил отец протопоп, а встав с своего места, сам своею рукою завернул Данилку лицом к порогу и сказал: — ступай вон, празднословец, из дома моего к себе подобным.

Выпроводив за свой порог еретичествующего Данилку, отец протоиерей опять чинно присел, молча докушал свой чай и только тогда, когда все это было обстоятельно покончено, сказал дьякону Ахилле:

— А ты, казак этакий, долго еще будешь свирепствовать? Не я ли тебе внушал оставить твое заступничество и не давать рукам воли?

— Нельзя, отец протопоп; утерпеть было невозможно; потому что я уж это давно хотел доложить вам, как он все против божества и против бытописания; но прежде я все это ему по его глупости снисходил доселе.

— Да; снисходил доселе.

— Ей-Богу снисходил; но уж когда он, слышу, начал против обрядности...

— Да.

Протопоп улыбнулся.

— Ну, уж этого я не вытерпел.

— Да, так надо было всенародно подраться!

— Отчего же, отец протопоп? Святой Николай Ария всенародно же...[38]

Отцу протопопу слово это напомнило давний, но приснопамятный разговор его с губернатором, и он сверкнул на дьякона гневным взором, вскочил и произнес: Что? Да ты немец что ли, что ты с Николаем угодником-то стал себя сравнивать!

— Отец протопоп, вы позвольте; я же совсем не сравниваю.

— То святой Николай, а то *ты*! — перебил его отец Туберозов.— Понимаешь, *ты*! — продолжал он, внушительно погрозив дьякону пальцем.— Понимаешь ты, что ты курица слепая; что ты ворона, и что довлеет тебе, яко вороне, знать свое *кра*, а не в эти дела вмешиваться.

— Да я, отец протопоп...

— Чтс, "отец протопоп"? Я двадцать лет отец протопоп и знаю, что "подъявый меч, мечом и погибнет"[39]. Что ты костылем-то размахался? Забыл ты, что в костыле два конца? А! забыл? забыл, что один по нем шел, а другой мог по тебе пойти? На силищу свою, дромадер[40], надеялся! Не сила твоя тебя спасла, а вот что, вот что спасло тебя! — произнес протопоп, дергая дьякона за рукав его рясы.

— Так понимай же и береги, чем ты отличен и во что поставлен.

— Что ж, я ведь, отец протопоп, свой сан никогда...

— Что!

— Я свой сан никогда унизить не согласен.

— Да, я знаю, ты даже его возвысить стремишься: богомольцев незнакомых иерейским благословением благословляешь...— с этим словом протопоп сделал к дьякону шаг и, ударив себя по колену, прошептал,— а кто это, не знаете ли вы, отец дьякон, кто это у бакалейной лавки, сидючи с приказными, папиросы курит?

Дьякон сконфузился и забубнил:

— Что ж, я точно, отец протопоп... Этим я виноват, отец протопоп... но это больше ничего, отец протопоп, как по неосторожности, ей-право, отец протопоп, по неосторожности.

— Смотрите, мол, какой дьякон франт, как он хорошо папиросы муслит.

— Нет; ей-право, ей, великое слово ей-ей, отец протопоп. Что ж мне

этим хвалиться? Но ведь этой невоздержностью не я один из духовных грешен.

Туберозов оглянул дьякона с головы до ног самым многозначащим взглядом и, подняв голову, спросил:

— Что же ты, хитроумец, мне этим сказать хочешь? То ли, что, мол, и ты сам, отец протопоп, куришь?

Дьякон смутился и ничего не ответил.

Туберозов указал рукою на угол комнаты, где стояли три черешневые чубука, и проговорил:

— Что такое я, отец дьякон, курю?

Ему опять отвечало одно молчание.

— Говори же, что я курю? Я трубку курю?

— Трубку курите,— ответил дьякон.

— Трубку, отлично. Где я ее курю? Я ее дома курю?

— Дома курите.

— В гостях, у хороших друзей курю?

— В гостях курите.

— А не с прикащиками у лавок курю! — вскрикнул вдруг, откидываясь всем телом назад, Туберозов и с этим словом, постучав внушительно пальцем по своей ладони, добавил,— ступай к своему месту, да смотри за собою.— С этим отец протопоп стал своею большущею ногою на соломенный стул и начал бережно снимать рукою желтенькую канареечную клетку.

В это время отпущенный с назиданием дьякон было тронулся молча к двери, но у самого порога вздумал поправиться от поражения и, возвращаясь шаг назад в комнату, проговорил:

— Извините меня, отец протопоп, я теперь точно вижу, что он свинья и что на него не стоило обращать внимания.

— А я тебе подтверждаю, что ты ничего не видишь,— отвечал, тихо спускаясь с клеткой в руках со стула, отец Туберозов.— Я тебе подтверждаю,— добавил он, подмигнув дьякону устами и бровью,— что ты слепая ворона и тебе довлеет твое *кра*. Помни лучше, что где одна свинья дыру роет, там другим след кладет.

— Тьфу! Господи милосердный, и опять не в такту! — проговорил в себе Ахилла-дьякон, выскочив разрумяненный из дома протопопа, и побежал к небольшому желтенькому домику, из открытых окон которого выглядывала целая куча белокуреньких детских головок.

Дьякон торопливо взошел на крылечко этого домика, потом с крыльца вступил в сени и, треснувшись о перекладину лбом, отворил дверь в низенькую залу. По зале, заложив назад маленькие ручки, расхаживал сухой, миниатюрный Захария в подряснике и с длинной серебряной цепочкой на запавшей груди.

Ахилла-дьякон входил в дом к отцу Захарию совсем не с тою физиономиею и не той поступью, с какими он вступал к отцу протопопу. Напротив, даже самое смущение его, с которым он вышел от Туберозова, по мере его приближения к дому отца Захарии все исчезало и, наконец, на самом пороге заменилось уже крайним благодушием. Дьякон спешил вбежать в комнату как можно скорее и от нетерпения еще у порога начинал:

— Ну, отец Захария! ну... брат ты мой... ну!..

— Что такое? — спросил с кроткою улыбкою отец Захария и, остановясь на одну минутку перед дьяконом, сказал,— чего егозишься, а? чего это? чего? — и с этим словом священник, не дождавшись ответа, тотчас же заходил снова.

Дьякон прежде всего весело расхохотался и потом воскликнул:

— Ну, да и был же мне пудромантель! Ох, отче, от мыла голова болит.

— Кто же? а? Кто, мол, тебя пробирал-то?

— Сам, брат, министр юстиции.

— Какой, какой министр юстиции?

— Да ведь один у нас министр юстиции.

— А, отец Савелий.

— Никто же другой. Дело, отец Захария, необыкновенное по началу своему, и по окончанию необыкновенное. Смял все, стигостил; повернул Бог знает куда лицом и вывел что такое, чего рассказать не умею.

Дьякон сел и с мельчайшими подробностями передал отцу Захарию всю свою историю с Данилой и с отцом Туберозовым. Захария, во все время этого рассказа, все ходил тою же подпрыгивающей походкой. Только лишь он на секунду приостанавливался, по временам устранял с своего пути то одну, то другую из шнырявших по комнате белокурых головок, да когда дьякон совсем кончил, то, при самом последнем слове его рассказа, закусив губами кончик бороды, проронил внушительное: — да-с, да, да, да — однако, ничего.

— Я больше никак не рассуждаю, что они в гневе и еще...

— Да; и еще чтó такое? Подите вы прочь, пострелята! Так, и чтó такое еще? — любопытствовал Захария, распихивая в то же время с дороги детей.

— И что я еще в это время так неполитично трубки коснулся,— объяснил дьякон.

— Да; ну, конечно... разумеется... отчасти оно могло тоже... да; но, впрочем, все это... Подите вы прочь, пострелята! впрочем... Да подите вы... кыш! кыш! Впрочем, полагать можно, что они не на тебя совсем недовольны. Да, не на тебя, не на тебя.

— Да и я говорю себе то же: за что ему на меня быть недовольным?

— Да, это не на тебя: это он... Да подите вы с дороги прочь, пострелята!.. Это он душою... понимаешь?

— Скорбен,— сказал дьякон.

Отец Захария помахал ручкою против своей груди и, сделав кислую гримаску на лице, проговорил:

— Возмущен.

— Уязвлен,— решил дьякон Ахилла и простился с Захарией и ушел.

И дьякон совершенно этим успокоился и даже, встретясь по дороге домой с Данилою, остановил его и сказал:

— А ты, брат Данилка, на меня не сердись; я если тебя и наказал, то по христианской обязанности моей наказал.

— Всенародно оскорбили, отец дьякон! — отвечал Данилка тоном обиженным, но звучащим склонностью к примирению.

— Ну и что ж ты теперь со мною будешь делать, что обидел? Я знаю, что я обидел, но когда я строг?.. Я же ведь это не нагло; я тебе ведь еще в прошлом году, когда застал тебя, что ты в сенях у городничего отца Савельеву ризу надел, я говорил: “Рассуждай, Данила, по бытописанию как хочешь, я этого по науке не смыслю, но обряда не касайся”. Говорил я ведь тебе этак или нет? Я говорил: “Не касайся, Данила, обряда”?

Данилка нехотя кивнул головою и пробурчал:

— Может быть, что и говорили.

— Нет, ты не ври! я наверно говорил,— продолжал дьякон.— Я говорил: “не касайся обряда”,— вот всё! А почему я так говорил? Потому что это наша жизненность, наше существо, и ты его не касайся. Понял ты это теперь?

Данило только отвернулся в сторону и улыбался: ему самому было

смерть смешно, как дьякон вел его по улице за ухо, но другие находившиеся при этом разговоре мещане, шутя и тоже сдерживая смех, упрекали дьякона в излишней строгости.

— Нет; строги вы, сударь, уж очень не в меру строги,— говорили они ему.

Ахилла-дьякон, выслушав это замечание, добродетельно вздохнул и, положив свои руки на плечи обоих мещан, сказал:

— Строг!..— и подумав минутку, добавил: — Это правда: я строг; но зато я и справедлив.

— Что же справедливы? Не Бог знает как вы, отец дьякон, и справедливы; потому что он, Данило, много ли в том виноват, что повторил, что ученый человек сказывал? Это ведь по-настоящему, если судить, так вы Варнаву Васильича остепенять должны были, потому что он это нам сказывал, а Данило, разумеется, сомневался только, что, говорит, сомнение теперь, что не то это, как учитель говорил, от естества вещей, не то от молебна? Вот если бы вы учителя опять, как нагдась, оттрясли,— точно это было б закон.

— Учителя?..— Дьякон развел широко руки, вытянул к носу хоботком обе свои губы и, постояв так секунду пред мещанами, прошептал:

— Закон?.. Закон-то это, я знаю, велит... да вот отец Савелий не велит... и невозможно!

V

Кроме всех известных уже нам старогородских обывателей, здесь не последнее место занимала жена здешнего городничего Ольга Арсентьевна, с которою нам еще не довелось встретиться, но с которою теперь необходимо познакомиться. Городничему Порохонцеву в настоящую пору лет за шестьдесят — жене его едва минуло тридцать; городничий хил, худ и как бы подорван,— жена его в полном разгаре сил и здоровья. Пара эта, совершенно неровная по летам, ведет жизнь согласную и мирную. Отношения белой, вальяжной и свежей Ольги Арсентьевны к высокому, сухому, немощному плотью, но бравому молодою душою ротмистру Порохонцеву самые добрые; отношения его к ней еще нежнее. Люди эти платят друг другу некие святые долги и по исправном платеже этих долгов вовсе не худо устроили жизнь[1*] свою. Ротмистр был рыцарем своей дамы и сделал ей более, чем поднял бы перчатку с арены, по которой носится выпущенная пантера; жена его делала теперь более, чем могла сделать дама, сопутствовавшая своему рыцарю в платье его оруженосца. Порохонцев сохранил ее стыд, все значение которого будет понятно лишь той, кто был близок такому стыду и видел его приближенье не в столице, где лишь всем до себя, а там, на тихих пажитях России, где щадят друг друга редко и всякому дело до совести своего ближнего; она оценила это рыцарство и счастливит его одинокую старость тем счастьем, которое может понять тоже только тот, кому уже начинает кивать издали одинокая старость.

Поводом к устройству союза их была маленькая история, начатая весьма обыкновенно, но конченная, как мы уже сказали, рыцарски. Это была следующая историйка.

У Ольги Арсентьевны есть до сих пор в живых и отец, и мать, и сестра. Отец ее англичанин Артур Пайкрофт родился в России от отца англичанина и матери англичанки, выписанных из Йоркшира старым князем Праволамским для устройства его обширных имений, введения в них рационального

[1*] Далее зачеркнуто: “и себе не на горе, и людям не на смех”

хозяйства и увеличения доходов. Старик Пайкрофт долго возился, реформируя княжеские имения, и в них же и умер прежде, чем достиг увеличения доходов. Ему в должности главного управителя наследовал Артур Пайкрофт, отец Ольги Арсентьевны, рожденный и выросший в России и даже переделанный из Артура в Арсенья, а из Пайкрофта в Покрова, и был он для всех кроме соседей-дворян, умевших выговаривать иностранное имя, Арсентий Иваныч Покров. Этот Пайкрофт и жену себе взял уже из русского дома и вел русскую жизнь, да и в душе уж совсем обрусел и из всего английского уберег у себя нечто не наше в характере: он не скоро дружил, и зато не раздруживался. Он для порядка служил и в полку и был в отставке корнет. В полку он сдружился с Порохонцевым, и дружба их с той поры все крепнет до сего дня. Выйдя в отставку и занявшись хозяйством, Пайкрофт по-прежнему жил у старого князя, а потом, по смерти того, стал служить молодому. Прошло так двадцать лет, и тогда в семействе Артура Пайкрофта, состоявшем из жены и двух расцветших дочерей, стряслась мещанская катастрофа[1*]. Артур Пайкрофт вручил князю без всякой расписки большую сумму денег, собранных с его имений. Князь проиграл ее и потребовал снова. Произошел спор. Пайкрофт не имел средств ни заплатить вторично требуемую сумму, ни доказать, что она однажды была уже уплачена. Он отдал ее, веря княжескому слову, и это слово обмануло его. Честному человеку угрожало имя вора. Пайкрофт, не сказав ни слова ни дочери, ни жене, отправился к Порохонцеву и открыл ему свое горе. Старики обнялись и друг у друга на плечах разрыдались[2*].

— Дуэль! Едем: я убью его за тебя на дуэли! — решил Порохонцев.

— На дуэли!.. Нет[3*]; тогда все скорей поверят, что я вор,— отвечал англичанин.

— А, понимаю![4*] — Ротмистр достал из шкатулки крепости на свой дом и свое имение; дал на них запись первому богатому купцу, у которого нашел кредит, и, разорив себя, отослал Праволамскому деньги.

[1*] Далее зачеркнут незавершенный фрагмент: «"в роде "Kabale und Liebe"[41]. Тщеславная мать возжелала видеть дочь Ольгу княгиней, а князь желал ее сделать своею игрушкой. Одним словом: самая старая история, не заключающая в завязке своей ничего необыкновенного; но развязка ее была гораздо оригинальнее. Обольститель неопытной Ольги Пайкрофт, молодой князь Праволамский, был красавец, силач, наглец и бретер. В нем была цела вся роскошь натуры черного героя сороковых годов: недоставало только, чтобы он был трус,— но оказалось, что цело и это. Как скоро весть о дочернем бесчестье достигла слуха Пайкрофта, он зарыдал, упал лбом на стол и потом».

[2*] Далее зачеркнуто: "Порохонцев любил Ольгу девочкой, носил ее на руках и всегда обещал в последний раз танцевать на ее свадьбе. Кроме того, он был прямой друг ее отца и он был человек с сердцем, а такой человек не может слушать про такую драму, не содрогаясь всем сердцем"

[3*] Зачеркнуто: "с разбойником что за дуэль"

[4*] Зачеркнуто: "— Собаке должна быть собачья смерть! — подхватил старый ротмистр.

— Да! Мы будем стрелять в него столько раз, сколько нужно, чтобы убить негодяя.

— Едем! — отвечал согласный Порохонцев.

— Едем!

Через полчаса два старика с двустволками за плечами выехали верхом за город и поскакали к деревне, где остановились палач и его жертва.

Бретер и наглец, князь, увидев далеко из окна две эти фигуры, почувствовал немощный страх, сел с заднего крыльца в коляску и исчез из дому. Старик Порохонцев вдруг обернулся женихом и, выпросив у Ольги Пайкрофт ее руку, женился на обиженной девушке и перевез ее к себе со всею семьею своего друга. Через несколько месяцев он сделался отцом и потом вскоре схоронил этого ребенка, оплакав его по сочувствию к горести матери. Все это совершилось так скоро и быстро, что из семьи Пайкрофта никто не знал и не замечал, как это все делается. Все это творилось по инициативе одного Порохонцева, обличавшего в эти минуты энергию невероятную, смелость и быстроту, решительность и благородство"

Семейство Пайкрофт переехало из княжего имения в город к Порохонцеву, и здесь старик Порохонцев вдруг неожиданно сделался женихом Оленьки Пайкрофт. Говорили, что она сама предложила ему быть его женою, и это почти так и было. Ольга Пайкрофт заплатила отцовский долг Порохонцеву собою и заплатила так, что Порохонцев с свободной совестью мог принять эту расплату. Это было назад тому четырнадцать лет: тогда Порохонцеву было пятьдесят лет,— Ольге шестнадцать. С тех пор многое уже улеглось и устоялось. Старик Пайкрофт нашел себе другое место; князь промотался и ездит по городам с странствующим цирком; Ольга Арсентьевна состарилась на целые четырнадцать лет и слывет у всех мужчин за женщину очень умную, у женщин за непостижимую, подчас надменную, подчас сухую и всегда довольно резкую. В существе, в самом деле все это в ней понемножку и было. Сделавшись без всяких сборов, недуманно и негаданно женой старого друга своего отца, она скоро оценила[1*] все простое величье души Порохонцева и все значение его редкого поступка[2*].

Четырнадцать лет они прожили в счастьи. Ольга была счастлива, потому что[3*] умела бдеть над собой и не дозволять себе домогаться иного счастья. Порохонцев блаженствовал потому, что видел счастливой жену. Ольга Арсентьевна прежде всего зарекомендовала себя мужу уважением к хорошим и терпимостью к худым сторонам его нрава и обычая. Он, женатый, жил как жил до женитьбы; возился с конями, до которых был страстный охотник; играл в картишки, если были партнеры; надувал, как умел, лошадьми всякого, кто выдавал себя знатоком при покупке, и давал лошадь за полцены, кто покупал без выбора на его слово; держал праздную дворню; водился с барышниками и цыганами; держал у себя казачками своих же побочных детей и заставлял себя мыть и купать прежнюю свою фаворитку Аффимью. Ольга Арсентьевна привыкла все это вменять ни во что, а рядом с тем ни во что же вменять и все доходившие до нее толки и перетолки о ней самой. Ей было все равно, как о ней говорят, что о ней думают и как ее трактуют? Как чистый человек, знающий себе цену, она презирала всякие толки. Она жила сама в себе, не требуя ни от кого сочувствий и раздела мыслей. Так она провела целые десять лет жизни за фортепьяно и чтеньем. Вращаясь почти все это время в исключительно мужском кругу, она незаметно усвоила своему смелому и твердому характеру некоторую мужскую резкость, а уму ясность и развитие, при которых ей были смешны и сентиментальная чувствительность нервных особ ее пола, и их меланхолические страдания. Она была добра, но правосудна и не сентиментальна, что у провинциальных людей

[1*] Далее зачеркнуто: "и все значение его поступка и всю бездну, которая была перед нею готова".

[2*] Далее зачеркнуто: "и по отношению к себе, и по отношению к дитяти,— доказательству ее неопытного шага. Ребенок этот вскоре умер. Она над ним не плакала: ей было жаль его, но она тогда уже находила, что он уходит от великого горя. После она понимала, что этого горя и не было б, потому что Порохонцев чрезвычайно грустил о смерти ребенка и жалел, что Ольга лишена в нем большого утешения.

Порохонцев, женясь на Ольге Арсентьевне, не был ее мужем.

[— Я стар,— говорил он за стеною приятелям,— это дитя ей было бы великой отрадой.

Это ее трогало и покорило ее.]

Один раз она слышала из-за стены, как Порохонцев наивно хитрил и рассказывал заезжим гостям, какой он до сих пор повеса и сколько виноват перед своей женой, что насилу мог поспеть, чтобы закрыть свои вины браком и, ероша волосы, твердил: да-с, да! Ведь и под снегом иногда бежит кипучая вода!

Порохонцева покраснела и почувствовала, что она пойдет за своего старика в темницу и на смерть.

— О, я сберегу и успокою его! — решила она себе и соблюла эти слова"

[3*] Далее зачеркнуто: "разбитой глубокой душе покой часто вполне заменяет счастье"

слывет за бесчувственность и резкость. Она знала всех женщин своего города и знала, как которая злословила ее с десяток лет тому назад и не дружила ни с одной из них. На ее взгляд, Серболова была не в меру чопорна, Дарьянова не в меру вздорна и капризна,— все они мало интересны, и интереснее всех для нее была одна почтмейстерша, сорокапятилетняя сплетница, сочинявшая про всех и про все самые невероятные вещи. Ольга Арсентьевна слушала охотнее всех одну ее и говорила, что эта женщина приносит ей бесконечную пользу, служа беспрестанным напоминанием, что никогда не следует верить тому, что человек говорит дурного о другом человеке.

Ольга Порохонцева имеет много английской породы в крови: она высока, стройна, с бледным лицом и большими серыми глазами, глядящими на все с некоторою безобидной холодностью из-под очень черных бровей, которые она, по уверению почтмейстерши, красит, что, конечно, такая же правда, как и все, что можно услышать от почтмейстерши.

Ее общество любят мужчины, и она и сама без всякой женировки предпочитает мужское общество женскому. Она никогда не дала никому заметить, что она скучает, что ей хотелось бы другого места, других людей. Напротив, она вечно в своей тарелке, и с людьми, и без людей. Она любит поколоть в разговоре Дарьянова; любит смеяться с Ахиллой; слушает тихо попа Захарию; целые часы готова провесть в беседе с Туберозовым и без нетерпенья молчит, когда ее посетит Варнава Омнепотенский. Старик Порохонцев гордится, что его жену зовут умницей и что ее знакомство высоко ценится. В числе особых почитателей ее считаются Туберозов и предводитель Туганов. Туганов прежде всего знал историю ее отца и спрятал назад свою руку, когда ее однажды хотел взять и пожать князь Праволамский. Порохонцева знала это и в душе была очень благодарна Туганову. Потом Туганов увидел ее на уездном рауте. Здесь одна бедная гувернантка-француженка потеряла подвязные волосы, что возбудило над несчастной девушкой всеобщий хохот. Тихая и почти не принимавшая никакого участия в бале Ольга Арсентьевна не улыбнулась, а вспыхнула, подошла к гувернантке, сняла с своей головы подвязной шиньон и, показав его перед всеми француженке, сказала: “Не конфузьтесь, мое дитя.— Здесь у всех точно так же, как и у вас, надеты фальшивые волосы”.— Старый волтерьянец зааплодировал и после сказал:

— Да, в этой барыне все не общеармейское, а живьем бьет,— и пожелал с ней познакомиться. Их познакомили, и с тех пор Туганов никогда не упускает случая, проезжая через Старый Город, поклониться его городничихе.

Такова была дама и таков был дом, где протоиерей Туберозов должны были свидеться с предводителем Тугановым и вновь прибывшим старогородским гостем господином Термосёсовым.

Увидим, как это, при каких обстоятельствах произойдет и что отсюда для каждого из них воспоследствует.

VI

День, наступивший после того дня, в который Ахилла в ревности своей о вере устроил публичный скандал с комиссаром Данилкой, был днем рождения Порохонцевой. Этот день всегда праздновался в доме Порохонцевых очень скромно и тихо, но вовсе не праздновать его было невозможно: в уездном городе не принято говорить: “нет дома” и не скажешь “не принимают” В первом случае наведут справки, где же вы и через которую заставу выехали, и уличат во лжи; а второе таки просто решительно невозможно. Как это не принимают? и что это такое значит — не принимают? Не принято это здесь, не принимать.

Принимает сегодня и Ольга Арсентьевна всех и каждого, кого удосуживает явиться к ней и принести ей поздравленье и "дань своего глубочайшего уважения", дань, упоминать про которую и до сих пор еще не забывают[1*] тонкие приказные из семинаристов. Дом городничего Порохонцева утратил много своего официального значения с тех пор, как в недавнее время от обязанностей ротмистра самые существенные отошли к уездному начальнику Дарьянову, и Порохонцев de facto остался просто полицеймейстером уездного города[42]; но люди его помнят и теперь за утренним пирогом у них весь город: здесь и протопоп, и Захария, и Ахилла, и лекарь, Дарьянов, и акцизный, и Варнава, и жена акцизного, и почтмейстерша с двумя бельеленистыми дочерями в дальновидном декольте и тощий почтмейстер с серьгой в левом ухе. Нет только одной Дарьяновой, отсутствие которой, впрочем, беспокоит одну почтмейстершу. Эта полная, животрепещущая дама заметила на лице Дарьянова следы таинственных тревог и не замедлила сообщить, что у него с женой опять, наверное, была история: а на вопрос, почему она это знает? она отвечала Порохонцевой: "Да как же, душка; вы смотрите: весь как разваренный и глаза, вы видите?"

— Ничего не вижу,— отвечала ей хозяйка.

— Рыбьи глаза! Это верный знак у мужчины, что он расстроен и даже чем именно расстроен. Ах, мерзавка она: я вчера видела их Аксинью... Вы знаете, я сама мать дочерей, которые могут замуж выйти, и сплетен не люблю; но, Боже мой, ведь верить невозможно... Она вторую ночь одна запершися спит в спальне... Да что, и он дурак... Какой это мужчина, чтоб женщине позволил этак... Комедии-то этакие строить! Я говорю Аксинье: "Благодарю, дружок; но больше Бога ради... не говори, не говори; пожалуйста, не говори!" Знаете, как хотите: я сама женщина и имею жалость и сострадание... Помилуйте, мой друг, ведь это ж подлость... ведь через этаких-то вот особ девицы-то и по сту лет сидят на материнской шее... Да, да, вот через них: чрез этих Милитрис Кирбитьевин[43]... "Ах, ах, ах я нетленная!" Тьфу, что такое? вздор!.. вздор твое нетленье! Я женщина...

Но среди этих рассуждений почтмейстерши Порохонцева была прервана восклицанием мужа, который, подойдя случайно к окну, громко воскликнул: "Боже мой! Оля, гляди, ведь это к тебе!"

— Кто?

— А ты посмотри.

Порохонцева, а с ней вместе и все бывшие в комнате гости бросились к окнам, из которых было видно, как с горы осторожно, словно трехглавый змей на чреве, опускалась могучая тройка рослых буланых коней<...>[2*].

VII

<...>Гости раскланялись и разошлись в разные стороны.

Николая Афанасьевича с сестрою быстро унесли окованные бронзою

[1*] Первоначально эта фраза была иной: "дань, и до сих пор еще не забываемая тонкими приказными из семинаристов" Редактируя ее, Лесков не довел правку до конца, и в окончательном тексте вместо предполагавшегося в новой фразе "не забывают" осталось "не забываемое".

[2*] Здесь публикаторами опущен весь эпизод с плодомасовскими карликами, незначительно отличающийся от окончательного текста (см.: IV, 130—152): в рукописном варианте рассказ карлика Николая Афанасьевича не разбит на главы и не отражена стилистическая авторская правка, осуществленная, видимо, на последнем этапе работы над хроникой, при подготовке текста для "Русского вестника"

троечные "*арбатские*" дрожки[44] Плодомасова, а Туберозов тихо шел за реку вдвоем с Дарьяновым.

Перейдя вместе мост, они на минуту остановились, и протоиерей, оборотясь к реке, спросил:

— А помните ли вы, Валерьян Николаевич, наш последний разговор, который мы покончили на этом месте?

— Это о вашем предприятии? Как же не помнить? Что же вы-таки не отказались его делать?

— Не в том дело-с. А знаете ли вы, что я только ныне от того разговора освежился. Эта старая сказка, которую знал я и двести раз слышал, эти вязальные старухины спицы — только могли успокоить меня от того раздражения, в которое меня ввергли ваши резоны. А что б ведь, кажется, рассказано? самая скучная жизнь, не правда ль?

— Чья? Ах, эта-то, где спички стучали, да карликов для завода женили.

— Да. Не правда ль, скучная.

— Во всяком разе, невеселая.

— Но все же вот жизнь-то, заметьте, все жизнь, а не то, что сухие резоны.— От ней, от хитрой, от нехитрой все человечьей силой, русским духом пахнет и по смерти.

— Старенька песенка, отец Савелий! Ведь это все опять к тому, что "древле все было лучше и дешевле"?

— Нет-с, не дешевле; а к тому, что, как вот там себе хотите, только ваши речи и резоны для меня мертвы и часто скучны, а эти прутики старушек, хоть ударяют монотонно, но из них для внуков будет литься долгих саг источник! А человеку, сударь, как вы хотите, хочется дожить свои дни, не разрывая мира с своей старою сказкой. Но, позвольте, однако, что ж это я вижу? — заключил протоиерей, внезапно воззрившись в быстро несшееся с горы облако пыли, из которого вырезался дорожный троечный тарантас. В этом тарантасе сидели два человека средних лет: один — высокий, худой, черный, с огненными глазами и несоразмерной величины верхней губою; другой — сюбтильный, выбритый, с лицом совершенно бесстрастным и светлыми водянистыми глазками.

VIII

Экипаж с этими пассажирами быстро проскакал по мосту мимо Туберозова и Дарьянова и, переехавши реку, повернул берегом влево.

— Кто бы это? — сказал протоиерей.

— Да это, если я только не ошибаюсь, это Борноволоков — он не переменился, и я узнаю его. Так и есть, что это он: вон они и остановились у ворот Бизюкина.

— Скажите ж на милость, который из них судья?

— А этот, что слева: маленький, щуплый, как вялая репка. Это Борноволоков.

— А тот-то, другой?

— А это его письмоводитель. Жена слышала его фамилию, да я позабыл... Да, Термосёсов.

— Термосёсов!

— Да, Термосёсов.

— Господи, каких у нашего Царя людей нет!

— А что такое?

— Да как же, помилуйте: и губастый, и страшный, и фамилия Термосёсов!

— Не правда ль, ужасно! — воскликнул, весело расхохотавшись, Дарьянов.

— Ужасно! — отвечал, желая улыбнуться, Туберозов, но улыбка застыла и не сошла с его уст.

С этим протоиерей с Дарьяновым и расстались, оба чувствуя, что повторенное каждым из них несколько раз в разговоре слово "*ужасно*" село где-то у них под сердцем. Протоиерей, для которого новые суды столь много лет составляли отраднейшую мечту в его жизни, вдруг почувствовал, что он почему-то совсем не радуется осуществлению этой давней мечты. Со вчерашнего дня, с того часа, когда он узнал, что этот первый долгожданный судья, которого он видит наконец на позднем закате дней своих, уже издали постачествует с Бизюкиным и входит в дом, которым ему, по мнению Савелия, следовало бы гнушаться, он чувствует, что даже как бы боится этого суда. Он, зачастую размышлявший по поводу бесправия обиженных в судах, которыми вся Русь была так много лет "черна неправдой черной"[45]; он, представлявший весь трепет, которым обнимутся лукавые сердца при новом суде, вдруг сам вместо радости почувствовал этот самый трепет, когда потная тройка подомчала перед его глазами нового судью к воротам бизюкинского дома.

— Чего этот неуместный трепет? Чего мне-то? мне-то чего их бояться? Чиста моя совесть и умыслов злых не имею,— чего же?

Но сердце по-прежнему робко трепещет и замирает, как будто чуя подоспевшую напасть.

— Нет! прочь недостойное чувство! Это я стар, я отвыкнул от жизни и все новое встречаю с недостойным старческим страхом лишь по одному тому, что оно не так будто начинается, как бы желалось. Свет не боится тьмы: пусть кто как хочет мыслит, а всё идем к свету, всё в царство правды входим!

И протоиерей, утешив себя таким рассуждением, пообедал с женой и уснул, посадив Наталью Николаевну возле себя в кресло и не выпуская целый час из своей руки ее желтую ручку.— Ему было легче при ней, как встревоженному человеку бывает легче в присутствии дитяти[1*].

Не храбрей протопопа вернулся домой и Дарьянов. Он, расставшись с Туберозовым, пошел домой, как будто спеша не застать в живых кого-то такого, кого глазам его непременно надобно было увидеть. Он взбежал в свою переднюю почти бегом и, бросив на ясеневый диван свою шляпу и палку, бросился в залу, громко крикнув: "Милушка! Мила! Милена!"

— Что? — отозвалась ему на этот зов из гостиной читавшая там жена.

— Где ты? Иди же скорей: я так долго сидел, так долго не видел тебя, и стало скучно.

— Новость! — сказала, тихо улыбнувшись, Мелания.— А мне так весело.

— Что ж ты здесь делала?

— Читала.

— Брось ты это чтенье! Дай эту книжку мне сюда. Дай! Дай!

— Зачем? Что это ты такой?

— Какой? Хороший? да? не правда ль? Я об тебе соскучился. Похвали меня. Пай я мальчик?

— Не знаю,— протянула кокетливо Дарьянова.

— Неправда, знаешь, знаешь. Дай ручку мне,— сказал он, быстро выхватив у нее книгу и бросясь перед женой на колени, ревниво обнял ее стан и жадно покрыл поцелуями ее руки.

— Любишь? — чуть слышно спросила его Мелания, тихо шевеля двумя тонкими пальчиками русые кудри мужа.

— Без памяти, Миля!.. А ты?

[1*] Далее зачеркнуто: "Ему снилось, что он сделал что-то дурное; что за ним пришли палачи и уводят его из его тихого дома"

— Я свободна.

— Любить?

— Что мне Бог вложит в сердце.

Дарьянов быстро встал с колен и, сделав в сторону шаг от жены, проговорил:

— Ты дерево, Мила.

— Да; — сказала жена.

В этом *да* было столько оброненного печального и грустного, что Дарьянов даже оглянулся на жену. Она была красна, как девочка, которая только что отреклась по неосторожной глупости от дорогой вещи, потому что ждала, что ей предложат эту вещь еще теплей и усердней, между тем как ее уносят за двери.

— Да; — строго сказал Дарьянов.

— Да, да, да,— повторила она, не зная сама, что лепечет.

— В тебе столько же чувства, как в этом столе! — проговорил муж, азартно стукнув несколько раз косточками пальцев по стоящему перед женою столу.

— Иди вон! — тихо, но резко проговорила в ответ на эту выходку Мелания, и Дарьянов, взглянув ей в лицо, не узнал ее. Оно горело не прежним теплым румянцем сконфуженного ребенка, а яркой сухой краскою гнева рассерженной женщины.

— Иди прочь! иди прочь от меня... резонер! — повторила она громко и, быстро поднявшись с своего места, указала протянутой рукой мужу на двери.— Говорит о свободе и рвет книги из рук, и стучит на жену кулаками...

— На тебя кулаками? Я стучал на тебя кулаками?!

— Да, да, да! Ты на меня кулаками! Чего вы хотите? Дайте инструкцию, какой быть мне? Вы отучили меня объясняться в любви и вдруг по капризу: "Стань передо мной, как лист перед травой" Минута что ли такая пришла? — Я не хочу такой любви.

Дарьянов посмотрел с презреньем в глаза жене и сказал:

— Какое вы гадкое, циническое существо!

Дарьянова подняла с полу брошенную мужем книгу, опустилася в угол дивана и, поджав под себя спокойно ножки, стала не спеша отыскивать замешанную страницу.

Дарьянов пожал презрительно плечами и, качая головой, проговорил:

— Нет; верно, сколько ни лепи, ничего не слепишь!.. Туберозов прав: это безнатурщина какая-то кругом.

— Очень нужны мне мнения вашего Туберозова! — уронила, не отрывая глаз от книги, Мелания.

— Что-с?

Мелания не ответила ни слова.

Дарьянов плюнул и ушел в свою комнату. Повернув за собою в двери ключ, он повалился на диван, уткнув голову в гарусную подушку[1*], и сделал усилие заснуть. Его волновало самое неприятное, досадливое чувство: ему было досадно, что не ладится жизнь; но воля и молодой организм взяли

[1*] Далее зачеркнуто:

"Его грызло тяжелое досадливое чувство.

— Вот-те и муж! вот тебе и семейные радости!.. Э, да черт с ним все это!.. Верно уж, сколько ни лепи, ничего не слепишь... Да и наконец действительно: черт с ним, со всем этим счастьем!.. Лишь бы вот чувствовалось-то всегда этак, лишь бы умиления-то этого порой не приходило!.. Жаль, конечно жаль, да что же и жалеть, когда она сама ничего не жалеет... Ни сострадания, ни жалости, ни... ни желания того, что называется семейным счастием... покоем... Тьфу! — в самом деле Туберозов прав,— это наши-то безнатурные совсем"

свое, и Мелания Дарьянова, сидя в своем капризном уголке, через полчаса услыхала тихое и ровное дыхание уснувшего мужа.

Это ее сначала рассердило, через мгновенье рассмешило: она встала, отбросила от себя книгу и, тихо ступая на одних носках, сделала несколько шагов к запертой мужниной двери. Нет и сомненья,— он спит.

— А-а, мой дружочек, так вот что! — подумала себе молодая женщина, отходя от дверей к стоящему у окна креслу.— Вас ревность кусает! Ха-ха-ха!

Она закрыла лицо платком и, сдерживая смех, опустилася в кресло.

— Ревность! Ревность!.. Познакомьтесь-ка с этим приятным зверьком... Он кусает; он больно, он больно кусает!.. Вы спите?.. Нет, врете, знаем мы, знаем, какой это бывает сон! О Господи! Да отомсти ж и в самом деле за меня!.. Так вот чем вас берут, Валерьян Николаевич! вот ваша ахиллесова пята! Хоть это и не любовь, а самолюбие вас мучит, да все равно,— сочтемся и на этом... Но интересно б знать, кто этот... счастливец, который грозит опасностью моему сердцу?.. Где он?

Она оглянулась с улыбкой кругом и, остановясь глазами на отпрягавшемся у ворот Бизюкиных тарантасе Борноволокова и Термосёсова, сказала: "Уж не они ли, не эти ль новые герои разрушат сон мой! Ха-ха-ха! Ведь, говорят, в провинциях всегда новые люди одерживают победы... О Боже мой, как это глупо! Ха-ха-ха! О, если бы вы знали, mon chere Walerian, как вы забавны, как вы досадно смешны!..

Она не удержалась и расхохоталась громким оглушительным смехом. Смех этот разбудил Дарьянова, и Валериан Николаевич появился на пороге отворенной его рукою двери. Лицо его было немного помято, волосы взъерошены, глазам своим он хотел придать в одно и то же время нечто сдержанное и сатанинское.

— Я, кажется, немногого прошу,— начал он, вторя голосом выражению своей физиономии.

Хохочущая Мелания не слыхала, как он взошел, и потому звук мужнинего голоса испугал ее. Она вздрогнула, вскинула голову и, спрятав как можно скорей следы недавнего смеха, спросила, насупивши брови: "Чего вы? О чем новая претензия?"

— Я, кажется, немногого,— начал Дарьянов.— Я, кажется, могу претендовать на право иметь покой в моем доме.

Мелания встала и, махнув по полу шлейфом, сказала:

— Да кто же вам мешает,— претендуйте! — и с этим она пошла в свою комнату.

— А вы хохочете...

— Что? Что?

— Хохочете вы, вот что! Хохочете не вовремя; хохочете, когда я нуждаюсь в минуте покоя! Я вас прошу этого не делать!

Мелания стояла у своих дверей к мужу спиною и, взглянув на него через плечо, еще раз спросила:

— Что? Мне надо спрашивать у вас позволения, когда плакать, когда смеяться?

— Не спрашивать, а вам надо уметь понимать, когда что уместно.

— Ну я так понимаю, как делаю.

— А я вас прошу так не делать.

— А я не хочу.

— А не хотите, так я...

— Заставите меня понимать по-вашему?

— Не заставлю, а скажу вам, что это глупо!

— А мне кажется, что вы сами глупы.

— Мещанка! — прошипел Дарьянов.

Мелания в ответ расхохоталась.

— Чего этот нелепый смех? Чего? чего вы смеетесь?

— Чего? Вы хотите знать, чего я смеюсь? Я смеюсь того, что вы смешны мне с вашей свободой, с вашим равнодушием, с вашею ревностью и с вашим самовластием. Смешны; понимаете, ха-ха-ха... смешны, смешны... ха-ха-ха... Так смешны, что только вспомня, что вы существуете на свете, я не могу не смеяться.

— Но вы послушайте!

— А я не хочу ничего слушать!

— Вы можете все делать, но...

— Все могу.

— Но я в своем доме: вы не вправе нарушать здесь моего спокойствия.

— Мне нет до него дела.

— Так вы этак еще целый сонм друзей сюда к себе приведете, которых я видеть не хочу, и тоже скажете, что вам ни до чего нет дела?

— А мне что за дело, кого вы хотите видеть, кого не хотите? Вы всех не любите, кого люблю я. Я не намерена более стесняться вашими вкусами.

— Послушайте! — азартно крикнул Дарьянов и хотел взять жену за руку.

— У-убирайтесь! — произнесла, отстранив его руку с гримасой, Мелания и сделала шаг в свою комнату. В это время потерявший тихую ноту Дарьянов вскрикнул:

— Нет, вы выслушаете! — и хотел наступить на шлейф жениного платья; но та быстро откинула рукой этот шлейф и высоко поднятая нога Валерьяна Николаевича, мотнувшись по воздуху, глупо шлепнула о пустой пол подошвой.

— Свободный фразер! — нетерпеливо сорвала ему Мелания и, ступив за порог в свою спальню, быстро заперла за собою на ключ дверь под самым носом у мужа.

Дарьянов был чрезвычайно сконфужен и не знал, как поднять свою ногу; но не менее была переконфужена и жена его, которая, очутясь в своей спальне, встретилась лицом к лицу с входящей к ней Порохонцевой.

Мелания была так сконфужена, что, увидя Ольгу Арсентьевну, покраснела до самого воротничка и, кинувшись на плечи к гостье, проговорила: "Ах, chere Olga, мы только сражались!.."

— И кажется, запираешься в крепость? — сказала шутя Порохонцева.

— Ах, я очень... я очень и очень несчастна, милая Ольга,— Мелания заплакала.

— Все вздор и все сочиняешь.

— Нет, он деспот... его никто ведь не знает, какой он... Оличка!.. душка!.. голубчик мой! сжалься!

— Что, Мелания? Что я могу тебе сделать?

Дарьянова сложила отчаянно руки и, простирая их к гостье, воскликнула:

— Открой мне, каким образом ты приобрела себе власть над мужем!

Порохонцева посмотрела на нее и тихо проговорила:

— Позволь мне, моя милая, вместо ответа тебе в глаза расхохотаться,— и с этим она тихо повернулась и стала снимать перед зеркалом свою шляпу.

IX

Порохонцева пришла сюда на минуту по делу,— ей нужны были кое-какие хозяйственные вещи, которыми она хотела позаимствоваться у Дарьяновых для ожидаемых ввечеру гостей; но, сделавшись свидетельницею так

называемого сражения, она вынуждена была замедлить свой визит и принять несколько иную позицию. Дарьянова неотразимо стремилась оправдаться перед нею в сцене, которой Порохонцева была невольной свидетельницей, и засыпала ее откровениями. Ольга Арсентьевна делала всякие усилия остановить эти потоки слов, но усилия ее были безуспешны.

— Вы напрасно и останавливаете меня,— говорила ей Мелания,— потому что я вовсе вам не жалуюсь и говорю это не по слабоволию. Я до сих пор никому не говорила про нашу жизнь...

— И хорошо поступили бы, мой друг, если бы не делали этого исключения и со мною,— отвечала Порохонцева.— Что я за судья вам?

— Не судья, chere Olga; но вы умная женщина; вы прекрасно поставили себя с своим мужем: научите меня: как вы этого достигали?

— Я никак этого не достигала,— это само так сделалось.

— Но вы, однако, можете же мне сказать: в чем же, по-вашему, причина, что у нас это не так; что я этого не достигаю?

— Нет, не могу.

— То есть *не хотите?*

— Нет, я не могу, потому что я ничего не знаю и никого не могу учить. Я сама живу как живется.

— Нет, вы всегда такая хитрая; вы скрываете.

— Что же я скрываю?

— Как вы ссорились с вашим мужем. Я откровенна, я вам это говорю, а вы скрываете.

— Да мы никогда не ссорились.

— Все ссорятся.

— А мы не ссорились.

— Ну так в чем же этот секрет?

— Мы не мешаем друг другу.

— Да; он тоже всем говорит, что он мне ни в чем не мешает; но все это фразы: я пла́чу — это ему неприятно; я смеюсь — это его бесит. Это называется свобода! Пусть он лучше мне напишет правила, как я должна жить.

— Полноте, пожалуйста: какие глупости! Какие это можно писать правила?

— Конечно, можно! Я по крайней мере буду знать, чего он от меня хочет?

— Вы просто как кошка влюблены в вашего мужа и хотите, чтоб он беспрестанно вами занимался,— проговорила, улыбнувшись, Порохонцева.

— Я влюблена в моего мужа?

— Да; это movais ton[1*], говорят, но мы ведь, слава Богу, не большие барыни, и вы умница, что этого не слушаете.

— Я? Я... Я влюблена?

— Как кошка.

— Поздравляю вас с счастливым сравнением. Это сравнение не идет ко мне: я не кошачей породы.

— А царапаетесь?

— Потому что меня трогают.

— А вы хотите, чтобы он вас не трогал?.. Полноте врать, Мелания! Ваш муж, точно, виноват перед вами, но виноват тем, что дает вам слишком много воли.

— Скажете!

[1*] Дурной тон (*франц.*)

— Он резонирует с вами там, где должен бы просто сказать: “это так должно! Я так хочу”,— вот вы и мучитесь, и сочиняете себе напасти. Вы принадлежите к тем женщинам, которые непременно желают смотреть на мужа снизу вверх, а ваш Валерьян Николаич этого вам не устроивает: вот вы и несчастливы. Вас надо немножко в руках держать.

— Да вы ведь... я в самом деле напрасно с вами и говорю: у вас всегда женщина виновата.

— Конечно, напрасно: я это вам и прежде говорила.

— Вы сами женщина и всегда против женщин.

— Я против тех, кто не прав, кто виноват.

— Женщина против женщин! — воскликнула, презрительно пожав плечами, Дарьянова.

— Мужчины же бывают и обвинителями мужчин на суде и осуждают их,— отчего же женщине не быть справедливой, Мелания? За что вы отнимаете у нас право быть справедливыми?

— Мне нет до этого дела!

— Как нет дела?

— Так, нет, да и кончено. Женщина попрана, женщина унижена, у женщины нет прав, и я больше ничего знать не хочу.

— И вдобавок ко всему этому вы отнимаете у нее первое человеческое право: не уступать мужчине в чувстве справедливости! Ведь выходит, что *я за* женщин,— *вы против* них теперь. Но перестанем говорить об этом: я к вам пришла за делом: будьте милы, ссудите меня кой-чем вот по этой записочке,— я к вам через часок пришлю солдата; а сами дайте мужу ручку, да приходите вечером ко мне.

— Нет, простите, душка: я все пришлю вам, но сама не буду.

— У нас будет Туганов.

— Так что ж такое?

— Он такой умница,— его всегда хорошо слушать.

— Ну, Бог с ним: мне уж надоело слушать умников.— Порохонцева встала и, взявшись за свою шляпу, проговорила:

— Мне будет очень жаль, что я вас не увижу у себя.

— Не сердитесь, пожалуйста, chere Olga.

— Сердиться не имею права, но все-таки досадно. Вы украшенье наших бедных пиров.

— Ну, полноте!

— Конечно.

Дарьянова взглянула на себя искоса в зеркало и, проведя язычком по розовой губке, сказала:

— Не льстите, пожалуйста! А впрочем, это все равно: я прошу вас позволить мне остаться дома.

— Ну, как хотите,— отвечала ей, пожимая ее руку, Порохонцева.— Только мужа же своего по крайней мере, пожалуйста, пустите.

— Да разве я его когда-нибудь держу или могу удержать?

— Мелания!.. Разумеется, можете! — воскликнула, смеясь и тряся руку Дарьяновой, Порохонцева.

— Как раз! Чем это? — отвечала, начиная развеселяться, Мелания.

— Умом, любовью, сердцем... красотою! Мелания, вы так богато вооружены, что с вами невозможно бороться.

— Да; смейтесь.

— Кто вам сказал, что я смеюсь? Я вовсе не смеюсь!

— Очень ему все это нужно, моему мужу!

— Ему все это... очень нужно! — проговорила с ударениями Порохонцева и, крепко взяв за обе руки Меланию, еще добавила:

— Хотите властвовать,— не выходите противу мужчины с тем оружьем, которым все они владеют лучше нас по грубости своей натуры! Не ветер, друг мой,— солнце срывает епанчу с плеч всадника!.. Тепла, тепла, терпенья, твердой воли больше уладить жизнь, и жизнь уладится. У вас союзник страшный для мужчины.

— Что это?

— Красота.

— Ха-ха-ха! Какая вы идеалистка, Ольга!

— Идеалистка я!.. Мой друг! Упрек совсем некстати! Нет, я груба, груба до крайности; я вся матерьялизм ходячий, и я советую женщине отстаивать себя тем, что силою самих вещей дано ей в силу, а не... не сочиненьями людей, которые не знают жизни и непричастны ей.— Мужчины!.. ха-ха-ха! Да есть с кем — с ними воевать! Мы победители их с самого начала века! Венец творения, последняя кто создана и кто всех совершенней? — женщина! И нам-то с ними спорить! Нам их бояться! этих грубиянов! Нам плакать!..— Фуй, какой позор! Пусть сокрушается и плачет тот, кто никому не нужен, а женщина, которая дает и счастье, и покой и красит жизнь мужчине!.. О, мой прекрасный друг: поверьте мне, раз верно понятая женщиною жизнь всегда ее поставит во главе семьи и госпожою жизни, но... pas de rêveries![1*]

Порохонцева поцаловала Меланию в обе ее розовые щечки и вышла, шепнув ей на пороге:

— Идите-ка, прелестная Мелания, к мужу, пусть не брюзжит, не ссорится... Выдерите ему уши да приводите его вечером... чтоб показать мне торжество женщины над мужчиной. Au revoir[2*],— я жду вас вместе с вашим мужем.

X

В семь часов этого вечера к Дарьянову зашел Туберозов. Протоиерей был одет по-праздничному в новой голубой рясе, фиолетовой камилавке и с крестом на груди.

Дарьянов еще спал, когда пришел протопоп, и потому отец Савелий явился прямо к его жене.

— А я за Валерьяном Николаичем,— сказал он.— Не сидится что-то мне дома. Думал зайду за ним да пойдем вместе к Порохонцевой.

— Он, кажется, спит,— отвечала Дарьянова.

— Ну и пусть себе поспит.— Рано еще: мужской туалет недолог; а вы что не одеваетесь?

— Да я еще не знаю, пойду ль я? — отвечала Дарьянова.

— Вот так прекрасно! Как это пойдете ль? Разве можно не пойти?

— А если пойду, то я и так могу пойти, не переодеваясь.

— Ну!.. Зачем же так?

— А что, отец Савелий?

— Да отчего ж себя не приукрасить чем возможно? Господь цветы пестрит и наряжает, а вы цветка изящней. Принарядитесь-ка, украсьтесь хорошенько: и я на вас на старости порадуюсь и посмотрю.

— Вот вы какой, отец Савелий!

— Да; а что же? — красота ведь восхитительна, глядя на нее сам молодеешь. Я всякого изящества поклонник. Идите-ка да приоденьтесь.

— Я право, не знаю, идти ль мне? — уронила в раздумье Дарьянова.

[1*] Никаких мечтаний! (*франц.*)
[2*] Прощайте (*франц.*)

— Да чего тут не знать: бейте сбор; идут с гор, стройтесь, сдвиньтесь, в ряд сомкнитесь и отражайте! Ха-ха-ха, смертельно люблю жизнь и цветение. Прекрасна, строга и светлым умом и чистой душой в восторг приводящая женщина, это одушевляет человеческое общество. Собирайтесь, дружок, и пойдемте!

Дарьянова тихо как бы хотя и нехотя вышла; а в это время протопоп, которому не ждалось и не сиделось в ожидании Туганова, постучался к хозяину. Дарьянов встал и впустил к себе гостя, но на приглашение идти вместе к городничему отвечал, что ему еще рано и что лучше пока напиться у него чаю и потом идти.

Туберозову не хотелось этого чаю.

— Что ж, посидим лучше там,— отвечал он.— Чего дома-то теперь торчать, да уж и жена-то твоя оделась.

— А-а! и она там будет!

— А что такое?

— Ничего; я так только спросил.

— Спросил так, как будто этого не ожидал ни за что.

— Да почему ж я могу знать, где она захочет быть? Это ее дело.

Протопоп посмотрел своему собеседнику в глаза и, неожиданно вздохнув, сказал:

— Прощай, Валерьян Николаич, я пойду.

Дарьянов подал ему руку.

В это время за дверью в гостиной зашуршало женское платье, и протопопу показалось, что платье это до сего времени было у самой двери и отходило от нее.

Он вышел на крыльцо и, спускаясь по ступенькам, увидал сошедшую с другого крыльца Дарьянову.

Красавица шла шибко, зажав губами накинутую на лицо омбрельку.

— Готовы? Ну так, стало быть, вместе идем,— сказал Туберозов.

— Нет; я отдумала: я пойду к Бизюкиным, отец протопоп,— отозвалась дама, силясь улыбнуться.

— Ну-у!

— А что такое?

Протопоп хотел было сказать что-то против этого намерения, но, приподняв шляпу, поклонился и только сказал:

— Нет, я так; — ничего.

Они раскланялись и пошли в разные стороны.

XI

Туберозов пришел в дом Порохонцевых первый. Городничий еще наслаждался послеобеденным сном, а Ольга Арсентьевна обтирала губкой свои камелии и олеандры, окружавшие угольный диван в маленькой продолговатой гостиной.

Хозяйка и протопоп встретились очень радушно и просто.

— Рано придрал я? — спросил протопоп.

— И очень даже рано,— отвечала, смеясь, хозяйка.

— Подите ж,— не сидится дома. Зашел было к Дарьяновым, чтоб вместе к вам идти, да они что-то...

— Что такое?

— Да кто их разберет! Он говорит “рано”, а она хотела к вам идти, да заместо того к Бизюкиным пошла.

— Муж в Тверь, а жена в дверь.

— И вправду. Как тяжело у них всегда. Люблю я и его, и ее, а уж бывать у них тягощуся.

— Порознь оба они отличные люди,— тихо рассуждала, тщательно вытирая листок, Ольга Арсентьевна.

— А вместе не хороши,— договорил Туберозов.

— Вместе хоть брось,— докончила, сойдя с подножной скамеечки, хозяйка.

— Да, я тебе, друг Оленька, скажу, что меня эти их нелады даже и тревожат.

— Хорошего ничего нет, отец Савелий.

— Он извертел ее, избаловал, испортил...

— Он мальчик.

— И резонер.

— И резонер, если хотите.

— Чего бы, кажется: на этакую бабочку смотреть, да радоваться...

— Заметьте, что она его еще и очень любит! — вставила Порохонцева.

— Да; еще и любит; а он одно что знает,— все про свободу ей!

— И это врет[1*].

— А она храбрая, да пылкая, ей нужен...

— Командир.

— Что?

— Командир ей нужен, говорю я.

— Ну... я этого не думаю.

— Отчего? Припомните, бывало, говорят, в старые годы бабушки наши из воительниц, воюют, воюют, пока какой-нибудь гусарский полк не придет. С ума сойдут, повешаются гостям на шею, хорошенько посрамятся, да и за святость потом,— ближнего кости белить.

— Да, именно; хорошо еще, что нынче это...

— Что такое?

— Да все-таки уж, знаешь, больше гордости; сознанья больше в женщинах: на гусаров не виснут.

— Как будто не все равно: на других виснут. Чем напугавший вас губан Термосёсов лучше гусара и разве он больше гусара женщину пожалеет?

— И ты права, мой друг; и ты права, моя разумная Олюша.

— Да разумеется: для одного ничего святого не было, и для другого то же самое.

— Но что ж, мой друг... Скажи ты мне... Я все же ведь кутейник, груб, а ты как женщина ты это лучше понимаешь: что ж их всех этих женщин тянет к этим шаболдаям? Я понимаю там... любовь... проступок в увлеченьи... но... но это-то скажи, пожалуй... Что это за вкус такой?

— Да просто гадкий вкус, отец Савелий! — с брезгливостью отвечала, приостановив на минуту свою работу, Порохонцева[2*].— Добрая жизнь надоест. Знаете анекдот про Потемкина, как он, пресытясь всем, что ему могла доставить роскошь, вспомнил за столом о ржавой севрюге[46]. Это все равно одно и то же: гадости хочется[3*].

— Скажи, какая ужасть!

— Женщина смотрит в глаза всем спокойно, с ней обращаются с знаками

[1*] Далее зачеркнуто:

"— А между тем, мой друг, как... это... нынче да завтра так это еще слава Богу, что здесь пока. А то ведь примеров много... и где-нибудь и в другом месте утешитель понадобится"

[2*] Далее зачеркнута фраза Порохонцевой: "Вы видите, с женщиной обращаются хорошо, уважают ее волю, верят ей, дают ей место"

[3*] Далее зачеркнуты реплика Туберозова и ответ Порохонцевой:

"— Разнообразие?

— И даже хуже, это холопство"

уважения к ее полу: ее лаской счастливы, к ее ласке ревнуют; а она предпочитает, чтобы ее третировали en canaille[1*] И... даже, пожалуй, переуступали ее друг другу... да еще... может быть, и с одобрительной за прошедшую службу аттестацией[47].

— Так так, что в оны дни гусар, что ныне Термосёсов...— проговорил как сам с собою Туберозов.

— ...Это все равно в известном смысле,— подсказала Порохонцева.— Тут дело в том, что в моде: шнуром расшитый негодяй иль негодяй нечёса[48]. Забота, цель и хлопоты все в том, чтоб кто-нибудь не стоящий человеческого имени третировал нас канальями в укор тем, для кого мы заключали счастье.

— И знаешь что?..— заговорил, быстро встав с места, Туберозов.— Я ужасно беспокоен, зачем она сегодня пошла туда?

— Да не все ли равно: не сегодня, так завтра пошла бы? Или вы надеетесь, что с завтрашнего дня она иначе будет жить с мужем.

— Д-да! Я кое-что хочу ему... так понимаешь... тонко... в виде рассуждений...

— Да, ну так за сегодня не беспокойтесь: Бизюкиной сегодня не будет дома. Я сейчас получила от нее записку, где она пишет, что муж ее, если и вернется в город, не может быть у меня, потому что должен остаться дома с их гостем, судьею; а она за то вызывается привести мне этого Термосёсова.

— Так еще хуже ж: Мелаша, значит, там с одними мужчинами будет беседовать!

— А вы мужчин боитесь для нее?

— А что ж?

— Э, полноте, отец Савелий! Сто тысяч самых гадостных мужчин не доведут до того, до чего шутя доведет одна пустая женщина. Женщин надо больше бояться, а не мужчин. Женщина женщине первая дурной путь показывает.

— "Баба бабу портит" — есть пословица.

— Ну видите — даже и пословица есть.

Протопоп подошел к Порохонцевой, взял ее тихо и осторожно обеими руками за голову и, приклонив к себе на грудь, проговорил:

— Ах ты министр-баба! И кротость голубя и мудрость змеи в себе одной соединила! Недаром, недаром, брат, тебя Ольгой назвали! Не скудей! — заключил он, вздохнув; — не скудей и не оскудевай такими дочерьми, земля русская!

И, благословив голову Порохонцевой, протопоп нагнул к ней лицо свое и отечески поцеловал ее в темя.

В эту же минуту под окнами дома послышался в густой пыли топот подкатившей четверки, и Туберозов, глянув в окно, громко воскликнул:

— Пармен Семенович! боярин милый! ты ль это, друг? О будь благословен и день, и час твоего сюда прибытья!

И старик опрометью бросился из комнаты навстречу к выходившему из экипажа предводителю Туганову.

М. Стебницкий

Конец второй части[2*]

[1*] Как каналью (*франц.*)

[2*] Под текстом рукой Лескова сделана карандашная запись:

"Всего 77 страниц. Это составляет 19 листов писаных, которые делают около *четырех* печатных листов"

Часть третья

НОВАТОРЫ[1*]

I

Мы остановились на том, что Туберозов радостно встретил давно жданного им предводителя Туганова у порога порохонцевского дома; но мы должны оставить здесь на время и старогородского протопопа, и предводителя и перенестись отсюда в дом акцизного чиновника Бизюкина, куда сегодня прибыли мировой судья Борноволоков и его секретарь Термосёсов.

Точно так же мы должны возвратиться на несколько часов назад и по времени действия: мы входим в дом Бизюкина в тот предобеденный час, когда перед ним остановилась почтовая тройка, доставившая в Старый Город мирового судью и его <секретаря> Термосёсова.

В это время дома находилась одна Данка. Ожидая нетерпеливо дорогих гостей, она недолго оставалась у Порохонцевой и вернулась домой рано; мужа же ее не было дома: он отлучился ненадолго по службе.

Данка со вчерашнего дня совершенно не знала покоя. Теперь она была озабочена тем, как бы ей привести дом в такое состояние, чтобы внешний вид ее жилища с первого же на него взгляда производил на приезжих самое выгодное впечатление, чтобы все, что в нем ни увидят, как можно выгоднее рекомендовало ее Термосёсову и Борноволокову. Это, как оказалось, требовало немалой обдуманности и сосредоточенности, к которой болтливая Данка была совсем не приспособлена. Ей казалось, что все разбивают ее мысли, все развлекают ее и мешают ей обдумать. Вчера еще игнорировавшая службу мужа, сегодня она настоятельно требовала, чтобы он непременно куда-нибудь уехал.

— Куда теперь ехать? — отговаривался Бизюкин.— Патенты поверены, заводы стоят запечатаны.

— Ну так что же, что запечатаны? Удивительное дело, за что казна этим господам деньги дает! — восклицала Бизюкина.— Вот на дельное на что-нибудь, на полезное, у них никогда денег нет, а лежебокам так есть. Ну мне все равно, впрочем: есть у тебя дело, нет дела, а ты, пожалуйста, отправляйся; а если хочешь быть дома, так знай, что у меня ни обеда тебе не будет, ни чаю не будет, ничего, ничего, и я тебя и видеть не хочу.

Бизюкин подумал, подумал и поехал верст за десять на завод, посмотреть целы ль печати и на своем ли месте висят в шинках установленные свидетельства?

Данка выпроводила со двора мужа с наказом, чтобы он не возвращался до вечера. Фофо[49] Бизюкин ничего против этого не возражал: ему лиха беда была подняться да выехать, а там уж он знает, куда ему завернуть и где “убить время” за зеленым столиком и закуской. Бизюкин любил и подзакусить, и перекинуть картишкой, но не позволял себе последнего удовольствия, потому что жена тщательно отбирала у него все деньги; но уж в этом экстренном случае, когда жена сама его чуть не по шее выгоняет, он может поиграть и в долг. Выиграет,— прекрасно, смолчит об этом; а проиграет...

[1*] В начале второй тетради, открывающей 3-ю часть хроники, повторяется ее полное название: “Божедомы. Повесть лет временных. (Шесть частей)”, наклеенное поверх отвергнутых вариантов заглавий 3-й части. Среди заклеенных вариантов удалось разобрать: “Укротители” “Экспериментаторы” “Свои не узнают своих”

"БОЖЕДОМЫ. ПОВЕСТЬ ЛЕТ ВРЕМЕННЫХ"

Часть третья. "Новаторы"
Автограф. Тетрадь вторая. Лист 78

Заклеены первоначальные варианты названия:
"Укротители", "Экспериментаторы", "Свои не узнают своих"

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

что ж... скажет ей: "Сама же, матушка, меня выгнала! мне деться некуда было,— я поневоле играл".

Решив все это таким образом в своей голове, либеральный чиновник акцизный уехал, а жена его обошла все комнаты своего дома и стала посреди опрятной и хорошо меблированной гостиной.

— Черт знает что это такое! — воскликнула она вслух и, подпершись

фертом, повернулась кругом на одном каблуке.— Это и у Порохонцевых, и у Дарьяновых, и у почтмейстера,— у всех точно так же. Даже это гораздо наряднее, чем у всех! — у Порохонцевых, например, нет ни одной штучки бронзы; нет часов на камине, да и камина вовсе нет; но камин, положим, ничего,— этого гигиена требует; а зачем эти бра, эти куклы, наконец, зачем эти часы, когда в зале часы есть?.. В зале... а в зале разве лучше?.. Там фортепияно, там ноты[1*]... Нет, это решительно как у всех; это в глаза мечется, это невозможно так. Черт возьми совсем, я вовсе не хочу, чтобы новые люди обошлись со мной как-нибудь скверно за эти мелочи! Я не хочу, чтобы мне Термосёсов написал что-нибудь вроде того, что у Марка Вовчка в "Живой душе" умная Маша написала жениху, который жил в хорошем доме и пил чай из серебряного самовара, что, мол, "после того, что я у вас видела, между нами все кончено"[50]. Нет; я этого не хочу. Но, однако же, как? как это устроить?

На память ей приходит, что Наполеон, принимая нашего Государя, устроил ему кабинет совершенно такой же, каков кабинет нашего Императора в его дворце[51]. Такие же или подобные знаки внимания оказывали и другие коронованные хозяева своим державным гостям.

— Досадно, конечно, что эта мысль принадлежит таким особам,— думает Данка,— а то сама по себе эта мысль прелестная: устроить гостю помещение точь-в-точь такое, какое он имел дома.

— Э! — раздумала она,— да стоит молчать, никто и не догадается, что я Наполеону подражаю; а если догадаются, я скажу, что это по "Живой душе" Одно досадно: не знаю я, как это там у них было дома?.. Какая досада, что я Бизюкина услала: он все-таки мог бы сказать что-нибудь!.. Верно, у них все скверно,— то есть, я хотела сказать прекрасно... тьфу, то есть скверно... Черт знает, что такое! То есть, просто верно! Да! Но куда же мне деть все это? Выбросить все это если? Все перепортится; это все денег стоит! Да и что пользы это одно выбросить, когда кругом, на что ни взглянешь[2*]... вон в спальне кружевные занавесы... Положим, что они в спальне хоть и не побудут... зачем им в спальню?.. А если? Ужасная гадость, ей-Богу! — Детей? — ну да их не покажут; пусть там и сидят, где сидят; но все-таки... все выбрасывать... Нет, лучше же одну мужнину комнату можно отделать. Ведь и Наполеон одну только отделывал. Да, разумеется: чего это все коверкать? Нет, я по-наполеоновски: я одну комнату... Зачем это там у него бюро, метелки, щетки и прочее,— все это вздор!

— Ермошка! Ермошка! — позвала она громко мальчишку и велела ему перенести все излишнее, по ее мнению, убранство мужниного кабинета в кладовую.

Кабинет акцизника, и без того обделенный убранством в пользу комнат госпожи и повелительницы дома, теперь был совсем ободран и представлял зрелище довольно печальное. В нем оставались стол, два дивана и больше ничего.

— Вот и отлично,— подумала Бизюкина.— По крайней мере эта комната, в которой они будут пока жить, будет совершенно как следует.

Она походила по ней, сделала на письменном столе два пятна чернилами, опрокинула ногой в углу плевательницу и, рассыпав по полу песок, потерла его ногою и сказала:

— Да, ничего; здесь теперь очень недурно. А тут,— размышляла она,

---

[1*] Далее зачеркнуто: "Черт их знает, зачем они туда и попали, и эти фортепияно, и ноты, и всё"

[2*] Далее зачеркнуто: "обстановка подлейшая"

"БОЖЕДОМЫ. ПОВЕСТЬ ЛЕТ ВРЕМЕННЫХ"
Часть третья. "Новаторы"

Автограф. Тетрадь вторая. Лист 78 об.

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

переходя в другие комнаты,— тут... это всё вещи, к которым я привыкла, да и наконец, что ж такое? Ведь я могу же их беречь для того, чтобы в удобное время, когда потребуется, все их пустить?.. Одно, что... вот есть... Ах, Боже мой, это-то чуть и не просмотрела!

— Ермошка! Ермошка! скорей тащи долой этот образ и туда его... Что же ты стал, глупый мальчик!

— Куда же-с его?

"БОЖЕДОМЫ. ПОВЕСТЬ ЛЕТ ВРЕМЕННЫХ"
Часть третья. "Новаторы"

Автограф. Тетрадь вторая. Лист 79

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

— Куда? ну куда? Куда хочешь: в детскую... к няньке. Нет; не надобно в детскую... Отдай Поликарпу в конюшню.

— В конюшню!.. Как можно в конюшню-с?

— Ну, ты еще рассуждаешь, что нам можно.

— Да помилуйте, риза... Поликарп беспременно пропьет.

— Ну пропьет!.. Вы, православные, с Бога ризы пропиваете... Отличный народ.— Ну да тащи его скорей оттуда, снимай и неси, я его спрячу в комод.

— Как это глупо,— рассуждала она, запирая в комод образ. Как это глупо, что жених, ожидая *Живую душу,* побил свои статуи и порвал занавески?[52] Зачем же рвать, когда он всё это мог обратить в пользу дела, да наконец, мог все это прекрасно велеть запереть, чтоб не видели. Какой глупый!.. Эй, послушай, Ермошка, подавай мне сюда занавески!.. Ну так... свертывай, свертывай и тише, не разорви... Вот и чудесно. Теперь сам смотри же, чертенок, одевайся получше!

— Получше-с?

— Ну да, конечно, получше. Что есть там у тебя в комнате?

— Бешмет-с.

— Бешмет, дурак, "бешмет-с"! Жилетку, манишку и новый кафтан, все надень, чтобы все было как должно; да этак не изволь мне этак по-лакейски: "чего-с изволите-с" да "я вам докладывал-с", а просто: "что, мол, вам нужно?" или: "я, мол, вам говорил". Понимаешь? Слово-ерсов этих чтоб у меня не было?

— Понимаю-с.

— Не "понимаю-с", глупый мальчишка, а просто "понимаю", *ю, ю, ю;* просто *понимаю!*

— Понимаю.

— Ну вот и прекрасно. Ступай одевайся, у нас будут гости. Понимаешь?

— Понимаю-с.

— *Понимаю,* дурак, *понимаю,* а не "понимаю-с"!

— Понимаю.

— Ну и пошел вон, если понимаешь.

Ермошка вышел.

Бизюкина вошла в свой будуар, открыла большой ореховый шкаф с своими нарядами и, пересмотрев весь свой гардероб, выбрала, что там нашлось худшего, позвала свою горничную и велела себя одевать.

— Вот черт возьми,— размышляла она, поворачиваясь перед трюмо, где была видна и сама, и ее девушка.— Вот если бы у меня было такое лицо, как у Марфуши! Какая прелесть,— даже страшная: Митрофан мой уж этой не соблазнится; а между тем сколько в ней внушительного.

— Марфа! ты очень не любишь господ?

— Отчего же-с?

— Ну, "отчего же-с?" Так, просто ни отчего. За что тебе любить их?

Девушка была в затруднении.

— Что они тебе хорошего сделали?

— Хорошего ничего-с.

— Ну и "ничего-с", и значит, не любишь, а пожалуйста, не говори ты этак: "отчего же-с", "ничего-с" — говори просто "отчего", "ничего" Понимаешь?

— Понимаю-с.

— Вот и эта: "понимаю-с". Говори просто "понимаю"

— Да зачем так, сударыня?

— Зачем? Затем, что я так хочу.

— Слушаю-с.

— "Слушаю-с" Я сейчас только сказала: говори просто "слушаю и понимаю"

— Слушаю и понимаю; ну только мне этак, сударыня, трудно.

— Трудно? Зато после будет легко. Все так будут говорить. Слышишь?

— Слышу-с.

— "Слышу-с" Дура! Я прогоню тебя, если ты мне еще так ответишь. Просто "слышу", и ничего больше. Господ никаких не будет; понимаешь ты

это? не будет вовсе! Поняла? Ну, если поняла, иди вон и пошли ко мне Ермошку!

Бизюкина была совершенно довольна своей распорядительностью.

— Им комната,— размышляла она,— прелестная, совершенно как им следует; зала ничего; гостиная теперь без занавес и без бронзы тоже ничего, да и, впрочем, что же... ведь это же комната для всех, так ее совсем нельзя облупить; а моя спальня... Ну уж это пусть извинят: я так привыкла, чтоб там все было, что есть!.. Теперь еще одно, чтоб здесь... чтоб здесь школу... Эй! Эй, Ермошка!

Явившемуся Ермошке Бизюкина дала десять медных пятачков и велела зазвать к ней с улицы, сколько он может, девочек и мальчишек, сказав каждому из них, что они у нее получат еще по другому пятаку.

Ермошка вернулся минут через десять в сопровождении целой гурьбы полунагих уличных ребятишек. Бизюкина оделила их пятаками и, посадив их на диваны в мужнином кабинете, сказала:

— Я вас буду учить. Хорошо?

Ребятишки подергали носами и прошипели:

— Ну дак што ж!

— Хотите учиться?

— Да ладно,— отвечали, поскабливая ногтями бока, ребятишки.

— Ну так теперь валяйте за мною и кто первый выучит, тому пятиалтынный!

— А мы в книжку не умеем читать,— отозвался мальчик посмышленее прочих.

— Песню учить будете, а не книжку.

— Ну, ладно; будем песню.

— Ермошка, иди и ты садись рядом.

Ермошка сел на краек и застенчиво закрыл рот рукою.

— Ну, теперь валяйте за мною!

— Ну что же, мы будем.

— Валяйте.

Как идет млад кузнец да из кузницы[53].

Дети кое-как через пятое в десятое повторили.

— “Слава!” — воскликнула Бизюкина.

— “Слава”,— повторили дети.

Под полой три ножа да три острых несет. Слава!

Дети опять повторили.

Как и первый-то нож про бояр, про вельмож. Слава!

Дети повторяли.

А второй-то ли нож про попов, про святош. Слава!

Дети голосили за Данкой зычней и зычней.

— Теперь:

Третий нож навострим...

Но только что Данка успела продиктовать своим ученикам “третий нож навострим”, как Ермошка вскочил с дивана, приподнял вверх голову и, взглянув в окно, вскрикнул:

— Сударыня, гости!

Данка бросила из рук линейку, которою размахивала, уча детей песне, и быстро рванулась в залу.

Ермошка опередил ее и выскочил сначала в переднюю, а оттуда на крыльцо и кинулся высаживать Борноволокова и Термосёсова.

Данка была чрезмерно довольна собою: гости застали ее, как говорится, во "*всем туалете*"

II

Борноволоков и Термосёсов, при внимательном рассмотрении их, были гораздо представительнее, чем показались они мельком их видевшим Туберозову и Дарьянову.

Судья Брызгалов[1*] был живое подобие уснувшего ерша: маленький, вихрястенький, широкоперый, с глазами, совсем затянутыми какой-то сонной влагой, но между тем живой и подвижный на ходу и в движениях. Глядя на него сначала трудно было поверить, что он, будучи членом дипломатической русской миссии, мог весть интригу и устраивать демонстрации против России[2*]. Он скорее казался ни к чему не годным и ни на что не способным; это был не человек, а именно сонный ерш, который ходил по всем морям и озерам и теперь, уснув, осклиз так, что в нем ничего не горит и не светится, но тем не менее он все-таки ерш, и если его невольно взять, так он еще марает и колется.

Термосёсов же был нечто, напоминающее кентавра. При огромном мужском росте у него было сложение здоровое, но чисто женское: в плечах он узок, в тазу непомерно широк; ляжки как лошадиные окорока, колени узловатые, руки сухие, шея длинная, но не с кадыком, как у большинства рослых людей, а лошадиная — с зарезом; голова с гривой вразмет, упадающей на все стороны; лицом смугл, с длинным армянским носом и непомерной верхней губой, которая тяжело садилась на нижнюю, как садится на подоконник ослабевшая в верхних петлях оконная карниза. Глаза[3*] у Термосёсова коричневого цвета, с резкими черными пятнами в зрачке. Взгляд его пристален и смышлен.

Костюмы новоприбывших гостей тоже довольно замечательны. На Борноволокове надето маленькое серенькое пальто вроде рейт-фрака и шотландская шапочка с цветным околышем, а на Термосёсове широкий темно-коричневый суконный сак, подпоясанный широким черным ремнем, и форменная фуражка с зеленым околышем и с кокардой; Борноволоков в лайковых полусапожках, а Термосёсов в так называемых суворовских сапогах.

Вообще Термосёсов и шире скроен, и крепче сшит, и, по всему, представляет существо гораздо более фундаментальное, чем его начальник, и фундаментальность эта еще более поддерживается его манерой держаться.

Судья Борноволоков, ступив на ноги из экипажа, прежде чем дойти до крыльца, сделал несколько шагов быстрых, но неровных, озираясь по сторонам и оглядываясь назад, как будто он созерцал город и даже любовался им; а Термосёсов не верхоглядничал, не озирался и не корчил из себя первое лицо, а шел тихо и спокойно у левого плеча Борноволокова. Лошадиная го-

---

[1*] Везде в рукописи первоначальный вариант имени Борноволокова — Брызгалов — зачеркнут. Здесь сохранен явно по недосмотру. В рукописи встречаются и другие варианты фамилии героя: Иноземцев, Новокщенов.

[2*] Далее зачеркнуто: "и вглядясь в него ближе, вы непременно сами бы из тысячи человек выбрали непременно его и сказали бы: кроме его, этого и устроить некому"

[3*] Далее зачеркнуто: "большие, карие и не злые, а скорее веселые и счастливые"

лова Термосесова была им слегка приспущена на грудь, и он как будто почтительно прислушивался к тому, что думает в это время в своей голове его начальник.

Данка все это видела. Она наблюдала новоприезжих из-за оконной притолки и млела в восторге, который смущало недоумение: который же из этих двух судья Борноволоков и который Термосесов? По соображениям Данки выходило, что Борноволоков непременно этот большой, потому что он в форменной фуражке и с кокардой. Конечно, это его лишь суровая служебная обязанность могла заставить надеть на себя кокарду,— эту вывеску присяжного человека. А тот вон, без формы, в рейт-фрачке и пестренькой шапочке,— Термосесов, человек свободный, служащий по вольному найму.

— Да он даже и права, конечно, не имеет носить этого украшения,— рассудила наконец Данка, вспомнив из вчерашнего мужниного рассказа, что Термосёсов происходит из царскосельских мещан, не кончил нигде курса и нигде не служил.

Данка принимала Термосёсова за Борноволокова, а Борноволокова за Термосёсова, и, не подозревая нисколько своей ошибки, заботилась теперь единственно о том, как бы ей их лучше встретить.

— А как в самом деле их встретить?.. Выйти навстречу?.. Нет; это похоже на церемонию. Ничего не делать, сидеть, пока войдут?.. натянуто. Книгу читать?.. Да, это самое естественное, читать книгу.

И Данка взяла первую попавшуюся ей в руки книгу и, взглянув поверх ее в окно, заметила, что у Борноволокова, которого она считала Термосёсовым, руки довольно грязны, между тем как ее праздные руки были белы как пена.

Данка немедленно схватила горсть земли из стоявшего на окне цветного вазона, растерла ее в ладонях и, закинув колено на колено, села, полуоборотясь к окну, с книгою.

В эту самую минуту в сенях послышался веселый и довольно ласковый бас, и вслед за тем двери с шумом отворились, и в переднюю вступили оба гостя: Термосёсов впереди, а за ним Борноволоков.

Данка сидела и не трогалась. Она в это время только вспомнила, как неуместен должен показаться гостям стоящий на окне цветок и, при всем своем замешательстве, соображала, как бы ей его ловчее сбросить за открытое окошко? Мысль эта так ее занимала, что она даже не вслушалась в первый вопрос, с которым отнесся к ней один из ее новоприезжих гостей, что ей и придало вид особы, непритворно занятой чтением до самозабвения.

Термосёсов посмотрел на нее через порог и должен был повторить свой вопрос.

— Вы кто здесь, Бизюкина? — спросил он, спокойно всовываясь в залу.

— Я Бизюкина. Кого вам? — отвечала, не поднимаясь с места, Данка.

— Вы? — Термосёсов взошел в зал и заговорил:

— Я получил на станции ваше письмо, и мы вот по вашему зову и приехали. Я Термосёсов Андрей Иванов, сын Термосесов, вашего мужа когда-то товарищ был, да размолвили; а это Афанасий Федосеич Борноволоков — судья. Судить здесь будем. Здравствуйте!

Термосёсов во время своей речи все подступал к Данке ближе и, сказав последнее слово, протянул ей свою руку.

Бизюкина подала руку Термосесову, а другою кладя на окно книгу, столкнула на улицу вазон.

— Что это; вы, кажется, цветок за окно уронили? — осведомился Термосесов, бесцеремонно свешиваясь за окошко возле самой Данки[1*].

— Нет, это пустое... трава от пореза, да уж она не годится.

— Да, разумеется, не годится: какой же теперь черт лечится от пореза травою. Черт с ней и вправду! Ну так вот вы какая!.. Ну, дайте же рученьки? дайте! Ого-го-го, да вы молодец! Я как прочитал письмо, черт знает как расхохотался, ей-Богу, расхохотался и говорю Афанасью Федосеичу: ну говорю, наши в лесах-то и вертепах живут, да доходят... да, да... доходят... А муж-то ваш где же? дома он?

Бизюкина оглянулась на судью, который, ни слова не говоря, тихо сел и сидел на диванчике, и отвечала, что мужа ее нет дома.

— Нет! Где ж это он? Мы ведь с ним приятели, да маленько повздорили на последях.

— Он мне сказывал об этом,— проговорила, начиная ободряться, Бизюкина.

— Да; из пустяков; но я вам скажу,— я вас первый раз вижу, но я вам откровенно скажу: ваш муж не по вас. Нет; он не по вас,— тут и толковать нечего, что не по вас. Я Афанасью Федосеичу сейчас же там на станции сказал: "нет; я вижу, мой бывший коллега не по себе зарубил барыню, не по себе. Это много и говорить нечего, что не по себе. У него место отличное, но сам он, скотина, мальчик, мальчик,— я его знаю: младенец. Ведь это вы ему это место доставили?

— Н-д-а,— вытянула, не зная что и в какой тон отвечать, Данка.— То есть не я, а мой отец.

— Ваш отец, да-да-да... я слышал: молодец! Больше ничего как молодец. Я слышал все там у вас в городе про ваш роман-то. Молодчина вы; ей-Богу, молодчина, и все уладили, и место мужу выхлопотали, и чудесно у вас тут! — добавил он, заглянув, насколько мог, по всем видным из залы комнатам и, заметив в освобожденном от всяких убранств кабинете кучу столпившихся у порога детей, добавил:

— А-а! тут есть и школка,— ну все как следует. Одна вот эта комнатка и плохандрос: ну, да для школы ничего. Чему вы их, паршь-то эту, учите? — заключил он круто.

Ненаходчивая Бизюкина совсем не знала, что ей отвечать, чему она учит детей, которых она никогда не учила, но словоохотливый Термосёсов сам ее выручил. Не дожидаясь ее ответа, он подошел к ребятишкам и, подняв одного из них за подбородок кверху, заговорил:

— А что? буки арцы аз ра-ра *бра*; веди арцы аз ра-ра *вра*? Славный мальчуган! Умеешь горох красть? Что? не умеешь? Скверно: что при дороге посеяно, то на общую долю. Воруй, братец, и когда в Сибирь погонят, то да будет над тобой мое родительское благословение. Там других выучишь. Отпустите их, Бизюкина! что вы? — да право. Что ведь многому не научите; а мало, что знают, что не знают — все один черт. Идите, ребятки, по дворам! Марш, горох бузовать.

Дети один за другим тихо выступили и, перетянувшись гуськом через залу, шибко побежали по сеням, а потом по двору.

— Что ведь все это канитель и вздор, я думаю? Ничего из этого не выйдет,— заговорил вслед им Термосёсов.— Разумеется, как это уж сказано, школы нужны, но в существе вздор. Из наших теперь ни в Петербурге, ни в Москве ни один не учит... да и не стоит. Дайте нам завесть школы, какие

[1*] Зачеркнуто: "возле самой груди Данки"

должно, ну и хорошо, и будем тогда учить, а эти буки-еже-ре-бре,— ну их к черту совсем. Не стоит вам время своего губить,— не советую.

— Я и сама это нахожу,— осмелилась вставить Данка.

— Да, разумеется, да и нечего тут долго думать. Субсидии ведь не получаете?

— Нет; какая ж субсидия!

— Отчего ж: другие из наших берут. От церквей берут. Ну те, которые берут, те и держат; а то ни один и ни одна. Да тут и толковать нечего: завтра пришли и по затылкам их. А что про это говорят-то! Да черт с ними,— что потому проку, что говорят. Вон в Москве Катков с Аксаковым и, черт знает, что ни пишут, и деньги на школы сбирают, да прах их побери совсем и с их школами[54]. А эту комнатку,— ее и мне пока ничего дать приютиться. Неприглядно, да я ко всему привык. Вы нам где устроили?

— Где вы захотите,— отвечала совершенно засыпанная словоизвержениями Термосёсова Данка.

— Где захотим? Вот чудесно! Да я не знаю, где Афанасий Федосеич захочет, а мне так хоть под кроватью в спальне у вас, так все равно; но туда, небось, Фанфан-то не пустит. Ревнив он?

— Нисколько.

— Ну как чай нисколько! Не позволяете разве, так вот этому поверю, а то, где там ему без ревности обойтися? Ско-о-тина он, какую жену подхватил. Ну, да меня не взревнует: мы и сами не сироты.

— Вы женаты?

— Был женат[1*], но теперь разошелся. Да ведь наш Антон не тужит об том: есть штаны — носит, а нет — и последние сбросит. Это ваш сынишка? — отнесся он, указывая на проходившего по комнате Ермошку и, не ожидая ответа, заговорил к нему:

— Послушай-ка, милка: вели нам дать где-нибудь умыться.

— Это не сын мой,— отозвалась несколько сконфуженная Данка.

— А чей же это сын?

— Это сын своей матери.

— “Сын своей матери”? Ха-ха-ха! Афанасий Федосеич, а Афанасий Федосеич! слышали? “Сын своей матери” Я говорю, что наши, которые в горах-то и вертепах и пропастях земных, доспеют. Правда я вам говорил: доспеют?

— Да,— уронил судья.

Бизюкина первый раз слышала звук голоса этого своего гостя. Это был звук перевязанной на третьем ладу гитарной квинты. Тупо, мягко, коротко и беззвучно: чистой, музыкальной ноты не взять на этом голосе и хрипеть, и понижаться он тоже не станет, а все будет тянуть одно и то же и одним и тем же тоном.

— Да,— уронил судья,— вы это говорили.

— Не правда ли, говорил! Со мной в Петербурге было много спорщиков да все пошли на дно,— да все на дно пошли, а я вот он. Ха-ха-ха — а я цел и езжу, и опять вот он. Не имею права поступить на службу, но как-нибудь, как могу, бочком, ничком, а все-таки примкнул к службе. Прав не имею, так честные люди есть, и без прав устроят, и без прав обойдуся.— Я этого Варфоломея Зайцева... читали, чай, что-нибудь? Критик он[55]?

— Разумеется читала,— отозвалась Бизюкина.

— Бойко писал Бубка[56], но всегда вздор. Говорят ему... дружески бывало говоришь: “Бубка! Зачем пишешь вздор?” Не верит.

[1*] Далее зачеркнуто: “и не раз, и не два, и не десять”.

— А вы знакомы с ним?

— Я?.. лично? Лично нет, не знаком, впрочем, я все равно... знаю. Он на Щедрина осердился! Ха-ха-ха! Чего ж ты сердишься? Маленький ты критик! чего ты сердишься? Щедрин голова; да-с; голова, а ты что такое? От пясти пёрст и много ли верст, а Щедрин пророк. Что ж такое, что Щедрин правду-то говорит! Да и прекрасно! Я его за это и уважаю. Щедрин написал, что нигилист есть нераскаявшийся титулярный советник, а титулярный советник есть раскаявшийся нигилист, да прибавил, что “все тут будем”,— и верно[57]! И верно-с! Много ли с тех пор прошло, как это сказано, а уж мы все в титулярные советники полезли. На меня сердились, что я был против Бубки за Щедрина, а я был потому, что я дело понимаю. Я прежде сам был нигилист и даже на вашего мужа сердился, что он себе службу достал; а нынче что же я могу сказать, окромя как: молодчина, Фанфан! Да чего не служить-то? На службе нашего брата любят; на службе деньги имеешь; на службе влияние у тебя есть,— не то, что там из литературы влияние свое проводи. Да-с; поди-ка ты проводи его,— проводи, а тебя за это в зубец, а тут ты, на службе, тому же самому направлению служишь и патриотам прямо в жилу попадать можешь,— и на законном основании. Так он это, патриот-то, лучше всякого... твое<го> литературного влияния вспомнит. Да и отчего же нам не служить? Держать мы себя на службе знаем как надо; начальство нами довольно; защита у нас, где понадобится, есть; ни своих старших, ни друг друга мы строго не критикуем, и чего нам не служить? Время было дурацкое, похордыбачили пять-шесть лет, пренебрегали служащими и проповедничали, то за Базаровым тянувшись, то “Что делать?” истолковывая, но... над всякою неподвижностью тяготеет проклятие... пора и за разум взяться.

— Да... ведь говорят... в Москве мастерские идут,— заметила Данка.

— Идут?.. Да *идут,*— ответил с иронией Термосёсов.— А им бы лучше потверже стоять, чем все *идти.*— Ничего они не идут,— заключил он резко,— да нам до этого и дела нет. Это вон барыням, мадам Шлихман с мамзель Гольтепа интересно,— ну пусть они и забавляются. Нас отлично было на этих мастерских объехали. Не спохватись мы четыре года тому назад, так теперь бы уж давно сидели бы все на заднем столе с музыкантами. Пока бы мы там в этих мастерских руки себе выкручивали, а патриоты расселись бы на всех местах на службе и вводили бы царство Василия Тёмного[58]. Нет, нет, спасибо Щедрушке, спасибо. Его не ругать, как этот... Зайцев-то ругал его... а ему, Щедрину-то все мы кланяться должны, что спас, спас от ничтожества, спас целое поколение, которое сдуру как с дубу само так и перлось, чтоб где-нибудь в мастерских перессориться и заглохнуть. Но мой Щедруша молодец: крикнул: “стоп, машина!” — взял и поворотил, и вот все и служим.

— Вы знакомы с Щедриным? — опять осведомилась Данка.

— С Щедриным? То есть вы спрашиваете, знаком ли я с ним лично? — Нет, лично не знаком. Да ведь они, знаете... тоже свои чины у них... Он в большом журнале заправляет[59], а я в маленькой газетке был... Сравнительно убожество; но я всегда, я прежде всех других открыто исповедывал, что я щедрист. Вы чернышисты, писаристы или антонисты, а я щедрист — потому что вы идеалисты, а я практик. Я в Щедрине слышу практичность, и я щедринист. Их нигилизм есть *идеал.* Что такое, что они *нигилисты?* Они идеалисты нигилизма, а мы... которые настоящую *суть* вещей понимаем, мы не нигилисты, *а негилисты* мы! В этом находят оскорбление Чернышевскому? Нисколько! Разве я роман “*Что делать?*” не уважаю или порочу? Напротив, я его очень уважаю,— роман “Что делать?” — хороший роман, даже можно сказать в своем роде единственный роман; но ему было свое время. Было время, он и

служил, да. Он свое сослужил, а теперь он уж не годится. В идеале он хорош, для тех, например, кто *сути* нашей не понимает, для привлечения их он еще годится, но мы... свои-то люди... мы уж выросли и сами свое *"Что делать?"* знаем. Прежде всего на службу поступить, в титулярные советники идти,— вот наше *что делать*, силу забирать... А в России... Чернышевский гений, да маху дал... В России сила *на службе*, а не в мастерских у Веры Павловны. Тпфу, дрянь что такое! Аллюминиевый дворец... Как бы не так! Гроб сосновый трудом-то добудешь, а не дворец из аллюминия, а на службе я сейчас служу делу: я сортирую людей: ты такой? — так тебя, а ты этакий? — тебя этак. Не наш ты? Ты собственник, ты монархист? — я тебя приваливаю, придушиваю, сокрушаю, а казна мне за это плати. Нет-с, Чернышевский-то, положим, и хорош, но он в заоблачной теории хорош, и то лишь пока нам были нужны прозелиты, а в земной практике чернышизм ничего не стоит. Даже и прозелитизм-то плох. Где они, его Веры Павловны с мастерскими? Правительство не допускает? — вздор! Нам себе самим ведь нечего лгать, а просто — нет их. Вон польки,— это другое дело, а наши мужа в Сибирь поедут с чужими деньгами провожать, да на половине дороги с каким-нибудь полицмейстером свяжется, а другая мастерскую содержит, а сама себе носильные платья у француженок шьет... Вздор все это и больше ничего; а титулярных советников-то из наших — это не вздор — их теперь сколько хочешь повсюду, и все они дело делают. Благосветлов-то давал у себя Зайцу орать против Щедрина за титулярных советников, а теперь, небось, этого не скажет! Теперь, небось, после того как его рабочие ходили на него жаловаться, что он дерется, так он и сам согласится, что титулярный-то советник[1*] побольше может помочь, чем какая-нибудь Вера Павловна или переплетчик[60]. Так-то-с, господа; так-то,— заключил, передохнув, Термосёсов,— Андрея Иванова Термосёсова не хвалили наши красные петухи; а Андрей Иванов Термосёсов всегда был практический человек и давно все дальше многих видел.

Гость на минуту приостановился. Данка и судья тоже молчали; так прошло с минуту, в течение которой Данка в смущении размышляла: не следует ли ей предложить гостям с дороги чаю или кофе, или все это не годится, и ей следует только молчать и слушать?

Термосёсов вывел ее из этого затруднения: он опять заговорил.

— Вы вон школы заводите,— возгласил он.— Ведь что же по-настоящему как принято-то у красных петухов, вас надо за это хвалить, а Андрей Иванов Термосёсов[2*] не станет этого делать! Андрей Термосёсов несет не мир, а меч[61], он дело разумеет, он говорит вам: бросьте эти школки: они вредны делу. А вам это дико. Дико? А знаете ли вы, что народ, обучась грамоте, станет святые книги да романцы читать. Вы думаете, вольномыслие пойдет? думаете, что он теорию Бабёфа облюбует?[62] Как же? Сейчас, так и держите. Беда нам будет от народа. Отпущу я вора, теперь, в нынешнее время... Ничего! Он просто рад, что его отпустили и только и опять пойдет воровать и собственникам все вред да вред; а нутека пусти я его тогда, при всеобщей грамотности? А почем вы знаете, что другой не станет размышлять: "что же, мол, это такое? Зачем, мол, суд воров отпускает? чем это кончится? Этак, мол, что мы нажили, то у нас воры и отнимут" Вот вам и пошли вопросы, вот вам и лишний враг! Грамотность не к разрушающим элементам относится, а к созидающим. Надо прежде разрушить до конца, а потом и учите[63].

[1*] Далее зачеркнуто: "из своих-то лучше, чем из благонамеренников"

[2*] Зачеркнуто: "говорит вам: бросьте это! Народ не станет за нас, если мы его теперь обучим грамоте"

— Но, говорят, революция невозможна,— возразила Данка.

— А? Что такое революция? Да на кой черт она нам теперь, революция, когда и так дело идет как нельзя лучше. Да и тут опять если б к тому пришло, что и революцию сделать, так неграмотный народ сто тысяч раз легче в кучу сбить. Вон мне бабка рассказывала, что в Петербурге при Александре Первом несколько десятков тысяч людей к Казанскому собору собралися из-за того только, что кто-то сбрехал, что поведут попа, который козлиной шкурой оброс. С таким народом лафа! А нуте-ка-с при Александре Втором на этакую штуку соберите-ка? Много ли соберете?.. никого. Каждый скот сидит, чай пьет, а сам газету "Сын отечества" слушает. Извольте ему теперь про черта натолковать! Он рассуждает: "Это, малой, брехня,— у газети про то ничего не списано" А прокламацию ему повесьте: "Это, говорит, господские дети на Царя за мужиков злятся, что мужиков отобрал" Нет-с, уж вы Андрею Термосёсову верьте: это мы их на свою голову читать повыучивали: но это теперь пока еще *сотый* читает; а что будет, как *десятый* читать станет? Нет-с: Андрей Иванов Термосёсов свое дело смыслит. В суде мужика как хочешь оправдывай,— вот против этого я ничего. От этого мужик в ярость, в азарт, в дерзость входит,— а учить его... нет-с: учить его не надо: это Термосесов вам по пальцам доказать может. Вот почему новатор и должен несть не мир, а меч? — потому что вы зашли далеко по пути заблуждений, и отцы-то, чиновники, которых теперь выгоняют, ближе вас были к делу. Чиновник не враждовал с начальством, а свое дело обделывал, и начальство было за него, и он как хотел с этим народом расправлялся.... А вы?.. что-с? Вы против начальства пошли, а народ вон Шевченке скрутил руки да к начальству его привел[64]. У вас теперь что шаг, то миндальщина: вдруг решили: детей не бить[65]! А Андрей Термосёсов говорит: бей их! Катай! — они битые вырастают пять раз грубей и свирепей! Сравни-ка битого семинариста с небитым дворянчиком: дворянчик пшик-пшик, да и сселся: сам взойдет в раж да и свеликодушничает, а семинарист... "блажен, иже имет и разбиет младенцы о камень"[66],— семинарист не пощадит! Вам говорят: магазины, заводы; а Андрей Термосёсов говорит: к черту эти все магазины! Это мещанство; рутина это! На службу иди: власть забирай, силу сосредоточивай.— Вот, матка, вот "Что делать?"-то нашего времени! А прозелитизм,— заключил Термосёсов,— нам не нужен никакой прозелитизм: это, что теперь нужно делать — это у всякого у самого в инстинкте есть. А если есть охота вербовать прозелитов, ну можете, тяните за собой хорошего человека, разрушайте предубеждение против службы... Да, впрочем, ничего и этого не надо, сказано: *все* там будем, и так это и будет.

Термосёсов перевел дух и, изловив Данку за руку, сказал:

— Обновленье, господа, обновленье,— старая рухлядь Чернышевского не годится более. За предприятия в кандалы попадают; а нам нужно властвовать и господствовать, а не сибирских клопов своей плотью питать. Теперь иной путь! Вот вам Андрей Термосёсов — он весь как стеклянный ходит,— все в нем видно и ничего ж с ним не поделаешь. Спроси его: "ты в Бога веруешь?" — Он ответит: "верую!" "Каракозовских мнений не разделяешь?" — не разделяю[67]! "Против начальства злого ничего не мыслишь?" — не мыслю. Напротив, даже очень его хвалю. Что же мне начальство? Я не каткист, или не аксаковец: я всем доволен и рад стараться... А вот...

Термосёсов вдруг приподнялся перед Данкой на цыпочки, вытянулся в струнку и, звякнув каблуком о каблук с ловкостью самого лихого военного человека, произнес:

— А вот подойдет шильце к бильцу[68], так тогда вы и узнаете Термосёсова,

да-с! И я хныкать не стану; на “опасное положение” жаловаться не буду, а я сам вам этих благонамеренных и патриотов к Макару телят гонять справлю. Вот как, маточка Бизюкина, надо! Вот как, а не магазины-с! — произнес он внушительно, ударяя Бизюкину ладонью по колену, и, повернувшись к передней, крикнул: “А что ты, мальчуган? Нам умыться готово? Или нет?”

Из передней на этот оклик появился Ермошка и дал ответ, что умыванье готово.

— А, готово! Ну хорошо.— Термосёсов обернулся к неподвижному во все время разговора судье Борноволокову и, взяв очень ласковую ноту, проговорил:

— Афанасий Федосеич, пожалуйте!.. Или, впрочем, позвольте, я прежде достану вам из сака ваше полотенце.

— Да подано, верно, полотенце, подано,— отозвалась Данка.

— Есть,— подтвердил Ермошка.

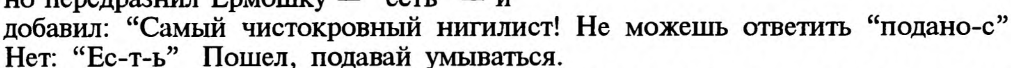
— “Есть!” Ишь как отвечает: “есть!” — Термосёсов довольно комично передразнил Ермошку — “есть” — и добавил: “Самый чистокровный нигилист! Не можешь ответить “подано-с” Нет: “Ес-т-ь” Пошел, подавай умываться.



ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ

Фотография М.Панова. Москва, 1878 г.

Пушкинский Дом, С.-Петербург



Ермошка юркнул по мановению Термосёсова в кабинет, где было приготовлено умыванье, а Термосесов, приподняв Борноволокова слегка за локоть, пошел за ним точно так же, как шел, провожая его от тарантаса: Борноволоков шел несколько впереди, а Термосесов, на вершок отставая[1*], держался у его плеча.

III

Откровенные и прямодушные приемы Термосёсова и все эти мягкие, ласкающие ноты, которые он умел находить в своем голосе для сообщения своих задушевных мыслей, представляли его человеком[2*], в котором в самом деле нет недостатка не только в чистосердечии, но даже и в довольно просторной болтливости.

[1*] Зачеркнуто: “свесив голову в знак внимания и в то же время как будто фамильярно”

[2*] Далее зачеркнуто: “...в самом деле простым, чистосердечным и болтливым, но непременно хорошим малым, товарищем и человеком, который во всяком случае под узаконенный образ жизни жить не пойдет. Вражда его к правительству казалась такою именно, какою он ее себе выставлял: т.е. тихою, без нетерпеливых порывов, но вражда рассчитанная и вечная. Это Данка читала на его лице, когда он на минуту останавливался говорить или шел, сопровождая своего судью,— вообще, когда лицо его не оживляла его беззаботная, болтливая улыбка. У него было два лица: одно серьезное, которое думало, и другое веселое, которое откровенничало и смеялось. Оба они были натуральны, оба естественны, что, однако, ничуть не мешало наблюдательному человеку видеть, что либо его серьезное лицо размышляет о том, что выболтало и рассказало в смехе его лицо болтливое; либо болтливое искренно осмеивает то, что отражает на себе его лицо серьезное. Это был Янус, которого разгадать не старогородской Данке”

Данка совсем не того ожидала от Термосёсова и была поражена им. Ей было и сладко и страшно слушать его неожиданные и совершенно новые для нее речи. Она не могла еще пока отдать себе отчета в том: лучше это того, что ею ожидалось, или хуже, но ей во всяком случае было приятно, что в том, что она слышала, было очень много чрезвычайно удобного и укладливого. Это ей нравилось. Она чувствовала в Термосёсове человека, с которым у нее есть нечто общее от природы; но его ум, его оригинальность, смелость и решительность ее решительно поразили.

— Вот что называется в самом деле быть умным! — рассуждала она, не сводя изумленного взгляда с двери, за которою скрылся Термосёсов.— У всех строгости, заказы: голодай, нищенствуй, работай, на гвоздях спи[69], а тут ничего: все позволяется, все можно, и человек никого не боится! "Пусть меня боятся",— говорит он! Какой человек!..

Это вливает в сердце Данки сладость доселе неведомого ей томления.— Этакому человеку можно дать над собой и власть и господство. Да, можно... можно!

Вся прыть, которою отличалась Данка перед своим отцом, мужем, Варнавкою и всем человеческим обществом, вдруг оставила ее после беседы с Термосёсовым[1*], и она почувствовала неодолимое влечение к рабству. Она, сама того не сознавая, хотела быть невольницей Термосёсова — его одалиской. Он ей удивительно понравился; она почувствовала к нему "влеченье, род недуга"[70], и забыла все прошлое. Да и стоит ли все это, мелкое, ничтожное, рутинное или недоумевающее прошлое какого-нибудь внимания, когда есть человек, который так все видит, как Термосёсов, человек, который именно *проникает* вглубь вещей, а не сочиняет и не фантазирует. О, он неимоверно нравится Данке. Она чувствует, что этот "он" есть тот *он*, которому она, как Пушкина Татьяна, могла б сказать:

Ты в сновиденьях мне являлся;
Незримый, мне ты был уж мил,
Твой чудный взор меня томил;
В душе твой голос раздавался![71]

Как ей досадно на себя, что он знает ее роман,— знает, что она когда-то избрала совершителем своей судьбы Бизюкина и с его содействием довела отца до признания необходимости для нее унизительного в глазах старика брака!

— Ну где же люди,— извиняет она себя.— Где люди в провинции! Я скажу ему это: я скажу: вы знаете моего мужа, но здесь приходится довольствоваться чем попало!.. Но стыдно, стыдно ужасно...

Данка ощутила все гибельные следствия сравнений, когда они проводятся между тем, что уже утратило всю прелесть новизны, и тем, что еще окружено всею заманчивостью новости.

— Он говорит, он мещанин. С какою гордостью говорит он это?.. И какой бы это был скандал: "Ушла за мещанина!" Не за учителя, а за мещанина?..— Просто, просто губернаторская дочь за простого мещанина! Мой старик лопнул бы и как старый горшок расселся б на части! Впрочем, нет; пусть бы он лучше не расседался на части,— обдумала она через минуту,— а пусть бы он оказал другую услугу. Что из того, что Термосёсов мещанин? Отец тогда имел губернаторскую власть в руках: его боялись... Мещанин завтра же может быть купцом... купец может быть го-

---

[1*] Далее зачеркнуто: "Она даже удивлялась, стоило ли все то, прежде ею виденное, того сопротивления, тех противоречий и той строптивости, которые она оказывала?"

ловой в губернском городе... голова может иметь влияние на общество... общественные деньги все у него[1*]... Отец сам был бы от нас в зависимости: "дайте денег", а Андрей не дает...

— Андрей! — прошептала она еще раз ненарочно оброненное ею имя Термосёсова, улыбнулась и, покраснев до ушей, взялася руками за свои пылающие щеки.

Она была очень недурна в эту минуту.

— Андрей! — прошептала она еще и еще.— Андрей!.. Ах, какой он мужчина!.. Какой он... весь прелестный! Какой он весь мужчина!.. Не селадон, как муж, не мямля, как Омнепотенский,— это мужчина... неуступчивый... Он ни в чем не уступит... нет. Это все ясно, ясно, прямо просто как ураган... идет... палит, сжигает...

Она на мгновенье закрыла веки и почувствовала, что по всему ее телу разливается доселе неведомый, крепящий холод; во рту у корня языка потерпло, уста похолодели, и все в мгновенье ока сменяется палящим зноем лихорадки: в ушах отдаются учащенные удары пульса и слышно, как на шее тяжело колышется сонная артерия.

Это симптомы состояния ненормального: это болезнь, которую врачи из немцев называют *Liebesfieber.* Несомненно, что болезнь эта имеет право быть признанною у всех народов и по-русски должна быть названа "любовною лихорадкой"

В Данке уже не было места ни пеням, ни сожалениям: она стояла смирная, робкая, прохладная и манящая, как пальма средь пустыни. Теперь в ней не было мечтательной Татьяны. Ее поза, глаза, отягченное страстью лицо и уста,— все шептало: "я должна, *я хочу быть любима!"*[2*]

Если же она не та библейская дочерь Шалима, что жалобно пела: "Я больна, я уязвлена страстью"[72], то она чертовка, которая дождалась своего черта, и ей нет исцеленья; ей надобен шабаш.

IV

Влюбленная Данка не скрывала от себя, что она без удержа любит Термосёсова и что он имеет над нею всякую власть. Теперь ей вступила в голову другая мысль: полюбит ли он ее? возьмет ли он ее страсть, как она принадлежит ему? А что до нее, до самой Данки, то она готова отдать за его любовь все, и свободу свою и все грядущее счастье, так же легкомысленно, как

[1*] Далее зачеркнуто "А досиди отец до этого времени, Термосёсова могли бы в мировые судьи выбрать, вместо того, что он теперь при каком-то михрютке Брызгалове!.. (отвергнутый позднее вариант фамилии Борноволокова — *О.М., Е.Ш.*) Не выбрали бы? Ну как же? А отчего же Брызгалова все выбрали? оттого, что боятся его брата. Да отец бы им такого "не выбрали" задал... Я с ним была бы и в Петербурге, где, может быть, есть люди еще его замечательней... да непременно есть!.. Я могла бы пользоваться моей свободой с еще более известным человеком! тогда как тут... в чем время мое прошло?.. Что даже... Омнепотенского я с собой сблизила! Данка в негодовании топнула и, укусив до крови губу, сказала:

— Но кто же? кто тут другой был? Тут век целый можно прожить верною женой! Но все-таки какая жалкая и грустная поспешность! Но это ничего!.."

[2*] Далее зачеркнуто: "глядя на нее, ей можно было, продолжая этот стих, сказать:

Что ты мчишься, удалая:
Иль твоя пришла пора[73].

Кто мог утверждать, что *гражданки нового века* не любят и даже любить не способны? Не верь, мой читатель! Нет; всякая женщина любит или когда-то любила, и пусть моя Данка будет тебе на сей раз за это порукой"

голодный Исав продал право своего старшинства за чечевичную похлебку Ревекки[74].

Данке уж милее не те редкостные качества термосёсовского ума, которыми он пленил ее вначале; ей даже не нужно, чтобы он был наверху той славы, которой достоин,— нет; пусть все так есть, как оно есть[1*],— она женщина, и ей дела нет до его положения. Она не рассуждает, а стремится к нему.

— А он? — Сердце уязвленной страстью Данки замирает при этом вопросе, и она стоит неподвижно на том самом месте, где *он* с нею стоял у окна, и чувствует, что она целовала бы землю, которую он попирал здесь своими ногами[2*]. Любовь как бы издевается над нею, заявляя свои каризные желанья. Любовь одновременно овладела и чувствами Данки и ее воображением. Ее томит любопытство: это опаснее страсти в крови.

— Как он интересен! Как у него все не так, как у всех? Все, что он делал,— он делал иначе, чем все,— все что он ни станет делать впредь,— все это опять должно быть совсем непохоже на то, как это сделают другие! Но... только где же он? Уже пора же ему умыться!.. Данка уже давно слышала, как из кабинета сквозь закрытую дверь слышалось то тихое утиное плесканье, то ярые взбрызги и горловые фиоритуры в роде бброрг-фрру-ха-а-фрычч. Данка догадывалась, что это сначала мылся судья, а потом Термосёсов. Но все это уже кончилось. Неужто он еще не наговорился с своим этим михрюткой-судьею. Неужто спит?.. Что мудреного: ведь он устал с дороги. Или он, может быть, читает? Что он читает? Он всех сам умнее... что ему читать? Как бы я, однако, желала теперь, чтобы мне было видно, что он делает? Мне все равно, что бы он ни делал: я хочу его видеть! Да, я хочу.

Данка порывисто шагнула с места и пошла с тем, чтобы подкрасться к двери, как вдруг в это время дверь отворилась и на пороге предстал мальчик

[1*] Далее зачеркнут фрагмент, который шел вразрез с более поздней концепцией образа героини: "пусть даже будет хуже того, пусть на нем будет хмурый кафтан... арестантская свитка... Даже еще лучше... О! еще лучше оковы и арестантская серая свитка: она распахнет эту свитку, кинется под полу на грудь ему, и не будет конца поцелуям!

Да будет осуждение и современников и позднего потомства над тем, кто станет порицать в Данке этот высокий порыв или произнесет суровое слово осуждения автору за описание этих чувств нашей героини. Намерения автора чисты: он хочет Данкой сказать скептическим умам, что у всякой мизерной души в жизни бывают относительно возвышающие ее над сухим эгоизмом мгновения, и тем, кто отвергает любовь, кто смеется над нею, и в самом деле лишен счастья встречать такие мгновенья в высокой, одухотворяющей любви, тех, наперекор их желаньям, приводит к этим мгновеньям та же любовь в грубейших ее проявленьях — проявлениях, единственно властных над грубой душою.

Да; Данка, достигавшая всеми силами воспитания в себе неподкопаемого эгоизма и чревопоклонничества, нынче любит, и любит до самоотвержения, до нелицемерной готовности идти за Термосёсова в темницу и на смерть. Она не задумалась бы над пожертвованием собою за Термосёсова ни одной минуты и исполнила бы это не с меньшим геройством, чем идеальная Алиция Паула Монти"[75].

[2*] Далее зачеркнуто:

«— Как он интересен! — Да, она сказала себе "как он интересен", хотя слово "интересен" и не пошло бы ей, если бы она его употребляла в том смысле, в каком его чаще всего употребляют некоторые женщины, говоря о мужчине. Она под словом *интересен* разумела нечто несколько иное: интересен значило для нее, что он ей *любопытен*.

Люди независимых взглядов на женщин и женские чувства и вообще полагают, что *интересен* даже и у всех женщин должно понимать не иначе, как *любопытен*. Мой друг и горестной моей писательской судьбы товарищ неизменный Всеволод Крестовский, с которым мы с терпением, достойным лучшего употребления, несем неустающие удары бичующих нас семи забвенных в утрий день фельетонистов, даже утверждает эту мысль с несокрушимою положительностью[76]; но я не вдамся об этом ни с кем ни в какие споры и говорю только одно, что Данка, мечтая о Термосёсове, в этой фазе своих мечтаний мечтала именно о том: "как он мне любопытен",— хотя говорила иное,— хотя говорила себе: — Как он интересен!»

Ермошка с тазом, срезь полным с краями мыльной водою. Через голову Ермошки в глубине комнаты видна была маленькая фигурка Берноволокова, который стоял к Данке задом и смотрел в окно. Посреди комнаты прямо перед дверью красовался мясистый торс Термосёсова. Судья и его письмоводитель оба были дезабилье. Борноволоков был в панталонах и белой как кипень голландской рубашке, по которой через плечи лежали крест-накрест две алые ленты шелковых подтяжек, его маленькая, шиловатая, белокурая головка была приглажена, и он еще тщательнее натирал ее металлическою щеткою. Термосесов же стоял весь выпуклый, представляясь и всею своею физиономиею и всею фигурою. Он был тоже в одних панталонах, но без помочей и в пропыленной рубашке довольно грубого холста. Ворот его рубахи был расстегнут и широко завернут.

В эту прореху видна была мягкая мясистая грудь Термосёсова, заросшая густыми и длинными черными волосами. Далеко, за локоть засученные рукава открывали такие же мясистые и обросшие волосами руки.

На этих руках Термосёсов держал длинное русское полотенце с вышитыми на концах красными петухами и крепко тер и трепал в нем свои взъерошенные мокрые волосы.

По энергичности, с которою Термосёсов производил эту операцию, Данка без ошибки отгадала, что те веселые, могучие и искренние брррыпфрру-хааа-фрыч, которые минуту тому назад неслись из комнаты сквозь затворенные двери, пускал непременно Термосёсов, а не Борноволоков. Это же подтверждала и масса брызг, окружавших Термосёсова, и оставшаяся у его ног деревянная табуретка. Ясно было, что громко брызгал — это Термосёсов, а судья — тот, что прежде свиристел и плескался. Это действительно так и было; первым умывался Борноволоков, а Термосёсов в это время стоял против него рядом с Ермошкой и держал Борноволокову полотенце; а потом мылся сам Термосёсов: вот почему при открытии двери Борноволоков и представился Данке уже полуодетым и опрятным, а Термосёсов полуобнаженным diable m'emporte[1*].

Почти точно таким же, каким Данка усмотрела Термосёсова издали, она его вскоре увидала вблизи себя.

Андрей Иванович орлиным оком своим сразу окинул и Данку, опять стоявшую на том самом месте, на котором он ее оставил, и мальчика Ермошку, который, вынося таз, плескал из него через края мыльною водою.

— Ишь, какой дрянище! ишь! ишь! — восклицал он за всяким всплеском и вдруг высунулся в зал, схватил Ермошку за ухо и проговорил: не плещи, нигилист, не плещи! не плещи,— и непосредственно за этим тотчас же занялся тщательным обтиранием локтя, а Данке сказал:

— Преразбалованный у вас этот мальчишка! Вы его совершенно напрасно этаким аркадским принцем во фрак-то одели. Не стоит он этой сбруи! Видите: идет и плещет!

С этим Термосёсов юркнул назад в комнату и через мгновение появился в том же коричневом пальто, в котором взошел с приезда. Теперь на нем не было только ремня, а сак его был на него накинут просто наопашь.

Выступив в зал, Термосёсов запер за собою вплотную дверь в кабинет, где оставался судья, и, постояв минуту над Ермошкой, который вытирал тряпкою пол, дождался, пока он это окончил, и потом, завернув его к двери в переднюю, крикнул:

— Пошел, и не вертись, пока тебя не позовут,— а сам улыбнулся до ушей и тихим шагом пошел на Бизюкину.

[1*] дьявол меня задери (*франц.*)

Данка чувствовала, что с каждым шагом приближающегося к ней Термосёсова покидают ее последние силы. Она не знала, что он скажет, что сделает, вообще с чего начнет и на чем станет? — И, наконец, на чем может остановиться *он*, этот *он*, который от первой минуты своего появления до этого решительного заключения на замок судьи, ни на минуту не перестает изумлять ее? — Ему ни на чем, кажется, нельзя остановиться!

— Я одна,— быстро соображала Бизюкина...— Я одна с ним... Кругом ни души!.. Ермошку он выгнал, судью он запер. Ах, что-то? ах, что-то теперь станет он делать? Это, впрочем, самое интересное.

По Данке пробежал последний трепетный ток: Термосёсов был возле нее и, улыбаясь, протягивал к ней свою обнаженную до локтя руку.

— Это самое интересное,— впоследни мелькнуло в голове Данки, почувствовавшей себя безвластной рабыней той всевластной силы, которая теперь в лице Термосёсова коснулась ее плоти и отозвалась в мозге ее костей.

V

Данка стояла как цветок полевой, как лилия долин: раздавят ли ее тяжелой стопою, пройдут ли, взгляда не кинув ей, мимо, или упьются ее прелестью и благоуханием.

Но пройти мимо ее было невозможно, и Термосёсов прямо подошел к ней, сел возле нее, взял ее за руку и, перекладывая эту ручку из одной своей руки в другую, пристально и неотразимо всматривался в сияющие глаза Данки.

Разговора между ними никакого не было. Термосёсов знал, что это очень неудобно для Данки, и нарочно не произносил ни одного слова. Он только наэлектризовывал ее, сминая в своих руках ее руку и глядя в ее коричневые глазки. Так прошло три или четыре очень тяжелые и сладкие, но утомительные для Данки минуты.

Термосёсов наконец назвал ее по имени.

— Послушайте, Бизюкина! — сказал он несколько охрипшим голосом и остановился.

Ему показалось, что его голос звучит как-то подозрительно и что в комнате как будто кто-то ходит.

— Вы, маточка,— продолжал Термосёсов, озираясь и выправляя голос,— вы, однако, как мальчишку-то вашего избаловали: я ему говорю "поросенок ты", потому что он Афанасью Федосеичу все рукава облил, а он отвечает: "моя мать-с не свинья" Ах ты... сам ты свинья!.. Это ведь, конечно, вы виноваты? Да? — в вас ложные мысли бродят, эмансипируете?.. сознайтесь? — да? — Да?

Термосёсов удостоверился слухом и зрением, что в ближайших комнатах кроме его с Данкою нет никого и вдруг совершенно иным голосом и самою мягкою интонациею произнес:

— Так как же,— *да*, что ли?

Это было сказано так, что не было никакого сомнения, что этот столь непосредственно предложенный вопрос не имеет ничего общего с предшествовавшим разговором о мальчишке, а имеет значение совершенно иное. У Данки похолонуло в сердце.

Термосёсов увидел, что его поняли, и, понизив наполовину голос, еще настоятельнее спросил: *да* или нет? *Да* или нет,— отвечайте в одно слово.

Бизюкина промолчала.

— Да? — с легким оттенком нетерпения переспросил кумир.

Места долгому раздумью не было.

Данка вздрогнула, как газель, вскинула на Термосёсова свои коричневые глаза и уронила шепотом: *да!*

— Прелестно,— воскликнул Термосёсов.— Прелестно, душата моя, прелестно! Я от тебя иного ответа и не ожидал. Давай же сюда руци! Давай обе рученьки свои мне. Вот так! Молодчина!

И он взял и крепко сжал в обеих своих руках руки Данки и, тряхнув головою, впился в нее смущающим пристальным взглядом.

Взгляд этот так проницал и смущал Данку, что она, не совладев с собою, пригнула подбородок к груди и опустила глаза на пол.

Вышла долгая пауза, которую Термосёсов не обличал ни малейшего намерения кончить, а между тем положение Данки становилось несносней и несносней. Она решилась наконец заговорить сама.

— Не хотите ли вы чаю? — спросила она робким, смущенным голосом Термосёсова.

— Нет, душа,— отвечал развязно Термосёсов.— Я до чаю не охотник. Я голова не чайная, а я голова отчаянная.

— Так, может быть, закусить и вина? — предложила Данка гораздо смелее.

— Вина? — отвечал Термосёсов.— Вино не чай — вино веселит сердце человека[77], в вине, говорят, сокрыта правда, но не хочу я и вина.

— Боитесь обнаружить правду? — проговорила Данка, совсем осмеливаясь и пытаясь с улыбкой приподнять вверх свои опущенные взоры.

— Нет; я боюсь, но я не того боюсь: я люблю вино и пью его, но оно мне не по натуре: я не знаю в нем меры.

Данка смело приподняла вверх голову и, взглянув в лицо Термосёсову, с восторгом сказала:

— Боже, как вы в самом деле откровенны!

— Откровенен! Да что ж тебя это удивляет?

Данка промолчала.

— Удивляет? — переспросил, встряхнув руки ее в своих руках, Термосёсов.

— Конечно,— отвечала Данка, все более и более чувствующая, что с Термосёсовым жантильничать и миндальничать не приходится.

— Да чего же мне хитрить? что мне скрывать? Я сыт, одет, обут, здоров и всем доволен, а впредь уповаю на всевышнего создателя и глупоту непроходимую моих соотечественников,— чего же мне и с кем хитрить и кого бояться? Я всем доволен, никого не боюсь и потому и прям и откровенен.

— Я признаюсь вам...

— Признайся, признайся. Я все равно, что поп: мне во всем признавайся. Я все прощу: меня полюби, и грехи все простятся[78]!

— Нет, кроме шуток...

— Да и валяй, кроме всех шуток, признавайся!

— Я никогда не встречала такого человека, который...

— Который бы что?

— Который был бы так счастлив и доволен всем окружающим так, как вы.

— А недовольные, брат, теперь к черту, в помойную яму к Каткову, в его собрание редкостей. Недовольные в дыру, яму, а мы ропс-лопс-хлопс, и наверх, а там уж наше дело. А? что? Поняла? Ничего не поняла? Эх, вы! Потемнели вы тут совсем, хорошие книжки-то свои читая! Чем вы недовольны-то? чего вам недостает? чего мало? Нуте-ка, нуте: чем вы, милые дети, недовольны? Что десятка два-три[1*] красных петушков у вас взяли,— этим что

[1*] Зачеркнуто: "дураков либо мечтателей у вас взяли?"

ль[1*]? Эко горе какое! Народится их новых, не бойтесь. А вы не хнычьте по петухам... Пропали, ну и пропали, ну и нечего с тем делать; а вы дух времени разумейте: *наша взяла*! Мы господа положенья.

— Нигде я этого не вижу,— сказала, осматриваясь, Данка.

— Да где же тебе это хочется видеть?

— Да нигде, и ни в чем я не вижу этого.

— Да негде тебе этого и видеть в этой мурье.

— Ну... я читаю, однако,— не без чувства задетого самолюбия ответила Данка.

— Чит-т-аешь! — протянул Термосёсов.— Да; ну... читай, если есть охота читать. Но и там ты всё то же увидишь и в литературе, если захочешь вникать. Некрасов, уж какой хныкало был,— а хныкает он нынче? — Нет; он нынче не хныкает. Нечего хныкать,— надоели эти хныкалы.

— Да, но есть люди, которые в опасном положении.

— Что за такие *опасные положения*? Кто вам наговорил про весь этот вздор? Ох уж эти мне литературщики, литературщики! Вздор это все: нет теперь никакого опасного положения для умных людей, потому что умный человек прежде всего должен служить, должен быть во власти. Если кому нравится враждовать с начальством,— это не наш. Пусть патриоты становятся в опасные положения. Ну и отлично! и скатертью им дорога. Это их и дело. Недовольны? — пусть заявляют, чем недовольны: мы им дорогу-то сыщем. Эх вы, слепыши, слепыши! Нынче, дружок, все это иначе. Постные рожи не нравятся, и прочь постную рожу и прочь вериги страданья: Питер любит тех, которые им довольны. Мы много довольны вашей милостью, господин Piter! Ха-ха-ха! Ах ты опять литература, литература! Не проспать вины своей этим нашим ярым писателям. Насеяли, черти, семян: теперь что шаг, то заблуждение. Отлучай от этих опасных положений, от этих якшательств с поляками... Просто мусору наволокли, расчищая tabula rasa[2*][79]! Поляки! Немцев ругали, а с поляками амуры!.. Что такое поляки? — славянский хлам, революционеры, которые целый век в собственной крови и сами купаются, и нас купают... Эко, какой умный народ нашли! Идите по его стопам: веревок на петли для вас на Руси на всех хватит, да и Сибирь просторна. А немцы, которых вы с простоты-то своей ругаете... Они недаром нам учителями нарицаются. Не только нам у них надо учиться, а иные уж и поляки-то ваши хваленые по их следам пошли. Не надо этих ссор с начальством по старой польской системе. Немцы не ссорятся с властями и всего зато и достигают, и молодчины! Мы вот всего каких-нибудь два-три года от "Что делать?"-то на настоящее дело оглянулись, да по-немецки за ум взялись, а и у нас уже везде есть свои люди, и теперь тронь нас,— мы сами в рыло дадим, а не хныкать станем. Что тебе лучше нравится-то: самому развернуться да хорошенько благоприятеля съездить или визжать, что "я, мол, в опасном положении"?

— Разумеется,— проговорила неотчетливо Данка.

— То-то и есть, что *разумеется,* но и то надо знать, как дать. И в рыло съезжать надо не по-польски с гаку, с храпом, да с свистом, а по-немецки,— "на законном основании". Поняла?

— Поняла,— отвечала Данка.

— Поняла! Ничего ты не поняла.

— Нет, поняла.

— Ну так чем же вы недовольны, чего вы Лазаря-то поете, если ты это поняла?

[1*] Далее зачеркнуто: "Эка штука! Да черт с ними теперь, теперь мы выросли: нас учить нечего: мы сами дошли и догадались, что делать. Действуй на той почве, чтобы власть иметь, а нечего за всякий вздор ерепениться. Наша взяла; наша. Ура! ори: ура!"

[2*] Чистая доска (*лат.*).

Данка промолчала.

— Смейтесь, играйте, ликуйте, раститеся, плодитеся и множитеся; населяйте землю и обладайте ею[80]: сие есть на вас мое термосёсовское благословение! Ты мне нравишься: ты бойкий бабенец, бойкий, все поймешь, и я хочу, чтобы ты все понимала... Э! да тебе и недалеко доходить: ты сама монархистка! — заключил он с улыбкой, рассматривая у себя перед самым лицом ее руки.

— Я не монархистка! — торопливо воскликнула, испугавшись, Данка.

— Да; не отпирайся. По ком ты этот траур носишь: по японскому Микадо или по Максимилиану мексиканскому[81].

— Я? Траур? Какой траур ношу я?

— А вот этот,— отвечал Термосёсов, указывая на черные полосы за ее ногтями[1*].

Данка вспыхнула до ушей и готова была расплакаться. У нее всегда были безукоризненно чистые ногти, а она нарочно приложила, чтоб заслужить похвалу, а между тем это стыд и больше ничего как стыд.

— Да я вовсе и не монархистка! — кое-как проговорила Данка, не зная, что она говорит, и стараясь вырвать у Термосёсова свои руки.

— Врешь! Вот тебе, не знаю. Бог знает чем готов отвечать, что врешь,— отвечал Термосёсов.

— Почему вы так думаете? — продолжала, высвобождая руки, Данка.

— Почему думаю? Да потому думаю, что вижу, что ты умная женщина. Кто же ты такая? Республиканка, стало быть? Перестань, брат! — Какая такая республика возможна в России? Народ вместо "республика"-то прочитает ненароком "*режь публику*", да нас же с тобой и поприкончит. Это тоже старо... рутина, да и ни на что это и не нужно. Нам все равно, что фригийский колпак, что Мономахова шапка[82],— абы мы были целы. Поняла?

— Да.

— Что же ты поняла?

Данка затруднялась и, подумав, ответила:

— Я одного только не понимаю.

— Чего?.. Чего не понимаешь — говори прямо: *не понимаю.*

— Я не понимаю... когда вы говорите *мы*, от лица какой же вы партии говорите?

— От какой партии? — В России нет партий, а есть умные люди и есть глупые люди: я от умных людей говорю.

— Но этак нет ничего целого... Этак и скликнуться нельзя.

— Скликнуться? Ну, брат, это старо,— мы и сами ноне на перекличку своих не сзываем, а чувствуем своих, *чувствуем.* У нас есть такие, которым с нами на перекличку ходить и нельзя: мы их и не требуем и без пароля их знаем. Что их беспокоить: они и так свое дело делают. Всякие, брат, у нас нынче есть, всякие, и слесаря, и цензора, и шильники, и мыльники и те, что в Бога не веруют, и те, которые в него веруют, и народники и аристократы: свой своему отовсюду весть подает.

Эх, ты, Дана, Дана: заплесневела ты здесь с книжками, но стану я тебя

[1*] Первоначально за этой сценой шел следующий монолог Термосёсова: "это в монархических чувствах похвально, но скверно: женщина руки должна мыть. Нас за это тысячи раз осмеивали благонамеренные, и поделом: нас за это и сверху не любили, и опрятность необходима в общежитии, и особенно такой красивой штучке, как вы. Вы можете очень и очень понадобиться для дела, а траур-то этот не всякому по духу. Мне он, пожалуй, ничего, потому что я ко всему привык, но и мне тоже не нравится, а другому и нос заворотит,— а нам всякие люди нужны. Что? поняли теперь? Поняли, где жизнь, где призвание человека, который не останавливается перед рутиной, который знает, что делать?"

учить, из тебя не женщина, а чёрт выйдет! Ничего что ты говоришь, что ты республиканка: осторожность — это хорошо. В ваших медвежьих углах ведь и взаправду не знать, как и рекомендовать себя; но послушай меня: брось это все республиканство! Хочешь, я тебе всей царской фамилии фотографические карточки подарю?

— Да у меня есть,— отвечала Данка.

— А! Вот видишь, *есть*. А где же они у тебя? Спрятаны?

— Спрятаны.

— Небось нарочно... петербургских гостей ждала и спрятала? — запытал он, улыбаясь и слегка привлекая ее к себе.

Данка была изобличена не в бровь, а в глаз и снова спламенела до ушей, но солгала и сказала, что карточки царской фамилии у нее всегда лежали запертые в комоде.

— Глупо это,— отвечал Термосесов.— В рамках они у тебя?

— Да, в рамках.

— Повесь. Давай молоток.— Есть молоток: давай я их все тебе сейчас развешу.

— Гвоздей нет.

— Ну пошли своего нигилиста: пусть купит гвоздей.

— Да, может быть, они и есть, впрочем,— отвечала Данка, наверное знавшая, что у нее гвозди есть, и в то же время смекавшая, как бы ей высвободить хоть на минуту свои руки из рук Термосёсова и, пользуясь случаем, вымыть в спальне замеченный Термосёсовым под ее ногтями траур по японскому Микадо.

Хитрость ее удалась: она выскользнула вон из залы, пробежала гостиную и скрылась в спальне.

Термосёсов вслед за Данкою перешел в гостиную, оглянул быстрым, но внимательным взглядом всю стоящую здесь мебель и, надув губу, сел неподвижно в мягкое кресло.

В спальне хозяйки слышался тихий заикающийся скрип педали металлического умывальника и тихие плески воды. Это продолжалось довольно долго.

VI

Термосёсов по-прежнему неподвижно сидел в кресле, далеко оттопырив свою верхнюю губу, и над ним воочию совершались самые быстрые и самые странные калиостровские превращения. Термосёсов, как только он опустился в кресло, тотчас же сделался как будто каким-то игралищем природы, каким-то калейдоскопом, который она встряхнула для забавы. Термосёсов казался совершенно равнодушным к тому, что он начал, что ему предстоит произвесть и чем он думает все это закончить. В нем вдруг исчез всякий след энергии, и видны были лень, усталость и тягота. Он чем больше сидел, тем более старел, старел видимо, старел на целые года в одну минуту, как Калиостро. О да! Это был или сам Калиостро, или это был крепко и крепко поживший человек, у которого уже сохнет <?> мозг в костях. Глядя на Термосёсова, вы теперь видели, что его (если заглянуть в его сокровенную глубь) не интересует ничто; что он ни во что не верит и чувствует, что он тлен, ложь, что он даже, пожалуй, ненавидит даже плоть свою, но питает и греет ее, потому что нельзя ее не греть и не питать.

Когда судья с Термосёсовым только что вошли, каждому из них на вид можно было дать не более как лет по тридцати пяти. Судье даже можно было определить несколько менее, потому что он на правах маленькой собачки до века будет выглядеть щенком; но кентавровидному Термосёсову никак нельзя было дать более тридцати пяти. Это был мужчина во всем

соку, во всей силе, а теперь ему казалось по крайней мере более лет на десять: он правда еще все-таки оставался кентавром, но это был не кентавр, еще не знающий устали и прядающий в лансадах[1*] под властию вечно клокочущей страсти, а это был кентавр, которого уже потянуло под гору. Спросить его самого, он, как все приближающиеся к старости люди, конечно, не сознался бы, что его потягивает с нагорья, что ему начинает подызменять его много подержанная физика (да в наш век, болезненный и хилый[83], физика его еще далеко не вздор и в нынешнем ее состоянии). Термосёсов, пожалуй, не скрывает от себя, да и не скрыл бы, может быть, в другую подобную минуту от других, что ему все надоело и надоело не по-онегински, не по-печорински, а надоело искренно и притом самым непосредственным образом: по-своему, по-термосёсовски.

Проявляющееся наружу состояние духа Термосёсова уподобляло внутренний мир этого человека туманному облаку, остающемуся в просвете рамы, в которой показывали разные туманные картины. Это тусклый, бледно-серый утомляющий квадрат никуда более негодного света, который безучастно пропустил мимо себя самые разнообразные явления и ныне ждет, чтоб самого его скорее скрыли под завесу и подняли колпаки ламп освещавших залу до начала представления.

В Термосёсове нет ни злобного недовольства своим прошлым, ни негодования на него, ни искреннего осуждения этому прошлому, ни благотворного самоосуждения самому себе: нет! В нем во всем всеполное, всеискреннейшее и всецелое презрение ко всему: к людям, к деяниям их, к их высоким и низким идеям,— презрение беззлобное, безгневное, равное тупому равнодушию, равное тому, как бы для него весь мир был ни более ни менее, как ноль, возвышенный в квадрат.

Ему были совершенно равны все эти люди, которых он вспоминал в своем сегодняшнем поучительном слове, и все порядки, которые он критиковал и которых касался. Ему все на свете все равно.

У Термосёсова нет ни симпатий, ни антипатий, ни заветных идей, ни антитез для них. Сидя в своем уединении, он как бы нарочно, чтобы дорисовать нам свое душевное состояние, бросил равнодушный и бесстрастный взгляд на снятую со стены бизюкинской гостиной дорогую гравюру с картины Штейбена[84] и тотчас же перевел его на валявшуюся под креслом книжку Ермошки с лубочным изображением Картуша[85]: ни Христос, ни Логгин Сотник[86], ни Картуш,— никто ничего не будит в душе его. И между тем это не надменность. Нет; он совершенен без надменности, без кичения своим совершенством,— он никого не осуждает, ни от кого не ждет похвал и не потребует себе уподобленья. Он крайнее и конечное развитие мыслителя столь совершенного вида, что его идеи соприкасаются со всем, не боясь царящей в мире скверны: его положения притекают в чуждые моря и приемлют в себя в своем течении чужие потоки, и все это нимало не вредит ему. Он не желает ничем форсировать и подталкивать что-нибудь. Он знает всесовершенную законность своего развития и знает, что по неизменным законам для его вида, как для всего, получившего конечное развитие, должна наступить реакция[2*]. Термосёсову не только не нужны последователи: они даже

[1*] Лансады (от франц. lancer) — бросать, кидать.

[2*] Далее зачеркнуто: "Ясно и живо сознавая необходимость ее, он даже чувствует ее приближение, прежде чем есть для того какие-нибудь знамения. Он чувствует эту реакцию, как [чуткий и трусливый] подагрик, прежде чем начинает сереть ночное небо, чувствует приближенье предрассветной зари. На снедаемое болезненною чувствительностью тело его нестерпимо пашет [приятная и] отрадная для всех здоровых свежесть утра, и он чувствует ее в то время, когда ее еще никто не заслышал"

противны ему, потому что, чем больше их, тем скорее раздерут они между собою ризы распинаемого ими[1*] и метнут жребий о его хитоне[2*][87], а это будет днем торжества и днем гибели, ибо в день тот потрясется земля, дадут трещины скалы, и открытые гробы[3*] устами восставших жильцов своих прогремят легковерному русскому миру нестерпимые укоризны[4*], и тех укоризн не стерпит "живый"[88].

И тогда исполняются пророки и совершается закон, и мерзость запустения станет на месте храма, в котором торговала истиной фарисейская хитрость[5*][89].

Совершаются уже последние знамения века: многоречивые оракулы безмолвствуют и на назойливейшее пытанье, как оракул Дельфийского храма в день рожденья Христа, помавая главами, вещают тяжелое: "Рождается тот, кто нас больше"[6*].

Пускай еще по дерзостной привычке старой нахально машет черным знаменем своим над Русью Черномор, пускай и ступою гремит и помелом свой след Яга ехидно заметает, но в роковой тиши сбирается и крепнет русский дух. Мы слышим звон и шелест под[7*] землею: то Минин Сухорук проснулся и встает в своей могиле, то звон меча, который вновь берет, и им препоясуется Пожарский[8*]. Вставай, наш русский князь, и рассеки мечом на разуменьи нашем стянутый чужих хитросплетений узел! восстань, нижегородец Минин, и научи твоих внучат вменить себя в ничто перед величьем Руси! Светильники земли родной! восстаньте[9*] вы от Запада и Севера и моря, из стран цветущей Гурии, из киевских пещер и соловецких льдов, и осветите путь встающей духом Руси[90]! Оковы рабства пали[10*], вослед за ними пасть должно и наше рабство духа, и скоро Русь не станет больше тешить гордый Запад убожеством своих сынов. Победный день недалеко. С очарователей совлечены их чародейские покровы. Яга и Черномор уже смятенно мечутся[11*]. Их собственная сила их гнетет; нежданное, неведанное чудо их смущает. Дыханьем днешних бурь вздымает спавший русский дух, а встречь ему во всеоружьи правды идет старинной сказкою предсказанный царевич русский[12*].

Вся действующая ложь земли предчувствует это и[13*] сугубо волнуется и

[1*] Зачеркнуто: "владыки духа"

[2*] Зачеркнуто: "Он не хочет делить этих риз [ни с кем, метать жребья], и [отодвигать] день торжества был отодвинут за день совершения злобы его, ибо торжество его страшно"

[3*] Зачеркнуто: "чтобы устами восставших могильных жильцов вещать миру славу и честь со беззаконными вмененного царя"

[4*] Далее зачеркнуто: «которых живому сердцу не снесть без печали, не стерпит "живый" и воззовет к владыке духа: "попали беззакония моя и духом владычным утверди мя да положу душу мою за люди"».

[5*] Далее зачеркнут абзац, работу над которым Лесков не довел до конца: "[Предвидеть это нестерпимо и страшно]. Не предвидеть и не предчувствовать этого невозможно. Проницающий грядущее разум [ум против воли и желания прорицает] твердит неотразимые прорицания, и неуяснимая [чуткость веет нестерпимыми предчувствиями] тайна предчувствий, как безумная Кассандра, мучит [стонет и плачет и <1 *нрзб.*> докучает] своими [нестерпимыми предсказаниями] речами".

[6*] Далее зачеркнуто: "Возрождается и нисходит действовать в мире земном *дух Руси*,— в нем же мощь силы русской и свет русского разумения"

[7*] Зачеркнуто: "под всею русскою землею"

[8*] Зачеркнуто: "Над русскою землей все ярче и смелей во весь восток встает рассветная заря".

[9*] Далее зачеркнуто: "и светите, ей свет родной теперь потребен".

[10*] Далее зачеркнуто: "одним манием царя".

[11*] Далее зачеркнуто: "в своем полете над смущаемой Россией".

[12*] Первоначально: "царевич с русскою душою".

[13*] Зачеркнуто: "сознавая, что народился болий ея [и мечется, и рвет], волнуется и мечет в слуг верных".

мятется. Она чувствует, что народился тот, который "болий ея" и[1*] будет господином дому. Подобны лукавым рабам, ожидающим близкое возвращение домовладыки, люди лжи, помня все злобы свои, не ждут себе пощады. Но помысел о покаянии им чужд, и вот они, таясь друг от друга, преуспевают лишь в хищении и[2*] более не верят ни во что. Они уж видят день своей погибели[91]. Дух Руси скоро свершит завет свой: скоро правда жизни[3*] воссияет и враги ее расточатся.

Но если все это предвидит и предчувствует Термосёсов,— зачем он не повернет назад и не держит опако[4*]? При его практичности разве у него не стало бы разумения, как совершить эту диверсию.

Да; но душа его, как заглушенная волчцом лядина[92], не в силах произрасти ни одного стебля от доброго семени.

Но зачем же он говорит, зачем проповедует и поучает тайнам, которые ему удобнее сохранить тайнами, чтобы не призывать новых участников к разделу последней добычи?

В этих его действиях нет истины, как нет истины в нем самом, но, сея семена лукавства, он творит похоть своего злочинения[5*]. Чего нельзя взять и унесть, то он сокрушает и портит. Он дорасхищает добро домовладыки, и в том его истина, в том его солидарность со всеми, их же число легион, а имя их *тати.*

Но вот он снова у дела: колыхнулась дверь из спальни, где умывалась Бизюкина; на пороге показалась полоса юбки ее яркоцветного платья, и Термосесов быстро поднял с пола свой потупленный взор, встрепенулся и опять смотрит козырем.

Он как старая, некогда парадная кляча, заслышав трубу, не может пастись на пажити, его тянет парадировать в обычных маршах и атаках[6*].

VII

При входе Бизюкиной в гостиную Термосёсов приветливо улыбнулся ей и проговорил:

— Ну что?

— Ничего,— отвечала слегка сконфуженная Данка.

— Ну, цып-цып сюда! — поманил ее, протягивая встречу ей свои руки, Термосёсов.

Бизюкина еще более смутилась, но одолела себя и сделала шаг в сторону Термосёсова.

— Ну, теперь ручeньку дай,— попросил Термосёсов.

Данка, не глядя на него, протянула ему свою руку.

Термосёсов взял эту руку и, пощекотав ее снизу в ладонь указательным пальцем, сказал:

[1*] Далее зачеркнуто: "уже не созидает планов и не завещает заветов. Ей все прошедшее постыло, ей и грядущего не жаль"

[2*] Зачеркнуто: "обрывают все, что чья рука еще способна оборвать, чтобы успеть в минуту бегства и оставить дом в виде наибольшего безобразия и скверны. Каждый молодец на свой образец исполняет эту программу, и треск от работы грабящих рук смущает издали слух входящего в дом свой владыку, но наглая дерзость лукавых рабов равна краткости времени, остающегося им на хищения".

[3*] Зачеркнуто: "осияет с Востока Европу".

[4*] Слово написано нечетко, восстановлено предположительно. Опако (*древнерус.*) — назад, наоборот, напротив.

[5*] Далее зачеркнуто: "он сеет ложь и лукавство, и в том его истина".

[6*] Далее зачеркнут абзац: "Лжеученье есть его потребность, и у этой потребности есть еще свои последние цели".

— Мылася еси, убелилася еси, очистилась еси... и вот теперь и славная барынька стала!

И он еще раз посильней поиграл пальцем под данкиной ладонью и потом выпустил ее и сказал: ну, где же твои портреты?

Данка, которую не оставляло смущение, во все это время рассматривала давно ей знакомые вещи на ее письменном столике и при последнем вопросе Термосёсова быстро подняла голову и подала в свободной руке несколько фотографических карточек, вставленных в одинаковые бронзовые рамки.

— Вот они,— сказала она, подавая эти рамки Термосёсову.

— Прекрасно.— Теперь молоток и гвозди?

Данка сходила в свою спальню и принесла маленький стальной молоток и бумажку с гвоздями.

— Прекрасно! — сказал, поднимаясь, Термосёсов.— Давай же работать. Я думаю: здесь их, над этой стеной приколотить?

— Как вы хотите,— отвечала Данка.

— Да чего ты это все это время говоришь мне *вы*, когда я тебе говорю *ты*? Ведь это только горничные, находясь в связи с барчуками, так разговаривают.

Данке это показалось так нестерпимо обидно, что она готова была заплакать.

— Говори мне *ты*,— сказал Термосёсов.— Ладно?

— Мне все равно,— прошептала она чуть слышно.

— Все все равно ей! Все равно ей, что где повесить, что как говорить! Ах ты смешная,— воскликнул он.— Все все равно не может быть.— Я вот здесь повешу твои портретики! — указал он на место над диваном.

— Хорошо,— отвечала хозяйка.

Термосёсов взлез на диван, вбил в стену гвоздик и повесил на него одну рамочку.— Вот это тут будет! здесь середина, здесь и место государевой[1*] карточке.— Он посередине, а семейство вокруг,— хорошо?

— Да,— уронила Данка.

— Вот видишь! — продолжал он, развешивая картинки.— А тут государыня... А тут наследник... А здесь князья... Вот, вот так, вот так крестом... А это что такое? Да у тебя тут и министры?

— Да; тут, кажется, некоторые.

— Ну и их рядом под низок: Валуев первый[93]. Так давай его первым и повесим. А это кто такой? Какой-то генерал!

— Зеленый, кажется[94]...

— Зеленый? Ну давай Зеленого: я и не знаю такого. А это кто в очках? Должно быть, Горчаков, смекаю?

— Да.

— Россию отстоял... ну молодец, что отстоял,— давай его сюда повесим[95]. А это кто?

— Подписано должно быть сзади.

— “Милютин”,— прочитал на обороте Термосёсов и добавил от себя: — Не знаю[96].

— А это? — взял он вновь и прочитал: какой-то “Мельников”[97],— не знаю тоже. А это... ба-ба-ба и Муравьев!..[98]

Термосёсов поднял вровень с своим лицом карточку покойного Муравьева и пропел: Михайло Николаич, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!

— Вы знакомы были с ним? — спросила Бизюкина.

[1*] Написание слов “государь” и “царь” у Лескова последовательно не выдержано (то с прописной, то со строчной буквы). Здесь и далее сохраняем орфографию автографа.



ЛЕСКОВ
Фотография с портрета работы А.З.Ледакова
1871 г. Масло
Работа выставлялась в Академии художеств в 1871 г.
Государственный литературный музей, Москва

— Я?.. с ним? То есть лично, ты спрашиваешь, знаком ли? Нет; меня Бог миловал,— я не знаком; а наши кое-кто наслаждались его беседой[99].

— Ну и что же? — любопытствовала стоящая у дивана Данка.

— Хвалят, брат, и превозносят,— отвечал, вздохнув, Термосёсов.— Это второй Петр Пустынник,— он даже в христианство обращал[100].

— Скажите!

— Да... У нас одна была... так, девушка... Огонь была... чудесная женщина... Взяли ее вскоре после родов... она с дядей своим была в то время в браке, и дитя некрещеное держали, а он как с ней пошел беседовать. "Говорите,— говорит,— мне, родная, всё как попу на духу! Что хитрить! Будемте честными людьми: в Бога не верите, Государя не любите, Россией пренебрегаете?" — Та, брат, ему, как водилось тогда, честно на все это и ответила: не верю, говорит, в Бога, ну и про Царя тоже и про Россию. А он точно игумен скорбящий: "Ну а чем же, говорит, еще грешны?" Да все, матка, таким тоном и распытал и объявляет: "Вижу говорит, я, что вы, однако, ни в чем

сознательно не грешны. Поживите-ка, говорит, здесь немножечко; поживите! Вас там осилили, а здесь вы вздохните да пообдумайтесь: мы говорить с вами будем, авось вы и в Бога уверуете, и Государя возлюбите, и Россию чтить станете; а тогда и сынка окрестим" Так, брат, все и сделал, так женщину и отбил.

— Сослали ее?

— Кой черт сослали! "Иди,— сказал ей после,— иди, дитя, и к сему не согрешай",— и отпустил. Замужем она теперь в Петербурге и панихиды по Муравьеве служит. Совсем отбил. Полагали на нее надежды, а она вышла дрянь.

— Да вы же говорите, что все это можно?

— Можно? Я и сейчас скажу, что можно, но надо же это не так, не взаправду... Э! да тебе еще не пришел час это понимать! Возьми-ко его прочь от меня! — заключил он, спускаясь с дивана и подавая Данке портретик Муравьева.

— Не надо его?

Термосёсов сошел, взял Данку обеими ладонями за бока и, посмотрев ей в лицо, сказал:

— Да, не надо!

— Я не понимаю...— сказала Данка и замолчала.

— Чего?

— Да вот... Если все это... надо отыгрывать, как вы говорите... зачем же тогда Муравьева здесь не повесить?

— Зачем?.. А затем, что впечатление очень неприятное.

— Чем?

— Да видишь... бяка-бабака-козел-бу!..— проговорил он Данке, как пугают детей, и добавил:

— Спрячь его лучше подальше; а то...

И Термосёсов сделал гримаску, подобную той, какую сделал Мефистофель, когда ему предлагали укрыться в часовне.

Бизюкина поняла это и отнесла назад карточку Муравьева в свою спальню.

— Ну, а теперь бу́зи! — сказал, встречая ее, когда она возвратилась, Термосёсов.

Данка не совсем поняла значение сказанного, но по предчувствию смутилась и прошептала:

— Что?

— Бузи, бузи? — внятнее повторил ей Термосёсов, придерживая ее ладонями за бока и вытягивая к ней хоботком свои губы.

Данка сконфузилась, отодвинула его руки и сказала:

— Что вы это такое!

— А как же? — спросил Термосёсов.— Какое же мне будет поощрение?

Бизюкиной это показалось так смешно, что она тихонько рассмеялась и спросила:

— За что поощрение?

— А за все: за труды, за заботы, за расположение. Ты, верно, неблагодарная? "О женщины, женщины",— сказал Шекспир,— шутя воскликнул Термосёсов и, крепко взяв своей рукою правую руку Данки, расправил ее кисть и смело провел за открытый ворот своей рубашки и положил на нагое тело.

— Правда, горячее сердце у меня? — спросил он.

Данка была совсем обижена и рванула руку, но рука ее была крепко притиснута рукою Термосёсова к его теплому боку.

— Те-те-те-те! Лжешь — не уйдешь! — шаля, проговорил ей Термосёсов и обвел свою другую руку вокруг ее стана.

— Чтобы заставлять себе человека служить, надо его поощрять: это первое правило.

Этим Бизюкина была уже так ошеломлена, что только сжалась в лапе у Термосёсова и шептала: "Пустите",— но шептала словно нехотя, словно в самом деле горничная, которая тихо шепчет: "Ай, сейчас во все горло крикну!"

Термосёсов это и понимал: он тихо сдерживал Данку в своих объятиях, но не употреблял против нее никаких дальнейших усилий, хотя при слабости ее защиты ему поцаловать ее теперь ничего не стоило.

— Мы ничего не берем насильно, а добровольно, наступя на горло,— проговорил он шутя и глядя ей в глаза так близко, что она чувствовала его дыхание и ощущала, что ноги его путаются в ее платье.

— Вы очень дерзки,— сказала она.

— Ни капли; а Андрей Термосёсов прост, вот и все. Вы всё привыкли, чтоб с вами финтить, да о небесных миндалях разводить, а Андрей Термосёсов простяк. Термосёсов так рассуждает: если ты умная женщина, то ты понимаешь, к чему идет, если ты с мужчиной так просто разговариваешь; а если ты сама не знаешь, зачем так себя держишь, так ты глупа и тобою дорожить не стоит. Так вот тебе на выбор: хочешь быть умной или глупой?

Данка, конечно, желала быть умной.

— Вы очень хитры,— сказала она, слегка отклоняя свое лицо от лица Термосёсова.

— Хитер! Ну брат, выкрикнула слово! Нет, душатка, Андрей Термосёсов как рубаха: вымой его, выколоти, а он, восприяв баню паки бытия[101], опять к самому телу льнет. А что меня не все понимают и что я многим кажусь хитрым, так это в том не моя вина. Я, вот видишь, не только все сердце свое тебе открыл, а и руку твою на него наложил, а ты говоришь, что я хитрый.

— Вас, я думаю, никто не поймет,— ответила Данка, совершенно осваиваясь с своим положением в объятьях Термосёсова и даже мысленно рассуждая, как это действительно оригинально и странно идет все у них. Точно в главах романа: "оставим это и возвратимся к тому-то", потом "оставим то-то и возвратимся к этому",— от любви к поученью, от поученья к любви... и все это вместе, и все это поучая.

И Данке вдруг становится преобидно, что ее поучают. Она припоминает давно слышанные положения, что женщины не питают долгой страсти к своим поучателям и заменяют их теми, которые не навязывают им своего главенства, и она живо чувствует, что она ни за что не будет долго любить Термосёсова, но... тем более он любопытен ей... Тем более она желает видеть, как он все это разыграет при необычайности своих приемов.

А Термосёсов между тем спокойно отвечает ей на ее замечание, что его "никто не поймет"

— Что ж, это очень может быть, что ты и права,— говорит он.— Свет глуп до отчаянности. Если они про Базарова семь лет спорили и еще не доспорились[102], так Термосёсов — это фрукт покрепче,— станут раскусывать, пожалуй, и челюсти поломают; и моей-то вины опять в этом нет никакой. Я тебе сказал: Термосёсов сердце огонь, а голова отчаянная.

— Ваша откровенность погубит вас,— уронила с участием Данка, согревшаяся животным теплом у груди Термосёсова.

— Погубит? — ничего она не погубит. Некого бояться-то?

— Ну, а он?

Данка кивнула по направлению к покою, где спал судья Борноволоков.

— Судья-то? — спросил Термосёсов.

— Ну да?

— Эка, нашла кого выкрикнуть! — воскликнул, встряхнув Данку за плечи, Термосесов.— Ничего вы здесь не понимаете! Судья! Ну судья и судья, ну и что ж такое? Читала, в Петербурге Благосветлов редактор возлупé пребокý своих рабочих, ну и судил судья и присудил внушение. Ольхин судья называется... Молодчина[103]! А поп демидовский барыне одной с места встать велел,— к аресту был за это присужден и опять, стало быть, мировой судья молодчина[104].

— Еще бы,— попы! Это первая гадость,— отозвалася Данка.

— Ну вот видишь, так и сотворено! Эх ты! Видишь: сама поняла!

— Да ведь у нас свой точно такой поп есть, с которым никак не справимся.

— Горлодёр?

— Как вы сказали?

— Я говорю: горлодёр, орун?

— Туберозов он называется.

— То-то: орун что ли он?

— Не орун, а надоел и никак не справимся.

— Н-ничего: до сих пор не справлялись, а теперь справимся.

— Никто не может справиться.

— Ничего, мы справимся.

— Он опирается на толпу. Он авторитет для них[1*].

— Н-ничего, это все ничего. Как ты говоришь его фамилия-то, Туберкулов?

— Туберозов.

— Ну, я это попомню. Не высокий ли он, седой?

— Да.

— Ну я его видел, как мы через мост переезжали. Должно быть, скотина?

— Страшная.

— Это я с первого взгляда увидел. Ну ничего: уберем. В цене сторгуемся и уберем: Я Ирод, ты Иродиада. Хочешь?

— Что такое?

— Полюби и стань моею.

Данка покраснела и сказала: вздор какой!

— Вздор?.. Э-эх вы, жены, российские жены! Нет, далеко еще вам до полек,— вас даже жидовки опередили. Я тебе голову человека ненавистного обещаю, а ты еще раздумываешь?..[105] Нет, с такими женщинами ничего нельзя делать! — воскликнул он и внезапно освободил из рук Данку.

[1*] Первоначальный вариант этого фрагмента:

«— Да вам не дадут тут взять Тубер...— она хотела сказать “Туберозова”, но спохватилась и сказала — “попа”.

— Попа не дадут! Ну как же: знаем мы, знаем мы, как они кого не дадут.

— Его здесь любят.

— Ну, так что ж такое, что любят? Нешто мало побрано тех, которых любили; а мы власть!

— Но судья может побояться, что это против него восстановит...

— Никого это против него не восстановит,— перебил Термосёсов.— Он власть, и шабаш: “властям предержащим и повинуйся”, а не хотите повиноваться, такого повиновения вам зададим, что внукам закажете.

— Только другой раз его за это могут не выбрать.

— Могут, да выберут. Да, что ты мне про это говоришь и твое ли это дело: впервой что ли им на себя кнут выбирать? <...>»

Выпущенная Бизюкина вдруг осиротела и, следя глазами за Термосёсовым, с явной целью остановить его, проговорила:

— Я ничего не раздумываю.

Термосёсов тотчас же молча вернулся, обнял Данку и, прежде чем она успела опомниться, накрыл ее рот и подбородок своею большою и влажною губою.

Данка целовалась, но вдруг вспомнила, что все это происходит перед открытым окном, и, рванувшись, шепнула:

— Прошу вас!.. Прошу вас, пустите!

— А что? — спросил Термосёсов.

— Здесь видно все в окна.

— А-а, окна! Ну, мы подадимся, и он, не отнимая ни своей, ни ее руки с мест, которые избрал им, переставил Данку за косяк и спросил:

— Ты мужа не боишься?

— Я?.. О нет! — воскликнула, качнув отрицательно головою, Данка.

— Молодчина! — поощрил Термосёсов и опять в другой раз накрыл Данку губою и на этот раз на гораздо большее время[1*].

— А вы,— спросила, освободясь на мгновение, Данка.— Вы не боитесь?

— Кого мне бояться?.. С чего ты это берешь?

[1*] Далее зачеркнуто:

«— Чего их бояться, да и никого бояться не надо. Я пролетарий честный: я что говорю, то и делаю. Что ты, не веришь? это верно. А они, получая по три, да по четыре тысячи, если хотят, чтоб мы их не шельмовали, так служи нашему делу, пой по-нашему, а не то, брат, духом взведем на катковскую линию. Нипочем тебе это,— ну валяй, и тащись в вечных каторжных по всем отделениям и утешайся, что пара сотен каких-нибудь патриотов тебя оценят и заметят. Эка невидаль! А хочешь большей популярности, так служи нам, потому что *мы* сила: Базаров это сказал, и небо и земля пребудет, а эти его слова не прейдут: *мы сила*. Мы кого захотим выкрикнуть,— уж будь благонадежен — выкрикнем, а захотим поукладить, и поукладим. Это теперь все понимают и чувствуют. С нами кто в открытую ссорится? — один дурак, принципник, ожидающий мзды от народа своего! Жди: ее много, говорят, на небесех для вашего брата. Кто поумней, все с нами. Волей-неволей, а с нами. Изругаем! Как свинью в грязь выбаляем! Говорят, наши средства не хорошие? — плевать. Что тебе до них, какие они, когда ими чего нужно достигаем. У меня Попонев, редактор есть приятель,— говори про него что хочешь, про чужое серебро, про гарусные подушки, а он мне про патриота все, что мне угодно, проведет; наклевещу, и клевету напечатает! Да и что в самом деле? Благонамеренники аристократничают, сортируют людей: к ним вон Андрей Краевский три года лезет и патриотничает, а они всё от него отворачиваются: честности ищут, да прошлого спрашивают... Индюки! А у нас этого нет: вор ты, мошенник, хоть и богомол, да главной идее отвечаешь, и полезай в кузов. Мы всякого такого своим считаем и не выдадим. Вот она и сила! Что, на Каткова что ль понадеяться? Катков что ли поддержит? Как же! Ему за всякую мелюзгу некогда вступаться; ему впору министров доезжать, от которых русь-духом ему в нос не прет[106]; а мы министров не трогаем, зато всех этих помельче русь-духов лущим. Добирайся там, что правда, что неправда, а мы тебя аттестуем. Человек этого страшно боится, да и нельзя не бояться, потому что нас и начальство боится. Сила! выкрикнем! Каткова-то еще кто прочтет, да кто уразумеет; а нас легион: нас все читают и действуем прямо; наше слово простое: подлец, да только и всего. Нам, чтоб своих чему обучать, литература не нужна больше: нашим уж все сказано и хоть всю ее хоть сейчас же к черту под хвост; но чтоб благонамеренников обрабатывать... на страх, на страх она нам еще нужна, и тут нам, брат, всякий служит. На своих она нам нужна только как кнут,— понимаешь, не как кафедра, а как кнут. Без кнута невозможно. У иных ведь это тоже "в виду старости пришедшей стал припадок сумасшедший"[107],— поворотить рады... Ну на, пусть поворотят!.. Пусть, пусть на Каткова понадеятся, да поворотят! Ой, возлупим! Чертям станет тошно, как возлупим! Мы, брат, царствуем страхом, да нам иначе и нельзя. Наш зато не покается: знает, что ему будет за это покаяние. Прежде говорилось, что новому человеку служить стыд, и это содержалось; но нынче оставлено: все наши служат. И прекрасно! Я это сам прежде всех проводил, и места из них иные взяли большие, и отлично на них держатся,— и это отлично; но как там где им нужно хитрить, пусть хитрят; но чтоб в существе на наш край тянули! На наш, а не на общий! И они это знают и служат. Чего их бояться-то, когда они нас боятся! Мы, мы настоящая сила, а они только по нас сила <...>».

— Но мне... так как-то... показалось, что вы за ним ухаживаете?

— Да; так что ж такое, что ухаживаю? Да ты знаешь ли, зачем ухаживают-то? — затем, чтобы уходить. Я вот теперь за тобой ухаживаю,— добавил он со смехом,— и что ж ты думаешь, я тебя не ухожу что ли? Будь спокойна: ухожу тебя, разбойницу! ухожу! — и с этим Термосёсов приподнял обеими руками кверху Данкино лицо и присосался к ее устам как пиявка.

Поцелую этому не предвиделось конца, а в комнату всякую минуту могла взойти прислуга; могли вырваться из заперти и вбежать дети; наконец, мог не в пору вернуться сам муж, которого Данка хотя и не боялась, но которого все-таки не желала иметь свидетелем того, что с ней совершал здесь быстропобедный Термосёсов, и вдруг чуткое ухо ее услыхало, как кто-то быстро взбежал на крыльцо... Еще один миг, и человек этот будет в зале.

Данка толкнула от себя Термосёсова, но он не подавался; а выговорить она ничего не может, потому что губы ее запаяны покрывающей их толстой губой Термосёсова. Данка в отчаянии крепко щекотнула Термосёсова в бок своими тонкими пальцами. Гигант отскочил и, увидев входящего мальчика, понял в чем дело.

— Это его-то? Тпфу, есть кого пугаться,— сказал он с небольшим, впрочем, неудовольствием.— “Брудершафт, мол, выпили, да и поцаловались”.— Ну так, так: на попа сыграли? — заключил он, протягивая с улыбкою руку Бизюкиной.

— На попа.

— И все у нас условлено и кончено?

— Кончено,— отвечала, слегка смущаясь и подавая руку, Данка.

— На Туберкулова?

— На Туберозова.

— Ну, смотри же!

Термосесов крепко пожал и встряхнул Данкину руку.

— Держать свое слово верно!

— Верно,— ответила Данка.

— Смотри!.. Каково поощрение, такова будет и служба. Это так и разделено: мужчина действует, а женщина его поощряет. А ты,— добавил он, осклабляясь, погрозив пальцем Данке,— ты, должно быть, бо-ольшая шалунья! Посмотрим же.

С этим Термосёсов выпустил руку хозяйки и решительно пошел к кабинету, где спал или не спал судья Борноволоков.

VIII

Борноволоков не спал еще, когда к нему возвратился счастливый Термосёсов.

Судья, одетый в белый коломянковый пиджак, лежал на приготовленной ему постели и, закрыв ноги легким весенним пледом, дремал или мечтал с опущенными веками.

Термосёсов как только взошел, пожелал удостовериться: спит судья или притворяется спящим? Термосёсов тихо подошел к кровати судьи, тихо нагнулся к его лицу и назвал его негромко по имени.— Судья откликнулся.

— Вы спите? — спросил Термосёсов.

— Да,— отвечал одною и тою же неизменною нотою Борноволоков.

— Ну где ж там *да*? Откликаетесь и говорите, что спите. Стало быть, не спите?

— Да.

— То есть я вас разбудил, может быть?

— Да.

— Ну, вы извините.

Борноволоков только вздохнул. Термосёсов отошел к другому дивану, сбросил на него с себя свой сак и начал тоже умащиваться на покой.

— А я этим временем, пока вы здесь дремали, много кое-что обработал,— начал он укладываясь.

Судья опять уронил только *да*, с оттенком вопроса.

— Да так да, что я даже, могу сказать,— и кончил: veni, vidi, vici[1*].

Не открывая глаз и не рушась <?> на своем месте, Борноволоков опять уронил то же самое *да*.

— Да. Осязал, огладил и дал лобызание.

— И что ж? — сказал, самую малость оживясь, Борноволоков.

— Городская золотуха и мозоли,— отвечал категорически Термосёсов.

— Это с одной стороны,— проговорил судья.

— Да; а с какой же с другой? "Золотуха и мозоли", ведь этим все сказано.— Дура большая.

— Да?

— Комплектная дура, хоть на выставку,— проговорил Термосёсов и добавил,— но цалуется жестоко!

С этим Термосёсов скинул ногой сапоги и начал умащиваться на диване, ветхие пружины которого гнулись и бренчали под его блудным телом.

Судья по поводу термосёсовского замечания о свойстве Данкиных поцелуев протянул то же самое бесстрастное *да* и, очевидно, намеревался уснуть.

Но Термосёсов разболтался.

— Я ее и поучил тоже,— сказал он судье.

— Да?

— Вместе и поучил и поухаживал.

— Что же?

— Ничего: мешай дело с бездельем,— лучше с ума не сойдешь. Я ее ухожу,— заключил, покрываясь своим пальто, Термосёсов.

— Да?

— Непременно.

— А Валка?

— Что ж такое Валка? Мы с нею кончили все.

— Да?

— Да, конечно.

— А как она сюда приедет?

— Зачем? Разве она вам говорила?

— Да.

— А ведь она же прачечную открыла. Пустое! Там и корыта, и бук, и всякая штука. Пустое,— она не приедет! И зачем?.. Я ей сказал: я свободен, ты свободна, мы свободны, вы свободны, они, оне свободны. Про что нам еще толковать! А хоть если и приедет...— добавил, потянувшись, Термосёсов,— приедет и уедет... А здесь нам, кажется, врали, что спокойный город и дела мало будет,— дела будет очень довольно... Тут есть у них поп... Вот скотина-то по рассказам: самое ваше нелюбимое: вера, вера, народ и вера и на народ опирается и доносы, каналья, пишет... Э! да вы, кажется, дормешки?

— Да.

— Ну, в таком случае я сам буду спать!

С этим Термосёсов поворотился лицом к стене, и через минуту и он, и его начальник оба заснули.

Данке не шел на ум отдых. Она в это время стояла в гостиной перед от-

---

[1*] Пришел, увидел, победил (*лат.*)

крытым окном и, глядя в светлую даль, цаловала веющий ей в лицо ласковый воздух.

Так прошло несколько минут, и глаза молодой женщины беспричинно, по-видимому, замигали и наполнились нервными, истерическими слезами. Она вся еще дрожала от поцалуев Термосёсова и, нетерпеливо поднеся к губам руку, которую тот так долго держал на своем сердце, поцаловала ее сама и вздрогнула.

С улицы ее кто-то назвал по имени.

Бизюкина проворно отняла от губ свою ладонь и, сердито взглянув в окно на нежданного свидетеля ее восторгов, увидала учителя Омнепотенского.

Бизюкина бросила ему презрительный взгляд и спросила:

— Чего вы?

— Приехали? — отвечал ей вопросом запыхавшийся на ходу Омнепотенский.

— Ну, а что такое вам, что приехали или не приехали? Ну приехали.

— Ничего, я только услыхал, что приехали, и побежал, как кончил третий урок. Что, они спят теперь?

Данка сухо промолчала.

— А они уже видели мои кости? — добивался учитель.

Данка опять промолчала.

— Вы, верно, их и не показали? — спросил Омнепотенский.

— Видели, видели,— оторвала с гримаскою Данка.

— И что же?

Данка опять промолчала.

— И что же, я говорю, они, Дарья Николаевна?

— Да что "что"? Ничего!

— Как ничего?

Данка покусала минуту нетерпеливо губы и проговорила с угрозой: будет вам, погодите, будет!

— Что мне такое будет?

— Постойте, постойте, будет!

— Да что вы... чем вы меня пугаете? что ж мне может быть? — встосковался учитель.

— Что? Вот увидите что,— повторила с тихой угрозою Данка и, повернувшись спиной, заперлась на ключ в своей спальне.

Невинный Омнепотенский ничего не понимал и ничего не мог прозреть, какие ходили здесь бури и какие они понасыпали холмы и горы на место долин, и какие долины образовали там, где лежали бугры и буераки.

Верный самому себе и однажды излюбленным началам, он и не подозревал какой-нибудь изменчивости в людях и особенно такой быстрой изменчивости, какая совершилася в Данке, и входил в дом Бизюкиных с тем кротким спокойствием и с тою короткостью, на которые имел права, освященные временем.

Он теперь имел в виду только одно: чем именно ему угрожает Данка от приезжих гостей?

— Сечь! — мелькает по школьной привычке в его голове; и он принимает это довольно живо, потому что ему часто снится, что его секут, но сейчас же он оправляется и успокаивает себя, что чиновников не секут... Вот разве вешать?.. Ну да... вешать! Было бы еще за что?

IX

Надо не забывать, что Омнепотенский был совсем свой человек в доме Бизюкиных, чтобы понять, отчего его нимало не смутил прием, сделанный

ему Данкою. Ему было все равно, быть здесь принятым или не принятым, незамеченным или обласканным, он здесь видел себя всегда на месте, поэтому и теперь, не стесняясь тем, что хозяйка заперлась в своей спальне перед самым его приходом, он преспокойно обошел весь зал и гостиную, пересмотрел и перетрогал стоявшие на этажерках старые и давно ему известные книги; подразнил пальцем ручную желтенькую канареечку, дал щелчка в нос нежившемуся на окне рыжему коту и, наконец, сел в то самое кресло, в котором полчаса назад сидел Термосёсов.— Скучно.— Омнепотенский зевнул, встал и пошел на цыпочках по гостиной и по зале... Тоже невесело. Безмолвие кругом; на дворе слышно, как повар сечет котлеты; в кабинете кто-то играет на носе.

Омнепотенский вернулся в гостиную и тихо-тихохонько потрогал дверь в кабинет,— дверь заперта. Омнепотенский повернулся и вышел в переднюю.

— Ермошка,— спросил он мальчишку,— а что ваши гости?

— А ничего; сплят у бариновом кабинете.

— Оба спят?

— Ой, ой, ой — еще как! — отвечал вольнодумный Ермошка.

— Их тут кормили? — спросил Омнепотенский.

Ермошка покусал зубами нитку, оставшуюся в обшлаге его рейт-фрака после оторванной пуговицы, и проговорил:

— Нет; ести им не давали, а так...

— Гм! так чай только пили или кофей?

— Да нет же: и чаю, и кофею не подавали,— отвечал Ермошка.

— Ну так что ж ты говоришь: "так", "так"?

— Да "так", что ничего так не подавали!

— Экой дурак,— ругнул невольно Омнепотенский.

— Ну всё дурак да дурак.

Ермошка опять повалился на коник, а Омнепотенский опять возвратился в гостиную. Дверь в данкину спальню по-прежнему была заперта. Варнава тихо постучал замочною ручкой,— ответа никакого. Громче он не посмел стучать, подвинул к окну стул, сел на него верхом, лицом к спинке, сложил на эту спинку руки, а на руки положил подбородок и, глядя в сонную даль жаркого полдня, задремал как петух на насесте.

Так прошло около получаса, прежде чем Варнава проснулся, но ему показалось гораздо долее. Он осмотрелся, вспомнил, что, с одной стороны, перед ним тут запертая дверь в данкину спальню, а с другой, эти новые гости, которые могут ежеминутно взойти, и это показалось ему совсем скверно. Варнава вскочил, почистил рукой физиономию, и при этом он взглянул случайно на шкаф, на котором стоял его костяк, тот самый костяк, из-за которого он вчера перенес столько гонений, из-за которого едва избежал публичных побоев, из-за которого так строго наказан Ахиллой комиссар Данилка и еще строже наказан сам диакон. Костяка этого не было. Варнава заглянул за шкаф, под шкаф, окинул взором столы, углы и вообще все помещения, где мог, по его соображениям, костяк этот находиться, но его не было нигде. Варнаву обдало варом.

— Неужто же он и отсюда мог пропасть? Это тогда черт знает что такое за ловкое мошенничество! После этого не удивительно, ежели в столице обворовывают и режут, можно сказать, под самым носом у всесозерцающей полиции и не находят следов. Кто и каким путем мог сюда пробраться? В окно? Но он сам, подходя к этому дому, видел, что у окна стояла Данка; не мог же вор проскочить около нее, как муха, да и, наконец, кто же этот вор? Понятно, или его собственная варнавкина мать, или дьякон Ахилла, но мать

его дома, а Ахилла такой огромный, что он и в окно-то совсем едва ли пролезет. Нет; тут голову совсем потерять можно!

Учитель не выдержал и, забывши всякие церемонии, смело застучал кулаком в комнату Данки.

— Это чего еще? — отозвалась из-за двери Бизюкина, отозвалась голосом не сонным, а простым, спокойным, каким она говорила всегда.

— Поздравляю нас с праздником,— с легкой укоризной ответил Омнепотенский.

— С чем-с?

— Очень хорошо мы спасли наши кости. Их нет.

— Да, нету,— отвечала Данка.

— Как! Так вы знаете об этом?

— Еще бы!

— И так спокойно говорите!

— Да чего же я должна беспокоиться?

Омнепотенский в недоумении замолчал и, стоя здесь же, у двери, кусал себе ногти. А за дверью в комнате Данки происходило сильное движение и какая-то перестановка... Слышно было, что Данка с кем-то говорит, что-то устраивает, вообще о чем-то хлопочет, но вообще во всем, что оттуда слышалось, Омнепотенский не мог уловить ничего такого, чем, по его соображению, Бизюкина должна бы была отвечать на сообщенные им тревожные известия. Это его совершенно поразило.

— Дарья Николаевна,— заговорил он,— вы, может быть, думаете, что я шучу, а я кроме всех шуток говорю: костей нет.

— Да убирайтесь вы вон,— отвечала нетерпеливо Данка.

— Чего-с,— переспросил, приставив ухо к двери, Омнепотенский.

— Убирайтесь, вот чего. В чулане ссыпаны все ваши глупые кости.

— Глупые кости! Что такое; что такое за глупые кости? Да позвольте мне наконец хоть взойти к вам!

— Нечего вам здесь делать.

— Как это нечего делать?

— Так, нечего, очень просто нечего.

Удивление Омнепотенского все возрастало и возрастало. Этаким тоном Данка не говорила с ним никогда! Бывала, правда, она иногда груба, резка и неприветлива, но выгонять из дому, отталкивать, вообще чуждаться его, человека с нею единомысленного и имевшего право считать себя с нею на самой близкой ноге — этой фантазии ей до сих пор еще никогда не приходило, и это первый снег на голову. В бузинном сердце Омнепотенского шевельнулось даже нечто вроде ревности, вроде досады, вроде того и другого вместе. Это было для Омнепотенского чувство совершенно незнакомое и новое, чувство, которого он до сих пор, не будучи близок ни с одною женщиной, кроме Данки, не изведывал: это была боязнь предпочтения. До сих пор он знал к себе прямо враждебное чувство со стороны своих гонителей и врагов; считал неприязненными к себе чувствами чувства своей матери, но это все, в его глазах, было не то. Во-первых, все люди, не посвященные в тайны его стремлений, были в его глазах существа несовершенной, низменной породы, которые судить его не могли, а во-вторых, ему было все равно, что о нем думают как о человеке и какие к нему питают чувства,— ему важно лишь бы его считали врагом и деятелем, и Данка, которая знала, что он деятель, Данка, которая его отличила и отметила своим вниманием, с которой они в течение стольких лет как бы восполняли друг друга и в этом скучном уездном существовании, и в беспрерывной борьбе с одолевавшим их консерватизмом... Эта Данка вдруг топырится, не отвечает ему или, еще

хуже, отвечает, но отвечает так, как бы она отвечала не деятелю, а какому-нибудь городничему или Ахилле или даже своему мужу — это невозможно. Варнава сто раз повторил в себе, что это совершенно невозможно и что приезжие гости ни под каким видом не должны застать их с Данкою в таких противоестественных отношениях. Это надо было кончить. Варнава решился идти напролом: он сильно оперся рукою на ручку замка и всем плечом надавил на дверь. Дверь подалась.

— Это еще что? — спросила его из своей комнаты Данка и, отдернув задвижку, отворила дверь с такою быстротою, что чуть не разбила Омнепотенскому носа.

— Что? чего и зачем вы сюда добиваетесь? — крикнула она на него.— Чего вам нужно?

— Ничего особенного, Дарья Николаевна,— сказал, вдруг оробев и немножко понизив голос, Омнепотенский,— но ведь должен же я знать, что все это значит, меня запирают, кости мои сваливают в чулан; меня, здесь запертого, могут застать новые люди, и я на первых же порах буду перед ними черт знает в каком дурацком положении.

— Это значит, вы будете в вашем собственном положении,— отвечала Данка,— а кости ваши... они в чулане, я вам сказала, они в чулане, я их выбросила.

— Вы сами!

— Нет, не сама, а Ермошка.

— Да что же это значит,— воскликнул изумленный Омнепотенский.

— Да не могу же я держать всякий хлам в моем зале.

— Это хлам? Это *вы* называете хламом? Но если это, по-вашему, хлам, то из-за чего же мы с вами так бились и хлопотали, чтобы спасти их.

— Вы бились и вы хлопотали, а я никогда не билась и повторяю вам, что я ничего этого не хочу знать,— резко отвечала ему с гримасою Данка.

Омнепотенский растопырил руки и сказал:

— Извините.

— Ничего,— отвечала Данка.

— Но после этого, стало быть, хлам все, что мы до сих пор с вами делали?

— Да, всё хлам.

— Хлам! ну пусть меня черт возьмет, стало быть, я сам хлам, потому что я этого даже и не понимаю.

— И разумеется, вы не способны к развитию.

— Как? что такое? не способен, это что еще?.. Я? я не способен к развитию? Да вы позвольте, Дарья Николаевна, позвольте, с которых же это пор наконец? и что это такое значит? Вас просто кто-то пришел, увидел, победил?

Данка нашла в этом прелестный повод для того, чтобы рассердиться. Она наговорила Омнепотенскому ряд самых неожиданных дерзостей, которые сыпались из ее уст с такою быстротою и шумом, как сыплется сухой горох из опрокинутой мерки, и наконец, истощив весь запас брани и ругательств, позвала свою горничную и, не обращая никакого внимания на стоящего в изумлении Омнепотенского, стала сама, с помощью горничной, привешивать на окна спальни белые пышные шторы на розовом дублюре[1*].

Это были шторы, которые издавна составляли предмет зависти многих дам Старого Города, которые были уверены, что такие шторы могут быть только в домах настоящих грандесс. Это были шторы, на которые ходили

[1*] От франц. doublure — подкладка.

смотреть с улицы как на чудо роскоши и совершенства. Шторы, в которых все знали каждый шнурок, каждое колечко и каждую кисточку тяжелой бахромы. Наконец, это были те самые шторы, которые, прежде всех других предметов роскоши, находившихся в доме Бизюкиных, смущали вчера самое Данку и смущали до такой степени, что она, начиная приводить свой дом на демократическую ногу, при известии о прибытии Термосёсова и Борноволокова, первым долгом сочла снять и убрать при помощи Омнепотенского эти шикарные шторы. И вдруг сегодня... суток нет... одна лишь ночь всего прошла, и она же, та же самая Данка, собственноручно выставляет эти роскошные вещи на всеобщую видимость!

Все это становилось неразгаданным иероглифом над пониманием Омнепотенского, но пониманию его Данка нынешний день как бы нарочно решилась давать самые неразгаданные задачи...

Едва только кончилось вешание штор, как из тяжелой кованой укладки, которая вчера сокрыла все лишние вещи, на свет божий полезли всякие другие лишние мелочи. На стенах снова разместились снятые картины и разместились в такой же тщательной и разумной группировке, в какой они не размещались даже до сих пор прежде. В группировке, в которой все-таки сказался в Данке и остаток прежнего вкуса, и даже покорность требованиям искусства в освещении. Вслед за картинами встал у камина роскошнейший экран; на самой доске камина поместились черные мраморные часы с звездным маятником; столы покрылись новыми, дорогими салфетками: лампы, фарфор, бронза, куколки и всякие безделушки усеяли все места спальни и гостиной, где только можно было их ткнуть и приставить. Все это придавало данкиной квартире вид ложемента богатой содержанки, получающей вещи зря, без толку и переполняющей ими свою гостиную, в стремлении ближе уподобить ее будуару большой дамы.

Омнепотенский, разумеется, не одобрял этого убранства. Он не одобрял его, конечно, не с той стороны, что это портит комнату, но не одобрял со стороны тех самых воззрений, которые вчерашний день были внушены ему самою же Данкою и потом усвоены им себе в течение целых двенадцати часов с такою прочностию, что он не мог от них отделаться ни на минуту. Поэтому, когда Данка велела снять чехлы со своей мёбели и, начав передвигать диван в уголок против камина, потребовала в этом случае помощи самого Омнепотенского, он не мог более удержаться и сказал:

— К чему же все это делается?

— К тому, что так удобнее и красивее,— отвечала Данка и тотчас же потребовала, чтобы за диваном был поставлен вынесенный вчера маленький трельяж с зеленым плющем. Затем она с сосредоточеннейшим вниманием femme demi-monde[1*] начала устроивать перед камином самый восхитительный уголок, из лучшей своей мягкой мёбели. Здесь должна было быть ее causerie[2*]. Прямо перед камином она поставила кушетку "au pied de ma femme"[3*] и с удовольствием взглянула на тот подножный валик этой мёбели, на котором должен был сесть он и опереться своей усталой головой на ее колени.

Правда, что теперь еще лето, что теперь не топят каминов, но tant mieux et tant pis[4*] (Данка теперь постоянно думала по-французски), теперь сады, леса, ущелья и горы. Теперь не имеет всей цены эта кушетка, но зато

[1*] дамы полусвета (*франц.*)
[2*] буквально: беседа, болтовня (*франц.*)
[3*] "для ноги супруги" (*франц.*)
[4*] тем лучше и тем хуже (*франц.*)

впереди, в длинные вечера ненастной осени как будет хорошо здесь, как прекрасно.

Данка в эти минуты забыла, что Термосёсов поучатель и что она не собиралась долго возиться с ним, а как влюбленная женщина, стоящая еще у преддверия храма своей любви, мечтала, что у этой любви не только есть своя весна, но будет и жгучее лето и в свою пору настанет и своя осень. Осень и бури!.. Вот и естественное освобождение. Его ушлют или он умрет... Что лучше: ушлют или умрет? Впрочем, среди жаркой, самой жаркой любви — и то, и другое прекрасно! К счастию Омнепотенского, он не видал, кому принадлежали данкины думы, и это в самом деле к счастию: быть забытым женщиною, которую как бы то ни было, мы по-своему любим, это тяжело; но еще видеть, как эта же женщина заботится об другом, как она наверстывает в своих о нем попечениях небрежность, которую допускала в своих чувствах к предмету своей прежней любви... о, это несносно. Чтобы не видеть этого, Гейне, специалист в делах любовных, завещает:

Или в другую влюбляться опять,
Или с дорожной сумою
Отправиться в горы гулять,
Где орлиные крики услышишь
И орлиный увидишь полет[108]. —

Но Омнепотенский, как мы уже сказали, не чувствовал никаких терзаний, потому что не видал, что полтора часа тому назад происходило здесь у Данки с Термосёсовым, а Варнава того и не подозревал, чего не видел. Он просто был смущен несоответственностью поступков Бизюкиной ее принципам и недоумевал, а между тем Данка, окончив убранство своих комнат, вышла в свою спальню и через несколько минут предстала очам растерявшегося учителя в таком ослепительном блистании красоты и великолепия, в каком ее Омнепотенский не видал никогда. На Данке было совершенно модное платье из яркого поплина, в котором пестрели все семь цветов шотландской клетки. Платье это было не по сезону, и Данка, конечно, это понимала и знала, но зато она ни в чем не была так хороша, как в этом ярком пестром платье, обделанном кругом по лифу, подолу и по широкому разрезу армянского рукава широкою косою, сплетенной из алого атласа. На голове у Данки, причесанной со вкусом и с искусством, была черная кружевная звездочка, очень эффектно приколотая двумя большими шпильками из голубой матовой бусы.

Увидя теперь Данку, сомнительно, чтобы Термосёсов нашел удобным сказать о ней, что это только одна золотуха да мозоли, и только лишь один бестолковый Омнепотенский мог не заметить, насколько возвысились ее внешние достоинства... Он не сказал ей по этому поводу ни одного слова и в то время, когда она, выйдя в гостиную, стала перед зеркалом, чтобы оправиться,— заговорил с нею в совершенно неподходящем минорном тоне.

— А я, Дарья Николаевна, сегодня ужасно расстроен.

Дарья Николаевна внимательно смотрела в зеркало и наводила язычком слегка напомаженные розовою помадою губы и вовсе не обнаруживала никакого намерения отвечать Омнепотенскому.

— Вы помните, как третьего дня вы научили меня, чтобы я растолковал Данилке, что дождик идет по естественной причине?

— Ну-с,— вдруг отозвалась Данка.

— Так вот, я это растолковал, а из этого черт знает что вышло. Я вам говорю, до чего сильно это духовенство у нашего глупого народа, это просто невозможно представить. Данилка лучше это исполнил, чем даже мы предположить могли, потому вы знаете эту нашу мещанскую биржу.

Данка промолчала.

— Вот где мещане над рекою на берегу валяются, знаете, напротив туберозовского дома... Данилка там и завел об этом разговор, как вдруг отгадайте же вы, кто является...

— Очень мне нужно ломать голову, отгадывать? — презрительно отозвалася Данка и отправилась в свою спальню за коробочкой пудры. Только что она возвратилась назад и стала в прежней позиции, с этим снарядом против зеркала, как Варнава продолжал.

— Является-с этот свинья Ахилла и представьте вы — за ухо Данилку и повел к Туберозову... Сделайте ваше одолжение, это в девятнадцатом столетии-с, в 1867 году за два дня до введения мировых судов[109]?

— Да; очень нужно мировому суду все эти ваши глупости!

— Да как же-с, нужно? И какие же это глупости, когда вы сами меня заставили все это сделать? Нет... вы, Дарья Николаевна... что-то я даже не знаю, как вам и сказать... Вы это шутите, смеетесь или просто говорите?

— Послушайте,— перебила его Бизюкина,— вы знаете, что я вам давно собиралась сказать: идите домой.

— Вы это серьезно говорите?

— Серьезно.

— Таки совершенно серьезно?

— Таки решительно, решительно серьезно.

Омнепотенский раскрыл рот и прошептал:

— Это уж из рук вон!

Он решительно не знал, как ему отнестись к этому неожиданному обороту, которое приняло дело. В первую минуту он видел в этом нарушение приятельских отношений, что кое-как еще можно было простить, и оскорбление его сана гражданского борца, чего простить невозможно; но через другое мгновение Варнава домыслился, что это, верно, что-нибудь такое, политическое, нужное для пользы дела и спокойно ответил:

— Да, я пойду, только мне, признаться сказать, хотелось бы узнать, чем вы мне угрожали, и познакомиться...

— С кем вам знакомиться?

— С ними,— отвечал, качнув головою по направлению к кабинету, Омнепотенский.

— Вовсе вам этого не нужно,— отвечала Данка.

— Отчего же это не нужно?

— Вы только будете совершенно напрасно сконфужены...

— Что же вы, верно, думаете, что я перед ними совсем уж дурак?

— Вы не знаете, о чем надо думать и как говорить.

— Неправда-с, знаю. Это вы одни меня с толпой и со всяким в одну кашу мешаете.

— Ну вот нам и нечего говорить! — перебила его Данка.— Тем, что вы сказали, уже все кончено: вы думаете, что надо жить аскетом, а я вам говорю, что надо жить, как все.

— Это *вы* говорите!

— Да; это я говорю.

— Я ничего, ровным равно ничего не понимаю.

Проговорив это, Омнепотенский сделал кислую мину и, вздохнувши, добавил:

— Но если я вас могу собою конфузить, то я уйду.— Он протянул одну руку к шляпе и тихо пошел к двери, ожидая, что Бизюкина все-таки его остановит; но она его не остановила.

Пройдя через зал и вступая в переднюю, Омнепотенский услыхал знако-

мый ему скрип кабинетной двери, и вслед за тем громкий заспанный голос кликнул:

— Мальчуган!

Омнепотенский не удержался, сделал шаг назад и глянул тихонечко в щелку. Перед ним стоял Термосёсов в белье и полосатых носках. Заспанное лицо Андрея Ивановича было теперь еще выразительнее, и верхняя губа его еще круче спускалась маркизой на нижнюю.

Фигура и лицо Термосёсова так понравились Омнепотенскому, что он забыл все неприятности, причиненные ему недавним приемом Данки, и, проходя по улице мимо окна, у которого она стояла, добродушно крикнул ей:

— А я видел!

— Ну что же? — спросила она.

— Одного видел,— отвечал Варнава.— Этот чудесный.

— Я думаю, что чудесный,— неохотно уронила, отходя от окна, Данка, а учитель пошел своею дорогой.

Данка отошла на середину комнаты и с крепко бьющимся сердцем ожидала, что поведет теперь, воспряв баню паки бытия, Термосёсов.

X

Андрей Термосёсов делал свой туалет очень скоро, нельзя было успеть сосчитать двести, как он в полном наряде и в добром здоровье взошел в данкину гостиную и, взяв бесцеремонно хозяйку за руку, сказал ей:

— Отлично соснул. А ты, душата моя, спала или нет?

— Нет, я не спала,— отвечала, храбрясь, но робея Данка.

— Ну, здравствуй,— продолжал Термосёсов, еще раз пожав ее руку, и, принагнувшись, поцаловал ее в губы так смело и свободно, как будто бы теперь он имел уже на это полное и неоспоримое право.

Данка, до сих пор только переносившая поцалуи Термосёсова и млевшая под ними, на этот раз сама ответила ему таким же поцалуем,— поцалуем без увлечения, без страсти, а так, казенным поцалуем, каким она тоже как бы обязана была отвечать ему.

— А мне всё, всё слышалось, что ты здесь как будто с кем-то говорила,— начал Термосёсов, садясь около Бизюкиной так, что ноги ее очутились между его широко расставленными ногами.

— Да, тут был один... заходил ко мне,— застенчиво сказала Данка.

— Кто такой?

— Так... один учитель.

— А, учитель. Что же ты его не задержала. Мы б с ним познакомились. Чему он учит?

— Математике в уездном училище учит.

— Математике? А какая же в уездном училище математика,— там арифметика.

— Все равно,— отвечала Бизюкина.

— Совсем не все равно... А что же, человек он хороший?

— Нет... да, он ничего, он тут все ссорится у нас.

— С Туберкуловым?

— И с ним, и с разными, но глуп.

— Так что же ты его не задержала? Ах, брат, какая же ты разинька! Я уж, лежавши, кое-что попридумал насчет твоего Туберкулова, но все-таки от учителя-то я еще бы кое-что поприхватил. Ведь он хорошо его знает?

— Конечно.

— Ах, какая же вы вертопрашная. Этак пива не сваришь с тобой.

Данка смешалась:

— Но вы напрасно на него рассчитываете,— сказала она.— Я забыла вам сказать, что он глуп.

— Да что ж такое глуп, весь мир глуп. Дураки, брат, отличные люди и подчас преполезные, а ты вороти-ка его, если можно.

Изумление Данки возрастало.

— Ей-Богу, вороти, что? Ты, я вижу, что-то хитришь: ты, может, любила его, а? да говори мне все, как Муравьеву,— ведь я все вижу. Ну что ж, я тебя ревновать что ли стану? — рассуждал Термосёсов,— да мне что такое? Вороти, сделай милость.

Данка встала и вышла в залу, чтобы послать Ермошку в погоню за Омнепотенским, и через несколько минут мальчик и учитель, за которым он был послан, шли уже быстрыми шагами по тротуару назад к дому Бизюкиных.

— Вот и он,— сказала Данка, увидев прошедших под окном Ермошку и Омнепотенского.

— Очень тебе благодарен,— отвечал Термосёсов и, погрозив хозяйке пальцем, добавил,— а сама покраснела? А! а! ишь как горит! Ах вы, нетленные, нетленные! Чего ты себя выдаешь: что, на тебе метина что ли положена? — И с этим Термосёсов зашагал через залу навстречу Омнепотенскому.

Данка была в превеликом затруднении: оказалось, что она ничего не знает, что, собственно, ей кичиться перед Омнепотенским ровно нечем, что ее собственный курс развития, так сказать, еще в самом начале и что она делает беспрерывные промахи. Неофитка задумалась над тем, как действительно это трудно и сколько нешуточных затруднений надо преодолеть, прежде чем придется достичь какого-нибудь совершенства[1*].

XI

Термосёсов встретил Омнепотенского на самом крыльце. Стоя на верхней ступени, он подал Омнепотенскому свою руку, словно размахнул лист какого-нибудь фолианта.

— Термосёсов,— сказал он, рекомендуясь,— *негилист* из Петербурга, а впрочем, отвсюда, откуда хочете, везде сый, вся исполняй, Андрей Термосёсов, будемте друзьями. Вас выгнала сейчас наша хозяйка, а я ее уговорил за вами послать. Побалакаемте.

— Я сам нигилист,— отвечал Омнепотенский, смотря на Термосёсова, как подсолнечник смотрит на солнце.

— Полноте, пожалуйста: сами на себя клеветать. Нигилисты это сволочь. Я вам сказал, что я негилист, а не нигилист. Надо все признавать кроме гили. Современное движение в расколе даже происходит, а вы еще всё на нигилизме полагаете пробавляться[110]... Этак нельзя! Ваша фамилия Омнеамеамекумпортенский.

Учитель удивился.

— Омнепотенский,— сказал он.

— А мне больше нравится Омнеамеамекумпортенский, omnea mea mecum porto. Знаете латинское: “все свое с собою ношу”, отличная, настоящая пролетариатская фамилия.— Я вас буду так звать.

— Как вам угодно,— отвечал Омнепотенский.

— Вы, я вижу, очень покладливый парень,— одобрил Термосёсов и,

[1*] Далее зачеркнуто: “Хорошо одно,— думает Данка,— что всё это у них вместе с любовью, ежели бы эту школу, да без баловства, без шалостей, так, Господи, кажется, и не вынесешь”

обняв учителя, повел его в данкину залу. Данка и Варнава, встретясь друг с другом, не поклонились, а оба потупили глаза: Данка с замешательством, учитель с укоризной.

— А мы с ним уже и познакомились,— начал рассказывать хозяйке Термосёсов,— он чудесный парень. "Я, говорит, нигилист" Вы тут, говорят, войну ведете?

— Да; иногда... повоевываю,— отвечал Варнава.

— А кстати, расскажите, что здесь больше такое: кто в сем граде обитает; чем дышит, на что собирается? Садитесь-ка вот сюда в уголок, я вот здесь прилягу, на диванчик, а вы вдвоем мне почирикайте.

Термосёсов сам привалился на диван, а около себя посадил обоих causeur'ов[1*] и оставил их рассказывать.

Введение к рассказу было просто: взявши левой рукой за локоть Данку, а ладонью правой ударивши по ляжке Омнепотенского, Термосёсов сказал:

— Ну как в каждом городе, есть прежде всего городничий...

— Есть,— отвечал Варнава.

— Большая свинья и дурак,— подсказала Данка.

— Я так и думал,— заключил Термосёсов.— Женат?

— Женат,— отвечал Варнава.

— А жена его?

— Дура,— заключила Данка.

— Дурак и дура, значит, целая фигура,— заключил Термосёсов.— Дальше: они бездетны или имеют взрослый приплод?

— Бездетны,— отвечал Варнава,— он возится с лошадьми.

— И с цыганами,— добавила Данка.

— А впрочем, он добрый человек,— вставил Омнепотенский,— он мне мертвого человека подарил.

— Как мертвого человека подарил?

— А для скелета. Мы с Дарьей Николавной его сварили, и у нас есть скелет.

— Вот подлец-то,— воскликнул Термосёсов.

Учитель и Данка посмотрели друг на друга, к кому относилось это восклицание? Термосёсов это заметил и пояснил:

— Я говорю, городничий-то подлец, человека дал сварить.

— Я совсем в этом не участвовала,— отказалась, заворачивая в сторону мордочку, Данка.

Омнепотенский промолчал. Поощренная его молчанием, Данка, указав на него, добавила:

— Это вот он один все, он один и пользуется этим скелетом.

— Молодчина,— воскликнул Термосёсов,— только зачем вы всё это делали? Это ведь больше ничего, как шарлатанство естественными науками,— это теперь давно брошено.

— Я больше для того, чтобы духовенство злить.

— Ну вот! — Стоит их злить? Какие-то вы всё, посмотрю на вас, репьи: все бы вам задирать да ссориться. Это все надо вести гораздо проще. Ну, продолжайте: еще кто тут?

— Уездный начальник Дарьянов.

— Дурак,— подсказала Данка.

— И шпион,— ответил самым спокойным тоном Омнепотенский.

Термосёсов после этого слова взглянул на Омнепотенского острым, про-

[1*] собеседников (*франц.*).

ницательным взглядом, каким он с самого приезда сюда не смотрел еще ни одного раза.

— А вы почему это знаете, что он шпион?

— Как почему, он сам сказал.

— Да,— протянул Термосёсов,— *сам*: — ну это, батюшка... Да, впрочем, при каком же это случае он вам сказал сам?

Омнепотенский передал известный нам разговор его в саду с Валерьяном Николаевичем и Серболовою[1*] и заключил:

— Я это выпытал.

— Молодчина,— похвалил Термосёсов,— двух сразу открыл! — и острый взгляд его мгновенно уступил место веселой улыбке.

— Нет-с, не двух, а я их несколько открыл здесь. Тут и Ахилла диакон шпион,— тоже сам проговорился,— и Туберозов.

— Ай да молодец, сколько он их открыл! — крикнул Термосёсов, хлопнув с насмешкой по плечу Омнепотенского.

— И это еще не все-с. Почтмейстерша — тоже,— она письма распечатывает!

— Распечатывает!

— Да-с; это всем известно.

— Молодая она?

— Нет, у нее дочки взрослые.

— Замуж сбывает?

— Они дуры,— сказала Данка.

Термосёсов тихо крякнул, как будто в нем, как в каком-то механизме, соскочила какая-то отметка, и продолжал дальше:

— Ну, а еще кроме, кто тут водится? Лекарь, разумеется, есть?

— Есть, да дурак,— отвечала Данка.

— Больше лгун,— несмело проговорил Омнепотенский.

— Как, лгун, на кого он лжет?

— Он все на себя,— отвечал Омнепотенский.— Вот еще недавно... он физиологии не знает и говорил, будто один человек выпил вместо водки керосину, и у него живот светился насквозь[111]. Ну разве может живот светиться?

— Ну а из дам, что у вас попригоднее?

— У нас всё франтихи,— отвечал Омнепотенский.— Ни одна ничем не занимается, кроме Дарьи Николавны.

— А ты молодец, что не обчекрыжила волосенок,— заметил Термосёсов Данке,— в Петербурге это брошено, но у вас в губернском городе пропасть я видел. Не знают, дурочки, что нынче ночные бабочки этак нигилисточками ходят. Ты не делай этого!

Омнепотенский был немало сконфужен этим переходом Термосёсова с Данкою на "ты" и со скромностию, стремящеюся закрыть чужую ошибку, заговорил:

— Есть здесь Меланья Ивановна Дарьянова, Валериана Николаевича жена, она, впрочем, только очень хороша собой.

— Да у вас вкус-то хорош ли? — спросил Термосёсов.

— Это все говорят.

— Любит, чтобы за ней ухаживали?

— О, еще бы,— отвечала с презрением Данка,— в том все ведь и заботы.

[1*] Этот эпизод, повествующий о разговоре Дарьянова, Серболовой и Омнепотенского, в рукописи "Божедомов" отсутствует, его нет и в напечатанной в "Литературной библиотеке" первой части хроники, а также в "Чающих движения воды" (1867). В окончательном тексте "Соборян" эпизод вошел в завершающие главы (9—13) первой части.

— Любит?

— Страшно.

— А мужа любит[1*]?

— Я ее об этом не спрашивала,— сказала Данка.

— Не спрашивала! А ты как думаешь, если я за ней вздумаю поухаживать? Ты мне поможешь?

Данка почувствовала, что она с величайшим удовольствием плюнула бы в лицо своему просветителю, но — удержалась. Омнепотенский же глядел то на Бизюкину, то на Термосёсова, как остолбенелая коноплянка, и в матовых голубых глазах его светились и изумление, и тихий, несмелый упрек Данке.

Термосёсов же, получив определение всего общества, в котором ему предстояло ориентироваться, немедленно прервал столбняк Омнепотенского, сказавши ему:

— Ну а расскажите же мне теперь, из-за чего же вы тут воюете и *как* вы воюете? — и получил от Омнепотенского подробное описание его ссор, побед и поражений. Термосёсов потеребил и помял в пальцах свой нос и сказал:

— Да; так вот он каков, этот Туберкулов!

— И представьте, у него такое твердое положение, что я вот вам еще расскажу, что было третьего дня вечером и сегодня.— И Варнава рассказал свою историю с Данилкой и потом историю Данилки с Ахиллой и добавил:

— Вот извольте видеть, ничего нельзя сделать. Сегодня же они опять все за Туберозова. Я сейчас шел к Дарье Николавне мимо мещанской биржи, это у нас так называется место, где мещане на берегу валяются,— так они меня просто чуть не съели. Вы, говорят, Варнава Васильевич, нас всегда так. Ребят, говорят, наших в училище смущаете, их за это порют, а теперь Данилу до такого сраму довели... Ну и начинай опять все наизново.

— Все наизново, брат, все наизново,— сказал Термосёсов.— А оттого-то у нас так ничего и не выходит, что преемственности нет, а всё как в кайдановской истории[112]: каждый царь царствует скверно; наследник воцаряется мудрецом и исправляет ошибки, а сам опять все поведет еще хуже, и так все до последнего. Но пора все это взаимное исправление бросить. У тебя, Дана, есть дети?

— Есть,— отвечал за нее Омнепотенский.

— Мальчуганы или девчурки?

— Два мальчика, две девочки,— отвечал Омнепотенский.

— Эк ты плодовитая какая! Гляди, воспитывай просто, без Песталоцци и всех этих педагогических авторитетов: пороть да приговаривать: служи, каналья, служи да выслуживайся. Пока еще вся премудрость в этом.

— Но девочкам еще негде и служить,— заметил Омнепотенский.

— Да, ну чего нет, про то и не говорим, а кто может, те все должны.

— Только позвольте же,— с неизменным почтением и робостью загово-

---

[1*] Зачеркнутый вариант продолжения диалога:

«— По-казенному.

— А как думаешь, если я за ней вздумаю поухаживать, что, я ее ухожу или нет?

Несмотря на всю беззастенчивость Бизюкиной, она все-таки была скандализирована такой развязностью Термосёсова и опять подумала: “Ах, в самом деле, как это трудно, как трудно, как трудно себя ко всему этому приспособить, но тем не менее это нужно”,— и, потому что это нужно, Данка спокойно отвечала:

— Может быть, не знаю.

— Ну, а впрочем, если неустойка, ты мне поможешь,— добавил Термосёсов».

рил Омнепотенский,— что же... служить разумеется... это понятно, но ведь чем же от этого дело подвинется;

— А вот оно как подвинется. Ты сколько лет воевал с этим своим Туберкуловым: много? А что взял? — ничего.

— Потому что невозможно.

— Нет, потому что уменья да власти не было, а я тебе скажу, что возможно.

— Нет-с; невозможно.

— Фу ты черт возьми, вы меня просто разохочиваете пойти на эту вашу менажерию[1*]! Где бы это мне поскорее посмотреть на них в сборе, в настоящем параде?

— Нынче к этому есть отличный случай, только нельзя им воспользоваться,— сказала Данка.

— А какой это случай,— осведомился Термосесов.

— Рожденье нынче нашей городничихи.

— Ну.

— Там все будут.

— И Туберкулов?

— Непременно.

— Там будут и Плодомасов, и Туганов,— вмешался Омнепотенский.

— А это что за гуси?

— Туганов — предводитель с огромным влиянием на дворянство и ссорится с губернатором.

— С губернатором! — воскликнул Термосесов.

— Да-с, с здешним губернатором,— отвечал Варнава.

— А...— протянул Термосесов.— Ну так что ж, пойдем туда?

Данка была в затруднении и после многих колебаний выразила, что она решительно не знает, как ввести на сегодняшнее вечернее собрание Порохонцевой незнакомого и только что прибывшего человека и еще, если бы это был сам судья Борноволоков... Ну и так и сяк; почтенная должность, да и новинка, а то письмоводитель!.. Положим, что этот письмоводитель, конечно, гораздо важнее всякого судьи, по крайней мере, он таким представлялся Данке. Но непросвещенная чернь уездная поймет ли это и оценит ли?

Термосёсов с делающею ему честь прозорливостью понял затруднение своей хозяйки и сказал ей:

— Ты, пожалуйста, не стесняйся, я эти правила игры-то сам знаю, что так неловко. А ты напиши ей, что к тебе приехали гости. Что судья нездоров с дороги и хочет покоя, а я скучаю, что ты, как любезная хозяйка, бросить меня одного не можешь и потому не можешь придти. Увидишь, что часу не пройдет, как получишь ответ, что и тебя зовут и меня вместе с тобою. Вот и будет и ловко! Садись пиши.

Данка встала и беспрекословно исполнила его просьбу, а через полчаса, проведенные Термосёсовым в дальнейшем продолжении экзамена его новых учеников, Ермошка явился с письмом от Порохонцевой, которая, как будто по приказу Термосёсова, действительно приглашала Дарью Николавну пожаловать к ней вечером вместе с ее новым гостем, г. Термосёсовым.

— А что? — воскликнул Термосёсов, когда ему прочитали записку.— Эх вы! А еще всё понимать хотите? Вас надо учить и золою золи́ть, и бу́чить, и му́чить, да как придет время вас из бука вынимать, так вот тогда вы станете что-нибудь понимать[113].— С этим он решительно встал и, направляясь к выходу из комнаты, сказал Данке:

[1*] От французского “ménagerie” — зверинец.

— А ну вели-ка давать обедать, а то недалеко уж и до вечера[1*].

За обедом не произошло ничего замечательного: судья пришел молча, ел молча и молча ушел; Термосёсов поучал и замолк, Омнепотенский жаловался. Так все и кончилось, а после запоздавшего обеда тотчас настало время идти к Порохонцевым.

XII

Обед Данки так запоздал, что сама Бизюкина едва успела принарядиться для порохонцевского вечера. Она и два ее кавалера — Термосёсов и Варнава — вышли втроем ровно в восемь часов вечера. Бизюкин еще не возвратился домой, а судья Борноволоков, в маленьком пиджачке и серых гарибальдийских шароварах с синими лампасами, остался один в своей комнате и тотчас по уходе Термосёсова сел писать письма.

В группе, отправившейся на вечер к Порохонцевой, предводителем была не Бизюкина и уж, конечно, никак не Омнепотенский. Вел этих людей Термосёсов. Он был теперь довольно опрятно одет, гладко причесан, имел на голове синюю полувоенную кепку и шел бодро, важно, держа правой рукой за руку Данку, а левой Омнепотенского, и говорил:

— Смотрите же, весть себя по-умному, а не по-глупому, как можно умнее и только не портите мне, а я уж вам покажу, как надо делать. Там, стало быть, будут все те, о которых я слышал.

— Все, кроме комиссара Данилки,— отвечал Омнепотенский.

— И тот будет, он всегда у них на посылках,— поправила Данка.

— Ну вот и прекрасно: ориентируемся, осмотримся и

Ура на трех ударим разом,
Не даром же трехгранный штык
Ура отгрянет за Кавказом
Ура смирится пашалык[114]. —

Перед лихой тройкой этой дорога мало-помалу исчезала, и наконец во всем мирном великолепии тихого летнего вечера выплыл перед ними неизящный казарменный дом старогородского городничего. Двери парадного подъезда дома, обыкновенно запертые, были теперь отворены настежь, и из окон второго этажа несся веселый говор множества гостей; кто-то пел куплеты, и чьи-то головки и головы поминутно выглядывали из окон и свеши-

---

[1*] Далее зачеркнуто: "<...> Термосёсов исчез в передней, и его не было около получаса. В течение этого получаса Данка хлопотала и бегала по хозяйству, стараясь не ударить себя лицом в грязь обедом, который вчера был заказан на спартанский манер, а нынче оказалось, что спартанский-то манер рутина. К сожалению, Данка вспомнила об этом только сию минуту, когда исправить это не было уже никакой возможности. Приходилось даже самый суп для Борноволокова только еще заказывать, и поэтому обедать нельзя было подать раньше полуторачаса. В это время Данка старалась не показываться на глаза своему гостю и толкалась по разным углам, изредка попадаясь на глаза только Омнепотенскому, который, расхаживая в это время по гостиной и зале, всякий раз при встрече с хозяйкой осторожно брал ее за локоть рукава и, указывая пальцем на картину или другую какую-нибудь подобную вещь, спрашивал шепотом:

— А это можно?

— Можно,— отвечала Данка.

— И это можно?

Данка и второй, и третий раз так же нетерпеливо отвечала:

— Можно, можно.

— Стало быть, все возможно?

Рассерженная Данка посмотрела уездному нигилисту в глаза и отвечала:

— Уж если вы возможны, стало быть все возможно"

вались вниз за подоконник. В городническом доме ждали петербургского гостя, и он вступил сюда невозмутимо и спокойно, втроем с надеждою на трех ударить разом и с хладнокровием, которое не позволяло заподозрить в нем никаких коварных намерений.

Но как бы там ни было, наконец они сейчас встречаются: многоумный Савелий, вольтерианец Туганов, непомерный Ахилла и против них он, который и столь мал и столь велик; он, чье имя Термосёсов.

Но прежде чем описывать их встречу, вернемся на минуту ко всеми оставленному судье.

XIII

Лишь только Термосёсов с Данкою и Омнепотенским скрылись из виду, как сонный и развинченный судья Борноволоков внезапно оживился. Выйдя в залу, он заглянул в гостиную, в коридор, в спальню Данки, даже в переднюю, где помещался Ермошка, и убедившись, что ни в одной из этих комнат никого нет, присел к окну и зажег папиросу. Он курил эту папиросу неспеша и, по-видимому, с большим наслаждением: он ее не тянул, а муслил, муслил долго и даже опять как будто начал засыпать, но вдруг неожиданно вскочил, бегом пробежал в кабинет, вынул из чемодана складной бювар и, достав из него лист почтовой бумаги, начал быстро и с одушевлением строчить следующее письмо:

«Позавчера, перед самым выездом моим из губернского города к месту назначения, где я должен буду судить миру, я получил ваше письмо, Алла Николаевна. Конечно, вы можете не сомневаться ни в чем, в чем положено одному в другом не сомневаться. Брат мой у губернатора и нынче в той же силе, что было,— такой же он и службист, и богомол, и постник, ядущий единыя акриды. К участию в обществах благотворения и к устройству их у него охота та же самая. Организация в их обществах еще слепая, но в одно, которым заведует брат, именно в “Общество обремененных”, мне удалось ввести через него кое-что из порядков петербургского общества “Непокрытых”; но надо смотреть и быть очень осторожным. Я попал сюда вовремя и как бы нарочно к случаю: месяц, что я, выехав из Петербурга, прожил в своем губернском городе у брата, я перезнакомился со многими из властных лиц и открыл один очень опасный союз. Не могу, впрочем, сказать, как велико это общество, но оно чрезвычайно опасно. Группируется это здесь престранно... около одного заведенского попа, человека не без образования, но крайне вредного. Он прежде был ревностный участник всех сборов и обществ, но с год тому вдруг отстал и написал книжку “Суть дела” Здесь он представляет деятельность общества, не достигающего целей и даже профанирующего их, и между прочим в одном месте прямо написал, что “эти общества, сами себе требующие пособия, суть современная меледа и выдуманы как бы для того, чтобы отвлекать добрых и благородных людей русских от помышления серьезного о нестерпимых нуждах страны. Все это,— продолжает он,— представляется комедиантским отведением глаз от настоящего дела, с целью направить внимание и благороднейшие порывы вникающих в общественные нужды людей на бесплоднейшую вздорность[1*]. А кому это нужно?” И тут, не отвечая на свой вопрос прямо, делает, однако, вот какую

[1*] Далее зачеркнуто: “или, скажу яснее, на профанацию милосердия. Время исследовать: наше ли это местное фарисейство или, иногда поневоле вспадает на ум, не нагадали ли это нам от тех, кому нужно, чтобы благороднейшие порывы русских людей служили, как я сказал, бездельной меледе и убивали самую христианскую идею”

вылазку (чего ни за что не вообразите даже) — делает прямой намек на нас. “Слыхали,— говорит,— мы, что два петербургские общества на собираемые посредством лотерей русские деньги оказывают вспоможение общей революции и полякам” Здешний цензор, как только поступила к нему эта рукопись, доставил ее к брату моему, а этот,— христианнейшие чувства и гордость которого возмутились приведенной оценкою членов благотворительных обществ, и сочинение это запрещено[1*]. Цензора этого фамилия Баллаш — не граф, а просто Баллаш. Он не богат, и ему хочется получить хоть небольшую аренду и попасть в Польшу. Устройте, пожалуйста, через вашего благоверного старца и то и другое. Это вам не будет стоить никакого труда, а цензор нам постоянно пригодится. За патриотами надо смотреть в оба; а следовательно, надо и беречь, и ласкать тех, кто поставлен для этого присмотра. Пожалуйста, прошу вас, поощрите этого цензора Баллаша. Чинов ему не надо: чины и звания у него есть, а денег, *денег ему нужно*, и пусть ваш старик откуда хочет откопает их: ему нет ничего невозможного, кроме невозможности вас не слушаться. И кроме того и другая просьба, которую он тоже исполнит, если вы его хорошенько проберёте и не дадите ему целовать себя, пока все сделает. Дело вот в чем: здесь Термосёсов! Довольно этого или нет? Ну, так слушайте: он здесь, он при мне, и мне нет никакого средства сбыть его. Сей бесценный ваш секретарь и делопроизводитель ваших обществ после открытия недочета в лондонской кассе странствовал всюду; обобрал Соньку Торгальскую, которая ему попалась в руки в Петербурге, и, бросив её, теперь взялся за меня во имя ваше. Дело вот какое: он *вынудил* меня взять его к себе в письмоводители. Я ему давал денег, чтобы он ехал назад в Петербург, но он ни за что не хочет больше литераторствовать и говорит то же, что и все: “служить и служить” Вы всё были рады отдать, чтобы освободиться от Термосёсова,— то же самое и я, но я приношу жертву, и он у меня теперь. Сбыть его и провести невозможно: он умен и практичен как черт, и в две недели, что он со мною, я уже забыл, что я человек, и чувствую себя щенком, прикованным к медведю. Он и служит делу, и смеется над ним, и даже угрожает ему: одним словом я не знаю, *кто он*? Когда я сказал ему о воровстве из нашей лондонской кассы, он слушал, ничего не смущаясь, и вдруг распахнул окно на площадь и как можно громче запел:

“Господа!
Все сюда!
Я все тайны знаю”

Народ сунулся, а он спрашивает меня: не шепнуть ли им, что общество “Радушье” с своих лотерей деньги полякам отдает? Я обомлел; но он спросил: или, говорит, черт с ними,— скоро на место поедем? Я отвечал — *да*, и тогда он, показав людям язык, окошко захлопнул. Надо знать, что это не Петербург и что, закричи он здесь на базаре из окошка,— тут городовые не спасут. Прошу вас: устройте Термосёсова как можно скорее на службу. Он мещанин и не имеет прав служить, но ваш муж все может. Вы этим и старца своего сбережете, потому что ему неловко быть замешанным с нами, а узнав про вас, и его не похвалят. Между же тем Термосёсов на службе ни себя, ни вашего превосходительства не уронит. Термосёсов рожден для службы и ко мне так неотступно почтителен, что я в две недели, что он со мною, едва выбрал эту единственную минуту, чтобы сообщить вам свое несчастье и просить его скорее спрятать. Термосёсова отлично приставить, например, к тому, кого нужно до-

[1*] Так в подлиннике. Лесков создал несколько редакций письма Борноволокова и не завершил работу над этой фразой.

ехать, и он даже будет очень полезен... Я, оставаясь с ним в одной комнате, только лежу с закрытыми глазами, а не сплю,— он, если нужно ему, зарежет. Спасайте от этого асмодея и себя и вашего Борноволокова»[1*].

Судья сложил письмецо, положил его в конверт, запечатал и надписал: “Ее превосходительству Лалле Петровне[2*] Коровкевич-Базилевич. С-Петербург”. Обозначив улицу и номер дома, судья налепил марочку, положил

[1*] Из окончательной редакции хроники Лесков исключил полный текст письма, сохранив его краткий пересказ (см.: IV, 215). Приводим зачеркнутый вариант письма Борноволокова: «Алла Петровна! Я уже на месте и завтра вступаю в свою должность; но на дороге в нашем губернском городе меня изловила ужасная неприятность. Здесь я должен был пробыть некоторое время у брата и здесь как раз налетел на Термосёсова (вы, конечно, помните его, вашего бесценного секретаря по обществу “Русское радушье”, который поддерживал вашу деятельность в газетах [это тот самый корректор, с которым мы во время оно имели необходимость якшаться. После различных треволнений он поссорился со своей петербургской редакцией]. Живучи последний год за границей, я потерял его из вида, а в последнее наше свидание вы мне о нем ничего не сказали. Я нашел его в состоянии самом бедственном: он уже с полгода бросил работать в маленькой газетке, при которой ютился, и приютился к некоей барышне Софье Валюжник, помните, которую у нас считали некогда очень богатой и которая подписывала векселя этому ростовщику-литератору, что жил на Вознесенском проспекте. Дела ее по этим векселям приняли самый плохой оборот одновременно с термосёсовскими, и Термосёсов склонил ее ехать в деревушку и заняться хозяйством, и сам сюда с нею приехал, но, как в деревушке было скучно и она уже оказалась неблагонадежною к долгому удержанию ее в собственности, то они ее продали и переселились в губернский город. Здесь они с остальными деньгами от имения открыли фотографию, а потом, когда это не пошло,— швейную, но и швейная у них не заладилась отчего-то, и они завели кухмистерскую, но и это неудачно, потому что здесь все обедают дома. Чем Термосёсов пробивался, последнее (фраза не дописана — *О.М., Е.Ш.*)

Термосёсов встретился со мною и во имя прежнего знакомства и деятельности, пожелал, чтобы я приютил его к себе в письмоводители. При этом он свое фотографическое заведение продал и расстался с барышней, купив ей два корыта для учреждения прачечного заведения. Вы, конечно, помните, что я никак не мог поступить иначе, т.е. не мог отказать Термосёсову, потому что и моя собственная карьера да и судьба очень многих людей, которыми стоит подорожить в известном отношении, находится в его руках; но в то же время вы, вероятно, знаете и Термосёсова и можете себе представить, потому что вы знаете моего брата Петра, влиянием которого я все-таки попал на должность старогородского мирового судьи, потому что благомордое дворянство его боится. Брат — человек старого закалу, верующий, что прежде всего должна быть тишь, гладь и благодать. За Термосёсова же как вы поручитесь, что он сделает? Видите, прошел все состояния: и корректор, и литограф, и фармацевт, и фотограф, и кухмистер, и прачечник, а теперь вот юрист. Скажите, пожалуйста, как мне быть с ним? Я на вас сильно рассчитываю. Я буду терпеть его долго: столько, сколько мне необходимо, но вы обо мне позаботьтесь. Теперь русифицируют Польшу, не имеется у вас там влияния, и прямого и через Бачманова? Что вам стоит! Сделайте милость, ведь можете его послать учителем. Но только дайте ему хорошее место, если можно, хоть (судья написал 1000, потом переделал из второго нуля пять, вышло 1500; потом подумал, зачеркнул и написал 2000, потом подумал еще секунду и решительно написал 2500). Да, 2500,— продолжал он писать,— иначе он не пойдет, и с ним тут придется целый век возиться, держа его на своей опеке. Я, ваше превосходительство, в крайнем случае вынужден буду препроводить его к вам. Я знаю, что при этом предстоят некоторые трудности, потому что Термосёсов из податного звания, нигде не окончил курса. Но с вашим влиянием, при снисходительном взгляде Бачманова и при исключительном положении, в которое поставлен польский край, я полагаю, вы в этом не встретите особенных затруднений. Но во всяком случае, встретите или не встретите — все-таки извольте это, пожалуйста, сделать. Он же, я вам скажу, и дорогой человек для Польши. Его можно послать и к немцам, но особенно он будет на своем месте в Польше, потому что едва ли кто, кроме его, может быть таким верным исполнителем ваших желаний и предначертаний Бачманова. Лучшего русификатора там нет, да и быть не может. Его можно послать учителем русской словесности в гимназию, например; он будет служить отлично, иначе я в самом деле дам ему денег на дорогу и уговорю его ехать в Петербург, с тем, чтобы он по приезде явился к вам, так как вы на вашем высоком месте, *можете и желаете быть ему полезным* (так в тексте — *О.М., Е.Ш.*). Будете тогда в более затруднительном положении, чем если теперь убедитесь в необходимости его устроить подальше с глаз — в Польшу, где он вдобавок ко всему этому еще отлично и делу послужит. Ваш Борноволоков».

[2*] Первоначально (см. выше) имя героини — Алла Николаевна.

письмецо в карманчик, взял свой аглицкий шлычок, осторожно сошел с крыльца и вышел на улицу. У первого встречного мужика, который ему попался на углу, он спросил:

— Где здесь почтамт?

— Что-о? — спросил его с удивлением мужик.

— Почтамт где, почтамт, я вас спрашиваю про почтамт?

— Не разумею, про что говоришь,— порешил мужик и пошел прочь.

Борноволоков отнесся к проходившей мещанке. Та со всею предупредительностью утомленной молчанием гражданки указала, куда и как надо идти, чтоб отыскать почту.

— На почту,— поясняла она,— *почту*, милостивый государь, потому у нас прозывается почта, а не почтан.

Борноволоков поблагодарил.

Почта была отыскана, но это черт знает, что за почта. Где же здесь ящик? Вывеска есть, что это почтовая контора, а ни подъезда нет, ни ящика не видно. Борноволоков подошел к воротам. Двор пустой, обширный, заросший травою, а вот он и подъезд: высокое, высокое дощатое крыльцо с серым тесовым навесом. На этом крыльце вон он и ящик. Борноволоков качнул головою и подумал: "необыкновенно, как это удобно"

Он сделал несколько шагов на двор и остановился: он увидал, что на крыльце у ящика лежала огромная черная собака, которую сосали шесть разношерстных щенков.

— Экий порядок,— подумал Борноволоков, испугавшись собаки, и уже хотел потихоньку возвратиться назад, но, обернувшись, увидел, что на него наступает сзади рослая белоголовая корова.

— Это черт знает что такое! Эта откуда взялася?

За воротами ли она стояла, или взошла с улицы, но, очевидно, она была очень заинтересована Борноволоковым и прямехонько шла на него, качая в такт каждому своему шагу белою головою и глупо светя своим бессмысленным взглядом. Шаг один, еще — и она забодает.

Борноволоков знал, что коровы бодаются, но почтмейстерская корова его не ударила: она только сдернула с него за ленту его шотландскую шапочку и стала со вкусом ее пережевывать.

Положение Борноволокова было самое затруднительное: у него, как говорится, впереди была оплеуха, а сзади тычок: тут пес, там корова. Из этого положения вывело его появление на дворе придурковатой бабы, почтмейстерской коровницы.

— Матушка! — закричал ей Борноволоков.— Подите сюда, подите!

— Вы чего? — не спеша запытала баба.

— Вот письмо мне нужно в ящик,— отвечал Борноволоков.

— Кладите, это можно, можно,— разрешила баба.

— Да я... собаки боюсь.

— А!.. Наша собака ничего... она не на всякого...

— Все-таки возьмите, пожалуйста, письмо, и вот моя шапка... видите? — Он печально указал на корову, которая уже смяла во рту всю его шотландку.

— Ах ты, жевака этакая подлая! Тпружи, подлячка, тпружи! — закричала она на корову, вырвала у нее изжеванный колпачок и, подав Борноволокову, проговорила:

— Эт-та такая тварь: все сжует; кого достанет. Намнясь у пьяного казака на шапке весь мушкант съела, да ведь что ж ты с ней заведешь делать... А собака ничего... Она редко кого кусает.

— Ну а как она меня-то именно и укусит? — сказал, гневлясь и разбирая остатки своего колпачка, Борноволоков.

— Нет, она только кто ей не понравится; а вы ее так по имени: Белка, мол, Белка! Белка! Да хлебца,— она и ничего.

Судья нерешительным шагом подошел к ящику, опустил письмо и, сбежав назад с почтового двора, и плюнул, и проговорил:

— Вот это называется полагаемся на здравый смысл нашего народа!.. Скажите, пожалуйста: заехав сюда в эти трущобы, извольте осведомляться, как какую собаку зовут, да еще заботиться о том, чтобы ей понравиться! Вот тебе и "*проще,* говорят, жизнь в провинции" Как раз проще! В Петербурге я... да что ж: я самого Коровкевича-Базилевича не знаю, как зовут, да и знать не хочу, а... Да, впрочем, и очень рад и очень хорошо еще, что я этой собаке понравился, а то мне бы не скрыть своего письма от Термосёсова. Я буду впредь носить с собой в кармане булку для этой Белки и уж добьюсь до того, что совсем ей понравлюсь. Это необходимо.

Судья вернулся в пустой дом Бизюкина в то самое время, когда Термосёсов с Варнавой и Данкою входили с торжественностию в апартаменты городничего Порохонцева.

М. Стебницкий

(*Окончание третьей части в следующей книге*)[1*].

Часть третья

СЕЯТЕЛИ И ДЕЯТЕЛИ[2*]

I

Прежде чем Термосёсов и компания пришли к Порохонцевым, Туберозов уже более часу провел в уединенной беседе с Тугановым. Они сидели двое в небольшом кабинетце хозяина и переговорили обо всем, но результаты этой беседы, по-видимому, не приносили протопопу давно жданного утешения.

Туберозов жаловался Туганову на то самое, на что он жаловался уже читателям в своем дневнике, напечатанном в первой части этого романа[3*], а Туганов сам был расстроен досадами, вытекавшими из того же источника, но понимал дело иначе, чем Туберозов, и потому слушал его неохотно.

— Я,— говорил Туберозов,— ждал тебя, друг мой, страшно и даже до немощи. Представь себе: постоянно оскорбляемый, раздражаемый и расстроенный, я столь рассвирепел, что каждую малую глупость нынче услышу и дрожу от ярости и трепещу от страха, дабы еще при одной таковой — не вы-

---

[1*] Здесь заканчивается вторая сшитая тетрадь рукописного текста. Внизу последнего листа Лесков написал карандашом: "Всего 68 стр.=17 листов писаных, около *трех* с половиною печатных"

[2*] Этой частью открывается третья (последняя из дошедших до нас) тетрадь рукописи. Начиная ее, Лесков явно колебался — что отражено в непоследовательной правке,— продолжать ли в очередной тетради третью часть хроники ("Новаторы") или начать четвертую: написав сначала "Часть четвертая. Сеятели и деятели", Лесков затем занумеровал ее как третью, но сохранил новое название и начал вести новую нумерацию глав.

[3*] Далее зачеркнуто: "Он жаловался, что церковь гибнет, что нравы падают, как-то становятся и слабыми и шаткими и при этом позорно продажными, торговыми и мелкими. Он выражал тревожные опасения, что при этих симптомах как бы лучшие учреждения и лучшие реформы не обратились против лучших же людей"

"БОЖЕДОМЫ. ПОВЕСТЬ ЛЕТ ВРЕМЕННЫХ"

Часть третья (первоначально — четвертая). "Сеятели и деятели"

Рукописная копия с правкой Лескова. Тетрадь третья. Лист 156

Густо зачеркнуто: "Продолжение третьей части. Новаторы"

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

рвался из своей терпимости и не пошел катать всех их, каналий, как они заслуживают.

— Ну вот, стоит с кем связываться! — отвечал Туганов.

— Друг! — заговорил, взявши за руку Туганова, Савелий, причем голос его принял то тихое осторожное выражение, которым честная женщина решается иногда высказать нанесенное ей кровное оскорбление. Это тон, в ко-

тором слышится: "пусть слышат и пусть не слышат".— Ты говоришь "*не стоит*" Согласен с тобою и не обижаюсь, но знаешь, знаешь... если тебя... каждый день... как собачонку... узы́, узы́, кусай...

Старик не удержал слезы и, вздохнув судорожно полной грудью, заговорил громче:

— Этак ведь, друг мой, семьдесят лет прожил, и все думал, что увижу что-нибудь лучшее, и что же вижу? Сознаюсь, и откровенно сознаюсь, что много вижу лучшего, но... не для меня! То есть извини, пожалуйста; я не так выразился: не то что не для меня, а не для того, что мне всего дороже: не для освобождения и возвышения духа. Оковы рабства пали, а дух убитый не встает, а совесть рабствует[115]. Скажи, пожалуйста: какое это такое наше время, когда честный человек только рот разинет, ему в самый же рот и норовят плюнуть, а смутьяны всякие как павлины гуляют и горгочат, и всему этому якобы так быть надлежит?

— Комическое время[116],— отвечал Туганов, поворачивая в руках круглую золотую табакерку.

— Школы, школы стране нет! — заговорил вдруг, весь оживившись, Туберозов.

— А ты тургеневский "Дым" читал? — неожиданно перебил его Туганов.

— Читал.

— Что ж? Как?

— Что ж? да все правда.

— Да я думаю, что правда. Эко генералы-то, какая прелесть[117]! Его там теперь, как приедет, принимать не будут... Я про Тургенева говорю.

— Да,— отвечал, не слушая, Туберозов.

— И ничего, таки ровно ничего в сокровищницу цивилизации и знаний нашей рукой не положено[118].

— Ну... государственный смысл... здравый смысл народа...

— Это, брат, не для мира, а для себя, да и то не заработано, а пожаловано.

— Да и школы нет! Нешколеный медведь только ломит,— ответил Туберозов.

— Да ведь тот же Тургенев тоже отлично сказал, что "русский человек и Бога слопает",— он его и слопает[119].

— Ну... Русь не безумна: один безумный говорит: "несть Бог"[120].

— Да, да, Соломон-то, брат, жил поюжнее нас с тобой.— Туберозов посмотрел на Туганова и спросил в некотором смущении и сказал:

— Это к чему же, позволь спросить?

— А к тому, что вера-то... нежная очень вещь... не по климату она нам, оттого и плодов ее нет.

— Пармен Семеныч, это слово жестоко!

— Да что же, душа моя, делать: я ведь это и не в раздражение и не в упрек никому! Ты смотри, у южных народов, у итальянцев или испанцев,— фантазия богатая и веры много; а у северных народов скудно на то и на другое, они и реальнее и меньше верят.

— Но тогда все-таки, если это уж так, то зачем же одной рукою креститься, а другою черту поцалуй посылать...— сказал обиженный Туберозов.

— Тоже реализм: "Богу служи и черта не гневи" Я с детства помню, когда народ жарче молится? Когда говорят "о великой и богатой милости"[121]. Хлеб, тулупы, да теплые избы на уме у него.

— Ты забываешь про раскол: его душили и жали за веру; а они ведь русские тоже.

— Да что ж раскол? Раскол упрямство, а вот перейдет он через ваши руки и тоже реалистничать начнет.

— Ну если вы всё это так признаёте, зачем же хитрить? На что шарлатанить? Этот же твой "просо-хлеб"[122] объезжает губернию, сам в соборы заходит да благословения принимает, а тут же Варнавок признаёт необходимыми на свете.

— Эти Варнавки, это их европеизм, это он их всё донимает. Европейцами хочется, чтобы их звали.

— А я думаю,— это просто... измена.

— А я думаю,— еще гораздо проще: это глупость.

— Во-от!

— Да, конечно. Из-за чего кто станет изменять? Вздор! Выгод им нет изменять, а так это вот на европеизм они уловлены, а не понимают, что этот европеизм для нас сегодня и вред, и глупость.

— Вот, вот, вот! и я тебе скажу, Пармен Семенович, что мне приходит в голову... что я себе решил, что против этого пора и ополчиться.

— И что же ты сделаешь, как ополчишься? — спросил Туганов.

— Да что, брат, сделаю? Конечно, я далеко стою в угле, из которого меня нигде не видно[1*]; но ведь не умрешь, так и не оживешь[123],— один пропадает, является другой на его место,— вот где надежда!

— Да, да, да! Вот тебя куда потянуло: пострадать захотелось?

— Порадеть душа жаждет.

— Ты, отец Савелий, маньяк.

— Ну еще что измысли!

— Да, конечно, маньяк. Ты цел сидишь, так тебе хочется, чтобы тебя стерли.

— Пускай меня сотрут,— что за беда такая?

— Да и сотрут,— сказал Туганов.

— Да и что же, братец, во мне: я уж и стар, и хил... жены, конечно, жалко[2*].

— Подожди лучше покуда,— сказал Туганов.

— Нельзя, дружище: в народе шатость большая.

— Оставь эти тревоги! у народа в сборе страшный умище, а что хаос велик,— ну,— из хаоса свет создан. Береги себя: шверноты своих берегут, и нам друг другом не надо транжирить[3*]. Дьявол хочет сеять нас как тисницу, и поодиночке, брат, и рассеет, а ты держись своего и надейся, на что царь надеялся, свободу подписывая. Понадеемся на смысл народа[124]. Погоди, он сам в премудрой тишине идет к хозяйству над собою. Его amis du peuple[4*][125] эти первые сметили и ударились к тем, для которых в просе виноград возят. Они будут чиновалить да подслуживаться, а земский ум складываться да крепнуть, да тогда и посмотрим кто кого. Дай срок и не торопись теперь под их суд попадать,— не поцеремонятся они.

[1*] Далее зачеркнуто: "но ведь скажи, пожалуйста, вон век-то древних христиан! Да даже в позднейшее вот время у раскольников... вот Аввакум, знаком чай?"

[2*] Далее зачеркнуто: "Да что, брат, делать-то? ведь очень беспокойно умирать будет, как почувствуешь, что не все сделал, что мог сделать.

— А что такое ты можешь, например, сделать,— спросил Туганов.

— Ополчусь.

— Каким оружием ты ополчишься?

— Словом. Ах... тем оружием, которым вооружен от юности моей и которым должен служить.

— Отлично,— сказал Туганов,— только знаешь ли что, отец Савелий, не была бы последняя вещь горше первыя.

— Нет, я знаешь как... Я это в большом размере хочу".

[3*] Далее зачеркнуто: "Их орава, а нас горсть. Будем делать, что можем, пока земля нас уразумеет и отдаст справедливость".

[4*] Друзья народа (*франц.*).

— Не согласен,— сказал протопоп.— Правда кривде сроку давать не обязана.

— Ну свернут твоей правде голову.

— Мне разве,— сказал Савелий,— а не правде. Я в то верую, что[1*] правда запечатленная святее выжидающей и крепче.

— Да тебе что, неотразимо уж хочется пострадать?

— Я порадеть желаю.

— Да как же ты будешь радетельствовать? Что ты, собственно, хочешь делать?

— Не посердись, брат, я еще пока все это содержу в секрете... Так, не то что не хочу сказать тебе, не то что суеверие, а так... привык я... что если одобрения не предвижу, то боюсь отговора и люблю все про себя содержать, пока сделаю. Одно скажу: хочу порадеть, как присягал и как долг мой предписывает мне.

— Ну что ж, не я же стану тебя отговаривать долг свой исполнять! Порадей! — отвечал Туганов.— А теперь,— продолжал он, поднимаясь,— будет нам с тобой здесь секретничать как с акушеркой. Пойдем к хозяевам, я долго ведь не посижу, часок, не более, да и в дорогу. Эх! — крякнул он,— обломал мне этот Петербург бока: мычься, мычься по всем, да выслушивай, что сам сто раз лучше их знаешь, и возвращайся опять домой, с одним открытием, что “просо-хлеб” Надоело уж, брат. Кажется, рассержусь, брошу все и не стану служить.

— Нет, ты послужи,— отвечал, поднимаясь вслед за ним, Туберозов. Ответ этот он произнес грустно и пошел за Тугановым бодрясь, но чрезвычайно обескураженный.

Ему было досадно: он совсем не того ждал от Туганова. Болезненно настроенный всеми так долго раздражавшими его мелочами, он жаждал уяснения себе своих недоразумений от Туганова, и все это разрешилось приведенным нами разговором... разговором, который хотя прямо не оскорблял[2*] Савелия, но из которого все-таки выходило, что заботы его и беспокойства не что иное, как нетерпеливая суета и сам он маньяк.

В таком состоянии духа Туберозов об руку с Тугановым вышел из своего уединения и предстал гостям Порохонцевой.

II

Термосёсов с Варнавой и Данкой пришли к Порохонцевой в то время, когда Туганов с Туберозовым сидели в маленькой гостиной.

В это время гости располагались в доме Порохонцевой следующим образом: несколько уездных учителей, барышни, лекарь и еще кое-кто по мелочи расхаживали в зале, присаживались, приподнимались, пробовали петь, пробовали играть. Лекарь, по обыкновению, лгал: нынче он рассказывал,

---

[1*] Далее зачеркнуто: “Русь — земля спасенная, да только не хочу, чтобы она спасения этого ужасно долго ждала. Мне, брат, сдается все, что надобно запечатлеть идею перед народом, что надобно, чтоб ему пророк пришел оттуда, откуда его учат ждать только одного вреда”

[2*] Далее зачеркнуто: «и не печалил Савелия, но и не мог его порадовать. Все тот же Туганов, каким знал его Савелий всегда, и все ту же силу он в нем чувствует, которую чувствовал всегда и на которую надеется. Но дух? Дух в нем не тот, какой, по мнению Савелия, приличествует времени и обстоятельствам страшным и благим, и вредным, и утешительным, и прискорбным. Тому времени и тем обстоятельствам, которые на своем тяжелом языке Савелий называет себе “печально утешительным временем”. Разговор с Тугановым его даже немножко успокоил, но успокоил именно очень немножко. Настолько, насколько умного опасно-больного успокаивает ответ — что это малость — иногда и пройдет».

как, еще будучи студентом, вылечил одной генеральше зубы. Разговор этот шел по поводу жалобы одной из дам на зубную боль и по поводу выраженного сомнения в том, что зубная боль может быть когда-нибудь излечена, “пока сама пройдет” Лекарь с этим не соглашался.

— Это пустяки,— говорил лекарь,— я в одну минуту могу вылечить и очень многих в Москве в одну минуту и излечивал. Были такие больные, что уж ко всем ездили. Черт знает, каких профессоров не перепробовали: и Захарьина, и Иноземцева[126] и всех, всех до последнего,— а потом — ко мне — я и вылечу. Я такой рецепт знаю,— одну каплю капну и сейчас пройдет.

Какой-то скептик догадался заметить, что ведь и профессора тоже, вероятно, могут знать этот рецепт.

— Ну нет,— я его в старых книгах нашел,— отвечал лекарь.

— Симпатия верно,— спросила почтмейстерша, одиноко сидевшая у двери, которая вела из залы в гостиную, откуда чрезвычайно удобно было одним ухом слушать разговор, который вели в зале, а другим разговор, который вели в гостиной.

— Нет. Это скорей для многих антипатия, а не симпатия,— отвечал, весело замотав русой головою, легкомысленный лекарь.— Это капли, но если их Захарьину или Иноземцеву в руки дать, они с ними тоже ничего не сделают.

— Отчего же так? — позволили себе усумниться несколько голосов.

— Да так. Если нижний зуб болит, так может лечить и Иноземцев, и Захарьин, а верхний они не могут.

— Отчего же они верхнего не вылечат? — спросила сама больная.

— А потому что это надо осторожно. Надо капнуть, а если капля с зуба сольется — смерть. А Захарьин, спросите его, разве он знает, как на верхний зуб капнуть?

— А вы знаете? — полюбопытствовала дама.

— Разумеется, знаю. За что ж бы мне и диплом дали, ежели б я ничего не знал? Мне в Москве одна генеральша говорит: “Можете мне на верхний капнуть?” Я говорю: “Могу. А вы,— спрашиваю,— можете меня слушаться?” — “Батюшка! — говорит,— что хотите, на все согласна” Я взял ее за ноги, в угле кверху ногами поставил и капнул, и стала здорова сейчас.

Некоторые дамы были этим скандализированы, другие просто смеялись, третьи сказали: “Фуй, как это можно!”

— Да вы чего это кричите: “Как это можно!” Я знаю уж, как это делать: я ей платье платком обвязал возле ног.

— Да ну этак, конечно, ничего,— отозвалась со своего наблюдательного поста почтмейстерша.

В это время и вошли в залу: Термосёсов, Бизюкина и Варнава Омнепотенский. Хозяйка случайно встретила их у самого порога и тем вывёла Данку из затруднения: как репрезентовать обществу Термосёсова.

Данку теперь занимала другая забота: как поведут себя Омнепотенский и Термосёсов перед Тугановым, перед которым сама Данка, зная его силу и власть, страшно робела.

Между тем Порохонцева, пожав руку Данке, приветливо протянула другую свою руку Термосёсову и сказала:

— Сердечно вам благодарна, что вы не поцеремонились и пришли по приглашению Дарьи Николаевны, а вам, Дарья Николаевна, бесконечно благодарна, что вы дружески привели к нам нашего нового согражданина.

Данку удивило, что Термосёсов в ответ на это поклонился очень низко, улыбнулся очень приветливо и даже щелкнул каблуками с совершенною

ловкостью военного человека. Если б в эту минуту заглянуть в глубину данкиной души, то мы увидели бы, что Бизюкина гораздо более одобряла достойное поведение Омнепотенского, который держал себя, следуя своей рутине: стоял, не кланялся будто проглотил аршин и едва мыкнул что-то в ответ на сказанное ему приветствие.

Случайно ли, или в силу соображения, что вновь пришедшие гости — люди более серьезные, которым неприлично хохотать с барышнями и слушать лекарские рассказы,— Ольга Арсентьевна провела Термосёсова и Омнепотенского прямо в ту маленькую гостиную, где помещались: Туганов, Плодомасов, Дарьянов, Савелий, Захария и Ахилла.

Бизюкина могла ориентироваться, где ей угодно, но у нее не достало смелости проникнуть в гостиную вслед за своими кавалерами, а якшаться с дамами она не желала и ограничилась тем, что села у другой притолоки той самой двери, у которой помещалась почтмейстерша. Сидя у притолоки, эти две дамы представляли нечто вроде двух полусидячих львов, каких древле ставили в Москве на парадных подъездах.

— Хотите подслушать? — сказала Данке с улыбкою почтмейстерша.— Здесь все слышно, о чем они там говорят, а ваше место еще лучше моего,— я здесь нарочно присела, чтобы меня не было видно, а вы смотрите, навскось,— видно.

Чтоб отделаться от почтмейстерши, Данка стала смотреть. Гостиная была узенькая комнатка, в конце ее стоял диван с преддиванным столом, за которым помещались: Туганов и Туберозов, а вокруг на стульях — смиренный Бенефисов, Дарьянов и уездный предводитель Плодомасов. Ахилла не садился, а стоял сзади за пустым креслом и держался рукою за резьбу, украшавшую его спинку.

Данка видела, как Термосёсов, войдя в гостиную, наипочтительнейше раскланялся и... чего, вероятно, никто не мог бы себе представить,— вдруг подошел к Туберозову и попросил у него благословения.

Больше всех этим был удивлен, конечно, сам Савелий: он даже не сразу нашелся, как поступить, и дал требуемое Термосёсовым благословение с видимым замешательством. А когда же Термосёсов хотел поцаловать его руку, он совсем смутился и, опустив одним сильным движением свою и термосёсовскую руку книзу, крепко сжал здесь внизу эту предательскую руку как руку наилучшего друга.

Так же Термосёсов пожелал получить благословение и от Захарии. Смиренный Бенефисов благословил *негилиста* ничтоже сумняся и, сам ничтоже сумняся, ткнул ему прямо к губе свою желтую ручку.

Термосёсов направился за благословением и к Ахилле, но этот, шаркнув ногой, сказал, что он дьякон. Они оба с Термосёсовым одновременно друг другу поклонились и пожали взаимно друг другу руки.

Ахилла предложил Термосёсову сесть на то кресло, за которым стоял: но Термосёсов очень вежливо отклонил это и поместился на ближайшем стуле возле отца Захарии.

Омнепотенский же, верный законам рутинной школы своей, отошел от этого кружка как можно подальше и сел напротив отворенной двери в залу.

Таким выбором места он, во-первых, показывал, что он не желает иметь общения с этим миром, а во-вторых, он видел отсюда Данку и она могла видеть его и слышать, что он скажет, а он собирался никому ничего не спустить и задать кое-кому добрую трепку.

Вступление Термосёсова с Омнепотенским в эту комнату и благословения, которые первый из них принимал от священников,— взяло относитель-

но очень немного времени, и прерванный прибытием их разговор продолжался снова.

Рассказывал что-то Туганов, и при входе новых гостей хотя не переменил темы своего разговора, но, очевидно, старался балагурить, избегая всякого так называемого тенденциозного разговора, способного возбуждать страсти и раздражать их.

III

— Да,— говорил он,— так мы и побеседовали вчера на прощанье с вашим владыкой.

— Не бедного ума человек,— вставил довольно равнодушно свое замечание Туберозов.

— И юморист большой. Там у нас есть цензор Баллаш — препустейший старикашка, шпион и литератор. Узнал он, что у вашего архиерея никогда никто не обедал, и пошел пари в клубе, что он пообедает. Старик узнал об этом как-то. Баллаш приехал к нему и сидит, и сидит, а тот ничего. Наконец в седьмом часу не выдержал Баллаш,— прощается. Архиерей его удерживает: "откушаемте",— говорит. Ну, у того уж и ушки на макушке: выиграл. Еще часок его продержал, а там и ведет к столу. Стал перед иконой да и зачитал,— читает, да и читает молитву за молитвой. Опять час прошел. "Ну, теперь подавайте",— говорит. Подали две мелких тарелочки горохового супцу с деревянными ложечками, да и опять встает: "Возблагодаримте,— говорит,— теперь Господа Бога по трапезе" Да уж в этот раз, как стал читать, так цензор не дождался, да и драла. Рассказывает мне это вчера и тихо смеется. "Ничего больше,— говорит,— не остается, как отчитываться от них"

— Он и остроумен и нрава веселого и живого,— опять сказал Туберозов, словно его тяготили эти анекдотические разговоры.

— Да; но тоже жалуется, как и ты: все скорбит, что *людей нет*: "Я, говорит, плыву по обуревающей пучине на расшатанном корабле с пьяными матросами[1*]. Помилуй Бог, на сей час бури хорошей: не одолеешь бороться"

— Слово горькое, но правдивое,— отвечал Туберозов, взглядывая исподлобья на Термосёсова.

Термосесов был весь слух и внимание.

— Да, впрочем, и у него нашлись исключения,— продолжал Туганов.— Про ваш город заговорили, он говорит: "там у меня крепко: там у меня есть два попа: один — поп мудрый, другой поп благочестивый"

— Мудрый — это отец Савелий,— отозвался Захария.

— Что такое? — переспросил, не вслушавшись, Туганов.

— Мудрый, что сказали владыко: это отец Савелий.

— Почему же вы уверены, что это непременно отец Савелий?

— Потому что...— начал было Бенефисов и тотчас же сконфузился, потупил голову и замолчал.

— Отец Захария по второму разряду,— отвечал вместо его дьякон Ахилла.

Туберозов укоризненно покачал Ахилле головою.

— Благочестно; — заговорил, смущенно глядя себе в колена, Захария,— они приемлют в том смысле... Не к благочестию, а потому что на меня никогда жалоб никаких не было.

— Да это и на отца Савелия никто не жаловался,— вмешался опять Ахилла.

[1*] Далее зачеркнуто: "И потопить их нельзя, да и с ними не знаешь, куда выплывешь. А трезвых взять негде, потому что кроме водки на корабле ничего для них не приготовлено"

— Да; да я сам ворчлив,— проговорил, выправляя из-под красной орденской ленты седую бороду, Туберозов.

— Ты беспокойный человек,— отозвался с улыбкою Туганов.— Этого у нас страшно не любят.

— У нас любят: хоть гадко, да гладко.

— Именно: пусть хоть завтра взорвет, только не порть сегодня пищеварения, не порть, не говори про порох. Дураки и канальи — все лучше, а беспокойных боимся.

Говоря это, наблюдавший за Туберозовым Туганов имел в виду, не раздражая его упорным ведением одного анекдотического разговора, потешить его речью более живого содержания и рассчитывал дальше не идти, а тотчас же встать и уехать.

Но это так не случилось. Омнепотенский давно рвался ударить на Савелия и только сторожил удобную минуту, чтобы впутаться и начать свои удары.

Минута эта наконец представилась.

— Да в духовенстве беспокойные — это ведь значит доносчики,— вдруг неожиданно отозвался Омнепотенский.— А религии если пока и терпимы, то с тем, что религиозная совесть должна быть свободна.

Туганов не поостерегся, он не встал сию же минуту и не уехал, а ответил Омнепотенскому.

Это опять было сделано для того, чтобы предупредить вмешательство в этот разговор раздраженного Туберозова: но это вышло неловко.

— В этом вы правы,— согласился с Омнепотенским Туганов.— Свобода совести необходима, и очень жаль, что ее нет еще.

— Церковь несет большие порицания за это,— заметил от себя Туберозов.

— Так чего же вы и на что жалуетесь? — живо обратился к нему давно ожидавший его слова Омнепотенский.

— В сию минуту — ни на что не жалуюсь, а печалюсь, что совесть не свободна...

— Это для всех одинаково.

— Нет: вам, например, удобнее мне плевать в мою кашу, чем мне очищать ее от вашего брения.

— Не понимаю.

— Не моя вина в том. Дело просто и очевидно: вы свободно проповедуете кого встретите, что надо, чтобы веры не было, а за вас заступятся, если пошептать, что надо бы, чтобы вас не было.

— Да, так вот вы чего хотите: вы хотите на нас науськивать, чтобы нас порезали!

— А вы разве не того же хотите, чтобы *нас* порезали?

— Господа, позвольте,— вмешался Туганов.— Вы, молодой человек,— обратился он к учителю,— не так понимаете отца протопопа, а он горячится. Он как служитель церкви негодует, что есть люди, поставляющие себе задачею подрывать авторитет церкви и уничтожать в простых сердцах веру. Так ведь, отец Савелий?

— Совершенно так.

— И конечно, ему очень досадно, что людям, преследующим свою задачу вкоренять неверие, дело их удается.

— Больше и легче, чем мне удается моя задача воспитывать в том же народе христианские принципы,— подсказал Туберозов.

Омнепотенский улыбнулся и отвечал:

— Что ж,— стало быть, народ не хочет вашей веры.

— Он ее не знает,— прошептал про себя протоиерей, а громко ничего не ответил.

— Он находит, что ему дорого обходится ваша вера,— продолжал поощренный молчанием Туберозова Омнепотенский.

— Ну, однако, никак не дороже его пьянства,— бесстрастно заметил Туганов.

— Да ведь пить-то — это веселие Руси есть[127] — это национальное, славянофилы стоят за это. Да и потом я беру это рационально: водка все-таки полезнее веры: она греет.

Туберозов вспыхнул и крепко сжал в руке рукав своей рясы. Туганов остановил его, тихо коснувшись до него рукою и, взглянув на Омнепотенского, сказал:

— Ну это вы очень ошибаетесь.

— Я гляжу на это с точки зрения рациональной, а не идеалистической.

— И я также гляжу с рациональной,— отвечал Туганов: — вера согревает лучше, чем водка: все добрые дела мужик начинает, помолившись, а все худые, за которые в Сибирь ходят,— водки напившись. Вы, вероятно, природный горожанин?

— Да,— отвечал Омнепотенский.

— Да; ну тогда это вам нельзя ставить и в суд, а вы спросите любого сельского жителя: кто в деревне лучший человек? — почти без исключения всегда лучший сын церкви: лучший христианин, лучший прихожанин.

— Впрочем, откупа уничтожены экономистами,— перебросился вдруг Омнепотенский.— Они утверждали, что чем водка будет дешевле — тем меньше будут пить[128].

— Что ж, экономисты ведь такие же люди, как и все, и могут заблуждаться.

— А между тем они с уверенностию отрицали всякую другую теорию, которая не их.

— Это тоже общий недостаток всех теоретиков, а в такие форсированные времена, какие мы переживаем, ошибаться и нетрудно.

— Старые времена очень хороши были,— с язвительностию заметил Омнепотенский.

— Всегда добро было перемешано со злом и за старые времена ратовать не стану. Уже они тем виноваты, что все плохое в новом режиме приготовлено долголетним старым режимом.

— Новые люди стремятся вперед.

— И очень шибко,— согласился Туганов,— шибче, чем это может быть полезно: они порвали связь с прошлым, с историей[1*], и... с осторожностью. Это небезопасно.

— Для кого-с?

— Прежде всего для них самих.

[1*] Далее зачеркнуто:

"— И во всяком случае, они страдальцы,— перебил Омнепотенский.

— Конечно,— отвечал Туганов,— и очень жалкие страдальцы. Связь с прошлым — порвана... Стоят без почвы, без фундамента... следов значения нет. Нет ничего того, что составляет счастие.

— Главное, их жмут и преследуют.

— Непостижимо глупо,— отвечал Туганов,— слепота какая-то, там, на окраинах кипит интрига,— сеют козни. Европа, как змея, шипит и дышит на Россию — а они тут с мальчиками какими-то всё управляются.

— Здесь тоже, и дома, этих людей есть много охотников уничтожить.

— И всеконечно,— отвечал Туганов,— не стоит и идти на муху с обухом. Не путали бы руки, а на Руси еще не без людей. Мы сами у себя свой двор-то вымели бы. Если б они сами себя уважали и знали, что они делают, так понимали бы, что их настоящее дело — не мешаться в эти дела, не гнать никого и никому не потворствовать.

— А право правити слово истины,— заключил Туберозов"

— Отчего для них?

— Да их могут уволить.

— Шпионы?

— Нет, просто мошенники.

— Мошенники-и!

— Да. Они ведь всегда заключают узурпациею все сумятицы, в которые им небезвыгодно вмешаться замаскированным. Вот здесь и погибель всего. И это сделает не правительство, не партионные враги, а просто всё это пошабашут мошеннники, и затем наступит поворот.

Вышла маленькая пауза. Омнепотенский бросил тревожный взгляд на Бизюкину, но ничего не прочел в ее взгляде. Его смущало, что Туганов просто съедает его задор, как вешний туман съедает с поля бугры снега. Учитель искал поддержки: он взглянул в этом чаянии на Термосёсова, но Термосёсов даже как будто с умыслом на него не смотрит; как будто просто дает чувствовать, что ты, брат, совсем особая сторона, и я тебя и знать не хочу.

Варнава понял, что надо было или прибавлять энергии и идти отчаяннее и смелее, или просто бросить все и ретироваться.

Он выбрал первое.

IV

— По моему мнению,— сказал он,— что бы кто ни говорил, а все-таки нынешние времена гораздо лучше прежних.

— Еще бы. Бессудная земля лежала как блудница, лишенная права свидетельствовать за себя, а нынче она судит себя своей совестью.

— Да суд-с... Что ж, суд всего не устроит. Устроит все...

— Более широкая свобода,— подсказал Туганов, видя, что Омнепотенский оробел.

— Да-с,— смело ударил Омнепотенский.

— Ну да, да, да: к ней всё и идет.

— А вы знаете ли, что свобода не дается, а берется. Кто вам ее даст?

— Да порядок, или лучше сказать, беспорядок вещей убедит, что ее надо дать для общей пользы[1*].

— И выходит, что все это, за что стоят консерваторы, может отлично лопнуть,— совсем неожиданно сказал Омнепотенский.

— Да, к сожалению, это не представляется невозможным,— опять не противоречил ему Туганов.

— И тогда опять лучшие люди будут гибнуть.

— Да, как и всегда бывало,— отвечал Туганов.

— Ну и выходит все-таки,— сказал Омнепотенский,— что все, как оно есть, так вечно оставаться не будет.

— Про то же тебе и говорят,— отозвался из-за стула дьякон Ахилла.

[1*] В зачеркнутых вариантах текста эти рассуждения Туганова развернуты подробнее: "Вообще, наш Государь не враг свободы; и неурядица, которая сопровождает его прелестное царствование, самому ему не может быть приятна.

— Так вы надеетесь на силу беспорядка вообще,— отозвался с улыбкой Омнепотенский.

— А как же? И на моего Государя, которому этот беспорядок не может быть приятен. Сила вещей сама откроет, что эти маленькие заботы не по силам там, вверху, и ослабляют только те попечения — нужные для дел крупнейшей важности. А между тем здесь эти мелочи нам портят жизнь, как отец Савелий выражается: валятся нам плевками в кашу, которую нам есть надо. Это досадует, злит, порождает ропот недовольный, нетерпеливый в людях. Да и терпеливым тоже подчас не достает терпения"

— А вам про что же говорят,— поддержал дьякона в качестве единомышленника Термосёсов.

— Я говорю, что радикальное тут надобно лекарство[129],— отвечал всем зараз сконфуженный Омнепотенский.

— Конечно, радикальное. Пармен Семенович вам про то и говорят, что радикальное,— внушал Термосёсов, нарочно как можно отчетистее и задушевнее произнося имя Туганова.

— А это радикальное лекарство не опека, а опять-таки...

— Опять-таки свобода,— досказал, поднимаясь с дивана, Туганов,— и свобода, почивающая на том доверии, которое имеет Государь к народу[1*], разбивая его вековое рабство, не боясь всех пуганий.

— Однако, как это скучно толковать с ними,— шепнул он, выходя из-за стола, Туберозову, но не получил от него никакого ответа, а снова был атакован Варнавой.

[1*] Далее зачеркнуто: "Клеветников и зложелателей у нас слишком много. Как туча саранчи — прожорливой и жадной — они летают, пожирают наши поля и закрывают от нас наше солнце.

— От саранчи советуют стрелять из пушек,— сказал Омнепотенский, придавая этим словам особенно тонкое значение.

— Пустое средство,— отвечал Туганов.— Поверье, которому давно уж не верят: одни темные люди могут верить этому. Надо следить, где она закапывается, да откапывать ее хорошенько наружу: это вернее.

— Это значит, придется целым миром все бегать да гоняться за саранчою.

— Ну нет,— зачем целым миром. Мир отрядит людей, которые позрячей, подосужей; они и последят, а мир придет с сохами да распашет с молитвою и с верой.

Омнепотенский очень обрадовался, что наконец попал на невинную вещь, за которую мог зацепиться и поразноречить с Тугановым.

— Вам все хочется, чтоб народ все делал с крестом да с молитвой. Вы, позвольте узнать: сами тоже в Бога верите.

Туганов взглянул на Омнепотенского очень спокойным взглядом и проговорил:

— А позвольте мне, молодой человек, вам на это не ответить.

— Так зачем же вы народ-то заставляете верить,— подскочил, оживляясь, Омнепотенский.— Сами хотите разумом руководиться, а он, чтоб все Богу молился да водку пил.

— Напротив-с, я именно желаю, чтоб он как можно меньше водки пил, а чтобы он делал больше дела, с крестом и молитвой,— этого я, разумеется, желаю.

— Почему же-с, спрошу?

— А потому, что без молитвы народ только дурные дела делает, а хорошие дела он сам творит, благословясь.

— К сожалению, народ имеет попечителей-то, которые к нему не очень близко.

— К большому даже сожалению-с.

— А те, которые в самом деле о нем заботятся... он их не понимает.

— Сама истина говорит вашими устами,— согласился Туганов.

Омнепотенский был в большом затруднении, но кое-как нашелся и отвечал:

— Дали крестьянам свободу, т.е. так это говорится "свободу", но уже какую там ни дали, да — дали... да так и бросили, будто все этим и сделали. Ведь и свобода же должна иметь свое развитие. На что ж так сунули.

— Да, сунули, да немножко и позабыли: лежит лежак и говорит он так: когда я встал, я до неба достал, а ему не верят, что он встанет, да прямо станет... вот и лежит.

— А под лежачий камень, пословица говорит, и вода не течет,— отозвался Туберозов.

— И чирий, и тот, не почесавши, не сядет,— прибавил Ахилла.

Туберозов укоризненно покачал ему головой.

— Что вы,— спросил, нагинаясь вперед, дьякон.

— Веред, веред; вот что! Веред, а не чирий говорится,— прочастил ему тихонько, вместо Туберозова, отец Бенефисов.

— Да и не самому себе он предоставлен, а как бы лучше сказать, *кому-то предан*,— заметил Туберозов.

— Да, конечно, можно сказать, что и предан.

— Кому же-с предан,— снова вступил Омнепотенский.

— Плохим делальщикам каким-то"

— Позвольте, мне кажется, вам, верно, не нравится, что теперь все равны.

— Нет-с, мне не нравится, что не все равны.— Омнепотенский остановился и, переждав секунду, залепетал:

— Все, все должны быть равны.

— Да ведь Пармен Семенович вам это и говорят, что все должны быть равны! — отгонял его от предводителя Термосёсов.— О чем вы спорите? Вы сами не знаете, о чем вы говорите.

— Чурило ты! — отозвался к Варнаве Ахилла.

— Ах оставьте, сделайте милость, я не с вами и говорю,— отрезал Ахилле Омнепотенский.— Я говорю, что все должны быть равны.

— Да с вами именно об этом никто и не спорит,— успокоил его Туганов.

— Вам, верно, Англия нравится,— метнул ему Варнава.— Эти перелеты Омнепотенского более не сердили Туганова и даже показались ему вдруг очень забавными.

— Да, мне очень нравится Англия,— отвечал он.

— Вот видите: я это отгадал! — воскликнул Омнепотенский.— Она именно в том, верно, вам нравится, в чем мы на нее похожи.

— Нет, наоборот, в том, в чем мы на нее не похожи.

— Но там же-с лорды есть, лорды, лорды.

— Да, там это старо, и подгнивает уж, а у нас недавно свои новые лорды заведены.

— Наше дворянство тоже не новость-с.

— Да-да, что же дворян считать: они уже выведены в расход и похерены.

— А вам, конечно, и досадно, и жаль, что исчезли сословные привилегии.

— Нет, мне жаль, что они не исчезли, а даже вновь создаются: исчезли лорды грамотные, теперь безграмотные учреждены.

— Кто же это такие, это привилегированное у нас сословие? — спросил Омнепотенский.

— Мужики.

— Что-о-с! Да в чем же заключаются их привилегии?

— А в чем заключаются привилегии лордов?

— Не знает,— громко буркнул Термосёсов.

— Позвольте-с!

— Да ничего,— не знаешь,— отозвался Ахилла.

— Наши мужики имеют свой сословный суд, которого кроме их никто не имеет.

— Да вот вы как! — отвечал Омнепотенский.

— А вы как?

— А вы же как,— смеясь, отозвался в ноту Туганову Термосёсов.

— Я имею об этом свои суждения,— отвечал раскрасневшийся Омнепотенский.

— Да разве, разве обо всяком предмете можно иметь несколько суждений,— ядовито обрезывал его Термосёсов.

— Конечно, несколько.

— Только одно будет глупое, а другое — умное,— отвечал Термосёсов.

— Одно будет справедливое, другое — несправедливое,— проговорил Дарьянов.

— Ведь правда-то одна бывает или нет? — внушал Варнаве дьякон.

— Между двумя точками только одна прямая линия проводится, вторую — не проведете,— втерживал Термосёсов.

— И прямая всегда будет кратчайшая,— пояснял Дарьянов.

Туганов в душе смеялся над этой дружной поддержкой, которую встретило его последнее шутки ради сказанное замечание, а Омнепотенский злился.

— Да это что ж? ведь этак нельзя ни о чем говорить,— кричал он.— Я один, а вы все вместе говорите. Этак хоть кого переспоришь. А я знаю одно, что ничего старинного не уважаю и что теперь надо дорожить всякими средствами, чтобы образовать народ.

Омнепотенский сильно подчеркнул слова *всякими средствами,* а Туганов, как бы поддерживая его, сказал:

— Да это даже так и делается: у меня в одном уезде мировой посредник школами взятки брал.

— Ну да-с, как же братки взял... Нет-с!

— Уверяю вас, брал, да я его и не осуждаю: губернаторы, чтоб отличаться, требуют школ, а мужики в том выгод не находят и не строят школ. Он и завел: нужно что-нибудь миру,— "постройте, канальи, прежде школу" Весь участок так обстроил[1*].

Туганов встал и, отыскав хозяйку, извинялся перед ней, что все попадает из спора в спор; и сказал, что он торопится и хотел только непременно ее поздравить, а теперь должен ехать. На дворе зазвенели бубенцы, и шестерик свежих почтовых лошадей подкатил к крыльцу легкую тугановскую коляску; а на пороге вытянулся рослый гайдук с англицкой дорожной кисою через плечо.

V

Туганов и Плодомасов через минуту должны были уехать, но Омнепотенский не хотел упустить и этой минуты: он отбился от терзавших его Термосёсова и Ахиллы и, наскочив на предводителя, спросил:

— Скажите, пожалуйста, правда это, что дворяне добиваются, чтоб им отдали назад крестьян и уничтожили новый суд?

Туганов спокойно отвечал, что это неправда.

— А зачем пишут, что народ пьянствует и мировые судьи скверно судят?

— Потому что это так есть.

— Ну это значит пятиться назад! — воскликнул Омнепотенский[2*].

Туганов посмотрел на учителя и, обратясь к дьякону, сказал:

— Возьми-ка, отец Ахилла, у моего человека нынешние газеты мои.

[1*] Далее зачеркнуто: «Собеседники рассмеялись.

— Да, что ж, смешно, смешно, а взаправду-то, что и делать. Раз, что он рачительный человек, у начальства хочет выслужиться, а другое — человек решительный и новейших взглядов, т.е. даже самых новейших, я хочу сказать.

При слове "новейших" Термосёсов не моргнул, не кивнул и не пророк ни слова, а только зорко и зорко смотрел на Туганова».

[2*] Из чернового варианта этого диалога приводим наиболее существенный фрагмент, начинающийся с реплики Омнепотенского:

«<...> — Вон газета "Весть" постоянно пишет, что настало время, "когда обстоятельства наиболее благоприятствуют ее принципу".

— Газета "Весть" и русское дворянство — это еще не одно и то же.

— Но газета "Весть" постоянно сочиняет и выкапывает такие вещи, которых не находишь ни в одной газете.

— Что же это такое?

— Да разные такие гадости: мужики, говорят, пьянствуют, образованные сословия прелестны — мировые судьи их забижают.

— Что ж, это, мне кажется, всякому честному изданию должно сказать, и мужики пьянствуют, и мировые судьи сплошь и рядом не оправдывают лучших надежд, которые на них возлагались, и образованное сословие действительно стоит сожаления и внимания. Это господин Герцен даже говорит и назвал это сословие "бьющеюся артериею сонного русского тела"[130]».

Ахилла вышел в переднюю и возвратился с пучком сложенных газет.

— Прочитай вот это! — указал Туганов дьякону, подавая один номер.

— "Из села Богданова"?

— Да, "Из села Богданова"

Ахилла откашлялся и зачитал, кругло напирая на *о*[131]:

Из с. Богданова. (Ряз. губ.) Земля в нашей местности хороша, и хотя требует удобрения и серьезного ухода, но и вознаграждает труды. Но откуда же здесь та страшная, подавляющая бедность, которая гнездится в каждой хижине, под каждою кровлею? Ведь не судьба же назначила народу быть под вечным рабством нужды и голода? Наши мужики живут кое-как, перебиваясь из дня в день. Страсть к вину неодолима, и она самый страшный враг нашего народа. Нужно пожить в деревне, чтобы увидеть и поверить, в каком огромном количестве истребляется вино. В Богданове нет кабака, но в соседней деревне Путкове, лежащей в полуверсте отсюда, их 3 рядом, а деревня небольшая. Тут-то и пропивается хлеб, отсюда-то и выходит голод. Ведь кроме хлеба пропивать нечего. Ни промыслов, ни ремесел нет у нас. Что делают мужики зимою? *Почти ничего*, кроме немногих, уходящих на сторону. Но отчего же они ничего не делают? Потому что не умеют ничего делать, да и делать нечего, да и охоты нет. Нужна предприимчивость, нужно уменье. А этому надо нас учить и работу дать надо. Кто же обязан сделать это?

— Это, верно, "Весть"? — воскликнул Варнава.

— Нет,— это "Биржевые ведомости"[132].

— Ну и что ж такое, что лежат мужики?

— То, что они портятся,— заваляться могут.

— Безхозяйство пойдет,— поддержал другой гость.

— Пьянство,— сказал третий.

— И нищета.

— Под лежачий камень вода не пойдет.

— Не почесавши и чирей не сядет,— закончил Ахилла.

Туберозов опять покачал ему головою, а Захария шепнул: "Веред, надо говорить веред, а не чирей"

— Веред не сядет,— объявил дьякон.

— Ну так почитай господину учителю дальше.

— Где-с?

— Кряду читай, кряду.

— "Из Шуйского уезда"?

— Да, "Из Шуйского уезда"

— "Из Шуйского уезда" — возгласил дьякон и продолжал[133]:

"В недавнее время у одного нашего мужика А.В. порубили лес, всего рублей на 50. Воры пойманы. Хозяин сделал заявление о том мировому судье. Началось следствие. Виновные должны были сознаться в своей виновности. Казалось бы, факт, подлежащий суду, несложен, и для надлежащей оценки его не нужно иметь особой замысловатости. Дело просто и ясно: похищена собственность, похитители пойманы на месте и уличены перед судом, поэтому потеря собственника должна быть вознаграждена со стороны их. Так бы, если не строже, решил это дело всякий. Но мировому судье никак не хочется так покончить. Напротив, ему почему-то хочется оправдать виновных. Для этого он пускает в ход всевозможные меры худопонимаемой им власти, грозит собственнику в будущем. Но собственник при всем этом не мирится, требует суда и суда законного. Что теперь делать мировому судье? Ничего не остается, как штрафовать виновных. Он и штрафует. Но чем? Страшно сказать, двумя рублями, тогда как мужик-собственник только во время судебного процесса потратил 6 рублей. Что можно сказать о таком суде? То, что существование его не лучше, чем отсутствие суда. Такой суд, помимо разорения хозяйства, развращения нравов, ровно ничего не дает обществу. Станет ли хозяин энергично трудиться, увеличивать собственность, когда не уверен, что он обеспечен в своей собственности. С другой стороны, почему нам не воровать, решат мошенники, когда за рубли с нас берут копейки, или вовсе ничего. Кроме того, такой суд, в глазах собственников, падает черным пятном на всю реформу суда, и не здесь ли кроется причина понижения нравственного уровня крестьян?"

— И ведь это в самом деле смешно! — сказал Туганов, обратясь к присутствующим.— А вот немножко дальше, в этой же самой почте... господа, не надоело вам?

— Нет,— отвечали разом несколько голосов.

Туганов развернул другую газету и, указав дьякону, сказал:

— Пробежи еще это.

Ахилла опять кашлянул и прочел следующее[134]:

Факт возмутительного своеволия крестьян. В одном губернском по крестьянским делам присутствии в великорусской губернии разрешен был спор между крестьянами и помещиком, на земле которого они живут. Спор был решен не в пользу крестьян. Крестьяне, не обращая внимания на состоявшееся законное постановление, позволили себе запахать землю, признанную за исключительную собственность помещика. Тогда помещик посылает за единственным представителем власти в нашей деревенской жизни — за сельским старостою. Начинается спор в присутствии нескольких крестьян. Староста во время спора ударил возражавшего ему помещика. Тогда помещик (отставной военный) бросился к себе в дом, желая взять пистолет. Толпа крестьян устремляется вслед за ним и подвергает его истязаниям, потом связывает веревками, кладет на телегу и везет в губернский город, отстоящий от деревни на 27 верст. Крестьяне говорили, что они везут помещика к губернатору,— вопрос интересный для судебного следователя. Между тем, кто-то из домашних предупредил об этом возмутительном происшествии живущего вблизи губернского предводителя. Влиянию последнего при содействии других крестьян удалось освободить несчастную жертву из рук бешеной толпы. В настоящее время производится следствие. Говорят, будто бы губернатор устранил от производства следствия троих следователей... Но разве губернатор имеет право устранять по своему усмотрению следственных чиновников, зависящих от министерства юстиции? Из провинции, где это случилось, пишут, что все общество губернского города находится в величайшем волнении. Оно и естественно: когда известие об этом пришло в Петербург, который ничему не удивляется, и разговор о том шел в большом обществе людей с различными убеждениями, то даже и тут были поражены переданным фактом"

— Что же, масса мстит за свое порабощение,— отозвался Омнепотенский.— Это так быть должно.

— Так вот изволите видеть, с одной стороны — жестокие нравы, с другой — жестокие обычаи, а теперь еще ко всему этому и принципы жестокие[1*], что "это так быть должно"!

— Вы это не революцией ли называете? — заметил язвительно Омнепотенский.

— Не знаю-с, как это называть, но знаю, что дымом пахнет и что все это "дымом пахнет" — это годится только знать вовремя, а то и знатье не поможет. Есть такой анекдот, что какой-то офицер, квартируя в гостинице, приволокнулся за соседкой по номеру, да не знал, как бы к ней проникнуть? По армейской привычке спрашивает он в этом совета у денщика, а тот на эту пору, поводив носом, да слышачи где-то самоварный запах, говорит: "дымом пахнет, ваше благородие" Барина осенило наитие: побежал спасать соседку, чтобы не сгорела,— и все покончил с нею. А пришлось ему через год другую барыньку увидать, да уж не рядом, не под рукой, а через улицу. Он опять денщика "как бы, говорит, и эту барыньку достать".— "Дымом пахнет, ваше благородие",— отвечает некогда хваленый за свою находчивость денщик.— А дым-то выходит, врешь, любезный, тут — дым не помогает. Как бы вот тоже не увидать и нам свою красотку через улицу? А денщики-то наши тоже не смысленнее нас — скажут "дымом пахнет", да и все тут. Русь не раз ополчалась и клала живот свой, когда ей говорили: "дымом пахнет" Писали ей на знамени "*за веру, Царя и отечество*", и она шла, а нуте-ка, как вам удастся мало-помалу внушить ей, что ничего не стоит вера, не нужен Царь и — вздор отечество; а к вам придут со всех сторон да станут терзать у вас окраины,

---

[1*] Далее зачеркнуто: "входят в массу и в употребление. Ну, скажите, пожалуйста, чему же тут радоваться? Как там не финти, а как есть уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, так волей-неволей чувствуешь, что творится что-то недоброе, и творится с двух сторон разом: с той, которая орудует этим недобрым,— и с той, которая не позволяет с этим недобрым разделаться.

— Вы полагаете, что революция будет,— язвительно заметил Омнепотенский"

потом полезут и в средину. Тогда, позвольте спросить: в чье имя собрать ее? Или вам не жаль ее вовсе?.. А денщиков я отлично знаю: они нынче мирволят вам, а придет шильце к бильцу, они одно и сумеют говорить, что "дымом пахнет"

— Так из-за этих вздоров удерживать всякую рутину!

— Да-с; из-за этих вздоров Россия терпела Иоанна Грозного, обливалась кровью да выносила, чтоб только окрепнуть. Это было потяжелей того, чем вы нынче тяготитесь, и потому, извините меня, Русь права во всех своих негодованиях к вашим усилиям.

Туганов вдруг стал и сам как будто сердиться.

— А мы тяготимся одним тем, что не рационально,— ответил Омнепотенский.

— Позвольте-с, позвольте! — возвысив голос, перебил его предводитель.— Это еще не позволено верить вам на слово, что то, что вы считаете рациональным, то действительно и рационально: вы веру, царя и отечество считаете нерациональностями, а я вам имею честь утверждать, что они для нас рациональны. Вы безделушками занимаетесь, а в Европе есть Англия, Франция, Австрия, Наполеоны, Бейсты[135], борьба за первенство. Мы крепки пока, и нам завидуют; у нас повсюду куча врагов, и мы должны не сводить глаз с этих врагов: мы бережем свою независимость политическую, ибо без нее не вправе никогда надеяться на свободу гражданскую. Вы недоумеваете, кажется,— я это расскажу вам: для свободы нужна политическая независимость,— для политической независимости нужен Царь, без которого народ наш не мыслит государства. Для влиятельного авторитета царской власти, как равно и для необходимейшего смягчения народных нравов, нужна вера и, как изволите видеть: вначале всего для этого народа нужна вера.

Туганову захлопали.

— И это не утопически, милостивый государь, а рационально,— продолжал Туганов.— Вера не губит, а вера спасает нас. А как распоряжаются с этой верой, мы вот с вами сейчас опять будем иметь честь увидеть. Вы ее подрываете, вы над нею глумитесь, вы ее представляете тормозом народного счастья и прогресса, а вам помогают. Дьякон,— обратился он к Ахилле,— возьми, пожалуйста, еще вот этот листик, пробеги. Прошу вас, господа, прислушать. Это,— опять обратился он к Варнаве,— не Катков и Аксаков, которые повинны в любви к России, а это опять те же "Биржевые ведомости"[1*]. Читайте, дьякон!

Ахилла начал[136]:

«Не видя ниоткуда ни сочувствия, ни защиты, причты потеряли веру в правду и милость своего начальства и влачат свои дни среди нищеты и нравственного унижения, запивая горе вином. Материальная обстановка их бедна и грязна, нравственная унизительна. Взяточничество до того проникло в административных деятелей духовенства, что благочинный не иначе может представить официальные отчеты в своем благочинии, как приложив к ним 10 руб. на имя секретаря, да столько же на имя канцелярии, которые, в свою очередь, он постарается стащить со старосты и причтов. Вот что встречает священник в своем ближайшем начальстве! Заключим статью словами смоленского преосвященного, который рисует жизнь духовенства так: "Посмотрите, говорит он, на священнослужителя, получившего достаточное научное образование, когда, в самых молодых летах, едва сошедши со школьной скамьи, он поставлен судьбою в деревенской глуши в среде нисколько не развитых поселян, с которыми и обязательные для него духовные сношения он может поддерживать с трудом и с огорчениями для себя, сношения житейские — с тягостию в сердце и самоуничижением; а о сношениях образованной мысли и развитого чувства — и говорить нечего. При такой обстановке жизни, он скоро впадает в тоску и уныние и готов для рассеяния их искать средств непозволительных? Ему нет способов к умственному возвышению духа над грустною обстановкою жизни, путем отвлеченного мышления и научного саморазвития; недостает сил для постоянного поддержания мысли и чувства на духовной высоте сана близ Бога"».

1* Далее зачеркнуто: "опять тот же господин Трубников[137], особенно не опороченный в патриотизме"

— Да ну довольно,— перебил Туганов, принимая из рук дьякона газету.— Прошу вас заметить теперь,— сказал он, обратясь к Варнаве,— что это все взято не на выбор, а как рукой из мешка почти в одну почту достанешь. Веру режут, да уж почти и зарезали. Ведь вот уж тут я, земский человек, всего этого не желая, конечно, могу только сказать "дымом пахнет"[1*].

— Тургенев говорит: "всё дым" В России все дым — кнута и того сами не выдумали[138],— говорил, оглядываясь по сторонам, Омнепотенский.

— Да,— отвечал отдуваясь Туганов,— кнут-то, точно, позаимствовали, но зато отпуск крестьян на волю с землей сами изобрели.

Туберозов подумал: "А давно ли ты говорил, что ничего и решительно ничего мы в сокровищницу цивилизации не положили?"

— Но это не Россия сделала,— сказал Омнепотенский.

— А кто же-с?

— Государь.

— Государь? — Туганов понюхал табаку и тихо проговорил: — Государю принадлежит почин.

— Велел, и благородное дворянство не смело ослушаться.

— Да оно и не желало ослушаться.

— Все-таки это царская власть отняла крестьян.

— Однако Александр Благословенный целую жизнь мечтал освободить крестьян[139], да дело не шло. А покойный Николай Павлович еще круче хотел на это поналечь, да тоже не удавалось[140]; а этот государь богоподобным Фебом согрел наши сердца и сделал дело, которое сколь Герцен ни порочь[141], а в истории цивилизации ему подобного не найдете[2*].

1* Далее зачеркнуто: "Вы изволили отнестись ко мне с лестным доверием и пожелали узнать, что думает и чего желает дворянство, т.е. вообще просвещенная часть России, имеющая неодобрительную склонность при понимании вещей беречь свою и вещественную и невещественную собственность. Я вам готов служить. Вот, извольте видеть, русский Сим и Иафет низводят проклятие своему Хаму[142]; но и не могут желать, чтобы Хам получал благословения в ущерб своим братьям, как он нынче получает. Мы не только довольны монаршими милостями, но даже находим, что некоторые из них через меру велики и преждевременны. Вот в Петербурге на дверях судилища написано: "Правда и милость да царствуют в суде" Нам пока кажется, довольно бы одной правды, а то милостью-то не ровно у нас милуют. Милосердие оказывается убийцам да ворам; свобода слова — клеветникам да смутьянам. Это все вытекает из милости, я говорю, надо бы одну правду. Государь слишком много дал: этого не следует. Прежде всего нужно искать торжества правды, к которой все доброе само собою и приложится; а у нас ищут торжества теорий, к которым, извините меня, черт бы их побрал, ничего не прикладывается"

2* Далее зачеркнуто продолжение монолога Туганова: «Так вот изволите ли видеть, начавши таким беспримерно правильным и ровным ходом, мы не можем оставаться равнодушными к тому, что нам скажут "дымом пахнет", и хотим чего-нибудь посмысленее, хотим доверия, своим мирским умом хотим померекать, как изнять себе красавицу, а не через денщиков по-офицерски добывать ее. Так нам, поймите, милостивый государь и господин наставник, несносно это шутовство, под которым, как вы сами изволите говорить, все ведется à la guerre comme à la guerre [на войне — по-военному — *франц.*]. Это все ведь глупота да праздность — от праздности да непонимания народа, одни желают видеть на Руси вместо социальной — демократическую республику, не зная, что народ наш в этом деле прежде всего понимает *режь публику*; а другие подкапывают устаревшую, по их мнению, безнравственность, будучи сами до глубины безнравственны и прежде всего устраняясь от исполнения первых и священных обязанностей к жене и к детям. Третьи, как о дельном о чем-то, заботятся, чтобы избегать веками установленных обычаев, и тут же вместо мягких, неоскорбительных обычаев, сами устанавливают обычаи грубые и невежественные. Четвертые, наконец, занимаются различными морочаньями вроде сокращения штатов, из которого выходит не сокращение, а *сока ращение*. Десять Иванов выгонят, да одному Петру все, что десять получали, вдвое и дадут; а земле не все равно будто тягу тянуть, что на одного Петра, что на десять Иванов. Пятые, наконец... да что, всего этого и не пересчитаешь; и все это делают или с жиру, люди, заевшиеся легким хлебом, или *Голь, Шмоль, Ноль* и компания, которым терять нечего, да и озабочиваться некстати; а мы, поместные дворяне и хлебопашцы, нам некогда, сударь, этими пустяками заниматься. В социалисты нам идти нельзя, да и в демократы играть некогда».

— А вы Англию хвалите!

— Да-с, хвалю.

— Что же в ней лучше?

— Многое-с.

— Извольте сказать?

— Извольте,— отвечал, улыбнувшись, Туганов.— Суд их умнее и лучше.

— Даже и нового!

— Именно нового: у нас в суде водворяют "правду и *милость*"[143], а суду достоит *одна правда*. У них вреднейшего чиновничества, этого высасывающего мозг земли класса, не существует в наших ужасающих размерах. Они серьезные люди и из сокращения штатов не позволят у себя под носом вываривать *сок ращения*, как у нас обделали это чиновники. У них свободная печать; у них свободная совесть... да, одним словом, перечислять преимущества жизни аглицкой можно не на пороге стоя.

— Ну да, вы демократию осуждаете: она вам ненавистна, а мне Англия за это ненавистна.

— Еще раз нахожу неудобным рассуждать обо всем этом на пороге, но скажу вам, что вы не знаете, где растет и крепнет прочная демократия в Европе? Она в ненавистной вам Англии.

— В Англии! Демократия в Англии! — воскликнул Омнепотенский.

— Да вы знаете ли Англию?

— Знаю-с.

— Да полно, знаете ли?

— Знаю-с, и знаю, что все, что есть в ней хорошего, это ее отношения к женскому вопросу,— это то, что у них не короли, а королевы.

— Что тако-о-е? — переспросил, недоумевая, Туганов.

— В Англии хорошо, что у них не короли, а королевы.— Женский вопрос у них пойдет потому, что хоть уж существует это зло у них — монархия, так по крайней мере женщины — королевы, а не короли.

Туганов посмотрел на Омнепотенского молча и только теперь догадался, что учитель видел в нынешнем царствовании Виктории царство женщин в Альбионе. Через минуту это поняли Туберозов и Дарьянов, и последний из них не выдержал и громко рассмеялся. Все остальные были покойны. Никто не находил ничего нелепого в словах Варнавы, и лишь Ахилла и Захария были смущены и шептались. Ахилла добивался у Захарии: что это? Чему смеется Дарьянов, а Захария отвечал: "А я почем знаю?" Ахилла отнесся с вопросом к Термосёсосу, но Термосёсов был так же несведущ, как Захария, и схитрил, что он будто не слыхал, что сказал Омнепотенский.

Туберозов вслух разрешил политическое заблуждение Варнавы.

Раздался всеобщий хохот, которым всякий над собой смеялся, думая, что он смеется над одним Варнавой[144]. Бедный Варнава только свиристел:

— Да этак ничего... Этак ничего нельзя говорить... Я говорю, а вы все хохочете.

Туганов решился прекратить жалостное положение учителя и еще на минуту продолжил с ним свою беседу[1*].

[1*] Далее зачеркнуто:

"— Достоверно,— сказал он,— известно одно, что этой войной, которую вы замечаете в России, обязаны ни дворянству, ни духовенству, ни народу. В этом случае вы можете мне поверить, потому что война эта вредна и не по сердцу и народу, и духовенству, и дворянству. Мы трое гораздо солидарнее, чем вы думаете. Я не имел чести говорить ни с одним из этих литераторов, которые пишут о соединении с народом, и не могу себе составить ясного понятия о людях этой категории, но думаю, что это люди довольно несерьезные. Я в некотором смысле не переношу демократию"

— Впрочем, я завидую демократам и жалею, что сам не могу им быть,— проговорил он.— На мой нос эта... извините... mesdames,— потная онуча очень скверно воняет, и мне неприятно обедать, когда я вижу за столом человека, у которого грязь за ногтями.

Термосёсов оглянулся на Данку и, увидев, что она смотрит на него, тихо подмигнул ей и погрозил ей пальцем.

— Мы с мужиком нынче соседи по имению[1*]. Мой союз с ним — союз естественный, нас соединяет Божие казначейство,— земля — наша единственная кормилица, за которую мы оба постоим и кроме которой не ищем подачек ни у каких милостивцев[2*], а вы всё нас, соседей, хотите перессорить,— это, господа, скверно и... даже знаете... не честно.

При этом Туганов протянул Омнепотенскому руку и сказал:

— Честь имею вам откланяться.

Омнепотенский подал свою руку предводителю, но, надеясь в последнюю минуту все-таки кое-как хоть немножко оправиться, торопливо проговорил:

— Мы сходились с народом, чтоб обратиться к естественной жизни.

— Но самая естественная форма жизни — это жизнь животных; это...— Туганов показал рукою на стоящий у подъезда экипаж и добавил,— это жизнь вон этих лошадей, а их, видите, запрягают возить дворянина. Что этого возмутительнее!

— И еще дорогою будут кнутом наяривать, чтоб шибче,— заметил дьякон.

— И скотов всегда бьют,— поддержал Термосёсов.

— Ну опять все на одного! — воскликнул Варнава.— Я всегда буду за народ, всегда за народ и против дворян.

— Скажите, какая миссия! — не утерпев, воскликнул Туберозов.

— Ты, значит, смутьян,— сказал Ахилла.

— Бездну на бездну призываешь[145],— отозвался Захария.

— А вы еще знаете ли, что такое значит, бездна призывает бездну? — зло огрызнулся Варнава.— Бездна бездну призывает это, значит,— поп попа к себе в гости зовет.

Это все поняли гораздо легче, чем аглицкую королеву, и дружный хохот залил залу. Туберозов гневно сверкнул глазами и вышел в гостиную. Туганов посмотрел ему вслед и тихо сказал Дарьянову:

— Он у вас совсем маньяк сделался.

— И не говорите!

— Он дрожит ото всего.

— Получит свои “Московские ведомости” и носится, и стонет, и вздыхает.

— Я говорю: он уж не может рассуждать ни о чем хладнокровно.

— Ни о чем,— чистый маньяк.

— Они слышат,— тихо прошептал Ахилла.

Савелий действительно все это слышал и рассуждал:

[1*] Лесков сократил начало этого монолога Туганова:

“— Но если нас проэкзаменовать: меня и этого писателя, хотя бы он даже был и с грязными ногтями, то несомненно, что окажется, что я лучше его понимаю нужды мужика и его горести. А что всего важнее, так это то-с, что я не могу от мужика оторваться. Понимаете, что я прилеплен к нему не во имя теорий и не во имя того, что он мне нужен для какой-нибудь революции, а не пойдет он, так я его не возненавижу. Я вот чем соединен с ним: не адораторством, а мы с мужиком нынче соседи по имению”.

[2*] Далее зачеркнуто: “...и берем грош свой не так, как вы, не из казны царской, а из той земли, которою нас учат не дорожить. А это, что говорится там или говорилось: сходиться, соединяться с народом — это все вздор-с и пустяки, мы все крепки землей. Земля, соединенная землею, крепче всяческих теорий”

— Маньяк! Вот оно: горячее чувство всякое — это маньячество! Боже мой! Боже мой! Почему же не Варнавка назван маньяком, а я непременно!

Туганов начал решительно прощаться. Протопоп взошел в залу.

— А ты, брат, Воин Васильевич, я вижу, не ревнив,— пошутил Туганов, расставаясь с Порохонцевым,— позволяешь ухаживать за женой.

— У меня на этот счет своя политика,— отвечал Порохонцев.— За моей женой столько ухаживателей, что они все друг за другом смотрят.

Туганов обернулся к Туберозову и сказал ему:

— Хотел было на тебя, отец, донести, как вы целовались-то нынче, да вижу не стоит. При его мудрой политике он безопасен.

И Туганов уже совсем стал выходить на лестницу. Его провожали гости и хозяева. Варнаве казалось, что фонды его стали очень высоко после "бездны", и он гнался за предводителем, имея план еще выше поднять свое реноме умного человека.

Он подскочил к коляске, в которую усаживался Туганов, и, бесцеремонно схватив за рукав Туберозова, проговорил:

— Позвольте вас спросить: я третьего дня был в церкви и слышал, как один протопоп произнес слово "дурак". Что клир должен петь в то время, когда протопоп возглашает "*дурак*"?

— Клир трижды воспевает "*учитель Омнепотенский*",— быстро ответил Туберозов.

При этом неожиданном ответе присутствующие с секунду были в остолбенении и вдруг разразились всеобщим бешеным смехом.

Туганов махнул рукой и уехал.

VI

Около Омнепотенского, как говорится, было кругом нехорошо. Даже снисходительные дамы того сорта, которым дорог только процесс разговора и для которых что мужчины ни говори, лишь бы это был говор, и те им возгнушались. Зато Термосёсов забирал силу богатырем. Варнава не успел оглянуться, как Термосёсов уж беседовал со всеми дамами, а за почтмейстершей просто ухаживал, и ухаживал, по мнению Омнепотенского, до последней степени подло; ухаживал за нею не как за женщиной, но как за властью предержащей. Варнава не раз даже пытался обратить на это внимание Данки; но Данка более чем кто-нибудь была полна презрения к Омнепотенскому и не хотела его слушать и даже нагло сказала ему прямо в глаза:

— Идите вы прочь, петый дурак!

Она сердилась на Варнаву еще более потому, что чувствовала в его словах некоторую правду. Когда она старалась оправдать себе поведение Термосёсова и убеждалась, что это невозможно, то она чувствовала приступ сдавливающей боли в горле и истерическую потребность всхлипнуть и разрыдаться.

За ужином Термосёсов, оставив дам, подступил поближе к мужчинам и выпил со всеми. И выпил как должно, изрядно, но не охмелел, и тут-то внезапно сблизился и с Ахиллой, и с Дарьяновым, и с отцом Захарией. Он заговаривал не раз с Туберозовым, но старик не очень поддавался к сближению. Зато Ахилла после часовой или получасовой беседы, ко всеобщему для присутствующих удивлению, неожиданно перешел с Термосёсовым на "*ты*", жал ему руки, целовал его в его толстую губу и говорил всем:

— Вот, ей-Богу, молодчина этот Термосёсов, а у нас он поживет, он еще ловчее станет. Мы с ним зимою станем лисиц ловить. Правда?

— Правда,— отвечал Термосёсов,— и сам хвалил Ахиллу и называл его молодчиной.

И оба эти молодчины снова целовались и снова занимали наблюдательных людей своею внезапною дружбой. Туберозов косился на это, но не остановил дьякона ни одним взглядом и смотрел на его проделки, как будто вовсе не замечал их.

Когда пир был при конце и Захария с Туберозовым уходили домой, Термосёсов придержал Ахиллу за рукав и сказал:

— Пойдем ко мне зайдем. Тебе спешить ведь некуда.

— Да, спешить некуда,— согласился Ахилла и остался.

Термосёсов предложил еще потанцевать под фортепиано, и танцевал прежде с почтмейстершей, потом с ее дочерями, потом еще с двумя или тремя дамами и, наконец, после всех — с Данкою, а в заключение всего провальсировал с дьяконом Ахиллой, посадил его на место, как даму, и, подняв к губам руку Ахиллы, поцаловал свою собственную руку. Не ожидавший этого Ахилла все-таки быстро вырвал свою руку у Термосёсова в то время, когда тот потянул ее к своим губам.

Термосёсов расхохотался и сказал:

— Неужто же вы думали, что я вашу руку буду цаловать?

Дьякон и рассердился, и не рассердился, но ему эта выходка немножко не понравилась. После этого они, впрочем, сейчас и отправились по домам, семейство почтмейстерши, дьякон и Данка Бизюкина.

Термосёсов предложил свои руки почтмейстерше и Данке, а Ахилле указал вести двух почтмейстершиных дочерей, Ахилла был на это готов и согласен, но девицы несколько жеманились: они находили, что даже и в ночное время все-таки им неудобно идти под руку с человеком в рясе. Притом же у дьякона в руках была его знаменитая трость[146], сегодня утром возвращенная ему отцом Туберозовым.

Заметив смущение барышень и их нерешительность идти с ним, Ахилла порешил весьма просто:

— Чего вы,— сказал он.— Меня-то конфузиться вам? Да я вас помню, еще когда вы у мамаши еще в фартучке были,— и с этим взял их обеих под руки и повел.

Ахиллу несколько стесняла его палка, которую он должен был теперь нести у себя перед носом[1*], но он ни за что не согласился доверить ее Омнепотенскому, говоря, что “она чужих бьет” Они завели домой почтмейстерских дам, и здесь, у самого порога калитки, Ахилла слышал, как почтмейстерша клеветала Термосёсову на Порохонцеву.

— Верьте, что врет,— говорила она.— Верьте!.. Понятно, ему, старику, нечего больше говорить, как что верит.

— А, она податлива?

— Еще бы!

— Слабовата.

— О, да конечно! — отвечала почтмейстерша.— Ведь когда у нее первый сын родился, то князь, у которого ее отец управляющим был, говорил: “Очень жалею, говорит, что не могу поехать к Порохонцевой на крестины,— религия, говорит, не позволяет” Понимаете, по нашей религии *отцу* нельзя быть при крестинах?

[1*] Далее зачеркнуто: “...как знамя, и потому Варнава Омнепотенский неожиданно вырвал ее у него из руки и пошел было с нею впереди его, передразнивая, как ходит духовенство. Но Ахилла, не освобождая ни одной из своих дам, вытребовал себе свою палку назад и сказал ему:

— И вперед за нее никогда не трогайся.

— Отчего? — спросил Варнава.

— Оттого, что скверно может быть. Оттого, что она чужих бьет,— сказал Ахилла”.

— Да, да, да, да, понял! — подхватил Термосёсов.— Князь молодец: религия ему...

— Да-с... религия? — почтмейстерша засмеялась и добавила: вы видите, к ней Туганов заезжает, но он у меня вот эту вторую дочь крестил. Он мне тоже сказал: жалко, говорит, что не мог у вас быть, но к вам на крестницыны именины моя жена приедет.— Ольга Арсентьевна с ума сойдет от этого... Как же, ведь она у нас первая дама: аглицкие книги читает! А я говорю: "Я бы очень рада хоть и русские почитать, да некогда,— совершенно некогда мне читать" Почтмейстерша вздохнула и, приставив палец ко лбу, заключила:

— Да и научит ли еще, Андрей Иванович, чтение, у кого тут своего нет?

— Глупость это чтение! — решительно сказал ей Термосёсов.

— Не правда ли, я говорю? Трата времени.

— Как нельзя умнее рассуждаете,— утверждал Термосёсов.

— Влюбился да женился, влюбился да застрелился[147], да и все тут. А к тому ж уж нынче люди стали умней и не стреляются из-за нас. Незаменяемости этой больше не верят, не та, так другая утешит.

— Да, разумеется: абы баба была! — обронил неосторожно Термосёсов и тотчас, спохватясь, добавил: — Удивительно, ей-Богу, как вы здраво рассуждаете. Женщина нужна человеку: умная, толковая, чтоб понимала все, как вы понимаете... вот это я понимаю, а не стреляться.

— Я надеюсь, что мы с вами будем видеться? — спросила, протягивая ему руку, почтмейстерша.

— В этом не сомневаюсь. А позвольте... Вы говорили, что вам нравится, что у Порохонцевых на стене вся царская фамилия в портретах?

— Да, мне это давно очень, очень хочется. Знаете, у служащего в какой-нибудь такой день, когда чужие люди... это очень идет.

— Я вам это устрою.

— Помилуйте,— застенчиво отпрашивалась почтмейстерша.

— Нет, да что ж такое, мне ведь это ничего не стоит. У меня было фотографическое заведение. Есть у меня все: Государь и Государыня, и Константин Николаевич и Александра Иосифовна[148] — всех вам доставлю.

— Но вам они самим, может быть, нужны...

— Нет! да я себе, если захочу, опять сделаю. Это ведь сколько угодно можно печатать. А у вас... я завтрашний день к вашим услугам, непременно,— и Термосёсов с нею раскланялся.

На дворе было уже около двух часов ночи, что для уездного города, конечно, весьма поздно, так что бражничать было бы совсем неуместно, и Омнепотенский размышлял только о том, каким бы способом ему благополучнее уйти домой с Ахиллой или без Ахиллы, но Термосёсов все это переиначил. Тотчас же, как только он расстался с почтмейстершей, он объявил, что все непременно должны на минутку зайти с ним к Бизюкину.

— Позволяешь? — отнесся он полуоборотом к Данке.

— Пожалуйста,— ответила несколько сухо Данка.

— У тебя питье какое-нибудь дома есть?

Данка сконфузилась. Она, как нарочно, нынче забыла послать за вином и теперь вспомнила, что со стола от обеда приняли последнюю, чуть совсем не пустую, бутылку хересу.

Термосёсов заметил смущение хозяйки и сказал:

— Ну, пиво небось есть?

— Пиво, конечно, есть.

— Я знаю, что у акцизных пиво и мед есть всегда. И мед есть?

— Да, есть и мед.

— Ну вот и прекрасно: есть, господа, у нас пиво и мед, и я вам состряпаю из этого такое лампопо́, что...

Термосёсов поцаловал свои пальцы и договорил:

— Язык свой, и тот, допивая, проглотите.

— Что это за ланпопо́? — спросил Ахилла.

— Не ланпопо́, а лампопо́ — напиток такой из пива и меда делается. Идемте! — и он дернул Ахиллу за рукав.

— Постой,— оборонился Ахилла.— Ланпопо́... Какое это ланпопо́? Это у нас на похоронах пьют... пивомедие это называется.

— А я тебе говорю, это не пивомедие будет, а лампопо́. Идем!

— Да, постой! — опять оборонился Ахилла.— Я этого ланпопо́, что ты говоришь, не знаю, а пивомедие... это, братец, опрокидонтом работает... Я его, черт его возьми, ни за что не стану пить.

— Я тебе говорю — будет *лампопо́*,— приставал Термосёсов.

— А лучше не надо его нынче,— отвечал дьякон.

— А отчего не надо?

— А оттого, что час спать идти, а то назавтра чердак трещать будет.

Омнепотенский был тоже того мнения, что лучше не надо; но как Ахилла и Варнава ни отговаривались, Термосёсов ничего этого не хотел и слушать и решительнейшим образом требовал, чтобы они шли к Бизюкиной пить лампопо́. А как ни Ахилла, ни Омнепотенский не обладали достаточною твердостью характера, чтобы настоять на своем, то настоял на своем Термосёсов и забрал их так не вовремя и некстати в дом Бизюкина.

VII

Разумеется, ни Ахилла, а тем менее Варнава не понимали, что Термосёсов заводит их для каких-нибудь других целей. Ахилла, в своей невинности и священной простоте, полагал, что Термосёсов просто хочет докончить питру, и смущался только немножко тем, что поздненько это, а Омнепотенский же думал, что Термосёсов хочет завербовать Ахиллу в свой лагерь. А Термосёсов взошел в залу Бизюкиных очень тихо и, убедившись, что мужа данкиного еще нет, а судья Борноволоков, пользуясь его отсутствием, спокойно спит в своем кабинете,— тотчас шепнул Данке:

— Знаешь, Дана, тут мы шуму с тобой заводить не будем, а если у тебя есть что спить-съесть, то изобрази ты все это в сад. Мы там никому не будем мешать, и будет это прекрасно.

Данка, хотя и дулась немножко на Термосёсова, но желания его исполняла буквально: в саду явилась наскоро закуска: сыр, ветчина, графин водки и множество бутылок пива и меда, из которых Термосёсов немедленно стал готовить лампопо́.

Варнава Омнепотенский, поместясь возле Термосёсова, хотел, нимало не медля, объясниться с ним насчет того, зачем он юлил около Туганова и помогал угнетать его, Варнаву?

Но, к удивлению Омнепотенского, Термосёсов потерял всякую охоту болтать и разбалтывать с ним и, вместо того, чтоб ответить ему что-нибудь ласково, оторвал весьма нетерпеливо:

— Мне все равны, и мещане, и дворяне, и люди черных сотен. Отстаньте вы от меня теперь с политикой,— я пить хочу!

— Однако же, если вы современниковец, то вы должны согласиться, что люди семинария воспитанского лучше,— пролепетал, путая слова, Варнава.

— Ну вот,— перебил нетерпеливо Термосёсов,— "*семинария воспитанского*" Черт знает, что вы болтаете! Вы, верно, пьяны?

— Нет, я не пьян.

— Ну, не пьян! “Семинария воспитанского”, да не пьян еще! Лучше пейте, вот вам и будет “семинария воспитанского”

— Но позвольте, в организованных кружках всегда оказывают своему помощь?

— Тем-то вас и избаловали. А ты не жди ни от кого помощи, так посмысленей и будешь. Прав на помощь нет у естественного состояния. Борись сам, если цел хочешь быть!

— Но я говорю, что этого естественно желать?

— Да ведь естественнее желать есть, а еще естественнее без обеда оставаться.

— Да это же всё ведь опять люди так и устроили.

— Фу, черт его возьми: люди! люди! — вспылил Термосёсов.— Да в самом деле, к скотам что ли тянет? Ну так вон тебе говорили, что скотов даже естественно бить! Надоел ты, мочи нет, с своими этими нигилистическими бреднями!

— Да что вы всё про нигилистов! Неужто же, по-вашему, чиновничьи честунации... комбияции...

Варнава в досаде остановился.

— Как он прекрасно у вас говорит! — воскликнул, слегка рассмеявшись, Термосёсов.— Вот Цицерон, право! Ну-ка: как-как это? “Семинария воспитанского” и “чиновничьи честунации” Что еще?

— Он это часто так, когда разгорячится,— вступился за Омнепотенского Ахилла.— Он хочет сказать одно, а скажет другое. Они с почтмейстершей Матреной Ивановной за это даже повздорили. Он хотел ей сказать: “Матрена Ивановна, дайте мне лимончика”, да выговорит: “Лимона Ивановна, дайте матренчика!”

— Чудесно! — воскликнул, смеясь, Термосёсов.

— Да-с, я дурно говорю-с! Ничего-с,— поправлялся Омнепотенский.— Но я что говорю, то делаю, а другие... да-с, другие хорошо говорят, а как до дела... так вон как теперь Герцен в Швейцарии... Проповедовал, проповедовал, что собственность есть воровство...

— Ну! — крикнул, выходя из терпения, Термосёсов.

— А как теперь выиграл на американские акции миллион,— дворец себе поставил, а на честный журнал у него попросили, и не дает[149].

— И отлично делает, что ничего не дает дуракам.

— Я думаю, не дуракам, а честным нищим,— заступился Омнепотенский.

— Честных нищих нет и не бывает,— решил Термосёсов.— Нищий — это презренный трус, и больше ничего.

— Это почему? — спросил удивленный учитель.

— А потому что у него, значит, даже смелости воровать нет.

Омнепотенский только захлопал глазами и залепетал уж что-то совсем необычайное. Тут были и революция против собственников, и нищета, и доблесть, и заветы, и картины печальных ужасов, какие являет современная литература вообще, и вред, чинимый газетами: “Голос”, “Москва” и “Московские ведомости” Термосёсов долго его слушал и наконец сказал:

— Перестань! Сделай милость, перестань! Все это вздор и противно! Что ты это все путаешь... “Ведомости”, “Голос”, что ты можешь понимать, что такое “Ведомости” и что такое “Голос” и что направление? Сиди, знай свои кости. Это теперь обсуждать, кто вреден, кто не вреден, уже не вам, нигилистам, судить! Вы — старо, ветхо и глупо!

— “Голос”! Я “Голосу” не только гимн, а целую оперу написал бы и сам бы ее пел, и сам бы играл.

— А вы даже и на театре играли?

— Играл? Да разве я сказал, что я играл? А впрочем, *да*, и сам играл когда-то,— отвечал Термосёсов.

— Кого же вы представляли?

— Дионисия, тирана Сиракузского: ты знаешь ли такого зверя?[150] Ты же у меня будешь аглицкую королеву играть! — и, бросив Омнепотенского, он заговорил:

— Я даже этакую пьеску и напроэктировал: "*Монтионову премию*"[151] выдавать русской литературе "*за честность*" Чтоб представляли Лысую гору под Киевом и тут, знаете, несколько позорных столбов с надписями, а тут этакое большое председательское кресло, вокруг собрание полночное, и все, и патриоты даже и все, все собрались, чтоб обсуждать, кому премию... Вольф книгопродавец[152]... вы его не видали. Молодчина... Он председательствует на этом кресле, и тут все "*времена и народы*" перед ним.— Вот и начнется суд, что всех честней и полезней. Хоры из серовской "Рогнеды" вертятся и поют:

Жаден Перун,
Попить охота.—

А потом:

Свеженькой кровушки
Повыточим, повыточим[153].—

Теперь кому премию дать? Шум: ги-га-го-у! Одного провалили, другого... Свист! Теперь большинство голосов, чтобы Некрасову выдать премию: у имущего будет и преизбудет! Опять шум. Не согласны. Не надо. За что? Красные петухи зевают: "Он Муравьеву стихи писал"[154]. Смятение. Кому же? Голос из-под земли: "Краевскому!" Кому? Краевскому премию, вот кому! Спор: отчего и почему? Он "Голос" издает. Позор! Но он и "Отечественные" издает! Честь[155]. Да и доказать тут всем, что такое есть Краевский: одной рукой в тех, другой — в этих, и налаживает, и разлаживает, а в общем от этого все разлад. Голоса: молодчина Краевский, вполне молодчина! В прошедшем отличный, в настоящем полезен, в будущем благонадежен. Я всех покрываю: он! он, Краевский, достоин Монтиона! Почему я так действую? Потому что я его вижу, он всем служил, и придет антихрист, понадобится ему орган, он которою-нибудь рукою и антихриста поддержит, и молодчина! Вольф дает звонок, тишина, и премия присуждается Краевскому. Потом команда: "Всех бесчестных к столбам!" Начинается: Каткова первого, Аксакова, Леонтьева[156], Писемского, Стебницкого... ну и еще сколько их таких наберется. Теперь их уж не очень и много. Ну тут как этих прикрепят — щит... Краевского на рыцарский щит триумфатором... и идем и несем его на щите над головами. Крестовский впереди на уланском коне едет[157], и поем похвальную песнь-гимн, "*краевский гимн*", так называться будет.— Термосёсов ударил ладонью по столу и запел на голос одного известного марша:

Персидский шах его почтил,
Стал "*Голос*" старца бесподобен,
Он "Льва и Солнца"[158] получил
За то, что льву он доблестью подобен,
И солнце разумом затмил,
Затмил, затмил, затмил! —

И с этим мы уходим; сцена остается темною, и на ней у столбов одни

бесчестные,— заключил Термосёсов и вдруг, быстро поднявшись, взял Омнепотенского за плечи и сказал:

— Ну так приноси сейчас сюда бумагу и пиши.

— Что писать? — осведомился Омнепотенский.

— Приноси: я скажу тогда. Пойди-ка сюда в уголок!

— Вот что напишешь,— заговорил он на ухо Омнепотенскому.— Все, что видел и что слышал от этого Туганова и от попа, все изобрази и пошли.

— Куда? — осведомился, широко раскрывая от удивления свои глаза, Омнепотенский.

Термосёсов ему шепнул.

— Что вы? Что вы это? — громко заговорил, отчаянно замахав руками, Омнепотенский.

— Да ведь ты их ненавидишь! — заговорил громко и Термосёсов.

— Ну так что ж такое!

— Ну и режь их.

— Да; но позвольте... я не подлец, чтоб...

— Что тако-ое? Ты не подлец?.. Так, стало быть, *я* у тебя выхожу подлец! — азартно вскрикнул Термосёсов.

— Я этого не сказал...— торопливо заговорил Омнепотенский,— я только сказал...

— Пошел вон! — перебил его, показывая рукою на двери, Термосёсов.

— Я только сказал...

— Пошел вон!

— Вы меня позвали, а я и сам не хотел идти... вы меня зазвали на лампопо...

— Да!.. Ну так вот тебе и лампопо! — ответил Термосёсов, давая Омнепотенскому страшнейшую затрещину по затылку.

— Я говорю, что я не доносчик,— пролепетал в своем полете к двери Омнепотенский.

— Ладно! Ступай-ка прогуляйся,— сказал вслед ему Термосёсов и запер за ним дверь.

Смотревший на всю эту сцену Ахилла неудержимо расхохотался.

— Чего это ты? — спросил его, садясь за стол, Термосесов.

— Да, брат, уж это лампопо! Могу сказать, что лампопо.

— Ну а с тобой давай петь.

— Я петь люблю,— отвечал дьякон.

Термосёсов чокнулся с Ахиллою рюмками и, сказав "валяй",— запел на голос солдатской песни:

Николаша — наш отец,
Мы совьем тебе венец.
Мы совьем тебе венец
От своих чистых сердец[159].

— Ну валяй теперь вместе; — и они пропели второй раз, но Ахилла вместо "чистых сердец" ошибся и сказал: "от своих святых колец"

— "Сердец",— крикнул ему гневно Термосёсов.

— Не все равно, колец?

— Каких колец?

— Ну, подлец,— пошутил Ахилла.

— Каких подлец? Ты что это, тоже?.. Как ты это смеешь говорить? А знаешь, я тебя за это... тоже этаким лампопо́ угощу?

Добродушный Ахилла думал, что Термосёсов с ним шутит и хотел взять и поднять Термосёсова на руки. Но Термосёсов в это самое мгновение неожи-

данно закатил ему под самое сердце такого бокса, что Ахилла отошел в угол и сказал:

— Ну, однако ж, ты свинья. Я тебе в шутку, а ты за что же дерешься?

— Да ты, скотина, знаешь ли, за кого ты эту песню пел? — гневно спросил Термосёсов.

— Почему я могу это знать? — отвечал весьма резонабельно Ахилла.

— Так вот, вперед знай: это про Некрасова пето "Николаша наш отец" — это про Некрасова песня. А ты, небось, думал черт знает про кого? Ну вот теперь будешь знать, про кого. Хочешь если петь и пить, напиши сейчас, что я тебе стану говорить.

— Да я тебе что же за писарь такой?

— Писарь? Не писарь, а ты говорил, что тебе попова политика осточертела?

— Ну говорил.

— А напишешь штуку, и не будет попа.

— Да ты что же это такое говоришь? — вопросил, широко раскрывая глаза, Ахилла.

Он в самом деле ничего не понимал, куда это идет и к чему клонится, и простодушно продолжал:

— Это от лихорадки симпатию пишут, а ты что?

— Что? Вот что,— проговорил Термосёсов, убедясь в несоответственности Ахиллы для его планов, и вдруг, взяв со стола шляпу Ахиллы, бросил ее к порогу.

Ахилла молча посмотрел на Термосёсова и, подойдя к своей шляпе, нагнулся, чтобы поднять ее, но в это же мгновение получил такой оглушительный удар по затылку и толчок в спину, что вылетел за дверь и упал на дорожку.

Подняв голову, он увидел на дверях, из которых его вышвырнули, Термосёсова, который погрозил ему короткою деревянною лопатою, что стояла забытая в беседке, и затем скрылся внутрь беседки и звонко щелкнул за собою задвижкою двери.

Термосёсов остался с Данкою наедине. Неудачно заиграв сегодня на Варнаве и Ахилле, он решил утешить себя немедленной удачей в любви. Данка почувствовала это, затрепетала, и на этот раз совершенно недаром.

VIII

Ахилла едва отыскал свою палку, которую вслед за ним вышвырнул ему из беседки Термосёсов. Отыскивая в кустах эту палку, он с тем вместе отыскал здесь и Варнаву, который сидел в отупении под кустом на земле и хлопал посоловевшими и испуганными глазами.

— А, это ты, брат, здесь, Варнава Васильич! — заговорил к нему ласково дьякон.— Ведь лампопó-то какое! Ах ты, прах тебя возьми совсем-навсем! Пойдем его вдвоем вздуем сейчас!

— Нет, уж что!..— протянул кое-как Омнепотенский.

— Отчего?

— Да у меня... смерть болова голит.

— Ну, "болова голит" Опять начал: "Лимона Ивановна, позвольте мне матренчика" Иди,— ничего, пройдет голова.

— Нет; что ж это... кулачное право... Я не хочу драться.

— Да что он тебе такое сказал обидное?

— Этого нельзя говорить.

— Отчего же нельзя?

— Нельзя, потому что... вы теперь на него сердиты и вы... можете это рассказать кому-нибудь.

— Ну так что ж? Да, если он чему дрянному тебя учил, так отчего же этого и не рассказать?

— Послые... худые... худебствия... худые последствия это может иметь,— выговорил наконец Омнепотенский.

В это время, прежде чем Ахилла собрался ответить, в садовую калитку со двора взошел сам акцизный чиновник Бизюкин и, посмотрев на Ахиллу и на Омнепотенского, проговорил:

— Ну, ну, однако, вы, ребята, нарезались.

— Нарезались,— отвечал Ахилла,— да, брат, нарезались, могу сказать.

— Чем это вы? — запытал Бизюкин.

— Лампопо, брат, нас угощали. Иди туда, в беседку — там еще и на твою долю осталось.

— Осталось? — шутливо переспросил Бизюкин.

— Будет, будет,— на всех хватит.

— А вы, Варнава Васильич, что же все молчите?

— Извините,— отвечал, робко кланяясь Бизюкину, Варнава.

— А что?

— Знакó лицомое, а где вас помнил, не увижу,— заплетая языком, пролепетал Варнава.

— Ну, брат, налимонился,— ответил Бизюкин, хлопнув рукою по плечу Варнаву и непосредственно затем спросил Ахиллу:

— А где же моя жена?

— Жена? А там она, в беседке.

— Что ж, ее одну оставили?

— Да на что же мы ей? У них там лампопó идет.

— Да что вы помешались все, что ли на этом лампопó? У кого, у них? С кем же она там?

— Она? Да там с ней Термосёсов.

Бизюкин без дальнейших рассуждений с приятной улыбкой на лице отправился к беседке, а Ахилла, нежно обняв рукою за талию Варнаву, повел его вон из саду.

Бизюкин не взошел в беседку, потому что в то самое время, когда он ступил ногой на первую ступеньку, дверь беседки быстро распахнулась и оттуда навстречу ему выскочила Данка, красная, с расширенными зрачками глаз и помятой прической. При виде мужа, она остановилась, закрыла руками лицо и вскрикнула:

— Ах!

— Чего ты, Дана? — спросил ее участливо муж.

— Не говори! ничего не говори!.. я все скажу...— пролепетала Данка.

— Ты взволнована.

— Нет,— отвечала она и, быстро сделав пять или шесть шагов до первой скамейки, опустилась и села.

В эту минуту из беседки вышел Термосёсов. Он, нимало не смущаясь, протянул Бизюкину обе руки и сказал:

— Здорово! Какой ты молодчина стал и как устроился! Хвалю! весьма хвалю! А более всего знаешь, что хвалю и что должен похвалить? Отгадай? Жену твою я хвалю! Это, брат, просто прелесть, сюпер, манифик и экселян[1*]!

[1*] От франц. superbe, magnifique, excellent — великолепный, прекрасный, отличный.

— Скажи, пожалуй, как она тебе понравилась! — весело проговорил Бизюкин, пожимая руку Термосёсова.

Термосёсов поцеловал кончики своих пальцев и добавил:

— Да, брат, уж это истинно: "Такая барыня не вздор в наш век болезненный и хилый"[160].

— Дана, послушай, пожалуйста, как он тебя хвалит,— взывал к жене Бизюкин.— Слышишь, Данушка, он от тебя без ума, а ты... чего ты так?..

Он посмотрел на жену повнимательнее и заметил, что она тупит вниз глаза и словно грибов в траве высматривает. Она теперь хотя была уж вовсе и не так расстроена, как минуту тому назад, но все-таки ее еще одолевало смущение. Заметив, однако, что на нее смотрят, она поправилась, поободрилась и хоть не смела взглянуть на Термосёсова, но все-таки отвечала мужу:

— Я ничего. Что ты на меня сочиняешь?

— А ничего, так и давай пить чай. Я бы с дороги охотно напился.

Бизюкин, Термосёсов и Данка отправились в дом с тем, чтобы заказать себе утренний чай, и хотели прихватить с собою Ахиллу и Омнепотенского, о которых им напомнил Термосёсов и которых тот же Термосёсов тщательно старался отыскивать по саду, но ни Ахиллы, ни Омнепотенского в саду не оказалось, и Бизюкин, заглянувши из калитки на улицу, увидел, что дьякон и учитель быстро подходят к повороту и притом идут так дружественно, как они, по их отношениям друг с другом, давно не ходили.

Ахилла все вел под руку сильно покачивавшегося Омнепотенского и даже поправил ему на голове своей рукой сбившуюся шапку.

Так он его бережно доставил домой и сдал его с рук на руки его удивленной матери, а сам отправился домой, сел у открытого окна и, разбудив свою услужающую Эсперансу, велел ей прикладывать себе на образовавшуюся опухоль на затылке медные пятаки. Пятаков уложилось целых пять штук.

— Вот оно! Ишь, какая выросла! — проговорил Ахилла.

— Даже и шесть, отец дьякон, уложатся,— отвечала Эсперанса.

— Ну вот! Даже и шесть!

— Ах, ты этакая чертова нацыя,— подумал, относясь к Термосёсову, дьякон.— Это ежели он с первого раза в первый день здесь такие лампопо нам закатывает, то что же из него будет, как он оглядится, да силу возьмет?

И Ахилла задумался.

Данка же помочила одеколоном виски и через полчаса взошла совсем свободная[1*] в зал и села поить чаем запоздавшего домой мужа и поспешного Термосёсова.

IX

Из всех наших старогородских знакомых на другой день проснулась в хорошем расположении духа одна почтмейстерша. Остальные все чувствовали себя не по себе после порохонцевского пира. Не говоря об Ахилле и Омнепотенском, которые, вспомнив о вчерашнем термосесовском лампопó, опять ложились в подушки,— все находились не в своих тарелках: городничий кропотался, что просто невозможно стало гостей позвать, что сейчас не веселье, а споры да вздоры про политику; городничиха упорно молчала; Дарьянов супился; Бизюкин был недоволен, что у него в доме Термосёсов; Борноволоков встал и, взглянув на Термосёсова, только спросил себя: "Господи! да когда же его возьмут? Когда же это кончится?" Он мысленно сооб-

[1*] Зачеркнуто: "спокойная и свободная во всех своих словах и движениях"

ражал, как пойдет, едва ли дойдет его письмо,— может быть, и не дойдет... Да если и дойдет письмо... сколько еще процедур — пока Термосёсову добудут место?.. Старый Кавкевич станет упираться,— ему уж надоели с определениями... Жена, конечно, поставит на своем; но сколько на все это пройдет времени! Сколько времени... А он тут, на моей шее...

Судья был в самом тяжелом состоянии.

Соснувшая на заре Данка встала тоже левой ногою и ни за что не решалась выходить в залу. Смелость ее, которую она кое-как собрала при приезде мужа, теперь опять совсем ее оставила.

Она упорно держалась своей спальни и других задних апартаментов, и хотя знала, что нужно же ей будет выйти, но ожидала, пока случай поможет ей сделать это как-нибудь случайно. С Термосёсовым же она вовсе бы не хотела встречаться или по крайней мере не хотела встречаться с ним с глазу на глаз. При воспоминании о Термосёсове лицо Данки покрывалось все сплошь ярким румянцем; она закусывала сердито губку, топала ножкой и вдруг, нетерпеливо плюнув, бросалась отчаянно в кресла и горько-прегорько плакала никому не зримыми слезами.

Она хотела бы переменить себе другое тело, как платье, и... это было невозможно! А к тому же она, вероятно, там, в беседке, потеряла большую материнскую бриллиантовую брошь, стоящую по меньшей мере шестьсот или семьсот рублей, но в беседке ее не нашли. Где же искать ее и как она могла выпасть?

Ей было жалко этой вещи, и это ей шло во спасение: сожаление об этих бриллиантах избавляло ее от страдания о другой более ценной погибшей драгоценности.

Судья до полудня провел время в своей комнате, потом пошел с Бизюкиным посмотреть город и сделать кое-кому визиты. Андрей Иванович Термосёсов чувствовал некоторую головную боль. Это было не столько от вчерашней выпивки, сколько от всей совокупности впечатлений вчерашнего дня. Но Термосёсов не обращал внимания на эту боль и не нежился, а вставши немедленно, взялся за работу. Он приступил к разбору своего чемодана и небольшого тарантасного ящичка, в котором было уложено принадлежащее ему имущество. Здесь было белье, платье, судебные уставы, две пачки бумаг, кипы всяческих фотографий и фотографическая камера, и несколько склянок с химическими препаратами, нужными для фотографических работ.

Термосёсов отобрал из своей фотографической коллекции несколько фотографических карточек Императорской фамилии, почистил те из них, которые были запылены, ножичком и булкой и потом связал их ниткой в особую пачку и, положив на стол, взялся за другое дело. Он достал большой лист почтовой бумаги, разложил его на столе, запер на крючок дверь в кабинет, где был теперь в отсутствие Борноволокова один, и начал писать: "Дорогой Александр Петрович,— писал он,— уведомляю тебя, дружище, что я нахожусь теперь в Старом Городе N-ской губернии и вижу, брат, как Гоголь рассказывает, одни свиные рыла[161]. Пиши мне сюда почаще и попроси редактора Степку, чтоб выслал мне сюда газету. А я вам буду постоянно изображать здешнее общество. Несмотря на то, что я здесь еще новичок, но я могу начать это дело немедленно же, потому что здесь в этом обществе, между дураков и скотов всяческого рода, я встретил одну прекрасную барыню: это здешняя почтмейстерша. Женщина ума громадного и превосходных практических взглядов на жизнь. Я надеюсь, что с ее помощью я буду в состоянии давать вашим читателям интереснейшие очерки уездной жизни. Я еще не сошелся с г-жой Тимановой (так зовут почтмейстершу); но постараюсь

снискать ее расположение и употреблю для этого все, ибо она всего стоит. Чудо, братец, женщина, и лицо у нее (хоть она и не первой молодости), но это лицо говорит за нее, что это за женщина. А впрочем, у нее есть две дочери. Одна из них настоящая мать, да и другая, верно, будет не хуже. Кто, брат, знает, чем для меня может кончиться сближение с этим семейством, к которому меня так сразу потянуло?.. Может быть, придется пропеть: ты прости-прощай, моя волюшка? Не осуждай, брат, а лучше, если будешь ехать домой, закати и сам сюда хоть на недельку! Кто, брат, знает, что и с тобой будет, как увидишь? — Одному ведь тоже жить нерадостно, а тем паче теперь, когда мы с тобой в хлебе насущном обеспечены, да еще и людям помогать можем.

Почтмейстершу нашу, я тебе сказал, зовут Тиманова. Я тебе пришлю ее карточку. Каково тут будет наше положение, не знаю, и не знаю, как устроить, чтобы знать, как тут об нас будут думать. Верно, и про нас отсюда будут строчить Аксаковым и Катковым или в "Голос",— а тут всякую строку принимают за наличную монету. И кстати, о "Голосе".— Что это за каналья Петр Пантелеев[162]! Я ему месяц тому назад послал две статьи — обе неподписанные: одна моя называется: "Губернские перипетии" (рассказываю, как Катков с своей катковщиной вводит повсеместный раздор, но с русским оттенком это), а другая губернского цензора Баллаша — "Туры и траншеи нашего земства" Эта побивает земство. Цензор Баллаш — превосходнейший человек: просто, как сказочный Лукопер, стоит у леса и сторожит, что ни зверь мимо его не прорыскнет, ни птица не пролетит. Я назначил его статью в "Отечественные записки", а свою в "Голос"; но если Краевский захочет переменить — пусть переменит: мою можно в "Отеч<ественные> зап<иски>", а Баллаша в "Голос" Ему все равно: абы деньги. Пожалуйста, дорожите вы хоть цензорами-то хорошенько,— он тут две не подходящие времени брошюрочки уже вывел в расход до выхода, но надо и вперед глядеть в оба неустанно. Отстаивайте, отстаивайте, господа, настоящие порядки, при других бо при всяких нас гибель ждет. Верьте Андрею Термосёсову и бойтесь прогресса. Скажи, пожалуйста, Степке, что он за редактор, что я у него до сих пор газеты не допрошусь. Пусть тоже Тимановой вышлет. Просто: в Старый Город г-же Тимановой. Больше ничего не надо. Живи! — До первой корреспонденции. Я тебе, верно, скоро опять буду писать, потому что я очерк задумал сделать из Тимановой. Это вам будет тип совершенно новый и благодарный. Живи еще раз! Твой Термосёсов"

Надписав конверт, Термосёсов погнул его между двумя пальцами и, убедясь, что таким образом можно прочесть слова вроде: "*Тиманова, газета*" и т.п., взял перо и заадресовал письмо какому-то Александру Готовцеву, в редакцию одной из маленьких петербургских газет[163].

Затем Андрей Иванович сел за другое письмо. В начале этого письма он поместил превосходительный титул, а дальше излагал следующее: "И здесь в этом далеком Старом Городе состояние умов столь же неблагоприятно и небезопасно, как и в губернском городе. И здесь, как и там, среди ограниченных и неразвитых людей, из каких состоит масса, заметно присутствие лиц крайне беспокойных. Люди эти — патриотические фанатики, склонные видеть в администрации чуждые их духу начала и вследствие того враждебно относящиеся ко всем умиротворяющим заботам администрации. Это люди точно такие же, на каких я имел честь указывать Вашему Превосходительству в прежних своих обозрениях в губернском городе. Все они увлечены и, сами того не сознавая, проникнуты тем же самым духом социализма и демократизма, которые у их московских вождей замаскированы патриотическими чувствами. Даже здесь люди эти, не сдерживаемые близким присутстви-

ем вашей власти и влияния, гораздо смелее и гораздо вреднее, чем те, которые жили с подобными мнениями в губернском городе до удаления их оттуда. Это и весьма понятно, так как здесь эти фанатики в своих поступках совершенно свободны, за неимением за ними по захолустьям надзора людей преданных и верных правительству[1*] и понимающих просвещенные цели администрации, держащейся европейских начал. Ввиду этого ни учреждение жандармских наблюдательных постов по уездам, ни учреждение частных и негласных миссий с тою же задачею не представляются нимало не лишними, а напротив, совершенно необходимыми. (Хотя опять смею думать, что негласные обозреватели гораздо полезнее, чем жандармы, которых мундир и звание служат предостережениями против них и импонируют их назначение).

Комплот демократических социалистов, маскирующихся патриотизмом, группируется из чрезвычайно разнообразных элементов и, что всего вредоноснее, так это то, что в этом комплоте уже в значительной степени участвует духовенство,— элемент, чрезвычайно близкий к народу и потому самый опасный. Промахи либерализма здесь безмерны и неисчислимы. Скажу одно, что с тех пор, как некоторым газетам дозволено было истолковать значение, какое имело галицкое духовенство в борьбе с правительством Австрии за русскую народность, наши попы начинают обезьянничать и видимо стремятся подражать галицким духовным. Они уже тоже считают своею задачею не одно исполнение церковных треб, но числят по своему департаменту и стояние за русскую народность,— все лезут в Поппели, да в Яковы Федоровичи Головацкие[164]. Но Австрия имеет помойную яму, куда может спускать эти закислые духовные дрожжи,— она своих Поппелей и Головацких отпускает в Россию, а Россия куда будет сплавлять своих Туберозовых? (Это здешний протопоп, о котором я должен нечто сообщить Вам).

Старогородский протопоп Савелий Туберозов, человек, который уже не однажды обращал на себя внимание начальства своим строптивым и дерзким характером и вредным образом мыслей. Он был уже не раз воздерживаем от своих непозволительных действий, но однако воздерживается весьма мало или, лучше сказать, воздерживается только лишь в той мере, чтобы отвлечь от себя внимание, а в сущности, полон всяких революционных начал.

Не хочу предрешать, сколько он может быть вреден целям правительства, но полагаю, что вред, который он может принести, а частию уже и приносит, велик бесконечно. Протопоп Туберозов пользуется здесь большим уважением у всего города и, должно сознаться, что он владеет несомненным умом, склонным к осуждению, и смелостью, которая доходит у него до бесстрашия. Такой человек должен бы быть во всех своих действиях ограничен как можно строже, а он между тем говорит обо всем, нимало не стесняясь, и вдобавок еще пользуется правом говорить всенародно в церкви. Надо смотреть, чтобы налой проповедника при таких людях не был когда-нибудь обращен в кафедру агитатора, осуждающего и возбуждающего.

Этот духовный элемент, столь близкий к народу, с другой стороны, видимо сближается и с поместным дворянством. Так, например, этот подозрительный протопоп Туберозов пользуется горячим покровительством того самого Туганова, личность и взгляды которого столь вам небезызвестны. Г.Туганов вчера был здесь на вечере у здешнего городничего, говорил, что “от него застят солнце”, намекая этим на лиц, стоящих между народом и

[1*] Далее зачеркнуто: “Партия этих людей, сколь я теперь не сомневаюсь, понимаю, даже дорожит небольшими местами и охотно несет службу на них, лишь бы только иметь постоянные и ближайшие сношения с народом”

монархом, и на общество это все имело большое влияние; а наконец, он сказал даже, что он человек земский, а вы изволите быть "*калиф на час*" Да и кроме того, когда ему здешний учитель Омнепотенский, человек совершенно глупый, но вполне благонадежный, сказал, что все мы не можем отвечать: чем и как Россия управляется? — то он с наглою циничностью отвечал смело: "Я, говорит, в этом случае питаю большое доверие к словам екатерининского Панина[1*], который сказал, что "Россия управляется мудростию Божиею и глупостью народною"[165]. Такие выражения в устах человека, который называет себя "первым земским лицом", разумеется, производят огромнейшее влияние и делаются паролем и лозунгом невежественных поборников квасного русского патриотизма.

Сегодня я был нарочно в шести домах и везде слышал, как повторялись эти слова Туганова, и даже, заставив себя зайти в весьма грязный трактир — слышал, что и там какой<-то> приказный рассказывал буфетчику, что Россия управляется "мудростью Божиею и глупостью народа" И оба эти темные, может быть и честные, и невинные люди, очень этому смеялись[2*]. Таким образом, как изволите видеть, вредное послабление, оказанное литературе, и излишняя терпимость со стороны правительства вызывает явление небывалое и непредвиденное: теперь нет более никакого сомнения, что происходит на деле объединение сословий во имя одной идеи народности; и рядом с этим презрительное отвержение всеми чиновничества, столь усердно служащего опорой административной власти.

Вашего превосходительства всепокорнейший слуга
А.Термосёсов.

P.S. Обозрения мои я буду доставлять еженедельно известным Вашему превосходительству путем.— В отношении попа Туберозова немедленно же попробую применить везде столь успешно действующий "раздражающий метод" Надеюсь, что при его характере это пойдет весьма успешно, и он незаметно скатится в яму, которую рыл ближнему. Для отвода глаз все мои действия будут иметь вид служения женщине,— здешней чиновнице Бизюкиной, которая ненавидит Туберозова.— Но... Ваше превосходительство... Хоть двадцать, хоть тридцать рублей в месяц мне совершенно необходимы. Я требую не за службу мою вознаграждения, а Вы сами изволите знать, что для обозрений моих я должен видеть людей; должен иногда принять и угостить человека: чем же я это все могу сделать, находясь постоянно без гроша?"

X

Дописав это письмо, Термосёсов откинулся на стуле назад от стола и, посидев в таком положении со сложенными на груди руками, проговорил в себе: О аристократы! аристократы! По шерсти вам дана эта и кличка на Руси — чуть с ними дело дошло до денег, так ори стократ им,— ничего не слышат. Тьфу! Из чести служи им!.. Велика честь, нечего сказать... И глав-

[1*] Далее зачеркнуто: "— не Виктора Никитича Панина[166], а екатерининского министра Панина"

[2*] Далее зачеркнут первоначальный вариант окончания письма Термосёсова: "Считая долгом занести эти мои недельные обозрения, я имею честь присовокупить Вам, что на будущее время я надеюсь устроить надзор за здешнею жизнью более тщательный и имею к тому некоторые средства, хотя мне необходимо было бы для этого весьма маленькое подспорье рублей в 150 и небольшой подарок, приличный для пожилой дамы. А обозрения мои я буду точно так же заделывать в переплеты книг, доставляемых мне из библиотеки Форштанникова, который будет содержать их отдельно и доставлять известному Вам лицу. Всенижайший слуга А.Т."

ное, как будто сами из чести умеют служить? — Нет; себя-то небось отлично помнят; а тут... Ведь на это же наконец специальные суммы есть! Кому же эти суммы идут? Кто их берет, черт возьми?.. Нет, вижу плоха и на этих надежда! — решил, вздохнув и почесав себя по груди, Термосёсов.— Если на них одних положиться, да им одним работать, тоже на бобах сядешь.

Андрей Иванович еще раз вздохнул и, придвинувшись к столу, начал тщательно переписывать свое "обозрение", потом сложил тонкий листок вчетверо и, разделив ножом одну полу переплета старой довольно замасленной книги из губернской библиотеки Форштанникова, вложил свое сочинение в этот разрез; опять заклеил его клейком и запачкал чернилом так, что ничей глаз не открыл бы, что здесь что-то положено. Окончив эту часть своей работы, Термосёсов взял холщевый мешок, всунул в него книгу, запечатал, надписал адрес библиотеки Форштанникова и начал одеваться[1*]. Через десять минут Данка, выглянув украдкою из окна, видела, как Термосёсов, бодрый и сильный, шел по улице с посылкой в руках.

Термосёсов держал путь прямо к почте. Он зашел сначала в контору, подал здесь письмо и зашитую в холст книгу, заплатил деньги и потом непосредственно отправился к почтмейстерше.

Тиманова была твердо уверена, что Термосёсов придет к ней, и сама его ожидала. Она встретила его посреди залы и сказала:

— Благодарю, вас, Андрей Иваныч, бесконечно вас благодарю за ваше внимание.

— Мне вас надо благодарить,— ответил Термосёсов,— такая скука. Даже всю ночь не спал от страху, где я и с кем я?

— Да. Она такая невнимательная, Дарья Николавна, т.е. не невнимательная, а не хозяйка. Она читает больше... Я думаю, вам там неудобно?

— Нет, не то,— отвечал Термосёсов.— А знаете, раздумье берет. Вчера всех ваших посмотрел и послушал... Ну людцы, нечего сказать!

— Да, тут есть над чем пораздуматься,— протянула почтмейстерша.

— Я вам говорю — просто ужас. Мне, разумеется, что ж... я ведь служу, собственно, не очень из-за денег. Я, разумеется, человек небогатый, но у меня есть кое-какие связи, и я мог бы устроиться и в столице.

— Ну, какое сравнение? В столице...

— Да-с, но ведь нужно же кому-нибудь, однако, и сюда-то заезжать. Что ж ведь мы всё пишем да рассматриваем, а все, все и держимся одного Петербурга. Конечно, нам-то там хорошо, ну а здесь-то три столетия все и будет так стоять.

— Немногие так рассуждают,— отвечала Тиманова, усаживая гостя на почетное место.

— Нет-с, нынче уж довольно многие так думают.

— Ну, у нас вы первый. Я говорю дочерям вчера, когда мы пришли домой... я говорю, вот, Дуняша, молодой человек... похоже это на тех молодых людей, какие бывают у нас.

[1*] Далее зачеркнуто: "предварительно тщательно спрятав черновой донос в особую довольно толстую папку.

XV

Термосёсов не видал Данки, да он о ней и не беспокоился. Окончив свою корреспонденцию и заделав так, как ее подобало заделать, Андрей Иваныч высунулся в окно и позвал Ермошку.

— Подай, нигилист, мне умыться и живо.

Ермошка исполнил приказание Термосёсова духом, и Данка опять слышала, как Термосёсов плескал, фыркал и брызгался"

— Ну, да ведь вы меня еще совсем почти не знаете,— отвечал с застенчивостью Термосёсов.

— Ну да ведь есть же какая-нибудь опытность, своя опытность — я уж пожила.

— Да, но вы не относитесь враждебно к молодежи.

— К молодежи? Боже меня спаси: молодежь — наша надежда.

— Дайте мне вашу руку,— воскликнул сорокалетний Термосёсов и крепко сжал почтмейстершину руку.— На молодежь подлецы клевещут,— сказал он.

— Пусть себе их сколько угодно клевещут. Я знаю, что мне с молодым человеком всегда весело. Я говорю вчера дочерям, когда мы пришли: Дуня, Саша, заметили вы время, как мы прошли от Порохонцевой с господином Термосёсовым? — Они говорят: "ах, мама, нам прескучно было с этим дьяконом",— а я говорю: а я просто минуты не заметила с господином Термосёсовым.— Дуня говорит: "я вам завидую, мамаша", а я говорю: подожди, мой друг, ты еще молода, чтобы с тобой говорить господину Термосёсову, потому что у вас, право... все такое высокое.

— Что вы это! — остановил ее Термосёсов,— а я напротив, я вашу дочь... Это старшая Дуня?

— Нет младшая, старшая Саша.

— Это которая на вас похожа — Саша?

— Да. Находят некоторые, что она имеет со мною сходство. Саша простая девочка, еще ребенок.

— Ну нет-с, я с вами в этом не согласен. Это не простая девочка... это лицо... Помилуйте: это не ребенком смотрит. Я вам признаюсь — я ужасно люблю хорошие лица.

Термосёсов чувствовал, что уж он врет очень не в меру и может таким образом провраться; что Тиманова все-таки знает, что она грехоподобная гадость, и сейчас же поправился:

— То есть я говорю, что я люблю не этакие... знаете, есть красивые лица, да ничего они не выражают: бело, да красно, да румяно. Очи небесные, да брови дугою, да наконец...— Он оглянулся кругом.— Ваших дочерей здесь нет?

— Нет. Они еще... не... не одеты, но не думайте, что они спят,— подхватила она,— я их веду очень просто... Они у меня теперь хозяйничают.

— Да это и всего лучше, я вам скажу,— и Термосёсов, принагнувшись немножко к почтмейстерше, добавил:

— Знаете, что такое красота? — Красота у нас в Петербурге... по пяти рублей продается.

— Да, красота — заговорила <почтмейстерша>, потупляя глаза и теребя между пальцами кисточку гарусной салфетки.— Красота без строгих правил нравственности — это приманка без удочки. Ходит окунек по водице, увидал червяка — хап, хватил его и пошел прочь.

— И пошел прочь,— подтвердил Термосёсов.

— И поминай как звали,— вздохнув, докончила почтмейстерша.

— И поминай как звали,— опять закрепил Термосёсов.— Я скажу вам, я сегодня немножко вставши расфантазировался по этому случаю и написал письмецо в Петербург. Там у меня есть один приятель. Мы с ним делимся нашими соображениями... Дельный парень и занимает отличное место и в душе человек.

— Что редкость в наше время,— сказала почтмейстерша.

— Большая даже-с редкость. Я ему написал, извините меня... Да, это, впрочем, для вас все равно. Я написал, как мне представилось все здешнее общество и, простите, упомянул о вас и о вашей дочери... Так, знаете... немножко, вскользь, но ему приятно это и с пользой... Он литератор, и когда

мы расставались, он все приставал ко мне: “Портретов, Андрей! Бога ради, портретов!”,— но где вы с кого напишете портрет? Разве карикатуру, другое дело; но наконец... Я так и написал: “Наконец, братец, встретилось и исключение: вот тебе и портреты!” *Луч в темном царстве*, как говорил Добролюбов. Что ж! Ошибусь или не ошибусь, но во всяком случае и увлекаться не только приятно; но даже и полезно. А то замрёшь[1*].

— Нет, мосьё Термосёсов, я, конечно, могу вас только благодарить за вашу любезность и внимание, которые мы ничем не заслужили. Но вместе с тем все-таки могу вас уверить, что в нас, в нашем семействе... в моих дочерях и во мне вы не ошибетесь[2*].

— Уверен, уверен-с,— отвечал Термосёсов.

Почтмейстерша продолжала разбирать пальцами бахромочку и, как бы собираясь сказать что-то очень веское, улыбалась, глядя на салфетку.

Термосёсов впился в нее острым, проницательным взглядом и, не сводя с нее глаз, сказал:

— Я очень глупо доверчив — это глупо, но я уж такой человек; но на этот раз моя доверчивость больше основана на разуме и на влечении сердца. Я вот вам доверяю, не знаю почему? Но вот так, к вам душа моя лежит, словно я, вот, чувствую, что вы хорошо ко мне относитесь. Что вы, как мать, жалея меня на чужбине, спасли бы меня от всякой беды, предупредили бы от всякого зла.

— Можете ли вы в этом и сомневаться?

— Да, я так и думал.

— И вы не ошиблись.

— Да?

— Да.

Почтмейстерша встала, шепнула Термосёсову “посидите” и вышла.

Оставшись один, Термосёсов встал, подошел к окну и, надув свою губу, задумал: О, да и подлец же какой эта баба: на благодарность жива. С нею надо камня из-за пазухи не выпускать!

XI

Оставив Термосёсова, почтмейстерша прямо прошла коридором в контору и, вызвав к себе мужа, сказала тоном, не допускающим возражения:

— Что здесь отправил новый чиновник?

— Да ведь я тебе уже отдал письмо нового судьи,— отвечал почтмейстер.

— Не судья, а что Термосёсов подавал?

Почтмейстер вернулся к столу, где лежало письмо и книга, поданные Термосёсовым, и подал обе эти вещи жене.

— Книгу посылайте,— сказала, прочитав адрес, почтмейстерша, а с письмом скорым шагом ушла в свою комнату. Здесь она быстро распечатала известное нам письмо Термосёсова к его товарищу Готовцеву, прочитала его с несомненным удовольствием и, отослав с девушкой назад к мужу, вынула из своего туалета другое знакомое нам письмо — письмо судьи Борноволокова. С этим она возвратилась в гостиную к Термосёсову.

Когда почтмейстерша взошла, Термосёсов по-прежнему стоял у окна и при звуке шагов взошедшей хозяйки молча обернулся. Она также молча вы-

---

[1*] Зачеркнута фраза: “а то уж на свете-то видишь одни эти, свиные рыла... Черт знает как начинаешь смотреть!”

[2*] Далее зачеркнуто: “А вы много ошибались?

— Ошибался,— отвечал Термосёсов.— Надували канальи тоже... и много надували. И между своими и между чужими везде мерзких людей много”

нула из кармана борноволоковское письмо и подала его с строгим видом Термосёсову.

Термосесов письмо взял, но ожидал пояснения, что ему с этим письмом делать?

— Смело, смело читайте, сюда никто не взойдет,— проговорила ему хозяйка.

Термосёсов прочел письмо своего начальника, очень спокойно, не дрогнув ни одним мускулом и, окончив чтение,— молча же возвратил его почтмейстерше.

— Узнаете вы своего друга?

— Я от него всегда ожидал этого,— отвечал Термосёсов.

— Я признаюсь,— заговорила почтмейстерша, вертя с угла на угол возвращенное ей письмо,— я потому изумилась... Я никогда этого не делаю, но вчера, когда я вернулась после знакомства с вами, коровница говорит: "Барыня! какой-то незнакомый барин бросил письмо в ящик!" — Я говорю: зачем в ящик? — У нас, знаете, этого не водится: у нас всё в руки письма подают.— Э,— сказала я себе: это — анекдот! Это непременно какая-нибудь подлость, потому что честный человек не станет таиться с письмом и бросать его в ящик, а прямо в руки его отдаст, и не поверите, как и почему?.. просто по какому-то предчувствию говорю: нет, я чувствую, что это непременно угрожает чем-то этому молодому человеку, которого я... полюбила как сына.

Термосёсов подал почтмействерше руку и подумав: "Э, да была не была!" взял да и поцаловал ее.

— Право,— заговорила почтмейстерша не только со слезами умиления в голосе, но и с непритворными нервными слезами на глазах.— Право... Я говорю, что ж! Он здесь один... я его люблю как сына; я в этом не ошибаюсь, и слава Богу, что я это прочитала.

— Возьмите его,— продолжала она, протягивая письмо Термосёсову,— возьмите и уничтожьте.

— Уничтожить? Зачем? Нет; пусть его идет куда послано.

Термосёсов сразу сообразил, что хотя это письмо и нелестно для его чести, в результате весьма для него небезвыгодно.

Почтмейстерша никак не ожидала от Термосёсова такого ответа и была очень изумлена им.

— Я вас не понимаю,— проговорила она.— Зачем же вы хотите послать на себя такую черную клевету?

— А вот я вам это сейчас разъясню, и вы это будете понимать. Вам ведь немного нужно говорить, чтоб вы поняли: видите: это еще пока цветочки...

— Да, я вас теперь понимаю,— перебила почтмейстерша.

— Конечно! Если это письмо не получится, он будет подозревать, а пусть его себе расписывает, думая, что мы ничего не знаем.

— Ведь даже сам принес,— внушительно наябедничала почтмейстерша.

— Подлец! — отвечал Термосёсов.— Я его давно знаю!.. Ничего, пусть пишет! Пусть все пишут! Пусть что хотят пишут! А мы будем знать, что они пишут.

— В этом вы, конечно, можете быть всегда уверены.

— Ну, вот это и все, что нужно[1*]. Так, значит, союз? Вы меня не дадите обидеть?

— Насколько могу и насколько в силах! — отвечала с чувством почтмейс-

---

[1*] Далее зачеркнуто: " — Но если вам дадут место в Польше?
— О нет. Я не пойду... Да не дадут, да я и не пойду.
— А то мы вас и лишимся.
— Нет! я не пойду. Чего! Нет... Они нас еще тут будут помнить".

терша.— А вы,— добавила она, заметив, что Термосёсов берется за свою кепи,— а вы там... берегитесь... Бизюкиной.

— А что она... болтушка?

— Она и болтунья, и женщина очень безнравственная.

— Знаю-с! Это-то я отлично знаю,— отвечал Термосёсов.— Ну, она на меня болтать не будет.

Почтмейстерша посмотрела в самодовольное лицо Термосёсова и сказала:

— Так!

— Да-с; не будет,— отвечал Термосёсов.

— Однако скоро! — проговорила, улыбаясь и покачав головою, почтмейстерша.— Ах, нынешние женщины! женщины! Но ведь на их и расположенность-то долго рассчитывать невозможно. И потом, я вам скажу — у нее есть прескверный роман с Омнепотенским.

— Да черт с нею; стоит о ком говорить. Пусть у нее хоть с целым миром романы идут. Мы с вами будем знать себя.

— Ах, мой милый Андрей Иваныч,— здесь живучи, нельзя знать "одних себя" Тут... тут ад ведь, а не жизнь, и каждый друг друга хочет унизить.

Термосёсов, прочитав на лице хозяйки, что ей хотелось этими словами выразить, сказал:

— Да, разумеется, посчитаемся и переведаемся и с другими.

— Им постоянно надо давать себя чувствовать.

— И дадим-с. А вы,— добавил он, приостановясь,— скажите-ка мне откровенно — из всех вчерашних людей, кого мы там видели... Кто из них наиболее-то вам неприятен?

— Ах! Мне? если вам говорить откровенно,— мне они все неприятны. Я живу совсем уединенно. Одна сама с собою и со своими детьми... Мой муж, дети мои и я, ничего другого и знать не желаю.

— Верю-с,— отвечал Термосёсов.— Я не о том и говорю, кто приятен, а о том, кто особенно неприятен. Извините, что я так говорю прямо. Я люблю прямо дело ставить, на прямую ногу. Какого вы, например, мнения о протопопе Туберозове?

— Да что же: такой же, такой же, как и все другие: надменный старичишка и дерзкий.

— Дерзкий?

— О-о-о! даже и очень дерзкий и вредный.

— Да что же он может сделать?

— Ну знаете... есть пословица: "всякий бестия на своем месте" Он мешается во все дела; с поучениями лезет и всегда самые обидные вещи говорит.

— Ну вот, видите,— проговорил Термосёсов.— Я уж это не от первых вас слышу, что это вредная дрянь, но никто не умел мне как следует рассказать: чем именно он вреден?

— Да вы кого же о нем расспрашивали? Бизюкину?

— Да, и ее и Омнепотенского.

— Ну,— много они понимают! И потом, он их личный враг,— им много верить невозможно; но а я... Мне все равно: мне что ни поп, тот и батька. Говори он о богомоленьях, о постах, я ему это даже и в заслугу бы ставила, но нет... Он всегда заведет: "высокие нравы, да высокие характеры, мужество да доблесть" и всегда с укоризнами, с намеками... Вообще, он самый-самый беспокойный и неприятный у нас человек. Он пятнадцать лет был моим духовным отцом, но я его в прошлом году переменила. Вы можете себе представить, как это тяжело.

— Еще бы!

— Пятнадцать кряду лет открывать свою душу одному и вдруг переменить и взять другого. Но с ним решительно невозможно было дальше!

— А что? — спросил Термосёсов.

— Да так... неприятный этакий... во все мешается, всё советы свои, наставления... Мой муж... Вы его еще не знаете — я не совсем счастлива в супружестве. Я не могу, конечно, пожаловаться на непочтительность моего мужа, но я должна была многое, многое сама делать, чтоб как-нибудь его вывести... Вы знаете, как это женщине нелегко: тут и осуждения, и рассуждения: зачем баба за мужские дела берется...

— И этот протопоп тоже?

— Да о нем-то я уж не хочу и говорить! Что на духу сказано, то по нашей религии повторяться не должно, но у него всегда этакие рацеи на языке — намеки разные глупые и оскорбительные. Пардон: "Не люблю,— говорит,— я, когда бабы на себя мужские штаны надевают. Нет в том доме проку" Понимаете, это ведь очень ясно мне — в чей огород камешки летят.

— Экая скотина,— воскликнул насчет Туберозова Термосёсов.

— И так и всё у него,— заключила почтмейстерша.— Оттого, если хотите, что, по-моему, самый неприятный человек в городе есть — это и есть он, Туберозов.

— И вы были бы рады, если б его этак,— Термосёсов показал рукою, как обыкновенно показывают "посечь"

Почтмейстерша недоумевала.

— Похворостинить немножко,— пояснил Термосёсов, повторив при этом снова свой выразительный жест.— Поунять.

— О! знаете... Он был мой духовный отец, и мне, может быть, не следовало бы этого говорить, но скажу, что это было бы прекрасно. Он уже вчера и о вас рассуждал, когда вами все так заинтересовались... Дарьянов — это тоже у нас этакой фендрик[167]: на шее креста нет, а табакерка серебряная. Дарьянов говорит про вас: "Есть на кого,— говорит,— обращать внимание" А Туберозов морду надул и себе: "Писарь,— говорит,— как писарь, и больше ничего"

— Дураки! — беззлобиво произнес Термосёсов.— Писарь! Только про меня можно и сказать, что я писарь. Гм! Ну и прекрасно! Нет,— воскликнул, вдруг вспрянув с места и стукнув по столу кулаком, Термосёсов.— Нет! Мне вся предана суть не урядами, а отцом моим, который слепил вот эту голову,— Термосёсов указал на свой лоб и добавил: — Эту голову отец, слепивши, сказал: сей идет в мир нищ, но се, тот его же не оплетеши. Увидим, мой друг! — заключил он, протянувши хозяйке на прощанье руку.— Увидим, увидим, и они увидят, кто такой Андрей Термосёсов.

С этим Термосёсов распростился с напуганной несколько его экзальтацией хозяйкой и вышел на улицу. Пройдя половину пути к бизюкинскому дому, он остановился на пригорке, с которого мог осмотреть весь город, надул губу и, поразмыслив с минутку, сказал:

— Ну что ж, пора и начинать. Сделаем, что можно здесь, а там и в Польшу... Так вы, милейший Борноволоков, меня в Польшу ссылаете. Ничего, хлопочите за меня, хлопочите; я люблю, чтобы за меня хлопотали, а там уж и я об вас похлопочу.

XII

Возвратясь в дом Бизюкиных, Термосёсов не застал дома ни самого хозяина, ни Борноволокова. Они еще не возвратились со своих визитов. Дома была одна Данка, да и та сидела запершись в своей комнате. Термосёсов осведомился от Ермошки о месте, в котором заключилась барыня, и направился прямо через залу в гостиную к запертой двери хозяйкиной спальни.

Термосёсов понимал, что Данка конфузится встретиться с ним после вчерашнего пассажа в беседке. Он знал, что в таком случае мужчине надо облегчить женщине ее встречу. Он знал, что Данку нужно ободрить, дать ей реваншу, и, подойдя смелым и твердым шагом к ее спальне, стукнул рукой в дверь и заговорил шутливым тоном:

Отворите мне темницу
И дайте мне сиянье дня[168].—

— Слышите, Дарья Николавна? - повернул он на *вы.*

Дарья, услыхав голос Термосёсова, встала и подошла неровными шагами к двери, но остановилась.

Термосёсов еще один раз возобновил свое требование, и дверь тихо и нерешительно приотворилась робкой рукой Данки. Термосёсов сейчас же взял ее за эту руку и шепотом проговорил ей:

— Ну что же, wie geht's[1*]? Как же наше здоровье?

— Ничего,— ответила Данка. И тихо кашлянула и застенчиво отвернулась от испытующего термосёсовского взгляда.

— Чего же ты вертишься-то? — заговорил он, неожиданно взявши ее рукою за подбородок.

С этим он повернул ее к себе лицом, поцаловал и сказал:

— Какие вы все чудихи, и все на один покрой. Сами себя выдаете всегда. Я, ей-Богу, вчера при муже твоем думал, что он непременно по тебе что-нибудь заметит. И вертелась, и краснела, и глаза этакие встревоженные. Пройдет, брат, ничего. Комар укусил, и ничего больше. Ничто же сотвори, да и шабаш! А мне тебе дело есть большое сказать.

Он посадил Данку на диван и сам сел около нее, обняв ее за талию.

Данка вспыхнула и, вырываясь от Термосесова, проговорила:

— Сделайте милость!.. Я не понимаю такого поведения.

— Какого это,— грубо спросил, оставляя ее, Термосёсов.

— Такого, как ваше.

— Ты, кажется, своего-то прежде всего не понимаешь,— ответил Термосёсов.

— Зачем вчера были приглашены сюда и этот дьякон, и Омнепотенский? — краснея и с запальчивостью спросила Данка.— Вы, кажется, хотите нарочно меня компрометировать.

— Компрометировать? Очень мне нужно! Зачем же бы это мне тебя компрометировать?

— Я не знаю, зачем это делают мужчины! чтоб умножать в глазах людей число своих побед над женщинами.

— Ну да. Есть чем хвалиться!

— Ну так расскажите мне, зачем все это было сделано? Зачем был взят сюда и дьякон, и Омнепотенский?

— А вот затем именно, чтоб тебя не компрометировать! Затем, чтоб мне не одному с тобой идти было ночью; затем, чтоб не одной тебе было идти в сад со мною. Затем вообще, что меня пустым мешком по голове не били. Я знаю, как надо дела делать, и так и сделал, как надо было делать. Ты знаешь, как я сделал?

Чувство стыдливости не позволило Данке ответить ни слова.

— Знаешь, у одного какого-то жмотика-скряги мальчишка был вроде твоего нигилиста. Понадобилось ему шапку купить, он и купил ее на барские деньги. Барин — потасовку. А тот после, за чем его ни пошлют купить,

---

[1*] Как дела? (*нем.*)

две либо три копеечки и схимостит, и купил себе шапку, да и говорит: “Вот и есть шапка, и нет шапки” Так и мы с тобой. Я свой счет вчерашний кому угодно предъявляю, и мужу тебя твоему расхваливаю, а что он в этом счете видит: “и есть шапка, и нет шапки” Дьякон небось или Варнавка что-нибудь могут сказать? Во-первых, что же они знают, а во-вторых, кто же им и поверит? Колоченый человек мало ли что со злости скажет?.. Эх ты, Филимон-простота! Победа!.. Очень мне нужно кому-нибудь объяснять свои победы. А ты вот себя так ведешь, как два пьяные человека, подвыпивши, брудершафт выпивают, да потом друг другу “*ты*” стыдятся сказать. А ты не стыдись, да и некогда стыдиться. Вот что... Я вчера круто с этим Омнепотенским обошелся для тебя; а он мне теперь очень нужен.

— На что ж он-то вам может быть нужен?

— Да ведь уж не для того же, чтоб ему мою победу над тобой в самом деле показать, а для дела. Выпиши мне его сейчас.

— Да, я думаю, он и не пойдет.

— Ну вот, не пойдет! Сядь-ка, напиши ему. Понежничай с ним.

— Я не умею нежничать.

— Да полно врать — не умеешь! Сядь, сядь, напиши, что надобно для дела, чтобы он пришел,— что, мол, Термосёсов без него тронуться с места не может.

Данка решительно отказалась это писать, утверждая, что это будет совершенно понапрасну и что Омнепотенский не пойдет.

— Ну помани его к себе, когда так! — нетерпеливо крикнул Термосёсов.

— Это еще что?

Данка обиделась.

— Как *что*? — воскликнул, сердясь, Термосёсов.— Надо же дело делать или нет? Надоел тебе твой Туберкулов или еще хочешь с ним век целый ворочаться? Я уеду отсюда скоро!

Данка ожила от этого известия.

— Надо скоро все делать,— продолжал Термосёсов.— Садись и пиши, что я тебе буду говорить,— скомандовал он, сажая Данку за ее письменный столик.

Данка, приняв в расчет преданность ей Омнепотенского, согласилась ему написать все, лишь бы только это могло как-нибудь содействовать скорейшему отъезду Термосёсова.

— “Несмотря на все, вчера происшедшее,— диктовал Термосёсов,— я все-таки хочу сохранить наши прежние с вами отношения. Ни мужа, ни Термосёсова нет дома: приходите ко мне сию минуту. Я одна и вся ваша”

— Этого не нужно,— сказала о последней фразе Данка.

— Ну, как знаешь,— как у вас принято было. Теперь подпишись.

XIII

Письмо было подписано, запечатано и послано. И Омнепотенский пришел.

Термосёсов встретил учителя на крыльце; обнял его, поцаловал и извинился перед ним во вчерашних своих поступках, сказавши, что он был пьян и ничего не помнит. Затем он ввел не опомнившегося Омнепотенского в комнаты Данки и, держа его обеими руками за плечи, сказал ему:

— Тут дело вот в чем. Я получил с почты письмо, которым меня извещает приятель, что я нужен буду в другом месте. Поэтому время тянуть некогда. Свои теории вы всегда будете иметь с собою; меня же не всегда с собою иметь будете, а потому прямо к делу. Полюбя вас, я хочу, нимало не медля, проучить вашего Туберкулова. Что ты такое про него знаешь, Варнава?

— Что? Я особенного ничего не знаю,— отвечал учитель.

— Как ничего не знаешь, а ты чем-то вчера хвалился, когда мы шли туда, к Порохонцевым.

— Ну, ведь я это и сказал,— отвечал Омнепотенский.— Я слышал только, как он, всходя на крыльцо церкви, сказал к чему-то: "Дурак" Я думал, что он это Ахилле.

— Да, ну это, брат, немного. А я было думал дать тебе два поручения, чтоб открыть игру с оника. Ну да ничего: мы, как говорят, за благослови Господи, во-первых, сейчас подымем дело об оскорблении Ахиллою того мещанина, которого он на улице за уши драл. Как его фамилия?

— Это комиссар Данилка,— сказал Омнепотенский.

— Почему это он комиссар? Комиссар или Комиссаров[169]?

— Комиссар.

— Да почему-у?

— А кто его знает, почему. Так его все зовут: он по комиссии городничего у его тестя лошадь для смеху ходил красть, да его так крапивой высекли.

— Да; вот видишь! Стало быть, есть причина, почему его зовут комиссаром. Теперь, как же его фамилия?

— Да комиссар Данилка, да и все.

— Да разве это фамилия, "комиссар Данилка"? Как его настоящая фамилия.

— Я не знаю, как его фамилия. У него никакой фамилии нет.

— Полно врать, разве бывает человек без фамилии?

— Да, у него фамилии нет.

— Эх, чурило! Ни до чего с тобой не договоришься. Ну да все равно. Вели ему, чтоб он вечером сюда пришел, а между тем сам все это как следует изложи на бумаге. Мы это отошлем.

— Куда?

Термосёсов посмотрел еще раз внимательно на Омнепотенского и сказал:

— Да тебе не все ли равно, куда? Ведь тебе надобно только Туберкулова своротить.

— Нет, не все равно,— отвечал Омнепотенский.— Я помню, что вы мне вчера говорили — куда писать про Туберозова. Я его ненавижу, но я доноса писать не стану.

— Отчего же это ты не станешь?

— Оттого, что это не мое дело, оттого, что это низко.

— А с тобой не низко поступают?

— Да пускай со мною поступают низко, но я все-таки доносчиком не буду. Они все подлецы, он про поляков доносил, но зачем же, чтобы и я был такой же, как он.

— Да, а кто же тебе сказал, что это будет донос?

— А что же это будет?

— Служение своему делу.

Омнепотенский подумал и отвечал, что он и на служение делу таким приемом не согласен.

— Ну, так напиши это для газеты.

— А, для газеты?

— Да.

— Да ведь что же: в какую вы газету пошлете?

— В "Новое время"[170].

— Ну вот!..

— Что такое?

— Какое же у нее направление?

— А тебе что за дело?

— Да и у нас почтмейстерша все распечатывает.

— Да что вы все со своей почтмейстершей. Прекрасная женщина, а вы все на нее: "Распечатывает, да распечатывает" Ну, хорошо, ну боишься почтмейстерши, ну мы другим манером отправим. Ты только напиши, а там уж не твое дело. Я знаю, как отправить.

Варнава опять задумался и на этот раз согласился сегодня же к вечеру принести обстоятельно изложенное описание всех предосудительных поступков старогородского духовенства и доставить его Термосёсову вместе с живым комиссаром Данилкой. И все это в точности исполнил.

Литературное произведение Омнепотенского, назначавшееся в "Новое время", Термосёсов взял к себе, а комиссара Данилку представил судье Борноволокову и, изложив перед ним обиду, нанесенную Данилке дьяконом Ахиллой, заключил, что Данилка просит судью разобрать его с его обидчиком. В этом изложении Термосёсова прикосновенным к этому делу как соучастник вышел и протопоп Туберозов, назвавший Данилку "глупцом"

— Это и будет наше первое дело здесь,— сказал Термосёсов на ухо судье.— Прикажете завтра их вызвать?

— Да,— отвечал судья.— Послезавтра.

— Ну, послезавтра,— согласился Термосёсов и, оборотясь к Данилке, сказал:

— Приходи послезавтра. Ты только того, смотри,— внушал ему Термосёсов, выпроводив его за двери,— ты лупи бесчестья рублей триста. Больше не спрашивай, а триста. Я тебе говорю, что уж мы тебе это вытребуем.

Термосёсов сам продиктовал Омнепотенскому прошение от комиссара Данилки на имя судьи и заставил Данилку подписать эту просьбу и подать ее.

При подписании просьбы оказалось, что у Данилки действительно была своя фамилия, что он называется мещанин Даниил Сухоплюев.

Когда все это было как следует улажено и Даниил Сухоплюев выпровожен вон, Термосёсов вложил сочинение Омнепотенского в конверт, запечатал его и, не надписывая никакого адреса, отослал с Ермошкой на почту. Мальчишке было строго наказано, чтобы он, отнюдь не отдавая этого письма никому в руки,— просто бросил бы его в почтовый ящик.

XIV

В восемь часов следующего утра Термосёсов был пробужен от сна Ермошкой, который подал ему небольшой billet-doux[1*] от Тимановой. Почтмейстерша извещала Термосёсова, что есть обстоятельства, которые требуют немедленного его прибытия. Термосёсов не заставил долго ждать себя. Он встал, оделся и отправился по требованию.

Термосесов отлично знал, в чем заключались эти экстренные обстоятельства. Тревогу подняло брошенное в ящик без адреса письмо Омнепотенского. Оно было утром рано вынуто и, будучи распечатанным и прочитанным, привело почтмейстершу в недоумение — как ей поступить с ним? Она решила, что ей необходимо знать: как будет смотреть на это дело Андрей Иванович Термосёсов?

Андрей Иванович прочел известное ему сочинение Омнепотенского с удивлением и на вопрос почтмейстерши: "Как быть с этой бумагой: давать или не давать ей дальнейшее движение?" — сказал:

— Да какое же вы ей дадите движение, когда она никуда не надписана?

— То-то я и говорю: это, верно, на тот свет,— сказала почтмейстерша.

[1*] любовная записка (*франц.*).

— Нет; это совсем другое значит. В провинциях у многих есть поверье, что если кто хочет что сообщить по тайной полиции, то опускает письмо без адреса. "Тайна", знаете,— ну тайно и идет.

— Что за глупость такая!

— Ну вот видите; а есть дураки, которые этому верят и думают, что все письма, которые не надписаны,— туда идут.

— Надо надписать? — спросила почтмейстерша.

— Нет. Да мы еще посмотрим, хорошо ли это, что они там будут, оттуда мешаться, с высоты своего величия. Там Туганов теперь в Петербурге будет,— пойдут вступничества, да заступничества... Нет; это звон велик. Дайте лучше это письмо мне.— И Термосёсов взял письмо себе, но по дороге домой обронил его перед училищем.

Через час весь город знал, что учитель Варнавка написал какое-то сочинение о Туберозове.

Слух этот, конечно, не преминул скоро дойти и до отца Савелия. Протопоп не сказал никому ни слова. Вечером в тот же день его посетил Термосёсов, приглашая его завтра освятить воду во вновь открываемой камере мирового суда. Туберозов святил воду, а на следующий день после этого водоосвящения получил повестку, на которой было написано: "Протопопу Туберкулову", потом слово Туберкулов было перечеркнуто и воспроизведено "Туберозову" В повестке этой, с явным умыслом оскорбить старика, между печатным текстом о каре за неявку, было прописано, что "протоиерей Туберозов должен явиться для дачи свидетельских показаний и по личной прикосновенности к делу об оскорблении им и дьяконом Десницыным господина мещанина Даниила Лукича Сухоплюева"

Протопоп сначала не верил своим глазам и потом расходился:

— Я просто Туберозов, да еще и Туберкулов на подкладке, а Данилка "господин мещанин" Скажите, пожалуйста, что это за новые шутки?

И прежде чем Савелий нашелся, как объяснить себе эту шутку,— ему предстал совершенно перепуганный Ахилла. У дьякона в руках дрожала точно такая же повестка, которою он тоже приглашался к суду за оскорбление "господина мещанина Даниила Лукича Сухоплюева"

Дьякон был не только встревожен, не так как Туберозов,— он просто трепетал. В глазах Ахиллы мировой судья — это было что-то титаническое, всемогущее, всепопаляющее и всеистребляющее. Получив повестку, что этот титан первого кличет его, Ахилла так растерялся, что на него вдруг всею неодолимою тяжестию пала боязнь смерти, и он со всех ног бросился скорее бежать к Туберозову.

Протопоп выслушал испуганный лепет дьякона как мог хладнокровнее и, взяв шляпу, кликнул за собою Ахиллу. Оба они с повестками в руках, молча и торопливо шли к начальнику уезда Дарьянову.

XV

Протопоп желал сообщить поскорее обо всем этом Дарьянову, для того чтобы Дарьянов как юрист дал ему совет, как отнестись к этому вызову по делу, в котором старик Туберозов не видел ровно никакого дела. Дарьянов был тех же мнений, как и отец Савелий, и тотчас же отправился к Борноволокову, который перед этим делал ему свой визит.

Дарьянов был совершенно уверен, что Борноволоков принял жалобу Данилки к разбирательству по неопытности, не разобрав, в чем заключается *суть* ничтожного происшествия, бывшего поводом к этой жалобе.

— Скажите, пожалуйста,— начал он, присев у судьи на его новой квартире,— вы вызываете к разбирательству нашего протопопа и дьякона!

— Да; — отвечал ему Борноволоков.— А вы что же хотите, чтобы я делал?

— Помилуйте, да в чем же тут дело-то? из-за чего поднимать суд и расправу? Ведь вы здесь новый человек... Извините меня, я вам не советы навязывать хочу, а предупреждаю вас как нового своего согражданина и товарища...

— Ничего-с,— отвечал Борноволоков.

— Провинция ведь довольно мудрена или по крайней мере гораздо мудренее, чем о ней думают. В наших мелких городишках осторожно нужно жить.

— Да?

— Еще бы! Здесь ведь умы вздором заняты, и от скуки люди ссорятся.

— Да?

— Конечно, тут друг друга не щадят от безделья. Лгут да клевещут один на другого, и в ложке воды каждый другого хотят утопить.

— Да?

Дарьянов остановился, поглядел в глаза судьи и подумал:

“Эко чертово дакало! Словно только он и умеет, что одно “*да*”,— но заставил себя говорить и сказал:

— Да. Вы увидите: здесь мирить гораздо труднее, чем в Петербурге. Там все это уж подернуто некоторой цивилизацией, а здесь еще простота, но простота, которая, если не уметь с ней обращаться, злее воровства.

— Да?

Дарьянов опять остановился и проговорил, рассмеявшись:

— Да, да, да. Я вам говорю, что у нас все это безамбициозно и просто: мещанин Данилка, дрянной шелыганишка[171], которого ленивый только не колотит и совершенно по заслугам; он говорил что-то кощунственное; дьякон услыхал это да выдрал ему уши; а протопоп и это все покончил: сказал Данилке, что он глупец, и выгнал его вон... В чем же тут дело?

— Прошение подано.

— Да что прошение. Ведь этаких прошений не оберетесь, если захотите брать их... Гм! Известнейший мерзавец, дрянь, воришка... и извольте радоваться: “честь его оскорблена”! Да его... спину мильён раз оскорбляли, да он и то не жаловался, потому что поделом.

— Да? — с невозмутимостью отвечал судья.

— Да что *да*? Я вам говорю, что Данилка — это, что называется, прохвост, а Туберозов образец честности, правды и благородства! — Дарьянов начал горячиться.

— Да? — снова ответил в вопросительном тоне судья.

— Ну *да*! Так вы вот теперь и подумайте, как это хорошо отразится в народе, что новый, моленный и прошенный суд у Бога только что надошел, как и пошел честных людей трепать да дергать в угоду всякому заведомому пакостнику.

— Что ж: на суд идти не стыдно никому...

— Но позвольте-с! Есть люди, с которыми и на суд идти стыдно, и Данилка, разумеется, не выше этого сорта, но ведь кроме суда есть осуждение: к чему вы можете осудить протопопа?

— Я не знаю-с: это зависеть будет от обстоятельств.

— То есть от доказанности того, что Ахилла драл Данилку за уши, а Савелий дураком его кликнул?

— Да.

— Да, в этом и сомнения нет, что это будет доказано: протопоп не отопрется, а Ахиллу видели все, как он учил Данилку и вел его к протопопу; но ведь вы поймите, что у нас это называется *поучить*, не драться, и не обижать, а *поучить*!

— Да?

— Да, да что все *да, да, да.* Я вас прошу сказать мне, что же, если все это будет доказано, то к чему вы присудите протопопа? "Испросить у обиженного прощения", может быть?

— Да.

— Протопопу-то Туберозову просить публично прощения у мерзавца Данилки! У мерзавца Данилки, которого никто за человека не считает, которого крапивой порют и за грош нанимают свиньей хрюкать?

— Да, у него.

Дарьянов быстро схватил свою фуражку, сжал ее в руке и, задыхаясь, проговорил:

— Этого не будет! Протопоп не пойдет на ваш суд.

— Да?

— Да, *да,* черт возьми, *да.*

— Заплатит штраф.

— Заплатит.

— А я постановлю решение заочно.

— Не смеете.

— Как?

— Так, не смеете. Старик Туберозов не уклоняется от суда, а у него есть законная причина, почему он не пойдет на ваш зов завтра. Он благочинный: он имеет дело, по которому он непременно должен выехать в свой округ. Он сегодня вечером уезжает.

Дарьянов лгал Борноволокову. Туберозов ему вовсе этого не говорил, но Борноволоков принял это очень спокойно и сказал:

— Что ж, если он имеет законные причины,— может не придти. А законны ли эти причины, это будет обсуждено.

— Это ваше последнее слово? — спросил Дарьянов.

— Да,— ответил судья и замолчал, не считая себя нимало обязанным сколько-нибудь занимать своего гостя.

Дарьянов встал и простился.

Возвратясь домой, где его ожидали Ахилла и Туберозов, он передал им весь свой разговор с мировым судьею и добавил:

— Я вам так, отец Савелий, советую. Уезжайте, проездитесь, а между тем... Постойте еще; черт не так страшен, как его пишут... Обратимся к вашему начальству и к прокурорской власти: смеет ли Борноволоков привлекать вас к такой ответственности. Обжалуем это.

— Да разве можно? — спросил шепотом упавший духом Ахилла.

— А отчего же?

— Можно?

— Да, конечно. Самая большая преграда это... почта.

— Да; на почте непременно подлепют,— решил дьякон.

— И задержат-с.

— Это нипочем!

— Так вот: как послать?

— А вот как: я съезжу,— сказал дьякон.

— Да; в самом деле: он съездит,— поддержал Савелий.

Дьякон качнул в знак согласия головой и утвердил все это словом: "верхом"

Через полчаса все эти три человека всякий у себя дома были заняты хлопотами по одному и тому же делу: Дарьянов писал прокурору; Туберозов архиерею, а Ахилла чистил у себя на корде коня и декламировал:

Скребницей чистил он коня,
А сам ворчал, сердясь не в меру...[172] —

При этом Ахилла, разумеется, нимало не сердился, а был в самом счастливейшем состоянии. Как в Нероне жил артист, так и в Ахилле жила душа какого-нибудь казака или веселого рыцаря. Страсть Ахиллы к лошадям и к совершению каких-нибудь всадничьих служений была безмерна. Не читая вообще никаких книг, он заучивал наизусть стихи, в которых хоть одно слово какое-нибудь говорилось про лошадь, и твердил эти стихи как ребенок, воображая себя тем, о ком там говорится. Теперь

Скребницей чистил он коня,
А сам ворчал, сердясь не в меру,—

и воображал себя гусаром. О судье он уже забыл и думать и помнил только об одном блаженстве, что он в эту же ночь выедет посланцем не “внарочку”, как он часто воображал себя, носясь верхом на конях своих, а “взаправду” посланцем... У него дух даже захватывало: он оседлал своего коня и побежал торопить бумаги. Получив конверт от Дарьянова, он явился к протопопу, и как тут приходилось ему с минутку обождать, то он этим временем утешал насчет судьи Наталью Николаевну.

— Вздор,— говорил он,— совершенный вздор и ничего не значит. Я думал, что это знаете... вот как арап в комедии: хоп, и слопает, и засудит, а на него еще пожаловаться можно... Ни-и-чего! Вот пусть-ка завтра ждет меня, а я

Казак на север держит путь,
Казак не хочет отдохнуть
Ни в чистом поле, ни в дубраве,
Ни при опасной переправе[173]. —

Ахилла получил конверт и благословение и от протопопа, поцаловал руку Натальи Николаевны и сбежал торжествующий с их двора, и не прошло получасу, как он пронесся уже верхом мимо их окон. Он был в старом подряснике, полы которого необыкновенно искусно обвернул вокруг ног, и в широкополой полусвященнической, полугарибальдийской мягкой шляпе. Остановив на минуту своего коня перед окнами дома Дарьянова, Ахилла быстро с сверкающими от восторга глазами вскинул вверх свою шляпу, распахнул подрясник и, указывая на видневшуюся из-за пояса рукоять ножа, прочел:

Булат — потеха молодца,
Ретивый конь... —

Ахилла погладил по гриве свою лошадь и продолжал:

Ретивый конь — потеха тоже...
Но...

Закончил он, тряхнув в воздухе шляпой:

Но шапка для него дороже...
За шапку все он рад отдать:
Коня, червонцы и булат.
Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что *в ней донос зашит*,
Донос на гетмана злодея,
Царю Петру от Кочубея! —

Ахилла крепко насадил шляпу обеими руками себе на голову, сжал коленями лошадь, взвился и оставил вместо себя только одно густое облако серой пыли.

Выехал Ахилла вовремя, лошадь у него крепкая и быстрая, сам он наездник лихой и неутомимый,— он, конечно, не станет отдыхать

Ни в чистом поле, ни в дубраве,
Ни при опасной переправе,

чтобы не разрушать свою иллюзию, что он казак с доносом к царю Петру, и к утру всеконечно будет в губернском городе и доставит кому следует порученные ему бумаги.

Выпроводив Ахиллу, Туберозов немедленно же собрался в путь и сам. Длинный, сухой дьячок Павлюкан, который обыкновенно исправлял у него кучерские обязанности во всех его поездках по благочинию, заложил в небольшую тележку Туберозова с кожаной будочкой пару его лошадок, и они уехали, а судье Борноволокову было послано об этом оставленное протопопом уведомление.

XVI

В то время, когда в Старом Городе удивлялись возникновению странного дела между Ахиллой, Туберозовым и завалящим комиссаром Данилкой, спорили и рассуждали, возможно ли такое дело, и предрешали, чем оно должно кончиться, дьякон жил в губернском городе, стараясь добиться ответов на привезенные им бумаги, а Туберозов тихо и неспешно обтекал села и деревушки своего благочиния.

Поездка на него действовала чрезвычайно благотворно: раздражительность его проходила, он успокоивался и даже умилялся. Прошло две недели со дня его выезда. Он побывал в это время везде, со всеми ласково поговорил и всем, кого посетил он в эту поездку, показался еще более, чем когда-либо, участливым, нежным и внимательным. Бедствия, нужды, крайнее невежество и глубокое нравственное падение духовенства, всегда трогавшее душу отца Савелия,— на этот раз действовали на него еще сильнее. Во всех разговорах со своею во Христе братиею, со всеми, кого надо было приподнять, ободрить на борьбу; кого надо было пощунять и похаять, отец Туберозов был столь мягок, столь целебен и тепел, что один сельский дьячок Василий Хохлов, некогда оригинально наказанный протопопом за то, что, владея кистью, изобразил, по своей фантазии, Бога Отца почившим от всех дел своих на кровати, выпроваживая отца Туберозова из своего селения за околицу, обратился к причту и сказал:

— Ей-Богу, отцы, наш благочинный просто яко пластырь целительный к нашим ранам прикладывается.

И сравнение, сделанное дьячком Хохловым, действительно было очень удачное. В Туберозове надо всем теперь преобладала особливая, нежная старческая доброта, по которой есть обычай предсказывать, что человек, дошедший до такой нежности, уже близок к смерти. Он обтекал свое благочиние как миротворец, и все путешествие его было как бы прощальная тихая вечеря любви и единения. Но наконец все, что должен был посетить Туберозов, он уже посетил и держал обратный путь к дому. Это было в очень жаркий день среди знойного лета.

От последнего села до города оставалось ехать около сорока верст. Туберозов выехал не совсем рано и едва успел сделать половину пути до наступления нестерпимого пеклого жара. Дальнейший путь становился до крайности затруднительным: лошади мылились и потели; усталость их была очевидна и возбуждала участие. Туберозов решился остановиться на покорм и отдых. Он не хотел заезжать никуда на постоялый двор, да по глухому проселочному тракту, которым шел путь, кстати, и не было ни одного порядочного двора, которому не следовало бы предпочесть небесную кровлю. Протопоп вспомнил очень хорошее место у опушки леса, в так называемом Корольковом верху, откуда получал свое начало гремучий ручей и которое теперь находилось всего в двух или трех верстах. Он положил доехать до этого

места и там и остановиться под небесным сводом. Вот и это место: это очень хорошее место. Отсюда открывается вся плоская покатость, ведущая к городу, и в конце этой покатости, невероятно далеко, почти за двадцать с лишком верст мелькают золотые главы церквей самого города. Это неизмеримая панорама — это живой укор тому, кто славил Русь, видя в ней "небо, ельник, да песок"[174]. Отсюда вперед широко русская степь пораздвинулась, а сзади за плечами стоит, словно старый лохматый кошель старины, безначальный, дубравный и крепкий дремучий лес. Ему нет измерений; он тянется на необъятное пространство до соединения со сплошным полесьем Десны. Слева видна темная котловина, по которой течет река Турица, а справа зеленый овражек, из которого бурливым ключом бьет гремяк. Здесь тихо, свежо и прохладно. Утомленный зноем Туберозов, как только стал здесь, так почувствовал себя прекрасно. В густом, темно-синем молодом дубовом подседе стоит живительная свежесть. На упругих, словно в зеленый воск обмокнутых листьях ни соринки. Повсюду живой, мягкий успокоивающий мат. Из-под листвы инде глазеет на свет яркоцветная волчья ягода; выше вся озолоченная светом стоит сухая орешина, а возле на теплой коричневой почве раскинуты листья папороти, и под ней, как красный коралл, костяника ютится под белым и крепким боровиковым грибом.

В тех петых лесах Германии, которые вокруг обнесены частоколом, в тех сухих перелесках, где каждая пташка тащит на шейке докучливый паспорт, нет ничего в этом роде.

Здесь томно горлицы воркуют и тяжко крячет ворон над разодранной добычей: здесь русский дух, здесь Русью веет. Отсюда русских снов и саг ручьи живые льются. Здесь сын земли вдыхает в грудь свою земли своей непобедимую, спокойную отвагу.

Здесь Русь, в которой несть ни лести, ни киченья. Она, избранница небес, здесь Богу одному послушна, ждет, покуда час призванию ее великому ударит.

Здесь Русь.

XVII

Пока Павлюкан в одном белье и жилете отпрягал и устанавливал у растянутого хребтюга потных коней, протопоп прошел несколько шагов по лесу, подышал его свежестью, потом взял из повозки коверчик и, спустившись с ним в глубокий зеленый овраг, из которого бурливым ключом бил гремучий ручей, умылся и лег здесь на ковре.

Мерный рокот ручья, который быстро бежит по покатому дну, покрытому красным железистым осадком; и прохлада повеяла на спаленную зноем голову Туберозова, и сладкий покой и мечта низошли в его душу. Это были давно позабывшие старика гости[1*].

[1*] Далее зачеркнуто: "Природа пленила поэтического старика своею прелестью, и с ним произошло то самое, что происходит со всеми людьми, любящими природу, когда они волею или неволею отрываются при созерцании ее от воспоминаний и ничтожной человеческой суетни, ничтожных смут, волнений мелких и всего того, чем черна и ненавистна чистому человеку жизнь, исполненная братоненавидения, мести и злопомнения. Отец Савелий искал утешения в природе, когда он две с половиною недели назад тому уезжал из города — искал успокоения, и успокоение это не приходило, он все-таки не мог осмотреться вокруг себя, утешить себя и найти себе безобидную дорогу. Теперь, ввиду того места, где его непременно ждали люди, его столь долго раздражавшие, и ждала его обида, он вдруг почувствовал, что этот покой нисходит к нему на душу. Читатели давно должны заметить из намеков отца Туберозова, что у него есть какой-то план сослужить какую-то службу, сделать какое-то дело — дело честное, по его понятиям, крайне необходимое и несомненно полезное, и мы не скроем от читателя, что отец Савелий, при той силе характера, которую он находил в себе, все-таки приступал к этому делу с нерешительностью. Дело это должно было совершиться завтра".

Туберозов нарочно уехал, чтоб полнее обдумать и решиться на небезопасное для него дело, на которое намекал Дарьянову еще в первых главах этой повести. Но совершение этого дела представляло опасности не для одного отца Савелия — о чем бы он и не думал,— оно угрожало большими неприятностями и для жены его. Всякий, кто когда-нибудь любил женщину не едиными *устнами,* а сердцем и считал свои скорби и несчастия ничтожеством перед ее скорбями и несчастиями — поймет, что этого рода опасения могли иметь весьма значительное влияние на меру решимости отца Савелия. А к тому же у него есть и другие задержки: его разбил и расстроил последний разговор с Тугановым. Он размышляет: "А что если и в самом деле не след человеку, любящему Русь, рисковать своим благосостоянием? А что если и в самом деле ревность к России больше вредна, чем ей полезна? А что если и в самом деле для нее не то именно и нужно, чтобы сыны ее за нее погибали? Что если она и в самом деле будет бессильна, оставаясь национальной[1*]? Мы, дети севера, как русская природа,— цветем недолго,— быстро увядаем[175]. Картины наши однообразием томят, скучна природа наша и нет фантазии и вере вызреть негде!.. О, Боже мой, как тяжек этот приговор и как несправедлив! Земля кипит и медом, и млеком, и хлебом; леса и нивы, и луга так тучны и прекрасны... Так мало нужно, чтобы здесь был всякий сыт... и вот фантазия к чему отсель естественно стремится: да будет хлеб насущный всем и да бежит отсюдова лукавство. Фантазия! Кто правит ею? Она всегда чиста, нетленна и богата.

С предвечного начала
На лилиях и розах,
Узор ее волшебный
Стоит начертанный в раю[176].—

Кто виноват, что здесь, на этой же земле взращенный поэт на ней заметил: "Небо, ельник да песок", тогда как другой видел, как

Государь Пантелей
Ходит по полю
И цветов и травы
Ему по пояс[177]? —

Обязан ли я видеть одно сено в лугах, когда мне дано разуметь трав лепетанье[178]? Нет, не сено одно волу-молотильцу я вокруг себя вижу,— я вижу вон он в лесу, девясил благовонный, утоляющий боли надсаженной груди; вон огненный жабник, врачующий черную немочь; верхоцветный исоп от удушья; ароматная марь против нерв, вон рвотный копытень; сон-трава от прострела; кустистый дрок; крепящая расслабленных омела; и болдырьян от детского родимца; и корень мандрагор, что благотворный сон дает лишенному покоя несчастливцу. А там вон на полях и по дороге трава гулявица от судорог; вон божье древо и львиноуст от трепетания сердца; вон дягиль; лютик целительный и смрадный омег; вон курослеп от укушения бешеных животных... а там (протоиерей обернулся к котловине, по которой текла Турица), а там по потной почве луга растет ручейный гравилат от кровотока, авран и многолетний крин, восстановляющий бессилье; кувшинчик, утоляющий неодолимое влечение страсти; и лен кукушкин, что растит упавший волос. Какая дивная аптека! Какой священный сад живоначальных сил в потребу человеку! И это скудная природа, говорят[179]!.. И это скудная природа,

[1*] Далее зачеркнуто продолжение этой фразы: "русской, что ей нельзя обойтись без чужого разума, без чужих снадобий, без чужих толков и порядков. Может быть!"

среди которой должна иссохнуть фантазия и вера? Что за нелепость! Неужто эта каждая былинка не говорит о том, какие радости она может создать, если ее сорвать и подать вовремя тому, кто в ней нуждается, и сколько горя от того, что ее не знают и считают ее ничтожным сеном, потребным лишь волу молотящему? Вон эта мандрагора,— это ее листы, и венчик и ее многосемянные ягодки... Ее зовут у нас паслён... Она дает отрадный сон страдальцу, она ж и убивает. Одно это былье с его орешками взывает к жизни целый мир событий. Эти ягоды были орудием обвинения орлеанской девы в злом чародействе[180]; за них библейская Лия отторговала себе у сестры от зари до зари общего мужа... Природа мстит вам, которые не научились читать ее живые книги!.. Нет фантазии!..

Протоиерей улыбнулся, сорвал паслённую ягодку и, тихо катая ее по ладони, улыбался, как улыбаются дети чарующей сказке. Глаза его смежала приятная прохлада и задвигала от него действительность чудной картиной. Из своего прохладного приюта старик наш видит палящий зной палящей Палестины. Немые пальмы дремлют, и карнизы обелисков шевелятся в мреющем сверканье жара. Стоят шатры; окаменелые верблюды спят, и две жены сидят под тенью на высоких седлах: одна прекрасная, как радость, красавица с упругими и смуглыми плечами — это любимица Израиля Рахиль — другая Лия. Ее красноватые глаза говорят о несчастье забытой жены. Это библейские сестры-соперницы.

Отяжелевшие в прохладе зеки отца Туберозова замыкаются крепче, и библейская картина выступает перед ним еще ярче. Фигуры начинают двигаться: бежит с поля мальчик и падает в колени своей чародейной матери Лии. Уста фигур шевелятся, и их речи понятны, как знакомая подпись. Это читается так: «Се сын Лии Рувим иде в поле и обрете яблоко мандрагорова и принесе я Лии матери своей. Рече же Рахиль Лии, сестре своей: “Даждь мне от мандрагор сына твоего!” Рече же ей Лия: “Не довольно ли тебе, яко взяла еси мужа моего, еще и мандрагоры сына моего возмеши?” Рече же Рахиль: “да будет муж сея нощи с тобою за мандрагоры сына твоего” И прииде Иаков с поля в вечер и изыде Лия во сретение ему и рече: “ко мне внидеши нощь сию, на яла бо тя днесь за мандрагоры сына моего — и бысть с нею и послуша Бог Лию и, зачнеша, родила Израилю сына пятаго»[181]...

О ты, священнейшая простота! Что в лучших снах Италии есть этого бесхитростного сна невиннее и краше? И отчего же, отчего, когда слово заходит о фантазии, о почве, на которой зреет вера, все так смело указывают на романский Запад, где все освещено огнем католических костров, и никто не смеет вспомнить про библейский Восток?.. Какое ужасное невежество и какая страшная несправедливость!

XVIII

Мечтания протоиерея были прерваны Павлюканом, который давно стоял над Туберозовым, тряс его за плеча, приглашая его встать и разделить трапезу, которую тот приготовил, подвесив на ветке дорожный котелок и сварив в нем кашицу с набранными в лесу грибами.

Отец Туберозов так крепко спал, что едва проснулся, выпустил из руки ягодку паслёна и, насилу уразумев, на что приглашал его Павлюкан, ласково сказал: “Кушай, мой друг, кушай один,— мне сладостно спится, и я есть не хочу”

Сладкий сон снова сейчас же смежил старые вежды Туберозова.

Павлюкан отобедал один.— Он собрал ложки и хлеб в плетеный из

лыка дорожный кошель, опрокинул на свежую траву котел и, заливши водою костерчик, забрался под телегу и немедленно же и сам последовал примеру протопопа. Лошади отца Савелия тоже не долго стучали своими челюстями; и они одна за другою скоро утихли, уронили головы и задремали.

Кругом стало сонное царство. Солнце плыло, плыло, свалило с полдён и быстро покатило книзу,— и Савелий, и Павлюкан и их кони всё еще спали. Тени лесной опушки с уклонением солнца вытягивались дальше и больше, и больше захватывали поле. Вот и признаки жизни: начинается пробуждение. Из гущины на чащобу выскочил подлинялый заяц. Он сделал прыжок, сел на задние лапки, пошевелил усиками и, увидав спящих, тихо присвистнул и молоньей юркнул назад и исчез в прохладную чащу. Через минуту зверек появился опять, но теперь не один, а вдвоем. Парой, в три ровных прыжка быстро вынеслись они из лесу; оба рядышком сели на задние лапки, оба обтерли передними лапками мордочки и, словно сказавши друг другу: "А ну-ка взглянем, что это такие за люди?",— оба здесь сели и смотрят. Минута, другая и десять,— ни с чьей стороны ни движенья, ни звука... Вот пырхнула лошадь и оскалила желтые зубы, и, вытянув шею, стала чесаться виском о тележную грядку. Зайцы разом вздрогнули, кинули за спины длинные уши и снова исчезли, огласив лес робким, отчаянным заячьим криком.

Туберозов отрывался от сна на том, что уста его с непомерным трудом выговаривали кому-то в ответ слово: *здравствуй*!

— С кем я это здравствуюсь? Кто был здесь со мною? — старается он понять, просыпаясь. Это кто-то чудный, прохладный и тихий стоял у его плеча и сказал ему: "Здравствуй, Савелий!" Он в длинной одежде цвета зреющей сливы... Да кто ж он? Кто это? — Савелий быстро поднялся на локоть и увидел: две белые стопы, которые сверкнули и скрылись в чащу.

Что это? Две стопы, словно два белые зайца, или два белые зайца, словно две легкие стопы? А дремота опять набегает, дремота сильная, неодолимая дремота, которую не нарушает ни солнце, достающее теперь лучами до его головы, ни пристяжная лошадь, которая, наскучив покоем, все решительней и решительней скапывала с себя узду и наконец скапнула ее, сбросила и, отряхнувшись, отошла и стала валяться. Все это будто так должно: лошадь идет дальше и дальше; вот она щипнула густой муравы на опушке; вот скусила верхушку дубочка, вот наконец ступила на засеянный клевером рубеж и пошла по нем дальше и дальше: Савелий все смотрит. Это не сон и не бденье. Он видит и слышит. Вон высоко над его головою в безоблачном небе плавает ворон. Ворон ли то или коршун? Нет, ворон: он держится стойче, и круги его шире... А вот долетает, как горстка гороха, *ку-у-рлю*. Это воронье *ку-у-рлю*,— это ворон. Что он назирает оттуда? Что ему нужно? Он устал парить в поднебесье и, может быть, хочет этой чудесной воды. Этой воды... Кто вам внушил, что здесь нет ***своей*** живой фантазии, своих чарующих преданий, незакопченных куревом костров? Туберозову приходит на память легенда, прямо касающаяся ***этой воды,*** этого ключа, дающего начало Гремучему ручью. Люди верят, что в воде Гремяка сокрыты великие силы. Чистый, прозрачный водоем этого ключа похож на врытую в землю хрустальную чашу. Образование его приписывают громовой стреле. Она пала с небес и проникла здесь в недра земли. Преданию известно, как это было. Тут некогда стал изнемогший в бою русский витязь, и его одного отовсюду облегала несметная сила татар. Погибель была неизбежна; — но витязь взмолился Христу, чтобы избавил его от позора, и в то же мгновенье из-под чистого неба вниз

стрекнула стрела и взвилась опять кверху, и грянул удар,— и кони татарские пали, и пали с них всадники их, а когда они встали, то витязя не было больше, и на месте, где он дотуда стоял, гремя бил могучей струею студеный родник, сердито рвал ребра оврага и серебристым ручьем разбегался вдали по зеленому лугу.

Неведомо, что здесь: могила ль витязя, или место взятия его в иную область, которых много у Отца. Легенда не говорит об этом ничего, но она утверждает, что тут вечное таинственное присутствие Ратая веры[1*]. Здесь вера творит чудеса. Отсюда этим ключом бьет великая сила. Сюда к этим водам ради сил обновленья бредет согбенный летами старец; в эту хрустальную чашу студеной воды с молитвой и верой мать погружает младенца[2*], и звери, и птицы ту силу великую знают. Лохматая мать медведица и лесная орлиха и ворон приносят сюда своих юных детей, и их дети становятся сильны и крепки, как их омоет вода с богатырской могилы[3*]. И все здесь могуче, все сильно, все крепко, от вершины столетнего дуба до гриба, что ютится при корне, и до покоя уснувшего здесь человека[4*].

Здесь все дело веры и вот здесь и сила; а там.... этот разлом, эта немощь сомнений... "Береги себя,— говорил мне Туганов; — выжидай, соображай,— самоотречением и самопожертвованием даже можно вредить священному делу, если станешь жертвовать собой не вовремя".— Лукавая речь: не Христос ли ждал время? Нет; он его торопил; он вам ставил на вид, что дни малы, и вы не верьте — ни дня, ни часа! Нет, мало веры в вас! Нет пламенной любви, в вас нет решительности, нет твердых упований... А я... Нет: мне позорно слушать вас; нет, мне просто преступно с вами соглашаться: еще какого время надо, чтоб истину поднять против интриг и ковов, что черная измена ставит русскому народу? Еще ли мало соблазненных ложью? Еще ль позор безумств, свершенных нами, не обратился в притчу во языцех? Еще ль не слышите... там мнят уже распятым дух России и жребий мечут о его хитоне[182]... Но это ложь: над ним пророки совершаются: воскреснет он и облечется силою и славой... Безмолвствуй, ложь! Я слышу звон и шелест под землею... То Минин Сухорук

1* Далее зачеркнуто: "всякую мольбу, посланную отсюда на небо, небо непременно послушает".

2* Зачеркнуто: "зеркальная гладь Гремяка видела все поколения окрестных красавиц.— Гремяк умывал их пригожество, и оно становилось и милее и краше"

3* Далее зачеркнуто: "Да, это таинственное место"

4* Далее зачеркнут следующий абзац: "Отец Туберозов все это припоминает в своей полудремоте и чувствует, сколь много здесь сделано верой. Самый родник этот, по преданиям, обязан своим явлением вере. Витязь верил, что он помолится и Бог услышит его и возьмет его. Великая доля силы и целебности вод этих принадлежит несомненно великой вере, не знающей сомнения. Туберозов сетует, что в нем нет этой не знающей сомнения веры столько, сколько б хотел он иметь ее, иметь ее с горчичное зерно, чтобы повелевать горам двигаться и чтобы оне двигались.

— Человек, ты царь природы! Да сколько тебе нужно возделывать себя, чтобы быть царем, и горе тебе, полувозделанному, тебе не даст уже силы этот ключ; тебя разломят сомнения и в час деянья своего ты упадешь, как Икар, не способный махать своими крыльями! Коль не философ ты, будь прост святою сердца простотою и лишь тогда ты будешь силен; иначе же придешь к тому, что позавидуешь волу молотящему и этим дубам, в ветвях которых прячется горлица и вьет гнездо свое хищник. У всего этого одна забота: жить, питаться, а у тебя, бедный царь в рубище, их миллионы: нагий и холодный, ты ищешь хлеба и крова; согретый и сытый, еще ты алчбою души и страстей не насыщен, и вот твои муки до гроба, муки, которых не знает ни дуб, ни вол молотящий. А как насытишь ты эту алчбу? О разве я... да разве я бы не хотел хоть в жизни раз царем творенья стать!"

проснулся и встает в могиле... то звон меча, который вновь берет и им препоясуется Пожарский... Вставай, вставай, наш русский князь, и рассеки своим мечом врагов родной земли хитросплетенный узел! Восстань, нижегородец Минин, и доблестью своею научи внучат твоих вменять себя в ничто перед величьем Руси! Светильники земли родной! восстаньте вы от Запада и Севера, и моря, из стран цветущих Гурии, из киевских пещер и соловецких льдов и осветите путь встающей духом Руси!

Пускай она не тешит больше убожеством своих заблудшихся сынов кичливый, гордый Запад!

— Да, да,— заговорил он, задыхаясь и начав сильно метаться впросонье,— я чувствую сюда... нисшел... великий... страшный... непобедимый дух... О Боже! Мне не снесть... его наитье нестерпимо душе расслабленной и в суете погрязшей... Да; это он... идет... идет... (слово от слова тише и тише заговорил Туберозов).— То он, то дух, благоволящий Руси... а встречь ему... я зрю... во всеоружьи правды грядет от века нам предсказанный царевич русский.

— О, я теперь хочу, я жажду в жизни раз царем творенья стать! О я хочу коснуться вечной правды[183] и подвигом бесстрашия отметить на земле мое течение... Но она!.. Моя голубка, горлица моя, левкойная моя подруга! Она она, как понесет со мной обиду?.. Мне жаль ее!.. Но это ничего, а если... А если прав Туганов, и тот подвиг, о коем я столь долго размышляю, не в благо будет, а лишь в строптивость мне вменится?.. О разреши! о разреши мне ныне, Бог, мои сомненья! Народ в священной сердца простоте так твердо верит, что отселе ты слышишь всякую молитву. Зову тебя отсель! О, поспеши ко мне, о поспеши[184], коль можешь поспешить, дающий силу детям ворона, медведя и орлицы!

— Здравствуй, Савелий! — прожурчало опять над ухом Туберозова. Это было так внятно, что старик быстро вскочил и, глянув в ту сторону, откуда слышалось слово, успокоился, видя, что тут никого нет; но в ту же минуту тот самый голос с другой стороны еще яснее сказал ему: “Здравствуй, поп велий!”

Туберозов затрепетал, вскочил быстро на ноги и, почувствовав, что у него на голове шевелятся его седые волосы, хотел провести по ним рукою; но только коснулся ею головы, как быстро уронил ее книзу: его волосы жгли его руку как крапива.

Протопоп осенил себя крестом и, глянув спокойней вперед, увидал перед собою шагах в трех небольшое бланжевое облачко, которое, меняя очертания, тихо удалялось и полетело над рубежом, по которому бродила свободная лошадь.

XIX

Удивившее Туберозова облако шло прямо на бродившего по рубежу коня и, настигнув его, вдруг засновало, вскурилось, а потом легло и потянулось вперед как дым из пушечного жерла. Ту же минуту лошадь дико всхрапнула и, широко раскрыв рот и глаза, в ужасе с ржаньем понеслася, не чуя под собою земли.

Это была уже не мечта, а быль, и очень неприятная быль: лошадь может искалечиться или и вовсе пропасть: а между тем, по-настоящему, пора бы и ехать.

Туберозов разбудил поскорей Павлюкана, помог ему вскарабкаться на другого коня и послал его в погоню за беглецом, которого между тем уже не было и следа.

Савелий вынул свои серебряные часы и посмотрел на них: была четверть четвертого.

— Эх, как проспали! — подумал он.— А теперь еще вот эта история, и, Бог знает уже, когда удастся добраться домой.

Впрочем, и то, что он запоздал, и история с лошадью, по-видимому, нимало старику не досаждали: он даже как будто рад был задержке, зевнул и сел в тени с непокрытой муравою.

— Сагою веет от этих мест,— повторил он себе, вторично зевая...— И странно... что я все вздрагиваю и как будто наэлектризован? Читал недавно я в газетах, что есть места, где вследствие неизученных еще условий электричество проявляется с необыкновенной силою. Сосюр и Лумис показали на такие места в Граубиндене и на горах Невады[185], что волосы людей колыхались и, стремяся подняться, производили сильный и неприятный шум, в спину получались уколы и обжоги, палки и трости жужжали и пели, словно рой оводов, а с концов пальцев и ушей отделялися сильные токи.

Протопоп опять повел рукой по голове и опять вместо волос что-то неприятное, как оса, прошло между его пальцев.

— Ну да; это так: я совсем наэлектризован.

Чу!.. что это? Как ветер клонит ниву,— точно кто в ней ходит...

Это может быть "Государь Пантелей собирает цветы и травы на свой целебный елей".— О!

Государь Пантелей!
Ты и нас пожалей!
Свой чудесный елей
В наши раны излей,
В наши многие раны сердечные.
Есть меж нами душою увечные,
Есть и разумом тяжко болящие,
Есть глухие, немые, незрящие,
Опоенные злыми отравами,
Помоги им своими ты травами.
А еще, Государь,
(Чего не было встарь)
И такие меж нас попадаются,
Что лечением всяким гнушаются,
Они звона не терпят гуслярного,
Подавай им товара базарного,
Всё, чего им ни взвесити, ни смерити,
Всё, кричат они, надо похерити;
Только то, говорят, и действительно,
Что для нашего тела чувствительно.
И на этих людей,
Государь Пантелей,
Палки ты не жалей,
Суковатыя[186]! —

Растление какое умов и нравов! Эти стихи вменены поэту в величайшее преступление!.. Как взаправду не преступно; там слагаются союзы, как отнять у нас не только скарб и жизнь, но даже духовное наше состояние и водворить нас в скотство, а тут... миндальничайте; не смейте звать никакой кары, даже лозой учительной им погрозить преступно! О, бездна тупости какая! Как будто это всё своею волей пишется? События и время выводят письмена. Красноречивый Дамаскин, покинувший всю славу

мира для того, чтоб петь песни хвалы Богу, и тот не молчал и поднимал голос

Противу ереси безумной,
Что на искусство поднялась
Грозой неистовой и шумной[187].[1*] —

Кто б не хотел благословлять! Кто б не хотел одним чистым восторгам открывать свою душу? Тот же, кто звал Целителя с его елеем одним и с его палкой для других, тот в иные дни сподоблялся высшего виденья,— он видел Христа. Он говорил:

Я зрю *Его* передо мною
С толпою бедных рыбаков,
Он тихо мирною стезею
Идет меж зреющих хлебов,
Благих речей своих отраду
В сердца простые *Он лиет*,
Он правды алчущее стадо
К ее источнику ведет.

— Зачем? Зачем? — воскликнул Туберозов, крепко схватывая перед лицом обе руки и делая быстрый шаг к ниве:

Зачем не в то рожден я время,
Когда меж нами во плоти,
Неся мучительное бремя,
Ты шел на жизненном пути!
Зачем я не могу нести,

[1*] В рукописи зачеркнут обширный фрагмент, предварявший эту цитату: «О, ты великий Дамаскин, как ты мне понятен здесь в минуту эту! Как от тебя бежал покой среди янтарных зал калифа, так и меня покой мой бросил. Как и тебе,

Иные слышатся мне звуки,
Неумолимый их призыв
К себе влечет меня.—

Достоин смеха я иль слез достоин боле, но я не властен сдерживать желания, которые кипят в моей груди. Не властен возбранить себе в стремленьи принести в среду лукавых меч, хотя бы самому под тем мечом и пасть мне. "Умерен будь во всем и осторожен..." Кто эту мерзость внес преступною рукою в тетрадки, с которых списывают дети! Позорное лукавнующее слово! Не верьте, дети, и не знайте меры в служеньи истине и долгу! Лишь тот один, кто не умерен в сем служеньи, один он с дивной силой дружен:

В его груди пылает жар,
Которым зиждется созданье,—

Нет; ты не раздумывал, Дамаскин, и бросил своего Калифа, чтоб петь хвалы Тому, кто истинен один и всех похвал достоин! И ты, певец Дамаскина,— мой русский брат, ты гражданин, ты честный сын земли, небоязно ты понял слово:

Противу ереси безумной,
Что на искусство поднялась
Грозой неистовой и шумной. —

И ты, мой Бог, Ты, "порождению ехидны" кинувший в глаза бестрепетное слово!.. Неужто ж я один, презренный трус и льстивый раб, не в силах возделать данный мне динарий? О нет! Пускай меня погибель ждет... О нет!.. О нет! — воскликнул, вскочив вдруг на ноги, восторженный Савелий, и вперяя острый взор свой в переливающуюся ниву, почувствовал болезненный толчок в сердце и, взявшись рукою за грудь, прошептал: О, что мне время? Пора! Я чувствую в себе предвестье горней бури... в груди моей растет досель неведомая сила... я восхищен».

О мой Господь, Твои оковы,
Твоим страданием страдать
И крест на плечи твой приять
И на главу венец терновый! —

В груди старика закипали слезы и затопляли собой плавную мерность его голоса; он тихо опускался с вытянутыми вперед руками на колена и, глядя в небо, читал:

О если б мог я лобызать
Лишь край святой Твоей одежды,
Лишь пыльный след Твоих шагов...
О мой Господь! моя надежда,
Моя и сила и покров!
Тебе хочу все помышленья,
Тебе всех песней благодать
И думы дня, и ночи бденья,
И сердца каждое биенье,
И душу всю мою отдать! —

Протоиерей повергся ниц и, громко рыдая, долго ронял свои старческие слезы у розовых корней ржи на алчущую влаги родную землю.

Слезам, пролитым Туберозовым на русскую землю, русское небо ответило тихим раскатом далекого грома. С востока шла буря, застигая Савелия одним-одинешенька среди леса и полей, приготовлявшихся встретить ее нестерпимое дыханье.

XX

Туберозов заметил приближение бури, только заслышав далекий раскат грома. Это такой звук, как будто где-нибудь по мосту прокатила телега. Еще минута и новый удар. Нива заколебалась, и по ней полоснуло свежим холодом.

Туберозов увидел, что восток, к которому он держался спиною во время молитвы, был задвинут непроглядною черною тучей. К этой темной массе снизу взмывали седыми клубами меньшие тучки. Всю эту все увеличивающуюся и сгущающуюся массу нет-нет и прорежет огнем. Точно маг собирается дать страшное представленье и с фонарем в руке осматривает за завесою сцену. Еще новый раскат, и вслед за ним до слуха достигает отдаленный шум: черная туча ползет и по мере своего приближения становится еще непроглядней.

Вот по ее верхнему краю тихо сверкнула ленивая, совсем как бы сонная огнистая нить, и молнии замигали и зареяли разом по всей темной массе.

— О Боже мой! Однако буря не на шутку хочет, а где же мой бедный Павлюкан? Куда так мог его далеко завести этот невзнузданный конь? — подумал Савелий и, обернувшись на запад, к которому начинало спадать за минуту столь жаркое солнце, увидал это солнце маленьким и искристым. Лучи его то тянутся, точно длинные шпаги, то вдруг сверкнут и сократятся в одну алмазную точку. Вот и его захватила крылом черная туча. По ниве засвистал и защелкал вихорь. Среди буреющего колоса ржи обозначаются широкие, белые пятна. Обозначится в одном месте одно пятно, в другом другое, и идут друг на друга как тени. У межи при дороге ветер треплет колос так, как будто это и не ветер, а кто-то живой притаился у корня и пугает. По лесу идет шум, как будто бы скачет несметный табун диких коней. Вот и над лесом зигзаг: и еще черкнуло по верхушкам деревьев, и вдруг ни огня и ни ветру: все стихло. Ветру совсем будто и не бывало. Из темной чащи кус-

тов, которые при молниевой вспышке кажутся черными, в страхе выскочило несколько перепуганных зайцев,— они кинулись в межи и легли в них вровень с землею. По траве, которая при теперешнем освещении тоже кажется черной, прожег серебристый клубок и юркнул под землю. Это еж.

Недавно реявший в вышине ворон плотно сжал у плеч крылья, ринулся вниз и тяжело закопошился в вершине высокого дуба.

Эта тишина страшнее всяких порывов: она предвещает разгром. Ураган собирается с силой. Очутиться одному в таком положении, в каком был теперь Туберозов, весьма неприятно и небезопасно. Туберозов не был трусом, но он был человек нервный, а такими людьми в пору больших электрических разряжений овладевает невольное и неодолимое беспокойство. Такое беспокойство чувствовал теперь Туберозов, и чувствовал его в высшей степени, а между тем надо было обдумать, где, на каком месте ему безопаснее встретить и переждать готовую грянуть грозу.

XX[1*]

Первым движением Туберозова было броситься к своей телеге, под которой он хотел сесть и укрыться. Но чуть только он уместился здесь, лес заскрипел и кибитку затрясло, как лубочную люльку. Очевидно было, что это приют не только не надежный, но даже и очень опасный. Кибитка могла очень легко опрокинуться и придавить протопопа.

Туберозов выскочил из-под своего экипажа и бросился бегом в ржаное поле. На этом побеге его объял новый ужас. Дувший встречь ему ветер останавливал его, рвал его назад за полы платья и свистал, и трубил, и визжал, и гайкал ему в уши. Чувства в беспорядке мешались, и старику показалось, что он видит в окутавшей поле мгле целое стадо белых слонов.

— Боже! Что это за непостижимое место! — подумал в изумлении протопоп, а слоны вдруг исчезли, но зато ветер с удвоенной силой визжит и гагайкает, выпевая: “Эй! Эй! Погоди!.. Не ходи”

Схватывая руками полы подрясника, которые вырывал ветер, Туберозов ненароком обернулся к лесу и остолбенел... чудная вещь... По лесу взаправду кто-то несется и скачет и визжит и кричит и гагайчет и свищет. Мгновенье, и вот он: над вершиной деревьев стоит голова с красноватым лицом, отставшими ушами и непреклонными серыми глазками. Всей фигуры не видно, но над лесом видна голова, и у корня дерев две стопы в старых котах.

— Что? — говорит Савелью стоящая над лесом голова.— Не узнал? Я, брат, поп Аввакум... Непригляден? — трещит он, словно только что сильно посукнутое веретено.— Я, брат, длинно не думал: я бит и увечен и за старую Русь как гусь сжарен.

Виденье исчезло, но Савелий чувствует, что его схватывают за локти незримые руки и трясут и рвут и бросают, а в уши ему нестерпимо громко и вовсе не складно Аввакум орет: “Ах ты, поп, поп, поп, тараканный лоб, поп, поп, поп, поп, тараканный лоб, поп, поп” Туберозов хотел сбежать отсюда в ложбину, где бил гремучий родник; но в хрустальном резервуаре ключа вода бурлила и кипела, и из расходящихся по ней кругов словно кто-то выбивался из недр земли наружу. Секунда, и вдруг в этой темносвинцовой воде внезапно разлилось кровавое пламя. Это удар молоньи, но что за странный удар: он стрелой, в два зигзага упал сверху вниз и в то же самое мгновенье такими же точно двумя зигзагами взвился обратно под небо. Вода отразила его так, что небо с землею словно переслались огнями. И только

[1*] Авторская ошибка в нумерации глав: дважды повторяется глава XX.

что это свершилось, грянул трескучий удар, как от массы брошенных железных полос, и из родника вверх взлетело целое облако брызг.

Протопоп Туберозов пал в рожь и простерся на землю.

А на полях и в лесу во весь жар шла одна из тех грозовых перепалок, которые всего красноречивее напоминают человеку его беззащитное ничтожество перед силою природы. Реяли молоньи; с грохотом несся удар за ударом, и вдруг по всему, как метлою, ударило крупным и частым дождем.

Среди этого дождевого шума Савелий опять слышит, что над ним стал Аввакум: он теперь кроток и тих, и голос его мягок, как шум ручейка, и на нем чудная ряса цвета созревающей сливы. Савелий, повергнутый ниц, не знает, какими глазами он видит Аввакума и какими ушами слышит его, но он видит, что Аввакум осеняет его и шепчет: "Иже любит отца или мать паче Его,— несть Его достоен. Дние лукави суть и уне единому умрети за люди. Не пецыся об утреннем,— утренняя бо сама собою печется, а в нощь сию могут истязать душу твою. Имей веру с зерно горчичное и... Встань и смотри! Встань и смотри[188],— слышит настойчивее Туберозов.

— Послушаю и встану,— подумал он и восклонился. Перед ним стоял темный ствол дуба и среди его искра. Эта странная искра блестела белым, ослепляющим светом, выросла в ком и исчезла. В воздухе грянуло страшное бббах. Это за неимением лучшего сравнения: удар гигантским пестом по дну опрокинутого гигантского таза: оглушительно бренчащий удар без раската.

Савелий упал, и ему почудилось, что с ним падает все.

Так прошло с четверть часа, и вот вдали покатило тяжело и неспешно: тра-та-та-ту-у-хо... И[1*] все стихло. Гроза проходила. Савелий оглянулся вокруг и увидал в двух шагах от себя нечто огромное, страшное, и безобразное. Всматриваясь, он видит, что это у ног его лежит вершина громадного дуба. Дерево как бы клыком кабана было срезано у самого корня. Из распростертых по житу ветвей дуба слышен противный режущий крик: это давешний ворон. Он упал вместе с деревом, придавлен тяжелою ветвью к земле и, разинув широко пурпурную глотку, судорожно бьется и отчаянно крячет.

Туберозов отвернулся и пошел в сторону, к своей кибитке. В сверженном дубе и раздавленной птице старик видел руководящее чудо: и славный крепостью дуб сломан и брошен, как трость, и недавно столь смело реявший в самом поднебесьи хищник был придавлен к земле и издыхал в тягостных муках.

— Да; это ответ!

XXI

Гроза, как быстро подошла, так быстро же и пронеслася. Протоиерей оглянулся и увидал, что на месте черной тучи вырезывается на голубом просвете розовое облачко, а на мокром мешке с овсом, который лежит на козлах его кибитки, чирикают и смело таскают сквозь дырку мокрые зерны овса воробьи. Лес оживает. На межу, звонко скрипя крыльями, спустилася пара голубей. Голубка села и кокетничает: вот она разостлала по земле левое крылышко, черкнула по нем снизу красненькой лапкой и вдруг поставила его парусом кверху и закрылась от дружки. Голубь не может снести этого заигрыванья хладнокровно: его голубиное сердце пылает любовью. Он надул зоб, поклонился в землю подруге и заговорил ей печально "умру" Ей со-

---

[1*] Далее зачеркнуто: "вверху пронеслось: "порадейте, друзья, порадейте за матушку Русь! порадейте!".

вестно мучить его, и они начинают цаловаться. Чу, невдалеке слышен топот: это Павлюкан. Он едет верхом и другую лошадь ведет в поводу.

— Ну, отец, живы вы! — весело восклицал, спешиваясь у кибитки, Павлюкан.— А я уж, знаете, назад ехал, да как этот удар треснул, я так, знаете, с лошади мордой оземь и чкнул... А это дуб-то срезало?

— Срезало, друг, срезало. Давай запряжем и поедем.

— Боже мой, знаете, силища!

— Да, друг, поедем.

— Теперь, знаете, легкое поветрие, ехать чудесно.

— Чудесно, запрягай скорей; чудесно.

И Туберозов нетерпеливо взялся сам помогать Павлюкану.

В минуту мокрые от дождя кони были впряжены, и кибитка отца протопопа, плеща колесами по лужам колеистого проселка, покатила.

Воздух был благораствореннейший; освещение теплое и нежное, и отец Туберозов, сидя в своей кибитке, чувствовал себя так хорошо, как давно не запомнил.

У городской заставы его встретил малиновый звон колоколов: это благовестили ко всенощной.

XXII

— Господи, что я за тебя, отец Савелий, исстрадалася! — вскричала Наталья Николаевна, кидаясь навстречу въехавшему на двор мужу.— Этакой гром, а ты, сердце мое, обещал быть ко всенощной...

— Ну, вот и приехал, как обещал,— отвечал протопоп, покрывая поцалуями голову лобызающей его в грудь жены.

— Да... я знала... я знала, что ты приедешь...

— Почему же ты так твердо знала?

— Да уж ты что обещал, не изменишь.

— Вот спасибо, моя старенькая. Ну, а если бы меня гром убил, вот бы и изменил,— говорил шутливо протопоп, всходя с женою на крыльцо.

— Спаси тебя Боже! Ты на земле нужен.

— А если бы Божия власть на то?

— Не говори лучше этого, Савелий Ефимыч!

— А ведь это, гляди, хуже, чем в дьяки расстригут. Как ты себе об этом думаешь?

— Что вздор сравнивать!

— А ты-то дьячихой будешь?

— Дьячихой буду, да все тебе понадоблюсь. Полно, Савушка, полно! — проговорила она, заметив, что муж смотрит на нее с дрожащею в глазах слезою.

— Полно? Ну, так знай же, моя душа, что я был на один шаг от смерти и видел лицо ее, но к сему сохранен и оставлен. Верно, права ты: нужен еще я на земле, и нужду сию пора мне исполнить.

И протопоп рассказал жене все, что было с ним у Гремучего ключа во время грозы, и добавил, что отныне он живет словно вторую жизнь, не свою, а чью-то иную, и в сем видит себе и укоризну, и урок.

Наталья Николаевна только моргала глазками и, вздохнув, проговорила:

— Что же? Благословен Бог твой, Савелий Ефимыч. Ты что ни учредишь, все хорошо.

— А того? — протопоп остановился. Ему хотелось узнать о дьяконе, вернулся ли Ахилла и какие привез ответы? Но старик понимал, что, верно, нет ничего хорошего, потому что иначе Наталья Николаевна уже поспешила бы его обрадовать.

— Ты, верно, насчет дьякона? — спросила его Наталья Николаевна.

— Да.

— Он приехал.

— Когда?

— Позавчера еще приехал.

— И что ж?

Наталья Николаевна махнула рукою и проговорила:

— Ничего не дождался, никакого ответа.

Туберозов отвернулся и, не говоря жене более ни слова, подошел к блестящему медному рукомойнику и стал умываться. Протопоп, по собственному его выражению, любил "истреблять мыло" и умывался и часто и долго, фыркая и брызжа и громко клокоча в горле набранною в рот водою.

Во все это время, как он умывался, жена ему рассказывала потихоньку и еще одну досаду: у нее, в отсутствие Туберозова, комиссар Данилка взял свою жену Домницелю; потому что ей-де ксендз причастия не дает за то, что она у попа живет.

— И все это, все это,— говорит Наталья Николаевна,— устроила акцизница.— Что ей от нас нужно, Бог ее знает,— все нам напротив, все на досаду строит.

Протопоп, слушая жену, продолжал молча умываться, потом молча же взял из ее рук длинное русское полотенце и, вытирая им себе докрасна лицо и шею, заговорил:

— Знаешь, жена, каким людям легко водонос несть?

— Ровным, дружок.

— Да.

— А спрошу я тебя: к чему эта речь твоя клонит? — отвечала, секунду подумав, Наталья Николаевна.— Зачем ты со мной нынче притчами говоришь?

— А к тому, легконосица, что дурак, предурак муж твой был до сегодня.

— Ну, как же: дурак! Чем ты дурак?

— Тем, верная моя, что всей аристократии души твоей не постигал доселе.

С этим Туберозов взял стоявшую на столе под фуляровым платком новую камилавку, надел ее и, благословясь, взял в руки трость, подошел к жене с протянутой рукою и сказал:

— Благослови меня.

— Что ты это, отец Савелий: мне ли тебя благословлять?

— Тебе, тебе, министр яснейшей философии и доктор наивысочайшей любви.

Наталья Николаевна смотрела на мужа испытующим взглядом.

— Ну, благословляй же, дьячиха: я тебе приказываю!

— Боже тебя благослови,— отвечала Наталья Николаевна и благоговейно перекрестила мужа.

— Так добро будет,— сказал Туберозов и, еще раз поцаловав жену в лоб, вышел из дома.

Он шел к церкви походкой скорой и смелой, но немножко порывистой и неровной. Наблюдая эту походку и особенно всматриваясь в лицо протоиерея, видно было, что хотя его и оставили угнетающие волнения тяготившей его нерешительности, но вместо них с сугубою силою закипели другие волнения,— волнения страстного всениспровергающего решения как можно скорее совершить нечто давно задуманное. Он был теперь похож на воина, который с тяжелыми думами идет навстречу вражескому строю, но, ступив

за черту, на которой уже сыпнула в него убийственная картечь, стремится скорей пробежать расстояние, отделяющее его от врага, и сразиться.

Как воин, так же он припоминает в эти минуты и дорогих сердцу, оставленных дома,— припоминает не сентиментально, а мужественно, воздавая честь воспоминаемым.

— Да; не у Брута одного была *жена*,— нет,— и твоя Порция, поп, не меньше брутовой[189]... А... (брови старика строго сдвинулись, и он сухо договорил) а если бы меньше была б, так и болеть бы о ней столько не стоило, таковая бо и под пустым водоносом спутается и уронит, не токмо под тем, какой я ей со мной понесть дам!

С этим Туберозов ступил на пороги храма, прошел в алтарь, тихо облачился и вышел с Захарией и Ахиллой на величание, а потом во время чтений взял в алтаре из шкафа полулист бумаги и, прислонясь к окну, написал:

"Его высокородию, господину старогородскому городничему, ротмистру Порохонцеву от благочинного старогородских церквей, протоиерея Савелия Туберозова — *ведение.*— Имея завтрашнего числа сего месяца соборне совершить литургию по случаю торжественного царского дня, долгом считаю известить об этом ваше высокородие, всепокорнейше при сем прося вас ныне же заблаговременно оповестить о сем с надлежащею распиской всех чиновников города, дабы пожаловали по сему случаю в храм. А наипаче сие прошу рекомендовать тем из известных вам и мне служебных лиц, кои сею обязанностию присяги наиболее склонны манкировать, дабы они через небытность свою не подпали какому взысканию, так как я предопределил о подаваемом ими вредном примере донести неукоснительно по начальству. В принятии же сего ведения, ваше высокородие, вас всепокорно прошу расписаться"

Протоиерей потребовал рассыльную церковную книгу; выставил на бумаге номер, собственноручно записал ее в книгу и тотчас же послал с пономарем к городничему. Прежде, чем кончилась всенощная, пономарь возвратился с книгою, в которой собственною рукою Порохонцева была сделана требованная Туберозовым расписка.

Протопоп внимательно посмотрел эту расписку, счистил с нее излишне преставший песок и, положив книгу за образ перед жертвенником, пошел спокойно к дому с Ахиллою и Бенефисовым.

Савелий возвращался домой с своими друзьями не только спокойно, но даже весело, хотя на более проницательный взгляд, чем взгляд отца Захарии и дьякона Ахиллы, не трудно было бы подметить в веселости Туберозова нечто лихорадочное. Но ни тот, ни другой из этих собеседников Савелия этого не заметили, и Ахилла после того, как они с Бенефисовым проводили Савелия до калитки, идучи домой, говорил Захарии:

— Чудодей, ей-Богу, этот наш отец Савелий, а?

— Чем так? — спросил Бенефисов.

— Да как же, чем? Разве вы не слыхали? Я ему говорю, как ответов ждал и не дождался,— он говорит: "тихо едут, но зато сами не знают, куда приедут"; я говорю, как Бизюкина научила Данилку, чтоб он жену отобрал, а он смеется: Скажи, пожалуй, говорит, назло-то, верно, и псы не одни свои собачьи свадьбы блюдут, а и человеческий брак признавать готовы" И смехотворит, и язвит.

А протопоп пришел домой в том же самом состоянии духа; напился чаю, лег и скоро заснул.

Но около полуночи его разбудил громкий лай собак и сильный стук в калитку.

Туберозов встал, открыл на улицу окно и увидел, что у его ворот стоит знакомый отставной унтер Егоров с книгой под мышкой.

— Что такое? — спросил удивленный таким поздним визитом Савелий.

— К вашему высокопреподобию с бумагой от мирового судьи,— отвечал рассыльный.

— Что же, разве не мог ты с этой бумагой ко мне завтра придти?

— Ваше высокопреподобие, как мы люди подначальные, приказано...

— Да; ну... давай, что там такое?

Рассыльный подал книгу с пакетом и просил расписаться.

— Они не спят, ждут,— пояснил он.

— Распишемся, распишемся,— отвечал, принимая книгу, Туберозов.

— Ну, а однако, что ж бы это могло быть такое за спешное? — подумал старик, зажигая свечу и прежде, чем сделать в книге расписку, разломил конверт и прочел следующее:

"Старогородский мировой судья Борноволоков сим приглашает протоиерея Туберозова явиться завтрашний день в его камеру для ответа по делу об оскорблении им, Туркуловым, и дьяконом Десницыным чести господина мещанина Данилы Петровича Сухоплюева" За сим следовало указание на статью, по которой Туберозов будет подвергнут ответственности, если не явится на этот вызов, "так как дело по жалобе об оскорблении чести Данилы Петровича Сухоплюева и без того терпит промедление через долговременное отсутствие ответчиков из города"

Протопоп вспыхнул и, схватив первое попавшееся ему под руку перо, написал в разносной книге: "Пакет получил; но быть в назначенный час для ответа по делу о чести мещанина Данилы не могу, ибо по долгу службы моей в час оный буду молиться о здравии моего Государя, к чему и господина судью вызываю"

— Неси,— промолвил Туберозов, ткнув в руки рассыльного книгу и, закрыв окно, тихо опустился на стоящее здесь кресло.

Давно совершенная мера терпения старика была окончательно пройдена. Он ясно понимал, что вызов его к суду был сделан в насмешку над его вызовом к верноподданнической молитве, и видел, что его нарочно злят и школьнически вышучивают, опираясь на служебный уряд и на законы.

— Что же это наконец такое? что все не впрок нам! — размышлял он.— Недавно в беззаконьи всяческом тонули, а ныне вдруг уж до того слепим себя законностью, что долг и совесть и обычай — всё сокрушаем на законе. Это беззаконие на законном основании! Прав ты, сто тысяч раз ты прав, наш русский Златоуст, владыко Иннокентий,— изъясняя, что изменник Христу, ученик Иуда мог мнить себя первым исполнителем закона[190]. Вправду, он один ведь выдал Синедриону Христа. Искариоты! отцеживающие комара и удавляющие верблюда[191]! Сопротивляюсь вам, "слепотствующие в законе", и не иду! Обождет честь Данилкина чести, которую завтра воздам перед алтарем супруге моего Государя!

С этим протопоп снова лег в постель и проспал до самого утра.

Но наконец вот и утро: Савелий встал и увидал *день свой,*— день своей присной славы и своего кратковременного бесславия.

XXIII

Характерное требование, посланное вчерашний день ко всем известным нам лицам отцом Туберозовым, произвело свое действие. Цель отца протопопа была достигнута более, чем он надеялся, и церковь была полна народом, и все те, кого звал отец протопоп, были теперь перед ним налицо. Самое служение началось в обычное время и своим обычным порядком, но

при всей этой обычности, было нечто особенно торжественное. Казалось, что протопоп взошел в церковь важнее, чем входил всегда, и дьякон Ахилла держит себя с таким благородством и благоговением, каких в нем прежде не замечалось.

Из задернутых врат иконостаса слышно, как Ахилла, воздыхая, читает протоиерею: "Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Духом владычным утверди мя и научу беззаконии путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся"[192].

И растворяются врата и совершается обедня: все до совершенства торжественно и благолепно. И Дарьянов, и Термосёсов, и новый судья и все и вся отстояли эту обедню впервые, может быть, с тех пор, как призваны они были, по долгу присяги и службы, быть при подобной обедне.

И вот Серега дьячок в стихаре вынес и поставил аналой. К аналою вышел Туберозов: он важен и строг: он стал, вперил пронзающий взор в толпу и молчит. Видно, что душа его бурно кипит и клокочет, и рвется: он ждет минуты покоя, чтобы начать говорить.

Из-за завесы задернутых врат из алтаря выглянул с одной стороны серый глазочек Захарии, с другой полное коричневое око Ахиллы.

Но вот протопоп нашел минуту покоя, осенился крестом и сказал проповедь[1*] на текст: "Боже, суд Твой цареви даждь и правду Твою сыну цареву"[193]. Условия, в которых находится наша печать, делают невозможным приведение здесь подлинных слов Савелия, так как это обязало бы нас иметь дело с специальной цензурой.

Мы ограничимся простым рассказом, в чем заключалась эта проповедь, к произнесению которой Туберозов так долго приуготовлялся.

Протопоп прежде всего сказал, какое живое значение должны бы иметь, и по понятиям, усвоенным церковью, имеют, общественные моления за царствующего помазанника, которому довлеет правда и суд. Затем он привел библейский пример, как Провидение награждало народ израильский кротким Давидом[194], который вместе со всеми людьми молил: "Боже, суд Твой цареви даждь и правду Твою сыну цареву" Как не только его дела о строении государства, но даже его семейные скорби были истинными скорбями для народа, который приходил к нему и, рыдая, вопил: "Се мы,— кости твои и плоть твоя!"[195]. Отчего, разбирал Туберозов, образовалось это умилительное единение Царя с его народом? Оттого, что Давид и сам и говорил и давал чувствовать людям: "се вы, кости моя и плоть моя" Но вот и другая картина: протопоп рисовал царя Ровоама, внука Давидова. Этот не вопиет по примеру деда: "Боже, суд Твой цареви даждь и правду Твою сыну цареву" Этот, напротив, "слыша вопль людей своих: да облегчит их от ярма Соломонова, пренебрегает совет старейшин земли и советова со отроками, совоспитанными с ним и предстоящими пред лицем его, и отвеща Израилю по совету отроков тех: юность моя толстее чресл отца моего: отец мой отягчил ярмо ваше — я же еще приложу к ярму вашему: отец мой наказывал вас ранами — я буду наказывать вас скорпионами"[196]. Ввиду этих двух картин, отец Савелий поучал, сколь уместно моление за того, чье сердце в руке божией, и отсюда, оставив вдруг спокойный повествовательный тон, перешел к обличительной укоризне "льстиво служащим и лукаво делающим" Он взглянул в ряды народа, стоящего сплошною массой сзади группы чиновни-

---

[1*] Далее зачеркнуто: "Чудную, странную проповедь, из тех проповедей, каких не бывает и о каких существуют различные мнения, о каких одни говорят, что таких проповедей не должно быть; другие же утверждают, что в днешние дни, ими же довлеет вся злоба их,— только таковые проповеди и нужны <...>"

ков, и сказал, что видит, как там благоговейно крестятся и шепчут устами благословения. Кому эти благословения? Они нашему кроткому Давиду, который убил пращей Голиафа,— тяготевшую над народом неволю, и сим победил тьмы[197]. Они за Александра, который сделался костью и плотью их. “Отрываю,— продолжал он,— насильственно глаза мои от созерцания лиц этих благодарных сынов и перевожу их инуде (он повел взором по группе чиновников)... и что я здесь вижу?” Он говорил, что здесь он видит ложь земли, которая, как блудница, торгует любовью своею и рядится в виссон, свидетельствующий о ее позоре. Одни из них служат Государю и небрегут о его слове и правде, которую стремится водворить он на земле своей, но это только небрежность. Но есть и другие... те присягают ему, вменяя себе ту присягу в одну безгласную форму, и... что страшно даже выговорить: не только сами не соблюдают своей присяги и даже неисполнение ее вменяют себе в великие заслуги *духу времени,* но осуждают, клевещут, порицают и темнейшими путями низвергают в бездны зол нелицемерных слуг России. “Да,— говорил Туберозов, обращаясь к недавним воспоминаниям,— да, так недавно еще редкий не слыхал, как люди этой среды заодно с крамольными поляками и другими врагами России порицали и предавали проклятиям верного слугу Государя, отстоявшего в годину крамолы Северо-Западный край России[198].

И ныне не иное что. В одном месте сии люди, получая щедрую плату за службу России, преступно с открытою наглостью подают свою изменническую руку полякам, в другом клевещут на братьев своих, которые осуждают эту измену, и призывают темные силы, чтоб раздавить их как врагов своих и стереть с лица земли память их”. И наконец... он вспомнил третьих. Он вспомнил тех, которым легче бы было взвалить себе жернов на шею и броситься в море[199]. Он сказал о развращающих юность и колеблющих веру в народе, который в младенчестве своем требует веры, как дитя материнского научения. Общим усилиям этих людей он приписывал исчезновение в “ветхоцветной России” того здравого смысла, полагаясь на который в низших слоях, Государь дал свободу народу. Он в энергических выражениях порицал преступное равнодушие равнодушествующих и их осуждение ревности ревнующих. Он говорил, что нынешним судом разлобленных умом и пониманием людей в России был бы строго осуждаем Моисей, убивший египтянина за то, что тот убил брата его, угнетенного Израиля[200], ибо, что этим людям до убиваемого соотчича? Перед их судом не оправдался бы великий пророк Илия, который “ревнуяй поревновах о Боге Вседержителе” и заколол семьдесят пророков Вааловых[201]. Ими был бы осужден нетерпеливый апостол, извлекший нож и отсекший им ухо одному из воинов, пришедших брать Иисуса[202] и наконец... ими был бы осужден даже сам Иисус за то, что выгнал веревкою людей, торговавших во храме[203]! “Но прав ли и достоин ли для нас подражания такой суд? — начал разбирать Туберозов.— Не яснее ли для нас довечная истина: кто не со мною, тот против меня? Не дальше ли мы будем от ошибки, полагая, что кто не любит добра, тот зло любит?” И решив, что для него это так, Туберозов спросил: “Как же бы должен он поступить, видя зло и лукавство: мирволить ему или пресекать его? Должен ли я,— продолжал он,— если бы мне было известно, что вы здесь собраны ныне в столь полном комплекте не во имя любви к нашему Государю, а... во имя страха, дабы я не донес, что вы забываете долг свой,— должен ли бы я просить вам божьего благословения, или... взять веревку и выгнать вас вон отсюда, как торгующих во храме?..”

Сказав такое неожиданное окончание, Туберозов отодвинулся от аналоя и, подняв кверху ладонь, как бы указывая дорогу вон из церкви, тихим, но

строгим голосом заключил[1*]: “Берегитесь: *дух времени*, ему же некоторые столь усердно служат, лукав, но секира уже при корени его положена. Встает иной дух... Дух вечной правды на Руси встает, и сядет он и воцарится здесь на нашей[2*] родине. Работайте *ему*, ибо он будет велик и властен над священною Россией, и “против него не устоит всякий, иже не будет в нем”

Протоиерей окончил. Полный народа храм безмолвствовал. В народе одни благоговейно крестились, другие плакали, простирая к Туберозову свои руки. Протопоп осенил себя крестом, обернулся лицом к алтарю, и, пав с воздетыми руками на колени, воскликнул: «Боже, от лица зде предстоящих Тебе молю Тя: во имя Твое “суд Твой цареви даждь и правду Твою сыну цареву”».

С этим Туберозов положил земной поклон и ушел в алтарь, оставив всю церковь коленопреклоненной.

XXIV

Туберозов возвратился домой очень спокойный и очень довольный собою. Город же, наоборот, был очень взволнован. Целый день, до вечера старогородские чиновники находили очень неловким выходить на улицу и встречаться с народом, так недавно рыдавшим при словах протоиерея. Но на другой и третий день по городу расплылись толки, и городская интеллигенция поголовно обвиняла отца Савелия в злоупотреблении правом слова и в неосторожном возбуждении страстей черни. Этим неосторожным возбуждением страстей были оскорблены все: и Дарьянов, и даже Порохонцев. Все ненавидящие отца Савелия и все, до сих пор стоявшие на его стороне, все в одно заговорили: “Нет, что же это? Ведь это из рук вон! Это просто какая-то полемика в церкви! — Это не русским попом пахнет, а разве гарибальдийским.— И наконец, из-за чего-с? из-за чего? Где эти опасности? Где эти предатели и измены?.. Нет! Это решительно невозможно и этого терпеть нельзя!”

— А кто этому виноват? Кто все это сеет и произращает? — говорил в интимной беседе городничему Порохонцеву Дарьянов и сам же шепотом разрешал это, говоря:

— Это все-с благодаря Михайле Никифоровичу Каткову совершается.

— Ну-у! — воскликнул удивленный городничий.

— Да разумеется! Я ему несколько раз писал: все это прекрасно, что вы пишете, и Россия вас уважает, но зачем вам раздражать людей? Зачем вам ссоры? Из ссор и раздражения не выйдет ничего путного.

— Это правда,— согласился городничий.

— Ну, то-то и есть! Так нет, вот все свое. Генеральство-с!

Занимался этим событием и Термосёсов, только этот занимался им совершенно иначе и гораздо основательнее. Он, как пришел домой, так проповедь Туберозова, как следовало с точки зрения его консерватизма[3*]; указал с той же консервативной точки зрения опасности, какими может грозить

[1*] Отвергнутый вариант финала проповеди:

“— Я вас призвал для того, чтоб сказать вам это, как равно вы меня слушали, как господина вашего, потому что я требовал от вас исполнения вашего долга, но вы боялись меня напрасно: я не стал бы доносить на вас ни на кого, и ныне, сказав вам то, что я хотел вам сказать, говорю вам всем и каждому: в чьем сердце нет искреннего желания, горящего в груди моей, преклонить со мной колени и воскликнуть вместе со мною: “Боже, суд Твой цареви даждь и правду Твою сыну цареву”,— тот пусть выходит вон отсюда: я его изгоняю”.

[2*] Зачеркнуто: “священной”.

[3*] Так в рукописи (видимо, Лесков пропустил какое-то слово: редактируя эту фразу, он не довел правку до конца).

такая, ничем не сдерживаемая и в таких зловредных формах проявляемая свобода слова, и заключил общую картину ужаса, который бродившие якобы после сей проповеди свирепые толпы народа наводили на служащих правительству чиновников и в особенности на немногочисленное здесь польское сословие.

Сочинение Термосёсова поехало известным путем, в переплете книги, отправившейся в губернскую библиотеку Форштанникова, откуда этому сочинению назначены были другие пути, которые мы и увидим в следующей части, а теперь в одной из двух следующих главок этой части перед нами пока непосредственно явятся только лишь одни результаты этого сочинения.

XXV

Мы сказали, что со дня, когда была произнесена приведенная в предшествовавшей главе проповедь Туберозова, прошло уже три дня. В эти три дня только и суматоха, возбужденная в старогородской интеллигенции проповедью, уже начинала униматься. Еще бы два-три дня, и все дело это начало бы покрываться пылью забвения. Сам протопоп был очень спокоен и сидел безвыходно дома.— Напроказил и хвост поджал,— говорили о нем чиновники, но к протопопу никто из них не шел. Все считали себя обиженными, и те, кто побольше любил протопопа, ожидали или его визита, или встречи с ним где-нибудь на нейтральной почве.

Судья Борноволоков тоже не беспокоил Туберозова новыми вызовами к разбирательству по делу об оскорблении чести господина мещанина Данилы Лукича Сухоплюева. Первые два дня после проповеди Борноволокова от повторения вызова Туберозову удержал практичный Термосёсов.

— Не надо,— говорил он,— пообождем немножко.

— Да?

— Да; пообождем, пока это схлынет; а то вы видели, сколько к нему рук-то в церкви потянулось из народа?

— Да.

— Ну то-то и есть. Здесь ведь не Петербург: ни пожарной команды, ни войск, ни городовых,— ничего как в путном месте.

— Да.

— Конечно, *да* — этими чертями шутить не следует,— пожалуй, и суд весь разнесут.

— Эх, да! — вздохнул Борноволоков.

— Вы это о чем?

— О Петербурге.

— Да; там городовые и все это пригнано, а тут...

— Я их и в губернском-то городе не заметил,— заговорил с новым вздохом Борноволоков, припоминая, как Термосёсов пугал его, сзывая к себе через окно народ с базара.

— Ну, там хоть будочники... Дрянь, да все-таки есть защита, а тут уж наголо, ничего. Нет; нельзя его теперь звать.— Повремените.

Так это было решено, и так это решение и содержалось в течение двух дней, а на третий комиссар Данилка явился в камеру мирового судьи и прямо повалился в ноги судье и запросил, чтобы ему возвратили его жалобу на дьякона и протопопа или по крайности оставили бы ее без последствий.

— Да? — спросил изумленный Борноволоков.

— Батюшка, никак мне иначе невозможно! — отвечал Данилка, ударяя новый земной поклон Термосёсову, по совету и научению которого подал просьбу.— Сейчас народ на берегу собрамшись, так к морде и подсыкаются[204].

— Свидетели, значит, этому были? — спросил Термосёсов.

— Да все они, кормилец, ваше высокоблагородие, свидетели,— отвечал плачучи Данилка.— Все говорят, мы, говорят, тебе, говорят, подлецу, голову оторвем, если ты сейчас объявку не подашь, что на протопопа не ищешь.

— Не смеют! Не бойся — не смеют!

— Как не смеют! — Как есть оторвут,— голосил Данилка.

— Мировой судья отдаст тебя на сохранение городничему.

Данилка еще горче всплакался, что куда же он потом денется с этого сохранения?

— При части можешь жить или в полиции,— проговорил Термосёсов Данилке и тотчас же, оборотясь к Борноволокову, полушепотом добавил:

— А то, может быть, можно довести дело и до команды?

— Да?

— Да, конечно, что можно: эти здесь будут свирепеть,— пойдут донесения и пришлют.

— Из-за одного человека? — усумнился Борноволоков.

— Из-за одного? Ну, а разве в Западном крае не за одного какого-нибудь ляшка присылали команды?

— Правда.

— Ничего,— пришлют.

— Да что, батюшка, что команда,— еще войче заголосил, метаясь по полу на коленях, Данилка.— Они меня в рекрута сдадут.

— Разве ты очередной?

— Нет, одинокий, да приговор сделают,— за беспутство сдадут.

— А ты сшалил что-нибудь?

— Да ведь как же — живой человек! — отвечал, тупя в землю глаза, Данилка.

— Поворовывал?

Данилка молчал.

— Поворовывал? — переспросил его с особенным сладострастием Термосёсов.

— Все было на веку,— отвечал Данилка.

— Ну так они воровства не простят,— они тебя после и так сдадут.

— Ой, да нет же, не сдадут. Нет, Христа ради... я женат... жену имею... для жены прошу: милость ваша! умилосердитесь!.. воротите мне мою просьбу! Они говорят: “Мы тебе, Данилка, все простим, только чтоб сейчас просьбу назад” Отцы родные, не погубите!

И Данилка снова отчаянно застучал лбом об пол.

— Что ж... вор... и к тому ж народ сам его прощает... Что же нам за дело? — заговорил, обращаясь к Борноволокову, Термосёсов.

— Да; возвратите,— отвечал судья.

Термосёсов вынул из картонки просьбу Данилки и бросил ее ему на пол.

Данилка схватил бумагу, еще раз ударил об пол лбом, поцаловал у Термосёсова сапог и опрометью выбежал из судейской камеры наружу.

— Вот также опять прекрасный материал и для обозрения и для статьи,— подумал Термосёсов и последнюю половину своей мысли даже сообщил Борноволокову.

Судья эту мысль одобрил.

— И разом еще,— продолжал мечтать вслух Термосёсов,— я говорю, для штуки можно разом в различных тонах пугнуть в “Неделю”, в “Петербургские ведомости”, в “Новое время”, Скарятину — да по всей мелкоте. Даже,— добавил он подумав,— даже и Аксакову можно[205].

— Да.

— Да; да только он от незнакомых корреспонденций не печатает.

— Да?

— Не печатает.— А что, взаправду: пущу-ка я эту штуку!

— Только в "Новое время"-то кто же напишет?

— Кто?

Термосёсов посмотрел прилежно в глаза своему начальнику и проговорил в себе:

— Ах ты, борноволочина тупоголовая!.. А еще туда же — хитрить!

Затем он вздохнул, согласился, что в газету "Новое время", к сожалению, действительно написать некому, и отошел и стал у открытого окна.

Из этого окна ему открывался берег, на котором была в сборе довольно большая толпа народа.

Под окном, накрыв ладонью глаза, стоял вновь нанятый для судейской камеры рассыльный солдат.

Термосёсов обратился к нему и спросил:

— Чего это люди собрались?

— Должно, Данилку ждут,— отвечал, осклабляясь, рассыльный.

— А чего ж их не разгонят?

— А пошто разгонять-то?

— В Париже б разогнали.

— О?

— Верно.

— А у нас это просто.

В это время толпа вдруг заволновалась, встала на ноги, заулюлюкала и быстро тронулась в одну сторону.

Термосёсов увидел, что по откосу с этой стороны быстро сбегал к народу с бумагою в руке комиссар Данилка. Его сразу схватили несколько десятков рук; и в то же мгновение вверх по воздуху полетели мелкие клочья бумаги, а через минуту взлетело на воздух что-то большое, похожее на человека, описало дугу и шлепнулось в реку, взбросив целый фонтан брызг.

Через минуту это тело показалось наверху воды и поплыло к противуположному берегу.

Термосёсов догадался, что это должен был быть, наверное, Данилка, и не ошибся: это был точно Данилка.

Письмоводитель быстро схватил за руку Борноволокова и, крикнув ему: "смотрите!", подтащил его к окну и указал на переплывающего реку комиссара.

Судья воззрился, понял, в чем дело, и сказал:

— Да.

— Вот вам и *да*,— отвечал ему, бесцеремонно отбрасывая от себя его руку, Термосёсов.— Скажите Термосёсову спасибо, что он вам ни вчера, ни позавчера не дал послать повестки. По-настоящему, и в Петербург бы об этом Алле Николаевне Коровкевич-Базилевич должны написать.

Судья закусил губу, покраснел и сел на место.

— Откуда он все это узнал и что это, наконец, за всепроницающая бестия навязалась на мою голову! — раздумывал, шурша в пустой камере бумагами, Борноволоков.

А Термосёсов все стоял по-прежнему у окна и, глядя, как выплывает Данилка, прислушивался к ворчанию и улюлюканью, которым с этого берега сопровождала несчастливца бросившая его в воду толпа.

Вот Данилка и переплыл, схватился руками за берег и вышел весь мокрый как чуня.

Хохот и улюлюканья усилились.

Данилка отряхнулся, поклонился через реку народу и пошел скорым шагом к Заречью.

Хохот и свисты устали. Двое молодых мальчишек было улюлюкнули, но две чьи-то руки дали им подзагривки, и толпа стала сама расходиться.

— Поучили,— проговорил, обратясь к Термосёсову, стоявший под окном рассыльный.

— И что ж им теперь будет? — спросил Термосесов.

— Народу? — А что ж народу можно? — ничего.

— Ничего?.. Ишь, как рассуждает!.. Ах ты, этакая скотина! Как же ничего? Да вон Иван Грозный целые пятнадцать тысяч новгородцев зараз в реке потопил.

— Ну-к то ж времена,— отвечал, не обижаясь, рассыльный.

— Времена?.. Скажите, пожалуйста! А ты что ж понимаешь во временах? Стало быть, по-твоему, если в теперешние времена взять палку, да этот самый народ твой колотить, так ему ни капли и больно не будет.

— Да а кто ж его будет бить палкой?

— А полиция.

— А полиции что ж такое за антирес?

— "Антирес"! Да ведь вон они человека-то утопить бы могли?

— Данилку-то? Как можно утопить? Нет! Они ведь это тоже, с рассудком.

— Да разве, дурак, этак позволено?

— А что ж? — Ничего. У нас здесь из этого просто.

— Ах ты животное этакое! А еще называется солдат! — проговорил с укором Термосёсов.— Разве солдату можно за мещан да за мужиков руку тянуть? А? Ты, каналья, кому присягал-то? А?.. Пошел прочь, бездельник, в переднюю!

Рассыльный сконфузился от этой термосёсовской распеканции и, понурив голову, пополз в свою темную переднюю.

— Чрезвычайно как все это просто! — думал Термосёсов, глядя с презрением на отходящего солдата.— Идиллия! Они тут все пообнимутся, и народ, и баре, и попы, и христолюбивое воинство. Станет, растопырится сплошная земщина, и в сто лет ни Европа, ни полячишки, ни мы ничего и общими силами не поворохнем! Соединяться, черт вас возьми! — послал он, переведя глаза на расходившуюся толпу, которая учила Данилку.— Мерзавцы!.. Вот мерзавцы! Поляков, говорят, можно вынародовить; немцев собираются латышами задавить[206]; а вот эту же сволочь чем задавишь или куда вышлешь? Земли недостанет! — заключил с негодованием Термосёсов и, презрительно плюнув за окно на улицу, пошел к своему столику писать статьи и третье обозрение, задуманное по поводу всего происшедшего. В обозрении Термосесов решил себе не забыть и разговора с рассыльным солдатом, так как это, по его мнению, было пригодно для указания вреда, происходящего от сокращения срока солдатской службы и других вредоносных реформ по военному ведомству.

XXVI

Следующий за сим день был еще чреватее событиями.

В этот день в Старый Город на почтовой паре лошадей приехала пара синих жандармов. Это было довольно рано,— около девяти часов утра.

Термосёсов только вставал с постели. Подойдя в одном белье к окну, он неожиданно увидел проезжавших жандармов, радостно вскрикнул и, в одном же белье вскочив в комнату судьи, схватил его за рукав рубашки и потащил к окну.

Жандармов уже не было.

— Эх вы, соня, проспали! — воскликнул Термосёсов.

— А что?

— Два жандарма проехали.

— Ну!

— Ей-Богу, жандармы!

— Вот бы теперь позвать Туберозова! — помечтал судья.

— Эге!.. Но я пойду посмотреть, однако,— сказал Термосёсов и стал наскоро одеваться, чтобы пойти к станции посмотреть на жандармов.

Между тем жандармы вовсе не поехали на станцию, а взяв городом влево, прямо остановились у городнического правления. Здесь они предстали Порохонцеву и вручили ему бумагу, которую тот распечатав побледнел, разинул рот и опрометью выбежал из дома.

Городничий молча добежал до Дарьянова, торопливо сунул ему в руки полученную бумагу и молча же сел против него и ждал, что эта бумага произведет на Дарьянова.

В бумаге содержалось предписание: немедленно донести: "действительно ли в проповеди протоиерея Туберозова, сказанной четыре дня тому назад, заключались слова и мысли, оскорбительные для чиновнического и польского сословий", и притом вменялось в обязанность "немедленно же выслать в губернский город самого Туберозова с посылаемыми за ним жандармами".

— Кто мог сделать эту мерзость? — воскликнул, прочитав и бросив от себя бумагу, Дарьянов.

— Ей-Богу, не я! Ей-Богу, я и в уме не имел доносить! — закрестился Порохонцев.

— Это больше никто, как Омнепотенский,— воскликнул Дарьянов и сейчас же послал за учителем лошадь.

Варнава, ничего не подозревая, явился, и его нимало не медля взяли под допрос: он догадался, что это термосёсовское дело, но решился не выдать Термосёсова.

Сначала Варнава смутился, но потом, забыв все свое неверие, начал ротиться и клясться, что он никогда этого не делал.

— Да и разве же я в самом деле уж такой подлец, чтобы я стал доносы писать! — говорил он, крестясь в знак свидетельства и отплевываясь.

Но смущение, которое он в себе обличил при первом вопросе, оставляло его в сильном подозрении, и Дарьянов с Порохонцевым решили не отставать от Варнавы, пока он не выскажет, от кого, по его мнению, мог возникнуть этот донос? Варнава вертелся, как прижатая палкой гадюка, но Термосёсова не выдавал. И наконец, категорически отвечал после долгих уверток: я этого не знаю, но хотя бы и знал, то и тогда не сказал бы.

— Почему же бы не сказал бы?

— А оттого, что я не шпион,— потому что это подлость,— отвечал Варнава.

— Что подлость? Разве выводить наружу мерзавца подло?

— Пожалуйста, вы меня на эту дипломатию не ловите. Меня на дипломатию не поймаете.

В комнату неожиданно взошел дьякон Ахилла.

Он еще ничего не знал, но был встревожен по предчувствию.

— В чем дело? — спросил он, входя и окинув присутствовавших огненным взором.

— А ты еще не знаешь ничего? — спросил его Порохонцев.

— Ничего.

Городничий подал ему бумагу и сказал: читай! Дьякон пробежал бумагу,

бросил ее на пол и, с остервенением схватив за ворот Варнаву, бросил его в угол и, придавив ногою, крикнул:

— Сейчас говори, как ты это сделал, а то раздавлю и буду пыткой пытать.

— Пытка законом запрещена,— пролепетал учитель и хотел приподняться, но Ахилла еще крепче надавил его коленом и проревел:

— Я прежде закона тебя, каналья, замучу!

— Не скажу,— едва прошипел, сокрушаясь костьми под коленом Ахиллы, Омнепотенский.

Порохонцев и Дарьянов старались унимать Ахиллу и убеждениями, и силой, но дьякон отмахивал их от себя, как мух, и, все крепче надавливая Варнаву, назначил ему еще всего три минуты жить, если он не сделает сознанья.

Варнава посинел и закусил зубами язык. Еще минута и уголовное дело было бы готово как следует, но, к счастью, Дарьянов закричал Ахилле:

— Он не виноват! Пустите,— не виноват он!

— Кто же виноват? — дьякон метнулся назад и, выпустив Варнаву, искал, сверкая глазами, виновного. Ахилла был в полном бешенстве. Указать ему на кого бы то ни было в эту минуту значило погубить и его, и того, на кого бы было указано.

— Это надо разузнать.— Это еще пока неизвестно.

Ахилла тотчас же обернулся назад и снова взялся за Варнаву.

— Боже мой, да за что вы меня душите? — заплакал навзрыд учитель.— Ведите меня в суд, если я в чем виноват. Я ничего не знаю.

— Божись! — ревел, встряхивая его за ворот, Ахилла.

— Ей-Богу, не знаю... Вы сами...

— Божись: издохнуть мне без покаяния!

— Издохнуть мне без покаяния,— повторил Варнава и опять заговорил:

— Вы сами столько ж...

— Говори: лопни моя утроба!

— Да постойте, он что-то хочет сказать! — что вы хотите сказать, Варнава Васильич?

— Я говорю, что он... Ахилла Андреич... сам столько ж знает.

— Врешь,— крикнул дьякон.— Я ничего не знаю.

— А вы вспомните *лампопо́*?

Ахилла вдруг выпустил Варнаву и, ударив себя в лоб, вскричал:

— Да! Да! Да! — Термосёс!

— Он? — отнеслись к Варнаве городничий и Дарьянов.

Учитель пожал плечами и проговорил:

— Уж наверно, если на пытке не сказал, так по дипломатии не скажу.

— Говори скорей сам, дьякон; что же там такое было у вас? Советовал что ли что Термосёсов, или научал?

— Да... бяху пето сие,— отвечал в раздумье Ахилла.

Дарьянов и городничий так и всплеснули руками.

— Что же ты молчал до сих пор! — вскричал Порохонцев.— Чего не предупредил?

— Да... я думал это так.

— Тпфу! — Дарьянов плюнул и, хлопнув себя по бокам руками, сказал:

— Вот вам и знайте наших! Один думает, что доносы "*так*" пишут, а другой от великой честности подлеца бережет.

— И все это кстати, и всему этому так надлежит,— проговорил вдруг неожиданно голос Туберозова.

Присутствующие оглянулись и увидали, что протопоп стоял у окна, об-

локотившись на палку, и, очевидно, слышал весь разговор, который происходил в комнате.

— Дай мне, дьякон, эту бумагу! — приказал он Ахилле и, пробежав ее тихо, передал городничему и сказал:

— Не спорьте и не прекекайтесь: всего этого я хотел и всему этому надлежало быть.

— Иди,— отнесся он к Порохонцеву,— и делай, не конфузясь, что тебе велено.— Я давно знал, что сего не миную[1*].

С этим Туберозов тихо отошел от окна и пошел к своему дому.

Не успел он сделать десяти шагов, как его быстро догнали Дарьянов и Ахилла; молча они схватили старика под руки, поцаловали эти руки и повели к его дому.

И Дарьянов, и Ахилла тихо плакали; протопоп[2*] молчал.

У своей калитки Туберозов крепко сжал руку Дарьянова и прошептал:

— Видишь, сынку, говорил я тебе, не будут надо мною смеяться, и вот так и учредил, что обо мне удобнее будет плакать. "Опасное положение" отныне в союзе со мною.

— Батя! — вмешался, расслышав последние слова, Ахилла.— Если что опасно,— скажи мне: их двое приехало, а я весь город соберу и...

Но Савелий живо прекратил речь дьякона, положив на уста его палец, и кротко сказал ему:

— Не читал разве ты писанного, что без воли Его ничего не сотворится? Не вынимай меча, да не мечем и погибнешь[207].

Городничий прислал Туберозову сообщить, что он может оставаться дома до самого вечера и поедет, когда уж стемнеет.

— Да; во тьме это лучше,— отвечал старик и, послав Порохонцеву свою. душевную благодарность, заперся дома с женою и наказал, чтобы его никто не беспокоил.

XXVII

День сгас, и над городом стала ясная, лунная ночь. Туберозов все еще прощался с женою в глубокой тайне. Около дома его собралась толпа, но никто, ни любопытство, ни дружба, ни любовь не нарушали великих минут разлуки. Все, кто пришли проститься с протопопом, ждали его на улице или на крыльце.

И вот дверь дома растворилась, и из нее вышел совсем готовый в дорогу Туберозов. Наталья Николаевна с ним: она идет возле него, склонясь своею головой к его локтю.

Они оба умели успокоить друг друга и теперь не расслабляют себя ни единой слезою.

Ожидавший выхода протопопа народ шарахнулся вперед и загудел.

Туберозов поднял вверх руку и послал толпе благословение.

Гомон затих; шапки слетели долой, и люди стали креститься.

Из-за угла тихо выехала спрятанная по распоряжению городничего запряженная тройкой почтовая телега. На облучке ее, рядом с ямщиком, один

[1*] Далее зачеркнуто:

"— А вы, просвещенный друг мой, Валерьян Николаевич,— добавил он, ласково обратясь к Дарьянову,— [в воспоминание недавнего разговора нашего о моем предприятии поведите небольшую летопись о том, что:] как, вы еще опасаетесь, что я буду смешон, или верите, что надо мною удобнее будет плакать?"

[2*] Зачеркнуто: "...чувствовал слезы их и тоже плакал"

жандарм, другой с кожаною сумкою на груди стоит у колеса и ожидает пассажира.

Туберозов сходил, приостанавливаясь почти на каждой ступеньке и раздавая благословения. Но вот и он у того же колеса, у которого ждет его жандарм. Вот он поднял ногу на ступицу, вот и взялся рукою за грядку,— жандарм подхватил его рукою под другой локоть... Туберозов отбросился, вздрогнул, и голова его заходила на шее, как у игрушечной куклы, у которой голова посажена на проволочной пружине; словно зажевал что-то не только неудобопереваримое, но даже и неудобопережевываемое.

— Отец Савелий! — крикнула ему, не выдержав, Наталья Николаевна.

Протопоп оправился на телеге и оглянулся на жену.

Наталья Николавна подскочила к нему, схватила его руку и прошептала:

— Все ничего; но только жизнь свою, жизнь свою пощади, Бога ради!

Протопоп молчал: ему мнилось, что жена его слышит, как в глубине его души чей-то не зависящий от него голос проговорил: "*теперь жизнь уж кончилась и начинается житие*".

Туберозов благоговейно принял этот глагол, перекрестился на освещенный луною крест собора, и телега по манию жандарма покатила, взвилась на гору и исчезла из виду.

Народ постоял и начал безмолвно расходиться. Ворота и калитки запирались на засовы, и месяц, глядевший на Старый Город с высокого неба, назирал уже одну Наталью Николаевну.

Она не спешила под кровлю, да и что ей там было под ее осиротелой кровлей? Она сидела и плакала на том же крылечке, с которого недавно сошел ее муж, и ей теперь точно так, как ему, тайный голос шептал: что "*жизнь его кончена и начинается его житие*"

— Как это будет? И что это будет?

Она ничего этого не понимает и, рыдая, бьется своею маленькой головкой о перилы сходов.

Нет ей ни избавляющего, ни утешающего.

— Или он есть?

— Он есть и он долго не медлит.

XXVIII

Перед глазами плачущей Натальи Николавны широко распахивается незапертая калитка, и в нее влезает с непокрытою курчавой головой, в коротком толстом казакине Ахилла. Он ведет за собой пару лошадей, из которых на одной громоздится большой и тяжелый вьюк.

Наталья Николаевна молча смотрела, как Ахилла взвел на двор своих лошадей, сбросил на землю вьюк и, возвратившись к калитке, запер ее твердой хозяйской рукою с несомненной решимостью остаться внутри двора.

— Дьякон! — воскликнула, догадавшись о намерениях Ахиллы, Наталья Николаевна.

— Мать! — отвечал ей, кинувшись к ней, Ахилла.

— Ты сюда?

— Да; я здесь, я с тобой буду жить вместо сына, пока он вернется.

Они обнялись и поцаловались, и Наталья Николаевна пошла досиживать ночь в свою спаленку, а Ахилла, поставив под сарай своих коней, разостлал на крыльце войлок и лег на него навзничь и пролежал ночь, уставясь глазами в звездное небо.

Ахилла только не говорил протопопице, а он тоже чувствовал, что жизнь протопопа кончена и что если он возвратится когда-нибудь сюда в дом, то это уже не для жизни, а для чего-то иного. Ахилла знал тоже, что он должен

оставаться здесь для того, чтобы хоть сколько-нибудь поддерживать жизнь опального дома.

А что думал в эту ночь о самом себе и о всем его ожидающем Туберозов? Ретивые тройки, сменяя одна другую, быстро несли старика по полям и долам, залитым белым светом луны. Протопоп сидел между двух жандармов спокойно, сложив на груди руки, и бодро глядел вдаль. Он не придумывал ни ответов, ни оправданий, ибо верил, что дух истины не оставит его, и в минуту, когда от него потребуется ответ, с ним будет Тот, который сказал: "Не заботьтесь, что вам отвечать, ибо *я дам вам ответ*"[208].

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Речь идет о начале эпохи реформ. Евангельский сюжет о возмущающем воду ангеле Лесков использовал и в первой редакции "Соборян" ("Чающие движения воды"), где эпиграфом служили слова из Евангелия от Иоанна (гл. 5): "В тех слежаще множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движения воды" (*ОЗ*.1867. № 3. Кн. 2. С. 181). В письме в Литературный фонд 20 мая 1867 г. Лесков так объяснял замысел первой редакции: «...я имею в виду выставить нынешние типы и нынешние положения людей, "чающих движения" легального, мирного, тихого» (X, 264). В романе "На ножах", характеризуя эпоху реформ, Лесков вновь обратился к этому же образу, одновременно намекая на роман А.Ф.Писемского "Взбаламученное море" (1863): "...многообразные сцены современной действительности с ее разнообразными элементами, взбаламученными недавним целебным возмущением воды<...>" (*РВ*. 1871. № 6. С. 720; *Соч*. Т. 9. С. 192).

2 Реминисценция из комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума" (д. 1, явл. 4; монолог Фамусова).

3 Первоначально образ "овдовевшей тетки" отсутствовал в рукописи, и вся ее характеристика относилась к "француженке". Возможно, этот образ был введен именно затем, чтобы придать "англоманству" русский колорит и вызвать у читателя ассоциации с англоманством М.Н.Каткова конца 1850-х годов (см. *Твардовская В.А.* Политическая программа "Русского вестника" на рубеже 1850—1860-х годов // Освободительное движение в России в XIX в. Саратов. 1975. Вып. 4. С. 62—78).

4 Имеются в виду драматическая мистерия Д.-Г.Байрона "Каин" (1821), его поэма "Дон-Жуан" (1824), трагедии У.Шекспира "Ричард III" (1593), "Макбет" (1606), "Троил и Крессида" (1609). Не исключено, что Лесков имел в виду также поэму Д.Чосера "Троил и Крессида" (1382), послужившую источником трагедии Шекспира. Упоминая Елену, Лесков вероятнее всего подразумевал героиню одной из комедий Шекспира: "Конец —делу венец" (1602—1604) или "Сон в летнюю ночь" (1595—1596).

5 Лесков здесь явно намекал на статью Каткова "Старые боги и новые боги": "Старые боги кончились, и жрецы их поникли и присмирели". В этой статье Катков, как и Лесков в хронике (см. далее), развенчивал прежде всего могущественных новых богов, "жрецов нового культа" — революционеров-демократов (*РВ*. 1861. № 2. С. 891—904). Слова "печаль была им вместо радости" восходят к Писанию (*Есфирь*, 9:22; *Притчи*, 14:13; *Иаков*, 4:9).

6 Неточная цитата из басни И.А.Крылова "Обоз" (1812).

7 Цитата из стихотворения Н.Ф.Щербины "Наше время" (1867). Лесков часто использовал эти слова для характеристики 1860-х годов, а в очерке "Загадочный человек" (1870) цитировал стихотворение Щербины почти полностью (III, 364).

8 Во второй половине 1850-х годов "Русский вестник" одним из первых выдвинул программу либеральных реформ: отмену крепостного права, расширение прав печати, развитие самоуправления, преобразование суда. В этот период Катков и его издания оказались в либеральной оппозиции к самодержавию и часто подвергались цензурным преследованиям (см.: *Твардовская В.А.* Идеология пореформенного самодержавия. М.Н.Катков и его издания. М., 1978. С. 18—22).

9 Намек на судьбу романа "Некуда" (1864), прошедшего, как не раз вспоминал Лесков, "через три цензуры". Лесков причисляет себя здесь к писателям, "отстаивающим национальные интересы", имея в виду М.Н.Каткова и И.С.Аксакова, издания которых подвергались цензурным притеснениям.

10 "Теория нравственных чувств" Адама Смита была издана отдельной брошюрой в Петербурге в 1868 г. в переводе П.А.Бибикова.

11 Слова "дело" и "предприятие" должны были вызвать в сознании современников ассоциации с романом Н.Г.Чернышевского "Что делать?" (1863). Ср. слова Веры Павловны: "нужно иметь такое дело, от которого нельзя отказаться, которого нельзя отложить,— тогда человек несравненно тверже" (*Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч.: В XV т. Т. XI. М., 1939. С. 255). Далее в романе революция называется "неотступным" и "общим делом".

12 В повести "Трудное время" (1865) В.А.Слепцов широко использует иносказательную манеру изображения деятельности революционера Рязанова.

[13] "Наше время" (1860—1863) — газета либерального направления, издавалась Н.Ф.Павловым.

[14] *Псалтирь*, 94:6.

[15] Речь идет о статьях Д.И.Писарева и В.А.Зайцева, провозгласивших на страницах журнала "Русское слово" "разрушение эстетики", что вызвало огромный резонанс. В пародии Достоевского "Господин Щедрин, или раскол в нигилистах" (Эпоха. 1864. № 5) излагаются наставления редакции "Своевременного" (подразумевается "Современник") начинающему сотруднику: "Отселе вы должны себе взять за правило, что сапоги во всяком случае лучше Пушкина, потому что без Пушкина очень можно обойтись, а без сапогов никак нельзя обойтись <...> Вздор и роскошь даже сам Шекспир, потому что у этого даже ведьмы являются, а ведьмы — уже последняя степень ретроградства<...>" (*Достоевский.* Т. 20. С. 109). Выражение "Сапоги выше Шекспира" стало воплощением воинствующего эстетического "нигилизма" (см. подробнее: *Левин Ю.Д.* Шекспир и русская литература XIX в. Л., 1988. С. 214—220). Приписывая узкий утилитаризм всем революционерам-демократам, критик Н.И.Соловьев (хороший знакомый Лескова) обращался к Писареву со словами: "У вас же общий-то знаменатель, как ни называйте его, все-таки выходит — брюхо" (*Соловьев Н.И.* Теория пользы и выгоды // Эпоха. 1864. № 11. С. 11). В самый разгар полемики с эстетическим "нигилизмом" Лесков откликнулся на него в романе "Некуда", где члены коммуны Белоярцева объявляют Шекспира "дураком" (II, 616).

[16] Конфликт А.Ф.Писемского, В.П.Клюшникова, В.В.Крестовского с демократическим лагерем напоминал Лескову собственное расхождение с радикалами после выхода романа "Некуда"

[17] Правила о цензуре и печати были подписаны Александром II 6 апреля 1865 г. Цензурная реформа строилась на сохранении цензуры предварительной (предупредительной) и на введении бесцензурных изданий при карательной системе. Разрешение на освобождение периодики от предварительной цензуры давалось министром внутренних дел, право на бесцензурное издание могли иметь лишь столичные периодические издания. Издания Каткова в первую очередь были освобождены от предварительной цензуры. Но двойственность цензурной реформы вызвала стычки Каткова с Министерством внутренних дел, и его издания вновь были подвергнуты цензурным репрессиям (см. об этом подробнее: *Чернуха В.Г.* Правительственная политика в отношении печати в 60—70-е гг. XIX в. Л., 1989). Революционно-демократическая пресса выступала с критикой половинчатости реформы, ее двойственности. Н.П.Огарев писал: "Как бы то ни было, а цензурная реформа — больше стеснение, чем освобождение печати" (Колокол. 1865. 1 авг. С. 1645—1646; 17 авг. С. 1653—1656; см. также: *Антонович М.А.* Надежды и опасения. По поводу освобождения печати от предварительной цензуры // *Совр.* 1865. № 8. Отд. II. С. 173—196).

[18] В оценке драмы Лескова "Расточитель", впервые поставленной 1 ноября 1867 г. в Александринском театре, репутация реакционного романиста М.Стебницкого сыграла немалую роль: автора обвиняли в неприятии новых судов, в ретроградстве, в неумении передать правду жизни. Лесков откликнулся на критику анонимной рецензией на свою пьесу и ее постановку и попытался отвести упреки (см.: *Лесков о литературе и искусстве.* С. 170—183). Среди резких отзывов 1868 г. выделяются статьи П.А.Гайдебурова (Тенденциозная драма // Дело. 1868. № 2) и В.А.Слепцова (Новейший тип драмы // *ОЗ.* 1868. № 2; о его авторстве см.: *ЛН.* Т. 71. С. 136—144). В повести "Смех и горе" (1870) Лесков еще раз вспомнил этот эпизод своей биографии (III, 464).

[19] Имеются в виду слова Аркадия (а не Базарова): "Мы ломаем, потому что мы — сила" (*Тургенев.* Т. 7. С. 51). Термосёсов, как и Горданов из романа "На ножах" (1871), представлены Лесковым как "накипь нигилизма", причем они, в глазах писателя,— в самом деле "сила", тогда как несколькими годами ранее, в 1863 г., в рецензии на "Что делать?", Лесков писал: «Начитавшись Базарова, они сошлись и сказали: "Мы — сила" <...> Базаровских знаний, базаровской воли, характера и силы негде взять, ну копируй его в резкости ответов, и чтоб это было позаметнее — доведи это до крайности» (X, 17—18).

[20] Возможно, намек на "Катехизис революционера" М.А.Бакунина и С.Г.Нечаева. Для достижения полного разрушения всего государственного и сословного строя признавались приемлемыми все средства — подлог, шантаж, мистификация, предательство.

[21] В ходе осуществления судебной реформы 1864 г. были провозглашены независимость судей, гласность и состязательность судебного процесса, введен суд присяжных, адвокатура и мировые суды.

[22] *3 Царств*, 17—19; *4 Царств*, 1—2.

[23] Источник этого предания не установлен.

[24] Часто встречающееся в Библии выражение (см. *Малахия*, 1:6; *Матфей*, 25:21, 23).

[25] Имеется в виду библейский сюжет о трех отроках, которые отказались поклоняться золотому идолу, воздвигнутому Навуходоносором, и были брошены в огненную печь, но уцелели благодаря вере и молитвам (*Даниил*, 3:1—100). Речь идет также о пророке Илие (*3 Царств*, 18).

[26] Протопоп *Логгин* (ум. 1654) из г. Мурома был ревностным приверженцем старой веры. Сослан, расстрижен и проклят на Соборе 1653 г.

[27] Афанасий Филиппович *Пашков* (ум. 1664), сибирский воевода, под началом которого находился сосланный в Даурию протопоп Аввакум, отличался жестокостью. Аввакум писал о нем в "Житии", а также в сохранившейся "Записке о жестокостях воеводы Пашкова".

[28] Митрополит *Филипп* (1507—1569), до монашества боярин Федор Колычев, в 1566 г. занял престол Всероссийского митрополита. Был в оппозиции Ивану Грозному. Заточен в Тверском Отрочем монастыре и задушен по приказу царя Малютой Скуратовым. В 1647 г. канонизирован.

[29] Зарезаны были оба пророка Захарии: ветхозаветный и отец Иоанна Крестителя.

[30] В "Житии Стефана Пермского" (XIV в.) описана борьба св. Стефана (1340—1396), крестителя зырян, с языческим волхвом, предлагавшим ему пройти испытание водой, спустившись в прорубь.

[31] Речь идет о Епифании Славинецком (Скрижаль. М., 1655), Симеоне Полоцком, который причислил Аввакума с его соратниками к "клеветникам" (Жезл правления. М., 1667) и "развратникам общества" (Вечеря душевная. Приложение. М., 1683), о патриархе Иоакиме (Слово благодарственное о избавлении церкви от отступников. М., 1683), епископе Питириме (Пращица духовная. СПб., 1721) и митрополите Дмитрии Ростовском (Розыск о раскольнической брынской вере. М., 1745. Ч. 1).

[32] Возможно, Лесков имеет в виду прежде всего труды своего современника, профессора истории и обличения раскола Московской духовной академии Н.И.Субботина: Дело патриарха Никона. М., 1862; Новый раскол в расколе. М., 1867; Раскол как орудие враждебных России партий. М., 1867; Русская старообрядческая литература за границей (*РВ.* 1868. № 7, 8). К историческим романистам автор относит, вероятно, М.Н.Загоскина (роман "Брынский лес", 1845).

[33] Раскольники, особенно в Керженских скитах, признали Аввакума мучеником, хранили его сочинения в церквах у образов и почитали их "почти как Евангелие" (*Мякотин В.А.* Протопоп Аввакум. Его жизнь и деятельность. СПб., 1894. С. 157).

[34] В 1860-х годах в русском общественном сознании личность протопопа *Аввакума* (1621—1682) заняла исключительное место в связи с интересом к расколу в целом, а также с тем, что академиком Н.С.Тихонравовым был тогда обнаружен и впервые опубликован один из списков "Жития протопопа Аввакума" (1672—1675) (см.: Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н.Тихонравовым. Т. III. Отд. II. М., 1861. С. 117—173). В 1862 г. "Житие" было напечатано также отдельным изданием в массовой серии: Житие протопопа Аввакума, им самим написанное / Под ред. Н.С.Тихонравова. СПб., изд. Кожанчикова, 1862. С.М.Соловьев называл Аввакума "богатырем-протопопом", "ревностным блюстителем отеческих преданий", подробно пересказывая и цитируя его "Житие", "драгоценнейший исторический дскумент" (*Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Т. XIII. Ч. I. М., 1863. С. 206—217). "Петром Великим, только в обратную сторону", называл Аввакума Тихонравов (Летописи русской литературы и древности, издаваемые Н.Тихонравовым. Т. III. Отд. II). Н.В.Шелгунов писал об Аввакуме незадолго до появления "Соборян": "Это один из тех героев-богатырей, в лице которых, как в Стеньке Разине, выражается более всего эпоха и ее деятели" (*Шелгунов Н.В.* Русские идеалы, герои и типы // Дело. 1868. № 6. С. 99).

[35] Источник цитаты не обнаружен.

[36] Лесков не раз цитировал эти слова священника М.Я.Морошкина, регулярно печатавшего статьи в журнале "Православное обозрение", где позднее, в 1870-е годы, появлялись и статьи Лескова. Об источнике цитаты см. выше, вступительную статью и примеч. 34 к ней.

[37] Неточная цитата из стихотворения Н.А.Некрасова "В больнице" (1855): "Даром ничто не дается: судьба // Жертв искупительных просит". Лесков часто приводил эту цитату и поставил ее эпиграфом к рассказу "Театральный характер" (1884).

[38] На Никейском соборе (325 г.) Николай Мирликийский, в ответ на выступление александрийского священника Ария, отвергавшего догмат о единосущности Бога-отца и Бога-сына, "ударил его в щеку, и епископы, которым поступок этот показался неуместным, лишили святого Николая знаков архиерейского достоинства, но вскоре, убежденные видением <...> они с честию возвратили ему прежний сан и почтили в нем великого угодника Божия" (Житие святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского. М., 1868. С. 23).

[39] *Матфей*, 26:52.

[40] Дромадер — дуролом, дурень (см.: *Даль.* Т. I. С. 494, 492).

[41] "Kabale und Liebe" ("Коварство и любовь") — драма Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера.

[42] Должность городничего — начальника исполнительной полиции в уездном городе — была упразднена в 1862 г.

[43] Царица Милитриса — мать Бовы Королевича, героя популярной русской сказки. В начале сказки повествуется о том, как красавица Милитриса, повинуясь воле отца, вышла замуж за нелюбимого царя Гвидона. В XIX веке "Сказка о славном и храбром богатыре Бове-Королевиче и о прекрасной королевне Дружневне, и о смерти отца его Гвидона" много раз публиковалась отдельно в дешевых изданиях. В романе И.А.Гончарова "Обломов" (1859), в рассказах няни Илюши, встречается имя Милитрисы Кирбитьевны — персонажа русского народного эпоса (глава "Сон Обломова"): "Там есть и добрая волшебница, встречающаяся у нас иногда в виде щуки, которая изберет себе какого-нибудь лентяя, которого все обижают, да и осыпает его ни с того, ни с сего

разным добром, а он знай кушает себе да наряжается в готовое платье, а потом женится на какой-нибудь неслыханной красавице Милитрисе Кирбитьевне" (*Гончаров И.А.* Обломов. М., 1987. С. 93).

[44] Вероятно, имеются в виду "короткие дроги для езды в городе; в Москве они назывались *волочками*, а когда сиденье подымалось на столбиках, то столбовыми дрожками" (*Даль.* Т. I. С. 494).

[45] Цитата из стихотворения А.С.Хомякова "России" (1854). Лесков любил цитировать эти строки Хомякова, в частности, та же цитата встречается в романе "Некуда" (II, 136).

[46] Источник анекдота о Потемкине не найден.

[47] Этот диалог напоминал читателю об острых спорах начала 1860-х годов вокруг проблем женской эмансипации, обсуждение которых в печати открыл М.Л.Михайлов статьей "Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе" (*Совр.* 1860. № 4, 5, 8). Лесков поддерживал идеи женской эмансипации с позиций просветителя-"постепеновца", но в статьях "О наемной зависимости" (1861), "Русские женщины и эмансипация" (1861), "Специалисты по женской части" (1867) резко выступал против их вульгаризации (см.: *Лесков о литературе и искусстве.* С. 47—48, 247—248).

[48] Ср. в романе "На ножах". Бодростина говорит Горданову: "Когда же в провинции не влюблялись в нового человека? Встарь это счастие доставалось перехожим гусарам, а теперь... пока еще влюбляются в новаторов" (*Соч.* Т. 8. С. 176). В одном из обозрений "Русские общественные заметки" (*Бвед.* 1869. 3 авг.) Лесков резко писал о литературе 1860-х годов, посвященной женской эмансипации: "Внимание большинства тогдашних читательниц занимали писатели, не усматривавшие ничего предосудительного в проституции и утверждавшие, что греха не существует, что все па, какие бы женщина не выкинула, верны и столь же позволительны, как выпить стакан воды, когда хочется пить. Просветительного значения подобные писания, разумеется, не могли иметь. Это было тоже своего рода гусарничанье а-ля граф Ростов, с тою же разницею, что тот прямо садился около дамы и личною атакою напирал на ее прелести, а эти литературные гаеры подъезжали к женщинам на своем литературном коньке"

[49] Вероятно, от "фофан" — простак, простофиля, дурак (*Даль.* Т. IV. С. 538). В окончательной редакции хроники не Данка, а Термосёсов презрительно называет Бизюкина "фофаном" (см.: IV, 161).

[50] Роман Марко Вовчок (псевд. М.А.Вилинской) был напечатан в 1868 г. (*ОЗ.* № 1—3, 5). Лесков вольно цитирует письмо героини, возможно, намеренно искажая источник (см. об этом в комментариях к "Соборянам" — IV, 534). Писатель был знаком с М.А.Вилинской и считал ее "умной и талантливой писательницей". Одобрительно отзываясь о многих ее произведениях, в частности, о "Записках причетника" (1869), Лесков крайне отрицательно воспринял роман "Живая душа" как произведение тенденциозное. Он писал, что роман — "вещь чудовищная по уродливости замысла, бедности содержания и даже по неискусству ее исполнения" (*Бвед.* 1869. 14 дек.; перепеч.: X, 91). В обозрении из цикла "Русские общественные заметки" Лесков иронически пересказывал содержание романа: «Здесь герой, чтобы избавиться от ига богатства, дерет пальцами кружевные занавесы, а другой ездит "делать предприятия", и куда ни приедет, сейчас поселится в хатке и "пишет",— точно приказный, проверяющий тайком ревизские сказки» (*Бвед.* 1869. 2 ноября. Перепеч.: *Лесков Н.С.* Честное слово / Сост. Л.А.Аннинский. М., 1988. С. 146). В рассказе "Умершее сословие" (1888) Лесков вспоминал свое давнее знакомство с мужем М.А.Вилинской, украинским этнографом и общественным деятелем А.В.Марковичем: «Во время моей юности, проходившей в Орле, там жил "на высылке" Афанасий Васильевич Маркович, впоследствии муж талантливой русской писательницы, известной под псевдонимом "Марко Вовчок"» (VIII, 450—451). А.В.Маркович оказывается действующим лицом истории, рассказанной в "Умершем сословии"

[51] Источник этих сведений не обнаружен.

[52] См. примеч. 50.

[53] Об этой песне А.А.Бестужева и К.Ф.Рылеева, впервые опубликованной Н.П.Огаревым в сборнике "Русская потаенная литература XIX столетия" (Лондон, 1861) и в русской подцензурной печати во время работы Лескова над "Божедомами" еще не появлявшейся, см. комментарий И.З.Сермана: IV, 534—535.

[54] Вопрос об организации народного образования неоднократно поднимался в 1867—1868 гг. на страницах газет "Московские ведомости" и "Москва" В передовицах "Московских ведомостей" говорилось, что "просвещение внутренней России" будет истинно только при общем распространении грамотности в народе (1867. 18 мая) и что в школьном народном обучении "решительно необходима поддержка <...> со стороны государственного бюджета и бюджетов местных, городских и земских, так как расход на школы действительно велик". Священник И.С.Беллюстин, автор статьи "Идет ли вперед дело народного образования?" (Москва. 1867. 21 июня) выражал тревогу по поводу того, что в губерниях собирают слишком мало средств на организацию школ.

[55] Варфоломей Александрович *Зайцев* (1842—1882) — ведущий публицист журнала "Русское слово" в 1861—1864 гг. Как вспоминал Шелгунов, «"Русское слово" было так же невозможно без Зайцева, как оно было невозможно без Писарева» (*Шелгунов Н.В., Шелгунова Л.П., Михайлов М.Л.* Воспоминания. М., 1867. Т.1. С. 225).

[56] Прозвище В.А.Зайцева (см. об этом выше, вступительную статью и примеч. 53 к ней).

57 Речь идет о полемике между М.Е.Салтыковым-Щедриным и журналом "Русское слово" (1863—1864 гг.), вызванной, в частности, разногласиями по вопросу о формах общественной борьбы. В цикле хроник "Наша общественная жизнь", очерках "К читателю", "Наши глуповские дела" и др. (*Совр.* 1861—1863) Щедрин выступил сторонником отказа от "сектаторства" и выхода на арену практической деятельности. Эта позиция, а также то обстоятельство, что ранее сам Щедрин занимал пост вице-губернатора, вызвали появление резких полемических статей Зайцева (Перлы и адаманты русской журналистики // Русское слово. 1863. № 4) и Д.И.Писарева (Цветы невинного юмора // Там же. 1864. № 2). В ходе полемики Щедрин со своей стороны ставил под сомнение искренность публицистов "Русского слова": "...нигилисты суть не что иное, как титулярные советники в нераскаянном виде, а титулярные советники суть раскаявшиеся нигилисты... Все там будем!" (Наша общественная жизнь // *Совр.* 1864. № 1. С. 28; *Салтыков-Щедрин.* Т. 6. С. 234).

58 Т.е. политику упрочения самодержавной власти и централизации государства, которую и проводил *Василий II Темный* (1415—1462), великий Московский князь (с 1425 г.). Под знаменем национальных интересов он вел кровопролитную борьбу за власть с противниками централизованного государства, укрепил идею московского самодержавия и упрочил власть великого князя.

59 Термосёсов имеет в виду журнал "Отечественные записки", выходивший в 1867—1884 гг. под редакцией Салтыкова-Щедрина.

60 Речь идет о Григории Евлампиевиче *Благосветлове* (1824—1880), редакторе и издателе журналов "Русское слово" (1863—1866) и "Дело" (1868—1883). Здесь упоминается случай, получивший огласку в печати. В "Петербургском листке" (1867. 6, 7, 9 мая) подробно излагался ход судебного разбирательства, состоявшегося 29 апреля 1867 г., по обвинению Благосветлова рабочими типографии Быковым и Котовичем в нанесении им побоев. Рабочие жаловались, что в ответ на просьбу о выдаче заработанных денег Благосветлов грубо обошелся с ними и даже стал выгонять Быкова из типографии, толкая его палкой. Благосветлов на суде виновным себя не признал и объяснил, что был в тот момент по ряду причин сильно раздражен. Суд отнесся к Благосветлову снисходительно: основываясь на противоречиях в показаниях свидетелей, он признал издателя невиновным в нанесении Быкову побоев, но виновным в совершенном "осязательным способом самовольном поступке" и постановил сделать Благосветлову внушение.

61 *Матфей*, 10:34.

62 В 1860-х годах имя Гракха *Бабефа* (1760—1797) часто упоминалось в демократической прессе. В статье "Роберт Оуэн" (глава из "Былого и дум") А.И.Герцен писал об Оуэне и Бабефе как о "мастодонтах социализма" (Полярная Звезда на 1861 год. Кн. VI; *Герцен.* Т. XI. С. 240—242).

63 Неточная цитата из романа Тургенева "Отцы и дети", слова Базарова: "Сперва нужно место расчистить..." (*Тургенев.* Т. 7. С. 49).

64 Вероятно, речь идет о втором аресте Тараса Григорьевича *Шевченко* (1814—1861) летом 1859 г. в Черкасском уезде на Украине. Пребывание Шевченко на Украине после возвращения из ссылки тщательно контролировалось властями. Каждый день в полицию поступал подробный отчет о передвижениях поэта, его разговорах с крестьянами. По доносу, автор которого неизвестен, Шевченко был арестован, и ему было предложено вернуться в Петербург (Т.Г.Шевченко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 355—356).

65 В демократической печати 1860-х годов остро обсуждался вопрос о телесных наказаниях в учебных заведениях. Последовательным сторонником полной отмены телесных наказаний выступил Н.А.Добролюбов, который, полемизируя с Н.И.Пироговым, в статьях "Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами" (1860), "От дождя, да в воду" (1861) и др. писал о губительном воздействии палочной дисциплины на психику ребенка.

66 *Псалтирь*, 136:9.

67 Дмитрий Владимирович *Каракозов* (1840—1866) — член организации ишутинцев, создал террористическую группу "Ад" (1866), 4 апреля 1866 г. совершил покушение на Александра II и был казнен.

68 "Шильце к бильцу подползло",— говорили при игре в свайку, когда подающий с трудом ее вытаскивал (*Даль.* Т. IV. С. 636).

69 Намек на Рахметова из романа "Что делать?" О "гвоздевых постелях, на которых как-то умеют спать образцовые люди", Лесков иронически упоминал и в 1866 г. в романе "Обойденные" (*Соч.* Т. 3. С. 120).

70 *Грибоедов А.С.* Горе от ума (д. 4, явл. 4).

71 Неточная цитата из "Евгения Онегина", гл. третья (письмо Татьяны к Онегину).

72 Источник цитаты не установлен.

73 Цитата из стихотворения А.С.Пушкина "Кобылица молодая..." (1828).

74 *Бытие*, 25:19—20.

75 Возможно, автор сравнивает Бизюкину с героиней романа французского писателя Поля Анри *Феваля* (1817—1887) "Алиция Паули" (Пер. с франц. М., 1850). Влюбленная Алиция Паули, по оговору, попадает в заключение, заболевает чахоткой и умирает.

Романы Феваля были широко известны в России в середине XIX в. В 1850—70-е годы издавались в русском переводе: Черный нищий. М., 1848; Двумужница. М., 1850; Волшебница прибрежья. М., 1851; Замок де Гарен. М., 1857; Свадебные спекуляции в Париже. М., 1860; Сын тайны.

СПб, 1862; Джон Демон. СПб., 1863; Королевский фаворит. СПб., 1879 и др. Особую популярность приобрел роман "Лондонские тайны" (1844), выдержавший два русских издания.

76 В 1860-е годы Лесков поддерживал приятельские отношения с Всеволодом Владимировичем *Крестовским* (1839—1895), автором романа "Петербургские трущобы" и антинигилистических произведений, за которые он подвергся столь же резкой критике слева, как и Лесков. Современники нередко сближали обоих писателей (см., например: *Соловьев Н.И.* Два романиста // Всемирный труд. 1867. № 12). О Крестовском см. также ниже примеч. 157.

77 *Псалтирь*, 103:15.

78 *Притчи*, 10:12.

79 Очевидно, имеется в виду программа просвещения народа и освобождения его от предрассудков.

80 *Песнь Песней*, 2:1—2.

81 Мексиканский император *Максимилиан* (1832—1867), ставленник Наполеона III, был расстрелян республиканскими войсками 19 июня 1867 г. "Микадо" — вероятно, 121-й император Японии Комэи-тэнно (1831—1867).

82 Термосёсов искажает мысль Герцена, прозвучавшую в статье "Журналисты и террористы" (1862). Имея в виду возможность мирного социального переворота, Герцен писал: "Если солнце взойдет без кровавых туч, тем лучше, а будет ли оно в Мономаховой шапке или в фригийской — все равно" (*Герцен.* Т. XVI. С. 225). Эти слова Лесков вновь цитировал в некрологе Герцена: «Герцен даже ударял отбой; ему принадлежат известные и тысячу раз повторенные в нашей печати слова, что "социализму все равно, что под мономаховою шапкою, что под фригийским колпаком"; но в "бесповоротно воспитанном им поколении" было очень мало воспитанности, чтобы понимать его реформы» (*Бвед.* 1870. 18 янв.; авторство Лескова установлено И.В.Столяровой — см.: *Столярова И.В.* Лесков и Герцен. (Неизвестные статьи Лескова о Герцене в газете "Биржевые ведомости" 1869—70 гг.) // Лесков и русская литература. М., 1988. С. 165—181).

83 "Такая барыня — не вздор // В наш век болезненный и хилый!" — цитата из поэмы И.С.Тургенева "Помещик" (1846 г.; строфа XIV).

84 Штейбен (Шарль барон *де-Штейбен*) (1788—1856) — французский живописец. В 1843 г. приглашен в Петербург для участия в росписи Исаакиевского собора. В России Штейбен написал также большую картину "Смерть генерала Моро в Лейпцигской битве" и несколько портретов.

85 Вероятно, Лесков имеет в виду книгу Матвея Комарова "Обстоятельные и верные истории двух мошенников: первого российского славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина со всеми его сысками, розысками, сумасбродною свадьбою, забавными разными его песнями и портретом его. Второго французского мошенника Картуша и его сотоварищей" (Портреты с подписями: "Ванька Каин славный вор и мошенник", "Картуш"). СПб., 1794. Лубочные книги М.Комарова были чрезвычайно популярны в XVIII и начале XIX вв. В целом они выдержали более тридцати изданий. Так, книга о Ваньке Каине и Картуше только в конце XVIII в. известна в нескольких дешевых изданиях, помимо указанного выше: М., 1788; СПб., 1793; М., 1794.

86 См. примеч. 26.

87 *Псалтирь*, 21:19; *Матфей*, 27:35; *Марк*, 15:24; *Иоанн*, 19:24 (о функции этой цитаты подробнее см. во вступительной статье).

88 *Матфей*, 27:50—53.

89 *Матфей*, 24:15; *Марк*, 13:14.

90 Здесь текст Лескова созвучен с народной песней времен 1812 г. Приводим выборочные цитаты:

Встань, Пожарский Князь!.. встань, великий муж,
От глубока сна пробудись на час;
Смерти лютыя ты разрушишь власть <...>

Облекись в броню ты нетленную;
Препояшься, Князь, ты стальным мечом;
В праву длань возьми страшну палицу
И булатным ты вооружись копьем;
Оградись щитом веры Русския;
Воструби в трубу громогласную,
Собери ты рать, рать могучую,
Силу грозную, богатырскую;
Воспали ты кровь храбрых воинов
Ободри ты дух Русских юношей <...>

Ты рассей во прах адски полчища,
Сокруши врага нечестивого,
Защити еще царство славное,
Ты прославь, прославь веру Русскую,
Царя Белого храбро воинство!

(Новейший полный всеобщий песенник, или Собрание отборных и всех доселе известных употребительных и новейших всякого рода песен. В 4-х частях. Часть 4. М., 1822. С. 214—215).

91 См.: *Матфей*, 24:45—51; *Марк*, 13:34—37; *Лука*, 12:41—48 (подробнее об этом фрагменте см. во вступительной статье).

92 *Бытие*, 3:18; *Осия*, 10:8; *Евр.* 6:8. Лядина (*древнерус.*) — поле, борозда поля.

93 Петр Александрович *Валуев* (1815—1880) — граф, министр внутренних дел (1861—1868).

94 Александр Алексеевич *Зеленый* (1818—1880) — боевой генерал, прошедший Крымскую кампанию, в 1862—1872 гг. —министр государственных имуществ.

95 Александр Михайлович *Горчаков* (1798—1883) — князь, дипломат, министр иностранных дел (1856—1882), государственный канцлер. На Венской конференции (1855) предотвратил вступление Австрии в Крымскую войну на стороне Франции. Дипломатическая политика Горчакова не позволила Австрии, Франции и Англии вмешаться в русско-польские дела.

96 Дмитрий Алексеевич *Милютин* (1816—1912) — граф, генерал-фельдмаршал, один из ближайших и наиболее энергичных сотрудников Александра II. Занимал пост военного министра (1861—1881).

97 Павел Петрович *Мельников* (1804—1880) — инженер, министр путей сообщения (1862—1869).

98 Михаил Николаевич *Муравьев* (1796—1866) — граф, генерал-адъютант, член Государственного совета, участник подавления польского восстания 1830—1831 гг. С 1863 по 1865 — генерал-губернатор Северо-Западного края. За жестокое подавление польского восстания 1863 г. прозван “вешателем”

99 В апреле 1866 г., после покушения Каракозова на Александра II, Муравьев был назначен председателем следственной комиссии. Как вспоминали современники, “граф Муравьев во время своей диктатуры в Северо-Западном крае <...> так прославился своим своеобразным <...> взглядом как на следственный процесс, так и на судебные решения участи подсудимых, что никто не сомневался в полном отсутствии всякой справедливости и законности как при следствии, так и при суде” (*Антонович М.А., Елисеев Г.З.* Воспоминания. М.— Л., 1933. С. 336).

100 *Петр Амьенский* или Пустынник (ок. 1050—1115) — французский монах, аскет, проповедник, вдохновитель первого крестового похода (1096—1099); до принятия монашества был воином. Легенды рассказывают, что “все, что он ни говорил, ни делал, обнаруживало в нем божественную благодать. Никто лучше не умел улаживать несогласия и мирить самых жестоких врагов”

101 *Титу*, 3:5. В русском переводе: “Он спас нас <...> банею возрождения и обновления Святым Духом”

102 Имеется в виду бурная полемика вокруг романа Тургенева “Отцы и дети” В пору работы Лескова над хроникой появились статьи Герцена “Еще раз Базаров” (1868), Н.В.Шелгунова “Люди сороковых и шестидесятых годов” (1869), А.М.Скабичевского “Русское недомыслие” (1869), Е.И.Утина “Литературные споры нашего времени” (1869).

103 См. об этом примеч. 60. Александр Александрович *Ольхин* (1839—1897) — адвокат, поэт, журналист, печатавшийся в революционно-демократических изданиях, во второй половине 1860-х годов стал мировым судьей. Позже был защитником на процессе “нечаевцев”

104 Речь идет о судебном процессе, ход которого освещался в столичных газетах (*СПбвед.* 1867. 9 и 11 июня; Петербургский листок. 1867. 11 и 13 июня). Кандидат Штофф обвинял протоиерея Борисоглебского, священника Демидовского дома призрения, в оскорблении его жены, посетившей сестру, воспитанницу заведения. Причина заключалась в вызывающем поведении г-жи Штофф, которая отказалась встать на приветствие протоиерея. За это священник Борисоглебский назвал ее “невежею, дрянной девчонкою” и хотел вывести из заведения, но Штофф ушла сама. Свое поведение протоиерей объяснил потребностью поддерживать уважение к священному сану и противостоять “вредным идеям и ложным началам нравственности”. Протоиерей Борисоглебский был признан виновным и осужден к аресту на один месяц. Комментируя процесс, газета “Петербургский листок” (1867. 13 июня) высказала мнение, что “лица духовного ведомства должны подлежать суду духовному и подвергаться наказанию только по определению епархиального начальства”

105 Евангельский сюжет об Ироде Антипе и дочери Иродиады Саломее, потребовавшей за свой танец голову Иоанна Крестителя (*Матфей*, 14:6—11; *Марк*, 6:21—28), вводится Лесковым через цитату-посредник “Полюби и стань моею” из поэмы Генриха Гейне “Атта Троль. Сон в летнюю ночь” (1843) в переводе Д.В.Аверкиева. (*БдЧт.* 1863. № 1. С. 37). Лесков часто цитировал поэму “Атта Троль” именно в переводе Аверкиева.

106 Имеется в виду, очевидно, борьба Каткова с П.А.Валуевым и Д.А.Милютиным.

107 Источник цитаты не установлен.

108 Лесков неточно цитирует строки из стихотворения Генриха Гейне “Странствуй!” (1842). Трудно определить, какой из известных переводов стихотворения — А.Н.Плещеева (*Плещеев А.* Стихотворения. М., 1861. С. 199) или И.И.Гольц-Миллера (*ОЗ.* 1871. № 5. С. 98) — цитирует писатель. В цитате воспроизводятся фрагменты обеих поэтических интерпретаций.

109 20 ноября 1864 г. Александром II был подписан Указ об утверждении судебных уставов.

Однако "Положение о введении в действие судебных уставов" было утверждено 19 октября 1865 г., и уставы вводились постепенно в разных губерниях империи.

110 Иронический намек на пропагандируемый *А.П.Щаповым* (1831—1876) и его последователями взгляд на раскол как явление, имеющее "противогосударственный" характер. "Сила русского раскола,— писал Щапов,— заключается главным образом в его религиозно-гражданском демократизме, в том духе и направлении, какое он получил во время самого восстания раскольников против патриарха Никона, и особенно после Никона, когда он перешел из сферы собственно церковной в сферу гражданской, народной жизни" (*Щапов А.П.* Русский раскол старообрядчества. Казань, 1859. С. 55. См. также: *Щапов А.П.* Земство и раскол.СПб., 1862. Т. 1; *Фармаковский В.* О противогосударственном элементе в расколе // *ОЗ.* 1866. № 12. Кн. 1—2).

В 1869 г. в "Биржевых ведомостях" писатель публиковал ряд статей, посвященных проблемам раскола ("Искание школ старообрядцами"; "Нынешние волнения в московском старообрядчестве"). В статье "Искание школ старообрядцами" Лесков говорил о современной тенденции к "возведению раскола в сан политической партии" как об "общественном заблуждении" и, солидаризуясь с П.И.Мельниковым (Андреем Печерским), подчеркивал: "...русские раскольники не революционеры, а богомольцы" (*Бвед.* 1869. 7 февр.).

111 Этот рассказ лекаря переходил из редакции в редакцию "Соборян" Впервые он встречается в журнальном тексте "Божедомов" в дневнике Савелия Туберозова, запись 9 июня 1864 г. (Литературная библиотека. 1868. № 2. С. 6). В окончательном тексте "Соборян" этот эпизод с небольшими изменениями вошел в последнюю запись Туберозова (IV, 82).

112 Имеются в виду учебники истории профессора Царскосельского лицея Ивана Кузьмича *Кайданова* (1780—1843), широко распространенные в учебных заведениях в первой половине XIX в. (Краткое начертание всемирной истории. СПб., 1821, 16 изд.; Руководство к познанию всеобщей политической истории. СПб., 1821, 13 изд.; Начертание истории государства Российского. СПб., 1829, 4 изд. и др.).

113 Золою золить — белье бучить, парить в зольной воде, в щелоке, в буке. Бук — место под мельничным колесом, где вода вымывает омут (*Даль.* Т. I. С. 139, 691).

114 Неточно цитируется первая строфа стихотворения Ф.И.Глинки "Ура!.. на трех ударим разом..." Впервые стихотворение опубликовано в издании: "Сборник известий, относящихся до настоящей войны (1853—1855), издаваемый с Высочайшего соизволения Н.Путиловым": В 6 отделах. Отд. 5. Патриотизм России: кн. I—XII. СПб., 1855. Кн. IV. С. 34—36.

115 Мысль о незрелости русского общества и неподготовленности к реформаторскому курсу не раз высказывалась Лесковым в годы работы над "Соборянами" В "Русских общественных заметках" Лесков писал: «Есть у нас, на Руси, действительно фатальная сила, и не одну уже могучую натуру сломила она. Прежде то было крепостное право, теперь это — крепостничество духовное, отсутствие именно в простом народе школ, образования, вообще всех тех элементов, которые прекрасно выражаются словом — "просвещение"» (*Бвед.* 1870. 19 мая. Перепеч.: *Лесков Н.С.* Честное слово. С. 172). В других статьях Лесков много писал о "крепостной зависимости направлений" (*Бвед.* 1869. 2 ноября. Перепеч.: *Лесков Н.С.* Честное слово. С. 152), о состоянии "крепостного развращения, крепостного отсутствия правды и права" в русском обществе (*Бвед.* 1870. 19 мая. Перепеч.: Там же. С. 170).

Эти мысли Лескова, вложенные в "Божедомах" в уста протопопа Туберозова, близки к убеждениям Потугина, героя обсуждаемого далее Туберозовым и Дарьяновым романа Тургенева "Дым" (1867). Западник Потугин говорит: "Правительство освободило нас от крепостной зависимости, спасибо ему; но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; не скоро мы от них отделаемся. Нам во всем и всюду нужен барин; барином этим бывает большею частью живой субъект, иногда какое-нибудь так называемое направление над нами власть возымеет" (*Тургенев.* Т. 7. С. 271).

116 См. примеч. 7.

117 В романе "Дым" Тургенев памфлетно изобразил круг русских генералов в Баден-Бадене, приверженцев программы аристократической оппозиции реформам.

118 Здесь Туганов солидаризируется с позицией тургеневского Потугина (см. примеч. 115): "...Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле" (*Тургенев.* Т. 7. С. 272).

119 Неточно процитированные слова Базарова: "Знаешь поговорку: русский мужик Бога слопает" (*Тургенев.* Т. 7. С. 43).

120 *Псалтирь*, 13:1; 52:2.

121 Эта мысль не раз повторялась в произведениях Лескова (см. "На краю света").

122 Речь идет о губернаторе. В отвергнутом варианте диалога героев Туганов рассказывал Туберозову о своих столкновениях с губернатором, называя его "просо-хлеб".

123 *1 Коринфянам*, 15:36.

124 В Манифесте 19 февраля 1861 г. говорилось: "Полагаемся и на здравый смысл Нашего народа".

125 "Друг народа" — прозвище Марата. "Ami du peuple" — название газеты, издававшейся им в годы Французской революции (1792—1793).

[126] Григорий Анатольевич *Захарьин* (1830—1897) — знаменитый московский терапевт, профессор. Федор Иванович *Иноземцев* (1802—1869) — популярный в Москве врач, основатель научной школы физиологов в клинической медицине. Первым в России в 1847 г. произвел операцию под наркозом.

[127] Цитата из "Повести временных лет" (слова князя Владимира).

[128] Речь идет об осуществленной в 1863 г. отмене винных откупов, следствием которой было повышение цен на спиртное. Цель отмены откупов — установление государственной монополии в сфере налогообложения.

[129] Ср. слова Репетилова: "Что радикальные потребны тут лекарства" ("Горе от ума", д. 4, явл. 5).

[130] Неточно цитируется фрагмент из приписывавшейся А.И.Герцену статьи "Состав русского общества": "Среднее сословие дворян — есть бьющая артерия, где еще не застыла горячая кровь России; в нем сходятся все благородные чувства души" (*Герцен.* Т. II. С. 421). Заслуживает внимания то обстоятельство, что статья не была опубликована в XIX в., и точно не установлены ни ее авторство, ни время написания. Существует несколько отличающихся друг от друга списков статьи. Комментаторы академического собрания сочинений А.И.Герцена опираются на предположение М.А.Цявловского, что "судя по содержанию, она не могла быть напечатана в России и представляет собой одно из тех довольно многочисленных произведений на русском языке, которые распространялись в рукописном виде" (Там же. С. 482). Упомянутая в комментируемом диалоге петербургская газета "Весть" — орган консервативно настроенного дворянства. Издавалась в 1863—1870 гг. под редакцией В.Д.Скарятина.

[131] Далее вклеена вырезка из газеты "Биржевые ведомости" (1868. 13 авг.; разд. "О нуждах землевладельцев"); текст заметки незначительно сокращен и отредактирован Лесковым.

[132] "Биржевые ведомости" — ежедневная экономическая газета умеренно-либерального направления, издававшаяся в Петербурге в 1861—1879 гг. под редакцией К.В.Трубникова. На рубеже 1860—1870-х годов Лесков был постоянным сотрудником газеты.

[133] Вторая заметка вырезана из того же номера "Биржевых ведомостей" (она, как и предыдущая, отредактирована Лесковым).

[134] Далее вклеена также отредактированная писателем статья из "Биржевых ведомостей" от 25 августа 1868 г. (№ 224), начинающаяся со слов: «В "Нов<ом> времени" рассказан след<ующий> факт самого возмутительного <...>» (ссылку на "Новое время" Лесков убрал).

[135] Имеется в виду *Наполеон III* (Луи Наполеон Бонапарт; 1808—1873), французский император в 1852—1870 гг. Фридрих Фердинанд *Бейст* (1809—1886), граф, саксонский и австрийский государственный деятель, министр иностранных дел (с 1866 г.) и государственный канцлер (с 1867 г.) Австрии.

[136] Следующая заметка также отредактирована и значительно сокращена Лесковым, в частности вычеркнута ссылка на газету "Современный листок", откуда заимствовал информацию сотрудник "Биржевых ведомостей"

[137] Речь идет о редакторе "Биржевых ведомостей" (см. примеч. 132).

[138] Неточно процитированы слова Потугина из романа "Дым" (*Тургенев.* Т. 7. С. 326).

[139] При Александре I было подготовлено несколько проектов ликвидации крепостного права, которые так и не были реализованы. В 1817—1819 гг. в трех остзейских губерниях осуществлено личное освобождение крестьян без земли, барщина же была отменена и заменена денежной арендой лишь в 1860-х годах (см. об этом: *Богданович М.И.* История царствования императора Александра I и Россия в его время: В 6-ти тт. СПб., 1869—1871; *Мироненко С.В.* Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989).

[140] В 1835—1848 гг. Николаем I были последовательно созданы девять секретных комитетов по вопросу реформы крепостного права. В 1837—1841 гг. проведена реформа государственной деревни, лишь незначительно улучшившая положение казенных крестьян. Практические результаты указа об "обязанных крестьянах" (1842) также были ничтожны (см. об этом: Эпоха Николая I / Под ред. М.О.Гершензона. М., 1910; *Зайончковский П.А.* Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978; *Ерошкин Н.П.* Крепостное самодержавие и его политические институты. М., 1981).

[141] Вслед за восторженным герценовским приветствием Александру II, утвердившему Положения 19 февраля 1861 г., в "Колоколе" был развернут критический анализ содержания Положений и реального проведения реформы в жизнь. Герцен заявлял, что "воля дана только на словах, а не на деле" (Колокол. 1 июля 1861. Л. 102; статья "Ископаемый епископ, допотопное правительство и обманутый народ" // Колокол. 1861. Л. 105; *Огарев Н.П.* Разбор нового крепостного права // Колокол. 1861. Л. 101—106).

[142] *Бытие*, 9:18—27.

[143] В Высочайшем Манифесте Александра II о заключении мира в Крымской войне 1853—1856 гг. говорилось: "При помощи Небесного Промысла, всегда благодеющего России, да утверждается и совершенствуется ее внутреннее благоустройство, правда и милость да царствуют в судах ее" (*ОЗ.* 1856. № 4. С. 78).

[144] Перефразированная реплика городничего из последнего действия комедии Н.В.Гоголя "Ревизор" (1836).

[145] *Псалтирь*, 41:8.

[146] Эпизод, рассказывающий о "великой старогородской распре" с тростями, вошел в первую часть "Божедомов" (Литературная библиотека. 1868. № 1. С. 12—19). Описание "распри" оканчивается тем, что Туберозов "бестрепетной рукою" запирает трость Ахиллы в свой гардеробный шкаф. Без существенных изменений этот фрагмент вошел и в окончательный текст "Соборян" (часть первая, гл. 2).

[147] В роман "На ножах" писатель включил пространное рассуждение о бедности содержания русского романа, где варьировались только два положения: "влюбился да женился или влюбился, да застрелился" (*РВ*. 1871. № 6. С. 718—719). Позднее, в письме Б.М.Бубнову от 14 мая 1891 г., Лесков вспоминал: «...Я пробовал написать роман *без любовной интриги* — "Соборяне". Это очень возможно и отнюдь не лишено общего интереса...» (*Шестидесятые годы*. С. 361).

[148] Имеется в виду великий князь *Константин Николаевич* (1827—1892) и его супруга, великая княгиня *Александра Иосифовна* (1830—1911).

[149] Здесь в искаженном виде передаются претензии представителей "молодой эмиграции" к А.И.Герцену. На женевском съезде русских эмигрантов (конец декабря 1864 —начало января 1865 г.) был выдвинут проект создания наряду с "Колоколом" еще одного русского журнала общеэмигрантского характера, но Герцен по ряду причин отказался участвовать в этом предприятии и не выделил средства из хранившегося у него "бахметьевского фонда" на нужды нового издания (см. об этом подробнее: *Козьмин Б.П.* Герцен, Огарев и "молодая эмиграция" // *Козьмин Б.П.* Из истории революционной мысли в России. Избр. труды. М., 1961. С. 483—576; а также: *ЛН*. Т. 62. С. 679, 684).

Один из представителей "молодой эмиграции" бросил Герцену следующие обвинения: «А молодая эмиграция и ваши отношения к ней? <...>когда эти юноши со святыми ранами, о которых вы проливали слезы, сделались вдруг эмигрантами и, спасаясь в Швейцарии от каторги и виселицы, ободранные и голодные, обратились к вам, вождю, миллионеру и неисправимому социалисту, обратились не с просьбой о насущном хлебе, а с предложением общей работы, вы отвернулись и с гордым презрением отвечали: "Что это за эмиграция? Я не признаю эмиграции! Не надо эмиграции!"» (*Серно-Соловьевич А.А.* Наши домашние дела. Ответ г.Герцену на статью "Порядок торжествует". Веве, 1867. С. 19).

Под "дворцом" герой Лескова мог иметь в виду дом, который был снят в Швейцарии для Герцена и его семьи. Как вспоминала Н.А.Тучкова-Огарева, "Château de la Boissière был старинный швейцарский замок с террасами на всех этажах..." (*Тучкова-Огарева Н.А.* Воспоминания. М., 1959. С. 216).

[150] Имеется в виду *Дионисий I Старший* (432—367 до н.э.), правитель Сиракуз с 406 г., прославившийся жестокостью и деспотизмом. Известно, что он был автором ряда трагедий, и при нем Сиракузы превратились в крупный культурный центр.

[151] Французский барон Антуан *Монтион* (baron de Montyon) (1733—1820) учредил при Французской Академии премию за произведения, воспевающие добродетель (prix de vertu) (1782). Несколько месяцев спустя после смерти Монтиона была произнесена хвалебная речь в его честь на заседании французской академии. С тех пор стало традицией ежегодно при вручении премии произносить на подобных заседаниях благодарственные речи в честь ее учредителя.

[152] Маврикий Осипович *Вольф* (1826—1883) — основатель петербургской книгоиздательской и книгопродавческой фирмы. В 1867 г. Вольф издал роман "Некуда". Лесков неоднократно вспоминал об этом издании с раздражением, обвиняя издателя в нежелании восстановить искаженный "тремя цензорами" текст романа: "У меня одного есть экземпляр, сплетенный из корректур, по которому я хотел восстановить пропуски хотя в этом втором издании, но издатель мой, поляк Маврикий Вольф, упросил меня не делать этого, ибо во вставках были сцены, обидные для поляков и для красных, перед которыми он чувствует вечный трепет" (X, 168—169). Однако позднее, в начале 1880-х годов, Лесков заключил с Вольфом соглашение об издании полного собрания сочинений. Осуществлению этого проекта помешала смерть издателя (см.: XI, 342).

[153] Слова хора из оперы А.Н.Серова (1820—1871) "Рогнеда", впервые поставленной в Петербурге 27 октября 1865 г.

[154] В апреле 1866 г. на обеде в честь М.Н.Муравьева (см. выше примеч. 98) Н.А.Некрасов прочитал посвященные ему стихи, что вызвало широкий общественный резонанс.

[155] Андрей Александрович *Краевский* (1810—1889) — издатель журнала "Отечественные записки" (1839—1884) и газеты "Голос" (1863—1884), был известен как беспринципный, но умелый журналист. Неприязненное отношение Лескова к Краевскому было вызвано недоразумениями с публикацией в "Отечественных записках" в 1867 г. хроники "Чающие движения воды" После смерти С.С.Дудышкина (1866), соредактора Краевского, Лескову приходилось иметь дело непосредственно с издателем, что приводило к конфликтам. Причины категорического отказа продолжать печатание хроники в "Отечественных записках" Лесков подробно объяснял в письме в Литературный фонд (20 мая 1867 г.), указывая прежде всего на не согласованные с автором искажения текста: "Я не хотел сделать <...> литературного скандала г. Краевскому, ибо, вследствие некоторых

особенностей нрава и обычаев этого почтенного редактора, такие скандалы для него уже не редкость; а для публики они только открывают язвы нашей и без того много раз компрометированной литературной семьи" (X, 265). Возможно, образ Калатузова в повести "Смех и горе", журналиста без убеждений,— карикатура на Краевского.

Газета "Голос" имела скандальную репутацию официозного органа. М.Н.Катков, нападавший на самый принцип правительственной поддержки частных газет, прямо называл время начала выдачи "Голосу" правительственных субсидий и даже их сумму (Московские ведомости. 1865. 26 сент.). В 1860-е годы появилось много эпиграмм и сатирических стихов о Краевском как издателе "Голоса" (Д.Д.Минаев "Ад. Поэма в трех письмах"; В.С.Курочкин "Молитвой нашей Бог смягчился" и др.). Упоминая "Отечественные записки", Лесков имел в виду старую редакцию журнала во главе с С.С.Дудышкиным до перехода "Отечественных записок" в руки Салтыкова-Щедрина и Некрасова в 1868 г.

156 Речь идет о Павле Михайловиче *Леонтьеве* (1822—1875) — единомышленнике, ближайшем помощнике и соредакторе М.Н.Каткова.

157 С иронией упоминается поступок В.В.Крестовского, начавшего в 1868 г., когда он был уже известным писателем, службу унтер-офицером в 14-м уланском Ямбургском полку. В письме к нему Лесков замечал: «А ты в 30 лет, в полном развитии сил, все "трубишь", вместо того, чтобы устроить детей и успокоить семью, да ищешь людей, которые еще более утверждали бы тебя в желании "трубить" Труби, брат, труби; немного осталось, когда про тебя протрубят и будешь ты курам на смех» (*Жизнь Лескова.* Т. 1. С. 360).

158 Персидский орден Льва и Солнца был широко известен в России в XIX в. Иногда им награждались русские чиновники, служившие на Кавказе. В романе Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы" явившийся Ивану Карамазову черт говорит ему между прочим: "Я вот думал давеча, собираясь к тебе, для шутки предстать в виде отставного действительного статского советника, служившего на Кавказе, со звездой Льва и Солнца на фраке, но решительно побоялся, потому ты избил бы меня только за то, как я смел прицепить на фрак Льва и Солнце, а не прицепил по крайней мере Полярную звезду али Сириуса" (*Достоевский.* Т. 15. С. 81—82).

159 Источник текста не установлен.

160 См. примеч. 83.

161 Термосесов цитирует слова городничего из последнего действия (явл. 8) комедии Н.В.Гоголя "Ревизор"

162 Такого сотрудника или автора газеты "Голос" найти не удалось. В юбилейном издании «Пятнадцатилетие (1863—1877) газеты "Голос"»(Изд. А.А.Краевского. СПб., 1878) в "Алфавитном списке авторов случайных статей" упомянут А.Пантелеев (ч. II. С. 9). В 1860-е годы был известен Лонгин Федорович *Пантелеев* (1840—1919) — общественный деятель, публицист радикального направления, издатель, член петербургского комитета "Земли и воли" Однако, кого имеет в виду Термосесов, неясно.

163 Александр Готовцев — по-видимому, вымышленное лицо.

164 Яков Федорович *Головацкий* (1814—1888), униатский священник, в 1848—1867 гг. профессор русского языка и русской словесности в Львовском университете, в 1862—1864 гг. — ректор университета; этнограф, историк, собиратель славянского фольклора в Галиции. Принял участие в Славянском съезде в Москве (май 1867 г.), где произнес речь, посвященную общеславянскому культурному единству и положению русских в Галиции. После этой речи, в 1868 г., вынужден был уехать в Россию, присоединился к православию и оставил духовное звание. В.А.Черкасский в своем выступлении на этом съезде подчеркивал "ту охранительную, спасительную для русской народности роль", которую "играло и ныне играет" в Галиции "греко-униатское духовенство", в частности Головацкий (Московские ведомости. 1867. 21 мая). Маркел *Поппель* (Попель) (1825—1903), галицкий униатский священник, общественный деятель, писатель, перешел в православие и стал епископом Холмской епархии.

165 Никита Иванович *Панин* (1718—1783) — граф, воспитатель Павла I, участник дворцового переворота 1782 г., возведшего на престол Екатерину II, автор проекта учреждения Императорского совета и реформы Сената, ограничивающего произвол императорской власти. Возглавлял в 1763—1781 гг. Коллегию иностранных дел. С именем Панина связывается множество легенд и анекдотов.

166 Виктор Никитич *Панин* (1801—1874), министр юстиции в 1841—1862 гг. С 1864 г. — главноуправляющий Вторым отделением Императорской канцелярии. Известен как противник судебной реформы и отмены крепостного права.

167 Фендрих — название чина прапорщика в Воинском уставе, утвержденном Петром I в ходе военной реформы. Как анекдотический пример любви ко всякого рода "запрещениям" в русской общественной жизни Лесков приводит в одном из обозрений "Русские общественные заметки" цитату из Петровского воинского устава: «...запрещалось двум юнкерам останавливаться и разговаривать, "понеже (слова указа) два фендрика ничего путного друг другу сообщить не могут"» (*Бвед.* 1869. 23 ноября. Перепеч.: *Лесков Н.С.* Честное слово. С. 159).

168 Неточная цитата из стихотворения М.Ю.Лермонтова "Узник" (1837).

169 Осип Иванович *Комиссаров* (Костромской) (1838—1892) — спаситель Александра II от выстрела Д.В.Каракозова.

170 “Новое время” в 1868—1871 гг. издавали Н.Н.Юматов и А.В.Киркор. Газета отнюдь не принадлежала к радикальному лагерю.

171 От “шалыган” — бродяга, бездельник, негодяй (*Даль*. Т. IV. С. 620).

172 Цитата из стихотворения А.С.Пушкина “Гусар” (1833).

173 Здесь и далее Ахилла неточно цитирует поэму Пушкина “Полтава” (1829).

174 Цитируется стихотворение Н.А.Некрасова “Школьник” (1856).

175 Неточная цитата из стихотворения М.Ю.Лермонтова “Монолог” (1829).

176 Цитата из Хафеза (Гафиза) в переводе А.А.Фета (“Сошло дыханье свыше...”). (Впервые: Русское слово. 1866. № 2). Лесков цитирует это четверостишие и в одном из обозрений “Русские общественные заметки” (*Бвед.* 1869. 28 сент.).

177 Цитата из стихотворения А.К.Толстого “Пантелей-целитель” (1866).

178 Возможно, реминисценция из стихотворения Е.А.Баратынского “На смерть Гете” (1833):

С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье.

179 Имеется в виду стихотворение Ф.И.Тютчева “Эти бедные селенья...” (1855).

180 После освобождения Орлеана, попав в плен к англичанам, Жанна Д’Арк была предана суду инквизиции, обвинена в ереси и колдовстве и сожжена на костре. Около селения Домреми, где родилась Жанна, рос древний бук, под которым она впервые услышала “голоса свыше” о своем великом предназначении освободительницы Франции. Согласно преданию, в доказательство причастности Жанны Д’Арк к ведовству были использованы ее показания: “...говорят, что около дерева есть мандрагора. Точного места я не знаю... Мандрагоры я никогда не видела. Говорят, это такая вещь, которой лучше не видеть и лучше у себя не держать... к чему она служит, не знаю...”. Об этой легенде упоминает в своей книге С.С.Оболенский (Жанна — Божья Дева. Париж, 1988). Мандрагора считалась в средние века “цветком ведьмы”.

181 *Бытие*, 29:31; 30:1—24.

182 См. примеч. 87.

183 Реминисценция из поэмы А.К.Толстого “Иоанн Дамаскин” (1859):

Блажен, кто рядом славных дел
Свой век украсил быстротечный;
Блажен, кто жизнию умел
Хоть раз коснуться правды вечной...

Лесков был знаком с Толстым, любил его творчество, часто цитировал его произведения. В архиве Лескова сохранились выписки, сделанные им из поэмы “Иоанн Дамаскин” (*РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 104). По мнению Лескова, в этой поэме, где главное место занимает тема независимости художника, отражены личные сомнения и раздумья автора, и в образе Иоанна Дамаскина поэт изобразил самого себя (см. *Шляпкин И.А.* Дневник // *PC*. 1895, № 12. С. 212). Позднее, отвечая А.С.Суворину в письме 25 марта 1888 г. на вопрос о личности Иоанна Дамаскина, Лесков заметил: «Я о нем ничего не писал; что о нём писал Алексей Толстой, — то Вы знаете: на церковнослав<янском> языке есть “житие” и потом ещё “жизнеописание” <...> По историч<еским> источн<икам> он, надо думать, был “песнотворец” и вообще “художественная натура” и порядочный интриган. Христианство он понимал навыворот и был неразборчив в средствах борьбы. Это не Исаак Сирин, который искал истины и милосердия, а Дамаскин вредил людям, которые стояли за христианский идеал, и довел дело до “иконопоклонения”» (XI, 371). В окончательной редакции “Соборян” все цитаты из произведений Толстого были опущены, но журнальный текст хроники вышел с посвящением “графу А.К.Толстому” (*РВ*. 1872. № 4—7). Позднее, при подготовке второго отдельного издания “Соборян” Лесков это посвящение снял (СПб., 1878).

184 *Псалтирь*, 21:20.

185 Вероятно, речь идет об Орасе Бенедикте *Соссюре* (1740—1799), швейцарском геологе и физике, изобретателе физических и метеорологических приборов, совершавшем геологические походы в Альпы, Юру, Вогезы, восхождения на Везувий, Этну. Элиас *Лумис* (1811—1889) — американский математик, астроном, метеоролог, профессор университетов в Огайо (1837—1844) и в Нью-Йорке (1844—1870).

186 Цитата из второй части стихотворения А.К.Толстого “Пантелей-целитель”. Лесков исключил две строки:

И приемы у них дубоватые,
И ученье-то их грязноватое.

В стихотворении “Пантелей-целитель” (*РВ*. 1866. № 9. С. 332—333) Толстой открыто заявил о

своем неприязненном отношении к революционному течению общественной мысли и литературы. Упоминание о поэте в журналах демократического лагеря часто сопровождалось насмешливой характеристикой "автор Пантелея" (*Михайловский Н.К.* Журнальное обозрение // Неделя. 1868. № 7. С. 217; *Минаев Д.Д.* Невские заметки // Там же. № 52. С. 1835).

187 Здесь и далее цитируется поэма Толстого "Иоанн Дамаскин" (см. примеч. 183).

188 *Матфей*, 17:20; *Иоанн*, 18:14; *Матфей*, 6:34..

189 Жена Марка Юлия Брута (85—42 гг. до н.э.) Порция вместе с мужем покончила жизнь самоубийством, когда республиканцы потерпели поражение. Лесков восхищался образом Порции в трагедии Шекспира "Юлий Цезарь" (1623) (см.: *Лесков о литературе и искусстве.* С. 169).

190 Лесков, очевидно, имел в виду следующую мысль архиепископа Херсонского и Таврического *Иннокентия* (Ивана Алексеевича Борисова; 1800—1857): "В жару и ослеплении фанатизма предатель для некоторых из слепо почивающих в законе мог оказаться человеком праведным по закону" ("Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, изображенные по сказанию всех четырех евангелистов" // *Иннокентий.* Соч. СПб., 1901. Т. 1. С. 213). В окончательном тексте хроники писатель устами своего героя ссылался на то же "толкование" Иннокентия Херсонского (см.: IV, 231). В 1860—70-х годах личность и труды Иннокентия постоянно были в поле зрения Лескова. В 1869 г. в "Русских общественных заметках" он писал: «...что ни привешивали к Иннокентию, его все-таки звали "Златоустом" и плакали с ним, когда он говорил: "Давайте плакать"» // *Бвед.* 1869. 2 ноября. Перепеч.: *Лесков Н.С.* Честное слово. С. 144). В "Мелочах архиерейской жизни" (1878) в посвященной Иннокентию главе 6-й выражение "русский Златоуст" получило, однако, иронический смысл (VI, 434—439).

191 *Матфей*, 23:24.

192 *Псалтирь*, 50:12—15. Читается дьяконом священнику во время освящения Святых Даров.

193 *Псалтирь*, 71:1.

194 В Септуагинте и в старославянской Библии псалом 71, на текст которого произносит проповедь Туберозов, приписывается (существует мнение, что ошибочно) Давиду.

195 *2 Царств*, 5:1.

196 *3 Царств*, 12:4—14.

197 *1 Царств*, 17:49—51.

198 Возможно, намек на М.Н.Муравьева (см. примеч. 98).

199 *Матфей*, 18:6; *Марк*, 9:42; *Лука*, 17:1—2.

200 *Исход*, 2:11—15.

201 *3 Царств*, 18:18—40. В библейском тексте пророк Илия предал смерти 450 пророков Ваала.

202 *Иоанн*, 18:10; *Матфей*, 26:51; *Марк*, 14:47; *Лука*, 22:50.

203 *Матфей*, 21:12—13; *Марк*, 11:15—17; *Лука*, 19:45—46.

204 Подсыкать — дразнить, натравлять, подстрекать на худое (*Даль.* Т. III. С. 208).

205 Названы газеты различной идеологической ориентации. Петербургская газета "Неделя" была основана в 1866 г. по инициативе министра внутренних дел П.А.Валуева, который хотел создать сеть частных газет и журналов для борьбы с революционно-демократической печатью. С 1868 г., после приобретения газеты В.Генкелем, ее направление резко изменилось: здесь стали сотрудничать писатели демократического лагеря. "Санкт-Петербургские ведомости" в 1863—1874 гг. издавались под редакцией В.Ф.Корша, газета придерживалась либеральной ориентации. О газетах "Весть" и "Новое время" см. примеч. 130 и 170. И.С.Аксаков в 1867—1868 гг. издавал газету "Москва"

206 Имеется в виду активно обсуждавшийся в русской печати 1860-х годов вопрос о российских западных окраинах. После усмирения польского восстания 1863 г. Катков и Муравьев выдвинули проект русификации Западного края с целью водворения здесь более прочных основ российского государственного порядка. Проект не был осуществлен правительством, но в 1865 г. полякам было запрещено покупать земли в Северо-Западных губерниях. Полемика по остзейскому вопросу наиболее активно велась в либеральной и консервативной прессе ("Московские ведомости", "День", "Москва", "С.-Петербургские ведомости"). Кульминационный момент обсуждения — появление книги Ю.Ф.Самарина "Окраины России" (Прага, 1868). Исходя из необходимости единства антиостзейского фронта (против онемечивания Прибалтики) пресса требовала признания национального развития латышей и эстов (*Исаков С.Г.* Остзейский вопрос в русской печати 1860-х годов // Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 107. Тарту, 1961).

207 *Матфей*, 26:52.

208 *Матфей*, 10:19—20.

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

Неизвестный отрывок

Предисловие и публикация Л.Е.Ураковой

В 87-м томе "Литературного наследства" в комментариях А.И.Понятовского к публикации неизданных рассказов Лескова приводятся следующие сведения: «...в письмах к А.Н.Лескову Варнеке упоминает еще запрещенную цензурой VI главу "Очарованного странника", которую он предполагал передать в Пушкинский Дом. Местонахождение этой рукописи в настоящее время неизвестно»[1].

Между тем при разборе вновь поступившей в Музей Лескова от А.И.Лесковой части архива ее мужа, А.Н.Лескова, в декабре 1975 г. и в январе 1976 г. были обнаружены три страницы машинописи неизвестного отрывка из шестой главы повести "Очарованный странник" с восемью карандашными и чернильными поправками, сделанными сыном писателя[2].

При изучении переписки А.Н.Лескова с Б.В.Варнеке устанавливаются некоторые данные по истории рукописи. Так, в одном из писем начала 1930-х годов Варнеке сообщал А.Н.Лескову: «Видели ли Вы рассказ Николая Семеновича "Административная грация", который я прошлую осень вместе с загубленной в цензуре главой "Очарованного странника" сдал в Пушк<инский> Дом?.."[3]. В письме от 10 ноября 1932 г.[4] он уточнял: «...бумагой от 4 окт<ября 19>31 г. за № 52-711, ученый секретарь В.В.Буш благодарил меня за "Административную грацию" и 6-ю главу "Очаров<анного> странника"»[5]. Таким образом, копия, сделанная Варнеке с недошедшего до нас оригинала, должна была с 1931 г. храниться в Рукописном отделе ИРЛИ. Однако в научном описании рукописей Лескова, находящихся в Пушкинском Доме (см. *Ежегодник*), нет сведений о главе из "Очарованного странника" При непосредственной работе в архиве ИРЛИ нами была обнаружена ускользнувшая от внимания исследователей копия, снятая Варнеке с автографа.

О происхождении машинописной копии А.Н.Лескова сведения не обнаружены. Интересна она, однако, тем, что содержит ряд разночтений по сравнению с копией Варнеке. Причем варианты, принадлежащие копии А.Н.Лескова, стилистически в некоторых случаях ближе каноническому тексту "Очарованного странника", что позволяет предполагать, что сын писателя либо имел дело с автографом Лескова, либо исправил промежуточную копию (возможно — рукописную копию Варнеке), опираясь на свое чутье и знание стиля автора "Очарованного странника"

Изучая историю публикации повести, мы не нашли у Лескова никаких упоминаний о том, что "серальная" страничка "Странника" была запрещена цензурой, а не обойдена редакцией "Русского мира" или изъята самим автором.

Обеспокоенный отказом редактора "Русского вестника" М.Н.Каткова, считавшего, что "печатать эту вещь будет неудобно"[6], Лесков опубликовал повесть в октябре — ноябре 1873 г. в газете "Русский мир" Уже в первопечатном тексте этот отрывок отсутствовал. Не появился он и в последующих прижизненных изданиях повести. Можно предположить, что Лесков, боясь за судьбу своего произведения, решил не печатать фрагмент, вызвавший в свое время опасения Каткова.

Отрывок шестой главы печатается по копии Варнеке — ИРЛИ. Ф. 612. Ед. хр. 15 (старый шифр: Р 1, оп. 16, № 1). В подстрочных примечаниях приводятся варианты, принадлежащие копии А.Н.Лескова.

У другого хана, у Агашимолы, кой меня угнал[1*] от Отучева, мне еще две жены дали! Там к русским совсем другое уважение было и притом для ради нашей российской[2*] бабы...

— Чем же это баба наша им угодить сумела! Ведь и их Наташки, по вашим словам, не плохи?

— Она им ихнюю веру выправила и для семейного обихода большую льготу нашла.

— Как же это ей удалось, когда у них бабы от веры довольно значительно удалены?

— А вот-с, извольте слушать, как все дело было. Лет за пять до моего к ним прибытия, попала к ним середь другой бранки молодая вдова из-под Пирятина, Оксана, или, как ее на степной лад по сей день славят, Ксана-ханум. Своей телесностью она очень самому Агашимоле по вкусу пришлась, потому что их Наташки строением больше суховатенькие, а у Ксаны под рубахой словно два добрых кавунчика перекатывалось[3*], да и под поясницей большое мясное благополучие наблюдалось. Ради этих самых преизбыточеств приказал Агашимола возле своей главной юрты ей махонькую[4*] поставить на отлетце и как только предночную молитву сотворил, к ней со всем пламенным расположением и двинулся, а та, хоть в степи и была недавно, но тамошние порядки все постигла и встречает его, как жене по-ихнему полагается, с ножничками. Надо вам в пояснение сему доложить, что у них, хоть по бабьей части и[5*] большая льгота предоставлена, но чтоб этим упражнениям не предавались сверх меры разума, надо, прежде чем плода радости вкусить, дать ей остричь ногти. Иначе малодушный кто только и узнал бы, что от одной бабы к другой перекидываться, а тут, брат, нет — изволь потерпеть, пока ноготки хоть чуточку да отрастут. Из-за этого самого и Агашимола как раз доволен был, что у него к приходу Ксаны-ханум ноготочки зацепляться стали. Встрела она его, как и подобает по ихнему закону, с низким поклоном, своего нового хозяина, руку ему сперва поцеловала, а потом взяла в свои руки правую его и срезала с мизинца ноготь, а потом и с соседнего пальца, а потом руку его выпустила, сама на кошмы соблазнительно прилегла. Лежит[6*] на боку, кавунчиками своими потряхивает да на хозяина из-под черной брови поглядывает, а тот третий палец выставил да ждет, когда все пальцы обстрижены будут: и к боку-то ее жирному его тянет и вера не позволяет, пока та ногтей не обстрижет.

— Достригай, шепчет, скорей остальные...

— Не треба,— лопочет Ксана-ханум.

— Как не треба? Сам пророк повелел перед каждым таким делом ногти состригать...

— Так ведь я тебе и состригла ногти,— смеется Ксана-ханум.

— А остальные?

— А на что остальные? Нешто сказано: "все ногти?" Будь такой закон дан, я б тебе ни одного ноготочка не оставила, а там про "все" не сказано, стало быть нечего их и стричь. Выше закона свою святость подымать тоже не приходится. Остальные-то ноготки нам и на другой раз пригодятся.

[1*] угонил
[2*] русской
[3*] перекатывались
[4*] маленькую
[5*] *союз опущен*
[6*] лежит она на боку

Агашимоле очень по вкусу слова эти пришлись[1*], да больно благочестив был и в делах веры стоял крепко: страх его берет, и, чтоб удостовериться, спрашивает лукавую бабу:

— Так этак, пожалуй, и один палец обстригать, по-твоему, можно? А та даже как будто изобиделась, как же это возможно святую волю пророка менять: тогда ведь не ногти, а ноготь сострижен будет, и за такое нечестие весьма пострадать можно.

Ну тут увидал Агашимола, что полонянка в правилах веры тверда, перечить больше не стал и от плода радости вкусил спокойно и мирно.

Очень ему эта поправочка по душе пришлась. На утро созвал сперва жен своих, а потом сыновей дорослых и родичей, и всем оповестил, как ловко Ксана-ханум правила веры истолковала. И все прославили ум и догадку русской бабы, особливо у кого жены молодые да приятные были; и нанесли ей даров да подношений целую гору, и ради нее стали всех русских вообще не столь, как раньше, зверонравно держать: есть, говорят, среди них и разумные толкователи закона.

Ну, а у кого жены были постарше, да поневзрачней, те новому толкованию верить все же не дерзали, и ежели ему жена только два либо три пальца обстрижет, он все упирается: боюсь, говорит, русским новшеством себя погубить.

Сперва Агашимола только радовался, а потом как-то на досуге подсчитал, сколько он пропустил плодов радости из-за того, что только под старость Ксану-ханум с ее поправочкой встретил: ведь в десять раз свои радости укорачивал, и вернуть того, что мимо него прошло, невозможно. Аж заплакал с досады, призвал потом мулл и учителей и лаял их преяростно за то, что они при всей своей учености не открыли того, что простая баба из-под Пирятина достигла.

Те спорить не стали! Им и самим ее поправочка в домашнем быту на руку была. Брань его снесли покорно и напомнили только, что истина святая не сразу, а в течение бытия простым сердцам отверзается по воле всеблагого пророка.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 *ЛН.* Т. 87. С. 96.
2 *ОГЛМТ.* Ф. 34. № 6156.
3 Там же. № 6491.
4 В оригинале год указан ошибочно: 1922.
5 *ОГЛМТ.* Ф. 34. № 6490.
6 *Жизнь Лескова.* Т. 1. С. 408.

[1*] привелись

ФРАГМЕНТ ЧЕРНОВОЙ РЕДАКЦИИ ХРОНИКИ “ЗАХУДАЛЫЙ РОД”

Вступительная статья и публикация Н.И.Озеровой

При жизни Лескова хроника “Захудалый род” печаталась трижды: в “Русском вестнике” М.Н.Каткова (1874. № 7, 8 и 10), в 1875 г. отдельным изданием и в 1890 г. в составе 6-го тома Собрания сочинений. Впоследствии в 5-м томе 11-томного собрания сочинений Лескова “Захудалый род” был напечатан именно по последнему изданию.

История первой публикации хроники “Захудалый род” в “Русском вестнике” описана достаточно подробно (см. V, 577–578). Вмешательство Каткова в текст хроники (вольное редактирование и сокращение текста) вызвало недовольство Лескова (см. X, 387–388) и привело к разрыву с журналом и его издателем. Обстоятельства публикации были, однако, только поводом, а главной причиной разрыва явились расхождения во взглядах, о чем сам Лесков писал М.А.Протопопову 23 декабря 1891 г.: «Катков имел на меня большое влияние, но он же первый во время печатания “Захудалого рода” сказал Воскобойникову: “Мы ошибаемся: этот человек *не наш*!” Мы разошлись (на взгляде на дворянство), и я не стал дописывать роман. Разошлись вежливо, но твердо и навсегда, и он тогда опять сказал: “Жалеть нечего,— *он совсем не наш*” Он был прав, но я не знал: чей я?» (XI, 509).

В письме к И.С.Аксакову от 23 декабря 1874 г. Лесков рассказывал о своем отчаянном нежелании продолжать хронику: «”Захудалый род” кончать невозможно, даже несмотря на то, что он почти весь в брульоне окончен. У меня руки от него отпали, и мне сто раз легче и приятнее думать о новой работе, чем возвращаться на эту ноющую рану. Это свыше моих сил! Пусть пройдет время, тогда, может быть, что-нибудь и доделаю, а теперь... от этого много черной крови в сердце собирается. Надо прежде забыть» (X, 370–371).

Вмешательство Каткова в текст “Захудалого рода” было настолько основательным, что в другом письме к Аксакову (от 23 марта 1875 г.), сообщая ему о посылке четырех экземпляров изданной Базуновым хроники, Лесков спрашивал: “...а напишете ли Вы мне: как покажется Вам 2-я часть “Захудалых” в моем, а не в катковском сочинении?” (X, 387). Далее Лесков уточнял: “Мне кажется, что перекрещивать *Жиго* в *Жиро* не было никакой надобности; что уничтожать памфлет Рогожина против Хотетовой (А.А.Орловой) не было нужды; что от перемены мною сочиненной для нее фамилии Хотетова в Хоботову дело ничего не выигрывало; что старой княгине можно было дозволить увлечься раздариванием дочери всего дорогого, причем дело дошло до подаренья ей самой Ольги Федотовны, и пр., и пр.” (X, 388).

Последние замечания Лескова указывают на то, что Катков редактировал главным образом вторую часть хроники, особенно ее окончание. Правда, рука Каткова коснулась и первой части: сокращен разговор о чугуевском бунте в 21-й главе, существенно переакцентирован монолог княгини об аристократии в той же главе, внесена и другая, менее значительная правка. Но все-таки при сравнении “катковского сочинения” и отдельного издания 1875 г. можно увидеть, что главный удар был нанесен по второй части: помимо изменений, указанных Лесковым в письме к Аксакову, в журнальной редакции второй части нет ни слова о встрече княгини Протозановой с Мефодием Червевым, нет и двух последних глав — 14-й и 15-й. В “Русском вестнике” хроника заканчивается сокращенным вариантом 13-й главы, в которой повествование доводит-

ся до последней точки, так сказать, в общих чертах: граф женится на Анастасии, а княгиня Протозанова уезжает в свое родовое имение: по пути она, сочтя все свои обстоятельства и "совсем на этот счет успокоясь, была весела как прежде"[1] — именно этой фразой завершается текст "Русского вестника"

Различия "катковского сочинения" и отдельного издания 1875 г. так велики, что позволяют говорить о двух редакциях финала — катковской (где хроника завершается "усеченной" 13-й главой) и редакции 1875 г. (13-я, 14-я, 15-я главы).

Отличия катковской редакции от авторской, помимо уже отмеченных особенностей, касаются и текста письма Червева — одного из самых важных фрагментов хроники.

В тексте "Русского вестника" письмо Червева имеет следующий вид:

"Любезный благоприятель,— писал Червев.— Получил я Ваше письмо с предложением принять на себя воспитание детей княгини Протозановой. Предложение лестное и приятное. Кому же и учиться много как не детям людей богатых и знатных, которых не отрывает от науки ранняя забота о хлебе? Это их преимущество, которого родители их не должны отнимать у них под страхом низведения рода своего к ничтожеству. Где высшие слои общества лишены образованности, там в стране не может быть ни справедливости, ни других высоких добродетелей, и таковая страна, как бы она ни была сильна и знаменита, стоит на пути погибельном. Но размыслите, благоприятель, гожусь ли я для учения детей княжеских? Если же я гожусь, то не знаю, где мне взять сил, чтоб от этого отказаться. Да и зачем я откажусь? До сей поры я в век свой много научил ребят, но по малому предназначению тех, коих учил, я совершал это дело, так сказать, эксотерически, а не эсотерически... Я еще никогда не видал пред собою учеников, которые учились бы не ради скорого приобретения куса хлеба, а не таких удобно учить всему и много, широко и основательно... Признаюсь вам, в лучшей поре моей жизни я некогда мечтал об иных учениках, но думал, что это мечта напрасная, теперь Вы ее возбудили, и душа седого старика в тревоге. Блажен, кому дано вести цветущих юношей к высокому познанию, и нет сего блаженства чище и милее... О, благоприятель! неужто и мне будет дано сие счастие? К чему же я в призыве Вашем вижу речь о плате за мои труды? Какая плата старику дороже той, что он почувствует в своих руках юношеские руки и будет озабочен тем, чтоб юношеский ум как пышный цвет расцвел от его ухода? О, это слишком много, и не оскорбляйте меня иным договором... Только смотрите, благоприятель: осторожно ли вы писали? Со мною много шутили, но эта последняя шутка была бы уже слишком жестока... Но нет; вы не шутите... не правда ли? Подите же и скажите вашей княгине — старик Червев просит вас: дайте ему прижать детей ваших к его груди и передохнуть в них все, чем она дышит"[2].

Здесь подчеркнута особая обязанность "богатых и знатных", "высших слоев общества" получать образование и служить стране, не допуская ни род свой, ни страну на "погибельный путь" Такое понимание роли дворянства в государстве было близко Каткову, но далеко не исчерпывает позиции Лескова. В восстановленной Лесковым в 1875 г. первоначальной редакции письма вопрос об образовании вводится в широкий круг философских идей:

"Любезный благоприятель! Получил я письмо ваше с предложением принять на себя воспитание детей княгини Варвары Никаноровны и много о сем предложении думал и соображал оное со многих сторон, а потому долгонько вам и не отвечал. Не знаю, однако, что и теперь вам отвечу.

Есть страны, где образование понимают неправильно, где дают оное в полнейшем объеме тем, кто в нем менее будет иметь надобности, и лишают оного других, которые должны иметь ученость настоящую, дабы светить народу с высокого степени. Сии предполагаются как бы от самого рождения своего получившими все познания, и им вручают ключи разумения, взяв которые они ни сами в храм знания не входят и желающим войти в него возбраняют. Горе им за сие, и нам горе, ибо не так ли это и у нас: не учат ли всех менее и у нас тех, кого надо бы учить всех более, и не изобретают ли и у нас для таковых особых приемов учения, кои ничего общего с наукою не имеют, и не в тех ли мыслях ищет учителя своим детям и объясненная вами княгиня? В таком разе, ей нет во мне никакой надобности, и вы ей за благо можете посоветовать людей в столицах: там есть много искусных до такого преподавания. Но если, как вы полагаете, она несколько инакова, то надо бы объяснить ей задачи и план зрелой науки. Кто что ни говори, а корень учения горек, княженецкие же дети балованы и любят сладость

медовную... Скажите ей, что Моисей, изводя народ из неволи, велел своим унести драгоценные сосуды египтян, и мы можем хорошо воспитать *нового человека* только тогда, когда он похитит мудрость древних и поносится с нею в зное пустыни, пренебрегая и голод, и жажду, и горечь мерры. Повторяю: без древних нет науки,— есть *научение* химику, механику и древодельцу, но настоящей науки нет или, по крайности, я оной не знаю и могу заниматься воспитанием только в обширных размерах настоящей науки, а она, не скрою, трудна и на забаву нимало не похожа. А посему размыслите, благоприятель, гожусь ли я, и так поступите. Что же касается до моего согласия, то где я возьму силы, чтобы не согласиться хоть двух ребят во всю мою жизнь обучить так, как бы мне хотелось? До сей поры я много их научил, но по малому предназначению и малым средствам тех, кого учил, совершал это дело вмале,— хотя и не яко наемник, и не лукаво, но досуг ли бедняку учиться долго у бедняка науке, которая у нас тоже кроме бедности ничего не сулит. Именитых же детей, учимых не ради скорого приобретения ими хлеба куска, можно учить лишь себе в радость и в утешение, о коем, признаюсь, в лучшей поре моей жизни мечтал я. Вспомните, что я излагал некогда о эсотерическом и эксотерическом в науке: я видел мою esoteris тогда яко зерцалом в гадании: я лишь в отраднейшей мечте воображал счастливцев, которым суждено отраднейшее бремя овладеть на много лет умом цветущих юношей с призванием к степени высокому и весть их к познанью глубоких истин... и вот об этом речь... И сей счастливец я! О, благоприятель! неужто я увижу их лицом к лицу? неужто я почувствую в моих руках их юношеские руки, неужто я увижу, как их юношеский ум начнет передо мною раскрываться будто пышный цвет пред зарею, и я умру с отрадою, что этот цвет в свое время даст плод сторичный... О благоприятель! смотрите: осторожно ли вы писали, не шутка ли это, не кладете ли вы камень в протянутую руку нищего? Со мной шутили многие, но эта шутка была бы жестока... Подумайте: великий Кеплер говорил, что если бы он мог окинуть взглядом вселенную, но не видал бы жаждущего познания человека, то он нашел бы свое удивление бесплодным, а я червяк, без всех, без всех решительно сравнений, его ничтожнейший, до сей поры все жил, не видя никого, кому бы мог сказать о том, что я своим окинул взором... Но нет; вы ведь не шутите... не правда ли? давайте их сюда, давайте этих юношей на грудь Червева,— он сбережет их, он их с любовью выучит и... они не посрамят доброго рода своего.

Об условиях со мной не говорите: делающий достоин мзды, а вол молотящий корму. Более мне ничего не нужно. Мефодий Червев"[3].

В такой редакции письмо Червева, содержащее утверждение о необходимости усвоения опыта древности и особого "эсотерического" знания, а также скептическую оценку того, как и кому дается образование в российском государстве, в сочетании с высказываниями Протозановой о вере и аристократии, свидетельствуют о том, что, перерабатывая хронику для издания в 6-м томе Собрания сочинений 1890 г., Лесков расширял и дополнял повествование в соответствии с первоначальным замыслом, корректировал его.

В издании 1890 г. Лесков вновь переделал и дополнил именно последние главы второй части: помимо текста письма Червева, он дописал 16-ю главу (встреча и разговор княгини Протозановой с Червевым, смирение и смерть княгини, смерть Червева).

Концептуально важная 16-я глава не только завершает ранее обрывавшееся на полуслове повествование, но и по-новому расставляет акценты в оценке личности Червева и жизненной позиции княгини Протозановой.

В этой редакции последних глав второй части Лесков во многом обращен к идеям Толстого (см. об этом: V, 579), хотя точнее было бы говорить не о влиянии Толстого на Лескова, но о том, что оба — и Лесков и Толстой — находились в сфере общих проблем. Лескову изначально были близки мысли Толстого об "исповедании Христа на словах и отрицании его на деле", о том, что "напрасно говорят, что учение христианское касается личного спасения, а не касается вопросов общих, государственных"[4]. И в "катковском сочинении", и в черновой рукописи, и в публикации хроники в 1875 г. Лесков высказывает суждения, близкие позднему Толстому и ясно сформулированные автором "Исповеди" (1879—1882), "Исследования догматического богословия" (1879—1884), "В чем моя вера?" (1882—1884)[5].

Лесков с самого начала ставит вопрос о судьбе образованного сословия, замечает разницу между "возвышенным" (Хотетова, Функендорф) и практическим христианст-

вом (Протозанова). И главная мысль в разговоре Червева и Протозановой в 16-й главе второй части о несовместимости истинного христианства, основанного на Нагорной проповеди, и государственной службы только заостряет изначально важную для Лескова проблему несовпадения христианского идеала и общественной практики. А тезис о разумной науке и разумной вере, который появляется в письме Червева в 1890 г.,— тезис важный для Лескова — органически вытекает из общей позиции главной героини, носительницы лесковских идей, княгини Протозановой: оттого и хочет она взять Червева в учителя к своим сыновьям, что хорошо понимает его и сочувствует его словам.

Готовя хронику к публикации в 1875 г., Лесков восстановил "все урезки" (X, 368), хотя дописывать "Захудалый род" не захотел. Сравнение текста 1875 г. и сохранившейся в рукописи хроники свидетельствует о том, что Лесков восстанавливал купюры по черновикам.

Черновая редакция первой части хроники "Захудалый род", хранящаяся в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский Дом), была подарена автором И.А.Шляпкину[6] и входила сначала в фонд Шляпкина (Ф. 341. Оп. 2. Ед. хр. 93). Теперь она включена в фонд Лескова (Ф. 220. Ед. хр. 1).

Черновая редакция хроники дошла до нас в виде трех тетрадей. Первые две тетради представляют собой густо правленный автограф Лескова, третья тетрадь — перебеленный неизвестной рукой текст, в который Лесковым внесено множество изменений. В этой последней тетради частично повторяется текст первых двух. Содержание всех трех тетрадей приблизительно соответствует первой части окончательного текста хроники.

Черновики второй части хроники сохранились лишь частично, и трудно сказать, правил ли Лесков текст второй части хроники для издания 1875 г. по рукописи или написал новый текст. Есть основания предположить первое, так как возмущение Лескова во время печатания хроники в "Русском вестнике" было связано с искажением: "*урезанием*" второй части (см. X, 368).

Некоторые цельные отрывки чернового текста были напечатаны в примечаниях к "Захудалому роду" в *СС* (см. V, 583–586, 589).

Для публикации выбран фрагмент, соответствующий четырнадцатой главе первой части окончательного текста хроники, поскольку в этом фрагменте обнаружены интересные разночтения с дефинитивным текстом. Кроме того, в черновой редакции эта глава отшлифована до такой степени, что есть основания рассматривать текст как отдельную редакцию главы.

Публикуемый ниже текст дошел до нас в двух вариантах: один представляет собой автограф Лескова (Л. 25–28 об.; тетрадь первая), второй — писарская копия (Л. 61–63 об.; тетрадь третья), содержащая значительные вставки, сделанные рукой писателя. Второй вариант во многих отношениях ближе к окончательному тексту этой главы, однако он сохранился не полностью (отсутствует — частично утрачено, частично зачеркнуто — начало главы), что заставляет нас предпочесть первый вариант и в подстрочных примечаниях к нему представить наиболее интересные разночтения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 *РВ*. 1874. № 10. С. 767.

2 Там же. С. 764–765.

3 *Лесков Н.С.* Захудалый род. СПб., 1875. С. 321–324.

4 *Толстой*. Т. 23. С. 315, 317.

5 Подробнее о соотношении взглядов Лескова и Толстого см. во второй книге наст. тома во вступительной статье С.А.Розановой к публикации "Лесков и семья Толстого. Неизданная переписка".

6 См. об этом: *РС*. 1895. № 12. С. 210.

ЗАХУДАЛЫЙ РОД

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава четырнадцатая

Рассказом о смерти Грайвороны и рождении моего отца Ольга Федотовна всегда как будто заканчивала введение в нашу семейную хронику. За этим следовало повествование об одиноком житье-бытье княгини Варвары Никаноровны, до тех пор, пока ей настало время выдать замуж воспитывавшуюся в Петербурге княжну Анастасию Львовну и заняться воспитанием моего отца и дяди,— к чему бабушка собиралась приступить с особенной серьезностью и рачением[1*].

Немного позже я расскажу все, что из этого вышло, а теперь, придерживаясь не одних слов Ольги Федотовны, а и многих других преданий и частию воспоминаний моего собственного детства, постараюсь вкоротке очеркнуть домашнюю жизнь бабушки и ее отношения к обществу, а также и раскрыть, насколько мне это удастся, ее миросозерцание.

Прежде всего, в этом случае, мне кажется, нужно упомянуть о религии, так как княгиня была религиозна и человека без религии считала ни во что.

— Таковой, сколь бы умен он ни был, а положиться на него нельзя, потому что у него смысл жизни потерян[2*]; у нее же смысл жизни был развит с удивительной последовательностью.

Сама бабушка строго содержала религию "греко-российской церкви", но при требовании от человека религии отнюдь не ставила необходимым условием предпочтение ее вере. Совсем нет: она не скрывала, что "уважает всякую *добрую* религию", а как все наиболее распространенные у сколько-нибудь цивилизованных народов религии имеют идеал более или менее возвышенный и внушают человеку почтение к добру, то выходило, что княгиня уважает почти все религии.

— Жид,— бывало говаривала она мне к слову,— да что же такое что жид? Это значит, что в Новом Завете он не убежден, а подзаконной старины держится, что ж? и тогда богоугодные люди были.

Держись честно царства закона, пока в тебя <не> снизошло царство благодати,— это ничего.

То же самое она говорила и о магометанах.

— Что же такое, что махомеданин (она так произносила это слово),— ничего: Махомед тоже был человек со смыслом и Иисуса Христа уважал, да и

[1*] Во второй вариант этого текста (см. о двух вариантах во вступительной статье) Лесков вписал, а потом вычеркнул следующий фрагмент:

«Скромные люди, характеристики которых я написала, составляли ближайший семейный круг княгини в течение первых пяти лет ее вдовства, пока княжна Анастасия окончила в Петербурге свой институтский курс, а маленьким князьям, отцу моему и дяде Якову, потребовались воспитатели.

Немного позже я расскажу, как бралась бабушка за эту последнюю важную статью и что из этого вышло. Пока же дети были малы, княгиня берегла их младенчество сама и, доводя это до педантичности, не оставляла их ни на минутку:

— Наседке с яиц нельзя слетать,— говорила она,— иначе болтуны выйдут.

Но обо всем этом, касающемся воспитания князей, "обновителей рода", речь впереди, а теперь, придерживаясь не одних слов Ольги Федотовны <...>».

[2*] Далее в третьей тетради следует фрагмент: "Этого для княгини было довольно, потому что у самой у ней *смысл жизни* был развит с удивительною последовательностию.

Взгляд бабушки на религию был твердый, смелый и свободный"

турки в делах, говорят, очень честны; ни за что никого не обмерит, не обвесит: это дай Бог хоть бы и христианину.

Помню, как кто-то из ее коротких гостей однажды вступил с ней по этому случаю в спор и порицал магометан за существующее у них многоженство, но бабушка нимало этим замечанием не смутилась и только, махнув полупрезрительно рукою, отвечала:

— Ну-у, батюшки мои, только вам мне про это толковать. Все вы на этот счет турки. Княжны: Варенька с Талинькой,— подите-ка в сад походите.

И выслав таким образом нас с сестрою Nathalie вон из комнаты, бабушка так победоносно защищала турок, что сами оппоненты ее, кажется, остались этим очень довольны. По крайней мере, я хорошо помню, что когда мы с сестрой получили право возвратиться к бабушке, то гости ее еще спешили дошептать что-то наперерыв друг перед другом княгине на уши, а она их слегка отпихивала и говорила:

— Ну, довольно, довольно вам со мною откровенничать: я вам не поп, и вон мои внучки входят[1*].

Религиозность княгини Варвары Никаноровны главнейшим образом состояла в истинной любви к Источнику всякого добра и в самой почтенной толерантности ко всему тому, что может способствовать раскрывать человеку сыновнюю связь его с Отцом Веков. Но я не хотела бы, чтобы кто-нибудь подумал, что бабушка была только деисткою и индифференткою в делах веры. Опять нет: опять повторяю, княгиня была искреннейшая почитательница родного православия[2*]: часто ходила в церковь, твердо знала обиход и любила в службе стройность и благолепие, взыскивала, чтобы “попы в алтаре громко не сморкались и не обтирали бород аналойными полотенцами”, “дьяконы чтобы не ревели”, а “дьячки не частили бы в чтении кафизм и особенно шестопсалмия”, которое бабушка знала наизусть.

С этой духовной стороны она и начала свое вдовье господарство. Первым ее делом было потребовать из церквей исповедные росписи и сличить, кто из крестьян ходит и кто не ходит в церковь? От неходящих, которые принадлежали к расколу, она требовала только, “чтобы, Боже спаси, других не смущали”, а о самих о них говорила:

— Пусть как хотят и где хотят молятся: Бог один и длиннее земли мера его[3*].

Церковных же своих крестьян она сама разделила по седмицам, чтобы каждый мог свободно говеть, не останавливая работ, и следила, чтобы из

[1*] Далее в третьей тетради: “Бабушка не только не боялась свободомыслия в делах веры и совести, но даже любила откровенную духовную беседу с умными людьми. Владея чуткостью религиозного смысла, она имела истинное дерзновение веры и смотрела на противоречия ей без всякого страха. Она как будто считала их даже полезными.

— Если древо не будет колеблемо,— говорила она,— то оно крепких корней не пустит,— в затиши деревья слабокоренны.

Но, разумеется, бабушка не потерпела бы при себе наглого бахвальства безверия и допускала omnis in pondere et mensurae [всего в меру — *лат.*].

Слабым и сомневающимся в чем-либо она обыкновенно давала совет:

— Ты помысел свой оставь,— он пусть себе рассуждает, что хочет, а ты сам делай, что тебе надобно”

[2*] Далее в третьей тетради: “не числилась в нем, а крепко его содержала: она соблюдала посты”.

[3*] Далее в третьей тетради: “За старую веру ведь не все одни дураки муки терпели... Князь Тараруй[1] не глупее нас был, а попа Лазаря[2] в Пустозерске отсеченная рука упала на землю да сложила персты по преданию. Этого скоро забыть нельзя. Да может быть и не надобно.

— Они слепые люди, государыня! — говорил княгине местный причт, а она отвечала:

— Что же: слепые старцы предания старины соблюли, а зрячие все позабыли. Нет; вы их не трогайте”

числа их не было совращений,— в чем, впрочем, всегда менее винила самих совращающихся, чем духовенство, о котором, по привычке говорить все прямо, отзывалась в весьма мало почтительном тоне:

— Неучи,— говорила она,— ужасные неучи[1*],— в Писании столько же знают, сколько любая овца, и иной мужик начетчик в дураки их ставит, а жадны как волки: что глазами окинут, все бы себе захапали.

Состязаться с нею в чем бы то ни было касающемся церковных уставов или обихода священники ее сел не дерзали: она была для них все: и ктитор, и консистория и владыка, и уже у нее священник прижать мужичка при браке какою-нибудь натяжкою в степени родства не помышлял.

"Владыка" при малейшем сомнении сама бралась за Кормчую, и, рассмотрев дело, решала его так, что оставалось только исполнять, потому что решение всегда было правильно[2*].

В том же самом духе были ведены ею и все другие отрасли ее обширного хозяйства. Бабушка в попечительных заботах о благе крестьян хотела знать все, что до них касается, и достигала этого тем, что жила совершенно доступною для каждого. Все люди без исключения могли подходить к бабушке со всякими мелочами. Десятник не пускал мужика на ярмарку продать овцу и купить лык, соли или дегтю, и мужик, если он считал себя напрасно задержанным, сейчас шел с жалобою к княгине. Она к нему непременно выходила, терпеливо его выслушивала и решала, прав он или неправ. В первом случае мужик получал удовлетворение, а в противном брался на замечание и в случае повторения кляузничества лишался в течение определенного времени права являться на глаза княгине. Такие опальные, видя себя во все время опалы лишенными самой правдивейшей и мощной защиты, тяжело чувствовали силу справедливого гнева Варвары Никаноровны и страшились вперед навлекать его на себя[3*].

Такими простыми мерами она без фраз достигла того, что действительно вошла в народ или, как нынче говорят, "слилась с ним" в одном русле и стояла посреди своих людей, как я шутя сказала,— именно как владыка, как настоящая народная княгиня и госпожа...

Такова была княгиня для своих рабов.— Теперь перехожу к тому, чем она успела в это время сделаться для своих свободных сограждан.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Тараруй — прозвище князя боярина Ивана Андреевича Хованского (ум. 1682). Будучи новгородским воеводой, в 1681 г. поддерживал расколоучителей.

[2] Речь идет о преданном в 1667 г. анафеме раскольнике. Был сослан в Пустозерский острог, в 1681 г. сожжен вместе с Аввакумом.

[1*] Далее в третьей тетради: "все бы им страхом властвовать"

[2*] Далее в третьей тетради: «Крестьяне ее возлюбили как "матушку, государыню, княгиню богобойную"»

[3*] Далее в третьей тетради:

"Наказания были редки и неожесточительны, но все-таки были, и притом всегда с ведома самой княгини, которая этим не смущалась. Она говаривала:

— Когда милосердие не действует, то строгость тоже есть милосердие.

Крестьяне к похвалам богобоязненности бабушки скоро приумножили хвалу на хвалу ее разуму и справедливости. Села ее богатели и процветали: крепостные люди покупали на стороне земли на ее имя и верили ей более, чем самим себе.

Это доверие впоследствии повлекло за собою для нее тяжелое огорчение, павшее на нее без всякой ее вины, но по вине лица, которое нам с нею было очень близко и о котором мне тяжело вспоминать. Но это все после"

“ЗАМЕТКИ НЕИЗВЕСТНОГО”

Неопубликованные новеллы

Вступительная статья и публикация
С.П.Шестерикова и Н.Н.Старыгиной

В 1884 г. еженедельная “Газета А.Гатцука” поместила серию коротких рассказов Лескова под общим заглавием “Заметки неизвестного”[1]. Под последним из них — “Остановление растущего языка” — стояло традиционное: “Продолжение следует” Однако публикация “Заметок” была прекращена.

Значительно ранее, 24 марта 1884 г. редактор-издатель А.А.Гатцук получил первое цензурное предупреждение из Министерства внутренних дел, но тем не менее продолжил печатание новелл из “Заметок неизвестного”: две последние появились в “Газете А.Гатцука” 31 марта и 7 апреля, уже после “первого предостережения” Более того, лишь в 14-м номере еженедельника от 7 апреля 1884 г. А.А.Гатцук сообщил о том, что «газета получила первое предостережение за *несомненно вредное направление*, как выражено в определении г. Министра внутренних дел, с особенною резкостью выразившееся в № 1 (ст. “Россия”), № 2 (“Заметки москвича”), в № 9, 10, 11 (“Заметки неизвестного”)»[2], и попытался защищаться: “...рассказы г.Лескова, художественно оттеняющие столь нежелательные русскому человеку, давно отжитые, схоластическо-семинарские начала и невежество, доселе нередко встречающиеся в нашем почтенном духовенстве (№ 9, 10, 11), не могут же быть признаком *несомненно вредного направления*!”[3].

Несмотря на это, 22 апреля последовало “Распоряжение Министра внутренних дел”: “...объявить этой газете *второе* предостережение, в лице издателя-редактора, коллежского секретаря Алексея Гатцука”[4]. В результате 23 апреля 1884 г. А.Гатцук вынужден был поместить сообщение “От редакции”: «“Заметки неизвестного” до времени приостанавливаются печатанием».

В эти дни расстроенный Лесков писал своей приятельнице А.Н.Толиверовой: «Извините меня, уважаемая Александра Николаевна, что я обещал быть, да не пришел, — “у всякого свое лихо и в мене не тихо” Газете Гатцука дали предостережение за мои “Заметки неизвестного” Эта безделка стоит мне 600 рублей, которые имеют значение. Я трудно переношу такие досаждения не ведомо за что,— мне живется не легко». Далее, утешая Толиверову в ее неудачах, он кончает письмо словами: “худо и тяжело всем”[5].

Вернуться к этому циклу уже не пришлось ни Гатцуку, ни другим издателям, современникам Лескова. Продолжение “Заметок неизвестного” много лет пролежало в архиве писателя и лишь в 1917 и 1918 гг. три рассказа этой серии опубликовал А.Н.Лесков в журнале “Нива”: “О Петухе и его детях”[6], “Простое средство” и “Пресиленное стеснение в темное время противное производит”[7].

К настоящему времени сложилась традиция издания “Заметок неизвестного” в том составе, который был предложен редакторами VII тома одиннадцатитомного собрания сочинений писателя: 19 новелл, появившихся при жизни Лескова, и 3 новеллы, напечатанные его сыном в 1917 и 1918 гг. (VII, 322-398).

В 1935 г. в послесловии к републикации шести произведений из этого цикла в журнале “Звезда” А.Н.Лесков высказал предположение, что число предназначенных для “Газеты А.Гатцука” “заметок намечалось большее, чем удалось напечатать”[8]. Но здесь

же сын писателя сообщал, что в архиве Лескова «оказалось лишь еще одно, едва ли даже вполне отделанное очередное повествование, напечатанное много лет спустя в № 1-м "Нивы" за 1918 год[9]. Дальнейшие картинки этой серии, видимо, и не набрасывались»[10].

В послесловии А.Н.Лескова вызывает недоумение то, что он, указав на новеллу "Преусиленное стеснение в темное время противное производит" (Нива. 1918. № 1. С. 2—3), напечатанную с подзаголовком "Юмористический очерк Н.С.Лескова", как на продолжение "Заметок неизвестного", упустил из виду произведение "О Петухе и о его детях", публикация которого в "Ниве" (№ 51—52 за 1917 г.) сопровождалась примечанием о том, что эта новелла должна была войти в цикл "Заметки неизвестного" (см. прим. 6). Не вспомнил А.Н.Лесков и маленький рассказ "Простое средство", помещенный в том же (51—52-м) номере "Нивы" за 1917 г.

Вероятно,А.Н.Лесков просто не вспомнил о публикации новелл "О Петухе и о его детях" и "Простое средство" Кроме того, сын писателя ошибался, когда утверждал в послесловии в журнале "Звезда", что "дальнейшие картинки этой серии <...> не набрасывались".

В архиве Лескова сохранились еще четыре новеллы ("Мимоносная двуполитика", "Несчастие может быть ступенью к благополучию", "Случай воскресения купца Лазаря", "Перст"), предназначавшиеся для "Заметок неизвестного" Об этом сообщил Б.Я.Бухштаб в комментариях к циклу (см.: VII, 551), справедливо предположив, что Лесков после прекращения "Заметок" в "Газете А.Гатцука" оставил работу над очередными произведениями серии.

Из четырех названных новелл сюжетно завершены лишь две: "Мимоносная двуполитика" и "Несчастие может быть ступенью к благополучию" В новелле "Случай воскресения купца Лазаря" обрывается последняя фраза: "Некое большее сего верное событие", — хотя сюжет здесь, в сущности, исчерпан. Близок к завершению "Перст", но и в этом произведении последняя фраза осталась недописанной.

Вместе с тем все четыре публикуемые далее новеллы имеют, на наш взгляд, подготовительный или даже черновой характер. В этих текстах Лесков не осуществил главного, что отличает "Заметки неизвестного": в них остался неоформленным образ "летописца", от имени которого ведется повествование в цикле.

В небольшом вступлении писатель, обращаясь к читателям, сообщает, что однажды обнаружил в книжных развалах "полууничтоженную рукопись" (VII, 322). Познакомившись с ее содержанием и найдя его небезынтересным, он решил опубликовать "рукопись", предварив ее своим вступлением-комментарием, в котором, помимо сведений о том, как была найдена "рукопись", высказывал предположение, что новеллы, вошедшие в цикл, являются записями устных рассказов, прозвучавших во время собраний некоего "общественного кружка" (VII,322).

Вступление от имени писателя и мотив "найденной рукописи" помогают Лескову создать иллюзию реального и самостоятельного существования "летописца" как автора "Заметок" Писатель поддерживает эту иллюзию на протяжении всего повествования благодаря повторяющимся стилистическим особенностям речи "летописца" (церковнославянизмы, цитаты и реминисценции из священных текстов, синтаксические конструкции и ритм, придающие повествованию размеренность и торжественность)[11] и благодаря однообразию композиционных приемов, используемых "неизвестным" при записывании услышанных рассказов (почти все новеллы имеют вступление и заключение). Такое оформление новелл и всего цикла продиктовано конкретной художественной задачей: создать образ автора "заметок" как человека с особым типом сознания и способом мышления.

Лесковский герой-повествователь выражает свое отношение к миру и человеку в назидании. С этой целью "летописец"сопровождает каждую "услышанную" и "записанную" им историю морализаторским вступлением или заключением, а также почти каждой новелле придумывает свое заглавие-поучение.

"Летописец", как правило, предваряет изложение каждой истории характеристикой-оценкой моральных качеств ее главного действующего лица: "Священник смирного, но втайне самолюбивого нрава..." (VII, 358), "Отец Иоанн, хороший священник, любимый прихожанами и опытный благочинный..." (VII, 324), а завершает — заключением, также содержащим этическую оценку персонажа, точнее — его поведения в конкретной ситуации: "Так поступок его хотя непохвален, но рассудливость не почте-

на быть не может" (VII, 352), "Так-то светского звания люди, в нелепом своем пренебрежении к роду духовных<...>" (VII, 358). Морализаторской позицией "летописца" определяется присущий всему циклу дидактический пафос и притчеобразный характер каждой новеллы.

Если с этой точки зрения мы посмотрим на публикуемые четыре новеллы, то увидим их очевидную непроработанность: в них отсутствуют вступления и заключения "летописца". Все четыре истории начинаются с нейтрально-констатирующих фраз: "В город прибыли два именитых иностранца, англичанин и французский граф"; "Прихожане Василья Великого по кончине их диакона желали возвести вместо его своего молодого чтеца"; "К певцу Иерофею прибыл на побывку из другой епархии швагер"; "Два интенданта прибыли со службы обогащенные". Столь же нейтральны заключающие повествование фразы. В них содержатся сведения о развязке сюжетного конфликта, но отсутствуют характерные для "Заметок неизвестного" нравственная оценка, мораль, наставление "летописца"

Однако в одной из четырех публикуемых новелл — "Несчастие может быть ступенню к благополучию" — финальная фраза стилистически оформлена так же, как и заключительные предложения ряда известных новелл цикла: "Так он, неспособный во диаконы, угоден стал во пророки и не имел он того, за что на судьбу жаловаться, а в скромности своей собрал себе собрание, купил дом на базаре и выдал дочь за коровьего лекаря и дал в приданое шубу, часы и шелковые платья". Вместе с тем в содержании этой финальной фразы акцент сделан на перечислении событий и фактов. Морализаторская сентенция, связанная в "Заметках неизвестного" с образом "летописца", в данном случае ослаблена. Хотя зерно, из которого могла бы вырасти этическая характеристика-оценка главного героя, типичная для цикла, здесь есть: это упоминание о скромности "молодого чтеца"

Определенную функцию в создании образа "летописца" выполняют в "Заметках неизвестного" названия новелл. Можно выделить три основных типа заглавий в лесковском цикле. Первая и самая многочисленная группа заглавий характеризуется тем, что в каждом из них как бы сформулировано то или иное житейское правило, объединяющее нравственную оценку и наставление-назидание ("Как нехорошо осуждать слабости", "Чужеземные обычаи только с разумением применять можно", "Надлежит не осуждать поступков, не зная руководивших им соображений", "Стойкость, до конца выдержанная, обезоруживает и спасает", "Острых вещей в дар предлагать не следует", "Преусиленное стеснение в темное время противное производит" и др.). Вторая группа — это заголовки, содержащие в себе этическую оценку личности героя, которая становится понятной читателю "заметок" только после чтения новеллы ("Искусный ответчик", "О безумии одного князя"). И, наконец, третью группу составляют заглавия новелл, имеющие "констатирующий" смысл ("Об иностранном предиканте", "Остановление растущего языка", "О новом золоте").

Названия четырех впервые публикуемых новелл в основном вписываются в контекст "Заметок неизвестного" К первой группе заголовков можно отнести название "Несчастие может быть ступенню к благополучию". Заглавия двух других новелл — "Мимоносная двуполитика" и "Случай воскресения купца Лазаря" — соответствуют особенностям названий, входящих во вторую и третью группы. Исключением видится, пожалуй, только заголовок "Перст"

Возможно, при завершении новелл названия некоторых из них изменились бы в соответствии со стилем всего цикла. Так, работая над новеллой "Несчастие может быть ступенню к благополучию", Лесков зачеркнул в рукописи первоначальные варианты заглавия: "Пророк по ошибке", "Ошибка с чтением".

Подготовительный характер публикуемых текстов обнаруживается и еще в одной их особенности.

В "Заметках неизвестного" морализаторство "летописца" имеет специфическую природу: он обычно превозносит такие добродетели своих героев, которые читатель не может не воспринимать как мнимые (или ложные). Сквозной в цикле является "перевернутая" ситуация, когда "летописец" прославляет, например, находчивость чиновника-взяточника ("Искусный ответчик") или остроумие отца Павла, вымогающего подношения ("Женское стремление к пониманию причиняет напрасные беспокойства"). Художественный мир "заметок" — это своего рода "мир наизнанку", в котором

добродетелями оказываются взяточничество, ложь, предательство, лжесвидетельство, алчность, тщеславие...

Эта особенность поэтики цикла не прослеживается в публикуемых текстах. Например, в "Мимоносной двуполитике" можно было бы ожидать одобрения "летописцем" хитроумной политики архиерея. Для новеллы "Случай воскресения купца Лазаря" логичным явилось бы восхваление либо ловкости купца Лазаря, спасшегося от суда, либо "благоразумия" праведника, "санкционировавшего" воскресение из мертвых. Однако этот важный в поэтике цикла и необходимый для создания образа "летописца" прием в обеих новеллах отсутствует.

В двух других новеллах — "Несчастие может быть ступению к благополучию" и "Перст" — этот прием намечен писателем. В первой новелле — в заключительной фразе, во второй — в характеристиках "благоразумного" и "пылкого" интенданта.

Итак, Лесков, бесспорно, предполагал продолжить "Заметки неизвестного" и опубликовать еще как минимум четыре новеллы. Однако прекращение печатания цикла в "Газете А.Гатцука" в апреле 1884 г., а затем, вероятно, и другие творческие планы (например, замысел "общественного романа" "Незаметный след", двадцать шесть глав которого были опубликованы в ноябре 1884 г.) привели к тому, что писатель оставил работу над "Заметками неизвестного" Публикуемые тексты можно рассматривать как первоначальные или черновые редакции. В сущности, эти новеллы являются анекдотами, стилистически довольно нейтральными. Они как будто еще не обработаны "летописцем"

Кроме четырех новелл, предназначавшихся для продолжения "Заметок неизвестного", в архиве писателя сохранились автографы еще двух новелл ("Престранный случай с некиим злоязычным братом" и "Невинное простодушие может быть хитрее горделивства"[12], являющихся вариантами известных произведений цикла: "Остановление растущего языка" и "Преусиленное стеснение в темное время противное производит"

Первоначальный — публикуемый ниже — текст ("Престранный случай с некиим злоязычным братом") близок к окончательной его редакции ("Остановление растущего языка") тем, что в их основе — сюжет о "растущем языке" Содержание отвергнутого Лесковым варианта новеллы сводится к анекдоту, к трагикомической истории, приключившейся с Пименом, решившим, что "якобы, сам собою в мире живя, может управить путь свой к Богу", и сменившим рясу на "светскую чуйку". Случившееся с ним после смерти "ращение языка" рассказчик анекдота воспринимает как наказание за то, что "сбеглец" Пимен при жизни "блазнил мирскими мыслями" брата Иллария, "отвлекая ум его к устройству домашнего быта". Отсюда и игра словами в названии первоначальной редакции новеллы: "злоязычный брат", наказание за это в виде "ращения языка" после смерти.

Содержание окончательной редакции новеллы ("Остановление растущего языка") Лесков обогатил проблемой одинокого праведника[13]. Он воспроизвел историю честного, доброго и порядочного "расстриги", который, в отличие от героя первого варианта новеллы, "наводит мысли на нравственность и добротолюбие" (VII, 376), но не был понят окружающими. "Летописец", записавший рассказ о нем, тоже не осознает трагедию героя, не видит в нем праведника и, более того, осуждает его. Такая позиция "летописца" в художественном мире "Заметок неизвестного" органична, ведь это "мир наизнанку"

Две редакции другой новеллы — "Преусиленное стеснение в темное время противное производит" (первоначальное название "Невинное простодушие может быть хитрее горделивства") — также позволяют увидеть, в каком направлении Лесков дорабатывал текст.

Отброшенная писателем редакция новеллы ("Невинное простодушие может быть хитрее горделивства") представляет собой анекдот-притчу о "гордом и простодушном", содержащую мораль, выраженную в заглавии. Вводя новеллу в контекст "Заметок неизвестного" в окончательной редакции, Лесков связывает ее с одним из сквозных образов цикла — отцом Павлом. То есть речь идет не просто о "священнике", который "имел горделивый нрав", а о конкретном герое, отце Павле, о котором читатель уже мог составить мнение, познакомившись с новеллами "Излишняя материнская нежность", "Женское стремление к пониманию причиняет напрасные беспокойства",

“Стойкость, до конца выдержанная, обезоруживает и спасает”, “О новом золоте”, “О слабости чувств и о напряженности оных” Новелла “Преусиленное стеснение в темное время противное производит” — последняя в “Заметках неизвестного” история об отце Павле, подытоживающая характеристику героя. Этим мотивировано обширное вступление в опубликованной редакции: в ней высказываются мнения о характере отца Павла, дается краткая предыстория взаимоотношений героев.

Таким образом, внутренняя логика цикла “Заметки неизвестного” как художественного целого обусловила определенное направление доработки анекдотических сюжетов о “растущем языке” и о “гордом и простодушном”.

Четыре остальных дошедших до нас новеллы: “Мимоносная двуполитика”, “Перст”, “Случай воскресения купца Лазаря”, “Несчастие может быть ступению к благополучию” — не имеют аналогов среди известных “заметок” цикла. Завершенные Лесковым, они были бы вполне органичны в мире “Заметок неизвестного”, хотя невозможно определить, какое место заняли бы в структуре целого.

Публикуемые новеллы дают возможность охарактеризовать творческий процесс Лескова на разных этапах воплощения замысла “Заметок неизвестного”

Новеллы “Престранный случай с некиим злоязычным братом”, “Мимоносная двуполитика”, “Невинное простодушие может быть хитрее горделивства”, “Несчастие может быть ступению к благополучию” печатаются по автографу (*РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 33, 55, 14). “Случай воскресения купца Лазаря” и “Перст” — по машинописной копии (Там же. Ед. хр. 33; местонахождение автографов не установлено).

Дошедшие до нас автографы представляют собой черновую рукопись с немногочисленными вставками и исправлениями стилистического характера. Например, в рассказе “Невинное простодушие может быть хитрее горделивства” заключительная фраза “С тех пор ходить они стали рядом” изменена: “С той поры священник дозволяет ходить с собою рядом” В названии рассказа “Несчастие может быть ступению к благополучию” первоначальное “иногда бывает” заменено на “может быть” Возможно, все публикуемые новеллы создавались приблизительно в одно время, так как Лесков использовал бумагу и чернила одного сорта.

Все публикуемые новеллы, включая те из них, автографы которых сохранились, перепечатаны на машинке. Есть основания предполагать, что эти машинописные копии были сделаны в издательстве А.Ф.Маркса при подготовке Полного собрания сочинений Лескова (поскольку в фонде издательства сохранились и другие незавершенные произведения писателя, перепечатанные на машинке — *ОР РГБ*. Ф. 360). Однако все они в марксовское собрание сочинений писателя не вошли.

В машинописной копии новеллы напечатаны в следующем порядке: “Престранный случай с некиим злоязычным братом”, “Случай воскресения купца Лазаря”, “Невинное простодушие может быть хитрее горделивства”, “Перст”, “Мимоносная двуполитика”, “Несчастие может быть ступению к благополучию”. В копии нет исправлений, но два рассказа: “Случай воскресения купца Лазаря” и “Перст” — зачеркнуты.

Четыре рассказа из публикуемых ниже ранее были неизвестны, поэтому они открывают публикацию. Порядок их расположения определяется степенью завершенности.

Время создания этих произведений можно предположительно определить по году первой публикации “Заметок неизвестного”, т.е. 1884 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Лесков Н.С.* Заметки неизвестного // Газета А.Гатцука. 1884. 14 янв. С. 30-39; 4 февр. С. 86-90; 3 марта. С. 152-155; 10 марта. С. 168-171; 17 марта. С. 184-190; 24 марта. С. 203-206; 7 апр. С. 234-235.

[2] Газета А.Гатцука. 1884. 7 апр. С. 229. В номерах газеты, вызвавших нарекания цензуры, опубликованы новеллы “О вреде от чтения светских книг, бываемом для многих”, “Надлежит не осуждать проступков, не зная руководивших им соображений”, “Счастливому остроумию и непозволительная вольность прощается”, “О безумии одного князя”, “Удивительный случай всеобщего недоумения”, “Стойкость, до конца выдержанная, обезоруживает и спасает” Наряду с “Заметками

неизвестного" в цензурном предостережении названы анонимные статьи: "Россия" (5 янв. С. 3—4), где обсуждалась внешняя и внутренняя политика за 1883 г. и говорилось о бюрократизме в решении "питейного, переселенческого, железнодорожного, тюремного, фабричного <...>" вопросов (С. 2); "Заметки Москвича" (14 янв. С. 43), которые были полемически заострены против "Московских ведомостей" В цензурном деле о "Заметках неизвестного" утверждалось, что их автор "глумится над православным духовенством, как черным, так и белым, представляя его развитие, жизнь и деятельность в самом непривлекательном виде" (*Зайончковский П.А.* Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. С. 295).

Сам Лесков, по словам сына, объяснял прекращение "Заметок неизвестного" враждебным отношением графа Д.А.Толстого, в то время министра внутренних дел и шефа жандармов, а также Е.М.Феоктистова, начальника Главного управления по делам печати, и Т.И.Филиппова, товарища государственного контролера (см.: *Лесков А.Н.* Послесловие // Звезда. 1935. № 7. С. 225—226; примечание к публикации новеллы "О Петухе и о его детях" // Нива. 1917. № 51—52. С. 763; см. также приписываемую Лескову заметку "Благочестивое размышление" // Газета А.Гатцука. 1884. 26 мая. С. 338; *Жизнь Лескова.* Т. 2. С. 275—276).

[3] Газета А.Гатцука. 1884. 7 апр. С. 229.

[4] Распоряжение министра Внутренних дел, 22 апреля 1884 года // Там же. 1884. 23 апр. С. 261.

[5] *ИРЛИ.* Ф. 227. Ед. хр. 62. Письмо не датировано.

[6] О Петухе и о его детях. Геральдический казус Н.С.Лескова (Посмертный очерк, впервые появляющийся в печати) // Нива. 1917. № 51—52. С. 763—770. Простое средство // Там же. С. 770—771. Публикация сопровождалась примечанием: «"На рукописи, имеющей еще заголовок: "Заметки неизвестного", написано рукою автора: "Остались не напечатанными в "Газете Гатцука" по настоянию Феоктистова, угрожавшего закрытием издания" Феоктистов был в 1890-х годах начальником цензурного ведомства, и только ныне явилась возможность у нас, обладающих правом собственности на все литературное наследие Н.С.Лескова, напечатать этот очерк <...>» (Нива. 1917. № 51—52. С. 763).

Для творческой истории новеллы "О Петухе и о его детях" представляет интерес рассказ И.А.Новикова "Хитрое перо" (Огонек. 1939. № 10. С. 8—11), где от лица вымышленного автора писал: "Сам я, как вы понимаете, не мог быть участником событий, но рассказ о происшествии этом слышал от одного из участников, человека своеобразного и в свое время известного, знавшего близко и Тургенева, и Лескова, и Фета — знаменитых ваших орловцев. Я удивляюсь немного, неужели же эту историю он не рассказывал в свое время Лескову; тот бы, думается, непременно ее записал"(С. 8). Через некоторое время в "Литературной газете" (1939. 30 мая. № 30. С. 6) писатель раскрыл источник: «В номере 10 "Огонька" был мною напечатан рассказ "Хитрое перо", в котором передавалась одна давняя история, слышанная мною в начале этого года от Д.Н.Петровской, в свою очередь помнившей ее с детства в передаче одного из друзей, обвенчанного с крепостной девушкой молодого помещика. Этим основным рассказчиком был И.В.Павлов, приятель Н.С.Лескова и И.С.Тургенева. Вся история эта казалась мне такою подходящей для Н.С.Лескова, что я даже в самом рассказе помянул об этом и не только расспрашивал у людей, хорошо знающих Лескова, нет ли у него такого рассказа, но и сам тщательно искал, не вкраплена ли эта история в какое-либо из произведений Лескова» (С. 6).

Признав, что его рассказ оказался связанным с рассказом Лескова "О Петухе и о его детях", И.А.Новиков писал: "Целый ряд фабульных поворотов у Лескова другой, чем у меня, но самый факт попытки помещицы обвенчать крепостную вместо своего сына с крепостным же человеком и подчистка подписи совпадают. Очевидно, до меня дошел изустный вариант одной и той же подлинной истории, которую дал в рассказе, вопреки моему предположению, и Н.С.Лесков" (С. 6).

[7] Преусиленное стеснение в темное время противное производит. Юмористический очерк Н.С.Лескова (впервые появляющийся в печати) // Нива. 1918. № 1. С. 2—3.

[8] *Лесков А.Н.* Послесловие // Звезда. 1935. № 7. С. 225.

[9] Имелся в виду рассказ "Преусиленное стеснение в темное время противное производит" (см. примеч. 7).

[10] Звезда. 1935. № 7. С. 226.

[11] Подробнее см.: *Старыгина Н.Н.* Новеллистический цикл в твочестве Н.С.Лескова 1880-х годов: Опыт целостного анализа // Анализ художественного текста: Проблемы и перспективы. Йошкар-Ола, 1991. С. 63—78.

[12] Этот рассказ опубликован К.П.Богаевской: Лит. газета. 1981. 18 марта. С. 6.

[13] О теме праведничества в этом произведении см.: *Хализев В., Майорова О.* Лесковская концепция праведничества // В мире Лескова: Сб. ст. М., 1983. С. 209.

МИМОНОСНАЯ ДВУПОЛИТИКА

В город прибыли два именитых иностранца, англичанин и французский граф. Цель их была отдаленное путешествие к крайним пределам Сибири, а по дороге они всякими вещами интересовались, о всем любопытствовали и знатным лицам визиты делали. Побывав у губернатора, они приехали в Крещеньев день на Иордань[1], а оттуда ко владыке, куда вошли со прочими приглашенными на закуску, и видели, как все, получая владычное благословение, целовали у него руку. Но когда дошло и тем иностранцам тот долг исполнить, то англичанин, получив благословение, сказал архиерею "покорно благодарю" и стряс ему руку, а француз сделал вид лобызания, как и русские, но вместо архиерейской руки поцаловал потаенно свою собственную руку. Архиерей не подал на все это никакого вида и всех равно угощал и потчевал, а когда стали говорить о делах и о политике, то он сказал в разговоре, что французов за первых политиков почитает и меры тонкости их обхождения одобряет. И затем, когда все стали прощаться, он, подавая руку англичанину, проговорил с улыбкою: "не больно жмите", а французу положил свои руки на плечи и с ласковостью привлек его как бы для поцалуя, но в то время как обольщенный француз чувствительно поцаловал владыку в щеку, его преосвященство мимоносно пустил свой поцалуй мимо его лица на воздух, и все дивилися сему. Вечером по городу об этом[1*] много смеялись и говорили: какая политика из сих трех острее.

НЕСЧАСТИЕ МОЖЕТ БЫТЬ СТУПЕНИЮ К БЛАГОПОЛУЧИЮ[2*]

Прихожане Василья Великого[2], по кончине их диакона желали возвести вместо его своего молодого чтеца, имевшего очень знатный голос, и немедленно же о том стали просить через своего старосту; а сей, как бакалейщик, не упустил чем надо задобрить всех, и по указанию регента доставил эконому для поднесения зрелого осетрового балыка. И пошло было такое избрание в ход, но встретилось препятствие в том, что избранник оказался в чтении неискусен. Обыкнув чести, борзяся скоро, он при чтении с медленностию развлекался в воображении до того, что при понуждении его к святого Евангелия чтению сомневался в произнесении слов. Староста же, желая его поставления, утверждал, что "это отойдет и обмякнет"[3*]. Тогда владыка приказал, чтобы староста явился к нему вместе с самим ставленником, и когда те явились, архиерей велел дьячку разгнуть где удастся лежавшее на аналое Евангелие и читать гласно с верхней строчки страницы. Причем владыка сказал старосте:

— Я буду слушать со вниманием и ты тоже со вниманием слушай, и если он страницу без ошибки прочитает, тогда я поставлю его вам во дьяконы, а буде ошибаться, то возвращаю в дьячки. Но я знаю, что он и трех строк раздельного чтения прочесть без ошибки не может.

На странице открылось Евангелия зачало во святое Преображение, начи-

---

[1*] Далее зачеркнуто: "рассказывая один другому"

[2*] Зачеркнуты первоначальные варианты заглавия: "Ошибка в чтении" и "Пророк по ошибке" Ниже мелкими буквами написано окончательное заглавие, в котором зачеркнуто первоначальное "иногда бывает" и вставлено "может быть"

[3*] Зачеркнута первоначальная фраза: "До того, что мог скоро и ошибки его по невнятности сходили, но в чтении святого Евангелия совершенно был неудобен, сбивался <1 *нрзб.*> невразумелые слова смело заменял по своему разумению"

"МИМОНОСНАЯ ДВУПОЛИТИКА"
Из цикла "Заметки неизвестного"

Автограф. 1883—1884 гг.

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

ная от слов очевидца: "добре нам зде быти,— сотворим зде три сени"[3]. Но просимый приходом ставленник почел слово "сени" ненадлежащим и прочитал "три *стéны*"[1*]. Владыка поправил: — "три сени", но ставленник, пуще внимания начертанию, снова прочел "три стéны" Тогда владыка гневно

[1*] Зачеркнут первоначальный вариант: "... в этих же словах на первой строке спутался, ибо опасался, что слово "сени" не стоит верно, а по ошибке".

сказал: "три смены", а тот продолжал: "тебе единую, Моисею единую и единую же Илии", и за такое чтение в сей последний раз был отослан и от диаконства совсем отказан за невразумительность. А притом архиерей еще старосте пошутил, что сему их избраннику мало быть дьяконом, ибо он может пророчествовать смены установлять не токмо на земле, но и на небе, и как староста это рассказал в трактире и во всенародных банях, то многие то узнали, а архиерей в действительности вскоре получил смену. И тогда те, кои прежде о невразумительном дьячке слышали, стали к нему приходить за угадкой судьбы и в невнятном его чтении святых книг часто полезное для своей будущности примечали.

Так он, неспособный во диаконы, угоден стал во пророки, и не имел он того, за что на судьбу жаловаться, а в скромности своей собрал себе собрание, купил дом на базаре и выдал дочь за коровьего лекаря и дал в приданое шубу, часы и шелковые платья.

СЛУЧАЙ ВОСКРЕСЕНИЯ КУПЦА ЛАЗАРЯ[4]

К певцу Иерофею прибыл на побывку из другой епархии швагер[5] и при разделе небольшого общего их женам от отца наследства учредили пированье, где шли разговоры о разных духовных дарованиях в ихней и в нашей епархиях. И швагер рассказал, как у них некий бывший в мертвых купец молитвами одного праведника, по многих летах, снова жив явился.

Имя тому купцу было Лазарь Ильич. Был он богат и строг, и почет любил непомерно, до того, что сделался всех хуже и ездил в простой тележке в картузе с приказчиком Марком на тысячной лошади[6] и сам правил. А правило любил такое, чтобы когда он по большой улице проезжал, то чтобы все купцы, у своих лавок стоя, ему кланялись, а он им поклона не отдавал, потому что держал в руках возжи. Если же какой-либо из купцов ему низко не поклонится, то Лазарь Ильич тихо говорит Марку: "Заметь",— и только. И после сего Марко сейчас же шел в трактир, иде же вси торговцы на чай снемлятся, и говорил: "нет ли на такого-то купца векселей",— и все их скупал, мало торгуясь или даже совсем не торгуясь, а иногда даже с наддачею. И всем было известно, что после тому купцу придет смерть, изоймет его Лазарь до последнего кодранта[7] и к тому не даст никакой льготы, пока тот перед ним на коленях не постоит и в ноги не будет кланяться. Такой он на всех страх тем навел, что стала пословица: "Не бойся ни огня, ни меча, а бойся Лазаря Ильича" И прилучилося ему распалиться таким гневом на одного молодого купца Ивана Деича, который допрежь того у него в услужении был, а потом к московскому делу пристал и явился в свой город от них закупщиком. Иван Деев не пожелал Лазарю Ильичу покоряться, а векселей его нигде не было. Сколь Марко ни был заботлив, никаких долгов на Деева не мог перекупить, и тогда Лазарь Ильич Марку со всех рук избил и велел ему на Деева изнести какую может вредную клевету, чтобы того из их города для примера выслать. Марко же клеветать боялся, что, помилуй Бог, не докажет, и придя к Дееву нощию, сказал, какой ему внушен от Ильича умысел и что он на то не согласен. А Марк[1*] ему в ответ поблагодарил и просил, чтобы он притаился у него от Ильича всего на три дня и три ночи, а в это время донес полицеймейстеру и прокурору новых судов[8], что он знает, от чего Лазаря богатство идет, и что если сделать у него в образной внезапный обыск, то окажутся там обильно фальшивые деньги. Но полицеймейстер Ла-

[1*] Здесь, видимо, механическая ошибка: должен быть "Деев"

заря о доносе известил, и как побега ему допустить не мог, а иных средств к спасению не было, то Лазарь скоротечною смертию умер и пришли их согласия старцы[9] и его погребли. А потом был говор, что то не его хоронили, а захожего странника, которого Лазарь Ильич у себя на огороде в бане содержал и жарко ту баню велел ему истопить, там же его в жарком духу запарил и схоронил в своем платье, а сам с правыми и неверными деньгами съехал тайно в некоторую еретическую страну и, изменив там свой образ, жил еретическим обычаем вместе с споспешествовавшим ему Марком. Но как пошли слухи, что новым судам будет уничтожение и власть полицейская прежнюю свою силу восприемлет, то Лазарь возжелал снова назад и прислал <Марка> к некоему праведнику верного человека, с таким словом, что бежал он в те поры судебной неправды, не правого осуждения страшася, а от страха молвы в народе и внушения скопом общего сомнения. А при том слове был и обет ничего не пожалеть на закрытие новых судов и на воскрешение старого порядка,— "да в оном-де и сам я воскресну" Праведник, сомнению скопа противяся, помолился и дал некое рукописание, по коему и быть по его молению. Лазарь Ильич возвратился и живет дома, аки бы восставший из гроба по многих летах и ничем не смущается, ибо утвердился оградою и укрепился теревнифом[10]. А Марк, не дождав того счастия, погиб в еретической стране скорописною смертью на самом кануне отъезда.

И даже не дивилися сему.

Некое больше сего верное событие.

ПЕРСТ

Два интенданта прибыли со службы обогащенные,— один в старшем чине, пожилой, стал жить благочестиво в своей фамилии и сделался известен владыке, а другой еще пылкого возраста, не достигши полувека, начал кутить и мытарить[11], купил имение и построил в нем дом с оранжерееью, а также втаскал туда много ваз и картин обнаженного вида и, водворив при себе немало легкомысленных женщин, сказал душе своей: "много имаши всякого блага — пий, ешь и веселися", и стал собирать к себе в имение городских друзей и расточал с ними имение свое бесщадно. А оный старший был в жизни опытен и имел в молве человеческой познание, когда встречал сего расточителя в городе, всегда его останавливал и говорил: "Эй, весьма и от всего сердца тебя прошу в твоей жизни осмирниться, да не молва будет в людях, и к тому тогда и я не безвинно погибну" Но тот нимало благоразумному товарищу не внимал и даже не токмо наедине, но и при многих посторонних ему посмеивался, говоря: "ничего не опасайся,— и ты не безвинно погибнешь" Кроме же того он еще многим в чаду говорил, что он сам человек души неумеренной и денег для одного их содержания не любит и что у того, другого, его старшего товарища, денег в десять раз его больше, потому что он во время всей войны высшее место замещал и от особ благоволением пользовался. Но тот, когда такие слова до него доходили,— уши перстами затыкал и убегал или к себе в сад, или в дом, в уединенный покой, или же к владыке, перед которым всю свою душу открывал — как он невинен, и не с формальной стороны, но с совокупной скопом молвы боится... И он научился в историях, как совокупленная молва людей даже власти епископов противное настаивала, а их огорчала, отвергая все их хотение. К тому же сей старец обрел себе глаза свои на мокром месте и слезил охотно при том, как говорил о страхе Божием и о совокупленной молве, которая старому правильному учению противится и ищет невозможного в мечтательных новиз-

нах и фантазиях. А как и владыка был тех же настоящих мыслей, то беседы их обоюдное имели удовольствие и в общежитии ту пользу оказывали, что владыка сам говорил с кафедры о буесловии совокупленной молвы, а все прочие, дар проповеднический имевшие, ему в сем подражали, и много бы могли сделать для остепенения, если бы слушатели были послушливого характера. Но вышло совершенно обратное тому, что ожидали,— а именно пошли речи — для чего совокупленную молву порицают, и пошло такое ее напряжение, что старшего интенданта новые прокуроры арестовали, но золота и драгоценностей у него не нашли и опять была иная молва, будто сокрыл их у недоступного лица в запертой шкатулке под видом святостей. А младшему интенданту, который вел распустную[1*] жизнь и всему напряжению совокупленной молвы был виновник, случилось хуже: к нему когда прокуроры приехали, то он застрелился, оставив ни с чем даже своих вольнодумок[2*]. Старший же хотя и осужден был, но цел остался в своей же миссии, лишась только одной шкатулки, которая в[3*].

НЕВИННОЕ ПРОСТОДУШИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ХИТРЕЕ ГОРДЕЛИВСТВА[4*]

Священник имел горделивый нрав, ходя со требами, никогда не дозволял своему причетнику идти с ним рядом, и указывал вослед ему позади, и на близком расстоянии, дабы всем видно было, что он идет в сопровождении. Единого же раза, когда им обоим случилось в пост быть в доме усердного[5*] прихожанина на крестинах вечернею порою, то обоих их упрошено, чтобы остались на ужин. И при сем священник сел за стол обще с кумовьями, а причетника в передней посадили и за[6*] его малым столиком то же самое ему подавали, что и всем,— кроме иностранного вина, вместо коего поставили пиво и мед. В кушаньях же была испеченная рыба лящь с рыжовой кашей[12] и изюмом, но все на не свежем, а изрядно прогорклом масле. И как после того священник с причетником вышли, то уже было темно и следовали они их обыкновением,— священник впереди, а причетник с свертком облачений взади за его спиною. И тут священник начал часто сплевывать и вспоминать: не от той ли это ему рыбы сделалось, в которой была горечь прижаренного масла[7*]. И он тогда, не обращаясь к причетнику, стал спрашивать:

— Ел ли ты рыбу лящь?

— Как же,— ел,— отвечал причетник.

— А почему же ты не плюешь?

— Нет, и я плюю.

— Но почему, как я плюю — это слышно, а как ты плюешь, это не слышно.

— А это оттого,— отвечал причетник,— что вы идете так, что впереди вас никого нет, и вы на каменные плиты плюете, а я, как позади вас следую, то я на вас плюю.

И как это оказалось справедливо, то священник был таким поступком

1* Так в машинописной копии, по которой публикуется новелла.

2* Так в машинописной копии. В опубликованных новеллах "Заметок неизвестного" другой вариант: "вольнодомки"

3* Здесь рукопись обрывается

4* Зачеркнуто в заглавии первоначальное: "Наивное простодушие..."

5* Зачеркнуто первоначальное: "набожного"

6* Далее зачеркнуто: "особым"

7* Далее зачеркнуто: "А как же был горделив"

недоволен и просил наказать причетника за обиду, но по рассмотрении обоюдных объяснений в сем отказано со внушением оставить это дело как плевое. С той поры священник дозволяет ходить с собою рядом.

ПРЕСТРАННЫЙ СЛУЧАЙ С НЕКИИМ ЗЛОЯЗЫЧНЫМ БРАТОМ

Брат некий именем Пимен в рясофоре[13] состоял при владычном доме, но по заказам доверенной ему должности имел в городу знакомство с различными людьми, и через тех начитался поэм, романцов и других светских книг и, возмечтав о себе лишнее,— якобы, сам собою в мире живя, может управить путь свой к Богу, отошел. Ряску свою прекроил на светскую чуйку, а камилауху[14] покинул преждебывшему брату своему по монастырской жизни, Илларию, его же любяше, и сказал:

— На тебе сию, и хочешь носи, а не хочешь, то на что хочешь ее повороти, а она мне больше не потребна, поелику скоро женюсь.

А Илларий, как бы по предвидению, ему отвечал[1*]:

— Твори, что задумал, а камилауху покинь,— она своего определения достигнет.

И по сем облобызались и расстались: Илларий вступил на Пименову должность, а сей под прежним мирским званием снизошел в свет и женился на молодой резчиковой вдове, который незадолго пред сим в Крестовой церкви новый иконостас резьбою делал и золотил. И было у них хозяйство, достатки, мир и любовь, и после одного года брака родился им ребенок мужеска пола. И Илларий по прежнему братолюбию к сему бывшему Пимену захаживал и провожал время, когда полчаса, а когда и час, и в то время Пимен Иллария блазнил мирскими мыслями, отвлекая ум его к устройству домашнего быта, который очень выхвалял и говорил: "дерзай убо и ты помоему". Но Илларий, будучи совсем иного нрава, отклонял эти речи и говорил: "Ни, брате, оставь сии речи: я тебя не осуждаю, но мне это не может послужить к счастию, ибо я нрава не смелого и никаких путей в жизни найти не надеюся"

Но тогда бывший Пимен, на сии слова как бы еще больше разжешеся, стал Иллария улещать легкостию, как он все может устроить, и указал, что у его жены, что прежде за резчиком была, есть сестра девица, которую Илларий у них и видел,— и та собою пригожа, и досужа, и имеет приданого три тысячи рублей.

— Женись, говорит, на ней и соединимся жить все вкупе и поведем один хозяйственный оборот, и будет и нам и сестрам очень прекрасно. А что до нее касающее, так она, говорит, тебя видела и имеет к тебе очень сердечное усердие.

Илларию это против воли вступило в помысл, и начались мечтания, что видя он прибежал к духовнику и покаялся, а тот ему грех отпустил, но возбранил ходить к соблазнительному брату и велел блюсти: "что будет?"

И вот, по недолгом после сего времени пошел оный сбеглец в баню и идучи оттуда распарился и разболелся и скоро умер. И по обычаю принесли ему гроб и как стали туда полагать, то заметили, что он как бы свои уста раскрывает и язык выпячивает. К вечеру того обнаружилось еще более, а на третий день к утру он так высунулся, что не только скрыть невозможно, но

[1*] Далее зачеркнуто: "Оставь свою камилауху и уходи".

даже и крыша гроба закрыться не может. И дивишася сему вси, а гробовой мастер, перед опусканием гроба в могилу, взял стамеску и в крыше прорезал, дабы можно было закрыть и опустить. Но язык нечестивца так выпирало из его тела, что он и в прорезь начал вытягиваться.

Тогда дошло это до верного брата Иллария, и сей, схватив со стены некогда покинутую Пименом камилауху, быстро тек к могиле, над которою все стояли чудяся, и, прикрыв язык мертвеца камилаухою, сказал:

— Приими, брате, покой свой, а вы о сем поучайтеся, како... и прочее.

После сего ращение языка прекратилось, и Пимена засыпали с камилаухою, а бывшая за ним резчикова вдова в третьи пошла за гробового[1*] мастера, который содержал немецкую веру, но был благочестив и для рукомесла своего[2*] имел знакомства со всем православным духовенством и щедро хлебосольствовал.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Иордань — название проруби, сделанной к празднику Крещения для совершения обряда водосвятия.

2 Т.е. храма, названного в честь святого Василия Блаженного.

3 В русском переводе: "Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии" (*Матфей*, 17:4; *Лука*, 9:33).

4 Заглавие рассказа пародийно-иронически соотносит историю купца с евангельской притчей о воскрешении Лазаря (см.: *Иоанн*, 11:17–45).

5 Швагер — от нем. schwager — муж сестры, зять.

6 Т.е. на лошади, стоящей тысячу или тысячи рублей (*Даль*. Т. 4. С. 459).

7 Кодрант — мелкая медная римская монета в начале н.э.

8 Имеется в виду судопроизводство после либеральной реформы 1864 г.

9 Т.е. старообрядцы.

10 Возможно, имеется в виду ограда из колючего терновника. Искаженное "теревниф" от "теревинф" — фисташковое дерево, символ красоты, могущества и долголетия.

11 Т.е. жить без расчета, тратить деньги без счета (*Даль*. Т. 2. С. 366).

12 Т.е. либо с кашей из грибов (рыжиков), либо с кашей красного или бурого цвета.

13 Рясофор — ношение монашеской рясы с клобуком без пострижения.

14 Т.е. камилавку — черную монашескую шапку.

1* Зачеркнуто: "немецкого"

2* Зачеркнуто: "ходил в русские церкви наши".

ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

Окончание романа

Вступительная статья и комментарии А.А. Шелаевой
Публикация А.А. Шелаевой и И.В.Столяровой

История создания позднего и во многом необычного для творческой манеры Лескова романа "Чертовы куклы" до сих пор в ряде моментов остается непроясненной[1]. Первая его часть была напечатана в январском номере журнала "Русская мысль" в 1890 г. Она завершалась примечанием от редакции "продолжение следует", но продолжение не появилось ни в "Русской мысли", ни в каком-либо другом издании. Тем не менее, начало романа, написанного Лесковым в виде притчи и по характеру повествования близкого произведениям Э.Т.А.Гофмана (на это неоднократно обращал внимание сам писатель[2]), стало жить самостоятельной литературной жизнью. С подзаголовком "Главы из неоконченного романа" Лесков включил его в 1890 г. в X т. Собрания сочинений, внеся в текст относительно незначительные изменения[3]. В дальнейшем во всех посмертных изданиях Лескова вплоть до последнего времени роман печатался именно в этой редакции.

Эти обстоятельства позволяли считать, что "Чертовы куклы" так и остались незавершенными. Однако, как свидетельствует письмо Лескова к одному из редакторов "Русской мысли" В.А.Гольцеву от 10 мая 1891 г. (см : XI, 487–488), Лесков намеревался печатать продолжение романа и уже имел окончание в двух частях. Его появлению в журнале, как выясняется из этого же письма, препятствовали прежде всего причины внешнего характера[4].

Одной из них было весьма настороженное отношение к роману со стороны редакции. В целом сотрудничество с этим журналом, начавшееся еще в 1887 г., было плодотворным для Лескова. В нем увидели свет лучшие поздние произведения: рассказы "Человек на часах" (1887), "Инженеры-бессребреники" (1887), очерк "Спиридоны-повороты" (1889), легенда "Аскалонский злодей" (1889).

После закрытия в 1884 г. "Отечественных записок" журнал стал наиболее популярным либеральным периодическим изданием, унаследовавшим подписчиков "Отечественных записок" и явившимся в глазах читательской аудитории преемником его традиций.

Соредакторы "Русской мысли" В.М.Лавров и В.А.Гольцев дорожили сотрудничеством известных литераторов, в том числе и Лескова. Однако положение журнала, выходившего в свет без предварительной цензуры, было довольно трудным. Он находился под пристальным оком цензурного комитета, готового при первом же неловком шаге нанести карающий удар. По мнению администрации, "Русская мысль" принадлежала к органам "тенденциозной печати, поставившей себе целью изменение современного политического порядка путем резкой и односторонней критики как этого порядка, так и всех мер и распоряжений правительства"[5]. За В.А.Гольцевым и Н.Н.Бахметьевым (входившим в редакцию до 1887 г.) был установлен негласный надзор полиции, а относительно деятельности журнала сделан такой вывод: «За прекращением издания журнала "Отечественные записки", служившего, как известно, центром, группировавшим около себя лиц, литературная деятельность которых всегда отличалась антиправительственным направлением, "Русская мысль" сделалась новым революционным

центром; в ее редакции собрались вновь деятели "Отечественных записок", и журнал, руководимый таким крайним радикалом, как В.А.Гольцев, сделался в высшей степени вредным для спокойствия государства органом»[6]. Среди постоянных сотрудников журнала, как свидетельствовало то же донесение, числились "по большей части политически неблагонадежные Шелгунов, Пругавин, Златовратский, Харламов, Короленко, Глеб Успенский, Эртель, Герценштейн, Н.К.Михайловский, профессоры Иванюков и Ключевский и граф Толстой, литературная деятельность которого за последние годы приняла крайний антиправительственный характер"[7]. Естественно, что в этих условиях редакция вынуждена была вести осторожную политику, что часто вызывало конфликты с сотрудниками и не в последнюю очередь — с Лесковым.

Поначалу отношения складывались идиллически: "Меня заласкали и закормили",— писал Лесков редактору "Исторического вестника" С.Н.Шубинскому, но тут же не без удивления добавлял, что "свою работу" ему необходимо согласовывать с несколькими сотрудниками и приходится "применяться к разным воззрениям" (XI, 346). Затем было отвергнуто несколько его произведений, наконец, крайнее недовольство Лескова вызвало то обстоятельство, что в 1887 г. в тайне от него редакция передала для негласной цензуры повесть "Зенон-златокузнец" (впоследствии: "Гора"), усмотрев в ней намек на митрополита Филарета и К.П.Победоносцева (см.: XI, 411). Лесков воспринял действия редакции как оскорбительное для него недоверие. В итоге повесть не появилась в журнале, и это обстоятельство значительно охладило отношения писателя с редакцией.

Но тем не менее к 1889 г. отношения восстановились, и новый роман "Чертовы куклы" Лесков отдал в "Русскую мысль" В декабре в мучительной спешке он правил уже переписанный набело текст первой части — объемом 3,5–4 листа. "Работа и забота о романе,— писал он тогда В.М.Лаврову,— меня поглощает и заставляет забыть о себе. Роман начинает меня удовлетворять" (XI, 449).

В том же письме Лесков сообщал о своих ближайших планах: просил у редакции сделать небольшой перерыв в публикации, предполагая, однако, что "к июню роман может кончиться" (XI, 449). Но с продолжением "Чертовых кукол", видимо, произошло нечто похожее на историю с "Зеноном" Этот притчеобразный роман вызывал у читателя вполне ясные аллюзии: в его героях можно было распознать реальных лиц — прежде всего высочайших особ. Уже поэтому редакция могла опасаться цензурных притеснений.

Тем не менее и в неоконченном виде "Чертовы куклы" — по убеждению Лескова — пользовались вниманием: "Их помнят и о них говорят" (XI, 488),— писал он Гольцеву спустя год.

Не желая отказываться от продолжения романа и надеясь избежать цензурных гонений, писатель предлагает Гольцеву хитроумное решение: провести все "вразнобивку" (XI, 488), то есть напечатать сначала третью, по его определению, "удобную и интересную" часть, а затем вторую — "неудобную" (XI, 487). Этот план, однако, не был осуществлен, и Лесков вновь прервал работу над романом, но теперь уже охладел к нему навсегда. Поэтому вторая и третья части "Чертовых кукол" остались в черновом виде. Ниже предпринят опыт реконструкции этой рукописи, имеющей достаточно сложную историю создания.

С большой долей вероятности можно предполагать, что вскоре после смерти Лескова автограф "Чертовых кукол" вместе с другими его творческими рукописями попал в руки А.Ф.Маркса[8]. Дело в том, что в архиве его издательства хранилась машинописная копия продолжения романа[9]. Скорее всего, "обстоятельный немец", как называл Маркса Лесков[10], при переиздании собрания сочинений хотел напечатать весь сохранившийся текст романа.

Однако этим планам не суждено было сбыться. Автограф финала с многослойной авторской правкой требовал серьезной текстологической работы. Сотрудники Маркса максимально упростили задачу, подготовив машинописную копию, исказившую авторский текст местами до неузнаваемости.

Авторская рукопись того, что Лесков называл 2-й и 3-й частями романа, существенно обогащает наше представление о содержании произведения и сложной истории его создания[11].

Чтобы яснее показать, какой характер приняла работа над романом к моменту публикации его первой части в "Русской мысли", приведем некоторые факты из истории его замысла.

Роман под названием "Чертовы куклы" был задуман Лесковым еще в 1871 г. И хотя у нас нет оснований отождествлять этот ранний замысел с поздним романом, генетическая связь между ними возможна[12]. Дело не только в совпадении названия, которое могло быть использовано Лесковым, как не раз бывало, для разных произведений. В обрисовке характера героя ранних набросков (Пимена Брасова) заметны те особенности душевного склада, которые будут унаследованы героем позднего романа Фебуфисом[13]. Лесков именует этот тип личности "чертовой куклой", подчеркивая его неспособность противостоять враждебным обстоятельствам, его душевную расточительность, то есть те человеческие качества, которые, по мысли Лескова, определяли "безнатурность" В письме В.М.Лаврову в 1889 г. Лесков выделит эту тему как главную в романе: "Я называю этот роман по характеру бесхарактерных лиц, в нем действующих,— "Чертовы куклы" (XI, 431). Поэтому все предыдущие разработки темы "чертовой куклы" нам представляются ростками его позднего романа, вобравшего в себя весь социально-психологический опыт писателя.

Как рождался замысел произведения, посвященного теме "чертовой куклы", мы узнаем из письма П.К.Щебальскому от 5 июня 1871 г. Лесков сообщал ему о том, что "рвется" к работе "с жадностью" «Это будут "Чертовы куклы",— все будет о женщинах» (X , 327). В 1872 г. Лесков, как следует из письма к нему Н.Н.Воскобойникова, готов был поместить произведение под этим названием в "Московских ведомостях" Однако это намерение не осуществилось. Уже самое название произведения сотрудники Каткова нашли несколько "странным и резким"[14]. Ответ Лескова Воскобойникову нам неизвестен, но "Чертовы куклы" в "Московских ведомостях" не появились.

К этому замыслу писатель вернулся только через три года. Лето 1875 г. он провел за границей, в Мариенбаде. Здесь его окружала,— как он выразился в письме к А.П.Милюкову, целая коллекция "ректоров и профессоров" "Наполовину тупицы, наполовину льстецы",— характеризовал их Лесков и тут же сообщал, что они "назлили" его создать нечто вроде "Смеха и горя" под заглавием "Чертовы куклы" (X, 414–415).

Как видно, уже в этот период в помыслах автора произведение представало остросатирическим. Завершить текст Лесков был намерен в течение месяца и хотел предложить его в газету "Русский мир" (см.: X, 415). Но за границей работа не пошла. По возвращении в Россию Лесков также был не в состоянии ее продолжить. Он переживал своего рода творческий кризис, сопряженный с тяжелым душевным состоянием. "Я не пишу ничего — не могу!" (X, 440),— признавался писатель близкому ему в эти годы П.К.Щебальскому. Лескова не удовлетворяло ни его положение в литературе, ни его работа в Ученом комитете Министерства просвещения. Жизнь в России писатель был готов сравнить с "адом", где царствует "глупый случай и злые прихоти языческого рока", и все близится к состоянию "полного, неисправимого падения" (X, 440).

Тема "чертовой куклы" оставалась для Лескова предметом глубоких раздумий в этот период. В архиве писателя сохранилось несколько рукописных недатированных набросков — зачинов первых глав произведения под названием "Чертовы куклы"[15]. Некоторые из них в связи с упоминанием только что вышедшего тогда в свет романа Л.Толстого "Анна Каренина" могут быть датированы 1875 г.

Содержание этих набросков самым тесным образом связано с известными лесковскими размышлениями о русской жизни того времени. Из них следует, что "адские" обстоятельства окружающей действительности в представлении Лескова так влияют на характер русского человека, что превращают его в безвольную и потому лишенную самостоятельности в мыслях, жизненных принципах и поступках "чертову куклу". Наброскам 1875 г. Лесковым предпослан эпиграф из Писания: "Наша брань не против крови и плоти, но против <...> миродержителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных" (*Ефесянам*, 6:12). Если восстановить купюру в цитируемом тексте, то его

первая часть будет звучать так: “Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей...”[16].

С большей долей осторожности можно высказать предположение, что наброски 1875 г. выражали оппозиционные настроения писателя и подводили к замыслу “Чертовых кукол” 1889 г., где, изобразив Россию под видом некоего герцогства, Лесков высмеивал созданную герцогом теорию официозного искусства, деятельность казенных художественных учреждений, полицейский сыск, столичные нравы, женское воспитание и другие явления социальной жизни. В образе герцога — правителя-деспота — узнаются черты императора Николая I. Не исключено, что Лесков фокусировал внимание на николаевской эпохе и личности императора под влиянием Л.Н.Толстого, который несколькими годами ранее создал памфлет “Николай Палкин” (1887)[17].

Сюжет “Чертовых кукол” в 1889 г. сложился, видимо, сразу. В письме к В.М.Лаврову Лесков характеризовал роман как “интересную историю для чтения”, и тут же добавлял: “Сюжет <...> взят из бумаг и преданий о 30-х годах и касается высоких нашего края <...> люди сведущие поймут, что это за история. Главный ее элемент — *серальный* разврат и нравы *серальных* вельмож” (XI, 431). В этом же письме он многозначительно заметил, что “герцог” списан “известно с кого”

Позднее Лесков высказался о прототипах и исторической основе своего романа еще более определенно: “Сюжет чисто любовный и чем далее, тем интереснее, но он *прихотлив* и довольно необыкновенен, хотя это все с настоящих людей и событий” (XI, 445). В другом письме на эту же тему: «Живые лица и имена их маскированы <...> но колорит и типы верные действительности (история Брюллова). Того, кто называется “герцогом”, я иногда называю “высочеством”, иногда — “светлостью”» (XI, 449).

Развитие сюжета в рукописной части позволяет сделать вывод относительно того, что конкретно Лесков взял из “бумаг и преданий о 30-х годах” (XI, 431), упомянутых им как источники произведения: любовная интрига отражает историю женитьбы К.П.Брюллова на Эмилии Тимм, сестре Вильгельма Тимма (1820–1895), близкого Брюллову по Академии Художеств. Наделив молодую жену своего героя, названного в романе Фебуфис, внешностью роковой красавицы, Лесков использовал для создания этого образа конкретные факты из биографии Эмилии Тимм.

Гелия (в рукописных главах Помона), как и Эмилия Тимм,— дочь бургомистра большого портового города (в действительности — Риги). Как и ее прототип, она прекрасная музыкантша и художница. В романе, как и в реальной жизни, вскоре после свадьбы между супругами происходит разрыв. Однако причины разрыва в романе и в действительности (как она представлена Брюлловым в прошении о разводе на имя А.Х.Бенкендорфа и в письме к министру двора князю Волконскому), не совпадают. Брюллов, начав свое письмо к министру словами: “Убитый горем, обманутый, обесчещенный, оклеветанный, я осмеливаюсь обратиться к Вашей Светлости <...>”[18],— обвинял в семейной трагедии отца своей юной жены. Далее он утверждал, что отец, испытывая к своей дочери противоестественную страсть, намерен сделать ее брак с Брюлловым только ширмой для их отношений, продолжающихся и после замужества дочери.

В романе “Чертовы куклы” Лесков объяснял семейную трагедию художника влиянием нравов, царивших при дворе правителя. Он обрисовывал ее как некий вполне реальный эпизод в духе так называемых “васильковых дурачеств” (любовных похождений) Николая[19]. Вполне вероятно, что писатель опирался на другую, может быть, более правдоподобную версию этой истории.

Развитие сюжета в рукописных главах романа свидетельствует о том, что Лесков каким-то образом получил возможность ознакомиться с текстом цитированного письма Брюллова. Оскорбленный в своих чувствах художник писал: “Родители девушки и их приятели оклеветали меня в публике, приписав причину развода совсем другому обстоятельству, мнимой и никогда не бывалой ссоре моей с отцом за бутылкой шампанского, стараясь выдать меня за человека, преданного пьянству... я считаю даже ненужным оправдываться: известно, что злобное ничтожество, стараясь унизить и почернить тех людей, которым публика приписывает талант, обыкновенно представляют в Италии самоубийцами, у нас в России пьяницами... Я так сильно чувствовал свое несчас-

тье, свой позор, разрушение всех моих надежд на домашнее счастье... что боялся лишиться ума"[20].

Как видно из рукописных глав, Лесков обыгрывал в романе отдельные мотивы брюлловского письма. Они служат канвой сюжета: Фебуфис с горя предается пьянству, причем он опивается именно шампанским в обществе человека, отчасти напоминающего прибалтийского немца; в Италии, куда он бежит из страны герцога, Фебуфис кончает жизнь эффектно обставленным самоубийством. Да и события реальной жизни свидетельствуют в пользу версии, отраженной Лесковым в романе. Эмилия Тимм через несколько лет вышла замуж за сына Н.И.Греча. Истово преданный Николаю I, в своих мемуарах Греч выступил впоследствии как апологет николаевской эпохи, а в Париже в 1843 г. после публикации знаменитых записок де Кюстина "Россия в 1839 году" пытался опровергнуть содержание этой книги, резко критиковавшей порядки и нравы николаевского царствования.

Весьма существенным для раскрытия прототипов романа является также анализ того, как Лесков строил отношения художника и герцога. Малопросвещенный в вопросах искусства правитель диктует Фебуфису сюжеты картин и заставляет работать по ранее утвержденным образцам. Иногда он собственноручно правит его рисунки мелом. В уста герцога Лесков вкладывает рассуждения о задачах искусства, вполне соответствующие официозной политике николаевского времени: "Задача искусства — это героизм и пастораль, вера, семья и мирная буколика, без всякого сованья в общественные вопросы — вот ваша область, где вы цари и можете делать что хотите. Возможно и историческое, я не отрицаю исторического; но только с нашей верной точки зрения, а не с ихней. Общественные вопросы искусства не касаются. Художник должен стоять выше этого. Такие нам нужны<...> Обеспечить их — мое дело. Можно будет даже дать им чины и форму" (VIII, 538)[21].

Фебуфис, несмотря на весь этот напор, стремился сохранить в отношениях с герцогом независимость и достоинство. Не прельщенный чинами и хорошим содержанием, он разрывает свою связь с правителем, выступавшим в роли мецената. В том же духе складывались отношения Николая I и Карла Брюллова, доводившего императора до крайних пределов терпения своими попытками отстоять собственные художественные вкусы и идеи. Речь идет об истории создания портретов членов императорской семьи и картины "Осада Пскова" Однако всякое противодействие художника в этих условиях оказывалось просто бесполезным. Девизом императора было: "Нам не нужны гении, нам нужны верноподданные!"[22]

Возможно, сцена объяснения художника и герцога в рукописном окончании и не отражает реальную историческую ситуацию, но Лескову удалось психологически точно, в рамках исторических реалий обрисовать эпизод, который мог бы стать развязкой отношений талантливого художника и правителя.

Первоначально писатель был намерен оформить роман как "найденную рукопись", подобно "Заметкам неизвестного" (1884). Об этом мы узнаем из письма к В.М.Лаврову (XI, 431) и рукописного эпилога «Чертовых кукол». Это был прием, с помощью которого Лесков, видимо, стремился придать описанным событиям иллюзию невымышленности. Не случайно рассказчик, поведавший в эпилоге историю найденной им рукописи, счел необходимым обратить внимание читателя на ее внешний вид. На полях таинственного манускрипта он различает "сделанные кем-то карандашом отметки против имен лиц, выведенных в повествовании" "Если бы верить этим отметкам,— размышляет он,— то пришлось признать в изображенных здесь фигурах людей действительно живших и занимавших в свое время очень видное положение" (Л. 108).

Текст первого относительно законченного варианта романа, по собственному признанию Лескова, был написан только "вдоль" На последней странице рукописи дата: "Ночь на 9 апреля 89. Заутреня"

До нас дошла лишь часть этой черновой редакции. Она представляет собой разработку и завершение сюжета, известного по тексту "Русской мысли" и оборванного на XX главе. В конце рукописи сообщается, что "повествование доведено автором до полного окончания" (Л. 108).

Механическое присоединение рукописного окончания к опубликованным главам

невозможно из-за несоответствий различного характера, о которых мы еще скажем подробнее. Поэтому в собраниях сочинений, выходивших массовым тиражом в последние годы, мы знакомили читателя только с фабулой романа, поместив ее изложение в комментариях к тексту.

Рукописное окончание последовательно прослеживает все перипетии судьбы главного героя Фебуфиса. Оно рассказывает о его вынужденном отъезде, который больше похож на бегство, о прямых угрозах и покушении на свободу художника, что по сути является развязкой конфликта, уже возникшего в отношениях художника и герцога в опубликованных главах. Изображая отъезд Фебуфиса за границу, Лесков вновь опирается на некоторые факты биографии Брюллова, который, как известно, переплывал пограничную речку[23]. Поселившись в Италии в кругу друзей — Мака, Пика и Марчеллы, известных по первым главам романа, Фебуфис тихо угасает, как и Брюллов. С особой тщательностью Лесков отделывает здесь образ Марчеллы, соединяя в ней черты добродетельной простолюдинки и изысканной куртизанки, сумевшей окружить себя роскошью и возвыситься над людьми и обстоятельствами благодаря своему обаянию и уму. Имея в виду кардинальское окружение Марчеллы, можно предположить, что ее литературным прообразом стала куртизанка Империя из "Озорных рассказов" Бальзака.

По сравнению с печатной редакцией отношения художника и его жены в рукописном окончании носят совсем другой характер. Здесь они строятся так, что можно утверждать: в первой редакции романа не было навязчивого сватовства со стороны герцога, и брак Фебуфиса и Помоны был заключен не по принуждению, а по любви. Поэтому Фебуфис так болезненно воспринимает попытку Помоны вновь сблизиться с ним в Италии. В связи с этим получает мотивировку самоубийство Фебуфиса. Смерть художника становится поводом для критического осмысления его судьбы друзьями Фебуфиса. Оплакав художника, они мечтают выступить на общественной арене и посвятить себя "делу, достойному цели человеческой жизни" (Л. 105). Надо забыть "о герцогских ласках и всяких мелких обидах — и думать о бедствиях общих и о том, что можно делать для общего блага..." — решают они и вступают в союз "экономии сил" (Л. 105). Деятельность этого объединения связана с борьбой Гарибальди.

Брошенного на произвол судьбы сына Помоны и герцога воспитывает Марчелла. В честь своей приемной матери он принимает имя Марк Марчелли. Внимание Лескова в эпилоге романа переносится на личность этого героя, антипода его высокорожденного отца. В рядах гарибальдийцев Марк отдает свою жизнь за счастье тех, "кого гложет горе" (Л. 107 об.).

Позднее Лесков дополнил роман, доведенный вчерне уже до эпилога, обширной вставкой.

Рукопись открывает титульный лист, на котором указано место вставки в ранее созданном тексте: "Черновое со 2 глав. 2-й части по старой редакции. Сюда следуют вставки со стр. 37 по новой редакции..." (перед Л. 35). Если читать текст так, как сказано на титульном листе, ход событий в романе не нарушается.

Однако и в этом случае, несмотря на авторские указания, возникают определенные трудности при попытке смонтировать рукопись, так как точное место вставки на странице 37 не обозначено автором. Более того, нумерация страниц во вставке не согласуется с нумерацией страниц в основной части. Чистые пронумерованные страницы в конце вставки свидетельствуют о том, что Лесков, возможно, намеревался еще вернуться к этой проблеме,— заполнить их текстом, связующим обе части.

Следует также отметить, что на стыке текста, известного как "Главы из неопубликованного романа", и рукописи финала Лесков сбивался на новый замысел. Он начал детально разрабатывать образ "внутреннего Шера", который стал для писателя одним из главных героев романа. Тем не менее впоследствии, когда Лесков нумеровал рукопись синим карандашом, он исключил эти страницы из общей пагинации. Скорее всего, он понял, что они могут быть неудобны в цензурном отношении и вновь вызовут разногласия с "Русской мыслью"

Несомненно, Лесков питал определенный интерес к личностям, выполнявшим в государстве такие функции, как полицейский директор "внутренний Шер" Писатель

пользовался при создании этого образа мемуарными и историческими материалами[24]. Обратимся к авторской характеристике Шера. Он обрисован в спокойных реалистических тонах, но с оттенком легкой иронии. Подробное описание его наружности позволяет предполагать, что Лесков намерен был придать этому персонажу черты сходства с одним из реально существовавших лиц:

«Внутренний Шер имел очень большое значенье в герцогстве. Этому способствовало особенное отношение к нему герцога. Шер официально был только административный начальник столичного управления, но он имел гораздо большее влияние, которое чувствовали все служебные лица других правительственных учреждений. И несмотря на то, что Шер не был в числе правительственных лиц первой шеренги,— его боялись больше, чем всех первых особ в правительстве, и даже сами эти первые особы заботились о его расположении и искали его приязни. Всем этим, повторяю, Шер был обязан особому расположению герцога, которое стяжал себе сам, своим умом, ловкостью и отчасти талантами, которых у Шера было много, и он умел их проявлять вовремя и кстати и притом в тех формах и видах, в каких проявление талантов приятно в обществе, чутком к одному камертону.

Наружность Шера находили прекрасною. Он был бравый мужчина в цветущей поре, очень немного старше герцога, с которым имел как бы фамильное сходство. Они оба были красавцы в одном и том же роде, но Шер был немножко массивнее,— в нем была уже некоторая тяжесть от небольшого ожирения, но зато выражение его лица было гораздо мягче, и манеры его отличались ласковостию, которой часто недоставало герцогу.

По общему мнению, Шер обладал большим умом, но более всего он обладал тонкою проницательностию, которая была ему одинаково полезна как в его полицейских обязанностях, так и во всяких других делах, где требовалось мастерство интриги. Он был отличный полициант и искусный придворный. В первом роде герцог считал его “незаменимым” и говорил, что он “может спокойно заниматься делами только благодаря Шеру”, а в числе придворных не было никого, кто бы хотел переведаться с Шером в какой бы то ни было борьбе за преобладание в расположении герцога, к чему собственно только и стремились все высшие лица в герцогстве. Две-три попытки в этом роде, сделанные тогда, когда Шер еще только выплывал на горизонте, были им отпарированы с таким мастерством, что стоили заслуженным лицам карьеры и отбили у других навсегда охоту мериться с ним в мастерстве сложной придворной игры. С тех пор он стал могущественным лицом в государстве, но не временщиком. Герцогу он был всего нужнее в той должности, в какой находился, и Шер это понимал и не искал высшего поста. Быть может, что он бы его и достиг, но это его отдалило бы от особы герцога и лишило бы его того влияния, какое он мог оказывать на все и оказывал так незаметно, так мягко и так благоразумно, что это не раздражало ничьих самолюбий и в то же время делало Шера общим другом и почти благодетелем. Таким особенно считали его в народной массе, с которою он был замечательно прост, доступен и приветлив. Множество людей были обязаны Шеру самыми чувствительными и неоценимыми услугами. Он казался добрым и, может быть, в самом деле был добр. Во всяком случае он не любил зла и нервы его не переносили слезных просьб и страдания. Он вступался за обиженных и много раз делал это наперекор другим властным лицам и, как казалось, не без риска для своего собственного положения. Служебные лица, хорошо понимавшие механизм управления, приписывали такие успехи Шера тому, что он по своему полицейскому посту имел *всегда* свободный доступ к герцогу, которому он представлялся аккуратно каждое утро, но, кроме того, мог явиться по экстренной надобности и во всякое другое время, тогда как другие, более высокие и сановитые люди, имели свои урочные часы однажды в неделю и затем могли видеть герцога разве только на балах или разводах, где не имели возможности начинать с ним разговоры по своему избранию. Таким образом, все могли говорить с герцогом о делах по своей части *после* того, как о них уже успел сделать свои представления Шер, а он знал все, потому что умел быть доступнее всех других лиц, которым простота обращения была неприятна или не удавалась, и притом в распоряжении Шера состояла довольно многочисленная...»

Сопоставительный анализ “Глав из неоконченного романа” и рукописного окончания “Чертовых кукол” в двух его существующих редакциях приводит к неожиданному заключению: печатное начало романа по отношению к его рукописному окончанию — это еще одна, более поздняя редакция “Чертовых кукол”

Факт этот объясним. Лесков сначала довел весь роман до конца в его черновом варианте, затем во второй редакции дополнил вставкой.

В третий раз писатель принялся за доработку “Чертовых кукол”, когда вопрос о появлении романа в “Русской мысли” был решен, и тогда результатом этой доработки стала третья редакция.

Художественная выразительность первых глав романа, напечатанных в “Русской мысли”, при предельном лаконизме и отточенности языка была, видимо, достигнута упорной работой. Часть романа, остававшаяся в рукописи, должна была перерабатываться позднее в том же направлении. В процессе такой правки должны были исчезнуть незначительные сюжетные несоответствия печатной и рукописных частей, неровность стиля и композиционная рыхлость.

Лесков отказался от первоначального намерения представить текст романа как “найденную рукопись” анонимного автора. Иной в печатной редакции стала, однако, не только форма произведения. Проблемы искусства, творческой личности, тесно сопряженные с критикой самодержавия, в печатных главах звучат с публицистической остротой.

Различия печатной и рукописной редакции касаются также имен и обрисовки второстепенных персонажей. Все имена в печатной редакции — говорящие, как выразился сам Лесков, “нарочно деланные, вроде кличек” (XI, 431). Помона в печатной редакции становится Гелией. Новое имя, заимствованное из греческой мифологии (Гелиос — бог солнца), говорит о необыкновенной внешности и исключительном характере этой героини.

Автор создал в третьей редакции образ прекрасной и гордой женщины, судьба которой окружена тайной. В печатных главах эта героиня Лескова заслуживает большего сочувствия, чем в рукописных редакциях. Рассказчик дает понять, что она оказалась жертвой каких-то трагических обстоятельств. Знаки внимания со стороны герцога и его покровительство Гелия вынуждена принимать, попав в зависимость от герцога из-за положения своей семьи.

Любовница герцога Недда и жена Пика Калипсо как бы слиты в печатных главах в один женский образ, вобравший в себя некоторые черты той и другой героини. Лесков именует новый персонаж Пеллегриной, сопоставляя ее с героиней старинной повести, иногда — Миньоной, подчеркивая особенности ее внешнего облика. В связи с этими изменениями следует предположить, что значительный фрагмент текста, составляющий во 2-й рукописной редакции рассказ о драматической судьбе баронессы Недды, в окончательной редакции романа мог быть переработан.

При настоящем состоянии источников реконструировать рукописное окончание романа так, чтобы оно служило непосредственным продолжением печатных глав, невозможно. Перед отправкой “Чертовых кукол” в редакцию Лесков счел необходимым “пройти пером первую, переписанную набело часть” (XI, 445). Скорее всего третья — журнальная — редакция романа возникла именно тогда как результат авторского вмешательства в текст готовой 1-й части. Вероятно, поэтому Лесков писал вскоре в Москву: “Рукопись измарана ужасно” И добавлял: “Корректура будет мне *необходима*” (XI, 449). И все же, каков был характер этой последней авторской правки, можно отчасти проследить.

В составе творческих рукописей, имеющих отношение к роману “Чертовы куклы”, случайно сохранился черновой вариант последней XX главы опубликованной части текста. Если его сопоставить с окончательным вариантом XX главы, можно сделать вывод, что отношения между герцогом и Гелией (в рукописном варианте — Помоной) развивались первоначально по другой схеме, и подозрение художника в том, что его жена — любовница герцога, необосновано и потому крайне оскорбительно для нее.

Только в первоначальном варианте эта история обрисована Лесковым как обыкновенный эпизод "*серального* разврата"

Образ герцога в окончательном варианте также претерпевает определенные углубляющие его изменения. Здесь он более разборчив в словах и более осмотрителен в его реакции на ссору Фебуфиса и Гелии. Воспроизводим текст чернового варианта, подтверждающего наши наблюдения:

«— Что случилось? что случилось? — повторял герцог, глядя то на дежурного офицера, то на бледную как мел и дрожащую от испуга и холода Помону с головою, осыпанною снежной метелью.

— Вы выдали меня замуж! — произнесла Помона.

— Ну да!.. что же такое?

Помона протянула герцогу руку, в которой был пистолет, и сказала:

— Я сейчас хотела убить моего мужа.

— За что?

— Он обращается со мною как зверь, как тиран, как разбойник!

Говоря это, она за каждым словом колебалась на ногах под порывами ветра и вдруг совсем пошатнулась в сторону. Герцог плотнее окрыл ее плащом и, прижав к своей груди, сказал:

— Не бойтесь ничего!.. Я ваш защитник!.. Но скорее: в чем дело?

Вместо ответа Помона холодною рукою взяла руку герцога и приблизила ее к своей голове...

На белой замшевой перчатке герцога осталось несколько глянцевитых и тонких черных волос... Из груди герцога вырвался звук ужаса.

— Мерзавец! — закричал он.— Сейчас его сюда!

А сам обнял молодую красавицу, отечески поцеловал ее в темя и, почувствовав, что она падает без чувств, поднял ее на свои руки и воротился с этою прекрасною ношею назад в двери замка, передал сомлевшую Помону подбежавшим к нему людям и приказал отнести ее в покои одной из приближенных дам герцогини и послал туда лейбмедика, а сам уехал на военные экзерциции <...> » (Л. 35).

Наиболее сложным остается вопрос о композиции второй редакции. Вмонтировав с Л. 37 объемную вставку в текст вчерне завершенного романа, Лесков "размыл" его сюжет.

Можно только предполагать, что побудило Лескова сочинить эти эпизоды. Содержание их таково, что в случае включения этого текста в первоначальный вариант неприятностей с цензурой было бы не избежать. По всей вероятности, это и есть "неудобная часть" романа, которую Лесков хотел опубликовать после третьей.

Введенная в текст вставка сюжетно мотивирована. Она представляет собой два рассказа начальника полиции столицы герцога, по печатным главам "внутреннего Шера" Он приходит в дом художника, чтобы заключить его под домашний арест. В это время правитель завтракает наедине с Помоной, покинувшей дом мужа после ночной ссоры. Домашний арест был скрашен для Фебуфиса как иностранца и известного художника обилием вина и занимательными беседами лица, приближенного к герцогу и хорошо знакомого с историей его страны. Из них многое становится известно о нравах правителей и подданных герцогского государства от губернатора до крестьянина. Первый рассказ — о правящей династии и молодых годах герцога. Второй — повествует о судьбе женщины из благородного высокопоставленного семейства, ставшей под именем Недды любовницей герцога. Автор как бы забывает о своей первоначальной цели — показать падение достойной женщины, коварство, с каким герцог устраняет со своей дороги соперника — мужа. По сути, Лесков создает новеллу, сюжет которой никак не связан с сюжетом первой рукописной редакции и оборван в момент кульминации.

Вспоминается брошенное вскользь замечание Б.М.Эйхенбаума в статье "Иллюзия сказа" "Романы не давались ему",— считал Эйхенбаум, высоко ценя в то же время "склонность" Лескова передавать "действительный устный рассказ"[25]. Нам представляется, что появление вставки во второй редакции обусловлено именно этой "склонностью" писателя. Не справляясь с эпической формой романа, Лесков сбива-

ется на сказ, излюбленный им, по выражению Эйхенбаума, прием "чужого мемуара"

Однако традиционный лесковский сказ требовал — как писал Эйхенбаум — изображения портретов, "постановки голоса" "Постановка голоса" в сказе требовала от автора диалогов. Сбившись на сказ, автор "Чертовых кукол" все более "размывал" сюжет романа в первой редакции, которая повествовала о художнике Фебуфисе.

Между первой, второй и третьей редакцией романа, как можно судить по дошедшим до нас рукописям, также существуют принципиальные жанровые различия. Первая редакция "Чертовых кукол" создавалась с ориентацией на жанр исторической хроники. Хроникальная часть романа построена аналогично хроникам Лескова прежних лет ("Старые годы в селе Плодомасове", "Захудалый род", "Печерские антики").

Перенеся в романе место действия из России в Италию, Лесков, однако, меньше всего стремился нарисовать реальную Италию XIX в. с ее сложной политической обстановкой, гражданской войной, нашумевшей флорентийской демократией[26]. Это образ почти идеального государства, наподобие вымышленного Э.Т.А.Гофманом Джиннистана, куда стекаются художники со всего мира и где процветают искусства. Другое государство — страна герцога, иронически описанная Лесковым в духе записок де Кюстина так, что читатель узнавал в ней Россию[27]. "Это все отдает то баснею и стариною, то вдруг хватишься и чувствуешь — ведь это что-то свое",— написал Лесков о романе В.М.Лаврову, завершив работу над ним в первой редакции. В этом же письме Лесков неопределенно говорит о жанровой природе "Чертовых кукол": "роман не роман, хроника не хроника, а, пожалуй, более всего роман<...>" (XI, 431).

Вторая редакция романа также трудно поддается жанровому определению. В письме к А.С.Суворину (9 декабря 1889 г.), которое по времени, видимо, совпадает с ее созданием, Лесков склонен видеть в "Чертовых куклах" уже не роман, а "ряд картин" (XI, 447). Лесков понимал, что рассказы начальника полиции нарушали движение сюжета и разобщали отдельные части романа. Чтобы как-то избежать статичности и создать иллюзию движения сюжета, Лесков каждый тематический поворот в этих рассказах предваряет фразой "и снова пейзаж меняется"

Анализ рукописного текста убеждает, что творческие поиски Лескова были связаны также и с поисками формы. Первый из рассказов директора полиции, поведавший о "старине" в форме притчи, стал для автора "Чертовых кукол" своего рода творческой находкой. Эта притча не нуждалась в особом толковании. Смысл ее сводился к тому, что всякий правитель во все времена боялся бунта и не жалел сил на его пресечение. Когда дознание с "бойлом" не давало результатов, обращались к старым людям. Они-то безбоязненно и говорили правителю горькую правду. В лесковской притче там, где правителю мерещились гранитные укрепления, было лишь крайнее оскудение крестьянского быта, а молчание бунтовщиков в действительности оказывалось не строптивостью, а безразличием и полным равнодушием к своей судьбе. Своим типично русским сказочным колоритом этот рассказ директора полиции был близок притчам Льва Толстого, который в эти годы оказывал на Лескова сильное идейное и творческое воздействие.

Как и в притче Толстого "Зерно с куриное яйцо", "старый престарый старичок" памятливее, наблюдательнее и смелее молодых. Он не только правду принцу разъяснил, но еще и деньги за загнанных лошадей стребовал. Однако у Лескова нет, как у Толстого, последовательного противопоставления настоящего патриархальному прошлому. Лесков, автор будущего "Загона", с достаточной долей иронии относился к мысли о том, что Россия не нуждается в цивилизации и материальном прогрессе. Но Лесков здесь близок Толстому в другом. Автора "Чертовых кукол" привлекала попытка представить важный для него эпизод романа в жанре притчи. Иносказание позволяло показать читателю события в двух планах. В первом — это был бесхитростный рассказ о конкретном происшествии, во втором — глубокое философско-историческое обобщение.

Тема "чертовой куклы", сквозная для всех редакций романа, во вставных главах также получает оригинальное развитие. Лесков осмысляет в ее рамках сложные взаи-

моотношения двух разных по воспитанию и социальному положению женщин, баронессы Зои и Камиллы, и юного мужчины, только вступающего в пору зрелости. Удаленные в силу обстоятельств от внешнего мира, они поочередно, а затем и одновременно испытывают друг к другу сильное чувство привязанности, близкое к любви. Эта сюжетная ситуация оказывается для Лескова столь же привлекательной, как и отношения Фебуфиса, Пика и его жены Пеллегрины в третьей опубликованной редакции. По поводу этих отношений, описанных с большой тонкостью и психологической достоверностью, автор дает возможность высказаться герою — молодому человеку: он считает, что возникшая ситуация — следствие козней "дьявола, который играл" ими "в куклы" "Он знает свое дело при всех положениях",— заключает юноша, предполагая движение этой истории к трагической развязке и полное свое бессилие противостоять ей.

Публикуемый ниже текст является окончанием романа. Но в связи с тем, что Лесков вносил правку непосредственно в черновой автограф первой завершенной редакции, он представляет собой свод двух редакций. Его объем по архивной пагинации 133 листа с оборотами. Фрагмент, предназначенный для вставки, объемом 56 листов, вмонтирован нами в текст рукописи на Л. 37, как указывал автор на титульном листе, между I и II главками, что отвечает смыслу. В результате последовательность событий не нарушается.

Тем не менее, воспринимая этот текст как продолжение романа, надо иметь в виду, что отдельные его эпизоды, детали для разработки образов уже были использованы Лесковым при подготовке первой части романа к печати (например, эпизод с собакой, подаренной герцогом Гелии-Помоне, эпизод с получением анонимного письма, известившего Фебуфиса о связи его жены с герцогом и др.). Лесков черпал материал из рукописи, как из запасника, создавая третью редакцию романа.

Текст непосредственно примыкает к печатным главам. Он начинается с ожидания художником жены после бурной ссоры и ее побега из их общего дома.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. об этом: *Столярова И.В., Шелаева А.А.* К творческой истории романа Н.С.Лескова "Чертовы куклы" // *РЛ.* 1971. № 3. С. 102–113; *Шелаева А.А.* Творческая история романа Н.С.Лескова "Чертовы куклы". Автореферат канд. дис. Л., 1982.

[2] О том, что "в приеме" он «намерен подражать "Серапионовым братьям" Гофмана», Лесков упоминал в письме к П.К.Щебальскому еще в 1871 г. в связи с другим, более ранним замыслом (см.: X, 327). В 1889 г., приступив к работе над "Чертовыми куклами", в письме к В.М.Лаврову Лесков вновь сближал роман с этим произведением Гофмана (см.: XI, 431), интерес к которому зародился у писателя, вероятно, еще в 1870 г. в связи с выходом в России Полного собрания сочинений Гофмана, куда впервые был включен и полный перевод "Серапионовых братьев" Одна из новелл романа, "Сеньор Формика", отразившая факты биографии известного неаполитанского художника Сальватора Розы, возможно, послужила импульсом для Лескова, осмыслившего отношения Карла Брюллова и Николая I в духе гофмановской новеллы. Не без влияния Гофмана возникла в творчестве Лескова и тема "чертовой куклы", тесно связанная с литературной традицией изображения людей в виде кукол ("Песочный человек" и "Автомат" Гофмана, "Пестрые сказки" В.Ф.Одоевского, а затем и сатирические произведения Салтыкова-Щедрина). См. подробнее: *Шелаева А.А.* Тема "чертовой куклы" в творчестве Лескова 1870–1880-х годов // Творчество Н.С.Лескова: Сб. материалов науч. конференции 1980 г. / Науч. тр. Курск. пед. ин-та. 1980. Т. 213. С. 77–91; *Столярова И.В.* Традиции Гофмана в романе Н.С.Лескова "Чертовы куклы" // В кн.: От Пушкина до Белого: Проблемы поэтики русского реализма XIX — начала XX века. Межвузовский сборник. Л., 1992. С. 170–193.

[3] При сверке текста мы обнаружили около 200 вариантов, обусловленных в основном стилистической правкой.

[4] В Собрании сочинений Лескова под общей редакцией Б.Я.Бухштаба (М., 1973. Т. 5) и Собрании сочинений под редакцией В.Ю.Троицкого (М., 1989. Т. 10) в комментариях было указано на существование рукописного окончания романа и пересказывалось его содержание. См.: *Шелаева А.* Примечания к роману "Чертовы куклы" // Лесков Н.С. Собр. соч. в 6-ти т. М., 1973. Т. 5. С. 414–418; То же, дополн. // *Соч.* Т. 10. С. 410–415.

[5] Из донесения московского оберполицмейстера Козлова. 1886. Редакция и сотрудники "Русской мысли" // Былое. 1917. № 4. С. 100.

[6] Там же.

[7] Там же.

8 См. об этом: *Динерштейн Е.А.* "Фабрикант" читателей А.Ф. Маркс. М., 1986. С. 129–136. "Чертовы куклы", однако, не упомянуты автором книги в числе материалов, которыми располагал А.Ф.Маркс.

9 Издательство не воспользовалось этой копией при подготовке Собрания сочинений Лескова в 1902–1903 гг. После ликвидации издательства машинописная копия романа стала собственностью одного из его сотрудников А.Е.Розинера. В 1955 г. Е.А.Розинер, наследница А.Е.Розинера, передала ее в *РГАЛИ* (Ф. 275. Оп. 3. Ед. хр. 2). Рукопись была выкуплена А.Н.Лесковым.

10 См. письмо Лескова А.Ф.Марксу от 12 августа 1892 г. // *ОР РГБ*. Ф. 360. Карт. 1. Ед. хр. 39. Л. 1–2.

11 Рукопись романа была передана А.Н.Лесковым на государственное хранение в 1931 г. (ныне: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 9). Далее ссылки на листы этой рукописи даются в тексте.

12 Ср. другую точку зрения на соотношение этих замыслов: Н.С.Лесков. Из творческих рукописей. (Незавершенные произведения). Вступ. ст. и публ. К.П.Богаевской // *ЛН*. Т. 87. С. 37.

13 См. ниже статью Н.Н.Старыгиной "Творчество Лескова в 1880–90-е годы. Неосуществленные замыслы", где фрагменты под названием "Чертовы куклы", относящиеся к 1870-м годам, связываются с замыслами романов 1880-х годов "Соколий перелет" и "Незаметный след".

14 Письмо Н.Н.Воскобойникова к Лескову (1872 г.) // *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 4. Ед. хр. 18. Л. 5.

15 *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 89. Л. 1–48 об.

16 В одном из вариантов эпиграф дан по-старославянски. Здесь Лесков восстанавливал пропущенный текст (Л. 33).

17 Хотя памфлет был запрещен цензурой, Лесков мог с ним познакомиться, поскольку текст был гектографирован и получил широкое распространение.

18 Цит. по кн.: *Леонтьева Г.* Карл Брюллов. Л. 1983. С. 245.

19 См.: *Соколова А.* Император Николай I и васильковые дурачества // *ИВ*. 1910. № 1. С. 104–113.

20 *Леонтьева Г.* Цит. соч. С. 245.

21 Для обрисовки образа герцога Лесков использовал тот же прием, что и М.Е.Салтыков-Щедрин в сатирическом цикле "Письма Николая Палкина любимому писателю Полю де Коку" Он имитировал в речи герцога стиль высказываний Николая I и даже вкладывал в его уста, слегка перефразируя, подлинные слова императора, приведенные графом Д.Н.Блудовым в "Последних часах жизни Николая I" (СПб., 1855. С. 8). Имеются в виду слова, которые тяжело больной император произнес в ответ на уговоры лейбмедиков не принимать в 1855 г. участия в смотре войск: "Вы исполнили свой долг. Я иду исполнять свой". В романе Лескова такой диалог происходит между герцогом и престарелым сановником, который считал своим долгом напомнить герцогу об имуществе уехавшего художника (С. 141).

22 См.: *Амфитеатров А.В.* Пути русского искусства // *Амфитеатров А.В.* Собр. соч.: В 37-ми т. Т. 21. СПб., 1913. С. 289.

23 Там же. С. 308–309.

24 Скорее всего "внутренний Шер" — собирательный образ. Лесков наделяет его чертами Л.В.Дубельта и графа А.Ф.Орлова, которые в разные годы николаевского царствования стояли во главе корпуса жандармов. От Дубельта в Шере — ум, ирония, прозорливость, отмеченные всеми, кто когда-либо описывал "лукавого генерала", например, Герценом в "Былом и думах" (*Герцен*. Т. VIII. С. 57–58). П.Каратыгин также вспоминал, что по должности, им занимаемой, и отчасти по наружности Дубельт был "предметом ужаса для большинства жителей Петербурга" (*Каратыгин П.П.* А.Х.Бенкендорф и Л.В.Дубельт // *ИВ*. 1887. № 10. С. 174). Об А.Ф.Орлове, умевшем исполнять интимные поручения императора, см.: *Россет-Смирнова А.* Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929. С. 288.

25 *Эйхенбаум Б.* Сквозь литературу. Л., 1924. С. 155.

26 Реальной Италии Лесков никогда не видел. Он заимствует из арсенала романтической поэтики символ прекрасной страны под этим названием. Правда, есть основания предполагать, что Лесков мог быть знаком со статьей В.В.Стасова "Гоголь и русские художники в Риме" (Древняя и новая Россия. 1879. № 12), где описывается быт русских художников в Риме. "Большинство тогда не считало, пожалуй, того и настоящим художником,— писал Стасов,— кто не пил, не буянил и не выкидывал поминутно тысячи нелепых безобразных штук". В этой же статье описан приезд в Рим в 1845 г. императора Николая I вместе с вице-президентом Академии Художеств Ф.П.Толстым и их отношения с русскими художниками, которые отчасти напоминают в романе "Чертовы куклы" встречи художников и герцога неизвестной страны. Лесков мог читать эту статью в журнале и использовать ее материал при работе над романом. Впоследствии статья вошла в Собрание сочинений В.В.Стасова (Т. 2. 1894. С. 223–229).

27 Записки Астольфа де Кюстина "Россия в 1839 году" впервые вышли в свет в Париже в 1843 г. В России книга была хорошо известна, несмотря на запрет николаевской цензуры (см.: Из записок сенатора К.Н.Лебедева. 1843 // *РА*. 1910. Вып. 8. С. 489).

ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ

Окончание романа

Черновая редакция

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Фебуфис[1], отпустив жену, выдерживал характер и не обнаруживал никакой о ней заботливости. Он хотел показать ей, что она немного для него значит. Пожар, зажженный им в квартире[2], был погашен домашними средствами и испортил только обстановку одной комнаты, смежной со спальней бежавшей прекрасной хозяйки... Он никак не ожидал того, что случилось, и когда присланный к нему дворцовый офицер потребовал, чтобы он сейчас же ехал с ним к герцогу, Фебуфис пришел в удивление, которое тотчас же угрожало перейти в бешенство, но, однако, на том только и остановилось. Фебуфис был уже не тот, что в Риме, когда он язвил кардинала или отвечал дерзостями своему прирожденному государю[3]. Он боялся герцога, и это ему было обидно, больно и противно чувствовать, но он должен был ехать и, может быть, сносить самое крутое обращение... И он на это был готов и одевался с решимостью выдержать натиск гнева герцога и тотчас же просить увольнения от здешних служебных обязанностей и оставить государство: но прежде чем пришло время это исполнить, явился новый посол от герцога с указанием — удержать Фебуфиса в его квартире до особых приказаний герцога. Это было еще неприятнее, чем бурная сцена. Это было уже наказание за жену: Фебуфис сидел под домашним арестом.

Прошел час, другой и третий, Фебуфис все еще ждал и был один в ее опустевшей квартире. Он не пил и не ел целый день, и все сочинял в уме красивые объяснения перед герцогом, который, по его мнению, вмешался не в свое дело, но Фебуфиса не звали. Он спросил вина, выпил много и совершенно пьяный пришел в спальню жены, разбил ногою ее табуретку и уснул на ее неубранной постели...

На следующий день он проснулся с головной болью и едва понял, что его требует к себе сановник, имевший почетное начальство над художественным учреждением, при котором Фебуфис состоял на службе. Он явился по требованию и провел здесь один-одинешенек целый день в ожидании герцога, который хотел сюда приехать и здесь видеть навлекшего его гнев Фебуфиса. Ожидание было томительно. В течение целого дня Фебуфис не видал никого, кроме лакеев, которые приносили ему кушанья и снова безмолвно удалялись, но в сумерки его посетила жена президента, пожилая и чопорная дама, имевшая высокую репутацию благочестивой женщины строгих правил и пользовавшаяся большим значением в обществе. Она села у окна и, пригласив Фебуфиса занять вблизи ее место, сказала:

— В вашем положении, которое казалось непоправимым, произошел счастливый перелом. Я сейчас из замка и видела вашу жену... Она столь же добра и мила сердцем, как прекрасна наружностью... Это ангел. Весь день вчера и сегодня она провела у баронессы Нелли[4], которая о ней заботилась. Ночью, говорят, она много плакала. Герцог очень тронут ее положением и сам старался ее успокоить. Он умеет это сделать как никакой другой мужчина в свете. Это и понятно,— его сан и его простота и сердечность вместе производят обаяние... Жена ваша спокойна за себя, и все, что ее еще беспо-

коило,— это была участь, ожидавшая вас... Нелли и я — мы не могли ничего сделать для того, чтобы дать этому благоприятный оборот, но все это сделалось само собою. Герцог навестил Помону[5] после обеда и сейчас, когда он выходил из комнаты, где вдвоем с нею беседовал, она упала перед ним на колени и, схватив его руку, покрыла ее поцелуями и со слезами просила, чтобы вам не было сделано никакого зла. Герцог поднял ее, сам поцеловал у нее руку и сказал ей, что он вас прощает. Приготовьтесь его встретить и будьте умны: он вскоре сюда приедет.

Наконец он и в самом деле приехал. Это было час за полночь, когда его уже не ожидали. Герцог был один без всякой свиты, суровый и грозный, но с сдержанностию, которой Фебуфис не ожидал. Герцог взошел и предложил Фебуфису несколько вопросов, касавшихся порученных ему работ, а потом, смерив его с головы до ног глазами, сказал:

— Теперь ты можешь отправляться домой. У тебя дома все снова в порядке... Это сделал я!.. Я сейчас сам проводил твою жену... Она слаба, и я потребую, чтобы ты ее поберег.

Фебуфис хотел сказать какую-то довольно значительную из приготовленных им фраз и сказал только:

— Вы слишком милостивы.

— Да, и очень сожалею, что я много тебя старше: иначе ты мог бы иметь во мне очень предприимчивого соперника... Твоя жена прелестна. Спеши к ней и старайся загладить умным поведением все, что случилось!

Фебуфису оставалось откланяться и следовать по указанию. Из всех красивых положений, о которых он думал, не вышло ровно ничего: ему оставалось только “заглаживать умным поведением то, что случилось”

Но что же такое, собственно, случилось! Фебуфис был недоволен своим положением, он вспылил, обошелся с женою невежливо, даже грубо... Даже непростительно грубо. Он достоин строгого осуждения. Она с ним не объяснилась, не сделала ни малейшей попытки его успокоить, а обнаружила ту же строптивость, угрожала ему и выдала его головою... Теперь какая она жена! И притом Фебуфис достоверно знал только о своем поведении, но ему совсем неизвестно, как все это представила его жена? И как она сама себя держала?.. Ведь это важно... Она женщина... Семейная жизнь погибла навсегда... Мир к ним в дом не может возвратиться... Фебуфис это отлично понимает... Он человек падший, испорченный и расслабленный фаворитизмом,— у него нет ни прежней силы, ни энергии; он отвык ничем не дорожить, но тем не менее он все-таки не служебной, не чиновной натуры, у него душа художественная, он человек с чувством и с воображением... Он горд и понимает, как он унижен... Не станет он ничего заглаживать,— он с нею объяснится и кончит... Никакая власть не может насильно принудить человека оставаться под одною кровлею с женою, которая оболгала своего мужа и призывала на него кару...

Но это все ли “что случилось”? Все ли здесь то, что Фебуфис как муж призван загладить благоразумным поведением? Через него пробежал ледяной ток, как перед теми, кто подвергается опасности видимой смерти, нередко в одном мгновении ока проносятся воспоминания целой жизни, так перед Фебуфисом вдруг промелькнули все, кого сочла нужным вспомянуть ему Немезида: в их числе были Пик и Марчелла[6]... и в груди Фебуфиса упало сердце, и он почувствовал боль, какой еще не знавал... Ведь Помона и он соединены и в славе и в бесславии. Он никогда не знал, что это так тесно и так плотно одно с другим сцеплено...

Он ли обидел ее больше меры, или... быть может... теперь не он в долгу у нее, а напротив — он оскорблен ею свыше терпения... Двое суток в замке...

Под одною с ним кровлей... Быть может, в покоях Нелли... баронессы Нелли, имеющей отставную и подставную роль... Она была фаворитка герцога и осталась ему полезной и нужной в сношениях с другими[7]... Правда, что Помона есть воплощенное целомудрие и притом она была в слезах и горе... Не могло же все это сделаться так скоро... Не мог он быть так бесстыден и груб... Нет: это вздор! Это вздор!

Фебуфис в этих размышлениях дошел до дверей жениной спальни... Теперь он сейчас объяснится и увидит, "что такое случилось" Но на дверях вместо прежних опаленных драпировок висел перекинутый через золоченую стрелу китайский ковер с красным драконом на лучистом фоне. Это был ковер, который изготовляли на ковровых фабриках герцога по рисунку Фебуфиса и под его наблюдением.

Кранах заграждал вход Фебуфису[8]. Тот тронул за ручку двери, но дверь была неподвижней, чем позавчера, и вдобавок оттуда из-за дверей слышно глухое и страшное рычание, вероятно, огромного пса.

Герцог распоряжается в моем доме, как саксонский король в доме Козель[9], но я еще не его подданный, и он это увидит.

Фебуфис еще налегнул на дверь, но к нему в ту же минуту подошел его слуга и сказал:

— Мой милостивый господин, не делайте себе неприятностей: я должен сию минуту бежать и известить о том, что вы делаете.

Фебуфис вместо ответа ударил его по лицу. Тот закрыл щеку рукою и удалился.

Фебуфис ушел наверх в свою мастерскую и решил, что завтра он прежде всего убьет собаку, которою обзавелась его жена, а потом прогонит наглого лакея. На то и на другое он, конечно, имел полное право[1*].

Поступок этот, способный вызвать гнев против человека, позволяющего себе такое обращение, тогда ценился гораздо снисходительнее,— особенно в стране, управляемой герцогом, где царило резкое разграничение сословных положений и слуги пользовались самыми меньшими человеческими правами, мало чем отличавшими их от домашних животных. Деморализация в этом отношении была тогда общею для всех привилегированных туземцев и довольно легко входила в нравы и обычаи попадавших сюда иностранцев.

Фебуфис, несмотря на свой бред демократизмом, который не сказывался в нем ровно ничем серьезным, не избег общего растления и, нанеся удар слуге, не придал этому никакого особенного значения. Лакей получил то, чего был достоин за свою наглость, и Фебуфису более не было до него дела. Он имел слишком много настоящего горя и досад, чтобы останавливаться еще на этой мелочи. Лакей чуть не осмелился вмешаться в его семейные дела — защищать от него его жену... Он завтра же выгонит этого негодяя и только... А теперь он его не хочет видеть и обойдется без его помощи.

Фебуфис второй раз был отлучен от своего супружеского ложа, и он тяжело чувствовал это унижение... Ему оставалось брать приступом свою спальню или снова идти наверх в свою мастерскую...

Он мог бы, конечно, избрать первое, но... он вспомнил, какую решительность обнаружила его жена, и предпочел второе. Он взял горевшую на столе свечу и стал подниматься по дубовой спиральной лестнице наверх и едва преступил порог мастерской, как остановился в изумлении... Комната была переформирована без его ведома, и Фебуфису не было нужды

[1*] Далее следует вставка в текст (см. об этом во вступительнй статье к публикации).

проводить ночь на оттомане: здесь... была поставлена его кровать из резного ореха и отгорожена его же половинкою китайских ширм. Постель была постлана, на стене повешен ковер, а в средину подушки воткнута большая золотая шпилька, вырванная им три дня тому назад из прически его жены...

Это был, конечно, символ его вины и его изгнания... Но кто же всем этим смел так распорядиться? Помона!.. Или даже, может быть... Нет, это именно и не может быть! Как ни любит герцог патриархальность, не может быть, чтобы он доходил до такой патриархальности, чтобы размещать по своему усмотрению супружеские спальни... и в таком разе зачем же он не оставил ее у себя?.. Зачем он ее сюда привез? Зачем говорил о том, чтобы что-то загладить? Разве это ведет к миру и к... заглаживанию... того, что случилось... Случилось?.. Это скорее похоже на то, что случившееся еще должно не раз случиться, если Фебуфис не станет за свои права и не даст всему иного оборота... Но в том-то и дело, что он его даст... он не покорится,— он бросит к черту все,— все герцогские милости и все выгоды своего положения, но не уступит... О, эта женщина над ним не будет смеяться, и если это она воткнула свою золотую булавку в его изголовье, то он переместит ее на другое место...

Фебуфис выхватил булавку из подушки и со злостью воткнул ее в портрет Помоны на том месте, где приходилось сердце, и сам лег не раздеваясь в приготовленную постель.

Но сон долго бежал от него: он то думал о том, как он уедет из владений герцога, то о том, как Помона увидит свой проколотый портрет, то самая мысль и забота об этом начинали представляться ему недостойным и унизительным для взрослого человека ребячеством, и он хотел сомневаться в том, что все происходящее действительно происходит, что все это не дурной, тяжелый сон, что он так низко пал, допустив себя до невозможного положения в доме и в обществе, где от него теперь, конечно, все отвернутся... О Мак, Мак! Как он был справедлив, когда говорил, чтобы не заводить ничего близкого с великими мира... И как теперь знать, что случилось? Что именно случилось? До чего дошло или доходило... или еще должно дойти... Но ведь он муж, а не любовник Помоны,— он имеет на нее все права... Он никому не намерен уступить этих прав, и он их не уступит... не уступит всем на зло и не уступит и потому, что Помона прекрасна и она ему нравится... Да! она нравится! И именно теперь она ему так нравится, как не нравилась до сей поры, когда ее у него никто не оспоривал и никто не смел мешаться в их отношения... И это прекрасно: он этому рад,— он рад, что она ему так нравится, и если бы дверь ее спальни не была так твердо закрыта, он бы, кажется, сейчас же встал и пошел к ней... Он бы с ней объяснился кротко... он бы говорил с ней ласково и с терпением слушал бы ее жалобы и укоры... Или даже не так: он бы совсем ничего не сказал ей, а только обнял бы ее... Нет,— она бы этим возмутилась, но он бы упал к ее ногам, обнял бы эти прелестные ноги и целовал бы их без ума и без памяти, пока бы она над ним сжалилась... простила его... и возвратила ему ласки, отринутые им из-за капризов и денежной обиды, в которой она не повинна...

Он так и сделает! Прочь гордость! Прочь самолюбие! Много уже из-за них пожертвовано! Какая гордость перед тем, кого страстно любишь! Надо спешить, надо спасать свою честь, спасать чистоту бедной Помоны, пока все держится только в пределах опасного подозрения... Он уверен, что в настоящем могут иметь место только одни подозрения, но если это оставить... если это длить... Правда, что он потеряет господствующее положение в гла-

зах Помоны... но это ничего! Он идет, он будет стоять у дверей ее спальни и звать ее, пока она не откроет.

Фебуфис так решил и тотчас же встал с постели и, не зажигая огня, начал тихими и осторожными шагами спускаться с дубовой спиральной лестницы.

Но ад и смерть!.. нижняя дубовая дверь лестницы была заперта и так же неподвижно тверда, как дверь в спальню Помоны. Что это такое? Кто мог ее запереть? Что надо сделать?.. Шуметь, стучать, звать людей или молчать и возвратиться наверх и завтра притвориться, что все это ему неизвестно. У Фебуфиса все завертелось в голове, и на мыслях у него появилось: не запер ли он сам за собою эту дверь? Ему что-то помнится, как будто он имел намерение запереть эту дверь за собою,— вот он ее и запер. Но где же ключ... Ах, зачем он погасил свет!.. Или, может быть, дверь просто слишком плотно затворена. Фебуфис налег на нее плечом и остановился... Он понял, что делает глупость и что ему изменяют все чувства и над его разумом берет верх призрачная фантазия: ему слышатся тихие шаги, шепот, поцелуй и опять шепот, и тихий скрип двери, а затем тишь...

Но почему же это только фантазия? Почему не такова была и есть в самом деле действительность?.. Если только возможно совершиться всему такому в такое скорое время, то почему оно не могло быть в действительности? Но все это еще условно, а несомненно то, что Фебуфис доведен всем предшествовавшим до такого нервного возбуждения, которое близко граничит с безумием.

Фебуфис испугался: ему было страшно сойти с ума: он схватил руками свою голову, взбежал назад и бросился в постель и в ту же минуту впал в состояние, менее похожее на сон, чем на транс или каталепсию по нем струями пробегали ощущения ревности, истомы и сладострастия. Он ощущал свою жену, чувствовал ее ласки и засыпал, мгновенно переносясь в улетевшее прошлое,— видел Рим, таверну, Мака и Пика, голубую ночь у окна, в которое дышит прохлада, и в глаза ему смотрят с легким укором большие черные глаза Марчеллы... Она обнимает его, но он вспоминает другую, которую обнимает кто-то другой... и он просыпается и снова опять засыпает, чтобы снова увидать то же самое с небольшим изменением... Во всех узорах проходит одна нить — *ее обнимают.* Он хотел бы уснуть глубже, крепче, надолго, чтобы все позабыть... ничего не видеть. Он знает, что это для него самое лучшее, самое спокойное и желанное, и он делает в этом направлении самое старательное усилие и... просыпается окончательно с тяжелой головой и подавленным состоянием всего тела...

Совсем светло на дворе, должно быть, давно белый день... Слышен шум жизни, движение... Ему кажется, будто его будили... Но кто его может будить? Нет, это ему только казалось... У него в доме разгром, разлад, беспорядок, в котором расстроен склад жизни,— нет ни трудолюбивого утра, ни сладкого отдыха ночи... Он не хозяин, не господин в своем доме, он какой-то азартный, безумный игрок, который вел игру с шулерами и проиграл все свое счастие.

Стук! Настойчивый стук в его дверь... Значит, ему не казалось,— его, значит, будили. Кто? Он вспоминает, что слуга его прогнан, и, конечно, это не он смеет стучаться...

Это, значит, *она* — Помона!

Она сама хочет с ним объясниться. Что же?.. тем лучше. Теперь он гораздо спокойней, чем был вечером. Какой ни есть, сон все-таки освежил его, а самое утро более способствует ясности суждений, чем вечер.

Фебуфис только не хочет говорить с ней, лежа в постели. Она, конечно, совсем одета, и он тоже встретит ее на ногах.

Он вскочил, поправил на себе свое платье и, проведя рукою по лицу и по волосам, повернул ключ в замке двери.

Перед ним стоял начальник полиции в герцогской столице,— пожилой, веселый человек, хорошо знакомый художнику по множеству разнообразных встреч.

Фебуфис никак не ожидал такого гостя и был до того удивлен его появлением, что не встретил его ни гневом, ни приветом, а полициант вошел к нему с ласковою и очень простодушною улыбкою и, пожав ему руку, сказал:

— Заспались, любезный maestro, и спите докуда хотите: вот преимущество всех вас, людей свободных профессий, меж тем как мы, презренные ищейки, на ногах спозаранок и все не успеваем переделать дела. Ну, да мы и не стоим иного и не должны вам завидовать, а должны вам служить. Я знаю, что вам нагрубил ваш слуга и еще пришел на вас жаловаться. Мы его отделали, и вам нечего о нем думать. К счастью, я могу радоваться, что имею возможность дать вам другого слугу.

И он рассказал историю о случайно известном ему превосходном слуге, которого счел себя вправе рекомендовать, чтобы доставить спокойствие Фебуфису и его супруге. С нею он уже виделся.

— Она лучше вас пользуется дружелюбием природы: она встала рано, и я еще на заре встретил ее в парке между гуляющими, которые пьют воды. От чего ей лечиться? Она свежа и чиста, как цветущая роза... Э, да, впрочем, и вообще эти воды пьют больше для удовольствия, особенно в нынешнем году, когда пьет их герцог... Все его любят, и все хотят видеть. И в самом деле его нельзя не обожать... Удивительный человек: какая страшная масса вопросов и сложных забот ежедневно проходят в его голове, а, меж тем, он находит еще досуг и возможность быть любезным, и, надо признаться,— когда он хочет быть любезным, он достигает этого чертовски ловко... или — я, кажется, некстати выразился — он достигает этого в совершенстве. Сегодня он приехал не в лучшем настроении, и я только непременно ждал каких-нибудь неприятностей, но едва он прошелся и взглянул в лицо Авроры, как расположение его изменилось, он стал подходить к дамам и два раза кряду обошел музыкальный круг под руку с вашей супругой... Она была сама красота, как, впрочем, и прилично супруге великого художника... Хе-хе-хе!.. Она у нас королева красоты вне всякого спора, и все это чувствуют — все вам завидуют... Едва герцог посадил ее на место против оркестра, как к ней спешили подходить один за другим все... Ее пригласила на завтрак на свою половину баронесса Недда: сегодня рождение Недды. Как же, да ей сегодня должно быть стукнуло что-нибудь много... может быть, сорок два, сорок три... но как она еще прекрасна! Эти породистые дамы чертовски долго держатся, а она породиста... о, породиста... Вы как ее находите?

— Я, право, не знаю, о чем вы говорите,— отвечал Фебуфис.

— Я говорю о баронессе Недде, об этой чудной и чудесной женщине, которая имеет такое сильное и такое благодетельное влияние на нашего обожаемого герцога, и никогда, никогда не пользуется им для того, чтобы сделать какое-нибудь зло.

— А для чего ей делать зло?

— Да, совершенно не для чего,— вы правы,— совершенно не для чего, но ее положение тоже трудно: у герцогини есть свои приближенные, и лавировать между теми и другими требует много ума... Но я вам, однако, не го-

ворю самого главного: супруга ваша ни за что не хотела ехать прямо из парка на кофе к Недде. Она непременно хотела заехать домой и переодеться, но ее не пустили. Баронесса имела предубеждение, чтобы супруга ваша исполнила эту ее просьбу, потому что это ее *первая* просьба в новом году ее жизни,— и они спорили. Герцог подошел и, узнав, в чем дело, решил процесс...

— В пользу баронессы?

— Вы отгадали. "Первое желание в новом году жизни" — это в самом деле может иметь значение для женской впечатлительности, а наш добрый герцог — ведь его достает на все: он не только воин и политик, но он и артист и художник и еще более, чем все,— самый лучший знаток женщин... Женщины ведь все больше или меньше суеверны, и даже очень умные из них не прочь думать, что такие события, как их рождение, отмечаются на знаках зодиака. И зачем их в этом разуверять? Герцог сказал, что ваша супруга должна пить кофе у Недды, и если она боится этим огорчить вас, то он сейчас же пошлет вас известить, чтобы вы не ждали ее к завтраку, а чтобы сравниться с нею в готовности пожертвовать этим днем Недде — он и сам не будет кушать кофе с герцогиней, а придет к ним на половину Недды. Посторонних не будет — кроме племянников Недды, которые не составляют никакого персонажа, и супруга ваша не имела поводов далее отказываться. Ведь приглашенье герцога есть приказанье. И так она там, а я здесь, и притом не один и не с пустыми руками. Я прислал вам на пробу слугу, который есть в то же время и превосходный повар.

— И шпион?

— Что?

Фебуфис промолчал.

— Я не расслышал, что вы сказали,— продолжал полицеймейстер,— но все равно: это человек на все руки, и вы его можете повернуть на какую вам угодно службу. Он бывал на охотах с герцогом и прославился отличным умением делать кашу из зайца, а герцог вчера затравил много зайцев. Я прислал с моим поваром всю провизию и захватил тоже на пробу две-три старые бутылки,.. Вы на меня не рассердитесь: завтрак готов, и вот у меня в руке мой особый маленький штопор, который бережно вынимает самую старую истлевшую пробку, не накрошит в вино ни одной пылинки. Это мое изобретение. Умойтесь холодной водой и пойдем есть заячью кашу, которая в этом виде, признаться сказать, тоже есть мое изобретение. Делайте туалет при мне — я не выйду.

— Да вы, однако, изобретательны! — отвечал Фебуфис с маленькой ирониею, но без злобы, и, начав поливать себе лицо свежею водою у умывального столика, раздумался и сам над собою посмеивался самому себе в пригоршни.

— Не в самом ли деле самое серьезное и важное для человека не слишком ли близко с смешным, и как оно незаметно одно в другое врезывается и незаметно так крепко сцепляется и спутывается, что становится нельзя разделить: где теперь его заносчивая гордость и как в нее врезалось и с нею сцепилось и спуталось нынешнее его положение, в котором от него во все стороны летят и с чем-то перемешиваются какие-то хлопья и шматочки, и в общем это выходит совсем не резко и не страшно,— в общем тут даже как будто все обстоит благополучно. Даже более того, будто снизошла какая-то нежданная радость. И в самом деле нельзя сказать, чтобы не было неожиданно приятной радостной перемены. Какие томительные и пресыщенные терзаниями дни,— какие мерзкие события и какие мучительные ожидания унизительнейшего положения испытывал он минувшею проклятою ночью,

когда приходил в себя и когда забывал себя в полусне. Казалось, что ожидаемый день принесет с собой окончательный ужас и срам от смешения расстройства, мук и скандала, и вдруг все это кончается заячьей кашей... Правда, нет дома жены, и неизвестно, как еще с нею все обойдется, но и то это неизвестно только наверное, но приблизительно можно думать, что и с нею выйдет лучше, чем думалось ночью...

И этот неожиданный гость — дружелюбный, простой и веселый собеседник, полицейский директор — сколько он обнаруживает такта и понимания и как он умно и смело поступает.

Когда Фебуфис вытирает свое мокрое лицо и вытрепывает полотенцем свои мокрые кудри, тот уже стоит возле него и, поправляя дружески ворот его расстегнутой рубашки, говорит ему:

— Она в прекрасном обществе... Половина графини Недды — это вход в большой свет...

Фебуфис хотел послать к черту весь этот большой свет, но директор читает и это в его уме,— он продолжает:

— Этому нельзя быть иначе.

— Почему?

— Ну, как вы хотите — такая женщина, как ваша жена, должна блистать,— это ее назначенье... Покои Недды — это высшая школа всего... Не придавайте значенья тому, что случилось,— это все сгладят... Мало ли с кем ни бывало. Недда все сгладит, и вы будете жить для славы искусства... Вам надо покой, и вы его будете иметь, да... уж вы это увидите!.. Мы об этом позаботимся...

— Вы очень заботливы.

— Да-а!.. Бросьте свои печальные мысли... Все хорошо, все то хорошо, что становится хорошо... И у нас теперь все уже хорошо, лицо ваше много лучше, чем когда я увидал вас, когда взошел в это святилище музы... Идемте, идемте есть кашу.

Гость и хозяин в несколько смешанных ролях и положениях сошли вниз, где новый слуга, сменивший вчерашнего грубияна, прекрасно сервировал стол и прекрасно подал прекрасно изготовленный завтрак и погребец с дюжиною бутылок прекрасного вина.

Директор полиции сам отпер ключом погребец и сам очень скоро доставал и очень ловко откупоривал штопором своего изобретения дорогие вина, не уронив ни в одну из бутылок ни одной пылинки из их старой укупорки.

Все это приправлялось беспечным и живым балагурством в смешанном тоне военной веселости с довольно занимательным уклонением в область житейской философии и даже политических обобщений и юмора.

Бравый полицейский директор держал себя чрезвычайно дружелюбно и говорил так, как будто он заговаривал зубную боль в сердце. Фебуфис чувствовал к нему отвращение и в то же время находил своего рода удовольствие его слушать.

— Черт знает это что? — проходило в его голове,— по какому случаю он тут вертится и хозяйничает, и для чего он говорит, а я его слушаю, и потом тут же наносилось на мысль: — А черт его возьми, пусть его возится и говорит!.. Это меня удаляет, или это гонит от меня что-то такое, что, если вообразить себе во всей настоящей сущности и начать в это погружаться, то нельзя оставаться в покое и, быть может, не следует владеть самим собою. А ведь он не имеет никакого понятия о том, что же ему надо бы сделать в эти минуты, чтобы остановить что-то происходящее где-то наперекор всей его

воле и вредоносное всему его счастью, всей судьбе его жизни!.. Он ненаходчив, он просто глуп — он напрасно когда-то много о себе думал и был смел и боек в сношениях с людьми более или менее деликатных натур,— он умел с отвагой скрещивать острие шпаги с клинком другой шпаги, но с людьми, которые бьют обухом топора, он бессилен... Раз он к ним подошел на удобное для них расстояние, и один их удар упал ему на темя — под ним в голове все помутилось... Теперь уже врывается страх и забота не о том, как уберечь свое достоинство, но... приходит на мысль что-то о своей свободе жить и дышать... что-то до сих пор незнакомое и в то же время страшное и противное...

Полицейский директор представляется близко всего этого, но если ему не противоречить, если с ним не спорить, а сидеть с ним и кушать и не засматривать, что там у него за спиною, то... черт возьми,— он даже удобен,— именно он удобен для того, чтобы не видать, что закрывает собою показная сторона его дружелюбия и ласки...

Все это скверно, но уж если человек на это пошел, если он только пошевельнул умом в этом предусмотрительном и благоразумном направлении, так он пошел... пошел... и пошел... И не останавливайся, и ступай дальше!

Пошел! пошел!

Шпоры сломались,— а жарь клячу нагайкой! Ничего! Ничего! не для чего ее жалеть,— ее это не оскорбит... Она ничего больше не стоит, а меж тем она все-таки доковыляет до того, что ты станешь над ее яслями.

Фебуфис в полнейшем благополучии совершал эту скачку и находил удовольствие слушать сопутствовавшего ему товарища, слегка над ним подсмеиваясь в своем уме и слегка поддерживая его словоохотливость короткими замечаниями и вопросами. Речь любезного гостя текла как ручей, имеющий подземные ходы: не видно было, где его настоящий исток, и течение его вдруг неожиданно терялось, лишь только Фебуфис вспоминал о себе и сердце его сжималось от сознания унизительных сторон его положения, но лишь это на мгновение отходило, как ручей опять вытекал из-под земли и разливался широко и светло, и по берегам его шли разнообразные пейзажи, на которых происходили оригинальные и живые сцены, частию буколически невинного, частию исполненного драматизма содержания. И все это то выскакивало, то пропадало, как гуськи, наклеенные на передвижную тесьму в детской игрушке. Фебуфис точно то засыпал, то просыпался, и довольно было ему сказать впросонках одно слово, чтобы из уст его собеседника полилась целая повесть.

— Вы настоящая Шахерезада,— говорил он директору,— я никогда до сих пор не знал, что вы такой философ, и рассказчик, и изобретатель![10]

— О, милый друг, вы еще очень многого не знаете! — отвечал директор.— Все вы, приезжающие к нам из дальних столиц и так называемых "важных центров цивилизации", очень жалки.

— Вот как!

— Конечно. В вас всех слишком много самомнения: вы думаете, что, имея перед нами преимущества в образовании, вы можете сделаться у нас нашими руководителями и учителями. Это ужасная и страшная ошибка, за которую вы часто и платитесь. Нас одолеть нельзя... да... да... Пока мы то, что мы есть, нас никто не раскусит и не одолеет. Образование делает людей нервными и чувствительными, а необразованность сохраняет грубость, а в грубости своего рода сила. Нервный и нежно чувствующий человек никогда не устоит против дикаря, особенно против сильного и самодовольного дикаря. Это аксиома. Припомните прежних людей того времени, когда были

пытки,— какие мучения они переносили, а теперь изнывают и убивают себя от душевных страданий. А что такое душевные страдания?

— Однако!

— Э, полноте! Возможно ли сравнивать! Уж поверьте, что сатана не глупей нас, а он, как ни добирался с божьего позволения до Иова, все-таки самым действительным средством признал добраться до его кожи[11]. Кожа человеку всегда ближе всего отвлеченного. Чувствительней тела нет ничего, а все нравственные вещи зависят от того, как мы их себе представляем. Вы с своей цивилизацией уже не имеете средств наблюдать это так живо и ясно, как мы: у вас людей уже давно не бьют и наказывают больше нравственно, а мы еще удержали старый обычай, и это дает силу... Да, да, нечего вам улыбаться,— это дает силу, какой нет у вас. Я сам уже испорчен этим так называемым образованием и принадлежу к привилегированному классу людей, которых не бьют, но я по своей службе часто присутствую при том, как бьют, и всегда удивляюсь, как это переносят. Человек просит только дать ему какую-нибудь монетку в рот и все.

— Зачем?

— Зачем монетку-то? — А он ее грызет, пока его бьют.

— Ну?

— И терпит... Ему легче. Его бьют, а он кусает так, что иногда зубы трещат, кровь изо рта идет... зуб или два выломает и стерпит... Одну боль отвлекает другою.

— Вы рассказываете ужасы.

— Ужасы, да! Я их для того и рассказываю, что они ужасы, а нравственные страдания — это дребедень, это зависит от того, как и что человек себе представляет. От представления зависит все — даже самое понимание вещи. Даже и наши столичные жители, они слабее и жиже тех, которые живут в маленьких городках и в деревнях, и даже они меньше понимают. Там ведь труднее жить. Здесь больше выбор,— тут вы не сходитесь с одним, так можете сойтись с другим. От этого вы небрежнее в ваших сношениях, не боитесь остаться одни среди общего отчуждения, а там не из кого выбирать, и оттого человек научается ладить с другими, чтобы не остаться совсем одиноким, как волк на садке. Отсюда уживчивость и снисходительность.

— То есть равнодушие к добру и злу?

— Если хотите... да.

— И никакого движения, никакого прогресса.

— Да и черт с ним! Он нам и не нужен.

— Браво!

— Браво!.. И выпьем еще эту бутылку.

— Это будет вторая.

— А что за беда! Мы ведь одни, в холостой компании. А я вам расскажу и о прогрессе. Это курьезно и касается отчасти знаете кого?

— Нет, не знаю.

— Это касается самого нашего герцога... Он тогда был еще молод,— его отец, старый герцог, был жив и управлял страною. Он держал сына крепенько, в ежовых рукавицах, но потом, овдовев, попал под влияние одной иностранки, которая внушала ему гуманные идеи... И он стал поддаваться. Она недолюбливала нашего нынешнего герцога, и он ее тоже. У них вышла сцена, и старый герцог послал сына попутешествовать по стране. Это было зимою. Я был тогда молодым офицером и находился в его свите. Я вам потом расскажу, как я в это попал. Это тоже изобретательная история.

Дело было зимою: мы ехали на лошадях, посещая разные города, и принц — нынешний герцог — из всякого места, где мы останавливались,

посылал отцу подробные описания всего, что он видел. Этого требовал старый герцог, может быть, по внушению той же иностранки, которая отнюдь не была зла и действительно была образована и считала полезным отвлечь принца от однообразия придворной жизни и ознакомить его с страною, которою он будет управлять. Разумеется, из нас, сопровождавших принца, никто не знал, что такое он пишет отцу, а он написал ему такие ужасные вещи, от которых мы испытали жесточайшие страдания. Я открываю еще бутылку.

— Это будет третья.

— Что за беда.— Мы одни, а то, что я вам сейчас расскажу, хотя и давно прошло, но подирает меня холодом и дрожью. Это была настоящая политическая история. Пейте залпом этот стакан за минувшее мое бедствие. Спасибо. Я продолжаю.

Едва мы перевалили все лежавшие у нас на пути дорожные сугробы и, натерпевшись много на неудобных ночлегах, достигли большого города, где нам надо было прожить до получения дальнейших приказаний герцога, как губернатор того города посетил старшего из лиц, сопровождавших герцога, и в величайшей тревоге стал нас спрашивать, где именно мы видели у жителей гранитные столбы. А мы слушаем и даже вопроса не понимаем, про какие-такие столбы? Мы нигде никаких гранитных столбов не видали.

— Как не видали?!

— Так, не видели, да и кончено!

Губернатор на нас глаза выпучил, а мы на него.

— Что же это такое?

— Не знаем!

— Его светлость принц изволил писать герцогу... он сам самолично видел гранитные столбы.

Недоразумение настало общее и поразительное, но тем не менее все мы, к кому ни обращался губернатор, ничего ему уяснить не можем, по одним и тем же местам с принцем ехали и одни и те же пейзажи смотрели, а гранитные столбы, возведенные у каждого дома, просмотрели... Губернатор не верит и очень обиделся, что он и его чиновники это проморгали и мы не заметили, а вот принц заметил и описал... И какие же подлые люди, эти жители: как они это выдумали, чтобы при каждом доме громоздить гранитный столб... и для чего это им?.. и ведь привезти всюду гранит — это сколько надо хлопот и расходов! Какая же цель!.. Какая цель? Чтобы все это проделать, надо иметь цель! Герцог так именно это и понимает,— он на это и обратил внимание и спрашивает с нарочным: "Немедленно доложить: с чьего дозволения и с какою целью возникли вышеупомянутые гранитные возведения, усмотренные принцем"

Все, сколько было при губернаторе нарочных и курьеров,— все заскакали во всех направлениях, чтобы видеть гранитные столбы, и возвращаются назад, говорят: ехали без отдыха, ночей не спали, коней позагоняли и себя измучили, а гранитных столбов не нашли. Губернатор закричал, затопал и начал неслыханно браниться: "Ах, вы такие-сякие, прохвосты этакие! Все вы хитрите, все продаете начальство,— ни Бога, ни начальства не боитесь — все заодно с крамольниками и покрываете их — не хотите сказать, зачем они гранитные столбы выстроили! Сами же будете за это наказаны! Это на нашу же голову... на наш же конец, лиходеи вы этакие и мздоимники... Но я теперь сам во все концы поеду и сам увижу и все узнаю..." И действительно, сейчас же почтенный старичок собрался и поехал и метался во все

концы, как верная собака, которая потеряла в толпе хозяина, а однако, и он сам нигде гранитных столбов не нашел... Вернулся этакий исхудалый и тихонький и говорит: "Действительно нет. Канальи жители их, вероятно, убрали и не признаются, где спрятали... Таят это, таят... Очевидно, умысел... умысел очевиден! А для чего? к чему? И главное против кого?.. Конечно, против нас... Сделать несколько обысков и арестов!"

Поскакали люди: где могли, все перешарили и, кто не мило в глаза взглянул, всех заарестовали, так что и сажать стало некуда, а гранитных столбов нет как нет, и все арестованные клянутся и божатся, что никогда их и не было.— "Что же принц врал, что ли? Кто это смеет сказать?" — "Да этого никто и не говорит, а только мы столбов не видали".— "А если не видали, так губернатор приказал *попарить* их..." Такое техническое выражение... Но только парили не всех, то есть не каждого, а из десяти человек одного... Девять отсчитают и прочь, а десятого парили... и жарко парили, но ничего от них не узнали... Закусит монетку зубами, да и оттерпится, будто ни в чем не бывало. Тогда...

— Однако здесь, мне кажется, жарко стало?..

— Тепло.

— А так как мы сейчас еще открываем бутылку, то... я думаю, нам можно себя облегчить и снять сюртуки долой.

— Пожалуйста, пожалуйста!

— Жду примера хозяина. Вот так!.. Прекрасно,— теперь легко. А эта бутылочка будет всем прежним сестрам старшая.

— Она будет уж пятая.

— Ну, может быть, и четвертая... Все равно: она идет за благополучное окончание с гранитными столбами.

— Да, они интересны,— сказал, пробуя вино, Фебуфис.

— Нет, вы еще подождите, они разъяснятся!

— Больше того, что было сделано,— нечего уже было и делать. Знаете, что Вольтер говорил про самую хорошенькую девушку?..[12]

Фебуфис кивнул головою.

— Ну, да! — продолжал директор.— Нечего и говорить: более того, что есть, никто ни у кого не добьется. Притом же время подходило к весне,— надо было обрабатывать поля, и жители стали просить принца, чтобы велел их отпустить. Принц в это вмешался и спросил: за что их взяли и держат. Губернатор отвечал, что за известные его милости гранитные столбы, которых теперь нет, и, куда они делись, никто не сказывает. Принц говорит:

— Да, я видел гранитные столбы и удивлялся, для чего они поставлены у домов.

— Ну вот,— говорят ему,— а теперь их нет.

Принц удивился: "Сам я своими глазами видел, говорит, а вы все лжете: отпустите их, пусть едут к себе землю пахать и собирать подати, а я назад поеду, сам вам столбы покажу" Людей распустили, а губернатора за несмотрение сместили и прислали нового, строгого-престрогого, чтобы смотрел, как бы птица не пролетела, а зверь не прорыскнул, а принца отец домой позвал, чтобы помириться с ним и все от него лично узнать о столбах и о других непорядках. Мы и поехали назад в столицу: путь веселый, весна, все зелено, все расковалось от снега и льда, леса зеленеют, сады цветут, реки струятся и блещут,— блеяние стад, пение птичек, благоухание лугов... просто прелесть... Одно только всех нас смущает, что принц наш невесел! Что бы тому за причина! А принц сам объяснил нам эту причину: "Что же это

значит,— говорит,— отчего так весь пейзаж переменился, и я не вижу тех гранитных столбов, что под окнами у домов стояли?" И мы их тоже не видим и не знаем, что ответить.

Принц приказывает: "Обратитесь из-под руки, узнайте, куда их девали" Обращаемся и так и этак — никто ничего не открывает. Принц рассердился и говорит: "Вы ничего не умеете,— я сам узнаю. Это надо ласкою" Увидал в одном селе в самом крайнем доме старик старый-престарый в старой же шубе сидит у порожка на скамеечке, греется. Приказал остановить лошадей и подзывает его к себе:

— Скажи,— говорит,— старичок, сколько тебе лет?

— Ох, ваша милость,— отвечает,— очень уж много я лет прожил, так что и жить больше не хочется.

— Что же, будет тебе от роду лет восемьдесят?

— Чего там, говорит, восемьдесят, моему сыну теперь уже восемьдесят, а мне и все сто пятнадцать годов.

— А память у тебя еще свежа?

— Что видел в свою жизнь — все и теперь как на ладонке вижу.

— И не солжешь?

— Я и сроду не лгал, а уж теперь зачем лгать-то стану перед могилой?

— Ну, хорошо,— говорит принц,— я тебе верю и во всем, что ты мне скажешь, поверю; скажи ты мне только, сделай милость, правду — что это такое значит: ехал я этою самою дорогою зимней порою по этим самым местам...

— Ну, хорошо,— отвечает старик,— помню, как ты ехал,— у нас тогда серого мерина загнали.

— Хорошо, я тебе за мерина деньги отдам, а ты мне скажи, что это значит, что я в ту пору видал возле каждого дома перед пустым окном стояли столбы каменные, и когда солнце на них ударяло, то был блеск от них. Отчего я нынче их не вижу? Какие они такие были и куда вы их убрали? Только отвечай мне, сделай милость, как старый человек, по чистой по совести,— ничего не бойся.

А старик отвечал:

— Мне, сударь, тебя бояться и нечего, и о чем ты говоришь, на то тебе дам весь ответ по чистой по совести. Дома-то у нас, как видишь ты, деревянные, в два этажика: наверху сами живем, а внизу держим скотинушку, а пустое окошечко без рамы, под которым тебе столб зрелся, у каждого в сеничках, и что наши бабы-нехи метут, скребут и с гребней стряхивают, все, не прогневайся,— за то, за пустое окно на земь мечут и сюда из лоханок и помойцы льют... Летом тут и курка и ворона ходят, лапами копают, и свинья рылом роет, а как морозцы пойдут, им рыть неудобь станет, и кучки-то обледенеют, да все вверх растут да растут, да где пониже, а где и повыше, до самого окошка вырастут... Кто едет мимо большою дорогою да смотрит без толку, тому и кажет, будто стоят столбы каменные и на солнце блещут, а они совсем и не каменные, а из домашнего сметья да из помой смерзлися. Когда ты оглядел их в студеной зиме, не ди́ва, что они тебе в ту пору каменною глыбою зрелися, а как ныне Бог нам послал ближе солнышко — кучки те на угреве — не прогневайся — и растаяли и разрыли их вороны и куры со свиньями, а что осталось, то талой водой в ручьи снесло.

Принц и губы вперед вытянул, швырнул старику денег на мерина, а других запряженных меринов плетерком побуждать велел, потому что дело это с столбами ему не понравилось, и он очень на солнце рассердился, и не хотел этот случай отцу пространно рассказывать, а все поправил тем,

что губернатору высший ранг достал, да и нас не забыл, а иностранку отставили.

— За что?

— Не умела держаться как следует.

— Что же она сделала особенного?

— Особенного ничего, но непрактична — слишком брала на бескорыстие. Ее припятнали и спустили.

— Попросту сказать — она прискучила герцогу, и он пожелал ее заменить иною.

— То-то что нет, а его заставили... ее припятнали.

— Как же это у вас припятнывают?

— Ах, друг мой, как же это враз рассказать? — это целое искусство, или даже культ, и притом наш оригинальный и непосредственный культ, развитый на нашей почве. Вы ведь к нам так жестоко несправедливы, что отрицаете наше значение в культуре, а это невозможно. Мы возьмем свое, да и непременно возьмем. И вы будете наказаны, если не нами и не нашей хитростью, потому что мы очень добры, то Богом, Который всегда за нас заступается, потому что Он любит простоту, а мы несомненно просты и разрешаем себе самые сложные и самые деликатные проблемы, как никто иной на свете. Вы спрашиваете, в чем оригинальность культа? Да вот хоть в самом важном и в самом щекотливом, возьмем хоть семейное положение — отношения между мужчиною и женщиною... Позвольте,— в других странах на этот счет построено множество теорий и делаются постоянные опыты, а ведь все чистейший вздор и ни к чему основательному не пришли.

— А вы пришли?

— Конечно!.. Мы не *пришли*, а мы всех *превзошли*!.. Да, да именно превзошли, и это не теориями, не рассуждениями, а одним превосходством натуры и такою умственною одаренностью наших женщин, за которые им нет равных, и им будет принадлежать первое имя в решении вопроса, который до сих пор еще не решен нигде.

— Что это за вопрос?

— Хотите знать?

— Да... отчего же нет? Ваши рассказы любопытны.

— Любопытны! И только?! Они, мой милый, назидательны и полезны! И то, до чего я теперь дошел и чего намерен коснуться, то всего прежде сказанного и любопытнее, и назидательнее, и полезнее, и это так и должно быть, и даже не может быть иначе, потому что касается венца творения, женщин, этих милых, всесовершеннейших существ, этих душек, дающих своею красотою и своими ласками смысл жизни мужчины:

Мы живем, пока нас любят,
Мы любимы быть хотим![13]

Хорошая, черт возьми, песня, но я уж разучился петь и лучше просто открою новую бутылку и выпьем ее за наших милых очаровательниц и губительниц...

— Это будет четвертая бутылка.

— А черт с ней, хоть бы она была и шестая. Зато я *тебе* (при этом слове Фебуфис тихо вздрогнул и сдвинул брови, директор продолжал, не обращая на это никакого внимания), я тебе теперь действительно покажу нечто такое, чему ты нигде не встретишь достойных сравнений. Оросим вином площадь наслаждения.

Они чокнулись стаканами, налитыми из новой бутылки, и оросили площадь наслаждения, а потом директор сбросил даже жилет, закатал вверх ру-

кава и, выставив вперед на столе локти своих покрытых волосатою порослью рук, начал сказание, глядя в упор в глаза Фебуфису.

Фебуфис же находился под двойным и притом усиленным давлением: его грузило и туманило выпитое вино, и он еще продолжал его пить, и чувствовал, что в эту минуту и в этой обстановке это для него не вредно, а даже годно и хорошо. Он знал гораздо более хороших песен, чем полицейский директор,— и одну он знал такую, которая была нова в то время, когда он уезжал из Рима, ее написал его соотечественник на его родном языке, и ее пели все веселые парни... Ему приходят на память эти слова:

Диким разгулом потешьте,
Дикий разгул веселит,
С диким разгулом возможно
Горе любви позабыть[14].

Отлично, отлично, и притом — совершенная правда! Но только какое же "горе любви"? В чем, собственно, сокрыто жало его для Фебуфиса?.. Это уже куда-то уплыло и где-то качается, как пробочный поплавок на водной зыби, а тут, близь самой души, что-то жмется, вьется и вспомнить не дается, а между этими призрачными и туманными видениями тяжело в самую затишь души въезжает волосатый полицейский директор. Он качается, стоя на толстой, плоскодонной черной лодке, под которою хлещет вино, и сама лодка качается и шуршит не то по песку, не то по тине и осоке, а он выставил обнаженные локти острыми углами вперед и входит ими вперед, внутрь самой души, чтобы разъединить и разорвать в ней все, что еще цело и сцеплено с сердцем.

Он то шуршит, то умолкает, тогда слышно, как льется вино, и Фебуфис все слушает, а тот говорит.

— Философы врут, да и все врут, будто женщины какие-то особенные существа, а не такие же точно люди, как мы. Это вздор, и притом вредный. У французов завелась мода помогать женщинам литературным путем. Пустяки! Надо не тем. Теперь звонят про Жорж Занд. Появилась, и, правда, пишет, а что же такое? "Rose et Blanche", "Indiane", "Valentine" Что же такое? Лучше бы продолжала рисовать позабористее картинки на табакерках. Госпожа Дюдеван!..[15] Не госпожа Дюдеван, а у нас есть женщины, которые лучше ее решили, что женщина так же точно способна ко всему, как и мужчина. Говорят, что мужчина может изменить жене и потом опять к ней возвратиться, и семейная жизнь его не понесет никакого ущерба, потому что он, хотя и изменит жене, а все-таки ее любит, меж тем как женщина, если уж отдалась другому, то она первого не любит, и муж ее должен быть несчастлив, и дети несчастливы, и дом, и семья, и сама она — все пропало и дома, и на поле. Погибель всего!.. Госпожа Дюдеван против этого что-то немует[16], да все это не то, все не то,— все с драмами и с трагедиями... Боже мой! Так ли это важно, как говорят? А? А у нас это понято гораздо ясней. Я сейчас расскажу: вообразите тоже пейзаж — муж — храбрый моряк средних лет, доброго рода, в порядочном чине... Жена — молодая дама ему совершенно подстать, лет в двадцать восемь и красоты непомерной. Ум такой, что на двух министров довольно, а добродетель насаждена на адаманте. К мужу любовь самая нежная и страстная,— к детям сугубо. Замужем десять лет. Детей пять человек,— воспитания и выдержки идеальной. Приказаний словесных не ожидают, а взгляда материного слушаются. Что ни пожелают сделать — прежде в лицо ей посмотрят и в лице

читают. Не в глазах, а просто в лице. Она может смотреть в сторону, может с кем хотите разговаривать, а они взглянут на нее и весь приговор свой прочтут — что можно и что нельзя. Она на часы посмотрит — значит, идти спать: встают и прощаются; она на вещь взглянет — а они уже знают, куда отнести или что подать. Словом, не дети, а музыка и идеал. И сами, разумеется, счастливы и спокойны, и здоровы, и родители тоже. Хозяйство таким же манером: сытое, достаточное — всем хорошо и без шума, без жалоб, без малейшего упоминания о прислуге. Муж — счастливейший из смертных: он у нее всегда и в сердце, и в голове, и в объятьях... Натура живая, чуткая и быстрая. Глаза слегка жмурит, тон лица горячий, матовый и бледный... Не искрится и не играет, а сшибет с ног, как замороженное шампанское. Немножко большерота, но линия губ удивительная. При маленьких ртах такой влекущей линии и не бывает. Те как-то свертываются фунтиком. Сердце открытое, смелое, честное и верное... Вы обращайте внимание на этот портрет.

— Я обращаю.

— А я продолжаю. Пленительность такая, что все к ней всех влечет и тянет, и все, что к ней приближается, получает от нее отблеск, отделку... все становится лучше и совершеннее. Что в древности были в Элладе философы, то была она для окружающего общества... Разумеется, в своем роде. К ней возили молодых людей, чтобы они набирались хорошего тона и учились держать себя в обществе. Дом ее был настоящею, хорошею светскою школою, где прививалась не одна внешность, а и настоящие благородные идеи. Именно она всего более и велика была в сфере идей... Она даже была немножко того... на нее посматривали и следили за ней, но это было напрасно: ко всему, что она не оправдывала, она относилась только отрицательно — как будто это ее не касалось, или, по крайней мере, не интересовало, хотя на самом деле и интересовало. Она будировала на особый манер: ни о самом герцоге, ни о лицах герцогской семьи в ее гостиной не говорили, и знали, что такой разговор там невозможен. А если кто-нибудь ошибался и по неосторожности хоть как-нибудь заводил такую речь, от которой открывался свободный переход к вопросам, касающимся "запрещенных лиц", то такого гостя больше не приглашали. То же самое наблюдалось в вопросах веры и набожности: баронесса считала эти вопросы "слишком серьезными для разговоров в гостиной" Нравственно она была безупречна, но свободна. Герцог одно время очень сильно искал ее снисхождения, но достиг только того, что целовал ее руку и говорил о ней с нескрываемым удивлением и называл ее Мимозой. Муж ее, барон, был счастливейший муж, а предосторожность ее к сохранению неприкосновенности его и своей чести была так велика, что, когда герцог назначил его в морское кругосветное путешествие на три года, баронесса, проводив мужа, сейчас же оставила столицу и уехала в свое деревенское поместье, находившееся в отдаленной лесной местности герцогства. Она уезжала туда, чтобы избегнуть всяких толков и время своего невольного и тяжкого вдовства при живом муже посвятить исключительно воспитанию детей. Это всем казалось ужасным — "похоронить себя заживо на целые три года в дремучих лесных дебрях", но ее это нимало не ужасало. Ей говорили, что она трех лет одиночества не выдержит и вернется в столицу, "где все-таки есть люди", а она не спорила, но говорила, что "и в деревне есть люди".— "Ну, какие там люди?" — А она улыбалась и говорила: "какие мне теперь нужны". Над нею смеялись, называли ее Пенелопою, сам герцог, шутя, угрожал ей "приехать к ней охотиться в ее дебри и перепутать там ее пряжу" Она отшучивалась, говорила, что это "слишком далеко" и снисходительно улыбалась, вероятно, потому, что она никогда не смеялась.

Эту ее особенность я, кстати, забыл сказать, что она имела веселый ум и веселый взгляд на все, но никогда не смеялась, как все прочие, а только улыбалась, но улыбалась так, как будто небо... или мы не знаем, что такое небо, а как-будто самая суть жизни из нее вам улыбалась...

— Вы говорите об этой баронессе слишком с большим восторгом!

— Непременно! Она этого и стоит. Вы меня оскорбите, если сейчас же не выпьете разом целого стакана за ее здоровье.

— А она еще здравствует?

— Да, и вы, может быть, увидите ее прелестные черты, которые были бы достойны вашей кисти.

— Но в ней, по вашим словам, есть немножко синий чулок?

— Синий чулок!.. Ха, ха, ха! Ты отгадчик... ты такая же премудрая крыса Онуфрий[17], как все, и в том-то и дело, что она одна всех умнее и выше. Пей до дна твой стакан. Пейзаж сейчас изменяет характер.

Лесистая, дикая местность. Сосны и ели до облак, ароматические испарения смолы, бальзамический воздух, цветы на полянах, закрывающие зелень травы. У корней прохлада и ягоды разных цветов и разного вкуса... грибы как эмалью покрыты. У пригорков ключи чистой родниковой воды, от которых вьются в ложбинках и тихо журчат кристальные ручьи. Пение множества птичек. Дятел где-то стучит, кукушка кукует... заяц прячется от орла и попадает к лисице... Можно видеть, как идет вся эта жизнь, но нехорошо заходить далеко: в оврагах есть волки, в хворостниках медведи, а в лужинах, в которые местами разливаются лесные ручьи,— лежат и скрываются от жаров кабаны... У них страшные клыки и бока покрыты толстым слоем смолы, в которую влипли и кора и сосновые иглы... Люди встречаются редко, и это всегда жалкие люди, мелкие, робкие, бледнолицые, с бесцветными и мутными маленькими и слезящимися глазами, босые или с больными ногами, обернутыми в кору, и сами завернутые в бесцветное тряпье и лохмотья. Они не поют, а едва стонут, и не говорят, а только в случаях крайней необходимости тянут из себя какое-то подобие звуков, для которых нет ни словаря и никаких фонетических законов... Несмотря на мою тогдашнюю молодость, я понимал всю настоящую дикость этой обстановки. Зато дом, или château[1*], который построили себе сто или более лет тому назад владельцы здешних гор, лесов, озер и ручьев, и оврагов, резко выделялся от нищеты местных крестьянских хижин, рассеянных по предгорьям и укрытых так, как будто их надо стыдиться. Замок был не очень большой и не очень красивый, но стильный, напоминавший рыцарство и средние века: фасад был ровный со всех сторон — ромбоидальный ящик, вокруг всего здания ров, во рву осока и тростник, потому что там есть ключи и есть всегдашняя влага, над воротами башня, до половины которой можно всходить, а дальше нельзя...

— Пот...

— Что?

— Пот-шему? — спросил Фебуфис.

— Ах, ты спрашиваешь, почему нельзя дальше всходить на башню?

— Дда.

— А потому что лестницы нет... Крыша башни обрушилась и обвалила потолок, и обрушило лестницу... Так это и заглохло и одичало, и на самом

[1*] Замок (*франц.*)

верху этой башни, между зубцами росла тощая, но длинная рябина, которая Бог ее знает на чем держалась, но во все три года, которые мы там прожили, приносила свои плоды. Они краснели долго-долго во всю ненастную осень и оставались бы на зиму, если бы их не обирали дрозды, по которым баронесса не позволяла стрелять по чувству отвращения к ненужному убийству.

Замок этот был построен для одной несчастной королевы, державный супруг которой находил удобство держать ее здесь, в отдалении от веселого двора, с которым она не гармонировала, а потом, когда она здесь умерла или была задушена[18], замок был приспособлен к охотничьим надобностям овдовевшего супруга, но в первое же его посещение умершая королева явилась ему во сне или в самом деле, и у них произошло что-то такое неприятное, что король не захотел более ни охотиться на здешних кабанов и медведей, ни оставаться ужинать и ночевать в этом замке с тощей рябиной на башне.

И черт бы побрал эту рябину: говорят, будто она произошла таким образом, что скорбная королева, скучая несносно, бросила вверх семечко, а ветер его подхватил и занес к зубцу, где было несколько пыли. Отсюда и пошло это деревцо, которое называли "тень королевы" Но все это, разумеется, было уже давно: больше полустолетия замок этот после коловращений судьбы по щедрости завоевателя и его милости к предку наших баронов составил теперь их фамильную собственность.

Дом, или, точнее сказать, замок, был давно не обитаем никем, кроме глухого старика сторожа Иохима, который в цветущую пору своей жизни, будучи солдатом, участвовал во взятии этого замка у инсургентов и теперь здесь же доживал свой век с больною дочерью, подслеповатою, золотушною девушкою лет восемнадцати. Жена этого сторожа и мать этой девушки давно умерла, упав по своей неосторожности внутрь башни, на гребне которой росло рябиновое деревцо. Но, несмотря на долгую необитаемость замка и его отдаленность от всякого человеческого жилья, а также на окружающую его дикую лесную местность,— он не производил никакого страшного или отталкивающего или унылого впечатления. Напротив, он смотрел очень гостеприимно, как укрытый в лесу сказочный замок доброй лесной феи, и, благодаря чистоплотности и рачительности старого Иохима, весь содержался в отменном порядке. Мебель старинная вся в чистоте и стоит вдоль стен, окна к приезду баронессы вымыли... Помещения множество, и комнаты все большие с редкими окнами. Во многих окнах стрельчатые верхи забраны разноцветными стеклами, двор маленький, мощеный камнем, вокруг всего здания коридор с окнами на этот дворик. Посреди двора колодезь с каменной обкладкой,— ворота дубовые с массивными железными петлями и замком, который запирался тяжелым ключом в поларшина длины. Все постройки из дикого камня, снаружи ничем не отделанного, но внутри покои оштукатурены и раскрашены густыми, как будто цельными красками. На стенах чьи-то старинные портреты и другие старинные вещи. Разместились удобно и очень просторно: баронесса взяла себе спальню и готический зал с окнами на север, чтобы ей удобно было заниматься живописью, в которой она была искусна так же, как в музыке, потом шла "тронная зала",— не знаю уже, чей там был прежде трон и почему она так называлась. В ней баронесса играла на фортепиано и на арфе, на другом фортепиано играла воспитательница детей и друг баронессы, строгая-престрогая особа Камилла, одних с баронессою лет. Они были большие друзья, и Камилла обладала такими разнообразными знаниями, что могла учить всему не только маленьких детей, но даже могла дать образование и существу взрослому. Это и открыло удобство

к тому, чтобы взять для старшего сына баронессы молодого человека, который мог обучать мальчика отечественному языку. Он сам тогда был еще очень молод и собственное его образование было не окончено, но он имел слабое здоровье, и для поправления его груди ему нужны были тихая жизнь и лесной воздух. К тому же, он был отлично рекомендован баронессе с нравственной стороны, и она хотела оказать ему пользу и взяла его для занятий с сыном. Родители юноши считали это и за величайшее счастье и за непомерную честь, так как имя баронессы стояло, как я сказал, чрезвычайно высоко, и молодой человек в ее доме при постоянном с нею общении непременно должен был пришлифовать к себе и все лучшие манеры бонтона, и все добродетели, и даже познания, так как Камилла заключала в себе целый магазин знаний. Он будет учить мальчика отечественному языку, а его воспитают на все руки и привьют ему все добродетели.

— И вдруг... что же случилось?.. догадаешься ты или нет, что случилось?

Фебуфис недоуменно покачал головой.

— Итак, ты не очень догадлив... Во мне, я вижу, больше художественных дарований, чем в тебе дипломатических или полицейских. Но все равно: пьем за здоровье Камиллы!.. Да, за здоровье многоуважаемой и строгой Камиллы.

В противуположность или в контраст с баронессой Камилла была нехороша, и даже очень нехороша. Она была учена, как мужчина, и в ее наружности было много мужского и потому отталкивающего. Это была массивная, широкоплечая и полная фигура с широкою, но неразвитою в известных очертаниях грудью, смуглолицая, с карими глазами, большим чувственным ртом и необыкновенно сильною волосною растительностью. На голове у нее была целая туча густых и толстых коричневых волос без всякого блеска, на верхней губе черные усы, как у юнкера, на щеках темный пушок, а на подбородке пучки... пучки... Кентавр!.. Ты понимаешь — он погибал! Цвет робкой юности, нежные листки asperula odorata[1*] должны были довременно увять под сению махрового tulipa silvestris[2*] Я, кажется, недурно и для щекотливого места живо рассказываю?..

— Да.

— Но я не погиб, мой друг, не погиб, а, напротив, все это послужило мне в пользу и привело меня в то состояние, в котором ты меня видишь, которому многие напрасно завидуют. Но... он много вынес...

— Почему один раз говорится "я", а в другой раз "он"?

— Разве я сказал где-нибудь "я"?

— И даже не раз.

— Ну, это потому, что я пью вино... А ты меня крепче!.. Итак, позабудь "я" — это lapsus linguae[3*] — читать должно "он" — безвестный бледно-розовый юноша asperula odorata и tulipa silvestris, или лесной тюльпан. Юноша сделался жертвой ее неукротимой любви... Это было слишком удобно и слишком соблазнительно... мы ведь все жили в лесу, в непроходимой дебре, отдаленные на огромное пространство от всего образованного мира... Дети и мы... нас трое людей, которые могли вместе сидеть, беседовать, заниматься музыкой, науками, чтением и... сюда же подкралась любовь... с одной стороны, именно со стороны мужчины, любовь робкая, ничего не смеющая и по-

[1*] Ландыш душистый (*лат.*)
[2*] Тюльпан лесной (*лат.*)
[3*] Обмолвка, оговорка (*лат.*)

корная,— любовь невольницы, любовь одалиски, а с другой — с женской — отвага, смелость и натиск и... оригинальность... оригинальность. Пьем за здоровье обеих! Вот так. Я продолжаю.

Не было слов о любви. Она пришла немая, как nympha silvestris, и овладела. Я это помню... О! Я этого никогда не могу забыть. Какая это была ночь! В лесу бушевала гроза, страшная гроза и буря, могучие сосны трещали и многие валилися с корня, испугался сам леший и уселся наверху, в зубцах башни — уселся и стал посвистывать. И сейчас жутко вспомнить... Это случилось после страшно жаркого дня... Гроза пронеслась, но воздух освежался нескоро... показалась луна, но ветер все еще с силою дул и шибко гнал облака. Было душно под сводами старинных покоев... Юноша встал, поправил маленькую ночную лампу, которая горела в узенькой нише в стене его спальни, и вышел в коридор. Здесь было свежее, вероятно потому, что старинные двери у входов неплотно сидели на своих высоких окованных медью порогах... Даже было чувствительно приятное течение воздуха. Удалявшиеся молнии еще изредка сверкали и освещали длинную нить коридоров, которые на мгновенье вытягивались при свете и мгновенно же вдруг исчезали во тьме. Рябина на верху башни трепалась по гребню мерно, как маятник, и секла ветвями... Лунное освещение, заменявшее блеск молоньи, было прекрасно... Я хотел им любоваться как можно больше и дольше,— хотел им насладиться, потому что мне было тяжело и невыносимо скучно... Я уже давно устал от этого ужасного уединения и едва ли бы не сошел с ума, если бы в жизнь мою не ворвались новые ощущения, переполнившие для меня все последующее время постоянным страхом, не оставлявшим места ни для каких размышлений. Скука была позабыта за леденящим страхом, который начался с событий этой ночи.

Роковым шагом я должен признать то, что я взлез в коридоре на высокое стрельчатое окно. В самом деле, я и теперь еще не знаю, как это случилось, или, лучше сказать, как я мог сделать это восхождение, не будучи отменным гимнастом. Стена была ровна, как все ровные стены в хороших постройках, и выкрашена масляною краскою, от которой ее поверхность сделалась еще глаже, а время и трение, которое она претерпевала когда-то от прикосновений[1*]. Каменные подоконники приходились в уровень с головою рослого человека, и при этом они были положены не прямо и ровно, а скошенною плоскостью вниз... Они были гладко сполированы, и на них невозможно было устоять иначе, как крепко держась руками за оконную раму. И я именно очутился в этом положении. Повторяю — я не могу вспомнить и не могу понять, как я взлез на одно из этих окон... Я помню только, что мне было невыносимо душно, что меня гнала ужасная, удушливая тоска и мне хотелось видеть что-то дальше стен и дальше кивающей с башни рябины, и я тут очутился и стал хвататься руками за гладкие переплеты дубовой рамы, которые у меня выскользали из рук, и я едва хватался, как сейчас же опять их упускал и стучал по свинцовой оправе разноцветных стекол и, вероятно, производил значительный шум, потому что сначала в двух противуположных концах коридора показались две белые фигуры с горящими свечами, огонь которых мгновенно был погашен порывом сквозного ветра, потянувшего в открытые двери, и что затем дальше произошло — я не помню. Или мною овладел испуг при виде белых привидений, или я был предрасположен к ка-

[1*] Так в подлиннике.

кому-то болезненному забытью. В определенном роде я только помню, что будто кто-то говорил обо мне, будто я лунатик...

— ...Тс!.. лунатик!

— Ай, лунатик!

Потом руки мои сомлели, колена подкосились, подошвы соскользнули с каменного откоса, но я не расшибся, я не страдал, я все позабыл, и жизнь моя пролилась, как вода из опрокинутого на жадную землю сосуда... Только где-то будто вдалеке, будто не на яву, а во сне, не словами, а вздохом кто-то кому-то шептал все одно: "Бога ради! Бога ради!" И в этом шепоте было все: и страх, и просьба, и моленье, и что-то такое, чего я не знал и что мне становилось знакомо впервые...

— О, Бога ради! Бога ради!

Без сомнения, со мною что-то происходило вне порядка, но я ничего не помню и, ох, зачем я этого не помню!

На другой день все шло обычным чередом. Я проснулся сам в свое время, но не начинал дня с того, чтобы погасить свою лампу. Она была уже погашена. Из этого одного я мог получить удостоверение, что не все представлявшиеся мне происшествия минувшей ночи были галлюцинацией или иллюзией. Очевидно, был момент, когда мой светоч погас,— огонь, уныло обливавший слабым светом высокий покой, под сводами которого неслись и сгорали мои юношеские мечтания, был задут, и я остался во тьме... в непроглядной тьме... Да, это было так! Мне стало не то воспоминаться, не то представляться, что я даже будто видел лицо и как на этот огонь дунули... какие-то большие губы... Ах, именно это были воспоминания, и они понеслись — и поплыли одно за другим, одно за другим, одно вызывая другое, и одно другим застилая... Самый опытный человек, может быть, не разобрался бы в том, как вести себя после такого случая, в котором мечту нельзя было отделить от действительности, а что мог изобрести для своего положения бедный юноша, воспитанный под крылом нежной матери и непричастный ни к каким опытам жизни? О, мой друг, пожалеем его и выпьем, чтобы поддать ему больше смелости, которой у него совсем не оказалось до того, что он взошел к завтраку в столовую на колеблющихся ногах и не смел поднять глаз ни на баронессу Зою, ни на Камиллу. Он знал только одно, что если баронесса станет ему делать выговор, то он упадет перед нею на колени, будет умолять ее простить его безумное поведение и потом завяжет свои вещи в носовой платок, взденет этот узелок на конец палочки, закатает панталоны выше колен, чтобы переходить лесные ручьи, и пойдет в изгнание...

У него уже была приготовлена и палка, с которою он должен был уйти, и был и план, что он будет с собою делать. Назад в столицу он ни за что не пойдет. Это и далеко и не отвечает более его положению. С одной стороны, он будет не в состоянии рассказать ни своим, ни чужим, за что он изгнан из замка ранее трехлетнего срока, а с другой — он имел совесть, которая не позволяла ему легко усыпить себя за все, что ему представлялось с того момента, когда огонь погас... Нет, он решил с собою не церемониться и ни на какой компромисс не пойдет: он уйдет в лес, выроет себе где-нибудь в сухом холме землянку и станет жить один, читая назидательную книгу и разводя на грядках горох, лук и огурцы... Со временем, через много лет, когда все, что было, позабудется, и он достигнет святости,— тогда что-нибудь переменится,— ему будут представляться видения не только в кофтах, но даже и без кофточек, но тогда ничто такое ему не будет опасно. Он будет знать, что стоит не обратить на это внимание, и покой нимало не будет нарушен.

Но вот в чем вопрос жизни: может быть, все это — и стена, и покатый откос, и удушливый воздух, и яркие молоньи, а с тем вместе и обе фигуры — все это было мечта, потому что дамы ему не говорят ничего! Да, да,— ровно ничего!.. Ни намека, ни звука, ни мины, ни выражения... С чего же он может начать?.. С чего?.. Мой Создатель!.. да смилостивитесь же вы, господа, над положением бедного ребенка. Ведь он иначе заплачет и кто-нибудь должен будет его утешать.

Это так и случилось. Он насилу высидел за завтраком и потом плакал под деревом; обед ему не принес ничего нового, и он опять поплакал в своей комнате, а перед вечером играл в зале с обеими дамами в волан и ушел к себе усталый, тщательно осмотрел свой ночник в зеленой стенной впадине и заслонил его бронзовым щитком, и лег, не зная, что приведет ему будущность, и... опять видел сон или виденье, и опять его огонь погас, и щиток, поставленный с вечера как следует, лежал теперь брошенный возле угашенной плошки... И затем опять день покоя, и опять огонь погас ночью.

Это было что-то вроде "Происшествий в замке Мадзини" или вроде какого-то иного из романов леди Радклиф[19]... Бьет полночь, и через пять минут в коридорах тихое движение, на железную ручку двери спальни юноши надавливает осторожная рука, дверь открывается и входит белое привидение... и оно направляется прямо к впадине, где стоит ночной огонек... одно дуновение уст — и нет его: огонь погас, и довольно нежные, но очень сильные руки удостоверяются, не подвергся ли он опять несчастному припадку лунатизма... И так шло постоянно в течение довольно долгого времени и никогда не разъяснялось никакими разговорами ни на каком языке, кроме языка лобзаний... страшных, сильных лобзаний, при которых осязательны были крупные лакированные зубы...

Вот что сделалось постоянным правилом жизни несчастного молодого человека, которого, пожалуй, можно было бы спросить: почему же он не запирал свою дверь изнутри; но ведь я вам, кажется, уже докладывал, что по роковому стечению обстоятельств в старинных дверях отведенного ему покоя не было внутреннего запора, а прилаживать что-нибудь подобное после лунатического припадка на подоконнике молодой человек не считал удобным. Он раз заставил было дверь креслом, но это не помогло: кресло было отодвинуто и... огонь погас! Это делалось смело, потому что за несчастным ведь надо было наблюдать... он ведь был лунатик... А потом он наконец и сам привык к своему положению, и, черт возьми,— ведь надо же иногда говорить правду,— а правда теперь была в том, что юноша уже и не видел нужды баррикадироваться и не искал разъяснений. Он имел настолько сметливости, что один раз подкараулил входящее привидение и, усмотрев в нем что-то как будто знакомое, открыл уста и прошептал:

— Бога ради!..

Но теплая ладонь полной руки накрыла его лицо, и в ответ ему пронесся тоже тихий шепот:

— Бога ради!

На том все объяснения кончились, и бедняжка после того чувствовал себя совершенно свободным от всякого сверхъестественного страха, но зато страх простого естественного свойства мучил его беспрестанно. Он никак не мог узнать, что внимание Камиллы к его лунатизму известно или неизвестно баронессе Зое, но не сомневался, что есть нечто такое в этом внимании, есть нечто такое, о чем Камилла, наверно, ничего не сообщает Зое. И он тоже не хочет и не может этого сообщить по множеству причин и между прочим потому, что его никто об этом и не спрашивает и что ни одна из дам не дает своим обхождением с ним ни малейшего намека на его лунатизм.

Напротив, все мило, все хорошо по-прежнему: дни идут своим порядком, дети уходят спать в девять часов, а он еще час читает обеим дамам, которые в это время работают, и затем все они прощаются: Камилла идет делать домашние распоряжения, а баронесса Зоя удаляется писать письма мужу, а он — к себе в свою комнату, где ложится спать и ждет, когда погаснет огонь...

Этак могло идти очень долго, и слушателю было бы несносно слушать дальнейшее повторение этой истории, если бы в нее вдруг не ворвались другие, посторонние и еще более беспокойные течения.

Я уже привык к моему положению и начинал думать, что все, составляющее в нем его таинственность, останется навсегда тайною для всех, но я жестоко обманулся. Один раз, когда я ожидал в моем уединении, что огонь мой погаснет, я услышал вдали по коридору обычный для меня шелест приближающихся шагов и... вдруг — тревожное восклицание...

Я испугался, вскочил с постели, задул сам мой огонь и стал к двери, прислонив к ней мое ухо. Там, в самом деле, был разговор. Он был короток. Я уловил только слова:

— Я увидала, что ты идешь, и мне пришла мысль, что ты лунатик...

— Представь, что я то же самое подумала о тебе,— отвечал другой шепот, после чего мне показалось, что обе встретившиеся рассмеялись.

Если им обеим было весело, то я не находил, чего мне огорчаться, но днем, когда я входил в кабинет баронессы, чтобы подать ей отметки о дневных успехах ее сына, я услыхал снова другой разговор, в котором уловил опять краткие, но много меня удивившие и напугавшие реплики.

Баронесса Зоя тихо говорила:

— Но на какой же все это конец?

— Ах, Бога ради! — отвечала довольно спокойно, отстраняя продолжение разговора, Камилла,— все на свете как-нибудь кончится.

— Как-нибудь! А твои обеты?

— Они до тебя не касаются, и притом...— Она замолчала и как будто тихо засмеялась.

— Менч интересует, что еще “притом”?

— Притом... я не знаю, так ли все это важно!

— Вот твое слово!

— Да, но Бога ради!.. Я слышу, он входит...

Итак, я не имел никакой возможности сомневаться, что я имел в этом разговоре свое место и что, кроме слов “Бога ради”, есть еще фраза: “Так ли это важно?” Но я был бы рад провалиться тут же у дверей баронессы и хотел уже бежать, как услыхал звучный голос Камиллы, которая твердо приказывала мне:

— Войдите!

Я вошел, робко тупя глаза в землю.

— Баронесса вас ждет, подайте ей ваши отметки.

Я подал тетрадку дрожащими руками. Я видел сам, как листки трепетали в моих руках, и нимало не сомневался, что это не могло остаться незамеченным баронессою, но она не подала мне ни малейшего вида,— пересмотрела отметки, сделала мне несколько дельных замечаний и вопросов и потом, возвращая назад журнал, взглянула мне в лицо и сказала, чтобы я передал ее приказание давать кушать.

Я пошел отдавать это приказание, и пока шел, мне казалось, будто, несмотря на спокойный тон, которым говорила баронесса,— рука ее немножко дрожала.

Черт знает почему, обстоятельство это мне было очень приятно и даже чрезвычайно мне льстило. Рассуждая основательно, я должен бы понять, что она была взволнована негодованием к сделанному ею открытию в замке, но я рассуждал как раз неосновательно и стал покрывать поцелуями листки, которых касалась милая и прелестная рука баронессы.

О, у нее была чудесная, красивая рука,— не такая большая и пухлая, как у Камиллы, а нежная, тонкая, удивительно изящной, миниатюрной формы.

Я зацеловал этот листок, отдал приказание и опять вернулся в кабинет баронессы, держа журнальчик в моей руке, вместо того, чтобы занести и оставить его в нашей классной комнате.

Камилла мне это заметила, но, когда я, сконфузясь, сделал движение, чтобы пойти и поправить свою ошибку, она сказала:

— Не надо, оставьте это здесь,— я пойду туда и отнесу сама.

При этом она взяла журнал и... мне показалось, что она почувствовала или увидала на нем мои поцелуи.

По крайней мере, мне так казалось, или я это чувствовал с прозорливостью влюбленного,— потому что я с этого дня был влюблен в баронессу... Да, я был влюблен, я был в нее влюблен, мой друг, со всею страстною глупостью девятнадцатилетнего мальчика. Я ничего не соображал, ни на что не рассчитывал и не надеялся — да и на что мог я надеяться; но я и не забывал, что у нее есть муж, что она его глубоко и верно любит, с замиранием и муками ждет его писем, и сама пишет ему чуть не в каждую свободную минуту. Я все это знал — все помнил, даже очень соболезновал и — право — больше, чем сама она, терзался, если посланный в город не привозил ей письма от мужа, и тем не менее — я ее страстно любил и считал бы высочайшим счастием за нее пострадать и умереть,— лишь бы только это было хоть на что-нибудь для нее приго́дно,— пригодно хоть на то, чтобы она немножко меньше скучала, если когда-нибудь запоздает почта с письмом от ее мужа.

Это не только может, но даже должно показаться смешным для таких взрослых людей, каковы мы теперь, но взрослые люди, которые умеют помнить свою молодость, конечно, должны помнить и то, что тогда любят не соображая и глупо, но зато женщины с тонким вкусом и воображением находят в этого рода любви свой — черт возьми — толк и интерес.

И я был открыт, изобличен и стал предметом насмешек. С этих пор мне не раз при входе случалося слышать, что Камилла говорила: "Как он смешон!" И я всякий раз знал, что это касается меня. Я старался быть как можно спокойнее и сдержаннее и, вероятно, становился еще смешнее. По крайней мере, когда Камилла глядела на меня, я чувствовал, что ее глаза смеются, а когда я выходил из комнаты, то вслед мне нередко слышался настоящий смех, а баронесса всегда это останавливала коротким словом или движением, которого я не видал, но — представьте себе,— я его чувствовал.

О, юная любовь! Сколько у тебя горя, какое у тебя ясновидение и до какого ты достигаешь прозрения!

И как я ее благословлял за то, что она не хотела надо мною смеяться! Каким пламенем я сгорал, чтобы ей хоть чем-нибудь воздать за это!.. О, если бы ей от меня было что-нибудь нужно! Я бы мог совершить для нее всякий подвиг,— подвиг самоотвержения, рыцарства, подвиг жизни, кинутой ей под ноги для самого малого ее удовольствия. И представь ты себе, что все это мне ниспослала судьба! Да, она ниспослала мне случай совершить подвиг, какого желал я, и отсюда опять открываются новые пейзажи.

Мы прожили зиму в нашем лесу. Приближалась весна. Снега оседали, и от их оседания часто слышались громкие выстрелы, как будто по нашему замку палили из пушек. Дороги расстроились надолго. Молодой парень, посланный в город верхом, чтобы отдать на почту письма, написанные баронессою, и привезти оттуда ей письма от мужа, возвратился с половины дороги и объявил, что ни переезд, ни переход через реку невозможны. Баронесса томилась и приходила в отчаяние и дошла до поступка, которого нельзя оправдать и еще менее поставить ей в честь. Она послала на деревню объявить всем крестьянам, что даст большую сумму тому, кто решится перебраться по льду через реку и привезти ей ожидаемые из-за моря письма. Это, конечно, нехорошо — пользоваться бедностью людей и подкупать их рисковать своею жизнью, но всякая любящая жена в положении баронессы, пожалуй, поступила бы точно так же.

Однако, несмотря на большой соблазн для крестьян, дело не выходило. Два смелые молодые парня пускались на отвагу, но возвращались от реки, говоря, что перейти через нее невозможно.

К чести баронессы должно сказать, что им за их неудачные опыты заплатили отлично. Она не жалела ничего, но зато она и себя тоже не жалела: несмотря на свою выдержанность и самообладание, она впала в отчаяние и не могла этого скрыть. Камилла употребляла все силы своего трезвого благоразумия, чтобы ее утешить или успокоить, но это было тщетно, и вот в одну ночь, когда до слуха моего доходили стоны баронессы, я вышел потихоньку из замка, прошел в деревню, нанял там у одного из крестьян лошадь и поскакал на ней в город, отстоявший от нас на шесть часов езды. Большая река, через которую никто не решался теперь перейти, находилась в конце этого пути, так что с ее песчаного берега город был уже виден.

Я доехал до реки, слез с коня, привязал его у избы стражника и с удивительным для самого меня хладнокровием пошел по темному льду. Лед весь покрылся снежною грязью и дал во многих местах широкие трещины, но это меня нимало не смущало: я шел, меся ногами снег, и перескакивал через трещины с помощью длинного шеста, который взял у стражника. Когда же лед трещал и ноги мои начинали просовываться, я полз на животе, подвигая шест перед собою, и таким образом перебрался через реку, достиг до города, взял два полученные на имя баронессы письма и, ни минуты не медля, отправился в обратный путь. Это все было сверх сил моих и вообще сверх сил человеческих, но я ничего не чувствовал,— я только спешил перебраться назад, за реку, до наступления сумерек, и я перебрался, но уже в темноте, и решительно не знаю как, потому что я ничего перед собою не видал и бесконечное число раз просовывался и погружался в воду и опять как-то выскакивал и полз и переполз, но далее ничего не помню.

Я не скакал назад верхом на моей кляче, меня в беспамятстве, или в бесчувствии, взяли на береге, когда я до него дотащился и упал. Тут меня переодели в сухое крестьянское платье и положили на санки, которые с величайшим трудом тянули по заторам, а голова моя лежала на коленях сострадательной Камиллы, которая пустилась за мною в погоню, когда в замке было открыто мое бегство. Она меня взяла и привезла ничего не помнившего в замок и окружила меня всеми нежнейшими попечениями, к каким только была способна ее милосердная и добрая душа, а баронесса разделяла с нею ее заботы, которых им со мною было очень много, потому что в замке не было доктора, а со мною сделалась продолжительная горячка с долгим и сильным бредом, которого обе дамы должны были опасаться, так как я в

бреду произносил их имена, чаще, впрочем, согрешая именем баронессы Зои, чем именем Камиллы. А потому они обе сменялись у моей постели и никогда меня не оставляли. Это была очень большая и очень серьезная жертва при их многосложных обязанностях с детьми, домом и посторонними больными, которых, конечно, не забывала за мною Камилла. Обыкновенно она выходила в селение навещать своих больных перед вечером, и тогда со мною оставалась баронесса, и я это знал и, как величайшего счастия, ждал этих минут, когда мы оставались с нею вдвоем в комнате, и я лежал закрывши глаза, потому что не смел на нее смотреть, боясь выдать наполняющие меня чувства всепожирающей преступной любви...

Когда возвращалась Камилла, я продолжал притворяться спящим, потому что мне не хотелось видеть, что нас уже трое.

В такой счастливой обстановке я выздоровел, и время моего обмогания от этой любви было счастливейшим временем моей жизни. Баронесса считала себя много виновною передо мною в том, что не умела скрыть своей тоски по мужу, и сказала однажды:

— Я не знала, что вы такой... восторженный и преданный.

Я молчал и кусал свои пересохшие губы.

— Иначе,— продолжала она,— я бы себя не выдала...

— О, для чего же! — прошептал я,— я был так счастлив...

— Счастлив!.. Ребенок!.. Вы могли умереть...

— Ничего.

— Как "ничего"? Это осталось бы у меня на совести и отравило бы мне всю жизнь.

В этих словах, кажется, прорвалась наружу достаточная доля эгоизма, но я сквозь очки влюбленности не увидал его и отлично ответил:

— Да, вот это только жаль!

Этим ответом я взял большой приз... Повторяю вам, что баронесса Зоя ведь была умна и благородна и таила в себе нежную и страстную душу, и, когда я ответил приведенными здесь словами, она сейчас же остро отметила разницу моей беззаветной ей преданности с осторожным эгоизмом, который был в ее словах, и она взяла мою руку своею рукою немножко выше кисти, где берет доктор, и, слегка пожав ее, произнесла с большою сердечностью:

— В вас прекрасное сердце, за которое вас будут любить.

Я отлично понимал, что все это выражение чего-то материнского,— что меня "будут любить" кто-то и где-то вдалеке и неопределенном будущем, но — ад и смерть,— самое слово "любить" в ее устах было уже для меня общею, хотя безотносительною отравою, поразившею во мне сразу ум, сердце и все мои нервы...

Я не схватил и не покрыл ее руки поцелуями только потому, что я еще был слаб, а она так особенно неловко или особенно ловко держала мою руку выше кисти, что я не мог сделать удобного движения, чтобы сейчас же овладеть ее рукою. Но ведь ее нежные, прелестные пальцы касались своими розовыми концами моего пульса, и рука моя все-таки моментально вздрогнула, как бы под толчком электрической искры, а вместе с тем отпрянула, и на то же мгновение и рука баронессы остановилась на воздухе в положении, какое принимает рука виртуозки, поднятая над клавиатурою перед тем, когда предстоит взять эффектный пассаж... Хуже же всего было то, что вслед за этим мы оба долго молчали... Это значит, что мы оба были одним и тем же поражены или удивлены и сконфужены, или обрадованы, и оба, несмотря на неравенство лет, были еще совершенно одинаково неопытны...

Неравенство лет!.. Но какое? Мне было двадцать один, а ей двадцать восемь... Это неравенство ни от чего не сдерживает, а увлекает... Опасное неравенство. Она умна, сдержанна и осторожна, но неопытна, но это, конечно, потому, что она не кокетка, а скромная и целомудренная женщина, любящая одного своего мужа и желающая ему одному нравиться...

Несмотря на всю свою зеленую юность, я, кажется, был даже опытнее, чем она: я имел понятие об этом сорте женщин, к которым она принадлежала, и понятие это было мною почерпнуто у одного из классиков и было свежо в моей памяти. Дело шло об одном философе, который издавал от себя такой неприятный запах, что ему должны были об этом заметить. Он имел жену замечательной красоты и, придя к ней, стал укорять ее: зачем она не сказала ему о его недостатке. "Прости мне это,— отвечала жена,— я думала, что *все мужчины* так отвратительно пахнут"[20].

К сожалению, классик, сохранивший этот пример невинности жены философа, на этом и обрывал свой рассказ, и я не знал: не изменился ли характер философской жены и ее отношение к мужу с тех пор, как ей стало известно, что *не все* мужчины так гадко пахнут, как ее философ...

Школьный классицизм мне пригодился и сослужил свою службу... Я не знаю, о чем именно думала баронесса Зоя, но я сам думал, что жене философа после ее открытия открывалось новое поле для борьбы... Опять новый пейзаж и опять при новом освещении...

Распаленное горячечное воображение при расстройстве нерв и ослабевшей дисциплине ума так и махало во все стороны, рисуя самыми широкими штрихами самые смелые картины, и, когда среди этого творческого процесса дверь отворилась и на пороге появилась Камилла,— мы все трое вдруг оробели, чего-то испугались и вскрикнули...

Первая нашлась, как должно, Камилла: она сказала:

— Чего же?.. чего, Бога ради!..

Ни я, ни баронесса ничего не ответили.

— Как же вы не замечаете, что уже так темно... и не велите подать огонь!..— продолжала Камилла и сама зажгла во впадине ту самую мою лампу, к которой до сих пор касалась только затем, чтобы ее погасить.

И вообразите себе, что, когда в ее руке обгорела сине-красным огнем неуклюжая насеренная спичка, я видел,— да, мне не казалось, но я ясно видел, что Камилла, изогнув голову, как будто для того, чтобы не вдохнуть серного дыма,— зорко и остро смотрела глазами не на лампу, которую ей предстояло зажечь, а то на меня, то на баронессу Зою... И я видел, что могучая грудь ее воздымается, а большие, белые, лакированные зубы оскалены...

В этой добрейшей и самоотверженной женщине просыпался зверь... Она могла на нас броситься и нас закусать или растерзать... если не наши утробы... то, быть может, чистое имя... добрую репутацию непорочной Зои...

И тогда... я ее убью, отравлю,— вообще уничтожу и сам погибну... Это так будет, потому что это решено... Но ведь Камилла не так невинна и неопытна, как жена классического философа, с которой имела в моем представлении большое подобие верная Зоя...

Камилла знает много наук, понимает людей и способна к самой сложной игре жизнью... Сестра Камилла!.. О, сестра Камилла не уронит ничего, что можно не уронить с блюда, и... вдруг мне показалось, что, пока в ее руке обгорал тогдашний длинный серник,— она, как опытный игрок, тасовала карты, а когда все, что нужно, пронеслось перед нею в достаточно стройных уже очертаниях,— она сейчас же без дальнейшего раздумья срезала талию и готова метать ва-банк всем понтерам.

А нас было только двое: я и баронесса, и оба мы были невинны перед

Камиллой, как Адам и Ева до предательской штуки, устроенной им змеем-соблазнителем.

Я в этот вечер был одарен необыкновенным проникновением и зрел незримое.

Камилла, засветив лампу, села во второе кресло, стоявшее вблизи моей постели, рядом с креслом, на котором сидела баронесса, и спросила ее:

— Ты окончила уже твое нынешнее письмо к мужу?

Я тотчас же проник в этом вопросе нечто незримое до этих пор.

Баронесса опахнула Камиллу своими большими голубыми глазами и как бы с удивлением отвечала:

— Нет, я еще не окончила.

Мне хотелось понять: чего же она удивилась от этого простого вопроса о том, что она делала с неизменною аккуратностью ежедневно?

Я подумал еще и понял, что баронесса могла удивиться тому, что она это сегодня забыла.

Я не смотрел на нее, но видел, как она вслед за этим встала и пошла с какой-то огромной элевацией.

Камилла вслед ей весело проговорила:

— Это прелюбопытно, как они там все переженились?

— Да,— едва слышно уронила в ответ баронесса и вышла за двери.

Все это для меня теперь получало значенье. Я словно читал на воздухе и уразумевал то, чего не разумел.

Кто переженился, где и для чего?..

Все!

Не значит ли это "весь" мир? Нет, это, верно, касается только одного корабля, который где-то очень, очень далеко качается и ныряет в волнах океана. Именно он стоит в пристани, и "все они прелюбопытно переженились"

Это в самом деле прелюбопытно, но, кажется, тоже и не совсем хорошо... по крайней мере, со стороны одного, для получения чьих писем было столько забот, риска и огорчений...

Я спросил у Камиллы:

— Надеюсь, что письма, которые я принес, не содержат в себе ничего особенно печального?

— О нет! даже совсем напротив! — отвечала Камилла.— Эти письма содержали любопытные описания, как корабль расколотился в Японии, и все офицеры тотчас же переженились там на японках[21]... Мы много смеялись тому, как эти супруги между собой говорят!

Но мне это не казалось смешно: будто надо обо всем говорить?

Какие пустяки!

Я и теперь боялся продолжения разговора и тихо повернул голову к стене с намерением закрыть глаза и в присутствии Камиллы остаться наедине сам с собою и еще разрешить себе вопрос, который толкался в мое темя.

— Женились *все*... стало быть, женился и он? И неужто же он сам и написал об этом жене?!

Камилла словно прочитала мою думу: она встала, поправила мое изголовье и проговорила:

— Все, конечно, кроме нашего барона.

— Он не женился? — переспросил я, успокаиваясь за баронессу.

— О, конечно!

— Он это написал?

Камилла сделала большие и насмешливые глаза и, словно откачнувшись назад, воскликнула:

— Конечно же, нет!

— Почему же нет?

Она совсем рассмеялась и, встав снова с тем, чтобы снова поправить мою подушку, сжала меня в своих объятиях под своей грудью и поцеловала меня продолжительным и страстным поцелуем, который не то проливал в меня ток новых сил, не то изнемождал до основания последние.

А она, истомив меня этим отъемом свободного вздоха, стояла теперь надо мною, поправляя одною рукою раскинувшиеся на мой лоб волосы, а в другой — держала свой черный веер и обмахивала им мое покрывшееся потом лицо и говорила:

— Если бы он написал это — он обнаружил бы в себе невоспитанность и недостаток врожденного ума и такта... Он бы ее не успокоил, а навел бы на тревожные мысли — но, говоря открыто о том, что делают другие, он ясно дает понять, что сам он этого не делает.

— Пусть так,— подумал я, припоминая, что иногда говорить и не говорить — одно другого стоит, и, сделав решительное усилие, чтобы повернуться к стене, я вдруг как бы заметил серое платье баронессы...

Она как бы только ступила на порог и, увидав Камиллу, снова сейчас же скрылась.

Впрочем, я не указал на это Камилле, и сам не был уверен, что я не ошибся...

Может быть, это мне так показалось... И я на это не досадовал, а наоборот, я, пожалуй, желал бы, чтобы Камилла была сконфужена, потому что меня страшно тяготило ее внимание, мне были тяжелы и неприятны ее ласки до того, что я не хотел скоро выздоравливать,— мне нравилось мое состояние, дававшее мне возможность без всякого укора моей вежливости во всякое время отворачиваться от нее в сторону и притворяться спящим, с закрытыми глазами и с приятными, не забудьте, всегда самыми почтительными мечтами о баронессе... Я и теперь сделал то же самое,— я мечтал о том, как она думает об их женитьбах в Японии? Так ли точно она судит, как судит Камилла, или... и самая Камилла... она так верит, или она так смеется?

А как в самом деле она думает?

Пожалуй, она думает: “так ли это важно?”

Я посмотрел на нее из-под век и удостоверился, что я прав! Ее доброе, беспечное и открыто смелое лицо действительно имело выражение, как раз соответственное недоуменному вопросу: “Так ли это важно?!”

Дьявольские силы, дьявольские силы действовали вокруг, и во всем смута и омрачение происходили во времени и в пространстве, в плоти и крови, лишенных наследия божьего царства и обреченных в жертву сатане...

Я, верно, спал... Я, верно, долго... слишком долго думал, пока сделал свое последнее открытие, потому что пейзаж-то уже был снова не тот, при каком начались сумерки.

Давно была ночь,— часы в отдалении пробили два... Камилла, сидевшая в кресле с четками, которые энергично перебирала в руках, встала и подошла к моему изголовью. Я испустил глубокий сильный вздох и крепко втянул в себя губы... Но это было напрасно: Камилла ограничилась только тем, что предлежало сделать ее сострадательной руке... Она поправила мою голову, а я из-под опущенных ресниц моих глаз в это мгновение заметил, что мы были не двое, а трое... что в кресле сидела баронесса и что она спала, и что

на коленях ее лежало приготовленное ею письмо к мужу, и что это письмо шевелилось... ползло и, наконец, соскочило с ее колен и упало на пол, а глаза ее были открыты и устремлены на Камиллу, в объятиях которой была моя голова и мое изголовье... Камилла, сделав свое дело, оборотилась к баронессе, тронула ее слегка за плечо и прошептала:

— Пойдем спать. Ему теперь хорошо, а ты, бедняжка, слишком устала.

Все это она делала с своею обычною ласковостию и спокойствием, и говорила тем же прелестным густым контральтом,— она была та же милая, добрая Камилла, полные белые руки которой я целовал с безграничною благодарностию за ее попечения и раскрытие очей моего разумения,— и в то же время я чувствовал в ее голосе, в походке и в движениях, что мы ее смешили и что она все видит, все знает и над всем смеется...

Проклятая путаница!.. Круговое коловращение: она все видит и будто не видит, и баронесса все видит и будто не видит, и я, наконец, тоже все вижу и тоже притворяюсь, будто я не вижу... Что же это такое? Как это объяснится: вскроется это как водопольный поток и понесется черт знает куда или исчезнет, как сугроб, наметенный зимой над глубокой безысходной канавой... Вот в чем вопрос! вот в чем вопрос! И он велик, он теперь для меня страшно важен, потому что ведь я сам очень важен: мною интересуются женщины... я даже одну уже отверг... Я не могу... я не люблю ее... я люблю другую, и... и может быть, она меня любит.

Меня как будто осыпало всего горячим песком. Пропустив в себя эту мысль, я испытал трепет незнакомого и навсегда невыразимого сладостного чувства... Я вскочил в моей постели на колени и стал жарко-жарко молиться о ней и плакать, выпрашивая ей самого полного и самого чистого счастия,— причем, однако, какие-то крохи должны были достаться и на мою долю.

Какие же? Какие!

Неужели я мог, неужели я смел чего-нибудь ожидать?

А уже про это мог знать только Бог, к которому я приступал с моею необдуманною молитвою, или, может быть, знал дьявол, который играл нами в куклы. Он знает свое дело при всех положениях.

Опять изменился пейзаж.

Я бродил, обмогаясь, по своей комнате и, казалось мне, мог бы выходить и в другие покои, но Камилла, у которой было много практических познаний в медицине, не дозволяла мне этого и поступала вполне основательно и беспристрастно. Она ничего не имела в этом для себя: огонь в моей комнате не гас по ночам, и я проводил мои ночи с одними сладостными мечтами о баронессе. В этих мечтаниях всегда имел свое неотразимое место ее муж, которого отсутствие ее томило и возвращения которого она ждала с нетерпением своего горячего и любящего сердца.

О, как груб и ненавистен казался мне в это время герцог, заставивший ее переносить все эти терзания! Но зато я видел в моих мечтаниях, как смелый моряк возвращается в столицу и потом в недра своего семейства. Его сухо и несправедливо встречает герцог и награждает его щедро, но как бы нехотя. Благородный барон переносит это прекрасно, с твердым достоинством... Что ему до всех наград, какими может располагать герцог, когда его ждет совершеннейшая награда его жены... Я видел, как он входит с нею в дом, в столовую, где ласкает детей, в уборную, где переодевается по-домашнему, наконец, в спальню, где отдыхает от всех понесенных трудов и лишений, и потом выходит оттуда и... смотрит на меня как-то страшно, страшно и еще



ЛЕСКОВ
Фотография, 1887—1889 гг.
Орловский государственный литературный музей И.С.Тургенева, Орел

все страшнее, чем дальше, и начинает оскорблять меня самыми обидными словами и действиями.

Впечатления этого сна были так сильны, что я проснулся весь дрожа в лихорадке и не мог себя разуверить, что все это происходит только в моем разгоряченном воображении, а на самом деле нет ровно ничего, для чего можно бы ожидать такой противной развязки.

Я хотел ближе и осязательнее подойти к успокоительной действительности, хотел взглянуть на двор замка и убедиться, что там не стоит дорожная карета и кучера с форейторами не разваживают потных лошадей, на которых приехал барон из столицы.

Кому снилися очень страшные сны, тот может понять мои чувства, особенно, если не будет забывать, что дело касалось не меня одного, а обожаемой женщины, за которую я не боялся смерти. Ведь я же не знал, что там, в спальне, сталося с нею!.. Быть может, он ее убил, прежде чем вышел смот-

реть на меня своими страшными глазами и махать кортиком над моей головою.

Я вышел в коридор, чтобы посмотреть в то самое окно, на котором сочтен был за лунатика. Замковый дворик освещала луна, и на нем не было ни лошадей, ни экипажа, но из-под двери, которая вела в апартаменты баронессы, блистала полоска света... Как она долго не спит!.. Или, быть может, он приехал как-нибудь иначе и отослал своих лошадей, а сам теперь там, у нее, и ей именно в эти минуты угрожает наивысшая опасность...

Сон мой, быть может,— сон вещий.

Я более не размышлял и тихо подкрался к двери. Я теперь не считал дурным делом подслушивать и подсматривать. Я ведь делал это для ее спасения, для ее защиты...

Я был готов на все.

Но в комнате баронессы не происходило ничего трагического, а, напротив, шел живой и скорее веселый разговор между Камиллой и Зоей.

Я подоспел как раз на роковую для меня фразу:

— Бога ради!

— Бога ради! Бога ради! — говорила Зоя с очевидным желанием заставить Камиллу не продолжать какого-то разговора, но Камилла в ответ на это рассмеялась и сказала:

— Ты похожа на птицу, которая гнет свою голову под собственное крыло и надеется, что через это ее будет не видно.

— Я не похожа на эту птицу, но я не разделяю с тобою твоих ужасных вкусов.

— "Ужасных вкусов"! — повторила Камилла.— Кто-нибудь мог бы подумать, что я говорю о безобразных формах, которые сочиняет без совета с портными наш герцог, а я говорю о природе, которая все производит со вкусом.

— Не все.

— Пускай и так, но то, что я говорю о весне и о юности,— это вид спора; мне нравятся первенцы лесов и полей более, чем пышные цветы знойного лета, на которые лило много дождя и насело много пыли. Подснежный ландыш мне лучше тюльпана и махровой розы... Что делать!.. что делать, моя милая Зоя. Тюльпан и розу можно продлить,— а ландыш нет. Ему одна короткая прелестная пора. И то же юность.

— Не в том смысле, как ты говоришь.

— Почему?

— Ты это знаешь.

— Не знаю.

Зоя помолчала и потом протяжно сказала:

— Любить, или, как ты говоришь, "интересоваться" можно только тем, что внушает к себе уважение.

— Ничуть. Любить можно за все и "интересоваться" всем, что интересно, а я пошлюсь на всех женщин, одаренных чувством и воображением, что первый лепет любви в юноше имеет в себе много милого.

— Не понимаю.

— И лжешь.

— Ты рассуждаешь, как мужчина.

— А ты, однако, понимаешь, что твои образованные и воспитанные знакомые могут интересоваться молоденькими японскими девочками?

— Это мужчины.

— Низший сорт людей?

— Да, в известных отношениях.

— Женщины, по-твоему, возвышенней и лучше?

— Да, в известных отношениях.

В комнате послышался свист, и Камилла захохотала.

— Бога ради! — тихо остановила ее Зоя,— ты даже свистишь, совсем как охотник.

— О да! да ведь я и не притворяюсь.

— К сожалению, Камилла!

— Почему? Разве без Камиллы мало притворщиц на свете?

— Но все-таки оно лучше.

— Что это? — притворство?

— Да, скромность, хоть притворная скромность.

— Но кто же меня знает такою, как я есть?

— *Теперь* — я тебя знаю.

— Милая Зоя, это неправда. Или лучше скажи мне, скажи: как ты меня знаешь... чем ты меня представляешь. За что наконец ты меня любишь, когда я не могу и не желаю внушать тебе уважения, когда я смотрю на нежные вопросы, как мужчина, и свищу, как охотник, когда надо бы застенчиво опустить в землю глаза. Говори же, говори... Я этого хочу и добьюсь от тебя, или иначе я тебя возьму зацелую и задушу!

Послышался обоюдный веселый смех, и Зоя сказала:

— Сядь, сатана,— я представлю тебе твой портрет, каков он есть в моей душе.

— Merci.

— Но не целуй моих рук! Не целуй моих рук. Бога ради!

— Отчего?

— Оттого, что... я знаю, как ты душевно хороша, и я сама хочу целовать твои руки. Ты чудесная женщина...

— Начало мне льстит.

— Ты умна, ты образованна, как ученый профессор, ты честна во всех своих поступках.

— Кроме одного!

— Я говорю о поступках общего свойства; ты видала едва ли не все стороны света, твои убеждения и взгляды прекрасны; твоя доброта удивительна, и я ее испытываю на себе... Я знаю, как ты ненавидишь этот край и его порядки, и, однако, ты решилась остаться здесь и провести со мною целые три года самого скучного и тяжелого изгнания.

— Ну!..

— Ну...

Слышно было, как Зоя бросилась Камилле на шею и с слабо сдержанным смехом закончила:

— Но для чего ты свистишь, как охотник?

— Для чего?!

— Да!

— Потому что *умею*!

— Перестань!

— Ну, конечно. А ты ведь не умеешь?

— Конечно!

— То-то и есть. А теперь я тебе дам еще новых красок для моего портрета на твою палитру.

— Нет, Бога ради!

— Отчего же?

— Ты скажешь о себе что-нибудь очень дурное.

— Ну, так что же?

— Я не хочу... не хочу ничего такого знать.

— Я знаю, что ты меня любишь.

— Да.

— Я тебе верю... тебе одной из всего множества людей, которых встречала... и в награду за это ты не услышишь от меня о том, что я считаю в себе за самое дурное, но ты, однако, должна знать, что ты почитаешь во мне за худшее, то еще не есть самое худшее. Есть вещи худшие: да спасет тебя небо от них.

Вышла пауза. Зоя ответила:

— Я знаю, что ты очень добрая, но я хотела бы, чтобы ты была...

— И очень почтенная женщина! Не так ли?

— Пожалуй!

— Ну, так ты сделала для этого очень большую ошибку: ты никогда не подходи очень близко к тем, кого хочешь считать очень почтенными... А впрочем,— добавила она,— мне все равно, что обо мне думают.

Я слышал, как Зоя встала, обняла ее и сказала ей:

— Я ни о ком не думаю так хорошо, как о тебе.

— Ну, и это напрасно. Я сделала очень много дурного, но всему скоро конец.

— Как конец?

— Да; ты увидишь... У меня есть предчувствия...

— Полно!

— Ну вот!.. Отчего?.. Я очень рада!.. Жизнь мне давно тяжела, и я давно бы с ней рада расстаться...

— Неужто ты хочешь убить себя?

— Нет,— мне это противно.

— Конечно, ведь это ужасный грех.

— Не думаю, но зачем себя лишать жизни насильно? Жизнь чего-нибудь стоит и ее можно отдать не даром, а с пользой.

— Ты шутишь?

— Увидим. А ты не считай за шутку предчувствия и не подводи ни к чьей жизни итога до смерти, потому что вывод быть может неверен, а это важно...

— Я верю.

— И верь. Опечалить другого или его уронить — это гораздо важнее, чем сбавить самой себе балл в поведенье.

Я больше не слушал. Я отошел и тихо прокрался к себе в комнату, стал у окна, в которое были видны только вершины сосен и луна с набегавшими на нее облаками, и совсем позабыл о сне и о своей прежней и новой любви: первая была навеки кончена и от нее оставалось только воспоминание, в котором я чувствовал для себя что-то унизительное и неприятное. На мне уже была какая-то дурацкая спесь — интересного молодого человека, который имеет успехи, и вдруг... я, не переставая быть молодым человеком, чувствовал, что я не играл никакой значительной роли, а как-то состоял в распоряжении и брошен...

Я припоминал некоторые прочитанные мною романы об "абандонах"[22] и в эти минуты отлично понимал негодование женщин, и лицо мое горело от стыда и гнева... В самом деле — черт знает, как все это вышло неважно! Я ни с чем и ни при чем. Но они, однако, говорили о "лепете". Это, без сомнения, относилось ко мне. Ведь из этого должно бы что-нибудь вытечь... Но нет,— прежде всего надо спасти честь: теперь опасно быть смешным. Надо выйти из поражения хоть с одною честью: я скрою свой гнев и униже-

ние, которое чувствую, тем более... тем более, что это все не надолго... потому что... что-то должно случиться... А что именно? Как я...

Тут нить оборвалась, и я заметил, что вокруг месяца все сильней и сильней клубят облака, а через комнату тянет сквозняк,— я поспешил затворить дверь и кинулся в постель и уснул, а в уме у меня все оставались слова: “Не считай предчувствий за шутку”

О том, как я себя после этого вел, не буду пространно рассказывать, я держал веселую мину в невеселой игре, то есть старался не обнаруживать, что мне что-то особенное известно, но сильно следил за собою, чтобы казаться ровным и серьезным, и сам не заметил, как вошел в эту роль до того хорошо, что и на самом деле поумнел и посерьезнел. Я слег больным юношей, а, обмогаясь, вставал с постели человеком, возросшим и духовно и нравственно. Более всего я заботился, разумеется, о том, чтобы как можно скорее встать на свои ноги и приняться за свои классные занятия с детьми. Я почитал это за самое лучшее, и оно так действительно и вышло: баронессе, очевидно, очень понравилось мое поведение: она мне ничего не говорила об этом, но я видел это по выражению ее лица. Камилла ничего особенного не обнаруживала, но я ее как-то меньше видел, чем было во все время ранее. Я ведь вам говорил, что она была искусная и усердная лекарка и на руках у нее всегда были трудные больные между дикарями в наших лесных лачугах. Она вела эту часть деятельно, без малейших упущений, а не для времяпрепровождения, и без всякой нервозности и брезгливости возилась с болезнями очень неопрятными и даже заразительными.

Последнее имело свои неудобства в том отношении, что заразность ею могла быть занесена в замок, но и Камилла, и баронесса смотрели на это очень рассудительно и человечно. Камилла ходила к больным в особом платье, а возвращаясь, брала ванну и проводила некоторое время в аптеке за приготовлением лекарств, а потом, освеженная, выходила, почитая себя обезвреженной со стороны заразы. Притом же и она, и баронесса не принадлежали к числу особ, доводящих свое жизнелюбие до противности. Не знаю, как они верили в Промысел или в предопределение, но, хотя они и не были фаталистками, однако обе питали уверенность, что случается только то, что должно случиться. А кроме того, Камилла шутя говорила, что излишняя осторожность от сообщений с больными может быть хуже, чем неосторожность,— что если люди в этом направлении дадут себе волю, то они станут безучастны друг к другу и человечество явится когда-нибудь совсем беспомощным.

У нее была прекрасная душа и прекрасные мысли, которые не расходились с делами и наконец запечатлелись превосходным исполнением до совершенства.

Это совершилось внезапно и страшно.

Один раз, когда дети ушли спать, а мы с баронессою читали в ожидании возвращения Камиллы от больных к вечернему чаю, баронессе доложили, что к сторожу замка приходил из деревни молодой крестьянин сказать, что Камилла сегодня не возвратится и просит ее не ожидать.

Это случилось первый раз и очень нас встревожило. Мы не знали, что именно могло побудить Камиллу остаться на ночь в деревне, но оба переглянулись, и каждый прочел во взгляде другого, что, вероятно, ее удержало что-нибудь очень важное и, может быть, роковое.

Я сейчас же встал и сказал, что пойду и узнаю, что такое случилось.

— Да, подите,— отвечала баронесса,— и когда возвратитесь, скажите мне,— я буду ожидать вашего возвращения.

На дворе уже было темно, по небу ползли тучи, лес сильно шумел и накрапывал дождь.

Я взял в руки фонарь с зажженной свечою и позвал с собою старика, который пошел неохотно, кряхтя и выражая неудовольствие беспрестанным ворчаньем.

Мы дошли до селения, жители которого все уже спали, и с трудом нашли лачужку, в которую входила Камилла, посещая больное дитя, но Камиллы здесь не было. Из лачужки вылез тот молодой крестьянин, который приходил к замку с поручением Камиллы, и сказал, что по возвращении своем из замка он уже не застал госпожу в своем доме и что вместе с нею исчезли его девятилетняя сестра и мать, пожилая девушка[1*].

— Где же они могли деться? — спросил я.

— Не знаю,— отвечал крестьянин.

— Но как же ты можешь быть так спокоен?

— А что же я могу сделать? Я был целый день на поле и завтра мне опять надо рано вставать на работу.

— Нет, мы должны идти и отыскать их.

Парень согласился, но сторож сказал, что его лета не позволяют ему бродить неизвестно куда, и возвратился домой. Я с ним не спорил, потому что это было бы бесполезно, а вырвал из записной книжки листок и при свете фонаря написал на нем баронессе несколько слов о том, что узнал я. Затем сторож пошел назад в замок, а мы побрели в полном неведении, куда нам держать свой путь; но по счастию, в темноте мы наткнулись на человека, возвращавшегося с киркою на плечах из леса.— Он бежал спотыкаясь и в ужасе сказал нам, что видел огонек в уединенной лачужке, построенной на прогалине, где за большою отдаленностью приходской церкви окрестные поселяне устроили себе местное кладбище.

Здесь была часовенка, или, как я точнее сказал, хатка с небольшим крестом на кровле, где временно становили гробы умерших. Теперь же в селе не было ни одного мертвеца, а меж тем в часовне светился огонек, что и перепугало страшно возвращавшегося крестьянина с киркою. Это показалось мне указанием — куда я должен был направить свои поиски, и я пошел туда, несмотря на неудовольствие моего провожатого, который хотел меня бросить и наконец-таки бросил, когда мы стали подходить к часовне и в самом деле увидели свет в ее маленьком окошке.

Я же подошел к часовне довольно смело и с твердою решимостью взялся за скобку двери, чтобы войти внутрь, но дверь оказалась запертою, а когда я дернул ее посильнее и стал осматривать: не могу ли ее отворить каким-нибудь другим приемом, то заметил, что на досках этой двери как будто что-то написано углем.

Я осветил эту надпись моим фонарем и прочитал:

“Берегитесь! — Здесь черная оспа”

У меня зашевелились на голове волосы, и я отскочил от двери и стал в отдалении. На сердце у меня похолодело, а фонарь в моих руках ходил ходуном, а ноги тряслись...

Камилла, очевидно, здесь и заключила себя тут, в этом отчаянном приюте, вместе с несчастною девочкой и ее матерью, у которых она нашла черную оспу... Но как же я поступлю далее? — что я должен сделать? Первым

[1*] Так в автографе.

побуждением всего легче могло быть, чтобы бежать отсюда, но у меня, к счастию, не было такого побуждения: я понимал величие самоотвержения Камиллы, и дух мой поднялся до той высоты, что я, по крайней мере, устыдился быть безграничным трусом: я поднял древесную ветку и постучал ею в стекло маленького подъемного окошка.

На световом пятне показалось темное очертание головы, в которой по силуэту гладкой прически я узнал ясно голову Камиллы. Она посмотрела и сделала рукою отрицательный жест, который имел очевидною целью удалить того, кто стучался. Я напряг грудь и громко прокричал:

— Откройте на минуту окно!.. Я брошу вам карандаш и бумагу!

Силуэт кивнул головою, и руки Камиллы подняли рамку маленького окна, а я написал: "Что можно для вас сделать?" и швырнул в окно всю мою записную книжечку с карандашом и достаточным количеством листков чистой бумаги.

Окно опять заперлось, а я остался в полной уверенности, что сейчас же получу ответ.

Но как я возьму в руки листок, который побывает в ее руках, и как потом возвращусь сам снова в замок?

Камилла нашлась лучше, чем я мог придумать. Я увидал на стене тусклый параллелограмм величиною в листок моей записной книжки. Он был прислонен плотно к стеклу, и я понял, что на нем написано все, что мне нужно узнать.

Это так и было.

Приблизив к окну свой фонарь, я прочитал сквозь стекло: "Черная оспа у двух. Больше нет. Не допускать к нам никого.

Принесть к двери воды, свеч, уксусу, серы и лопату. Я здорова и покойна".

Прочитав записку, я кивнул головой в знак обещания все исполнить, и, весь трясясь, как в лихорадке, пошел лесом и мало мне знакомыми тропинками к замку.

Ощущения мои были таковы, что я потерял способность мерить время, и мне казалось, что прошло всего несколько мгновений, между тем как на самом деле пролетела вся ночь, и, когда я подходил к замку, уже зачиналось утро.

Баронесса не спала. Она совсем не ложилась в постель и была в одно и то же время и взволнована и сильно подавлена. Слушая мой рассказ, она водила вокруг испуганными глазами и хрустела, ломая пальцы своих похолодевших рук, и потом прошептала:

— Что делать?

Я ей сказал какую-то общую фразу о необходимости крайней осторожности, но она отвечала:

— Крайняя осторожность — это бросить ее в том положении, в какое она себя поставила, и бежать в столицу, но это то, чего я никогда не сделаю. Вы свободны.

— Дело не во мне,— отвечал я,— но вы и ваши дети...

— Мне легче оставаться здесь, чем бежать, оставив в опасности друга!

— А дети?

Она посмотрела на меня спокойным и очень значительным взглядом, какого я у нее не видывал, и отвечала:

— Дети — мои.

О! и я хотел принадлежать ей, быть ее слугою, исполнителем ее воли, товарищем во всякой опасности, какая бы нас ни ожидала, и — больше

того — я хотел первый принять на себя самую большую долю этих опасностей.

Так эти женщины подняли и оживили дух мой, и я вырос сам перед собою, и все минувшее, страстное и смятенное, слетело, как налет, с души моей, согревшейся совсем иною теплотою и почувствовавшей в себе покой и преданность им обеим как существам, бесконечно меня превозвышавшим по своим превосходствам.

Я сказал баронессе:

— Я иду сейчас же туда назад и понесу воды, свеч, уксусу, серы и лопату.

Баронесса протянула мне свою руку, и я робко поцеловал ее пальцы и понесся опять без отдыха к кладбищенской часовне, таща на себе бутылку воды, бутылку уксусу, большой сверток серы и железную лопату, назначение которой мне казалось особенно страшным.

Отгадывала, вероятно, это и баронесса, но мы ничего на этот счет не сказали друг другу.

Убогая кладбищенская часовня, в которой Камилла скрылась с двумя больными черною оспою, отстояла от замка верст на пять. Это расстояние требовало на переход около часа, но я, несмотря на свою сильную усталость, почти перебежал все это расстояние и поспел туда на восходе солнца.

Подходя, я думал, как я дам знать Камилле о моем приходе, но это было не нужно: чуть только я стал подходить к окну, как увидал Камиллу, прикладывавшую к стеклу листок, на котором было написало: “Оставьте все на земле и удалитесь. Не допускайте сюда людей. Положение опасно. Я совершенно спокойна”

Я взглянул вверх этой бумажки и увидал лицо Камиллы,— оно было в самом деле спокойно, и вдобавок она мне улыбнулась прекрасной доброй улыбкой и сделала рукой знак, чтобы я удалился, что я и исполнил, но не совсем беспрекословно, а с маленькою хитростию: я обошел часовню и вскарабкался на высокую ель, с которой видел, как Камилла вышла, взяла все мною принесенное и снова замкнулась. Я видел ее в том же самом сером платье, в котором она ушла, но голова ее была плотно окутана кружевною шейною косынкою. Мне показалось, что она что-то закрывает под этою косынкою. С дерева мне был виден крошечный дворик при часовне, где стояли гробовые носилки и в угле валялись рогожи и грязные веревки для опускания гробов в могилу. Не было <ни>какого признака жизни, а ведь они были живы и им нужна была пища и постели.

Я теперь только вспомнил об этом и в третий раз побежал в замок, забрал все нужное и при помощи сторожа повез на лошади к часовне. Но я напрасно стучал веткой в окно — Камилла не показывалась, и я не мог ее дозваться и снова взлез на дерево и отсюда увидал Камиллу с непокрытою головою на дворике, где носилки были приставлены к стене, а она копала лопатою яму... Я догадался, что кто-нибудь из больных, верно, умер, и стал кричать ей:

— Камилла! Камилла!.. что вы делаете?

Она приподняла голову и сейчас же закрыла лицо волосами и сделала мне какой-то непонятный знак рукою.

Я быстро спустился вниз и бросился к окну. На стекле стояла надпись: “Привезите известки — здесь смерть”

Я опять отправился в замок, где, по счастью, нашли куль известки, с которою я снова поехал к часовне и постучал в окно, но на окне уже был листок с надписью: “Больше ничего не нужно”

Это был уже вечер. Я отослал сторожа с лошадью назад, а сам взлез на дерево с твердою решимостью остаться здесь на всю ночь.

Через небольшое время дверь отворилась, и Камилла вышла с одною ручкою от гробовых носилок и стала пихать ею мешок с известкою к двери, но мешок был тяжел и не поддавался ее усилиям.

Я захотел ей помочь во что бы то ни стало и, тихо соскользнув с дерева, побежал к ней, но она услыхала мои шаги, вздрогнула и, быстро подняв над головою рычаг, стала в оборонительное положение.

Увидав меня, она закричала:

— Прочь!.. Ни шагу, или я вас убью!

— Убейте,— отвечал я,— но я хочу вам помочь... Я не могу бросить вас в таком положении.

— Мне помочь нельзя, а мое положение прекрасно.

— Прекрасно!

— Да! Я не желаю лучшего. Если вы хотите видеть, какова я, то вот...

Она тряхнула головою,— волосы ее рассыпались в стороны, и я увидал... я увидел черный круг и, закрыв от страха глаза, упал на землю...

Я был в страшном изнеможении от усталости, и поразивший меня вид ужасного лица Камиллы произвел на меня легкий обморок, который быстро перешел в глубокий и, вероятно, продолжительный сон, от которого я пробудился на рассвете весь мокрый в мокрой траве, с деревьев падали капли дождя; а часовни передо мною совсем не было, был сгоревший костер... было пепелище, на котором проходивший дождь заливал кое-где еще дымившиеся головни...

Мои мысли были так спутаны, что я решительно не мог понять, что такое вижу и как все это могло сделаться! На меня напал такой страх, что я пополз по траве в сторону, чтобы быть дальше от пепелища, которое считал за сверхъестественное видение, а потом схватился и уже хотел бежать, но в ту самую минуту, когда я стал на ноги, меня неожиданно окликнул откуда-то с высоты знакомый голос.

Я поднял глаза и увидел того крестьянина, который в первый раз известил меня, что Камилла удалилась сюда с двумя больными.

Сначала я не мог понять: откуда он говорит мне, но потом, оборотясь на легкий шум в ветвях одной высокой сосны, я увидал, что малый спускался с дерева и, когда, спустясь, подошел ко мне, то весь трясся и имел лицо, искаженное ужасом.

Я спросил его: что он видел?

Он отвечал: “Я все видел”,— и опять озирался и трясся.

Я отвел его немножко в сторону, так что пепелище скрылось от наших глаз, и стал его расспрашивать, и он рассказал мне, что в деревне между крестьянами вышло волнение: все они вспомнили свои старые нелепые подозрения, что Камилла ведьма или чертовка, и в том, что она забрала больных и заперлась с ними на кладбище, они увидали в этом подтверждение своим мыслям и решились идти ночью, разломать дверь в часовню и больных у Камиллы отнять, а ее убить. С этою целью они пошли сюда вместе шесть человек и с ними мой добрый малый, которому тоже очень хотелось уколотить колдунью, но в пути их застигла гроза и дождь, которые я проспал после моей тяжелой усталости. И когда они пришли к кладбищу, чтобы ломать часовню, убивать Камиллу и освобождать больных, то увидали в окне такое черное лицо, какого никто из них никогда не видывал, и вслед за тем из-под крыши выскочило пламя. Пятеро из пришедших от испуга бросились в ужасе назад, а парень взлез на дерево и видел невероятное дело. Он видел, как ведьма торопливо подошла к стене, в которой был вбит крюк и

веревочная петля над ямою,— бросила в эту яму головню с огнем, а сама вдела свою шею в петлю и повисла, и закачалась. Ее обхватил огонь, и через несколько минут веревка перегорела и тело ведьмы исчезло в дыме и смраде.

Так погибла Камилла: она, очевидно, схоронила умерших от черной оспы, заболела сама тою же болезнью и сама себя схоронила. На пожарище не было найдено ни малейшего признака человеческих костей: все они были погребены в яме, которую вырыла своими руками Камилла, и сама себя туда же сбросила, очистив огнем все зараженное место.

Мы с баронессою были не только поражены, но подавлены этим событием и не говорили друг другу ни слова. Я заметил, что баронесса даже несколько дней не писала мужу, и понимал причину этого. После того, что сделала Камилла, все личные чувства и порывы утратили свое значение,— стали мелки, и ими не хотелось заниматься.

Я помнил о Камилле беспрестанно, но только всегда представлял ее себе в этой последней, трагической фазе ее существования. С баронессою, может быть, происходило то же самое. Мы даже не смели говорить о Камилле. Да; мы о ней постоянно помнили, но говорить о ней не могли именно потому, что *не смели*. Все легкое для воспоминания о ней мы позабыли, а последнее было не в подъем тяжело для того, чтобы его перетряхивать.

Так мы жили недолго. Несмотря на прекрасное положение нашего жилища, оно опротивело баронессе: она стала им тяготиться и наконец решилась к зиме возвратиться в столицу на целый год раньше возвращения ее мужа. Ей было это неприятно, но оставаться здесь было еще неприятнее. Мы переехали в город и поселились в уединенном старинном дачном доме, приноровленном, впрочем, для житья во всякое время года. Баронесса не сделала по возвращении никому визитов и нимало не заботилась о том, как это будет принято. Я тоже нигде не показывался, и она это знала и, по-видимому, очень это одобряла. Мы вели жизнь самую уединенную,— почти так же, как в замке. У нас не бывал никто, и мы не выезжали ни к кому, а занимались детьми, с которыми после смерти Камиллы все заботы легли на баронессу. Я их только учил, и сам продолжал учиться. О былых увлечениях любовью к баронессе не было памяти: я даже стыдился моих минувших покушений: трагическая история Камиллы все это испепелила. Баронесса была ко мне добра и милостива — я ей всею душою предан, и в этой формуле укладывались все наши отношения, и так дотянулось до того времени, когда она получила известие, что корабль, совершавший плавание, скоро вернется в Европу. Письма баронессы к мужу стали еще чаще и, вероятно, еще нежнее. Она уже стала устроивать ему кабинет, с величайшею заботливостью помещая в нем все сообразно его вкусам и привычкам. Это сделалось ее любимым занятием и сокращало ей время ожидания, которое исполняло ее и радостью, и трепетом, овладевавшими ею до такой степени, что благородное спокойствие ее характера стало, видимо, нарушаться нетерпеливостью, а выдержанность тона сменилась беспричинною раздражительностию. Меж тем, письма от барона приходили уже из европейских портов с штемпелями французских городов, и, наконец, на одном конверте мы увидали "Paris" Барон получил разрешение быть там для совета со знаменитыми врачами о болезни, приключившейся ему во время его долгого плавания в отдаленных водах. Это известие чрезвычайно встревожило баронессу, и она хотела оставить детей на мои руки и немедленно лететь к мужу. Ожидание для нее сделалось нестерпимо: как прекрасная мать она мучилась от мысли оставить

детей одних со мною и прислугою, но любовь и страстное стремление к мужу преодолевало все опасения, и она написала мужу о своей решимости.

Я ей ручался, что не отлучусь от детей ни на шаг и сберегу их до ее возвращения, как свою собственную жизнь, и, конечно, вполне сдержал бы свое обещание, но обстоятельства все изменили иначе. От барона очень скоро получили ответ, что он не замедлит возвращением и просит жену не оставлять детей одних и к нему не ехать. Она осталась — отложила поездку и ждала с постоянно возрастающей нетерпеливостью. Беспокойство ее усиливалось: она была постоянно расстроена и все учащала письма, добиваясь в каждом из них известий о подробном ходе его болезни и всегда не удовлетворялась ответами мужа и еще более беспокоилась, но ехать к нему уже не собиралась. По-видимому, она обиделась тоном его письма, в котором он очень спешно и старательно отклонил ее приезд. Наконец, корабль пришел в нашу гавань, и на нем возвратились все товарищи барона, кроме его самого: он все лечился в Париже, и о болезни его никто не сообщал ничего особенно печального, но даже и ничего ясного. Он продолжал писать, что он болен, но что ему лучше и что пользующий его знаменитый врач убеждает его еще только немножко помедлить, чтобы здоровье его после восстановления не пострадало от суровости нашей зимы.

Баронесса похудела, потемнела в лице и стала задумчива, и начала писать несколько реже. От барона, наоборот, письма приходили часто, но в них все шло вперемежку — то ему хуже, то лучше, то он назначал вблизи день для своего отъезда, то опять откладывал свой выезд на неопределенное время.

Баронесса не выдержала и поехала в морское управление, чтобы узнать о муже. Это был довольно бестактный с ее стороны поступок, потому что он выдавал посторонним людям ее беспокойство и смутные подозрения чего-то очень важного для их жизни. А результатом этого вышло только то, что болезнь барона не сделалась его жене известнее, чем до сего времени, но ей стало известно, что ей за него не следует опасаться, потому что он во Франции находится в очень хорошем положении и в "добрых руках": о нем печется премилая дама, молодая вдова одного французского моряка, которому барон имел случай оказать большую услугу в Китае, и привез этой вдове драгоценности, порученные ему мужем этой дамы, умершим от желтой лихорадки.

Упоминания женского имени было довольно, чтобы ознакомить баронессу с чувством, которого она ни разу до сих пор не обнаруживала. Она вернулась домой бледная и изнеможденная и несколько дней не говорила ни с кем ни слова, но потом, пересилив себя, взяла прохладную ванну, стала заниматься с детьми и написала очень обдуманное и, вероятно, очень сообразное и достойное письмо мужу. Я заметил, что с этих пор она всегда сильно думала, прежде чем садилась писать почту, и, получая ответные письма, она их перечитывала внимательно, но не огорчалась и не раздражалась.

Я понял, что она возобладала над собою и не выдала мужу своих подозрений: женское имя в их переписке не употреблялось. И это кончилось тем, что от него пришло решительное известие, что он едет. Через неделю мы рассчитывали его встретить, баронесса ожила, и в доме опять закипели приготовления. Настал давно ожиданный день. Это совпадало с открытием железной дороги, которая впервые соединяла нашу столицу с чужими городами[23]. Поезда приходили только два раза — один вечером, часов в восемь, и другой в одиннадцать ночи. План баронессы был таков, что она встретит мужа на вокзале, который тогда был еще не вполне отделан, и проедет с ним в своем экипаже прямо в загородный дом, где мы продолжали жить в отсут-

ствие барона, а я должен был ее сопровождать до минуты встречи и потом позаботиться о получении его вещей, которые хотели оставить в городском доме, куда предположено было вскоре переехать.

И вот мы прибыли к встрече поезда. Было много знакомых, которые узнали баронессу и осыпали ее расспросами. Она была как на иголках и старалась от всех уклоняться и прятаться.

Поезд пришел, но не привез барона. Мы не могли его просмотреть,— а его, очевидно, не было. Но она не хотела верить, что он не приехал, и оставалась на бангофе, пока все разошлись и стали гасить фонари. Тогда она словно очнулась и произнесла упавшим голосом:

— Бога ради!

— Что вам угодно?

— Подайте мне руку.

Я подал руку, на которую она сильно оперлась, и я почувствовал, что она слабеет и дрожит.

Я ее вел и не смел сказать ей ни слова, но когда мы вышли из вокзала к площади, где стояла ее карета и открытая коляска, в которую я должен был забрать багаж барона,— баронесса очнулась и сказала мне:

— Он приедет с ночным поездом... Я не хочу огорчать детей и не поеду домой. Дождемся второго поезда.

— Следовательно — велеть ехать в городской дом?

— Да.

Я посадил ее в карету и сказал кучеру, чтобы он ехал в городской дом, и сам поехал сзади в коляске.

Неудача этой встречи произвела на меня удручающее впечатление. Хотя мое огорчение, конечно, не могло идти в сравнение с тем, что должна была ощущать баронесса, но я был подавлен и раздражен досадою оттого, что барон не приехал, и отлично понимал, насколько все это глубже и болезненнее должно было отозваться в душе любящей женщины, измученной долгим ожиданием в одиночестве и ревностию, для которой, может быть, была основательная причина. Но помимо всего этого меня укололо и поразило ее восклицание “Бога ради!” Оно во мне вдруг взбудоражило целую кучу воспоминаний о глупых вещах, которые я считал своим несчастием и старался забыть, чтобы они не мешали жить в моей душе чувствам лучшего, высшего разбора, в ряду которых едва ли не первое место занимала моя преданность и, пожалуй, может быть, возвышенная, идеальная, чуждая всяких расчетов любовь к баронессе... И вот опять эти невзначай сказанные ею слова “Бога ради!” все это избеспорядочили. В голове и в сердце опять произошел хаос и, мальчишка по летам и по рассудку, а еще более по ничтожеству своего положения, я сравнивал себя с Дон-Жуаном в тот момент, когда в его душе пробуждает бурю страстных желаний грустная записка Донны Анны. В уме вертелось:

— Давно забытый мир во мне записка Донны Анны пробудила: я к ней влеком — она моею будет[24].

К черту! Пошло, подло... и с какой стати это лезет. И в какое время?.. Мы ждем, мы встречаем ее мужа! Я задавал себе жесточайшую гонку за одно промелькновение этой неуместной, нежелательной и вполне недостойной мысли... И возился я с этим долго — во все время, пока ехал от железной дороги к городскому дому, да и в доме во все время, пока там оставался с вечера до половины одиннадцатого часа.

Обстоятельства превосходно благоприятствовали этим моим стараниям самоутрызать себя как можно более. Дом был в порядке, но пуст: в нем не жил никто, кроме сторожа, у которого были ключи. Я как высадил баронес-

су из экипажа, так сейчас же и потерял ее из вида. Она, вероятно, прошла в свою спальню или в кабинет мужа и оттуда не выходила, а я во все время ходил по зале при бледном освещении от одной свечи, горевшей в огромном бронзовом канделябре, и угрызал себя на славу. Может быть, мне следовало бы пойти в дальнейшие комнаты, чтобы осведомиться — в каком положении баронесса? И мне это приходило на мысль и даже казалось необходимым... Не сделалось ли с нею дурноты или обморока?.. Но я не смел,— решительно не смел идти за нею и ходил, как глупый человек, в своей нерешимости до тех пор, пока в половине одиннадцатого баронесса появилась в двери совсем одетая, в шляпе с опущенным вуалем и, приложив над глазами раскрытую руку, проговорила:

— Как тут темно... Прикажите давать экипаж.

Я слышал неопустившиеся еще слезы в ее голосе и не сомневался, что она все это время плакала.

Во все время ожидания второго поезда на дебаркадере она ходила одна и становилась в тени так, чтобы ее нелегко было узнать.

Я не подходил к ней, но следил за нею из отдаления и вдруг стал чувствовать, что барон не приедет... Как и почему я стал заключать таким образом, я решительно не умел и сейчас не умею дать себе отчета, но в этом у меня была уверенность, и она меня не обманула... второй поезд не привез барона точно так же, как первый.

Я молчал и страшился приступить к баронессе, которая теперь долго стояла на одном месте, а потом повернулась и пошла к выходу: я ее свел, посадил в карету и сам поехал за нею в коляске.

По возвращении нашем я не слыхал от нее ни слова, она тотчас же удалилась, а на другой день я видел ее на несколько минут и слышал только несколько слов, но самых обыкновенных, а в урочный час, когда опять настало время встречать первый поезд,— слуга передал мне просьбу баронессы сопровождать ее,— и мы опять поехали. Результат опять был тот же самый, с единственной отменою в освещении, потому что я расхаживал по зале два с половиною часа при огне всех свечей, зажженных женою сторожа в обоих канделябрах, и мне от этого становилось еще скучнее и еще жутче,— точно как будто я присутствую на собственных похоронах и расхаживаю в одиночестве вокруг собственного гроба. Но *она* зато казалась терпеливее и мужественнее,— точно она обтерпелась: она ходила твердо и спокойно и не скрещивала руки.

На другой день она отправила меня утром в город к одному знакомому ей дипломату с просьбою от его имени узнать по телеграфу в Париже — не случилось ли чего-нибудь внезапного с ее мужем? Через несколько часов пришел ответ, что "барон три дня тому назад выехал в отечество"

О, если бы кто-нибудь, кроме меня одного, видел — какою прелестью счастливого и чистого чувства покрылось лицо баронессы, когда глаза ее пробежали полученную депешу! Она с детским восторгом сжала свои чудесные руки у груди и взглянула на небо таким благодарным взглядом, что не могло быть ничего столько жестокого, чтобы не умилостивиться перед нею, но однако умилостивления не последовало: сатана, вероятно, стоял где-то в той же наглой позиции, в какой его видели при истории с Иовом, и выпросил себе право коснуться ее плоти.

Что за этим последовало на другой день — было ужасно. Мы приехали опять в город: баронесса была в неописуемом нервном возбуждении: она точно будто везде видела мужа или ощущала его присутствие в окружающем ее воздухе... Вот как говорят, что ветерок может доносить женщине дыханье

и поцелуи того, кого она любит,— это и было, и представьте себе, что, находясь возле нее, я даже чувствовал, что это в ней происходит. Она даже начала им наяву бредить... Когда мы въезжали в город, нам встретился кто-то в коляске совсем на него не похожий, но она рванулась с места и сказала: "Боже мой! мы пропустили поезд,— он приехал!" Я ее успокоил, что поезд никак не мог быть пропущен, потому что еще не настало время ему придти. Она согласилась,— проговорила: "правда, правда" и даже как будто застыдилась и молчала, храня на лице какую-то особенную страдальческую сосредоточенность, которую я никак не могу выразить, но когда мы входили в зал, что было в час густых сумерек,— она вдруг схватила меня за руку и вскрикнула: "А!.. что я вам говорила" И при этом она хватилась рукою за сердце и быстро пошла вперед, оставив меня одного в полутемном зале...

Я, разумеется, догадался, что ей опять померещилось или почуялось присутствие мужа и что вслед за тем она поняла свою ошибку и теперь ушла, чтобы успокоиться...

Услыхав такое откровение, Фебуфис прищурился и хотел что-то сказать, но почувствовал, что ему как будто заливает дыхание. Он был пьян и не уверен в своих действиях, но понимал он все как следует и каждой вещи отдавал ее значение. Этот герой, который имел когда-то такие романтические успехи, а теперь носил мундир наводящего страх учреждения, не только был ему гадок, он понимал все, к чему он его подводил, чтобы в длинном рассказе об историях бывших "припятнать" его к действительности, и он сделал над собой усилие и медленно, но твердо, как пьяный, который чувствует свою нетрезвость, спросил:

— Это та самая Недда?..

— Да; конечно, она. Она одна из всех, обративших на себя внимание герцога... Она одна умеет его не терять столько лет и ему не наскучить... Другая — начальница нашего монастыря — мать Клементина, но... вот, когда я это только узнал — почему Недда так долго владеет его расположением...

— А теперь ты это узнал?

— Ты говоришь мне "ты" Если ты это замечаешь, то я очень рад пить с тобой брудершафт...

Директор протянул к Фебуфису руку с стаканом, но Фебуфис не поднял своей руки и продолжал так же отчетливо и строго:

— Это та Недда, у которой *теперь* моя жена?..

— Да, у нее *была* твоя жена, или, лучше сказать, она к ней поехала, но где *теперь*... твоя жена — этого я не знаю, где твоя жена *теперь*!

Директор посмотрел на него пристально и добавил:

— Да и не все ли это равно?

Фебуфис слегка побледнел, но сдержанно произнес:

— Может быть, ты хочешь сказать даже: "...так ли это важно?"

Директор продолжал смотреть на него тем же проницающим взглядом и с мягкой гримасой ответил:

— Да; и в самом деле, "так ли это важно?"

— В самом деле! — Фебуфис засмеялся и опять повторил,— в самом деле... стоит ли что-нибудь портить, все из-за того, что уже не воротишь?

И прежде, чем директор успел что-нибудь сказать ему в ответ,— он плеснул в него вином из своего стакана и назвал его по-французски:

Mouchard[1*].

[1*] Шпион (*франц.*)

Но, по счастию или несчастию, выплеснутое нетрезвою рукою вино не попало, куда было намечено, и вылилось на колени Фебуфиса и облило его. На директора едва попало несколько капель, которые он смахнул с себя носовым фуляром, и сказал:

— Вот видишь, как ты глуп,— сам себя облил.

— А ты подл.

— Ничего, это тоже, может быть, не особенно важно.

— Гнусный человек, утративший стыд и совесть! — говорил, качая головой, Фебуфис.

— Ничего, ничего,— отвечал директор, выходя за дверь без малейшей утраты спокойствия и надевая пальто, которое подал ему новый слуга, сказал этому человеку:

— Убери его и наблюдай.

— Все будет сделано.

И директор вышел за дверь и, спускаясь по лестнице, встретил только прибывшую в придворном экипаже Помону. Она показалась ему расстроенной и даже дрожащей и бледной. Одною рукою она держалась за перила лестницы, а другою как будто старалась откинуть от лица вуаль или как будто ловила прядь волос, которой, однако, не было, и притом то делала несколько ускоренных шагов, то останавливалась и колебалась... Директор подбежал к ней, взял ее под локоть и сказал:

— Какие глупцы!.. Как они могли отпустить вас одну!

Помона взглянула на него острым, лихорадочным взглядом и прошептала:

— Отойдите!

— Извините,— я не могу вас оставить: вы очень слабы.

— Нет, я довольно сильна.

— Однако я за вас отвечаю.

— Я говорю вам, что я не нуждаюсь в ваших услугах: я могу идти одна.— Где муж мой?

— Он ждет вас дома.

Помона вырвала у директора свою руку и побежала вверх не останавливаясь.

Лакей, открывший ей дверь, еще видел на лестнице директора, следившего за дамой, и взглядом успел ему ответить, что он все наблюдает и обо всем известит.

Директор сошел улыбаясь, сел в свой экипаж, растопырив под плащом локти, и вскачь понесся к загородной даче, принадлежащей институту.

Помона не хотела встретить мужа и направилась прямо из передней к своим комнатам в обход через столовую и открыла сюда дверь прежде, чем слуга успел предупредить ее.

Увидав стол, уставленный пустыми и полупустыми винными бутылками, и за этим столом своего мужа, который сидел без сюртука с головою, опущенною на руки, Помона остановилась в ужасе и потом одним быстрым движением закрыла за собою двери.

Это движение дошло до слуха Фебуфиса, и он поднял голову. Глаза его были заплаканы, лицо красно, взгляд туп и блуждающ. Казалось, что он видел жену и не понимал, что ее видит.

Она стояла без движения и потом хотела к нему броситься и тоже заплакать, но он предупредил ее: он встал с своего места.

Она поняла его состояние, и в ней произошла перемена: испуг и волнение в ней разразились неожиданным нервным движением: она задрожала и с

рыданием бросилась бегом в свои комнаты. Фебуфис закачался и упал на месте.

— Зачем ты здесь?!

— А где я должна быть?

— Там, где ты была... где виделась с герцогом...

Она еще побледнела, лицо ее выразило страшное страдание, и она повернулась и, ничего не отвечая, пошла молча к двери[1*].

Фебуфис обошел сконфуженно комнату и заметил на столике ту длинную золотую шпильку, которую он вчера выдернул из волос Помоны,— взял ее безотчетно с собою, принес в мастерскую и воткнул в спинку дивана, на котором ему была приготовлена изгнанническая постель отлученного от ложа супруга.

Это было обидное положение, в котором он не мог бы даже представить себя несколько лет назад, когда был первым шалопаем в Риме. И вот как он уже усмирен в новом своем положении! Что же остается далее? Терпеть... молчать и пользоваться выгодами этого положения, или... возмутиться... нагрубить... все бросить и уйти. Как уйти: незаметно, без жалоб и отомщения, как ушел Пик, или... сделать это... *красиво*... чтобы было о чем говорить?.. Конечно!.. Бедный Пик! бедный восторженный, преданный идеям дружества Пик! Ведь это он, Фебуфис, устроил ему эту историю... И для чего?.. Ведь ему вовсе даже и не нравилась Калипсо[25] Пика... Но он ей понравился... Случай и ничего более: ему жаль, что он так заплатил Пику за его благородную преданность,— особенно жаль теперь, когда возле него нет никого с такою самоотверженной душою, как Пик, но ведь он не мог ожидать, что Пик так серьезно все это примет... Он об этом даже вовсе не думал... Это такие простые вещи, которые беспрестанно случаются и будут случаться до тех пор, пока стоит свет... Но где была тоже *она*?.. где провела целые сутки его Помона? Ад и смерть!.. Свет ведь для всех стоит одинаково... Где она была? Этого нельзя вынесть... Он пойдет, позовет ее, заставит отворить себе двери и сказать ему: где она была целые тридцать шесть часов... Тридцать шесть часов вне дома, обиженная, гневная и полная мстительности... Женщины в таком настроении часто делают непоправимые вещи...

Фебуфис сошел вниз и опять подошел к дверям жены... но не тронул их и возвратился и лег... Он решился все презирать и рисовал себе в уме, как красиво он это исполнит.

На дворе уже серело, и Фебуфис уснул тревожным, беспокойным сном и проснулся поздно, когда жена его была уже одета и принимала именитых гостей.

Собаку ее он не убил и не отравил, потому что находил теперь всякое состязание недостойным. Собака была огромная, серая, северной сторожевой породы, по-своему очень красивая и умная, и — что всего удивительнее,— обнаружившая такую преданность Помоне, как будто она давно ее знала и любила. К Фебуфису же, наоборот, пес чувствовал злобу и с трудом смирял себя в его присутствии.

— Я убью вашу собаку, если она не будет смирнее.

— Убейте,— это не моя собака.

— Чья же она?

— Ее оставил герцог.

— Для чего?

— Спросите у него сами.

[1*] Здесь кончается текст авторской вставки.

— Да, я спрошу.

И он в самом деле спросил у герцога: не забыл ли он у них о своей собаке?

— Нет,— отвечал герцог.— Эта собака понравилась твоей жене, и я оставил ее, чтобы она могла гулять с этим умным и верным животным.

Помона гуляла с умным и верным животным и принимала самых знатных лиц, которые стали наперебой искать честь быть ей представленными. И неудивительно, потому что в городе вдруг заговорили об ее уме, о ее необыкновенном характере и образованности, красоте и талантах, а также... и о том, что герцог неотступно провел возле нее всю ночь в помещении той дамы, вниманию которой Помона была поручена им после своего обморока на замковом подъезде...

Ее без всяких колебаний считали с этой ночи любовницей герцога, и не ошибались... Дело действительно так и было, и о нем, как обыкновенно бывает, дольше всех не знал муж. Мысль эта, правда, промелькала и у Фебуфиса, но герцог ему казался слишком благородным для такого дела. Ведь он же сам был его сватом и еще прежде того — его другом и покровителем его художественного таланта... Как это уже давно, и к чему это повело его талант!.. И Пик и Мак теперь более видны, чем он, а он дивит какой-то муравейник и... слывет в нем теперь рогоносцем... Но она в ту ночь, когда он был дерзок с нею и когда она убежала на рассвете, была так огорчена и взволнована... Она кинулась к нему, по рассказам, не помня себя, вся в слезах и упала на грудь его как ребенок... В нем могло заговорить чувство жалости, гнева и сострадания, но не чувства страсти... нежность отеческая, но не нежность сластолюбца... И потом, *если бы* он имел тогда такой успех у Помоны, он бы не сказал ему, что сожалеет, что он не может быть его соперником... Он сожалел, что не мог быть,— значит, этого не было... Все это не более как подозрения... клевета... ложь, интрига пустых, погрязших в интриганстве и сплетничестве так называемых светских людей, которым вся забота о том, чтобы унизить независимого человека до своего нравственного уровня и припятнать репутацию женщины... Это многим стоило дорого,— стоило чести и жизни[26], но Фебуфис этому не поддастся... Жена его чиста,— он в этом уверен,— он объяснится с нею и уверен, что найдет себе в ее чистосердечных словах успокоение, и тогда он сделает над собою усилие,— он унизится перед одною Помоною, он на коленях вымолит себе у нее прощение... Да! да! на коленях — он будет раз в жизни на коленях перед одною своею женою и, услыхав от нее одно слово — одно только слово, что она чиста от того, чем ее хотят заклеймить,— и он встанет более гордый, чем когда-нибудь, и всю свою остальную жизнь посвятит на то, чтобы заслужить себе любовь верной и чистой Помоны... Для этого он оставит эту страну и этот круг общества, где к нему против воли его привились рутина, и лень, и расслабляющее барство... Долой это все!.. Герцог не оценил его искренней и преданной дружбы... Фебуфис ему не нужен, как Кранах Филиппу[27]... Он уйдет... Куда?.. Опять туда... в Рим, к друзьям. Пускай они живут так, как не любит Помона, но он как-нибудь приспособится, а она привыкнет. Любовь всесильна,— она все сгладит... А он возьмет ее любовь... Притом же там есть дружба... там Мак и Пик, сердечный, добрый Пик!.. Как ему увидеться с ним после нанесенной ему тяжкой обиды!.. Зачем он это сделал!.. Проклятые женщины! Как они осложняют жизнь... — Но Пик, быть может, простит... Он ведь так добр и так высоко ценит дружество!.. А внутренний голос допрашивал Фебуфиса:

— А ты простил бы?.. Ты забыл бы своему другу, если бы он оказал тебе такой же знак дружбы на память?

Фебуфис сжал рукою сердце, упал головой на подушку и рыдал, рыдал горько и долго и потом спал облегченный и, проснувшись в сумерки, сел на краю дивана, вздохнул и почувствовал в душе что-то примиряющее. Он не сказал, но подумал:

— Может быть, и это можно простить?

Душа его была в самом мирном и великодушном наклоне к прощению и миру — и это ему было нужно.

— Лишь бы только вне этого круга, этого мира чуждых мне интересов и гадостей... Там, где дух мой жил смело и вольно, он опять вспомянет свою свободу и забудет здесь все... все... Он ничего отсюда не возьмет и ничего не хочет кроме одной своей жены, своей Помоны.

Фебуфис переживал очень тяжелые минуты, и что бы он ни делал, его томило одно неодолимое желание: помириться с женою и добыть у нее одно слово... одно только слово, которое вдруг получило в его сознании ужасно большой смысл, и силу, и значение... Но как приступить к этому деликатному исследованию? Не может же Фебуфис к ней ласкаться для того, чтобы вымолить слово!.. Она может над ним засмеяться или слово ее будет неоткровенное, неправдивое слово... Прямо и просто спросить?.. Да, но и прямота с простотою прекрасны, только это огромный риск. Преднамеренная прямота, ведь уже не прямота, а тоже своего рода искусство... Притворство? Но надо ловко притворяться... Ждать случая?..

Случай явился. Фебуфис не мог вынести без ущерба всех пережитых им потрясений. Этого не выдержали бы нервы богатыря и нервы тупицы,— Фебуфис же имел огневую и чувствительную натуру. Он заболел и заснул с бредом о прощении, проснулся в ясном сознании, как это необходимо и как это трудно. Он не мог знать, сколько времени он провел в горячке, но когда он с сознанием воззвал о какой-то помощи, перед ним встала его жена. Второй раз случилось то же. Это тронуло Фебуфиса и возродило появившуюся у него перед болезнию мысль об откровенном объяснении и прощении, если последнее должно иметь место.

В нем была надобность. Однажды, когда Фебуфис совсем поправлялся и супруги оставались вдвоем в сумеречную пору, он исполнил свое желание: обнял ноги жены и, склонив голову на ее колени, просил ее простить ему его прошлое поведение и, получив прощение, стал умолять о доказательстве ее искренности и доверия, которое желал видеть в том, чтобы она рассказала ему без утайки все малейшие происшествия того дня, который она провела вне своего дома.

Помона обнаружила при этой просьбе ужас, который усилил терзания Фебуфиса и довел его до неотступных дальнейших просьб и клятв, что он помирится со всем, что было, лишь бы оно ему стало откровенно известно и не повторялось.

После долгого плача и стенаний Помона призналась, что герцог не пощадил ее расстроенного положения и прибавил к одному ее горю другое, но что она в этом была не виновата и перенесла над собою насилие, которому не могла сопротивляться одна в больших комнатах замкового помещения дамы.

Фебуфис с мучительным любопытством допрашивал жену обо всех подробностях и почти убедился в том, что положение ее беспомощно и она не могла выйти из него непобежденною. Ее внесли в обширные комнаты, устланные мягкими коврами, в которых не слышны были шаги человеческие, раздели, уложили на мягкий диван и, приведя в чувство, оставили одну. И тогда вскоре пришел он и, долго ласкав наедине как нежный отец, вдруг

переменил тон своего обхождения и, сказав "муж твой должен быть серьезно наказан", овладел ею, не обращая никакого внимания на ее слезы и мольбы, среди всех удобств для его насилия и — полного отсутствия средств к ее обороне, так как стоны и вопли ее были не слышны или на них никто ниоткуда не хотел отзываться.

Фебуфис был раздавлен тяжестью этого открытия... и теперь его жена казалась ему еще обаятельнее и еще милее. Он сам был виноват, он сам довел ее до этого положения, и он должен его снесть и должен простить... если это не повторялось.

— Это не повторялось? — спросил он, сам не узнавая своего упавшего голоса.

Она промолчала.

Он повторил вопрос,— она продолжала плакать и наконец, измученная его неотступностью, уронила:

— Да!

Он упал в кресло и схватил свою голову руками, а она быстро встала с места и хотела уйти, но Фебуфис догнал ее, остановил и, сжав в своих объятьях, проговорил ей:

— Останься!.. Я не могу... я сам виноват, а ты слишком прекрасна.

Утром на другой день он казался спокоен и сказал ей только одно:

— Сохрани меня дольше с этого дня, и мы спасемся отсюда.

Она отвечала ему:

— Хорошо!

Стыд лег своей несмываемой краской на лицо Фебуфиса. Он возобладал собою, но лицо его горело от внутренней борьбы. Он приготовился покинуть край, что было нелегко при многоразличности связывавших его условий. Чтобы получить возможность удалиться, надо было вести дело так, как будто он ничего не открыл и ни на что не сердится.

Это стоило Фебуфису неимоверных усилий, но он одолевал себя, принимал посетителей и сам показывался в обществе, на балах и маскарадах, куда получал приглашения с женою. И в один из маскарадов, куда он приехал с женою и где Помона потерялась в огромном числе одинаковых черных домино, рукой Фебуфиса овладела злобная маска, которая стала его интриговать и делать ему язвительные намеки насчет его нового выгодного положения в обществе, и, когда Фебуфис встревожился и начал искать глазами жены, маска сказала:

— Не ищи ее — ее здесь нет.

— Ты лжешь,— отвечал Фебуфис.

— Твоя грубость не доказательство, а если ты сейчас же пойдешь на берег реки и терпеливо постоишь в тени у дерева, не сводя глаз с подъезда, то ты увидишь свою маску, выходящую ранее, чем кончится маскарад, и притом...

— Что "притом"?

— Ты увидишь ее провожатого.

— Ты наглая и злая клеветница! — воскликнул Фебуфис, с ненавистью и омерзением сбрасывая со своей руки ее руку.— Я очень раскаиваюсь, что имел неосторожность слушать тебя так громко.

— Не раскаивайся, а спеши лучше к подъезду... Сюрприз будет стоить твоего ожидания! И маска засмеялась и исчезла.

Она говорила все время измененным голосом, который не дозволял Фебуфису признать ее, но когда она засмеялась, он узнал в ней жену исчезнувшего Пика.

Проклятая женщина! Она мстит мне и клевещет на Помону,— подумал он тревожно, вмешиваясь в толпы писклявых масок, но он напрасно стремился найти между ними свою жену и наконец не выдержал, вышел из залы и, одев верхнее платье, побежал на берег реки и стал под дерево, откуда мог видеть один из скромных боковых подъездов герцогского замка.

Это был маленький подъезд, который совсем незаметно ютился среди густой колоннады. У него не было ни сторожевого поста, и к нему никогда не подъезжал ни один экипаж. Фебуфис, хорошо знавший расположение герцогского замка, даже едва мог припомнить этот подъезд с его маленькою, всегда постоянно запертою дверью, и теперь, когда он старался не сводить своего взгляда с этой двери, ему казалось, что он обманут злою маскою, что дверь эта, вероятно, составляет какой-нибудь запасной или служебный ход, и она не открывается, а заперта наглухо, или даже, может быть, совсем заложена. Он соображал, какие покои замка могли приходиться над этим входом, и терялся в соображениях. Отсюда в равном расстоянии могли приходиться нежилые покои музея и комнаты дам, но и в тех и в других ни одно окно не было освещено. Маска его, вероятно, обманула и теперь над ним издевается... Может быть, она таким же способом успела пойти и встревожить Помону и представить его смешным и глупым ревнивцем...

Время меж тем проходило,— вдали за рекою на башне пробили часы[28]. Еще через час маскарад кончится, и Помона будет в затруднении искать его в зале... Ударила четверть... Фебуфис не знал, что ему делать и решался уйти. Маска его, несомненно, обманула... И как он был глуп, что позволил себе поддаться ее наветам и подозревать свою жену после того, как та так искренно и чистосердечно ему открылась в своем несчастии. Да, именно в *несчастии*,— то было несчастие, в котором он сам был виноват, но теперь...

Фебуфис вздрогнул и почувствовал удушающий спазм в горле: теперь он видел, как маленькая дверь беззвучно точно впала в стену и снова закрылась, выделив две фигуры, из которых одна могучая и статная принадлежала без сомнения герцогу, а другая была тщательно закутанная женщина, робко опиравшаяся на герцогову руку и едва поспевающая с ним неровными и изнеможенными шагами...

Ночь была темная, и между Фебуфисом и таинственною парою было такое расстояние, что он не имел никакой возможности разглядеть даму, а, прежде чем он мог их нагнать, они сели в скрывавшуюся за углом карету и быстро умчались.

В высшей степени потрясенный и взволнованный, Фебуфис как мог скорее возвратился в маскарадный зал и застал там уже очень немного масок, между которыми нашел свою жену.

Она казалась несколько рассеянною, но спокойною и только слегка заметила ему, что ей было невесело и что она давно его ищет.

В карете она его обняла и несколько раз жарко его поцеловала,— дома она была к нему нежнее, чем во все последнее время их восстановленного семейного мира, и счастливый художник уснул счастливым мужем возле прекрасной жены... Но не спал зароненный огонь подозрения, а тлел и разгорался: вечером следующего дня Фебуфис сказал жене, будто он видел сон, что она исчезла из маскарада и пропала в каком-то незаметном подъезде замка и вышла оттуда не одна и не скоро... Ему показалось, что Помона пошатнулась на ногах и страшно побледнела.

— Ты изменилась в лице! — воскликнул Фебуфис, словно хватая ее за руку.

— Да,— отвечала Помона,— в этом нет ничего удивительного: если друг

другу не верить, и подозревать, и следить за женой как за недостойной женщиной, то гораздо достойнее не жить с ней.

— Но если это правда? Если есть основания для подозрений!

Помона спокойно, но сильно потянула свою руку.

— Ты ничего не возражаешь? — вскричал Фебуфис.

— Это не стоит возражения, точно так же, как ты не стоишь честной откровенности! — ответила Помона и, освободив сильным движением свою руку, удалилась в свою спальню, и... замок в двери опять щелкнул.

Восстановленный мир был снова нарушен, и Фебуфис не спешил ко второй реставрации и не хотел для нее упадать на колени.

Может быть, он не прав: его подозрения ей, конечно, может быть, очень обидны и больны, но ведь, черт возьми, не совсем же большая заслуга со стороны жены — в том, чтобы рассказать мужу, как она ему изменяла!.. Было то волей, неволей или своей охотой, в корсете или даже в мантии и с опахалом в руке, закрывавшем лицо, или во всей свободе райской,— во всяком случае — это не такая семейная радость, поделясь которою с мужем, было бы чем гордиться и требовать себе большего почтения... Что было, то прошло, но оно... все-таки *было...*

За женщинами этой страны, кажется, положительно надо признать преферанс над другими в том отношении, что они беззаветнее предаются бесстыдству и наглости.

И он все думал и все делал выводы в этом роде, и в то же время работал усердно, как уже давно не работал,— работал с надеждой превзойти всех своих “римлян”[29].

Картина шла к окончанию, и кончалась зима, и пришла новость, заставившая всех встрепенуться и очень многих смертельно испугаться и пасть духом. Вечный Жид закивал головою у Берингова пролива, и с таянием снегов в Европе появилась холера.

В столице герцога грозная гостья сразу вырвала две столь крупные жертвы, что весть об утрате их разнеслась по стране и вызвала сильную робость. Одна из этих жертв близко касалась родственных чувств самого герцога[30], но он подавил свое горе и стал на высоте своего правительственного призвания: он не обнаруживал ни малейшего страха и ни в чем не изменял обычного порядка своей жизни и занятий. Всем, кто его видел, он казался веселым, деятельным и спокойным. Это производило прекрасное ободряющее впечатление на всех. К предложению многих и притом очень разнообразных мер борьбы с наступившей эпидемией герцог относился строго критически и часто шутил над ними говоря:

— Лучшая мера безопасности для всех, кто живет здесь, заключается в том, чтобы смотреть на меня. Я не люблю жидов, ни вечных, ни невечных, и заставляю всех их меня бояться. Все должны смотреть на меня и поступать так, как я поступаю. Я ни в чем себе не изменяю, ни в труде, ни в удовольствиях. Жалею только, что труда у меня много, а для удовольствий мало остается времени. Но тем более я рад быть весел, когда это можно, и советую то же другим. Кто холеры не боится, того холера боится[31].

Эти слова моментально разнеслись по столице герцога и заменили в ней многие санитарные меры, в числе которых в самом деле предлагалось немало вздорных и смешных.

Льстецы сравнивали их в известном смысле с “медным змеем в пустыне”: как не умирали те, кто смотрел на Ааронова змея[32], так не теряли бодрости и присутствия духа все, кто неизменно памятовал слова герцога и держался его правил. Герцог беспрестанно появлялся в общественных местах, среди народа, смотрел весело и бодро говорил встречным:

— Кураж!.. смело кураж!

Встречные разносили это по городу. Везде, где только можно было, слышалось это слово:

— Кураж!

Не раздавалось оно только в отдаленных окраинах и городских закоулках, где жила чернь, которая или не знала о кураже, или оказывалась неспособною удержать в себе необходимую бодрость и сама была виновата в том, что делалась жертвою своей унылости. Но и ей давали бесплатно гробы и погребальные дроги, и все похороны справляли рано, чтобы они не производили уныния на живущих.

Знать же соревновала герцогу. Выезжать из столицы было запрещено, но позволено всем веселиться. Удовольствия шли усиленные в смешанном числе — летние и зимние, как будто одни спешили вытеснить другие, а те в свою очередь не уступали места первым. В замке открылися окна, герцог каждое утро гулял по общественному саду в одном сюртуке,— и, конечно, немало рисковал этим,— а в залах зимних собраний еще довершалось предположенное число балов и маскарадов,— и в самом последнем из этих маскарадов Фебуфис дознал вблизи все положение и совершил свою затянувшуюся драму.

Последний маскарад был сверхкомплектный и приходился поздно, когда дни уже значительно увеличились, а ночи стали меньше и светлее. В день, назначенный для маскарада, Фебуфис получил безыменное письмо, в котором стояли слова: "сегодня, полночь у маленькой двери"

Фебуфис в негодовании сжег на свечке письмо и, сохраняя наружное спокойствие, спросил за обедом жену: в чем она будет одета на маскараде.

Помона взглянула на мужа значительно и отвечала:

— В обыкновенном черном домино.

— Я спрашиваю тебя об этом для того, что не могу ехать туда вместе с тобою: я должен уехать из дома ранее и освобожусь только около полуночи. Когда я войду в зал, мне будет трудно узнать тебя.

— Я сама к тебе подойду,— отвечала Помона.

Перед вечером Фебуфис зашел проститься к жене и, подавая ей небольшую черную ленту, завязанную в бантик, сказал:

— Если ты можешь сделать мне приятное, то приколи к своему капюшону этот бант,— он мне поможет узнать тебя на тот случай, если ты меня не заметишь.

Помона, прищурив глаза, посмотрела через плечо на бант и отвечала:

— Изволь, я это сделаю, но этот бант так обыкновенен, что ничем не отличается от всякой черной ленточки, и он тебе мало поможет следить в твоих открытиях.

— Ну тебе это напрасно так кажется,— отвечал Фебуфис и обратил ее внимание на тонко выведенного посреди ленты огненного дракона[33]. Он был выведен иглою при помощи соответственной едкой кислоты, и разглядеть его можно было только пристальным взглядом и притом зная, что он тут должен находиться.

— Зачем же ты мне показал этот знак,— спросила Помона.

— А что?

— Я теперь буду осторожна.

— Не все ли равно, ты бы заметила его сама.

— Правда.

Они расстались. Это было в сумерки. Помоне близилось время оде-

вать<ся> к маскараду, а Фебуфис провел несколько часов бродя по улицам, заходил два или три раза в рестораны, где подкреплял себя глотками грога.

За полчаса до полуночи он стал бродить по набережной, не сводя глаз с известной ему маленькой двери.

Ночь была серая, а потому наблюдения не представляли особой трудности и притом скоро увенчались успехом. Фебуфис едва прошел несколько раз взад и вперед, как на башне за рекою прозвучала полночь и через десять минут внезапно из-за угла замка в сером сумраке показалась легкая, несомненно женская, закутанная фигура...

Появясь внезапно и быстро, она с тою же быстротою скользила, держась близко стены, как тень гонимого ветром облака, и, несмотря на то, что Фебуфис кинулся бегом ей навстречу, он не мог схватить ее, потому что маленькая дверь перед нею распахнулась при ее приближении — две руки ее обняли, и дверь снова запаялась.

Взбешенный Фебуфис изо всей силы заколотил в дверь, но из-за колоннады его схватил мощный гвардеец и отшвырнул его далеко на середину пустынной набережной. Фебуфис понял, что он безумствует и что ему никак не может удаться проникнуть за эту дверь.

Он встал и побежал к дому собрания и взошел в маскарадный зал.

Фебуфис имел такой исступленный и расстроенный вид, что ему, наверное, запретили бы вход, если бы его большое художественное имя и фавор герцога не ставили его в особенное положение, и благодаря этому он свободно проник в зал и несся, расталкивая всех направо и налево. Глаза его, сверкавшие гневом и бешенством, искали герцога и жены.

Костюмированная толпа шумно веселилась и казалась оживленнее, чем когда-либо, и тому вслух из уст в уста рассказывался повод и причина: герцог был в маскараде, и не так, как он обыкновенно, то есть в своем военном платье, а он был под маскою и притом неизвестно под которою.

Это было слишком необыкновенно, вовсе неожиданно и даже совершенно невероятно, потому что военным не дозволялось посещать маскарады иначе как в установленной военной форме, а герцог сам слыл за образец точности в исполнении всяких правил о форме[34], но для исключительного положения — чтобы никого не стеснять и быть со всеми вместе, оставляя всех на свободе и не заставляя чиниться,— "он отступил..."

Этот поступок герцога и сообщил собранию необыкновенное оживление: его хвалили и превозносили на все лады как легкомысленная молодежь, видевшая в этом "простоту и сближение", так и многоопытная, осторожно ходящая старость.

— Он всем жертвует, чем ни за что бы не поступился во всякое другое время,— говорили почтенные особы, группируясь около огромного роста сановника с орденской звездою.

— Да, здесь больше нет герцога и его подданных, а только отец с детьми... Ему не до того, ему невесело, его снедают заботы, но он снисходит до состояния их и играет с ними. И этому не нужно никаких изъяснений и оправданий.

— Хотя и их указать нет ничего легче.

— Разумеется, разумеется... Нет ничего легче... Вы что же подразумеваете?

— Классическое выражение: "не человек создан для субботы, а суббота для человека..."[35] Это обнимает все.

— Разумеется, разумеется!.. И еще как обнимает...

— Обхватывает.

— Вот именно: "обхватывает".— И огромный сановник с звездою одобрительно качнул головой и тоже похвалил сказанное о человеке и о субботе.

Люди несколько младшего возраста ждали, что дело этим не кончится: ждали, что внезапно войдет самое высшее духовное лицо с одним ассистентом и — скажет:

— Я пришел не с тем, чтоб мешать вашему веселью... Веселитесь... Дети Иова веселились[36]. Но не забывайте, что вдали от этого дома есть бедные, обделенные на пиру жизни. Дайте, что можете дать мне для тех, которые не могут веселиться, и они развеселятся, а ваше веселье будет еще полнее.

И он обойдет всех, и соберет много денег, и уйдет облегчать участь "обделенных на пиру жизни", а они, так великолепно исполнившие долг свой, удвоят,— нет — удесятерят свою радость, ибо в самом деле,— можно ли еще беспечнее и счастливее переносить общественные бедствия, как они переносятся здесь, в этом простодушном и сердечно устроенном обществе, представляющем одну дружную семью. Во всяком ином месте теперь было бы уныние, а здесь его нет, и на что в другом месте требовались бы организации и учреждения — здесь все заменяется душевностью, поднимающею благоговейные чувства и разверзающею щедрость, все восполняющую и все созидающую без всех учреждений лжеименного разума.

Фебуфис все это слышал и, несмотря на его взволнованное состояние, это производило на него свое впечатление. Человек, которого Фебуфис считает своим жесточайшим обидчиком, дает всем этим людям нравственную силу, радость и упование, в нем их опора и жизнь, а ввиду всего этого не ничтожны ли и не мелки ли его претензии... если они еще вдобавок неосновательны и держатся на одном подозрении... Всем известно, что герцог не лжет и имеет прямой и благородный характер... Да, но это ему не помешало в том, в чем Помона призналась... Все могут знать о характере герцога, что им угодно, но Фебуфис не может заблуждаться... Его успокоит только, если он сейчас может удостовериться, что герцог действительно здесь, а не дома,— еще лучше, если он сейчас же здесь найдет свою жену... Это возвратило бы ему отрадное доверие к Помоне... Или где там к черту доверие!.. Понятие, выражаемое этим словом, слишком крупно и *слишком честно* для определения их настоящих отношений. Фебуфис искал уже не веры и доверия, а он желал фактической уверенности, что *она здесь*, а там руки, ожидавшие шелеста легких шагов, обняли в маленькой двери другую...

Ему только это и было нужно как реванш, страшно необходимый для его нестерпимого душевного страдания, для его ужасной эмоции, пожиравшей все силы его тела, как огонь на сквозняке пожирает вереск.

И реванш ему был дан.

В самый разгар этих волнений и истомы в теле и в духе до плеча Фебуфиса сзади дотронулся дамский веер, и дама <в> зеленом шелковом домино и розовой маске прокартавила:

— Ты самый хитрый и самый предусмотрительный человек на свете. Ты теперь ото всего гарантирован.

Фебуфис не отвечал.

— Ты положил свой знак на драгоценную для тебя особу... Я видела, видела крошечных драконов Кранаха на черной ленте...

— Что за дьявол!.. Кто ты такая?

— Давай мне твою руку — я тебя провожу, где сидит дама с меченой лентой... Спеши же, насладись твоей хитростью!

С этим маска схватила Фебуфиса и, протолкавшись с ним сквозь толпу, поставила его перед диванчиком, на котором уединенно беседовали старый

лейб-медик герцога и дама в черном домино с лентою, имевшею по концам красных драконов.

Показав их Фебуфису, зеленое домино выдернуло у него свою руку и скрылось.

Фебуфис был успокоен: все тревоги его были развеяны,— жена его здесь, и в маленькую дверь замка без сомнения входит иная, до которой ему нет никакого дела... Помона перед ним чиста, и притом в каком она невинном обществе! Лейб-медик умный и прекрасный старик, но он отнюдь не опасен ни для какого супруга, и притом он заинтригован и, очевидно, не узнает Помону.

— Не знаете ли вы мою маску? — спросил он, приветствуя Фебуфиса.

Художник отвечал, что он не знает, но если бы и знал бы, то не сказал бы.

— Да,— отозвался врач,— я и забыл, что здесь нет места правде.

— Как и везде,— от яслей до креста — ее нигде не любят.

— Тем больше здесь — все лжет на все лады.

— И ваша маска тоже?

— О, что до нее, то я думаю, что это сама воплощенная ложь. Не хотите ли поговорить с нею, maestro?

— Нет, нет, нет, он мне совсем не интересен! — взвизгнула дама и убежала.

— Преинтересная маска! — заметил, вставая, покинутый врач.— Вы ее, может быть, знаете?

— Может быть.

— Впрочем, что тут и говорить: дамы так любят искусство! Вы не видали герцога?

— Нет.

— Говорят, будто герцог здесь в костюме рыцаря и будто придет епископ. Это совсем необыкновенно.

— И едва ли верно,— уронил Фебуфис, которому теперь было все равно: здесь герцог или нет — раз что не с ним вместе Помона.

Врач заметил ему, что он имеет не совсем здоровый вид.

— Да; я очень устал,— отвечал Фебуфис, и это была правда: он очень переутомился от ходьбы, от неприятного выслеживания, от быстрой смены разнообразных впечатлений,— и теперь вдруг и вполне успокоенный, он захотел посидеть и в спокойствии погасить прохладительным вкусным питьем острую жажду, на которую долго не обращал внимания. Зато теперь он даже пожаловался на нее медику.

— Будьте осторожны,— заметил отходя доктор.

— А что?

— Вообще... Мы, может быть, слишком много полагаемся на чувства... у желудка есть тоже свои священные права.

— И я это не забуду.

Фебуфис нашел удобное местечко в буфете и с жадностью выпил одну бутылку шампанского и спросил другую, как в это самое время по всему собранию пролетел один общий гул: “Герцог приехал”

Фебуфис встрепенулся. Если он теперь *только* приехал, то, значит, до сих пор его здесь не было... Так и следовало ожидать, что он не явится в маске... Это на него совсем не похоже... Выдумкам нет числа. Но тем не менее Фебуфис бросил свое вино и поспешил в зал, куда теперь устремились все, но он спешил не с теми целями, какими руководились прочие: Фебуфис хотел сейчас же взять свою жену и уехать с нею домой. Он едва ли имел какие-нибудь рассудочные доводы, для чего ему было нужно увлечь ее,

но его побуждало поступать таким образом какое-то моментальное помрачение, какой-то внезапно охвативший его неодолимый страх, похожий на предчувствие близкого и неотвратимого бедствия. Он несся, проталкиваясь в толпе, не разбирая, кого он беспокоит, и искал глазами ленты с драконами и наконец нашел ее: она шла под руку с величественным рыцарем.

Фебуфис догнал ее и взял за руку, но она оглянулась и, видимо встревожась, подалась от него сильнее, прилегая к руке рыцаря, который тоже оглянулся и сделал шаг в сторону.

— Прошу тебя... Едем домой,— прошептал Фебуфис.

Маска покачала головою и толкнула рыцаря далее.

— Я не могу оставаться!

Маска и рыцарь удалялись,— Фебуфис не отставал от них и снова, взяв маску сзади за домино, сказал.

— Я тебя прошу... я болен!

Рыцарь остановился и сурово ему заметил, что маска его не знает, но Фебуфис ему не верил и не хотел его слушать: в его голове спутались представления о том, что этот рыцарь не был герцог, что это уже рассеялось и что настоящий герцог теперь находится здесь в своем настоящем виде,— он того не видал, а этого видел, и жгучая ревность довершила безумие, под влиянием которого все спуталось в его голове. Он хотел быть неуступчивым и дерзким с герцогом и был таким, каким быть хотел, в одно мгновение, когда рыцарь сильной рукой отстранил Фебуфиса от своей страшно смятенной маски и та рванулась бежать — капюшон ее остался в судорожно сжатой руке Фебуфиса, который теперь видел только одно, что это была не Помона, а белокурая придворная дама...

Более он ничего не помнил и не соображал, кроме того, что он был обманут и напрасно освежался шампанским в то время, когда должен был гореть со стыда и ждать у маленькой двери жену, чтобы обличить ее предательское вероломство и... может быть, там же задушить ее за горло своими руками...

За все это ему был не страшен ответ, как не страшно и то, что теперь произошло с ним: он видел смятенные лица и сверкающие гневом глаза герцога и его громкий голос, произнесший одно слово:

— Отправить.

Фебуфиса плотно окружили какие-то люди в вестибюле, он видит на своих плечах незнакомое синее лицо, на него надевают верхнее платье и выводят без шляпы на воздух... Тут на короткий миг явилось просветление — есть кто-то знакомый: это старый лейб-медик, он трогает Фебуфиса за лоб, отстраняя с него волоса, сбитые в ком клейким потом, он с усилием разжимает скорченные пальцы его руки, и потом быстро накидывает ему на голову капюшон его плаща и дополняет слово “отправить” пояснительными словами.

— В особый покой, в госпиталь!

И вслед за тем шепотом: “холера”, и лошади мчатся, треск мостовой, тошно и нестерпимая боль, свечи и пар ванны под сводом и “холера по всей форме”...

Фебуфис был первый, который открыл дорогу эпидемии в высший слой общества, и это ему была вина: он сам довел себя до этого,— он и слишком много пил холодного шампанского... Он был слишком неумерен и чересчур пользовался снисходительным благоволением герцога... В этих художниках всегда есть что-то такое, что отличает их от людей настоящего хорошего воспитания — они не помнят своего положения и очень склонны забываться. Холера случилась от пьянства. Это несомненно, потому что так опреде-

лил сам старый лейб-медик, который видел его ранее и даже предостерегал в присутствии дворцовой дамы... Удивительная прозорливость лейб-медика известна, и с этой поры она будет еще известнее... Он не требует того, чтобы "дайте пульс и покажите язык", а он видит человека издали, вообще... и сейчас определяет... вообще... Но ведь художники считают обязанностью своего звания напиваться... И это в самом деле им надо и полезно для их фантазии... но при холере холодное шампанское не годится, особенно разгорячившись, а он выпил шесть бутылок шампанского...

По другим сведениям выходило даже более,— десять и, наконец, дюжина... Все равно — герцог велел платить все его счеты, какие бы ни было. Герцог необыкновенно участлив...

Самое большое сожаление возбуждала жена Фебуфиса: с ней был роковой случай: она запоздала на маскарад и только входила замаскированная как раз в то время, когда выводили его с синим лицом и волосами, слипшимися на лбу от клейкого пота... Клейкий пот на лице — это примета. Бойтесь, mesdames et monsieurs, клейкого пота. За ним вместе, а иногда и с ним вместе являются корчи. Рука Фебуфиса была как-то неестественно вывернута, и в пальцах судорожно замер черный ленточный бант...

Лейб-медик насилу мог взять эту ленту из пальцев. С несчастной женой Фебуфиса тут же сделался обморок... Ее потому и узнали... Она так и не вошла вовсе в зал, а возвратилась домой. Положение ее в опустелом таким образом доме было бы ужасно, тем более, что это все случилось так неожиданно и нервы ее совершенно потрясены, но при ней и старый лейб-медик и все лучшие врачи... Ей не позволено видеться с мужем, да это и невозможно, потому что состояние ее близко к помешательству, а холера слишком заразительна.

Такими свежими толками пополнялась столица, а обстоятельства перевернулись и доставляли для них новую пищу. Фебуфис не умер, а выздоровел, но с женой его было худо, она все волновалась, бредила наяву, дрожала от страха, видя повсюду каких-то "кровавых драконов" Она внушала такое опасение врачам, что они признали необходимым увезти ее отсюда в другую страну, где лучше климат и светлее небо... Иначе они не брали на себя ответственности за ее рассудок... Притом и отец ее, очень богатый человек, вмешался в дело и требовал, чтобы Помоне было дозволено уехать в Лисабон, где у них есть родственная семья известнейших негоциантов.

Герцог дал дозволение увезти Помону в Лисабон, но не позволил, чтобы это было сделано на деньги ее отца. Он заменил ей отца и все велел принять на его счет, причем отправил Помону не одну, а в сопровождении расположенной к ней придворной белокурой дамы.

Фебуфис об этом ничего не знал,— его согласие на выезд жены было необходимо по законам, но об этом и помнили, но Фебуфис еще обмогался и был так слаб, что всякое волнение и потрясение ему были крайне опасны. Тогда закон не нарушили, но пропустили случай через источник права и отправили жену по повелению герцога, воля которого есть тоже закон.

Художники, однако, как сказано, плохо знают вес и меру в своем положении, если оно им благоприятствует. Оттого они иногда вдруг все и теряют.

Так случилось и с Фебуфисом.

По возвращении Фебуфиса он был, конечно, поражен этим известием. Во все время своей болезни, продолжавшейся с обмоганием около месяца, он ни одного раза не спросил ни о жене, ни о доме, и не хотел ничего знать об этом. Из того, что жена его ни разу не посетила в госпитале, он ясно по-

нимал, что между ними уже все кончено и никаких поправок ожидать невозможно. Помона достойна одного презрения, и, вероятно, она решила идти вперед тою же избранною дорогой, нимало не стесняясь тем, как называется такое положение, но она, без сомнения, знает, что Фебуфис не похож на тех, которые мирятся с подобными положениями и вознаграждают себя за утрату чести более или менее счастливыми сделками. Ему, Фебуфису, никто не посмеет сделать такое предложение... Следовательно, у Помоны есть иной план, который и дает ей смелость ничего не бояться ни в настоящем, ни в будущем... Но в чем может заключаться этот план для женщины, ожидающей под кровлею мужниного дома, что сюда сегодня, завтра возвратится этот оскорбленный человек с поруганными святейшими правами супруга?..

Теперь, когда Фебуфис возвратился домой и узнал, что жены его давно уже нет и что она далеко, он увидал то, чего одного никак не мог предвидеть, и он был еще раз оскорблен снова уже не несомненными доказательствами неверности жены, но самоволием, вторгавшимся в его законные права супруга.

Он бы сам, быть может, сделал то же самое, если бы только этого захотела Помона: он бы не стал ни угрожать ей, не выговаривать,— к чему это теперь годилось бы?.. Все поздно! — он бы ее отпустил и... он дал бы ей сам своих денег и не скупою рукою... Нет, наоборот, он дал бы ей много... все, что мог, все, что имеет. Потому что ему теперь ничто не дорого,— ему все равно... Да он и опять всегда будет иметь все, что ему надо, лишь бы только он справился сам с собою и его чувства и способности пришли в равновесие... Он бы отдал ей все, все, чтобы она, и *он*, и ее отец, и все другие,— весь город, вся эта страна, Рим, мир и вся вселенная,— знали, как он сделал... но вырвать у него это право: распорядиться с его домашними делами, как плантатор распоряжается с вопросами чести купленного на рынке невольника негра... Нет — это нельзя. Фебуфис этого не снесет. Он не куплен на невольничьем рынке, он пришел сюда как гость, может быть, слишком неосторожный, слишком доверчивый, и гость, слишком расположившийся на радушие и честность хозяина, но они оба равны... они *люди*, и он потребует ответа.

— Как?

Фебуфис мог довольно разнообразно мстить своему сопернику, но он выбрал такое мщение, которое должно было всего сильнее уязвить Тарквиния[37]. Фебуфис жил и служил в этой стране, но он не был ее гражданином и подданным герцога; у него было свое отечество, имевшее здесь при дворе герцога своего представителя.

Оскорбленный Фебуфис не хотел оставаться здесь долее ни одного дня и не хотел ни прощаться с герцогом, ни говорить с ним о выезде: он считал себя свободным и вправе немедленно уехать из страны куда ему угодно.

С этим заявлением он и обратился к своему правительственному агенту, с которым до сей поры не желал иметь никакого дела. Тот выслушал его безучастно и отказался от всякого вмешательства по трем причинам,— во-первых, потому, что он не имеет инструкций для защиты художника, а имеет строгое повеление дорожить благорасположением герцога, во-вторых, Фебуфис порвал связи с своей страною и дипломат не считает себя обязанным за него заступаться, а в-третьих,— он не может протестовать против выдачи паспорта жене Фебуфиса, потому что он сам выдал этот паспорт.

— Как же вы могли это сделать?..— вскричал Фебуфис.

— Я *должен* был это сделать.

— Почему?

— Я имею инструкцию не противоречить герцогу.

Фебуфис потерял спокойствие и закричал:

— Только как же вы смели... Как же вы смели называть себя дипломатом и чьим бы то ни было представителем!.. Зовите себя герцогским прислужником, его лакеем, рейдкнехтом и... и ступайте сейчас к нему жаловаться за то, что обращаюсь с вами как вы того заслужили.

С этим он одним быстрым движением правой руки сорвал с своей левой руки лайковую перчатку и так ловко и сильно бросил ее в лицо дипломата, что лайка щелкнула по щеке и нанесла ему чувствительный удар в глаз серебряною кисточкой, какие носили на вздержках перчаток по тогдашней моде.

— Вот! — проговорил Фебуфис и не сказал ничего более, весь пылая бешеным гневом, повернулся и вышел никем не остановленный из посольского дома.

Его никто не остановил и никто не знал об этой сцене, так как Фебуфис объяснялся с дипломатом наедине, но сам дипломат не выдержал дипломатического самообладания и, повязав глаз, в котором появились краснота и опухоль, поскакал жаловаться герцогу.

Герцог, выслушав его, пришел в ужасное раздражение и от гнева и волнения, отпуская посла, даже не протянул ему на прощанье руки. Посол мог не счесть это ни за невнимание, ни за обиду, потому что рука герцога в это мгновение схватилась за ручку звонка и он громким негодующим голосом отдал при нем же приказ: “Сейчас привезти Фебуфиса!”

По силе этого негодования дипломат мог быть уверен, что он хорошо раздул пламя костра, на котором ополоумевший от заносчивости художник будет принесен самому себе во всесожжение.

Судя по необыкновенному возбуждению самолюбивого и гордого герцога, должно было произойти нечто необычайное и превосходящее всякие соображения.

Считали возможным все,— что Фебуфис не выйдет живой из замка, или что его без всякого суда казнят где-нибудь в подземном каземате, или даже всенародно — на дереве, на фонаре перед балконом посольского дома...

— За что же... посольский дом?

— Чтоб знали все другие иностранцы... Они могут искать защиты у своих представителей, и их представители могут за них протестовать, но жалобщики до тех пор успеют расстаться с жизнью и на том только свете узнают, много ли они выиграли от протеста.

Это нравилось огромному большинству, но немного противоречило вновь явившимся любопытным соображениям. Основательные умы заметили: в чем же тут виноват посол?.. Он, напротив, обезоружил герцога своим поведением!

И в самом деле, что-то обезоруживающее действительно, должно быть, имело место, потому что вслед за одним курьером, посланным наспех, чтобы подать Фебуфиса в замок сию же минуту, поскакал еще скорее вдогонку другой, с приказанием привезти Фебуфиса за четверть часа до полночи, и не успел еще доехать этот другой, как от замка скакал уже третий, имевший распоряжение везти Фебуфиса завтра утром в карете с закрытыми окнами, и, наконец, в самую полночь, когда герцог возвратился из спектакля, к Фебуфису был послан четвертый посланец с приказанием коротко объявить художнику, что герцог требует его к себе в замок в шесть часов завтра утром.

Все эти распоряжения доходили до Фебуфиса нимало его не смущая,— как будто они не до него касались; когда же ему было объявлено последнее распоряжение, впоследствии которого насильственный привод перед герцо-

га отменялся и Фебуфис делался сам ответственным за его явку в замок,— его спросили, исполнит ли он данный приказ?

Фебуфис сидел у камина, облокотясь на руку, и, не изменяя положения, ответил:

— Хорошо,— мы увидимся.

За ним присмотрели и остались им довольны. Он всю ночь ни с кем не разговаривал, не пил и не ложился спать, а продолжал сидеть перед камином. Платье его лакей встряхнул и вывернул перед глазами: ни в одном кармане не было ничего похожего на что-нибудь несоответственное, но, чтобы еще не было ошибки, у самых сходов на Фебуфиса наткнулся неосторожный или совсем глупый разносчик с мелким печеньем и обсыпал его мукою, но бдительная утренняя стража успела помочь горю, оказав художнику внимание, очиститься скоро и как можно чище... При этом опять все похоронные помещения его туалета были осязаемы и... все в порядке.

Ответил, вероятно, только один неосторожный разносчик, и то не надолго,— до тех пор, пока сбросил с себя коробью с сухарями и костюм и заменил все это своею полицейскою курткою.

Утро было холодное и ветреное, не располагавшее людей к спокойному и приятному настроению. Напротив, чьи нервы были в беспорядке, тот в ощущениях внешней природы должен был получать еще большую возможность. Герцогу и Фебуфису это давало подходящее освещение. На лице не совсем еще оправившегося и проведшего ночь без сна художника лежал горячий бледный мат, под которым, как под воском, рдела краска другого внутреннего освещения!

Как проводил ночь герцог, было неизвестно, но он встал как раз в свое время,— в шесть без четверти часов и, перейдя из спальни в свой узкий и длинный рабочий кабинет, приказал отворить оконную раму.

— Осмелюсь вам доложить, что сегодня холодно и на дворе резкий ветер,— представил ему камердинер.

Герцог не поднял на него глаз и приказал: “Не рассуждать!”

С этим он сел на письменное кресло и сильным движением придвинул его к столу. Камердинер открыл окно и, проходя мимо герцога к двери, заметил, что он бледен и делает такие движения челюстью, которые были у него всегдашним признаком гнева и волнения.

В приемной перед кабинетом камердинер увидал начальника столицы и Фебуфиса. Первый был с своим ежедневным докладом, а второй с пустыми руками.

Камердинер окинул быстрым взглядом приемную и нигде не заметил большого картона, в котором Фебуфис приносил на просмотр и утверждение герцога свои художественные проекты.

— Он будет жаловаться или на него будут жаловаться,— мелькнуло в уме камердинера, и он поспешил удалиться с таким заключением, что он не желал бы быть на месте тех, которым теперь предстоят объяснения с герцогом.

Начальник столицы вошел в кабинет герцога первый и вышел оттуда очень скоро, отворив дверь и приглашая туда Фебуфиса. Из кабинета дуло и пахло холодом.

Художник взошел и остановился. Герцог не сидел за столом, а стоял у открытого окна задом к двери, в тонкие пазы которой шипел сквозняк.

По груди и плечам Фебуфиса пробежала дрожь.

Герцог слышал, что он вошел и, не оборачиваясь, громко крикнул:

— Ты явился!

— Да,— отвечал Фебуфис, озабоченно взглянув на свои руки.

— Что?! — еще громче крикнул, поворачиваясь, герцог, и, сделав несколько шагов, окинул его уничтожающим взглядом.— Я тебя считал лучше, чем ты есть, я слишком тебя избаловал!..

Художник молчал.

— Но если ты не умел ценить моего великодушия, то я тебя заставлю почувствовать, что ты весь в моей власти!..

Фебуфис взглянул опять на свои руки и, заметив покрывавшую их синеву, нервно и смело ответил:

— Я всего сильнее чувствую в эту минуту над собою ужасную власть этого ветра.

— Что!

— Я стыну... мне холодно здесь.

Взгляд герцога на мгновение смягчился.

— Извини, я забыл, что ты недавно был нездоров,— и с этим герцог сам подошел к окну и закрыл раму, а потом, оборотясь к Фебуфису, добавил.— Сядь.

Художник не сел.

— Ты производишь бесчинства!.. И притом ты бравируешь ими.

— Я прошу вас меня отпустить...

— Что-о!

— Я прошу отпустить...

— Ты лжешь! — перебил его герцог.— Ты слишком много о себе думаешь... Ты зазнался... Наш хлеб и все, чем ты был здесь осыпан, привели тебя к глупым мечтам.

— Я не предаюсь никаким мечтам и держусь самой простой действительности: хлеб и все другое, что я получил здесь,— получено мною за мои труды. Я не считаю себя за это никому обязанным и ни у кого не в долгу.

— А-а!.. Так ты такой!

— Всегда такой, каким рожден и каким был до тех пор, когда вы меня сюда пригласили.

— Но ты забыл, что всему есть мера!

— Нет, ваша светлость, не я это забыл.

— Не ты!.. Так кто же?.. Этот посол?.. Твоя жена?

— Ваша светлость!..— вскричал, бледнея, Фебуфис.

Герцог его не слушал и продолжал тем же тоном:

— Мы должны были спасти ее от твоего зверского с ней обращения, и она спасена!

— Ваша светлость! — еще громче вскричал Фебуфис.

— Что? Что ты хочешь, что ты можешь сказать в свое оправдание?!

Ответа не было.

— Говори же! говори. Я жду твоих оправданий!

— Вы их не дождетесь.

Герцог побагровел от гнева.

— Ты хочешь быть сослан, замучен... заморен в подземной тюрьме!.. Хорошо!.. Это будет!

Он сделал шаг к столу и взял в руку колокольчик, но остановился.

— Почему ты не хочешь сказать того, что может быть оправданием в том, что ты сделал.

— Потому что вы все это знаете и я не хочу доводить вас до необходимости унижать сан свой ложью.

Герцог поглядел на него, бросил колокольчик и, пройдясь быстрыми шагами два раза вдоль всей длинной комнаты, остановился перед Фебуфисом и тихо сказал: “Прости меня!”

С этим герцог протянул свою руку и страшно покраснел, заметив, что Фебуфис не спешит ее взять, но он опять поправился,— он положил обе свои руки на плечи художника и хотел ему что-то сказать, но только глядел ему в глаза, тяжело дыша и колеблясь.

Фебуфис молча расстегнул ему пуговицу в его сюртуке и сказал:

— Вам нужен доктор.

— Нет, ты ошибаешься,— доктор не нужен,— я знаю, что мне нужно.

Он скорым шагом подошел к столу и, стоя, написал карандашом несколько слов и, подозвав художника, велел ему прочитать написанное.

Написано было: “Я убил себя сам от стыда за мой бесчестный поступок”

А пока Фебуфис это прочел, герцог успел снять со стены заряженный кухенрейторовский пистолет[38] и, подавая его Фебуфису, сказал:

— Казни меня,— и с этим оборвал все пуговицы по борту и стал перед ним с раскрытой грудью.

Волнение герцога было так сильно, что казалось, будто видно, как его сердце бьется под его белой рубашкой.

Фебуфис молча взял пистолет под мышку левой руки и, закрыв ладонью правой своей руки лицо, опустился совершенно ослабевший в близстоявшее кресло.

В комнате ясно можно было слышать, как тяжело бились два сердца. Герцог прервал тягостное молчание: он поглядел на Фебуфиса и отвернулся и опять поглядел смело, гордо и настойчиво сказал:

— Стреляй же в меня! Тебе нечего бояться.

— Я не боюсь.

— Так стреляй?!

— Не хочу.

— Я приказываю.

Фебуфис отнял руку от глаз и поднял на герцога равнодушный взгляд.

— Ты не слушаешься.

Молчание.

— Что это? Презренье, сожаленье?

— Сожаление.

— Оно мне не нужно.

— К несчастью, оно нужно народу, который думает, что ваша жизнь нужна для его блага.

— Ага... народ! Но ведь он ошибается?.. Ошибается?.. Да?

— Народ всегда ошибается.

— Откровенно!

Герцог отвернулся и сморгнул с обоих глаз слезы. Грудь у него ходила ходуном,— в ней было много горячего и страстного расположения к тому, кого он перед собою видал и боялся...

Да, герцог хотел бы обнять и расцеловать, и *боялся* того, как Фебуфис это примет. Он может отшатнуться, и тогда что?..

Через минуту он взглянул на неподвижно остававшегося в кресле художника, опять сделал было к нему движение... опять было протянул руку, но воздержался и произнес скоро:

— Ты свободен.

Произнося это, герцог отошел к окну и стал в то самое положение, в каком был четверть часа тому назад при входе Фебуфиса.

Фебуфис молча поднялся с места, положил пистолет на стол сверх карандашевой записки герцога и тихо вышел.

В дверях его встретил камердинер, который одним взглядом окинул Фебуфиса и кабинет, и, закрыв дверь, дал знак пропускать художника далее.

Во второй приемной Фебуфис увидел директора полиции и главного сановника. Они стояли в амбразуре окна и разговаривали, но, увидев Фебуфиса, замолчали. Сановник взял в свою правую руку платок и золотую табакерку, а директор заложил пальцы за борт мундира и в другую руку взял свой рапорт. Фебуфис прошел молча, холодно с ними раскланявшись. Вместо него в кабинет герцога сейчас же был позван директор. Он возвратился оттуда почти через минуту и, глядя на дверь, в которую удалился Фебуфис, проговорил:

— Неприкосновен и в ласке.

— Да? — спросил сановник.

— Да: сказал: "Я не могу позволить ему превзойти меня в великодушии"

Сановник подумал минуту и ответил:

— Это пустяки.

— Я думаю то же.

— И притом этого нельзя допустить: это его потом станет тяготить и он будет раздражаться...

Директор молчал, а сановника попросили к герцогу.

— Сейчас,— отвечал он приглашавшему адъютанту и, положив в карман платок и табакерку, сказал директору:

— Надо...

— Припятнать?

— Да, заказать универсальную микстуру со старой сигнатурой...

— "Неблагонадежность"?

— Да! — отвечал, кивнув бровями, сановник и отправился с портфелем в кабинет герцога.

Конец второй части

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Фебуфис возвратился к себе совершенно истерзанный сценою своего объяснения с герцогом, лег в постель и заснул глубоким сном, но его, однако, скоро разбудили для важного дела. К нему по приказанию герцога приехал тот офицер, с которым Фебуфис держал свое легкомысленное пари в Риме[39]. Теперь он был уже в большом чине и пользовался большим благорасположением герцога. Перед Фебуфисом он еще до сих пор оставался в долгу, который можно было считать и шуточным и серьезным. После проигрыша Фебуфису пари на "завтра и послезавтра" он был обязан "беспрекословно исполнить одну его просьбу", с единственной оговоркою, чтобы "это не заключало в себе ничего щекотливого для его чести"

Теперь герцог прислал его осведомиться о здоровье художника и уверить его в участии и благорасположении герцога.

— Оно мне не нужно,— отвечал Фебуфис.

— Но герцог желает быть вам полезен.

— Он мне был только вреден до сих пор и ничем не может быть полезен долее.

— Вы хотите, чтобы я это именно ему передал?

— Да,— я вас об этом прошу.

— Я не могу.

— Почему? Я имел за вами неоплаченный выигрыш на пари, по которому вы обязаны исполнить то, что я потребую, лишь бы это не было для вас унизительно. Пришло время вам расплатиться со мною, и вы, как честный человек, не должны от этого отказаться, так как в том, о чем я вас прошу, нет ничего для вас унизительного.

— Вы правы,— я ваш должник, и в теперешнем поручении вашем я не могу указать для себя никакого унижения, но... вы знаете пылкий характер герцога...

— Я не хочу его более знать!

— Его еще никогда и никто не видал столько растроганным и столько расположенным... скажу вернее жаждущим и нетерпеливым излить на человека все щедроты и милости... Он посылал меня к вам со слезами на глазах и... вы требуете от меня... чтобы я теперь...

— Да, теперь... Что теперь?

— Теперь, когда он, не привыкший ничего ожидать, ждет скорее узнать, что он может сделать для вас радостного и приятного... Я не могу ему объявить ваш сухой и кичливый ответ.

— В таком случае вы...

Полковник вспыхнул и перебил:

— Позвольте! Не спешите осложнить дело новой обидой, которую я снесть буду не в состоянии. Я заплачу мой долг вам, но передам, что вы мне сказали, в более мягких выражениях.

— Нет! — непременно в тех самых, как я вам сказал,— азартно вскричал Фебуфис, вскочив с кушетки, на которой лежал до этой минуты.— Да, господин полковник,— вы непременно должны передать ему мои слова, как они мною сказаны, иначе я буду вправе не считать вас честным человеком.

Полковник посмотрел на него сухим, немножко презрительным взглядом и ответил:

— Хорошо, вы не получите права дурно думать о моей чести.— С этим он повернулся и вышел не поклонясь.

Через несколько минут он был в кабинете герцога, который действительно ожидал его с нетерпением и в самом добром настроении. Он встретил своего посла ласковым взглядом и сказал:

— Ты долго ездил, но зато в это время я придумал, чем я могу угодить больному и капризному maestro. Я подарю ему прекрасное именье в прекрасной местности, куда он может уехать и жить там, как он хочет. Но однако говори прежде, что он сказал?

— Государь,— начал полковник и остановился.

Герцог сдвинул брови.

— Я в большом затрудненьи...

— Что он сказал! — вскричал, краснея от гнева, герцог.

— Я должен сказать... в тех самых словах...

— Да, непременно в тех самых словах!

Полковник повторил слова Фебуфиса: “ваше участие и благорасположение ему не нужно и...”

Говоривший почувствовал, что ему сдавило в одном месте грудь, и глаза герцога стали всего на вершок от его глаз, а громовой голос крикнул:

— И!.. И что “и”?

— И “он знать вас не хочет”

Кроме одной схватки в груди у полковника перехватило дыхание в горле, и он увидал себя на ковре в небольшой комнате, смежной с кабинетом...

В кабинете слышались скорые, нетерпеливые шаги герцога, потом стеклянный стук графинной пробки и дребезжанье о зубы стакана, который, очевидно, трясся в дрожащей руке. Через мгновенье герцог появился в дверях и, продолжая тяжело дышать, спросил:

— Как ты смел?..

Он не договорил далее "что" именно "смел", но тот понял и отвечал:

— Я был обязан к этому *честью.*

— Какой честью?

Полковник рассказал давнее событие, о пари в Риме. Герцог побагровел: гнев его дошел до безумия.

— Я был предметом пари!.. шутом!.. игрушкой, на которую шли об заклад ребятишки!.. Теперь я понимаю, отчего я ему кажусь так ничтожен... Но он это узнает! А ты иди прощайся с женой и детьми: ты не должен быть здесь — твое место далеко.

Но через час полковник был снова призван и услыхал от успокоившегося герцога перемену: ему была прощена его смелость в передаче заносчивых слов Фебуфиса, и он же должен был поехать объявить художнику, что он долг свой исполнил во всей полноте, а Фебуфис должен немедленно выехать навсегда из владений герцога.

II

Фебуфис только и желал этого, но притом и еще чего-то. К тому же его болезненная слабость, усиленная потрясениями этого дня, не дозволяла ему уехать тотчас. Нужно было некоторое время, чтобы нажить запас необходимых для далекого путешествия сил.

Это было ему дозволено, хотя понято более с экономической точки зрения. Предвидели, что опальный художник должен распорядиться своим достоянием, которого у него накопилось немало от его больших заработков и еще от больших щедрот баловавшего его герцога.

Престарелый сановник, ведавший имущественные дела страны, убедясь в полной опале художника, осмелился напомнить герцогу о некоторых художественных предметах большой ценности, находившихся у Фебуфиса, и предлагал взять их назад.

Герцог на это не согласился.

— Мой долг был лишь напомнить.

— Ты его и исполнил, а я исполняю свой[40]: что я раз дал, того назад не беру... А ты не считаешь ли еще своим долгом напомнить мне что-нибудь о "достоянии нации"?

— Да, государь.

— В таком случае я попрошу тебя сказать мне, обязана или нет мне чем-нибудь эта нация?

— Конечно, государь.

— Прощай же, министр, и помни, что никто не бережет достояние страны так, как я,— и напоминать мне об этом излишне.

Этим кончилась тревожная история в замке, и имя Фебуфиса там не произносилось, а у швейцара его дома поочередно стал сидеть полицейский в форме, а два переодетые агента полиции гуляли по противоположной стороне улицы. Окна дома постоянно были темны, Фебуфис не показывался за двери и по отчетам, подаваемым о нем полиции прислугою, ничего не гово-

рил о сборах, ничего не продавал и не укладывал, а сидел один в своей студии и с ужасным нетерпением ежедневно ждал какого-то письма.

Герцогу содержание этого письма стало известно несколькими часами ранее, чем письмо получил Фебуфис. Оно пришло из Рима и было написано Маком, а по смыслу всем, кто его прочитал прежде Фебуфиса, оно показалось очень загадочным.

Энергический Мак писал: «Письмо твое нас обрадовало. Ты хорошо сделал, что вспомнил о нашей дружбе. Она все-таки несколько лучше, чем то, на что ты полагался. Письмо твое мы читали вдвоем, запершись с Пиком. Пик плакал, я же был груб, как всегда, но однако понял твою цель "все сладить так, чтобы не осталось ни йоты" Не одобряю, но Пик одобряет и, отирая слезы, трясется от гнева и мщенья, подозревая, что тебе будто, вероятно, нанесены обиды. Я не считаю себя вправе предполагать ничего другого, кроме того, что тебя попрекнули тем, что ты получил за свои труды. Впрочем, верую с Стерном, что "все возможно в природе"[41],— особенно в природе людей, у которых головы способны кружиться от высоты их положения. Поэтому — не рассуждаю и присоединяюсь к заговорщикам. План отмщения очень красив... Пик от него в восторге и все берется устроить. Лучше его едва ли кто способен обставить с торжеством самые большие глупости. Все будет произведено в прекрасной местности, на всей красоте и при участии трех стихий. Эффект должен получиться самый внушительный, особенно для людей впечатлительных. Герцог будет убит, и историки долго не будут знать, как отнестись к этому событию. Я, конечно, ничего этого не одобряю, ибо я — да простят мне боги — ценю блага мира и люблю мой покой, но, впрочем, и меня ты увидишь там, где должно произойти достойное всемирной известности историческое событие, оценить которое сумеет только разве наше потомство.

По отправлении этого письма выезжаем на место. День близок, и мщенье готово. Твой Мак».

Письмо такого огнепалящего содержания было сущим кладом для приближенных герцога. Оно доказывало их неутомимую и искусную бдительность, за которою им теперь представлялся великолепный случай показать свою преданность его особе. Герцога умоляли только об одном,— чтобы он воздержался от проявлений гнева и молчал несколько дней, как будто ему ничего не известно. Необходимо употребить хитрость против измены и коварства, чтобы дать преступной затее выясниться, и тогда ее накрыть и разоблачить всю махинацию и изловить всех виновников злодейского умысла, а не одного Фебуфиса.

Положено было привести конверт в порядок и доставить его обыкновенным путем неблагодарному и злонравному художнику и с сей же минуты усиленнейшим образом следить каждое его движение. Этим путем должно было открыться возмутительное дело, которое Фебуфис замыслил и, обманув бдительность местных властей, успел сообщить свой, очевидно, отчаянный, но, к сожалению, неизвестный план преданным ему друзьям в Риме. Уже по одному тому, как Фебуфис примет это письмо и что он начнет делать, надеялись разгадать и предупредить многое.

К сожалению, такая сдержанность и ход тихою сапою были совсем не в духе пылкого герцога, который любил все побеждать скоро и наказывать примерно и строго, а потому лицам, имевшим намерение повести подкоп против подкопа, стоило большого труда испросить у герцога дозволения не арестовывать сейчас Фебуфиса и дать ему обнаружить яснее свой умысел и получить в свои руки всех участников преступного заговора.

Только после самых смелых доводов, для большей убедительности кото-

рых докладывавший дело почтенный старец преклонил перед герцогом свои дрожавшие колена,— герцог поднял его и соизволил на его просьбу, но с тем, чтобы дело в разведочном фазисе пребывало не более десяти дней, и затем, если этим способом все не раскроется и заграничные участники не очутятся в надежной ловушке, то немедленно перейти к иному образу действий в духе герцога,— ввергнуть Фебуфиса в самый темный и сырой каземат и заставить его одного рассчитаться за всех, кто хотел ему помогать, чтобы уязвить облагодетельствовавшую его руку.

На этом ответственные дельцы отошли от лица герцога, и письмо Мака было вручено Фебуфису так покойно и таким обыкновенным путем, что он ничего не заметил и прочел дружественные строки, ничего не подозревая.

От надзиравших за Фебуфисом его домашних людей сейчас же было известно, что письмо оказало на него очень сильное впечатление. Он нетерпеливо разорвал конверт и, когда прочитал письмо, лицо его покрылось живою радостью, а потом на глазах его заблистали слезы, и он долго ходил ускоренными шагами по комнате и повторял сам с собою:

— О благороднейшая дружба! О верный великодушный маленький Пик!.. Какого я достоин унижения перед тобою, а ты так кроток и так меня любишь. Но ты отмщен и еще более мстишь мне, собирая своею лаской горячие угли на мою голову.

И когда Фебуфис таким образом переволновался и выплакался, он позвал своего слугу и велел дать себе выездное платье и запрячь лошадь.

Это был первый его выезд после бурных объяснений в герцогском замке.

Каждый шаг его был прослежен, но не обнаружил ничего особенного: художник сделал несколько визитов товарищам, с которыми был ближе прочих, но был принят только одним из всех, и этому открылся, что он прощается и завтра уезжает.

Это было чрезвычайно странно, потому что его дом оставался как полная чаша и его художественные редкости, утварь, хозяйство и все драгоценности оставались как были, и он не делал ровно никаких распоряжений ни об охранении их, ни о продаже. Тот единственный сослуживец, который принял Фебуфиса, обратил внимание на это странное обстоятельство и нашел, что художник дал ему ответ какой-то несообразный и глупый,— точно как будто он не понимал в чем дело.

Полиция,— как ей и следует,— знала гораздо более: она догадалась, что это Фебуфис делает какой-то отвод глаз и отлучается на время, надеясь ничего не потерять в имущественном отношении. Ведь он же в самом деле не дурак,— он знает цену всему, что имеет,— он это тут нажил, а ведь в других местах ничего не наживают... Он вернется,— он делает какие-то лисьи увертьы, но потом вернется "после переворота" Только полиция-то его умнее, и она не спустит с него глаз, и никакого переворота ему сделать не удастся, а все его имущество тогда станет на законном основании достоянием государства,— что по всей справедливости так и следует, потому что он здесь все это нажил.

Ему положено было не мешать выехать и направляться куда ему угодно, но только он нигде не останется один без надзора ни на одну минуту. Его слабость после болезни дает прекрасный предлог окружить его надлежащим вниманием и притом сделать все это для него сюрпризом, чтобы он не имел никакой возможности сделать перемену в том, что он замыслил и решил сделать.

Это и мастерски было устроено с находчивою предусмотрительностью и ловкостью людей, обыкших предотвращать злонравные намерения. В то

самое время как Фебуфису была подана коляска, запряженная четверкою почтовых лошадей, к подъезду его дома подскакал полковник, знакомый нам с встречи в римской мастерской Фебуфиса.

Он был теперь не один, а в сопровождении очень молодого подпоручика, которого ввел вместе с собою в приемную художника, и сказал:

— Я являюсь к вам по приказанию герцога... Герцог находит, что ваши силы еще довольно слабы для того, чтобы вы могли полагаться на себя один в том путешествии, которое вы предпринимаете. Этот молодой только сегодня произведенный офицер имеет поручение сопровождать вас в одном с вами экипаже, если это вас не стеснит...

— О, нимало! — отвечал Фебуфис.

— В противном случае он может ехать отдельно.

— Нет, для чего же? Моя коляска довольно просторна.

— С вами, может быть, много вещей.

— Со мною не будет никаких вещей.

Полковник удивился и спросил:

— Как же так?

— Да, вот так. Я ничего не хочу брать отсюда с собою.

— Значит, можно предполагать, что вы едете не надолго?

— Предполагайте что вам угодно.

— В таком случае рекомендую вам вашего спутника: вы его не узнаете?

— Нет.

— Это мой сын.

— Очень может быть.

— Что?

— Вы говорите, что этот молодой человек ваш сын?

— Да.

— А я говорю, что это, может быть, так и есть на самом деле.

— Я жалею, что долг службы моему повелителю лишает меня права сейчас же попросить вас стать vis-a-vis с пистолетом в руках, но я вас ненавижу!

— А я сожалею о том, что последним воспоминанием об этой стране у меня будет отец, который открывает карьеру своему сыну дебютом шпиона, но я вас презираю.

— Милостивый государь!..

— Ничего! Снесете, милостивый государь! Должны снесть из повиновения вашему повелителю. Я ведь понимаю, что я теперь в своем роде священная особа, которую нельзя ни трогать, ни останавливать. Я довольно пожил среди вас, чтобы понимать вас, и пользуюсь выгодами моего положения. Вы здесь ведь все это делаете постоянно, а я держу себя наглецом только один раз и то напоследок. Надевайте ваш плащ и фуражку, молодой человек, и мы едем, а дорогою я буду говорить вашему сыну, господин полковник, как низко то поручение, какое вы ему добыли и, вероятно, еще не без трудов и усилий, чтобы он мог отличиться, и, если дух его хоть немножко способен к жизни, то, быть может, он, проведя время со мною, возвратится к вам совсем не тем, чем бы вы желали его видеть. И это и будет вам и возмездие и заслуженная кара за рабские свойства вашей души. Сдвиньтесь с места — вы мне мешаете выйти.

И он закурил сигару, взял в руки тросточку, надел шляпу и плащ, сел рядом с офицером и поехал, производя безнаказанно беспорядок тем, что курил на улице, тогда как это тогда строго было запрещено в столице герцога[42].

Экипаж путешественников имел легкий вид экипажа, в котором люди выехали на самую непродолжительную прогулку в загородные окрестности. Оба путника сидели одетые по-городски, ни с одним решительно никакого багажа. В доме Фебуфиса слуги удовлетворены жалованьем и содержанием за месяц вперед, но ни одному из них не дано никакого общего распоряжения. Все оставлено так, как будто это не имеет никакой ценности и может быть взято кем угодно.

Путники ехали. Сколько времени они ехали — неизвестно. Можно сказать по-сказочному: ехали много ли, мало ли, долго ли, коротко ли, но видели приключения. Их окружали и все время не покидали видения, с первого взгляда простые, но таинственные: то их обгоняли два купца и ехали впереди их экипажа, то их встречали на станции два охотника и потом за ними следовали...

Так неотступно следовали эти видения и дали Фебуфису повод заговорить с его молодым спутником о сродстве его миссии с тем, что делают эти купцы, превращающиеся в охотников для того, чтобы вскоре опять обратиться в купцов. Молодой человек был довольно крепких убеждений и по-видимому совсем отвечал своему назначению, и притом же он имел основание негодовать на художника за колкости, сказанные его отцу, но он принадлежал к числу тех, у которых всеянные семена падают на мелкую почву и скоро дают ростки и еще скорее вянут. Он скоро стал стесняться главною сущностью своей роли и оказывал предупредительность и даже угодливость своему сопутнику,— точно как будто они были друзья <и> делали приятную прогулку.

Но роль молодого человека вдруг приняла характер непредвиденный и неприятный: путь их, направляемый по воле Фебуфиса, шел не внутрь страны, принадлежащей герцогу, а к одной из ее окраин... Во все время путешествия художником не сделано ничего такого, что внушало бы хотя малейшее подозрение, что момент обнаружения заговора близится, а <в> пределах чужих владений преследование сделалось бы уже невозможным, и тогда вышло бы, что и охотники, и купцы скакали и менялись обличием напрасно.

А между тем предел владений герцога был уже близко, и экипаж делал уже последнюю станцию к границе. Здесь должна была произойти развязка. Впереди, в верстах в шести, был мост через речку, которая служила границей владений, и у этого моста застава, при заставе стража, которую купцы или охотники должны предупредить, и экипаж Фебуфиса будет задержан, и с художником перестанут церемониться: молодой офицер оставит Фебуфиса, и он будет направлен обратно с купцами или охотниками, которые доставят его в такое место, где он все откроет о своем злоумышлении и выдаст своих соумышленников.

Молодой человек все это предвидел, знал близость и неизбежность такого розыгрыша и ожидал его с живейшим удовольствием, чтобы скорее отделаться от своего спутника, tête-à-tête[1*], с которым не только стал его утомлять, но даже нестерпимо ему наскучил. Поэтому молодой человек, приближаясь к развязке своей миссии, чувствовал себя легче и держался живее и беззаботнее, а Фебуфис, наоборот, казался серьезнее и озабоченнее, точно и он знал, что здесь сейчас очень скоро должно произойти нечто весьма решительное и внушительное.

Дорога шла вдоль песчаного берега пограничной реки, неглубокой и тихой, шириной шагов в пятьдесят. По этой стороне, где катился экипаж и где за час перед тем проскакали налегке два охотника, рос в отдалении ело-

---

[1*] Наедине (*франц.*)

вый лесок, который на значительном расстоянии от берега был бесхозяйственно вырублен, оставив по себе высокие пни и несколько корявых деревцев, не представлявших цены для сруба. Потом шла до самой воды песчаная полоса с колесным накатом, вполерек которого плелись и во множестве мест выбивались наружу серые и коричневые смолистые корни срубленных елей. Пейзаж был унылый и скучный, а дорога отвратительна по своей тяжести и тряске, которые причиняли корни.

Чтобы избегать беспрестанных толчков, почтарь ехал стороною от колесного наката, сыпучим песком, в котором тонули и колеса экипажа и ноги коней. Поэтому путь совершался тихо, шагом.

На другой стороне реки пейзаж был иной. Та же природа и те же деревья там глядели иначе. Старый еловый лес и там был, очевидно, сведен, но вместо его засеян и возрос молодой частый ельник, свежий и сильный и густой как щетка. Он доходил вплоть до реки, вдоль которой не было видно никаких убогих колесных тропинок, а свежая трава и тень, летали птички, и слышалось веселое посвистыванье реполова. В одном особенно красивом месте стояла купа, состоявшая из шести старых очень красивых сосен, не срубленных при разумной эксплуатации леса по каким-то особым же соображениям.

Соображения эти объяснялись тем, что под тенью этих деревьев помещался очень небольшой домик лесного сторожа, которому эти деревья были оставлены для того, чтобы ему было где отдохнуть и на чем отвесть глаза, пока вырастет новая поросль. К этому домику, который был так укрыт, что его не сразу можно было рассмотреть, вела неширокая шоссерованная дорожка, обозначавшаяся у самой реки и сейчас же терявшаяся в густом ельнике. У фронтона домика возвышался шест с тянувшимся до его верху шнурком, на котором, без сомнения, лесник поднимал, когда ему нужно, флаг. Теперь, как день был заурядный, будничный, на этом флагштоке было поднято что-то другое: шар не шар и комок не комок, а так что-то просто небольшое и темное. Очень дальнозоркий глаз и, особенно долго всматриваясь, может быть, рассмотрел бы, что это черная широкополая мужская шляпа с совиным пером за тульею. Фебуфис навел на этот предмет бинокль и, передав его офицеру, сказал:

— Чудак, должно быть, тот, кто живет в этом домике.

— Отчего?

— Посмотрите: он поднял на флагшток свою шляпу.

Офицер посмотрел и, возвращая бинокль, сказал:

— Да, это шляпа.

— Любопытно, зачем она там?

— Ее, наверное, сушат.

— Ах, в самом деле!..

— Да, пожалуй, что сушат. А то, может быть, это какой-нибудь условный знак. Шляпа эта меня интригует.

Это приходилось всего уже в трех верстах от заставы и моста, которые и были прекрасно видны путникам, приближавшимся к своей цели в коляске. Река здесь делала изгиб, при котором застава с мостом являлись у едущих впереди, а лесная сторожка как бы подходила к ним сбоку. Фебуфис, заинтригованный шляпой, обратил внимание на весь вид, и, привстав в экипаже, сказал:

— Шляпа-то шляпой, а и все это место прекрасно.

— Вы правы, ландшафт очень хорош,— отвечал его спутник.

— Это не ландшафт, а пейзаж. Вы понимаете разницу?

Молодой человек посмотрел на него недоуменно и покачал головой.

— Если бы со мной был мой альбом, я бы срисовал этот прекрасный ландшафт.

— Теперь вы его называете “ландшафт” А у меня есть карандаш и бумага, если они вам годятся.

— Давайте их: они сделают свое дело.

Молодой офицер подал художнику свой бумажник с листками хорошей бумаги и мягкий карандаш.

— Отлично! Побудьте здесь, а я подойду ближе к реке и... вы будете иметь вид этот на память.

С этим он положил бинокль на свое место в коляске и посоветовал спутнику смотреть в него на ту сторону, а сам сошел под бережок, в два, три штриха нарисовал флагшток со шляпой и осла с длинными ушами и затем крикнул:

— Пик, Мак!

Эхо с той стороны прекрасно повторило эти слова и сделало переставку:

— Мак, Пик.

Фебуфис улыбнулся довольной и счастливой улыбкой и стал снимать с себя все платье, обувь и белье, и, раздевшись донага, крикнул:

— Господин офицер!

Тот откликнулся.

— Сойдите сюда.— И пока тот сошел, Фебуфис был уже на половине реки, где вода доставала ему по грудь, и, оборотясь к офицеру, прокричал ему громко:

— Возвращайтесь назад... Вам больше некуда ехать... Возьмите себе на память вид этой местности, а вашему повелителю отвезите мои штаны и снятую рубашку. Пусть он поймет, что Фебуфис не дорожил тем, чем его низость позволила попрекнуть меня. Все бросаю ему.

Там на вашем берегу я отряс песок от ног, а здесь я окунаюсь с головою, чтобы омыть себя всего и ничего от вас не перенести с собою, потому что от всего вашего... холопом пахнет![43]

И он повернулся к офицеру спиною и пошел бодро на другой берег реки, где в это время никем не замечено выступило явление: у самой воды стояли Пик и Мак и держали в руках полотно и всю новую одежду для Фебуфиса.

Так он наказал герцога,— он ничего не взял,— он перешел нагой из владений герцога на соседнюю землю и тут радостно обнял свободных и верных ему друзей, которые его одели, как новокрещенца, в приготовленные ими для него новые одежды и, восприняв его таким образом в лоно прежней семьи, увезли в Рим, чтобы он там стал на новые ходули.

Положение офицера, оставшегося на берегу герцогских владений, было исполнено оригинальности и комизма. Молодой человек был чрезвычайно сконфужен: то, что столь неожиданно случилось, было не похоже ни на одну из комбинаций, каких он мог ожидать, и теперь, оставшись над скинутым на берегу платьем и бельем Фебуфиса, он только мог смотреть в бинокль, как на той стороне легкая пыль взвилась за увозившим друзей экипажем. Но экипаж этот скоро скрылся, и офицер, опустив бинокль, засмеялся над самим собою. Что ему оставалось делать: оставить здесь откинутые Фебуфисом одежды и спешить к заставе или поднять эти реликвии и в самом деле взять их в столицу герцога как доказательство события?

Из этого нерешительного положения молодого человека вывели неожиданно подоспевшие к нему два купца, которые теперь были одеты жандармами. Они видели все, что здесь произошло, с крыльца заставы и прискакали сюда на помощь, которая, впрочем,— увы — была уже невозможна.

Они были серьезны и старались, чтобы их деловой вид был внушительным укором легкомыслию офицера, оставшегося над скинутым бельем Фебуфиса. При них бы это ни за что не случилось: они бы поняли, что значит шляпа и перекличка "Пик-Мак" и "Мак-Пик" Теперь все дело потеряно — следить больше нельзя... И черт один знает — есть ли за чем следить?! Может быть, все в том и состояло, что Фебуфис не доверял, что фараон дозволит ему уйти на свободу из его владений, и призвал своих отчаянных головорезов, ожидавших его под шестом и лопоухою художническою шляпою?

Он всего и достиг,— он все здесь бросил,— даже свое носильное платье,— он отряс прах с ног и окунулся в реке с головою, чтобы показать свой разрыв с страною и, может быть, даже свое презрение к ее повелителю, близость с которым он почитал за что-то нечистое, маравшее его честь, и хотел ото всего этого очиститься...

Впрочем, это вопрос щекотливый, о котором он больше думал, чем говорил. Как это следует понимать — должны решить стоящие выше, которым всякое сложное дело виднее. Исполнительское дело — все скромно сохранить и о всем обстоятельно довесть до ведома старших. Утаить этого нельзя, и как ни неприятно чувствовать себя игралищем Фебуфиса и его шаловливых друзей, а его последний завет надо исполнить: надо снятое и брошенное им на песок белье, платье и сапоги поднять, перенести в коляску, уложить и везти все это назад в столицу герцога вместе с смешною прощальной картинкой, напоминающей этот ландшафт со шляпою, которой и теперь уже не было на шесте, и с молодым осликом, которого офицер прежде вовсе не видел, а теперь, задумавшись, только покраснел и сконфузился.

— Может быть, этот дерзкий нахал сделал этим намек на меня!..

Но скрыть ничего невозможно: все должно быть представлено в полной сохранности. Жандармы были свидетелями всего, что осталось у речки. И все это было доставлено, герцог потребовал к себе только одну прощальную картинку и смотрел на нее долго и с любовью, а потом спросил:

— Сколько же времени он это рисовал?

— Одну минуту,— отвечал сконфуженный офицер, представленный герцогу для личного объяснения.

Герцог перевел свой тяжелый взгляд на него, потом потрепал тыльной стороною руки по рисунку и сказал:

— Талант виден и здесь!

— О, да, ваше высочество,— отвечали враз полковник и достопочтенный Беда[44].

Герцог показал глазами на сконфуженного провожатого и на изображение ослика и добавил:

— И какое сходство!

Беда достопочтенно улыбнулся, а полковник и его сын только преклонились.

Герцог привстал и, уронив рисунок на пол, сказал офицеру:

— Сохрани это у себя на память: я у тебя после спрошу.

А потом ободрительно положил на плечо полковнику свою руку и сказал громко по-французски:

— Ты не конфузься, чтобы сходство не было так велико, я произвожу твоего сына в следующий чин. Это его выделит из ряда товарищей и всех убедит в его исполнительности.

Отец и сын, оба, на лету поцеловали руку герцога, и тот отпустил их без всякого гнева, сказав:

— Очень рад, что могу вам угодить за то, что вы для меня сделали: отец подержал пари на меня, а сын отдал меня на потеху мальчишкам.

Награжденные вышли.

Герцог прошелся по тому же длинному кабинету, где сравнительно еще так недавно давал пистолет Фебуфису, и, став на том же месте лицом к окну, а спиной к достопочтенному Беде, спросил:

— Не можешь ли ты разъяснить мне, старик, одно странное и страшное положение, которое меня неотступно преследует и мучит?

— Что вам угодно, герцог?

— Отчего это все так складывается, что я,— в моем по-видимому самом свободном и независимом положении,— не свободен?

Лицо Беды сильно покраснело и выражало мучительное недоумение.

— Не понимаю, ваша светлость! — ответил он робким и несмелым голосом, прижав персты рук к своей груди.

— Врешь, старина,— понимаешь! Впрочем, я тебе скажу попрямее: отчего я так часто принужден приближать к себе и отличать таких людей, в которых не вижу достоинств и презираю их,— а должен отдалять тех, которых мог бы уважать и хотел бы видеть?

— Это очень просто, ваша светлость.

— А например?

— Вы жертвуете своими симпатиями пользам страны.

— Гм... да!.. Ну это ты, может быть, врешь. А однако, вот что...

Герцог повернулся на каблуках лицом к исполнителю своих предначертаний и проговорил живым и не допускающим возражения тоном:

— Ты понимаешь, что я не могу дозволить *ему* удивлять меня своим великодушием.

— Совершенно понимаю, ваша светлость.

— И для того... немедленно должно распорядиться его имуществом.

— Слушаю, ваша светлость.

— Все сберечь и все выслать *ей*.

— Но ведь она может сюда возвратиться...

— Она здесь не нужна... Ты хочешь мне возражать?

— Если позволите, да.

— Говори.

— Она ваша подданная.

— Что же дальше?..

— Она имеет право вернуться на родину.

— У меня и без нее есть подданные, и все они не имеют никаких прав там, где выше всего мое право.

— И кроме того... я бы еще решился представить...

— Представляй?!

— Время может осложнить для нее ее положение.

— Ты дальновиден.

— И тоже для него...

— Ну!

— Он едва ли вернулся в Рим с теми же силами, с какими приехал из Рима...

— Да, мы умеем людей портить.

— Он разочаруется в своем самомнении...

— Да, и, пожалуй, станет проситься назад?

— Нет, но увидит свою глупость, что все здесь бросил и ото всего отказался.

— Он никогда этого не увидит.

— Но...

— Но если бы он это и увидел, он никогда в этом не признается, и те, которым мы с тобою не могли посыпать на хвосты соли, его там не бросят.

— Но... я опять смею сказать "но",— продолжал, улыбнувшись, почтенный Беда,— я прошу позволения подождать с возвращением, пока получу еще одно известие о ней... Я прошу этого у вашей светлости как личной мне милости.

— Ну, пускай будет тебе эта милость,— отвечал герцог, протянув вельможе руку, которую тот поцеловал и, поклонясь низко, вышел.

В тот же день этот почтительный и преданный слуга герцога написал письмо в Лисабон к даме, сопровождавшей Помону, и требовал от нее сведений о ее спутнице. Вскоре был получен ответ: Помона была мать, и ребенок ее, мальчик, получил крестное имя герцога, что, впрочем, было довольно распространенным обычаем во многих знатных семействах этой страны, горячо благоговевшей перед своим герцогом.

Оставалась забота о том, чтобы дитя было признано его законным отцом. Почтенный Беда начертал план сношений для этого даме и однажды после доклада просил у него позволения представить этот план на его одобрение.

Герцог отстранил от себя листок, в котором было изложено наставление, и сказал:

— Никогда более не напоминать мне об этом.

В столице герцога роман этим для всех был закончен, но в других местах он еще имел продолжение.

Фебуфис в сопровождении Пика и Мака благополучно следовал в Рим. Как при встрече под шляпой на шесте, так и во все время пути он был в возбужденном и восторженном состоянии. Дух его сделался бодр, и пострадавшее тело чувствовало возобновление сил и крепости,— только лишь сердце порой замирало от воспоминаний и вызываемых ими волнений. Во-первых, встреча с Пиком была и радость и укол в сердце,— и, обнимая его, Фебуфис плакал от благодарности за его дружбу, но тут же чувствовал мучительную горечь от воспоминаний, как с его стороны была оскорблена эта дружба. Он целовал Пика и в то же время старался от него отодвинуться и смотреть ему в глаза, чтобы прочесть там, что осталось записанным в его памяти и чувствах.

Но Пик и Мак были оба одинаково ласковы к возвратившемуся другу, ни один ничем не напоминал ему ни о каком недоразумении или несогласии в прошлом. Пик, потрясая руку Фебуфиса, говорил:

— Ну вот! ну вот ты снова с нами, как голубь, который летал путешествовать по свету и вернулся опять к друзьям на голубятню.

Фебуфис говорил только: "Да, да, да!"

А Пик продолжал его обнимать и лепетал:

— Поверь, что с нами лучше!

— О, да, конечно, да!

— Мы все скорей поймем, и все скорей простим...

— О, да, мой милый Пик, о да!.. Вы люди... А ты, бесценный Мак,— ты верный, но жестокосердый друг, который часто подтрунивал над тем, что называл моими фантазиями. Как часто я вспоминал тебя!..

— Ну, теперь больше не утруждай своей фантазии,— не вспоминай, а гляди на меня, пока я тебе не надоем.

— Надоешь!.. Ты никогда мне не надоешь — особенно после сегодняшней встречи... Я мог еще ожидать этого от него — от доброго Пика, но никак не от тебя.

— Почему же не от меня?

— Потому что ведь ты реалист и враг всяких эффектов, а это на твой взгляд, конечно, эффект и, может быть, неоправдимый, глупый эффект...

— Оставь это!.. Что мне за дело!

— Нет, отчего же!.. Брани меня, Мак, шути надо мною и смейся, но верь, это мне было нужно. Этого эффекта требовала моя оскорбленная до глубины душа...

— И ты прекрасно сделал, что не отказал ей в том, что она у тебя требовала. Душа как ребенок,— пусть ее тешится, лишь бы не плакала и не слабела, а собирала силу и крепла. Я не смеюсь ни над чем и шутить над тобой не намерен. Мак — твой приятель,— такой же, как был, только стал старше и, старея, учит себя быть добрым. Советую и тебе делать этот запас.

— Хорошо, хорошо, Мак, ты будешь моим учителем, а я твоим покорным учеником. Я доказал человеку, который меня грубо обидел, что он меня не понимает...

— Да и черт с ним совсем! — он никогда и не поймет,— перебил живо Мак,— перестань о нем поминать и станем жить как живали.

В городке, который стоял недалеко от места, где Фебуфис совершил свою переправу и омовение, друзей ожидал ранний обед, который они съели весело и с аппетитом,— выпили вина за “возобновленье дружеской жизни” и поехали своим путем и дорогою к Риму.

Здесь, в виду Вечного Города, в той самой таверне, где при отъезде Фебуфиса происходило его прощанье с друзьями, теперь его ожидала еще более живая встреча. Все кто уцелел и не уехал из прежних друзей Фебуфиса и множество молодых художников, которые не знали его лично, но знали о его даровитости и о его непосредственном нраве, оставившем по себе художественные и, конечно, преувеличенные рассказы.

Фебуфис был окружен их живою и радостною толпою и долго переходил из объятий в объятья, пока наконец стал лицом к лицу перед молодою, несколько излишне располневшею, но еще красивою женщиною, в которой узнал Марчеллу. Она его тоже обняла и поцеловала и положила ему на просвечивавшее темя душистый венок с вплетенною между цветов терновою веткой, причем, надевая этот венок, нечаянно уколола себе до крови палец терновой иглою.

Фебуфис схватил эту уколотую руку, поцеловал ее и, всосав языком каплю крови, пошел вперед с Марчеллою к экипажу, который должен был везти его в Рим.

Во все время своего пути из столицы герцога и даже еще ранее,— с первого момента, когда Фебуфис задумал отмстить герцогу за его грубость, покинув все до единой нитки и перейти нагим на чужую землю,— он не затруднял себя вопросом: как он обойдется с жизнью, прибыв в Рим? Правда, что он ехал с великою жаждой трудиться и снова блестеть своими работами, но все это были, может быть, очень хорошие и статочные предположения для дальнейших дней, а что нужно теперь, сейчас же на первых порах,— он об этом не думал. Мысль об этом впервые побеспокоила его только теперь, когда колеса экипажа, в котором он ехал с Марчеллой, застучали по каменной мостовой Рима. Только теперь Фебуфис вздумал о том, куда он едет и как будет обходиться завтра и послезавтра? Он доказал свое благородство и гордость, и он чист, но... он слишком чист: он пришел назад нагишом, и... ему теперь кажется, что не один Мак может над ним смеяться...

Но почему же, однако, они никто не смеются?.. Никто не шутил, никто ни о чем не расспрашивал... Это с их стороны снисхождение. Оно сродни

сожалению, которое с своей стороны напоминает о слабости и... оно... не возвышает по крайней мере...

Фебуфис завел руку за жилет и крепко прижал рукой сердце, потому что оно упало и замерло так, как не замирало даже в то время, когда он видел, как беззвучно захлопнулась маленькая дверь замка за темным силуэтом, в котором он узнавал фигуру своей жены.

— Проклятая бедность! Проклятая бедность! — пронеслись в его ушах некогда часто слышанные им слова молодой Марчеллы. Он никогда не знал значения этих слов в том смысле, в каком они терзали любящую и ревнивую душу Марчеллы, той самой Марчеллы, которая теперь после довольно долгой разлуки сидит опять рядом с ним и везет его в *своем* экипаже.

Он взглянул на нее,— еще раз удивился, как она пополнела и сколько в ней тишины и довольства, и остановился на мысли: откуда все это?

— Марчелла, что же ты не скажешь ни слова мне о себе: как идет твоя жизнь?

— Хорошо,— отвечала беспечно Марчелла.

— Где же ты живешь?

Она назвала местность и прибавила:

— Ты будешь жить в двух шагах от моей виллы.

— Твоей виллы? Ты вышла замуж?

Марчелла покачала отрицательно головою.

— Получила наследство?

— Еще того менее, но что ты за цензор!

— И правда. (В уме мелькнуло опять: проклятая бедность!). Но ты мне сказала, что я буду жить по соседству с тобою.

— Да, и я всякий день буду ставить у себя за столом старое кресло для старого друга. Ты не откажешь обедать со мною?

— Спасибо, спасибо.

— У меня вкусно готовят ризотто[45], и понтэ-кале[46], которое будем пить за обедом, куплено вместе с погребом дома. Я надеюсь, тебе понравится сад мой, похожий на рощу. Там мы с друзьями проводим сиесту. У меня ведь все те же друзья. Я ни с кем не поссорилась. Мак всегда оставался моим другом. Марчеллу все по-прежнему любят, и она по-прежнему не страдает ни от чьих осуждений... Я ничем не смущаюсь, мои дети здоровы...

— Твои *дети*! — перебил Фебуфис.

— Ах, да и правда,— ты ведь не знаешь: у меня трое прекрасных детей, и — представь: все красавцы.

— Как мать?

— Нет,— все в разном роде. Но что ты так смотришь, кажется, все это в порядке вещей... у молодой женщины, если она живет жизнью, свойственной ее силам и летам, очень могут быть дети, а если отцы их ветрены и непостоянны, то, черт возьми, не женщина же должна себя казнить за их непостоянство! О нет, нет, нет! Я отдала мой долг терзаньям и с ними кончила.

— Ты чистая и добрая, Марчелла!

— О полно, полно об этом, Фебуфис! — слегка сдвинув брови, сказала Марчелла.— Нас, чистых, бросают, а доброй быть невозможно, когда никому и ничем не можешь помочь. Я смеюсь теперь, Фебуфис, над прошедшим.

Теперь я свободна... я свободней, чем прежде, и порой иногда могу быть другим немножко полезна... Вот моя вилла, а напротив твое помещенье!

И когда она это выговорила, коляска остановилась в узенькой загородной улице, окруженной со всех сторон роскошною густолиственною зеленью. Справа и слева шли невысокие каменные заборы с перевесившеюся

через них сочной листвою, а за ними, в глубине садов, тонули домики, из которых одни были красивы и даже роскошны, с прихотливыми архитектурными украшениями, а другие просты и скромны. Дом Марчеллы был со старинным гербом, под которым на новой дощечке было ее новое имя, а напротив за забором в тени помещалась старая скромная вилла, где предусмотрительность друзей Фебуфиса и более всего предусмотрительность Марчеллы устроила ему удобное жилище, состоявшее из спальни и обширной мастерской с огромными окнами с прекрасным видом на город и с освещением, какое нужно для его художественных занятий.

Все это было убрано скромно, но хорошо, в его вкусе,— на стенах было много новых картин и разнообразной величины полотна и мольберты, палитры и кисти и краски. Фебуфис удивился, найдя для себя готовым такое жилище именно в ту минуту, когда он вспомнил, что у него нет никакого приюта.

— Мне это много!.. Каким это все волшебством и откуда слетело? — спросил он Марчеллу.

Она отвечала ему, что все его друзья принесли ему в дар по картине.

— А помещение, и все остальное, что здесь есть?

— Это все пустяки... Прими это все от Марчеллы.

— От тебя!..

— От меня как от старого друга. Поверь, это тебя не унизит.

— Но сколько все это стоит!

— Не дороже улыбки Марчеллы за чашкой шоколада. Будь добр к своей бывшей Марчелле и не расспрашивай больше. Возьми скорей ванну с дороги и приходи обедать ко мне вместе со всеми друзьями. Я удерживаю всех до семи часов вечера. Позже я не принадлежу себе немножко.

— Что у тебя за положение, Марчела?

— Увидишь.

Фебуфис остался сделать свой туалет, за которым его застали Пик и Мак, и увлекли его к Марчелле, жилище которой блистало роскошью, обед был обилен и вкусен, а вино прекрасно.

Фебуфис все это видел,— пил, ел, старался казаться бодрым, беспечным и умным, но все постоянно чувствовали, что он не естествен, что он здесь как будто уже не на месте и не попадает в тон.

Проходя после обеда на веранду через одну из уютных комнат с широким и мягким диваном в угле, он заметил над этим диваном портрет того кардинала, которого изображал в непристойной картине, и остановился.

Марчелла подошла, взяла его под локоть и провела на веранду.

— Смотри, какой чудный вид от этой колонны! — сказала она, ставя его у столба и отходя к столику, на котором изящная девушка поставила дорогой кофейный прибор.

Фебуфис смотрел и ничего не видел: он мял одной рукой другую руку и, казалось ему, теперь понимал, откуда все это взялось у Марчеллы и кому он обязан дозволением снова жить в Риме...

С каждой минутой ему все сильнее казалось, что он сделал что-то чрезвычайно глупое, что вся его житейская ставка проиграна и что ему совсем не за чем было сюда возвращаться... Они здесь все жили своей простой жизнью... Их терли и мяли колеса житейской телеги, но они так не изломались, как он, отшатнувшийся от своего круга. И они все его сильней и счастливей. Марчелла говорит о том, что ее бросали, пока она была чиста и искренне любила... а теперь у нее есть дети — красивые, но все в разном роде и есть час, когда она пьет с кем-то шоколад... Конечно, под этим портретом...

Он в силе более чем прежде, он значит более, чем сам папа, особенно в внутренних делах... и вот.

— Ты все понял? — тихо спросил его Пик, сжимая его локоть.

— Да,— отвечал Фебуфис.

— И что же бы ты хотел иначе? Мы с ней по-старому друзья... Нельзя судить, когда всего не знаешь, да и вообще, что за охота судить. Она ко всем добра по-старому и благороднейшего сердца. Мы, мужчины, тоже ведь большие негодяи и — Бог один знает — может быть, мы-то и есть всему виною. А ты... как ты думаешь?.. А? А я нынче часто думаю даже так: действительно ли все это, что мы представляем себе очень важным, так же и есть важно на самом деле? Право, стоит только человеку представить себе всё это иначе, как оно и в самом деле получает совсем иное значение... Может быть, в этом истина.

— В чем,— раздумчиво произнес Фебуфис.

— В том, о чем я тебе говорю.

— Я тебя не понимаю.

— А я тебя понимаю, и я это говорю с опыта... Это для меня стало истиной и сделало меня свободным от больших терзаний, от которых ты не свободен и мучишься... Поверь мне, Фебуфис, что все это не стоит никаких забот.

— Что же на свете стоит забот?

— Забот стоит только одна постоянная забота иметь как можно меньше забот или — еще лучше — совсем не иметь их вовсе. Ты знаешь, я стал буддистом. Я не привязан к жизни... После некоторого случая в моей жизни я утратил доверие к возможности счастия и... с тех пор все простил и все позабыл и... я счастлив, и тебе от души бы советовал обратиться к тому же. Не полагай своего блага ни в чем и ни в ком вне себя, и оно все соберется внутри тебя самого. Пойдем выпить кофе, который нальет нам Марчелла, а то она скоро станет следить за часовою стрелкой, и мы здесь будем не у места.

И все это так сделалось: друзья напились кофе у Марчелы и после первого скрытно ею брошенного взгляда на круглые часы, помещавшиеся над дверью веранды, встали и, простившись с хозяйкою, вышли и расстались.

Пик и Мак не сопровождали домой Фебуфиса, который казался им очень утомленным, и он один вошел в свое одинокое жилище, сел у окна и долго-долго глядел вдаль и не заметил, как наступил вечер. Ему было грустно, невыносимо грустно, и внутри себя он ощущал безграничную и беспросветную пустоту и безволье. Он сделал все, что он хотел, вернулся, куда хотел, и нашел именно то, что желал найти — радушье и дружбу... Даже более — Мак над ним не шутил и не называл его Дон Кихотом[47], Пик устранил все тяжести недоразумения за прошлое, а Марчелла счастлива... только он один несчастлив... Он не может вернуться к их взглядам и к их нетребовательности, от которой на него веет цинизмом. Они все добры, все отстрадали свое и теперь беспечальны, помирившись всякий со своим положением. Он не может и не хочет усвоить себе их настроенья и взглядов. Его иначе настроила жизнь. Если бы он жил здесь с ними все то время, которое прожил в другом совсем круге, может быть, и он бы судил и чувствовал так, как они,— но теперь он не годится, он не в силах вращаться в их сфере. Он здесь еще более одинок, чем там, где его терзали измена жены и интриги царедворцев герцога. Хуже ли, лучше ли он Пика и Мака и измененной Марчеллы, но только он им не родня, он чужд им, и они ему чужды настолько, что он будет скрывать от них все, и он видит, что сделал большую ошибку, вернувшись сюда в их среду. Ему надобно было удалиться от света без вся-

ких эффектов, жить одиноко, безвестно, слиться с природой и в тишине создать произведение, которое отразило бы и все его муки и показало бы идеал чистой жизни. Теперь все это ушло... Он вспомнил "проклятую бедность" Он нищ, вполне нищ, потому что у него нет даже *силы душевной*, которая есть у тех, которых он кинул пресмыкаться в их униженном холопстве, и у этих, к кому он вернулся и нашел их счастливыми, в примиреньи с тем, с чем он уже не умеет мириться... Он казался себе всех несчастней: у всех у них есть чем держаться за жизнь, а у него лишь одна "проклятая бедность"! — бедность [упадка], бедность бессилья. Он был ребенок, упавший с высоких ходулей, на которых держался долго и вдруг шлепнулся на землю... Ему, чтобы жить, надо было сделать какое-то необыкновенное усилие,— надо было опять подняться на ходули. Для этого он прежде всего решился не идти в более тесные сближения ни с Пиком, ни с Маком, ни даже с Марчеллой. Он им благодарен за их дружбу и услуги, но он не может, он не в состоянии вести с ними общие разговоры ни в интимном кружке, ни в шумных тавернах. Он не может, как прежде, ни пить, ни шутить, ни говорить об искусстве. Притом он боится — боится того, что в искусстве от них он отстал, и боится намеков...

Он начал свое удаление с этого же вечера. Когда в сумерки к нему взошла нанятая прислуживать ему старая итальянка Паула и хотела зажечь ему свечи, он попросил ее удалиться и сам в темноте приготовил себе постель и лег в нее и проспал ночь не раздеваясь.

Ночью ему снились пережитые обиды, а утром он встал, не зная, что ему делать... Пересмотрел приготовленные для него чистые холсты, краски и кисти и хотел сию же минуту что-то начать. Идея у него была: он напишет пророка, укоряющего Давида за то, что тот, имея много овец, взял у человека любимую овцу[48]... Он изобразит герцога в лице Давида и себя в лице обличающего пророка. Картина эта должна быть замечательным произведением искусства и, сделавшись известною, она уязвит гнусное и жестокое сердце герцога...

Фебуфис поставил полотно, взял уголь и стал рисовать. В руке его не было твердости, концепция фигур его не удовлетворяла, да и самый сюжет перестал ему нравиться, как только он взялся за его исполнение. Стоит ли это того, чтобы с этим связать себя на долгое время? И этот сюжет будет только выдавать его терзание другим и будет его мучить... но он продолжал его чертить и скрывал свою работу от Пика и от Мака, которые к нему приходили. Он тяготился приветом Марчеллы. Несмотря на близость их жилищ, он не ходил к ней, и она присылала ему на дом его кушанье. За квартиру не спрашивали,— в ящике комода, наполненного бельем и платьем, он нашел старинный кожаный кошелек с сотней червонцев, о которых он не мог узнать ничего ни от Пика, ни от Марчеллы и Мака. Он не хотел их начать, но они были нужны, и он их коснулся и начал. Положение его представлялось ему скверным и унизительным, но он не мог создать себе иного.

Спустя значительное время он решился выйти и обошел студии Пика и Мака и других старых знакомых и увидел, что все они работают не без недостатков, но увереннее и лучше его. Сюжеты их картин казались ему независимее, а техника смелее и выше. Они, без сомнения, ушли вперед, а он застоялся.

Фебуфис впал в унылость, худел и сделался мрачен. Часто с утра он уходил и бродил, где попало, или сидел в дальних тавернах и играл в домино с содержательницами этих заведений или с их плохими гостями. Пик и Мак и Марчелла замечали эти странности и старались его ободрить и повернуть к другому порядку, но это ни к чему не вело. Фебуфис был в полном упадке.

Пик и Мак однажды зашли к нему в его отсутствие и, открыв с дружеским дерзновением его холсты, стали в тупик: все холсты были начаты и все оставлены, потому что все они были из рук вон слабы.

Оба художника молча закрыли холсты, посмотрели в ящике старинный кожаный кошелек и, найдя его опустевшим, в нерешительности восполнили его несколькими червонцами и удалились к Марчелле.

Возвратившийся Фебуфис заметил следы этого посещения, взял кошелек и отправился с ним к Марчелле, где надеялся встретить друзей и не ошибся: Пик и Мак сидели с хозяйкою дома на веранде и говорили о нем.

Фебуфис услыхал издали свое имя и остановился. Его не видали, и он остался на месте. Разговор шел дружеский, но слишком откровенный и слишком тяжелый для Фебуфиса. Пик и Мак говорили о нем при Марчелле в самом дружеском, но сострадательном тоне: оба они находили его характер павшим до немощи и талант его потерявшим всю свою силу. Во взглядах их было только то различие, что Пик надеялся еще на какое-то случайное возрождение его сил, а Мак считал его “человеком конченым” Марчелла же, выслушав все это, сказала, что, может быть, и Пик и Мак, оба правы,— что Фебуфис, быть может, и “кончен”, если его никто не спасет, но что он и может воспрянуть, если явится спасенье.

— Кто же может принести ему это спасенье? — спросил, сомневаясь, Мак.

— Его жена.

— То есть что же еще она может сделать? Ведь она его уже не беспокоит, и он очень хорошо знает, что здесь она ему безопасна.

— Вот это и есть. Надо, чтобы она его обеспокоила, чтобы она пришла к нему... плакала, каялась... облила бы его слезами и вымолила себе его прощенье... Это все очень красивые вещи... Они бы его помирили, она бы стала жить с нами просто, и он бы стал горд ее возвращеньем и стал бы ее понемножечку мучить... О, ведь я знаю ваши натуры...

— Но неужели ты думаешь, что он ее любит?

— О да, верь мне как женщине, Мак,— он ее любит, и скажу тебе больше,— она его тоже.

— Ты говоришь,— прости меня,— глупость.

— Нимало.

— Как же это: любила и изменяла?

— Любила и изменяла. А вы думаете, что это невозможно?

— Невозможно.

— Разве вы этого не делаете?

— Мужчина другое дело — в этом ваше превосходство. Это не в женской природе.

Марчелла промолчала и потом раздумчиво сказала:

— Да и так ли еще все это важно?

— Что такое ? Измена-то?

— Да.

— Скажи, пожалуйста! По-твоему, неужели не важно?

— Мне столько раз изменяли, что я утратила возможность понимать это верно.

— Притом измена ее особенно гадка.

— Скажите, почему?

— Она не увлеклась, а продалась.

— Не вижу этого.

— Чем мог увлечь ее герцог, капризный, грубый деспот?

— Герцог? Герцог — деспот и повелитель всей страны! Чем он увлек —

он полубог, пред которым склоняется все, что есть самого сильного в целом мире, который его окружает, а он склонялся пред нею, он ожидал ее, стоя за холодною дверью, он нес ее на руках вверх по лестнице... Она была не из тех знатных дам, которых он мог призывать через своих камер-лакеев или целовать их в ложах театра, приказав выйти мужу... Он трепетал, ожидая ее, и когда ее нес, когда под его ногами гнулись ступени,— каждый скрип каждой ступени заставлял замирать ее сердце... и когда он ее приносил, могла ли она себя помнить... Как вы, мужчины, изменяющие любящим вас для смазливой девчонки в таверне или для первой отдающейся вам женщины только ради того, чтобы она не сочла вас профанами в искусстве,— как вы не понимаете этого положения, в котором столько обаяния!

— Ты говоришь так, как будто бы ты и сама не устояла, Марчелла.

— Не знаю.

— Ты шутишь.

— Нимало. Но я не пример: я плебейка, я, быть может, отвергла б его с первого шага,— если бы он мне не нравился, и мне он не мог нравиться, опять потому же, что Марчелла—плебейка, но женщины того круга, в котором жил и где выбрал себе жену Фебуфис, имеют другие натуры... и я их прощаю, и жену Фебуфиса так строго, как вы, я судить не могу. Вы говорите одно — что мужчина может изменить жене и продолжать любить ее, а женщина, будто, этого сделать не может. А я говорю вам — вы лжете: женщина тот же человек, и она может изменить и продолжать любить того, кому изменила... Не смейтесь, не смейтесь! Я ведь женщина, и притом меня ничто не вынуждает лгать перед вами.

— Не солги и скажи, что ты чувствуешь снова любовь к Фебуфису.

— Конечно,— я затем и послала письмо к его жене.

— Послала!.. ты?

— Да, и более того, я получила ответ: она приедет. Она его любит — я не ошиблась. Вот вам моя любовь. С тех пор как я продала себя за золото, чтобы не видеть нищеты и погибели тех, кому дала жизнь от любви,— я не располагаю уже прежним чувством. Я не могу отдаваться любви потому... что...

— Окончи, окончи, Марчелла: почему?

— Потому что это было бы нецеломудренно.

И друзья и Марчелла, все рассмеялись.

— Да, да,— повторила Марчелла,— это нецеломудренно, я не должна больше касаться любви... Я продала это право, но Святая Мадонна порукой,— я еще люблю тех, кого я любила! Я теперь ведь холодная женщина, меня беспокоит корсет, я румяная толстуха, и вся любовь моя выражается одной только заботою дружбы...

— Ты отлично кончаешь свой курс, но замечаешь ли ты, как ты низко ставишь ее, если ты думаешь, что она может вернуться и проделать все те, по твоим словам, “красивые вещи” с слезами и прочим и снова дать счастье и жизнь Фебуфису!

— И притом: неужели Фебуфис ее примет? — горячась, вставил Пик.

— О, оставьте это! Я ничего не думаю ни о нем, ни о ней хуже, чем о себе. Я только желаю им счастья и верю, что оно, быть может, возможно. У людей, которые жили близко с королями, совсем не наши понятия. Среди нас, в простоте нашей жизни, для них, может быть, найдется средство залечить свои раны, а чтобы поднять упавшие руки Фебуфиса, я нашла ему дело по силам. Еврей из Венеции предложил кардиналу драгоценную старую картину Кранаха. На ней ничего уже не видно, но она с несомненным сертифи-

катом и монограммою кровавого скорпиона. Сделан был опыт: скорпиона немножко потерли иглой и этой иглой укололи собаку — собака распухла.

— Какой старый вздор!

— Поверьте — не вздор! Я сама это видела. Напрасно вы думаете, будто это неправда, что Кранах мешал краски с кровью драконов...

— Да нет никаких драконов на свете, Марчелла.

— Я знаю, что их уже нет, но они были прежде.

— И прежде их не было.

— Пусть я легковерна как римлянка, но я знаю, что он с чем-то ужасным мешал свои краски, и собака еврея издохла. Я упросила купить мне эту картину и за нее нынче вечером будут посланы деньги, а завтра ее отнесут к Фебуфису с поручением ее очистить и реставрировать. За это ему кардинал обещал дать царскую плату и в задаток оставил мне две тысячи новых червонцев. Я завтра снесу их нашему другу вместе с людьми, которые принесут картину, и Фебуфис будет занят делом, которое ему по силам, и не будет нуждаться, и так пройдет время, пока придет женщина и, плача, упадет перед ним на колени... Это и будет самый торжественный праздник в сердце Марчеллы.

— И тогда,— перебил ее Пик,— Фебуфис будет низок!

— Да; он тогда упадет окончательно! — подсказал Мак.

— Оба вы глупы,— шутя отвечала Марчелла и отодвинула стул.

Услыхав это движение, Фебуфис немедленно же повернулся и как взошел никем не замеченный, так же незаметно и вышел.

Новость, которую он услыхал, подействовала на него электризующим образом. Она уже по самому первому началу могла обещать нечто значительное, потому что дала ему сильный нравственный толчок. Бледное и унылое лицо его озарилось живым цветом, который одинаково можно было принять за краску стыда и за напряжение воли.

Фебуфис смолчал о всем, что слышал, и прекрасно выдержал себя, когда к нему пришла Марчелла и стала просить его взяться за реставрацию старой картины Кранаха. Он принял и заказ и деньги, врученные ему Марчеллою, и через два дня зашел к ней и сказал:

— Это несомненный Кранах. Картина прелестна. Она в той же манере, как “Поцелуй Иуды”[49]. Она стоит очень больших денег, и я благодарю тебя, что ты доставила мне эту работу, я буду заниматься ею с большим вниманием.

И он действительно так занимался картиной, переведя ее снова на другое полотно и потом медленно и осторожно снимая лак сухим способом, а потом открывая вершок за вершком самое изображение. Несмотря на то, что внутри себя Фебуфис таил раздражительные скорби своего личного положения, обращение с произведением его любимого старого мастера, которому он мечтал подражать и несчастливо подражал в жизни, заняло его сильно и серьезно. Из полученных за реставрацию денег он отнес Пику и Маку все, что ими было ему положено в старинном кожаном мешочке, и затем не выходил из дома, беспрестанно работая и любуясь открываемыми из-под темного налета разнообразными величественными, грациозными и нежными фигурами картины, написанной широкой и строгой кистью могущественного соперника Альбрехта Дюрера.

— Ты его реставрируешь так, как будто ты его изучаешь,— говорил, заходя к нему, Пик.

— Это правда,— отвечал Фебуфис.— Я теперь даже могу сказать время,

когда Кранах написал эту картину: рисунок здесь сух и драпировки жестки: картина писана раньше 1493 года[50].

— То есть раньше, чем он уехал с Фридрихом.

— Да. Краски хранят до сего дня свою первобытную свежесть. Я воззову их жить снова на многие веки.

— И сам напиши так же, как Кранах, "портрет Кардинала" Он тебе предлагает этот заказ и пять тысяч червонцев.

— Хорошо, хорошо! — отвечал Фебуфис и, положив на табуретку палитру и кисть, добродушно улыбнулся.

— Чему ты смеешься?

— Временам, добрый друг Пик. Смеюся тому, как время все изменяет. Мог ли я семь лет назад думать, что я рад буду сделаться старым реставратором, и еще того меньше, что мне придется сидеть глаз на глаз с этим почтенным кардиналом и писать с него портрет в его регалиях, когда я писал его в "Loge de Lisisca"[51]. Все время; да, время все делает.

Фебуфис взял кисть и губку, потер в одном месте картину и, вздохнув, молвил:

— Да!.. А между тем... не надо, чтобы оно все сделало.

— Сделает.

— Нет. Оно не должно нас по крайней мере делать смешными и низкими.

— Что смешно и что низко?

— Низко то, что самому человеку не дозволяет думать о себе без унизительной муки.

— Все это относительно,— отвечал Пик,— полагая не без основания, что Фебуфис говорит о себе, но тот ничего не ответил, а потер губкою поле и, когда на этом месте слабо, как из тумана, обозначилась монограмма Кранаха, сказал:

— Как страшно жив этот крылатый дракон! Ты знаешь предание, будто он это писал с драконовой кровью?.. В этой краске есть яд.

— Это вздор.

— Очень возможно.

И он опять продолжал работать, и реставрация уже приближалась к окончанию. Картина вся стояла во всей стройности своего рисунка и поразительной силе освеженных красок. Последними усилиями была реставрация монограммы. Красный крылатый дракон был выписан Кранахом очень затейно, и Фебуфис восстанавливал его с усиленнейшим старанием средневекового миниатюриста, и в самый тот день и в тот час, когда он положил кисть, потому что все было кончено и в картине не оставалось ничего более делать, к нему вошла его старая служанка и подала ему небольшой сверток.

— Что это? — спросил художник.

— Мальчик из города говорил, что прислан приезжею дамой из гостиницы "Stella Romana"

Фебуфис выслал старуху, развернул быстро сверток и тяжело опустился с ним в кресло.

В руках у него был портрет Помоны, писанный им в столице герцога и проколотый ее золотою шпилькою. Затея Марчеллы исполнилась... Помона приехала... она в Риме... Она прислала этот портрет, чтобы тронуть его, чтобы напомнить ему, что он был жесток и груб с нею... что он сам виноват и сам толкал ее в бездну... Затем будут слезы... рыдания... Нет!.. так не будет.

Фебуфис бросил портрет на постель, оделся и отправился в город.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ[1*]

В “Stella Romana” не приезжала Помона. Фебуфис там нашел сопутствовавшую его жене белокурую придворную даму. Она его насилу узнала.

— Три года много вас изменили,— сказала она Фебуфису.

— Я не за тем пришел, чтобы узнать, какое я произвожу на вас впечатление. Мне прислан портрет... Для чего?

— Та, с кого он написан, очень несчастна.

— Возможно...

— И любит...

— Возможно, возможно! Что же дальше?

— Она видеться хочет... хочет молить о прощенье!

— К дьяволу! к дьяволу все!.. Она здесь... Говорите! Где она?.. Я вижу, как шевелится дверная портьера... Мне не нужно герцогской подачки...

— Нет, не подачки! Сядьте и, если в вас есть сердце, выслушайте меня одну минуту.

— Она там?.. тут?.. за портьерой? — говорил, не обращая на нее внимания и задыхаясь, Фебуфис.

— Не тут она и не за портьерой, но...

— Где?

— Близко!

— Га!.. Я слушаю... Откройте мне портьеру!

— Там нет Помоны!

— Есть! — бешено вскрикнул Фебуфис и, не ожидая нового слова от баронессы, кинулся за спущенные портьеры ее спальни, где у изголовья кровати стояла бледная и испуганная Марчелла.

Фебуфис сначала ее не узнал, а потом бросился к ней на грудь, обнял ее и горько заплакал.

Обе женщины были тронуты этим неожиданным оборотом и стали ухаживать за ним, как за больным или за ребенком. Марчелла села и склонила себе на плечо его голову, а баронесса подала ему воды и обтирала ему лоб одеколоном из своего дорожного флакона.

Фебуфис скоро оправился и, тихо извиняясь перед баронессою за сделанное ей беспокойство, сказал:

— Я стал очень нервен и не знаю, что привело меня в это глупое состояние, но говорите мне: что вы от меня хотите? Ей дурно жить... она покинута... ею пренебрегают... что? что еще?

— Ничего из этого сего, что вы сказали,— отвечала баронесса.— Напротив, о ней вспомнили... ее не покидают, ее зовут опять...

— Ага, опять!

— Да, мы получили приглашение возвратиться... и ей никто не будет сметь пренебрегать... Вы знаете — какие нравы... но она сама не хочет возвращаться туда, а рвется к вам... под кров чести. С нею дитя...

— Дитя!

— Да, они остались во Флоренции, и через три дня оба вместе будут здесь... Неужто вы оттолкнете ее раскаяние и ее любовь?

Фебуфис встал и, пройдясь, ответил:

— Нет... я ее не оттолкну.

— Вы мне даете слово?

[1*] Под словами “Часть четвертая” Лесков поставил римскую цифру I (однако нумерации глав далее нет), но перед текстом “На другой день во всех студиях Рима...” (см. ниже) Лесков повторил обозначение “Часть четвертая”

— Да.

— О, как я счастлива и как будет счастлива страдалица Помона!

— Прощайте.

— Вы больше ничего не скажете?

— Мне нечего сказать.

— Она больна. Я сейчас же уеду к ней и ровно через три дня привезу ее сюда.

— Через три дня... прекрасно.

И Фебуфис вышел; баронесса тотчас же уехала во Флоренцию за Помоной, а Марчелла возвратилась домой несколько смущенная и удивленная легкостью своего успеха — примирить Фебуфиса с женою и возвратить им семейное счастье.

Она к этому стремилась, но его сговорчивость и быстрота его решения на нее подействовали неприятно. Это ее беспокоило как неведомое предчувствие, и она сказала об этом за кофе Пику и Маку. Пик оказал внимание заботам Марчеллы и сказал, что он на следующее же утро придет рано к Фебуфису и постарается не оставлять его, а Мак только пожал плечами и лениво заметил, что он не понимает никаких забот и хлопот, потому что все это, по его мнению, не более как какие-то хитрости дрянных людей рабского нрава.

— Ты никогда ничего хорошего не видишь в людях,— с неудовольствием заметила Марчелла и попросила Мака сказать им, что же ему кажется,— что он знает или что подозревает в таких простых и ясных комбинациях, какие открылись с появлением баронессы.

— Я ничего наверно не знаю,— отвечал Мак,— но я подозреваю, что тут есть ловушка.

— Почему? Разве в женщине не могло пробудиться чувство к мужу?

— Пробудиться, Марчелла, может только то, что спало или что дремало, а не то, чего никогда не было.

— Никогда! ты уверен, что она его никогда не любила?

— Я так думаю. Любя, не изменяют для герцогов.

— Нет, изменяют, и именно изменяют только для герцогов, но уж об этом мы довольно говорили. А вот теперь, когда герцог о ней опять снова вспомнил и зовет ее, она не хочет его внимания. Она теперь выше увлечения и предпочитает все, чем может окружить ее герцог, тому, что может ожидать ее с мужем. Это доказывает, что она его любит.

— Порывы, Марчелла, только порывы, а совсем не любовь. А я не даю высокой цены подобным порывам, если они даже и искренни, их достает ненадолго.

— А ты допускаешь даже искренность.

— Допускаю.

— Какую?

— Она изверилась в постоянстве герцога и боится возврата его вожделений... Ей будет худо, когда он опять ее бросит... она стала практична, а ее провожатая еще практичней ее: она ведь была раньше в фаворе и опять, может быть, будет.

— Тут все что-то скверное!

— Кроме ребенка, надеюсь. Ты забываешь, что у жены Фебуфиса дитя...

— О, я не верю, чтобы дитя для нее значило много. А впрочем, мне это все так надоело, что я больше не хочу ни о ком из них думать и удивляюсь, как эти люди долго носятся с своим стыдом и не выдумают ничего красивого, чтобы с ним расстаться.

А в то время как это говорили, красивая выдумка уже была готова. Фебуфис лежал мертвый на полу в своей комнате. Дверь ее была заперта, окна завешены тяжелыми темными занавесами; на камине, оплывая, догорала свеча.

Пик, уходя домой от Марчеллы, захотел наведаться к Фебуфису, чтобы посмотреть, в каком он состоянии. Рано опущенные занавесы и слабый свет свечи, который Пик заметил в маленькую щель неплотно прилегавшей занавесы, показался ему подозрительным и даже страшным. Он начал стучать в окно, потом стал рвать дверь и, не получая ответа, бросился догонять Мака, который шел тихо к городу.

— Остановись! — закричал он ему.— Есть что-то ужасное!

— Что еще?

— Я боюсь, что с Фебуфисом что-то случилось... Ты, может быть, отгадал: ему надоел его стыд... Он заперся в своей комнате, закрыл окна, и у него горит свеча, а он не отзывается.

— Ты громко звал его?

— Да; я звал, стучал и обил все руки, но нет отклика... Бежим к нему, чтобы он не сделал чего-нибудь... красивого.

Но "красивое" было уже сделано, когда встревоженные друзья сорвали с петель дверь, они нашли Фебуфиса на полу: он, как сказано,— был мертв и лежал ниц с открытою грудью. На его белой нежной коже в том месте, где билося сердце, был тщательно изображен уколами дракон... Совершенно такой дракон, какого ставил Лука Кранах монограммою на своих картинах. Он был так же красен, или кровав, и обозначался значительною припухлостию. Без сомнения Фебуфис татуировал себя этим красивым знаком недавно. Точки уколов были затерты чем-то красным и, очень может быть, ядовитым. Едва заметные остатки этой смеси были размазаны и сильно въелись на небольшой белой палитре из слоновой кости. Она покрыта бумажкой, на которой написано: "Не касайтесь! Здесь впитан яд кровавого дракона, который я извлек из Кранаха"

Но от чего же пришла смерть? От женской булавки.

Кровавый дракон был как будто приколот к груди Фебуфиса золотым многогранным шариком, который составлял головку большой головной булавки его жены, а конец этой булавки вошел в его тело и проколол сердце, из которого выступила и застыла только одна капля крови...

Пик зарыдал и, упав, стал обнимать мертвого друга. Мак вынул булавку и положил ее рядом с слоновой палитрой, потом поднял тело, отнес его на постель и сказал:

— Закрой свои глаза, несчастный Фебуфис: ты умер красиво, как все, что ты делал, было красиво.

— О, да! — произнес плачучи Пик и не переставал плакать, пока Мак завел своими руками глаза мертвеца и, обратясь к товарищу, проговорил:

— Ну не плачь, Пик. Все кончено. Здесь более нечего делать.

— Да; пойдем. Мы теперь должны сделать ему то, что можем: мы сделаем красивое погребение.

— Делай, что хочешь.

— Но ведь ты тоже согласен?

— С чем?

— Мы должны ему устроить погребение... он так много страдал.

— Я равнодушен к умершим.

— Нет, нет! Человек, которого жизнь прошла так...

— Жалко и пусто...

— Нет; не говори этого над ним. Его жизнь была необычайна, он ее кон-

чил необычайно, и мы его схороним необычайно... Необычайно... Все необычайно... Пусть знают, пусть слышат...

— Да; это самое главное...

Они закрыли двери и направились молча к городу. Пик в самом деле обдумывал план похорон, а Мак думал о том: объявить или нет о настоящей причине кончины покойного, и решил объявить.

На другой день во всех студиях Рима было известно, что Фебуфис умер необыкновенною смертью, к рассказам о которой присоединяли не менее красивые вымыслы. Марчелла и другие женщины укрыли труп Фебуфиса цветами. Пик весь исчез в заботах о церемонии похорон, которую хотел сделать "великолепною" Два дня прошли в этих хлопотах, и Мак увидал Пика только ночью перед похоронами. Он был измучен и, придя к Маку, упал в кресло и сказал:

— Все будет в его вкусе... как он любил...

— Красиво?

— Да... и внушительно.

— Что же это внушит?

Пик посмотрел на Мака, вздохнул и отвечал:

— Ты в самом деле несносен!.. Я уважаю смерть.

— А я ее не уважаю или, пожалуй, я ее уважаю только тогда, когда она забирает с земли злодеев.

— Это не от нас.

— Совершенно справедливо.

— А похороны будут красивые.

— А похорон красивых не бывает.

— Почему?

— Потому, что в смерти ничего нет красивого и незачем прикрашивать того, что к ней касается.

— А вот ты увидишь, что эти похороны будут с эффектом.

И Пик не говорил лишнего. Похороны Фебуфиса совершились действительно с большим эффектом. Его вынесли на кладбище перед вечером, в гробе, буквально засыпанном букетами и цветочными венками, в числе которых поражали своею громадностию белый венок от Марчеллы и ярко-красный от "неизвестного друга" Этот "друг" был кардинал. День был превосходный,— ясное солнце, склоняясь к закату, обливало усыпанную цветами гробницу мягкими и теплыми лучами. Процессию главным образом составляли художники всех наций, к которым на ходу пристала несметная толпа народа, до того плотно запружавшая все улицы, по которым лежал путь, что здесь делалось невозможным никакое другое движение. Чем ближе шествие подвигалось к кладбищу, тем толпа становилась огромнее, и у выезда из города она запрудила все пространство. На мосту, около которого процессия проходила, принимая направление в сторону, столпилося множество экипажей, в числе которых напереди, стало быть, ближе прочих к проходящей процессии, стоял красивый дорожный экипаж, в котором помещались три дамы: одна изящная блондинка в черной мантилии и в черной шляпе, другая более молодая и еще более изящная брюнетка в серо-пепельном дорожном костюме и в соломенной шляпе с широкими полями, а против них, на переднем месте пожилая женщина, державшая на руках малолетнее дитя.

Экипаж этот стал здесь раньше других и по длине вереницы, которая собралась далее его, ясно было, что путницы задержаны здесь уже немалое время. На их лицах было заметно неудовольствие и досада на остановку.

Более других нетерпеливо относилась к задержке белокурая дама в черном, а наименее — пожилая женщина с ребенком, которая встала на ноги и смотрела на проходившую процессию. Дама же в сером платье и в широкополой шляпе казалась тревожною и погруженною в тяжелое раздумье. Но вскоре все их положения переменились и произошло нечто неожиданное и чрезвычайное.

Один смелый прохожий, желавший видеть процессию, вскочил на обод переднего колеса экипажа путешественниц и, держась за медный ободок, окружавший кучерское сиденье, просил кучера не лишать его этого места, пока пронесут гроб, за что и предложил ему серебряную монету. Кучер принял монету и согласился. После такой завязки знакомства они сейчас же вступили в разговор, который был слышен дамам. Кучер удивлялся чрезмерно большой толпе, провожавшей гроб, и расспрашивал: кто был умерший и чем он был славен?

— О, он был славен! — отвечал взволнованно прохожий, жадно вперяя взор к приближавшемуся гробу, который подвигался, качаясь, на открытом высоком катафалке, облитый красным огнем факелов, которые теперь эффектно освещали колесницу, потому что уже опустилася тьма.

— Ну да, я и хочу знать: чем же именно он был славен? Разве он офицер папской гвардии?

— Если бы он был офицер папской гвардии, над ним бы пели попы, а вы видите — здесь идут все свободные люди.

— Капиталист или принц?

— Он был великий художник.

— Maestro?

— Да. Смотрите, смотрите!.. вот сейчас гроб пронесут перед нами... Я уже вижу лицо!.. Боже мой, какое лицо!.. Он умер от укушения дракона.

— Дракона!

— Да... огненного, кровавого дракона... Такой змей с крыльями.

— Где же он ему попался?

— Он сам приставил его к своему сердцу... и тот выпил из него всю кровь до капли... Видите, какое лицо... Я никогда не видал такого страдальческого лица... Оно бледное как мел, и смотрите, смотрите, какие прекрасные кудри!

— Да, черт побери, я близорук и ничего не вижу, сеньор!

— Нате вам, нате скорей мою трубку... Смотрите!.. Это достойно того, чтобы запомнить навеки, что может сделать женщина с человеком, у которого благородное сердце.

Незнакомец передал кучеру свой бинокль и, глядя на проносимый гроб, продолжал говорить:

— Он был женат, и его жена ему изменила.

— Как обычно на свете, сеньор.

— Нет! в том-то и дело, что хуже: она увлеклась не страстью, а изменила ему для герцога.

— А, тогда это подло!

— Он им всем отомстил... он умер, когда она захотела к нему возвратиться... Пусть они знают... пусть знает весь мир, как они глупы и как горд и как благороден был Фебуфис!

В то время как незнакомец делал эти пояснения, которые слушали и кучер и стоявшая возле них пожилая женщина с ребенком, между дамами, помещавшимися на заднем сидении, произошло сильное движение. Дама в сером платье и широкополой шляпе с серой лентой стала подвигаться

ближе, глаза ее принимали болезненное, страшное выражение, и она стала порываться вперед и мять руками свою шляпу. Дама в черном схватила ее за руки, но едва незнакомец произнес имя “Фебуфис”, взволнованная женщина вырвалась, вскрикнула ужасным голосом и вдруг как импетом[52] выкинулась из коляски, сорвала с себя шляпу и с рассыпавшимися по плечам черными как смоль волосами бросилась в толпу, которая ее поглотила и скрыла от глаз всех оставшихся в экипаже.

Один только незнакомец, вооруженный биноклем, на минуту дольше других видел, как перед нею все раздвинулись и снова сомкнулись, и затем вдруг шествие стало...

— Что там?.. Боже мой! — воскликнула в испуге дама в коляске.

В толпе ей в ответ проносилось:

— Женщина... упала между колес!

— Кто она и чего ей хотелось?

— Верно, хотела, чтобы ее задавило... Она очень красива... ее вынули, и Цезарина обтерла ей пыль с лица и ведет ее под руки. Она не хочет, чтобы ее удалили... Она, верно, лишилась рассудка и шепчет: “Это мой муж! Это мой муж! Это я его убийца!”

Услыхав это, дама в черном забылась и воскликнула:

— Ах, это правда!.. Помона — жена Фебуфиса.

И с этим баронесса (это была она) сама прыгнула из экипажа и вошла в толпу, чтобы достигнуть Помоны и быть с нею на случай еще более трагический, но толпа не внимала усилиям баронессы и затерла ее, отдалив от Помоны настолько, что они не могли ни соединиться, ни видеть друг друга, и обе одна для другой потерялись.

В экипаже осталась одна мамка, которая подняла дитя над головою, чтобы показать ему отца, и затем вздохнула, прочитала “Ave Maria” и, сев на опустевшее место, стала кормить грудью ребенка.

Теперь была уже ночь, настоящая темно-синяя римская ночь, в которой все три приехавшие в одном экипаже женщины растерялись и ни одна из них не знала, где искать прочих.

Мамка-флорентийка была, впрочем, довольно умна и находчиво заняла помещение в самом лучшем отеле. Здесь ее немного спустя после полуночи нашла баронесса, которая была очень смущена и испугана. Она подверглась всем движениям толпы, проводившей Фебуфиса до кладбища, слышала толки, и слезы, и речи и опять раздирающий вопль, в котором признала голос Помоны, но ее самой не видала. Как она ни стремилась достичь до нее — все это было напрасно. Толпа как будто нарочно волною относила их друг от друга. Баронесса, потеряв надежду справиться с этим бедствием собственными усилиями, поехала просить начальника папской полиции оказать ей помощь, и это ей послужило в пользу: ей дали адрес мамки с ребенком и указали след Помоны, которую увезла с собою Марчелла. Баронесса была страшно встревожена этим последним известием.

— Боже мой! — воскликнула она.— Кто же эта женщина и что она может с нею сделать?

Начальник полиции успокоил баронессу, сказав ей, что Марчелла такая женщина, которую дипломатический агент может не принять у себя на официальном рауте, но отец семейства, умирая, может поручить ей своих дочерей.

— Она из тех,— заключил он,— имя которых гораздо менее значит, чем ее дела. Не беспокойте Марчеллу до утра, потому что... говоря между нами... Как вам близка эта дама, которую вы ищете?

— Она моя соотечественница.

— В таком случае вы должны знать, что она слишком потрясена и, может быть... лишилась рассудка.

Так эффектно и "в своем роде красиво" были завершены похоронные помпы эффектного Фебуфиса.

Так это было полно картинности и трагического содержания, что даже Пик, поглощенный заботами о вящем эффекте, теперь, сидя у Марчеллы при постели, на которой лежала с остолбенелыми глазами Помона,— уныло качал головою и повторял:

— О, как это страшно — столько несчастий!

И он мог хорошо это чувствовать, потому что просидел здесь целую ночь над безмолвной Помоной, так как Марчелла, встревоженная судьбою пропавшего дитяти, оставила Помону на попечение Пика, а сама в сопровождении Мака возвратилась в Рим и всю ночь до утра без успеха ходила из отеля в отель, разыскивая ребенка. Они нашли дитя едва лишь утром и возвращались с несколько облегченною душою: теперь, если несчастная придет в себя и спросит о дитяти, ей по крайней мере не приложат к одному горю другого,— не скажут, что вчера, когда зарывали ее мужа, она лишилась и ребенка.

Марчелла была женщина и мать: она знала, как материнское чувство сильно над многими другими в женском сердце... Они, эти ненадежные люди, которые называются мужчинами, умеют заставить полюбить себя и иногда бывают так низки, что могут дать силу разлюбить их, но дети... матери ничто не даст силы их разлюбить. Она, эта женщина, теперь окоченела от горя, но придет час... и теперь он даже, быть может, уже пришел, что она вспомнит дитя, и это ее оживит и заставит заплакать...

В таких мыслях Марчелла вошла к себе в дом через сад; оставила усталого Мака на террасе, а сама тихими шагами подкралась к дверям своей спальни и остановилась, прислушиваясь... За дверями раздавалось дыхание одного спящего человека... Марчелла приподняла портьеру и увидела, что это спал Пик: он лежал, свернувшись как пудель, на ковре возле кровати, на которой вчера уложили Помону... а его восторженная головка с проседью в каштановых кудрях помещалась на подножной скамейке. И он спал крепко с беззаботностью человека, который устал до изнеможения и к тому же имеет чистую совесть.

Но где же она, где же Помона! Где эта черная россыпь черных волос, закрывавших полотно белых подушек... Этого нет! Ничего этого нет! Все ровно, все однотонно, все в один цвет... издали серо,— вблизи же, когда Марчелла сделала один шаг, она увидала, что голова Помоны была бела так же, как полотно наволочек, покрывавших подушки...

Марчелла не выдержала себя и, всплеснув руками, громко вскрикнула. Этот звук пробудил Пика, который торопливо оглянулся и, увидав белые волосы Помоны, стал от нее пятиться по полу и наконец, схватив руку Марчеллы, выбежал с нею вместе на террасу к Маку.

Помона не спала, глядела во все глаза, уставясь в одну точку, и ничего не говорила. Марчелла и Пик рассказывали Маку о том, что случилось, и Пик сравнивал это положение с тем, что было с Марией Антуанеттой[53].

Мак отвечал, что подобное бывало и не с одними королевами, но что эффектов уж слишком довольно и надо помочь этой женщине поправиться и обдумать, что ей далее делать.

— А для этого,— сказал он,— я думаю, ей самою лучшею советницею

будет дама, с которою она приехала и с которой у нее, вероятно, гораздо более общего, нежели с нами.

И Мак не ошибался: они были ближе и лучше поняли друг друга. В то самое время, как друзья о них разговаривали, к дому Марчеллы подъехала баронесса и, будучи проведена к Помоне, скоро вывела ее под руки и увезла в своей коляске. Перед вечером Помона прислала за Марчеллой и сказала ей, что она осталась в Риме одна, что ее приятельница уехала на родину, как этого требовали неотложные обстоятельства, и с нею же отправлено туда дитя, которое не должно потерять покровительства того, кто дал ему жизнь.

— Боже мой! — воскликнула Марчелла,— разве его отец был не Фебуфис!

Помона промолчала на это, но начала говорить:

— Вы сами мать...

— Да,— перебила пылкая итальянка,— но я знаю, кто отец каждого из моих детей... Извините, меня ведь всегда бросали, сеньора, но я не могла расстаться с детьми и потому веду жизнь, которая не даст мне почтенного места в обществе. Впрочем, я слишком мало значу, чтобы мной заниматься... Чем я могу вам служить, пока вы здесь остаетесь?

— Я остаюсь здесь навсегда. Вы были добры к моему покойному мужу, и я умоляю вас не отказать мне в доле участья...

— Все, что вам угодно, сеньора!

— Я никогда не удалюсь отсюда, где его покрыли землею... я останусь здесь навсегда, пока придет время, что и моя жизнь будет кончена... Я чувствую, что мне не придется ждать этого долго. Не откажите мне обещать похоронить меня в ногах Фебуфиса.

— О, сеньора, к чему эти мысли! Пока мы живем, надобно жить и делать, что можем для тех, кому можем что-нибудь сделать. Для того я и жалею, что вы отпустили дитя к чужим людям... он бы рос здесь у нас, на глазах, и резвился бы вместе с моими детьми, а мы бы порою, глядя на них, могли вспоминать...

Но тут Марчелла сообразила, что, глядя на ребенка Помоны, им не пришлось бы вспоминать Фебуфиса, и поспешно добавила:

— Впрочем, я совершенно готова служить вам во всем, чего вы хотите.

— Я хочу поселиться в том самом домике, где он жил, и умереть в той комнате, где он умер, если только Небо не будет ко мне так милостиво, чтобы позволить мне умереть на его могиле.

— Пусть Небо исполнит все ваши желания, а что касается до вашего устройства в домике, где жил Фебуфис, то вы можете считать это конченым. Я переговорю с хозяйкою, и вы будете помещены, как вы хотите.

— Пусть там все остается как было.

— Непременно, сеньора. И от этого вы можете переехать в домик, если хотите, сегодня. Я буду вас навещать, если хотите, и постараюсь, как можно, облегчать вашу горесть.

— Вы очень добры. Горе мое должно быть со мной неразлучно. Я займу себя делом — я должна привести в порядок его могилу и поставить достойный его памятник...

Марчелла немножко покраснела и ушла в замешательстве, сказав, что она ни в чем сеньоре не помешает и надеется скоро известить ее, что бывшее жилье Фебуфиса готово к ее услугам. Через час она послала Помоне вполне удовлетворительный ответ с старшим сыном. Красивый мальчик возвратился, держа в руке новый червонец, который ему дали и с которым он не знал что делать.

— Это очень жалкая и очень странная женщина! — проговорила довольно сильно сконфуженная Марчелла, обращаясь к Пику и Маку.

Оба друга молчали, но потом Мак взял в руки положенный мальчиком червонец и, поворачивая его, спросил:

— Cui bono[1*][54]?

— Отдай это тому, кто сегодня не ел, и не говори об этом более ни по-итальянски, ни по-латыни,— отвечала Марчелла.— Я хочу знать только то, что она мне жалка и что я непременно должна быть ей полезной.

— Cui bono? — опять повторил Мак.

— Ну, "cui bono"! Что за вопрос?.. Ты неделикатен, если хочешь заставить меня напомнить, что было время, когда тот, кого мы схоронили, был дорог душе моей, и потому, что ему после было дороже и милее меня, мне становится близко и мило.

Пик этого не выдержал,— он вскочил, схватил руку Марчеллы и, поцеловав ее, воскликнул со слезами в голосе:

— Ты наша святая, Марчелла! Прими меня под свое покровительство и дай мне тоже возможность быть полезным вдове Фебуфиса.

— Ты можешь быть ей полезным в заботах о памятнике.

— Прекрасно! Прекрасно!

— А мне дайте сделать надпись,— вставил Мак.

— Нет, ты, Мак, слишком большой резонер, ты нам не нужен.

— Правда, я подожду, когда она ляжет у него в ногах, и тогда надпишу над ними Ejusdem farinae[2*][55].

Того, чего хотел дожить Мак[3*], не пришлось ждать слишком долго. Романическая история пошла быстро к развязке и притом одновременно несколькими путями.

Помона возводила памятник над могилою мужа. Пик ей помогал самым усердным образом и со всем бескорыстием тратил на это дорогое для него время. В благодарность за это он получал холодное равнодушие Помоны, которая едва говорила ему самые необходимые слова, касающиеся дела. Пик на это не обращал никакого внимания и никому не жаловался и не убавлял усердия. Мак не принимал участия в томной даме и не разделял сожалений, выражаемых о ней Марчеллой и Пиком. Последнему он, впрочем, советовал влюбиться в интересную высокую вдову с белой шевелюрой.

— Этим ты, может быть, доставил бы ей самое действительное утешение, но жаль только, что ты при своем великодушии очень мал ростом.

Марчелла иногда на это улыбалась и не негодовала, что "дама" не только не просила ее ни о каких дружеских услугах, но даже тщательно избегала всяких с нею сношений.

— Это понятно,— ей не до меня,— говорила Марчелла и продолжала издали за ней наблюдать, чтобы ей было спокойно и чтобы она не встречала у себя в доме никаких неудобств.

Но Помона, впрочем, и не жила дома. Каждый день она вставала утром рано и уходила на кладбище, где под руководством Пика над могилою Фебуфиса возводилась художественная каплица[56]. Помона оставалась здесь при работах целые дни и возвращалась домой только в сумерки с тем, чтобы завтрашний день опять начать и провести точно так же.

Она всегда шла туда и назад в одном и том же черном платье с массивной золотой цепью, на которой висел спрятанный под корсажем золотой меда-

---

[1*] Кому на пользу? (*лат.*)

[2*] Из того же теста (*лат.*)

[3*] Так в тексте. Вероятно, Лесков не довел правку этой фразы до конца. Первоначально было: "чего хотел дождаться Мак"

льон с миниатюрным портретом Фебуфиса. На голове ее всегда была черная широкополая шляпа, из-под которой красиво, но несколько страшно выставлялись ее пышные и совершенно белые волосы. Изящное лицо ее исхудало и поблекло, синие глаза впали и сделались еще больше, нос и подбородок вытянулись, черные брови при седой голове казались как будто нарисованными на белой маске... Ее нельзя было видеть и позабыть,— еще труднее было ее не заметить, и ее все замечали и знали и прозвали ее “Dolorosa”[1*]. Многие ей кланялись из сострадания к ее горю и из уважения к ее “верной скорби”, но она никогда не отвечала ни на приветы, ни на поклоны. Вид ее яснее всего выражал совершенную утрату внимания ко всему, ее окружавшему, и сильное желание умереть.

Пик опасался того, что как только будет достроена каплица, Помона придет туда и сама там покончит с своей жизнью.

Марчелла слушала Пика и шептала:

— Это ужасно! ужасно!.. Она любила его, но ты не говори Маку, что я это сказала, потому что он скажет “cui bono?” Любила, а cui bono... не всегда любят, чтобы было “bono” Но, может быть, ты, Пик, ошибаешься: она спешит делать каплицу вовсе не за тем, чтобы убить себя на ее помосте.

— Увидим! увидим! — говорил Пик, и они действительно увидели нечто другое и зато нечто более страшное.

Несмотря на непродолжительность свидания Марчеллы с мамкой-флорентийкой этим двум женщинам довольно было, чтобы остаться в памяти друг у друга, и в один день, недалеко отошедший от того случая, по которому происходил приведенный выше разговор, Марчелла получила из Флоренции неожиданное и довольно странное и страшное письмо.

“Сеньора,— писала мамка,— я видела, что вы добры и потому могу сказать вам про очень дурное дело. Я сделала это, послушавшись еще более дурной и жестокой женщины, чем я. Мы не повезли этого дитя, которое с нами отправили, куда нам надо было его доставить. Важная дама, при которой я ехала, сказала мне, что отец этого ребенка именно тот человек, на похороны которого мы попали по ужасному случаю, отчего молодая госпожа сошла с ума и не хотела ехать далее. Тот же, к кому она велела отвезти это дитя, очень важная и могущественная особа, которой об этом никто не может решиться сказать, не подвергая себя большой неприятности. Дама мне предложила получить все следующее мне за год жалованье вперед и еще пятьсот франков более с тем, чтобы я передала ребенка другой кормилице и возвратилась домой и об этом молчала. Мне было так скучно о своей покинутой семье и так хотелось скорее вернуться назад, что я позволила себя на это уговорить и, к стыду моему, взяла предложенные мне деньги. Мы остановились в Альпах в местечке Marmolato, где дама с помощью содержательницы гостиницы нашла женщину, согласившуюся взять дитя на воспитание за деньги, которые ей тут же дама и заплатила, а потом обещала выслать больше. Женщина же та смуглая, как цыганка, и сказала, что если денег не будут присылать, то она отдаст дитя в цирк в Венгрию или цыганам. Но я, как вернулась домой, все вижу это дитя во сне, как он улыбался и разводил ручками, и не могу себе простить моей низости, что на это согласилась, потому что мне кажется, что дама его бросила цыганке и денег высылать не будет, и цыганка его отдаст, куда обещала, и мне от этого так тяжело, что я решилась все это вам написать и во всем признаться. Думайте обо мне, синьора, как вам угодно дурно, потому что я этого заслужила, но постарайтесь

[1*] Скорбящая, печальная (*итал.*)

известить обо всем мать для того, что если это действительно дитя герцогское, то для чего ему быть у жестоких цыганов"

Марчелла, прочитав это письмо, затрепетала, не спала всю ночь и утром пошла к Помоне. Она застала вдову Фебуфиса одетую и готовую к выходу на кладбище.

— Сеньора,— сказала она,— простите меня, что я вас беспокою...

— Я ухожу на могилу.

— Так... Я это знаю, но уделите одну минуту делу, которое касается вас не менее, чем могила.

— Меня более ничто не касается.

— Нет, сеньора, касается... Прочтите это письмо.

Помона неохотно взяла письмо, отошла с ним, как была в шляпе, к окну, вынула листок из конверта и, прочитав, возвратила его молча Марчелле.

— Что делать? — спросила Марчелла.

Помона взглянула на нее глазами, выражающими тягостное страдание, и, заломив свои бледные красивые руки, проговорила:

— Боже мой, как мучительна жизнь!

— Спешите взять ваше дитя, и жизнь станет легче, сеньора!

Помона присела к столу, облокотилась на него обеими руками и, положив на них голову, воскликнула:

— Все, что ко мне близко,— все погибает.

Марчелла подала ей воды и, когда Помона, сделав несколько глотков, отдала ей назад стакан, она удержала ее руку, поцеловала ее и, обняв за талию, прошептала:

— Поедемте в Marmolato, синьора. Я буду вас провожать... мы сыщем дитя... Поверьте — колыбель больше нуждается в вас, чем могила. Вы узнаете лучшее, самое лучшее чувство, когда ваше дитя станет вам улыбаться. Кто бы ни был отец его — вы его мать, и мы здесь все слишком просты, чтобы разбирать генеалогию. Едем!.. сегодня же едем в Marmolato, сеньора!

— Для чего же сегодня?

— Для того, что сегодня принадлежит нам, и мы теперь можем делать все, что в нашей возможности, а завтра не наше. Едем сейчас.

— Нет, завтра!..

Она бросила на Марчеллу умоляющий взгляд и еще раз простонала:

— Завтра! — и, спешно надев на шею свою золотую цепь с золотым медальоном, спешно же вышла, как бы боясь, что Марчелла ее насильно удержит или еще раз скажет слово о ребенке.

А "завтра" действительно бывает не в нашем распоряжении, и тут с этим "не нашим" днем случилось то же самое. Завтра нельзя было выехать, потому что Помона вечером в свой обыкновенный час не возвратилась. Это было с нею первый раз, как она жила в Риме. Марчелла постучалась к ней в окно за час до полночи, чтобы узнать: будет ли она готова ехать утром, но Помоны еще не было дома. Не было ее дома и утром. Она совсем у себя не ночевала.

Марчеллу это встревожило, и она поехала к Пику, который должен был видеть вчера Помону на работе каплицы и, вероятно, мог дать о ней какие-нибудь сведения, но известие само спешило навстречу Марчелле: в фиакр к ней вскочил бледный и потерянный Пик и заговорил:

— Убитая там... Если хочешь видеть ее прежде, чем ее увезут,— спеши на кладбище... Это сверх моих сил. Вчера я ее просил уйти вместе со мною... потому что уже становилось темно... Она весь день не ела и мне ничего не отвечала. Она не хотела, не хотела уйти... и вот — проклятая ночь сделала свое дело.

— Что?.. о чем ты говоришь?.. Я ничего не знаю!

— Помона убита.

— Где, кем, за что?

— Там... там... на кладбище! Ты еще можешь застать... Она лежит на полу над самой могилой мужа... Ее задушили... два негодяя... Задушили, срывая с нее ее золотую цепь и медальон, который она ценила для себя дороже всего, и... видно, как она его... и себя защищала... Они будут найдены... Один негодяй был папский зуав...

— Почему это известно?

— У нее в руке замерла пуговица, которую Помона оторвала в борьбе... О, в этом стройном и гибком создании была, видно, страшная сила, и она долго защищалась от двух или даже, может статься, от трех человек...

— Почему это видно?.. Почему ты это так говоришь.

— О лучше бы ты меня об этом не спрашивала!.. Ведь ты сама женщина и должна помнить, что есть такие преступления, которых не может сделать один человек. Несчастная страшно оскорблена в самую последнюю минуту жизни и на могиле своего мужа... Что еще спрашивать!

И действительно нечего было спрашивать. Помона нашла себе кончину на могиле своего мужа, но кончина ее была ужасна: смерть пришла к ней с грабежом и поруганием...

Оба актера терзательной пьесы ушли за кулисы переодеваться для нового выхода в ролях, какие даст им режиссер в ином существовании.

Оставалось дитя, папский зуав, Пик и Мак и Марчелла, и вдали стоял, опершись на меч, герцог. Они тоже достойны быть убранными.

О ребенке, имевшем право на заботы и расположение своей матери и двух отцов, новых вестей не приходило. Он мог быть с одинаковой вероятностью у смуглой женщины или у цыган, или в цирке, или наконец — в могиле. Папский зуав, несмотря на пуговицу, предъявленную мертвой и обесчещенной Помоной, не был ни судим, ни расстрелян.— Полиция не могла похвалиться тем, что отыскала злодея и его собратий. Это дало значительную работу кардиналу, заведовавшему дипломатическими сношениями, чтобы успокоить представителя герцога, желавшего не попустить безнаказанного преступления над подданной его державы. Святейший отец и его кардинал с своей стороны тоже не могли попустить, чтобы их зуав был уличен в таком преступлении в ограде священной обители смерти. Зуав ad majorem Dei gloriam[1*] был мирно опущен в каменный мешок, откуда никто не мог слышать его бреда о могильщике, с которым он разделил пополам цену золота, снятого с Помоны, и деньгах, данных ему удивительным английским путешественником, имевшим подло извращенные вкусы. Дипломатическое затруднение было устранено назначением во владения герцога такого римского епископа, который Бога не боялся и людей не стыдился, но власти земной был послушлив. Это покрыло все, что касалось жизни и чести Помоны и престижа страны, которая была ей отчизной. И Бог, имя которого грешно призывать в деле нечистом, не был поруган: кардинал-дипломат был неожиданно отозван от своей должности и умолк перед необходимостью развернуть свиток своей совести перед всевидящим оком. Торопясь в нежданном ответе, он покинул все свои драгоценности у Марчеллы, деликатная натура которой приковала к себе его усталую эминенцию, не требовавшую уже от Венеры и Амура ничего, кроме легкой бисквиты, обмокнутой в шоколад рукой красивой женщины с веселой и доброй улыбкой. Его персидский ларец с чистым золотом остался подножьем у туалета Марчеллы.

[1*] к вящей славе Бога (*лат.*)

Пик был очень занят: что Марчелла сделает с этим золотом, которое Пик звал "золотом подлым" Был этим занят и Мак, который находил, что "золото, собранное злодеями, всего правильнее должно быть употреблено на погубление злодеев",— о чем в Риме тогда уже было довольно забот и стараний, хотя дело велось пока тихой сапой.

Пик ждал, что Марчелла покажет "плебейскую гордость", что она откроет подножье в своем туалете, выберет оттуда золото, камни и бумаги английского банка и принесет это все и бросит как сор, ее не достойный, святейшему папе.

Мак думал, что ей не нужно с такой тяжестью к папе, а гораздо законней — все вверить ему для вручения тем, которые знали кой-что о лихом молодце Гарибальди,— молодце, который тоже не раз строил куры и самой Марчелле.

И Пик и Мак, по праву коротких друзей, оба спросили Марчеллу, "что она думает сделать с своим туалетным подножьем"? А при этом и тот и другой ей сказали, как бы они обошлися с этим богатством, если бы на ее были месте.

Она промолчала и подумала долго; а потом, поводя большой черепаховой шпилькой по пробору между густых черно-синих волос своей головы, отвечала:

— Видите, оба вы говорите прекрасно... так прекрасно, что если бы я была бы мужчина, то мне очень бы трудно сделалось выбрать: которого из вас больше послушать, так как я с обоими с вами согласна. Хорошо швырнуть деньги старому святейшему папе!..

— Хорошо! — вскрикнул Мак.

— Вот тебе... нам и без золота весело!

— Весело, весело, дорогая Марчелла!

— Но хорошо и прикрыть голые плечи тех, кого обирают на пурпур кардиналам и на послов Ватикана...

— Недурно, Марчелла,— отозвался Мак.

— О, я ведь недаром римлянка. Я знаю, что в темницах у святейшего папы есть население и что разбить дверь туда не мешает, и что на это надобен молот, а чтобы молот сковать, нужно золото... И один вздох освобожденных, которых можно спасти, без сравненья отрадней, чем видеть досаду и гримасы старика в золотом колпаке...

— Ну, конечно, так! Ты черт знает как умна сегодня, Марчелла.

— Погоди, честный Мак, еще погоди. Я не кончила и тебе не пришлось бы взять обратно свои похвалы, потому что я, может быть, умна только как баба и потому — дослушайте бабу.

— Этот кардинал... да простит Бог его душу...

— Если он ее имел! — вставил Мак.

Марчелла покачала головою и продолжала:

— Он не всегда ел одни бисквиты, как белый какаду... Он в молодости был очень и очень предприимчив и счастлив, и об этом кое-что знают очень серьезные дамы с весьма высоким теперь настроением. Черт побери — если пришло время покаяться, так я лучше вам и раскаюсь в том, чего не хочу открывать духовным... Случалось, что я сама на себя принимала роль исповедника, и его эминенция мне болтал с бисквитой во рту о том, где и какие имел он удачи и как это все позагладилось так, что и следа не осталось...

— Еще бы!

— У них все без следа!

— Да, Пик и Мак, но только не это... У него были дети и... вы знаете, настоящие дети... с телом, с душою и с дыханием жизни в ноздрях[57], будто



ЛЕСКОВ

Фотография Хлоновского. Начало 1880-х годов

Внизу подпись рукой Лескова:
«Читал в книге Сираха "Не бывай побежден от зла, но побеждай зло добром"»

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

совсем они созданы Богом, хотя их отец *боялся* признать их, а их матери были еще гаже отца их...

— Corruptio optimi pessima![1*58] — заметил Мак.

— Да,— подхватил Пик,— самое лучшее становится самым худшим.

— И это бывает всегда, когда женщина позволяет себе быть бессердечней мужчины,— продолжала Марчелла.— Когда дети не знают отца — в этом всегда мать виновата. Мне же известны плоды его предприятий... Я знаю их имена, их есть пять, и я их всех отыщу и все, что осталось, я разделю на девять равных частей... Помогите мне кончить задачу: пять частей детям счастливой поры кардинала; шестая... для того, кто брошен в Marmolato... Я ведь завтра же поеду, я ведь его непременно же найду и возьму...

— Браво, Марчелла! браво, наша святая Марчелла!

— Пожалуйста, только не святая!.. А три остальные части мы разделим втроем между собою: вы оба и я, так чтобы ни одному не иметь друг над другом ни в чем превосходства. И я свою часть даю Маку, чтобы он как знает доставил это тому, кто может сноситься с Джузеппе... А вы, Пик и Мак, как хотите!

— Да, тоже, конечно, и мы думаем то же.

— И еще... начал было и остановился Пик.

— Говори! — время кончить.

— Я хотел бы сказать, что мне стало ясно... что глупо и праздно так губить себя, как мы губили себя с своим романтизмом и черт его знает с чем... И потому знаете ли... к деньгам надо бы прибавить и...

— Прибавляй!

— Свою жизнь.

— Прибавляй! — повторил Мак и, вынув из кармана согнутый вчетверо лист бумаги, положил его перед Пиком.

Пик разогнул и увидал надпись: “Список друзей благоразумной экономии сил” Затем список имен... Много имен в два столбца и между ними Мак и Марчелла.

— Что это за союз “экономии сил”? — спросил с недоумением Пик.

— Это союз людей, которые не хотят жертвовать собою ни для эффектов, ни для гримас, а хотят сберечь себя на дело, достойное цели человеческой жизни.

— Что же я должен сделать, ежели присоединюсь к ним?

— Ты прежде всего перестанешь считать за важное то, что неважно,— забудешь о герцогских ласках и о личных мелких обидах и станешь думать о бедствиях общих и о том, что можно сделать для общего блага. Ты честен и добр и имеешь горячее сердце — сбереги это все к тому делу, которому нужны будут все наши силы для достижения лучшего будущего, и тогда — дело само укажет тебе, где положить свою жизнь за справедливое дело.

— Я присоединяюсь! — отвечал Пик и, взяв в руки перо, поданное ему Марчеллою, подписал свое имя.

Мак взял от него бумагу, обнял Пика и проговорил:

— Вот теперь ты увидишь, как ты свободен: истина скрыта в том, чтобы любить других больше себя. Эта истина делает человека свободным. Мы желаем свободы.

— Свободы,— повторил Пик.

— Да, свободы, а она начинается тем, чтобы сделать себя свободным от пустых предрассудков и надутых желаний, через которые человек делается пленником дьявола и вертится в его лапах как чертова кукла. Пусть будет

[1*] Хуже всего — портить лучшее! (*лат.*)

предан забвению весь романтический бред и пусть вечно живет простой здравый разум и забота о водворении правды и милости в жизни. Довольно стремиться к тому, чтобы блистать в сиянии герцогов. Не нам исправлять их грехи и ошибки. Наше дело приготовить себя и других за нами идущих к тому, чтобы не почитать себя важными и быть менее злыми.

Пик молча пожал руку Мака и кротко заметил:

— Ты мог бы быть очень хороший оратор.

— Может быть,— отвечал Мак,— но я лучше буду стараться о том, чтобы ты не превзошел меня в исполнении того, о чем я говорю. Ты добрей и нежнее меня, и, раз что ты отвел свой взгляд от того, что не стоит заботы, и обратил его туда, куда нужно, ты — я уверен,— сделаешь больше того, о чем я умею сказать.

— Evviva! Evviva![1*] — воскликнула Марчелла и, соединив их руки, дружески их обоих поцеловала.

Союз был заключен, и Пик оживился: он видел опять впереди себя цель, для которой стоит жить всегда, после всякой личной сердечной утраты.

Богатство Марчеллы в этом отношении было еще изобильнее. Это были ее дети, число которых увеличилось скоро красивым ребенком, за которым она ездила и которого легко купила за небольшие деньги в горном Marmolato. Мальчик был дивно хорош и с могучею, крепкою натурою, которая уже выдержала суровую борьбу с пренебрежением и жестокостию злой женщины, которой его прикинула светская дама. Он был бы воплощенным подобием герцога, если бы простое и полное участливости воспитание в доме нежной Марчеллы не смягчило взгляда его больших серых глаз и не дало всем чертам его лица прекрасной простоты. Он был силен телом и крепок душою, но имел горячее сердце и твердый решительный характер. Ему было не нужно вписывать свое имя в реестр обещавших “экономию сил” К тому возрасту, когда он мог быть участником в событиях Италии, люди, преданные идеям добра и свободы, хорошо узнавали друг друга уже без реестров. Имя его было Марко Марчели, имя в честь матери, за которую почитал он Марчеллу. О настоящих своих родителях он не знал ничего. Пик с Маком и также Марчелла — все вместе считали это неважным. Недостроенная каплица над могилою Фебуфиса распалась и сделалась добычею тех, кому на что-нибудь был пригоден материал, употребленный на ее сооружение. Могила Помоны осталась неизвестной, потому что полиция, распоряжавшаяся погребением убитой, сложила останки Помоны в общей могиле. Совпавшая с этим смерть кардинала помешала Марчелле выпросить тело Помоны и погребсти ее “в ногах Фебуфиса” Пик и Мак, почитая Помону виновницею бед Фебуфиса, совсем не заботились об исполнении ее последнего желания.

Когда Марк принес аттестат из своей школы — он возвратился взволнованным и смущенным, и на вопрос Марчеллы: что мешает его спокойствию — он, краснея, сказал ей:

— Я боюсь, что ты не захочешь мне отвечать на то, о чем я желал бы услыхать твое слово.

— Бедный ребенок, ты ошибаешься,— отвечала Марчелла,— на все, что ты хочешь, я отвечу тебе ясно и прямо, что мне известно.

— О, это тебе должно быть известно!

— В таком случае спрашивай смело.

— Кто мой отец?

— Бог.

[1*] Да здравствует! Да здравствует! (*итал.*)

Марк посмотрел на Марчеллу полными слез глазами и молвил:

— И только!

— Как! неужели это мало? Через него ты в родстве со всем миром! Он Отец всех, в ком есть жизнь... все, кто любит добро — его дети...

— О довольно! довольно! — перебил ее, болезненно вскрикнув, ребенок и, кинувшись на грудь ей с рыданиями и обливаясь слезами, целовал ее глаза и руки и говорил ей: "Он твой Отец! твой!"

— Мой тоже.

— Он создал твою чудную душу! Он привел меня к тебе на колени... Он мне дает эти слезы, чтоб плакать у тебя на груди, припав к твоему чистому сердцу... О, моя мать!.. О, как добр мой Отец! О, как это много!

И Марк, говоря это, все спускался на колени перед тою, которую Отец дал ему в матери и, положив голову на ее колени, плакал все тише; потом поднял голову, взглянул утешенными глазами в ясные глаза Марчеллы и сказал:

— Ты права: это много!

— Довольно, Марк! Я хочу за тебя радоваться, но не хочу с тобой плакать.

— Так ты скажи: чем я тебе заплачу за твои заботы, что я отдам тебе взамен добра и счастья, которыми ты меня окружила?

— Ты отдашь то же самое... только не мне... не мне, мой чудесный ребенок, другим, кого гложет горе...

— О, будь уверена, мать,— они получат твой долг от твоего сына с хорошей приплатой.

Марчелла его обняла и, поцеловав его в лоб, стала разводить его кудри, а он глядел ей в глаза и продолжал, будто присягая в наитии духа:

— Марк возвратит твои семена, моя добрая мать. Марк отсыпет за все оказанное тобою зерном отвеянным, чистым сверху краев утрясенною полною мерою, чтобы Тот, кого ты назвала моим "Отцом", мог быть доволен тобою.

— Да, мальчик, да!

— Только и ты обещай мне.

— Все, что может дать тебе силу для честного дела.

— Вот именно это! Обещай мне не забыть наших сегодняшних слов, если когда-нибудь... меч пройдет тебе в душу!

Марчелла взяла его обе руки в свои и опустила их книзу. Они оба молчали, руки Марчеллы делались холодны — лицо покрылось тенью.

Меч уже касался своим острием ее сердца... Скоро Марчелла узнала и то, как он ранит, входя в душу все глубже и глубже. Она томилась горем долгие годы, когда ее Марк переходил из одного австрийского заключения в другое, а потом быв в числе первых, приставших к рядам Гарибальди, первым и умер возле народного героя, которому завещал передать Марчелле прощальный поцелуй и одно только слово: "Я отдал..."

Он "отдал жизнь" Больше этого нельзя дать ничего. Сын герцога пал первым за идеи, в которых не было ничего сродного идеям его земного отца.

Если бы могила Марка была известна и на ней потребовалось выразить его эпитафией, то такою эпитафиею могли бы послужить библейские слова: "От ядущаго ядомое изыде, и от крепкого изыде сладкое"[59].

Рукопись на этом кончается, и по заключительной картине очевидно, что повествование доведено автором до полного окончания. Подписи автора нет, и имя его и даже самая национальность, равно, как и время сочинения повести, остаются неизвестными. Может быть, это даже перевод, сделанный

с рукописи неизвестного иностранного автора, почему-либо в оригинале не напечатанной, но есть основания думать, что вся описанная здесь история происходила в действительности, в чем и убеждают сделанные кем-то карандашом отметки против имен лиц, выведенных в повествовании. Если бы верить этим отметкам, то пришлось признать в изображенных здесь фигурах людей, действительно живших и занимавших в свое время очень видное положение. Тогда повествование могло бы иметь даже некоторое историческое значение; но как положиться на карандашные отметки неизвестного лица весьма рискованно и даже непозволительно и невозможно, то надо оставить их без внимания и рассматривать предложенную выше историю как простое литературное произведение, написанное — как автор хотел показать в своем эпиграфе[60] — "для того, чтобы рассказывать, а не для того, чтобы доказывать! Ad narrandum, non ad probandum[1*].

Николай Лесков

Ночь на 9 апреля 89...
Заутреня.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Странное имя героя пояснено в первой главе романа: "Он был так хорош, что в семье его не звали его крестным именем, а называли его Фебо-фис или Фебуфис, то есть сын Феба" (VIII, 487).

[2] См. 19-ю и 20-ю главы опубликованной при жизни Лескова части (VIII, 558–562). Комментируемый фрагмент непосредственно примыкает к этим главам. Отдельные несовпадения в именах и событиях свидетельствуют о том, что публикуемый текст является продолжением не дошедшего до нас первоначального варианта "Чертовых кукол", который, по нашим предположениям, был утрачен в типографии "Русской мысли" (так как именно он послужил оригиналом для набора первой части романа, впоследствии претерпевшей значительную правку в корректуре).

[3] Речь идет о событиях, отраженных в IV главе романа (см.: VIII, 495–498). На одном из полотен художник изобразил жену иностранного дипломата "в объятиях знаменитого в свое время кардинала" (VIII, 496). Этот сюжет, как нам удалось установить, Лесков заимствовал у Э.Т.А. Гофмана. В новелле "Сеньор Формика", вошедшей в роман "Серапионовы братья", герой Гофмана, получивший имя существовавшего в реальности художника Сальватора Розы, создает картину, обличающую римскую аристократию. В главной фигуре картины все узнали любовницу знаменитого кардинала. "Дерзость своему прирожденному государю" — отказ Фебуфиса вернуться на родину.

[4] Баронесса Нелли при доработке романа получила имя Недды.

[5] В главах романа, опубликованных Лесковым в "Русской мысли", жена Фебуфиса носила имя Гелия. Помона — богиня плодов в римской мифологии.

[6] С образом Немезиды в романе связана идея возмездия: как полагает сам Фебуфис, он расплачивается за свое отношение к Марчелле и Пику (см. VIII, 554). Кстати, имя Пика, возможно, также восходит к римской мифологии (Пик — лесное божество, супруг Помоны, обладал даром провидения).

[7] Характер взаимоотношений герцога и Недды внушает мысль о том, что ее реальным прототипом могла быть возлюбленная Николая I фрейлина В.А.Нелидова. В воспоминаниях современников Нелидова предстает во многом похожей на созданный Лесковым образ. О положении Нелидовой при дворе см.: *Смирнова-Россет А.О.* Из записок дамы // *РА.* 1882. Вып. 3. С. 146; Из переписки графов Нессельроде. Письмо графине М.Д.Нессельроде от 30 октября 1842 г. // *РА.* 1910. Вып. 5. С. 133.

[8] *Лукас Кранах Старший* (1472–1553) — немецкий живописец и график. Дракон, вернее крылатая змея, изображался на личном гербе художника. Лесков наделил Фебуфиса биографией, несколько напоминающей жизненный путь Кранаха, который в 1504 г. был приглашен в Виттенберг, ко двору саксонского курфюрста Фридриха Мудрого в качестве придворного художника, имел большую мастерскую, получил дворянское звание. Источником сведений о Кранахе для Лескова стала книга немецкого исследователя Франца Куглера "Руководство к истории живописи со времени Константина Великого" (М., 1872): писатель повторил некоторые неточности этого исследования. В частности, он вслед за Ф.Куглером считал, что Кранах в течение пяти лет был в плену со своим покровителем Иоганном-Фридрихом Великодушным (у Лескова ошибочно — Иоанн Великодушный), в действительности срок его добровольного заточения ограничился двумя годами

[1*] Для рассказывания, а не для доказывания (*лат.*)

(1550–1552). О роли Кранаха в жизни Иоанна Великодушного герой Лескова говорит почти теми же словами, что Куглер, разворачивая, правда, краткую историческую справку в полную драматизма ситуацию (см.: VIII, 505; ср. *Куглер Ф.* Указ. соч. С. 596). Интерес к Кранаху Лесков испытывал и ранее (см. публикуемую ниже незавершенную "Повесть о безголовой Наяде").

[9] Это сравнение свидетельствует о том, что одним из литературных источников "Чертовых кукол" явился роман И.Крашевского "Фаворитки короля Августа II" (в русском переводе вышел в Петербурге в 1876 г. под редакцией Лескова). Есть предположение, что автор "Чертовых кукол" был не только редактором, но и переводчиком романа (см.: *Шелаева А.А.* Круг чтения Н.С.Лескова и его роман "Чертовы куклы" // *РЛ.* 1976. № 1. С. 148–153; *Лавринец Л.М.* Н.С.Лесков и польская литература: Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. филол. наук. М., 1992. С. 17–18). Это впечатление усиливается, если принять во внимание портретное сходство жены Фебуфиса с главной героиней романа "Фаворитки короля Августа II" Анной Гойм (графиней Козель), а также сходство их отдельных черт характера и привычек. Так, героиня Лескова, как и героиня Крашевского, носит в кармане щегольской пистолет и появляется в обществе в сопровождении огромного пса (VIII, 561).

[10] Возможно, намек на князя Алексея Федоровича *Орлова* (1786–1861), с 1844 г. шефа жандармов и начальника III отделения, который мог быть одним из прототипов "полицейского директора". Он обладал удивительным даром рассказчика. П.А.Вяземский вспоминал: "Орлов знал, так сказать, наизусть царствования императора Александра I и Николая I <...> Сведения его были исторические и преимущественно анекдотические, общие, гласные, частные и подноготные <...> Он рассказывал мастерски и охотно, даже иногда нараспашку" (*Вяземский П.А.* Старая записная книжка. Л., 1925. С. 130).

[11] *Иов*, 2:4-7.

[12] Имеется в виду ставшая поговоркой цитата из драмы Альфреда де Мюссе "Carmosine" (1856): "самая хорошенькая девушка не может дать больше того, что она имеет" (акт III, сцена 3).

[13] Источник цитаты установить не удалось.

[14] Источник цитаты установить не удалось.

[15] Речь идет о романах *Жорж Санд* (наст. имя Аврора Дюдеван, 1804–1876) "Роз и Бланш" (1831; создан в соавторстве с Л.С.Ж. Сандо), "Индиана" (1832) и "Валентина" (1832). В молодости Жорж Санд была художницей.

[16] От глагола *немовать*, то есть говорить тихо, глухо, неясно.

[17] Персонаж незавершенной стихотворной повести В.А.Жуковского "Война мышей и лягушек" (1831), представляющей собой вольный перевод немецкой народной книги Георга Ролленгагена "Фрошмейзелер".

[18] Описание замка и рассказ о королеве, якобы умерщвленной в его стенах,— реминисценция из романа И.Крашевского "Фаворитки короля Августа II" (см. выше примеч. 9). Лесков заимствовал из романа и другие детали, главным образом — описание великосветского быта.

[19] Неточное название романа английской писательницы Анны *Радклиф* (1764–1823) "Юлия, или Подземелье Мадзини" (рус. пер. М., 1802; 2-е изд.: М., 1819).

[20] Литературным источником этого анекдота мог послужить рассказ О.Бальзака "Замужество красавицы Империи" (1831), вошедший в цикл "Озорные рассказы": "Итак, запомните: жены добродетельные и знатнейшие дамы не ведают, что такое мужчины, ибо придерживаются одного, подобно королеве Франции, которая полагала, что у всех мужчин дурно пахнет из носа, ибо этим свойством отличался король. Но столь искушенная куртизанка, как Империя, не ошибалась в мужчинах, ибо переведала их на своем веку изрядное число (*Бальзак О.* Собр. соч.: В 15-ти т. Т. 14. М., 1955. С. 218).

[21] Может быть, глухой намек на кругосветное путешествие под начальством адмирала Е.В.Путятина в 1852–1855 гг. Его экспедиция потерпела бедствие у берегов Японии.

[22] То есть романы о брошенных женщинах: *абандона* (от франц. abandonne) — покинутый, оставленный.

[23] Если датировать события так, как подсказывает Лесков, то время действия относится к 1851 г., когда была закончена постройка Николаевской железной дороги. Но скорее всего, он стремился спутать хронологию событий в романе. Лесков пользовался этим приемом во всех редакциях "Чертовых кукол" (см. *Елеонский С.* Николай Первый и Карл Брюллов в "Чертовых куклах" Н.С.Лескова // Печать и революция. 1928. № 8. С. 41–57).

[24] Неточная цитата из драматической поэмы А.К.Толстого "Дон Жуан" (1859–1861). Лесков объединил две измененные строки из монолога Дон Жуана: "Опомнись, дон Жуан! Какое чувство..." и строку из середины того же монолога (*Толстой А.К.* Собр. соч.: В 4-х тт. Т. 4. М., 1980. С. 29, 33).

[25] В опубликованных главах романа Лесков дал героине другое имя — Пеллегрина.

[26] Учитывая указание автора на связь сюжета романа с реальными историческими событиями (см. XI, 489), не исключено, что взаимоотношения герцога, Помоны и Фебуфиса строятся таким образом, что в них можно усмотреть намек на обстоятельства гибели А.С.Пушкина.

[27] В 1504 г. Лукас Кранах (см. выше примеч. 8) поступил в Виттенберге на службу при саксонском дворе и был придворным живописцем при трех курфюрстах: Фридрихе Мудром, Иоанне

Постоянном и Фридрихе Великодушном. Проводя параллель между взаимоотношениями герцога и Фебуфиса, с одной стороны, и саксонских курфюрстов и Кранаха, который был для своих покровителей также советником и камердинером, с другой (см.: *Либман М.Я.* Дюрер и его эпоха. М., 1972. С. 124), Лесков неоднократно смешивал имена курфюрстов, объединяя их в собирательный образ.

[28] Вероятнее всего, Лесков заставил своего героя стоять под теми окнами Зимнего дворца, которые выходят на набережную, и слушать бой часов Петропавловской крепости.

[29] Речь идет о друзьях Фебуфиса Маке и Пике, оставшихся в Риме, и кружке художников, группировавшемся вокруг них.

[30] Здесь, видимо, следует видеть намек на факты реальной истории. 7 (19) июня 1831 г. заболел холерой и через две недели умер брат Николая I великий князь Константин Павлович (см.: *Шильдер Н.* Император Николай Первый, его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 2. С. 362).

[31] Здесь и далее Лесков также следует реальным историческим фактам, пародируя, возможно, официальный документ, распространенный в Петербурге во время холерной эпидемии (1830–1831) — "Наставление к распознанию признаков холеры, предохранению от оной и к первоначальному ея лечению", в котором запрещалось жителям города предаваться гневу, страху и унынию (*Шильдер Н.* Цит. соч. С. 368).

[32] Лесков допустил неточность: "медного змея" сделал не Аарон, а Моисей при исходе евреев из Египта (см. *Числа*, 21:8-9).

[33] См. выше примеч. 8.

[34] Скорее всего, иронический намек на деятельность Николая I по созданию форменного платья для военных и гражданских чинов России. О желании ввести форму для художников герцог заявляет Фебуфису сразу после его переселения в страну герцога (см.: VIII, 538).

[35] *Марк,* 2:27.

[36] *Иов,* 1:4,5.

[37] Фебуфис сравнивает герцога с последним царем Древнего Рима Тарквинием Гордым (VI в. до н.э.), который отличался изощренной жестокостью и был изгнан из Рима.

[38] Т.е. пистолет, изготовленный в мастерских немецких мастеров начала XVIII в. Иоганна-Андрея и Кристофа Кухенрейторов.

[39] Речь идет о пари, заключенном Фебуфисом еще в молодые годы в его римской мастерской с адъютантом герцога (см. VIII, 498–502).

[40] Стиль резолюций и высказываний герцога имитирует манеру Николая I. Иногда Лесков использовал и подлинные слова императора, слегка их перефразируя: "Вы исполнили свой долг. Я иду исполнять свой",— так Николай I прервал лейб-медиков, пытавшихся уговорить его, тяжело больного, не принимать участия в смотре войск (см.: *Блудов Д.* Последние часы жизни императора Николая Первого. СПб., 1855. С. 8).

[41] Это высказывание, перекликающееся с тем фрагментом хроники "Смех и горе", где Лесков излагал взгляды Стерна (см.: III, 485), восходит, вероятно, к произведению Р.Гриффита "Коран, или Жизнь, характер и чувства", которое приписывалось Стерну и было опубликовано в 1770 г., после смерти Стерна. В своих произведениях Лесков неоднократно цитировал Стерна. В его библиотеке хранилось "Сентиментальное путешествие по Франции и Италии Лаврентия (Лоуренса) Стерна" (СПб., б.г.) с отчеркнутыми местами (см.: *ЛН.* Т. 87. С. 146).

[42] В Петербурге до 1865 г. действовал закон, воспрещавший курение на улицах города. Эта аллюзия призвана лишний раз напомнить читателю, что действие происходит в России.

[43] По преданию, эти слова принадлежат К.П.Брюллову, который, покидая Россию в 1849 г., якобы искупался в пограничной реке. (См. об этом: *Амфитеатров А.В.* Пути русского искусства // Амфитеатров А.В. Собр. соч.: В 24-х т. Т. 21. СПб., 1913. С. 285–340).

[44] Лесков называет придворного советника герцога именем англосаксонского историка, ученого монаха Беды Достопочтенного (ок. 673–735). Упоминается также в статье Лескова "Пресыщение знатностью" (1888).

[45] Блюдо из риса.

[46] Сорт виноградного вина.

[47] Вероятно, имя героя романа Мигеля де Сервантеса появляется у Лескова как отголосок статьи И.С.Тургенева "Гамлет и Дон-Кихот" (1859). Понимая столкновение Мака и Фебуфиса как некий идеологический конфликт, Лесков, однако, не проводил прямых параллелей.

[48] *2 Царств,* 12:1-10.

[49] Речь идет о картине "Взятие под стражу" (1538), имевшей монограмму Кранаха, но скорее всего выполненной в его мастерской по образцу мастера и при участии его сына Кранаха Младшего. Она написана на евангельский сюжет (*Матфей*, 27:1-2), который в опубликованных главах романа Лесков связывал с фактами биографии Кранаха и его последнего покровителя, плененного католиками и не вызволенного из этого плена его приближенными, предавшими курфюрста, как Иуда Христа. Картина выполнена в реалистической манере, но образы Иуды и стражников Понтия Пилата шаржированы. Картина входила в серию "Страсти Христовы" (1537–1538) и была предназначена для украшения алтаря Берлинского собора. В 1875 г., находясь в Вене, Лесков мог видеть ее в Венском художественно-историческом музее, поэтому в опубликованных главах он называл ее

"нынешней знаменитой венской картиной" (VIII, 505) См.: *Friedlauder M.T., Kosenberg T.* Die gemälde von Lucas Cranach. Berlin, 1932. S. 84; Lucas Cranach der Altere und Seine werkstatt. Kunsthistorisches Museum. Wien, 1972.

[50] 1493 год не отмечен в творческой биографии Кранаха никакими особыми событиями. Более того, в это время он еще не известен как художник.

[51] Речь идет о картине Фебуфиса, названной в опубликованных главах романа "Messaline dans la loge de Lisisca" (VIII, 503). В цитируемом издании предложен следующий перевод названия картины: "Мессалина в хижине Лизиска", что вызывает сомнения. Лесков имел в виду римскую императрицу Мессалину, проводившую ночи в городских лупанариях под видом куртизанки, скрываясь под именем Lisisca. Данное по-французски, название картины Фебуфиса отражает сюжет произведения французского художника М.Ш.Леру "Мессалина", которое демонстрировалось в Париже в Салоне 1868 г. и которое мог знать Лесков. См. об этом: *Шелаева А.А.* Лесков и Прудон // *РЛ.* 1982. № 2. С. 133.

[52] Т.е. стремительно. *Импет* (от лат. impetus) — удар, напор, стремление, ударная сила.

[53] История внезапного поседения Марии Антуанетты (1755–1793), королевы Франции,— один из излюбленных исторических сюжетов Лескова.

[54] cui bono? — латинское изречение, распространенное в публицистике 1860–1880-х годов. Источник — "Филиппики" Цицерона (II, 14).

[55] Ejusdem farinae — выражение восходит к трактату Сенеки Философа "О благодеяниях" (III, 9).

[56] Т.е. часовня, молельня.

[57] *Бытие*, 7:22; *Исаия*, 2:22.

[58] Corruptio optimi pessima — это латинское выражение Лесков цитировал также в очерке "Архиерейские объезды"

[59] *Судей*, 14:14.

[60] Этот эпиграф не сохранился, поскольку первый вариант начала романа утрачен, а опубликованные в "Русской мысли" главы вышли в свет без эпиграфа.

К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ЛЕГЕНД ЛЕСКОВА "ПОВЕСТЬ О БОГОУГОДНОМ ДРОВОКОЛЕ" И "СКОМОРОХ ПАМФАЛОН"

(По материалам цензурных дел)

Сообщение А.М.Ранчина[1*]

Среди хранящихся в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге цензурных дел, посвященных произведениям Лескова, несколько документов имеют непосредственное отношение к двум его легендам: "Повести о богоугодном дровоколе" и "Скомороху Памфалону", написанным на основе сказаний Пролога, древнерусского сборника кратких житий, притч и поучений.

Эти документы, представляющие исключительный интерес, в свое время были скопированы кем-то из исследователей (скорее всего, сыном писателя) и вошли в состав фонда Лескова, хранящегося в РГАЛИ (Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 340. Л. 18–22). Публикуемые материалы не только объясняют, что именно в произведениях Лескова вызывало неудовольствие цензуры, но и позволяют уточнить некоторые обстоятельства творческой истории легенды "Скоморох Памфалон", прежде всего выяснить характер переработки текста, предпринятой ввиду требований духовного цензора. Документы свидетельствуют также и о неосуществленном издании "Повести о богоугодном дровоколе"

"Повесть о богоугодном дровоколе" первоначально была напечатана в "Новостях и биржевой газете" (1886. 22 апр.) в составе статьи Лескова "Лучший богомолец", написанной в поддержку Л.Н.Толстого, в частности, в защиту права писателя обрабатывать проложные легенды.

Весной 1886 г., как свидетельствует выписка из доклада цензора П.Г.Сватковского (Свадковского) от 30 апреля 1886 г., Лесков намеревался напечатать это произведение в одной книжке со "Сказанием о гордом Аггее" В.М.Гаршина, первоначально появившемся в журнале "Русская мысль" (1886. № 4) и написанном на основе известного в фольклоре и в древнерусской письменности сюжета. Это довольно редкий для Лескова случай — намерение переиздать произведение в совместной с другим писателем книжке, что объяснялось, несомненно, особенным характером задуманного сборника, предназначенного для народного чтения и преследовавшего нравственно-учительную цель. Именно социальный адрес книги, а не сама по себе "предосудительность" ее содержания, вызвал, как свидетельствуют документы, цензурный запрет.

Приведем здесь два цензурных документа, относящихся к заседанию С.-Петербургского цензурного комитета от 30 апреля 1886 г.:

«Доклад цензора Сватковского о двух маленьких рассказах, предполагаемых к изданию отдельными брошюрами:

1) "*Повесть о богоугодном дровосеке" Н.Лескова* (из № газеты "Новости" от <22> апреля[2*]).

[1*] В редактировании сообщения принимал участие Н.В.Котрелев.
[2*] В оригинале вместо даты — пробел.



ИЗДАНИЕ РАССКАЗА "СКОМОРОХ ПАМФАЛОН"

В серии А.С.Суворина "Дешевая библиотека" (СПб., 1886)

С дарственной надписью:
"Брату Алексею Семеновичу на память от брата и автора. 28 Авг. 87. С.п.б."

Орловский государственный литературный музей И.С.Тургенева, Орел

2) *"Сказание о гордом Аггее (пересказ старинной повести)" Всеволода Гаршина* <...>

В последнее время, под влиянием громких успехов своеобразного мистицизма гр. Толстого, стали появляться небольшие народные легенды, представляющие новый путь к спасению, весьма отличный от учения православной церкви. В этих брошюрках выставляется выше всего простой крестьянский труд, пред которым ничто и царское величие, и высшая духовная иерархия. Невежественный мужик, занятый своим трудом, выставляется человеком стоящим ближе к Богу, <чем>[1*] какой-нибудь Епископ или Царь.

Повесть Лескова "О богоугодном дровосеке" проводит ту же мысль. Здесь изображается, что Бог, не желая выслушать молитву Епископа, выслушивает молитву невежественного мужика, не думающего о богоугодных делах, а проводящего время в простом труде дровосека.

Хотя эта повесть была уже напечатана в фельетоне "Новостей", но там она составляла часть большой статьи и представляла лишь образец, взятый из издаваемых при единоверческом монастыре в Москве "Прологов", лишь для того, чтобы показать, откуда гр. Л.Толстой пользуется заимствованием своих сюжетов для распространяемых им рассказов.

Для отдельного издания цензор полагает эту повесть не дозволять.

и 2) Другая брошюра "Сказание о гордом Аггее" (из журнала "Русская мысль") представляет пересказ старинной повести Всеволода Гаршина.

[1*] В оригинале описка: как.

Здесь проводится мысль, что ни богатство, ни верховная власть не прочны, что за гордость, порождаемую этими благами, разгневается наконец Бог, лишит гордеца всего. Властелин может остаться без рубашки, нагой и, может быть, какой-нибудь бедняк пастух в лаптях и худом зипунишке подаст ему помощь.

Когда же, после испытаний, Бог захочет его простить, призванный снова к власти прежний гордец не возьмет уже ее, сознав всю ее тщету, а предпочтет вместе с народом и убогою братьею работать мужицким трудом на пользу бедных, слабых и угнетенных.

Цензор полагает неудобным дозволить такой тенденциозный рассказ отдельным изданием.

Так как оба рассказа — и Лескова, и Гаршина — в отдельном издании составят едва несколько страниц, то ясно, что как по содержанию, так и по объему своему они назначены для обращения между простым народом. В этой малообразованной среде содержание их может быть, без всякого сомнения, понято и истолковано превратно в ущерб значению как царской власти, так и церковной иерархии и питать мысли, клонящиеся к унижению их достоинства.

Ввиду этого Комитет, признавая доводы цензора справедливыми, *определил*: согласно его мнению, оба рассказа к напечатанию не дозволять»[1].

Как свидетельствует выписка из доклада цензора, он не видел ничего предосудительного в появлении произведений Лескова и Гаршина в "Новостях и биржевой газете" и в "Русской мысли", поскольку оба периодических издания были рассчитаны на образованного читателя. Но задуманный сборник представлялся цензору вредным, так как был обращен к "невежественным мужикам" из "малообразованной среды"

В докладе цензора легенда Лескова фигурировала под названием "Повесть о богоугодном дровосеке". К.П.Богаевская,а возможно, опираясь именно на этот источник, в "Хронологической канве жизни и деятельности Н.С.Лескова" упоминает о запрещении издания легенды под таким же названием (см.: XI, 829). Можно, однако, сомневаться, что Лесков мог сам отказаться от нарочито "опрощенного" заглавия "Повесть о богоугодном дровоколе" (оно известно по первопечатному тексту и сохранено во всех последующих изданиях), заменив его более нейтральным и литературным, соответствующим источнику — сказанию Пролога под 8 сентября "О Мурине древосечце"

Во второй половине того же 1886 и в начале 1887 г. Лесков написал легенду "Боголюбезный скоморох", основанную на сказании Пролога под 9 декабря о столпнике Феодуле. Легенда должна была появиться во 2 и 3 (февральском и мартовском) номерах "Исторического вестника" за 1887 г., однако вмешательство цензуры отодвинуло появление в свет этого лесковского произведения, начальные главы были изъяты из уже отпечатанного февральского номера журнала.

28 января 1887 г. Санкт-Петербургский цензурный комитет обратился со срочным запросом в Комитет духовной цензуры:

«В № 2, за февраль текущего года, журнала "Исторический вестник" помещено начало статьи Н.С.Лескова под заглавием "Боголюбезный скоморох. Старинное сказание".

В рассказе этом повествуется, как подвижник столпник Феодул, живший во время царствования Феодосия Великого и подвизавшийся на каменном столпе в течение тридцати лет, оставляет столп по голосу свыше, и идет в Дамаск видеть человека угодного Богу, но живущего среди суеты мира, а не в уединении,— некоего Корнилия.

По всем вероятиям, содержание этого повествования заимствовано г. Лесковым из жития святых и уже поэтому, независимо <от> своего религиозно-нравственного содержания, не может появиться в свет без ведома Духовной Цензуры<...> ввиду чего, сделав распоряжение о приостановке выпуска номера журнала в свет, С.-Петербургский Цензурный комитет, препровождая экземпляр оного, имеет честь покорнейше просить Комитет Духовной цензуры, на основании статей 31, 33 и 226 пункта 1-го Устава Цензурного (издания 1886 года), о рассмотрении начала помянутой статьи г. Лескова и сообщении сведения: может ли она быть дозволена к выпуску в свет.

Председательствующий,
Член Совета Главного управления
по делам печати (подпись неразборчива.— *А.Р.*)»[2]

Одновременно комитет принял решение о приостановке февральского номера "Исторического вестника", в котором должно было начаться печатание "Боголюбезного скомороха". 30 января 1887 г. председательствующий в комитете цензор направил соответствующую бумагу по этому поводу старшему инспектору типографий в Санкт-Петербурге:

«27 сего января из типографии Суворина (Эртелев, 11) представлена февральская книжка бесцензурного журнала "Исторический вестник", отпечатанная по показанию типографии в количестве 5000 экземпляров <...>

Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство о приостановлении выпуска в свет этого номера впредь до особых распоряжений»[3].

В ответном донесении старший инспектор типографий в Санкт-Петербурге А.Никитин уведомил комитет об исполнении распоряжения[4] и приложил расписку Аркадия Неупокоева, управляющего типографией А.С.Суворина, от 29 января 1887 г., обязавшегося "не выпускать означенной книжки впредь до особых распоряжений"[5].

Ответ духовного цензора датирован 3 февраля, тогда же он поступил в светскую цензуру. Однако судьба лесковской легенды решилась в этом случае независимо от цензорских приговоров. Редакция имела право в подобных случаях, не дожидаясь официального заключения, снять материал, вызывавший сомнения, и С.Н.Шубинский, редактор "Исторического вестника", этим правом воспользовался. 31 января цензурный комитет снова обратился к старшему инспектору типографий:

«В дополнение к отношению от 28 января <...> имею честь уведомить Ваше превосходительство, что приостановка выхода в свет № 2 журнала "Исторический вестник" последовала вследствие отсылки на рассмотрение Духовной цензуры помещенной в сем номере статьи Лескова "Боголюбезный скоморох"

Ныне редакция заявляет, что эта статья будет заменена другою, а именно статьею Терпигорева "Солотчинские монахи и их крепостные"

Имею честь уведомить Ваше превосходительство, что книжка журнала может быть выпущена со статьею Терпигорева "Солотчинские монахи и их крепостные", с соответственною перепечаткою по сему оглавления статей, помещенного на второй странице обложки,— о чем надлежит объявить типографии и принять меры к тому, чтобы не проникли в публику такие экземпляры журнала, в которых замена статьи не сделана»[6].

По всей вероятности, Шубинским при замене материала руководила забота о своевременности выхода номера, так как задержка с отзывом духовного цензора, а также более чем вероятный запрет лесковской легенды, сулили большое опоздание.

Как бы там ни было, резолюция духовного цензора была получена. 3 февраля 1887 г. член комитета духовной цензуры архимандрит Тихон писал:

«С.-Петербургский комитет духовной цензуры, возвращая при сем экземпляр журнала "Исторический вестник", № 2 за февраль текущего года, присланный при отношении от 28 января 1887 за № 149, имеет честь уведомить, что изложенное в статье означенного журнала под заглавием "Боголюбезный скоморох" старинное повествование имеет легендарный характер и составлено, как надобно полагать, на основании сказания древнерусского письменного Киевского пролога, относящегося к 15 в., в котором, между прочим, есть рассказ из жития Пр<еподобного> Феодула, епарха. Повествование еще не окончено, и предлагаемая статья представляет одну половину его; но то, что изложено, само по себе не содержит ничего вредного или противного духу учения нравственного, христианского, и повествование в художественном отношении имеет своего рода достоинство. Напрасно только автор придал название статье "Боголюбезный скоморох", которое не может быть одобрено уже по самому сочетанию слов, а также — вводит в повествование Пр<еподобного> Феодула, в житии которого, по сказанию Четьи-минеи, не упоминается подобного изложенному в статье рассказа, и, кроме того, встречаются места, заключающие в себе указания, не приложимые к подвижничеству святого; напр<имер>: "Он (Феодул) все молчал, вперяя ум в молитву или читая на память три миллиона стихов Оригена и двести пятьдесят тысяч стихов Григория, Пиерия и Стефана".— Ввиду этого статья может быть дозволена к выпуску в свет только в том случае, если автор изменит заглавие ее, и сделает нужные исправления в указанном — и ниже на той же странице другом подобном — местах, не вводя, однако, в повествование личность Пр<еподобного> Феодула»[7].

Запрос комитета и особенно ответ архимандрита Тихона содержат ценные сведения для понимания творческой истории легенды. Лесков знал содержание этих доку-

ментов в общих чертах. Показательно, что в письме к В.Г.Черткову от 1 февраля 1887 г. он ссылался на мнение "духовного цензора", считавшего, что имя святого Феодула не следует употреблять в произведении (см.: XI, 330). Все это позволяет установить мотивы, в соответствии с которыми Лесков переработал легенду, изменил заглавие (в новой редакции, напечатанной в 3-м номере журнала "Исторический вестник" за 1887 г., лесковское произведение было озаглавлено "Скоморох Памфалон"), а также дал новые имена персонажам — столпнику Феодулу, ставшему Ермием, и скомороху Корнилию, "переименованному" в Памфалона[8]. Выбор имени скомороха — Памфалон (хотя такое имя и встречается в месяцесловах[9]) — связан, несомненно, с его явно смеховыми коннотациями: Лесков учитывал ассоциации с персонажем итальянской комедии дель'арте Панталоне и "панталонами" (ср.: "пересмотрел своего Панталона" — из письма А.С.Суворину от 14 марта 1887 г.— XI, 342).

Вместе с тем, как показывает сравнение первоначального текста, рассматривавшегося цензурой и сохранившегося в гранках и оттисках[10], с окончательным, Лесков либо не знал, либо отверг некоторые из нареканий цензора, оставив без изменения фрагмент, в котором упоминалось о чтении столпником стихов Оригена, Пиерия и Стефана, более того, усилил мотив превосходства живущего среди соблазнов милосердного скомороха над отрешившимся от мира столпником: в первоначальном варианте Феодул возвращался в уединение, герой же легенды в окончательной редакции, Ермий, шел в мир, к людям. Таким образом, Лесков учел лишь те требования цензора, которые имели как бы "формальный" характер.

Записка архимандрита Тихона интересна и еще в одном отношении. Как известно, Лесков не раз указывал — и в комментариях к циклу "Легендарные характеры", и в предисловиях к первопечатному тексту "Повести о богоугодном дровоколе" и к "Прекрасной Азе",— что допетровский старопечатный Пролог (или его единоверческая перепечатка 1886 г.) послужил основным источником его легенд (см. XI, 102). Судя по записным книжкам Лескова[11] и по его письму В.О.Ключевскому от 6 декабря 1891 г.[12], он действительно опирался на Пролог первого издания 1642–1643 гг. и на точную его перепечатку единоверцами в 1886 г. Писатель настойчиво утверждал, что старопечатный допетровский Пролог значительно отличался по составу от послепетровского, отредактированного, и что церковь относила старый Пролог к "отреченным" и "пустословным" книгам[13]. Стивен Лоттридж и Хью Маклейн усомнились в справедливости этой характеристики[14], отметив, что до- и послепетровские издания Пролога различаются по составу не очень существенно. Детальное сопоставление проложных сказаний, послуживших источниками лесковских легенд (в том числе цикла "Легендарные характеры") с изданиями Пролога 1642–1643, 1702, 1755, 1779, 1817 гг., подтвердило справедливость этого мнения — отличия до- и послепетровских изданий в пределах этого корпуса текстов минимальны и носят исключительно грамматический и стилистический характер[15].

Стивен Лоттридж объяснял мистифицирующие указания Лескова стремлением ввести в заблуждение духовную цензуру. Докладная записка архимандрита Тихона позволяет предположить, что такая интерпретация недостаточна. Полный печатный Пролог, хотя он и переиздавался в XIX столетии, духовному цензору был, видимо, плохо знаком, в отличие от рецензентов Лескова А.И.Пономарева[16] и Г.П.Георгиевского[17], отметивших все лесковские "искажения" источника. Только незнанием можно объяснить утверждение архимандрита Тихона, что писатель заимствовал сюжет о столпнике Феодуле и скоморохе Корнилии из "Киевского пролога" XV в.: "слово" о Феодуле-епархе печаталось во всех полных изданиях Пролога. Духовный цензор не заметил и того, что история героев "Боголюбезного скомороха" ("Скомороха Памфалона") Магны и Магистриана, отсутствующая в проложном сказании о Феодуле, восходит к другому источнику — 131-му "Слову" из книги Палладия Еленопольского "Лавсаик"[18].

Цензурное дело о легенде "Боголюбезный скоморох" свидетельствует, что претензии цензоров вызывало не "вольное" обращение с церковными книгами (и, прежде всего, с Прологом), а идеологические мотивы. Ссылка на заведомо неизвестный большинству читателей, якобы "отреченный" допетровский Пролог, позволяла "выдать" лесковские умонастроения (негативное отношение к церковной иерархии, противопоставление милосердной и деятельной жизни в миру "эгоистическому" и "черствому" монашескому удалению) за идеи, присущие источникам.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *РГИА.* Ф. 777 (С.-Петербургский Цензурный комитет). Оп. 3 (1886). Д. 28. Л. 192–194. Фрагмент этого доклада, посвященный легенде Гаршина, был опубликован Л.Полянской (см.: Красный архив. 1938. № 2. С. 175–176). В РГАЛИ хранятся машинописные копии советского времени доклада цензора Сватковского, а также цитируемых далее почти полностью запроса в комитет духовной цензуры по поводу легенды "Боголюбезный скоморох" и ответа архимандрита Тихона (Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 340. Л. 18–22).

[2] *РГИА.* Ф. 807 (Санкт-Петербургский Комитет духовной цензуры). Оп. 2 (1887). Д. 1743. Л. 2; отпуск — Ф. 777. Оп. 3 (1879). Д. 66. Л. 115–116.

[3] *РГИА.* Ф. 777. Оп. 3. Д. 66. Л. 114.

[4] Там же. Л. 116.

[5] Там же. Л. 117.

[6] Там же. Л. 118.

[7] Там же. Л. 138. Отпуск — в делах духовной цензуры: *РГИА.* Ф. 807. Оп. 2. 1887 г. Д. 1743. Л. 1.

[8] При переработке легенды Лесков изменил и имена некоторых других персонажей, руководствуясь, по-видимому, чисто художественными соображениями.

[9] См.: *Сергий (Спасский).* Полный месяцеслов Востока. Владимир, 1901. Т. 2. С. 146, 615.

[10] Начальные главы текста, предназначавшегося для № 2 "Исторического вестника" за 1887 г., сохранились в гранках, содержащих обширную авторскую правку (*ИРЛИ.* Ф. 220. Ед. хр. 5; здесь же хранятся и гранки заключительных глав легенды, которые должны были появиться в № 3 журнала). Гранки заключительных глав хранятся также и в РГАЛИ (Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 700).

[11] *РГАЛИ.* Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 108. Л. 1 (выписка из Пролога 1642–1643 гг.); интересно, что в этой же записной книжке содержится конспект (выполненный рукой неустановленного лица) сказания об авве Кононе (находящегося в Прологе под 29 сентября). В этом пересказе при описании "облегчения" Конона Иоанном Крестителем от блудного искушения встречаются слова "перекрести подпупие" (см. л. 7 об.). Точно такое же выражение содержится в сказании об авве Кононе в изданиях Пролога XVII столетия; в изданиях XVIII и XIX вв. (например, 1702, 1755, 1779, 1817) вместо слова "подпупие" употреблено слово "чрево" Таким образом, ясно, что текст Пролога XVII в. действительно был известен Лескову.

[12] Огонек. 1981. № 7. 14 февр. С. 17. Публикация В.Ю.Троицкого.

[13] *Лесков Н.С.* Легендарные характеры // *РО.* 1892. № 2. С. 485, 551; другая редакция этого фрагмента "Легендарных характеров": *Соч.* Т. 11. С. 310, 379.

Интересно, что ранее (в статье "Лучший богомолец") Лесков, характеризуя старый допетровский Пролог, ничего не писал об отвержении его современной церковью (XI, 102). Это различие в характеристике может объясняться тем, что Лесков первоначально как раз видел в авторитетности Пролога для церкви средство защиты собственных произведений, а также "простонародных рассказов" Л.Н.Толстого, написанных на сюжеты Пролога,— и от цензуры, и от ортодоксальной критики, поскольку Лесков и Толстой серьезно и "тенденциозно" переосмысляли сказания Пролога. Современная Лескову наука придерживалась различных мнений по вопросу о степени переработки Пролога в царствование Петра I. (См. об этом подробнее: *Ранчин А.М.* К поэтике литературной мистификации: легенды Н.С.Лескова по старинному Прологу // Восьмые Тыняновские чтения (в печати).

[14] *Lottridge, Stephen.* Nikolaj Leskov and the Russian "Prolog" as a Literary Source // Russian Literature. 1972. № 3. P. 22–35; *McLean, Hugh.* Nikolai Leskov: The Man and His Art. London-Massachusetts, 1977. P. 561–563.

[15] Перечислим источники лесковских легенд (тексты в Прологе расположены по дням церковного календаря):

8 сентября. "Слово от Лимониса о Мурине древосечце" (источник "Повести о богоугодном дровоколе").

7 октября. "Слово о кузнеце, иже молитвою сотвори воздвигнутися горе и ввреещися в Нил реку" (источник повести "Гора").

31 октября. "Слово о Феодоре купце <...>" (источник "Сказания о Федоре-христианине и о друге его Абраме-жидовине").

9 декабря. <"Слово о святом Феодуле"> (источник легенды "Скоморох Памфалон").

4 марта. "Память преподобнаго отца нашего Герасима, иже на Иордане" (источник легенды "Лев старца Герасима").

8 апреля. "Слово о девице, сотворившей милость над хотевшим удавитися должников ради" (источник легенды "Прекрасная Аза").

7 июня. "Слово о отце Даниле" (источник "Легенды о совестном Даниле").

14 июня. "Слово о купце" (источник легенды "Аскалонский злодей").

14 августа. "Слово от патерика" (источник легенды "Невинный Пруденций").

[16] *Пономарев А.И.* Славяно-русский Пролог в его церковно-просветительном и народно-литературном значении // Христианское чтение. 1890. Ч. 1. С. 531–532; 538–542.

[17] *Георгиевский Г.П.* "Апокрифическое сказание" или литературная фальсификация // *РО.* 1892. № 10. С. 946–959.

[18] См.: *Ранчин А.М.* Легенда Н.С.Лескова "Скоморох Памфалон" (1887) и ее литературные и фольклорные источники // Этнолингвистика текста: Семиотика малых форм фольклора. Вып. 2. М., 1988. С. 9–12. В Прологе сказания о Магистриане нет (это имя не встречается в указателях к книге). Магистриана нет в "Полном месяцеслове Востока" Сергия Спасского; он не упомянут в книге Н.И.Петрова "О происхождении и составе славяно-русского печатного Пролога" (Киев, 1875). К "Лавсаику" восходят имена других персонажей легенды — Ора, Азеллы, Магны. См.: *Палладий Еленопольский.* Лавсаик... Почаев, 1914. С. 196–197 и др.

Кроме того, указание Лескова в комментариях к "Легендарным характерам" (см. примеч. 14), что "пустыми и смеха достойными баснями" Пролог назван в составленном Феофаном Прокоповичем "Духовном регламенте", не соответствует действительности: в "Духовном регламенте" речь идет об "историях святых", "бездельных и смеху достойных повестях", но прямо Пролог не назван (Духовный регламент <...> Петра Великого. Киев, 1823. С. 28–29). По-видимому, Лесков распространил эту оценку Феофана Прокоповича на Пролог, отталкиваясь от обвинений, выдвинутых против Прокоповича Маркеллом Родышевским (дело "о противностях церковных" 1726 г.). Маркелл вменил Феофану в вину инициативу коренной правки Пролога и поручение этой работы иеромонаху Стефану Прибыловичу; Феофан отвечал, что править Пролог приказал "покойный государь" (т.е. Петр I), поручил правку Прибыловичу Феодосий Яновский, сам же Феофан проект переработки не одобрил (14 пункт, "церковный", и ответ на него; ср. пункт 27 к сочиненному Маркеллом памфлету "О житии еретика Феофана Прокоповича, архиепископа Новгородского") // Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1862. Кн. I. С. 7, 25; *Чистович И.Ф.* Феофан Прокопович и его время. Спб., 1868. С. 213–215). О знакомстве Лескова с материалами этого дела свидетельствует написанная в соавторстве с Ф.А.Терновским статья "Граф Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский как ересиархи. (Религия страха и религия любви)" (1883); приписываемые здесь Феофану Прокоповичу слова — "аутор святоотеческих книг и в руках не держивал, разве когда в шкафу стоящия и неотверстыя видел" (*Лесков о литературе и искусстве.* С. 126) — являются не совсем точным воспроизведением одного из ответов Феофана на обвинения Маркелла Родышевского (ср.: *Чистович И.Ф.* Указ. соч. С. 213; Чтения в Обществе истории и древностей Российских. 1862. Кн. I. С. 21).

Что касается указания духовного цензора на Киевский рукописный Пролог XV в. как на источник легенды, то оно не вполне понятно. Отдельной редакции Пролога XV в., имеющей киевское происхождение, не существует; может быть, архимандрит Тихон подразумевал одну из киевских рукописей Пролога, относящихся к этому столетию (список Пролога, датируемый XV в. и хранившийся в библиотеке Киевского Михайловского монастыря, упомянут в указанной выше книге Н.И.Петрова "О происхождении и составе славяно-русского печатного Пролога" Киев, 1875. С. 3; работа Н.И.Петрова, по-видимому, была знакома духовному цензору).

ИЗ НЕЗАВЕРШЕННОГО: ЗАМЫСЛЫ. НАБРОСКИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТВОРЧЕСТВО ЛЕСКОВА В 1880—1890-е годы

НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ЗАМЫСЛЫ

Статья Н.Н.Старыгиной
Публикация и комментарии Т.А.Алексеевой, К.П.Богаевской, И.П.Видуэцкой, Н.Н.Старыгиной

В 1880—1890-е годы Лесков — маститый и читаемый писатель — работал азартно, много и разнообразно. Как и прежде, он шел своим путем в жизни и литературе. Максималист и идеалист, Лесков с тревогой и болью наблюдал в конце века "голод ума, голод сердца и голод души" (IX, 295). Ему было "страшно за человека" (IX, 335). Горечь и негодование вызывали в писателе "современная пошлость и самодовольство" (XI, 554). Болезненное ощущение нравственных утрат настраивало критически: "...понял я, что прежде всего надо выгнать торгующих в храме и вымести за ними их мусор, и тогда, когда горница будет подметена и постлана,— придет в нее Тот, Кому довлеет чистота, и нет Ему общения с продающими и покупающими. И я взял метлу и все выметаю мусор и гоню к выходу торговцев, и почитаю это за мое дело <...>" (XI, 581).

Философско-религиозные искания и критический пафос определили художественное своеобразие произведений Лескова в последний период его литературного пути. Он искал новые формы, соответствующие духу времени, и развивал найденные ранее. В результате в творчестве писателя 1880—1890-х годов сложилась сложная и богатая жанровая система. Об интенсивных художественных поисках свидетельствуют не только известные, опубликованные при жизни Лескова произведения, но и сохранившиеся в его архиве фрагменты святочного рассказа "Маланьина свадьба", аллегории "Живые растения", сказки "Смельчаки", многочисленных "рассказов кстати" ("Резонеры", "Обход", "Прозорливый индус", "Особенно чувствительно уязвила...", "Короткая расправа" и др.). В этот период Лесков часто обращался к мемуарным формам: "Памятные встречи", "Бытовые апокрифы", "Из семейных воспоминаний" Традицию "общественного романа" (XI, 222) — "Некуда" и "На ножах" — он пытался продолжить романами "Соколий перелет", "Незаметный след", "Убежище"

Эти художественные замыслы Лескова остались нереализованными. Однако сохранившиеся в рукописях "пробы" дают богатый материал для характеристики творческого пути писателя.

ОТ "НЕКУДА" К "СОКОЛЬЕМУ ПЕРЕЛЕТУ"

Незавершенные романы Лескова "Соколий перелет" и "Незаметный след", напечатанные в 1883 и 1884 гг., уже привлекали внимание исследователей. Помимо встречающихся в работах специалистов отдельных упоминаний о них, можно назвать статью К.П.Богаевской, предваряющую публикацию одного из фрагментов романа "Соколий перелет"[1], и исследования В.А.Гебель, И.В.Столяровой, А.А.Шелае-

вой, посвященные творческой истории романа "Чертовы куклы"[2], замысел которого связан в определенной степени с "Сокольим перелетом" и "Незаметным следом" Однако эти незаконченные романы заслуживают более обстоятельного анализа: они представляют исключительный интерес как опыт "общественного романа" в творчестве Лескова 1880-х годов. При попытке осмыслить этот опыт возникают вопросы: как соотносятся между собою романные замыслы Лескова и что помешало их реализовать. Ответить на них можно, изучив весь комплекс дошедших до нас фрагментов и вариантов романов "Соколий перелет" и "Незаметный след"

В 1883 г. Лесков напечатал начало романа под заголовком "Соколий перелет. Часть первая. Книга первая. Героиня и ее двор" (Газета А.Гатцука. 1883. 19 и 26 февр., 5 и 12 марта). Продолжение романа дошло до нас в виде незавершенной рукописи "Соколий перелет. Повесть лет временных. Роман. Часть первая. Книга вторая. Бойцы и выжидатели" и неозаглавленного фрагмента, начинающегося со слов "— Вы не склонны много полагаться на их помощь?"[3].

Кроме того, под названием "Соколий перелет", но с подзаголовком "Записки человека без направления" (в других вариантах — "Из записок...") известны следующие фрагменты, связанные с предыдущим замыслом: "Соколий перелет. Записки человека без направления"[4]; "Соколий перелет. Приключения в моем семействе. Из записок человека без направления", "Соколий перелет. Из записок человека без направления"[5].

Незаконченный роман "Незаметный след. Из истории одного семейства", по содержанию, форме повествования и художественным образам связанный с замыслом романа "Соколий перелет. Записки человека без направления", Лесков напечатал в журнале "Новь" (1884. № 1, 2). Можно предположить, что с романом "Незаметный след" должен быть соотнесен и рукописный фрагмент незавершенного романа "Убежище. Из записок Пересветова", публикуемый ниже.

Все сохранившиеся фрагменты, восходящие к этим трем романным замыслам,— как опубликованные, так и дошедшие до нас в рукописи,— связаны несомненной идейно-тематической общностью, обусловленной как задачей создания социально-психологического портрета "человека без направления", так и общим героем — Адамом Безбедовичем.

Итак, художественный замысел "общественного романа" частично реализовался в трех попытках. Обозначим их условно следующим образом:

Попытка первая: "Соколий перелет. Из записок человека без направления"

Осуществлена во фрагментах:

1. "Записки человека без направления" (*ЛН*. Т. 87. С. 47—62).

2. "Приключения в моем семействе. Из записок человека без направления" (*РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 8).

3. "Из записок человека без направления" (Там же).

Попытка вторая: "Соколий перелет. Повесть лет временных"

Замысел воплотился в следующих фрагментах:

1. "Героиня и ее двор" (Газета А.Гатцука. 1883. 19 и 26 февр., 5 и 12 марта).

2. "Бойцы и выжидатели" (*РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 8).

3. "— Вы не склонны..." (Там же).

Попытка третья: "Незаметный след. Из истории одного семейства" (Новь. 1884. № 1,2).

Возникновение и эволюция замысла "общественного романа" пришлись на 1870—1880-е годы.

Впервые о замысле крупного эпического произведения Лесков упомянул в октябре 1871 г. в письме к П.К.Щебальскому: «Я знаю себя и чувствую, что во мне собралось чего-то много на что-то вроде "Некуда", и я хотел бы предаться этому с полною отторженностью от жизни, которая здесь, на Руси, меня все беспокоит, тревожит и манит, волнует и злит...» (X, 335). Вряд ли это высказывание можно непосредственно связать с замыслом "Сокольего перелета" или "Незаметного следа", но фактом остается то, что, завершив в 1871 г. роман "На ножах", писатель ощущал себя готовым к новой большой работе.

Желание писать роман постоянно и отчетливо проявлялось в середине 1870-х годов. 6 апреля 1875 г. Лесков сообщал И.С.Аксакову: "Хочу уехать месяца на три за границу и сесть за роман" (X, 395).

Вероятно, литературным фактом, стимулировавшим лесковский замысел, было появление романа Л.Н.Толстого "Анна Каренина" (Русский вестник. 1875). Находясь за границей, Лесков внимательно читал первую и вторую части произведения. Его впечатления нашли отражение в двух вариантах задуманного тогда романа "Чертовы куклы", пока еще далекого по замыслу от известного произведения, опубликованного под этим названием. "В небольшом кружке русских, собравшихся на иностранных целебных водах, мы читали новое произведение даровитейшего из наших русских писателей",— так начинал Лесков один из этих фрагментов[6].

Оценку толстовского романа Лесков дал в письме И.С.Аксакову 23 марта 1875 г.: "Я считаю это произведение весьма высоким и просто как бы делающим эпоху в романе" (X, 389). Интересно, что тут же писатель сопоставлял "Анну Каренину" со своими произведениями. Обращая внимание на "неразвитость" любовной интриги у Толстого, Лесков подчеркивал: "...если это и недостаток, то во всяком случае он не более как пылинка на картине, исполненной невыразимой прелести изображения жизни современной, но не тенденциозной (что так испортило мою руку)" (X, 389). Спустя несколько дней, 6 апреля 1875 г., в письме к тому же адресату Лесков рядом с упоминанием о решении писать роман отмечал, что «третий кус "Анны Карениной" <...> столь же хорош, как и первые два» (X, 395).

Сохранившиеся варианты начала романа "Чертовы куклы", относящиеся к первой половине 1870-х годов, представляются тем зерном, из которого впоследствии вырос незавершенный роман "Соколий перелет"

В рукописях "Чертовых кукол" действие разворачивается в условиях современной автору действительности. Как позднее в "Сокольем перелете" и "Незаметном следе", Лесков пробовал здесь разные формы повествования: от первого или от третьего лица. Героями этих набросков были Пимен Брасов, члены его семьи, а также Адам Безбедович, впоследствии — герои "Сокольего перелета" и "Незаметного следа". По-видимому, название "Чертовы куклы", прозвучавшее в письме от 3 августа 1875 г., следует рассматривать как один из вариантов названия романа о современности.

Новое заглавие — "Соколий перелет" — впервые было упомянуто в письме к детям из Парижа 1 июля 1875 г.: «В Мариенбаде надеюсь дописать повесть, которую начал и которая будет называться "Соколий перелет"» (X, 409).

Следовательно, творческая история лесковских замыслов, известных под названием "Соколий перелет", "Незаметный след" и "Чертовы куклы", может быть такова. К 1872 г. Лесков предполагал работать над романом, написанным в подражание "Серапионовым братьям" Гофмана: "все будет о женщинах" (X, 327); рукопись до нас не дошла[7]. Сохранившиеся варианты начала романа под заглавием "Чертовы куклы", относящиеся к первой половине 1870-х годов, можно рассматривать как попытки написать роман о современности; частично они были реализованы впоследствии в "Сокольем перелете" и "Незаметном следе" В середине 1870-х годов под влиянием толстовской "Анны Карениной" Лесков укрепился в мысли писать "общественный роман" и работал над ним во второй половине 1870-х — первой половине 1880-х годов. К замыслу романа-аллегории он возвратился позднее, осознав свою неудачу в создании романа о современности, и в 1890 г. начал печатать "Чертовы куклы". Совпадение названий различных замыслов не должно смущать. Лесков часто пользовался понравившимся ему заглавием, сохраняя идентичные названия для разных по содержанию произведений.

Активная работа над романом о современности развернулась, видимо, уже на рубеже 1870—1880-х и в первой половине 1880-х годов, хотя нельзя не заметить, что в этот период упоминания о намерении писать роман носили неопределенный характер. В письме к А.С.Суворину в марте — апреле 1880 г. Лесков лишь ограничился восклицанием: "А мне хочется писать роман"[8].

Более конкретные очертания замысел приобрел позднее. 26 октября 1881 г. Лесков сообщал И.С.Аксакову, что хотел бы написать «праведника из острожных смотрителей, между коими наичаще встречаются "звери" Был некто полковник Саврасов из севастопольцев, определенный смотрителем виленской "центральной тюрьмы"<...>» (XI, 252). Как известно, таким праведником "из острожных смотрителей" Лесков вывел майора Колыбельникова, героя романа "Соколий перелет. Повесть лет временных" (попытка вторая).

Наконец, 3 декабря 1881 г. в разделе "Изо дня в день" "Петербургской газеты" появилось сообщение о работе Лескова над новым большим романом под заглавием "Соколий перелет" Возможно, речь шла о романе "Соколий перелет. Повесть лет временных", так как в 1883 г. в "Газете А.Гатцука" (№ 7—10) Лесков поместил первую книгу романа (по нашей классификации, попытка вторая, фрагмент 1). Но уже 12 марта того же года "Письмом в редакцию" (Газета А.Гатцука. 1883. 12 марта) Лесков известил читателей о своем решении прекратить "печатание начатого <...> романа" (XI, 222).

Роман "Соколий перелет" остался незаконченным. Лесков, вероятно, пытался преодолеть эту неудачу, работая над романом-исповедью "Незаметный след" (1884; по нашей классификации — попытка 3-я), где героем-повествователем стал Иван Безбедович, брат Адама Безбедовича, героя, общего для всех фрагментов романа "Соколий перелет. Повесть лет временных" Однако и "Незаметный след" не был завершен. Что же касается замысла, обозначенного нами как попытка первая ("Из записок человека без направления"), то при жизни Лескова он не печатался, сохранился лишь в рукописных фрагментах[9] и относится, вероятно, ко второй половине 1870-х годов (см. обоснование датировки в комментариях к публикуемым ниже текстам).

Идейно-художественный замысел "общественного романа" Лесков сформулировал в упомянутом "Письме в редакцию" "Газеты А.Гатцука" по поводу прекращения печатания "Сокольего перелета": «В романе я хотел изобразить "перелет" от идей, отмеченных мною двадцать лет назад в романе "Некуда",— к идеям новейшего времени» (XI, 222). Произведение виделось писателю как "роман, написанный правдиво": "...я стараюсь <...> писать, не подчиняясь ни партийным, ни каким другим давлениям" (XI, 222).

Преемственность между лесковскими романами "Некуда" (1864—1865) и "На ножах" (1870—1871), с одной стороны, и незавершенными "Сокольим перелетом" (1883) и "Незаметным следом" (1884), с другой, очевидна[10].

Сам Лесков называл "Некуда" и "На ножах" романами "политического характера" (XI, 394). Но злободневными проблемами их содержание не исчерпывалось. Лесков уже в 1860-х годах был, по словам Л.Н.Толстого, "первым писателем, указавшим недостаточность материалистического прогресса и опасность для свободы и идеалов от порочных людей"[11].

Подобно многим русским писателям, Лесков с тревогой наблюдал, как распространение радикальных идей приводило к оскудению духа. Он был солидарен с Ф.М.Достоевским, считавшим: "Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного"[12]. Идею "очеловечивания" человека Лесков связывал с христианством, полемизируя с позитивистскими и материалистическими взглядами и все настойчивее включаясь в философско-этический спор о человеке.

Уже второй "политический" роман Лескова существенно отличался от первого романа "Некуда": "На ножах" характеризуется широким спектром обсуждаемых философских, религиозных, нравственных, национально-исторических и социально-политических проблем, сосредоточенных вокруг полемики о человеке. Лесков противопоставлял здесь силам зла добрых и светлых героев, сохранивших "живой дух веры" (X, 329). Он был убежден в том, что такие люди спасут Россию: "Я видел Русь расшатанную, неученую, неопытную и неискусную, преданную ученьям злым и коварным, и устоявшую",— говорит герой романа "На ножах" Светозар Водопьянов[13].

Кризисное состояние российской жизни Лесков всегда переживал остро. В 1883 г. он писал с горечью: «Родину-то ведь любил, желал ее видеть ближе к добру, к свету познания и к правде, а вместо того — либо поганое нигилистничание, либо пошлое пяченье назад, "домой", то есть в допетровскую дурость и кривду. Как с этим "бодриться"? Одно средство — презирать и ненавидеть эту родину, а быть философом и холодным человеком... Но до этого без мук не дойдешь. И на небе ни просвета, везде minimum мысли. Все истинно честное и благородное сникло: оно вредно и отстраняется,— люди, достойные одного презрения, идут в гору... Бедная родина! С кем она встретит испытания, если они суждены ей?» (XI, 284—285). Думается, своим третьим "общественным романом" — "Соколий перелет" — Лесков пытался ответить на этот вопрос.

Не раз утверждая, что без трех праведных "несть граду стояние", писатель в ро-

мане "Соколий перелет. Повесть лет временных" сосредоточил внимание на семье трех праведников: честный и добрый "севастопольский герой" майор Колыбельников; его жена, о которой вспоминали, что она "полна была к этим людям (арестантам.— *Н.С.*) сострадания", дочь Сусанна, убежденная в том, что "царство Господне, долженствующее быть на земле, как на небе, жило <...> в сердцах человеческих"

Глава этого семейства — смотритель каторжной тюрьмы майор Павел Петрович Колыбельников — человек, сформировавшийся в 1840—1850-х годах, прошедший Севастопольскую кампанию и сохранивший "Бога <...> который живет в сердцах людей" Эстафету добра от своих родителей как бы принимает дочь Колыбельникова — юная Сусанна (действие романа начинается в 1863 г.)[14], которую арестанты называют "каторжным гением" и "провидущим ангелом" Судьбу Сусанны трудно предугадать; хотя, может быть, не случайно Лесков наделил ее евангельским именем[15]. Тюрьма, где она жила, стала своеобразным островком прочности и стабильности в бурную эпоху российских реформ: здесь верят, любят, творят добрые дела, прощают и утешают друг друга, служат истине и добродетели.

В этой попытке осуществить роман "Соколий перелет" (попытка вторая) Лесков воссоздал типичную для его произведений ситуацию: в глазах окружающих, праведники — чудаки и "антики" "Удивительный человек и удивительные порядки",— говорит о Колыбельникове и его "хозяйстве" столичный чиновник Фромон[16]. Фромон вполне уважительно относится к необычному смотрителю тюрьмы и к заведенным им порядкам. По мысли Лескова, Фромон — тип "нового человека" в государственно-бюрократическом аппарате России периода реформ. "Такие лица тогда только заводились на Руси и скандализовали службистов, созданных старым режимом"[17].

Внимание писателя явно привлекал этот герой времени, о чем свидетельствует обстоятельный рассказ о Фромоне: он "был человек литературный и хотел видеть Россию, живущую идеями добра, свободы и справедливости. Он не был ни славянофил, ни западник <...> он чтил законы, но умел соображать их давно ощущаемые несоответствия с жизнью"[18]. Фромон не противодействует Колыбельникову. Из публикуемого ниже фрагмента 3 ("— Вы не склонны...") читатель узнает, что Фромон во многом разделяет убеждения и Адама Безбедовича.

Адам Безбедович должен был занять центральное место в системе художественных образов задуманного Лесковым "общественного романа" Этот герой требует особого внимания, во-первых, потому что его образом объединены все попытки написать роман, во-вторых, потому что в нем Лесков наиболее полно воплотил интересовавший его тип "человека без направления" Сохранившиеся фрагменты дают основание утверждать, что писатель стремился обстоятельно исследовать социально-исторические корни такого человеческого типа, его роль и значение в текущей жизни.

В напечатанном при жизни Лескова незавершенном романе "Незаметный след" (1884) описаны детские годы Адама Безбедовича. Уже в детстве герой вызывал любопытство окружающих своим серьезным отношением к жизни: его "стали называть <...> стоическим философом в бабьем футляре"[19]. Заметим, что своеобразные черты внешности Безбедовича (он был похож на женщину) Лесков сохранил во всех вариантах романа. В характере героя встречающиеся с ним люди замечали прежде всего безмерную доброту: "он был без принуждения послушен, добр, кроток и нежен"[20].

Значительную роль в воспитании Адама сыграл отец, униатский священник, высланный в великорусский город О. Соседи-помещики называли Льва Безбедовича "человеком без направления" Для провинциальных российских дворян "направление" — это подчинение дворянскому большинству, своеобразное сословное братство. Однако в контексте целого определение "человек без направления" получает иное наполнение: имеется в виду безукоризненно честный человек, трудолюбивый, порядочный, добрый и совестливый. Таким был отец Адама Безбедовича.

О юношеских годах Адама Львовича повествуется в романе "Соколий перелет. Из записок человека без направления" (попытка первая). Здесь герой охарактеризован как человек деятельный, благородный, искренний и добрый. Он закончил Московскую медико-хирургическую академию (судьба многих разночинцев) и "был послан для усовершенствования на казенный счет за границу", где добросовестно утолял свою "непостижимую жажду самых разносторонних знаний"[21].

Зрелость героя пришлась на 1860-е годы. Об этом периоде его жизни рассказы-

вается во фрагментах романа "Соколий перелет (Повесть лет временных)" (попытка вторая). В этой "пробе" романа заметно сходство образов Адама Безбедовича и Андрея Подозерова, героя романа "На ножах"

Идеалист Андрей Подозеров был еще и практическим деятелем, знающим нужды крестьян и считающим своим долгом помогать народу и действовать в его интересах. Герой, не приемлющий разрушительных революционных теорий, считал, что в основании общественного прогресса должен лежать кропотливый созидательный труд. Адам Львович — тоже практический деятель: он в течение нескольких лет заведовал школой. Во многом его размышления о судьбе России, о народе перекликаются с мыслями Подозерова. Однако герой романа "На ножах" не вполне определился в своих взглядах, и его общественный идеал носил несколько расплывчатый характер. В отличие от него Адам Безбедович трезво воспринимал жизнь, видел, как ему казалось, реальные перспективы развития страны.

Безбедович не считает революционный путь единственным выходом из кризиса: "...я не заговорщик: я не верю, чтобы участь бедных могла быть поправлена возмущениями против правительств" Лозунг-требование "забот и милосердий" для бедняков, по мысли Адама Львовича, означает необходимость реформ. Во-первых, народ, общество "исторически доросли" до "политической свободы" и конституции, хотя Россия, по мнению героя, может оставаться и традиционно монархической державой. Во-вторых, необходимы "самые горячие заботы об улучшениях в экономическом устройстве" Но главное все-таки — "оживить уснувший дух народа", что возможно лишь при "самой широкой и ничем не стесняемой" свободе слова. Оживление народного духа немыслимо без веры: "вера — это предмет самый высший, это вопрос, который дает человеку все его направление и совершеннейшую отделку" Безбедович поэтому размышлял о современном богословии и светских трактовках учения Христа, будучи убежденным в том, что оно — учение — жизненное и "в силах стоять за себя в каком угодно толковании" Герой осознает значительную роль духовенства в общественной жизни. Но в то же самое время замечает: "...духовенство страдает теми же пороками, как и весь народ, да еще, может быть, в большей мере <...> духовный по сану вовсе не то самое, что водящийся духом, а не страстями"[22].

Адам Безбедович — практический деятель и человек вне политики. Такой тип героя появился в русской литературе в конце 1860-х годов: это Литвинов ("Дым" И.С.Тургенева), Тушин ("Обрыв" И.А.Гончарова), Камышлинцев ("Меж двух огней" М.В.Авдеева), Подозеров ("На ножах" Лескова). Создавая образ Адама Безбедовича, Лесков особенно подчеркивал его духовную самостоятельность. Сам герой говорит о себе как о "человеке без направления": "... быть консерватором <...> так же нехорошо, как быть во всяком случае радикалом и либералом".

Эти слова героя незавершенного романа "Соколий перелет" перекликаются с развернутой характеристикой "человека без направления" в рассказе Лескова "Дикая фантазия" (1883—1884): "Нам нужен народный человек правдивой души и прямого толка,— не консерватор и не либерал, не самобытник и не западник, а просто человек с прямой чистою натурою; человек, который не стремился бы ни к какой партии и не боялся бы где бы то ни было сказать в глаза увлекающейся толпе: осмотрись и сумей быть справедливою; вот где правда"[23].

Обстоятельно тема "человека без направления" раскрыта в романе "Соколий перелет. Из записок человека без направления" (попытка первая).

Виктор Брасов, герой-повествователь в первом фрагменте, видит эту особенную породу людей в своих родителях: «Родители мои не были ни либералами, ни консерваторами, ни демократами, но были просто люди справедливые и простодушные, хотя и "наблюдали свою амбицию"»[24]. Сам он наследует эту жизненную позицию: «...я мог жить и теперь доживаю мою жизнь в ладу с самим собою, никогда не ощущав потребности приносить живых жертв бездушным идолам направлений. *Он*, "чье Имя чудно", по дивной милости Своей позволил мне без всяких с моей стороны усилий и заслуг ходить перед Ним в этом отношении с неповинными руками и чистым сердцем. Хвала Ему!»[25] "Человека без направления" Виктор Брасов видел и в Адаме Безбедовиче: "...все эти чувства жили в его сердце, как органические ее (sic! — *Н.С.*) проявления, а не как направления. Разум его в них участвовал лишь потолику, поколику он, придя в состояние рассуждать, нашел эти чувства справед-

ливыми и законными и решил для себя раз навсегда, что иные чувства для него невозможны"[26].

Тема "человек без направления" объединила все попытки написать "общественный роман". Более того, мысль об этом волновала писателя всегда и находила выражение в различных художественных произведениях и высказываниях 1870—1880-х годов. Лесков еще в 1875 г. писал Щебальскому: "Эти бедные люди думают, что образ мыслей человека зависит от Каткова или от Некрасова, а не проистекает органически от своих чувств и понятий" (X, 400). Интересно, что в 1889 г., размышляя о своем "уединенном положении", Лесков писал и о себе как о "человеке без направления": «...я не нигилист и не аутократ, не абсолютист, и "не ищу славы моея, но славы пославшего мя Отца"» (XI, 425).

В начале 1880-х годов, размышляя об итогах и перспективах реформ в России, писатель приходит к выводу, что успешное преобразование общественной жизни могут осуществлять только люди, не ослепленные партийными идеями и идеалами. Образ "человека без направления" аккумулировал мысли Лескова о пути, пройденном Россией к 1880-м годам, о социально-экономических проблемах, о политике и нравственности; с ним связаны и философские размышления писателя о природе человека. В незавершенном произведении Лескова центральными являются герои, сохранившие "дух, который приличествует обществу, носящему Христово имя"[27].

Опыт "общественного романа" Лескова начала 1880-х годов развивал традиции полемических романов писателя 1860—1870-х годов "Некуда" и "На ножах"[28]. Возможно, понимание того, что форма "общественного романа" в этот период литературного развития исчерпала себя, заставило Лескова отказаться от дальнейшей работы над "Сокольим перелетом" и "Незаметным следом"

Как известно, писатель болезненно и долго переживал историю романа "Некуда" и много размышлял об "утилитарном" значении литературного произведения (X, 450)[29]. В 1875 г. в письме И.С.Аксакову он одобрительно отзывался о "прелести изображения жизни современной, но не тенденциозной", замечая в скобках: "что так испортило мою руку" (X, 389). Примечателен тот факт, что к судьбе "Некуда" писатель неоднократно обращался именно в тот период, когда активно работал над своим новым "общественным романом" Размышляя о причинах неприятия "Некуда" современниками, Лесков часто винил себя в тенденциозности: «"Некуда" частию есть исторический памфлет» (XI, 256). Нежелание вновь ошибиться, возможно, останавливало писателя, мешало реализации замысла.

Наряду с этим немаловажное значение имели и другие обстоятельства творческого характера. Известные суждения писателя в период создания названных романов и сохранившиеся фрагменты произведений дают основание предположить, что в какой-то момент наступил кризис, вызванный поисками повествовательной формы, наиболее полно отвечающей замыслу "общественного романа"

1 июня 1877 г. Лесков в письме Ф.И.Буслаеву размышлял о романной форме: «О самом приеме, или манере постройки романа, я с Вами еще более согласен и не далее как в прошлом году говорил об этом с Иваном Сергеевичем Аксаковым, который хвалил меня за хронику "Захудалый род", но говорил, что я напрасно избрал не общероманический прием, а писал мемуаром, от имени вымышленного лица. Ив<ан> Серг<еевич> указывал мне даже места, где из-за вымышленного лица, от коего веден мемуар, проглядывала моя физиономия; но и он не замечал этого в дневнике Туберозова (в "Соборянах"). Однако, по вине моей излишней впечатлительности, это имело на меня такое действие, что я оставил совсем тогда созревшую у меня мысль написать "Записки человека без направления" Я не совсем убедился доводами Ивана Сергеевича, но как-то "расстроился мыслями" от расширившегося взгляда на мемуарную форму вымышленного художественного произведения. По правде же говоря, форма эта мне кажется очень удобною: она живее, или, лучше сказать, истовее рисовки сценами, в группировке которых и у таких больших мастеров, как Вальтер Скотт, бывает видна натяжка <...>» (X, 451—452).

Эти слова Лескова позволяют предположить, что на первом этапе реализации замысла "общественного романа" были написаны так и не попавшие в печать фрагменты "Записок человека без направления" (попытка первая). Затем писатель работал, вероятно, над тем замыслом, который мы обозначили как вторую попытку ("Повесть лет временных"). Возможно, неудача и с этим романом, частично напеча-

танным в "Газете А.Гатцука", заставила Лескова вернуться к исповедальной форме при создании незаконченного романа "Незаметный след" (попытка третья).

В целом же, работа Лескова над реализацией замысла "общественного романа" шла в двух направлениях: 1) создание традиционного эпического повествования от 3-го лица ("Повесть лет временных"), опробованного писателем в романах "Некуда" и "На ножах", и 2) обращение к персонифицированной форме повествования, в данном случае представленной в виде семейных воспоминаний, дневниковых записей, исповеди ("Записки человека без направления", "Незаметный след").

Наличие столь разных по художественному оформлению вариантов "общественного романа" вызывает вопрос: предполагалось ли их слияние в единое произведение?

Нельзя не заметить очевидных связей между сохранившимися фрагментами: общий герой Адам Безбедович; упоминания о его отце, униатском священнике; история дворянской семьи Брасовых; тема Крымской войны в попытках 1-й и 2-й. Но подобные точки соприкосновения, на наш взгляд, дают основание говорить лишь о существовании у Лескова единого идейно-художественного замысла, который частично реализовался в достаточно самостоятельных и независимых друг от друга произведениях. Работа над "общественным романом" остановилась на той стадии, которая позволяет охарактеризовать сохранившиеся фрагменты лишь как "пробы", попытки найти адекватную форму повествования. Едва ли в дальнейшем рассматриваемые фрагменты были бы объединены писателем в одно произведение.

МАЛЫЕ ФОРМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕСКОВА 1880—1890-х ГОДОВ

В русской литературе последней четверти XIX в. происходили существенные изменения, вызванные интенсивностью философско-этических исканий, сосредоточенностью на проблеме религиозного идеала, обращением к массовому читателю. В этот период широкое распространение получили легенды и сказки, календарная проза, рассказы-притчи. Они были широко представлены и в творчестве Лескова 1880—1890-х годов.

Лесков был убежден, что "дело честного писателя — служить тому, чтобы Царство Божие настало на земле как можно скорее и всесовершеннее"[30]. Поэтому в последние десятилетия творческого пути он выступал с художественной проповедью христианских идеалов. Для этого "удобными" оказались жанры, известные русскому демократическому читателю по фольклорному эквиваленту: сказка, легенда, притча, святочный и пасхальный рассказы. В 1880-е годы Лесков — признанный мастер святочного (рождественского) рассказа, издавший в 1886 г. сборник "Святочные рассказы"[31]. Печатались и его сказки. В архиве писателя сохранились также фрагменты незавершенных произведений этих жанров.

Один из наиболее значительных, дошедших до нас отрывков — "Маланьина свадьба" История, послужившая сюжетной основой фрагмента, сложилась, по словам рассказчика, "по всем правилам рождественского рассказа: в ней есть очень грустное начало; довольно запутанная интрига и совершенно неожиданный веселый конец".

В "Маланьиной свадьбе", судя по сохранившемуся отрывку, писатель сделал "попытку соблюсти требования святочного рассказа без рутинного привлечения к участию чертовщины и всяких иных таинственных и невероятных элементов"[32], так как считал, что сама русская действительность фантастична и непредсказуема, а потому святочный рассказ "может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время и нравы"[33].

История Натальи Викторовны Азбукиной, героини незавершенного рассказа, достаточно тривиальна: бедная девушка, похоронившая мать, остается буквально без гроша. Но в самый, казалось бы, безысходный момент вдруг появляется богач Евгений Николаевич Пыльцев, обещающий героине помощь.

В "обыгрывании" сюжетной ситуации Лесков, с одной стороны, следовал диккенсовской традиции рождественского рассказа (английского писателя он, как известно, знал и любил). По Диккенсу, "атмосфера добра и взаимопонимания <...> су-

ществует только среди бедняков"[34]. И в рассказе Лескова по преимуществу небогатые люди сочувствуют и стремятся помочь друг другу. Отдавая дань диккенсовской традиции, Лесков вместе с тем показал, что на эти чувства способны и богачи. "Причудливое или загадочное,— писал Лесков,— имеет свои основания не в сверхъестественном или сверхчувствительном, а истекает из свойств русского духа и тех общественных веяний, в которых для многих <...> заключается значительная доля странного и удивительного"[35].

Обостренное внимание к национальному характеру определило своеобразие лесковской трактовки сюжетных ситуаций, типичных для рождественской прозы.

Вместе с тем в русских святочных рассказах сформировалась оригинальная традиция: "В рамках рассказа с рождественскими мотивами возникает его антагонистическая разновидность <...> Утопический сюжет о рождественском чуде замещается своей противоположностью: сюжетом о несвершившемся чуде на Рождество, что подчеркивало несоответствие жестокой и беспощадной жизни основным идеям этого праздника"[36]. Читатель, знакомясь с незавершенным рассказом Лескова, вправе предположить, что здесь ожидаемое чудо тоже может оказаться несвершившимся. Хотя нельзя не отметить, что для лесковской святочной беллетристики такое нехарактерно. Вероятнее всего, писатель предполагал неожиданный финал, в котором явились бы "примиряющие добрые впечатления"[37]. Лесков считал, что «литература должна искать высшего, а не низшего, и цели евангельские для нее всегда должны быть дороже целей Устава о предупреждении. Нам дано ясное указание: "Голос вопиет: уравнивайте стези, по которым идет спасение" Спасение же общее для всех "в любви, в прощении обид, в милосердии ко всякому — к своему и к самарянину", а цель и радость в том, что при общем смягчении сердец "мечи будут перекованы на сошники, и мир Божий водворится в сердцах всех людей"»[38]. Возможно, именно прощение и примирение и — как следствие — мир в душах героев, а не внешние изменения в их жизни, виделись Лескову благополучным финалом рассказа.

Подобное развитие сюжета наиболее характерно для рождественской прозы Лескова. Достаточно вспомнить его святочные рассказы, в которых не всегда изменялись внешние обстоятельства жизни героев, но сердца их смягчались. Это и было чудом. Писатель, как известно, достаточно свободно относился к сложившемуся стереотипу святочного рассказа, но бережно сохранял при этом особенный — высокий и сентиментальный — рождественский настрой.

В его святочных рассказах чаще всего отсутствовала фантастика (чудо не трактовалось писателем как сверхъестественное явление) или же таинственное получало земное, реальное объяснение, хотя это не исключало интереса писателя к явлениям необъяснимым, загадочным и мистическим[39].

Среди сохранившихся фрагментов лесковских произведений можно выделить два, которые являются опытом фантастической прозы. Это незаконченная "Повесть о безголовой Наяде" и "Живые растения".

Начало "Повести о безголовой Наяде" обыденно и просто: повествователь сообщает о своем посещении художника-реставратора. Но обычное вдруг оборачивается почти иррациональным: "с лошадью и упряжью <...> беспрестанно случались несчастия"; в сумеречное уже время добирается герой-повествователь до дома художника, расположенного у кладбища; в "окнах мансарды светил довольно странный, яркий и очень неровно вспыхивающий огонь"; вокруг "не было ни души"; от стука молотка по дому, казавшемуся пустым, прокатился "громкий <...> гул" Первые встречи с людьми, живущими в этом странном доме, вселяют в душу героя суеверный страх. "Сквозь темное стекло на меня в упор глядело лицо <...> не имевшее никакой плоти" От ворот "приближалась седая всклокоченная старуха", а "вокруг нее, тяжело дыша и делая большие круги, резво носился огромный черный пудель" (сатанинская символика: Фаусту в образе черного пуделя явился Мефистофель). Неожиданное и странное впечатление производит своей внешностью, поведением, речью и хозяин дома. "Чертовщина" — так характеризует повествователь увиденное и обещает рассказать "необыкновенную, таинственную, сложную и непоследовательную в своем развитии" историю с "дьявольской интригой", имевшую "роковое влияние" на ее участников.

В "Повести о безголовой Наяде", как и в рассказе Лескова "Александрит. Натуральный факт в мистическом освещении", вымысел — воспользуемся словами самого

писателя — "стоплен с действительностию и отливает и <...> суеверием и ужасною действительностию" (XI, 298). Кроме того, в незавершенной "Повести..." Лесков обратился к теме искусства. Замысел мог вылиться либо в фантастическую (или "страшную") повесть, либо в романтическую повесть о художнике.

Позже Лесков работал над фантастическим сюжетом в сатирическом рассказе-аллегории "Живые растения. Астры-кометы и Помпон"

В эти годы, которые писатель воспринимал как время "оподления" (XI, 415), когда «"зверство" и "дикость" растут и смелеют» (XI, 477), в его творчестве усиливаются сатирические мотивы. Он пишет "Дворянский бунт в Добрынском приходе", "Отборное зерно", "Заметки неизвестного", "Полунощники", "Загон", "Зимний день", "Заячий ремиз" и др. На этом фоне "Живые растения" выделяются как опыт сатирической фантастики.

Использование "растительных" образов-аллегорий не было неожиданным в литературной практике той эпохи. Например, в 1876 г. В.М.Гаршин создал легенду-аллегорию "Attalea princeps", а в 1895 г. А.И.Куприн напечатал "поэму" "Столетник" Традиция аллегорических образов связана, конечно, и с именем М.Е.Салтыкова-Щедрина: "Именно на развитии животных метафор <...> строится один из самых поздних щедринских жанров — животная сказка"[40].

Лесков оригинально использовал в своей аллегории "растительные" образы и метафоры, призванные обличить "безнатурного" человека, благоденствующего в "эпоху пошлой скуки" (X, 436).

Тип "болвана" или "безнатурного" человека — сквозной в позднем творчестве Лескова — наиболее полно был воплощен им в известном рассказе "Заячий ремиз" Вместе с тем в литературном наследии писателя сохранились два незаконченных произведения: публикуемые ниже отрывок "Живые растения" и незавершенный рассказ "Пумперлей", в которых отразились поиски Лесковым своей сатирической манеры. Названные рассказы связаны единством замысла, типом "безнатурного" человека и единым прототипом главного героя обоих произведений[41]. Но способы сатирического разоблачения "безнатурного" человека в них различны.

Рассказ "Пумперлей" — опыт реалистической сатиры[42]. Иллюзия достоверности подчеркнута здесь персонифицированной формой повествования. Пумперлей заметно деградирует под давлением эпохи "разгильдяйства" и "шатаний" Не обращаясь здесь непосредственно к приемам аллегории или сказочной сатиры, Лесков "устанавливает родословную героя от щедринской Свиньи"[43], выявляя обобщенно-символический смысл образа Пумперлея.

В "Живых растениях" Лесков последовательно рисует аллегорическую картину. Характерно, что писатель искал свой путь в воплощении фантастического мира. Его фантастика отличалась от фантастики Гаршина или Щедрина.

Так, Гаршин в "Attalea princeps" подчеркивал условность легенды о пальме: она обрамлена вполне реалистическим рассказом о директоре оранжереи. Переход к иносказанию у Гаршина носит плавный характер: "А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелее"[44]. Несобственно-прямая речь, воссоздающая "поток сознания" пальмы, подводит читателя к восприятию прямой речи в диалогах героев-растений. В поэтическом мире легенды Гаршина существуют два мира: реальный и фантастический. Подобное наблюдалось в сказках Салтыкова-Щедрина: "Мы имеем дело не с плавным, постепенным переходом от одной сферы к другой, от сказочного, басенного к современному, а с резким сочетанием, столкновением того и другого, с совмещением несовместимого"[45].

Действительность в "Живых растениях" Лескова и реальна, и фантастична, в ней стерты границы между реальностью и вымыслом.

Писатель рассказывает о жизни своего героя как о совершенно обычной. Герой "родился в медицинской семье", "скверно учился", "вышел в адвокаты", "прослыл дельцом и деньги изобильно потекли в его просторные карманы"; "он холил себя, наряжал, выводил на прогулки", "не был несчастлив у женщин" и т.п. Реалистичен портрет героя: "он мал ростом <...> у него черная голова и румяное лицо с беспокойно бегающими черными глазками и превосходной белизны зубами. Голова и шляпа назад, грудь и брюхо вперед, руки за спину, в руках щегольской зонтик или палка с большою слоновою ручкой". Можно сравнить описание героя "Живых растений" с портретом миниатюрного Пумперлея: "ходил выпятя грудь с бархатными

лацканами и запрокинув назад голову в сдвинутой на затылке шляпе, притом гоготал и хвалился"[46]. Однако у героя "Живых растений" странное имя — Помпон. Выясняется, что он — карликовая разновидность астр. И вокруг него — Душистый горошек, Бронзовый принц, мак Данебрег, Ноготки, Скабиоза, Ферула, Манго, "зеленомясая дыня с яблочным запахом" Иными словами, в лесковском произведении воссоздан фантастический, но узнаваемый мир живых растений.

В этом фантасмагорическом мире процветает (расцветает!) пошлый авантюрист — карлик Помпон, а общество ярких и красивых "живых растений", разгневанных его бесцеремонностью, оказывается в таком состоянии "оподления", что лишь пассивно наблюдает за ним. В Помпоне писатель запечатлел тип "болвана", а это, как сказано в "живых растениях",— "нечто гораздо более сложное и интересное, чем просто дурак"

Тема "безнатурности" у Лескова связана с волновавшим его вопросом о природе человека. Погружаясь в исследование обстоятельств жизни, Лесков с горечью и подчас ожесточением признавал слабость и несовершенство человека. Но он же был убежден, что "человек, водившийся верою" (XI, 590), человек "с жизнеспособным сердцем" (XI, 522) может противостоять царящей "общей пошлости" (XI, 555). В этом плане нельзя не обратить внимание на то, что рассказ "Пумперлей", в идейно-художественном отношении близкий к "Живым растениям", по замыслу Лескова, входил в незаконченный цикл воспоминаний "Памятные встречи"

В сохранившемся вступлении к циклу Лесков писал, что решился представить "в предлагаемых ниже строках просто записанные очерки о лицах, которых <...> знал и которые своими отношениями к жизни казались <...> любопытными и достойными внимания, а также и способными характеризовать до известной степени направление своей среды и своего времени" До нас дошли только два произведения из этого цикла — сатира "Пумперлей" и рассказ "Соляной столб" "Безнатурному" Пумперлею противопоставлен герой "Соляного столба" — Плисов, "умный человек, горячо любивший правду и охотник искать истину, давно подчинивший себя заповедям евангельского учения" Плисову не по натуре "карьерная борьба", он "предпочитал всему этому тихую жизнь на своем небольшом хуторе и жил там просто и без затей во всех отношениях"

Как отметил еще в 1894 г. М.О.Меньшиков, "самые крайние настроения в Лескове как-то загадочно переплетаются и держатся вместе: тончайший, смертельный яд злобы в сатире и самое нежное умиление в идиллии — самый трезвый и черствый ум с самою страстною фантазией"[47]. На примере неопубликованных и незаконченных произведений Лескова 1880—1890-х годов видно, как тесно связаны в творчестве писателя темы "праведничества" и "пошлой" жизни.

Трудно сказать, в идиллию или в сатиру вылился бы замысел сказки "Смельчаки" ("Два смельчака").

В сохранившихся коротких фрагментах Лесков наметил проблему социального неравенства. Его таракан — "притоманный житель, таракан первой гильдии", которому "подпечная мышь" — "не ровня" Но судить о том, как развивались бы события в сказке, невозможно: до нас дошли очень незначительные по объему фрагменты. И все же сохранившиеся варианты начала "Смельчаков" представляют ценность, поскольку в наследии Лескова литературная сказка как жанр занимает куда более скромное место, чем, например, легенда или святочный рассказ. Среди немногочисленных лесковских произведений этого жанра — написанная в 1888 г. для детского журнала "Игрушечка" сказка "Маланья — голова баранья", которая при жизни Лескова не печаталась, и сказка "Час воли божией" (1890), сюжет которой был подсказал Л.Н.Толстым.

В 1891 г. Лесков сообщал Толстому: «...мне захотелось написать "Бову-королевича", и с подделкою в старом, сказочном тоне...» (XI, 475), но замысел этот не был осуществлен. Поэтому сказка "Смельчаки" привлекает внимание даже в том виде, в котором она сохранилась. Варианты начала позволяют судить о работе Лескова над особым сказочным стилем.

Лесков на всех этапах творческого пути широко использовал "семейные предания и старые памяти" (X, 146), но особенно часто избирал мемуарную форму в последние годы жизни. Ко второй половине 1880-х годов относится замысел цикла "Бытовые апокрифы (по устным преданиям об отцах и братиях)" В 1886 г. Лесков

сообщал С.Н.Щубинскому: «Купил 57 записей о скандалах 30—40-х годов и заплатил 60 рублей.— Очень любопытно. Стану писать. Назову: "Шепотники и фантазеры. Апокрифы, вымыслы и шутки безмолвной поры"» (XI, 319).

Спустя год, в 1887 г., под названием "Бытовые апокрифы" Лесков поместил в "Русской мысли" одну из историй "о трех праведниках": "Инженеры-бессребреники" Во вступлении писатель обстоятельно разъяснял свой замысел: в "апокрифах" «не все верно, а иное положительно неверно <...> Все они представляют нам события не в том сухом, хотя точном виде, в каком их представляют исследования и документы, а мы видим их тут такими, какими они казались современникам, составлявшим себе о них представления под живыми впечатлениями и дополнявшим их собственными соображениями, домыслами и догадками <...> В том, что они *сочиняли* о людях под влиянием своих склонностей и представлений, можно почерпнуть довольно верное понятие о вкусе и направлении мысли самих сочинителей, а это, без сомнения, характеризует дух времени"[48].

В "Бытовых апокрифах" Лесков воссоздал легендарные образы инженеров-"праведников" Но в этой же эпохе Лесков находил героев, спокойно и равнодушно плывущих "по воле волн" Такой тип человека он воплотил в образе бывшего жандарма николаевской эпохи Александра Христофорыча (прототипом которого был, очевидно, шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф), героя публикуемого ниже отрывка "Бытовые апокрифы. Посланницы Амура" К задуманной серии "апокрифов" примыкал, вероятно, и отрывок "Известный генерал Н.Н.В-в рассказывал..." — анекдот эпохи 1830—1840-х годов.

Известен устойчивый интерес Лескова к эпохе Николая I. В 1880-е годы внимание к этому периоду русской истории становится постоянным и активным, о чем свидетельствуют письма и произведения писателя. "Характер лица и времени" (XI, 549) он воспроизвел в незаконченном романе "Незаметный след", в рассказах и очерках "Умершее сословие", "Старинные психопаты", "Загон", в незавершенном романе "Чертовы куклы" и др.

К "бытовым апокрифам" близок по композиционному решению сохранившийся фрагмент "Мадемуазель попадья" Здесь, однако, читатель встречается с особой формой мемуарного повествования: отрывок имеет подзаголовок "Из семейных воспоминаний" и тяготеет к автобиографическим произведениям Лескова, подобным рассказу "Коза (Из детских воспоминаний)", статье "Как я учился праздновать (Из детских воспоминаний писателя)", хронике "Печерские антики. Отрывки из юношеских воспоминаний", "Юдоль. Из исторических воспоминаний" и др. Все они созданы в 1880—1890-е годы.

В творчестве Лескова последних десятилетий наметилась еще одна группа воспоминаний — литературных. Подзаголовком "Из литературных воспоминаний" сопровождались рассказы "Дух госпожи Жанлис", "О шепотниках и печатниках", "Две матери" (ранняя редакция рассказа "Дама и фефела"). В письме к А.Ф.Марксу 25 сентября 1890 г. Лесков предлагал для журнала "Нива" свои "Отрывки из литературных воспоминаний за XXX лет", но на страницах журнала очерки не появились[49]. К этой группе произведений примыкает и проанализированный выше незавершенный цикл рассказов "Памятные встречи. (Отрывки из воспоминаний)"

В 1880-е годы Лесков часто обращался к жанру "рассказа кстати" Из публикуемых незаконченных произведений подзаголовок "рассказ кстати" имеют "Самое жалкое существо" и "Короткая расправа" Кроме того, в архиве Лескова сохранились заготовки рассказов "Обход", "Резонеры", "Чертова помощь", "Особенно чувствительно уязвила..." Недостаточно развернутые, они, однако, дают основание предположить, что, будучи завершенными, эти рассказы могли бы стать типичными лесковскими "рассказами кстати": в них намечено композиционное обрамление, в котором автор-повествователь сообщает о том, что именно послужило импульсом к созданию произведения, и обещает рассказ-воспоминание одного из героев.

Процесс создания "рассказов кстати" можно проследить, обратившись к произведениям Лескова, явившимся его откликом на повесть Л.Н.Толстого "Крейцерова соната".

В 1890 г. писатель начал три рассказа, связанные с толстовской повестью: «По поводу "Крейцеровой сонаты"», "Особенно чувствительно уязвила..." и, вероятно, "Короткая расправа" Все они остались незаконченными. Наиболее близок к завер-

шению рассказ «По поводу “Крейцеровой сонаты”», вошедший в собрание сочинений Лескова 1957—1958 гг. (Его первоначальное название — “Дама с похорон Достоевского”)[50].

Полемизируя с героем толстовской “Крейцеровой сонаты”, отрицающим духовную сторону любви, Лесков в рассказе «По поводу “Крейцеровой сонаты”» утверждал свое понимание любви и брака как союза двух душ. Но в незавершенном рассказе “Особенно чувствительно уязвила...” он предложил читателю другую точку зрения на любовь и брак, содержащую в себе житейски-обыденную мораль. Словцов, герой этого произведения, прочитав “Крейцерову сонату”, делает для себя главный вывод: “...надо, чтобы человек выбирал себе жену за ее ум, характер и хорошее уменье жить, а не за джерси да за нашлепку” Лесковские простонародные герои из отрывка “Особенно чувствительно уязвила...” не отрицают чувственность, но они видят в этом только первый шаг, приближающий человека к истинной любви[51].

Лесков был убежден, что на свете немало людей, способных на любовь в ее христианском понимании. В статье “Ошибки и погрешности в суждениях о гр. Л.Толстом. Несколько простых замечаний против двух философов” (1886) он, рассуждая о нравственном совершенствовании человека, утверждал, что есть два пути: «Могучий дух, способный возвыситься до служения добру в семейной обстановке, “филаретствует”, не расставаясь с семьею, а если человек на себя не надеется,— он “алексейничает”, т.е. сторонится от живых обязанностей и “бежит во след человека Божия”»[52].

Однако “филаретствовать” в семье, где нет духовной близости и взаимопонимания, невозможно. Не случайно герой незавершенного романа “Чертовы куклы”, над которым Лесков работал в то же время, что и над набросками рассказов «По поводу “Крейцеровой сонаты”», художник Мак “...все надеялся когда-нибудь увидеть одну заповедную женщину по своим мыслям. Она должна была обладать красотою духовной более, чем телесною,— во всяком случае она непременно должна была иметь над ним многие нравственные превосходства, особенно в деликатности чувств, в тонком ощущении благородства, чести и добра. Она должна была не отделять его от мира, как любят делать многие женщины, а роднить его с высшим миром” (VIII, 488).

К мыслям о природе любовного чувства Лесков возвращался постоянно в письмах 1890-х годов, утверждая, что человек должен перерасти “состояние животной похоти”[53]. Поэтому естественным было обращение Лескова к теме семьи, любви, женской красоты в незавершенном рассказе “Соляной столб” Лесков воплотил здесь свой идеал семейной жизни, основанной на любви и согласии, на родстве душ. Толстовец Плисов “не раз чувствовал себя глубоко растроганным за то невозмутимое счастие”, которым наслаждался во “взаимном согласии, отвечающем требованиям настоящей любви, повинуясь которой люди не угодничают друг другу, а покоят друг в друге то, что хорошо и пригодно для высшего возраста”

В “Соляном столбе” Лесков создал образ идеальной женщины, “подруги, которая имела и благородное сердце и просвещенный ум, так что с нею можно было жить в единомыслии” Жена Плисова “духом исполнилась”, как и лесковские героини-праведницы. В этом ее красота и совершенство.

Прототипами героев рассказа “Соляной столб” были члены семьи художника Н.Н.Ге. Возможно, пример достойного брака Н.Н.Ге и его жены жил в сознании Лескова, размышляющего о любви и особенно семейной жизни после появления “Крейцеровой сонаты” и послесловия к ней (Толстой работал над послесловием с 1889 г., до публикации в 1891 г. оно распространялось в списках). Лесков не принял категоричности толстовского тезиса: “Кто с кем сошелся — тот с тем и живи”. “Можно ли держать союз с тем, с кем ум и дух в полном разладе и дисгармонии? Природа этим возмущается, и она права”,— писал он в 1893 г. (XI, 540)[54].

Опыт осмысления Лесковым этической концепции автора “Крейцеровой сонаты” убеждает в том, что писатель, восхищавшийся гением Толстого, был тем не менее вполне независим как художник и мыслитель.

Творчество Лескова 1880—1890-х годов отразило общие закономерности развития русской общественной мысли и литературы. В произведениях этого периода, завершенных и незавершенных, Лесков органично развивал найденное в предшест-

вующие годы и обращался к новым формам, стремясь донести до читателя свои размышления о жизни и человеке.

Расположение публикуемых произведений продиктовано прежде всего хронологическим принципом. Поэтому первой помещена незаконченная "Повесть о безголовой Наяде", относящаяся к 1870-м годам.

Далее следуют фрагменты самого значительного замысла Лескова второй половины 1870-х — первой половины 1880-х годов — "общественного романа" В архиве писателя сохранились незавершенные фрагменты, так или иначе связанные с этим замыслом. Целостное представление о работе Лескова над романом можно получить, познакомившись со всей совокупностью попыток осуществить замысел. Этим мотивируется републикация незавершенного романа "Незаметный след", напечатанного в 1884 г. в журнале "Новь", как единственного дошедшего до нас фрагмента третьей попытки.

При публикации фрагментов "общественного романа" также сохраняется хронологический принцип. Первой по времени попыткой создания нового романа были наброски с подзаголовком "из записок человека без направления" (см. выше). Поэтому публикация открывается двумя сохранившимися фрагментами романа "Соколий перелет. Из записок человека без направления" Самый значительный из дошедших до нас фрагментов этого замысла — "Соколий перелет. Записки человека без направления" — был опубликован ранее К.П.Богаевской (*ЛН.* Т. 87. С. 47—62).

Над романом "Соколий перелет. Повесть лет временных" Лесков работал в 1881—1883 гг. Начало романа — "Соколий перелет. Часть 1. Книга 1. Героиня и ее двор" — опубликовано в 1883 г. в "Газете А.Гатцука" (№ 7—10). Ниже публикуются: фрагмент продолжения романа "Соколий перелет. Повесть лет временных" — "Бойцы и выжидатели. Часть 1. Книга 2" и примыкающий к нему отрывок "Вы не склонны..."

Завершает публикацию фрагментов "общественного романа" произведение "Незаметный след. Из истории одного семейства", начало которого появилось в печати в 1884 г. Идейно-тематически оно родственно незавершенным фрагментам романа "Соколий перелет" Это дает основание утверждать, что перед нами — трудная и, вероятно, последняя попытка Лескова осуществить замысел "общественного романа" в первой половине 1880-х годов.

При публикации произведений Лескова малых жанров мы также придерживаемся хронологического принципа.

В заключение публикуется незаконченный мемуарный цикл Лескова "Памятные встречи".

Все фрагменты, за исключением незавершенного романа "Незаметный след", публикуемого по журнальному тексту, печатаются по автографам.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Богаевская К.П.* Из творческих рукописей. (Незавершенные произведения) // *ЛН.* Т. 87. С. 36—46.

[2] *Гебель В.А.* Н.С.Лесков. В творческой лаборатории. М., 1945. С. 122—128; *Столярова И.В., Шелаева А.А.* К творческой истории романа Н.С.Лескова "Чертовы куклы" // *РЛ.* 1971. № 3. С. 102—113; *Шелаева А.А.* Тема "чертовой куклы" в творчестве Н.С.Лескова 70—80-х годов // Научн. труды Курского гос. пед. ин-та. Курск. 1980. Т. 213. Творчество Н.С.Лескова. С. 77—91.

[3] В тетради Лескова между названными фрагментами романа содержится отрывок, идейно-тематически близкий к ним и, возможно, связанный с замыслом романа. Приводим его полностью:

«Двадцать лет назад общество было не то что ныне: оно было малоопытнее нынешнего, но богаче верою и упованиями. Ясного в его сознании не было ничего, как и теперь, и благороднейшие души ощущали смятение и боязнь грядущего, но ласковый дух покойного императора носился поверх этого хаоса и порою освещал его <нрзбр.> Государя любили и, веря в доброту его сердца и в деликатность его натуры, говорили: "он никого не хочет обидеть" Но, получив из его рук начала равноправия перед судом и некоторое расширение свободы совести и слова, ждали дальнейшего, того, что ныне осмеяно под словами "завершение здания" Ждали не своеволия, а именно законной свободы непререкаемо пользоваться тем, что по всем видимостям сам государь считал принадлежностью граждан и благом государства. Ожидания эти имели для себя основания, но когда исполнение их замедлилось...» (*РГАЛИ.* Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 8).

[4] Опубликован К.П.Богаевской //*ЛН.* Т. 87. С. 47—62.

[5] С подзаголовком "Из записок человека без направления" сохранились также фрагменты произведения под названием "Гидры (Современная разновидность)" (*РГАЛИ.* Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 6), на основании которых трудно определить возможное направление работы Лескова, но по содержанию фрагмент связан с темой "безнатурного человека" Сложно установить время написания фрагмента, хотя С.П.Шестериков датировал его 1890-ми годами (см.: *Богаевская К.П.* Указ. соч. С. 45).

Приводим текст фрагмента полностью:

«ГИДРЫ

(Современная разновидность)

Из записок человека без направления

Гидры — род полипов — животные из класса лучистых. У них есть желудочная полость и ротовое отверстие, окруженное щупальцами. Новоразвивающиеся часто остаются в соединении с старыми и образуют полипы. Так как животные развиваются во все стороны, то форма полипняка выходит похожею на ветвистое дерево. Очень восприимчивы к свету, почему думают, что у них есть нервы, но нервный узел у них есть только около рта, а движение жидкости из тела заметно только в щупальцы и назад. Питаются животными и растительными частицами, приносимыми током воды. Захватывают щупальцами. Размножаются почками, делением и яйцами.

МЕДУЗЫ РЕЗВУШКИ

"НЕЖДАНКИ"

Эскизы с натуры

"По заячьему следу дошли до медведя"

I

[В чем дело?]

Присасываются особым органом — присосною ногою. Замечательны своей живучестью. Если гидру перерезать на несколько частей — из каждой образуется новое животное...

Гидру можно вывернуть наизнанку желудком наружу, и она все-таки продолжает жить...

Это вновь образованный вид. Поразительный факт: открыли, что животные, относимые к различным классам, суть только фазы одного и того же животного. Полипы производят или медуз, или полипов. [Из зародышей могут] От слияния внешних обстоятельств (по условиям жизни) зависит, чтобы из одних и тех же зародышей развились полипы или медузы».

[6] Цит. по: *Гебель В.А.* Указ. соч. С. 123. См. также: Новое о писателе. Публикация К.Богаевской // Лит. газета. 1981. 18 марта. С. 6.

[7] Замысел произведения под названием "Чертовы куклы" существовал у Лескова уже в начале 1870-х годов: «"Смеха и горя" здесь продано *все,* что прислано <...> Новая работа задумана как раз в этом же роде, и я к ней рвусь с жадностью. Это будут "Чертовы куклы",— все будет о женщинах В приеме намерен подражать "Серапионовым братьям" Гофмана« (X, 327. Письмо П.К.Щебальскому от 5 июня 1871 г.).

Как предположили И.В.Столярова и А.А.Шелаева, «относительно законченный вариант этого произведения существовал уже к 1872 г., так как в 1872 г. Лесков намеревался напечатать "Чертовы куклы" в "Московских ведомостях"» (*Столярова И.В., Шелаева А.А.* Указ. соч. С. 103). Однако произведение, если оно было написано, до нас не дошло, так как из сохранившихся в архиве Лескова вариантов начала романа "Чертовы куклы" ни один не напоминает условную, "гофмановскую", форму повествования. Кроме того, о нереализованности Лесковым замысла начала 1870-х годов свидетельствует письмо А.П.Милюкову от 3 августа 1875 г.: «...вся эта пошлость и подлость назлили меня до желания написать нечто вроде "Смеха и горя" под заглавием "Чертовы куклы", и я за это уже принялся» (X, 415). Лесков возвратился к этому замыслу позднее, и можно предположить, что именно неудачный опыт "общественного романа" начала 1880-х годов заставил писателя вернуться к мысли написать роман-аллегорию, над которым он активно стал работать в 1889—1891 гг. и который частично был реализован в романе "Чертовы куклы", напечатанном в 1890 г. в "Русской мысли"

[8] Письмо Лескова к А.С.Суворину, март — апрель 1880 г. // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 94. (Публикация О.Е.Майоровой).

[9] Позднее у Лескова вновь появлялись замыслы, связанные с романом "Соколий перелет" В 1889 г. он писал П.И.Бирюкову: «Масса мелких <...> землевладельцев с хорошим христианским настроением остается для меня самым верным шагом для моей нынешней поры. Я хочу написать такой романчик и назвать его по имени героя "Адам Безбедович" (из поляков-евангелистов)» (XI, 412). 26 февраля 1891 г. он сообщал Л.Н.Толстому: «Мне хочется писать "Безбедо-

вича" — романчик с героем простого разумения <...>» (*Толстой. Переписка.* Т. 2. С. 244). Замыслы остались нереализованными.

[10] Эту преемственность отмечал еще И.А.Шляпкин, писавший, очевидно, со слов Лескова, что рассказ "Заячий ремиз" — «как бы третья часть трилогии: первая "Некуда", вторая: "Соколий перелет" и третья: "Заячий ремиз"» (*Шляпкин И.А.* К биографии Н.С.Лескова // *PC.* 1895. № 12. С. 209).

[11] *Сергеенко П.* Толстой и его современники. М., 1911. С. 219.

[12] *Достоевский.* Т. 27. С. 56.

[13] Лесков Н.С. На ножах // *Соч.* Т. 8. С. 360. Подробнее об этом романе см.: *Старыгина Н.Н.* Роман Лескова "На ножах" // Человек и его ценностный мир. М., 1995.

[14] Указания на время действия есть в тексте романа: "Осенью 1863 г. во время начала нашей реакции и наших смятений <...> из города выехала коляска <...>" (Лесков Н.С. Соколий перелет // Газета А.Гатцука. 1883. 19 февр. С. 139).

[15] *Лука,* 8:3.

[16] Газета А.Гатцука. 1883. 19 февр. С. 143.

[17] Газета А.Гатцука. 1883. 19 февр. С. 140.

[18] Газета А.Гатцука. 1883. 26 февр. С. 162—163.

[19] Новь. 1884. № 1. С. 122.

[20] Там же.

[21] *Лесков Н.С.* Соколий перелет. Записки человека без направления // *ЛН.* Т. 87. С. 58.

[22] Здесь и далее цитируется последний из публикуемых ниже фрагментов, восходящих к замыслу "Сокольего перелета" (фрагмент начинается со слов "Вы не склонны..." Ср. замечание самого Лескова, относящееся к 1883 г.: "...христианство есть учение жизненное, а не отвлеченное <...> цели христианства вечны" (XI, 287).

[23] *Лесков Н.С.* Дикая фантазия. Полунощное видение. Неопубликованный рассказ // Лит. современник. 1934. № 12. С. 89.

[24] *Лесков Н.С.* Соколий перелет. Записки человека без направления // *ЛН.* Т. 87. С. 48.

[25] Там же. С. 47.

[26] Там же. С. 57.

[27] Письмо Лескова П.К.Щебальскому от 29 июля 1875 г. // *Шестидесятые годы.* С. 330.

[28] О жанре полемического романа в ту эпоху см. мнения критиков, современников Лескова: *Анненков П.В.* Художник и простой человек. Из воспоминаний об А.Ф.Писемском // Анненков П.В. Литературные воспоминания. М., 1983. С. 501; *Соловьев Н.И.* Искусство и жизнь. Критические очерки. М., 1869. С. 13; *Страхов Н.Н.* Из истории литературного нигилизма. 1861—1865. СПб., 1890. С. 344.

[29] В период работы над "Сокольим перелетом" роман "Некуда" постоянно упоминался в письмах Лескова (см.: X, 382, 396—397, 441, 465; XI, 250, 256, 278, 294).

[30] <Заметка Лескова о литературе>. 23 мая 1894 г. Публикация А.Романенко // В мире Лескова. М., 1983. С. 365.

[31] О жанре святочного рассказа см.: *Столярова И.В.* Н.С.Лесков и русское литературно-общественное движение 1880—1890-х годов: Автореферат дисс. ...д-ра филол. наук. СПб., 1992. С. 14—24; *Душечкина Е.В.* Русская календарная проза: антология святочного рассказа: Учебные материалы по спецкурсу. Таллинн, 1988; *Душечкина Е.В.* Русский святочный рассказ: становление жанра: Автореферат дисс. ...д-ра филол. наук. СПб., 1993; *Душечкина Е.В.* Русский святочный рассказ: Становление жанра. СПб., 1995; *Старыгина Н.Н.* Святочный рассказ как жанр // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск, 1992. Вып. 2. Художественные и научные категории. С. 113—128; *Старыгина Н.Н.* Из сказок жизни // Лит. в школе. 1992. № 5—6. С. 23—28; *Кретова А.А.* Святочные рассказы Н.С.Лескова в контексте русской литературы XIX века: Автореферат дисс. ... канд. филол. наук. М., 1992.

[32] *Лесков Н.С.* Уха без рыбы // Новь. 1886. № 7. С. 352.

[33] *Лесков Н.С.* Жемчужное ожерелье // *Соч.* Т. 7. С. 4.

[34] *Душечкина Е.В.* Русский святочный рассказ: Становление жанра: Автореферат дисс. д-ра филол. наук. С. 16.

[35] *Лесков Н.С.* Предисловие // Лесков Н.С. Святочные рассказы. СПб., М. Изд-е М.О.Вольфа, 1886 (страницы предисловия не пронумерованы).

[36] *Душечкина Е.В.* Указ. соч. С. 16.

[37] *Лесков Н.С.* Уха без рыбы. С. 352.

[38] *Лесков Н.С.* Обуянная воль (Литературная заметка) // *Лесков о литературе и искусстве.* С. 149.

[39] См., например: *Поддубная Р.Н.* О фантастическом в рассказе Н.С.Лескова "Белый орел" // Творчество Н.С.Лескова: Межвуз. сб. научн. трудов. Курск, 1986. С. 47.

[40] *Бухштаб Б.Я.* От пародии к сатирической сказке. (История одного замысла Щедрина) // Жанр и композиция литературного произведения. Петрозаводск, 1978. С. 47.

[41] Речь идет о П.Л.Розенберге. См. о нем подробнее ниже, в послесловии Т.А.Алексеевой к публикации рассказа "Пумперлей"

[42] Об этом рассказе Лескова см.: *Анкудинова О.В.* Проблема "безнатурного" человека в неоконченных рассказах Н.С.Лескова "Пумперлей (Памятные встречи)" и "Бытовые апокрифы" // Вопросы русской литературы. Львов, 1981. Вып. 1 (38); *Чуднова Л.П.* Неопубликованный рассказ Н.С.Лескова "Памятные встречи. Пумперлей" // Уч. зап. ЛГПИ им. А.И.Герцена. Л., 1959. Т. 198. С. 209—233.

[43] *Анкудинова А.В.* Указ. соч. С. 53.

[44] *Гаршин В.М.* Избранное. М., 1982. С. 100.

[45] *Гин М.М.* Мир и жанр щедринской сказки // Жанр и композиция литературного произведения. Петрозаводск, 1988. С. 88.

[46] Подробнее о перекличках между этими двумя незавершенными произведениями см. далее послесловие Т.А.Алексеевой к "Пумперлею"

[47] *Меньшиков М.О.* Художественная проповедь (XI том сочинений Н.С.Лескова) // Книжки "Недели" 1894. № 1. С. 167.

[48] *Лесков Н.С.* Бытовые апокрифы // *РМ.* 1887. № 11. С. 119—120.

[49] Цит. по: *Багрий А.В.* Литературный семинарий. Баку, 1927. II. С. 29. Письмо Лескова частично цитируется и дается в пересказе в кн.: *Динерштейн Е.А.* "Фабрикант" читателей: А.Ф.Маркс. М., 1986. С. 129—130.

[50] О "рассказе кстати" «По поводу "Крейцеровой сонаты"» см.: *Туниманов В.А.* Лесков и Толстой // Лесков и русская литература. М., 1988; *Столярова И.В.* Нравственно-эстетическая позиция Н.С.Лескова в "рассказах кстати" («По поводу "Крейцеровой сонаты"» и "Дама и фефела") // Нравственно-эстетическая позиция писателя. Ставрополь, 1991. С. 82—99. См. также далее в разделе III ("Материалы к биографии") комплекс материалов, раскрывающих личные и творческие взаимоотношения Лескова с Толстым.

[51] В рассказах "Короткая расправа" и "Особенно чувствительно уязвила..." примечательно то, что речь идет о чтении и обсуждении "Крейцеровой сонаты" обывателями, "добрыми ребятами мужского и женского пола", населяющими "попятин двор".

[52] Статья публикуется в настоящей книге (см. ниже раздел "Публицистика Лескова").

[53] *Шестидесятые годы.* С. 363. Письмо Б.М.Бубнову от 29 июля 1891 г. См. также: XI, 489.

[54] См. также: *Шестидесятые годы.* С. 364; *Туниманов В.А.* Лесков и Л.Толстой. С. 185.

ПОВЕСТЬ О БЕЗГОЛОВОЙ НАЯДЕ[1*]

(Из воспоминаний сумасшедшего художника)[2*]

Немного лет тому назад один из моих родственников прислал мне в Петербург около десятка очень старых масляных картин, доставшихся ему чрезвычайно дорогою ценою. Все эти картины содержались у прежнего их владельца в небрежении и значительно потускли, а частию даже совсем обветшали[3*], а потому мой родственник просил меня отдать их на исправление самому опытнейшему и лучшему из известных ныне реставратору. Поручение это для меня представляло немало трудностей, так как я понимаю, что реставрация картин есть нежная и весьма сложная работа, требующая от художника не только величайшего мастерства и осторожности, но и обширного знакомства со стилем и многоразличными особенностями манеры старых мастеров, что в наше малохудожественное время встречается не часто. Однако же благодаря кое-каким указаниям и советам некоторых из наших современных живописцев я получил наставление обратиться за исполнением данного мне поручения к некоему Игнатию Ивановичу Суйгусарову[4*], уже немолодому художнику, которого все мне хвалили как отличнейшего и опытнейшего реставратора. Имя этого мастера, впрочем, мне давно было немножко знакомо: еще в лета моей самой ранней юности я в нескольких весьма замечательных частных коллекциях встречал превосходные головки его работы с рафаэлевским пошибом во вкусе Мунари[1] и одну очень замечательную Венеру в манере Тициана. Я это вспомнил и заметил, что меня всегда удивляла разносторонность Суйгусарова в неподражаемом подражании твердому и строгому рисунку одного и живому колориту другого.

— О, это ничего не значит,— отвечали мне на мое замечание,— Суйгусаров это наш Гарофалло[2]: он настоящая обезьяна живописи и может отражать все школы и все стили, начиная с строгого Альберта Дюрера до цветистого Ватто и прихотливого Беллоли: впрочем, в реставраторе это очень важно.

— Только вы имейте в виду одно,— предупреждали меня другие,— что наша художественная обезьяна часто бывает капризна, как настоящая старая обезьяна: деньги для Суйгусарова прах и пустяки: он руководствуется в своих поступках Бог его ведает какими соображениями, и с ним нередко бывает очень трудно ладить, а тем более невозможно поручиться, за что он возьмется и чего не захочет делать. А впрочем: везите к нему все, что вам прислано, и попытайте счастья.

Боле нечего было расспрашивать, и я забрал с собою в сани весь при-

---

[1*] Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Комментарии Н.Н.Старыгиной.

[2*] Первоначальное название отрывка — "Академическая фигура" — зачеркнуто Лесковым. Второй, также зачеркнутый в рукописи вариант: "Повесть о невской Диане" В подзаголовке вместо "художника" сначала стояло "артиста"

[3*] Далее зачеркнуто: "так вместе с этою присылкою я получил поручение распорядиться, чтобы".

[4*] Зачеркнутый в рукописи вариант имени героя — Меркул Матвеевич Праотцев.

сланный мне дорогой художественный хлам моего родственника, отправился по данному мне адресу отыскивать знаменитую обезьяну живописи.

Адрес вел в одну из отдаленнейших частей самой дальней линии Васильевского острова, почти к самым воротам Смоленского кладбища.

Выехав из дома около двух часов и имев злополучную долю сесть на извозчика, с лошадью и упряжью которого беспрестанно случались несчастия, вынуждавшие нас к остановкам, я добрался до указанного места в начале ранних зимних сумерек. При моем прибывании кладбищенские ворота, скрипя, запирались, и женщины, торгующие здесь намогильными венками и крестами из засушенных желтых, белых и синих цветов, снимали с дверей своих лавочек бывшие на выставке образцы их печального товара.

Я спросил у одной из этих торговок, где здесь живет господин Суйгусаров, и получил от нее[1*] указание на длинный забор, ограждавший, по-видимому, весьма обширное дворовое место. В глубине этого двора был виден довольно высокий и еще очень свежий деревянный дом в два этажа, с весьма крутою крышею, какие встречаются в старых немецких городах и кое-где у нас на острове[2*].

Над воротами был выставлен номер дома и таблица, обозначающая, что он принадлежит классному художнику Игнатию Суйгусарову[3*].

Ворота были по провинциальному обычаю заперты, но калитка отворена, и я свободно взошел через нее на очень просторный и чистый двор, в одной стороне которого был отгорожен решеткою палисадник, а в глубине стоял, как выше сказано, дом в два этажа и с мансардою под крышей. Окна первого и второго этажа были темны, но в четырех довольно высоких окнах мансарды светил довольно странный, яркий и очень неровно вспыхивающий огонь, отливавший сквозь спущенные занавесы темномалиновым цветом.

На дворе не было ни души, и все мои попытки дозваться дворника или кого бы то ни было другого, от кого бы можно было узнать, где ход к реставратору, оказывались совершенно бесполезными: на неоднократный зов мой никто не откликался, а звонка у ворот не было и признака. Приходилось пускаться на поиски наугад, и я направил мои шаги к высокому крыльцу, устроенному посредине фасада оригинального дома. Ступив под старинной формы намет, поддерживаемый двумя весьма неприхотливыми деревянными колонками, очутился у массивной двери, у которой опять звонка не было видно, но зато посредине ее на старинном железном шарнире висел старинный же тяжелый молоток, а над ним металлическая доска с латинскою надписью[4*]: “Nisi ter pulsata operiotur tibi porta, honestus abeas”[5*].

Эта оригинальная надпись, сделанная на классическом языке, конечно, незнакомом для большинства людей, которым может предстоять какая-нибудь нужда постучать в эти двери, напомнила мне предварения, сделанные мне насчет прихотливых чудачеств моего анахорета, маэстро, которому я готовился предстать теперь уже с крайним любопытством.

1* Далее зачеркнуто: “довольно равнодушное”

2* Далее зачеркнуто: “Отворив калитку, я увидал”

3* Зачеркнуто: “Меркулу Праотцеву” (далее эта смена имени героя в примечаниях не отражается).

4* Далее зачеркнуто продолжение фразы: «сделанною посредством выпуклых отшлифованных [готических] букв, какие часто встречаются на надмогильных плитах. [На этой доске] Надпись возвещала не имя [жильца] обитателя дома, а его обычай: на ней стояли следующие латинские слова: “Ter tibi pulsantur, non».

5* То есть “трижды тебе стучащемуся, если не отворяют, то знай честь и отходи прочь” (примеч. Лескова.).

Подчиняясь завету, воспрещающему входить в чужой монастырь с своим уставом, я решился в точности исполнить то, что требовала от входящего в этот дом металлическая доска, и, взявшись за ручку молотка, оттянул его и опустил на бляху.

За дверью послышался громкий прокатистый гул, дозволивший мне умозаключить, что тотчас за этою дверью непременно должно находиться большое, пустое помещение и, всего вероятнее, длинный коридор, в конце которого может быть лестница. Между тем гул этот перекатился и исчез, но ответа никакого не было. Я постоял с минуту и стукнул во второй раз, но также без всяких иных последствий, кроме неприятного и, признаюсь, даже немножко жуткого гудения по дому и по двору, где темнота с каждою минутою становилась все гуще и мрачнее.

Пользуясь сумраком, я решился полюбопытствовать: не видно ли в соседних с подъездом окнах первого этажа какого-нибудь признака жизни,— и перегнулся на бок через перилы, чтобы заглянуть в ближайшее окно, но тотчас же отскочил: сквозь темное стекло на меня в упор глядело лицо, как мне казалось, не имевшее никакой плоти и обозначавшееся только одними тонкими контурами. Я быстро отодвинулся в противуположную сторону: заглянул в другое окно: и там то же самое!

— Фу ты, что это за привидения! — подумал я, чувствуя некоторое нервное беспокойство, и торопливою рукою наскоро сделал третий удар молотком и с этим уже хотел уходить, как вдруг среди самой двери что-то захрипело, точно в испорченном органе, потом щелкнуло, слабо заныло, и дверь тихо поползла передо мною, растворенная совершенно невидимою рукою.

Я невольно сделал шаг назад и, сорвавшись с верхней ступени, слетел с громом вниз со всего крыльца и с удивлением глядел в открытую темную пасть загадочной двери.

— Нет; однако что бы это такое ни значило, но Бог с ним, этот великий реставратор, а я не хочу больше подвергать себя его чудачествам,— подумал я и уже оборотился полуоборотом назад, как снова подвергся еще большему удивлению: ко мне от ворот приближалась седая всклокоченная старуха с охапкою пересыпанного снегом мелкого ельника, каким обыкновенно посыпают дорогу под мертвецкие дроги: она шла, хрипя и с трудом выдирая из снегу босые ноги, всунутые в старые мужские калоши, и что-то ворчала, а вокруг нее, тяжело дыша и делая большие круги, резво носился огромный черный пудель. Дыхание этого страшного пса вырывалось из его широкого открытого рта, клубилось паром, который стыл за ним в воздухе, меж тем, как его высунутый пурпурный язык сверкал, и глаза горели в полумраке.

Я уже так был настроен видеть здесь во всем нечто необычайное, что даже этот носящийся и делающий круги пес показался мне тем страшным пуделем, которого ученый доктор Фауст встретил на поле перед своим знакомством с сатаною[3], и впрямь: вся фигура и все ужимки виденного мною пса как нельзя более напоминали мне известный гениальный рисунок Каульбаха[4].

Одним словом, позади у меня было нисколько не веселее, чем впереди, где меня немножко смутила отпертая таинственной рукою дверь: напротив открытая дверь все-таки меня куда-то приглашала, между тем как скачущий пудель и старуха имели вид самый неприветливый, тем более, что я теперь заметил в руке старухи большой ключ от калитки. Этим мне совершенно было отрезано всякое отступление.

Вдобавок ко всему этому старуха, у которой я, кроме ключа, рассмотрел заросший седыми волосами подбородок и злое смуглое лицо, вдруг совершенно неожиданно прегромко засвистала, как табунщик, и закричала:

— Шерше, Шершонь! Шерше![1*] — а собака в ответ на этот приказ громко залаяла и, очутясь возле меня одним прыжком, весьма чувствительно ударила меня по ногам своим остриженным хвостом, потом стала передо мною и, подняв кверху морду, обдала меня паром своего теплого, сухим мясом пахнущего дыхания.

Будучи от природы и обстоятельств человеком крайне нервным, я просто был готов проклясть свое путешествие и звать к себе на помощь оставшегося за воротами моего возницу, но вдруг меня сзади осиял какой-то внезапный луч света... Я инстинктивно снова повернулся к дверям и увидел, что они, несмотря на стоящую на дворе стужу, все еще до сих пор оставались отворенными, а сквозь них откуда-то издали, точно в панораме, прямо на меня направленный луч света. Теперь я мог сообразить, что этот свет, вероятно, выходит из чего-нибудь вроде фонаря или лампы с выпуклым стеклом.

— Сделайте милость: кто там есть? — вскричал я,— будьте добры, проводите меня куда-нибудь, или, по крайней мере, хоть помогите мне отсюда выбраться.

Световой фокус начал все острее и острее пронзать меня: я догадался, что он приближается, и стал ждать что будет? Но вот движение портативного луча остановилось, и на пороге показалась маленькая темная фигурка[2*]: очевидно, дитя или карлик.

— А куда бы вам хотелось отсюда выбраться? — проговорила эта фигурка голосом не детским, но меланхолическим, мягким и немножко тянущим за душу и гнусливым.

— Я хочу выйти на улицу к моим саням[3*].

— А зачем же вы сюда приходили?

Я ответил, что мне нужен был художник Суйгусаров.

— Был нужен! — повторила маленькая фигура[4*],— а теперь что же: разнадобился он вам, что ли?

— Нет[5*], не разнадобился, да не знаю, где его найти.

— А[6*] вот идите за мною, так найдете.

С этим[7*] маленький человечек повернулся[8*] и пошел назад, вглубь дома, а я поспешил за ним, чтобы не отстать и не попасть в какое-нибудь новое затруднение.

Переступив все ступени уже знакомого мне крыльца, я очутился в совершенно пустом широком коридоре, который, как я и ожидал, непосредственно начинался за дверью и вел к спиральной лестнице, находившейся у противоположной стены дома. Мы шли быстро, не останавливаясь: мой маленький вожак впереди, а я вслед за ним. Мне некогда было ни осматриваться, ни соображать характера помещения, которым я шел, но при всем этом недосуге, однако же, не мог не заметить, во-первых, чрезвычайно неприятного какого-то спертого, так сказать, могильного проницающего холода, а, во-вторых, мне бросилось в глаза невероятно большое количество дверей, от-

---

[1*] Ищи (*франц.*).

[2*] Далее зачеркнуто: "в таком непостижимом наряде, что я его даже не мог определить"

[3*] Зачеркнута первоначальная фраза: "Я разумеется ответил, что хотел бы выйти на улицу, где меня ждут сани и лошадь за забором этого средневекового художественного дома"

[4*] Далее зачеркнуто: "Что же это может значить: пока вы шли до половины двора, он вот *был нужен,* а когда к порогу подошли, то нужда в нем минула?"

[5*] Далее зачеркнуто: "не то, начал было я, но он меня перебил и проговорил:"

[6*] Далее зачеркнуто: "то бывает, бывает, и это бывает: я видал и таких, но, добавил он вдруг, переменив голос на более сухой и резкий: если вам есть дело до Меркула Праотцева, то старый маляр весь к вашим услугам: он имеет честь просить вас за ним следовать"

[7*] Далее зачеркнуто: "оригинал этот"

[8*] Далее зачеркнуто: "и пригласил меня за собою следовать"

крытых в этот коридор из внутренних темных комнат, куда с трепетом врывался дрожащий свет фонаря, а оттуда взамен полз и обхватывал меня этот же, но только, кажется, еще более спертый холод.

Маленькая фигурка, в которой я начинал подразумевать самого реставратора, стала подниматься дробными частыми шажками по спиральной лестнице, у которой вместо перил был укреплен в тяжелых медных кольцах обмотанный красным сукном канат.

На половине лестницы находилась стеклянная дверь, у которой мой проводник на минуту остановился и, оборотив ко мне свой фонарь, сказал:

— Проходите!.. здесь блок: того гляди сзади наддаст[1*]

И он, придерживая рукою дверь, дал мне дорогу, которою я и воспользовался[2*].

За дверью перегородки, разделявшей пополам лестницу[3*], начиналась другая температура и другая обстановка: здесь на меня пахнуло теплом и, хотя не особенно приятным, но во всяком случае живым запахом красок и очищенного терпентина, играющего, как известно, весьма важную роль при промывке заохрившихся картин. Стены остальной верхней части лестницы были окрашены превосходно положенною густою пунсовою краскою с золоченым багетом по карнизу, а на небольшой площадке, которою оканчивались ступени, стоял широкий турецкий диван, покрытый дорогим персидским ковром. Такой же точный ковер лежал на полу, вплоть до устроенного в противуположной стене камина, над которым висели живописно наброшенные рыцарские доспехи, а с потолка спускалась на трех цепях старинная темная лампочка с одним рожком, в котором широким красноватым пламенем горела какая-то спиртовая смесь. Далее через открытые портьеры двери видна была неосвещенная комната. Судя по чуть заметным окнам, это была большая комната, но мой провожатый не[4*] заблагорассудил меня в нее вести, а поставив свой фонарь на зеркало камина, он показал мне молча рукой на диван, и сам полулег на него, прислонясь головою к задней подушке[5*], проговорил:

— Ну-с; старый маляр Суйгусаров теперь перед вами и желает знать, чем вы прикажете ему вам служить?

Произнеся эти слова, он глядел на меня маленькими бойкими и одушевленными серыми глазами.

Я рассказал цель моего приезда, а тем временем сам старался внимательно вглядываться в маэстро.

— Хорошо,— отвечал он, выслушав мое объяснение,— хорошо: мы посмотрим, посмотрим, что такое вы хотите вызвать к жизни. Хорошо: пришлите: я погляжу и тогда скажу вам, могу я взяться или нет.

— Вещи здесь,— отвечал я.

— Где здесь?

— Там, на санях: я не хотел вас понапрасну затруднять и нарочно взял вещи с собою.

[1*] Далее зачеркнуто: "— Ничего-с, отвечал я в некотором замешательстве, не зная<?> что говорить с моим провожатым.

— Нет, как ничего,— отвечал он, улыбаясь очень невинною и доброй улыбкой,— нет, проходите!".

[2*] Далее зачеркнуто: "начиная уже ощущать приятное предощущение внезапностей, которых ожидал на каждом шагу в этом оригинальном жилище"

[3*] Далее зачеркнуто: "было гораздо менее таинственного: во-первых, тотчас за этою дверью температура жилища реставратора резко изменялась"

[4*] Далее зачеркнуто: "позаботился ее осветить и вовсе не ввел"

[5*] Далее зачеркнуто: "и оперев обращенную ко мне голову на ладонь"

— А; это прекрасно.

— Только, я думаю, что их надо оставить у вас и заехать за ответом, когда вы прикажете?

— Хорошо; пожалуй... а впрочем, зачем заезжать: я и сейчас вам отвечу, возьмусь или нет.

С этим он поднял руки и остановил их в воздухе, потому что я перебил его замечанием: не будет ли неудобно, что он увидит вещи при огневом освещении?

Суйгусаров посмотрел на меня и сблизил свои руки, потер концом безымянного пальца одной руки по ладони другой и прошептал:

— На что свет! Я под пальцем слышу.

— В таком случае,— начал было я, но он меня быстро перебил и сказал:

— В таком случае мы сейчас за ними пошлем, за вашими вещами. Вы ведь несколько раз здесь назвали их вещами. Кажется, так?

— Да[1*].

— Да, да: так это *вещи*! ну, посмотрим на эти вещи! — перебил художник и хлопнул три раза в ладони, к чему-то прислушался и проговорил.— Дросида! поди туда за двор и принеси из саней этого господина то, что он называет вещами.

Едва заметный шум послышался где-то за несколько комнат и стих; вслед затем внизу крепко хлопнула какая-то дверь; пламя в рожке, освещавшем комнату, вздрогнуло, и занавесы окон и дверей слегка зашевелились.

— Моя старая колдунья злится,— произнес художник,— она не любит выходить за дверь после сумерек. Я ее избаловал, но пусть...

Он тихо рассмеялся и добавил:

— Пусть она принесет *вещи*!

Суйгусаров опять умышленно налег на последнее слово и даже не скрыл при этом насмешливой гримасы, так что я имел бы полное основание спросить его, что ему кажется смешного или неудобного в этом названии, и я непременно предложил бы ему этот вопрос, если бы он в ту же минуту не закрыл глаз, не вытянул вдоль колен руки, не выразил всем своим существом[2*] самый ожесточенный протест против всяких разговоров.

Я это понял и, не нарушая покоя моего хозяина, начал молча созерцать его оригинальную фигуру, чего никак не мог обстоятельно сделать до этого времени.

Игнатий Иванович Суйгусаров, как выше сказано, был почти карлик, со всеми особенностями одним лишь карликам свойственного выражения лица и строения тела: грудь его была высока и как будто образовывала небольшой горб; бока очень круглы и толстоваты; ноги с небольшим искривлением, а маленькие и очень чистые руки немножко длинны и желтоваты. Та же самая желтизна покрывала и его небольшое немного сморщенное личико, производившее, впрочем, на меня впечатление весьма приятное, но постоянно изменяющее свое выражение. То оно дышало детской наивностью, то вдруг становилось недоверчиво, осторожно и насмешливо, хотя и в насмешливости хранило много чисто детского добродушия. Кроме этих переливов различных ощущений, которым подвергся художник, отражая их на своем лице, несомненно было, что черты его подвижного лица могут глубоко и свободно отражать множество и других чувств и страстей. “Страсти”, произнеся в своем уме это слово, я с особенным вниманием взглянул в лицо неподвижно

[1*] Далее зачеркнуто: “Да; *вещами,* но не своими: это мне присланы...”

[2*] Далее зачеркнуто: “очевидное нежелание ничего говорить”

лежавшего передо мною художника и даже вздрогнул: на этом лице[1*] лежали не обыкновенные старческие морщины, а глубокие, строгие борозды, которые шли, как следы могучего художественного резца, и, ломаясь под прямыми и острыми углами, точно обозначали следы великих переломов, совершенных всепокоряющею волею его бессмертной души над страстями титанической силы и гордыни. Это лицо как бы все отведало и перечувствовало и теперь беззвучно говорило словами Книги Царств: "вкушая вкусих мало меду, и се умираю"[5].

Да; я более ни на минуту не сомневался, что предо мною был умирающий, но какой умирающий! умирающий[2*] пигмей с надеждою на бессмертие в отдаленнейшем потомстве. Не только в его лице, но и во всей его обстановке и одежде было нечто комическое и трогательное: нечто претендующее на какую-то трагикомическую важность. Рассматривая его теперь на свободе, я видел, что он был в теплых сапожках из желтого шелкового штофа, опушенных поверху низенького голенища темным мехом, в поношенных и заправленных в сапоги темных бархатных панталонах с густою мягкою шелковою бахромою по лампасу и в узеньком драповом черном колете. Поверх колета, сшитого старым, средневековым фасоном, на нем была надета короткая совсем женская мантилия из яркой красной материи, подбитая серым беличьим мехом и завязанная у шеи широкою обшитою позументом коричневой лентой; а на коротко остриженной голове широкая круглая бархатная шляпа кардинальского фасона.

Во всем этом наряде художник действительно немало смахивал не то на маленького царика детского театра, не то на нарядную обезьянку, с которою у него находили сходство пославшие меня к нему его товарищи.

Но вот, пока я его рассматривал, внизу снова хлопнула дверь, и через несколько минут в смежной комнате что-то тяжелое стукнуло об пол.

— А! вот и ваши вещи![3*] — произнес[4*] Суйгусаров, и он быстро открыл глаза, торопливо вышел в ту комнату, где послышался стук и пыхтение.

Я снова провел один-одинешенька около получаса, которые никак не смел бы назвать приятнейшими в моей жизни, и вот опять пыхтенье, опять шлепанье и тяжелый сап, и передо мною предстали в своем нерушимом союзе безобразная серая старуха и черный пудель.

Старуха молча взяла оставленный художником фонарь, прохрипела что-то сиплым невнятным голосом и, кивнув мне пальцем, поманила за собою.

Я был так рад выбраться из моего странного положения, что пошел за нею с величайшим удовольствием, а за мною следом, точно конвоируя меня, пошла собака[5*].

Мы прошли три или четыре комнаты, очень недурно убранные и безукоризненно чистые, и потом пролезли какою-то узенькою нишею на чрезвычайно узенькую лестницу. Здесь я было на мгновение остановился, но пес ту же секунду толкнул меня мордой в икру ноги и зарычал: я нервно отодви-

---

[1*] Далее зачеркнуто: "малорослого реставратора ломались"

[2*] Далее зачеркнуто: "царь в рубище: фрейлигратов царь, бьющий в барабан после того, как у него отняли царство[6].

И в самом деле: и в жилище Праотцева и особенно в его одежде, которая обратила на себя мое внимание в первые же минуты, когда он вышел ко мне навстречу с своим фонарем, было нечто чрезвычайное"

[3*] Далее зачеркнуто: "молоток и клещи"

[4*] Далее зачеркнуто: "Меркул Праотцев и, соскочив с дивана, взял свой фонарь и почти бегом выбежал"

[5*] Далее зачеркнуто: "а чуть я на секунду приостанавливался, чтобы рассмотреть, где я иду, она твердо и бесцеремонно тыкала меня в икру своею мордою"

нулся и пошел вперед за старухой. Через минуту мы очутились в очень обширной[1*], но невысокой комнате, с окнами, закрытыми тяжелыми красными занавесками из грубой шерстяной материи[2*]. На самой середине этого зала была обширная низкая кирпичная небеленая печь, от которой вдоль всех стен шли железные коленчатые трубы. В[3*] высоком устье печи, сделанном наподобие простого фламандского камина, с сильным треском пылали сухие смолистые дрова, и их волнующееся пламя освещало низкий покой тем густомалиновым светом, который я заметил со двора в верхних окнах дома. Теперь мне было понятно, что я нахожусь на мансарде, но, Боже мой, что же это за странный покой, что здесь за убранство и какое может быть его назначение? Судя по расставленным на печи чугункам и колбам, можно бы счесть, что здесь лаборатория, но тогда зачем же тут этажерки с книгами, и гипсом, и саксонским фарфором, медная клетка с попугаем, и мягкая мебель, а в углу очень хорошая старинная кровать, перед которой разостлан широкий ковер? Но что всего более было некстати в лаборатории — это мольберт и два человеческие манекена, из коих один был драпирован восточной полосатой материей, и третий большой конский манекен в натуральную величину, покрытый выделанною белой коневьей кожей.

Этот последний предмет стоял между горящим камином и стеной, в которой была впадина, образуемая фальшивым окном. Самого художника я сначала не рассмотрел, но потом был поражен, увидев его лежащим на спине коня в известной позе Мазепы[7]: ноги его свешивались с манекена по обе стороны крупа, а голова и плечи покоились на крутом сгибе конской шеи. Притом крохотный художник был освещен с двух сторон и двумя различными тонами: справа, снизу трепещущим красным пламенем камина и слева сверху холодным зеленоватым светом маленькой матовой лампочки, помещавшейся у него за плечом во впадине стены. Эта поза и это освещение делали[4*] такой же комический эффект[5*], как и многое другое, что здесь встречалось, но готовая сложиться у меня улыбка замерла тотчас же, как я взглянул на лицо Суйгусарова, рассматривавшего одну, самую ветхую и темную из привезенных мною ему картин. Казалось, что он увидел что-то для себя в одно и то же время и радостное, и давнożданное, и роковое: сдвинув брови и напрягая зрение, он устремлял зрение на одну точку в уголок картины и, торопливо обмакнув палец в блюдце с бесцветной жидкостью, провел им осторожно полосу по картине и[6*] весь погрузился в созерцанье, меж тем как сам представлял собою интереснейшее зрелище для созерцания. Он что-то соображал, а то в чем-то убеждался и тогда шептал и улыбался, то начинал сомневаться и тогда начинал хмуриться. Его точно сводили и отпускали судороги, а в то же самое время, как все эти перемены отражались на его погруженном в мертвенный цвет зеленоватого стекла лампы лице художника, дрожали и его ноги, освещенные волнующимся пунсовым пламенем камина: их точно вело перед огнем, как мокрую кожу. А при всем этом по комнате усиливался треск накалявшихся железных труб, точно по ним тянуло что-то разрушительное.

Так продолжалось с добрую минуту, после чего художник с суровою важ-

---

[1*] Далее зачеркнуто: "восьмиугольной комнате, довольно низкой"

[2*] Далее зачеркнуто: "и с большим кирпичным очагом по самой середине"

[3*] Далее зачеркнуто: "очаге или камине (он был похож на то и на другое) ярко пылали стоймя поставленные толстые сосновые дрова"

[4*] Далее зачеркнуто: "большой эффект"

[5*] Далее зачеркнуто: "почти фантастический, и хотя ото всего этого веяло тою же немножко комическою претендательностью <?>, но улыбка замерла тотчас же, как"

[6*] Далее зачеркнуто: "вздрогнув, воскликнул: — Сто дьяволов!.. Красный дракон![8] — и с этими словами умолк, но, по-видимому, весь"

ностью поманил меня к себе знаком и, обмокнув палец в стоявшее возле него блюдце с бесцветною жидкостью, снова потер одно место картины и[1*] прошептал:

— Так и есть!

— Что это? — вопросил я, но Суйгусаров не отвечал, а только молча указал мне на просветлевшее пятно темного фона, где выступали на свету серо-коричневые трещины, по которым расползалось что-то вроде раздавленной красной ягоды.

Я выразил знаком, что ничего в этом не понимаю, и только что хотел просить объяснения, как художник вдруг соскочил на пол; схватил заинтересовавшую его картину под мышку левой руки и правою забрал с полу все остальные мои картинки и бросил их в горящий камин.

Да-с; ни более, ни менее, как бросил их в огонь!

Я был так поражен этой неожиданностью, что не двинулся с места: я точно оцепенел: одну минуту мне даже показалось, что будто бы даже так и следовало, что с этого как будто должно начаться их реставрирование, но вслед за тем мне бросилось в голову, что я имею дело с человеком совсем сумасшедшим. Не теряя ни одной минуты, я кинулся на художника, оттолкнул его от камина и хотел спасти из огня хоть клоки моих жарко вспыхнувших картин; но увы: это было уже бесполезно! Усилия тщедушного художника заградить мне доступ к камину не могли меня удержать, но старое сухое полотно картин уже было объято пламенем, а к тому же при первом моем движении к Суйгусарову его азартный черный пес с громким лаем схватил меня за грудь, меж тем, как остававшаяся здесь старая мегера выхватила из печи горящую головню и махала ею у меня перед глазами[2*].

Вы, конечно, поверите, что в таком положении очень немудрено растеряться, и я действительно потерял всякую нить соображений и не помню, как меня оставили пес и старая мегера. Придя в себя, я видел только одного реставратора[3*], который остро смотрел куда-то вдаль[4*], к чему-то прислушивался, шептал и махал в воздухе своей кардинальскою шапкою. Но вот глаза его озарились лихорадочным блеском, и он, бросив вверх свою шапку, закричал громко:

— Скорее, скорее сюда, эта divina! Все кончено; все совершилось: Красный дракон прилетел! — Гей! где же вы, Лука Кранах? — обратился он в пустой угол.— Прекрасно, Лука, прекрасно, я одобряю вашу исправность и поручаю вам проводить эту незнакомку[5*] под вуалем в мою студию... Тссс! Ни слова! — продолжал он, сверкнув глазами, и погрозил пальцем в тот же пустой угол: Ни слова, Лука Зундер[9], или Лука Кранах, ни слова! всякий должен исполнять свое назначение, а ваше сладостнейшее назначение держать повода ее иноходца и счастливое стремя ее седла.

— Чудесно,— думал я,— чудесно! Этот человек, к которому меня прислали за делом, негоден ни к какому делу. Он в тысячу раз мудренее самого сумасшедшего гофманова советника Креспеля: тот строил себе дом без окон и разговаривал с старыми скрипками[10], а этот видит в пустом воздухе дам

[1*] Далее зачеркнуто: "на слегка просветленном пятне темного фона показались серокоричневые трещины и по ним расползалось что-то красноватое"

[2*] Далее зачеркнуто: "можно было с ума сойти в таком положении"

[3*] Далее зачеркнуто: "стоящим на его коне и машущим своею кардинальскою шапкою с криком:

— Красный дракон"

[4*] Далее зачеркнуто: "[энергически махая своею] держал свою кардинальскую шапку в руке и махал ею кому-то и кричал:

— Приходите же ко мне. Иди, иди скорее"

[5*] Далее зачеркнуто: "с закрытым лицом"

под вуалем и разговаривает с умершим с лишком триста лет назад саксонским живописцем Кранахом! Все это, положим, в своем роде весьма оригинально, но, черт меня побери, если я рад, что попал к такому оригиналу и нахожусь теперь в положении, из которого не знаю, как выйти?

К счастию, мой Креспель действительно оказался чудесным, не менее воспомянутого мною сумасшедшего советника из гофмановских рассказов: он как будто сию же минуту проник мои мысли и, проворно соскочив с своего коня, схватил в одну руку фонарь, а другою взял меня за руку и потянул к выходу. Он слегка весь дрожал, к чему-то беспокойно прислушивался и торопливо шептал:

— Спешите, спешите, Лука Кранах ведет уже, ведет... Бегите! встреча с красным драконом смертельна!

С этим он подвел меня к двери и, когда на меня на дворе пахнул свежий воздух, я было попытался попросить у него каких-нибудь объяснений его непостижимому поведению, но он только крепко сжал мою руку и прошептал:

— После, милостивый государь, после: теперь час красного дракона, и я не смею разговаривать с смертным.

С этим он толкнул меня в калитку и без разговоров запер ее за мною тяжелой задвижкой.

Вот, мои достопочтенные слушатели, что со мною так неожиданно приключилось около двух лет тому назад в прекрасном городе Петербурге, где легковерные мистики сугубо отрицают всякую чертовщину и самое бытие черта, но где, однако же, все-таки еще попадаются натуры, с которыми дьяволу приходится довольно серьезно считаться, потому что они его видят и понимают. Правда, что этих избранников год от году все меньше, но зато представляемый мною вам старый маляр Суйгусаров был в этом роде одним из интереснейших для нашего времени субъектов. Он штудировал сатану с упорством и обстоятельностью, которые делают честь большому характеру этого маленького человека, и стоил тому не легких хлопот, о которых я собрал очень интересные сведения по поводу рассказанного мною вам неприятного приключения.

Вторично приглашаю всех не прерывать меня и терпеливо и внимательно слушать[1*]. Предупреждаю вас, что история моя с сей поры становится столь необыкновенна, таинственна, сложна и непоследовательна в своем развитии, что при малейшем к ней невнимании вы рискуете не только не узнать кто та *она*, которую манил и ждал Суйгусаров, но даже можете не заметить дьявольской интриги, проникающей самыми тончайшими нитями события, имевшие роковое влияние на моего художника и на многих других лиц, в свое время весьма замечательных.

Н.Лесков

(продолжение следует)

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется по автографу: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 3.

Текст написан на белой бумаге в клетку, тетрадного формата, листы сшиты в тетрадку. Содержит много исправлений, сделанных рукой Лескова. Наиболее существенные из отвергнутых вариантов приведены в подстрочных примечаниях. Первоначально Лесков вел нумерацию глав, затем просто разделил главы продольной чертой, отказавшись от нумерации. Авторское деление на главы (части) сохранено в публикации.

[1*] Далее зачеркнуто: “Описанная мною проделка Суйгусарова, разумеется, была такого свойства, что я не мог ее оставить втуне, но тем не менее, будучи благодаря Бога свободным от охватившего моих соотчичей приятного влечения передавать судебному разбору всех дел совести и чести, я, конечно, не пошел же ни в полицию, ни к мировому судье”

Рукопись не датирована, но есть приписка А.Н.Лескова: «“Повесть о безголовой Наяде. (Невской Диане). (Академическая фигура)” 24 страницы. Бумага начала 70-х годов. (71—74)». Сын писателя относил замысел произведения к рубежу 1860—1870-х годов: «В конце шестидесятых или начале семидесятых годов Лесковым начата “Повесть о безголовой Наяде. (Из воспоминаний сумасшедшего художника)” В пяти первых ее главах (всего написано около листа) для завязки фантастического рассказа повествовалось о каком-то маньяке-художнике, жившем в конце Васильевского острова около Смоленского кладбища, мистически исповедовавшем культ “Красного дракона” Луки Кранаха (в примечании А.Н.Лесковым указано: “Знак, ставившийся этим художником на своих произведениях вместо подписи во второй половине его жизни” См. об этом подробнее выше, примечания А.А.Шелаевой к роману “Чертовы куклы” — *Ред.*). <...> Но начало никогда не было напечатано, а продолжение не последовало» (*Жизнь Лескова.* Т. 2. С. 217). Косвенным подтверждением того, что повесть задумана в 1870-х годах, является первоначальный вариант имени художника-реставратора — Меркул Праотцев. Этим именем Лесков наделил героя своего очерка “Дневник Меркула Праотцева” (Русский мир. 1874. № 63) и повести “Детские годы. Из воспоминаний Меркула Праотцева” (Нива. 1875; первоначальное название — “Блуждающие огоньки”). Под псевдонимом “Меркул Праотцев” Лесков в 1870 г. предполагал печатать повесть “Смех и горе” (см.: III, 615). Однако вопрос о датировке рукописи остается открытым.

В творчестве писателя второй половины 1860-х — первой половины 1870-х годов устойчивым был интерес к изобразительному искусству: роман “Островитяне” (1866), упомянутые выше “Дневник Меркула Праотцева” (1874) и “Детские годы” (1875) (см. об этом подробнее во второй книге наст. тома предисловие В.А.Громова к публикации статей Лескова “Образцы русского искусства” и “Современные выставки в С.-Петербургской Академии художеств”).

[1] Возможно, имеется в виду один из итальянских художников: *Кристофоро Монари* (ум. в 1720 г.) или *Джиасимо Монари* (1684—1769).

[2] Речь идет об итальянском художнике *Бенвенуто Гарофало* (Tisio) (1481—1559). В разные периоды творчества он испытал влияние Доссо-Досси, Тициана, Джорджоне, Джулио Романо. “Неоднократная перемена наставников и близкое соприкосновение с другими художниками внесли в творчество Тизи многие заимствования из различных школ, вследствие чего произведения, исполненные им в разную пору, иногда до такой степени отличаются друг от друга, что могут быть приписываемы разным мастерам” (См.: Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. Т. XXXIII. С. 168).

[3] См.: *Гете И.В.* Фауст. Пролог на небе. Первая часть // Гете И.В. Собр. соч.: В 13-ти т. М., 1947. Т. V. С. 89, 103.

[4] Речь идет об известных иллюстрациях немецкого художника Вильгельма фон *Каульбаха* (1805—1874) к “Фаусту” Гете. См.: *Kaulbach, Wilhelm von.* Les femmes de Goethe. Dessing de W. de Kaulbach avec un texte par Paul de Saint-Victor. Paris, Hachette, 1870.

[5] *1 Царств,* 14:43.

[6] Речь идет о герое стихотворения “Негритянский король” немецкого поэта Фердинанда *Фрейлиграта* (1810—1876).

[7] Возможно, имеется в виду следующий фрагмент из поэмы Байрона “Мазепа” (1818): “И, накрепко к его спине / Веревкой привязав меня, / Пустили вдруг они коня” (*Байрон Д.Г.* Мазепа // Сочинение лорда Байрона в переводах русских поэтов / Под ред. Н.В.Гербеля. СПб., 1864. Т. 1. С. 107. Перевод Д.Л.Михаловского). Известна картина на этот сюжет О.Верне “Мазепа” (1826).

[8] См. выше примеч. А.А.Шелаевой к роману “Чертовы куклы”

[9] Существовало мнение, что настоящая фамилия Лукаса Кранаха Старшего — Зундер (См.: Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. Т. XVI^{a}. С. 499).

[10] Речь идет о герое рассказа Э.Т.А.Гофмана, входящего в “Серапионовы братья” (1819—1821). См.: Серапионовы братья. Собрание повестей и сказок. Сочинения Э.Т.А.Гофмана. Часть 1—6. Пер. с нем. И.Безсомыкина. М., 1836. Ч. 1. Вечер первый. С. 58—129. Герой “Рассказа о советнике Креспеле” поражал окружающих странною одеждою, непредсказуемым и необъяснимым поведением, необычным голосом, подвижной мимикой лица. Одно из самых странных “предприятий” в его жизни — строительство дома. По его приказу каменщики возводили стены без окон и дверей до того момента, пока Креспель «не вскричал однажды: “довольно!”» (С. 61); лишь после этого пробивали двери и окна. Снаружи дом представлял “вид самый диковинный” (С. 63), “внутреннее же расположение имело какую-то совершенно особенную приятность” (С. 63). Креспель реставрировал скрипки и утверждал: скрипка, “эта мертвая вещь, которой я только даю жизнь и голос, нередко, сама по себе, чудесным образом говорит со мною” (С. 77). Тайной овеяны взаимоотношения Креспеля с Антонией. Загадка раскрывается после ее смерти: Антония оказывается дочерью Креспеля. “Мрачная, ужасная бездна безумия” (С. 89) поглотила советника на какое-то время после смерти Антонии. “Сплин ужасный” — так охарактеризовано психическое состояние Креспеля одним из героев.

ФРАГМЕНТЫ НЕЗАВЕРШЕННОГО РОМАНА О “ЧЕЛОВЕКЕ БЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ”

1. СОКОЛИЙ ПЕРЕЛЕТ[1*]

Приключения в моем семействе[2*]

Из записок человека без направления

I

Выдержав продолжительную, почти трехчасовую борьбу, один против шестерых, я должен был сдаться или, вернее сказать, просто замолчать: у меня просто не хватило сил и голоса, чтобы переспорить и перекричать всех этих добрых ребят, которых я всегда знал только за лихих товарищей — мастеров пошуметь, поиграть, пожалуй, иногда не совсем честно, потому что иные из них садились без денег; но все-таки они были люди очень простосердечные и не только отлично сражались, но, наверное, умели бы так же достойно умереть, как умерли все те из нас, их же имена сам ты, Господи, веси.

Такими я их знал вплоть до той самой минуты, когда у меня под левою лопаткою “стало горячо” и в глазах так сразу помутилось, что я, наверное, ковырнулся бы в лужу крови и был растоптан между трупами быстрым натиском наступавшей на нас французской кавалерии, если бы этот атлет, мичман Дроздов, не подхватил меня на руки и не унес меня за линию.

С кем он меня тащил? Говорят, будто это был матросик с нашего же затопленного корабля; но никто не помнит его фамилии; а он сам не идет справиться и поздравить меня с неожиданным выздоровлением. Очень жаль, я хотел бы дать ему хоть пару целковых за спасение моей жизни, для меня она положительно этого стоит; но добрый человек, вероятно, считает меня умершим; а может быть, и сам помер. Вполне возможно и то, и другое: в последние дни, которые я провел без всякого сознания между жизнью и смертию на этой госпитальной койке, смертность, говорят, была ужасающая. Бесприютность и бескормица добивали тех, кого не добрали пули англичан, французов, сардинцев и турок[1].

С этого и начался нынешний ожесточенный бой, в котором мне совсем бы не следовало принимать никакого участия, а я между тем ввязался и натрудил себе больные легкие.

Если это узнает мой доктор, он, наверно, меня за это не похвалит: да и в самом деле глупо, я всего три дня тому назад только пришел в какое-то полусознание и мне отнюдь не следует много говорить, а тем более горя-

---

[1*] Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Комментарии Н.Н.Старыгиной.

[2*] Зачеркнутый вариант подзаголовка: “История моих родителей”

читься и спорить; но мне почему-то так страстно, так нетерпеливо хочется принять участие в жизни, которая мне подарена в такую странную, животрепещущую минуту...

Рука еще слабо водит перо по бумаге моей старой, забрызганной грязью и кровью тетради, и мысли как-то путаются, не хотят ждать одна другую и что-то сумбурят; но я, однако, добыл у фельдшера чернильницу и хочу записать все то, что сохраняет моя память с тех пор, как у меня под плечом сначала что-то зашевелилось, потом стало горячо и потом... беспамятство.

Из этого эпизода я помню только, что мне казалось, будто у меня рукав сюртука в гривенке по шву распоролся; а между тем, это была опасная и даже, пожалуй, из опасных опаснейшая — смертельная рана, от которой я непременно должен бы умереть, если бы меня не спасло "глупое направление", как объявил это на мой счет мой недозрелый доктор.

Это было первое, что я услышал. Если бы я был в силах сам себя наблюдать, то я, вероятно, еще с утра этого дня должен был предвидеть, что для меня скоро должен будет наступить момент сознания.

Я думаю, что этому много способствовал жестокий сквозняк, который впустили в наш барак: во-первых, из-за этого все раненые, бывшие в лучшем, чем я, состоянии, подняли такую перебранку с фельдшерами, что слух мой ожил, услыхав свои родные присловья; а во-вторых, в меня попала черствая булка, которою артиллерийский капитан Рыдалов пустил вдогонку за убегавшим доктором; а в-третьих, этот сквозняк сделал свое доброе дело: он продул наше зловонное помещение и, очистив воздух, привел меня в чувство.

Капитан Рыдалов ругался очень энергично, но мне кажется, немножко напрасно: пустить свежего воздуха нам не мешало. Впрочем, у него, бедного, недавно отняли правую руку, и он раздражителен от лихорадки.

— Черт бы вас всех взял,— орал он во всю мочь на целый барак,— там не доколотили, так вы, анафемы, тут в госпитале доморить хотите, чтобы чистотою похвастаться. Погоди, погоди: вот пусть только придут, я скажу, что вы за бестии, воры, крысы госпитальные, подлые.

И едва крыса, к которой все это относилось, что-то вымолвила, как негодующий артиллерист попал в меня своею булкою. Понятно, что выстрел был сделан не по мне; но ведь бедный капитан еще не привык палить левою рукою. Что же делать?

Он, однако, извинился, и как тепло и просто:

— Простите, говорит, товарищ, я вас, кажется, зашиб? Не отвечаете, вы умерли, что ли? Ну и прекрасно сделали, а я во всяком случае не вас хотел достать, а этого подлого лекаришку.

И он опять заругался; а я тут и понял, что я не умер, и стал соображать — где я?

Я уже сказал, что чувствовал около себя воздух и прохладу, мне это было приятно, и я хотел открыть глаза и посмотреть, но веки мои были тяжелы и не открывались. Я только чувствовал вокруг себя какую-то необыкновенную суету: люди бегали, что-то выносили; слышно было, что по полу кто-то размахивал метлою, и в нос лез запах поднявшегося в воздух мелкого песку.

Капитан Рыдалов кричал:

— Не пыли, подлец, не пыли: горло саднит. Чтобы вас черти по рукам себе разобрали с вашим показыванием. Умереть, анафемы, не дадут спокойно.

— Христов воин, а как ругается,— проговорил чей-то голос.

— Христов, да не твой, ты себе смотри, ишь ты, тоже Христа вспоминает. Стоишь ли ты этого? Христа-то вон за спину спрятал, а сам чертов палец сосешь.

“СОКОЛИЙ ПЕРЕЛЕТ”
“Приключения в моем семействе”
“Из записок человека без направления”

Автограф. Первая страница <1875—1877>

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

Меня очень заинтересовало, кто это такой, кого так резко обличает Рыдалов, и я снова стал приподнимать свои веки. На этот раз усилия мои были успешны, и я, хотя не мог совсем открыть глаз, но, однако, немножко их приотворил и увидал из-под ресниц, что я лежу на одной из поставленных в два ряда коек длинного барака подвижного госпиталя; рядом со мною лежал какой-то, как мне показалось, очень красивый молодой человек нерусского

обличья и читал книгу. Голова у него была обвита холщевою повязкою с стальною пряжкою; он не обращал ни на что никакого внимания и спокойно думал над своею книжкою. За ним возле следующей койки, склонясь на изголовье больного, сидел на деревянном табуретике ксендз и вел тихонько беседу. По другую сторону шел ряд коек, на которых лежали раненые, почти все навзничь; и человек через пять, облокотясь на локоть здоровой руки, возвышался своею лохматою головою Рыдалов. Он теперь переругивался с одним из стоявших в проходе монахов; они оба курили папироски, и тот, к которому относилась брань Рыдалова, ухмылялся. Это был большой рыжебородый мужчина, в котором я сейчас же узнал иеромонаха одного из кораблей нашей эскадры: он был откуда-то с юга и назывался Флавиан[2]. С ним была история: он ездил на другой, близстоявший на рейде корабль играть в карты и за сильным туманом пристал с катером к английскому кораблю, где его приняли, дали ему выспаться и опохмелиться и прислали утром обратно. Его за это хотели отдать под суд, но ограничились тем, что сделали кое-какие распоряжения насчет поездок в вечернее время, да и те были уже неуместны, потому что нам вскоре же пришлось потопить свои суда и самим обратиться из моряков в пехотинцев. Флавиан на суше вел такую же жизнь, как и на море: я мог это заметить по тому, что он был красен и говорил о благочестии, что с ним случалось только тотчас после сильных возлияний. Тогда он делался несколько ригористичен и за неумеренность в выражениях сидел не раз в трюме. Теперь с ним было то же самое, только вместо трюма он подпал другой беде: пока он переругивался с Рыдаловым, к нему подбежал госпитальный солдатик и сказал:

— Скорей, ваше преподобие, совсем умирает.

— Да сейчас приду,— отвечал, не трогаясь с места, Флавиан и хотел еще пососать свою папиросу, как вдруг Рыдалов зарычал, заворочался на постеле, и в воздух одна за другою полетели туфли.

Одна из них попала по низенькой черной поярковой шляпе, которую Флавиан носил "по военному положению" вместо клобука, и заставила иеромонаха немедленно идти, куда его приглашали. Он пошел к выходу и снова вернулся, взял что-то позабытое им на табурете возле одной койки и вышел.

— Христа-то было и позабыл! — воскликнул Рыдалов, получая назад от солдата свои метательные снаряды, и продолжал браниться, ставя отсутствующему монаху в укор ксендза, который все сидел на том же месте, так же низко склонясь над головою больного или умирающего, и говорил с ним шепотом.

В это время в двери противуположного конца барака ввалила целая толпа врачей, впереди которых шел высокий плотный мужчина, в военно-медицинском мундире, с черною головою и совершенно белыми усами. У него было очень простодушное, доброе и довольно умное лицо: это был известный Белобоев — медицинский администратор, который возил в аптечной фуре варшавскую кавярку[1*], которая путешествовала с ним до тех пор, пока однажды в бурю палатку, под которою они блаженствовали, сорвало, и кавярку так измочил дождь, что она не захотела более оставаться при своей боевой должности и отъехала "до мамы"

Я все это припоминал и вслушивался: я не совсем понимал, кого именно ждут в наш освеженный барак, но понимал, что дело идет о каком-то важном посещении.

Белобоев был в орденах, в ленте и в белых рейтузах.

[1*] Kawiarka (*польск.*) — хозяйка кафе или официантка в кафе.

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется по автографу: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 27—32 об. Текст написан на белой бумаге большого формата и почти не содержит исправлений. Рукопись не датирована, возможно, замысел романа "Соколий перелет" с подзаголовком "Из записок человека без направления" оформился во второй половине 1870-х годов (см. подробнее вступительную статью).

Публикуемый фрагмент, по всей видимости, представляет собой начало задуманного романа. Его неожиданный и "открытый" зачин может быть объяснен формой дневниковых записей героя. Лесков часто обращался к такой форме повествования, а также к приему "найденной рукописи" (например, "Заметки неизвестного", 1884 г.), что мотивировало фрагментарность композиции.

[1] Время действия — Крымская война (1853—1856), к которой Лесков проявлял постоянный интерес. См.: "Герои Отечественной войны по гр. Л.Н.Толстому" (1869; X, 149), "Некрещеный поп" (1877; VI, 160), "Морской капитан с сухой Недны. Рассказ entre chien et loup (Из беседы в кают-компании)" (1877; впоследствии — "Бесстыдник" — VI, 146—159); "Загон" (1893; IX, 369—370).

[2] Флавиан — имя героя из незаконченного романа Лескова "Незаметный след"

2. СОКОЛИЙ ПЕРЕЛЕТ[1*]

Из записок человека без направления

I

Сейчас произошла самая жаркая семейная баталия, и я в ней не считаю себя побежденным, хотя на мою долю выпало бежать с поля сражения, которым была наша голубая гостиная, и спрятаться в свой кабинет, где я опять могу весело улыбнуться вслед всей этой прошумевшей буре в стакане воды и поздравить себя с победою, потому что дело все-таки пойдет не по-ихнему, а по-моему. Да и как быть иначе; я не мог и не должен был им уступить по такому множеству причин, что даже затруднялся бы их перечислить, а впрочем, интересно бы знать: для кого бы я стал их исчислять? Уже, конечно, не для себя, потому что я знаю, что я стою за правду и в правде, и тоже и не для них, для всех этих милых, добрых женщин, которые, споря со мною, впадали в такой азарт, до которого они способны дойти при отличающем их благородстве чувств и тонкости воспитания, тогда как всем им страсть как хотелось, чтобы я побил их на голову и согрубил им как можно сильнее. Особенно тетушка Марья Александровна и мисс Сарра[1] были превосходны: первая все добивалась, чтобы я сделал какое-нибудь нетерпеливое движение, чтобы обидеться и уступить мне, будто бы поневоле, и чуть я закашлялся, она сейчас хватила:

— А если уже доходит до того, что ты кашляешь и краснеешь, то я не хочу тебе возражать: пусть будет по-твоему.

Сарра, вероятно, нашла это чрезвычайно удобным выходом и, замотав своими локонами, сжала ладони и пошлепала вслед за тетушкой, шепча:

— Нет; если так, что вы, Арсений, уже кашляете, то я, разумеется, лучше не стану спорить, и пусть будет по-вашему: пусть он приезжает и все...

А что такое это *все*? Разумеется, *все*, то есть пусть он приезжает и живет так, чтобы ему было хорошо и чтобы ни о чем ему не напоминать ради какой-то морали.

Жена была гораздо кротче: она, кажется, только для тетушки и мисс Сарры было заговорила:

— Как же, однако, Арсений, суди сам, что он сделал из своей и из ее жизни! — но стоило мне на нее взглянуть и при этом так некстати закашляться, как моя бедная подружка бедной юности моей[2] бросилась со всех

[1*] Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Комментарии Н.Н.Старыгиной.

ног за стаканом сахарной воды, которую от полноты чувств и близорукости вылила на пяльцы Иоили.

Это милое дитя совсем не принимала никакого участия в общем хоре, а напротив даже, я заметил, что она во время самых жестоких нападков два раза подняла от пялец свою прекрасную черную головку единственно с тем, чтобы выразить мне своими большими серыми глазами одобряющее сочувствие.

Если только недостаток этого, так называемого "направления", действительно есть большой порок в человеке, то я боюсь, что бедная Иоиль когда-нибудь, подобно мне, будет сильно страдать этим пороком, чего я, впрочем, ей и желаю, так

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется по автографу: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 45 об. Рукопись не датирована. Вероятно, создавалась во второй половине 1870-х годов.

1 Имя героини позволяет предположить, что Лесков намеревался создать образ методистки-англичанки, в основе которого лежали семейные предания. Намечен подобный образ и в публикуемом далее незавершенном романе "Незаметный след" (см. ниже).

2 Неточная цитата из стихотворения А.С.Пушкина "Зимний вечер" (1825).

3. СОКОЛИЙ ПЕРЕЛЕТ[1*]

Повесть лет временных

Роман

Часть первая[2*]

Книга вторая

БОЙЦЫ И ВЫЖИДАТЕЛИ[1]

I

Утро, когда майор Колыбельников и его дочь отправились в город из своего острога[2], было доброе и веселое; город пестрелся издали разноцветными кровлями и садами. Из глубоких удолий и "взвозов" с историческими названиями выглядывали крестики, обозначавшие притаившиеся там храмы. Надо всем этим царили ярко горевшие золоченые куполы трех высоких колоколен, из коих одна возведена "святыми".

Майор и его дочь любили город, который в самом деле был прекрасен[3*], особенно после тюремной обстановки. Скуку и уныние, которые наводила эта жизнь, можно приучиться переносить, но полюбить ее, конечно, невозможно. Колыбельников это знал и в душе страдал за свою "острожницу", как он называл в шутку Сусанну; а потому, когда он мог провезти ее в город, он всегда это делал и притом с большим для себя удовольствием.

1* Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Комментарии Н.Н.Старыгиной.

2* Зачеркнуто название первой части: "Каторжный гений"

3* Далее зачеркнуто: "это город истории и красот, которые делали его восхитительным для взгляда, и способен был восторгать живую и чуткую душу. У Сусанны душа была, конечно, и живая, и чуткая, но притом же все, что ее окружало, было слишком печально и уныло для того, чтобы не томить душу ее"

"СОКОЛИЙ ПЕРЕЛЕТ"
"Повесть лет временных"
Часть первая. "Бойцы и выжидатели"

Автограф. Первая страница <1881—1883 гг.>

Зачеркнуто название части первой "Каторжный гений"

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

Сусанне эти прогулки приносили большое удовольствие. Как нежно она ни любила отца, как ни близки были ее доброму и участливому сердцу несчастные жильцы, с которыми ей было суждено провести свое детство,— острог все-таки всегда оставался острогом. Он не мог веселить сердце, которое уже начинало чувствовать потребности живых ощущений в кругу более

расширенном, чем толпа понурых и смутных арестантов каторжного разряда. Сусанна любила их, как любил ее отец — человек непреклонной честности и христианского смирения: она помнила, что так же, если еще не более, полна была к этим людям сострадания ее мать, которой на второй год их жизни в тюрьме арестанты своими же руками выкопали "по усердию" глубокую могилу. Определенного желания покинуть это печальное место Сусанне не приходило, она знала, что рано или поздно это непременно должно случиться, и когда такая мысль ее посещала, девушка, таясь от отца, тихо плакала. Она начинала соображать, что такая перемена не может случиться иначе, как при горестях разлуки — живой или мертвой — с человеком, который дал ей жизнь и не имел дороже для себя ничего в своей жизни. Если и отцу ее арестанты тоже "по усердию" выроют могилу рядом с его покойной женою, тогда Сусанна останется одна-одинешенька в целом мире... Тогда она сейчас же выйдет из острога и пойдет, но куда? Когда это приходило ей в голову, она не могла додумать: куда она пойдет, похоронив отца. Старика с отличной стороны знал губернатор и некоторые другие лица, но много ли все это значит? — его схоронят, а ее позабудут. Друзей у них не было, кроме одного Безбедовича, который жил на свое скромное учительское жалованье. Других знакомств майор избегал по невозможности их поддерживать. Сусанне приходила в этих случаях мысль об уповании на Бога, но душа ее, трезво воспитанная отцом и другом в настоящем благочестии, не злоупотребляла именем Божиим и не требовала для себя в знак особого благоволения чудес и знамений с неба. Царство Господне, долженствующее быть на земле, как на небе, жило для нее в[1*] сердцах человеческих. Она часто слыхала, как отец ее молился вслух короткой молитвой: "По суду любящих имя Твое спаси мя, но пусть не моя, а Твоя исполняется воля" Так и она молилась и так думала. В их маленьком круге чтили Бога по-своему, и покорность Ему ставили выше привлечения Его к обязанности устроить наше счастие по нашим желаниям.

Пословицу "Бог дает и в окошко подает" здесь знали, но считали ее кощунством и употребляли только для того, чтобы не дать себе опочить, искушая Бога.

Если бы Сусанна знала, что сведения, переданные ей Безбедовичем, не составляют никакого цельного курса и что ее знания острожной жизни тоже не дадут ей никаких средств к жизни[2*].

Правда, у нее был превосходный, твердый, не женский, а "патриарший" почерк[3*], и она хорошо знала грамматически французский и немецкий языки[4*], но мало ли на свете женщин, которые всем этим владеют. Талантов она в себе никаких не подозревала, кроме одной ничего не обещавшей способности не чувствовать головокружения ни на каких высотах. С ранних лет, предоставленная сама себе, она не раз пугала отца, появляясь во время бывших в тюрьме перестроек то на остром коньке <?> стропил, то на самом конце врубливаемой балки, откуда ей доставляло огромное удовольствие

[1*] Далее зачеркнуто: "ее собственном сердце и в сердцах отца и друга... У нее друг этот был Безбедович. Если бы умер отец, этот человек, конечно, возьмет Сусанну за руку и куда-то ее отведет, и скажет, что ей делать? Она его послушается.

— Что же смеет, что она может, что она умеет делать?

— Кажется, ничего. Все, чему учил ее "Мадам Львович", она делала прекрасно"

[2*] Так в автографе. Видимо, правка фразы не доведена до конца.

[3*] Далее зачеркнуто: "по которому знаток дела мог составить понятие о твердости ее характера".

[4*] Далее зачеркнуто: "и свободно читала на английском"

смотреть вдаль и вниз и потом, моргнув старому арестанту Козырю, сделать отчаянный прыжок, от которого все в ужасе закрывали глаза, а после радостно смеялись, видя "барышню" на руках сермяжного Голиафа. Ловкость и простая, чрезвычайная мягкая грация, данные Сусанне от природы, были изумительны. Горец, которого мы видели распорядителем ее школы высшей езды на острожном козле, со страстью опытным глазом заметил особенность "барышни" и дал ей "школу"[3], но разве это опять из тех вещей, которые что-нибудь значат в жизни[1*]?

Сусанна в четырнадцать лет понимала, что положение ее очень серьезно, и, как дитя, боящееся потемок, она старалась сюда не заглядывать, но она смутно чувствовала, что и в этих потемках[2*] ее побережет какой-то друг; этот друг был Безбедович, которого мы уже не раз вспоминали в нашем рассказе и о котором теперь настоящее время и место сказать поподробнее.

Что же за отношения были между этою только подрастающею девушкою, с одной стороны, еще ребячливою, с другой — глубокою и многосодержательною в своих чувствах?

Была ли это вполне оформленная дружба, или зародыш будущей сильной страсти, к какой, без сомнения, должна быть способною Сусанна?

Она сама этого нимало не анализировала, но старик-отец смотрел на дело иначе. Будучи чужд всяких корыстных расчетов и ненавидя сватовство как противное вмешательство в чужие дела, он, однако, ласкал себя надеждою, что в случае его смерти Сусанна будет иметь в Безбедовиче законную опору[4]. Что в чувствах учителя имела участие самая глубокая и нежная любовь к девочке — это майор считал за несомненное, но что принесет ему с возрастом за эту любовь Сусанна — этого майор разгадать не мог. Теперь она всегда нетерпеливо ждала Безбедовича и любила быть с ним неразлучною, но все это она делала с такою же детскою простотою, с какою звала вполне достойного уважения человека кличкою "Мадам Львович"

Майор из жизненного опыта знал, что ученицы часто привязываются к своим учителям, но очень редко их любят, но он помнил также один случай, когда они с дочерью вычитали такую мысль в книге, то Сусанна задумалась и сказала:

— Отчего же... мне кажется, это неправда.

Имея задатки настоящей женственной гордости, она, конечно, могла полюбить мужчину, который бы высоко стал в ее сознании, а таким, по понятиям майора, без сомнения, был Безбедович, и старик имел полную уверенность, что не иначе думает о том его дочь.

И он думал об этом самом теперь, когда они подъезжали к городу, и наперекор всем соображениям это занимало его более, чем мысль о предстоящем деловом разговоре с Фромоном[5].

Майора нимало не занимало, что будет с ним: он знал, что поступал, как разумел за лучшее, и этого с него было довольно, но Сусанна и Безбедович — они так друг другу близки и такая пара по летам: ей четырнадцать, тому двадцать пять. Пять, шесть годков как-нибудь протянутся, а тогда придут настоящие совет и любовь, и, увидав это, майор умрет чрезвычайно счастливый.

[1*] Далее зачеркнута недописанная фраза: "для жизни трудной, тяжелой жизни, которая у нас не только..."

[2*] Далее зачеркнуто: "где-то ждет ее тот же друг ее отца и друг ее детства, прекрасный человек и большой в своем роде чудак, которого она прозвала "Мадам Львович"

Отрада этой мечты выразилась на его лице, и он, тронув потихоньку дочь за руку, сказал:

— Так-то, Зуня!

— Как, папа? — спросила она, выходя из раздумья.

— Все будет хорошо, дружок.

— Дай Бог, папа.

— Ты зови Адама Львовича сегодня к нам, мы его и довезем. Он вот тут "петушком" присядет на облучке. Зови, завтра табель[6], и веселый день проведем.

— Прежде надо его увидать, папа.

— Уж, конечно, увидать надо прежде, чем заговорить, только я уверен, что он теперь еще дома.

— А вот же и не будь уверен,— произнесла в ответ Сусанна и вслед за тем, указывая вперед пальчиком, сказала.— Гляди, это он!

— Где?

— Вон впереди нас идет по тротуару с какою-то дамой.

— Да, да; в самом деле он — ишь какой мешок, а какая же это дама?

— Не знаю.

— Скромно одета — вся в черном.

— Что ты, папа! Это все кружева[1*].

— Надо ему сказать, что ты его будешь ждать?

— Нет, Бога ради, не делай этого.

В это самое время они поравнялись с Безбедовичем и его дамою, которая была далеко не под стать своему кавалеру. Адам Львович был мешковатый человек, обличавший уж в его молодые годы наклонность к тучности, которая придавала его фигуре какое-то бабственное сложение. Лицо он имел такое же полное, с тугою растительностию и широко расставленными коричневыми глазами, которые смотрели очень умно.

Это было лучшее украшение его лица, вообще некрасивого, но очень симпатичного. Кроме того, в нем был виден семинарист, немножко неуклюжий, но притом, однако, умеющий держать себя с достоинством.

Заметив Колыбельниковых, он снял с головы шляпу и, приветливо улыбаясь, помахал ею в воздухе, а майор в ответ на это приветствие указал ему рукою на дочь и крикнул: "В саду!"

Сусанна не сделала по этому поводу никакого замечания, потому что она, не показывая вида, старалась рассмотреть спутницу своего учителя, и при этом на лице ее пробежала тень.

Отец это заметил и тихонько взял и потряс дочь за подбородок. Ему было и смешно и радостно, что Зуня ревнует.

— Я узнал эту даму,— сказал он.— Я ее видел всего один раз по особому случаю и сейчас ее вспомнил. Неудивительно, что на ней в самом деле может быть дорогое платье.

— Кто же она?

— Это старшая княжна Потресова. Знаешь, губернский предводитель... он ее дядя, а они живут по ту сторону города, верст двадцать. У них удивительные сады, и она, говорят, преученая, но у них большое горе.

— Какое?

Майор понизил голос и тихо молвил:

— У них есть брат[2*], да горе с ним случилось.

— Какое горе? — спросила небрежно Сусанна.

[1*] Далее зачеркнуто: "В это время их тележка поравнялась"

[2*] Далее зачеркнуто: "и он попался и арестован, осужден"

— Тоже вот эта... политика,— попался и засудили.

— За что же, что он сделал?

— Ну, в подробности я этого не знаю.

— Сколько их, однако,— протянула девушка и замолчала[1*].

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется по автографу: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 33—36 об. Рукопись не датирована. Предположительное время создания фрагмента — 1881—1883 гг. (см.: *Богаевская К.П.* Н.С.Лесков. Из творческих рукописей // *ЛН*. Т. 87. С. 36). При жизни Лескова опубликовано начало романа в "Газете А.Гатцука" (1883. № 7—10). Отвергнутый вариант названия первой части романа — "Каторжный гений" — связан с дочерью главного героя Сусанной, названной в опубликованных главах "каторжным гением" (Там же. № 9. С. 178).

В письме И.С.Аксакову от 26 октября 1881 г. Лесков изложил сюжет будущего романа: «Был некто полковник Саврасов из севастопольцев, определенный смотрителем виленской "центральной тюрьмы", где всё содержатся одни каторжные, и он своею честностью, простотою и добротою доводил их до того умиления, что они всего более боялись "огорчить старика" На него пришел государю Александру Николаевичу донос о послаблениях. Послали генерала-немца "дознать" — тот приехал, посмотрел и *расплакался*. Саврасов попросил его выбрать из каторжных "самого злого" на вид, и, когда такой был выбран, он велел снять с него кандалы, дал простое платье и 3 руб. денег и послал вечером в город (за четыре версты) купить гвоздей. Каторжник пошел, купил и принес при генерале сдачу. Заболевавших тоскою он посылал "на огороды", а не в острожную больницу, и они "молились и отгуливались" Чахотки и сумасшествий у него так и не было. Немец все по правде доложил государю,— тот тоже расплакался и велел вызвать Саврасова и долго его целовал, обнявши и плачущи. Саврасов и теперь жив <...>» (XI, 252—253).

Изложенный в письме Аксакову сюжет частично воплощен в первой книге романа "Соколий перелет" — "Героиня и ее двор" (1883).

Публикуемый фрагмент является непосредственным продолжением напечатанного в "Газете А.Гатцука" текста романа "Соколий перелет. Часть первая. Книга первая. Героиня и ее двор" (1883. № 7—10).

[1] Название второй книги романа "Бойцы и выжидатели" соотносится с обычными для Лескова определениями, с одной стороны, радикального, с другой — либерального направлений общественной жизни: "нетерпеливцы и выжидатели" ("Несмертельный Голован", 1880; VI, 389), "нетерпеливцы" и "постепеновцы" ("Товарищеские воспоминания о П.И.Якушкине", 1884; XI, 74). "Выжидателем" в романе оказывается Адам Безбедович, а к стану "бойцов" Лесков предполагал, вероятно, отнести арестованного за политическую пропаганду Егора Николаевича Потресова, упоминаемого в этом фрагменте и в следующем ("— Вы не склонны...").

[2] Эпизодом выезда майора Колыбельникова и его дочери в город заканчивается опубликованная первая книга романа "Соколий перелет" (Газета А.Гатцука. 1883. № 10. Глава X).

[3] Сцена "отчаянного прыжка" Сусанны описана в первой книге романа.

[4] Повествуя об отношениях Безбедовича и Сусанны, Лесков, возможно, опирался на семейные воспоминания: мать писателя была ученицей С.Д.Лескова (см. об этом: XI, 8). Эту тему писатель развивал и в незаконченном романе "Незаметный след" (см. далее).

[5] Обстоятельная характеристика Фромона дана в первой части романа "Соколий перелет. Героиня и ее двор" Столичный чиновник приезжает с проверкой состояния дел в тюрьме, смотрителем которой был майор Колыбельников. Порядки, заведенные Колыбельниковым в тюрьме, казались странными и были непривычными. Например, провинившихся арестантов он не сажал в карцер, а отправлял работать на огороде. Но умный чиновник из "новых" уважительно и с пониманием отнесся к деятельности чудаковатого смотрителя тюрьмы и даже принял участие в "эксперименте", о котором Лесков рассказывал в письме к Аксакову от 26 октября 1881 г., раскрывая замысел романа (см. преамбулу к примечаниям). В образе Фромона запечатлен интересовавший писателя тип "человека без направления" и вместе с тем сделана попытка создать образ положительного героя-деятеля.

[6] Т.е. табельный день, праздник.

[1*] После этой фразы в рукописи стоит римская цифра "II", обозначающая вторую главу.

4. <СОКОЛИЙ ПЕРЕЛЕТ>

<"— Вы не склонны...">[1*]

— Вы не склонны много полагаться на их помощь?

— Я не знаю даже: как можно на нее полагаться.

— Отчего?

— Оттого, что духовенство страдает теми же самыми пороками, как и весь народ, да еще, может быть, в большей мере. Я понял бы также расположение на один класс, если бы это был в самом деле какой-то тщательно сделанный отбор людей особенно чистых в жизни и действительно духовных по своим стремлениям, но как этого нет и духовный по сану вовсе не то самое, что водящийся духом[1], а не страстями, то я такой надежды не понимаю вовсе, или откровеннее вам сказать — я считаю ее новою и притом еще большею ошибкою.

— Но народ пока еще питает доверие к духовенству.

— Не знаю, не видал этого и не верю.

— Будто вам никогда не случалось встречать любимое и уважаемое лицо в духовном сане?

— Как же, конечно, случалось — я сам сын священника, который принял сан по убеждениям и потом снял его с себя тоже по убеждениям, и люди любили его и уважали как в рясе, так и без рясы. К нему даже сюда приходили поговорить о Боге и благословиться его рукою, когда он доживал здесь свой век под надзором полиции и плел из соломы подставки и корзинки. Это все человеком[2*].

— Ваш батюшка был уният?

— Да, он был униатский священник в Белоруссии, из неподписавшихся на православие просто потому, что видел в этом насилие совести. Впрочем, он очень любил митрополита Семашко, и они переписывались. Мой старик даже поддерживал его в упадке духа[2].

— А умер ваш отец православным?

Безбедович посмотрел молча и произнес:

— Он умер, как жил,— *христианином*. Катехизис Филарета в нем не укладывался[3].

— Я сам не православный, но думаю, что православие не заключается в одном Филарете.

— Конечно, и мой отец это знал, и он читывал Катехизис Платона[4], но все это он читал так же, как и катехизис лютеранский, католический.

— С одинаким равнодушием?

— Нет; с одинаким сожалением: он боялся, что все эти люди или очень дерзки или недальнозорки и слишком много на себя брали, объясняя Бога. Впрочем... позвольте напомнить, что отец мой умер и погребен по христианскому обряду.

— Вы правы,— отвечал Фромон,— я извиняюсь за неуместное любопытство. Памяти вашего отца ничто не касается, и слова, которыми мы обменялись, прошу вас считать случайными. Я имею надобность лично к вам, вы знаете Егора Николаевича Потресова?

[1*] Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Комментарии Н.Н.Старыгиной.

[2*] Так в тексте.

— Очень близко,— он мой университетский товарищ, хотя шел двумя курсами ниже.

— И вам известна его судьба?

— Я слышал, что он осужден к долговременному аресту.

— А что вы думаете о его вине?

— Я ее не знаю.

— Однако она началась здесь и именно у вас... в той самой школе, которою вы заведовали самым ближайшим образом.

Безбедович промолчал.

— Ведь вас об этом спрашивали?

— Да.

— И вы ничего не признали?

— Да, не признал.

— Вы не признали, что он приносил с собою сочинения Герцена и читал их, между тем, как вам это было известно и вы сами разорвали книжку и прекратили с ним сношения.

— На время.

— Вы этого не отрицаете?

— Я говорил об этом, когда было нужно по необходимости, но более распространяться не стану.

— Вы вправе сделать, как хотите, но это ни к чему не ведет, потому что Потресов изменил свой образ мыслей и сделал признания, которые принесут ему пользу.

— Очень за него радуюсь. Исправиться никогда не поздно.

— Итак, вы видите, что его и ваше поведение известно, и вы остаетесь правы только потому, что вас не преследуют, иначе по закону, вы должны были бы отвечать, а теперь все это сводится к тому, чтобы вы сами позаботились переместить себя отсюда в другой город.

— В какой?

— В какой вы хотите, иначе вас переведут.

— Пусть переводят, только я желал бы знать: за что это и по какому поводу?

— Это нужно по поводу вашего участия в деле Потресова; участие это, положим, не выразилось содействием в преступлении, но вы его скрыли, и кроме того, ваш образ мыслей внушает подозрения, при которых вам неудобно заниматься учительством.

— Ах, даже и так!

— Да.

— Если бы я мог, то я бы просил на этот счет каких-нибудь разъяснений, так как я не считаю мой образ мыслей вредным ни для добрых нравов, ни для государства.

— Во всяком случае он не консервативный.

— Это правда; но я и не вижу никакой нужды лгать на этот счет: быть консерватором во всяком случае так же нехорошо, как быть во всяком случае радикалом и либералом, и сам наш Государь, на стороне которого все мои симпатии, тоже не исключительный консерватор.

— Мы можем не касаться этого имени.

— Почему же, в монархической стране, как Россия, не иметь возможности говорить о главе государства, особенно с тем почтением, какое я чувствую к императору Александру Второму, и хочу или его мнениями, или его делами защитить мои собственные мнения и поступки.

— Это литературный прием, изобретенный московскою прессою.

— Нимало нет; это голос простого человека, которого обвиняют в дурном образе мыслей и который хочет оправдываться самым лучшим для подданного оправданием — примером своего Государя. Мой Государь,— я говорю *мой* потому, что я при нем пришел в возраст и ему приносил присягу,— не консервировал того, что, по его мнению и по мнению лучших людей страны, было недостойно сохранения: он отменил крепостное право, откупа, телесное наказание и безгласный суд. Я чту все это потому, что это добро зело и консервирую это при каждом случае, когда злоба и глупость это порицает и старается опорочивать. Я не знаю: как вы находите — либерал я в этом случае или консерватор? Я надеюсь еще большего от государя потому, что на том, что сделано, нельзя остановиться, и когда слышу обескураживающие слова, что больше ничего сделано не будет, и тут я опять прошу вас рассудить: либерал я или консерватор.

— А я вместо ответа сам вас спрошу: чего же вы еще ожидаете вдобавок к тому, что уже сделано? Страна еще так молода, что ее желудок не хорошо переваривает и то, что ей предложено.

— Совершенно справедливо, но это не от молодости, а от непривычки. Правительство не может перед этим становиться в тупик, и если оно хочет добра стране, то оно не остановится, а пойдет вперед, как Государь выразился — пойдет "с верою в здравый смысл нашего народа"[5], от природы умного и способного на все хорошее.

— Словом, вы желаете конституции.

— Конституции как изменения формы правления я нимало не желаю, потому что я не считаю этого ни важным, ни полезным, и вообще политическая свобода меня занимает не более, чем метафизика, от всяких дел с которою я давно отказался. Я знаю, что при самой широкой политической свободе люди могут быть очень несчастливы. Но тем не менее, по-моему, недостойно и неблагоразумно унижать идею такой свободы там, где люди исторически доросли до ее воплощения. Насмешки над этим, по-моему, цинизм невежества.

Фромон склонил в знак согласия голову.

— Но в приложении к нам, то есть к России, я говорю — это неважно и даже может быть неудобно, и потому я для себя считаю мысли о конституционализме пустыми и даже не стоящими внимания в сравнении с тем, что нам настоятельно необходимо и без чего нельзя быть.

— Что же это такое?

— Самые горячие заботы об улучшениях в экономическом устройстве и свободе слова.

— Вы, значит, не конституционист, а социалист.

— Да, если вам угодно: я плохо ем и еще хуже сплю, когда ко мне пристает мысль о холодных и голодных, но я не заговорщик: я не верю, чтобы участь бедных могла быть поправлена возмущениями против правительств, и никогда ни к чему такому не пристану.

— Чего же вы хотите для ваших бедных?

— Забот и милосердия, какие они уже находят для себя в лучших умах Европы.

— Где холодных и голодных гораздо больше, чем в России.

— Вы правы, но потому-то надобно не упустить времени, чтобы у нас не дошло до этого же.

— Что же для этого, по вашему мнению, должно сделать?

— Прежде всего, дать свободу слову — свободу самую широкую и ничем не стесняемую.

— И что она принесет?

— Вы услышите правду, которая покажет, что нужно делать для того, чтобы оживить уснувший дух народа и возбудить к кипучей деятельности его гений.

— Печать почти свободно говорит о чем хочет, и однако, говорит много пустяков.

— Да, но это именно потому, что она еще только "почти" свободна, но не совсем свободна и совсем не уверена в своей свободе. Оттого в ней развивается и усиливается самый вредный тон — тон недомолвок и намеков, которые читатели понимают часто неверно и даже вовсе не в том смысле, как говорит пишущий. Это очень дурно и очень вредно, но это неизбежно при свободе "почти" Позвольте говорить вполне свободно с соблюдением лишь чувств верноподданничества государю, и этот вредный тон волнующих намеков с первого же дня исчезнет и уступит свое место откровенному слову, которое, может статься, будет иногда и ошибочно, но зато ошибка сейчас же может быть уяснена и поправлена. Это всех станет интересовать и сотрет нашу раздражительность и скуку, которая ничего хорошего произвести не может. Императрица Екатерина говаривала, что она "боится скучающих людей", и мне кажется, что их нужно бояться.

— Народ не скучает.

— Да, он работает кое-как в полсилы, потому что не знает лучших приемов, а <в> антрактах страды пьет во всю мочь, потому что других радостей у него нет. Это, на мой взгляд, нимало не утешительно, и потом народ в последнее время сильно утрачивает веру. Это еще хуже.

— Веру колеблют злые внушители.

— Может быть, только им это не по силам, и я думаю, что они скоро в этом убедятся и, пожалуй, сами станут прикидываться верующими. Веру убивают те, кто должен бы ее насаждать и взращать, а не эти. Но вера — это предмет самый высший, это вопрос, который дает человеку все его направление и совершеннейшую отделку. Я об этом не решаюсь и говорить, потому что это поведет в очень пространные области. Скажу лишь одно, что для веры больше, чем для всего прочего, нужна полная свобода, а ее нет, и это не самое худшее — хуже то, что мы лжем себе и другим, будто она у нас есть. Ложь и родит ложь, которая не мирится с верою.

— В этих мерах есть цели политические.

— Они неверны и могут оказаться совсем не политическими; а главное — они несправедливы и вредны для самого православия, которое, опираясь на защиту властей земных, впало в новую духовную косность.

Фромон задумался и потом тихо произнес:

— Такое мнение имеют многие люди, которым нельзя отказать в уме и опытности, но, ведь, православие и раскол очень недалеки друг от друга и потому слитие между ними возможно.

— Нет; пока действуют нынешние меры, оно невозможно, да и простительно спросить: нужно ли это как для государства, так и для целей истинного богопознания? Недавно в газетах писали, как испытывали зрение сигнальщиков на железных дорогах, и оказалось, что на сто человек тридцать семь плохо отличали красный цвет от желтого, а семнадцать смешали красный с зеленым. Если такова разница в вещественном зрении людей, то какова же она должна быть в их созерцательных способностях. Эту разницу очень легко себе представить, а, представивши ее, надо взять большой грех на душу, чтобы не уважить этого, как явления, допущенного Провидением, перед непостижимою мудростию которого надо же смиряться; надо умолкнуть и благоговейно преклониться. Иначе отнестись к этому человек богобоязненный не может.

На лице Фромона блуждала улыбка, в которой не трудно было читать одобрение тому, что он слышал, и когда Безбедович окончил, тот, чертя в раздумье карандашом по белому листу, тихо молвил:

— А куда деть текст "убеди его войти"[6]?

— Да; вы, конечно, знаете, что наделали из этого текста, "предавая сатане во изнемождение плоти да исцелится дух"[7]. Горько и стыдно видеть, что сделано из учения Христова. Боятся живых речей о нем, как будто оно само лишено жизни и не в силах стоять за себя в каком угодно толковании[8].

— Вы думаете *во всяком* толковании?

— Решительно во всяком. Я знаю людей, для которых Это имя ничего не значило, а прочитавши "вредного Ренана"[9], они стали понимать величие Христа и страстно любить Его.

— Только как Учителя.

— Пусть так, но это, надеюсь, больше, чем ничего, и, Бог знает, не лучше ли было бы, если бы начинать с этого конца, доступного пониманию, чем с того, до которого сомневающийся ум никак доступиться не может и начинает пятиться.

— Это так,— сказал Фроман,— но это слишком смело и рискованно.

— Смело — да, но какой риск в том, что уже изведано и не принесло иных результатов, как прекрасных.

— Вы говорите о первых веках эры?

— Нет, там изначала много такого, что совсем не в духе милосердия: этот поступок с Ананием и Сапфирою — добрыми старичками, которые все отдали общине, а себе припрятали какой-то грошик на чаишку[10]... Нет, это не влечет к себе, какие бы хитрословы не были пущены для изъяснения. Я говорю о людях и о веках позднейших — именно об Аверроэсе и аверроизме, об этом чудном мавре, который чуть не насадил в двенадцатом веке настоящую благочестивую свободу мнений; мусульманин, христианин и еврей вдруг стали находить истинное удовольствие чтить друг в друге образ Божий и мирно умствовать, в чем лучше видеть Его волю. Все население Кордовы явилось преданным самому возвышающему[1*] настроению, и все это было кончено кострами католической инквизиции, которая приказывала принять все на веру[11]. Всем видимо, что из этого вышло. Вера требует живой свободы, а не застоя, иначе она мертвеет и перестает действовать. Это и случилось почти повсюду, а у нас преимущественно.

Фромон посмотрел на Безбедовича и произнес:

— Я с вами согласен — мы совсем одних мнений на

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется по автографу: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 39—44 об. Текст написан на темно-синей бумаге в продолговатую клетку, черными чернилами. На такой же бумаге написан фрагмент "Соколий перелет. Повесть лет временных" (см. выше), а также рассказ "Справедливый человек. Полунощное видение", над которым Лесков работал в 1883—1884 гг. (см. примеч. к публикуемому ниже наброску "Фантазии госпожи Гого"), что позволяет приблизительно датировать публикуемый текст началом 1880-х годов.

Фрагмент примыкает к роману "Соколий перелет. Повесть лет временных" и содержит диалог между известными по другим фрагментам романа героями — Адамом Безбедовичем и Фромоном.

[1*] Далее зачеркнуто: "занятию, благочестивому исследованию религиозных истин"

[1] "Если же вы духом водитесь, то вы не под законом" (*К Галатам*, 5:18).

[2] Иосиф *Семашко* (1798—1868) — митрополит Литовский и Виленский с 1852 г. С 1832 по 1835 г. — самостоятельный Литовский епископ, в 1840 г. получил сан архиепископа Литовского и Виленского. Был активным деятелем по воссоединению униатской и православной церквей. Можно предположить, что герой романа, говоря об "упадке духа" митрополита, имел в виду период с 1830 по 1832 гг., когда "униатское дело" было приостановлено: "Преосвященный Иосиф был в каком-то отчаянии" в "нравственно-болезненном состоянии" (*Толстой Д.А.* Иосиф, митрополит литовский и воссоединение униатов с православною церковью в 1839 г. СПб., 1869. С. 37). В словах Адама Безбедовича о том, что его отец был "из неподписавшихся на православие", также отражен известный факт из деятельности Семашко: во время посещения Литовской и Белорусской епархий он "принимал подписки о готовности" священников "присоединиться к православной церкви" (Там же. С. 56). См. также: Записки Иосифа, митрополита Литовского. СПб., 1883; *Бобровский П.О.* Русская греко-униатская церковь в царствование имп. Александра I. СПб., 1880; *Коялович М.О.* О записках митрополита Иосифа. СПб., 1884. О дружбе Безбедовича с митрополитом Семашко говорится также в незавершенном романе "Незаметный след" (см. далее).

[3] О "Православном катехизисе" (1823) митрополита московского Филарета (в миру — В.М.Дроздов; 1783—1867) Лесков писал А.С.Суворину 9 марта 1888 г.: "Кат<ехизис> Ф<иларе>та — это систематизированное мошенничество величайшими делами веры" (*Revue*. P. 454).

В образе отца Адама Безбедовича Лесков запечатлел черты мировоззрения своего отца, о котором писал в 1880-е годы: "Он, несомненно, был верующий и христианин, но если бы его взять поэкзаменовать по катехизису Филарета, то едва ли можно было его признать православным, и он, я думаю, этого бы не испугался и не стал бы оспаривать" (XI, 11).

[4] Имеется в виду, вероятно, книга митрополита московского (с 1775 г.) Платона (в миру — П.Г.Левшин; 1737—1812) "Православное учение, или Сокращенная христианская богословия" (1765).

[5] Цитируются слова из высочайшего манифеста об освобождении крестьян 19 февраля 1861 г.: "Полагаемся и на здравый смысл нашего народа. Когда мысль правительства об упразднении крепостного права распространилась между не приготовленными к ней крестьянами, возникали было частные недоразумения. Некоторые думали о свободе и забывали об обязанностях. Но общий здравый смысл не поколебался <...>" (Цит. по: *Татищев С.С.* Император Александр II. Его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. 1. С. 381). Эти слова манифеста играют важную роль и в рукописной редакции хроники "Соборяне" (см. выше вступительную статью О.Е.Майоровой и примечание 124 к тексту "Божедомов").

[6] "Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти, чтобы наполнился дом мой" (*Лука*, 14:23).

[7] "Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа" (*1 Кор.*, 5:5).

[8] Лесков писал А.С.Суворину 9 октября 1883 г.: "...христианство есть учение *жизненное*, а не отвлеченное, и испорчено оно тем, что его делали отвлеченностью" (XI, 287).

[9] Жозеф Эрнест *Ренан* (1823—1892), автор "Истории происхождения христианства", "Жизни Иисуса", часто упоминался в художественных и публицистических произведениях Лескова, хорошо знавшего его сочинения. Ренан отрицал божественное происхождение Христа.

[10] Анания и Сапфира, продав свое имение, утаили из полученных денег часть для себя. Обличенный апостолом Петром в грехе и во лжи Святому Духу (последователи христианства, владевшие землями, продавали их и вносили стоимость проданного апостолам), Анания пал бездыханным. Жена его, Сапфира, подтвердила ложь мужа и тоже пала бездыханною (*Деяния*, 5:1—10).

[11] *Ибн Рушд* (латинизир. Аверроэс) (1126—1198) — арабский философ и врач, представитель восточного аристотелизма. Аверроизм — направление в западноевропейской философии XIII—XV вв., развившее идеи Ибн Рушда о вечности и несотворенности мира, о едином мировом разуме как субстанциальной основе индивидуальных душ (отсюда — отрицание бессмертия душ), а также учение о двойственной истине. Интерес к аверроизму Лесков проявлял с юношеских лет. В начале 1850-х годов он входил в киевский религиозно-философский кружок молодежи, где обсуждали изданную в 1852 г. в Париже книгу Э.Ренана о средневековой арабской философии "Аверроэс и аверроизм" (См. *Жизнь Лескова*. Т. 2. С. 442—443). Об особенной атмосфере, царившей в Кордове во время деятельности Аверроэса, Лесков писал в книге "Еврей в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу": "Светлый, но мимолетный век аверроизма, когда христианин, мавр и еврей свободно сходились в Кордове и могли непринужденно рассуждать об эманациях, пролетел, как метеор, и скрылся. Он не оставил никаких других последствий, кроме воспоминаний о возможности заниматься высшими вопросами духа без враждебного всякой истине раздражения" (*Лесков Н.С.* Еврей в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу. СПб., 1884. С. 7).

I
5. НЕЗАМЕТНЫЙ СЛЕД [1*]
(Из истории одного семейства)

Дела их идут вслед их
Апок. XIV[1]

Часть первая

ДОМАШНИЙ КРОВ

I

Мои предки были русские выходцы, бежавшие в Литву в царствование Грозного. Здесь они немножко ополячились и в свое время приняли унию[2]. Отец мой, Лев Безбедович, был третий сын в семействе и приготовлялся к духовному званию. Это отвечало его склонностям и денежным средствам семейства, которые у деда были очень невелики.

Тот же недостаток средств побуждал отца в молодые годы жить в богатом графском доме, где он сам давал одни уроки и взамен их получал другие. Все это имело последствием то, что он усвоил прекрасное и очень разностороннее образование. Отец имел некрасивую, но выразительную наружность. Особенно хорошо у него было живое, энергическое лицо. Оно было покрыто сильными оспенными рябинами, но это не портило, а напротив, придавало ему еще более характерное выражение. Точно он был хорошо испробован и все выдержал. Кроме того у него была довольно редкая особенность, напоминавшая заживо похороненного императора Анастасия Дирахита[3]: у отца было замечательное разноглазие — левый глаз у него был темно-карий, а правый с голубоватым отливом. Это производило сначала очень странное, а потом приятное впечатление,— точно вы сразу видели двух человек: внешнего и внутреннего человека. При всяком возбуждении и волнении эта особенность выдавалась сильнее и заметнее, и оттого отца многие считали *косым*, хотя он на все смотрел совершенно прямо.

Отец, можно сказать, был человек ученый, особенно для его времени: он знал науки богословские и философские, древние и новые языки, немножко медицину и очень основательно музыку. Родным языком он считал для себя язык польский, но превосходно говорил по-русски, любил русский язык и не был любителем ни польской культуры, ни польских характеров. Он был вполне ознакомлен с польской литературой, но польское общество не нравилось отцу, а его сердечные симпатии лежали к местному сельскому простонародию, которое тогда совсем не имело еще никаких доброжелателей в образованных классах и для которого эти классы даже и в будущем ничего хорошего делать не намеревались.

Отец хотел жить с простыми людьми и за лучшее средство, чтобы служить им и оберегать их сколько возможно, считал сделаться униатским попом.

Желание его готово было исполниться, но не исполнилось потому, что участливое влечение его к судьбе сельских людей показалось неблагонадежным представителю дворянства, и отец был выслан в великороссийский губернский город О.[4], где и поселился.

[1*] Публикация и комментарии Н.Н.Старыгиной.



НЕЗАМѢТНЫЙ СЛѢДЪ

РОМАНЪ Н. С. ЛѢСКОВА

(ИЗЪ ИСТОРИИ ОДНОГО СЕМЕЙСТВА)

«Дѣла ихъ идутъ въ слѣдъ ихъ».
Апок. XIV.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДОМАШНІЙ КРОВЪ

I.



ОИ предки были руские выходцы, бѣжавшіе въ Литву въ царствованіе Грознаго. Здѣсь они немножко ополячились и въ свое время приняли унію. Отецъ мой Левъ Безбѣдовичъ былъ третій сынъ въ семействѣ и приготовлялся къ духовному званію. Это отвѣчало его склонностямъ и денежнымъ средствамъ семейства, которыя у дѣда были очень невелики.

Тотъ же недостатокъ средствъ побуждалъ отца въ молодые годы жить въ богатомъ графскомъ домѣ, гдѣ онъ самъ давалъ одни уроки и взамѣнъ ихъ получалъ другіе. Все это имѣло послѣдствіемъ то, что онъ усвоилъ прекрасное и очень разностороннее образованіе. Отецъ имѣлъ некрасивую, но выразительную наружность. Особенно хорошо у него было живое, энергическое лицо. Оно было покрыто сильными оспенными рябинами, но это его не портило, а напротивъ придавало ему еще болѣе характерное выраженіе. Точно онъ былъ хорошо испробованъ и все выдержалъ. Кромѣ того у него была довольно рѣдкая особенность, напоминавшая заживо похороненнаго императора Анастасія Дирахита: у отца было замѣчательное разноглазіе—лѣвый глазъ у него былъ темнокарій, а правый съ голубоватымъ отливомъ. Это производило сначала очень странное, а потомъ пріятное впечатлѣніе,—точно вы сразу видѣли двухъ человѣкъ: внѣшняго и внутренняго человѣка. При всякомъ возбужденіи и волненіи, эта особенность выдавалась сильнѣе и замѣтнѣе, и оттого отца многіе считали косымъ, хотя онъ на все смотрѣлъ совершенно прямо.

Отецъ, можно сказать, былъ человѣкъ ученый, особенно для его времени: онъ зналъ науки богословскія и философскія, древніе и новые языки, немножко медицину и очень основательно музыку. Роднымъ языкомъ онъ считалъ для себя языкъ польскій, но превосходно говорилъ по-русски, любилъ руский языкъ и не былъ любителемъ ни польской культуры, ни польскихъ характеровъ. Онъ былъ вполнѣ ознакомленъ съ польской литературой, но польское общество не нравилось отцу, а его сердечныя симпатіи лежали къ мѣстному сельскому простонародію, которое тогда совсѣмъ не имѣло еще никакихъ доброжелателей въ образованныхъ классахъ, и для котораго эти

“НЕЗАМЕТНЫЙ СЛЕД. Из истории одного семейства”

Журнальная публикация незавершенного романа
Впоследствии не переиздавался

“Новь” 1884. № 1

По исповеданию отец мой до самой смерти своей считался *униатом*, хотя, я думаю, он верил как-то иначе. Он был близко известен митрополиту Симашке[5] и был им любим и отличаем. По некоторым соображениям можно думать, что они были в отношениях довольно близких к дружбе: хотя, судя по оставшейся их переписке, это была дружба строгая, и отец мой не всегда и не во всем одобрял своего сановитого приятеля и часто указывал ему на его недостаточное знание русских характеров, с которыми отцу моему привелось близко ознакомиться.

Прибыв в город О., отец очень скоро поступил здесь на службу секретарем к предводителю дворянства Спиридону Ильичу Брасову, человеку бога-

тому и тароватому. Брасов владел поместьем, которое находилось в пятидесяти верстах от города, и сам жил тут почти безвыездно[6]. Город он посещал очень редко, а отец, в качестве его секретаря, вел все дела и таким образом имел возможность ознакомиться со всеми дворянами своего уезда и знал их дела и многие тайны.

Вследствие всего этого, у отца образовалось очень хорошее общественное положение, но вместе с тем в мыслях и чувствах его произошла перемена.

Высланный из Литвы за влечение к сельскому населению, которое претерпевало тесноту и скорбь от иноверных владельцев, он усмотрел, что и здесь, в коренном русском месте, дело это стоит нисколько не лучше. Это значительно охладило его раздражение против поляков и за то самого его сделало в глазах многих подозрительным, именно со стороны того же самого неприятного ему полонизма.

Происходило это, разумеется, от непонимания дела.

II

Предводитель Брасов был человек честолюбивый, но очень ограниченный, и потому честолюбие его часто переходило в пустую и весьма неприятную спесь. Женат он был на княжне Воротищевой, тоже женщине очень суетной и, кроме того, безрассудной. Жизнь их была исполнена различных семейных неладов, часто из-за ничтожных причин, хотя, впрочем, было у них немало и серьезного горя: Брасовы, что называется, были несчастливы детьми и таили от всех расстройство своих дел.

От природы умный и чрезвычайно наблюдательный, отец мой разгадал все тайны этого семейства очень быстро и сделался в доме Брасовых своим, почти необходимым человеком. Он, без всяких откровений со стороны хозяев, понял, что они богачи не настоящие, а мнимые, и сумел оказать им услуги.

Имея, как я говорил, очень большое образование, он не ограничился исполнением обязанностей секретаря, но вскоре заменил один в своем лице всех учителей, которые не держались в этом доме, да которым зачастую и затруднительно было платить. А между тем, из детей Брасова, одной младшей дочери, Дарье Спиридоновне, было еще только четырнадцать лет, и воспитание ее не было окончено. Она и сделалась ученицею моего отца, а впоследствии получила для него другое, гораздо более важное значение.

Старшие дети Спиридона Ильича Брасова были уже частию устроены, а частию даже успели вконец испортить свои карьеры. Так, старший его сын, а мой дядя, Спиридон Спиридонович, несколько послужил в гвардии, женился на дочери своего командира, генерала Послова, и очень скоро успел расстроить ее состояние самым беспутным образом. Потом он имел какую-то дурную историю в Петербурге, бежал за границу и служил в Париже гарсоном. О нем едва изредка доходили какие-то отдаленные слухи, которые не радовали, а только огорчали спесивого старика и все семейство.

В семье дядя Спиридон считался человеком погибшим, а жена его, "рожденная Послова", оставленная в расстроенном положении с двумя малолетними детьми, жила в единственном имении, которое ей уцелело ото всего, что было дано ей в приданое от отца. Это имение находилось неподалеку от нас и называлось село Послово[7].

Другой сын моего деда и, следовательно, тоже мой дядя — был Илья Спиридонович. Этот вышел в другом, но тоже не в похвальном роде. Он не уезжал далеко, а жил в своем губернском городе, но прожился не менее не-

достойно, чем и брат его, служивший гарсоном. Дядя Илья был тоже женат на девице именитой фамилии, но вел холостую жизнь. Он не пил никакого вина и не играл в карты, но был чрезвычайно женолюбив и устроил свой семейный быт так, что жена его с детьми не могли оставаться с ним в одном городе, а жили постоянно в Москве. Затем у дедушки была еще дочь Агриппина Спиридоновна, которая обрадовала родителей, сделав прекрасную партию, выйдя замуж за князя Воротищева. Это был человек богатый и делал в Петербурге хорошую служебную карьеру, но князь не уважал ни тестя, ни тещу и даже не дозволял жене с ними переписываться. Младшая же дочь, Дарья, которую мой отец застал на четырнадцатилетнем возрасте и которая была его ученицей, сделала ту неосторожность, что влюбилась в моего отца[8].

Любовь их, нежная и чрезвычайно целомудренная, продолжалась около трех лет и кончилась тем, что мать моя, долго боявшаяся огорчить отца и мать своим признанием в неравной склонности к бедному человеку, которого притом считали в доме поляком и выходцем, опасно заболела. Ее много лечили, но это не помогло, и тогда дело обнаружилось случаем.

У Брасовой была камер-юнгфера Марья Моревна[9], красивая, белая, очень рачительная и экономная. У нее были какие-то небольшие деньги, и она страстно влюбилась в моего отца и решила, что ему будет очень удобно на ней жениться, так как она происходила из чиновничьего рода и считала себя образованною. Ей казалось даже, что она умеет говорить по-французски и знает самое тонкое обращение, потому что жила в богатых домах и читала романы Редклиф и "Увеселение прекрасного пола"[10]. Страсть ее к отцу сделалась роковою, и она с свойственной ревнивой женщине тонкостию обнаружила сердечную тайну барышни пользовавшему ее врачу, а старый врач посоветовал родителям обратиться к духовнику, местному священнику, и просить его, чтобы он, под видом духовного увещания, добился от больной, нет ли у ней на душе или на сердце какой-нибудь тайны.

Священник исполнил это довольно успешно: матушка призналась ему в своей сердечной склонности к моему отцу, а священник передал эту тайну родителям.

Тогда отцу моему немедленно же было отказано от дома и от места. И он должен был выехать из предводительского дома и искать для себя других занятий, что, впрочем, для него не представлялось особенно трудным, так как он слыл за человека вполне честного и очень делового. Но это изгнание было ему тяжело потому, что удаляло его от любимой девушки и притом ставило его в затруднение — чем объяснить свой внезапный и крутой разрыв с предводительским домом. Настоящей причины он, разумеется, не хотел и не мог открыть, а уклонения и недомолвки только усиливали праздное любопытство, которое и не замедлило сочинить объяснение всей истории во вкусе своих представлений и мечтаний.

В городе положили за несомненное, что отец мой, "как поляк", сделал в доме или по службе свою "польскую гадость" и за то выгнан с таким позором, какого заслужил.

Точные люди рассказывали даже, в чем именно и состоял этот позор, и увеличивали значение истории до чрезмерности. Отец сделался героем очень глупой выдумки, и все говорили о его мнимой кротости, за которою будто скрывается самое предательское польское коварство. Для этого находили "указания перста" в его голубоватом глазе, в сильных рябинах его лица и даже в самой нашей фамилии, начертание которой, во имя справедливости, непременно хотели исправить, чтобы она не писалась *Безбедович*, а была *Бесбедович*.

— Так,— говорили,— это, вероятно, и было. Когда-нибудь дана была от народа народная кличка, а в Безбедовичей это они сами себя переименовали *для маски.*

Дразнить такою кличкою шляхтича и полячишку, каким без всякого резонного основания считали моего отца, было многим приятно и кстати выражало будто любовь к родине и патриотическое направление. Но, при всем этом, держась по преимуществу в сфере фраз и болтовни, это не угрожало моему отцу серьезными бедствиями,— лишь бы только прежде всего он мог управиться со своим сердцем. Любовь Дарьи Спиридоновны Брасовой к отцу моему была так серьезна, что через полтора года после изгнания отца из предводительского дома девушка стала клониться к гробу, и тогда, кто был виною умножения горя, тот же его поправил... К барышне явилась Марья Моревна и стала убеждать ее бежать из дому и выйти за моего отца. Та долго не хотела и слушать, а потом сказала, что не верит ее расположению.

Марья Моревна спросила:

— Пуркуа?[1*]

Девушка сконфузилась и не отвечала, но Марья Моревна тоже была понятлива.

— О! — сказала она,— если только за этим дело, так я вас прошу мне верить,— потому что я сама себя побеждающая и... анфен пар се ке жем кельке шоз де ля гранд![2*]

Кончилось это тем, что, благодаря вдохновительству Марьи Моревны, действительно произошло "кельке шоз де ля гранд" Нерешительная и робкая девушка точно как бы переродилась и решилась бежать из родительского дома. Тогда Марья Моревна отправилась под предлогом своих дел в город, нашла отца, предложила ему свои услуги, чтобы увезти "Дороте"

Отец, которому Моревна сама объяснялась в страстно и откровенно написанном письме, тоже не знал, как принимать ее слова, и мог в них видеть коварство; но ее открытое белое лицо и вся ее большая, бабелинистая фигура дышали такою искренностью, что он ей сказал только:

— Я не знаю: какая у вас цель?

— Цель? — отвечала Марья Моревна.— Я скажу тебе мою цель. Ты прости меня, что я говорю тебе "ты" Мне нынче так хочется... Я хочу, чтобы ты был счастлив... Понимаешь? Понимаешь? Я женщина, а не какая-нибудь жоли-мордочка... Жем кельке шоз де ля гранд. Я вас устрою.

Так она и сделала. Тихо, в вечернюю пору, она сама вывела барышню гулять по саду и дошла с нею до гумника, где мой отец стоял в ожидании ее с тройкою лошадей, запряженных в простую кибитку. Пересадила здесь дрожащую барышню через частокол, ограждавший сад, подняла руку и сказала:

— Дьо авек ву![3*]

Затем кибитка помчалась в отдаленное село другой епархии, где у отца был знакомый священник, который и перевенчал их по дружбе с приложением двухсот рублей государственными ассигнациями.

Марья же Моревна, выпроводив беглецов, немедленно возвратилась домой, собрала в узел свои деньги, золото и бриллианты и отправилась пешком до первой вольной деревни, где наняла лошадей и уехала в Послово к проживавшей там в добровольном заточении жене дяди Спиридона, или, как его иные звали, "дяди гарсона"

[1*] Почему (*франц.*)
[2*] Прежде всего потому, что я люблю нечто великое! (*франц.*)
[3*] Бог с вами! (*франц.*)

Хозяйка этого дома, тогда еще молодая и очень привлекательная, была, что называется, слабость во всех отношениях. Она ничего не понимала и всего боялась и, будучи брошена мужем, жила полуребенком под ферулой своей бывшей гувернантки, англичанки Бель. Родных мужа она не любила и считала их ответственными за ее несчастие. В тишине свой робкой души она им желала отмщения и потому приняла Марью Моревну и сделала ее экономкою, даже в противность желаниям англичанки, чинной методистки[11], с которою животрепещущая Марья Моревна составляла непримиримый контраст.

"Рожденная Послова" слушала рассказ Марьи Моревны о том, что она сделала, как что-то невероятное, и, внимая ей с жадностью, в то же время сторонилась от нее как от силы, коснувшись которой, сам сейчас же разрушишься.

— Ведь вы же сами... тоже его любили? — шептала она ей, когда оставалась вдвоем без англичанки.

— Да, да,— отвечала Марья Моревна.

— И тогда... как же... Я вас не понимаю... Это должно быть больно. Вы захотите его видеть.

— Больно... но так следует.

И Марья Моревна приложила к сердцу свою большую, белую, превосходной формы руку и проговорила из тогдашнего романса: "Любя, люблю, любить век буду, в какой бы ни был он стране, себя навеки позабуду и не напомню о себе"[12].

Послова смежила глаза и проговорила:

— Какая у вас удивительной формы рука!.. Наливайте, пожалуйста, вы мне кофе.

Побег и закрепление его браком удались тоже совершенно успешно, но на третий день после того, когда отец мой с женою приехали в свою маленькую городскую квартиру, этой молодой женщине, в отсутствие мужа, было подано письмо от ее матери, в котором та извещала дочь, что отец ее проклял и лишил всякого наследства, а также, не желая иметь никаких отношений с шляхтичем, ее мужем, запрещает ей всякую попытку приближаться к родительскому порогу.

Проклятая таким образом молодая женщина была моя мать.

III

Брак родителей моих последовал в 1830 году. Отец, несмотря на все неблагоприятности, вскоре после этого поступил на службу чиновником при губернаторе, который имел графский титул, но происходил из малороссийской фамилии и знал толк в людях[13]. Он понимал, что отец мой совсем не поляк и не враг России, а напротив, человек очень хорошо подготовленный для того, чтобы служить хорошим и серьезным государственным задачам. Место это было небольшое, вознаграждение приносило умеренное, но родители мои жили очень скромно, и матушка, хотя и скорбела о гневе и проклятии своего отца, но во все время сделала лишь одну попытку просить прощения на письме. Письмо это осталось без ответа.

В 1831 году семейство родителей моих увеличилось рождением первого сына, а моего брата, которого отец мой непременно захотел назвать "в честь деда" по отцовской линии, то есть брата назвали очень редко встречающимся в православных семействах именем Адам.

Мать моя, всегда благоговевшая ко всякой воле мужа, была несколько смущена этим именем, в котором ее ухо слышало "что-то польское" Отцу, может быть, следовало это уважить и дать своему первенцу другое имя, но

как мать и это свое неудовольствие не высказала, а только сохраняла его на сердце, то отец ничего о том не знал, и имя брату было наречено Адам.

Зато матушке, по случаю рождения брата, было дано неожиданное и прекрасное утешение, которое ее вдохновило и много и долго заставляло мечтать над изголовьецем своего маленького Адама.

Над его колыбелькою к матушке слетело самое поэтическое утешение, как бы принесенное ей с неба и составлявшее для нее радостную тайну. Для этого я должен припомнить, что в 1831 году Лермонтовым было написано его превосходное стихотворение "Ангел" До этого самою грациозною легендою о рождении была в дворянском кругу западная выдумка об аисте, приносящем новорожденных детей из болота. Теперь родной поэт упразднял эту сентиментальную детскую побасенку широкою и грандиозною картиною, точно он видел сам "небо отверсто"[14] и слышал робкие мысли души, нисходящей "для мира печали и слез"

Матушка была очень наклонна к мистической мечтательности и под влиянием моего многоначитанного отца имела большое влечение к поэзии, а потому, как только новое стихотворение поэта ей сделалось известно,— оно сейчас же получило для нее особенное значение[15].

Нежная душа затрепетала от священного предчувствия, что, быть может, эта душа, которую поэт видел в священном восторге на руках ангела,— она-то и есть именно та душа, которая поселилась жить в моем новорожденном брате. Это было ее великим и притом необходимым для нее утешением, так как будучи женщиною религиозною и даже набожною, она находилась под гнетущим представлением о силе лежащего на ней отцовского проклятия. Родив ребенка, она сугубо страдала от страха, что доля этого проклятия будет тяготеть и на ее детях как на участниках ее сопротивления родительской воле. Мысль, что душа брату принесена с неба, поставляла это дитя в глазах матери под особую защиту небес, и мать в это верила и никогда не хотела расстаться с своим верованием, имевшим для нее самое реальное значение.

Сколько бы ни было в этом неосновательного, я думаю, это должно быть простительно для чувства молодой матери, желавшей избавить свое дитя от проклятия.

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман[16].

IV

Когда брат мой родился на свет, матери было всего восемнадцать лет, и она, по отзывам родных, сама смотрела тогда еще совершенным ребенком и, как многие прибавляли, прекрасным ребенком. Матушка была красавица. От природы она имела достаточный ум и превосходное верное сердце. Это было лучшее ее украшение, которое и составляло все счастие отца; но при этом она страдала большим недостатком всякой собственной инициативы и могла обнаруживать большую силу терпеть и страдать, но не имела никаких задатков для того, чтобы бороться с обстоятельствами.

Она была нежная жена, добрая мать и бережливая хозяйка, но не героиня, и поддержать мужа могла только разве одною безропотностию, с которою могла встретить и понести всякое горе.

Экономическое положение моих родителей в эту пору, впрочем, не было особенно тяжко. Отец слыл за лучшего следователя в губернии и получал от губернатора жалованье и пособия, которых вместе доставало для безбедного и даже приличного существования маленького семейства[17].

По службе отца считали за человека неподкупного и гордого, хотя последнее было совершенно несправедливо. Вместе с тем, мнимую гордость его объясняли желанием выслужиться, а неподатливость его ни к чьим сторонним послугам характеризовали тем, что он "чужой человек" и "шляхтич", которому чужды все местные интересы.

Правда, были немногие люди, которые его почитали и уважали, но друзей у него решительно не было.

Причину этого всего вероятнее надо полагать в его "чужом происхождении" и в его несколько излишней прямоте, которую иные называли даже польскою заносчивостью и бестактностью. Но это тоже было несправедливо. Отец никогда не спешил никуда с своими мнениями, но где его спрашивали и где он должен был отвечать по совести, так он был прям и не отвлекался никакими соображениями о том, что выгодно и что невыгодно.

Эта черта отцовского характера была вредною для него, а для нас пагубною, или по крайней мере она была причиною неожиданного, но рокового несчастия в нашем семействе. Благодаря этой черте его характера, мы испытали такие тяжелые бедствия, что мне о сю пору удивительно, как мы не погибли совершенно или по крайней мере не вышли дурными людьми.

Но он, может быть, это предвидел и не боялся. Он верил, что в нашей стране безопаснее оставить детей без состояния, но с силою, при которой можно "пробивать самим стену", чем с состоянием, но без дисциплинированного разума и характера.

В общем он вышел, кажется, прав.

После рождения брата Адама других детей у моих родителей не было в продолжение пяти лет, а потом родился на свет я, и в честь моего прихода в мир не было уже никаких приветствий и знамений.

Меня назвали по имени того святого, в день которого я родился,— Иваном.

Все лучшее и особенное на майоратном праве[18] досталось старшему сыну, первенцу, а я вышел в свет по-будничному и, вдобавок, принес с собою усугубление бедствий.

Брату Адаму, в котором мать верила видеть прекрасную душу, принесенную для мира печали, тогда уже шел шестой год, и он рос очень здоровым ребенком. На наблюдательный взгляд в нем уже обозначались и основы нравственной личности будущего человека.

По наружности он был очень похож на отца, но с отменами. У Адама не было "одного глаза польского, а другого русского", а оба глаза одинакового цвета, карие — с очень добрым русским выражением, а лицо его было чисто; но, однако, он от всего этого нимало не выигрывал. Глаза Адама глядели прямее отцовских, но в них не было любопытной загадочности, какая замечалась в разноцветных глазах отца, и лицо брата отдавало излишнею здоровостью и простонародностью типа.

Таково, вероятно, было выражение и отцовского лица, но каприз природы и пятна бывшей болезни придали ему ту интересность, которою увлеклась почитательница высокого — Марья Моревна. Ничего влекущего в лице Адама не было.

Зато, повторяю, лицо брата было добрее и притом тоже имело свою странную особенность,— простонародный тип его был не столько мужской, как женский[19].

Адам походил на здоровую крестьянскую девочку, и это замечали все, кто его видел, и даже сами наши родители немало этим тешились.

Матушка часто повязывала на голову Адаму нянин головной платок и приносила его в этом уборе в кабинет, где работал отец, и тот, как бы ни

был занят, не мог сохранить серьезности и всегда приветствовал улыбкой свою "крестьянскую девочку"

Душа в брате в самом деле замечалась хорошая. Он был без принужденья послушен, добр, кроток и нежен, как самая нежная девочка, но при этом с первых же дней, как в нем стали замечать понимание, он обнаруживал способность обдумывать все свои действия. Вообще, он отличался тихою, почти меланхолическою задумчивостию, за которою потом в результате следовали самые решительные движения в самом положительном роде.

Росши до шести лет без всякой детской компании, он играл всегда тихо и уединенно и никогда не скучал.

Сила души в нем зрела в тиши.

В выборе игрушек у Адама тоже замечалось что-то женственное: он не любил ни лошадок, ни зверей, а предпочитал человекоподобные куклы, делил их на господ и слуг, потом клал их и думал над ними долго, и наконец спрашивал: не лучше ли всем им быть господами, или,— что то же самое,— всем быть у самих себя слугами? Другой раз он заставлял их молиться, сам им указывал бояться божества и потом сам же карал их или миловал,— снова оставлял и эту игру и задумывался.

Пяти лет он пришел к отцу проситься, чтобы его отпустили куда-нибудь в такие места, где еще могут мучить за веру.

Отец и наши семейные друзья очень рано стали называть брата Адама стоическим философом в бабьем футляре.

V

Детские годы Адама были самые счастливые годы в жизни наших родителей, но вдруг все пошло изменяться. Мать еще не совсем оправилась после произведения меня на свет, как в один холодный и ненастный вечер, в марте, к ней прилетел крошечный и смешной вестник. Раз, когда она собиралась отправиться к соседке и убирала голову, держа в руках маленькое ручное зеркальце в металлической рамке, обделанной в персидском вкусе бирюзою, ей показалось, что около ее уха стал виться и жужжать самый неотступный комар и, наконец, он будто даже ужалил ее в руку и так больно, что матушка дернула руку, а в это самое мгновение у порога ее спальни, точно вырос из земли, брасовский кучер Епифан, которого она уже не видала целые шесть лет и о котором в эти минуты нимало не думала.

Но между тем, кучер теперь несомненно стоял, пошатываясь перед нею, весь по пояс мокрый, забросанный снегом и грязью, и держал в одной руке кнут с таволожкой, а в другой — снятые и крест-накрест сложенные зеленые рукавицы.

Матушка не совсем сразу сообразила странность явления и спросила:

— Что такое?

— Пора,— отвечал Епифан,— я вам доложил... — и с этим он еще сильнее зашатался, как пробочный поплавок, и сел сквозь пол, точно его утащила в воду рыбка.

Матушка вскрикнула, бросила об пол зеркало и разбила его вдребезги. Но испуг скоро прошел.

Как только на ее голос прибежала комнатная прислуга, матушке стало стыдно своей тревоги, и она старалась себя уверить, что и комар, и севший под пол кучер Епифан — все это какая-нибудь болезненная галлюцинация ее чувств, и более всего сожалела о разбитом персидском ручном зеркальце, которое некогда привез ей в подарок из Нижнего отец ее, а мой дедушка Брасов. Но старая нянька, ухаживавшая за братом Адамом, имела большие

познания в тайнах природы и наговорила маме, что если какое-нибудь насекомое является человеку не в свое время, как, например, жужжащий комар зимою, то это всегда и непременно имеет таинственное значение. Такой комар, летающий зимою около ее уха, есть уже совсем и не комар, а вестник. А доброе или злое он хочет провещать — это загадка. Но разбитое зеркало есть, без сомнения, самая скверная примета.

Мать была суеверна и впечатлительна: она подумала, что или нам угрожает внезапная болезнь, или в доме случится пожар. А потому она прервала свой неоконченный туалет, разделась и не поехала. Но вечер прошел благополучно. Все помолились Богу и улеглись спать.

Только комар все-таки прилетал по морозцу недаром: о полуночи в закрытое ставнями окно матушкиной спальни послышался тихий стук, который пробудил тонкий сон матушки и исполнил ее сразу ужасной тревогой. Тревога эта была тем более понятна, что отец наш в это время находился в отсутствии, на важном уголовном следствии, а мать была единственною хранительницею детей и всего, что составляло наше семейное достояние.

В губернских городах тогда еще не в редкость бывали ночные грабежи по домам, а дом, в котором жили мои родители, находился на отлете и не обещал близкой помощи со стороны соседей. Домашний же штат прислуги у матушки состоял из одних женщин, из которых — нянька Адама была уже очень стара, другая — "побегушная девочка" — очень молода, и только кухарка — солдатка Арина состояла в ражей поре и имела надлежащий геройский дух и отвагу.

Она спала, "для смелости", на полу у матушкиной постели, и тут же у них, тоже для смелости, горела лампада. Как только матушке удалось разбудить свою охранительницу и растолковать ей, откуда всем нам угрожает внезапная опасность, солдатка сейчас же обнаружила свой геройский дух и высказала замечательную находчивость. Она погрозила матушке пальцем в знак того, чтобы та молчала, а сама стала громко звать по именам каких-то, вовсе не существовавших в доме, людей.

— Семен, Иван, Петрушка! что вы, черти, не слышите что ли, что к нам воры лезут. Буди скорей барина, чтобы бежал сюда с ружьем, а пока дай-ка мне топор из-под лавки,— я его топором съезжу.

Все это она выкрикивала грубым, мужским голосом, добываемым откуда-то из чрева, и вслед затем оборотилась в сторону и, заложив комком язык за щеку, откликалась звонкой фистулой:

— Сейчас, сейчас бежим! Вот мы им, подлецам, зададим памяти, как господ беспокоить!

При этом удалая баба разом отражала разбойников и другими военными хитростями: она топала ногами и, накоптив на огоньке лампады пробочку от бутылки с деревянным маслом, начала мазать ею себя по лицу, наводя таким образом, где попало, черные полосы, которые должны были заменить военные усы и бакенбарды. Все это вместе должно было напугать напавших на нас врасплох ночных грабителей, если болт не удержится и они оторвут ставни.

VI

Но разбойники вели себя довольно странно и несоответственно их нападательным целям: они не испугались призыва многих имен, а один из них сам заговорил сквозь ставни, и голос говорившего показался всем очень смирным и доброжелательным.

— Отворите, пожалуста, вороты,— говорил нервный, торопливый голос.— Мы брасовские... я лакей Аверьян... к господам присланы.

При этих словах матушка вздрогнула и, бросясь к окну, вскрикнула:

— Может ли это быть! Аверьян, это ты?

— Я, матушка Дарья Спиридоновна.

— Ко мне?

— К вашей милости, сударыня.

— Боже мой! что такое... С кем ты?

— Ни с кем, сударыня, велите скорей открыть вороты... я все доложу: мы на лошадях за вами... Простите — не знаю, куда постучаться.

Выходила какая-то путаница: "я ни с кем" и сряду опять "мы" стало быть, есть еще кто-то...

— Беги, Бога ради, беги скорее, отворяй им ворота,— сказала матушка кухарке, а сама стала скорее надевать на себя ночной шлафрок и вышла со свечой в залу.

В других комнатах тоже замелькали огни, и нянька послала девочку ставить на кухне самовар, а сама, крестя рот, выползла в залу, села на стул и, кутаясь в платок, проговорила:

— Вот он комарик и есть!

Матушка вздрогнула и с неудовольствием отвечала ей:

— Не пугай меня, сделай милость! — И сию же минуту еще более испугалась, потому что при этих ее словах дверь из передней отворилась, и на пороге появилась с фонарем в руках, вся перепачканная копотью кухарка, которой матушка сначала не узнала, а за кухаркою вошел, в мокрой волчьей шубе с воротниками, лакей Аверьян.

— Что с отцом... он умер? — вскричала, порываясь к лакею, мать.

— Нет, матушка,— отвечал, целуя руку матери, Аверьян.— В ту минуту, как мы утром отъехали, они еще были живы... только надежды никакой нет. Папенька вас желают видеть и благословить... и супруга вашего... и всех детей... Только... не знаю как...

— Что такое?

— Ехать невозможно: на Оке весь лед вспучило...

— Я еду, еду...

— Потом... как нам теперь снарядиться...

— Это все равно...

— С нами несчастье было.

— Какое?.. с кем?.. Я все равно еду.

— Невозможно, сударыня... Только на верную смерть можно ехать. Спиридон Спиридоныч послали нас с кучером с Епифаном... Быть может, изволите помнить?

Матушка при имени Епифана вздрогнула.

— Как же, помню... Он нас катал часто.

— Он самый, сударыня. Теперь он не будет никого катать.

— Что ты говоришь такое?

— Несчастье, сударыня: барин приказали сказать: кто вас известит, пока он жив, тем они со всею семьею вольную завещают навеки. Мы с Епифаном поехали... По дороге через один верх я с шестом шел, лед пробовал, а он возжи держал, а через другую воду я правил, а Епифан шестом щупал...

— Ну?

— В самые сумерки... Царство небесное...

— Ну, ну... Бога ради, что с ним случилось?

Аверьян замотал головою и перекрестился.

— Да ну,— что же такое сталось с Епифаном?

— Он провалился.

— Под лед?

— Да.

Аверьян опять перекрестился.

— И он утонул?

— Утонул!

— Получил вольную,— проговорила няня.

— Все равно... у него есть дети... Для них старался... Не погубите, матушка Дарья Спиридоновна, попросите за него — он старался исполнить...

— Да, да, да... все равно, все равно... Он исполнил... Я сейчас соберусь... я еду.

Но этого нельзя было сделать так скоро: измученные лошади требовали отдыха, и надо было найти еще одного проводника, кроме Аверьяна, который тоже должен был отдохнуть от усталости, высушиться и хотя сколько-нибудь оправиться от душевного потрясения, испытанного им на реке, когда в сумерках на его глазах утонул без помощи его товарищ.

Няня, которая была опытнее других, советовала послать кухарку в монастырскую слободку за кривым солдатом, который слыл самым лихим и смелым ездоком. Самое лучшее, казалось,— нанять его довезти матушку в деревню, но кухарка ни за что не хотела идти теперь куда бы то ни было из дома, пока не настанет рассвет.

Отважная в борьбе с живыми злодеями, она не находила в себе смелости, чтобы не бояться далеко ушедшего под лед мертвеца.

Весьма возможно, что если мои записки попадут когда-нибудь в руки хладнокровного человека, то на него должен будет произвести неприятное и, может быть, досадительное впечатление сейчас изложенный мною случай с комаром и мокрым человеком у порога спальни. Я сожалею о той неприятности, которую делаю серьезным людям, вписывая в свои записки этот случай, обличающий, быть может, только какую-нибудь болезненную особенность моей матери и ее пугливое и беспокойно настроенное воображение; но пусть он здесь останется. Я не стою за право привидений, хотя, впрочем, и не смею уверять, что все, имевшие с ними встречи, были непременно невежды или обманщики. Я веду простые записи того, что случилось. Я не хочу доверия к неясному и непонятному: я только не вижу необходимости, из страха легкомысленных упреков в суеверии, скрывать что-либо, имевшее связь с действительностию.

VII

Матушка наскоро собиралась[20]. Она не брала с собою ничего и ехала в простых мужичьих розвальных санях без подрезов. В этом только экипаже монастырский солдат взялся ее довезти до Брасова за сорок рублей. Цена эта за прогон сорока верст на паре лошадей может быть названа ужасною, но и путешествие, которое надлежало сделать, тоже было ужасно... На этих сорока верстах надо было проехать три реки и сорок верхов, или глубоких, занесенных снегом и теперь поднявшихся водою перелогов, из которых в каждом можно было принять сколько угодно смертей целым тысячам народа. Только отчаянный русский человек может отважиться идти доброю волею на такую опасность без призыва сердца, а на-оболмашь и очертя голову, за деньги, которые и велики, и малы по цене приносимой за них жертвы.

Еще не успело хорошо ободнять, как солдат появился у нас на дворе с розвальнями, на которых была кое-как привязана рогожная будочка. В сани была запряжена пара маленьких крепких, коренастых лошадок чалой масти, у которых хвосты были скручены куколками, а гривы стояли копром, потому что их “любил и холил хозяин”, т.е. домовой.

Возок, присланный из Брасова, решили оставить залетовать под сараем на нашей городской квартире. Аверьян запрег коренную лошадь в бесподрезные салазки, на которых возили кадку с водою, а двух пристяжных пустил цугом одна за другою, чтобы передняя из них служила пробою для определения надежности пути. При неожиданности просова[21], она погибла бы одна, но остановила бы других от погибели.

Длинный Аверьян, в своей долгополой ливрейной шинели на волчьем меху и со множеством капишончиков, измучился, запрягая своих великорослых коней, которые не хотели выравниваться гуськом, беспрестанно оборачивались друг к другу мордами и путали упряжные веревки.

Матушка отправила отцу эстафету, а дом и меня поручила оставляемой прислуге, брата же Адама она взяла с собою. Ей хотелось, чтобы он мог видеть умирающего деда и получить от него благословение.

Они съехали со двора, когда горожане еще спали, и намерены были следовать так, чтобы передовой путь держал Аверьян, а солдатовы сани, в которых сидели моя мать и брат, следовали для безопасности сзади. Но непривычные к импровизированной закладке заводские лошади все продолжали путаться и до того надоели солдату, что он сказал матери:

— Так, госпожа, мы не скоро доедем.

— Поезжай, как хочешь,— только поскорее.

Солдат попросил позволения "кинуть талалаев"[22].

Мать была на все согласна, лишь бы застать отца в живых.

— Духом доедем,— отвечал солдат и, крикнув на своих лохматых коньков, обогнал путавшихся в длинных веревках "талалаев" и понесся сломя голову.

Порою лишь, при приближении какого-нибудь ручья или балки, он оборачивался и кричал:

— Держись!

Мать только прижимала к груди Адама, а косматые лошади ныряли в просов, встряхивали ушами и, снова выскакивая на твердую почву, опять, как ни в чем не бывало, неслись далее.

Солдат только посвистывал да покрикивал:

— Грейся, котята! грейся!

За ними словно только убывало места. Об Аверьяне не было и помина. Солдат всего раз оглянулся на него и сказал: "еще путается", а глянув во второй раз, махнул рукою и более уже не оглядывался.

Не раздумывая и не останавливаясь ни перед одною из множества опасностей, которыми на каждом шагу был наполнен их отчаянный путь, матушка и солдат даже сами удивились, когда сани остановились перед большим деревянным навесом, покрывавшим ступени брасовского дома.

Солдат соскочил с облучка и стал трясти за ноздри своих удалых космачей, а матушка со страхом и замиранием взглянула на окна большого зала: но шторы их не были опущены и не видно было огня восковых свеч.

Это значило, что отец еще жив и он, конечно, снимет с нее свое проклятие и благословит ее, а также и сына, которого она сейчас передала на руки окружившей ее прислуге. С таким настроением матушка сама вошла в дом умирающего отца.

И действительно, она застала деда моего в живых: он умер через два дня после ее приезда и имел время обнять, простить и благословить мою мать; но при этом имел несчастие наложить на нас бремя тяжкое и неудобоносимое.

Умирающий просил у дочери прощения и называл ее своею "кроткою Корделией"[23]; но все эти ласки, утешившие мою мать и возвратившие мир тихой и доброй душе ее, были для нашего семейства причиною таких боль-

ших несчастий, с которыми уже не могла справиться энергическая душа моего отца.

VIII

Дело заключалось поначалу в том, что состояние деда, считавшееся одним из видных в губернии, находилось в таком запутанном положении, что умирающий даже не мог сообразить: есть ли во всем, что за ним значилось, хотя некоторая доля принадлежащего ему в действительности. Все было обременено большими долгами, которые издавна росли и запутывались. Пока дела вел опытный мужчина,— он с ними кое-как справлялся, но, переходя в руки неопытной женщины, все могло лопнуть. Правда, дядя Илья находился налицо, но он был известнейший мот и не обнаруживал ни охоты, ни умения заняться делами. Его собственные дела были хуже дедовых.

Он давно промотал свое и теперь уже доматывал детское и женино. Его страсть к театру и театральным женщинам до того расслабила его ум и волю, что он жил вполне безрассудно и нимало не думал о будущем. Иные считали его даже сумасшедшим и в то же время выбирали его в дворянские должности. Он был судьею, но в суде на присутственном столе писал никуда негодные водевили или сочинял музыку для пошлых куплетов. Жена пропавшего дяди Спиридона, "рожденная Послова", жила в оставшемся ей небольшом именьице Послове, неподалеку от Брасова, но она с стариками не видалась. Она говорила, что не в силах иметь что бы то ни было общее с Брасовыми, которые дали жизнь и воспитание такому дурному человеку, каким она почитала своего мужа, на что, впрочем, она имела, кажется, и достаточные основания. Эта особа вела жизнь загадочную, отшельническую, или — лучше сказать — секретную, и никогда не оставляла своего дома, где, впрочем, у нее был свой круг оригинальных друзей, с которыми мы со временем познакомимся.

Ненавидя родителей своего мужа, "рожденная Послова" не делала в этом отношении исключения и для других его родных: она лишь изредка принимала по делам дядю Илью, и то на том основании, что он "что-нибудь значит"

Эта Послова в своем роде была фрукт из гесперидиных садов[24] нашей аристократии и в своем роде тип: она не была ни зла, ни глупа, но никогда не знала, чего она хотела, чего боялась.

Если бы нужно было ставить отметки, то ей, с свободною совестью, надлежало поставить нуль за понимание.

С моею матерью она была почти совсем незнакома и отзывалась о ней недружелюбно, ибо в ее "неравном браке" видела ту же общую брасовскую черту — безразборчивости в делах самого серьезного сорта. Притом же, мой отец в ее глазах был "поляк", а она не любила и боялась поляков.

Из чего это происходило,— было неизвестно, и как надлежало для довершения глупости, у нее был управитель — весьма гадкий поляк Винцентий, "Иуда, раб и льстец"[25], и этого она не боялась, а даже была в его руках.

Словом, деду ровно не на кого было положиться и некому было поручить жену, для обеспечения которой он имел план. План этот состоял в том, чтобы выделить ей часть имения более чистую, а часть более запутанную уступить в сторонние, но доброжелательные руки такого человека, который мог бы дать сколько-нибудь денег бабушке, а имение принять за себя и добрым рачением о делах мало-помалу распутаться.

Человеком, способным на такое дело, деду представлялся мой отец, у которого тогда было около пяти, шести тысяч денег, и он мечтал купить на них хутор и зажить хуторянином.

У деда как раз и был один такой хутор, прилегавший к довольно значительной деревне дворов в сорок, и дедушка хотел, чтобы отец мой отдал бабушке деньги, которые имел в наличности, а себе взял бы весь этот участок с обязательством выплатить ей все остальное со временем на возможных условиях.

Умирающий сначала просил об этом мою мать, а после, когда через день приехал отец, то и его,— чтобы он принял эту домашнюю сделку и тем облегчил его предсмертный страх за участь вдовы.

По усиленной просьбе матери отец мой на это согласился, но очень неохотно. Он предпочитал иметь лучше маленький хуторок, без долга, чем более значительное имение, но с долгами. Притом он боялся себя самого — боялся не того, что не сумеет выпутаться, а того, что какие-нибудь случайности могут поставить его в разлад с окружающею средою, и тогда он будет в необходимости выбирать между долгом чести и требованиями выгод. А он, в таких положениях, решал все без стеснений не в свою пользу.

Но, как бы то ни было, он уступил мольбам матери, и все имение, о котором шла речь, осталось за нами. Это составляло по тогдашнему около полутораста душ, при достаточном количестве земли и сравнительно хороших хозяйственных условиях. Затем дед умер, и его схоронили.

Приняв на себя такую обузу, отец мой вышел в отставку и поселился в деревне. Мы жили скромно в маленьком домике, который был построен дедом при мельнице и содержался в порядке, для приезда владельца. Тут было всего шесть комнат, с довольно хорошими постройками, вполне достаточными для отдельного хозяйства. Был также очень хороший фруктовый сад на нескольких десятинах, и протекала чистая речка. Вообще, этот хутор влек к себе моего отца, между тем как самая деревня ему не нравилась[26].

Как начали устраиваться мои родители в деревне, я, разумеется, не помню, но только знаю, что недостатки в средствах стали чувствоваться ими очень скоро и так назойливо, что отец мой, не будучи любителем города, находил свое прежнее зависимое положение на службе более сносным, чем новое положение недостаточного помещика. Он даже сожалел о своей неосторожности, но, нежно любя мать мою, по желанию которой все это устроилось, скрывал от нее, о чем думал.

С родными моей матери отец не мог никогда сойтись[27], да, собственно говоря, и не с кем было сходиться, потому что единственный человек, с которым приходилось встречаться, был дядя Илья; но он всегда вел жизнь рассеянную, а после смерти деда тотчас же был избран, в первые выборы, дворянским предводителем на место своего отца, а нашего деда, и еще сильнее предался страсти к театру. Теперь он видел в этом как бы призвание служить благородным вкусам общества и, не имея ничего свободного от долгов, построил на свой счет театр и сам в нем хозяйничал, не только как хозяин здания, но и как администратор труппы и даже как ближайший ее режиссер. Более же всего он был непременным покровителем хорошеньких актрис,— мирил их, ссорил, разводил с мужьями одних и выдавал замуж других, словом,— барахтался в омуте с добровольно надетыми на себя петлями, и весь выражался в данной ему кличке "Kiss me quick"[1*][28].

Кличка выражала всю пустоту и ничтожное направление этого Поцелуя Поцелуича[29].

[1*] Быстро поцелуй меня (*англ.*).

IX

Из других родных могли быть личные отношения с "рожденною Пословою", но эта эксцентричная дама жила анахореткою, и как один раз обиделась на Брасовых за свое несчастие, так уже никогда с ними не мирилась[30].

Раз только она отступила от своего отшельничества и была в брасовской церкви при отпевании деда, но и то повело не к миру, а к умножению неприятностей. И притом на этот раз в дело оказался замешан отец мой.

Ничтожный сам по себе случай этот стоит заметить потому, что он несколько обрисовывает нравы и имеет свое значение в образовании отношений.

"Рожденная Послова" едва знала мою мать, а отца не встречала нигде ни разу, но имела о нем какое-то пугающее представление. "Поляк, шляхтич, какой-то веры" В этом для ее окоченевшего в аристократическом детстве ума было все, чего достаточно, чтобы напугать нервную, несчастную и к тому же бестолковую женщину.

Отцу было известно, что "урожденная Послова" его боится и считает счастьем для себя, что они "между собою не близко, а далеко" Но справедливо сказано, что всякое "далеко" непременно откуда-нибудь "близко" Отец и "урожденная Послова" встретились лицом к лицу в то время, когда все, бросившие горсть земли на гробовую крышку деда, удалялись от его могилы, и в ту же минуту успели друг друга обидеть.

Произошло это так, что "урожденная" обратила свое внимание на брата Адама, и лицо его показалось ей столь непривлекательным, что она тихо сказала по-английски сопровождавшей ее англичанке:

— Какое лицо у этого ребенка!.. Ручаюсь, что это Безбедович.

А отец мой, которого она не знала, но который был близко, ответил по-русски:

— Да, это Безбедович... У них подделка не допускается.

Родственница перепугалась и с той поры еще более возненавидела моего отца, на что и имела особую причину, так как ответ его, помимо прямоты и резкости, ударял ее в самое больное место,— о чем ниже и будет пояснение.

Брат Адам, с раннего детства отличавшийся наблюдательностию и удивительною памятью, помнил все происшествия дедовых похорон и в ряду их эту мимолетную встречу отца с женою без вести пропавшего дяди Спиридона.

"Большие" же тогда усмотрели в этом непростительную дерзость со стороны отца, и она послужила самою оживленною темою при заупокойном обеде.

— Несчастный человек,— говорили об отце,— он ни с кем не уживется.

Другие, более сострадательные, обобщали свое участие и на мать, и на нас, могущих пострадать за отцову "поляцкую гордость"

Один дядя Илья относился к этому важному событию светлее и шутя сказал отцу:

— Вы нашу "урожденную" прекрасно щелкнули.

— Я и не думал щелкать.

— Ну, однако... вы разве не знаете, в какую вы ей попали становую жилу?

— Решительно не знаю.

— Полноте. Но это пресмешно: "подделка не дозволяется" Мы, впрочем, все Брасовы беспутны... Одно исключение — сестра Даша,— это вы ее так наставили: она вышла как будто не нашей крови. Но ведь и у вас в Польше-то тоже ой-ой-ой какие!

— Ваша правда,— отвечал отец: — но ведь я, во-первых, совсем не поляк...

— Да, да, ну все равно,— из тех стран.

— Нет, это не все равно. А во-вторых, если там худо, то зачем же так делать, чтобы и здесь было не лучше.

— А разве не лучше?

Отец посмотрел ему в глаза и тихо произнес:

— Знаете, по совести говоря: право, не лучше!

— Ну, вы философ! — отвечал дядя,— а по-моему жизнь надо брать проще: kiss me quick, и будь здоров. Я люблю свободу.

С соседями родители мои тоже не завязали большой дружбы, кажется, более всего потому, что отец был поглощен заботами о хозяйстве и о том, чтобы не явиться неисправным плательщиком по закладной, которая принадлежала некоему соседу нашему Немчинову,— помещику-ростовщику и очень дурному человеку, которому почти все в уезде были должны, и все его поэтому боялись.

Приняв на себя денежные обязательства перед этим человеком, отец хотел уяснить с ним свои отношения и устроиться так, чтобы все деловое шло у них аккуратно и не требовало с его стороны ни заискивания, ни сближений. С этою целью он, как только немножко осмотрелся на хуторе, поехал сделать деловой визит этому кредитору, но вместо того, чтобы устроить дела,— с первого же раза расстроил их еще хуже, и нам пришлось ждать ежеминутных бедствий, которые и не замедлили разразиться.

X

Петр Васильевич Немчинов, которому отец оказался должным по закладной, был человек невоспитанный и скряга. Он был приказного рода, из тогдашних "писцов крепостных дел", получил дворянство по чину коллежского асессора, женился на какой-то "полковой вдове" Ирине Тимофеевне — такой же, как он, скопидомке и вдобавок еще тиранке. Они жили в благоприобретенном селе Легоще[31], где Немчинов продолжал наживать деньги, разоряя крестьян и забирая в кабалу неосторожных и безрасчетных соседей. Окрестные помещики звали его "белкою",— что отвечало его страсти все тащить в свою норку, а также шло и к его наружности. Он был рыжий, острорылый, с черноватыми подпалинами в бакенбардах, по которым, собственно, и была дана ему кличка известного зверька. Жена, взятая им из "полковых вдов", была рослая и, пожалуй, красивая в свое время дама: румяная, полная, что называется "бабелинистая", с горбатым носом. Она и по рождению происходила из военных, и характер имела очень решительный и воинственный. Мужа своего "белку" она содержала в решпекте, но сама была не свободна от сильного нравственного на нее влияния могучего телосложения крепостного кучера Садока, которого все истерзанные легощинские людишки боялись и в знак робкого перед ним почтения именовали его Садукей Иванович.

Эта скверная и противная личность пользовалась очень большим влиянием в доме: его трепетали крестьяне, а все сенные девушки были его жертвами, и ни одна никогда не смела его выдать ревнивой госпоже, ибо от этого участь выдавшей была бы еще хуже. Самому "белке" весь ужас этого положения был неизвестен, и он, по внушению жены, сам считал Садока самым преданным ему и верным человеком. А "белка" был трус и боялся быть убитым своими людьми.

По совету матери и также, как я сказал, по своему собственному побуждению, отец мой поехал к Немчиновым, чтобы познакомиться и переговорить о своих делах; но надо прибавить, что этого же желала и бабушка, так как она была заинтересована в том отношении, что отец должен был, заплатив долг Немчинову, уплатить вслед затем излишек, падавший на часть бабушки.

Поездка, однако, была чрезвычайно неудачна.

Когда отец приехал к Немчиновым в их опустошенное село Легощу, был час двенадцатый дня. Отец хотел отбыть свой визит так, чтобы переговорить о делах и иметь время отделаться от обеда, потому что дом этот не влек его к себе и не располагал к сближениям.

Но вышло, что он отделался еще скорее, чем думал.

Широкий двор перед домом Немчиновых был пуст, и отца не встретила ни одна живая душа. Он вышел из дрожек и велел кучеру отъехать, по деревенскому обычаю, к сараям, а сам вошел на крыльцо, где на него выступила с лаем большая овчарная собака.

Отец остановился. Но навстречу ему никто не выходил, а собака продолжала стоять на пороге двери и лаять с ожесточением, которое усиливалось.

Отец позвал:

— Люди! проводите меня кто-нибудь!

В ответ на это из сеней послышался голос:

— Людей, батюшка, нет никого. Не робей, иди смело. Замахнись на нее, она уйдет. Только не бей — это собака Садукея Ивановича.

— А ты лучше выйди да проводи.

— Выйти... мне немощно выйти...

— Верно, больной,— подумал отец.— А тот неизвестный в это время говорит:

— Погоди, вот я достану щепку, да ее щепкою.

И из-за двери действительно вылетела широкая щепа, от которой собака метнулась вперед, проскочила мимо отца и стала лаять на него из отдаления.

Отец вошел в бревенчатые сени, которые были полутемны, и увидал у одной стены сидевшего на скамье пожилого мужика.

— Дома барин?

— Дома, батюшка, дома,— сейчас, чай, придет.

— Откуда?

— В сарае он, родимый, в сарае. Все там, с Садукеем Ивановичем занимаются.

— Кто же бы меня проводил в комнаты?

— Некому проводить, родной,— лакей тоже при них — там на голове сидит.

— Что такое? На чьей голове?

— Дружку моего, батюшка, стегают... Сейчас, небось, кончут его, уж не кричать стал... за мною лакей придет — меня весть наказывать, тогда тебя проведет. Мы ведь бегали, в вольных местах жили, в городе Николаеве, летом. Оттуда по пересылке гнаты, да вот Господь домой донес — на цепях сидим.

— Как на цепях?

— А вот на железных. Гляди-ка: нешто тебе не видать со свету. Демка кузнец нас на шпунт[32] припустил ко стене. Дружку сейчас отклепали, и меня сечь поведут — отклепят. Как же... Видишь, какая чепь.

Он поднял руки и загремел сразу двумя цепями, которые обхватывали заклепанными кольцами его запястья, а оглядевшиеся в это время глаза отца

рассмотрели на той же линии стены еще два кольца, при которых тоже висели пустые теперь цепи.

А мужик продолжал рассуждать:

— Не знаю, стерплю либо нет... Может, душу отдам... Садукей-то Иванович лют,— больно терзает, не в сожаление.

Отец более не слушал, он повернулся, вышел из сеней, поспешно вскочил в свои дрожки и уехал.

Более всего он желал, чтобы посещение его осталось незамеченным, но это, к сожалению, так не было, и через три дня к нам приехал верхом Садок с письмом Немчинова, на которое отец тоже ответил письмом, заключавшим в себе условия, какие он принимал по делу, и с тех пор никакой попытки к образованию личных сношений между нашим домом и домом Немчиновых более не было. Вдобавок и кучер Садок у нас был принят дурно, то есть его приняли так, как следовало по его, так сказать, натуральному положению, без внимания к его особенной роли, которою он щеголял и о которой не стыдилось знать дворянство, а особенно те, кто был должен "белке" и имел надобность опасаться, чтобы "белка" его не утащила.

Садок в этих случаях нередко оказывал, кому хотел, большую помощь и, надо признаться, он действовал в подобных случаях не в ущерб господским интересам.

Садок от природы был финансист и статистик: он не рвался на скорые взыскания там, где видел возможность путать и осложнять дело должников без риска потерь.

Понятно, что отец мой был далек от всех таких исканий, и наша домашняя жизнь некоторым образом сходствовала с жизнью "урожденной Пословой", то есть родители мои никого не принимали и никуда не выезжали сами. Доброй матери моей такое домоседство было не в муку, а отец был рад, что ему никто не мешал заниматься хозяйством и воспитанием брата Адама, которого он сам учил всему, что тот по своему возрасту способен был усвоить.

Единственный гость, но зато довольно частый гость, появлявшийся в нашем доме, был наш сельский дьякон Флавиан[33], которого считали другом отца и его "клевретом" Это было сочинение "поповки", распространяемое дворянством; но, на самом деле, таких отношений, которые подходили бы к понятиям, выражаемым словом "дружба", между отцом моим и дьяконом не было. Можно разве сказать, что они были приятели, т.е. что им обоим было приятно встречать друг друга и поддерживать взаимные, далеко неравные отношения.

Этот Флавиан был презамысловатый и в то же время очень деятельный и живой человек с замечательною склонностию к "торговой части" Он умел хорошо служить, но служил редко, потому что был постоянно отрываем от дела служения торговыми делами. Он покупал и продавал все, что вам угодно. Это была первая "покупка и продажа", которую я видел; но под залоги денег он не давал, находя это делом нечестным и не отвечающим его званию.

— Мне это, маточка, не идет,— говорил он.— Я, маточка, не жид, чтобы брать проценты. Иди к жиду, а если хочешь продать, продай: я цену дам, сколько для меня стоит.

И, разумеется, он давал цену самую маленькую.

— Нельзя больше, маточка,— успокаивал он продавца.— Тебе ведь хорошо: ты сейчас деньги возьмешь и сейчас, что тебе надо, то за них и купишь, а я еще походи, да поброди, да поезди, чтобы кому-нибудь устроить... Трудно, маточка.

И продавец, хоть кряхтел, а, однако, соглашался, что и дьякону трудно.

Дом дьякона был целый торговый склад: у него можно было достать чаю, сахару, карамелей, леденцов, лампадного масла, гвоздей, досок, свеч и коленкору. Точно так же у него нередко можно было купить лошадь или корову, а если чего у него не было в наличности, то он все мог скоро и дешево достать. Кроме того он мараковал врачевством и продавал лекарства очень дешево,— в большинстве случаев в промен на медь, на лен или на яйца,— и недурно чинил и даже "собирал" стенные часы.

Отец любил в нем эту его живость и называл его "агломерат всего" Иногда он хвалил его кипучую деятельность, а Флавиан отвечал:

— Да как, маточка Лев Адамыч, иначе? У меня духу того нет, чтобы притеснить прихожанина, а жить надо. А так у меня все честно и справедливо. Торговая часть: приди ко мне за чем надо и принеси по доброй воле, какие хочешь излишки,— я куплю или продам. Это все — любовное дело. Правду говорю?

Отец его трогал, бывало, за плечо и отвечал:

— Правда, правда.

— А почему правда — я сейчас докажу изъяснением...

Но отец никогда не допускал его "доказать изъяснением", а говорил:

— Только не изъясняй.

Дьякон смеялся и отвечал:

— Ну, и не надо. Голь, маточка! А мне ребятенок жалко... свои ведь... кровные... дьяконята все... вырастут — престолу предстоять будут.

Флавиан был большого роста, сухой, жилистый, с серыми глазами, выступающим горловым кадыком и роскошною, длинною, совершенно женскою косою, которую тоже шутя собирался "продать французам на деньги"

Его у нас любили, и он нас любил. Отцу он приносил развлечение, мать руководил советами по молочному хозяйству, а мы выросли на его коленах.

Так прошло целых пять лет, и в это время половина долга Немчинову была выплачена. А потом случилось необыкновенное происшествие, которое шло дальним, окольным путем к тому, чтобы произвести большой переполох во всем окольном кружке и вытолкнуть нас в лет на неоперенных еще крыльях.

XI

Губернский предводитель дворянства делал бал для командиров и офицеров расквартированного у нас кавалерийского полка. На этот бал были званы все окрестные великопоместные дворяне, в числе их, разумеется, и Немчиновы, и моя бабушка, которая, впрочем, не могла уже ехать по своим преклонным летам; моего отца с матерью не звали, да они и не могли бы ехать по причине стесненного своего положения, так как гордый отец мой даже не делал себе платья, а все собирал на одни платежи.

Деревенский бал тогдашнего времени имел мало общего с такими же балами в наше время. Тогда бал неизбежно влек за собою множество хлопот для приглашенных дам, а как были велики и сложны тогда эти хлопоты, того нынешние дамы представить себе не могут. В тогдашнее сравнительно простое время платья еще не выписывались от Ворта[34] и других, несколько менее знаменитых мастеров, а приготовлялись более дома, при содействии своих крепостных мастериц, обученных у губернских "мадамей" Поэтому о предполагаемом бале всегда оповещали заранее, иногда месяца за два, за три,— и приглашенные дамы тотчас же начинали приготовляться. Сначала обдумывали свои туалеты, потом ехали в город и запасались материями.

Это был вопрос трудный, как по соображениям экономическим, так и потому, что всякая дама хотела иметь такую материю, которая бы ей шла к лицу, и притом, чтобы ее в городе было не больше, как на одно платье. Купцы же не входили в это последнее соображение дам и всегда бессовестно лгали, будто предлагаемая ими материя есть единственный экземпляр в городе.

Иногда дамы доводили купцов до клятвенных слов, но все-таки это делу не помогало, и к каждому балу, как назло, непременно появлялось несколько платьев из самых схожих материй. Только дамы самого высшего полета были на этот счет обеспечены, потому что эти имели материи в запасе, а запасы составлялись в Коренной ярмарке или в Москве. Материи оставалось только "переглядывать" и оберегать их от залежалых пятнышек, при первом же зове — кроить и шить по картинкам, прилагавшимся к "Отечественным запискам" Затем выступал еще более мучительный вопрос об отделках. Это требовало разнообразных и положительно тонких дипломатических приемов. За отделками посылали, например, в город крепостных мастериц, и даже не только не скрывали этого, а нарочно болтали: "завтра я свою Анютку посылаю за прикладом"; но горе той легковерной, которая бы сочла это откровение за неосторожную болтливость и снарядила свою подсмотреть, какие отделки будет брать у Толстопятова Анютка. Анютка, действительно, ехала в город и брала у Толстопятова отделки, но это все было фальшиво. Отделок бралось несколько и не в одном месте, и никто не мог знать: какие отложатся, а какие нашьются. Нанимали и подкупали магазинных молодцов и разносчиков, разъезжавших с галантерейщиной по деревням. Те и другие могли наверное знать, какая дама всерьез прикупила себе какие отделки. Разносчиков, которые были большею частию из людей степенных, женатых и притом нередко евреи,— на шпионство склоняли подкупами, доходившими рублей до десяти за одну разведку, а магазинных приказчиков уловляли любовными соблазнами, в чем должны были показывать искусство крепостные портнихи. Им в такое дипломатическое время не только разрешалось и прощалось кокетство, но оно даже поставлялось им в обязанность.

— Повертись,— говорили девушке,— поиграй глазами и выспроси, что взяли те или другие.

Девушки иногда отнекивались — будто не умели вертеться и играть глазами, но потом все это исполняли, и даже нередко увлекались ролями и заходили далее предначертанного господскими указаниями.

За такой переход граней, впрочем, с них взыскивалось, но только уже с послаблением, ввиду облегчающих обстоятельств. Были дамы великодушные и справедливые, которые говорили:

— Ее нельзя очень строго... Мне тогда нужно было, чтобы она пошерамурила, а она была неосторожна.

Тогда девичий проступок рассматривался только как неосторожность и наказывался по более мягкой статье исправительного кодекса.

Но и все эти уловки порою были тщетны и даже небезопасны: на девушек, ходивших для шерамурства, иногда нападала беспамятливость и рассеянность, и они все как назло перевирали, а торговцы, ездившие в разнос, оказывались такими негодяями, что им решительно не стоило верить. Они часто служили и нашим, и вашим, и всех выдавали. Бывали даже такие случаи, что торговцы позволяли подкупать себя господам офицерам, которые от скуки одевали парики и подвязные бороды, одевались купеческими "молодцами" и разъезжали с купцами. Прибыв в дворянский дом, переодетые офицеры вносили и выносили свертки с товарами, а между тем смотрели девиц и дам, которых заставали нечесанными и вообще не в уборе и не в

холе. Дамы, не ожидая подвоха, торговались как скареды,— иногда унизительно лгали и божились, предлагая разносчикам менять новое на старое, и таким образом обнаруживали будничные стороны своего характера и своих правил. А костюмированные офицеры все это примечали и после критиковали их и браковали[35].

Этим способом было расстроено много союзов, которые без таких хитростей непременно бы состоялись. Да и, кроме того,— неприятно было знать, что офицерам известно, почем что куплено или на какую старую вещь выменяно.

Офицеры были часто насмешники.

Когда мучительный вопрос об отделках был решен и кончен, дамы сами принимались со своими крепостными швеями кроить и шить уборы, причем опять фасон приготовляемых платьев должен был составлять важную тайну, за открытие которой нельзя было даже и придумать виновнице достаточного наказания.

При деликатных работах по устройству платьев было много горя и лилось много слез. Одно, бывало, годится, другое не годится, и потому дамы во все время описываемых трудов всегда находились в возбуждении, а домашние мастерицы жестоко страдали и от своего неискусства, которое не отвечало господской требовательности, а может быть, и от бестолковости самих требовательниц.

В такие времена все остальное в доме шло как попало,— все хозяйственные дела и даже самые заботы о столе и детях отходили на задний план, уступая место важнейшим заботам о туалете. Матери семейств вовсе уже не смотрели ни за няньками, ни за гувернантками, ни за поварами. Но все это было ничто в сравнении с тревогами, которые наступали в самый день бала "перед одеваньем", когда повсюду на столах и на фортепиано лежали тюль и газ, кушаки и перевязки. В этот день помещичий дом представлял зрелище трепетное. Чесальные и одевальные девушки замирали от страха, а дамы впадали в высокий нервоз, близко граничивший с потерею сознания.

XII

В доме Немчиновых, где обхождение с людьми было особенно дурно, сборы на предводительский бал сопровождались настоящими ужасами, а в самый день бала все это завершилось роковым событием, скрыть которое было невозможно.

Дама была уже одета, не без неприятностей для присутствовавших при ее туалете; но, прежде чем надеть перчатки, ей вздумалось облить свои руки легким раствором ландышевой воды.

Эта туалетная вода тогда во многих домах приготовлялась собственными химиками и парфюмерами и отдавала такою остротою, что в цельном виде не употреблялась, а смешивалась в известном количестве с простою водою. В таком соединении она становилась сносною для более тонкого и деликатного вкуса. А потому, когда бывшая полковая вдова захотела облить свои руки ландышевою водою, она, совсем одетая, остановилась над тазиком, а молодая горничная девушка взяла тяжелый, хрустальный богемский кувшин и стала сливать на ее руки.

Но девушка, от излишней внимательности, сделала неловкость: кувшин скользнул из ее рук, и вода пролилась на кружева, которыми были обшиты рукава помещицы. Та в гневе оттолкнула от себя наотмашь этот кувшин и попала им девушке в висок. Удар был не силен, но девушка упала тут же на месте, не вскрикнув, а когда ее подняли, то заметили у нее на виске малень-

кую рассеченную ранку, из которой показалась только одна капелька крови. Думали, что с девушкой дурно.

Случаи в таком роде бывали в доме Немчиновых, и на это происшествие не обратили никакого особенного внимания. Виновную девушку вынесли на свежий воздух, а потом по приказанию барыни перенесли и заперли в чулан, где она должна была оставаться до возвращения господ и до решения своей дальнейшей судьбы.

Но выносившие заметили, что девушка не только не поднимала головы, а даже не двигала ногами; однако госпоже об этом никто не посмел доложить, чтобы не испортить ее расположения, и она благополучно уехала с мужем в троечном возке, на козлах которого возвышался парадно одетый и намазанный коричневою помадою Садок.

Прибыв на предводительский бал, Немчинова провела очень весело время, отличалась в экосезах и вернулась домой поздно после большого, продолжительного ужина.

Раздеваясь, усталая, она не успела спросить о виновнице, сделавшей ей неприятность перед отъездом, и осведомилась о ней только на следующее утро, когда приспело время распорядиться, чтобы девушка была передана в руки Садока. Но приказания этого нельзя было исполнить, потому что девушка умерла.

Обстоятельство выходило из ряда обыкновенных, хотя, впрочем, оно не было и совершенно ново. По общим упорным слухам, такие вещи уже бывали в Легощах, и с ними умели здесь управляться. Не разбирая, как и когда скончалась девушка, Садок отправился к священнику, переговорил с ним, и положили, что девушка умерла своею смертью в чулане, прежде чем ее успели наказать. Священник мирно и тихо предал тело умершей погребению.

Концы были пущены не в воду, а в землю, и думалось, что тем дело и кончится, так как, опять повторяю, подобные дела здесь уже бывали и сходили с рук благополучно. Но в эту историю вмешалась всемощная материнская любовь, а на подмогу ей подоспела еще другая, сердечная привязанность. У убитой девушки были мать и жених. Оба эти малоправные существа, оскорбленные в своих чувствах, обнаружили отчаянное упорство и решились отмстить за убитую. С этою целью в одну темную и ненастную зимнюю ночь старуха и молодой садовник бежали из деревни, с намерением принесть жалобу на господ подлежащей власти. Решимость их была столь велика, что они хотели дойти даже до самого государя.

Но, на их несчастие, ночь, когда они бежали после господского ужина, была так бурна, что оба скитальщика сбились с дороги, потеряли путь. Сбившись, они попали к нам в усадьбу, спрятались в риге и отогревались до утра при потухшей овинной печке, а утром их нашли здесь полуокоченелых от холода и привели к отцу.

XIII

По законам и по добрым обычаям дворянской взаимности, отцу следовало немедленно отправить беглых людей назад к их помещикам, чего беглецы, верно, и ожидали, потому что, когда наши люди нашли их в овинной яме, то молодой садовник попросился на одну минуту "поправиться" и, зайдя за стену, подцепил поясок к одному из стоявших в темном углу запасных колосников и повесился на нем в петле, но умереть ему не удалось: его вынули и привели с связанными назад руками к моему отцу.

Это "покушение на свою жизнь" заключало в себе вторую, может быть еще более основательную причину, чтобы личность виновного сейчас же была "обеспечена"

Оба беглые были в ужасном виде — синие от холода и в обрывках вместо одежды. На старухе была одна ветхая крестьянская свитка, а на молодом садовнике — тонкий затрапезный кафтанишко.

Как они решились совершить зимою длинный переход в таком несоответственном времени года уборе — это можно только объяснить их страшным отчаянием, которое плохо рассуждает и ни перед чем не останавливается.

Отец позвал беглых к себе и долго говорил с ними, причем старуха во все время разговора сидела у дверей на стуле и только тихо повторяла: "дочка ты моя, дочка! милая дочка!" Но молодой садовник стоял перед отцом на коленях и все ему рассказывал. После его продолжительного рассказа отец встал с своего кресла и подошел к висевшему в углу его кабинета большому дедовскому, католического рисунка, образу св. Девы со множеством мечей, вонзенных в ее сердце, и стоял перед ним долго, а затем оборотился к беглым и сказал:

— Идите на кухню,— вас там накормят.

Продолжавший стоять на коленях садовник упал отцу в ноги, а старуха посмотрела на своего товарища, потом на отца и тоже спустилась со стула и дрожа повалилась в землю.

Отец ее поднял и сказал:

— Не кланяйся мне, старуха: ты старше меня. Человек не должен кланяться в ноги другому человеку.

— Не выдайте нас, государь Лев Адамыч! — вскрикнул садовник.

— Не выдай, Лев... — застонала за ним и старуха.

Отец улыбнулся.

— Не плачь, не плачь,— отвечал он ей и, снова улыбнувшись, добавил,— Лев не выдаст. Ступайте согрейтесь и поешьте. Вы здесь до вечера целы.

А когда оба беглые, по приказанию отца, поднялись на ноги и направились к выходу, отец у самой двери тронул садовника за плечо, как будто выпроваживая его вон, и тихо сказал:

— В сумерки приди на родник.

Родник этот был ключ прекрасной, как хрусталь чистой воды, бивший у нас в полугоре. Он был обнесен невысоким срубом, и воду из него не черпали цебором[36], а она текла из отверстия, в которое была вделана труба.

Летом это было прекрасное, привлекательное место, откуда открывался довольно широкий вид на усадьбу и на дальние дороги, в том числе и на ту, которая вела в город.

Родник был любимым местом отдыха моего отца. Он ежедневно сидел здесь вечерком на маленькой, им же самим устроенной дерновой скамеечке, и этой привычки не оставлял и зимою, когда родник был занесен снегом. Тропа к нему не забивалась, потому что неленивые люди все-таки приходили сюда за чистою водою, а для наших собственных домашних потребностей никогда не брали воды из реки, а только отсюда. Но к роднику люди не ходили вечером, потому что здесь лет пять тому назад замерз сбившийся с дороги мужик и лисица отгрызла ему нос и пальцы.

Отец, разумеется, не считал этого страшным и имел довольно частым обыкновением делать за родник маленькую прогулку в промежуток между вечерним чаем и ужином.

С ним всегда ходила серая дворняжка по названию Фиделька.

Беглых немчиновских людей накормили на кухне, а потом они, как-то ни для кого незаметно, куда-то ушли.

Перед тем, когда отпускать старосту, отец, отдав ему распоряжение, сказал:

— Да! Я было и позабыл. Здесь есть немчиновские люди.

— Точно так, батюшка,— отвечал староста.

— Не знаю, чего это и куда они идут. Их надо было обогреть, а теперь скажи им — пусть от нас идут утром.

— Да уж они, ваша милость, ушли.

— А ушли, так и прекрасно. Нам нет до них дела.

— Что нам, батюшка, за дело до чужих людей. Дай Бог только тебе здоровья,— отвечал мужик и махнул рукою.

Через три дня эти немчиновские беглецы были арестованы в губернском городе, перед губернаторским домом, в который они желали проникнуть, но были остановлены у дверей; у них оказались какие-то странные паспорты, написанные для них, с пропуском во все места империи. Такие паспорты в наших местах делали на постоялых дворах "неизвестного рода" люди и брали за них недорого.

Арестованных тотчас же заключили в полицейскую часть, и они, конечно, напрасно требовали бы для себя свидания с губернатором, если бы город в это время не находился в особом положении.

В губернии нашей в это время происходила сенаторская ревизия, и полицейские не осмелились не доложить губернатору о людях, объявляющих убийство, а губернатор тоже не мог замять это дело, и доносу старухи с садовником был дан ход. А вместе с тем приступили к розыску и того: откуда беглецы взяли свои фальшивые паспорты и большой, зеленый, вязанный из гаруса шарф с кистями,— шарф, какими тогда только одни дворяне да офицеры обвязывались по шубам крест-накрест через шею под плечи. Шарф был "теневой", хорошей, затейной работы, вывязанный "акордом" из шерстей, искусно подобранных в тень "городами" или зигзагами[37]. Так вязали только дамы и барышни, имевшие много свободного времени, и бедный, притом беглый крепостной человек не мог законным путем приобресть для себя такую роскошную вещь. Но шарф садовнику, конечно, был теперь очень кстати, потому что он им весь обвязал себя по затрапезному казакину и таким только образом мог не замерзнуть; но и то, впрочем, он так сильно простудил грудь, что его немедленно же положили в острожную больницу.

Шарф оказался произведением рук моей матери. Он был связан ею для отцовых разъездов при его следственной службе, и в данном случае повел к компрометирующим открытиям. Садовник признался, что они со старухою были у нас и что шарф дал ему сам мой отец у родника, вместе с двумя рублями денег, которых беглецы на себя не истратили, а приобрели на них на постоялом дворе от неизвестного человека паспорты во все места империи.

Отцу предъявили через станового шарф и просили дать отзыв: не знает ли, от кого могли быть получены известные фальшивые паспорты?

Отец отвечал, что шарф был его и что он дал эту вещь человеку, который был раздет и мог замерзнуть от холода, а что касается вопроса: кто мог дать беглым фальшивые паспорты, то он ничем в раскрытии такого вопроса послужить не может, так как людей, способных этим заниматься, не знает, а думает, что их могут знать беглые и полиция.

В ответе этом была шпилька, вызванная вопросом, который отец имел основание считать обидным. Это заставило нехорошо говорить от отце, а еще вреднее вышло то, что когда все окольные дворяне на так называемом повальном обыске о характере и поведении Немчиновых отозвались, как

следовало дворянам, т.е. что "помещики эти вели себя во всем, как добрым и благородным людям вести себя следует", то отец мой поступил "как выскочка" Сначала он вовсе отказался дать о Немчиновых какой бы то ни было отзыв, а потом, когда вмешавшийся в дело сенатор пожелал узнать о причине такого отказа и написал сам к отцу простое и короткое письмо, с просьбою "сказать для пользы человечества" все, что ему известно, то отец написал, что "живет здесь недавно и знает мало, но видел мужиков на цепях, и до него доходили слухи о жестоком обхождении господ Немчиновых и особенно крепостного их человека Садока"

Немчиновы сразу же были страшно перепуганы оборотом, какой принимало дело после отцовского отзыва, и обнаружили большую бдительность, которая в то же время свидетельствовала о живом сочувствии к ним должностных лиц в губернском городе. Немчиновых не только аккуратно извещали обо всем, но и хорошо их направляли.

Сначала они пришли в большой гнев на отца,— хотели представить на него закладную и потребовать сразу все деньги, которых у отца, разумеется, в наличности не было. Соседние, пылко негодовавшие, но неискусные в делах дворяне находили, что Немчиновы так именно и должны были поступать с отцом, чтобы "вытолкать из дворянской среды человека без направления"; но среди губернских дельцов были люди умнее, и по их наущению в один прекрасный день к отцу приехал верхом Садок.

Он был убран опрятно, но растерян и смущен, как палач, подходящий к исповеди.

Отец не хотел его видеть, но Садок приказал доложить, что он с важной бумагой по делу.

Его ввели в кабинет, где он, впрочем, провел только одну минуту и вышел неблагополучно. Дверь распахнулась перед ним, точно соскочила с петель, и Садок вылетел из нее бледный и с расстегнутой поддевкой, а вслед за ним вдогонку отец вышвырнул свернутый вчетверо лист гербовой бумаги и закричал:

— Убирайся, негодяй, как можно скорее!

Что там было такое,— отца никто не смел спрашивать, но после обеда в тот же день он уже был покоен и, поглаживая нас с братом по головам, сказал:

— Сегодня, ребятки, мы могли быть богаты и без долга.

Мать посмотрела на него и спросила:

— И что же вышло?

— Мы бедны... как прежде... а может быть...

— Что же такое наконец? — переспросила мать.— Ты меня тревожишь!

— Для чего тревожиться. Может быть только то, что мы с этого дня еще беднее.

— Не понимаю,— проговорила мать, и вздрогнув, оборотилась к двери, в которую вошла наша девушка и подала запечатанный конверт.

— От кого? — спросила мать.

— Из Брасова, от старой барыни.

— Боже, что там такое?

Недоумение матери было понятно, потому что бабушка имела отвращение от писем и никогда их не писала; но отец понял в чем дело и сказал:

— Позволь мне это письмо!

— Зачем? — спросила мать.

— Что за вопрос!

Отец держал протянутую им руку, и матушка положила в нее письмо.

— Благодарю,— сказал отец и, отойдя в сторону, разорвал конверт, пробежал листок и швырнул его в топившуюся печку.

Матушку это обидело, и она глядела на него молча своими кроткими серыми глазами, в которых светился тихий упрек.

Отец был сильно взволнован: он, по-видимому, как будто не обращал внимания на мать и не сожалел о своей резкости; но, пройдя три или четыре раза по комнате, он остановился, взял обе руки матери в свои руки и стал перед нею, глядя ей в глаза.

— Что с тобою? — воскликнула мать.— Ты болен?

— Нет, я не болен, а я виноват перед тобою: прости меня.

— В чем?

— В том, что мы бедны... что я могу умереть и оставить тебя с детьми в ужасном положении...

— Прощаю, прощаю. От всей души прощаю. Ты не виноват... ты трудился.

— О, да, я трудился и тружусь,— отвечал мой отец,— и я живу так, чтобы иметь право открыто глядеть в глаза честным людям. В этом я полагал мое счастие, но оно было неполно: для моего полного счастия недоставало только одного — знать, что ты можешь не осудить меня за то, что я не хочу сделать нечестного дела, даже для тебя и для детей моих.

— Ты в этом не сомневайся.

— Благодарю, и теперь скажу тебе: утром мне возвращали закладную с тем, чтобы я дал ложный отзыв о Немчиновых. Теперь о том же пишет тебе твоя мать и напоминает нам, что от моего поведения зависит также ее состояние, так как у нас могут все продать с молотка.

Матушка заметила, что напрасно он не показал ей бабушкина письма.

— Я боялся...

— Не искушать меня?

— Да.

Мать покачала головою и сказала:

— Грешно.

— Я уж просил прощения.

— И я простила, но если бы я сама прочла письмо, ты бы так не тревожился.

— А что бы ты сделала?

— Я написала бы maman, что муж мой честный человек и должен поступить, как велит совесть.

— Но она писала о себе и о наших детях.

— Я бы ответила то, что я сказала. Всегда надо быть честным.

— Поди же и напиши это.

Мать вышла, а отец подошел к окну, сжал у груди руки и со слезами на глазах воскликнул:

— Господи! я счастлив! дай мне одно еще, чтобы никогда не возроптала на Тебя душа моя! дай ей, приявшей благое, уметь и злое стерпеть.

В вечер этого памятного для нашего семейства дня в Легощах был арестован Садок и в перепуге, что вся вина напрасно ляжет на него, немедленно же заговорил, что он нимало не виноват в смерти девушки, нечаянно убитой кувшином, а что это вина злой барыни, которая понапраслине его выдала, так как и прежние многие ее смертные тиранства он совершал по ее приказаниям, и теперь их покажет.

Злодействам следовал целый перечень и... все это была вина моего отца!

— Вот что значит иметь в своей среде одного человека без надлежащего направления! — говорили дворяне.

А слушавшие их опытные подъячие, повертывая в руках круглые табакерки, поддакивали:

— Одна-де нечистая овца все стадо портит.

И все были согласны и в том, что отец наш или имеет какие-то “надежды и планы”, или же “действует очертя голову”

XIV

По требованию сенатора были передопрошены крестьяне, и по их указаниям, в осиновой роще, за господским домом в Легощах, была разрыта в нескольких местах земля и там найдены три человеческие скелета, принадлежавшие таким людям, которые по бумагам значились в бегах и о которых в свое время для отвода глаз производились розыски. Отделенный от своей госпожи, Садок разъяснял все как по писаному, и это погубило Немчиновых и довело бывшую полковую вдову до ссылки. Но за то против отца моего это подняло общее ожесточение в губернии со стороны всех дворян, видевших в его отзыве сенатору “измену благородному сословию” Сам же Немчинов немедленно предъявил к отцу долговое требование, по которому и приступлено было к описи, а потом и к продаже нашего имения. Отцу удалось только спасти тот маленький хутор, при котором мы жили и который уже никак нельзя было назвать более как однодворческим участком. Мы имели около десяти душ крестьян, сад, мельницу и десятин шестьдесят распашной земли без леса и без всяких иных угодий. Хозяйничать отцу стало решительно не при чем, а на службу он не мог надеяться, потому что коронной службы ему искать было уже поздно, а на выборную должность от дворянства нечего было и надеяться. Дом наш стал совершенно опальным: и прежде мало посещаемый, он теперь уже не видел никакого стороннего человека кроме одного нашего сельского дьякона Флавиана, который имел, по собственным его словам, к отцу моему “пристрастие” и доказал, что это не были одни пустые слова.

Дьякон Флавиан, уже помянутый выше, должен быть мною подробнее описан как первый друг, которого я встретил в жизни и который научил меня быть осторожным в суждениях о людях.

Флавиан был мужчина большой, русый, с огромными косами и крошечной клочковатой бородкой из тех, какие почему-то будто специально предназначаются для украшения лиц кулаков и прасолов, переполняющих наши пригородные слободы. Лицо у дьякона было сухое и мускулистое, дышавшее неугомонною подвижностию и острою смелостию. Сложением он тоже был сухощав и даже поджар,— ходил на очень длинных ногах и довольно странною, скорою походкою, но и она его еще не удовлетворяла. Все его короткое, сравнительно с ногами, туловище на походке стремилось опережать ноги. Если он переходил из одной комнаты в другую, то прежде, чем ноги его успевали переступить за порог,— голова и плечи его уже были там, впереди, и он уже говорил и действовал своими длинными руками. Одевался он постоянно в нанку[38], но чисто, и никогда не брал в рот ничего хмельного, а пил только чай, но зато пил его в страшном изобилии, знал в нем толк и умел его мастерски готовить. Простым, черным чаем его угощать было невозможно: он пил только сквозник[39]. Глаза у него были серые, живые и зоркие, с чрезвычайно неровным выражением. То они смотрели спокойно, добро и даже мечтательно, то вдруг начинали бегать, как у крысы. Голос он имел приятный баритон и, как выше сказано, умел хорошо служить и петь, но был, по собственным его словам, “превеликий лентяй” Впрочем, “лентяй” он был только по отношению к прямому своему служению, а не ко

всему вообще. Напротив, он вечно хлопотал: ходил, ездил, кроил, шил, покупал, продавал,— "ковал деньгу" и имел ее в таком количестве, что слыл богачом, и всегда возил деньги с собою,— "на тот случай, чтобы нигде не упустить чего-нибудь продажного и человека из нужды выручить"

Выходило так, что покупал он все чрезвычайно дешево, но являлся всегда с деньгами кстати, и маленькая цена, какую он давал, в самом деле являлась "спасением" и "выручала" того, кому приходилось круто.

Впрочем, Флавиан тоже и продавал все недорого,— с очень маленькими барышами.

— Без барыша,— говорил он,— нельзя,— за это меня отец на том свете заругает, а дай маленькую профит и бери с Богом.

Он любил жизнь, оборот и развязку,— всех укорял в сонности и интересовался Суворовым и Америкой, куда ему хотелось бы "хоть нос просунуть"

— Там бы,— говорил он,— либо меня всему выучили, либо я бы сам их чему-нибудь научил, а только предчувствие мое, что мне бы не здесь, а там с ними настоящая компания.

Богат он, разумеется, не был. Весь его капитал во всех статьях многосложного, но мелкого оборота, может быть, составлял каких-нибудь шестьсот, семьсот рублей, но они у него постоянно позвякивали за подрясником, и казалось, что их у него очень много.

— У меня большое понятие к торговой части,— говорил Флавиан.— А через что именно? — через то, что я капитала моего не объясняю. Никто не знает, сколько у меня есть: может быть, всего ничего, а может быть — очень много. Один, например, беднится,— все жалуется, что у него ничего нет; а другой ботвит и бахвалит, что у него всего много. К чему это соответственно? Никто бедности не поможет, а богатству всяк позавидует. А я ничего не объясняю и молчу, а есть у тебя что продать — давай, я сейчас куплю и цену дам. Давай хоть сразу на сотню рублей — я и на всю сотню куплю, а если больше, так я и то найду. И все наживаю.

И когда Флавиан говорил: "продай,— что у тебя такое? я куплю",— глаза у него искрились фосфорическим блеском, как у крысы; но чуть только он переменял позицию мысли,— у него являлось совсем другое выражение. А он долго на одном не любил томиться. Похвалясь своей деловитостью, он сейчас же бросался в область высокого и прекрасного.

— Я ведь этого и не стою, что Господь мне помогает в пустых делах моих, потому что я к главному делу моему леностен. Я молюсь мало и много чего не соблюдаю, что должно по сану, но Бог дал, что у меня жена благочестива. Она много молится, где рано до зари встанет и все молится; кур щупает, а сама все с молитвою. Я за ней спокоен. Она и к бедным и к сиротам жалостлива, и нищенки без подаяния не отпустит, и никого не осудит, и не обманет никого, разве кроме меня грешного. Но я это терплю.

— Полноте,— говорили ему,— матушка дьяконица такая, можно сказать, святая женщина,— может ли она вас обманывать!

— Ах, не говорите этого,— пожалуйста, не говорите. "Святая!" — да что же такое! Я и сам иной раз на нее смотрю и раздумаюсь: что это про других пишут, а ведь вот она у меня на глазах — совсем святая, а все-таки хоть и святая, да женщина: возьмет и обманет. Только в каком роде? Попросит: "дай кисет мне гривну взять, сироте надо", и непременно две гривны вынет и скрадет. Я уже и знаю, говорю: "скрала гривну" Лгать не станет, а увerткою ответит: "нам Бог даст" Я терплю. Трех сирот, ведь, держим, а для чего бы? — свои дети есть. Говорит: "так надо,— я сама меньше ем" Вкус у нее такой, что насажает сирот, накрошит им хлеба в молоко и любит смотреть, как питаются. Это ее первая радость! Я ей не перечу — пусть едят для ее

удовольствия,— у нас хлеб есть свой наживной, неграбленный.— "И сама, говорю, кушай, сколько аппетит позволяет,— мой капитал необъяснен — хватит нам",— но она совсем безаппетитная,— кто ее знает, чем она только жива, крошечки какие-нибудь поклюет, как театральная сильфида, а меж тем ведь тело у нее пушнее всех на поповке, и даже на всем приходе другой такой сытой нет. И как мой капитал, так и ее полнота все равно никому не объяснены.

И дьякон весь просиявал, весь проникался теплою елейностию, говоря о своей полной дьяконице. Ему становилось по ней скучно,— он вдруг срывался с места, садился на свою тележку и уезжал радоваться, как его жена любуется, смотря на сирот, хлебающих его хлеб с молоком[40].

Это был отдых, удовольствие и даже блаженство отца Флавиана, которым он наслаждался как раз столько, чтобы его бодрая и подвижная натура получила для своего равновесия реванша. Потом он опять летел вперед себя головою, в какую-нибудь свою амбарушку, и там перебирал свою торговую рвань, приводил всякий хлам в пригодное состояние, возвышающее его ценность, и выколачивал, сидя на пороге, по счетам барыши, которые надеялся выручить.

Отец мой, как я сказал, платил Флавиану приязнью за его приязнь и, зная хорошо его добрые стороны, называл его: "прямая душа на кривых костылях"[41].

Мы многим обязаны Флавиану нравственно, так как он один не изменял нам в горе,— и материально, так как он спасал нашу семью в роковые минуты, открывая моей матери кредит, и наконец Флавиан явил себя с удивительной стороны при кончине отца, когда погибель наша казалась совсем неизбежною.

XV

Справедливо говорит французская поговорка, что "все когда-нибудь начинается", так начинаются и слабости крепкого, "егда приидет оскудевати его крепости" И тогда сто раз блажен тот, при ком обретается "человек иной, иже его препояшет"[42].

Мать моя, с которою отец наш жил в прекрасном согласии, хотя не походила на свой "брасовский род" в отношении невладения собою перед взманками и искушениями жизни, но она была не борец с обстоятельствами. Встретясь с отцом моим, человеком определенных и твердых правил, она совершила сразу все свое призвание тем, что полюбила его и этой любви принесла серьезную жертву. Она была долго под проклятием и чувствовала это, но затем она более уже нигде не обнаруживала своей инициативы, а влеклась за своим избранником, как маленькая комета, увлекаемая силою движения большой.

Прекрасная женщина и недурная хозяйка, она не имела большого характера. Мы ее видели с письмом от бабушки в пользу Немчиновых. Матушка все верно поняла и верно почувствовала, но... это потому, что она видела отца. Без него она бы непременно потерялась и не знала бы, что ей ответить на бабушкино требование. Теперь после нашего разорения она часто бывала в грустном расстройстве, причиною которого было не столько собственное наше разорение и бедность, сколько то, что бабушка Брасова, родная мать нашей матери, сама присоединилась к взыскателям и тем ускорила развязку с продажей нашего имения.

Отец за это нимало не сердился и даже находил в порядке вещей, но матушку это сокрушало.

Всего более она ни за что не хотела, чтобы об этом знали дети.

Отец весь предался нашему воспитанию. Он сам занимался с братом Адамом всеми науками и приготовил его в четвертый класс гимназии, когда тому минуло только одиннадцать лет, а я в это время уже умел писать под диктовку на трех языках, несмотря на то, что мне едва минуло тогда шесть лет.

Хозяйство совсем перестало занимать отца. Оно было слишком мелко и ничтожно. Все, на что он надеялся, ушло из рук, а к тому, что осталось, он потерял охоту прилагать настоящие усилия[43]. Матушка только знала домик да обшивала нас при содействии кое-какой оставшейся прислуги. Полеводства и иных отраслей сельского быта она не знала, или если и знала, то только en grand[1*], как водится в настоящих дворянских домах, где есть бурмистры, ключники и приказчики, а не по-однодворчески, где хозяин все заключал в одном своем лице. В насмешку над таким мелкопоместным людом писали тогда пьесы, из коих в одной я помню куплет, где личность владельца представлялась так, что он "сам приказчик, сам боярин, сам холоп и сам крестьянин,— сам и косит и орет, и с крестьян оброк дерет" Родители мои не умели совместить в себе все это, и хозяйство наше непременно сошло бы на нет, если бы в спасение наше не вступился Флавиан, эта "прямая душа на кривых костылях" Будучи в постоянных разъездах по своим торговым делам, он беспрестанно к нам заворачивал, и всегда будто "мимоездом"; он наблюдал, когда созревала наша гречка, насылал нам помольцев на мельницу, выхвалял всем доброкачественность наших жерновов и честность мельника; находил покупщиков на нашу пеньку и сам продавал вместе со своими наших уток и индюшек; возил отцовы письма на почту, при случае устраивал кому-то не вовремя продававшиеся продукты и по секрету от отца всучивал матери взаймы маленькие суммы денег. Словом, он был настоящим добрым гением нашего бедствовавшего семейства; но большей помощи, конечно, сделать не мог, особенно в том деле, которое становилось всех нужнее и безотлагательнее.

Далее вести обучение Адама дома было невозможно: надо было отдать его в четвертый класс гимназии. Но как это сделать? Платить за него было нечем. Мы едва жили, едва кое-как и кое-чем были прикрыты. Убор наш составляли некоторые примитивного фасона "кафтанцы", перешивавшиеся по сообщенным от дьякона выкройкам из старых материных платьев и называвшиеся "бешметами" Обувь нашу составляли башмаки, которые нередко были худы насквозь и зачинивались сахарною бумагою. Один раз, я помню, как дьякон починил мои сапоги оторванным козырьком от старой фуражки...[44] Отец страдал и стал подаваться: несмотря на свою гордость, он два раза обращался к губернскому предводителю, прося как-нибудь устроить хотя одного из нас на дворянский счет; но ему всякий раз было в этом отказываемо. Тогда он стал посылать просьбы в Петербург о зачислении нас в училище на счет казны, но результат был тот же самый: ему отказывали. После многих неудач он вздумал написать сенатору, при котором было раскрыто немчиновское дело и, припоминая этот случай, по которому он подвергся общей опале и недружелюбию, просил помочь ему в устройстве нас в учебные заведения[45]. Сановник ответил скоро и вежливо, но не утешительно: он писал, что не имеет никакого влияния на учебные дела, и советовал идти законными путями. Отец повторил просьбу и рассказал, что законные пути им уже все испытаны, но не оказались ему полезны; что он терпит преследование от людей своей среды за то, что стал на сторону угнетенных и бесправных крестьян, и что он не как награды, а как милости просит не ос-

[1*] Здесь: в основном, в целом (*франц.*)

тавить его в самом жестоком горе от невозможности дать воспитание детям. "Я не придаю никакой особой цены моему поступку, за который всеми обесславлен и брошен с гнусною кличкою предателя и доносчика,— писал отец,— но я думаю, что самой власти неудобно, чтобы люди, имевшие смелость говорить правду, а не ложь, были предметом посмеяния и притчею в людях. Через это оскудеет вера в правленье"

Тем он окончил письмо свое, а дьякон отправил конверт на почту и очень ждал, что-то такое сенатор ответит. Флавиану очень нравилось письмо и особенно конец.

— Именно, именно так,— говорил он,— вся суть вещества в том... да не оскудеет вера... Что будет, если не защитить правого... Это нужно!

И вот, в пору таких ожиданий, был день, когда после обеда заехал к нам по обычаю Флавиан и привез в дар отцу, будто бы "за грош" вымененные у исправника костяные шахматы, и сказал: "вот это нам будет на зиму забавка" И оба они расставили фигурки и сели играть на крылечке. А в это время колокольчик динь-динь-динь, и подкатил становой.

Гость это был не из приятных, особенно для людей, которые имеют причины бояться описей и взысканий; но становой наш был парень добрый и поспешил успокоить отца.

— Бумажка есть,— заговорил он,— да пустая, не денежная. Только губернаторская, а к нему из Петербурга.

Он вынул и подал листок, где излагалось от Бекендорфа[46], что такой-то дворянин (т.е. мой отец) обременяет должностных лиц несоответственными докучаниями в весьма наглом тоне. Далее рекомендовалось ему это воспретить и в том взять с него подписку.

Этот приезд станового я помню, потому что мне тогда шел уже седьмой год, а Адаму двенадцатый, и мы были с изрядными понятиями о затруднительном положении нашего семейства; а случай устроил так, что нас интересовали вновь привезенные дьяконом шахматы и мы стояли возле отца и дьякона, когда они продолжали свою игру.

Я точно сейчас вижу отца, как он тихо толкнул Адама пальцем, и не своим, а как будто чьим-то чужим голосом молвил: "Перо!" — и подписал подписку.

Становому подали чаю, и он уехал, увозя с собою отобранную подписку.

По-видимому, самому становому было тяжело исполнить то, что он сделал, а стакан дьякона остался совсем нетронутым, потому что Флавиан незаметно куда-то исчез и не возвращался.

Проводив станового, отец тотчас спросил:

— Где же отец дьякон?

Но дьякона никто не видал. Тогда отец взял фуражку и пошел в сад.

Ему, очевидно, хотелось быть одному, но едва он углубился в дальние куртины, как заметил, что в старом вишеннике у канавы кто-то ворочается.

Отец пошел посмотреть, кто это, и увидал Флавиана, который собирал что-то с земли в платок.

— Что это вы здесь делаете? — спросил отец.

— А вот, нашел печерицы... да ведь сколько во множестве! — отвечал дьякон.— На целую сковородку хватит.

Он подал в руке отцу свой клетчатый бумажный платок, в котором были собранные им грибы, и добавил:

— Велите-ка зажарить к ужину в сметанке. Сюпер-деликатес как вкусно.

— Да,— отвечал отец,— мне теперь кстати гриб съесть.

Дьякон поморщился и вдруг,— чего он никогда не делал,— допустил такую фамильярность с отцом, что взял его за плечи и, встряхнув как ребенка, проговорил:

— Полно, полно, Лев Адамыч... довольно!

— Я их отдам тебе,— отвечал отец, тоже никогда не говоривший с Флавианом на "ты"

Все у них вдруг как-то сблизилось до удивительного объединения, в котором они понимали уже не слова, которые произносили, а словно читали в душе один у другого.

Что такое отец хотел отдать дьякону?

"Отдам их тебе!"

Кажется, надо бы понимать так, что дело шло о печерицах, но дьякон понял не так.

— И что же такое! — отвечал он,— я и всегда близок есмь к ним и... таков и пребуду.

— Да, уж, пожалуйста, пребудь! — повторил отец и крепко пожал его руку.

— И пребуду.

— И... отдай их куда знаешь... в портные, в кузнецы... в сапожники...

— Ну вот еще, что заговорил... Для чего это "в сапожники"? чтобы каждому к ногам сгибаться да мерки снимать...

— Все равно... нельзя не согнуться...

— Ну, пустое говоришь,— ты сегодня в огорчении. Подождем завтра...

— А что будет завтра?

— Не знаю. Утро возвещает глагол. Верь в Бога: сила Его совершается в слабости[47]. Ты ослабел, а Он силен. Последуй совету — усни раньше. Покушай моего собиранья грибков и усни, а я завтра рано приеду.

— Хорошо,— отвечал машинально отец.

Но дьякон заметил, что он говорит с ним безучастно, и сказал:

— Нет, ты нехорош. Я сам отнесу на кухню печерки. Дай их сюда. Я научу, как их надо испечь,— ты покушай и ляг, и не думай о том, что было. Все пойдет наново.

Отец пожал ему руку и тихо молвил:

— Знаешь, в каком случае возможно, чтобы что-нибудь пошло наново?..

И, не ожидая ответа, добавил:

— Это возможно тогда, если... меня не будет более на свете.

— Вот тебе и раз!

— Поверь мне, поверь: я все испортил... такой был характер.

— И хороший характер.

— Ничего не хорошего. С таким характером надо было жить одному.

— Не хочу я с тобой теперь говорить! — ответил дьякон таким тоном, как будто в глубине своей души он сам с отцом был совершенно согласен.

XVI

Грибы, собранные Флавианом, были зажарены, и отец их скушал, а ночью я проснулся от какого-то необыкновенного шума и беготни в доме. Я видел, как брат Адам вскочил и бросился в зал, где отец спал на диване. Все бегали и суетились, отца то терли, то поднимали на кресло, то опять клали на диван. Он говорил только одно слово:

— Пожалуйста, пожалуйста!

Когда его поднимали, он просил: "пожалуйста" Его клали, он опять повторял то же "пожалуйста"

Я пролез между людей — взглянул ему в лицо и отскочил: лицо отца было страшно и точно все покрыто прилипшею к нему черной вуалью.

Я зарыдал и закричал:

— Боже мой! что это с папой!

Он взглянул на меня и снова произнес:

— Пожалуйста, пожалуйста!

Меня тотчас же толкнули в детскую и сказали:

— Молись за папу. Он умирает.

Я никак не думал, что можно так скоро умереть, а отец все стонал:

— Пожалуйста, пожалуйста! — И через час эти крики затихли: его уже не было. Он умер утром на заре, и померкшие глаза его имели утешение остановиться на лице Флавиана, за которым успели послать. Он вбежал с заплетенной косой и с свертком захваченных им с собою лекарств.

Лекарства уже были не нужны, и последнее, чем мой отец мог проявить свое участие к остающимся на земле, был взгляд, брошенный им на нас с Адамом и потом переведенный на дьякона с шепотом: "Пожалуйста, пожалуйста..."

Дьякон нагнулся и так же тихо ответил: "непременно, непременно",— и вдруг наложил свои руки на лицо отца и, послюнив пальцы, начал наводить ими сверху вниз его открытые веки над остолбеневшими глазами.

В комнате воцарилась страшная тишина, о которой забыть невозможно. Жутче этого я ничего не помню. А между тем день начинался, всходило солнце, и луч его как раз в эту минуту через деревья, которые росли у окна, скользнул в комнату.

Дьякон оборотился к людям и сказал громко:

— Принесите сюда ведро воды и сноп соломы.

"Ведро воды и сноп соломы" Вот чем прервали тишину! Вот что мы услыхали, когда почувствовали себя сиротами.

Мать ужасно, неимоверно вскрикнула и протянула вперед руки, но так и остановилась.

Флавиан взял ее на руки и понес, как ребенка, в ее спальню.

Голос дьякона и его шаги были такие же, как обыкновенно, но все казалось теперь чрезвычайно громким и резким. И сам он представлялся весь в каком-то необыкновенном напряжении. Он ходил большими шагами, раздвигал мебель со стуком и наконец бросил на пол сноп соломы, раздвинул его ногой и положил на пол тело отца. Потом разорвал бывшую на нем рубашку и велел его мыть, а сам ушел к матери.

Адам стоял над отцом, которого поворачивали на соломе, а я не выдержал и бросился в сад.

Пробегая через переднюю, я зацепился за длинную ручку неубранной еще с буфетного столика сковороды, с нее поднялся рой мух, которые доедали недокушанные отцом жареные грибы.

Это была холера, первою жертвою которой лег мог отец[48].

Он расстался с жизнию скоро и неожиданно, но... как будто сам того желая.

Отца похоронили в простом деревянном гробе, который сделали наши мужики; но большие имущественные недостатки и тут дали себя чувствовать. У нас не было даже столько досок, чтобы можно было сколотить простой гроб с голубцом, а крестьяне находили, что для помещика необходим голубец, то есть крышка не из одной, а из трех досок. В дело вступился дьякон Флавиан, у которого между прочим были в запасе и доски. Гроб сделали с голубцом.

Всеми похоронными делами распоряжался дьякон. Без него мы совсем бы потерялись.

XVII

Матушка была в том состоянии, которое принято называть столбняком. Как ей подали в правую руку рюмку с тертым хреном, чтобы она понюхала, так рука эта и оставалась согнутою целые три дня. Это производило очень странное и страшное впечатление.

При панихидах она крестилась, но, перекрестившись, сейчас же опять сгибала руку по-прежнему и так лежала в спальне, где были закрыты ставни и занавешены окна.

Замечательно еще, что мать повторяла то же слово "пожалуйста", которое чаще всего произносил перед смертью отец. Определенное желание она выражала только одно — чтоб было темно. Так она и просила:

— Пожалуйста... пожалуйста... чтоб темно.

Вокруг ее действительно было очень темно, так темно, что ничего нельзя было видеть, входя к ней со света.

Положили отца в одном белье и подпоясали крестьянским пояском, а на ноги надели простые лапти. На этом настоял дьякон, уверяя, будто отец так желал. Отцово платье, которое было подано для того, чтобы надеть на него, дьякон велел убрать и сказал:

— Это я пересмотрю,— это все пойдет в перешивку.

С ним не спорили, да и некому было спорить. Притом же на стороне дьякона в этот раз оказался брат Адам. Он подтвердил, что отец действительно хотел быть похоронен, как простой крестьянин, и что это так и следует исполнить.

Адама послушались, так как он был старший сын и теперь вдруг в глазах у всех получил особое значение: он был старший в роде. И я это чувствовал, даже, может быть, сильнее всех взрослых. Я смотрел на доброе, простонародное лицо брата и думал: он не неженка, его любил отец, он сам учил его, он его хвалил, он говорил мне:

— Если я умру, ты слушай мать и брата Адама, в нем превосходное сердце, над которым рано пролетает голубь и снизу проползает змей, и оба они оставляют незаметный след[49]. Если Бог его сохранит, то он поживет недаром.

Я смотрел на Адама, как он стоял, как он глядел, как он подходил и ласкал меня, тогда как собственное его сердце разрывалось от горя, и, улучив минуту, тихо взял и поцеловал руку его.

Он изумился, посмотрел на меня, как большой, и молча перекрестил себя и меня.

Как я ни был убит скорбью об отце, меня не оставляли мысли: что же мы сделаем? Мы так малы... мы совершенно бессильны... Где мы будем учиться... и чему?.. Дьякон Флавиан! Вот он идет впереди отцова гроба и разговаривает с батюшками... О чем? Может быть, о нас... может быть, об урожае гречи... У нас никого нет более сильного... мама даже не провожает гроба... Останется ли она сама жить на свете, или... дьякон Флавиан отдаст нас одного в кузнецы, другого в сапожники и...

Мне стало ужасно страшно и горько, я рыдал неутешно.

Дьякон Флавиан возгласил отцу над могилою вечную память, а когда земля застучала по гробу, он снял стихарь и, взявши нас за руки, тихо сказал нам:

— Не бойтесь!

Мы снова еще сильнее заплакали и бросились к нему на грудь. У дьякона тоже были слезы, но он сейчас же оправился и заговорил:

— Не расслабляйте меня, а то худо. Вон где надежда!

Он поднял руку к небу и произнес с мало ему свойственною торжественностью:

— "С вами есмь,— не бойтесь!" — глаголет Господь![50]

Слова эти показались нам точно будто для нас особенно сказанными и капнули теплом на сжатые сердца наши: слезы наши стали нам в сладость.

В сумрак смущенных бурей несчастья душ точно сходил "Повелевающий бурям" Земля, казалось, гнулась и исчезала под нашими сиротскими ногами, как заливаемая волною ладья, но мы слышали ободряющий голос:

"Я с вами — не бойтесь"[51].

ПРИМЕЧАНИЯ

Незавершенный роман "Незаметный след. (Из истории одного семейства)" печатался при жизни Лескова: Новь. 1884. № 1. С. 116—134; № 2. С. 220—232. Рукопись неизвестна. Публикуется по журнальному тексту.

Неизвестны причины незавершенности романа. В письме в редакцию журнала "Новь" в сентябре 1885 г. по поводу прекращения публикации "Незаметного следа" Лесков ссылался на "разные неблагоприятные обстоятельства" (XI, 235), имея в виду, очевидно, прежде всего цензурные трудности.

1 Цитата из Апокалипсиса: "...отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними" (14:13).

2 Когда Иван Грозный вел войну против Литвы, она стала прибежищем для русских, бежавших от царских преследований, особенно усилившихся после введения опричнины. Многие становились сторонниками церковной унии, то есть объединения православной и католической церквей с подчинением папе римскому.

3 Вероятно, Анастасий II, византийский император с 713 по 715 г.

4 Очевидно — в Орел. Возможно, при создании образа Льва Безбедовича сыграли роль личные впечатления Лескова: в Орле жили сосланные после восстания 1830 г. поляки. Лесков упомянул об этом в статье "На смерть М.Н.Каткова" (1887; XI, 161—162).

5 См. примеч. 2 к предыдущему фрагменту.

6 О селе Брасове Лесков упоминал в "Автобиографической заметке": "...неподалеку от большого села Брасова, о котором я в детстве слыхал рассказы тетки моей, вдовой попадьи Пелагеи Дмитриевны" (XI, 7).

7 О селе Послове, которым владели соседи Лесковых, см. во второй книге наст. тома сообщение Р.М.Алексиной "Новое о детских и юношеских годах Лескова. По материалам орловских архивов"

8 См. примеч. 4 к первому фрагменту "Соколий перелет. Повесть лет временных" Мотив замужества по любви уходом встречается в рассказе Лескова "Чертогон" (1879).

9 Лесков наделил героиню сказочным именем и функциями сказочного персонажа (сводня-сваха).

10 Анна *Радклиф* (1764—1823) — английская писательница, автор готических романов "Удольфские тайны", "Итальянец" и др., известных в русских переводах. Далее упомянут роман неизвестного автора "Увеселение женского пола, или Собрание разных приключений. С нем. переведено Васильем Лебедевым" Ч. 1—3. СПб., 1764—1765; СПб., 1792.

11 Образ "чинной методистки"-англичанки Лесков развил позднее в повести "Юдоль" (1892) и заметке «О "квакериях" (Post-scriptum к "Юдоли")» (1892) в образе "выписанной из Англии *квакерши*, Гильдегарды Васильевны" (IX, 289). В портретах англичанок, между которыми "бывали и методистки и квакерки" (IX, 315), писатель опирался на семейные предания.

12 Неточная цитата из романса Козлова "Прощаюсь, ангел мой, с тобою"

13 Возможно, имелся в виду А.В.Кочубей (1790—1878), орловский губернатор в 1830—1837 гг.

14 "Отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому" (*Иоанн*, 1:51. См. также: *Деяния*, 10:11).

15 Мать Лескова, Марья Петровна, "была всесторонне деловита и практична, радея о насущном и не возносясь выспрь" (*Жизнь Лескова*. Т. 1. С. 66), но при этом имела «склонность к "возвышающим" некоторые события "сближениям" с хорошо ей знакомыми образами родной поэзии» (Там же. С. 99).

16 Неточная цитата из стихотворения А.С.Пушкина "Герой" (1830). Ту же цитату Лесков использовал в рассказах "Явление духа. Случай (открытое письмо к спириту)" (1878; см.: *Жизнь Лескова*. Т. 2. С. 76), "Интересные мужчины" (1885; VIII, 97).

[17] Лесков писал в "Автобиографической заметке": "В Орле отца избрали заседателем от дворянства в орловскую уголовную палату, где он скоро стал заметен умом и твердостью убеждений, из-за чего наживал себе очень много врагов" (XI, 9). В письме П.К.Щебальскому от 16 апреля 1871 г. он вспоминал: "Отец <...> при его невероятной наблюдательности и проницательности прослыл таким уголовным следователем, что его какие-то сверхъестественные способности прозорливости дали ему почет, уважение и все, что вы хотите, кроме денег, которыми его позабыли" (X, 310). О службе отца писателя С.Д.Лескова см. во второй книге наст. тома сообщение Р.М.Алексиной "Новое о детских и юношеских годах Лескова. По материалам орловских архивов"

[18] Майорат — порядок нераздельного наследования имущества старшим в роде.

[19] Женские черты в облике этого героя Лесков сохранил во всех попытках осуществить замысел романа.

[20] В рассказе "Пугало" (1885) воспроизводился подобный эпизод, связанный с детскими воспоминаниями Лескова: «Случай был неожиданный и печальный. В самую весеннюю ростепель, когда, по народному выражению, "лужа быка топит", из далекого тетушкина имения прискакал верховой с роковым известием об опасной болезни дедушки» (VIII, 23).

[21] Просов — затера, затерина по зимнему пути, в распутицу, где нога проступает (*Даль*. Т. III. С. 511).

[22] Возможно, имелось в виду "кинуть талагаев" Талагай -- лентяй, шатун, тунеядец (*Даль*. Т. IV. С. 388).

[23] Т.е. именем героини трагедии Шекспира "Король Лир", единственной преданной отцу дочери.

[24] В древнегреческой мифологии Геспериды — дочери Геспера и Нюкты (Ночи), жившие в саду, где росла яблоня, приносящая чудесные золотые плоды.

[25] Источник цитаты не установлен. Возможно, Лесков контаминирует имя евангельского персонажа и цитату "раб и льстец" из стихотворения Пушкина "Друзьям" (1828).

[26] В "Автобиографической заметке" Лесков вспоминал: "... мы остались при одном маленьком хуторе Панино, где была водяная мельница с толчеею, сад, два двора крестьян и около сорока десятин земли" (XI, 10). О покупке хутора и о мельнице Лесков писал также в рассказе "Пугало" (1885; см.: VIII, 6—10).

[27] О сложных отношениях С.Д.Лескова с родными жены сообщал А.Н.Лесков: "...очень многие <...> из жениных родных <...> видели в нем человека несродного им духа, других влечений, мягко говоря — нескладного и неудобного в жизни. В общем, для многих из них он был чужой. Приязни и дружелюбия в этой среде он к себе не знал" (*Жизнь Лескова*. Т. 1. С. 58).

[28] Такую же кличку получил один из персонажей хроники "Захудалый род" (1873) князь Яков Протозанов (V, 153). Ему посвящен незавершенный фрагмент хроники "Один из могикан. (Князь Кис-ме-квик)" (V, 518—551). Выражение "Кис-ме-квик" встречается также в "Шерамуре" (1879; VI, 270).

[29] Лесков, обыгрывая прозвище героя, наделил его фольклорным именем (ср.: Разгуляй Разгуляевич, Комар Комарович).

[30] Вероятно, некоторые особенности образа жизни и черты характера "урожденной Пословой" основаны на воспоминаниях писателя об "именитой г-же княгине Д.", которая, "жила в замкнутом одиночестве" в Послове. См. о ней в повести "Юдоль" (IX, 281—285, 301—303, 306—311).

[31] Село Легоще (Легоща) Кромского уезда расположено на реке Оке недалеко от Орла.

[32] Шпунт — гвоздь, вбиваемый в стены выработки, как знак, примета для учета работы (*Даль*. Т. IV. С. 644).

[33] Имя Флавиан носит герой фрагмента "Соколий перелет. Приключения в моем семействе. Из записок человека без направления" (см. выше).

[34] Знаменитый французский модельер, портной Жан Филипп *Ворт* (Worth).

[35] Лесков опирался на семейное предание о сватовстве А.Я.Шкотта, который, «опасаясь, чтобы на него при выборе жены не подействовали подкупающим образом "луна, джерси и нашлепка" <...> отважился выбирать себе невесту в будничной простоте и для того объехал соседние дворянские дома, нарядившись "молодцом" при разносчике» (*Жизнь Лескова*. Т. 1. С. 85). См. также рассказ Лескова "Продукт природы" (1893; IX, 340). Слова о "джерси" и "нашлепке" — явная аллюзия на повесть Л.Н.Толстого "Крейцерова соната" См. далее примеч. 2 к фрагменту "Особенно чувствительно уязвила..."

[36] Цебарь, цебер, цыбарь — бадья, которой достают из колодца воду (*Даль*. Т. IV. С. 572).

[37] "Теневой", в тень — т.е. связанный из шерсти одного цвета, но разных оттенков. "Город" — зубец в узоре (иначе — фестон).

[38] Нанка — дешевая хлопчатобумажная ткань.

[39] Сквозник — полуцветочный чай (*Даль*. Т. IV. С. 195).

[40] Образ дьяконицы близок целому ряду героинь Лескова, в особенности образу Паиньки, жены отца Евангела ("На ножах"). О положении «сельских "матушек"» (X, 225) Лесков сочувственно писал также в статье "Карикатурный идеал. Утопия из церковно-бытовой жизни" (1877). Возможно, прототипом героинь была орловская дьяконица Марья Николаевна, о которой Лесков упоминал в статье "Пресыщение знатностью" (1888; XI, 183).

41 “Живая душа на костыльках” — так Лесков позднее назвал героя сказки “Маланья — голова баранья” (1888). См.: *Лесков Н.С.* Легендарные характеры. М., 1989. С. 411—417. При жизни писателя сказка не была опубликована.

42 *Даниил*, 10:16—18.

43 Лесков воспроизвел здесь черты характера своего отца: С.Д.Лесков “был человек умный, и ему нужна была живая, умственная жизнь, а не маленькое однодворческое хозяйство, в котором не к чему было приложить рук” (XI, 11).

44 О бедственном положении своей семьи в те годы Лесков писал 16 апреля 1871 г. П.К.Щебальскому: “...матери нечем было ни платить за нас в училище, ни обувать наши ножонки (буквально)” (X, 311).

45 Возможно, в этом эпизоде тоже запечатлелись личные воспоминания Лескова. Известно, что С.Д.Лесков обращался в марте 1848 г. с письмом к Д.Н.Клушину, председателю орловской уголовной палаты, в котором просил оказать внимание его старшему сыну, будущему писателю, начинавшему чиновничью карьеру. Письмо сохранилось, текст его опубликован (*Жизнь Лескова.* Т. 1. С. 59—60).

46 Возможно, Лесков намеренно исказил фамилию А.Х.Бенкендорфа.

47 “Сила Моя совершается в немощи” (2 *Коринфянам*, 12:9).

48 Отец писателя действительно умер от холеры в июле 1848 г. Накануне смерти он собрал грибы и передал их жене с просьбой приготовить ужин (см.: Там же. Т. 1. С. 63). “Случай, связанный с тяжелым воспоминанием о потере отца, не раз служит писателю в его работе”,— писал А.Н.Лесков и приводил примеры из повести “Леди Макбет Мценского уезда”, романа “Обойденные”, рассказа “Заячий ремиз” О “холерном годе”, унесшем его отца, Лесков писал в очерке “Дворянский бунт в Добрынинском приходе” (1881), упоминал в статье “Геральдический туман” (1886).

49 Ср.: “Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби” (*Матфей*, 10:16).

50 “Я с вами во все дни до скончания века. Аминь” (*Матфей,* 28:20).

51 Ср.: “А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами <...> Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь” (*Матфей*, 14:24—27).

ПРИЛОЖЕНИЕ

УБЕЖИЩЕ[1*]

Роман

(Из записок Пересветова)[2*]

I

Я родился в 1831 году в семье своей первенцем. Матушка моя, принадлежавшая в юности к числу деревенских барышень, которые в то время знали наизусть очень много стихов, втайне делала по случаю моего рождения очень для меня лестное и поэтическое сближение. В этом году Лермонтов написал своего “Ангела”, и старшая сестра моей матери, бывшая замужем за важным сановником в Петербурге, вместе с поздравлением по случаю моего рождения прислала списанное ею стихотворение “Он душу младую в объятиях нес для мира печали и слез, и звуков небес заменить не могли ей грустные песни земли”[1].

Матушка, читая эти стихи, целовала меня, и в одно и то же время и улыбалась и плакала. Она чувствовала себя счастливой, что ангел принес мне хорошую душу, и плакала об ожидающей меня участи.

Несправедливо было бы приписывать все это одной ее нервности. Молодые женщины нашего дворянского круга тогда в самом деле были склонны к поэзии и очень легко поддавались ее влиянию. Надолго ли это было и имело ли прочное влияние на их умы и характеры — это совсем другое дело.

1* Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной.

2* В автографе зачеркнуты подзаголовки: “Записки Пересветова”, “Записки человека без направления”

Отец мой Семен Иванович Пересветов был очень хороший человек, с некоторым излишком так называемой "благородной гордости" В другой стране и при других обстоятельствах эту гордость можно бы считать не за порок, а даже за достоинство, но ему она годилась только для одних несчастий.

Мать моя происходила из титулованной семьи, отец был простой дворянин. Он не учился в высших училищах, но был хорошо образован и умен от природы. При этом он был добр и честен, служил сначала в военной службе, а потом по выборам, но нигде не отличался и в довольно ранних еще летах сел в небольшой благоприобретенной деревушке Баклажке.

Мы не чувствовали большой бедности только потому, что вели жизнь самую умеренную, чем ни отец, ни мать не тяготились.

Нас детей было трое,— я, которого назвали Иваном, в честь деда по отцовской линии, второй брат Павел получил имя в честь отца матери, а сестра Леокадия наречена так потому, что матушке нравилось это имя.

Мы с братом Павлом были погодки, а сестра родилась через пять лет после Павла.

Более у наших родителей детей не было.

До шести лет нас, мальчиков, воспитывала природа. Мы росли на полной свободе, совершенно так же, как росли крестьянские дети и дети нашей прислуги, с которыми

ПРИМЕЧАНИЯ

Автограф сохранился в архиве Лескова (*РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 13). Этот незавершенный фрагмент близок к роману "Незаметный след" по содержанию и форме: история семьи, воспроизведенная одним из ее членов в мемуарных записках. Фрагмент носит автобиографический характер, что отмечено сыном писателя (см.: *Жизнь Лескова*. Т. 1. С. 99) и о чем косвенно свидетельствует тот факт, что "В.Пересветов" (герой и "автор" этих "записок") был одним из псевдонимов Лескова. Перекликаются незавершенные романы "Незаметный след" и "Убежище" и в некоторых деталях: героя-повествователя в том и другом произведениях зовут Иваном; в сходном контексте упомянут "Ангел" Лермонтова.

[1] См. выше роман "Незаметный след" и примеч. 15 к нему.

МАЛАНЬИНА СВАДЬБА [1*]

Святочный рассказ

Я расскажу вам, достопочтенные читатели, небольшую историйку, сложившуюся по всем правилам рождественского рассказа: в ней есть очень грустное начало, довольно запутанная интрига и совершенно неожиданный веселый конец.

Назад тому несколько лет, часа в три за полдень в рождественский сочельник, когда города, приготовляясь к празднику, имеют свой особенный оживленно озабоченный вид, по одной из улиц Москвы, прилегающих к Ваганькову кладбищу, ехали бедные похоронные дроги. На этих дрогах, запряженных парою покрытых изорванными траурными попонами клячах[2*], стоял небольшой черный крашеный гроб, а за ним в трех шагах шла молодая девушка, лицо которой было сильно заплакано, хотя теперь на нем более не бежало ни одной слезы.

Девушка шла походкою довольно твердою и с замечательным самообладанием и спокойствием отвечала на вопросы людей, подходивших к ней с вопросом: кого она хоронит?

Она хоронила мать.

Часа полтора спустя она теми же шагами вышла с кладбища, с большим терпением и мягкостию оделила мелкими деньгами окруживших ее за воротами нищих и затем сунула в карман пустой кошелек, вздохнула, перекрестилась и пошла к городу. За нею в некотором расстоянии довольно долго ехали пять извозчиков, докучно предлагая ей свои услуги, но наконец четверо из них отстали, а пятый, пожилой вохловатый мужичок, какими обыкновенно выглядывают наезжающие по зимам мужички с калужской стороны, долго плелся за девушкою, не сводя с нее глаз, и вдруг, стегнув свою лошаденку, подскочил к ней и молвил ласковым сердечным голосом:

— Милая барышня! Сядь, я тебя подвезу.

Девушка остановилась,— ей словно до сердца дошел этот доброделающий голос, и она ласково взглянула на мужичка, поблагодарила его и отвечала, что пойдет пешком.

— Чего же ты пойдешь пешком? Легко ли дело: гляди, небось, живешь неблизенько.

Девушка сказала, где она живет.

— Знаю, знаю,— заговорил старик,— знакомая сторона,— скоро ли туда дойдешь... неблизкий свет, да еще невежа какой обидит. Садись, красавица, я тебя духом домчу.

Девушка снова отказалась,— старик не унимался.

[1*] Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Комментарии Н.Н.Старыгиной.
[2*] Так в рукописи.

— Ну пойми же ты, добрый человек,— сказала, остановясь, девушка,— пойми, что у меня нет ни копейки денег, чтобы тебе заплатить.

— А мне Бог за тебя заплатит: садись! — и старик, спрыгнув с саней, подскочил к девушке и, бережно взяв ее за локоть своею широкою жесткою рукавицею, заглянул ей в глаза и молвил: не обидь меня, сядь, и тебя за то Господь не обидит.

Девушка провела рукою по лбу и, словно не понимая в чем дело, рассеянно спросила:

— Чего же тебе от меня хочется?

— А вот того только и прошу, чтобы ты, болезная, села. Ишь завтра какой праздник, а у меня у дворе у самого дочка сиротинушка: хочу тебе послужить за ее счастье.

Девушка тихо улыбнулась и села в сани и поехала.

Дорогою мужичок[1] все что-то рассказывал ей про свою одинокую дочку, чего расстроенная девушка вовсе не понимала и затем в конце пути неожиданно спросил ее:

— А отец-то твой али болен, что за матерью не шел?

— У меня нет отца,— отвечала она.

— Неужели помер?

— Помер.

— Ах, сохрани же тебя Господи!

И старик, сняв шапку, набожно перекрестился, а девушка тем временем быстро сняла с остывшей руки небольшое бирюзовое колечко и подала его мужичку с просьбою передать его дочери.

Мужичок не отказался и, не входя в оценку подарка, принял его как доброхотное даяние, снял шапку, низко поклонился и уехал, оставив девушку у низеньких ворот старого покосившегося деревянного домишка, во все латки и щели которого гляделась беспомощная бедность.

Через минуту эта молодая особа, которую мы проводили домой от кладбища, взошла по покосившимся ступенькам и очутилась в крошечной кухоньке, где тускло горел слепой ночничок. Другая дверь, выводившая куда-то из этой кухоньки, была залеплена сургучною казенною печатью. Больше здесь не было ни выхода, ни входа и во всем этом помещении, занимавшем не более четырех квадратных аршин, не слышно было ничего, кроме цирканья запечного сверчка.

Девушка сняла с себя капор и хотела снимать бурнус, но руки ее опустились, и она тяжело села и опустила голову на обе руки.

Так прошло несколько минут, прежде чем на печи послышалось какое-то движение, и оттуда, сопя и кряхтя, слезла высокая толстая баба с жирным лоснящимся лицом. Она молча подошла к ночнику, острекнула ногтем его нагоревший фитиль и, поставив фертом руки в бока, обратилась к девице с вопросом:

— Ну что же-с, матушка Наталья Викторовна, как теперь будем?

Та не двинулась и не отвечала ни слова.

— Ведь вон комната-то запечатана.

Девушка снова промолчала. Бабу это рассердило.

— Что же вы молчите? — заговорила она с задором.

— А что я вам еще могу сказать?

— Как что можете сказать? Это ведь, чай, ваше дело, а не мое хлопотать.

[1]* Далее зачеркнуто: “не докучал ей ни одним расспросом, а только все рассказывал”

— Я ни о чем теперь не могу хлопотать.

— Отчего же это?

— Оттого, что я только что схоронила мою мать.

— Ах, матушки мои родные: ведь все, я чай, когда-нибудь матерей хоронят, да я-то тут чем же причина: за месяц не заплатили; наделали с похоронами всех этих хлопот,— всю квартиру выстудили, а теперь еще на, поди, и ни чем не виноваты. Я сама бедная вдова: кое время комната простоит опечатанная, а мне нечем жить.

— Не беспокойтесь, я вам заплачу.

— Рада бы не беспокоиться, да не могу: чем станете платить.

— Оставьте меня, Бога ради.

— Как оставить...

— Хоть на минуточку.

Женщина хотела еще что-то возразить, но заметив, что та, к которой относились ее речи, как-то странно всхлипнула и начала вздрагивать плечами, остановилась и, схватив с стоящего в углу ушата ковш холодной воды, дала девушке насильно несколько глотков и потом, став перед нею на колени, сжала ее руки и проговорила:

— Матушка, Наталья Викторовна, прости меня дурищу: не слушай, что я тебе наговорила: видит Бог, я это с горя и с досады.

— Я знаю, я верю вам,— молвила девушка в ответ на извинения[1*] хозяйки,— и я сейчас все сделаю... я сейчас пойду...

Грубая, но не злая женщина взволновалась и, усилив свои ласки, старалась удержать постоялку, представляя ей, что теперь такой вечер, когда никто не занимается делами и потому хлопоты, о которых она сама так недавно ей докучала, будут бесполезны.

— Да; но я все-таки попробую,— отвечала девушка.

— А вот, уж это не хорошо: это уж значит — ты мне назло. А ты не делай назло, а прости человеку и Бог за тебя вступится.

Девушка отбросила взятый было ею в руки капор, глубоко вздохнула, возведя кверху прекрасные блестящие слезами серые глаза, и опустила голову и руки.

— Простила?

— Пусть Бог простит всех[2*].

— И утешит, как ты меня утешила,— добавила женщина.— Теперь рождается Христос и с ним народится тебе утешение.

— Для меня невозможно никакое утешение.

— Не говори этого,— грех. Верь лучше, верь, и нам утешенье придет.

— Хорошо, буду верить,— отвечала, усиливаясь улыбнуться, девушка.

Хозяйка просияла и хотела ей что-то отвечать, но в эту же минуту звякнуло кольцо незапертой комнатки, на дворе сипло залаяла старая шавка, и кто-то стал подниматься тяжелыми шагами по утлому крылечку.

— Господи, кого Бог посылает к нам в такую позднюю пору? — прошептала женщина и, закрыв своею массивною фигурою грустную девушку, обернулась к дверям, за которыми слышно было, как неизвестный пришлец осторожно нащупывал клямку и наконец нашел ее и отворил дверь.

Прежде всего в бедную кухоньку ворвалось целое облако холодного пара, и затем в нем обрисовалась высокая фигура мужчины, одетого в тяжелую медвежью шубу и высокий бобровый картуз с большим козырем.

[1*] Зачеркнуто первоначальное: “рукопожатия”

[2*] Далее зачеркнуто: “и утешит”

Незнакомец быстрым взглядом окинул помещение и, не снимая картуза, спросил:

— Здесь жил доктор Азбукин?

— Здесь,— отвечала хозяйка, заслоняя собою еще тщательнее девушку,— но только он помер.

— Знаю; а его жена?

— И ее нынче похоронили.

— Вот как! ну что же: были добрые люди.

— Добрые; а у них дочка осталась Наталья Викторовна.

— Наталья Викторовна!.. Вот ее-то мне и надо: где она — веди меня к ней.

— Да они вот они сами,— и она, отодвинувшись, открыла девушку, которая молча привстала перед незнакомцем.

Тот сию же минуту снял свой картуз и ласково сказал:

— Простите, что я тревожу вас в такую тяжелую минуту; но я имею необходимость говорить с вами немедленно и наедине.

— К сожалению, я не могу этого сделать,— отвечала Азбукина.

— Отчего? Вы мне не верите... то есть вы осторожны... Это мне нравится... Извините, что я позволяю себе это высказывать, но я степняк, простой откровенный степняк и, если вы со мною поговорите полчаса наедине, вы увидите, что я не празднослов, а хлопочу о моем и вашем счастии. Вас это удивляет?

— Да... удивляет,— отвечала девушка, оглядывая с головы до ног этого странного посетителя.

— Почему же-с вас это удивляет?

— Потому что я вас не знаю и не вижу, почему вам может быть до меня какое-нибудь дело.

— Вы очень справедливы; но прошу вас позволить мне взойти на минуту в вашу комнату...

— Моя комната...

— Ах, вижу: она запечатана. Простите, что я этого коснулся; но, впрочем, сколько я смею судить по лицу этой женщины, она должна быть достаточно глупа, чтобы ее стесняться.

— Не стесняйся, батюшка, если за добром пришел, не стесняйся; да я, пожалуй, и выйду,— отвечала хозяйка и действительно тотчас же вышла.

Незнакомец, проводив ее глазами, запер за нею дверь и, сбросив на скамью свою пахнущую холодом медвежью шубу, спросил:

— Позвольте мне сесть?

— Садитесь.

— Благодарю вас и спешу отрекомендоваться: титул мой не велик и имя не громко, но надеюсь, что как только вы его услышите, вам станет понятно, почему я к вам явился. Я степняк, совершенный степняк и надеюсь остаться таким степняком до могилы, которую себе и приготовил в моем именьице. Я был когда-то очень беден, служил офицером в Крыму и был ранен, тяжко ранен. Меня было велели похоронить, да один добрый лекарек сжалился, вытащил из кучи и вылечил...[2] Теперь это все прошло, и я на степном ковыле, как вол, выходился, но а лекарь-то этот был никто иной как ваш покойный отец Виктор Андреич Азбукин. Я про него, откровенно скажу, совсем позабыл; да и кто же, скажите пожалуйста, помнит про своих благодетелей? А к тому же я в это время в железные дороги впутался и чертовски разбогател, так разбогател, что даже просто совестно. Я недавно высчитал, что получаю теперь три рубля за каждую прожитую мною минуту, из

которых я целую бездну провожу самым глупейшим образом... Согласитесь, что это просто возмутительно?

— Извините меня, но я все-таки не понимаю, какое мне до всего этого дело?

— А вот это сейчас придет! Я знаю, что занимаю вас пустяками в то время, когда вы, как дочь, схоронившая мать, должны чувствовать величайшее горе...

— Вы не ошибаетесь.

— Да, да; прекрасно знаю и прошу вас, простите меня Христа ради: я ужасный болтун и всегда был таким с детства, а теперь под старость еще хуже... но это, поверьте, не так, не хорошо, когда нас отрывают от наших черных мыслей. Что делать: все мы смертны, а мое житейское правило — никогда не позволять мозгу грызть самого себя,— это прекрасная пища, и потому-то я и позволяю себе занимать вас моею особою. Вы, я думаю, теперь уже видите, что я в существе совсем не так глуп, как кажется, и даже, несмотря на мое дурацкое богатство, еще понимаю физиономию несчастия. Послушайте: сделайте милость, покажите мне некоторое доверие!

— Извольте.

— Покорно вас благодарю.

— Чего же вы от меня хотите?

— Позвольте мне пожать вашу руку.

Девушка улыбнулась и молча подала незнакомцу свою руку, которую тот почтительно поцеловал и вдруг в то же время заплакал и заговорил:

— Фу, проклятые, как прошибли!.. Нет; вы не беспокойтесь, это я о слезах. Я ужасно люблю, чтобы мне верили, и мне, когда я беден был, все верили, а теперь... мне кажется, что мне не верят. Нельзя-с... у нас такой мир, но мне он не нужен. На что... к черту... я и так страшно богат, я все бросил и не хочу больше интриговать, но... я привык к практике и без нее не могу жить, а почему не могу жить, потому что это моя сфера и я в этом мастер. Я могу подвесть все и так, чтобы это для всех было прекрасно. Вот вам моя специальность, и я за нее нажил миллионы, а вы наградили меня доверием, а мне всего дороже доверие, и я весь ваш и покажу вам, что не даром мое крещеное имя Евгений, а знающие меня люди сократили это имя и перекрестили меня в Гения, и так имею честь вам рекомендоваться Гений Николаевич Пыльцев. Хе-хе-хе... однако хотя вы и не участвуете в дорожных делах, но я вижу, что вам эта фамилия не безызвестна?

Но с этим Пыльцев заметил, что его собеседница бледнеет и меняется в лице, изменил тон и снова, взяв ее участливо за руку, заговорил:

— Ничего-с; знаю, знаю и все превосходно знаю. Вы ни в чем не виноваты и должны открыто смотреть на свет, а он, мой племянник, наш недостойный Иван Петров Пыльцев, он достоин своего срама, бед и поругания.

— Ах, кто бы вы ни были, милостивый государь,— воскликнула с видимою болью в сердце девушка,— ах, умоляю вас, пощадите меня: я бедна, ничтожна, одинока и беспомощна... имейте ко мне сострадание! Я схоронила моего отца, над гробом моей матери еще могила не осела, но... мне стыдно сознаться, что я ко всему этому отношусь легче, чем к его несчастию.

— Что же и превосходно-с! и превосходно, Наталья Викторовна! и превосходно! Я всегда говорил моей жене,— у меня жена недалекая, так что ее можно во всем уверить, но она очень добрая, и я ей постоянно говорил: верь, мой друг Фонфочка, что Наталья Викторовна превосходная барышня во всех отношениях, а наш Ванька Пыльцев подлец... Вы извините меня, пожалуйста, что я об нем так отзываюсь, потому что я его тоже люблю, хотя

и меньше, чем вас, но это уже у меня такая привычка, кого люблю, с тем не считаюсь, и вас прошу о том же самом.

Девушка выразила недоумение.

— Господи! — подумала она,— уже не сумасшедший ли это? Но он называется тем же именем, которое было ей мило, и говорит о человеке, который испортил всю ее жизнь и довел ее до отвращения к прошлому, до безучастия к настоящему и страха к будущему... Э, не все ли равно: пусть он будет сумасшедший, пусть он бередит старые раны, заключила она и спросила:

— Мне странно одно: за что же вы меня любите?

— А вот за ваши прекрасные душевные свойства.

— Откуда вы можете знать мои свойства?

— А вот из этой книжечки.

И Гений Пыльцев вынул из бокового кармана своей бекеши роскошно обделанную в сафьян книжечку, которая вся состояла из мелко исписанных женской рукою почтовых листков.

— Мои письма! — воскликнула девушка.

— Да-с; ваши письма, Наталья Викторовна; ваши превосходные письма, каких ко мне никогда ни одного не написала ни одна порядочная женщина.

— Как они попали в ваши руки?

— Я их купил...

— Неужели? — воскликнула, вся покраснев, Nathalie.

— Непременно так-с, но я не хочу, чтобы вы думали, что я купил их у моего племянника,— нет; до этой подлости он еще не дошел; но я совершил эту покупку у той...

— У его жены?

— Да, у его Melagnie.

— И вы мне их возвратите?

— Как?.. так даром... Нет, я заплатил за них очень дорого и, хотя я и богат, как дьявол, но все-таки денег бросать не хочу. Но если вы захотите вынудить у меня это сокровище, то я так и быть расстанусь с удовольствием, которое оно мне доставляло, но на условии. Я, милостивая государыня, кончу тем, с чего начал: я имею в вас нужду, и при том такую, которая не терпит ни малейшей отсрочки. Вы мне подарили ваше доверие, но с тех пор, как я назвал вам свое имя, вы его, вероятно, снова у меня отняли. В самом деле, я должен быть очень для вас неприятен: вы знаете, что я шел против вас заодно с врагами вашими и, как есть основание думать, я же устроил эту свадьбу моего племянника и вашего жениха с Меланьей Григорьевной Идосовой.

— Мне это все равно теперь.

— Но мне не все равно-с.

— Ввиду моих утрат... и всего, что меня окружает, все эти воспоминания не имеют для меня никакой цены.

— Но вы знаете, что человек, которого вы так благородно и нежно любили, глубоко несчастлив.

— Бог с ним: я его жалею.

При этих словах девушки Пыльцев быстро схватил ее руку и, крепко сжав ее в своей руке, произнес:

— Так спешите же к нему на помощь.

— Куда?

— Куда я вас поведу.

— Но какую помощь я могу ему оказать?

— Он любит вас и не может без вас жить.

— Но он женат, и я не стану между мужем и его женою.

— Какова бы она ни была?

— Какова бы ни была. Он писал мне, что он будет искать развода, и я его удержала от этого.

— Зачем?

— Я не хочу быть виновницею несчастия другой женщины.

— Вы — благороднейшее создание. Я читал и это ваше письмо и прослезился. Да, вы благороднейшее создание, и я горжуся, что мой гений открыл вас, но в том письме есть ложь: вы пишете, что ваши чувства со временем изменились и что вы уже более не любите бедного Ивасю. Скажите мне: ведь это неправда?

— Милостивый государь, я право не отдаю теперь себе отчета в своих чувствах.

— Но, а если бы я сказал вам, что от вас теперь зависит полное его и ваше счастие, неужто бы вы отказались сделать все, что вы можете в пределах человеческого великодушия.

Девушка подумала и отвечала:

— Я готова сделать все, что могу.

— Покрывайте же вашу голову и идемте, но не требуйте от меня никаких объяснений, я знаю, что в вас смелая и отважная душа, а тут еще нужно немного смелости для того, чтобы проехать по городу.

— Я поеду,— отвечала Азбукина и стала надевать свой капор.

— И будьте уверены, что вы поручаете себя человеку, который помнит, что вы дочь его благодетеля и сирота, только сегодня похоронившая мать,— успокаивал ее, помогая ей завязывать ленты, Пыльцев.

— Если я иду за вами, значит я вам верю.

Они подали друг другу руки и вышли на улицу, где стояли большие сани, покрытые теплою медвежьею полостью. Пыльцев усадил девушку, сказав кучеру “пошел домой”, и пара продрогших рысаков ринулись и понесли их по пустынным улицам дальнего московского захолустья.

Удивленная этим оборотом дела хозяйка Натальи Викторовны жала плечами, крестилась и никак не могла поверить, что все это она видела не во сне или что это не святочный демон, который неведомо откуда навеялся и умчал такую добрую и солидную барышню, каковою считала она свою осиротелую постоялку.

Меж тем пара рысаков принесла девушку с ее похитителем к подъезду роскошного дома на одной из лучших улиц; это был дом самого Пыльцева,— дом божественный, какие умеет строить нынешняя скороспелая денежная аристократия, так быстро вытесняющая племенную аристократию из ее родовых имений и палат.

Взойдя в свой дом, гениальный Пыльцев сам снял с своей гостьи ее драповый бурнус и, подав ей руку, вежливо повел ее по широкой мраморной лестнице в апартаменты второго этажа. С террасы, которую образовывала здесь лестница, они взошли в большой отделанный темным орехом кабинет, в котором горел за стеклянным экраном высокий камин и на столе мягко светила матовая лампа.

Введя гостью в эту комнату, хозяин попросил ее на минуту присесть, а сам вышел за одну из густо драпированных дверей и через минуту возвратился оттуда в сопровождении маленькой старушки, которая имела очень доброе лицо, но держалась так, как будто ей что-то не по себе в этих богатых покоях.

— Вот это моя жена Фотина Михайловна, вся тут, как видите, и ручаюсь вам, что если вы сочтете ее за самое добрейшее существо в мире, то вы ни-

мало не ошибетесь,— так отрекомендовал Пыльцев свою жену гостье и затем приступил к обратной рекомендации, причем назвал Наталью Викторовну "тою превосходною девицей, о которой он часто думал"

Старушка Пыльцева взглянула на девушку с выражением беспредельного доброжелательства и молча тронула ее рукою в плечо. Доброта ее была такова, что одно это простое, молчаливое ее движение пленяло и располагало к ней того, кого она касалась. Она, по-видимому, составляла одновременно и контраст и полную гармонию с своим говорливым мужем и вовсе не умела разговаривать. Отрекомендованная им, она не сочла нужным ничего прибавлять от себя и, поспешно усевшись перед камином, только глядела на Азбукину любовным взглядом и улыбалась. Зато сам Пыльцев не заставлял скучать: он пел, как соловей, и хотя беспрестанно отрывался от главной

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется по автографу: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 20. Рукопись не датирована. Создана предположительно в 1880-е годы. В это время Лесков постоянно выступал в печати с рождественскими рассказами: "Белый орел" (1880), "Христос в гостях у мужика" (1881), "Неразменный рубль" (1883), "Зверь" (1883) и др., позднее выпустил сборник "Святочные рассказы" (СПб.—М., 1886).

1 Вероятно, в названии рассказа, с одной стороны, обыгрывается крылатое выражение "наварить, наготовить на маланьину свадьбу", с другой — имя Меланья (соперница главной героини рассказа).

2 Тема Крымской войны подробнее развернута во фрагменте незаконченного романа "Соколий перелет. Приключения в моем семействе" (см. выше).

МАДЕМУАЗЕЛЬ ПОПАДЬЯ [1*]

(Из семейных воспоминаний)

I [2*]

Мы жили в собственном доме в О., где мой покойный отец пользовался известностию: его знали в городе за очень умного и честного человека и уважали за это, но недолюбливали за его прямоту и некоторую резкость.

Об нем говорили, что "он может сказать все кому угодно" И он таков был на самом деле, его не все любили, но уважали.

Отец был правдолюбив, прям, даже немножко резок, и очень осмотрителен в выборе знакомств. Оттого нас посещали немногие, но те, кто бывал в нашем доме, пользовались у отца искренним его расположением, а он умел быть другом.

Между приятелями отца был священник из чужого прихода,— звали его отец Аполлон. Это был прелестнейший человек во всех отношениях: умный, воспитанный, добрый и необыкновенно красивый. Красота у него была не лепообразная, а олимпийская: правильная, тонкая и самого изящного рисунка. Он походил на классического грека из цветущей Эллады.

1* Публикация и комментарии И.П.Видуэцкой.

2* Приводим отвергнутый вариант первой главы:

«Супруги раскудахтались как куры, нигде не находящие себе насест. Все жалуются: мужья на жен,— жены на мужей. Вдруг всем стало "вместе тесно"

Вдруг!.. Нет, даже и не вдруг, а да будто после какого-то большого размышления о насесте. Ни слова против того, что к вечеру жизни, подобно тому, как к вечеру дня каждой пташке нужна насесть, и у кого ее нет,— у кого она случайно развалилась, тому тревожно и досадно, и куда он ни мотнется, нигде не найдет себе места. В 1883 году жаловался на расстройство семейных дел даже один дьякон, самый крепчайший чин из домовитейшей породы левитов.

Дамы относились к этому делу равнодушно: им только казалось несправедливостию, что замечания принимались не от одних женщин, но также и от некоторых мужчин.

— У них и так слишком много прав, и притом они себе безнаказанно позволяют еще всякие бесправия — стало быть, могут обходиться и без "очага и насести", меж тем как мы, несчастные женщины...

Окончание таких тирад всем и каждому, конечно, известно, но, по правде сказать,— я должен признаться, что, несмотря на банальность фраз, мне слышалось глубокое и беспомощное горе. Но в каждом нетерпеливом слове недовольной женщины, в каждом основательном или неосновательном протесте ее ума и сердца я слышал другой, слабый, задавленный вопль прекрасного и чистого женского существа, принесенного в жертву предрассудку самым жестоким образом и превосходно оправдавшего веру великого русского поэта в тихое величие верной души русской женщины.

Я ее видел в моем детстве; я слышал не раз в подробности ее историю в годы моей юности, и теперь, кстати, когда очень много говорят о необыкновенном разнообразии семейных несчастий, я хочу вам рассказать непродолжительную историю моей оригинальной героини.

Ее всю жизнь называли: "мадемуазель попадья", и это же название я беру в заглавие моего скромного рассказа.

Вы увидите, что оно соответствует содержанию».

Отцу Аполлону было лет сорок, и он имел три страсти: он любил разводить цветы, держать первую скрипку в квартетах и играть после обеда на домашнем биллиарде. Все это он мог у нас найти и для того являлся к нам всякий день безотменно.

У отца Аполлона была попадья *без бровей*. Маленькая, беленькая, ужасная попрыгунья и пресмешная, неустанная говоруха. За это ее называли "тараторкой"

Другого имени ей за глаза и не было.

Отцу Аполлону такая жена была совершенно не пара, но они, кажется, жили без неприятностей. Она только жаловалась на него, что он "ужасно какой не интересант" Я не помню, чтобы отец Аполлон когда-нибудь говорил с женою: не говорил он и о ней, но некоторая привычка к наблюдению оставила у меня в памяти один и тот же неизменный взгляд, который отец Аполлон имел привычку устремлять на жену в то время, когда он настраивал струны своей скрипки. В этом взгляде было и сожаленье, и горе, но все это кончалось, когда, стукнув смычком по пюпитру, он давал знак начинать пиесу.

Играл он прекрасно, виртуозно, как бы забывая себя, и совсем не нуждался в нотах. Взоры его рвались и летели куда-то далеко и потом вдруг упадали на юное, нежное и чрезвычайно на него похожее личико девушки, которое к довершению сходства дышало тем же умом и восторгом, как у отца Аполлона.

Это была его дочь, которой он дал немножко длинное, но гармоничное имя: Филонилла.

Некоторая причудливость этого имени уже может служить указанием, что красавец-священник с первых дней нежно любил необыкновенно с ним схожую красавицу-дочку, а когда она стала подрастать и умнеть, обнаруживая прелестный характер и даровитость,— отец Аполлон не слыхал души в Филонилле. И оттого, когда его рука извлекала из струн скрипки вдохновительные звуки, глаза его непременно искали встречи с глазами дочери, которая чувствовала и понимала отцовскую душу.

Филонилле шел шестнадцатый год, но она держала себя по-детски, и, несмотря на то, что мне тогда было только семь,— она играла со мною с большим удовольствием — расставляла моих "вырезных лошадок" и пряталась в гулючки[1].

Я считал ее моею совершенною сверстницей и подругой. Лицом она была похожа на своего отца, то есть так же смугла, как гречанка, с античным профилем, прелестными, одушевленными смуглыми глазами и иссиня черными волосами.

Стан у нее был стройный, гибкий и колеблющийся,— выражение лица живое, страстное, впечатлительное и очень доброе. Притом она была резва и смешлива, и я никогда не видал ее грустною до одного случая, когда отец мой, выйдя раз с большою поспешностию из дому, по какому-то тревожному зову от отца Аполлона,— возвратился оттуда, ведя за руку убитую, грустную Филониллу.

II

Они оба были до такой степени страшны, на себя не похожи, что я даже не захотел к ним подойти, а спрятался за двери. И отсюда-то я слышал, как мой отец произнес девочке странные слова, роковое значение которых мне тогда было непонятно.

Эти слова были таковы:

— Твое горе страшно, страшно. Кто мог это ждать! Но надо иметь силу. Помни его последние слова: "Ты должна сберечь мать" Он сказал... и ты это сделай.

Она отвечала с какою-то ужаснувшею меня простотою:

— Он сказал, и я сделаю.

В семье священника совершилась неожиданная и ужасная драма: отец Аполлон умер внезапно, в то время, когда дочь подавала ему утреннюю чашку кофе. Перед этим он был здоров, и единственное распоряжение, которое он успел сделать, заключалось в тех словах, которые напоминал ей при мне мой отец.

Вечером в разговоре с матерью отец высказывал, что покойник не мог сделать более серьезного посмертного распоряжения, потому что "тараторка" глупа и теперь вся их надежда на Филониллу.

— Но она — ребенок,— говорила мама.

— Что нужды,— отвечал отец,— это душа избранническая. Она сделает.

III

Я помню, как хоронили отца Аполлона. Отпевание происходило в низенькой небольшой церкви, при которой он служил. Она была тщательно убрана, и царствовавшая здесь чистота и порядок были выражением заботливости усопшего, изящная натура которого не переносила ничего безобразного и неуместного.

Служили три священника, и во главе их первенствовал соборный ключарь[2] отец Павел — большой-пребольшой, с толстым носом и с крошечными глазами. Он был почетным лицом в местном духовенстве, потому что был женат на архиерейской племяннице и приехал "со владыкою" из его прежней епархии.

Пели певчие, и сизый дым кадил, которыми усердно окаждали гроб отца Аполлона, застилал всю церковь.

Отпели и начали прощаться.

Тараторка ужасно плакала и убивалась. Ее отвели в угол к печке и там махали ей в лицо платком и давали пить воду.

Жалостные стенания ее разносились по церкви с перерывами, которые происходили от глотания воды и усиливали жуткость тяжелой сцены. Филонилла прощалась спокойнее, но только сделала маленький беспорядок.

В черном ситцевом платье с белым горошком, она подошла к гробу и вдруг сняла с лица отца парчовый воздух[3] и поцеловала мертвеца в лицо.

Поцелуй был протяжный, и его нельзя было ни перервать, ни заставить девочку целовать вместо отца оклад положенного ему в руки Евангелия.

Напрасно отец Павел тянул ее за руку и твердил:

— Лица нельзя открывать,— целуй Евангелие.

Она поцеловала отца и не успела поцеловать переплет книги, как ее уже свели и покойника похоронили.

Потом был обед, пироги и пивомедие, а на другой день вечером у нас в доме появился отец Павел. Это было впервые: "племянницын муж" (как его называли) желал поговорить о делах покойного Аполлона. Гость все расспрашивал о намерении вдовы и сироты насчет их маленького деревянного домика с хорошеньким садиком.

Отец Павел имел на это имущество какие-то виды и считал долгом сообщить их моему отцу как другу покойного.

В эту же пору пришла к нам в своем траурном гороховом платьице Филонилла.

Отец Павел ее благословил и потом, придержав ее руку, сделал ей краткое наставление, как молиться за отца и как почитать мать, а затем сделал ей маленький выговор, что она вчера открыла воздух с лица покойника:

— Ты дочь священника и должна знать, что есть священные вещи, к которым женщине нельзя притрогиваться.

Мне показалось, что сказанное отцом Павлом было очень чувствительно, и это точно так же сильно подействовало на мою мать, которая даже слегка прослезилась.

Отец порывисто молвил:

— Довольно с нее на сегодня.

И затем привлек ее к себе, спрятал сам ее лицо на груди и поцеловал обе ее ручки, сказавши:

— Дай Бог, чтобы они у всех были так чисты!

Отец был немножко скептик и не любил "афинейских сплетений", но верил в Nemesis[1*] при жизни и в Нирвану после смерти. По жизни он был христианин и не лицемер.

Обласкав Филониллу, он сказал ей, чтобы она пошла со мною в кабинет и привела там в порядок письма ее покойного отца, связанные особою пачкою.

Я помню, как она читала некоторые из этих писем и плакала, не обращая никакого внимания на мое присутствие. Я понял, что она вдруг выросла и теперь мне больше не ровня.

IV

Затем и Филонилла, и ее домашние дела как-то сникли с моего горизонта, и в воспоминании моем является только баталическая суета между моим отцом и тараторкой.

Вдова покойного отца Аполлона пришла к нам после обеда *одна*, без Филониллы,— чего, надо сказать, до этих пор никогда не бывало. Она была одета в такое же, как дочь, в черное ситцевое платье с белым горошком и в черном чепце. Говорили о Филонилле и о каком-то Николеньке.

Я никакого такого Николеньки не знал и разговора этого долго не понимал, но так как отец очень сердился и несколько раз называл этого Николеньку "бебеткой"[2*], то меня заинтересовало: что это за мальчик?

Мама рассказала мне, что "Николенька" совсем не мальчик, а — взрослый мужчина, окончивший курс семинарии сын отца Павла и жених, за которого Филониллу выдадут замуж.

Я спросил: чего же так сердится мой отец? И получил в ответ, что этот Николенька, по мнению моего отца,— *дурачок.*

— Как? Неужто совсем дурачок?

— Да,— отвечала мама,— не знаю, как-то он учился и кончил, а только все смеется, собак в тележку запрягает и сладкое крадет.

— Где же он крадет, мама?

— Везде и у себя дома. В гости его не берут, потому что он один раз варенья в карман натаскал и все оказалось...

Накласть жидкого варенья в карман — это и по моим детским понятиям было верх глупости. Но однако Филониллу выдали за Николеньку замуж, а потом его рукоположили в священники.

[1*] Немезида (*лат.*)

[2*] Вероятно, от французского bébé (ребенок).

Я помню, как они приезжали к нам с визитом: она была такая же, как всегда, а он в голубой шелковой рясе и с височками.

Его у нас сразу назвали "поп Николенька", и это сделалось его именем повсеместно.

V

Меня мать раз брала с собою к Филонилле, а Николеньки мы не застали дома. Он что-то служил в церкви и прибежал очень испуганный и бледный и все хватался за притолки.

Мне он показался будто как сумасшедшим или пьяным, но тараторка рассказала мне, что он мертвых очень боится.

— И вот,— говорит,— он прибежал и за "сухо-древо" взялся, чтобы от него страх отстал, а это неправда,— он теперь несколько ночей не будет спать, если Филониллочка над ним сидеть не будет. Он такой робкий. Вот, видишь, их кроватка: он на кроватке спит с кошечкой, потому что мышей боится, а она на диване[1*]. Совсем робкий. А когда, если в церкви покойник бывает, так он несколько ночей и с кошкой боится,— ко всем тогда бегает,— и ко мне: просит пустить его к стенке спрятаться, а я его к Филонилле провожу. Он и у нее лежит у стенки и все просит, чтобы с ним разговаривать.

— А о чем же ему надо говорить?

— А слушать он любит про страшное, только чтобы за кого-нибудь держаться.

Я, возвратясь, передал этот рассказ отцу, а он переглянулся с матерью, и оба улыбнулись.

Продолжал ли поп Николенька красть сладкое,— я не знаю, но у него оказался такой удивительный порок памяти, что он в целый год не научился служить обедни и все "бродил с поводырем",— старый заштатный дьякон водил его за руку да подсказывал.

VI

Был это человек какой-то совсем анекдотический, который *ровно ничего не умел сделать,*— даже не умел говорить и не знал, где что нужно сказать. Так, например, он брал яблоки у бабы, которая торговала у церковных ворот, и уходил, не говоря ей ни слова. Как мог он учиться и окончить курс — это осталось неразрешимой загадкой, но был он у всех предметом сожаления и посмешище. Вдобавок и сама судьба над ним как будто шутила: он часто болел, но болезни у него все были детские: корь, круп и коклюш, а на другой год женитьбы у него начал прорезываться сверху и снизу второй ряд зубов, и он получил родимчик и для всех неожиданно умер.

Умер смирно, тихо, как жил,— точно его и не было на свете, и его тоже облачили, покрыли ему лицо воздухом и схоронили с Евангелием в руках.

Филонилла, вероятно, помнила нравоучение тестя и, прощаясь с мужем, приложилась к Евангелию.

Попа Николеньку схоронили, и отец Павел отобрал у невестки все, что было можно взять, и она осталась вдовою, без средств и без всяких надежд поправить свою карьеру.

[1*] В автографе: "Вот, видишь, их кроватка: он на кроватке никогда спит, а она на диване с кошечкой, потому что мышей боится" Исправлено по смыслу.

А ей тогда было всего восемнадцать лет, и у нее на руках была мать, которая только умела тараторить, да домик, на котором лежало столько же долгу, сколько он и стоил.

Мой отец и еще несколько друзей покойного Аполлона находили тут какой-то casus belli[1*] для схватки с существующими положениями. Основанием для этого служили соображения, представленные моей матерью и тараторкою, которые знали все подробности супружеской жизни Филониллы.

Отец был избран, чтобы представить все архиерею, который был его товарищем по семинарии, и просить возбудить вопрос о праве Филониллы на второй брак с духовным лицом, так как в прошлом случае с попом Николенькой "было только венчание, но *брак не состоялся*", а это каноном не предусмотрено.

VII

Отец поехал и возвратился очень сердитый. Архиерей слушал, смеялся и наконец объявил:

— Non possumus[2*].

Вся судьба бедной девочки была ни на что не похоже исковеркана. Тараторка говорила всем без умолку, что ее занимало, а Филонилла пряталась от людей и молчала.

Положение ее было прегрустное, в котором решительно нельзя было ничего придумать, особенно по тогдашнему времени, когда женщине был только один выход — замужество. Кто же мог жениться на вдовой и притом бедной попадье? Разве дьячок, приказный или мещанин-прасол. Кто мог пожелать такой судьбы изящной, милой Филонилле на ее девятнадцатом году? Разумеется, ни у одного из друзей покойного Аполлона не повернулся с этим язык, а как семья наша в это время уезжала весною в деревню, то родители мои уговорили Филониллу поехать погостить к нам до осени,— с надеждою, что время, может быть, что-нибудь покажет.

Оно и показало...

VIII

В четырех верстах от нас было большое село Послово[4], принадлежавшее княгине Б. Она была старая придворная дама, жившая "на покое", а у нее был молодой человек сын — гусар, молодец и очень умный и прекрасный парень.

Он находил для себя удовольствие в беседах с моим отцом и, бывало, как приедет из Петербурга в отпуск, так и ездит к нам ежедневно верхом на гнедом коне.

Деревенская скука ведь очень сближает, и этот молодой человек до того привык к нашему дому, что дня не пропускал, чтобы не повидаться с отцом моим.

Так это случилось и теперь, когда у нас жила Филонилла; а она,— напомню,— была прекрасивая и на девятнадцатом-то году распустилась и зацвела, как роза. К тому же она была премилого сердца и удивительной кротости, так что и "бебетку" своего и того жалела, а вдобавок она была умна и имела наследственные музыкальные таланты, очень хорошо пела и удивительно играла на гитаре.

[1*] Повод к войне (*лат.*)

[2*] Не можем (*лат.*)

Случилось то, что легко случается, когда сближают огонь и порох: молодой князь страстно влюбился в Филониллу и, будучи от природы добр и честен, не оскорбил своего чувства никакими легкими искательствами, а прямо хотел на ней жениться.

Они объяснились у нас в саду, в вишеннике, на канаве, и, как после говорила Филонилла, во время первых слов о любви "между ними была яма" Но она прекрасно разыграла свою любовную историю.

IX

В то время, когда это происходило, нравы были несколько иные: тогда еще барышни среднего круга певали речитативом балладу "Алина и Альсим"[5], которые были обручены душою, но для более тесного их сочетания имели неодолимое препятствие в несогласии родителей. Алина пела: "Мне мил Альсим,— давно душой уж обручилась я с ним: дай счастье нам", а мать ей отвечала: "Нет, дочь моя, за генерала тебя отдам" В данном случае было, однако, то отступление, что партию Алины исполнял гусар, а у матери его вместо генерала была генеральская дочь,— тоже наша соседка,— очень богатая и, говорили, будто очень образованная.

Искренно сожалею, что по тогдашнему моему малолетству я не мог уловить многих черт этой краткой, но благоуханной высокой любви двух прекрасных существ, каковы были гусар и наша mademoiselle попадья. Помню только, что молодые люди не делали из этого тайны от моих родителей и особенно от отца, которому Филонилла рассказала, как она сидела в саду на отвале канавы и не заметила, как по полю подъехал к ней князь, остановился, сошел с лошади и... после нескольких минут разговора сказал:

— Простите меня: я не могу больше скрывать: вы необходимы душе моей, потому что я люблю вас.

Она промолчала.

— А вы? — спросил ее князь.

Она как-то очень хорошо выразила ему свое удивление и кстати упомянула о разделяющей их "пропасти"

— Это не пропасть, а только канава!

— Тем хуже,— сказала Филонилла, но в то самое время, как она проговорила свои слова, молодой человек легким прыжком перескочил канаву и обнял ее ноги.

Она не испугалась и не тронулась с места, а, улыбаясь, сказала ему:

— Не думаете ли, что так же легко будет вам перепрыгнуть *все*?

— Я вам клянусь,— отвечал князь.— Я не подорожу ничем.

Она в ответ только покачала головою и молвила:

— Это совсем не так, но мне никогда и ничто не помешает всю жизнь помнить и ценить ваше внимание.

Она подала ему обе свои руки, и он покрыл их поцелуями.

Более пламенных выражений любовной страсти не было, но нашлось место одному прекрасному движению: молодой человек, подав руку Филонилле, сказал, что он не хочет делать из своих чувств никакого секрета и намерен немедленно же сказать своей матери и моему отцу о намерении жениться.

— На ком? — спросила, остановив его, Филонилла.

— Как "*на ком*"? — переспросил он.— Конечно на вас... если... если...

— Если что?

— Если только вы меня любите.

— О да,— отвечала она,— я не могу лгать в таком деле: я вас люблю, люблю за многое, что мне нравится в доброй душе вашей, и прибавлю — не

могу еще более не любить за то, что вы мне теперь говорите,— вы меня избираете из всех женщин, которые сочли бы большою радостью быть вашей женою...

— Не говорите этого: вы стоите всякого предпочтения.

— Оставим о предпочтении, но вы забыли: кто я? на ком вы хотите жениться?

— То есть как это: кто вы? Вы Филонилла Аполлоновна,— женщина, достойная любви и уважения.

— И это в сторону: *я — попадья*!

Он вспыхнул благородным, молодым негодованием и стал уверять ее, что он не хочет об этом даже и думать, что это в его глазах не заслуживает ни малейшего внимания и что решимость его непреложна до смерти.

То же самое в этот самый день он сказал и моему отцу, который выслушал его с удовольствием, пожал обоим молодым людям руки и сказал князю:

— Честь, которую вы делаете Филонилле, прекрасно рекомендует и ваше сердце, и ваш серьезный взгляд на выбор подруги по достоинству женщины, но... я весь на стороне ее (он указал на Филониллу). Совершенств нет на свете, но она близко подходит к тому, что можно назвать украшеньем женского пола,— однако... я вам советую много подумать прежде, чем вы станете говорить об этом с вашей матушкою... Я знаю княгиню.

Молодой человек перебил:

— Но ведь и я знаю мою мать!

— Конечно.

— Она меня любит.

— Без всякого сомнения; но она горда и... я сомневаюсь, чтобы она охотно приняла в свое родство женщину того круга, к которому принадлежит Филонилла.

Князь загорячился и просил прекратить об этом разговор, предоставив все дело его собственным соображениям.

Отец оставил переговоры, но вместо веселости, которой можно было ожидать после этого милого сватовства, у нас в доме как-то похолодело.

X

Князь по-прежнему бывал у нас каждый день и бодрился, старался казаться даже оживленнее, чем прежде, но что-то неуловимое выдавало совсем иное его душевное состояние. И это делалось все заметнее.

Мой отец и Филонилла переглядывались, но не говорили друг другу ни слова. Оба они были достаточно чутки и деликатны, чтобы употреблять слово там, где оно некстати. Матушка моя только задумывалась и чесала бровь,— что у нее было признаком горя и сожаления. Заметила ли об этом князю хотя одним словом Филонилла — я не знаю, но тоже не думаю. Не из тех она была натур, чтобы изливаться в словах. Она даже казалась ровною и неизменною, как была, но только немножко побледнела и через то стала еще красивее.

Однажды, я помню, выдался день, что князь у нас не был; солнце уходило в наш молодой осинник, отец сидел на крыльце, а она стояла вся в тени только с одною головкою, облитою румяным закатом.

Отец долго смотрел на нее с тыла и, улыбнувшись, тихонько позвал:

— Пенше![1*]

1* Возможно, от французского “pencher” — наклониться, нагнуться.

Она обернулась.

— Очень хороша,— сказал отец.

Она рассмеялась, подошла к нему, положила обе руки на его плечи и сказала:

— Хороша?

— Очень.

— А зачем... для чего... для...

Она вдруг отняла руки и убежала...

За ужином она опять сидела веселая и после сыграла с отцом партию в шахматы, а на другой день отец получил от князя записку, в которой тот извещал, что он заболел, и просил его навестить. Отец поехал перед вечером и, возвратясь к ночи, рассказал, что князь действительно болен.

— Что у него? — спросила мать.

— Ничего определенного,— отвечал отец,— а так... он весь как-то расслабел,— может быть, простудился.

— А княгиня?

— Она у него: мы все время сидели вместе.

Филонилла молчала, но при последних словах встала и вышла, а отец без нее рассказал, что князь жестоко потрясен нервически, что у него с матерью, очевидно, было объяснение, касающееся его чувств и намерений, и что, очевидно, удачи не будет.

— Да я так и думал,— добавил, махнув рукою, отец, имевший вообще очень невысокое мнение о характерах людей так называемого высшего общества.

Но оказалось, что мнения его были еще далеко не отяготительны.

XI

Отец мой собирался всякий день посещать князя и, может быть, хотел делать это сколько по личным побуждениям, так как этот молодой человек ему нравился, столько же и для Филониллы; но все это никуда не годилось и было разрушено неожиданным обстоятельством очень грубого свойства.

Утром из Послова приехал к нам верховой с письмом от княгини, прочитав которое, вспыльчивый отец мой вдруг пришел в раздражение и сразу сел писать ответ, но матушка вошла к нему в кабинет и ласково остановила его за руку. Между ними произошел крупный разговор, из которого многие слова долетали через открытое окно на балкончик, где сидели мы с Филониллой, и

ПРИМЕЧАНИЯ

Рукопись (черновой автограф с большой авторской правкой) хранится в ОР РГБ в фонде издательства А.Ф.Маркса (Ф. 360. Карт. 2. Ед. хр. 14).

Первоначально это незавершенное произведение имело подзаголовок “Рассказ”, а также эпиграф: “Бывают странны сны, а наяву страннее” (“Горе от ума”, 1 действие, 4-е явл.; реплика Фамусова), который был вычеркнут синим карандашом вместе с первым вариантом начала рассказа (см. выше подстрочные примечания к тексту).

Лесков работал над рассказом, по-видимому, в 1883—1884 гг. Отвергнутый вариант первой главы представлял собой экспозицию, характерную для многих произведений Лескова, в частности для излюбленного им жанра “рассказа кстати”. Упомянутый в этой главе 1883 г. определяет нижнюю границу датировки — тот год, ранее которого рассказ не мог быть написан.

Сюжет этого незаконченного рассказа был разработан писателем также в одной из новелл, вошедших в цикл “Заметки неизвестного”,— в новелле “О безумии одного князя”, напечатанной в № 11 “Газеты А.Гатцука” за 1884 г. (VII, 355—358). По-видимому, тогда же была прекращена работа над рассказом “Мадемуазель попадья” В “Заметках неизвестного” история молодой попадьи изложена не так подробно, но основные вехи сюжета совпадают с незавершенной рукописью: смерть отца-священника, брак героини с глуповатым сыном другого священника, его смерть, хо-

датайство перед архиереем об оставлении места за молодой вдовой и его отказ. В рассказе из "Заметок неизвестного" девушка также получила прозвище "мадемуазель попадья" Не совпадают лишь некоторые детали, в частности характер болезни, от которой умер муж героини, и в связи с общим замыслом цикла изменена тональность рассказа. Рассказ "О безумии одного князя" позволяет восстановить возможный ход событий в истории "мадемуазель попадьи": она "пристала к хору поющих цыган", которые приняли ее "за приятный и чистый голос" в свой табор. Она "жила в Москве на Грузинах, и была очень славна своим пением, и потом вышла замуж за богатого князя, который ни за что бы на ней не женился, если бы она была вдовая попадья, а не свободная цыганка" (VII, 357). Возможно, что речь идет о том самом молодом князе, который в рассказе "Мадемуазель попадья" по малодушию отказался от своего решения жениться на Филонилле из-за того, что она принадлежала к духовному сословию.

Характеру этого замысла и отношению автора к этому герою соответствует и язвительная концовка новеллы "О безумии одного князя": "Так-то светского звания люди, в нелепом своем пренебрежении к роду духовных, сами себя наказуют и унижают свой собственный род, присоединяя его даже лучше к цыганству" (VII, 358).

Рассказ имеет очень характерную для Лескова форму мемуарно-автобиографического повествования, о чем говорит и подзаголовок "Из семейных воспоминаний" Речь в нем идет о том времени, когда семья Лесковых жила в Орле на Малой Дворянской улице (ныне Октябрьская ул., дом 9, где находится музей Н.С.Лескова). В автографе вычеркнуты слова "Около сорока лет назад", которыми начиналась вторая глава, ставшая затем первой.

Характеристика отца, данная в рассказе, во многом совпадает с тем, что писал Лесков в "Автобиографической заметке" о своем отце С.Д.Лескове: "На месте учителя в доме Страховых отец обратил на себя внимание своим прекрасным умом и честностью, которая составляла отменную черту всей его многострадальной жизни" (XI, 8). "В Орле отца избрали заседателем от дворянства в орловскую уголовную палату, где он скоро стал заметен умом и твердостью убеждений, из-за чего наживал себе очень много врагов" (XI, 9). После столкновения с губернатором С.Д.Лесков «при следующих выборах остался без места, как "человек крутой"» (XI, 10).

1 Т.е. играла в жмурки или в прятки.

2 *Ключарь* — духовное лицо, заведующее ризницей и церковной утварью.

3 *Воздух* — покров на сосуды со Св. Дарами. Им накрывают лицо усопшего священнослужителя, и никто, кроме людей духовного звания, не имеет права его приоткрывать.

4 Это село упоминается также в повести "Юдоль" и в незавершенном романе "Незаметный след. (Из истории одного семейства)" (см. выше примеч. 7 к тексту романа).

5 Баллада В.А.Жуковского (1815). Лесков далее неточно цитирует следующую строфу:

Алина матери призналась:
"Мне мил Альсим!
Давно я втайне поменялась
Душою с ним;
Давно *люблю* ему сказала;
Дай счастье нам!"
— Нет, дочь моя, за генерала
тебя отдам!

Рассказы кстати

ПРОЗОРЛИВЫЙ ИНДУС[1*]

Мы приглашаем неверующих в Индию, особенно в Мадрас, на Голубые Горы. Пусть они поживут там несколько месяцев и затем отвергают, если могут, действительность колдовства и его чар.

Радда-Бай ("Русский вестник", 1885 г., апрель)[2*][1]

I

Радда-Бай окончила в "Русском вестнике" свои этюды о чудесах "Голубых Гор" и присыпала свой след шпильками и булавками, которые брошены с тем, чтобы их почувствовали ученые всего света,— начиная от членов французской академии до ортодоксального семинариста, и все представители всех разновидностей спиритизма. В голове после этого чтения не оставалось ничего, кроме утомительного пружанья стать отдельно от всех и видеть больше всех там, где, поистине говоря, никто ничего въявь еще не видал, да, кажется, и не увидит. В общем это производило на трезвого и рассудительного читателя впечатление, способное сердить человека за то авторитетное глубокомыслие, с каким ему претенциозно рассказывают в длинных периодах бессодержательный вздор, давно всем знакомый по хлыщеватым, но все-таки более интересным французским описаниям Жаколио[2].

Я видел своими глазами, как это чтение привело в гнев молодого человека, который отбросил от себя прочь апрельскую книжку журнала и с негодованием встал с своего места на балконе, где мы наслаждались прекрасным днем нынешнего мая.

Нас было трое: этот читатель, о котором сейчас сказано, я и пожилой католический священник француз — человек очень образованный и очень много видевший.

Заметив нетерпеливое движение нашего молодого друга, аббат улыбнулся и сказал:

— Бьюсь об заклад, что вы, верно, получили неожиданную политическую пилюлю.

Молодой человек разочаровал его проницательность и рассказал о настоящей причине своего нетерпеливого гнева, причем, разумеется, опять были мельком названы Индия, Голубые Горы, Радда-Бай и те таинственные явления, которые столь же маловероятны, сколь и незанимательны выходят в ее описаниях.

[1*] Публикация и комментарии И.П.Видуэцкой.

[2*] Первоначальный вариант эпиграфа: «Человеческая природа позволяет иногда смотреть в ужаснейшие глубины и заставляет самую смелую душу приходить в трепет ("Серапионовы братья")».

— А вы напрасно подчиняетесь такому неудовольствию против этой вашей соотечественницы, которая пишет о Голубых Горах и тамошних необыкновенных созерцателях и тайновидцах. Я понимаю, что человека, который только что прочел трезвое сочинение Гелленбаха[3], может раздосадовать нервический бред Радда-Бай, но надо быть в той стране, которую она описывает,— надо видеть Индию, чтобы не удивляться этому бреду и даже отчасти понимать его и даже извинять.

— Даже извинять? Почему же это так?

— А потому, что в таинственной области, которую Радда-Бай желает представить в особом, ни с чем несходном освещении, в самом деле много таких сплетений, что иногда трудно судить, подлежат ли эти сюжеты обсуждению созерцательного философа или воспроизведению в легком жанре опереточного каскада. Я, господа, могу говорить об этом, потому что я видел эту страну и помню кое-что из рассказов одного старого миссионера, которых мне, может быть, не следовало бы передавать вам, но так как я имею счастие принадлежать к святой римской церкви и нимало не обязан заботиться о спасении ваших греко-православных душ, то я вам скажу кое-что такое, что, к удивлению моему, совсем пропущено не только Радда-Бай, но и моим болтливым Жаколио. Я вам расскажу случай, который и невелик — хотя обнимает большое время, и очень занимателен, хотя кончается черт знает чем и, так сказать, сближает самые выси человеческого духа с увеселительно разлагающей сатирой Оффенбаха[4].

— О,— воскликнул наш молодой друг,— вы так взманиваете любопытство, отец мой, что я рад вас слушать, если бы это даже угрожало некоторой надежде моего спасения.

— Прекрасно, еретик, прекрасно,— я рассказываю.

II

И я был там, где была она,— эта ваша соотечественница, которая пришивает своим литературным периодам чрезвычайно длинные шлейфы. Я видел тоже разных людей и между прочим одного пастора, с которым нас обоюдно сблизила взаимная любовь к шахматам. Занятые благородною страстью к шахматам, мы проводили за нею много времени и не докучали ближним частым напоминанием о нашей миссии и даже совсем удалились от своего призвания порицать друг друга. Мы даже совсем и не считались с пастором в числе своих побед над предрассудками местных верований и, по правде сказать, очень мало их знали и мало об них заботились. У пастора был на это свой взгляд. Он говорил:

— Всякий должен иметь к чему-нибудь облагороживающую привычку, и, по моему мнению, люди могли бы очень нехудо проводить свое время без спора об исповеданиях...

Я перебил замечанием, что пастор мне начинает нравиться.

— Да,— продолжал священник,— он действительно обладал даром, который можно ставить довольно близко к красноречию, и умел слегка убеждать в таких вещах, в которых не всегда бы захотел позволить убедить себя.

— Что же в его образе мыслей было дурного или вредного?

— Я вам не говорю ни о вредном, ни о дурном,— может быть даже, что, с иной точки зрения, настроение, которого держался пастор, даже и очень похвально, но оно не для всех в одинаковой мере удобно. Пастор, например, положительно мирволил религиозным заблуждениям туземцев и говорил: “Будем, брат мой, к ним снисходительны, к нашим бедным индусам. Я ничего не оспариваю, что они теперь препорядочные болваны, но я надеюсь и

даже отвечаю вам за них моею головою, что и через каких-нибудь полтораста, двести лет и из них некоторые на что-нибудь годятся. А тем временем мы не должны мучить себя и докучать им с беспрестанным внушением тех святых положений, которые вполне доступны старым христианам, но для ума, культивированного в индейских понятиях, очень мало доступны. Я предлагаю вам с совершенно спокойным духом сыграть со мною еще одну партию"

И когда я поддался соблазну и партия была сыграна, я отказался продолжать далее и в мягких, но достаточных выражениях заметил пастору, что по мне его толеранция, кажется, страдает излишеством, которого я, впрочем, хотел бы не осуждать, если бы дело касалось вещей *поправимых со временем*, но я боюсь, видя для этих людей такое бедствие, которое потом невозможно поправить.

— Я желал бы знать, что вы разумеете?

— Я отвечу вам прямо и просто, господин пастор, я разумею то самое, что должно быть всего серьезнее для человека, носящего мое звание.

— Ага! Ваше звание... Прекрасно, прекрасно, господин аббат: я исполнен уважения к вашему званию и понимаю, что вы хотите сберечь для людей жалкой индейской народности. Вы разумеете, конечно, спасение их несчастных душ в вечности.

Я молча качнул утвердительно головою.

Пастор тепло пожал мою руку и, вздохнув, заговорил несколько пониженным, но задушевным тоном.

— Заботы ваши возвышенны и прекрасны, особенно если смотреть на эту жизнь как на кратковременное странствование к вечности, как это представил наш Буниан[5]. Его книга, впрочем, у вас, католиков, не в употреблении, так как в ней все отнесено на долю личного преуспеяния человека и ничего не упоминается о разнообразных средствах, которыми изобилует ваша римская церковь. Тем не менее сочинение Джона Буниана прекрасно, и я думаю, что его едва ли мог бы написать человек, который в свою жизнь не пошалил и не пображничал столько, как этот одухотворенный автор[6]. Однако здесь, уверяю вас, люди для своего утешения в вечности обходятся совсем иными средствами и притом получают такие убедительные доказательства, каких мы с вами решительно не в состоянии дать им. И чтобы это не казалось вам странным, я готов рассказать вам один достойный внимания случай из духовной практики моего очень достойного дяди, который был здешним пастором и умел приобрести себе любовь туземцев.

Я, разумеется, попросил пастора сделать мне его духовное сообщение, а он отодвинул в сторону шахматы, зажег чируту и рассказал мне следующее.

III

Дядя мой прибыл сюда, когда туземцы еще не оставили своего обычая сожигать вдов вместе с их умершими мужьями. В одном месте, где еще держалось сожигание вдов, умер зажиточный индус, оставивший молодую вдову. Ей, может быть, и не хотелось сгореть с покойником, но сила общественного мнения единоверцев, или прямо принуждение, против которого вдова не могла найти защиты у англичан, заставили бедняжку взойти на костер, где она и сгорела. Происшествие это произвело такое ужасное впечатление на семилетнего сына сожженных родителей, что мальчик тронулся в рассудке, он отказался от всех радостей жизни, уединился в дикую дебрь и стал там на одной ножке на пеньшек. Соскочит когда-нибудь изредка, пожует травки и опять

ПРИМЕЧАНИЯ

Автограф неоконченного рассказа "Прозорливый индус" находится в РГАЛИ (Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 24).

Произведение создавалось, вероятно, в 1880-е годы, возможно — как непосредственный отклик на серию статей Е.П.Блаватской в "Русском вестнике": в качестве эпиграфа к рассказу поставлен фрагмент ее статьи, напечатанной в апрельской книжке "Русского вестника" за 1885 г. (см. примеч. 1). Такой прямой отклик на только что прочитанные произведения характерен для излюбленного Лесковым жанра "рассказов кстати", к которому он отнес начатое произведение.

1 Эпиграф взят из заключительной статьи серии «*Загадочные племена*. Три месяца на "Голубых Горах" Мадраса», которые печатала в "Русском вестнике" под псевдонимом "Радда-Бай" *Е.П.Блаватская* (1831—1891), писательница и спиритка. Предыдущие статьи были помещены в "Русском вестнике" (1884, № 12 и 1885, № 1, 2 и 3). Приведенный Лесковым в извлечениях текст в полном виде звучит так: «Мы приглашаем неверующих в Индию, особенно в Мадрасское президентство на "Голубые Горы" Пусть они поживут там несколько месяцев и познакомятся с "загадочными племенами" Нильгири, главное с Муллу-Курумбами. Пусть познакомятся со старожилами и войдут в их доверие, потому что иначе страх современной науки и публичного мнения зажмет рот даже старожилам, с весьма малыми исключениями. А затем, вернувшись из Индии в Европу, пусть скептики отвергают, если могут, действительность колдовства и его чар...» (*РВ*. 1885. № 4. С. 602).

2 *Жаколио, Луи* (1837—1890) — французский писатель, долго живший в Индии и Океании и опубликовавший впоследствии множество книг, в которых описал свои приключения. Его перу принадлежат также исследования по вопросам этнографии и сравнительного изучения индийской религии и мифологии.

3 *Гелленбах* (L.B. von Gellenbach) — австрийский философ. Русский перевод двух из трех основных его произведений был издан в С.-Петербурге А.Н.Аксаковым: Лазарь Гелленбах "Индивидуализм в свете биологии и современной философии" (1884) и "Опыт философии здравого смысла. Мысли о сущности человеческого явления" (1885).

4 Жак *Оффенбах* (1819—1880), французский композитор, автор более ста оперетт, многие из которых создавались им в сотрудничестве с либреттистами Анри Мельяком и Людовиком Галеви. Под прикрытием легкой шутки соавторы высмеивали нравы Второй империи. Написанные на их либретто оперетты Оффенбаха "Орфей в аду", "Прекрасная Елена" "Синяя борода", "Великая герцогиня Герольштейнская" воспринимались как политическая сатира.

5 Джон *Бэньян* (Буниан) (Bunyan, John) (1628—1688) — знаменитый английский проповедник, автор 59 произведений, среди которых наиболее знамениты "Grace abounding to the Chief of Sinners" (1666), "The Pilgrim's Progress" (1678) и "The Holy War" (1682). В русском переводе "Сочинения Иоанна Бюниана" впервые появились в 1782 г., 2-е издание было предпринято в 1786—1787 гг., 3-е — в 1819. Одно из этих изданий читает в "Соборянах" протопоп Туберозов (см. IV, 274). Имя Джона Буниана Лесков упоминает также в статье "О куфельном мужике и проч." (1886) в связи с именем Ю.Д.Засецкой (см. XI, 147), которая сделала новый перевод двух главных книг английского проповедника: Джон Буньян "Путешествие пилигрима.— Духовная война" Перевод с англ. Ю.Д.З. СПб., 1878. Лесков откликнулся на выход этой книги заметкой "Новая назидательная книга", напечатанной без подписи в "Церковно-общественном вестнике" (1878. 2 апр.): «Это два известнейшие оригинальные сочинения английского нравственного писателя Джона Буниана "Путешествие пилигрима" и "Духовная война" <...> Первая из этих превосходных метафор была известна нашим отцам по переводу, в котором трудился сам Лабзин или кто-то из его круга; вторая же, "Духовная война", появляется на русском языке, если не ошибаемся, впервые». В "Прозорливом индусе" Лесков, по-видимому, говорит о "Путешествии пилигрима"

6 Некоторые источники указывают, что в юности Бэньян вел разгульный образ жизни. Однако другие биографы утверждают, что все его прегрешения заключались в том, что он был веселым, дерзким парнем, вожаком сельской молодежи, который любил танцевать, звонить в колокола и был несдержан на язык. Ср. в наст. томе незавершенный рассказ Лескова "Пумперлей" — в цикле "Памятные встречи. (Отрывки из воспоминаний)",— где сказано, что Бэньян "был великим негодяем, прежде чем стал вести образцовую христианскую жизнь"

ЧЕРТОВА ПОМОЩЬ [1*]

Быль

> Вы дураки,— говорит дьявол.— Разве одними руками работают? Я научу вас, как головою работать,— тогда вы узнаете, что головою спорее работать, чем руками. Я вас, дураков, жалею.
>
> Гр. *Лев Толстой.*[1]

I

Суд вышел из совещательной комнаты и прочел подсудимому свой приговор.

“Блестящий молодой человек” этим приговором был зарешен к ссылке в Сибирь. Преступление его состояло в обворовании кассы кредитного учреждения, где он находился на службе.

При чтении приговора старик, сидевший на свидетельской скамье, упал на пол, и сторожа понесли его вон. Чтение на минуту прекратилось и потом продолжалось далее.

Упавший в дурноте старик был отец подсудимого. Когда его выносили — сын на него оглянулся и остался на своем месте, которого, конечно, ему и невозможно было оставить по его привилегированному положению. Сзади его и у входа на скамью подсудимых, где он помещался, стояли два жандарма.

Выносимого старика проводили взглядами три женщины. Точнее сказать, обморок заставил оглянуться в его сторону всех людей, наполнявших судебную залу, но три женщины обернулись в сторону старика с выражением особенных чувств, по которым можно было догадаться об их особенных отношениях к этому человеку, внезапно потерявшему силы и сознание.

Одна из них, престарелая, с растерянным выражением на бледном лице, выражающем горе и бессилие, была жена этого старика и мать “блестящего” подсудимого; другая, молодая дама с нервным, отчасти капризным и во всяком случае искаженным, но красивым лицом,— жена подсудимого, и третья, совсем молодая, с роскошной, но не внушающей ничего благородного красотою,— его любовница.

Эта последняя имела очень живую роль в деле: блестящий молодой человек для нее крал вверенные ему деньги и проматывал их с невероятною быстротою при ее усердной помощи и искусстве.

Сам старик был отец подсудимого.

[1*] Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Комментарии Н.Н.Старыгиной.

II

Герой этой драмы, сам подсудимый, дослушал свой приговор с достоинством. Он не бледнел, его руки не дрожали, и глаза смотрели без особенной грусти и без задора, которыми часто маскируют свое внутреннее состояние люди, озабоченные тем, чтобы не выдать себя и сохранить внешнюю благопристойность. Ему эта последняя забота, по-видимому, не была необходима. Он был человек выдержанный и знал, что внешняя благопристойность его не может оставить, так как она есть элемент его натуры.

Двадцать лет ссылки на поселение в отдаленнейших местах и затем безвыездное пребывание в Сибири навсегда его не испугали и не заставили быть малодушным.

Он поклонился суду и обнял и поцеловал при всех своего защитника,— очень известного адвоката, который вполне заслужил эти объятия и деньги, взятые им с подсудимого за его защиту. Благодаря ловким вывертам и талантливо закрученным софизмам этого господина, вина общественного вора и плута была смягчена и доведена до возможно большего облегчения.

Он получил "снисхождение" и вместо каторжных работ уезжал просто в Сибирь, где, по народной пословице, "тоже люди живут"

Все знали, что ему будет на что жить, и не стесняясь об этом говорили.

Из мужчин его не сожалел никто, но дамы были мягче, и суд их сорастворялся милосердием.

Они находили его "интересным"

В нем, в самом деле, была интересна его артистически тонкая выдержанность и благоприличие, которое он умел сохранять до конца в своем нынешнем положении.

Проходя широкою залою, где для освежения был помещен его отец,— подсудимый с разрешения пристава подошел к старику и, низко склонив голову, почтительно поцеловал его руку.

Устами он не произнес ни слова.

Старик не отнял у него своей руки: он молча обвел сына своими большими, некогда, вероятно, очень красивыми серыми глазами[1*] и молвил:

— Свершилось,— ты достиг своего предназначения[2*].

III

Это меня поразило.

От человека, который несколько минут назад так страшно страдал, что подвергся обмороку, теперь веяло такою холодною твердостью, как будто он не был отец и видел в судьбе осужденного один лишь совершенный опыт какой-то давно данной задачи.

Я отвернулся от этой сцены и остановил мои глаза на лице одного моего знакомого, очень умного человека, который тоже наблюдал то, что мною сейчас было рассказано, и мы вместе пошли к выходу из судебного здания, а потом далее потянулись вместе к нашим домам и по дороге разговорились о

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется по автографу: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 21. Рассказ относится к жанру "рассказа кстати". Замысел возник, вероятно, во второй половине 1880-х годов, о чем свидетельствует эпиграф из сказки Толстого, опубликованной в 1885 г.: "Сказка об Иване-дураке и о его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах"

[1] Лесков цитирует сказку неточно.

[1*] Далее зачеркнуто: "но потом не выдержал и скоро"

[2*] Зачеркнуто первоначальное: "Мое предсказание свершилось. Ты достиг..."

КОРОТКАЯ РАСПРАВА [1*]

(Из рассказов кстати)

Люди бывают больше похожи на те времена, когда они живут, чем на своих отцов.

Халиф Али[1].

I

Это было уже после того, как "от старости пришедшей" с меня "сошел припадок сумасшедший"[2], и я возвратился от "макаровых телят" снова к прерванной ученой карьере и к добрым друзьям. Ученую карьеру, мне, однако, продолжать не удалось, потому что просвещенных людей и без меня у нас слишком много, а прежние добрые друзья меня отвергли. Им это было и простительно, потому что они состояли на службе и не должны были хромать на оба колена: "или Егова есть Бог, или Ваал"[3]. Мои бывшие друзья, может быть, и не решили в душе, кого "единого возлюбят"[4], но тем не менее им было удобнее от меня отвернуться, и они это сделали; а я их простил, ибо ничего другого я сделать не мог, меж тем, как некоторые из них могли опять отправить меня к Макару.

Я увидал, что возвращение мне возможности "продолжать прерванную карьеру" есть чистый вздор, и понял, что эта, так называемая "карьера" для меня закрыта или навсегда будет стеснена условиями самого досадительного свойства, а между тем у меня есть мучительная кредиторша,— виновница моего бытия, которая одна знает тайную причину моего прихода в жизнь и одна, бедняжка, без всякой помощи чем-то меня воскормила и возрастила и оплакала, когда я десять лет тому назад "испортил свою карьеру" и покинул ее здесь опять вполне одинокую и беспомощную, с ревматическими опухолями на ручных пальцах... Бедная. Провожая меня в кратковременном свидании, которое милостиво разрешили нам за минуту моей высылки, она нашла в себе еще столько мужества, что подошла ко мне твердой походкою и с спокойным лицом, и не сделала мне ни малейшей укоризны, а вздохнула и, обняв меня на прощание, сказала: "Пусть осенит тебя крестом Бог угнетенных, Бог скорбящих, Бог поколений предстоящих"[5]. И как она не могла сказать мне ничего более ясно о том: в каком состоянии своего духа она со мной прощается и каким желает видеть меня в дальнейших испытаниях моей жизни, то она удивила и пленила меня нежною находчивостью своего благословения: я, конечно, вспомнил, что это взято ею из слов поэта, стихотворения которого она мне часто читала во дни моего детства, и мне стало покойно: я знал, что у нее есть сила в душе и что у нас с нею один Бог — "Бог угнетенных и скорбящих" И это облегчало мне все, что я перенес во

[1*] Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Комментарии Н.Н.Старыгиной.

все десять лет моего[1*] житья на макаровом дворе, куда моя старуха с неотступной настойчивостью присылала мне три раза маленькие деньги, скопленные от ее праведных рук; но я этим возмущался и возвращал ей ее присылки с небольшими добавлениями от моих личных заработков. Теперь, когда я был возвращен и желал трудиться для того, чтобы облегчить ее согбенные руки, меня не могли огорчить ни ограничения моих прав, ни отступничество далеко ушедших в карьере товарищей: я даже рад был, что все это у меня отрезано и что мне нет повода метаться на ученках, а следует прямо посадить родную на лавочку и сказать: грей, бедняга, свои ручки в ватке, а я теперь за тебя и за себя поработаю.

Я так и сделал, водворясь без всяких средств и без определенных занятий в крохотной квартирке на попятинском дворе.

II

Дома все известны по номерам, значащимся на их фасадах, но "попятин двор" состоял на особом положении. Жестяная бляшка с номером ему была тоже "присвоена", но это, как все говорили, "ничего не значило" Ее как-то не видели и даже не старались и видеть, и называли дом не "по числу звериному", а "по имени человеческому", т.е. "двор Попятина"; и говорили непременно "*двор*", а не "дом", потому, что на попятинском дворе было нагорожено много жилищ, но настоящего, "оглавного дома", как говорил дворник, не было. Все были "фигальки", по всем четырем сторонам двора, и "с панели", т.е. на улицу тоже был "фигаль", правда довольно большой, но однако и он за дом не почитался.

Всех "жительств" на попятинском дворе было восемнадцать, и содержались они в достаточном порядке. Посреди двора был даже разбит палисадник и колодезь с водокачкою, из которой брали воду. В саду были кое-какие зеленые хворостинки, беседочка из лучинок, две лавочки и три дорожки. Престарелые жительницы могли выходить и сидеть на этих лавочках, а "молодое отрождение" могло бегать по дорожкам, но не кричать и не бросаться песком, так как этого не любил хозяин. А хозяин был генерал,— не какой-нибудь фантастический или эфемерный генерал от дворницкого или кухаркиного величия, а настоящий военный генерал по чину и по имени Юлиан Семенович Попятин.

По имени его и назывался и попятин двор.

Мы с матушкой заняли маленькую квартирку — всего две небольшие комнатки, но и теми не хотели пользоваться вполне, а рассчитывали в одну из них пустить жильца. Разумеется, все это только на первое время, пока у меня не было решительно никаких средств; а после я думал как-нибудь скоро поправиться.

За первый месяц мы отвалили всю плату вперед и получили книжку с отметкой в получении денег, но дальше ни пить, ни есть было нечего и занятий никаких не предвиделось. Просить в долг нам было не у кого, да если бы и было у кого, мы навряд ли стали бы это делать. Ни я, ни моя старуха никогда этим себя не портили. Надо бы сделать объявление в газетах, но на это тоже нужны деньги, а результат еще сомнителен, да и не скор. Мне надо было что-нибудь такое, что действовало бы скорее и вернее, и притом не стоило бы денег. Такие практические секреты есть в общежитии, и скитальчество в загонах между макаровыми телятами меня кое в чем этаком усовер-

---

[1*] Далее зачеркнуто: "моего состояния при макаровых телятах"

шили и умудрили таки, что я не возношусь духом при благоприятных обстоятельствах и не падаю с размаху в противных.

Имея в кармане два пятиалтынных, которые остались у меня от расходов по переноске на квартиру матушкиного хлама, я вышел в наш палисадник, чтобы поиграть с резвившимися там детьми, и подумал: вот тут для меня, может быть, есть зацепка. И зацепка действительно нашлась: среди детей были мальчик и девочка нашего дворника, которых была пора заучать грамоте и которые сами очень хотели учиться, но их не посылали в школу, потому что "тятька не дает на азбуку"

Я пошел купил за пятак азбуку и стал толковать детям грамоту, и тем сразу отвлекся сам от одолевавших меня тягостных мыслей и привлек на себя благорасположение дворничихи и дворника; а вечером я встретил этого важного человека, спросил, как его зовут (звали его Полуехт Иванович), и сразу же объяснился с ним начистоту как с умным и добрым человеком, каким он, может быть, и не был.

Я сказал ему, кто я такой, т.е. мое звание бывшего студента и мое прошлое, как я был "поднадзорный и лишенный", и делал я это не из болтовни или глупости, а для того, чтобы предупредить его обо всем меня касающемся прежде, чем его станут об этом просвещать при том, когда он будет прописывать мой вид.

Эта моя откровенность не произвела на Полуехта никакого особенного впечатления: видно было, что он не раз видал таких, как я, и не склонен смешивать их с убийцами и ворами, а тогда я сказал ему:

— И затем, Полуехт Иваныч, сделай милость, будь друг-приятель и окажи мне службу, а я тебе две.

Он посмотрел на меня деловым взглядом и спросил:

— Что же надо?

— Все, брат ты мой, надо, а ничего нет!

— Значит недостачи?

— Да; вернулся ни с чем и кроме того, что отдал за квартиру, ничего у меня нет, и еще мать старушка. Раздобудь мне каких-нибудь делов — я тебе от первого заработка сейчас часть дам.

Полуехт задумался, зашевелил в бороде и сказал: что ж — это можно.

— Пожалуйста! Я тебе не в зачет и ребят читать выучу.

— Наплевать это мне,— я и так сделаю.

— Вот ты и добрый человек.

— Да не токмо, что добрый, а если, что можно, так отчего не сделать.

— Только мне скоро надо.

— Да нынче разумеется... Ты ведь на разные языки учен?

— Разумеется, учен!

— И пишете хорошо.

— Конечно, хорошо.

— Ну и сделаю вас на место. Тут вот у нас в этом в главном фигале-то на верху сам генерал живет,— он человек правный и бедовый,— а внизу под ним адвокат Партищев Константин Дмитрич: я для тебя на него надеюсь.

— Что же: письмоводитель ему что ли, может быть, нужен?

— Да, уж он разберет!.. Ты не унывай: уж раз ты ко мне удался и в дверь стукнул, так не унывай. Хочешь, я тебе даже и рубль и два взаймы без залогу дам.

Я поблагодарил, но денег не взял.

Полуехт это одобрил и сказал:

— Вот из этого вижу, что совсем любишь честно. Не унывай же, не унывай!

А я и сам не унывал, да было ли тут чего унывать мне, испытавшему не раз такие же положения в таких местах, где все мои сведения и способности не стоили ни гроша и задаром никому не были нужны.

Тут уж я знал, что не пропаду!

III

Ввечеру мы с мамой не зажигали огня, потому что экономили. Двадцать пять копеек, которые оставались у меня в кармане, могли нам завтра пригодиться на хлеб, который был нужнее, чем вечернее освещение: мы друг друга слышали, и этого было довольно для нашего благополучия

ПРИМЕЧАНИЯ

В архиве Лескова сохранились фрагменты двух рассказов, несомненно близких друг другу: “Короткая расправа” и фрагмент без названия, начинающийся со слов “Особенно чувствительно уязвила...”. В обоих действие разворачивается на “попятином дворе”, владельцем которого назван генерал Попятин (в “Короткой расправе” — Юлиан Семенович, в “Особенно чувствительно уязвила...” — Иван Андреевич). Можно предположить, что это осколки одного замысла, связанного с “Крейцеровой сонатой” Л.Н.Толстого, хотя повесть Толстого упомянута прямо лишь во втором фрагменте. Повесть распространялась в списках с 1889 г., напечатана в России в 1891 г. Таким образом, замысел Лескова возник и был частично реализован не ранее 1889 г. (см. подробнее об этом замысле во вступительной статье к настоящей публикации).

Начало неосуществленного рассказа “Короткая расправа” публикуется по автографу: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 34. В рукописи имеются незначительные исправления, на первом листе слева рукою Лескова карандашом написано “Противная партия”, в правом верхнем углу (тоже — карандашом) рукою неустановленного лица — “Попятин двор” Рукопись обрывается, не датирована.

[1] *Али* (600—661) — четвертый (“праведный”) халиф (с 656 г.) Арабского халифата, один из первых последователей Мухаммеда. В период распространения ислама прославился как оратор. Его речи, проповеди и изречения были собраны в конце X в. филологом и поэтом аш-Шрифом ар-Ради (970—1016) в сборник “Путь красноречия”. Цитируемое изречение Али внесено Лесковым в записную книжку (*РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 107).

[2] Источник цитаты не установлен. В несколько ином варианте: “после старости пришедшей был припадок сумасшедший” — Лесков использовал эту фразу в романе “На ножах” (Ч. 5. Гл. 19).

[3] *3 Царств,* 18:21.

[4] *3 Царств,* 18:36; *1 Тим.,* 2:5.

[5] Цитата из поэмы Н.А.Некрасова “Тишина” (1856—1857).

ПРИЛОЖЕНИЕ

<“ОСОБЕННО ЧУВСТВИТЕЛЬНО УЯЗВИЛА...”>[1*]

Особенно чувствительно уязвила генерала Попятина “Крейцерова соната”, которая, как известно, быстро распространялась посредством списков, гектографов и печатных экземпляров заграничного издания. Изо всего населения попятинского дома Иван Андреич сам первый достал экземпляр “Сонаты” и сам же предложил Словцову “сделать чтение”, на которое Словцов собрал своих “добрых ребят мужского и женского пола”, и чтение прекрасно удалось: повесть всем понравилась, и “тенденция” ее никого не возмутила и присутствовавших на чтении мужей с женами не перессорила и не разлучила.

[1*] Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Комментарии Н.Н.Старыгиной.

Генерал сразу же нашел в этом несообразность и с следующего же дня начал "подыскиваться" к тем, которые были у Словцова на чтении и продолжали жить в браке.

— Как же-с это так? — говорил он.— А ведь вы слушали, что провозглашает граф Толстой!

— Да, слушали,— отвечал ему человек, взятый на допрос.

— И даже, может быть, нравилось.

— Не знаю как кому, а мне нравилось.

— Гм!.. Вот как!..

— Многое, очень многое справедливо.

— Ну да как же иначе!

— И верно!.. Ей право, верно... Как это муж с женою "детьми-то дерутся"[1]... Это, воля ваша, преверно!

— Ну да как же уж, чтобы граф Толстой написал да ничего верного не было! Непременно все будет превосходно и верно...

— Нет, позвольте,— перебивал Словцов,— я не сказал, что "все верно",— я кое-что еще не успел продумать, но главное принимаю и разделяю...

— То есть, что же это?

— А вот то, что надо, чтобы человек выбирал себе жену за ее ум, характер и хорошее уменье жить, а не за джерси да за нашлепку[2].

— Где же вы это там усмотрели?

— А как же!

— Я не знаю: я не заметил.

— Чего это?

— Я не заметил там прямого правила: как выбирать...

— Позвольте,— да ведь это ясно!

— Извините,— для меня это не ясно. Для меня там самое главное и самое ясное, что Толстой совсем против всякого выбора, потому — что он против брака.

— Где же вы это видите?

— Как где! — в самом эпиграфе.

— Эпиграфом служит евангельский текст[3].

— Ну да!

— Что же там такое... позвольте... Сказано, что кто взглянет на женщину с пожеланием, тот уже и согрешил.

— Ну да, да, да!

— Где же тут против брака?

— А я думаю-с!.. Взглянул на женщину с пожеланием — вот и грех, а грех запрещен.

— Да ведь это *на женщину*!.. На *постороннюю* женщину, а не на *жену свою!*

— А ваша жена прежде, чем вы с нею обвенчались: кто такая она вам доводилась?

— Она была моя невеста.

— Невеста!.. Не знаю-с... и не понимаю: какая это степень родства или свойства, но допустим: она была ваша невеста, после того, как вы с нею сосватались; но а прежде-с...

— Когда?

— Ну, Господь мой! — ну прежде, чем вы с нею слюбились и сосватались: кто она вам приходилась: родная или посторонняя?

— Конечно, *не* родная.

— Я думаю-с! Браки между родственниками воспрещаются.

— Воспрещаются.

— Значит, ведь вы женились-то ведь на посторонней!

Словцов посмотрел на генерала и, не сдержав набегавшей на его веселое лицо улыбки, отвечал:

— Да.

— И нечего смеяться: значит вы *пожелали* иметь с нею супружеские отношения, когда она не была еще с вами обвенчана, а потому, стало быть, и вы, и всякий другой, кто женится, тот делает дурно, ибо "желает иметь жену" Чего же вам яснее!

Тут уже Словцов не ограничился улыбкой и расхохотался, но смех его Попятина не сердил, а даже, напротив, как будто ему нравился: он видел, что если он и не сбил юриста с толку, то во всяком случае произвел на него значительное впечатление.

ПРИМЕЧАНИЯ

Отрывок "Особенно чувствительно уязвила..." публикуется по автографу: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 36. Рукопись не датирована.

[1] Имеются в виду слова Позднышева из повести "Крейцерова соната" Л.Н.Толстого: "...дети были орудием борьбы; мы как будто дрались друг с другом детьми" (*Толстой*. Т. 27. С. 43).

[2] См. в "Крейцеровой сонате": "...эти джерси мерзкие, эти нашлепки на зады, эти голые плечи, руки, почти груди" (Там же. С. 22).

[3] "А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем" (*Матфей,* 5:28) — таков был эпиграф к "Крейцеровой сонате", когда Лесков знакомился с повестью. В дальнейшем Л.Н.Толстой ввел в эпиграф еще и другую цитату из Евангелия от Матфея (19:10—12).

БЫТОВЫЕ АПОКРИФЫ [1*]

Беста им рвение во всяку прю, и клеветы,
и зависти, и мечты, и шепты.
(Р<у>к<о>п<иси> Рум<янцевского> муз<ея> 327)

ПОСЛАННИЦЫ АМУРА

При восшествии на престол императора Александра II и в первое время его царствования было замечено такое явление, что "многие стоявшие впереди отодвинулись назад, а другие сзади подались вперед" "Иные же совсем были отвергнуты" По этому случаю "была молва", и "слышалось смущение и ропот",— многие из отодвинувшихся ощутили в себе дыхание некоего "провозвещающего духа" и, находясь в созерцании грядущего, смело пророчествовали; другие "смирились" и начали заниматься "кредитом" посредством открытия "ссудо-касс" на чужое имя, а третьи "умывали руки",— удалялись от дел к "идиллиям" — поселялись в хуторах и деревеньках, избирались церковными старостами, писали скромные стишки и картинки и ехидствовали, подшучивая над новым временем.

Я был тогда "мальчиком на возрасте" и жил в большом университетском городе, где "заразился понятиями", которые по верным соображениям моих родных не обещали мне счастия. Меня от этого старались воздержать, а главное,— на первый раз отрезвить, чтобы из семьи нашей не вышло вредного члена, способного сочувствовать "угрожающей эмансипации"

Самое сильное участие в этом принимала одна моя орловская родственница,— женщина "прекрасных правил и безукоризненной репутации при просвещенном и поэтическом уме" Она имела за образец в педагогии "взгляды премудрой Екатерины, когда внукам ее пришел юношеский возраст", а поэзиею обладала в чрезвычайной мере. Эта дама *знала наизусть* всего "Онегина", "Бориса Годунова" и "Полтаву", с чувством декламировала на память "Чернеца" (Козлова) и могла "конверсировать"[2*] стихами из "Горя от ума",— чем и блестела в обществе до тех пор, пока в город прибыл из кавалерии новый полицеймейстер, который лихо танцевал мазурку, бил купцов "по сусалам"[1], брал взятки с живого и с мертвого, "сквернословил по-французски" и объяснялся с кем угодно вокабулами из "Горя от ума" Встретив такого конкурента в последнем искусстве, местная дама спасовала, и полицмейстер торжествовал свою победу: он примаргивал в ее сторону глазком и говорил: "осеклась" Но зато в поэтических чувствах и восторгах ее никто победить не мог, и если даже она сама себя иногда сдерживала, то это вело только к тому, что дар ее прорвется и изольется сильнее.

Всего более ее озабочивало, как, "своеволием сгорая", мятется "юность удалая, опасных алча перемен"[2]. Тогда она обращалась к "примерам премудрой Екатерины" и предпринимала "отвлечения"

[1*] Публикация и комментарии И.П.Видуэцкой.
[2*] От франц. converser — разговаривать.

Это самое она сделала и для меня. В один прекрасный день благоухающего мая я получил от нее милое, как у нас в Орле называли, "родственное письмо", которым она приглашала меня приехать на летний отдых в "родные палестины", где обещала много тихих, но возвышающих удовольствий. Она упоминала о "девочках-резвушках, которые расцвели и стали девушками", и о "мальчиках-сверстниках, которые теперь уже интересные молодые люди", и потом вдруг, оставив говорить прозой, вписала стихами, что к ним

С далеких невских берегов
Покрытый воин сединами
Приехал век дожить меж нами
Под сенью отческих дубров,
И с ними дочь в осьмнадцать лет...[3]

Последнюю строчку она подчеркнула, рекомендуя тем, чтобы и я ее принял себе в особенное внимание. Это, собственно, должно было произвести надо мною "отвлечение наружу"

Обстоятельства слагались так, что мне в самом деле пришлось провести лето в "родных палестинах". Родственница моя занялась моим "отвлечением" с первого же дня нашей встречи. Ранними сумерками она повела меня "под сень кипарисов", которые заменяли ракиты и березы нашего сельского кладбища, и указала новые могилы старинных знакомых. В одной из них лежала бездетная старушка, которая умела делать прекрасную пастилу из червивых яблок и услаждала ею многих. Теперь эта добрая женщина лежала в земле, а я вспомнил, что она была бездетна, и спросил:

— Кто же наследовал ее деревеньку?

— А вот именно *он*,— отвечала моя родственница и очень удивилась, когда я сказал ей, что не понимаю, о ком идет речь.

— Ну как же не понимаешь! Ведь я писала: "с далеких невских берегов, покрытый воин сединами..."

— Ах, так это *он*!

— Я думаю, понять не трудно!

— Ну позвольте,— однако почему же это можно понять?

— Да ведь вот понял же.

— Скорее так... почему-то догадался.

— И прекрасно сделал. Вы теперь все хотите искать "ума холодных размышлений", а дело совсем не в них: ищи "сердца пламенных замет"[4], и ты больше отгадаешь и будешь счастливее. А кстати, мы велим Еропке (кучеру) взять здесь вброд через ручей направо, и нам по дороге домой будет их усадьба. Заедем к ним запросто напиться чаю. Старик большой охотник поговорить и будет очень рад... С твоей стороны это будет милая вежливость в самом простом деревенском духе, а я с ним, по правде сказать, в короткое время как-то очень сблизилась... мы оба многому вместе симпатизируем, и я с ним чувствую себя в своей тарелке...

— Все это отлично,— говорю,— но ведь "покрытый воин сединами" не один, а "с ним дочь в семнадцать лет", а я в пиджаке и без перчаток.

— Ну полно, пожалуйста. Тебе стыдно думать, будто я так глупа, что не знаю, что удобно и что неудобно. Это простые и милые люди.

Мне оставалось повиноваться.

Еропка взял вправо, вброд через ручей направо, и через четверть часа, объехав взгорье, сад и пруд, мы подъехали к домику за деревянной решеткой. Домик давно знакомый, деревянный, одноэтажный, с двумя крыльцами, из которых одно называлось "передним", а другое "девичьим" Между крыльцами в ряд три широкие, венецианские окна и "мостик", по которому

можно проходить с одного крыльца на другое. На мостике стоит скамейка, на которой сидит бодрый, сухой старичок в коричневом саке и в военной фуражке, а перед ним семь или восемь босых крестьянских мальчиков без шапок и в рубашках. У некоторых штанишки мотаются, а у других закачены выше колен. Слышно какое-то пение, не то плач или робкий крик.

— Это он учит их петь! — объясняет мне моя руководительница.

— Мальчишки сами умеют петь.

— Как ты глупо говоришь, извини меня. Что такое они, по-твоему, умеют петь?

— Да все, что им нравится: "шохмут-лохмут, дикинь-выкинь, Родивон — ступай вон"

— Вот и вышла либеральная глупость. Он их учит петь духовное; а ты, сделай милость, при нем в этом роде не очень распространяйся.

Мы проходили уже по двору, приближаясь к "покрытому воину", который, несомненно, нас заметил, и я не мог объясняться с моей родственницей, а только успел наскоро сказать ей тихо:

— Что такое?.. О чем не распространяться?..

— Ты понимаешь.

— Нет, не понимаю. Напрасно вы мне не сказали об этом ничего прежде.

— Я скажу после.

* * *

Воин привстал нам навстречу и махнул рукою мальчишкам, которые пошли от него, все ускоряя шаги, и потом вдруг шибко побежали.

Он им крикнул: "не бегать! не бегать!" — и потом обратился к нам.

Родственница меня ему отрекомендовала.

Он подал мне престранную руку: длинную, сухую и холодную, с мягкою и нежною кожею на ладонях, но совершенно плоскими пальцами, в которых снизу прощупывались все кости, а ногти прямо ткали и как бы впивались в руку. Волосы на голове у него были совершенно белые, брови вразлет и пушистые, с некоторою синевой; усы пожелтелые от табачного дыма; лицо сухое и нервное, кирпично-розового цвета; губы, сложенные в едкую саркастическую улыбку, нос тонкий с открытым чутьем, а глаза светлые, совершенно почти бесцветные, с спокойным и твердым выражением, идущим вразлад с нервностью, которая беспрестанно подергивала уста и худые, впалые щеки. Общее впечатление неприятное.

Он меня подержал за руку, посмотрел мне в глаза долго и пристально и сказал:

— Очень рад-с. Пойдемте к дочери: у нее готов чай.

— Тата! — крикнул он громче.

— Что вам угодно, папа? — отозвался из дома молодой, слабогрудый голос, и в одном из открытых венецианских окон показалась "дочь в семнадцать лет" Увидав нас,— и особенно меня,— она сконфузилась и подалась было немножко назад, но сейчас же сдержалась и, обратив свое движение в реверанс, послала привет моей родственнице.

— У нас есть гости,— сказал отец.— Приготовьтесь встретить.

Почему он закончил фразу во множественном числе, я не понял. Родственница моя, чтобы поддержать разговор, заметила:

— Тата сконфузилась.

— Да-с,— отвечал сухо, смотря в сторону, воин.

— Это остается... институтское.

— Да-с; — а сам продолжает смотреть в сторону.

Мне стало противно — зачем мы сюда попали, и я видел, что то же самое ощущает и моя родственница, и не понимал: зачем она лжет и себе, и другим об этих людях.

Тата выбежала к нам с "девичьего" крыльца и стала цаловаться с моей покровительницей, а потом повидалася со мною неразвязно и некрасиво.

Я успел ее рассмотреть. Определенного о ней можно было сказать только то, что она молода и что у нее болели зубы, для чего зеленоватое и ничего не выражающее лицо ее было подвязано белым носовым платочком. Кроме того, над нею очевидно имели значительную власть золотуха и мозоли.

В сопровождении хозяев мы взошли в переднюю, из которой налево открывалась длинная комната, вся сплошь уставленная книгами в однокалиберных прекрасных переплетах, а далее спальня хозяина, где была видна кровать под хорошим стенным ковром и образник с горящею перед ним лампадою. Прямо из передней очень большая комната, с окнами на обе противуположные стороны: три окна выходили на двор, откуда мы взошли, а два в большой тенистый сад, над которым теперь пышно всходила луна. Вместо третьего окна здесь была стеклянная дверь, выводившая на широкую веранду. Эта большая комната была столовая, гостиная и зал. Она разделяла дом на две равные половины. За нею, в стороне "девичьего крыльца", очевидно, были такие же две комнаты, как те, какие мы видели с переднего входа на половине хозяина.

Посреди большой комнаты стоял круглый обеденный стол, покрытый белою скатертью, и на нем блестящий томпаковый[5] самовар с хорошим чайным сервизом,— домашние булки, масло, редиска и ветчина. Освещалось все это четырьмя стеариновыми свечами в высоких подсвечниках, а на главном месте перед самоваром стояла высокая, полная дама, лет сорока, с остатками крупной, но несколько вульгарной красоты. Она имела вид женщины, чем-то проступившейся, но смелой, умной и очень проницательной.

Меня ей не отрекомендовали, и я, желая поправить свое положение, сказал хозяину:

-- Позвольте мне просить вас представить меня вашей супруге.

— Я не могу для вас этого сделать,— отвечал он,— потому что моя жена с нами не живет, а особа, которую вы видите, Зельма Ивановна, просто заведует моим одиноким хозяйством и бережет покой Таточки.

Зельма Ивановна, глядя на меня, тихо поклонилась мне одними своими глазами. Я поспешил сделать ей настоящий поклон, и она ответила мне на него очень дружелюбно и с нескрываемым удовольствием.

Мы стали пить чай, говоря о чем попало. Более, впрочем, говорили дамы, то есть моя родственница, Таточка и Зельма Ивановна. Зельма Ивановна держала с Таточкою тон очень благопопечительный и короткий и говорила ей "ты", а Тата ей "вы" Воина Зельма Ивановна называла Александр Христофорыч и "вы"; а он ей тоже говорил "вы", но называл ее попеременно то Зельма Ивановна, то ласкательно "Зюльмэ́". Роль ее в доме становилась понятною с первого взгляда, и ее никто не заботился маскировать иначе, как она представлялась "по существу"

Мне всего больше нравился здесь вид этой большой комнаты, освещенной луной через зелень старых лип сада, откуда несся аромат цветов и по временам гулкое завывание совы.

— Эта ваша птица ужасна! — заметила моя родственница.— Отчего вы не велите ее убить?

— Зачем? Я не суеверен.

— Она портит все впечатление и нагоняет тоску.

— Я не нахожу этого. Впрочем, Зюльмэ вашего мнения.

Моей родственнице это не понравилось, и она поспешила спросить мнения у девушки. Тата отвечала, что она "теперь привыкла"

— А вы-с как находите? — обратился хозяин ко мне.

Мне это почему-то показалось весело и смешно, и я сказал откровенно, что при этом освещении старого сада, который будто весь лезет в комнату, сова даже очень хорошо дополняет картину.

— Ну, вот видите, как мнения и вкусы-с бывают различны.

А Зельма Ивановна в это время ласково нагнулась в мою сторону и, подавая мне стакан, проговорила:

— Вы рыалист.

— Реалист, Зюльмэ, а не рыалист,— поправил ее Александр Христофорыч.— Впрочем, не конфузьтесь, что я вас поправил,— мы вас оставим с дамами, и вы поправитесь, а я покажу молодому человеку вид еще лучший.

* * *

Мне такой оборот был нежелателен, но однако делать было нечего и надо было следовать за хозяином, который провел меня через библиотеку в свою спальню и, распахнув тяжелые занавесы у окна, показал огромный старый дуб с корявым стволом.

— Каково деревцо-с! Никто не запомнит, когда оно стало. Смотрите: одни ветви в свету, другие спят. Точно великан параличный... У меня он срисован. Я люблю рисовать и вообще склонен к бездельям разным... когда-то даже писал и стихи, в которых изливал свое горе... Я несчастлив в судьбе, или лучше сказать — несчастлив в семье... Мать Таты превосходная женщина, но мы не сошлись характерами, и оба одинаково не хотели стеснять друг друга. Впрочем, мы не враги, и, когда что-нибудь касается дочери, мы переписываемся, и она добровольно согласилась, чтобы Тата жила со мною... Зюльмэ ей нимало не мешает, а напротив, очень о ней заботится... Зельма Ивановна мой старый грех, за который я дам ответ одному Богу... Когда я гляжу на этот дуб, он мне напоминает мое положение, но я молюсь и каюсь, и, когда это началось, я священнику говорил. Он говорит: "Эти дела — как и судить их!" Но мы ничьего несчастья не делаем,— ее муж в ссылке,— он поляк и патриот, но в ней ничего этого нет. Она совсем русская, и вот весь мой мир — эта семья да книги. В них вы можете видеть мой вкус. Я никакого систематического образования не получил, но, однако, если вы вникнете в мою библиотеку, вы увидите, что вкус сказался. Она составлялась случайно, в течение многих лет, и вот теперь это пригодилось: я читаю и, живя в глуши, не боюсь заглохнуть. Берите свечу и пойдемте к шкапам.

Мы оба взяли по зажженной свече и вошли в библиотеку, и мое сердце сначала замерло, а потом затрепетало от восторга: восемь шкафов красного дерева с прямолинейною бронзою в стиле "Жакоб"[6], сверху донизу уставленные книгами, причаровали меня, с детства имевшего страсть к книгам. Библиотека была не особенно большая, но интересная и в щегольском порядке.

— Здесь около двух тысяч названий, и все собрание случайное, но вкус, как вы увидите, выразился. Подбор больше исторический.

Я стал присматриваться к корешкам и увидел, что подбор и в историческом роде систематизирован совсем особенно: книги были на русском и на французском языке по преимуществу "в вольном духе" Множество старых редкостей и современные заграничные издания, о которых до нас доходили только отдаленные слухи, все были здесь налицо и стояли без занавесей, светя прямо в глаза своими дерзкими титулами.

Я разинул рот и стоял; свеча трепетно шевелилась в моей руке,— мне хотелось раздавить стекла шкафа, скрасть целую охапку этих книг, убежать с ними куда-нибудь в такое место, где меня никто не может найти, и там читать, как поэты говорят, “до конца света и по конце света” И хозяин тоже не оставался бесстрастен,— его чувства были, может быть, еще сложнее: он любовался и своим любопытным подбором, и тем впечатлением, какое произвело на меня его книгохранилище.

Он положил мне на плечо свою руку без ладонной подкладки, осветил лицо мое своею свечою, глядел мне в глаза и что-то говорил, а я не слышал.

Александр Христофорыч улыбнулся и потрепал меня по плечу, чтобы привести в чувство.

— Что скажете-с? — добивался он, глядя на меня в упор, в одно и то же время ласково и строго.

Я нашелся ответить только “ничего”, и то так нерешительно, что воин засмеялся и, сдержав подавленный вздох, сказал:

— Ах дети, дети,— как вы опасны в ваши лета![7]

Он произнес это, как давно знакомую и некогда сильно действовавшую и часто употреблявшуюся фразу, и сейчас же опустил руку в карман сине-серых военных панталон с лампасом, достал щегольски сделанный складной ключ из белого металла и подал его мне, сказав со вздохом:

— Выбирай себе, дружочек, что тебе нравится. Не все же лето с тантой сидеть или с бабенками грибки-ягодки сбирать. Прочитаешь,— поставь на свое место назад и возьми другое. Пока ты здесь,— весь выбор к твоим услугам. Бери что хочешь и только отмечай свое имя для порядка в реестре.

Я не мог определить никакой причины и не сделал никакого наблюдения над тем, как у него разговор со мною низшел на “ты”, но чувствовал в этом что-то конфузящее и старался показать, будто не слышу, а все свое внимание углубил в выбор книги. На самом же деле я взял почти то, что само подвернулось под руку: это было одно из заграничных изданий Герцена.

Александр Христофорыч сейчас же перенял книгу из моих рук и беззвучно захохотал. Это меня смутило.

— Ничего, ничего,— успокоил он,— вы-с определяетесь-с.

Положительно он был мне противен, и я был зол и на тетку и на себя,— зачем я взял у него эту книгу. Я решил, что ни за что не стану ее читать, и при прощании с ним и его почтенным семейством утешал себя эффектом, который произойдет здесь, когда завтра рано утром сюда будет доставлена назад герценовская книга.

Но ничего этого не было.

* * *

По дороге домой мы с тантою начали живой разговор, перешедший слегка в колкости и окончившийся тем, что мы чуть не поссорились.

Когда я вернулся с Александром Христофоровичем к дамам из библиотеки, я заметил на лице моей родственницы перемещающийся румянец, что обозначало в ней сильное волнение и тревогу. При входе нашем она тотчас же встала и объявила, что мы тотчас едем.

Лошади были у крыльца, и мы уехали.

Чуть только мы завернули со двора к саду, танта спросила меня:

— Ты, надеюсь, помнил мои предупреждения и держал себя с ним осторожно?

— Вы мне не говорили — в какой мере надо его остерегаться.

— Не надо откровенничать и говорить глупостей.

— Это годится со всеми.

— Все не он, и он совсем не то, что все. Ты знаешь, у нас председатель палаты полетел... Все говорят, что это по его милости, и его губернатор и архиерей остерегаются...

— Почему вы это знаете?

— Наш дьякон мне открыл. Его архиерей призывал и говорил, как надо служить *при нем* многолетие, и что почтмейстер сообщает губернатору: куда *он* пишет... А такой, молодой и еще ничего не значащий человек, как ты,— *ему* и на закуску мало. Он один раз амкнет — тебя и нет, а я не хочу, чтобы это было на моей совести и еще, Боже сохрани, из моего дома... Наши людишки теперь уж и без того на нас совсем без страха смотрят, а коснись что-нибудь нашего брата дворянина, так у них сейчас всеобщая радость поднимется, и в ус дуть не станут. Дескать, их самих по кутузкам развозят.

Я не вытерпел и говорю:

— Да что же вы это такое мне рассказываете? Если он такой опасный, то зачем же вы мне о нем писали "покрытый воин сединами" и потом для чего завезли меня к нему сегодня, когда у меня еще и голова с дороги не в порядке. Ведь это до беды, если он такой, что его надо бояться.

— Не говори лишнего да не бери у него книг, так и бояться нечего.

— Да я уже взял у него книгу.

— Очень глупо.

— Но почему я мог это знать?

— А я для того тебе намекала.

— Ничего я не понял из вашего намека, а мне книги понравились, и я взял.

— Совсем нечему было и нравиться... все сброд.

— Ну уж это оставьте.

— Да ведь я знаю, как он их и собрал: все это по службе шло через его руки, или вот у таких же, как ты, франтов при разных случаях отобрано и у него осталось,— вот и библиотека, и вам нравится.

Я совсем разобиделся — зачем я такому господину представлен, и кто он такой в действительности, что его боятся, когда он уже никакой должности более не занимает, а доживает мирно век свой.

— Нет, ma tante,— сказал я,— это не у нас "франты", а у вас.

Танта обиделась и замолчала. Утром она вышла к чаю с утомленным лицом.

Я поцаловал ее руку и спросил:

— Вы не спали, tante?

— Да,— отвечала она.— И ты, кажется, тоже?

— Вы угадали.

— Ты на меня сердился?

— Нет, я всю ночь читал книгу.

— Скажи, пожалуйста! Как это умно — с дороги всю ночь читать!

— Вы не знаете, какая это интересная книга.

— И знать не хочу. Он и без того всю ночь не выходил у меня из мыслей.

— Вы, верно, что-нибудь дурное затеваете.

— Что-о тако-ое?

— Затеваете что-нибудь дурное.

— Ты дурак.

— А вы трусиха.

— Председатель не трусил, и губернатор с архиереем не глупее нас.

На меня почему-то напала юношеская веселость, и я отвечал:

— Не знаю, умнее они или глупее, но я буду смелее их и докажу вам, что этот господин не стоит, чтобы его бояться. Я его нимало не боюсь, а напро-

тив, я простру мою смелость до того, что сам стану его эксплоатировать и в конце концов сделаю из него когда-нибудь общеполезное употребление.

— Ты будешь продолжать с ним знакомство?

— Непременно, и притом на "ты"

— Как на "ты"?

— Да, я сейчас пойду к нему переменять книгу и буду с ним говорить на "ты" Этого требует равенство. Через несколько дней вы будете иметь удовольствие любоваться нашей короткостию.

Танта посмотрела на меня пристальным взглядом и проговорила:

— Поступай как знаешь. Я вижу, что я отстала, а вы все... иначе...

— Глупы или дураки?

— Нет,— удивительны.

* * *

Мы с Христофорычем на другой же день сблизились в его библиотеке. Как он мне сказал "ты", так я спустил немножко и отпустил ему тоже "ты" Он сначала был этим как будто поражен и даже спросил:

— Как-с?

А я на этот вопрос отвечал вопросом: что это такое?

Он смешался и заговорил на "вы".

— Какое же ваше мнение-с об этой книжечке-с?

Я говорю: я не имею еще никакого мнения.

— Как же это так?

— А так,— говорю,— просто: я прежде начитываюсь, а когда *все* перечитаю, тогда буду составлять мнение.

— Гм!.. вот как!

— Да.

— Но однако *же*? — он ударил на же.

— Что *же*?

Он посмотрел на меня долго, долго и повторил:

— *Же*!

— Да,— говорю,— *же*.

— Вы, однако, научились-с.

— Да ведь вы кого не научите.

— Гм... я? Нет, брат, уж это у тебя раньше.

— Однако *же*,— сказал я,— будем говорить в какой-нибудь одной форме: мне неловко говорить вам "ты", так как вы втрое меня старше, но я не хочу вас обидеть и обращаться с вами иначе, как вы сами обращаетесь. Раз навсегда: "ты" или "вы"?

Воин, к удивлению моему, обнаружил смущение и проговорил: как хотите.

— Я предпочитаю простейшее...

Он глядел и молчал.

— Для того, чтобы говорить друг другу "ты", надо пить брудершафт, а мы лучше будем держаться на "вы".

Он был обрадован, сказал мне "идет" и подал руку.

С этой поры мы сделались коротки, то есть я брал у него без малейшего стеснения всякие книги из его библиотеки, и если он относился ко мне с пытливым вопросом: "что же?", то я ему отвечал: "ничего же", и дело шло далее без сучка и задоринки. Остро-сверкающее сияние, которым окружила его всеобщая трусость, растушевалось с самым заурядным фоном серенького существования человека униженного и оскорбленного, и об нем завели свои премирные сплетни и танта, и дьякон, и все окрестные домочадцы. Его даже стали считать недалеким и смешным, как будто

сами они все были очень далеки и очень серьезны. Мне это опять показалось большою несправедливостью, и я пребыл на его стороне. "Дядя Христофорыч", как его стали звать с тех пор, как пало его пугающее значение, был интереснее других, потому что он обладал непосредственностию натуры и имел довольно смелые и оригинальные взгляды, основанные на независимом и обстоятельном изучении общества. Он говорил: "Я есмь то, что я и есмь, но однако же я могу питать к себе уважение, потому что я не употреблял мер бессловных. Я сам всегда носил свою форму, но и в отношении тех, которые формы не носят, но которые тем не менее необходимы,— я всегда держался лучших правил. Теперь это отвергнуто,— пусть так, но они скоро увидят, что так нельзя"

Это было черт знает до чего живо и интересно, и когда один раз в душный июльский день мы с Христофорычем лежали на обитых сафьяном диванах в его библиотеке, я сказал ему, что интересные речи его для меня не имеют всей их настоящей цены, потому что я не понимаю: чем отличается новейшая, строго им порицаемая система избрания людей от той старой системы, которая была лучше?

— А вы хотели бы-с это-с знать?

— Да... конечно... но, впрочем, не особенно...

— Но однако же!..

— А однако же — как вы хотите: станете рассказывать — я послушаю, не будете говорить — не надо.

— Расскажу, расскажу! — отвечал, пожимая меня рукою за колено, Христофорыч.

Я уже совсем привык к нему и знал, что все его "же" и "однако же" просто его допросническая привычка, а что, впрочем, он довольно обыкновенный "вьо-бон-ом"[1*], как называла его Зельма, и такой же порядочный болтун, как и все русские заслуженные люди после увольнения их в отставку.

Он стал мне рассказывать о разнице времен и лет, взглядов и приемов, в которых ничего не называл по имени, но в рассказе его было много занимательности. Я их так и передам на память, напоминая притом, что все это относится ко временам минувшим,— к тем временам, когда порядки царствования императора Александра II назывался "опасными новшествами", а прочный порядок представлялся в днях проминувших.

— Теперешнее время (то есть "освободительные годы") не обещает ничего хорошего, потому что все идет на ложном начале. Ложное начало есть гуманизм. Это хорошо слушать

ПРИМЕЧАНИЯ

Автограф неоконченного рассказа "Посланницы Амура" хранится в РГАЛИ (Ф. 275. Оп. 3. Ед. хр. 3).

Рассказ, по-видимому, создавался в 1880-е годы.

Произведение было задумано как серия случаев из практики жандарма николаевского царствования, рассказанных им самим. Отсюда, вероятно, название "Бытовые апокрифы" Была написана вступительная часть, знакомящая читателя с будущим рассказчиком, жандармским генералом в отставке, и мотивирующая его рассказы. Это вступление имеет, по существу, законченный сюжет, построенный на мемуарно-автобиографической основе. Рассказчик, молодой человек, живущий в конце 1850-х годов в большом университетском городе и приезжающий летом погостить в родной Орел, живо напоминает самого Лескова, который в 1849 г. переехал из Орла в Киев и прожил там с перерывами до 1860 г. Отдельные сведения о его жизни этого периода, в частности

[1*] От франц. "vieux bon homme" (старый добряк).

разъясняющие выражение "заразился понятиями", содержатся и в других его произведениях (например, во второй главе "Печерских антиков" — VII, 135).

"Воин", которому, кстати, Лесков дал имя и отчество шефа жандармов и главного начальника Третьего отделения А.Х.Бенкендорфа,— не единственный в творчестве Лескова сатирический образ жандарма. Самый яркий его предшественник — "голубой купидон" Постельников из повести "Смех и горе" (1871).

[1] *Сусала* — морда, рыло, скулы. Ударить или смазать по сусалам (*Даль*. Т. IV. С. 363).

[2] Неточная цитата из поэмы Пушкина "Полтава" (Песнь первая).

[3] Неточная цитата из V главы поэмы И.И.Козлова "Чернец" (1823—1824).

[4] Неточная цитата из посвящения к роману Пушкина "Евгений Онегин".

[5] *Томпаковый* — от "томпак" — сплав меди с цинком (*Даль*. Т. IV. С. 414).

[6] *Ж.Жакоб* — прославленный мастер мебельного искусства во второй половине XVIII в. во Франции.

[7] Неточная цитата из басни И.И.Дмитриева "Петух, кот и мышонок" (1802).

РЕЗОНЕРЫ [1*]

Рассказ

Сидя в тени виноградника,
жадно порою читаю
Вести с далекого севера —
поприща жизни разумной.
Ап. Майков[1]

I

Так же, как тот поэт, чьи два стиха ставлю я наверху эпиграфом, я сидел "в тени виноградника"[2] и читал с возмущенной душою, как оскорбили "великого старца" Гладстона[3], как вдруг весь этот шум перебили "вести с далекого севера — поприща жизни разумной" Пришли сюда же в скромный трактирчик и сели за соседний столик два земляка: один весьма пожилой в серой шляпе с добрым лицом, носящим след некоторой грусти, а другой бодрый, румяный, пухлый, с кадыком и безыдейной отвагой.

Я был так погружен в свое чтение, что не заметил, как эти люди пришли и что они себе заказали, но когда трактирщица побежала исполнять их заказ, а они заговорили между собою по-русски,— я стал их слушать.

Разговор их не касался ничего такого, что обязывало бы меня предупреждать их, что я понимаю по-русски, и потому я не видел никакой надобности смущать их своим непрошеным замечанием.

Говорили "о жизни вообще" и сообщили нечто достойное внимания. Рассказывал пухляк, и из разговора его раскрывалось, что он[2*] молодой ученый, только начавший профессорскую карьеру, а старик в серой шляпе тоже профессор, но уже отслужившийся или "снятый с места" Он читал какую-то такую науку, которую не умел приладить к "национальному направлению" текущего дня, и кончил тем, что отошел к чужеземцам. Молодой собеседник хочет оказывать старику уважение, но это у него не выходит: он словно шутит: он называет старика почтительными именами "равви" и "благий учитель", но, собственно, выходит, что он давно у старика отучился и превзошел учителя. Теперь уже он его учит.

По первому впечатлению старик подходит к числу излюбленных Тургеневым тихих и разумных русских людей европейской складки, а пухляк — "новь"[4]. Он тоже не азиат, но и "не раб стесняющих условий"[5],— ему надо идти шибко вразброс на все стороны, ничем не брезговать и со всего брать "долю" О чем он ни поведет речь, везде бойчит и не замечает, как закиды-

---

[1*] Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Комментарии Н.Н.Старыгиной.

[2*] Зачеркнуто первоначальное: «юрист, едва ли не адвокат, и притом, должно быть, небезызвестный и пользующийся достатком с "жизнерадостным отношением", а старик в серой шляпе — его бывший профессор».

вается то в ту, то в другую сторону, останавливается на всем скаку и опять жарит! Нет никаких средств уловить: коего он духа[6]; да вряд ли он и сам мог знать об этом что-нибудь достоверное. Он был и за свободу совести и "ненавидел жидов", уважал политические учреждения, но "решил прижать Финляндию после того, как пожил на даче в Териоках"; "ненавидел брак" и, разведясь с одною женою, обвенчался снова с другою и теперь путешествовал по Италии с третьею, которой, как самарянке, можно было сказать: "и сей, его же имаши — не муж ти"[7]. Словом — это был представитель довольно известного современного типа русских людей, препровождающих беспечальное и даже жизнерадостное житие при общем поникновении тех, которые "не умели справиться" и приемлют нынче от этих снисходительное, но не серьезное уважение.

На мелкой глубине своих душ они не очень скрытно таят выгодное для них убеждение, что их "равви" и "благие учителя" приняли то, что им и следовало. Жизнерадостники знают, что те, которые "не умели справиться", собственно и не нужны, потому что жизнь должна принадлежать тем, *кто способен к жизни*. А тех, кто хочет ходить "с грустным изумлением" — так и надо оставить. Пусть они и будут жертвы своего изумления. Это их доля! И... если они донесут свое изумление до последней черты своей земной жизни и с ним же "застынут" — тогда о них можно будет сказать: "их образ вылит",— и окончить это венком, который завтра увянет и "вечною памятью", которая[1*] забудется тотчас, как только будет пропета. Эти люди ищут "жизнерадости" и не задаются заботами о том, чтоб уяснить себе "что есть истина", а если бывают втянуты в разговор об этом, то не умеют отличить слов Христовых от Пилатовых[8], но при всем том они чувствуют себя в превосходном авантаже и не прочь превзойти, в чем хотите, самих себя. В каком бы роде ни предстала им возможность превосходства — это им все равно. Уныния они не знают,— и испытывать его не будут; в унынии надо стреляться, но восторги им не чужды: восторг у них может вызвать все, что смело, бойко и неодолимо импонирует противодействиям.

Печать они не уважают не только потому, что она служит началом, не внушающим уважения (это еще спорно); а они не уважают печать за то, что она не умеет себя отстоять. Каким образом она может "отстоять себя" среди общей несостоятельности — это ее дело, но они знают, что она ничтожна, что влияние ее ничтожнее ихнего, и потому они печать презирают. При малейшей попытке говорить об этом серьезно у них есть выверт: они говорят, что "печать еще не открыта"

— Положению печати поможет изобретатель такого способа печатания, при котором мысли будут отражаться в воздухе. И это будет; а до тех пор не о чем хлопотать. Особенно в России. Она вошла в семью образованных государств позже всех и за то воспользуется всеми успехами и открытиями.

Нет дела, что это бестолково!

С настоящими людьми этой категории невозможно спорить, потому что с ними нельзя установить никаких принципов ни логики, ни морали. С ними даже трудно просто разговаривать, потому что они не желают, чтобы разговор имел какой-нибудь вывод: спор с ними — это толчея слов, беседа — одно изнурение; но слушать их бывает удобно. Кто имеет терпение слушать и ничего не возражать, тот непременно узнает что-нибудь героическое, нередко интересное, а иногда и такое характерное, о чем нельзя и не должно позабыть.

Пухляк говорил в таком именно роде.

1* Далее зачеркнуто: "никем не помнится и не святится"

II

Повод к рассказу, который я сейчас здесь приведу, был дан стариком: он с одобрением отозвался о назначении одного должностного лица

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется по автографу: *РГАЛИ.* Ф. 275. Оп. 1.Ед. хр. 35.Рукопись не датирована. Возможно, замысел рассказа возник в середине 1880-х годов, под впечатлением от заграничной поездки Лескова 1884 г. В наброске отражено широкое обсуждение избирательной реформы 1884 г., проводимой премьер-министром Великобритании У.Ю.Гладстоном.

[1] Стихотворение А.Н.Майкова "Газета" (1845).

[2] Вероятно, речь идет о поездке Лескова в Европу в 1884 г.

[3] Уильям Юарт *Гладстон* (1809—1898) — премьер-министр Великобритании в 1868—1874, 1880—1885, 1886, 1892—1894 гг.

В 1884 г. внимание европейской прессы было обращено к проводимой Гладстоном в период второго премьерства избирательной реформе, которая, с одной стороны, расширила избирательное право в сельских округах, но, с другой, не ликвидировала многочисленных ограничений, лишавших избирательных прав части населения, в том числе всех женщин. Great Old Man ("великий старик") — так звали Гладстона в Европе.

[4] Характеристика персонажей навеяна романом Тургенева "Новь" (1877).

[5] Источник цитаты не установлен.

[6] *Лука*, 9:55. Одна из любимых цитат Лескова. См. XI, 404, 416.

[7] *Иоанн*, 4:18.

[8] *Иоанн*, 18:38.

САМОЕ ЖАЛКОЕ СУЩЕСТВО[1*]

(Из рассказов кстати) [2*]

Кара Божия

На кой черт тебе порядочность, когда по внутренним твоим качествам ты самое жалкое существо в мире.

Карлейль[2]

Стихийные духи

Броненосец

Люди бывают больше похожи на те времена, когда они живут, чем на своих отцов

Халиф Али[1]

I

Я ехал с севера на юг нашего отечества. В моей дорожной сумке, кроме билета прямого сообщения, был номер газеты, в котором между прочим в игривом тоне сообщали случай, бывший в Москве с одною молодою девушкою из достаточного семейства. Мать послала эту девушку осмотреть одну сдававшуюся внаймы квартиру, и та пошла, и осматривала в сопровождении самого хозяина дома, и возвратилась взволнованная и расстроенная, и вместо всяких объяснений коротко объявила только, что тот хозяин "свинья" Обстоятельное объяснение "свинства" последовало только пять месяцев спустя, когда мать заметила исключительное положение своей дочери. Родные поруганной девушки "обратились к судебной власти", но и "там только развели руками" и посоветовали "махнуть рукой, чтобы самим не влететь в шантажную историю" Но "любопытнее всего" (по словам газеты) — то, что когда об этом заговорили с одним московским врачом, то тот сейчас же отгадал имя обидчика и сказал, что он уже давно практикует такие вещи, и ему это сходит. Не встречая препятствий, он стал смел и губит «"безответных созданий": сумасшедших или детей»[3*].

Описание этого московского происшествия напоминало мне другие подобные случаи[4], из которых над всеми возвышался по ужасу известный киевский случай с двумя сестрами, которые шли из класса домой обедать через университетский сад и были найдены в одном из его рвов истерзанными и удавленными. Случай тоже остался нераскрытым, но я знаю несчастное существо, которое *видело*, кто это сделал: это сделали два арестанта, убиравшие сад, но показание этой свидетельницы ни к чему не повело, потому что прежде, чем начать говорить об этом, она *сошла с ума* от того, что видела и чего не остановила, боясь, что ее саму задушат. Она и теперь сумасшедшая,

---

[1*] Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Комментарии Н.Н.Старыгиной.

[2*] Лесков долго искал название для своего рассказа. По расположению зачеркнутых вариантов можно предполагать, что первоначально им были придуманы заглавия "Глухая исповедь" с подзаголовком "Из рассказов кстати" и "Колоброд" Возможно, как варианты заглавия надо рассматривать также слова "Кара Божия", "Стихийные духи" и "Броненосец", расположенные в левом углу рукописи, под заглавием, а также под расположенным слева эпиграфом.

[3*] "Нов<ое> время" 19 июня 1893 г. № 6215[3] (Примеч. Лескова).

но я верю, что когда она говорит о том, что видела в университетском саду,— она говорит правду. Недаром она еще и теперь желает подать об этом "глухую исповедь"

С тех пор, как совершилось припоминаемое злодейство над двумя девочками в Киеве, до того, что сообщает нынешняя газета, прошел большой период времени, давший жизни свое направление и окраску. Зло, если и не прекратилось на свете, то оно внушало чувства негодования, и у людей ничто не отнимало уверенности, что злодейство будет покрыто, а совершитель его станет почивать под спудом... И вот теперь это снова не так: снова мы слышим, что происшествия с "обиженными Богом и с детьми" учащаются и что деятели, отличающиеся на этом поприще, действуют смело, что их имена называют люди, свидетельство которых не бессильно, как свидетельство сумасшедшей, и... все это не вызывает в обществе ни благородного негодования, ни уверенности, что против этого будут приняты сообразные меры, а говорят об этом с забавною шутливостью, совсем не отвечающей делу.

"Такой оборот, милостию Божией" совершившийся в настроении нашего общества, должен печалить, а не радовать, и я ощущал тяжелое настроение оттого, что мною было прочитано и что по тому поводу приходило на память, и, под влиянием всего этого, я заснул и проснулся на станции, где в наш вагон вошли и уселись неподалеку от меня два человека, оба в хорошей одежде и с хорошими дорожными вещами. По платью и по вещам, равно как и по манере держаться, они очевидно принадлежали к людям достаточным и образованным, но по возрасту они были не ровня: один был беловолосый старик, а другой — в цветущей поре жизни.

Оба путника, без сомнения, близко друг друга знали и ехали в одно какое-то место и, может быть, с одною целию, но съехались они в городе, из которого сели с различных сторон и смотрели на вещи разными глазами. А заметить это мне пришлось почти тотчас же как только тронулся поезд и новые пассажиры заговорили; а заговорили они как раз о том, о чем я думал после прочтения сегодняшней газеты о московском домохозяине, погубляющем безнаказанно "детей и убитых Богом созданий"

Мне стало интересно: как люди об этом судят, и я был очень рад, что могу выслушать свободное мнение людей образованных, внимание которых заинтересовано как раз тем самым, чем был взволнован и занят и я.

II

В разговоре своем мои два соседа приходили к случаю как к частному от другого, раннего их разговора, веденного ими об общем ранее, чем они сели.

От общего, теоретически трактованного и несогласно принимаемого собеседниками вопроса, один из них,— именно, старик, обратился к приведенному в газете случаю как к иллюстрации и сказал:

— Этот случай, как и множество других ему подобных, укладываемых по нынешним временам под спуд, не показывают ли вам, как много самого очевидного вреда для всех влекут за собою отстаиваемые вами преимущества того, что вы называете "глухою исповедью", перед тем, что дает во всем мире известная гласность и для всех равный закон.

— А вот мне, вообразите, совсем кажется наоборот,— ответил младший пассажир,— и, представьте себе, что меня в этом особенно убеждает случай именно из той же категории преступных деяний, к которой относится сегодняшняя газетная история, но только гораздо еще возмутительнее и страшнее[1*]

[1*] Далее зачеркнуто карандашом: "поганее"

— Ну, уж возмутительнее-то этого ничего быть не может?

— Те-те-те! Извините меня, пожалуйста!.. Какой вы, равви, право, сделались нетерпимый, сидя все время на своей кафедре да у себя в кабинете. Позвольте мне вас просить так твердо не настаивать на своем и дать возможность мне, вашему бывшему ученику, представлять вам свои доводы, из которых вы, может быть, узнаете, что вы недаром старались сделать нас мыслящими реалистами[5], за что над вами и смеялись себялюбивые и глупые люди.

— Ну это хорошо,— перебил старик,— а вы не забывайте, что я тоже никогда не искал похвал и комплиментов, и рассказывайте, что такое вам известно хуже сегодняшней газетной истории, которая подоспела, чтобы иллюстрировать наш спор об оппортунизме или приспособительности, заменяющей нынче во многих случаях общеучрежденные порядки. Я хочу, чтобы вы вашими иллюстрациями убедили меня, что приспособительностию[1*], заменяющею гласность подспудностью, вы можете достичь[2*]... лучших результатов... чем при "учрежденных порядках"

Младший собеседник, выслушав это, весело засмеялся и шутливо заметил, что тирада его бывшего учителя или профессора требует серьезной поправки[3*].

— Ага! — заметил старец,— вы наконец сами видите, что перехватили в своих одобрениях и похвалах оппортунистическим приспособительностям и хотите немножко сдать назад. Что же? в добрый час: спешите поправиться.

Но этот почтенный человек торжествовал напрасно: его молодой собеседник хотел поправки совсем в противоположном роде: он держался того мнения, что обходные приспособительности не только не вредны и должны быть терпимы и практикуемы, ибо при них только и возможен какой-нибудь результат в таких делах, где хваленые "открытые порядки" не в силах ничего сделать.

— Значит, вы даже усиливаете ваше положение?

— Именно! И я сейчас буду иметь рассказать вам презанимательную историю, которая должна будет вас убедить, что я вам говорю правду.

— В таком разе мне только и остается вас слушать и не прерывать.

— Да; и еще с одним условием: когда я мой рассказ кончу — сказать мне ваше всегда честное и беспристрастное мнение о том: прав я или не прав?

Старик в ответ на это снял свою фуражку и молча с улыбкою поклонился своему сопутнику, а тот начал рассказывать.

III

Вы, может быть, помните, что я женился еще студентом на третьем курсе...

— Помню.

— Я тогда приходил — открывал вам свою душу и просил у вас совета: жениться мне или не жениться, а вы мне привели слова мудреца, который отвечал на такой же вопрос: "поступай, как знаешь — все равно будешь раскаиваться"[4*] Я сопоставил эти слова с русскою поговоркою: "если пить — умирать, и не пить — умирать, то лучше попью и потом умру", и я напился, или женился, и вот уже шесть лет как убеждаюсь, что и выражение мудрого и на-

---

[1*] Далее зачеркнуто: "в современном вкусе"

[2*] Далее зачеркнуто: «— Достигаем! — поправил младший.
— Да, "достигаете"».

[3*] Далее зачеркнуто: «которая очень значительно усиливает основное положение теперь говорящего лица. И усиление это, как он пояснил, состоит в том, что "оппортунистическим обходом просто"».

[4*] Далее зачеркнуто: "я последовал вашему сове<ту>, этим словам и женился"

родное присловие оба правы: я поступил, как сам хотел, и иногда об этом сожалею и раскаиваюсь, но, впрочем, не женись я на нынешней моей жене, может быть, я выбрал бы себе что-нибудь гораздо более огорчительное.

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется по автографу: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 39.

Рукопись не датирована, но в тексте указан № 6215 газеты "Новое время" от 19 июня 1893 г. По замыслу, содержанию и композиции к рассказу "Самое жалкое существо" близок фрагмент рассказа "Обход". Ниже публикуем его в качестве приложения.

[1] См. примеч. 1 к рассказу "Короткая расправа"

[2] Томас *Карлейль* (1795—1881) — английский публицист, историк и философ. Эпиграфом к рассказу служат слова из его книги "Исторические и критические опыты" (глава "Граф Калиостро"), где автор обращается к "жалкому смертному": "...неужели долгий опыт, время или случай не разъяснили тебе наконец, что истина обязана своим происхождением небу, а ложь аду? Неужели ты не мог понять, что если ты не отбросишь ту или другую, вся твоя жизнь будет не что иное, как иллюзия, оптический обман <...> На кой черт нужна тебе порядочность, экипажи и серебряные ложки, когда по внутренним качествам ты самое жалкое существо в мире?" (*Карлейль Т.* Исторические и критические опыты. М., 1878. С. 4. Переводчик не указан). Эта книга Карлейля, высоко ценимого Лесковым (см. XI, 532), была в личной библиотеке писателя (см.: *Афонин Л.Н.* Книги из библиотеки Лескова в Государственном музее И.С.Тургенева // *ЛН*. Т. 87. С. 152).

[3] В газете "Новое время" от 19 июня 1893 г. помещена статья "Москва. Типы и картинки", подписанная псевдонимом Old Gentleman (А.В.Амфитеатров). В ней, в частности, говорилось: «Сколько всякой половой уголовщины таится под мирным покровом лицемерного благополучия больших городов <...> Не далее, как неделю тому назад, я видел семью, пораженную страшным горем — горем, под тяжестью которого сгибались плечи могучих Коллатинов и Виргиниев древнего Рима, а где уже выносить его слабым, нервным детям конца XIX века! Представьте себе не сказку, а быль — городскую быль, имевшую место в самом центре громадного цивилизованного города, второй столицы государства.

Девушка среднего сословия послана матерью присмотреть квартиру. Надо сказать, что девушка эта, если не дурочка вовсе, то во всяком случае у нее "не все дома"

В фельетоне сообщалось, что домовладелец обесчестил девушку. Брат ее обратился к судебным властям, "там только руками развели" Доктор-психиатр, с которым беседовал автор, сказал, что даже знает фамилию маньяка: "...у этого господина каждый год такая или в таком роде история: либо с сумасшедшей, либо с каким-нибудь Богом убитым созданием, либо с мужичкой, которую потом можно заставить молчать небольшими деньгами, либо с малолетнею, которую можно застращать <...> Это половой психопат, разнузданный, безудержный, но хитрый, ловкий, умеющий прятать концы в воду, заметать все следы своих грязных делишек,— маркиз де Сад новейшей формации и купеческой складки"».

[4] У Лескова был замысел написать о "подобных случаях" Частично он реализован в незаконченном произведении "Две сумасшедшие на свободе. Хождение по объявлениям. Объявленский маньяк. (Из письма молодой девушки)" (*РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 47).

[5] Возможно, обыгрывается название статей Д.И.Писарева "Реалисты" (1864) и "Мыслящий пролетариат" (1865).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБХОД[1*]

Рассказ

Ночью из вокзала станции с буфетом вышли два интеллигентные пассажира и поместились в вагоне, где дремал я, довольно измученный продолжительною дорогою, и между этими путешественниками сразу же начался разговор, который разогнал мой сон и привлек мое внимание к тому, о чем говорили.

[1*] Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Ниже зачеркнуто первоначальное заглавие "Оппортунист"

Говорил, впрочем, только один интеллигент, имевший звонкий тенорок, а другой, с грудным баритоном только вставлял слово для связи или продолжения речи.

По-видимому, оба были приблизительно одних лет, одной общественной среды и одинакового, хорошего воспитания, но несколько разнились в своих критических отношениях к явлениям современной жизни. Баритон был, по-видимому, консервативен и стоял за неуклонное следование порядкам, а тенорист предпочитал обходить их и "действовать приспособительно"

— Но как и в чем? — резонировал баритон.

— Решительно во всем и всячески.

— Ну однако же!..

— Ничего не "однако" Я знаю, что, по-вашему, "торжествуй ваша юстиция и пропадай для нее весь свет", но это[1*] вздор!

— А что же не вздор?

— Не вздор, что "суббота создана для человека, а не человек для субботы"[1]. Вот вам истина!

— Да это, конечно,— это не вздор и это, пожалуй, истина, но только все-таки тут нет ничего такого, из чего бы можно было представить убедительные выводы, что карательное действие без суда, восстановляющее нарушенное, имеет преимущества перед обсуждением дела в установленном порядке, с участием беспристрастных людей доброй совести.

— А я говорю, что есть случаи, когда самый лучший и полноправный суд с присяжными не может оказать такой широкой справедливости или удовлетворимости, какой можно достичь и которой несомненно теперь достигают во многих случаях при том "приспособительном способе", который юридические рутинеры язвительно приравнивают к суду Линча.

— Я не могу представить себе такого случая.

— А я вам могу представить такой случай, притом самый недавний и очень типичный, с которым, если бы его дать вести, как вы говорите, "в порядке установлений", то непременно огласился бы большой скандал и пострадало бы несколько лиц, а когда за дело взялся умный оппортунист, то все сделано приспособительно общим возможностям и нет ни одного несчастного. Вот я почему и стою за обход и предпочитаю ему юридическое правоверие. Хотите я вам расскажу этот случай!

— Очень желаю.

— Извольте. Это будет вам тем интереснее, что дело касается лиц, в числе которых не все вам безызвестны.

ПРИМЕЧАНИЯ

Текст публикуется по автографу: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 42. Рассказ "Обход" написан на такой же бумаге (зеленовато-голубой в клетку), что и незавершенные "Самое жалкое существо", "Короткая расправа" и "Фантазии госпожи Гого". Это дает основание предположить, что работа над рассказом начата не ранее 1889 г. (см. примеч. к названным произведениям). Если учесть, что известна точная дата создания наиболее близкого по замыслу фрагмента "Самое жалкое существо", то можно думать, что и рассказ "Обход" создавался в 1893 г.

[1] *Марк*, 2:27.

[1*] Далее зачеркнуто: "была старая песня, которая"

ФАНТАЗИИ ГОСПОЖИ ГОГО[1*]

Рассказ[2*]

I

Я принял курс бесполезного лечения в Мариенбаде и направлялся на юг Европы[2], но в первом же городе, где остановился, именно в Праге, через полчаса после приезда был обворован дочиста: у меня был украден бумажник, в котором было около тысячи гульденов наличных денег, банковые чеки и мой паспорт. Словом, я не успел оглянуться, как лишен был не только средств продолжать свое путешествие, но даже доказать мою личность. И все это случилось в одной из двух лучших гостиниц Старой славянской Праги и в первый час моего приезда.

Личная вина моя вся состояла в том, что я оставил мой бумажник на столе занятого и *запертого* мною номера и вышел в зал всего на три минуты. По возвращении я уже не нашел принадлежащей мне вещи, и все розыски ее оказались напрасными. К довершению моего затруднения я не нашел на другой день в Праге ни русского консула, ни священника, которые, как я ожидал, могли бы сказать что-нибудь о моей личности. Все в эти жаркие, летние дни жили вне: покинули душную Прагу,— и положение мое становилось критическим. Я послал депеши родным в Киев, петербургскому градоначальнику, от которого брал пропавший заграничный паспорт, и в Вену нашему послу, прося удостоверить мою личность, но пока на все эти депеши придут удовлетворительные ответы, мне было жутко. Во всем городе я не знал решительно никого. Тогда мне вздумалось обратиться в редакцию одной чешской газеты, где я мог почитать себя не совсем безызвестным. И действительно, там обо мне что-то слыхали и напечатали на другой день пять строчек о том, что со мной был "неучтивый случай" Затем мне оставалось ждать погоды у моря, и я ее ожидал довольно долго, но и довольно терпеливо, благодаря одному прекрасному знакомству, сделанному по указанию редактора газеты, напечатавшей о "неучтивом случае"

Здесь мне сказали, что в трех часах пути от Праги по дороге к Карлову тыну живет в сельском доме "знатна русачка", имеющая двух взрослых дочерей и очень обширные знакомства в Вене и в Париже, а фамилия ее "госпожа Гого"[3].

Меня заверяли, что у этой дамы непременно есть знакомства с "наместником" и что она меня, конечно, знает и непременно за меня поручится. А потому мне настойчиво советовали к ней ехать, и я поехал.

[1*] Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Комментарии Н.Н.Старыгиной.

[2*] Зачеркнуты: название "Волнения госпожи Гого" и эпиграф: "Волна на волну набегает, // Волна нагоняет волну"[1].

Фамилии "Гого" в русском большом свете я не слыхивал, и она мне показалась и чужда и совсем неизвестна, но тем не менее я поехал к этой даме в надежде счесться какими-нибудь общими знакомыми и тем навести ее на возможность удостоверить мое имя перед властными людьми чужого края, где меня застигло бедствие.

Я нашел жилище госпожи Гого не без труда, так как оно было тщательно укрыто в густой зелени роскошного предгорья и годилось преимущественно для влюбленной пары или для человека, размышляющего в тиши о философских предметах. Это был одноэтажный, белый, каменный дом, комнат в пять или шесть, большого размера. Двора никакого, дом просто окружал сад и цветник с удивительно свежими и душистыми розами, которые все были в цвету и наполняли воздух благоуханием.

Ни возле дома, ни на крыльце не было никого, но на входной двери была прибита медною кнопочкой визитная карточка, из которой я узнал, что отыскиваемая мною "русачка" действительно живет здесь и что ее фамилия вовсе не "Гого", а только дает возможность вывесть из нее такое слово при поврежденном произношении. В целом и правильном произношении фамилия дамы была иначе. За небольшою переднею, в которой также не было никого, открывался продолговатый зал с очень недостаточным количеством буковых стульев и роялем, и тут опять тоже никого не было.

Я традиционным образом покашлял, но это не помогло.

Я вышел опять на крыльцо и, обойдя кругом всего домика по дорожке, усыпанной красным песком, остановился перед красивою каменной террасой.

Террасу окружали четырехгранные белые колонны, по которым густо разостлался сильно разросшийся плющ; внизу опять были розы, а на самой террасе в одном углу довольно тесно сбито несколько штук разнокалиберной мебели, которой я не успел путем рассмотреть, как послышался лай маленькой собачки и вслед за тем робкий слабый голос произнес тихо по-русски:

— Афи! Афинька! Тс!

И из-за маленького рабочего столика, на котором кроме вышивания стояли и графин с водою, и ваза с вареньем, и цветы, и карты, поднялась худенькая пожилая женщина в ситцевом платье, стала беспокойно шарить что-то за собою руками и шептать:

— Маргарита Михайловна!.. Маргарита Михайловна!

Ей никто не отвечал, и она спросила меня:

— Что вам угодно?

Я отвечал, что желаю видеть госпожу, фамилию которой я теперь мог произнести без всякой порчи.

— Сейчас,— сказала дробная дама[4] и, оборотясь туда, где сначала только водила руками ощупью, стала звать громче:

— Маргарита Михайловна! Встаньте же, встаньте!.. Проснитесь!

Тогда я увидал, что дробная дама в светлом ситцевом платье будит другую очень массивную даму, которая крепко спала, сидя в тяжелом fauteuil académique [1*], с которого одна ее рука упала на сторону и под нею на полу валялась разогнутая книга.

Эта дама, спавшая в академическом кресле, и была та значительная особа, которая была известна здесь под именем "madame Gogot"

Я просил ее не будить, но та дробная дама, к которой относилась моя застенчивая просьба, или не расслышала ее, или она почитала самое отдохно-

---

[1*] Академическое кресло (*франц.*)

вение госпожи Гого выполненным для нее уже в достаточной мере, и потому она продолжала качать ее за свесившуюся руку и, называя ее по имени, говорила:

— Маргарита Михайловна!.. Маргарита Михайловна!.. Да проснитесь вы... Господи!.. К вам незнакомый господин из России пришли...

Маргарита Михайловна, большая, полная, что называется, “матерая”, двигалась от сильных колебаний ее за руку, но не просыпалась. Будившая ее дробная дама, видя это, скромно улыбнулась и сказала:

— Пожалуйста, входите, я их разбужу.

— Может быть, мне лучше зайти после?

— Нет, нет, нет!.. Что же это такое — зачем после!.. Она будет очень недовольна и будет сердиться...

И она опять принялась трясти и звать спящую даму и наконец добудилась ее и, показав на меня, стоявшего у входа террасы, сама отошла и села за рабочий столик, а та, которую она называла Маргаритой Михайловной, продолжала сидеть в академическом кресле и смотрела на меня большими ничего не выражавшими карими глазами и наконец спросила:

— Кто вы?

Я назвал свою фамилию и сделал несколько шагов к fauteuil académique с желанием отрекомендоваться подробнее, но дама, не изменяя своего положения, рассмеялась и весело сказала:

— А нет, нет... не подходите ближе... Я вот именно... в беспорядке... Праша! обставьте меня на минуточку японскими ширмочками и дайте мне мою большую кружевную косынку, и я буду принимать нашего гостя.

Праша обогнула кресло низенькими ширмочками и опустила туда сверху платок, после чего через минуту над ширмами поднялась высокая, пожилая женщина с крупным и совершенно незначительным лицом и сейчас же протянула мне радушно руку и произнесла с растяжкою:

— Здравствуйте!.. Извините, что заставила дожидаться...

Она сделала слегка насмешливую гримасу и, подсмеиваясь надо мною и над собою, продолжала:

— Впрочем, я надеюсь, вы не очень долго ждали.

— О, недолго,— отвечал я.

— Меньше часа?

— Всего две, три минуты.

— Вот видите, как скоро!.. Я все сплю!.. От скуки, конечно... Дочерей нет со мною: Re-bemol поет в Милане, а Scabiouse[5] рисует горную флору в Швейцарии... Я здесь с одной Прашей... Вы с ней не знакомы?

— Не имею чести.

Праша, услыхав это, улыбнулась и проговорила:

— Ну, какая честь!

— Да, Праша наша была крепостная... И теперь с нами путешествует... Для практики русского языка... Это необходимо, и мы ее любим. Ее зовут Прасковья Петровна или по-старинному Праша... она нам сейчас сварит чай...

Праша встала и вышла.

— А вы, может быть, и дочерей моих тоже не знаете?

— Не знаю.

— Ни одной?

— Ни одной.

— Их две и обе взрослые и с талантами... Вера поет, а Надежда рисует цветы и пейзажи, но ее цветы лучше пейзажей. Брат Борис их зовет: поющую — Ребемоль, а рисующую — Скабиоза, и как его там считают остро-

умнейшим, то его названия так и пришли моим девчоночкам... Мне очень жаль, что вы их не видите: они очень добрые и сделались здесь совершенно самостоятельными, но именно без всякой этой, как у нас... вульгарности и фантазий. Я Россию люблю, или именно лучше сказать обожаю, потому что я хотя и проживаю большею частию всю мою жизнь не на родине, а в чужих краях, и часто могу говорить по-русски только с Прашей, но я свою веру и свой народ обожаю... Это именно есть для меня самое священное, но наших русских фантазий я терпеть не могу и не знаю, зачем они? Если другие живут без этих фантазий, то зачем они непременно нужны у нас? Мои оба брата и Boris, и Victor со мной не соглашаются и говорят, что я ничего не понимаю, а я вот именно-то и есть, что я все понимаю, и один дядя Иван Лукич во мне это ценил и сам фантазий не показывал, а получал свою пенсию и аренды за границей, и мы тогда жили вместе очень удобно, и он был без фантазий, но никому не был должен ни одного гроша и потому, когда хотел выпросить себе в прибавку, ему давали, а Victor, вы знаете... это ведь таить нечего — это секрет полишинеля — он в долгу, как в шелку, и сам говорит, что перед всеми должен сгибаться и не может расправиться... Смеется над религией, а один раз, когда увидал на Невском жида, которому сто раз обещал свой долг заплатить, то ударился бежать в Казанский собор и три часа стоял на коленях перед образом, пока жид не вытерпел и ушел, но и Boris, хотя ему брат, но не может дать ему места, потому что Victor остроумен и жив, он всякому может дать отличное название и не пощадит родного отца, но он совсем не такой дельный, как Boris. У Boris-а замечательная решимость на все, и он именно знает, как схватить время... Вы при нем по какой части?

— При вашем брате?

— Boris-е, да!

— Извините, я с ним не служу.

— Ах, вы у него не служите!.. Скажите, пожалуйста!.. А я ведь была уверена... потому что все, которые у него служат, постоянно к нам заходят, чтоб повидаться... А вы у кого же служите?

— Я ни у кого не служу.

Гого посмотрела с недоумением и спросила:

— Как же именно... совсем не служите?..

— Совсем не служу.

— Отчего же это так... случилось?[1*]

— Да, не служу.

— Разве вы очень именно богаты?[2*]

— Нет, не богат.

— Так как же это можно?

— Это можно.

— Это именно удивительно... потому что даже и богатые служат.

Мне это стало немножко докучать, и я еще раз коротко ответил, что не служу.

— Так вы, значит, помещик... впрочем, и помещики служат, но есть которые... у нас один варит сыр.

— Я не помещик и сыров не варю.

— Так вы именно что же такое?[3*]

— Не беспокойте себя, не отгадаете...

[1*] Далее зачеркнуто: "— Не умею".

[2*] Далее зачеркнуто: "— А-а! И разве это можно?"

[3*] Далее зачеркнуто: "Фабрикант?"

— Нет отчего же... ведь это интересно знать.

Я был вынужден сказать, чем я занимаюсь.

— Ах, так вы вот что? Это очень приятно! — воскликнула дама и, покопавшись в запасах своей памяти, сейчас же сказала мне, что она читала что-то мною написанное. Кажется, это было что-то в роде "Юрия Милославского" или "Хижины дяди Тома", но, если ей изменила память, зато не изменили чувства, и она начала сильно сожалеть, что меня не видят ни Ребемоль, ни Скабиоза.

— Они обе именно такие начитанные. Они все знают, где, что написано, и обо всем пишут большие письма дяде Boris-у. Ведь у него у самого большой талант, но только он занят службою, потому что он служит и им дорожат.

Но тут я потерял терпение и, может, не совсем кстати объявил Гого, какой со мною неприятный случай в дороге и для чего я к ней приехал.

Это на нее дурно подействовало, и она сразу переменилась: в ее больших карих глазах, глядящих обыкновенно немножко враскос, вдруг сверкнул испуг, тотчас же уступивший место сосредоточенности... Гого притворилась, как будто она не поняла меня, и переспросила:

— То есть как же это именно... вы значит... совсем беспаспортный?

— Да, у меня вчера украли паспорт и деньги, но я в деньгах не нуждаюсь.

— Как же не нуждаетесь?

— Не нуждаюсь, потому что буду иметь, на днях же пришлют и деньги, и паспорт, но мне было бы полезно теперь найти такое лицо, которое признало бы меня за своего соотечественника.

— Ах, это, конечно, конечно! Вот в этом-то именно вот вам бы, кажется, мог бы именно оказать услугу наш батюшка, но как жаль, что он, бедный, очень болен! У него вот уже третий год что-то в почках, и никто именно не знает, что такое, и все полагают, что это нервное. Он для того и уехал в Карлсбад... Впрочем, там теперь все, и вот там же теперь и обе мои дочери... Здесь за границей они совершенно самостоятельны и ездят, где хотят, а я уже не могу и остаюсь постоянно здесь с Прашей... Я с вами ехать никуда не могу, но я случайно знаю одного здешнего соседа, который знает все, как следует во всех делах помогать, и я могу его завтра просить к себе, и он непременно приедет, приезжайте и вы. Приезжайте просто по-русски, откушать, чем Бог послал. Право! Праша нам сделает русские щи, сырники и оладьи с медом... Вы любите? Здесь мед превосходный. И мы ваше дело уладим именно во славу Божию.

Я ее поблагодарил и уехал от нее, не дождавшись чаю, который пошла собирать Праша. Эта почтенная женщина где-то захлопоталась, и madame Гого напрасно звала ее проводить меня. Праша не откликнулась, и я удалился, опять не встретив никого, но, однако, заметил на одной из дорожек палисадника маленькую фотографическую камеру, которой прежде здесь не было.

Обстоятельство это, однако, показалось мне совершенно незначительным, и я уехал в Прагу[1*] с тем, чтобы завтра быть у любезной Гого к обеду.

II

Дома у себя я нашел карточку полицейского комиссара, на карточке была надпись, что из Петербурга получена вполне успокаивающая на мой счет бумага и что мне может быть открыт кредит до получения мною денег

[1*] Зачеркнуто далее: "где выходя из вагона, неожиданно столкнулся со здешним"

из России. Вместе с тем комиссар просил меня придти к нему завтра утром и дать несколько объяснений лицам, разыскивающим мою пропажу.

Я пошел на это приглашение. Утро было дождливое, и прохожих на улице было так мало, что по всей улице, ведущей к полицейскому дому, я повстречал только одну даму в клеенчатом ватер-пруве[1*], которая закрывалась большим дождевым зонтиком так, что я вовсе не видел ее лица. Комиссар меня встретил очень предупредительно и развязно, старался наговорить мне любезностей и несколько раз предлагал денежный кредит из своего бумажника, но при всем

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется по автографу: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 28.

В архиве писателя сохранились автографы четырех вариантов начала рассказа, выполненные на одинаковых листах большого формата зеленовато-голубого цвета в красную клеточку и расположенные в следующем порядке:

1. “Дикая фантазия (Признания госпожи Гого)” (Л. 1—4 об.)
2. “Дикая фантазия. Страдания, опыты и приключения госпожи Гого” (Л. 5).
3. “Дикие фантазии. Признания госпожи Гого” (Л. 6—10 об.)
4. “Фантазии госпожи Гого” (Л. 11—17 об.)

Первым трем вариантам был предпослан один и тот же эпиграф: “Человек рождается на труды, птицы же суповы высоко парят” (*Иов,* 5:7). Ср. рус. перевод: “Но человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх”.

Для публикации выбран четвертый вариант рассказа как наиболее полный, стилистически самый совершенный (содержит незначительное количество вставок и исправлений) и имеющий наиболее разработанный событийный ряд.

Все сохранившиеся фрагменты рассказа связаны с действительным событием в жизни Лескова. В книге об отце А.Н.Лесков писал: “18/30 июля (1884 г. — *Н.С.*) Лесков выезжает (из Мариенбада.— *Н.С.*) в Прагу, где в первые же часы обнаруживает исчезновение бумажника с деньгами, документами, аккредитивом и паспортом” (*Жизнь Лескова.* Т. 1. С. 280). Там же А.Н.Лесков привел небольшие фрагменты из неоконченного рассказа “Фантазии госпожи Гого”, связанные с этим случаем, и воспроизвел устные рассказы самого писателя о том, как его обворовали (Там же. С. 280—282).

Художественная интерпретация этого события в основных моментах сохраняется неизменной во всех четырех вариантах, различаясь лишь в некоторых деталях. Так, незначительно отличаются начальные фразы во всех четырех фрагментах. В первом: “Я был дочиста обокраден в самую первую минуту моего приезда в Прагу...”; во втором: “Я был дочиста обворован в самую первую минуту моего приезда в Прагу...”, в третьем: “Назад тому несколько лет я приехал в чешскую Прагу и тотчас же был здесь обокраден дочиста...” (ср. начало публикуемого фрагмента).

В первом фрагменте Лесков воссоздал достаточно подробный портрет героини: “<...> высокая и очень полная женщина лет шестидесяти с лицом, которое раньше могло быть красиво, но теперь утратило даже <*1 нрзб.*> и лезло в глаза крупностью всех своих черт. У этой дамы были седые волосы, большие серые глаза без выражения и толстые губы, толстый нос и толстый подбородок. Лицо было большое, тупое и немножко алчное <...>” (Л. 2). В третьем фрагменте отмечалось, что героя-рассказчика сопровождал на виллу русской дамы полицейский, сообщивший ему некоторые сведения о ней: “...у нее совсем дикие фантазии, и потому родные не знают, что с ней делать” (Л. 7 об.); “...ей все кажется, что ее похитят” (Л. 8); “она какая-то загадка для всех” (Л. 8). Во внешности героини сохранены характерные черты: “большая, дебелая дама, с крупными чертами лица” (Л. 9 об.)

В архиве Лескова в той же единице хранения имеется составленный им список действующих лиц:

[Helene]	Helene
Boris	Darie
Aggee (Аггей)	Euphrosine
Gleb	Ludmila
Hilaire (oncle)	[Marguerite]
Eustathe	[Margot]
Epiphane	[Маргоша, Гоша]
Zacharie	[Гогоша, Гого]
Hilarion	

[1*] Непромокаемый плащ (от англ. water proof).

Platon
Charalampe
Chariton
l'oncle
le frère
le cousin

Parasceve
la tante

По списку действующих лиц можно судить, что Лесков задумал написать достаточно объемное произведение с большим количеством персонажей.

О времени создания публикуемого фрагмента в комментарии к рукописи А.Н.Лесков оставил следующее замечание: "Обворован Лесков в Праге, в гостинице, был в 1884 г. Написаны эти наброски едва ли ранее 1889 г." (*РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 28). Однако в послесловии к рассказу "Дикая фантазия. Полунощное видение"[1*] А.Н.Лесков высказывал предположение, что рассказ о госпоже Гого задуман позднее, в 1894 г.: «...в письме к В.А.Гольцеву от 14 октября 1894 г., за четыре месяца до своей кончины, Лесков предлагал "Русской мысли" рассказ — "Дикая фантазия", говоря, что он "позабористее Фефел", объемом листа на 2—3, но на этот раз явно речь шла о другом рассказе (не о "Полунощном видении" — *Н.С.*), четыре начальных варианта которого тоже целы в лесковском архиве <...>

В этом рассказе сразу ясна наметка на "прикровенный" абрис в лице действующей во всех четырех вариантах госпожи, зарубежного (завязка происходит в Праге в 1884 г.) агента "3-го отделения"

Несомненно он был бы "позабористее" Фефел ("Дама и фефела" — "Русская мысль", дек. 1894 г.) и шел бы в наддачу и утверждение тяжких зарисовок "Зимнего дня" ("Русская мысль", сент. 1894 г.) и, судя по неторопливому разматыванию клубка повествования, потребовал бы как раз не менее двух-трех листов». (Лит. современник. 1934. № 12. С. 101).

Косвенным подтверждением этой даты работы над рассказом (1894) может служить записанный Лесковым вариант названия "Madame Gogot" в записной книжке 1894 г. (*РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 110; см. ниже публикацию Т.С.Карской "Заметки о языке в записных книжках Лескова").

1 Неточная цитата из стихотворения М.Ю.Лермонтова "Тамара" (1841).

2 31 мая 1884 г. писатель выехал из Петербурга в Варшаву, посетил Дрезден, Мариенбад, Прагу, Вену. В конце июля он возвратился в Петербург. В Праге Лесков пробыл один день — 21 июля.

3 Возможно, имя героини навеяно романом Поля де Кока "La famille Gogo", известного в России в переводах: "Приключения Розы-Марии, или Разнохарактерные родственники" (М., 1847), "Сельская красавица в Париже, или Семейство Гого" (СПб., 1874) (авторы переводов не указаны).

4 Дробной — робкий, нерешительный, застенчивый.

5 Скабиоза — название травяного растения.

1* Заглавие "Дикая фантазия" использовано Лесковым в 1883—1884 гг. и для рассказа, отразившего впечатления от поездки через Новгород в Старую Руссу в 1880 г. и имевшего подзаголовок: "Полунощное видение".

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ[1*]

(Отрывки из воспоминаний)

Меня не раз спрашивали: правда ли, что я веду постоянные записки о том, чего был зрителем или участником в жизни? На все эти вопросы, когда они предлагались мне серьезно, я с полною искренностью отвечал, что записок не веду, и ведение их считал неудобным по двум причинам: во-первых, я не находил возможным писать о многом, что знал, так как это могло[2*] иметь неприятные последствия для лиц, до которых стали бы касаться мои воспоминания, а во-вторых,— воспоминаний чисто литературного свойства я не желал писать потому, что такие воспоминания,— как бы осторожно я их ни излагал,— могли быть приняты за желание с моей стороны отомстить людям, говорившим и писавшим обо мне слишком много дурного. Как бы я ни был далек от таких намерений, как мне кажется, чуждых настроению, усвоенному мною в продолжение последних лет моей жизни,— все-таки при изложении воспоминаний о литературной семье моего времени я был бы вынужден касаться обстоятельств, наполнявших жизнь мою горечью обид, мною перенесенных,— и при этом, чтобы восстановить дело в истинном свете, я должен был бы иногда защищать себя от напрасных нападок[3*], отделяя их от укоризн справедливых и действительно мною заслуженных, а я этого делать не желаю. В нынешнем своем возрасте и разумении я нахожу, что лучше совсем не поднимать на вид старые истории[4*], о которых еще нельзя говорить с полною свободою. Излагать же их, применяясь к большей или меньшей тяготе затрудняющих обстоятельств постороннего свойства, значит не рассеивать мрак, а усугублять его, вызывая новые недомолвки и споры.

Поэтому я дневника не вел и сплошных воспоминаний за время моей жизни писать не намерен. Но как жизнь моя проходила в очень интересное для русской общественности время и потому, что очень многие ко мне обращаются с желаниями, чтобы я написал о более или менее замечательных встречах, сохранившихся в моей памяти, то я решился удовлетворить эти желания, представив в предлагаемых ниже[5*] строках просто записанные очерки о лицах, которых я знал и которые своими отношениями к жизни казались мне любопытными и достойными внимания, а также и способными характеризовать до известной степени направление своей среды и своего времени.

[1*] Предисловие опубликовано: *Жизнь Лескова.* Т. 2. С. 447—448.

[2*] Далее зачеркнуто: "бы вредить, беспокоить"

[3*] Далее зачеркнуто: "которые встречаются среди"

[4*] Далее зачеркнуто: "в которых не все еще ясно и спокойно, не следует, ибо ничего не уяснить, а только еще более сгущать страстность и запутывать споры".

[5*] Далее зачеркнуто: "очерках"

Между предлагаемыми за сим отрывками из моих воспоминаний нет никакой общей связи. Это просто случаи, которые я записываю, как они приходят мне на память, и в них не следует отыскивать ничего, соединенного какою-нибудь общею идеею или так называемою тенденциею.

Я пишу просто то, что останавливало на себе мое внимание и почему-либо оставалось жить в моей памяти.

Читатель, который отнесется к моим наступающим очеркам так, как я стараюсь их выяснить, окажет мне справедливое снисхождение и защиту от больших требований, какие можно простирать к запискам, писаным по более цельному и широкому плану.

I[1*]

СОЛЯНОЙ СТОЛБ[2*][1]

Вся жизнь есть шествие через плотское существование: ты шел, торопился идти и вдруг тебе жалко стало, что совершается то самое, что ты не переставая делал.

Л.Толстой[2]

В ту зиму, когда граф Лев Николаевич Толстой написал свой рассказ "Чем люди живы"[3], усопший теперь литератор Константин Н.Леонтьев[4] возбудил против него полемику, в которой старался доказать, что Толстой вводит в христианство ересь тем, что дает преимущество любви перед страхом. Мнение свое о неправомыслии Толстого Леонтьев основывал на сочинениях Исаака Сирина[5] и тем показался для многих "хорошо осведомленным и неодолимым", но я был знаком с сочинениями Исаака Сирина и показал (через напечатание в "Новостях"), что указаний о страхе в сочинениях Исаака Сирина нет и что Константин Ник. Леонтьев этих сочинений, очевидно, не читал или их позабыл, но во всяком случае, что он их *не знает* и делает ссылки ложные. При этом я привел и несколько цитат из сочинений Исаака Сирина, в которых этот писатель хвалит действия любви и отдает им преимущество перед силою страха[6].

С этих пор К.Н.Леонтьев прекратил свои нападки на "религию любви" и не ссылался более на Исаака Сирина, а я получил несколько сочувственных писем от неизвестных мне до сего времени лиц, от которых впоследствии приобрел драгоценные для меня расположения и дружбу.

Сочувственные письма все были от самых горячих почитателей "великого писателя земли русской", которые отличались от обыкновенных его почитателей тем, что они не "пленялись" одним искусством его описаний и "красотою сюжетов", но любили *идейность* его произведений, чувствовали в них силу, могущую действовать на отрезвление и вразумление общества, и верили, что в направлении, которое стал обнаруживать Л.Толстой, есть что-то очень серьезное и справедливое, к чему надо отнестись с почтительною бережностью и вниманием.

Теперь часто говорят о "толстовцах", но тогда их еще не было, и весь "толстовский кружок" в Петербурге состоял из очень небольшого числа людей, собиравшихся раз в неделю к вечернему чаю в одном доме на Миллионной[3*][7]. В этом маленьком кружке были, однако, люди очень замечатель-

---

1* Публикация и комментарии К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной.
2* Зачеркнуто первоначальное название: "Жена села"
3* Далее зачеркнуто: "в доме Ч. Из писателей там бывал"

ные по своему значению и характерам. В числе их находился пожилой человек, настоящее имя которого открыть еще неудобно, и я буду называть его вымышленным именем Плисова.

Это был очень умный человек, горячо любивший правду и охотник искать истину, давно подчинивший себя во многом заповедям евангельского учения. Он обладал значительным в своем роде талантом, имел имя и был на хорошей в карьерном смысле дороге[1*], но карьерная борьба была ему не по натуре и жизнь в Петербурге и за границею ему не нравилась,— он предпочитал всему этому тихую жизнь на своем небольшом хуторе и жил там просто и без затей во всех отношениях. Он не стал ломать себя на крестьянскую жизнь, к которой не был приучен, а основался проще этого: раздал хуторскую полевую землю и луга окрестным крестьянам для обработки "из долей", а сам с женою поселился в простом, но достаточно просторном домике, какой здесь был, и продолжал в тишине и спокойствии заниматься тем делом, к которому был приготовлен специальным образованием и в котором он достиг известности и значительного совершенства.

Жизнь, поставленная на такой путь, пошла прекрасно, и Плисова можно было назвать самым благополучным человеком из всех, которые поняли невозможность достичь покоя в боевой суете за почести и преобладания и которые, поняв это, сообразили, что самым простым и верным средством спасти себя от пагубных терзаний этой беспокойной жизни с неудовлетворимыми стремлениями есть удаление от погони за "жизнерадостями" и жизнь простая, при которой можно трудиться в меру своих сил и не ощущать несчастия от того, что не окружаешь себя пустяками, не имеющими никакого серьезного влияния на благополучие живущих.

Плисов по собственной натуре имел вкус к такой жизни, и она ему не была тяжела и даже казалась милою и привлекательною, но в такой уединенной жизни "человеку не благо быть одному"[8], а еще мудренее найти себе для подобной жизни подругу, которая имела бы и благородное сердце и просвещенный ум, так что с нею можно бы[2*] жить в единомыслии, и которая бы не соскучилась в этой жизни по своим городским привычкам и не стала отравлять общее спокойствие оглядками на прошлое и "воздыханиями о мясах египетских"[9]. Но к великому и, кажется, можно сказать — исключительному или по крайней мере — редкостному счастью Плисова, ему было ниспослано и это: он имел в своей жене как раз такую подругу, какая на такой случай была ему нужна.

Жена Плисова, из "петербургских барышень" того периода, когда здесь "рвались и метались"[10], была наделена приятною наружностью, здравомыслием и добрым характером, а "направление" тех лет, когда она вбирала в себя "все впечатленья бытия"[11], дало ей протестующую подвижность против всего, что она могла признать злом, и готовность приносить благородным идеям очень многие жертвы. По урожденному своему положению она могла рассчитывать на очень выгодные партии, но мысль о таких соображениях не смела и остановиться в ее благородной головке: она вышла замуж за Плисова, потому что полюбила его, а полюбила, потому что в ней загорелись симпатии к идеям, которые она встретила в его произведениях, и этого было довольно, чтобы не оторвать ее от него никакими силами. Жизнь их была превосходная: с самых первых дней брака супруги не разлучались, и между ними ни в чем не было несогласия и размолвки: они видели и недостатки, особенно во время жизни за границею, прежде чем положение мужа опреде-

---

1* Далее зачеркнуто: "но оставил и столицу, поселился"

2* Далее зачеркнуто: "хранить общительность и укреп"

лилось, но стеснения, которые приходилось переносить супругам, нимало не нарушали их согласия, а напротив, только теснее сплачивали их дружбу. У них появился один сынок, а потом другой, и оба супруга относились к детям своим с одинаковою горячностию и благоразумием: мать сама их кормила и нянчила, а отец помогал ей чем мог, и, наконец, по возвращении на родину, вместо погони за карьерой и славой, объявил, что не видит в этом ничего прочного и охотно предпочел бы всему простую жизнь на хуторе, где можно жить тихо и дешево и запасти детям с ребячьих лет здоровья.

Жена на это отвечала только одно слово:

— Прекрасно!

И, когда они поселились у себя на хуторе, муж увидал, что она не только прекрасная, благоразумная мать, но и аккуратная, умная и спокойная хозяйка, благодаря энергии и благоразумию которой жизнь супругов в старом домике отдаленного хутора потекла тихо и мирно, как глубокая северная река в ровных берегах.

Плисов, склонный к вере и благопочтению, видел во всем его окружающем явные знаки отеческой любви Бога и часто и много благодарил Провидение за необыкновенное облегчение его жизненного пути и особенно за жену.

— Везде,— говорил он,— я видел между супругами нелады и несогласия с тою только разницею, что одни хуже, а другие лучше скрывали свое несчастие, но у нас был мир и согласие, которым я не видел конца, и благодарность за это во мне была так сильна, что мне стоило вздумать: какая у меня добрая жена и как мы согласно живем с нею,— и я тотчас же падал на колени и плакал от радости и благодарил Бога.

Дальше я буду продолжать повесть от лица Плисова и его же словами, как они сохраняются в моей памяти.

Мы были довольны своею жизнью на хуторе больше, чем я ожидал: недостатков ни в чем необходимом мы не чувствовали, а все нужное для здоровой и спокойной жизни у нас было. Работая очень немного, всего часа по три в день и всегда то, что мне хотелось работать, я получал в год не менее трех тысяч рублей — чего при нашем скромном образе жизни нам не только доставало на все надобности, но мы из этой суммы делали еще сбережения, которыми подчас могли оказывать услуги нашим соседним крестьянам. Соседство у нас было прекрасное: со всех сторон подряд все крестьяне рационалистической секты[12], все без исключения трезвые и трудолюбивые и потому раздирающей душу нищеты нигде не было. Помещиков из дворян нет: они, по выражению местных крестьян, "пописались на службу" и дворишки бросили. На горе за рекою стоял "пустой приход", и в нем жило "духовное сословие", но мы с этим местом никаких сношений не имели и сами для тамошних обитателей интереса, вероятно, не представляли, так как там хозяева и гости курили табак, пили вино и играли в карты, а мы не только обходились без всего этого, но даже все это не любили и притом еще не ели ни мяса, ни рыбы, а питались одною растительною пищею и находили, что это для нас и для наших детей предостаточно.

И так мы прожили десять лет и сами приготовили старшего сына в гимназию. Тут впервые настало время нам разлучиться с женою, которая повезла сына в университетский город, чтобы устроить его там в родственной нам семье, где мальчику было прекрасно. Мать его устроила и возвратилась с тем, чтобы теперь приготовлять младшего, который был моложе старшего на два года.

Старшего нашего сына звали Павел, а младшего Петр. Они были не худые ребята,— не глупы, не злы, способны к наукам, и к тому же люди находили их красивыми. Я сам находил интересным смуглое и задумчивое лицо Петра[1*] и любил на него смотреть, когда он, бывало, задумается и ничего вокруг себя не замечает. Ударишь его с ласкою по плечу и спросишь: "Петя! О чем, друг, задумался?" Вздохнет и грустно ответит: "О жизни".

Оба они прекрасно кончили в свое время курс в университете[13]: Павел вышел на четыре года раньше Петра и прямо с университетской скамьи получил место в суде и скоро женился на барышне, которая в него без памяти влюбилась[2*]. Мне она не нравилась, а жене, наоборот, очень нравилась, кажется, главным образом за то, что обнаруживала сильную настойчивость в избрании Павла и наконец вышла за него наперекор желаниям всех своих родных,— людей богатых и именитых, для которых родниться с нами была не находка. Мне же все это не нравилось, ни эти новые родственники с их фанаберией, ни сама невестка, в которой этого добра было тоже довольно, и я решился держаться от этих лиц в стороне и как можно подальше.

С Павлом я на этот счет объяснился дружески и с толком, и он — спасибо ему — меня понял и не неволил меня ни к каким сближениям с родными его жены, да и с нею самою, в претензионной натуре которой была для меня неодолимая противность, и мне было очевидно, что и я ей не нравился. Поводов к этому было много, а главное — несходство наших привычек, образовавшихся в разнообразии вкусов, которые, в свою очередь, зависели от противуположных характеров. Мы не сделали друг другу ничего дурного, но тем не менее, или, пожалуй, тем более, сойтись в каком-нибудь единомыслии нам было не на чем. Даже то, что я любил Павла и она его любила, не могло нас объединять, потому что моя любовь и ее любовь желали этому человеку не одного и того же: она хотела ему всего больше радостей, а я того, что дает более серьезный взгляд на цель данной нам жизни. Словом — нам сойтись с этой маленькой дамочкой было не на чем, и мы не сходились и почти никогда с нею не виделись, но жену мою, мою добрую и верную подружку, это не смущало. Она, как я сказал, симпатизировала чему-то в этой невестке и часто к ней ездила, но меня с собою не тянула и преумно говорила, что мне и не надо принуждать себя бывать у несоответственной невестки. "Она — да, очень хорошая,— и имеет в своем роде достоинства: хорошая хозяйка и любит мужа, но у нее другие вкусы, чем у нас,— она не того хочет, что нам дорого,— она еще староверка и хочет совместить вещи несовместимые... Придет время, она поймет, что это невозможно, и тронется вперед и поведет за собой мужа"

Слушая такие слова, я смотрел на мою жену и не раз чувствовал себя глубоко растроганным за то невозмутимое счастие, которым мы наслаждаемся в нашем взаимном согласии, отвечающем требованиям настоящей любви, повинуясь которой люди не угодничают друг другу, а покоят друг в друге то, что хорошо и пригодно для высшего возраста. И я вставал и целовал руки моей стареющей жены и иногда со слезами говорил:

— Господи! За что мне такое счастье? — Или, обращаясь к ней, восклицал шутя по-славянски: "Где духа исполнилась? Откуда сие износишь?"[14]. А она отвечает: "Я не понимаю: как же иначе можно думать" И все шло у нас таким образом и в общем и в частностях: во всем главном и общем мы были

[1*] Далее зачеркнуто: "и его большие голубые глаза, которые становились темными, глубокими, когда он погружался в задумчивость, и потом вдруг вспыхивали и разгорались неукротимым внутренним блеском, свидетельствовавшим о"

[2*] Далее зачеркнуто: "и настояла на том, что ее за Павла выдали"

вполне согласны, а в частностях умели делать друг другу уступки, не нарушающие главного нашего настроения. Казалось, ничто на свете не разъединит нас в прохождении земной жизни. И разные случаи постоянно это подтверждали. У Павла, например, родился сын, которого отец хотел назвать моим именем, а мать этого не хотела и желала дать ребенку имя своего отца. Жена моя, бывшая там при родах невестки, впуталась в это дело и стала на стороне презиравшей меня молодой дамы, которая не хотела, чтобы ее мальчик имел одно имя со мною, которого она не уважала за то, что я имел несходные с нею мысли и носил платье не первой свежести, а пока оно исполняло свое главное назначение, т.е. покрывало и грело мое тело. Жена моя знала, какую все это имеет настоящую цену, и мы с нею были единомыслимы и единодушны, в то время как другим могло казаться, что она мною манкирует. Вслед за этим пришел другой случай: наступило время крестить новорожденного мальчика[1*]: опять явился повод для политических соображений, кого звать в кумовья: позвали мою жену и невесткиного дядю, но сын Павел все-таки приехал приглашать меня в гости. Я ему говорю:[2*]

— Милый друг, зачем я там нужен? Ведь и без меня вода там освятится,— но он стал упрашивать и отвечает:

— Конечно, папа, вода освятится, но для родных, для вида... для общества.

— Ах, опять, думаю, это общество! Что это я лезу, лезу, я вон из него и все никак не вылезу! — Друг мой,— говорю,— что до меня “обществу”,— я, ведь, уже стар и свой термин условных вежливостей отбыл, да, по правде сказать, всегда их очень не любил и от них и бежал, а теперь зачем меня туда насильно заворачивать.

— Нет, папа,— говорит,— это не насильно, и не для одного общества, а также и для нас самих.

— Ну будто,— говорю,— ты почел бы за обиду, если бы я не был при том, как будут купать ребенка?

— Не я, папа, но она — моя жена: в ее глазах все это имеет значение и отражается на ее благе.

— А если это отражается на ее благе, то не станем и свое терять на переговоры, а едем!

И сам беру шапку, а он смотрит на меня благодарственно и жмет мне руку, но вместе с тем как бы и придерживает меня.

Я говорю:

— Ну, что же — готов я — едем!

— А переодеться-то, папа! переодеться!

— Во что же мне переодеваться? Я ведь свой фрак давно знакомому лакею подарил[15].

— Ну, хоть не во фрак, так где же ваш тот сюртук, который вы к нашей свадьбе делали?

— А я его тогда же после вашей свадьбы продал.

— Кому продал?

— Еврею.

— Зачем же вы его продали?

— Да не думал, что мне еще раз понадобится служить для представительства, а еврей за него за свеженький половину цены дал, а я на то борон купил, которые мне надобны, а то бы сукно слежалось или моль бы его съела и ничего бы не дали.

[1*] Далее зачеркнуто: “Павел приехал звать меня на крестины”

[2*] Далее зачеркнуто: “— Мой друг, очень рад, но в чем у тебя гости-то будут?”

— Так сюртука и нет?
— Так и нет.
— Так как же быть?
— С чем, мой друг?
— В чем вы к нам поедете?
— Да вот в чем стою,— в этой своей "алагерке"[16].
Сын законфузился и, улыбаясь, говорит:
— Папахен!
— Что такое?
— Да это же невозможно!
— Да почему?.. Чем это платье, которое на мне, неблагопристойно и дурно?
— Папа, оно все полинявши!
— Ну да, это правда, но ведь это ничего не значит, оно все-таки прилично.
— Что значит, папа, "прилично"?
— Оно уместно при моем лице,— при лице простого человека, который не ищет щеголиться и предпочитает независимость и покой в устройстве своей жизни.
— Папа, это поймут совсем не так.
— Кто, мой друг?
— Все.
— Ну, ты ошибаешься: я знаю многих, которые понимают, что я тебе говорю именно в этом же самом смысле.
— Да; но гораздо большее число людей вас осуждают и приписывают эту вашу кричащую скромность совсем не скромности, а желанию оригинальничать и выставляться на вид... Вы меня простите, что я это вам говорю — не мои слова!
— Пожалуйста, пожалуйста! Хоть бы они были и твои, то в этом мне нет никакой обиды. Каждый судит обо всем, что видит, по-своему. Проект введения единомыслия остался в мечтаниях Кузьмы[1*] Пруткова[17]. Я никому ничего не навязываю и хочу, чтобы мне не навязывали того, чего мне не нужно.
— Ни сюртука, ни фрака?
— Да; ни сюртука, ни фрака.
— Но это в обществе принято!
— Да ведь в обществе и другое многое принято, что мне не нужно и чего я не хочу. А как я вижу, что я вам в этом, что на мне есть, не гожусь, то, значит, вам нужен мой фрак или сюртук, а не я сам, и потому: "хитон обличает мя яко несть брачен и имейте мя отреченна"[18].
— Вы лишаете нас удовольствия вас видеть?
— Нимало,— только меня "хитон обличает", и я не гожусь.
— Но вы не сердитесь?
— Сержусь!.. Господи помилуй! За что бы это?
— Не сердитесь?
— Да, полно, пожалуйста! Я даже очень рад, что ты уедешь один и меня тоже оставишь одного думать и работать на свободе. А матери скажи, как у нас было дело: она, наверно, не огорчится.

Возвращается жена — я ее спрашиваю: все ли ей рассказал Павел,— почему я не поехал и не сделало ли ей это досады? Она отвечает: "Напротив: я так и думала — зачем ты поедешь? Тебе все там такое несродное"

[1*] Так у Лескова.

— Ну, а тебе же это разве по сердцу и по нраву?

— Нет,— отвечает,— но ведь я к этим вещам отношусь равнодушнее и от них не страдаю... Невестка немножко морщилась, потому что кто-то из гостей принял меня по моему скромному платью за акушерку или за попадью, но зато поп поставил меня выше всех и перед тем, как облачиться, спросил меня шепотом: "с плюновением делать или без плюновения?"

— Ну, и ты ему что сказала?

— Я ничего не сказала: но он сам добавил: "лучше без плюновения"[19], а я с этим согласилась.

И я с ней согласился: говорю:

— Это вежливей.

И опять у нас лад и мир и согласие, и так все шло, пока позавидовал нам тот самый дьявол, которого моя жена с свойственной ей деликатностью не хотела оплевывать более, чем он уже оплеван.

Между детьми своими мы никакой разницы не делали и любили одинаково Павла, как и Петрушу, но Петр завладевал у обоих нас большею долею внимания. Павел был человек обыкновенного пошиба, с значительною долею уменья действовать в свете — быть нужным и делать себе обстановку и карьеру, не употребляя при этом, конечно, никаких мер унизительных и бесславных. Он так и пошел[1*], но Петя был иначе одушевлен — ему было дано самое счастливое спокойствие и бесстрашие и стремленье к идеальностям, а идеалы его были осуществление разных положений, которыми великие мудрецы стремились отлучить людей от себялюбия личности и привлечь к служению общему благу. Разумеется, я в этом был сколько-нибудь виноват, и так как я, старик, люблю эти идеалы и никакой жизненный опыт не поколебал во мне веру в то, что они верны и когда-нибудь непременно осуществятся, то я его не отклонял от этой веры, и мать ими любовалась, и хотя не порицала домовитого Павла, к поэтическому мечтателю Петруше улыбалась веселей и с особенной радостью говорила о нем другим: "Этот весь в моего старика" И это ее тоже радовало, а не огорчало, так как она хотя и любила домовитость и порядок, но жизнь ради высокой, общеспасительной идеи любила еще больше и без размышления могла бы оставить все и сделаться и бродягой и нищей, чтобы[2*] не потерять из глаз свет и опять не упасть в тьму.

А Петя уже слушал университетские лекции на втором курсе и приехал на каникулы невеселый. Причина его смущения открылась мне на второй же день: он стал рассказывать мне про то, какие стали у них теперь профессора, какие товарищи и какие порядки. Все это ему не нравилось и мне тоже: наук научишься не столько, чтобы этого же самого нельзя было взять проще и полнее, и наглядишься на примеры таких проявлений в жизни людей, которых надо бы уважать, а на них-то и потеряешь способность к уважению.

— Бог с ними,— говорю,— если они таковы, что учат картаво и для совести образцами не служат, то для чего с ними якшаться.

— Я,— отвечает,— это самое и хотел, только стеснялся заговорить об этом, чтобы вы, папа, не подумали, что я ленюсь или хочу удалиться из университета по какому-нибудь фантазерству. Право, нет; а судите сами, зачем там сидеть еще два года и слушать от очень малоталантливых и, может быть, еще менее искренних людей то, что я при помощи книг, написанных знато-

---

[1*] Далее зачеркнуто: "и выступил в жизнь козырем при содействии"

[2*] Далее зачеркнуто: "показать, что мы видим свет и хотим быть в свете"[20].

ками предмета, могу свободно усвоить в гораздо более короткое время и притом не смущать себя тем, чего не хотел бы видеть в своих руководителях.

Я его одобрил, и мать тоже.

— Как же будем жить?

— А вот так,— отвечает он с выражением тихого счастия,— я останусь здесь с вами на хуторе, выпишу себе книг и буду читать и просвещаться и буду ходить с работниками приучаться к сельским работам: меня к этому тянет.

— Прекрасно!

Живем месяц, два — прекрасно!

Смотрим с женою на нашего второго сына и не нарадуемся! Что за красавец, что за молодец и ловкач на все руки! До чего не дотронется, сейчас поймет и обхватит, и дело у него в руках горит. И при этом разумный и... чистый, как самая скромная девушка. Жена только замирает от счастия и иногда шепчет мне:

— Ах, только если бы он не испортился!

А я ее утешаю: говорю ей:

— Все возможно: с человеком, пока он живет на земле, могут быть разные перемены, но я не вижу: чего же тебе особенно бояться за Петю? Он доброй натуры и хорошо направлен в своем развитии,— а это главное.

— Все это так,— отвечает она,— а все-таки страшно: ведь и при хорошей натуре и при лучшем направлении молодые люди, бывает, портятся.

Я не спорю.

— Разумеется,— говорю,— бывает, что портятся люди даже не только что молодые, а и пожилые, которые век свой прошли по нехудой дороге, а на старости лет забирают в кривопуток; но в городах опасностей этого рода больше, чем в деревне. Чего же пугаться?

И в самом деле ни для какого страха поводов не было: Петр превосходил все наши желания: он много и с толком читал и поучился полевым сельским работам, а с тем, как пошло осеннее ненастье, выпросил у меня пустую хату над прудом и стал собирать там “вечерницы”, но вечерницы совсем особого рода. Он собирал один вечер молодых ребят, а другой вечер девок и зажигал им огонь, чтобы можно было работать, а сам им читал Евангелие[1*] и пересказывал нравственные истории о хороших людях, и крестьяне скоро поняли, что в этом ничего дурного нет, и постоянно льнули к Петру всю зиму. Особенно же полюбили его “дивчата”, так что и хвалы ему сложить не умели: им нравилась его приветливая ласковость, простота и искренность в обхождении и толковая ясность всего, что он им передавал от себя или по книжке, а главное, одобряли, что “не чуть от него никаких пустяков”. Девушки в одно слово о нем говорили, что он им “всем как милый брат” Ну где же отцу или матери такому событию не радоваться? И мы радовались и все радовались.

Недовольные Петрушею люди нашлись только в селе на поповке, откуда великим постом был послан куда-то донос на “отвлечение внимания прихожан”, и к нам приехал пристав — ходил в хату, где у Петра собирались вечерницы, пересматривал лежавшие там книжечки и спрашивал у парубков и девиц “у тыих ли книжках панич читает?” Хлопци и дівчата отвечали: “у сиих”

— А еще може и у других яких-нибудь читае?

— Ни, говорят: других ни яких не читае.

— То може от своего ума що сказывает?

[1*] Далее зачеркнуто: “Тихона”[21].

— От ума сказывает.

— Ну чо ж вин вам от себя сказывал?

— Сказывал яко... що бы жить добре... по закону хрыстияньскому.

— А як же вона слидуе по закону хрыстьяньскому жить? Чи вы же то от його уразумилы?

— А вжеж уразумилы.

А когда он стал их докучно расспрашивать, что именно они уразумели,— "как надо жить", то они отвечали, что "так, як Бог показал, щобы всим равно было" После этого Петра призывали в город к какому-то полковнику, который все спрашивал его: "разве есть в Евангелии такие-то места", и когда Петр ему эти места читал, полковник вырывал из его рук книжечку и, удостоверяясь, что прочитанное действительно есть в книге, восклицал:

— На это непременно должно быть обращено внимание! Непременно!

Петр ему повторял: "Непременно!"

— И это будет!

— Да уже и есть.

На этом они согласилися, и полковник его обрадовал, сказав:

— А пока вы можете ехать домой.

— Чудесно! — отвечал Петр и приехал благополучно.

А пока он сделал эту поездку, нам объяснилось нечто малое, из чего потом скоро вышло нечто очень для нас великое,— и притом такое великое, что одолело все и ниспровергло мои самые неколебимые надежды[1*].

Губернский город, куда Петра позвал многоважный полковник, от нас всего шестьдесят верст, и ездят туда по железной дороге, ближайшая станция которой от нашего хутора в шести верстах, и это маленькое, шестиверстное расстояние идет по прекрасной местности, над рекою и по перелеску, так что все, кто идет в город налегке, без тяжелой поклажи обыкновенно проходят это расстоянье пешком, но я захотел проводить сына, и как мне нездоровилось, то заложил лошадь в тележку, и мы поехали, разумеется, без кучера. А поезда у нас так распределены, что кто хочет съездить в город и воротиться домой обыденкою, тот должен сесть из дома на ранний поезд, который проходит через нашу станцию в четыре часа утра.

Чтобы попасть на этот поезд, я встал, когда еще не было трех, и пошел посмотреть лошадку и, проходя по двору, заметил, что калитка или "фортка" на огород стояла растворена... Это был непорядок, потому что со двора на огород могли зайти коровы и телята и поесть и потоптать овощи, и я этого ротозейства не дозволял и всегда журил за него виноватых и теперь положил в уме у себя обнаружить их и побранить и потому с целью открытия виновных пошел по следу, который лежал на буйной, рослой траве через весь огород прямо к ручью и здесь сходился у низового куста с другим более дробным следом босых ног, и тут же под лозою примято,— видно, что кто-то сидел и не один, а вдвоем, и разговаривали о чем-то с чувством и с смущением,— это можно было отгадать по множеству оборванных с ветвей листочков,— чем обыкновенно занимаются стыдливые малороссийские девушки при волнующих их разговорах. Ну я, разумеется, понял, что здесь "о любви говорили", и положил себе быть на этот счет скромным, чтобы никого не сконфузить,— запряг лошадку и пошел будить сына, но нашел его уже одетого и готового ехать. Мы

[1*] Далее в рукописи помета: "ч<асть> 1"

и поехали и дорогою говорили с ним очень покойно о делах хозяйственных и о вопросах, которые мы оба любили и потому оба легко на них сбивались. О том деле, по которому его звали в город, я ему не говорил ни слова, и он мне тоже: я считал, что недостойно мутить свежий, утренний воздух переговорами о том, как и что он должен отвечать на то, о чем его спросят! Разумеется, мы знали, что всегда надо говорить правду и[1*] лгать не сговаривались, а обдумывать, *как* он[2*] станет отвечать — это[3*] должен был ему <внушить?> тот *дух*, водимый которым, он будет[4*] там, куда его приведут. Словом, мы[5*] скорее порывались прочь от[6*] земли, а земля за нами слилась, как мы отъехали от двора, на протяжении всех шести верст до железнодорожной станции за нами все что-то неслось вслед и промелькивало то с той, то с другой стороны дороги,— точно кто-то за нами бежал, таясь среди кустов или пригибаясь за бережком ручья, и только, когда нечем было прикрыться, мелькал по видному полю сторонкою, но как я близорук, то никак не мог разобрать, что это: дитя или жеребенок. А когда мы стали подъезжать к станции, *оно*, это не разгляженное до сих пор, вдруг выкатилось и стало с нами рядом, и тогда я узнал, что это с нашего хутора дочь вдовы Вивги, дівчина Хима.

Мне даже стало удивительно: как это я давно замечал, что за нами что-то бежит, и не сказал об этом сыну и не приостановился, чтобы подождать того, кто нагонял. А пока я все это соображал, Хима с раскрасневшимся лицом все бежала за нами и, хватаясь рукою за телегу, широко улыбалась[7*]. Я приостановил лошадь и сказал девушке: “Садись, Хима!” А она в то же мгновение вспрыгнула, села, как птичка на жердочку, и захлопала на лошадь ладошами.

Я говорю: “Куда ты бежишь, Хима?”

А она улыбается, волосы на лбу пальцем обводит и отвечает: “Никуда”

— Как же так, никуда?.. Для чего же ты так шибко бежала?

— Разве ж это шибко?

— А, разумеется,— с конем наравне.

— Это еще не шибко.

— Ну, а все-таки — зачем бежала?

Но тут я и заметил впервые затруднение, которое выходило в разъяснении этой причины, про которую Хима мне ничего не открыла, но сын, улыбаясь, сказал, что эти *все* дівчины его “жалеют”, и Хима, наверно, захотела его проводить.

Он это говорил без всякого стеснения, свободно и притом глядел на нее и улыбался, и она слушала его и тоже улыбалась и, покачивая в такт красивою русою головою, шептала:

— А так же и есть!

Ему двадцать три года, а ей семнадцать, и оба прекрасные и чистые, как самые невинные дети...

Подошел на мгновение поезд[8*],— сын мой вскочил в вагон и умчался.

[1*] Далее зачеркнуто: “не марать себя ложью ни ради каких целей; но это он, сын мой, знал так же, как я”

[2*] Далее зачеркнуто: “изложит свою правду в ответах”.

[3*] Далее зачеркнуто: “то внушит ему тот *дух* Того, кем он вдохновен”

[4*] Далее зачеркнуто: “везде и на всяком судилище, на какое бы его ни привели”

[5*] Далее зачеркнуто: “любовались утром, соображали время полевых работ и, любуясь утром”.

[6*] Далее зачеркнуто: “того, к чему тащили моего сына, а не”.

[7*] Далее зачеркнуто: “всем своим раскрасневшимся лицом. Я придержал”

[8*] Далее зачеркнуто: “остановившийся всего на полминуты”

Мы с Химой остались вдвоем: я ее, разумеется, посадил с собою, и мы поехали домой, и тут я заметил, что она быстро переменилась во всем своем расположении, которое отразилось даже на ее лице и фигуре: вдруг вся ее веселость и бодрость пропали, и она сделалась печальной и слабой.

Меня это так и резануло по сердцу: "Ах, думаю, да она не влюблена ли в Петруся?" И с этим взглянул на нее и вижу, что она от меня отворачивается.

Я взял ее за плечи и оборотил к себе и вижу, что у нее все лицо от слез мокро.

— Хима! — говорю,— дитя мое! Чего ты это?

А она еще больше, да навзрыд!

— Ах ты, говорю, дурочка!.. Что ж ты за него боишься что ли?

Шепчет: "Да!"

— А *чего* же боишься?..

Опять шепчет: "Не знаю"

— Как же не знаешь? Верно ж, ты знаешь что-нибудь такое, за что он отвечать может.

Шепчет: "Да!"

— Что же он такое делал?

— Добро людям делал.

— Разве ж за добро казнят?

Шепчет: "Не знаю!"

И еще больше плачет.

— Ты полно плакать... Слезами ничему не поможешь... Знаешь песню: "Не поможут слезы щастю"

Перебивает шепотом: "Знаю"

— Так лучше давай будем с тобой говорить.

— Будем.

И сама утирает слезы и улыбается.

— Ты что же... его... Петруся-то моего... полюбила, что ли?

Молчит.

Я опять спросил, но она и в этот раз молчит и ногтем левой руки на правой ладони сухой мозоль теребит. А когда я ее обнял и в третий раз спросил, то она вдруг кинулась мне на шею и зашептала:

— Ничего... ничего не скажу, потому что и ничего не знаю.

— Как же не знаешь? Неужели же ты не прямая, а хитрая?

— Нет же, не хитрая... Укрой Боже, какая я хитрая? А я не знаю, я ни его больше люблю или и все так же... Все же, ведь, все его у нас любят одинаково... Да!.. Оттого никто и замуж не собирается.

— Вот тебе и раз! — Думаю и начинаю с ней толковать, какая это глупость и что ведь нельзя же, чтобы все хуторные девушки разом за Петра замуж вышли, и она это слушает внимательно и отвечает серьезно, продолжая теребить ногтем мозоль на ладони:

— Известно, известно, что это нельзя.

— Ну, так что же эти все дівчата вздумали?

— Да ничего они и не вздумали.

— А чего же замуж не идут?

— Нам и так хорошо!

И Хима мне рассказывает, как у них превосходно прошла зима,— в каком тихом согласии, как "у Бога в приеме", и все это благодаря Петру, который всех их "утешал" тем, что им у него в хате было тепло, светло и весело работать, потому что они работают, а он им "все сказывает и все сказывает" И тут Хима старалась вспомнить обо всем, обо всем, о чем мой сын им сказывал, и касалась и Бога, которого никак и ничем изобразить нельзя,

а только сердцем можно почуять Его волю, и про людей, которые знают, что им надо и чего не надо, и про других опять людей, которые не знают, чего им надо, и всего хотят, и того добиваются, чего им не надобно. И какие люди были прежде дикие и ничего не умевшие, и жестокие,— как детей и старцев загубляли, и женщин обижали, и с ними бесстыдничали; а потом опять, как впереди с веками придет на землю царство Божие, и настанет для всех людей жизнь безобидная и радостная, и никто один другого не обманет и не покинет.

— А больше,— говорю,— ничего?

Хима с удивлением вскинула на меня свои голубые глаза и спросила;

— Еще что же?.. Все будет мир, все будет любовь и вера и нигде никакого обмана... Господи! Господи! Неужели же все это нарушится, и Петра сошлют за это?

И руки спаяли ладонь с ладонью, а огромные глаза, опять покрытые слезами, смотрели в небо и молились за моего сына...

Признаюсь вам тоже минута!.. И легко, да и остро на сердце... Что это такое он возбудил в этих простых юных душах, и как это у них, в какой порядок уложится?

А о том: кто же сидел на огороде у ручья под ивою,— я умолчал и не говорил: хотя ясно было, что там сидели не все те хуторские девушки, которые из-за приязни с ним ни за кого замуж не хотели, а была кто-то, избранница...

— Кто же она?

Конечно, никто другая, как Хима!.. Она же такая красивая и нежная... Но ведь, по ее словам, и все другие девушки относятся к Петру точно так же, как и она... А может быть, это ей так только кажется? А может быть, что она даже и хитрит?.. Правда, что она не хитрая, а даже замечательно прямодушная девушка, но ведь "амур проклятый", он сбивает с толку и поучает человека таким приемам, к которым тот без любовной одури ни за что бы не обратился.

Я в этом, думаю, не разберусь: для меня уже слишком давно прошла практика любовного искусства. Скажу я лучше обо всем этом моей жене: женщины дольше помнят все впечатления сладостного сумасшествия, и пусть моя умная и добрая старуха рассудит и даст делу надлежащее направление.

Я рассказал жене все, кроме того, что кто-то с кем-то сидели под ветлами, и она выслушала все как настоящая моя спутница и умница: без тревоги и без пошлого легкомыслия. Шутить ведь нечего: это молодые люди, и у них молодые страсти, которые могут задушить совесть.

Жена все исследовала у дивчат и говорит мне:

— Это удивительно! Представь себе: семь девушек, все[1*] говорят о Петре одинаково! Право даже смешно! Точно, как у Сведенборга, любовь духов описана[22]. Петр, по их словам[2*], пополнил им всю жизнь, и они превесело говорят: "Зачем нам замуж? Пока он с нами, так нам всем хорошо"

В самом деле, удивительный народ это "девушки", и еще более удивительна потом малороссийская попытка разрешить: "откуда берутся дурные жены?" Похоже, что в самом деле мужчина портит врожденные хорошие свойства женщины своими ненадлежащими требованиями.

Однако мы же хотели знать: что же Хима,— нет ли в ее отношениях к нашему сыну чего-нибудь такого, что потребовало бы для нее от него предпо-

---

1* Далее зачеркнуто: "его любят, как... я право стесняюсь сказать тебе *как*... Не скажу братски, а [точно как-то] нежно и безмятежно. Если ты можешь припомнить, как описана любовь ангелов в <1 *нрзб.*> книге у Сведенборга, то вот это мне напоминает сведенборговских духов".

2* Далее зачеркнуто: "сделал так, что им стало всем хорошо".

чтений? Конечно, мы не были нимало этим смущены или озабочены тем, чтобы сын наш не сделал "неравного шага", но хотелось, чтобы не сделалось тоже "дурного шага" в смысле чего-нибудь бесчестного и грозящего кому-нибудь страданиями или, может быть, даже гибелью. Но долго нам ничего в этом смысле не разъяснялось: как сын вернулся из города — все ему были рады одинаково, и еще смешнее стало, что он, не входя в особую близость ни с какою избранницею, "наполняет их жизнь так, что и горя нет",— и мы успокоились; но тут вдруг и последовала неожиданность[1*]: после одного жарчайшего дня настала ужасная грозовая ночь из тех, когда сверканье молний не прерывается ни на одну минуту и все небо как будто обложено и разодрано, а гром гремит не переставая. Спать в такие ночи невозможно, и притом еще случилось, что у нас о ту пору окотилась кошка и, вероятно, томимая тяжестью сгущенного воздуха, не находила место себе и своим котятам и страшно мяукала на лестнице.

Я долго звал Химу, чтобы она пошла наверх и выпустила кошку, но Хима не отзывалась[2*]; жена пошла, чтобы побудить ее, и возвратилась смущенная.

— Что? — говорю,— верно ее нет?

— Да,— отвечает жена,— ее нет.

Тогда я пошел поскорее, пошел сам наверх и возвратился оттуда сконфуженным не менее моей жены, а причиною моего конфуза было то, что у нас на чердаке была так называемая "комнатка", или небольшой досчатый чуланчик с полочками, и там на протянутых вдоль и вподерек комнаты тоненьких веревочках жена моя засушивала "впрок" хозяйственные и лекарственные ароматичные травы, ягоды и грибы. И теперь тут тоже сушилося много трав, а другие уже были засушены и убраны в укладку, на которой сверху лежали новые циновки, служившие иноческою постелью для моей жены, имевшей привычку уходить сюда от мух и здесь отдыхать и читать... И теперь на этой-то самой целомудренной постельке я увидел своего Петю и Химу: они тут, обнявшись, да и спали[3*], точно им и гром не гремел.

Что ты поделаешь с молодостью! Однако как же это так?.. Положим: "грех сладок, а человек падок",— но неужели же никому не уйти от силы этого греха! Что за пустяки! Я верю с Мильтоном, что будут люди во плоти легче своей плоти, и они будут обладать над нею. И мой Петр так верил и так был научен, и я на нем, как на "камне", основывал свою веру[23], что на землю приходят уже иные люди, которые будут лучше нас... своих отцов, и вот он делает те же бесчестности, какие и я делал!..

Скверно!

Однако, может быть, еще это не совсем так скверно, как можно подумать с первого раза. Я был в раздумье: смолчать ли об этом перед всеми, как будто бы я ничего и не видал, или открыть тайну жене и обдумать дело с нею вместе, или же поговорить сначала с самим Петром.

[1*] Далее зачеркнуто: «Сын Петр, как я вам говорил, возвратился от полковника без задержания с одним только предложением "жить как все и никого ни к чему любезному <?> не увлекать"».

[2*] Далее зачеркнуто: "Тогда я пошел сам наверх и проходя в дом"

[3*] Далее зачеркнут первоначальный абзац: "крепким сном, несмотря на адское сверкание огня по всему небу и оглушительный гул непрерывных громов...

Без сомнения, они были тут чем-нибудь страшно утомлены, или их усыплял стоявший в комнатке сильный бальзамический запах вянущих трав, но во всяком случае сон их, преодолевший ужасающий шум этой грозовой ночи, был удивителен, я <1 *нрзб.*> вскоре понял, что они только что были в блаженстве <?> я был в раздумье: смолчать ли об этом пред всеми, как будто я ничего и не видел, или открыть истину. Сказалось это обыкновенным образом: жена стала замечать"

ПРИМЕЧАНИЯ

Рассказ "Соляной столб" публикуется по автографу: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 56. Рукопись не датирована, но можно предположить, что замысел цикла "Памятные встречи" появился в 1890-е годы.

Хотя многие очерки и рассказы Лескова носят мемуарный характер, законченных воспоминаний он не оставил. Возможно, с замыслом "Памятных встреч" связано предложение Лескова А.Ф.Марксу написать для "Нивы" "Отрывки из литературных воспоминаний за XXX лет": «Тут вспомянутся интересные лица и любопытнейшие годы, и так как это предлагается не в виде *сплошной* истории, а в форме "отрывков", имеющих только жизненную связь долгих эпизодических явлений, то это не обязывает издание сделать усилие в помещении материала» (25 сентября 1890 г. Цит. по кн.: *Багрий А.В.* Литературный семинарий. Баку, 1927. В. II. С. 29; письмо частично цитируется в кн.: *Динерштейн Е.А.* "Фабрикант" читателей А.Ф.Маркс. М., 1986. С. 129—130). Свой мемуарный замысел Лесков попытался, вероятно, осуществить, создавая цикл "Памятные встречи", в который вошли неоконченные рассказы "Соляной столб" и "Пумперлей".

Намерение Лескова написать воспоминания о человеке, разделявшем взгляды Толстого, было откликом на непрекращавшуюся полемику вокруг учения Толстого и на появлявшиеся в печати публикации о толстовцах. Стимулировал появление рассказа интерес Лескова к личности художника Н.Н.Ге, творчество которого он высоко ценил.

Прототипами героев "Соляного столба" и стали Н.Н.Ге и члены его семьи. Сын художника Николай Николаевич-младший женился на крестьянке Агафье Игнатьевне *Слюсаревой* (1856—1900) и "омужичился" (см.: *Веселитская*. С. 28). Замысел этого мемуарного рассказа можно также связать с письмом Лескова к Т.Л.Толстой от 20 мая 1893 г., в котором он сообщал, что чувствует «желание описать его (Н.Н.Ге.— *Н.С.*), как он бегает по Питеру в пальто, "поглотившем изобилие солнечных лучей" <...> с собственного его (Н.Н.Ге.— *Н.С.*) разрешения"» (письмо публикуется во второй кн. наст. тома О.А.Голиненко и Б.М.Шумовой в составе всего корпуса переписки Лескова с Т.Л.Толстой). Во всяком случае очевидно, что работа над "Соляным столбом" началась не ранее 1891 г.: в самом начале и в плане очерка упомянут "усопший" К.Н.Леонтьев, скончавшийся в 1891 г.

Можно сделать и другое предположение: замысел рассказа вызван предложением В.В.Стасова Лескову участвовать в сборнике воспоминаний о Н.Н.Ге, о чем писатель размышлял в письмах Л.Н.Толстому 21 и 28 августа 1894 г. (XI, 587—588; 590—592).

В архиве Лескова сохранился план под названием "Соляной столб", судя по которому публикуемый рассказ был близок к завершению; в него вошло почти все намеченное писателем:

"1. Соляной столб
О К.Н.Леонтьеве "теперь усопший".
Его цитаты (ложные) из Ис<аака> Сирина.
О знакомстве с последователями Т<олст>ого
Плисов — последователь *Толстого*.
Его история.— Рассказ от имени Плисова.
Павел и Петр — его сыновья.
Девки не выходят замуж. Хима. Гроза..." (Опубликовано: *Жизнь Лескова*. Т. 2. С. 448).

Отрывок из очерка опубликован в "Литературной газете" (1981. 18 марта. С. 6).

[1] О замысле рассказа А.Н.Лесков писал: «*Столп* — жена старика Ге, одна из "жен Лотовых", умеющих стать столбом соляным» (*Жизнь Лескова*. Т. 2. С. 558). Образ восходит к библейской легенде о Содоме и Гоморре и семье Лота. Заглавие "Соляной столб" и зачеркнутое "Жена села" намекает на возможное продолжение рассказа о семье Плисовых: жена его "села", он же пошел дальше за Толстым. В письме к сыну от 31 октября 1891 г. Лесков вспоминал слова Ге: «Желаю только, чтобы ничто в свете не заставило тебя сойти с этой стези или "сесть при пути", по выражению Ге» (*Жизнь Лескова*. Т. 2. С. 327).

[2] Эпиграф взят из трактата Л.Н.Толстого "О жизни" (раздел "Страх смерти"): "Вся жизнь твоя была шествие через плотское существование <...>" Отдельные главы из трактата были опубликованы: *Толстой Л.Н.* Мысли о жизни. Страх смерти // Неделя. 1889. № 2—4. Трактат "О жизни" (женевское издание) был в личной библиотеке Лескова — см.: *Афонин Л.Н.* Книги из библиотеки Лескова в государственном музее И.С.Тургенева // *ЛН*. Т. 87. С. 136). Лесков упоминал это произведение в письмах Л.Толстому в 1893 г. (XI, 520, 522).

[3] Рассказ "Чем люди живы" написан в 1881 г. Опубликован: Детский отдых. 1881. № 12. С. 407—434.

[4] Речь идет о книге Константина Николаевича *Леонтьева* (1831—1891) «Наши новые христиане. Ф.М.Достоевский и гр. Лев Толстой: По поводу речи Достоевского на празднике Пушкина и повести гр. Толстого "Чем люди живы"» (М., 1882).

[5] *Исаак Сирин* (VIII в.) — отшельник, епископ Ниневии, христианский философ и писатель.

[6] Имеется в виду статья Лескова "Граф Л.Н.Толстой и Ф.М.Достоевский как ересиархи. (Религия страха и религия любви)" // Новости и биржевая газета. 1883. 1 и 3 апр.

7 Речь идет о доме В.Г.Черткова на Миллионной, 32.

8 *Бытие,* 2:18.

9 "И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта!" (*Исход,* 16:2—3).

10 Неточная цитата из романа Пушкина "Евгений Онегин" (гл. II, XXXI).

11 Цитата из стихотворения Пушкина "Демон" (1823).

12 Трудно сказать, какую конкретно секту Лесков имел в виду. Наибольший интерес в те годы он проявлял к штундистам и последователям В.К.Сютаева, которых относили к рационалистическим сектам. Сектанты-рационалисты отрицают церковные таинства, обряды, храмы, иконы.

13 Сообщение это противоречит дальнейшему рассказу о том, что Петр Плисов ушел из университета со второго курса.

14 "...исполняйтесь Духом" (*К Ефесянам,* 5:18); "И Я исполнил его Духом Божиим, мудростию, разумением, ведением и всяким искусством" (*Исход,* 31:3).

15 Фраза героя использована Лесковым также в рассказе "Зимний день" (1894), где также речь идет о Н.Н.Ге: "Он должен был представиться и не мог, потому что подарил свой фрак знакомому лакею" (IX, 431—432).

16 От франц. a là guerre (как на войне). Вероятно, куртка, сшитая наподобие военного кителя.

17 Речь идет о произведении Козьмы Пруткова — "Проект: О введении единомыслия в России" (Впервые: *Совр.* 1863. № 4).

18 *Матфей,* 22:1—14.

19 Возможно, имеется в виду оглашение, первая часть крещения, которая могла совершаться за некоторое время до крещения: повернув крещаемого и крестных родителей спиной к алтарю, священник спрашивал: "Отрекаешься ли ты от сатаны и от его дел?" Ответ: "Отрекаюсь" Священник спрашивал повторно: "Отрекся ли ты от сатаны?" Ответ: "Отрекся!" Тогда священник говорил: "Так дунь на него и плюнь".

Ср. сцену крещения ребенка в романе А.Ф.Писемского "В водовороте" (1871): отец Иоанн просил куму и кума, "чтоб они дунули и плюнули..." (*Писемский* А.Ф. Собр. соч.: В 9 т. М., 1959. Т. 6. С. 226).

20 Явная аллюзия на произведение Л.Н.Толстого "Ходите в свете, пока есть свет. Повесть из времен древних христиан" (1887).

21 Возможно, имелись в виду сочинения св. *Тихона Задонского* (в миру Т.С.Кириллов; 1724—1783), написанные для народа. Его книги хранились в библиотеке Лескова (см.: *Афонин Л.Н.* Книги из библиотеки Лескова в Государственном музее И.С.Тургенева // *ЛН.* Т. 87. С. 153).

22 В XIX в. русский читатель мог познакомиться с учением Эммануила *Сведенборга* (1688—1772) по книге: О небе и аде. Лейпциг, 1860. Перевод А.Н.Аксакова.

23 Игра слов: Петр в пер. с греч. — камень, скала: "И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее" (*Матфей,* 16:18). «Ты Петр, и это значит: "камень"» (IX, 307),— говорится в повести Лескова "Юдоль" (1892).

<II>[1*]

ПУМПЕРЛЕЙ[1] [2*]

Мне напрашивается рассказ о вещах бедственных, смешанных с любовными, выслушать о которых будет небесполезно тем, кто странствуют по небезопасным юдолям любви.

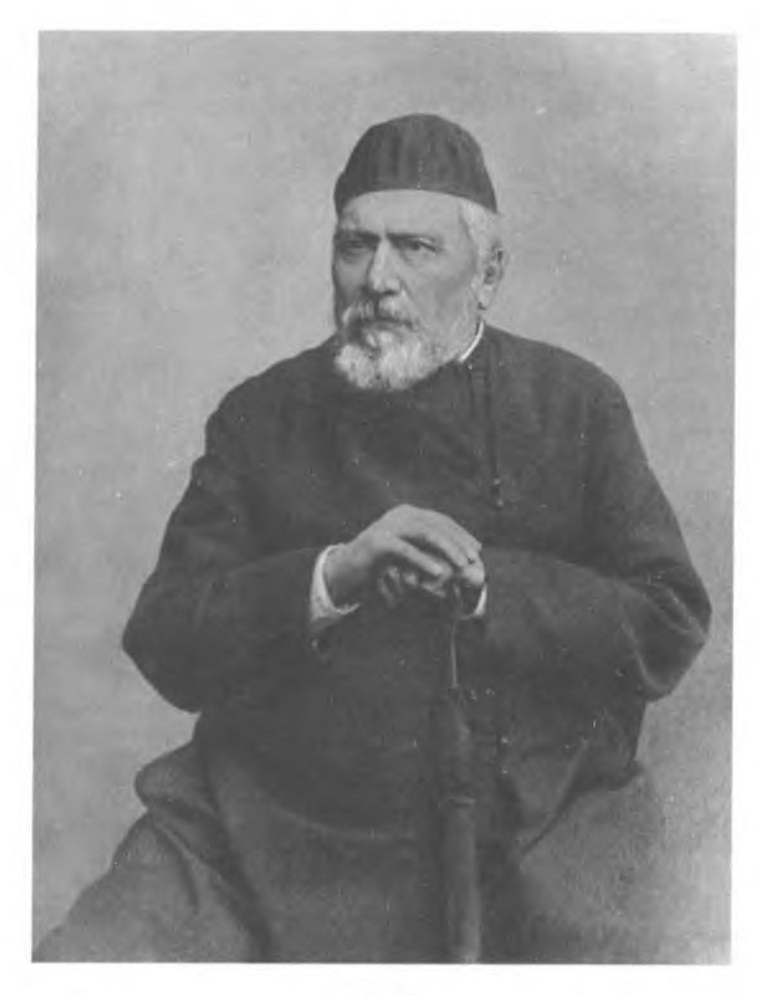
Боккаччио[2]

Когда мне случается вспоминать об унтер-офицерской жене, которая сама себя высекла[3], или когда доводится слышать чей-нибудь разговор о человеке, который сам устроил себе погибель,— я всегда вспоминаю миниатюрную фигурку юркого и шустрого человека, которого называли обыкновенно "Пумперлей"

Здесь предлагается краткая, но достоверная запись о его стараниях испортить свою жизнь до того, что смерть стала для него благом, и он ушел

1* Публикация и комментарии Т.А.Алексеевой

2* Зачеркнутый вариант названия: "Выжига"



ЛЕСКОВ
Фотография Н.А.Чеснокова. С.-Петербург, 1892—1893 гг.
Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

отсюда, утратив волю к жизни и, следовательно, без обязательства еще раз потеть в кожаной ризе.

I

В так называемое либеральное время[4] [1*] в одной из гимназий университетского города N. обучался хорошенький мальчик, которого за его миниа-

---

[1*] Далее зачеркнут фрагмент: "В так называемое либеральное время мы знали одного юриста, который тогда окончил свой университетский курс и начал свою адвокатскую карьеру. Он защищал молодых людей, и хотя своею защитою не особенно прославился, но все-таки имел кое-какой успех и при открытии судов в провинции перекочевал в большой город, где дела его пошли довольно недурно. Малый он был довольно плохой и ненадежный, учился плохо, почти ничего не знал, но мог говорить без умолку и на какую угодно тему. Воспитание его, как гимназическое, так и университетское, прошло в то время, когда науками занимались и в самом деле плохо. В новом месте своего жительства он пошел в местное общество и имел успех у женщин".

тюрность в семье и в школе звали “Пумперлеем” Отец его занимал хорошее место в городе и имел много детей, между которыми с отроческих лет выделялся Пумперлей: он был “практик” и обнаруживал большую сметливость и предприимчивость в делах всякого рода. Особенно он в том уже раннем возрасте был отважен с женщинами и имел у них большие успехи. Первые его победы были одержаны над кормилицами его младших братьев и сестер, потом над престарелою англичанкою бонною и наконец над маленькой кузиной,— за что он был выпорон, более, впрочем, из вежливости перед родителями обиженной девочки. Того, что у людей принято называть “правилами”, Пумперлею никто не прививал и никаких правил у него не было: он считал позволительным все, что возможно.

Пумперлею было семнадцать лет, когда умерла его мать-красавица, черты которой он немножко наследовал — только не в лучшем их сочетании. Овдовевший отец его сейчас же вступил во второй брак, с красивой и бойкой дамой, которая ранее была известна по сцене, где она пела и танцевала. У нее еще сохранны были большие “боресты” и развязная шаловливость фантазии. Старшие братья и сестры Пумперлея не поладили с мачехой, но Пумперлей с ней очень сошелся, но был отцом приревнован, избит без всякой вежливости и проклят, и выгнан из дома. Мачеха была к нему добрее и послала ему в портерную браслет, который она получила когда-то от публики. Пумперлей покрыл вещь поцелуями и тут же продал, а вырученные деньги истратил на угощение подсевших к нему дам, которые и украли у него остальное. Затем он сам попал к ворам, которые стали обучать его своему ремеслу, но он снискал благорасположение самой красивой “дамы из шайки”, которая взяла его, привезла в другой город и начала заботиться, чтобы вывести его в порядочные люди. Она понимала, что надо делать, и Пумперлей у нее был хорошо одет, ездил на извозчиках и состоял вольнослушателем в университете, но науками не занимался,— лекций не посещал и записок не списывал, а сидел с своей покровительницей и играл с нею в карты. Иногда у них играли и чужие люди, но этим всегда не везло, и их обыгрывали. И среди таких благополучий она вдруг отравилась!.. Он был в отчаянии и уехал в третий университетский город, где легко добывали дипломы, и вернулся оттуда на первое место со степенью, давшею ему право адвокатской практики.

Дух времени тогда был такой, что и негодяи почитали за лучшее начинать свои негодяйства на благородной почве. Пумперлей защищал молодых людей, “пострадавших за увлечения”, и хотя защита его не отличалась особенным блеском, но все-таки он что-то молол, и имя его стало известно. При открытии судов в провинции[5] он перекочевал в большой город, где стал хватать всякие дела без разбора, и ему было недурно. Он мог жить уже без помощи женщин и даже мог покупать женские ласки. Юриспруденции он почти совсем не знал, но мог говорить без умолку и на какую угодно тему. Он говорил без ума, без толку, без всякой связи, но все говорил и мог никогда не окончить. В этом он видел свое преимущество. В самом деле голова у него была плохая, но смелость неодолимая.

В новом месте своего жительства Пумперлей с апломбом вошел в местное общество и сразу же получил успех у нескольких женщин[1*]. Тут однако

[1*] Далее зачеркнут фрагмент: “Тут с ним случились две истории, из которых одна повела даже к дуэли, имевшей комическое окончание. Он и его противник дрались в квартире одного из своих собратий, в запертой зале, причем наш адвокат ранил своего противника, действуя будтс против правил дуэли”

с ним тоже сразу же случились две истории: он похвалялся успехом у дамы, которой никогда не видал: ему это доказали и заставили его сознаться, а потом, как кажется, немножко побили. За это он вызвал кого-то на дуэль и дрался в запертой зале, причем и ранил своего противника, но люди нашли, что он действовал будто против правил дуэли, и его за это опять приколотили. По крайней мере об этом несчастии так рассказывали, и сам Пумперлей этого не опровергал. Вторая история касалась не замужней женщины, а девушки[1*], и притом очень тщательно воспитанной и совершенно глупой. Она увлеклась Пумперлеем и позволила ему увезти себя с многолюдного гулянья и, несмотря на свою несомненную порядочность и принадлежность к настоящему "обществу", очутилась за сальною занавескою в дрянной подгородней гостинице с самой низкой репутацией... После долгих поисков ее нашли здесь раздетую и коленопреклоненную, в слезах молящуюся о том, чтобы Бог возлюбил и спас душу ее соблазнителя, который был тут же и говорил:

— Я ни в чем не виноват: вы видите: она помешана!

А помешанная в одной сорочке с распущенными волосами, стеная и плача, обнимала ноги пришедших за нею вооруженных братьев и молила о пощаде негодяю.

Пумперлея не били, но он должен был поправить свое увлечение браком.

Пумперлей был на это согласен, да это было ему и выгодно, так как скомпрометированная им девушка не только далеко его стоила и перестоила, ее родство и богатство открывало ему широкое поприще, но в нем жил особый вкус к негодяйству, который овладел им как художественное наитие, и Пумперлею захотелось увернуться от брака с богомольной дурочкой и одурачить всех ее важных родственников. Он это и сделал, и притом так основательно, что никакие власти и меры воздействий на него не могли иметь места. Ни для кого не ожиданно Пумперлей вдруг тайно обвенчался с другою, также очень хорошею девушкою, тоже из хорошего семейства, и достаточного. Амур ему подстреливал женские сердца на все стороны, а Пумперлею стоило только иметь чутье легаша и подбирать дичь.

Его жена была умна, красива и воспитана и принесла ему приданое, на которое он немедленно же сделал блистательную обстановку и задал пир, какого еще не видали. На каждой ступени лестницы стояли по два мужика в чалмах и тюрбанах с вычерненными рожами. Говорили, будто бал стоил Пумперлею всех жениных денег, но это пошло ему в пользу, так как представительность тогда сильно действовала на клиентов. Пумперлей тотчас же получил защиту одной важной плутовки, в защиту которой нельзя было сказать ничего путного. Он повел дело с отвагой неограниченного бесстыдства и с расчетом на возможность подкупа судей, на чем и сорвался...

С ним обошлись строго и применили к нему такую меру, которая не применялась ни к одному из лиц соответственного положения ни до него, ни после его.

Пумперлей был сразу выбит из седла и остался валяться неубранным на поле битвы.

[1*] Далее зачеркнуто: "у которой были братья и эти братья-то его приструнили и хотели наказать. Рассказывали его вину перед этой девушкой таким образом: он пленил ее своим красноречием, о высокой честности говоря, и потом сманил ее на какую-то прогулку — вместе с нею молился, крестил ее и сам крестился, потом опоил ее каким-то наркотическим питьем и сделал негодяйский поступок. Наказанный за это братьями этой девушки, он должен был жениться, но он отвратил от себя это бедствие тем, что женился еще на другой девушке, обладавшей превосходной наружностью, милым сердцем и воспитанием"

II

В жизни русской произошел неуловимый, но неблагоприятный для либерализма поворот: что было наверху, пошло под гору, а снизу многое выползло наверх. Пумперлей дожил до этого поворота и им воспользовался: он сделал смелый шаг в подходящем направлении и начал унижать то, чему поклонялся, с рьяностию, какой тогда еще настоятельно не требовали. Но он начал.

В городе, в котором жил Пумперлей после поражения, был знаменитый купец из самодуров, человек очень богатый. Отец его, наживший большое состояние, был разбойник и плут и был сослан по суду за свои дела в Сибирь. Судбище это было большое и скандалезное, при котором, как говорили, даже будто бы кирпичи в домах старика стенали и кровью капали за злодейства хозяина. Наконец его упекли, но состояние уцелело и осталось сыну, который продолжал развивать коммерцию и строить храмы. Деятельность его в сем последнем роде на одной из окраин дала ему повод ходатайствовать о возвращении отца на родину[1*].

Мотивами к ходатайству выставлялась злоба людей безбожных, которым хотелось завладеть капиталами храмоздателя для иных целей. Излагал это в просительных бумагах Пумперлей, и так как он не обладал ни тонкостью ума, ни находчивостью, то он подкреплял свои просьбы не красноречием, а прямо клеветал на других, отправляя своего клиента, и выиграл справу.

Честные люди, не дававшие ранее лиходею возможности обижать и терзать ближних, были оподозрены в опасных делах...

А что Пумперлей и его клиент выходили старика посредством клеветы на других людей, это подтвердилось самим молодым купцом, который пил и хвастал и угрожал высылками неприятным его отцу людям, что над некоторыми из них скоро и оправдалось. Прежде чем преступный старик был возвращен из ссылки — служилые люди, обнаружившие его темные дела, или были уволены, или получили отдаленные назначения.

Пумперлей этим не стеснялся: он сразу перешел к цинизму во взглядах и торжествовал: ходил, выпятя грудь с бархатными лацканами и запрокинув назад голову в сдвинутой на затылок шляпе, причем гоготал и хвалился:

— Эти либеральные вздоры давно пора бросить! Ого-го! Нас на это не уловишь... Нам скрывать нечего!

Он стал противен людям, которые хотели держать себя порядочнее, а случай устроил так, что отвращение это все усиливалось и поразило его в его собственной семье.

III

В один особенный день в городе было торжество и особенное гулянье в роще, и на этом-то гулянье впервые внезапно появился на народе возвращенный преступный старец. Его сопровождали сын и Пумперлей. Все они были после обеда, и купец-сын был кроме того в праздничном настроении. Они поместились в роще за одним столом, бахвалили и подзывали к себе всех мало-мальски знакомых и заставляли их пить и кричать здравицы. Не-

---

[1*] Далее зачеркнуто: “Когда об этом пришла весть, в городе все были чрезвычайно поражены и не верили, но весть оказалась достоверной. Тогда купец с радости запил и всем рассказывал, что тятенька его возвращается и что ходатайством он обязан тому, кого называли Пумперлей. Они ходили, вместе гуляли и безобразничали довольно откровенно и нагло. Когда в городском саду было большое гуляние, этот купец вместе с Пумперлеем явились в сад, поместились за одним столом, в саду хватали к себе всех мало-мальски знакомых и поили шампанским. За столом у них сидело много людей, разумеется, мужчин”

знакомым они докучали еще более, потому что посылали бокалы с шампанским и возглашали тост издали и громко требовали соответственную музыку. Из этого завязалась целая сумятица, а когда музыка начала исполнять то, что от нее требовали,— купец встал, снял шляпу и настойчиво кричал, чтобы все сделали то же. Одни послушались и сняли, а другие не снимали. В числе неснявших был француз с двумя дамами. Купец подошел к нему и, ничего не говоря, сбил с него шляпу палкой. Сделалось побоище и скандал, который поступил на решение мирового судьи, а потом — мирового съезда. Судья присудил миллионера к аресту[1*].

Это было именитым людям непереносно, и Пумперлей пошел купца "обелять", а награда ему за то была от щедрости патриотов "бессмертная"

Француза защищал князь, человек с талантом, с репутацией и с познаниями. И защищать было нетрудно: князь обрисовал купеческое самодурство и задел судей и публику за самые благороднейшие струны сердца. Он говорил о среде, из которой вышел его француз,— "о свободной нации, отстоявшей права равенства и братства", после чего у них не принято многое, что у других людей еще кажется нужным. И князю аплодировали. А тогда Пумперлей выпятил грудь и повел слово "выползком"[6] от вещей каурки[7], и закончил словами: "— Что же это такое есть, православные! Про что слышим-то? Что они сделали с святыней и с прочим, эти французы-то? Это ведь будто совсем не по-нашему!"

Заворчало в толпе: не по-нашему!

А Пумперлей продолжал:

— Мы свое бережем послушанье, и тем хвалимся.

Да и пошел лить в эти формы слова, как топленый свинец или олово, пока даровитого князя даже начало в пот бросать... И кончилось дело тем, что Пумперлей на всех лицах судей прочел себе приговор, но самодур был оправдан, а Пумперлей вознагражден без обмана.

Ему было дано столько, что если бы ему была знакома скромность, то он мог бы считать себя обеспеченным на долгую жизнь.

Но он скромности не знал, да и не думал, что его карьера скоро кончится.

IV

Со времени этой защиты и судьи и прокуроры перестали подавать Пумперлею руки, и его собственная жена не захотела с ним жить. Тогда мелькали проблески общественного мнения.

Пумперлей запылал мщением и особенно хотел унизить свою жену. Она ему принадокучила, и он желал от нее избавиться. Время тому благоприят-

---

[1*] Далее зачеркнут фрагмент: "но съезд по усиленным доводам Пумперлея должен был его оправдать и освободить от ареста. Для богатого именитого купца это было большое торжество, и он порешил озолотить своего адвоката и действительно наградил его очень щедро, но с тем вместе подвиг этот принес Пумперлею значительную неприятность. Плохая защита его с нападками на француза, который не знал наших гимнов и наших порядков, не нравилась многим порядочным людям и, что всего хуже для Пумперлея, в числе этих порядочных людей были первыми: его жена и ее родственники и затем сам прокурор, который должен был выгораживать личность его клиента. Все это привело Пумперлея в ожесточение до такой степени, что он совсем [позабыл] сразу переменился и начал порицать то, чему недавно и сам поклонялся. Всего ненавистней для него был прежний либерализм, и тогда маленький Пумперлей во фраке с бархатными отворотами ходил, стуча правым кулаченком по ладони левой, кричал:

— Ч-у проклятые либералишки, знаю я вам цену!

И потом, обращаясь в другую сторону, говорил:

— А эти дамки и мадамки с их науками [все] дрянь, все дрянь. Я люблю пушкинскую женщину, которая пишет с ошибками, да, с ошибками пишите!"

ствовало: она имела в числе знакомых таких людей, на которых можно было набросить густые тени, и Пумперлей это сделал. Жена его оставила.

Пумперлей не тосковал: он ходил с выпяченной грудью и кричал:

— Ого-го-го! Я все это знал! Политика! Политика-с лезет в семью!.. В спальню забирается нигилизм. Я ее вон. Мне такие женщины не нужны! Я люблю тургеневских, пушкинских женщин... "Ася!" "Ольга!" "Возьми меня всю, всю!"[8]. Ах, божественно! "Татьяна то вздохнет, то охнет,— письмо дрожит в ее руке"[9]. Вот! Иль Некрасов: "То следы ее ног целовал, то хлестал ее плетью казацкой..."[10].

Это живые женщины, а не куклы, и я все отдам за такую женщину. Этот пошлый город надо оставить: надо ехать зондировать Петербург[1*]. Купчина дает мне денег на дорогу и письма к М.[11] и к "случайным" генералам, которые ему должны и обязаны что-нибудь сделать... Иначе ого-го-го! В моих руках будут векселя на трех генералов, и я их ого-го! А мне нужно только, чтобы они обо мне рассказали, за что я страдаю от Робеспьеров!

Пумперлей был уверен, что это не составляет ничего затруднительного для генералов, которых он мог запугать векселями. И это у него превосходно пошло: генералы слушались и даже усердствовали больше чем нужно, лишь бы их не пугали взысканием старых долгов и подавали им хоть слабую надежду сделать новый заем. В этом усердии генералы перегоняли друг друга, и тот из них, который был всех более должен купчине,— старался усерднее своих товарищей и принял Пумперлея под свое крыло. У генерала была жена и дочь с начитанностию. К ним заезжали Селиверстов[12], Ladislas[13] [2*], Опухтин[14] и Бегичев[15], посольские секретари и сверхкомплектные tutti frutti[3*]. Генеральша была уверена, что их дом "литературный" и что если бы теперь жил Пушкин, то он, конечно, заезжал бы "поскучать вечерок у них" К кому же иначе. Не к Мещерскому же в самом деле!

Пумперлею это было трудно. Жанр общества, в которое он попал, очень ему нравился и благоприятствовал его видам, но тяжело было сносить некоторый преизбыток здешней литературности. Пушкина он никогда не читал, как вообще не читал ничего, кроме скандальных хроник в газетных листках, но он, однако, знал кое-что из "Царя Никиты"[16] и вполне соглашался с Пушкиным, что самые лучшие дамы это те, у которых ножки Терпсихоры и которые пишут с ошибками[17]. Он и нашел таких, а так как у него было много денег и голова его все-таки была в возбуждении от якшательства с светскою чернью, [то] и убедился, что женщины, пишущие с ошибками, способны ошибаться и во многом другом. Пумперлей тряхнул своей гамзою[18] [4*] и удалью и был одолжен одной женщине большим счастием, кото-

---

[1*] Приводим первоначальный вариант рассказа об отъезде Пумперлея в Петербург: "...так как денег у него была куча и голова отсырела от продолжительных кутежей, а дома он получил несколько уроков от жены, которой, разумеется, его поведение было известно, и он не находил людей, которые бы его умели отстоять и поддержать как неоцененного человека в провинции,— он решил уехать в столицу и занять здесь свое прежнее положение. С этой целью он поехал зондировать общество в Петербург и повез с собою в кармане двадцать тысяч наличностью. Дело это было весной, так, я думаю, в конце мая. Остановился он в гостинице хорошей, но не первой руки, и это не по скупости, а для того, чтобы иметь возможность в собственном номере жить веселее. Он всегда жаждал веселости, веселость же понимал только в большем или меньшем присутствии женщин, с которыми он никогда не скучал и находил это времяпрепровождение самым лучшим, причем, надо сказать, он обладал истинным талантом и счастьем в приобретении таких собеседниц; при этом, всегда бывало, о своих встречах и новых знакомствах рассказывал с большой откровенностью"

[2*] Зачеркнуто: "Маркевич"

[3*] Всякая всячина (*итал.*).

[4*] Зачеркнуто: "мошной"

рое, однако, стоило ему очень дорого и совсем не соответствовало ужасной цене. Притом при ближайшем ее рассмотрении она ему показалась дерзка, требовательна и не аристократична. А главное она совсем ему не отвечала и не умела обращаться с деньгами: она думала так, что все делается тяп-ляп: побывала и сейчас дайте ей все забрать, что у человека есть в наличности... Ужасная наивность и такое пылкое воображение, что уж если она снизошла, то и разорись для нее в один прием!.. Покорно благодарю! Очень много о себе думают, а ничем от прочих не отличаются, даже хуже: бездна претензий и никакого оживления: ни смеху, ни веселости, как у тех светских женщин, о которых такие интересные вещи рассказывали Бегичев и Ladislas. Он погнался за пустяком, но это было нужно для начала, теперь он все-таки уже осмелел и с светскими женщинами, но, чтобы достать такую, о каких говорили любопытные вещи Бибич[1*] и Ladislas, он знает, что ему надо сделать: он отобьет у одного из этих кавалеров их собственную даму...

V

И случай, всегдашний друг и угодник Пумперлея, сейчас же обделал ему его затею.

Пумперлей жил в хороших garnies[2*]. Он еще не заводился мебелью, потому что не знал, на какую ногу ему придется себя поставить[3*]. С адвокатурою и с службою у него было кончено: после того, как он себя аттестовал и как был отставлен, ему о реставрации на этом поприще нечего было и думать. Он остановился на том, чтобы обдумать и вести для видимости какое-нибудь "представительное дело", а в самой вещи иметь "пост" Генерал, который боялся векселей, обнял это своим наметавшимся в таких делах умом и дал почувствовать, что он говорил о нем с генералом Селиверстовым и что Пумперлей будет его "ordinand"[4*]. И в самом деле после этого генерал Селиверстов с Пумперлеем говорил ласковей и даже подал ему раз не один, а два пальца. Бибич и Ladislas его поощряли: они похлопали Пумперлея по плечу и по коленам и остроумно шутили: как он при своей миниатюрности имеет большой любовный успех. Быстрое соединение и разрыв Пумперлея с светской дамой, которая думала, что Пумперлей ей должен миллион,— их много смешили. Бибич мягко говорил, что это их слабость считать не иначе как на миллионы, но Ladislas поддержал честь сословия и сказал, что это не так, что это за́худаль и смесь с разночинцами, но настоящая порода и haute ecole[5*] так не поступают. И он рассказал об одной настоящей даме, которая

[1*] В автографе здесь рукой Лескова фамилия "Бегичев" исправлена на "Бибич"; далее везде — "Бибич"

[2*] Имеются в виду меблированные комнаты (*франц.*)

[3*] Приводим первоначальный вариант рассказа о жизни Пумперлея в Петербурге: "Поселясь в Петербурге в этой гостинице, он сделал несколько деловых визитов и начал устраивать какое-то предприятие. О том, чтобы он поступил в здешнюю адвокатуру, не могло быть и речи, он хлопотал, но, видя, что осуществить это невозможно, стал устраивать предприятие, кажется довольно вздорно и неумело, и верил ли он сам в него или не верил, на это отвечать трудно. Предполагали, что под этим предприятием он думает сделать нечто другое, более подходящее к новому времени. Одно время ему даже хотелось вернуться домой, в свой город, но он решил дать урок своей жене и ее родственникам, доказать им, что он в них не нуждается, а, напротив, они нуждаются в нем. Пока его дела налаживались, он фланировал по Петербургу, выглядывая, главным образом, хорошеньких женщин, и тут-то с ним случилось происшествие, где женщины отмстили ему за его неуважение к женщинам, занимающимся наукой и твердящим о жизни своим честным трудом"

[4*] рукоположенный, посвященный в сан (*франц.*)

[5*] Здесь — высший класс, высшая выучка (*франц.*)

имеет такую привычку, что даже конфузит: она ничего не позволяет издержать своему adorateur'у[1*], но за все мелочи непременно платит как *товарищ*!

Пумперлею это понравилось.

— Вот это, вот именно так и должно! — говорил он,— если мужчина и женщина хотят быть равноправны, то именно все у них должно быть так, чтобы нигде и ни в чем, ни при каких удовольствиях никто никому не обязан.

Бибич был иного мнения: как старый театрашник он любил, чтобы женщины были ему чем-нибудь немножко обязаны.

— Это им идет, и они тогда лучше стараются.

Ladislas назвал его бесстыдником и был против всех стараний.

— Натура, натура и больше ничего как одна натура.

— Это скучно и совсем как у кухарок, которые сами содержат своих кумовьев.

— И совсем нет, говорил Ladislas. Натура может быть до бесконечности разнообразна и занимательна, и о той даме, о которой я говорю,— я имею право прибавить, что это по наружности, кто ее не знает, непременно скажет c'est une personne trop susceptible[2*], а после увидит, что это кентавр.

— О, есть, есть еще замечательные женщины!

А Пумперлей думал:

— Хорошо, брат, хорошо! Уж я у тебя ее поддену!

VI

Пумперлей, чем бы ни был он занят и что бы ни намерен был предпринимать,— всегда главным делом своего бытия почитал "игру с женским сердцем"[3*]. Так он жил и теперь, в ожидании себе удобного положения при пособии генералов и писателя[4*].

Это услаждало его жизнь и облегчало ему всякое ожидание, к чему он не имел больших способностей, ибо был нетерпелив и своенравен.

О любви он имел понятия самые удивительные, или, лучше сказать, очень глупые, о которых упомянуть стоит разве только потому, что теперь ни один Пумперлей имеет подобные взгляды и понятия. Он не только не искал и не желал искать любви с уважением к нравственным достоинствам женщины, но он находил для себя стеснительною и половую любовь Шопенгауэра, навеваемую "гением рода"[19]. Все это было для него никогда не гоже. Он не хотел никакую женщину ни уважать, ни почитать, потому что это совсем не нужно. О его жене говорили, будто она достойна уважения, но он этого ни в чем не замечал, кроме того разве, что ему с ней было скучно. Детей он ненавидел, и "гений рода" не мог его приурочить для своих целей. Он был просто бесстыдник и искал, даже, пожалуй, по-своему уважал женщину, которая была бы идеально равна идеально бесстыжему мужчине и при этом была бы прекрасна душою, телом и всеми сторонами своего существа. Пумперлей был уверен, что такие женщины существуют и именно в высших

[1*] поклонник, обожатель (*франц.*)

[2*] это тонко чувствующая личность, чувствительная натура (*франц.*)

[3*] В первоначальном варианте VI глава начиналась следующим фрагментом, впоследствии зачеркнутым: "Один раз около трех часов довольно погожего дня он остановился у картинной выставки магазина эстампов на Невском у Адмиралтейской площади и начал разглядывать картины, стараясь, главным образом, разумеется, заглядывать...",— на этом фрагмент обрывается.

[4*] Далее в автографе пропуск, текст до гл. XVIII сохранился только в рукописной копии, сделанной неизвестной рукой и правленной Лесковым. С главы XVIII по XX рукопись вновь публикуется по автографу.

слоях столичного общества. Прежде они были в Москве,— особенно одна из них, имя которой связано со множеством славных и не славных имян. Он о ней много слыхал и всегда горько сожалел, что не был ее современником и "не видал ее игры" Генерал Селиверстов и Balthasar с Бибичем, те были с нею в одной паре и знали ее и "игру ее видели", и Селиверстов об этом не говорил, потому что это относилось к тому времени, когда он "был в малых чинах", но Balthasar и Бибич иногда приподнимали завесы седой старины и показывали, как Громвол[20] возвращался с поля, одержав победу над могучей амазонкой... Но Пумперлей все-таки проникал в их рассказах значительные утайки и знал, что ему надо достичь непосредственного участия в игре с одною из таких прелестных женщин. Лучше же всего, конечно, было бы взять ту самую, которою занят сам Balthasar, а который сам и лез в петлю. Balthasar, отдавая Пумперлею визит в его холостом помещении, в боковом отделении одной из лучших гостиниц, окинул это помещение опытным глазом и сказал: "Вот прелесть для дам!" А Пумперлей ему сейчас же предложил:

— Пожалуйста! К вашим услугам все... когда угодно.

— Нет, без шуток...

— Когда вам только угодно! — перебил Пумперлей.

Balthasar в тот раз посолидничал и сказал, что "о, нет!" Он это "только так",— к тому что Пумперлей "очень хорошо раскинул сеть для мух",— вход в подъезд под вывескою произведений женского искусства, и между тем — умно, мой друг, умно! Вы далеко пойдете!

А Пумперлей принимал это благословение и знал, что дело на этом не остановится, и действительно раз, когда они сидели у генерала и на короткое время остались <одни>, Balthasar, раскладая пассианс, сказал:

— А распложеньице-то у вас гениальное!.. Этакого расположения когда нужно не сыщешь.

— И когда нужно,— оно к вашим услугам! — ответил опять с упорной готовностию Пумперлей.

— Нет, взаправду у вас это так умно...

— Да, конечно, можно! Можно все, что хотите!

— Нет; вы не подумайте что-нибудь пошлое... Мне действительно нужно rendez-vous[1*] и даже с премилой дамой, но, увы, совсем не для тех причин, как это вообще бывает.

Но Пумперлей даже замахал рукою:

— Боже мой! не все ли ему равно, для кого[2*] они будут видеться?

Он уступил Balthasar'у обладание своим мастерски устроенным помещением, а сам приютился на это время у своего швейцара. Он хотел видеть женщину, для которой нужна была такая таинственность и, увидев ее, был поражен ее дивною, изумительною, яркою и пышною красотою. Пумперлей даже не совсем точно ее рассмотрел, потому что лицо дамы закрывала вуаль, но дама была несомненная красавица брюнетка, с бледным лицом, высокая, стройная, с величественною походкою и в трауре...

Пумперлей вылез из швейцарской будки, чтобы следить за нею, пока она взойдет до его двери, и, когда это совершилось и Balthasar ее впустил, Пумперлей закусил зубами заусенец у себя на пальце и сел на коник в подъезде... Ревность в нем как будто предупредила самое чувство любви, и Пумперлей не знал еще, что он полюбил, но уже испытывал мучения ревности. Он с минуту сидел с потемневшим лицом и давил себя в ладони рук ногтями

[1*] свидание (*франц.*).

[2*] Так в рукописи.

своих пальцев, но больше не выдержал и побежал вверх, перепрыгивая через две, три ступени, чтобы достичь своей двери как можно скорее и не дать им покоя оставаться вдвоем.

Пумперлей не знал, что именно он сделает, но в общем он хотел позвонить, явиться и помешать rendez-vous. Он скажет, что он забыл что-то такое, без чего нельзя обойтись минуты, а впрочем, ему все нипочем: лишь бы их разогнать сейчас, потому что он не может переносить бальтазарова счастья. И трудно сказать, как кругло и ловко это вышло бы, если бы над Пумперлеем не бдел его гений: едва он подбежал к своей двери и поднял руку, чтобы постучать, как дверь перед ним услужливо раскрылась, и из нее вышла и прямо столкнулась с ним его великолепная незнакомка.

Она была там всего две, три минуты, и ее траурный гардероб был совершенно неприкосновенен,— в том самом строгом порядке, в каком было на ней все, когда она входила. Пумперлей на этот счет был приметлив и сообразителен.

По тому, как дама, увидев его неожиданно у открытой ею двери, не подалась назад и не выразила никакого удивления или испуга и не обратилась к Balthasar'у, который, без сомнения, провожал и находился тут же у двери, Пумперлей решил, что эта дама умна, смела, видала виды и сама себе стелет скатерть на дорогу, а Balthasar совсем ей не любовник, а у них действительно есть что-то особенное, до чего сразу не дознаешься. И притом и это, и все на свете может подождать, а что не может ждать, так это задача обладать ею как можно скорее и во что бы ни стало.

Пумперлей никогда таких предприятий вдаль не откладывал и тут решил действовать так же.

VII

Прошу не забывать, что Пумперлей был человек без тонкого вкуса и без образования, которого он и не признавал, и в других не чувствовал. Поэтому у него рядом с поступками очень находчивыми шли выходки пошлые и самого дурного тона. Так, например, он был неотразим, когда стремился познакомиться с женщиною, но для того, чтобы заговорить с нею, употреблял самые глупые штуки. Обыкновенно у него для этого всегда были в кармане превосходный батистовый платок, надушенный тонкими духами, и маленького номера изящная лайковая перчатка, тоже надушенная. Если обе руки у дамы были в перчатках, Пумперлей ронял платок, подходил к ней, подымал шляпу левой рукой и говорил:

— Сударыня, простите: это вы уронили?

Дама непременно останавливалась и осматривалась, а он осматривал ее. Затем она говорила ему, что она не роняла, но Пумперлею это было все равно. Ему нужно было только завязать разговор, и разговор завязался. Если одна рука дамы не была гарантирована[1*], Пумперлей ронял перчатку и делал то же самое. Так поступил он и в этом случае. Едва дама сошла с подъезда, он догнал ее и, подавая платок, сказал:

— Сударыня, вы уронили ваш платок.

Дама на него посмотрела большими серыми глазами из-за длинных черных ресниц и ответила:

— Нет, это не я; — и она пощупала рукою свой карман и подтвердила,— мой платок у меня.

[1*] Так в тексте.

— Накрапывает дождь,— продолжал Пумперлей,— не позвать ли для вас извозчика.

— Если это вас не затрудняет — сделайте милость.

— Помилуйте!

Он побежал, закричал, зашумел и вернулся с извозчиком и юлил с вопросом: "куда ехать?" Но красавица села на дрожки без разговора, а когда Пумперлей застегнул ее кожею и протянул ей на прощание свою руку, дама едва дотронулась до его руки, но зато в ней осталась бумажка.

— "Адрес!" — подумал Пумперлей и подбежал к фонарю, но это был не адрес, а рублевый билет.

— Черт! дьявол! свинья! — закричал Пумперлей вслед удалявшейся даме.— Дура! она меня приняла за лакея, но я ей задам!

И он хотел разорвать билет, но потом вспомнил, что нищенская подачка считается "счастьем", и положил билет в свое портмоне.

— Не я ей, а она мне подарила рубль на память,— ничего. Потом сочтемся.

Расчет в самом деле был не за горами.

VIII

Пумперлей обыкновенно начинал свой день с осмотра своей амуниции и оружия: он содержал в безукоризненной чистоте свой гардероб и ловитвенные снаряды, т.е. дамский батистовый платок и раздушенную перчатку. Когда все это было исправно, Пумперлей выходил с прекрасным зонтиком и в альмавиве с широким бархатным подбоем. Он очень любил бархат в мужском и в дамском уборе,— и затем, довольный сам собою, он насаживал себе на голову немножко высокий по его росту цилиндр и, любуясь сам собою, сходил с лестницы "великолепно"

"Великолепно" — это было любимое пумперлеево слово, прилагаемое им чаще всего к его собственным действиям, которые все и всегда ему казались обаятельными и прекрасными.

Так и "в одно прелестное поутру" Пумперлей встал, "съел кровавый бифштекс", обрядился во всю амуницию и пошел в ход. "Первая упряжка" у него, разумеется, была за женщинами: он уже знал, в какие часы и где появляются интересные женщины того или другого сорта. Утром вылет "траурных кокеток",— деловых дам, ищущих и достигающих какой-нибудь благодати от "особ" Встречать "траурных кокеток" можно в приемной особы или в вестибюле народного здания, примыкающего к большому, открытому для публики саду, или всего лучше прямо в этом саду. Сад прекрасен,— в нем есть и проточная вода, и лужайка, и газоны цветов и много скамеек, расставленных здесь и там вдоль дорожек под старыми липами. Все "траурные кокетки", добившись чести видеть особу и изложить ей, зачем они являлись, имели обыкновение заходить в пространный сад отеля. Здесь дамы находили первый покой после душевных эмоций, вызванных истомою ожидания аудиенции и сосредоточенною напряженностию ума и чувств во время самых объяснений. Старые и невзрачные дамы,— которым всегда было меньше удачи, садились где-нибудь в тени у стен балкона, доставали свои отметки и делали проверки того, что ими сказано, а молодые или по крайней мере более свежие — обдумывали результаты своих свиданий, гуляя по аллеям сада или сидя на лавочках у газона, перед которым тихо катился довольно широкий проток, соединявший за оградою сада две речки. В этом протоке плавало небольшое стадо белых уток с крупным селезнем, которого дамы обыкновенно признавали за лебедя и любили его кормить и им любоваться.

А Пумперлей приходил сюда любоваться на дам, которые любуются "лебедем", и нашел в этом еще одно средство подлипать и заговаривать.

Дамы, как известно, склонны запасаться съестным, и чем лета их солиднее, тем в них более этой запасливости. Мужчинам, когда они идут с просьбами, почти никогда не приходит на ум взять с собою что-нибудь съестное, на случай долгого ожидания. Оттого и часты случаи, когда люди очень сильной курпуленции заслабевают и строй их просительного напряжения мысли значительно терпит от перебоя помышлениями о рюмке водки и каком-нибудь пирожке или бутерброде. Молодые девушки тоже ходят еще без запасов и питаются собственною живостию; но потом чем дальше, тем запасливее: берут маленькую бонбоньерку, апельсин, кусочек шоколаду, "превосходно обманывающего голод", и наконец, прямо приносят в кармане вчерашний пирожок или "булку по-гостинодворски", т.е. разрезанную и восполненную икрой или ветчиной. Старухи кладут даже сыр, но это уже слишком смело и возможно только для их возраста, в котором все равно чем бы от них ни пахло. Но и то,— если бы почтенные старушки умели немножко получше наблюдать, то они узнали бы, что не одна из них испортила аудиенцию сыром. Однако не в них дело.

Все дамы любили кушать свои запасы, сидя на лавочке у кустов сирени над протоком, и бросали в воду крошки "лебедям", которые были к этому приучены и вертелись здесь, выпрашивая и ожидая подачек.

IX

Пумперлей облюбовал это место и начал ткать в нем свою паутину между дамами и утками. По пути от дома к саду он заходил в лавку с английскими печеньями компании Мура[21] и покупал фунт "лому" и нес это под альмавивою. Сначала он проходил крест-накрест сад и делал таким образом общее обозрение всему перелету данного дня и, если было кому бросить платок или перчатку,— он их бросал и поднимал и потом подавал и заговаривал; а в дальнейшем следовал указаниям соответственных шансов. Но если общее обозрение не обнаруживало в сегодняшнем перелете достойных труда экземпляров, то Пумперлей стушевывался к тем, к которым "лебедь подплывал", и, садясь немножечко вдали, приходил в тихий восторг от грациозных будто бы движений "лебедя", который крякал и тряс хвостом, как следует настоящему селезню. И тут, если лебедь подплывал к особе, достойной того, чтобы ею заняться, Пумперлей следил за тем, когда у этой особы истощится запас крошек, и немедленно подходил к ней с почтительно поднятою шляпою и раскрытым конвертом английского "лома"

— Извините! — начинал он к незнакомке,— я вижу, что вам доставляет удовольствие покормить лебедя... Пожалуйста... не откажите взять: это такие пустяки...

В непродолжительное время Пумперлей имел уже случай убедиться, что "такие пустяки" могут вести не к пустякам, и он вел по этой статье продолжение вперед. Но вдруг один блин у него свернулся комом и чертовски стал впоперек горла. Дама, вся в черном,— настоящая "траурная кокетка", к каковым благоволила особа, покормила лебедя и пощелкала по бумажке, к которой пристали крошки от скушанных ею пирожков, а Пумперлей сейчас же был тут, в широко раскрытой альмавиве на бархатном подбое, с поднятою над головою шляпою в одной руке и с конвертом бисквит, и лепетал "это такие пустяки..." Но дама сгустила на лице черный вуаль и, вставши с места, сказала: "Конечно, пустяки!" — и, не взглянув на Пумперлея, пошла к выходу из сада.

Пумперлей был взбешен, что ему так ответили и не хотели сдаться... Он был не на шутку предприимчив и готов был броситься за незнакомкою, чтобы ее выследить и победить ее... "Ого-го-го!" Он знал немного из литературы всех стран и народов, но знал то, что ему было надо: он знал, что был Ричард Третий и Анна[22], и собственным опытом он утвердил в себе знание того, что наглость со стороны мужчины действует на многих женщин неотразимо. И Пумперлей, как настоящий охотник за женщинами, даже любил в начале игры получать маленькие отпоры, которые свидетельствовали об известной доле характера и даже, может быть, строптивости.

— Это все ничего! — говорил он: — я это даже люблю. Поершись, поершись, но потом я тебя согну в бараний рог!

X

Пумперлей сгибал в "бараний рог" женщин тем самым, чем вообще вниз глядящие сыны мира гнут вниз других людей. Праздный сластолюбец и блудник без покаяния, он следил за намеченною женщиною упрямо, почти минута за минутой, и ревностей не заявлял, но стерег, когда женщину настигала неотразимая нужда в соединении с неумением воздержать себя, и тогда Пумперлей являлся, будто он тут и стоял над терзающеюся душою, и всегда торжествовал,— всегда покупал у немощной души ее бедное тело.

Затем он опять не был ни ревнив, ни прилипчив и отставал легко, и только немножечко хвастал увеличением своего реестра. Но эта дама, бросившая его с презрением у лебедя, произвела на него особенное впечатление большим сходством с той дамой, которая имела в его квартире rendez-vous с Balthasar'ом и дала ему рубль на чай за привод извозчика.

Воспоминание об этом событии, при котором он очутился в самом нежелательном положении и почувствовал самую досадную ненаходчивость, покрывало лицо Пумперлея краскою мучительного стыда и доводило его до бешенства, в котором он опять ощущал в себе проклятую ненаходчивость.— Это она или нет? Рост и фигура те же самые... Когда он подходил к ней, к сидящей, он этого не замечал, но когда она встала и пошла,— он сейчас узнал, что это она... И голос, которым сказано: "Это пустяки" — тот самый, которым тогда, у подъезда было сказано: "пожалуйста!"

Ведь он только и слышал от нее эти два слова: "пожалуйста" и "пустяки", а лица ее он совсем не видал, а только, так сказать, прозревал его прелестный, правильный абрис через опущенную вуаль... И тем не меньше он знает, что она прекрасна и что здесь это именно она... И вот теперь она непременно от него уйдет, и так как он не знает, кто она такая, то ее отыскать будет невозможно и след ее будет потерян. Этого Пумперлей не может или не желает снесть, и для него теперь хорошо каждое средство, которое может ее остановить или заставить ее говорить с ним.

Пумперлей бросился в погоню за незнакомкою, которая шла по большей аллее к выходу из сада, и когда он ее настигал, то увидел, что она идет, поднявши вуаль, и читает письмо, которое держит в открытых руках без перчаток. Пумперлей сейчас же вынул свою запасную перчатку и в мгновение ока стоял с нею перед дамою, лицо которой действительно было очень замечательной красоты: продолговатое, с правильными тонко выведенными чертами, маленьким нежным ртом с перловыми зубками, изсиня черными волосами, причесанными гладко, по-вдовьи, или по-английски, и с большими, темно-синими глазами в густых и длинных черных ресницах.

XI

Когда Пумперлей обежал даму и засеменил вперед ее с своею перчаткою, незнакомка была так погружена в чтение письма, что не сразу поняла, что хочет от нее этот прилипчивый человек, но потом, когда поняла, она опустила руку в свой карман, достала оттуда две снятые перчатки и молча показала их Пумперлею.

— Значит, это не ваша перчатка? — заговорил Пумперлей.

По милому лицу дамы пробежала улыбка, и она отвечала:

— Я не знаю, что это значит,— и, обойдя его, пошла к выходу, где тотчас же села на дрожки первого мимо ехавшего извозчика и поехала по направлению к Невскому.

Пумперлей был вне себя: теперь, когда он видел лицо этой женщины, показавшееся ему так красным, как нет другого ему равного, он впал в обаяние и решился сделать все, что ни потребуется, лишь бы иметь право записать это прелестное существо в реестр побежденных.

Он долго бежал по тротуару, стараясь не потерять из виду удалявшуюся незнакомку; потом сам отыскал извозчика и гнался удачнее и наконец у первой каретной биржи взял как можно скорее самую лучшую двухместную карету на паре рослых лошадей и сразу же посулил кучеру "красную на чай", чтобы тот не спустил даму из глаз и ехал за нею издали и останавливался невдалеке, где она остановится. Тот взялся это исполнить, а случай вскоре предложил свои превосходные услуги.

XII

Напоминаю, что все это происходило весною, в один из дней, когда погода в Петербурге меняется несколько раз. И в этот день, события которого здесь описываются, происходило то же самое: в воздухе стояло тепло, но небо то улыбалось, то хмурилось и наконец один раз очень кстати зарокотало и заплакало. Утром, когда Пумперлей следил, как к пленившей его даме подплывал лебедь, все было окутано легким, молочным туманом, в котором все смягчалось и сглаживалось, и также смягчалось улыбкой лицо незнакомки. В ту пору, как Пумперлей ее догонял, пары стали густеть и появилися капли дождя. Пумперлей очень кстати обезопасил себя в карете, в которой ему пришлось долго ожидать свою даму у одного дома, где он не знал никого. Наконец подул ветер, согнал облака в одну сторону, блеснуло солнце и сразу вызвало на улицу много гуляющих. Появилась и прекрасная незнакомка в значительно облегченном трауре, и Пумперлей опять начал следить за нею в своей карете.

Это было нелегко, потому что дама шла не спеша, как человек, который делает свой "проминаж", и то появлялась у края тротуара, то снова терялась в толпе, и ее можно было потерять. Пумперлей, однако, не потерял ее и обратил внимание на то, что она идет с большим достоинством, но что с нею никто не раскланивается. Это значит, что у нее еще нет знакомых в столице, или же она из таких особ, с которыми не кланяются... Все может быть: город велик, и народу в нем много всякого сорта. Но Пумперлей вспоминал о знакомстве дамы с особой и о том, с какими предосторожностями Balthasar обставлял свое rendez-vous с нею, и подозрения рассеивались... Нет, это, очевидно, что-то загадочное и совсем в особенном роде.

И тут вдруг рванул ветер, и почти с ясного неба раздался гром, и забарабанил крупный и частый дождь, а она стояла у магазина эстампов на угле площади, и ей решительно приходилось плохо.

Пумперлей был влюблен до слепоты и напропалую: он выскочил из кареты, раскрыл зонт и, подбежав к даме, закрыл ее и заговорил молитвенным тоном:

— Прошу вас... не осудите!.. Вас всю измочит, и вы простудитесь...

Дама взглянула на него и сказала:

— Опять вы?

— О, да! Это я... Опять я! Что мне делать?

— Отстать прочь.

— Не могу. Умилосердитесь! Я умоляю вас: сядьте в мою карету и дозвольте ей довезти вас до вашего дома.

— Что вам до меня за забота?

— Ах, оставим это до сухого времени и до другого места... На вас льет дождь, и ваши ноги в холодной воде, и от этого мрет... мрет мое сердце.

Дама рассмеялась и сказала:

— Врет ваше сердце.

— Ах нет, я вас умоляю!.. Я вас умоляю!

— Хорошо, но я заплачу вашей карете, если она наемная.

— Она наемная,— можете платить, если угодно; но у меня с ней есть свои счеты, и потому вы заплатите мне... Только прошу вас скорее садитесь и скажите куда ехать.

Дама еще раз взглянула на него и сказала:

— Такой случай, что я принимаю ваше предложение.

И с этим она быстро вошла в карету и на ходу сказала кучеру адрес в очень отдаленной части города за двумя реками.

Пумперлей, посадив даму, попросил для себя позволения сесть. Она сделала едва заметный знак головою и подвинулась в угол.

Дверца закрылась, и карета понеслась под проливным дождем, далеко разбрасывая брызги по мостовой.

Пумперлей и дама молчали: она смотрела в окно на потоки дождя, а он смотрел на нее и соображал: какие выпустить приемы: он знал их два в этой стадии: кинуться на нее и начать ее целовать или броситься ей в ноги и начать плакать от истомы. Он тоже умел это представить и с хорошим успехом, но ему показалось, что она держит руку на дверце кареты и может сейчас же выпрыгнуть, а потому он решил, что надо обратиться к разговору, и чуть не сказал “объяснимся”, но поправился и спросил:

— Вы очень любите искусство живописи?

Та сдвинула свои красивые брови и переспросила: что такое?

— Я спрашиваю: вы, верно, очень любите искусство живописи?

Брови ее разошлись, и по лицу скользнула улыбка.

— Почему вы это думаете?

— Потому что вы стояли у картинного магазина.

— Ах вот причина!

— А разве вы не любите искусства?

— Искусство? Нет, я “искусство живописи” люблю, но одну вещь я люблю еще больше,— и она не досказала, какую “вещь” она любит больше “искусства”, но Пумперлей сейчас же воскликнул:

— Это совершенно как я!

Она выразила непритворное удивление.

— Да, да! — продолжал Пумперлей,— я тоже люблю все искусства, но больше всего люблю одну вещь.

И он уже сидел полуоборотясь к своей даме и, размахнув врозь руки, весь сиял такой радостью, что она, увидав его, не выдержала и расхохота-

лась, а он в это же мгновение "закрыл ее ротик своим поцалуем" и сейчас же побледнел и схватился рукою за локоть.

— Это ужасно больно! — вскричал он с детским гневом, схватив себя одною рукою за локоть другой.

— Надеюсь! — отвечала она, держа в руке большую золотую булавку, и в то же время обнаружила намерение дернуть звонок к кучеру. Но Пумперлей затрясся и, бросясь в ноги даме, закричал:

— Все, что хотите, но не это. Я прошу извиненья. Я умоляю: простите или убейте меня вашей булавкой как насекомое.

И он вдруг открыл свою грудь и при этом движении выронил бумажник, в котором возил свое состояние.

Дама указала ему на это рукою и сказала:

— Поднимите, что вы уронили.

Пумперлей посмотрел на бумажник и отвечал:

— Не хочу.

Дама переменила тон и рассмеялась.

— Вы неприличный, но очень смешной человек.

— Нет-с: я очень сердечный человек. А самое главное — я похож на вас.

Она еще более рассмеялась и спросила: в чем?

Пумперлей сделал комическую рожицу и произнес:

— Я люблю одну вещь,— и стал цаловать ее руку, в которой она держала нанесшую ему болезненный укол золотую булавку,— и дама на этот раз его не уколола и не прогнала, а только остановила карету и подавила ручку открывшейся дверцы.

Пумперлей этого не ожидал и был этим удивлен и сконфужен: он поспешил подняться с коленей, но сделал такое неловкое движение, что разбил своим затылком переднее стекло в карете и нанес себе порез, из которого пошла кровь.

А дело все было просто и заключалось только в том, что они подъехали к чистенькому серенькому домику, номер которого дамою был сказан кучеру. Доведенный до высокой экзальтации чувств Пумперлей не замечал, как они ехали и доехали, и теперь не понимал: где он находился и почему дверца была открыта и дама, перед которою он представлял пантомимы любви и соблазна, выходила из кареты, ступая красивою и щегольски обутою ногою на тротуар, который был вымыт дождем и теперь блестел, облитый яркими лучами весеннего солнца.

Это сверканье, отраженное где-то внутри человека, бросило Пумперлея в состояние бреда, в котором он ничего не понимал и смотрел на свою даму и на окровавленные пальцы своей левой руки, которыми он инстинктивно схватил себя за затылок, и он вдруг нервно всхлипнул всей грудью и готов был зарыдать.

Ловкая дама быстро поняла, что его нельзя отпустить в таком состоянии, и сама предложила ему зайти к ней, чтобы отдохнуть и оправиться.

Пумперлей не ясно понимал, к чему это его сближает, но, однако, все-таки понял, что это для него хорошо, и он вдруг освежел,— достал толстый бумажник со множеством денег и подал десятирублевую ассигнацию кучеру. Ассигнацию он держал двумя пальцами за уголок и просил у дамы позволения отпустить извозчика с тем, чтобы он переменил экипаж, так как в этом было разбито стекло. Получив от дамы позволение подождать у нее перемены экипажа, Пумперлей подал десятирублевку кучеру "на стекло и на чай" и побежал за дамою, поднимавшеюся в мезонин по чистой, устланной ковром лестнице с подъезда, над которым была вывеска "дамская фотография"

XIII

Здесь Пумперлея ждала погибель, о которой он мне рассказывал сам, будучи в страшном положении унижения и отчаяния,— разбитый и распоровшийся по всем швам. В этом положении он решился искать людей из другого круга, а не из того, к которому пристал в Петербурге с надеждою устроить себя по особым поручениям, и вспомнил обо мне как о знакомом человеке кинутой им жены.

Он лежал с открытою грудью в шлафоре и старых туфлях на постели в том самом номере, где у дамы было rendez-vous с Balthasar'ом, и попеременно то бурно негодовал, то пищал и плакал, отирая слезы большим индейским фуляром, и говорил приблизительно так о следующих претерпенных им ужаснейших злоключениях от "чертовских женщин"

Первая чертовская женщина, разумеется, была эта синеокая брюнетка, знакомства с которою он так тщательно добивался и получил его в сером домике в квартире под вывеской "дамская фотография".

Оказалось, что траурная кокетка держала фотографическое заведение, которое было не велико, но премило убрано.

— Во всем вкус, во всем милота и изящество, и что всего приятнее,— не было никого постороннего. Сегодня не работали. Даже прислуги не было, потому что девушка уехала на целый день на свадьбу к своей сестре, а кухарка была отказана, так что дома и не готовили обедать... Она мне все это сказала, как только мы вошли, и я сейчас же все увидел и сообразил, что случай мне благоприятствует и что зевать не следует. А дверь нам отворила другая особа, такая же красавица, как та, с которой я приехал, но еще более молодая, более наивная и притом — совершенный контраст по красоте. Это была самая легкая, грациозная блондинка, каких я тоже очень люблю. И моя дама, с которою я приехал, это сразу же заметила и, улыбнувшись, сказала:

— Это моя кузина Алина Ивановна... Она так добра, что осталась у меня сегодня при моем одиночестве. Рекомендовать ее не нужно, потому что высшее ее значение в ее несравненной красоте, которую вы видите, и судя по вашему разинутому рту, довольно ею поражены...

Я перебил и сказал: да, я поражен, я искренно поражен, и подал Алине Ивановне руку, и от нее получил ее ручку, длинную, тонкую, нежную,— словом, одно очарованье.

А брюнетка назвала себя Ириной Петровной и приказала мне самому "рекомендоваться и не врать"

Я, разумеется, отрекомендовался как честный человек, по всей правде, и тогда брюнетка оставила меня с Алиною, а сама удалилась и скоро вышла в легком полосатом капоте, полоса черная и полоса белая, и рассказала Алине, как мы познакомились, а Алина мне показалась дура, потому что она все молчала, но сама с превосходным розовым цветом тела и с черными, как уголь, глазами. Просто с ума от нее можно сойти! И какое у меня было первое впечатление, что они обе вдовы, вышло не верно: вышло, что они обе замужние, но мужей с ними нет. У брюнетки муж из очень хорошей фамилии, но негодяй и шляется где-то за границею. Кажется, на рулетке, и он этой блондинке Алине приходится брат, а муж Алины послан в командировку за филлоксерой[23]. Знаете, истреблять ее, что ли... Но во всяком случае положение именно такое, что я люблю. Пусть там и рулетка, и филлоксера, а я здесь повесил свой плащ и, как Мак-Магон[24], сказал: я буду тут! И я начал ходить и говорить и прошел в другую комнату и увидел множество маленьких портретов и говорю: сделайте мне фотографию. Оне отвечают: "хорошо! Но какая плата?" Я говорю: какая хотите! Она говорит: "Нет; вы

вспомните, что я люблю одну вещь!" Да, да, отвечаю: в том и дело, что и я люблю одну вещь! — "А вы,— она говорит,— знаете ли, в чем еще заключается моя одна вещь?" Я говорю: я знаю. Она говорит: скажите! Я думаю: что же,— верно теперь время сказать? Напусти Бог смелость — скажу! Мне это случалось и проходило. На них нечего смотреть, что они корчат. Но тут эта Алина... Она сестра ее мужа... Вот что может иметь значение, и то, разумеется, не всегда, но однако... Осторожность все-таки не мешает, и я ей сказал: хорошо, если позволите сказать вам на ухо? Она говорит: "хорошо" И я ей сказал!

— Что же вы ей сказали? — полюбопытствовал я.

— Ну, сказал прямо.

— Ну, а она что?

Она сказала: "Это очень глупо и неверно" Тогда я говорю: в чем же одна вещь, *которую вы любите*? Тогда она ответила ему, что "одна вещь, которую она больше всех любит", заключается в том, чтобы *все делали только то, что она хочет.*

— Ого-го-го! — заголосил Пумперлей.— Это, пожалуй, немножко много.

— Для такой женщины, как я? — спросила с ударением Ирина Петровна.

— Да для кого вам угодно. Впрочем, ведь вы, разумеется, и не требуете невозможного!

— Ну, разумеется, нет!

— В таком случае, что вы хотите за то, чтобы снять мой портрет?

— Чтобы вы были одеты так, как я хочу.

Пумперлей ответил: "извольте!"

А дама принесла ему кофту и спальный чепец и сказала: вот вы это наденете.

— Это!.. Нет, не надену!

— В таком случае не будет ничего.

— А-а! А если я это сделаю, то я получу и еще одну вещь.

— Может быть.

— Нет, я хочу знать наверно.

— Ничье "хочу" здесь места иметь не может: при мне имеет место только одно мое *хочу*. Мне нужно верить.

— Верю! верю! люблю и верю! Но скажите мне для чего это вам?.. Что это за прихоть?

— Я только хочу!.. Это мой секрет. Одевайтесь, а я иду приготовить сеанс.

— Божественная!

— Хорошо, мы это увидим.

— Да!.. да!.. увидим.

— Но вы, кажется, бестолковы.

— Кто? я? Нет... нисколько.

Она подошла к нему, погладила его по голове и сказала пониженным тоном:

— У меня капризный вкус.

— Понял, понял...

И Пумперлей сложил с себя мужской убор и надел кофту и чепчик и был уведен в павильон, и был вполне счастлив, и видел ясно со всеми доказательствами страсти, как сильно он ей нравился. Но это было еще не все, потому что, спалив его своими ласками, брюнетная дама указала ему рукою на комнату Алины и сказала:

— Иди к ней! — Видя же, что Пумперлей не понимает ее, она добавила: — скорей! скорей! Помни, что она сестра моего мужа, и она меня погубит, если не будет сама виновата.

XIV

Пумперлей исполнил все, что ему было сказано и, возвратясь к Ирине, только пожал <плечами> и спросил:

— Она всегда безответна?

— Я вам сказала: при мне все должны быть безответны. А за этим теперь наступает еще одна вещь; мы должны что-нибудь есть, и для этого я съезжу в гастрономическую лавку и привезу завтрак.

Пумперлей просил, чтобы она дозволила это сделать ему, и он получил это позволение и уехал.

Через час он возвратился с двумя большими корзинами, в которых не было только одного птичьего молока.

Ирина Петровна осмотрела вино, фрукты и припасы, всем распорядилась, и они пировали на славу, и он снова был счастлив и потом, когда приблизились сумерки, и вместо отосланной двухместной кареты с разбитым стеклом приехала новая коляска, они поехали смотреть закат солнца; но перед этим у них чуть не вышло разрыва из-за того, что Ирина Петровна непременно требовала участия в расходах, и как Пумперлей прихвастнул по поводу корзинки, что это стоит каких-нибудь пятьдесят рублей, то она прежде всего требовала, чтобы он взял от нее двадцать пять рублей, и была так настойчива, что заставила его открыть свой бумажник и сама своею рукою бросила туда свои деньги.

Это бескорыстие, доведенное до гордой и болезненной щепетильности, немножко досаждало Пумперлею, но еще больше ему нравилось. Он как раз искал внушить страсть к себе такой женщине, которая горда и которой от него ничего не нужно и которая явно сорвалась для него с долго держанной линии и теперь безумствует в страсть. Ее, очевидно, ни купить, ни задарить невозможно. Он попробовал дорогою что-то втереть в руку Алины, но белокурая дурочка сделала на него удивленные глаза и проговорив: “что это?”,— выронила на пол сторублевую бумажку, а чернокудрая Ирина посмотрела на Пумперлея строго и, подозвав к себе детей, продававших ландыши, сказала:

— Прошу вас отдать это им.

Пумперлею это было неприятно, и он переспросил: им?!

— Да.

— Как это глупо! — подумал он и сказал,— лучше это завтра отдать их матерям.

— Пустяки! не откладывайте ничего до завтра.

Пумперлей отдал ассигнацию, и они поехали далее и были во многих местах и наслаждались всем, чем могли, до изнеможения, но демон страсти овладевал ими все больше и больше и довел обеих женщин до того, что они возвращались домой обе, сидя по сторонам, и обе обнимали его под его альмавивою. Сцены, начатые с каприза, уступили место глухой, но кипящей ревности: обе женщины не говорили одна другой ни одного слова, но обе устремляли свои скрытые руки к его сердцу, и когда вдруг их руки соединились на его груди, они обе откинулись, и Ирина, задыхаясь, сказала:

— Нет: я так не могу!.. Или она, или я... Сию же минуту!

И Пумперлей не знал бы, как это разрешить, но белокурая Алина встала, сказала: “Пожалуйста!” — и молча вышла из коляски.

Пумперлей хотел ее удержать, хотел ей что-то сказать, но Ирина его остановила за руку и прошептала:

— Ты мой! Это ничего не значит.

И Пумперлей видел, как Алина взяла извозчика и поехала, и он успокоился.

Они ехали вдвоем, держали друг друга за руки и молчали: он ею любовался, а она глядела вдаль, прищурив свои огромные глаза, и вдруг вздрагивала и шептала:

— Я сумасшедшая!

— Но, ведь, она тебе вредить не может.

Она точно не слыхала.

— Она не посмеет выдать тебя твоему мужу?

— Что-о?

Пумперлей повторил сказанное.

— Ах, я об этом теперь и не думаю,— отвечала она, махнув рукою и быстро его поцаловала.

— Но во всяком случае ты безопасна. Она будет молчать... Потому что ведь иначе и ты можешь сказать ее филлоксере.

Но это замечание уязвило Ирину: она сделала судорожный жест и с неудовольствием сказала:

— Для чего ты это напомнил! Какой ты бестактный! Прощай! вот, кстати, мой дом! Прощай! Прощай!

Он хотел к ней зайти, но она сказала, что это невозможно, бросила от себя кучеру десятирублевую ассигнацию и убежала.

Пумперлей мог только крикнуть ей:

— Я завтра приеду! — Но она на это как будто не отвечала, или нельзя было понять, что она ответила.

XV

А Пумперлей был опьянен своим удивительным успехом у этих настоящих изящных красавиц наивысшей пробы. Это было даже больше того, о чем ему снилось в вещих снах, в которых ему открывалось, что он когда-то непременно встретит настоящих женщин, живущих чувствами,— таких женщин, каких мужчины встречали на маскарадах сороковых годов в Москве и Петербурге и о которых удивительные вещи рассказывали Бальтазар и Бибич. И однако, черт их возьми,— они, эти опытные в любовных делах старики, очень ловки: они не только удивительно сохранились сами, но они сохранили свое уменье отыскивать интересные женские экземпляры, и главное — открывать их смелые способности под самой строгой личиной. Вот хоть эта Ирина!.. Кто бы, видя ее в вестибюле палат, мог ожидать от нее такого взрыва бешеной страсти!.. И хоть она, конечно, была достойна удивления за свой шаг с Бальтазаром, но все, что она совершила сегодня,— особенно эта находчивость с очаровательной сестрой ее мужа!.. Какая чертовская находчивость! Конечно, она, посылая его к другой женщине, или даже, так сказать,— толкая его в объятия другой, она должна была испытывать ужаснейшие муки, и это так есть, потому что она впоследствии не может даже перенести об этом воспоминания... Он видел, как ее корчило и она задыхалась... От этого, конечно, он не мог и получить ее ответа; но... но когда нужно было пожертвовать,— она пожертвовала даже всеми этими муками за минуту блаженства... Вот это он понимает! Милая, восхитительная, прелестная женщина! Ему, конечно, немножко жаль Бальтазара, которому он пристроил оленьи рога, но, ведь, это игра случая... И Бальтазар тоже не поцеремонился бы с другом. Да, наконец, какие же они и друзья? Правда Бальтазар его ввел в кружок и представил Селиверстову, но ведь это совсем другое дело... Да и стар Бальтазар, стар. Пора ему это оставить. Конечно, он может что-нибудь возбудить в пылкой женщине своею образованностью, но потом, ведь, тем хуже для нее...

Он рассуждал о всем этом приятно и заснул в своей прекрасной комнате и проспал долее обыкновенного, именно до двенадцати часов, потом встал, умылся, потребовал кофе и затем... Он был ошеломлен ужаснейшей неожиданностию: в его сюртуке не было его бумажника!

Пумперлей искал его здесь и там, но бумажника нигде не было, а с ним, значит, не было сорока тысяч, и важной бумаги и карточки, данной ему Селиверстовым. Пумперлей поскакал в фотографическое заведение, но фотография бал закрыта, дверь заперта, и никто не отзывался ни на один звонок. После нескольких проб добиться ответа он обратился к дворнику. Дворники в этой малолюдной местности неаккуратные и кое-какие, таков был и этот дворник, к которому обратился Пумперлей, он отвечал бестолково множеством слов, тогда как все, что было важно, заключалось в одном: она утром уехала.

— Как? Куда?

— За город.

— Да куда... Черт!.. Болван!

Но дворник сам звал черта и объяснял, что он ничего не знает наверно; что она так постоянно: живет неделю, две, а потом "сдыймется и побегит" и не бывает ее и месяц и два... За границы что-ль куда ездит... Нешто он может знать!.. А сказать про нее больше ничего не может... Держит фотографию, а для чего Бог ее знает,— в участке, чай знают.

XVI

Пумперлей бросился в полицейский участок.

Участковый пристав, тучный человек, из статских оказался довольно внимательным человеком; он выслушал рассказ Пумперлея во всех подробностях и сказал:

— Ишь ты, черт вас нанес на какую змею.

— А что?!

— Да ничего. Ее теперь искать далеко, да и напрасно.

— Почему? Почему напрасно?

Пристав на него посмотрел и вздохнул, а потом прибавил:

— Это змея-с!

— Но все равно... вы должны...

— Что такое?

— Я вас прошу дать мне о ней все сведения.

— А извольте! все, какие есть, к вашим услугам.

Он позвонил и велел подать справку, на которой значилось: "дворянка, дочь полковника, 27 лет"

— Это не она! — воскликнул Пумперлей.— Она мне говорила, что она замужем!

— Кажется, и это верно.

— Но отчего же так не записано?

— Говорят, она венчалась где-то за границей. Мы этого не знаем. Впрочем, я и вообще не могу о ней сказать ничего, кроме того, что сказал. Вы отправьтесь в сыскное отделение.

— Но ведь она уехала! Вы ее выпустили за границу.

Пристав махнул рукою.

— Что это значит?

— Это то значит, что мы их не отпускаем и не можем удерживать. Это особы особенные... Поторопитесь ехать в сыскное отделение. Там, может быть, узнаете что-нибудь больше.

— Ну а другая... эта Алина!

— Ах эта... блондинка, которая дорогою встала... Ну уж об этой ни слова: надо искать ее там, где она встала.

Пумперлей поехал в отделение, которым тогда заведовал маленький пузатый человечек с темным лицом, посаженный сюда по какому-то недоразумению.

Он был так же невежлив, как неумен, и принял Пумперлея, сидя верхом на решетке, перегораживавшей впеперег[1*] комнату, где происходил разговор. Слушал он терпеливо и внушительно, но предлагал пояснительные вопросы грубо и начальственным тоном, притом постоянно стремясь перевести личное местоимение с второго лица множественного числа на второе лицо единственное, т.е. говорил "ты", что Пумперлею очень не нравилось, но чего он, однако, не решился приостановить в самом начале, так как положение его было очень прискорбное, а тот этим пользовался, а может быть, имел еще и свои особенные причины относиться презрительно к людям.

Выслушав Пумперлея, он покинул свою кавалерийскую позу верхом на решетке и сказал:

— Прекрасная работа! Так вас и надо!

— Но позвольте, ведь это разбой среди города!

— Да, да, "среди города" А пословица говорит, что "дуракам и в алтаре не спускают" На кого вы жалуетесь-то? И не знаете: Калина да Малина, а она, может быть, и Черная Смородина. И где вас обокрали: в доме, когда вы снимали сюртук и сидели как дурак в чепце да в юбке; или когда были счастливы с одною и думали, что заставляете страдать другую, или когда вас назад везли, да как божка спереди и сзади обнимали и ваше сердце целовали... Что от вас понять-то можно? И которая ягода деньги унесла: Калина, которая по дороге от вас спрыгнула, или Малина, которая вам с своей лестницы фигу с маслом показала.

Пумперлей этим обращеньем совсем был обижен, но роковое несчастие его гнуло, и он делал большие успехи в терпении, и сдержанно заметил, что ему фиги с маслом еще никто не показывал. Но его собеседник ответил: "Конечно, конечно! Где ей такого молодца обработать. Сейчас я пришлю сюда человека, которому поручу ваше дело: вы ему должны все рассказать подробнее. Он барон и разовьет свою фантазию. Пообещайте тоже часть из пропажи. Они у нас получают очень недостаточное содержание.

— Это я... отчего же!.. Я очень рад,— отвечал Пумперлей.

— Ну и прекрасно! — и крепыш с серым лицом сказал и пошел, а Пумперлей вслед ему подумал: "Ах ты скотина этакая! Еще и чванится! Я бы с тобой в другое время говорить не хотел"

Но говорить ему пришлось еще очень много, и все об одном и том же самом деле, вводить дополнения новыми эпизодами, которые до времени крылись где-то у него в памяти и выскакивали как свищи при новой встряске мешка с орехами.

Не успел Пумперлей оправиться и отдохнуть после второго рассказа о своих злоключениях небрежному начальнику, державшему его на ногах и слушавшему его нетерпеливые слова с позевываниями и в кавалерийской посадке, как опять пришлось приниматься за то же самое в третий раз перед новым лицом. Это был "тот барон, который будет делать дело с фантазиями"

Он взошел почти тотчас же, как вышел, покачиваясь, предыдущий, и имел совсем другой вид, производивший не схожее с прошлым впечатление. Барон был пожилой человек и глядел милым и добрым стариком, который в молодости своей немало заблуждался и был чьей-нибудь жертвой, но потом "все познал и все простил" У него была кроткая, располагающая наружность,

---

[1*] Так в тексте.

серые, добрые глаза и мастерски присаженная на себя накладка из волос цвета "перца с солью" Он начал дружески кланяться Пумперлею еще от самых дверей, а потом назвал ему свою немецкую фамилию и попросил его в "особый кабинетик", где усадил его на диванчик и сам сел возле него очень близко и родственно и попросил опять "все рассказывать", и слушал с напряженным вниманием, изредка вздыхая, покрякивая и покачивая головою, а когда Пумперлей кончил, барон подул ему на воротник сюртука и, сняв оттуда пушинку, спросил: что было у него в бумажнике, кроме денег? И при этом боковой взгляд серых глаз барона показался Пумперлею острым и резким.

Пумперлей подумал и вспомнил, что там были карточки генерала Селиверстова и фотография преступного негодяя, и покраснел; а барон это отметил кротким вздохом и замечаньем: г-м, гм!

Пумперлей не знал, как ему поступить, и, боясь проболтаться, ответил, что в бумажнике были разные записочки, которых теперь не вспомнишь.

— Надо вспомнить.

— Да не могу.

— Конечно, это трудно, но необходимо!

— Но что же делать, если *не могу*!

— Не было ли там чьей-нибудь карточки?

— Кажется, была.

— Чья?

Пумперлей замялся.

А барон опять нашел еще одну пушинку на воротнике сюртука у Пумперлея и, бережно ее сняв, прошептал:

— Не может ли быть кто-нибудь компрометирован?

— Кто же?

— Да это уж вам надо знать... Вы подумайте.

— Я, право, не знаю.

— Фотография-то была мужская или женская?

— Мужская. Впрочем, я вам ничего не говорил о фотографии. Вы меня спрашивали о простой карточке: я вам говорил, что там могла быть визитная карточка.

— Чья?

— Генерала Селиверстова.

— С надписью?

— Да; но не все ли это равно.

— Простая надпись-то?.. вам "на милую память" или с рекомендацией.

— Да... рекомендация.

— На чье имя?

— Ни на чье особенно.

— Циркулярно?

— Да, но, ведь это никаких следов не показывает.

— Как не показывает! Позвольте! Вы этой рекомендацией еще не пользовались?

— Я ее только что получил.

— Гм!.. И собирались?

— Да; я хотел ехать.

— За этим оригиналом?

— За каким оригиналом?

— Который на фотографии.

— Да что вы меня допрашиваете? Зачем вам это нужно?

— Нужно нам, все нужно знать, но вы не сердитесь: не хотите говорить и не надо.

Пумперлею понравилась эта уступчивость, и он отвечал:

— Нет, я готов все говорить, что относится к делу. Я в этом понимаю толк, но *всего,* как вы говорите, никто знать не может, разве один Бог, да и это ученые оспаривают.

Но барон его перебил: заметил, что “ученые учеными, а вы подумайте о себе!”

И с этим барон поднялся и вдруг словно вырос, и взгляд у него стал прехолодный, и он пошел прямо к двери.

Пумперлей вскочил и сказал вслед ему:

— Однако, что же мне дальше делать?

— Ждать,— отвечал барон, пожав плечами и удаляясь за двери.

— Где же ждать? Куда вы идете?

— Ждите! ждите здесь!

Это было последнее слово, с которым барон скрылся, а Пумперлей еще сидел, потом стал ходить и бегать по кабинету и наконец заметил, что время убыло много, что день уже клонит к вечеру, и он толкнулся в ту дверь, которою вошел, но она оказалась так плотно закрыта, что и не двигалась. Тогда он бросился в другую, которая открылась в узенький коридор, в конце которого стоял солдат.

— Я хочу выйти,— объявил ему Пумперлей.

Солдат в молчании отрицательно покачал головою.

— Разве нельзя?

— Известно, нельзя.

— Так доложи кому-нибудь.

Солдат опять покачал головой.

— И это нельзя?

— Известно, нельзя. Надо будет — придут.

— Но я есть хочу!

— Как не хотеть.

— Так дай же мне есть!

— Первый день не полагается.

— Что!

— Не полагается.

— Так купи мне.

Солдат отказался.

Пумперлей бросился к двери и хотел стучать, но солдат взял его в охапку и бросил в коридор.

Пумперлей упал на пол, поднялся, обвел вокруг себя глазами и кинулся к одной стене, потом к другой и ударял в них руками и головой и потом зарыдал и закричал диким голосом:

— Есть хочу! есть! дайте мне есть!

XVII

И он начал биться, ничего более не соображая и ничего не помня.

Он рассказывал мне об этом сам, находясь в очень жалостном положении, в котором просил моего участия для примирения его с женою. Ничего этого, что изложено о встрече с траурными кокетками и о последствиях этого я, разумеется, не знал. И самого Пумперлея я только мельком встречал в достопочтенном московском семействе, откуда он урвал себе жену. Теперь он мне сообщил свое горе и все предательства, за которые он мог укорять не одних кокеток, но и самых серьезных людей, которых подозревал в потворстве кокеткам, ограбившим его состояние.

— Вы видите,— говорил он мне, валяясь по дивану в халатике с расстегнутою грудью рубашки, из-под которой сверкала маленькая, но полная, почти женская грудь, покрытая черными волосами.— Вы видите: я не скры-

ваюсь, и в чем мне скрываться. Я развратный человек, но это как все... Ого-го-го!.. Я знаю свет!.. Моя жена прекрасная женщина, но я ее не понял, и огорчал ее, и был с ней груб. Что же это такое: это опять как все! Я хотел разнообразия и попался. (Эпизод с генералом Селиверстовым он не раскрывал, а переходил прямо к "несчастию"). Я попал на ужасную женщину, которая меня обчистила... Да; так обчистила, что я наг... я потерял все, но и их роль в этом деле ни на что не похожа... Я уверен, что им все известно, но удивительно, что тут такое... Га!.. Я же ограблен, и из меня же сделали ответственное лицо и целых три недели держали меня под замком, так что я чуть-чуть не разбил голову.

И тут, продолжая нить прерванного рассказа, он объяснил, что, когда он начал колотиться головой об стену и кричать: "хочу есть!" — пришел кто-то с доктором, и доктор щупал у него пульс, и он в это время был в страшном волнении и плакал, и доктор сказал, что ему "нужен воздух", и его повезли катать с офицером и привезли в другое помещение, где было лучше и подавали кушанья на свежем масле, но он три дня никого не видал... И наконец его позвали в какую-то канцелярию, где был военный и штатский и очень мало говорили о том, что у него пропали деньги, а все приставали с тем: зачем он носил при себе в бумажнике генеральскую карточку и фотографию недостойного негодяя? И потом начали меня пытать: "разве я не знал, что эта госпожа брюнетка имеет страсть к недостойному негодяю?" Я говорю: разумеется, я этого не знал и думал, что она питает страсть к господину Бальтазару. Но военный с штатским только переглядываются и даже раз говорят мне: "вы, может быть, будете свободны... Тут есть ошибка... Предполагали, что вы умнее!" Га! Каково это кажется. Но я даже не хотел считать себя под арестом; я думал, что все это одно недоразумение, в котором мне мстит Бальтазар, но военный, который обращался со мною лучше, сказал мне: "Не имейте на него напрасно зла: он невинный старик" Но я говорю: у них было rendez-vous в моей квартире! "Ну да, говорит, это он вручал ей билеты для ком-иль-фоток[1*] на свое литературное чтение, чтоб дамские восторги были... И то если бы он не был глуп, то это делается гораздо проще. А она чертовски умна и счастлива: она выведала о вас, наверно, от Бальтазара,— его только похвали, он все и проболтает, но надо же было вам в нее влюбиться и добиться. "Не вспоминайте, говорю, полковник; не вспоминайте!" — Черт! — "О, говорю, еще какой черт! Наверно, она не русская?" — Нет, русская: дочь полковника, училась в институте. И когда я спросил: действительно ли у нее есть муж? — он мне и сказал, что муж действительно есть, но только он бежал от долгов и живет игрою в рулетку, но она мужа давно бросила, а любит этого самого молодца, с которым я был должен познакомиться... И это известно, и за нею смотрели, и при всем этом какова игра и каков оборот!.. Она умчалась никому не известно как, морем что ли... и в то же самое утро, всего, может быть, через час какой-нибудь после того, как она была моя и я ею владел, и она... и ей все это нипочем!.. Какова!.. Но где же другая, где же эта Алина? Ведь мои деньги могла украсть и она, когда она от нас высела! И полковник тоже сказал, что это может быть, но что это "форменная дура", которая находится у той в мертвом подчинении, хотя и сама тоже институтка и с шифром[25]. Но главное, что и эту, по их мнению, нельзя настойчиво брать, потому что у них отброшено много следов, и припугнуть их, от них ничего не добьешься, а до суда этих дел доводить нельзя. И можно вести только к одному, что меня освободят. И действительно, в конце третьей недели призывают меня к какому-то генералу, который сидел ко мне задом и говорит грубым голосом:

[1*] От франц. comme il faut — порядочный, приличный, "светский"

— “Вы свободны”

Я переспросил: как?

— Просто,— говорит,— свободны и можете идти гулять.

Ну тогда я думаю: однако же это ведь свинство, и если так, то мы теперь еще поговорим! И спрашиваю:

— Позвольте узнать: значит, я ни в чем не виноват.

— Да,— отвечает,— вы не виноваты.

— Так позвольте же... Какое же мне удовлетворение?

— А вот вы идете вон. Если бы вы были виноваты, так вы бы не ушли.

— Но в таком случае за что же меня здесь три недели держали?

— Так нужно было; — отвечает он,— была надобность! — А сам все в бумаги смотрит,— и ко мне лицом не оборачивается.

— Так я,— говорю,— желаю знать: какая это надобность?

— Ах,— говорит он,— вот вы чего желаете!

— Да-с,— отвечаю я,— желаю знать: за что *я* был лишен свободы, и без этого я отсюда не пойду.

— Хорошо-с,— говорит он и подавил электрик и говорит вошедшему солдату:

— Возьми *этого* и вели посадить его опять туда, где он сидел!

И солдат сейчас же цап меня за локоть, но я вырвал руку и говорю:

— Но, но, но! Что тебе нужно! Я сейчас ухожу.

Солдат спросил: “Пустить, ваше превосходительство?”

— Пусти,— говорит.

Так я и вышел, ему не поклонился: Черт с ним! И это все только вчера, после двадцати двух дней заключения черт знает где и за здорово живешь!.. Го-го-го! Но я им этого не подарил, когда бы это были люди, но это... камни! камни! Они мне все нервы расстроили. Я даже несколько раз молился и хотел верить, что может быть чудо, но их ничто не может преклонить, и вот я нищ и без всякой надежды, и нервы мои... Ах, я беспрестанно теперь вспоминаю мою жену и написал вам, потому что вы с нею знакомы... Напишите ей: она на меня сердится, и, конечно, имеет на это все право, но вы видите, в каком я ужасном положении. Ей теперь не великодушно со мной считаться...

— Чего же вы хотите от вашей супруги?

— Ах, чтобы она забыла все, что у нас было неприятного, и поскорее все там продала или даже так бросила и поскорее сюда! Иначе я не могу прийти в себя и за что-нибудь взяться, а ведь я же способен на все... Я придумаю, я извернусь... Я опять стану на ноги и поклонюсь ей, потому что ей буду обязан моим спасением.

XVIII

Положение Пумперлея хотя не внушало к нему участия, а даже, напротив, возбуждало отвращение как к несомненному негодяю, но он пищал очень жалостно, и это побудило меня написать к его жене. Я написал кратко и сдержанно о том, *что* случилось с ее благоверным, но не писал о том: *как* это случилось [1*]. Ответ пришел нескоро и не содержал никакой радости для

[1*] Далее зачеркнут фрагмент: «Ответ же, как назло, не приходил довольно долго, так что я было уже отчаялся, что он будет, тем более, что в эти дни до меня случайно дошли кое-какие слухи, что брошенная Пумперлеем жена, после многих забот о его исправлении, нынче уже едва ли станет заботиться об утолении его печалей. А когда я поколебался в надежде получить ответное письмо, оно как раз и пришло, но не содержало в себе ни малейшей радости для Пумперлея. Жена его писал мне в дружеском тоне и “откровенно”, что она горько наказана за свое увлечение своим мужем, узнав которого слишком для себя поздно, она почитает за человека самых низких правил, с которым никак не хочет и не может разделять совместной жизни».

Пумперлея. Жена за него не вступалась: она находила, что уже "довольно потерпела" и больше она ничего его ради терпеть не желала. К этому заключению было прибавлено, что теперешнее положение ее мужа ей понятно только отчасти, но что, по ее мнению, оно не только очень жалостное, но, может быть, и очень гадкое. Письмо было женское, "с ядом в конце", но тут тоже была и примесь каких-то как будто продиктованных "мужских тенденций", и когда я прочел листок, мне невольно припомнились некоторые слухи о том, что бедная женщина, оскорбленная в одном своем выборе, дарит нынче свои симпатии другому человеку, несравнимо более достойному любви и уважения.

Я не знал: как сообщить об этом ответе Пумперлею, и даже хотел совсем не извещать его об этом. С тех пор, как я видел его на другой день по выпуске из-под ареста, прошло уже около месяца, и не может же быть, чтобы он во все это время был в том положении, в каком я его оставил. Без сомнения, он не мог все это время кувыркаться у себя по дивану и драть ногтями свою полную груденку, но он и не посягнул с отчаяния на свою жизнь: я думал, что это возможно и, признаться, ради его следил за полицейским дневником происшествий в газете, но в дневниках ничего не было о самоубийстве Пумперлея. А потому я предавался утешительной мечте, что в положении его произошло что-нибудь оказавшее ему помощь, и он поправится и изменит свое ерницкое настроение и, может быть, начнет жить хорошею жизнию. Пусть Исайя говорит, что "нечистый всегда останется нечистым"[26], и пусть Шопенгауэр доказывает, что "характеры не изменяются"[27], но ведь есть же много примеров совершенно противного, и Джон Буниан был великим негодяем, прежде чем стал вести образцовую христианскую жизнь и написал "Путешествие к блаженной вечности"[28]. Учение о неизменяемости характеров мне всегда казалось ошибочным и противоречащим цели призвания человека к жизни, и я сделал очень много ошибок, но в них не раскаиваюсь и об утратах своих не сожалею. Я все-таки богаче тех, кто оберег себя от всех ошибок доверия.

И я верил и тому, что Пумперлей изменит себя и настроит жизнь свою по лучшему плану, и потому я не хотел его огорчать резким отказом его жены, но он неожиданно явился ко мне сам, бодрый, цветущий и веселый и в новой альмавиве с широкой полосою бархата и заговорил громко еще из передней:

— Вы получили письмо от моей благоневерной?

Я говорю: вы, верно, хотите спросить об ответе вашей супруги.

— Да; благоневерной.

Я сказал, что получил письмо, и вкратце сообщил его содержание, умолчав, разумеется, обо всем, что могло быть для него обидно; но он сам был к себе совершенно безжалостен:

— Да, да, да,— молвил он, едва я окончил,— нечего об этом говорить. Она это, по правде сказать, и прекрасно сделала, что так отвечала. Она со мною довольно помучилась и хорошо меня знает: я иногда хочу переменить себя, но не могу. Да и не вижу к чему это?.. К чему?.. Все люди больше или меньше подлецы, и если надо, чтобы было известное число развратников, то я не виноват, что я попал в эту клетку. Тогда, когда я вас просил написать моей жене, я был очень расстроен... Это ведь было ужасно, что тогда со мной было, но знаете, время все исцеляет, и... время прошло, и... я успокоился, и... я кой-что придумал, кой-как нашелся...

Говоря это, он все делал лицом ужимки и приостанавливался, как бы ожидая, что слова его меня удивят и я стану просить у него пояснения, но я начинал догадываться, что "пес возвратился на своя блевотины"[29], и ни о чем его не расспрашивал. Тогда он встал и с новою ужимкою, которая должна была выражать милость и снисхождение, добавил, что он, "как Пушкин", знает,

что "причислен к ордену рогоносцев"[30], и назвал имя человека, которого общая молва сближала с именем его жены и, кажется, совсем не в настоящем роде, и при этом был весел и счастлив, смеялся и хохотал, ударяя себя по ляжкам a la Balthazar[31] и оскаливая свои превосходные белые зубы.

Словом, он был опять устроен и нимало более не жалок, а очень противен.

И с этой поры он так только мне и попадал на вид всегда веселым, бодрым и готовым что-нибудь счавкать. Так как в это время как раз шел оживленный разговор о появлении сильнодействующей "торжествующей свиньи"[32], то при встрече с Пумперлеем всегда приходило на память, что у любопытного животного, занимающего теперь собою внимание столичного общества, вероятно, должно быть нисходящее потомство и что Пумперлей есть именно экземпляр из торжествующих поросят.

XIX

Разность интересов и положений в большом городе устроила так, что мы с Пумперлеем не отягощали друг друга никакими касательствами. С тех пор, как Пумперлей находчиво сказал: "но-но!" и потом шутил, называя себя товарищем Пушкина, прошло много, даже очень много лет. Карьерные люди после начала службы в такой срок достигают больших степеней, и с Пумперлеем почти случилось то же. В тех самых газетах, где я с неспокойным сердцем искал известий о его самоубийстве, мне без всякого желания встретить его имя попадались известия о его производстве в чины за отличие. Конечно, он и должен был отличаться. Брат его жены, приезжавший нарочно для того, чтобы сделать с ним "развязку" по брачному делу сестры, натерпелся больших мучений, чтобы уловить его на каком-нибудь одном месте. У него была и квартира в большом доме, и еще где-то какая-то контора для вида, и где-то еще какой-то "приют" или "присутствие", но, кроме всего этого, он беспрестанно исчезал здесь и появлялся где-то там... Эта бесконечная игра в "Figaro si, Figaro la"[1*] так измучила бедного брата его жены, что тот просидел здесь из-за него полгода и клялся, что Пумперлей есть человек с большим значением и что едва ли не играет в двойную игру[33]. Так, вероятно, сообщал он об этом и сестре, и у той желание развестись с милым мужем дошло до того, что она предложила ему принять на себя "вину"[34]. Она предпочитала подвергнуться всем неприятностям, неотвратимым в этом случае для скромной женщины, лишь бы только разъединить себя с человеком такого сорта. Но все эти хлопоты пропали даром, потому что Пумперлей хотел много денег за то, чтобы подать на свою жену жалобу и не простить ее на последнем увещании. Жена его оставалась по имени его женою до тех пор, пока снисшедший к ней ангел смерти разрешил ее от необходимости знать и помнить противное имя.

Я же во все продолжение этих пятнадцати лет имел с Пумперлеем только три встречи,— и из них каждая следовала одна за другой после продолжительного времени и каждая оставила по себе характерные и неизгладимые воспоминания.

Перечислю их здесь по порядку, как они следовали, и представлю их вкратце.

Первый раз это было лет через пять после того, как он неожиданно оправился и пошел жить. Случай был живой и удивительный, и как нарочно на том же самом месте, где произошла первая встреча Пумперлея с Ребемолью[2*].

[1*] "Фигаро здесь, Фигаро там" (*итал.*)

[2*] Ребемоль — первоначальный вариант имени Ирины Петровны, здесь не исправленный явно по недосмотру.

Это была опять весна и прекрасный погожий день, который любит и умеет ценить намученный своим подполярным климатом петербуржец. Мне была надобность ехать по улице, пролегающей мимо сада, принадлежащего к величественному дому, и я видел сквозь ажурную решетку гулявших там дам и немногих кавалеров и подумал:

— Боже мой! ведь это то самое место, где пять лет тому назад жестокий соблазн траурной кокетки чуть не погубил Пумперлея!.. И вот пять лет прошло, а сад все тот же, и обновленный весною вид его все так же свеж, а мы, люди, за это время постарели, поопустились и не возобновим более своих сил в здешнем нашем существовании; мы уже постарели, переменились, и нас занимает не то, что занимало раньше. Не тот теперь, чай, и Пумперлей и его кокетка.

И, вспомнив о них, я воззрился внимательнее в очертанья фигур, которые мелькали за решеткой сада, и что же вижу вдруг? — *ее* и *его*, то есть Пумперлея[1*] и необычайно красивую и величественную даму брюнетку, которую я по какому-то наитию принимаю за Сепию[2*]. Да; не было ни малейшего сомнения, что я видел их обоих вместе, лицом к лицу и в оживленной сцене горячих объяснений, которые тут же и закончились тем, что[3*] Антигона отвернулась от Пумперлея и пошла в сторону, а он посмотрел ей вслед, плюнул и, поднявши вверх обе руки, из которых в одной была его трость, а в другой дамская перчатка, бросился бегом к выходу из сада. И случилось это так, что он выбегал из ворот сада как раз в ту минуту, когда я проезжал мимо, и он меня тотчас же узнал и начал кивать головой и махать руками, крича: “Остановитесь! Остановитесь!”, и вдруг вскочил ко мне на дрожки, сел рядом и отдал извозчику приказание следовать далее, обратился ко мне, прокричав громким и сильно взволнованным голосом:

— Ни за что не отгадаете, что сейчас было!

— Вы видели вашу траурную кокетку.

— Да! — вскричал он, быстро вспрыгнув на месте и оборотясь ко мне всем своим румяным лицом, кипящим негодованием.— Да!.. Я ее встретил сейчас, здесь в этом саду!.. Вы ее видели?..

— Даму в черном? Да, видел.

— Заметили, какая эффектная женщина! Королева, герцогиня, черт ее возьми, и с молитвенником в руках... Но почему вы могли узнать, что это она?

— Я так подумал.

— Нет, без шуток?

— И нет никаких шуток. Я помню, как вы ее описывали пять лет назад, и теперь, когда увидал вас и подходящую к тогдашнему вашему описанию даму, я подумал, что это она.

— И вы не ошиблись!.. Вы ничего не ошиблись! Несмотря на то, что с тех пор прошло уже пять лет, она совсем почти не изменилась, но я ее сзади не узнал, потому что я об ней вовсе с тех пор не думал и не ожидал ее видеть. Я вижу идет впереди благоустроенная дама в трауре, поскорее вынул черную дамскую перчатку и подлетаю к ней, как вдруг такой оборот!.. Гаго-го! Разумеется, я ее сейчас же узнал и ого-го-го! Я с ней о перчатке не стал говорить, а она сама посмотрела и говорит мне:

— А вы все еще с этими глупостями!

Я спрятал перчатку и отвечаю:

[1*] Далее зачеркнуто: “и Ребемоль”

[2*] Один из отвергнутых вариантов имени героини.

[3*] Зачеркнуто: “Ребемоль”

— Здравствуйте-с!.. Не в этом дело...

— Здравствуйте,— отвечает она,— и в чем же дело?

А сама все идет спокойнейшим манером, но я иду с ней рядом и спрашиваю:

— Ведь вы, надеюсь, меня узнали?

— Как же: предприимчивый Пумперлей, который больше всего любит одну вещь...

— Да, да, да-с! Позвольте, говорю: вот именно это касается одной вещи... Вы знаете, что после того, когда это было, у меня пропал бумажник...

— Ну!

— И в нем на тридцать тысяч бумаг!

— И дальше?

— Их не отыскали.

— Вот как!

— И знаете ли почему?

— Не знаю.

— Потому, что вы их взяли и увезли с собой... И еще я же за это мучился!.. Го-го-го! Но теперь я сам не тот дурак, который был...

Но она меня перебила и говорит:

— Вы ошибаетесь: вы и теперь совершенно такой же дурак, какой были тогда, когда вы думали, что такая женщина, как я, могу вам оказать внимание за корзину фруктов и мучение ехать с вами в одной карете.

И вдобавок она сказала Пумперлею, что она дорого заплатила помощнице, которая избавляла ее от его нежностей, что Пумперлея ужасно обидело:

— Такой цинизм,— говорил он,— я не мог стерпеть и сказал ей: вы забываетесь! Мое положение изменилось, и я могу быть вам опасен.

Но она рассмеялась и успокоительно отвечала:

— Нет; для меня вы во всяком положении были и есть противный дурак, и я вам из сострадания дам совет не попадаться мне на дороге, чтобы не разбудить во мне отвращения, которое во мне поднимается при воспоминании.

— Одной вещи! — досказал горделиво Пумперлей, торжествуя по поводу того, что он все-таки умел поставить такую умную и смелую женщину в какое хотел положение; но он ужаснулся, увидя, что прелестное лицо дамы страшно исказилось выражением муки, досады и презрения, и она сделала было от него шаг назад, а потом побледнела и сделала шаг вперед и уже не проговорила, а прошипела:

— Мерзавец! Ты не понял, что эта жертва была принесена для такого чувства, о котором ты не имеешь понятия! Но за то, что ты не умеешь ценить то, что судьба тебе бросила, и вспоминаешь о твоих пошлых деньгах,— не попадайся; ты будешь страшно наказан!

И с этим она плюнула ему в лицо и пошла дальше, а он,— как я видел и как написал выше,— плюнул вслед ей на землю, поднял вверх руки и побежал из сада.

Рассказав это мне неизвестно для чего и по каким побуждениям, Пумперлей не просил меня ни о каком секрете и тотчас по доведении истории до конца встал перед одним из многолюдных ресторанов и пошел туда, вероятно, не без готовности повторить рассказ о бывшем с ним происшествии еще одному, другому и третьему из людей, которые были к нему не ближе, чем я, и относились к нему не с большею аттенцией.

Пять лет жизни в этом отношении его еще не изменили.

XX

Прошли еще другие пять лет, в течение которых я опять нигде не сталкивался с Пумперлеем,— если не считать, что раз или два видел его проходящим или проезжающим. Стоял разгар сценического сезона, и в городе отличалися разом три театральные знаменитости. После одного затянувшегося спектакля я завернул с приятелем в солидный ресторан и увидал за другим столом между колоннами двух очень красивых и со вкусом одетых дам и с ними маленького брюнета с черными глазками. Это был Пумперлей; а кто были его дамы, я не знал, но, повторяю, собой они были совершенно приличны, и даже ком-иль-фотны, или даже более всего ком-иль-фотны. Одна была уже не молода, но чертовски хороша, в немецком роде Гольбейновской рыцарской дамы[35],— блондинка с превосходным овалом лица, темными глазами и полным, чувственным ртом, обещавшим много тому, кто умел понимать обещанья. Другая была "русская красотка" — свеженькая девушка, пожалуй, еще полудитя, сохраняющее в себе еще что-то институтское. Это была бутон, а та — отходящий розан, но в соображениях знатока эта последняя имела еще много достоинств, которые не побоятся соперничать с ароматами свежести.

Пумперлей их угощал, и угощал хорошо,— не скупо, а с роскошью и даже с неумеренностию, которая отнимала у их группы скромность и порядочность[1*]. Как только мы с приятелем заняли места у одного из столиков, Пумперлей тотчас же меня заметил и закивал мне головою и потом начал сообщать что-то обеим своим дамам, из которых гусыня слушала его без особенного внимания, а институтка устремила на меня глаза, и ее молодое личико покрылось румянцем. Очевидно, Пумперлей сообщал ей что-нибудь обо мне, и[2*] это находило себе подтверждение в том, что через минуту он потребовал два бокала, в которые молодая девушка стала наливать шампанское.

Как я это увидал, так меня бросило в краску от досады: я знал его неприятную привычку угощать знакомых посылкою налитого бокала вина и боялся, что он приготовляет теперь такую честь мне и моему соседу.

Конечно, я мог и ошибиться, но про всякий случай я сообщил об этом своему знакомому, который отнесся к моему предупреждению очень легкомысленно, сказав: "А что же! девочка, черт возьми, не дурна и, выпив вино, можно ей пожелать много лет здравствовать" А в это время лакей уже подавал нам бокалы, а Пумперлей улыбался и показывал на свою молодую даму как на виновницу посылки. Мне и моему товарищу оставалось подчиниться: и мы выпили, а Пумперлей ответил нам тем же, предварительно чокнувшись с обеими своими дамами, выпившими таким образом тост за наше здоровье, прежде чем мы знали: кто это такие.

Об их компании можно было думать, что это кузен с кузиною и с молодою племянницею, или антрепренер с первыми женскими сюжетами своей труппы. Но кто бы что ни придумывал, вряд ли кому-нибудь пришло бы на ум то, что это действительно могло быть. По крайней мере вполне несомненно то, что это было скрыто от великого большинства[3*] и потому,

---

[1*] Далее зачеркнуто: "и побуждала других соседних посетителей задумываться над тем, что же это за компания"

[2*] Далее зачеркнуто: "очень может быть, что это сообщение имело характер пошлости"

[3*] Далее зачеркнуто: "людей и могло быть доступно, прозрачно или ясно кому-нибудь немногим случайно. А так как мне было известно, каких особых положений в обществе доспел Пумперлей и каковы могут быть его дамы, то меня не занимал вопрос: кто они и что им нужно, а мне было любопытно видеть, каковы они и чем их можно отличать от прочих"

когда Пумперлей после тостов встал и направился к нам, я сказал своему соседу:

— Этот господин оставил своих дам и идет к нам. Его фамилия так-то. Он, очевидно, хочет, чтобы я его с вами познакомил и — я его знаю,— он так нагл, что может на этом настаивать и мне будет трудно ему отказывать...

А знакомый мой перебил и говорит:

— Да зачем и отказывать?

— Затем, отвечаю, что этот господин мне мало известен, или лучше сказать известен с такой стороны, что...

— Вы не берете на себя за него никакой ответственности?

— Да.

— Эка важность! Нынче на всяком месте их владычества. Я не боюсь, а дамы его любопытны, и вот сам он уже подходит.

Пумперлей в это время действительно подошел и сразу же попросил меня познакомить его с моим товарищем, и затем я не успел оглянуться, как устроилось так, что у одного из столов дуло и мы сидели вместе, ели фрукты, пили шампанское и перебрасывались мнениями о поездке на тройке.

Приятель мой казался человеком разгульным и совсем не выдерживающим искушений и сближался так скоро, что рука его быстро хваталась за пальчики институтки и даже делала движения обнять ее за талию.

Пумперлей это заметил и сказал:

— Господа, я возглашаю тост за людей, которые не теряют времени, которое может быть отдано любви. Дама эта была склонна подарить свое внимание литературе, но теперь она завоевана другим, и я пью за смелого завоевателя и желаю ему большого и скорого счастья.

Глупый тост был принят, а когда пили вино, Пумперлей нагнулся ко мне и спросил:

— Ну вы его, конечно, на мой счет, наверное, немножечко предостерегли?

— Да; — отвечал я,— я сказал, что знаю.

— Прекрасно! Значит, я тем спокойнее <могу> сбыть ему эту обузу. Пусть его их проводит и будет счастлив как может.

И действительно, через самое непродолжительное время вышло так, что господин, зашедший со мною в ресторан, поехал провожать дам, а Пумперлей, освободившись от этой "обузы", впал в свою любимую сферу умилительной откровенности и начал выражать мне свое "пресыщение жизнью"

— Все видел и все испытал,— говорил он, умиляясь и нежась с сигарой,— и все опротивело и надоело. И если вы спросите, что именно надоело, то я даже не мог бы сказать, потому что на что же я могу пожаловаться: я живу хорошо, и ничем не обременен, но от всех впечатлений вообще както несносно... Вы помните NN? — Он назвал человека, которого я знал и которого многие знали и считали "добрым малым" и "прекрасным товарищем", и когда я сказал, что этого человека помню, то Пумперлей продолжал: он недавно отравился. И отчего? Я это знаю. Это скрыто для общей публики, но я, разумеется, знаю: он вел двойную игру, и его замучила совесть, в которой он начал копаться. Это и неизбежно, но от совести иногда очень трудно уберечься. Поручение исполнишь, а оно стоит кому-нибудь жизни или на весь век свободы, и вот начните философию и вы пропали. Всех тверже те, которые крепко верят: эти покоятся и больше не думают. Что кто терпит, он того и достоин, но я так не верю... Фуй, фуй! ведь это же пустяки! Но я сделал зла меньше всех. Что вы так удивленно смотрите! Да; меньше всех или по крайней мере вообще меньше многих, потому что я из своей службы не делал великой тайны. Я сам различал, что важно и что не важно, и когда кто-нибудь оказывал неуважение ко мне, я думал себе: ну

ты, значит, дурак! Ты не уважаешь того, кто чист и не вводит тебя в искушение, а распустишь словесность с кем попало, не зная, что это и есть тот, кто поставлен наблюдать тебя во всех путях твоих[36]. Особенно дамы... особенно эти сирены...

И он начал мне говорить о сиренах[1*], о которых я тогда еще не знал ничего, а Пумперлей знал очень много. Если одна из них его когда-то погубила во цвете лет и запутала, то он нашел самым удобным для себя лечиться тем самым, чем он обжегся; и, обратившись к этому "средству жизни", узнал много и отмстил многим. Он знал весь "механизм" прекрасно, сообщал: как это просто делается? Летает свободна как птица милая девица, возросшая в приятной уверенности, что она рождена для любви и что где-то непременно есть уже человек, давно приуготовленный для того, чтобы она показала над ним свою силу. И вот этот заготовленный человек находится, и милая девушка отдает ему все, что она может отдать, и теперь хочет себе в свою очередь того, другого и третьего, и чего-нибудь или даже совсем ничего не получает. Это ее огорчает; она дуется, плачет, капризничает и, наконец, ревнует, и когда его нет, она бегает и его высматривает, а когда он приходит,— она запирается на ключ в своей спальне, и это помогает тому, что он уходит из дома незаметно и потом, наконец, совсем не возвращается... Она в отчаянии, но ее "держит гордость", и она "ищет места" Это, черт возьми, нелегко, и чаще всего совсем не удается. Доходит до петли или до распродажи своих ласк по рознице... То и другое страшно. По соседству, в "гарнишках" находится "добрая душа", которая ранее в свою очередь прошла через все такие испытания и, быв искушена в бедствиях, может помочь претерпевающей искушение. Раз, два она что-нибудь дает Абандоне[37]. Бог весть из каких средств она берет этот дар, но подносит его от чистого сердца. Потом у самой дающей является недостача, которая меньше мучит ее, чем ту, которой она оказывала вспоможения. Женщины ведь восприимчивы и нежны и притом они решительны, когда поймут, что это необходимо. Нуждающаяся стремится помочь той, которая помогла ей, и для того ей дают средства: случайное лицо ей указывает адрес должностного лица, которое оказывает помощь лицам, находящимся в затруднительном положении. Просить об этом нимало не унизительно и не трудно потому, что лицо это дает не свои деньги: это его обязанность,— в этом заключается его назначение. Она идет и получает нечто и при этом убеждается, что процедура получения не сложна и не страшна. Даже становится как-то тепло и весело: точно пришла к доброму дяде, и тот, ни слова не говоря, выдвинул столик и дал... Правда, не очень много, но не то, чтобы очень уже мало, а именно четвертной билет, т.е. 25 рублей. В другом месте и этого не дадут ни за что и ни про что; а тут именно ни за что и ни про что. Даже насчет "милых глаз" не пошалили. Добрый дядя! Из полученных в первый раз денег получательница отдает долг, и потом она живет неделю и опять видит себя в такой же самой нужде, и опять занимает, потом опять идет туда же и просит. Ей это страшно совестно, но делать нечего: она просит, и ей дают, и это идет еще и еще раз, пока доходит до того, что она попросит, а ей не дадут. И тут отчаянью нет меры и нет никаких средств себе помочь, а ее научают "идти еще", и она идет, и ей в самом деле дают, но говорят, что за это надо исполнить

[1*] Далее зачеркнуто: «которые, так сказать, вовлекли его в "эту службу" и дали ему в ней жизнь и положение, благодаря коим».

маленькое и притом невинное поручение. Она его исполняет, и за первым шагом следует второй и так далее,— она у пристани "желаний жарких": у нее есть черное шелковое платье, хорошее пальто, шляпа по сезону и зонтик, она смотрит драмы в театрах, слушает концерты и интригует в маскарадах. И потом она идет, и жизнь ее тянется этим путем, с которым ей расстаться уже нельзя, и она стареет, и ей, как Наине, поют: "Скажи, кто ты!?"[38]. И вот этим двум, которых он проводил и с которыми стравил нашего общего друга, тоже надо петь: "кто ты?", или уже не надо этого петь, а надо чувствовать издали их убийственное приближение;

ПРИМЕЧАНИЯ

В конце 1880-х — начале 1890-х годов Лесков не раз возвращался к мысли написать литературные воспоминания. О них он заговаривал в письме к А.С.Суворину от 7 декабря 1889 г.: «...напишу <...> для X тома статью "О себе самом" — по существу, мои литературные воспоминания, которые могут быть интересны и могут вызвать толки» (XI, 443). Об этом Лесков писал и А.Ф.Марксу 25 сентября 1890 г. (см. выше примечания к рассказу "Соляной столб").

Подступом к задуманным воспоминаниям, видимо, и является цикл "Памятные встречи", в который вошли рассказы "Соляной столб" и "Пумперлей" (в комментариях к XI тому *СС* уже высказывалось предположение, что именно "Памятные встречи" являются попыткой осуществить задуманные "литературные воспоминания" — см. XI, 744). Авторское предисловие к "Памятным встречам" свидетельствует, что первоначальный замысел чисто "литературных воспоминаний" оформился в итоге в мемуарный цикл очерков о людях, в разное время знакомых автору и по-своему характеризующих эпоху с 1860-х по 1890-е годы.

Время работы над незавершенным и до сих пор остававшимся неопубликованным рассказом "Пумперлей" предположительно определяется письмом к В.А.Гольцеву от 19 октября 1893 г.: «Рассказ для "Русской мысли" пишу; называется он "Пумперлей", а по роду своему составляет полубыль. Думаю, что через две недели он будет готов» (Памяти В.А.Гольцева. Сборник статей. М., 1910. С. 251). В "Русской мысли" рассказ не появился. Работа над "Пумперлеем" могла быть начата и значительно ранее — на рубеже 1880—1890-х годов. Не исключено, кроме того, что Лесков, часто "подставлявший" идентичные заглавия для различных произведений, в письме к Гольцеву имел в виду какой-то другой рассказ. Так что определить время работы над "Пумперлеем" можно лишь предположительно. По крайней мере, замысел рассказа возник не ранее 1883 г., в начале которого Лесков познакомился с Петром Львовичем Розенбергом, послужившим прототипом главного героя.

Первое появление П.Л.Розенберга в доме Лескова сын писателя передает следующим образом: «В начале 1883 года в кабинете Лескова появилась почти карикатурная фигурка: очень маленький, крикливо одетый брюнетик, с бритой верхней губой, черной, "метелочкой", бородкой и ежиком остриженными конскими волосами». П.Л.Розенберг представился Лескову "как доверенный барона Зака, барона Г.О.Гинцбурга и прочих виднейших представителей столичной еврейской общественности. Себя он назвал кандидатом прав Казанского университета <...> От имени пославших его он передал просьбу составить записку по вопросу о положении евреев в России" (*Жизнь Лескова.* Т. 2. С. 226). На одном из экземпляров книги "Еврей в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу" (СПб., 1884), сохранившемся у А.Н.Лескова, рукой писателя было помечено, что автором книги был сам Лесков, а "представил ее к печати некий Петр Львович Розенберг, который отмечен ее фиктивным автором" (Там же. С. 227; см. также: *Аннинский Л.* Лесков, читаемый сегодня // Лесков Н.С. Еврей в России. Несколько замечаний по еврейскому вопросу. М., 1990. С. 4).

П.Л.Розенберг — автор романа "Семья Колодиных" (СПб., 1885) — упомянут Лесковым в письме А.С.Суворину в марте 1886 г. (См.: XI, 311). Умер П.Л.Розенберг в 1899 г.

Очевидно, П.Л.Розенберг, к которому Лесков, по свидетельству его сына, сначала питал "расположенность", затем "с трудом уже его терпел, а в начале июня <18>88 г., не стерпев, выгнал" (*Жизнь Лескова.* Т. 2. С. 535—536), настолько заинтересовал писателя, что он пытался написать его портрет несколько раз: в рассказах "Московские воры и университетский студент", "Живые растения" и "Пумперлей" (то, что П.Л.Розенберг является прототипом главного героя в рассказах "Пумперлей" и "Московские воры и университетский студент", отмечено также А.А.Гореловым в комментариях к *Жизни Лескова* — см. Т. 2. С. 535—536).

Сюжетные параллели между "Живыми растениями" и "Пумперлеем" позволяют предполагать, что оба эти рассказа являются различными попытками воплотить общий замысел, а образы главных героев восходят к одному и тому же прототипу. Созвучны их имена — Помпон и Пумперлей. Каждому из них Лесков придал черты портретного сходства с П.Л.Розенбергом: Помпон похож на "пирамидального лилипута", "у него черная головка и румяное лицо с беспокойно бега-

ющими черными глазками”; у Пумперлея — “миниатюрная фигурка юркого и шустрого человека”, он — “маленький брюнетик”

В характерах и образе жизни этих персонажей подчеркиваются одни и те же черты: невежество, бесстыдство, самодовольство и самоупоенность. Так, Помпон “скверно учился <...> ничего не усвоив, вышел в адвокаты <...> мог говорить очень много и долго обо всем <...> и говорил тем смелее и свободнее, чем слабее и хуже понимал дело” Пумперлей, также бывший адвокатом, “мог говорить без умолку и на какую угодно тему <...> голова у него была плохая, но смелость неодолимая”.

Помпон постоянно занимался собою. “Он холил себя, наряжал себя, выводил себя на прогулки” Пумперлей «начинал свой день с осмотра своей амуниции <...> и, любуясь сам собою, сходил с лестницы “великолепно”». Помпон носил “шинель альмавивою”, Пумперлей выходил “в альмавиве с широким бархатным подбоем” Помпон “не был несчастлив у женщин”, но “ни верности, ни ревности ни в каких отношениях с женщинами не понимал”, что было и одной из наиболее характерных черт Пумперлея.

Единство замысла подчеркивает и то обстоятельство, что Лесков называет Помпона “выжигой” Один из первоначальных вариантов заглавия рассказа “Пумперлей” — “Выжига”

Работа над “Живыми растениями” хронологически, видимо, предшествовала “Пумперлею”, т.к. последний является более полным и развернутым воплощением этого замысла: сюжет рассказа доведен почти до финала, психологически прорисован тип главного героя, сам текст значительно перерабатывался, правился, дополнялся.

Очевидно, не только образ главного героя, но и сам сюжет “Живых растений” как бы предваряет “Пумперлея”. “Живые растения” обрываются на пороге знакомства Помпона с некой женщиной. Обстоятельства их встречи во многом совпадают с аналогичным эпизодом в “Пумперлее”: начиная со времени года (“был погожий весенний день”) и заканчивая местом (Помпон “стоит у картинного магазина и рассматривает выставленные в окнах литографии и гравюры” Ср. — “магазин эстампов” в “Пумперлее”). Рассуждение о “приемах” Помпона, благодаря коим он мог заговорить “решительно со всякою женщиною”, позволяет предположить, что далее в тексте должен был последовать эпизод, соответствующий знакомству Пумперлея с “траурной кокеткой” В “Живых растениях” упоминаются также мечты Помпона о том, чтобы “несколько прекрасных женщин вместе и зараз его любили и ласкали <...> И вдруг много баловавшая Помпона судьба послала ему и это желанное счастье” Вероятно, сюжет должен был развиваться в том же направлении, что и в “Пумперлее”, и в дальнейшем предполагалась сцена, сходная с эпизодом пребывания Пумперлея в доме Ирины Петровны и Алины.

Таким образом, рассказ “Пумперлей” отчасти позволяет реконструировать предполагаемый сюжет “Живых растений”, поскольку является более полной и развернутой реализацией того же или близкого замысла.

Характерно, что при очевидном портретном сходстве главных героев этих произведений с Розенбергом, Лесков не акцентировал в обоих случаях их семитской внешности.

Сын писателя указал также в примечаниях к рассказу “Пумперлей”, что прототипом одного из персонажей — Balthasar’a — был Болеслав Михайлович Маркевич (1821—1884), беллетрист, с 1866 г. чиновник особых поручений в Министерстве народного просвещения, откуда он был уволен за взятку в конце 1874 г. Близкий знакомый Лескова на протяжении многих лет, Маркевич в разное время характеризовался писателем как “заносчивый хлыщ” (*Жизнь Лескова*. Т. 1. С. 356), “Лакевич” (Там же. Т. 2. С. 183), “метрдотельски наглый” (Там же. Т. 1. С. 411), и даже как “душа мелкая и ничтожная” (X, 379). Дополнительные аргументы в пользу предположения А.Н.Лескова о Маркевиче как прототипе Balthasar’a см. в примеч. 13, 31.

Текст рассказа, хранящийся в РГАЛИ (Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 57), дошел до нас в виде нескольких фрагментов, отражающих разные этапы работы писателя над замыслом. Хотя в конечном итоге они были сведены Лесковым воедино, следы незавершенности и несогласованности некоторых деталей, иногда частей предложения остались (так, в XV-й главе говорится о пропаже 40 тысяч рублей, в XIX-й главе фигурируют уже 30 тысяч). Мы располагаем первыми пятью главами рассказа, написанными (скопированными, вероятно, с чернового автографа) неизвестной рукой и густо — в несколько слоев, разными чернилами — правленными Лесковым: в итоге этой правки текст первых пяти глав оказался по сути заново написанным. Кроме того, до нас дошел черновой автограф трех последних (с XVIII по XX) глав, содержащий множество исправлений, вычеркиваний и вставок на полях. Наконец, сохранилась копия почти всего текста, сделанная рукой другого переписчика и тщательно правленная Лесковым (в частности, здесь впервые появляется эпиграф). Причем эта копия сделана с промежуточного, не дошедшего до нас текста, поскольку в нее включено предисловие, написанное рукой копииста, но неизвестное по другим сохранившимся фрагментам. Здесь, однако, отсутствуют последние три (с XVIII по XX) главы рассказа, публикуемые по черновому автографу. Не исключено, что рассказ был завершен Лесковым, но финал утрачен, поскольку последняя фраза автографа располагается в самом конце страницы и заканчивается точкой с запятой.

Сохранились также две машинописные копии — главы с I по V (содержат пометы А.Н.Лескова, раскрывающие прототипы некоторых героев) и главы с I по XX (машинопись содержит ряд неточных прочтений).

"Пумперлей", видимо,— исходное название рассказа, которое Лесков на каком-то этапе работы отбросил, а затем к нему вернулся. Заголовок первого из дошедших до нас фрагментов (главы I—V) написан рукой переписчика, затем зачеркнут, и рукой Лескова сверху вписано "Выжига" Затем название "Выжига" зачеркнуто черными чернилами, и теми же чернилами еще выше вписано "Памятные встречи", и опять зачеркнуто. В последующей авторизованной копии рассказ называется "Памятные встречи. Пумперлей" Вероятнее всего, писатель остановился именно на этом варианте названия; написанное рукой копииста, оно уже больше не изменялось Лесковым, хотя в саму рукопись он продолжал вносить дополнения и исправления.

Самой существенной переработке подверглось начало рассказа. В исходном варианте и рассказчик, и лично знакомый ему главный герой представлены достаточно обобщенно ("мы знали одного юриста..."). Правка Лескова существенно конкретизирует образ главного героя и раздвигает хронологические границы сюжета, т.к. в него включается рассказ о детстве и юности Пумперлея. В дальнейшем конкретизируется и образ рассказчика, хорошего знакомого жены Пумперлея, почти случайно оказавшегося собеседником главного героя.

Все лесковские вставки, исправления и дополнения преимущественно конкретизируют смысл происходящего, либо делают его более рельефным и красочным. Так, значительную трансформацию претерпевает рассказ о двух скандальных историях, случившихся с Пумперлеем,— о дуэли и о соблазненной девушке, а также эпизоды, посвященные разрыву Пумперлея с женой и попытке его примирения с нею. В результате правки были сокращены значительные фрагменты текста, а суть происшедшего, как правило, передана всего несколькими лаконичными фразами, укрупняющими изображение. Сохранены лишь немногие характерные и психологически точные детали.

Часть рассказа, описывающая встречу Пумперлея с "траурной кокеткой", была переработана не менее существенно, чем его начало. Исходный вариант текста показывает, что Лесков предполагал начать историю о встрече Пумперлея с Ириной Петровной сразу с эпизода у магазина эстампов, от которого Пумперлей и отправился в ее фотографическое ателье. Глава VI начиналась словами: "Один раз около трех часов довольно погожего дня он остановился у картинной выставки магазина эстампов на Невском у Адмиралтейской площади и начал разглядывать картины, стараясь, разумеется, заглядывать..." (л. 3 об.) — на этом фрагмент обрывается. В дальнейшем "магазин эстампов", у которого "траурная кокетка" садится в наемную карету Пумперлея, появляется только в XII главе. А глава VI в новой редакции начинается словами: «Пумперлей, чем бы ни был он занят и что бы ни намерен был предпринимать,— всегда главным делом своего бытия почитал "игру с женским сердцем"».

Таким образом, эпизоду с поездкой Пумперлея к "траурной кокетке" теперь предшествует несколько новых глав (VI—XII), включающих в себя рассуждения Пумперлея о любви и о женщине, рассказ о rendez-vous Balthasar'а с "траурной кокеткой" на квартире у Пумперлея, описание "вылета" "траурных кокеток" и характерных приемов Пумперлея при знакомстве с ними, и, наконец, рассказ о второй встрече Пумперлея с Ириной Петровной в саду.

Лесковской правке подвергся также и эпиграф из Боккаччо, что еще раз дает возможность увидеть, насколько свободно Лесков обращался с цитатами (см. об этом: *Майорова О.Е.* "Непонятное" у Н.С.Лескова. О функции мистифицированных цитат // Новое литературное обозрение. 1994. № 6. С. 59—66). Приведем здесь эпиграф с вычеркнутыми фрагментами, отражающими характер работы писателя: "Мне напрашивается рассказ о вещах бедственных, смешанных с любовными, выслушать [прочесть] о которых [может быть] будет не бесполезно тем, [которые] кто странствует по небезопасным юдолям любви. [где случается находить плохой приют при отличной постели]" В 1891—1892 гг. был издан перевод "Декамерона", сделанный академиком А.Н.Веселовским. В переводе цитата выглядит следующим образом: "Прекрасные дамы, мне напрашивается на рассказ новелла о вещах святых, смешанных отчасти с бедственными и любовными,— новелла, которую, быть может, будет небесполезно выслушать, особливо тем, которые странствуют по небезопасным юдолям любви, где часто случается, что, кто не прочел молитвы св. Юлиану, находит плохой приют и при удобной постели" (*Дж. Боккаччио*. Декамерон. М., 1891. Т. 1. С. 77).

О том, что это издание было хорошо известно Лескову и памятно ему, свидетельствует его письмо к В.А.Гольцеву от 11 марта 1894 г.: «Прошу Вас об услуге: нельзя ли мне получить от Кушнарева (конечно, за деньги, только не за анафемские) экземпляр "Декамерона" без выпусков, сделанных ради русского пуризма? Или об этом надо просить Веселовского?» (XI, 579—580) — Лесков хотел приобрести один из тех ста экземпляров, которые были напечатаны без пропусков некоторых эпизодов (XI, 790). Таким образом, осенью 1893 г., когда писатель работал над "Пумперлеем", "Декамерон" явно входил в круг свежих читательских впечатлений.

Возможно, введение именно этой цитаты обусловлено некоторыми общими мотивами в сюжете новеллы и лесковского рассказа. Новелла повествует о том, как "Ринальдо д'Асти, будучи ограблен, прибыл в Кастель Гвильельмо, где находит приют у одной вдовы и, вознагражденный за свои

потери, возвращается домой здрав и невредим" (Там же. С. 77), т.е. мотив ограбления и ночи, проведенной с некой вдовой, является общим для обоих текстов — при том, что в "Пумперлее" он приобретает, по существу, противоположное значение.

Роль "прекрасной вдовы" в лесковском рассказе несколько загадочна. Возможно, она является тайным агентом полиции, и, естественно, над ней не имеет власти пристав, который говорит Пумперлею: "мы их не отпускаем и не можем удерживать. Это особы особенные..." (гл. XVI). Она могла быть и доверенным лицом какого-либо высокопоставленного чиновника или выполнять какие-то иные поручения.

В одной из немногих статей, посвященных "Пумперлею", высказывается предположение, что "траурная кокетка" могла иметь отношение к деятельности "Священной дружины", бывшей широко известным фактом русской жизни 1880-х годов (*Чуднова Л.Г.* Неопубликованный рассказ Н.С.Лескова "Памятные встречи. Пумперлей" // Уч. зап. Ленинградского гос. пед. ин-та им. А.И.Герцена. Кафедра русской литературы. Т. 198. Л., 1959. С. 227). "Священная дружина" представляла собой антиреволюционное тайное общество "с задачами добровольной охраны <...> нового государя" (*Богучарский В.Я.* Из истории политической борьбы в 1870-х и 80-х гг. М., 1912. С. 270), и, по замечанию П.А.Валуева, "под влиянием неумелых, легкомысленных и тщеславных вожаков дела графа Воронцова, графа Шувалова и пр. <...> обратилась в соперника государственной полиции и приняла тип бывшего III отделения по части разных доносов и сплетней" (*Валуев П.А.* Дневник. 1877—1884. Пг., 1919. С. 166).

С разоблачением "Священной дружины" выступал М.Е.Салтыков-Щедрин, выведший ее, в частности, в третьем из "Писем к тетеньке" под названием "Общества частной инициативы" Будучи запрещенным цензурой, письмо широко распространялось в списках и было напечатано в "Общем деле" (Общее дело. Женева, 1881). Деятельность "Священной дружины" подразумевается им в "Современной идиллии" (*ОЗ.* 1883. № 1). "Дружина" была закрыта по личному распоряжению Александра III. Разумеется, все эти факты не могли быть не известны Лескову и не могли не привлечь его внимания. С сюжетом "Пумперлея" вполне согласуется и то обстоятельство, что «"Дружина" и жандармская полиция не сотрудничали, а конкурировали» (*Богучарский В.Я.* Цит. соч. С. 312).

Рассказ "Пумперлей" органично вписывается в ряд таких произведений 1890-х годов, как "Административная грация", "Зимний день" и "Заячий ремиз" Сохранившиеся тексты не позволяют сколько-нибудь однозначно судить о причинах, по которым "Пумперлей" не появился в печати. Возможно, Лесков не напечатал этот рассказ из опасений встретить серьезные цензурные затруднения.

[1] Это слово впервые, вероятно, употреблено Лесковым в 1871 г. в повести "Смех и горе" (III, 402) — не как прозвище, а как эпитет, в значении "пузан" (III, 619). В публикуемом рассказе это прозвище тоже отчасти связано с внешним видом героя, т.к. дано ему "за его миниатюрность" (возможна связь с "pumperlgesund" — пышущий здоровьем (*нем. разг.*), "pumpernickel" — пышка, толстушка (*нем. разг.*).

[2] Неточная цитата из второй новеллы второго дня "Декамерона" Дж. Боккаччо. (*Дж. Боккаччо.* Декамерон. М., 1891. Т. 1. С. 77).

[3] Лесков имел в виду известную сцену из "Ревизора" (д. 4, явл. 15).

[4] Т.е. в начале 1860-х годов, в эпоху реформ.

[5] Начало судебной реформе положил указ от 20 ноября 1864 г. об обнародовании новых судебных уставов. После издания указа около двух лет продолжались подготовительные работы по введению новых уставов в действие. 17 апреля 1866 г. открылись новые суды в Петербурге, 23 апреля — в Москве и вслед за тем во всех губерниях округов петербургской и московской судебных палат. Таким образом, адвокатская деятельность Пумперлея приходится на середину 1860-х годов. О введении новой судебной системы в провинции и о том значении, которое придавал Лесков этой реформе, см. также в наст. томе хронику "Божедомы"

[6] Видимо, вкрадчиво, ползком (*Даль.* Т. I. С. 305).

[7] Имеется в виду сказочный персонаж, конь-колдун.

[8] Речь идет о героине повести И.С.Тургенева "Ася" (1858), об Ольге из "Евгения Онегина", а также, вероятно, о Наталье Ласунской из романа Тургенева "Накануне" (1860). Лесков, вероятно, обыгрывает слова Натальи Ласунской: "Так возьми ж меня,— прошептала она чуть слышно..." (*Тургенев.* Т. 8. С. 131); Ср. также реплику Аси: "— Ваша... — прошептала она едва слышно" — "Ася" (Там же. Т. 7. С. 112).

[9] Неточная цитата из "Евгения Онегина" (гл. III, XXXII).

[10] Неточная цитата из стихотворения Н.А.Некрасова "Убогая и нарядная" (1857).

[11] А.Н.Лесков считал, что здесь писатель имел в виду Владимира Петровича *Мещерского* (1839—1914), издателя газеты "Гражданин" (с 1872 г.), с которым писатель часто полемизировал в 1880-е годы (см. помету А.Н.Лескова на машинописной копии "Пумперлея" — *РГАЛИ.* Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 47 об.). Не исключено, однако, что здесь подразумевался Б.М.Маркевич (см. о нем примеч. 13).

[12] В архиве Лескова сохранился недатированный фрагмент "Из воспоминаний о генерале Селиверстове" (*РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 98). В нем писатель обращает внимание на публикацию в "Волжском вестнике" воспоминаний "об убитом в Париже генерале Селиверстове за то время, когда он был в Пензе губернатором, в шестидесятых годах" (Л. 1). Речь идет о генерал-майоре Николае Дмитриевиче *Селиверстове*, пензенском губернаторе в 1868—1871 гг.

[13] По мнению А.Н.Лескова (*РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 47 об.), прототипом Ladislas'а (в дальнейшем, с VI главы,— Balthasar'а) является Болеслав Михайлович Маркевич (см. о нем подробнее в преамбуле к примечаниям). Имя Ladislas отсылало читателя к роману И.С.Тургенева "Новь" (1877). Как указал Тургенев в "Формулярном списке" и других подготовительных материалах к "Нови", Маркевич был одним из прототипов Калломейцева (*Тургенев*. Т. 12. С. 514). Но он также послужил прототипом и другого персонажа — друга Калломейцева, о котором известно, что он "собирается написать роман из большого света" и поместить его в "Русском вестнике" (Там же. Т. 12. С. 40).

А.Н.Лесков совершенно точно раскрыл прототип героя, что подтверждается рукописью. В одной из вставок на полях, сделанных рукой Лескова, прямо назван Маркевич. Затем имя его зачеркнуто и исправлено на Ladislas (Л.3).

При описании генерала Селиверстова писатель обыграл эпизод, также связанный с именем Маркевича: "...генерал Селиверстов с Пумперлеем говорил ласковей и даже подал ему раз не один, а два пальца" По воспоминаниям А.Н.Лескова, встретив в доме писателя генерал-майора А.П.Щербатова, «упоенный своей блистательностью царедворец <...> милостиво протянул Щербатову два пальца <...> Почтительно склонясь и приняв двумя же пальцами <...> только один палец Маркевича, он <...> самоуничижительно произнес: "О, вы слишком щедры! Такому маленькому человеку, как я, и одного вашего пальца слишком достаточно!"» (*Жизнь Лескова*. Т. 1. С. 412). Через два десятилетия Лесков, по словам его сына, «никогда не забывавший этот "пассаж" у Таврического сада» (Там же), упомянул его в "Мелочах архиерейской жизни": "Есть чем стесняться? Суньте два пальца вместо руки — вот и сановник. Неужели у вас на это образования недостанет?.." (VI, 611). Сходный эпизод см. в хронике "Захудалый род" (V, 109).

[14] Прототипом этого персонажа, вероятно, является поэт Алексей Николаевич *Апухтин* (1840—1893).

[15] Вероятнее всего — Владимир Петрович *Бегичев* (1828—1891), драматург-переводчик, с 1864 г. — инспектор репертуара московских императорских театров, в 1881—1882 гг. — управляющий императорскими театрами в Москве, хороший знакомый Лескова.

[16] Стихотворение Пушкина "Царь Никита и сорок его дочерей" (1822).

[17] См. "Евгений Онегин", гл. I, XXXII (также XXVIII—XXXIV) и гл. III, XXVII—XXVIII.

[18] Т.е. кошельком, бумажником.

[19] Подразумевается учение А.*Шопенгауэра* (1788—1860) о любви как о неудержимом инстинкте, стихийном влечении к продолжению рода, при котором любящий выступает лишь слепым орудием "гения рода"

[20] Кто имеется в виду — не ясно. Возможно, подразумевается кто-то из самых высокопоставленных государственных лиц, вплоть до императора. В черновом автографе использованы и другие условные имена, например, "Ребемоль", "Сепия" по отношению к "траурной кокетке"

[21] Вероятно, имеется в виду компания "Мюр и Мирелиз"

[22] *Ричард III* (1452—1485), король Англии с 1483 г. Леди Анна Уорик стала женой Ричарда, убившего ее отца и мужа.

[23] Род насекомых, принадлежащий к семейству тлей или травяных вшей. Широко распространенная как в Америке, так и во всех странах Европы, в России филлоксера появилась с конца 1870-х годов в Крыму.

[24] *Мак-Магон* Мари Эдмонд Патрис Морис (1808—1893) — французский государственный деятель; во главе армии версальцев подавил Парижскую коммуну в 1871 г.; президент Франции в 1873—1879 гг. Возможно, Лесков подразумевает тот факт, что в январе 1879 г. Мак-Магон, после безуспешной борьбы с республиканским большинством в палате депутатов, вышел в отставку и с тех пор жил в своем замке около Монтаржи.

[25] Т.е. с вензелем, с вензелевым изображением имени императрицы.

[26] *Исайя*, 26:10.

[27] Вероятно, Лесков цитирует "Афоризмы и максимы" А.Шопенгауэра в переводе Ф.В.Черниговца (Вишневского), хорошего знакомого писателя: "Никогда не следует упускать из виду, что характер человека неизменен" (СПб., 1891. Т. 1. С. 223—224), "характер человека неисправим. Все деяния его истекают из внутреннего принципа, в силу которого он, при одинаковых обстоятельствах, должен поступать одинаково и иначе не может" (Там же. С. 251) и др. В музее Лескова в Орле сохранился второй том этого издания с многочисленными пометами Лескова (см. *Жизнь Лескова*. Т. 2. С. 561).

[28] См. выше незавершенный рассказ Лескова "Прозорливый индус" и комментарии к нему (примеч. 5, 6). Приведенное в тексте название аллегорического романа Буниана не совпадает с названием перевода Ю.Д.Засецкой ("Путешествие Пилигрима в небесную страну"). Возможно, Лесков контаминирует его с переводом конца XVIII в., сделанным с французского: "Любопытное

и достопамятное путешествие Христианина к вечности чрез многие приключения с разными странствующими лицами правым путем..." (М., 1782. Ч. 1—2).

29 *Притчи Соломоновы,* XXVI: II.

30 Имеется в виду пародирующий орденскую грамоту "диплом" на звание рогоносца, который был получен Пушкиным по почте 4 ноября 1836 г.

31 Об этой характерной привычке Б.М.Маркевича Лесков, в частности, упоминал в письме к А.С.Суворину от 30 сентября 1887 г.: "Маркевич <...> имел удивительно округленные окорока, по которым умел при разговоре громко хлопать себя ладонями" (XI, 350).

32 Речь идет о сцене "Торжествующая свинья, или Разговор Свиньи с Правдою", вошедшей в VI главу очерков М.Е.Салтыкова-Щедрина "За рубежом" (1881) (См. *Салтыков-Щедрин.* Т. 14. С. 200—202). Открывающая комментируемый абзац характеристика Пумперлея — "готов что-нибудь счавкать" — звучит как явная цитата из этой "сцены", где Свинья с "чавканием" поедает Правду. Тот же образ встречается и в "Письмах к тетеньке": "Захрюкает вдруг свинья или кто-нибудь из подсвинков и поросят — и сразу победят. Налгут, наябедничают и, не вызвавши возражений, потонут в собственном навозе" (Там же. Т. 14. С. 279; об ориентации Лескова на творчество Салтыкова-Щедрина в публикуемом произведении см.: *Анкудинова* О.В. Проблема безнатурного человека в неоконченных рассказах Н.С.Лескова "Пумперлей. (Памятные встречи)" и "Бытовые апокрифы" // Вопросы русской литературы. Вып. 2 (38). Львов. 1981).

33 Подразумевается служба Пумперлея в качестве тайного агента полиции.

34 О необходимости одному из супругов «принять на себя "вину"» для того, чтобы добиться развода,— см. в наст. книге статью Лескова "Бракоразводное забвение. (Причины разводов брачных по законам греко-российской церкви)", а также публикацию "Неизвестные статьи Лескова по брачному вопросу"

35 *Гольбейн* Ганс Младший (1497 или 1498—1543), крупнейший мастер немецкого Возрождения; с 1536 г. — придворный художник английского короля Генриха VIII.

36 *Псалтирь,* 38:2. Ср. также *Псалтирь,* 31:8.

37 Т.е. покинутой (от франц. abandonner — покидать). Ср. в повести "Юдоль": "Несчастная абандона коротала дни одинокая" (IX, 253).

38 Имеется в виду сцена из оперы М.И.Глинки "Руслан и Людмила" (1842).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЖИВЫЕ РАСТЕНИЯ[1*]

Все растения поддаются культуре.

Шлейден[1]

АСТРЫ-КОМЕТЫ И ПОМПОН[2*]

Астры-кометы: форма их отличается от всех других цветов этой породы. Они бодры и долго не увядают. *Помпон.* Карликовая разновидность.— Недурен в букете.

Каталог семян

I

Помпон родился в медицинской семье. Отец, осмотрев череп новорожденного, нашел в нем что-то особенное. Можно было думать, что из него выйдет дурак. Вышло из него, однако, нечто гораздо более сложное и интересное. При изрядной врожденной глупости Помпон имел ширь воображения и такой смелый полет фантазии, что в нем стали ожидать поэта. Он скверно учился, был несколько раз переводим из школы в школу и, ни в одной ничего не усвоив, вышел в адвокаты. Он имел ученую степень и

1* Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Комментарии Н.Н.Старыгиной.

2* Возможно, Лесков задумал серию очерков под общим названием "Живые растения", чем и объясняется соседство двух заглавий: "Астры-кометы и помпон" были задуманы, вероятно, как первый очерк в цикле..

ровно никаких познаний. Это тогда было можно и широко практиковалось. Он мог говорить очень много и долго о всем, о чем бы ни зашла речь, и говорил тем смелее и свободнее, чем слабее и хуже понимал дело. Речей своих он никогда ни одной не мог припомнить даже приблизительно, но его товарищи по профессии их воспроизводили и помирали над ними со смеху. Речи эти, однако, не были скучны, потому что они были уже до того безмерно глупы, что вызвали протест со стороны современного сурового органа печати. Помпону не в пример прочим была запрещена практика, и это послужило поводом к тому, что он прослыл дельцом и деньги изобильно потекли в его просторные карманы.

Клиенты его делились на две категории: плуты и дураки. Он брался за все и буквально не делал ничего. Зато он постоянно занимался собою. Он холил себя, наряжал, выводил себя на прогулки, везде и всем рассказывал о том, что он ел и с какою дамою обращался, и в этом проводил время. Надо было десять лет такой жизни, чтобы в обществе, обладающем критицизмом, поняли, что Помпон — не только дурак, но и совершенный бездельник и выжига.

Прекрасной половине человеческого рода он и в этой поре своей жизни представлялся еще не ясным. К стыду женского пола Помпон не был несчастлив у женщин. Этому много помогало то особенное чувство, которое дается ограниченным людям, как инстинкт животному: Помпон умел различать, что он может сорвать и бросить. Вокруг гадкого корени его карликовой разновидности валялись увядшие лепестки бегоний, левкоев, петуний, триколеров и Frimardean. Душистый горошек и Бронзовый принц смотрели на эту ощипь и качали головками, а мак Данеброг пламенел от гнева и досады, что никто: ни Ноготки, ни Скабиоза, ни одуванчики, ни исполинская Ферула,— не сойдут с места и не намнут хорошо вихор Помпону, но дело все оставалось в прежнем счастливом для Помпона положении. Корни его даже получили от скопившегося перегноя усиленное питание: он расцвел, опушился бархатом и накинул глазом большую[1*] Манго, зеленомясую дыню с яблочным запахом.

Она катилася по саду — он ей стал на дорожке, и отсюда произошел анекдот, вследствие которого у Помпона явились свободные тысячи под легким обязательством. Он оделся весь в цвет и потянулся до того, что стал похож на Пирамидального Лилипута.

Дыню Манго он вышвырнул, и воробьи стали ей наклевывать ребра.

Помпон от нее отвернулся.

II

Это была самая лучшая эпоха Помпона. Теперь никто не разбирал,— что он больше плут, или больше дурак. Никакой прессе не было до него никакого дела, никаких его речей товарищи не пересмеивали; он ездил к коекаким знакомым, рассказывал, что он ел сегодня и что заказал изготовить завтра, а в остальное время совершал свое течение, всегда пешком, с изящным зонтиком, в изящной шляпе и в перчатках цвета "львиного зева" Он шел и смотрел на всех, и на него иные смотрели. Это было его главное и безопасное занятие.

Ежедневная обязанность его была побеждать по меньшей мере два сердца и бросить им за то щепотку выпущенных из дыни семян. Ни верности, ни ревности ни в каких отношениях с женщинами не понимал, и хотя не

[1*] Далее зачеркнуто: "самую янтарную дыню"

встречал недостатка в дамах соответственного на этот счет чувствительного стеснения, но по широте своей фантазии неустанно стремился отыскать большее и в своем роде совершеннейшее.

— Вы понимаете,— говорил он встречному и поперечному,— все это так надоело, потому что все так обыкновенно и одно на другое похоже... Чуть только что-нибудь случится, как сейчас с их стороны начинается песня про верность и ревность... Как это скучно и глупо. И главное, что все это вздор: ничего этого в сущности самим им не надо, а между тем это жизнь портит... портит все, чего можно достигнуть при полном равенстве и уважении, если бы мы были как товарищи.

Под словом "товарищи" Помпон разумел, чтобы несколько прекрасных женщин вместе и зараз его любили и ласкали, и были ему преданы телом и душою, и не ревновали его друг к другу, и не требовали бы от него ничего, кроме щепотки дынных семян, выпущенных из зеленомясой Манго с яблочным запахом.

И вдруг много баловавшая Помпона судьба послала ему и это желанное счастье, которого ему не доставало.

III

Был погожий весенний день. Город тронулся на дачи, но население еще было густо. Видны еще хорошие экипажи и хорошие наряды. На улице движение и много лиц, оживленных веселым дыханием весны.

Помпон идет в новой шляпе и в шинели альмавивой, которая при его маленьком росте придает ему нежеланный вид регента из архиерейского хора. Другие, впрочем, чаще принимают его за американского зубного врача.

Припоминаю, что я не описал его наружности: он мал ростом так, что не годился бы в гарнизонные цирульники; у него черная головка и румяное лицо с беспокойно бегающими черными глазками и превосходной белизны зубами. Голова и шляпа назад, грудь и брюхо вперед, руки за спину, в руках щегольской зонтик или палка с большою слоновою ручкой. Ножки коротки, но перебор частый. Нервен и криклив или перед сильными ласков и вьется в душу. Кричит, напирая на "ого-го-го", а, виясь в душу, воркует как витютин[2].

Женщины находят его преотвратительным и попадают в такие положения, после которых он сохраняет над ними преимущество.

Таков стоит он у картинного магазина и рассматривает выставленные в окнах литографии и гравюры. Внимание его привлекают не лучшие произведения, а "личики", и иная цветистая мазня, но более всего он озирался на проходивших и останавливавшихся дам.

Заговорить Помпон мог решительно со всякою женщиною, как бы строго она ни смотрела. У него для этого был простой, но прекрасно служивший ему прием, которым он и пользовался во всю свою жизнь. А раз, что женщина ответила ему хоть одно слово, он становился неотвязен, и надо было иметь большую твердость, чтобы его отбросить.

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется по рукописи: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 46.

К рукописи приложены пояснения А.Н.Лескова: «"Пумперлей" и "Живые растения" Здесь выведен П.Л.Розенберг. См. <...> пояснения <...> о нем к "Московск<ие> вор<ы> и универс<итетский> студент"».

Начало незаконченного рассказа Лескова "Московские воры и университетский студент" сохранилось (*РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 45) и публикуется ниже. В приписке А.Н.Лескова к этому

рассказу раскрывается прототип главного героя: «*П.Л.Р.* — это Петр Львович Розенберг, в июле 1888 г. изгнанный Лесковым из его кабинета властным окриком: "снимите шляпу и ступайте вон".

7.6.<18>88 он прислал безграмотно пошлый пасквильный акростих, на кот<ором> Лесков, не уничтожая его до самой своей смерти, написал: "Этого негодяя я за три дня ранее выпроводил вон. Н.Лесков"

Надпись эта мною сохранена, а писарская пошлость Розенберга — мною уничтожена. Андрей Лесков. См. "Живые растения" и "Пумперлей", где дан его подлинный портрет».

О П.Л.Розенберге см. также выше в комментариях к рассказу "Пумперлей"

[1] Маттиас Якоб (Иакоб) *Шлейден* (1804—1881) — немецкий ботаник. В России были переведены его сочинения: *Шлейден М.И.* Дерево и лес. Пер. с нем. Ал. Рудзского. СПб., 1873; *Шлейден М.И.* Древность человеческого рода. Происхождение видов и положение человека в природе. Три публичных лекции. Пер. с нем. Н.Бакста. СПб., 1865; *Шлейден М.И.* Этюды. Популярные чтения Пер. с нем. Я.Н.Калиновского. М., 1861; *Шлейден М.И.* Растение и его жизнь. Популярные чтения о ботанике. Пер. с нем. СПб., 1849 (переводчик не указан).

[2] Витютень — птица семейства голубиных.

МОСКОВСКИЕ ВОРЫ И УНИВЕРСИТЕТСКИЙ СТУДЕНТ[1*]

Характерный случай (1863 г.)

Что ни время, то и птицы,
Что ни птицы, то и песни.
Гейне[1]

Пусть читатели этого издания простят мое желание довести до их просвещенного внимания один истинный и, по-моему, весьма характерный случай между тремя московскими ворами и университетским студентом П.Л.Р-ом, который нынче жив, здоров и пользуется доверием друзей, знающих его всегдашнюю правдивость. Чисто *московский* — случай этот особенно хотелось бы сделать известным в Москве, где нынче установились и, кажется, довольно прочно окрепли такие отношения к студентам, которые я сейчас расскажу со слов моего правдивого приятеля.

П.Л.Р. — сын одесского врача и брат одного из нынешних московских врачей, будучи в 1863 году на втором курсе юридического факультета, вследствие несчастного стечения домашних обстоятельств остался без гроша денег и прежде, чем мог найти для себя какой-нибудь заработок, проел все свое выходное платье и остался с одним дорожным полушубком, который у него уцелел и теперь очень ему пригодился, потому что вместе с бесхлебьем его ждала и бесприютность. Хозяйка каких-то "Чикинских номеров", которой он тоже задолжал,— один раз заперла за ним двери и сказала: "Более не приходи,— не отопру" Этим все и было кончено с "выселением неисправного жильца", да он и сам не роптал, ибо знал, что платить надобно, а платить нечем,— следовательно, и винить никого не в чем. Хозяйка "чикинских номеров" — сама женщина бедная, и ей тоже "домовик" не мирволит,— следовательно, она должна выручать. Тем не менее юноша (Р-гу тогда шел двадцатый год) очутился на улице холодный и голодный. (Из университета он тоже был исключен "за неплатеж"). Продать или заложить было решительно нечего: одни сапоги, одна рубашка и один полушубок, без которого сейчас замерзнешь. А он же был мальчик нежный и выросший на юге, где нет жестоких московских зим, а на дворе было как раз Рождество (почему,

[1*] Публикация К.П.Богаевской и Н.Н.Старыгиной. Комментарии Н.Н.Старыгиной.

может быть, мне и следовало бы поберечь этот случай для рождественского рассказа). Оставалось одно: протянуть руку к первому встречному и попросить "Христа ради", но ведь это не очень трудно сказать, а выполнить — это без привычки — чрезвычайно мучительно.

ПРИМЕЧАНИЯ

Печатается по автографу (*РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 45).

[1] Из поэмы Г.Гейне "Атта Тролль" (гл. XXVII) в переводе Д.В.Аверкиева. Сын писателя свидетельствовал: "Лесков любил говорить:

Что ни птицы — то и песни.
Что ни время — то и птицы" (*Жизнь Лескова*. Т. 1. С. 399).

Эта цитата была использована и в статье "Ходебщики по чужим делам и карманам" (*ОЗ*. 1861. № 5. С. 44.), а также в рассказе "Овцебык" (1862).

ДВА СМЕЛЬЧАКА[1*]

Спекла бабка хлебы, поклала их на стол и покрыла закатничком, а сама на повой пошла дитя принимать, а избу заперла.

Тепло в избушечке и хорошо парным хлебцем пахнет, а нюхать-то будто и некому.

Но вот зашумел под припечкой сухой веник, и выкатило на него чудо из-под печуры что твой клубочек из шерстяной пряжи, хвостик ниточкой, глазки бисерки.

— Сейчас, думает, вскочу на стол по закатнику и отгрызу у хлебного каравая самую задорную корочку, мне надо детей кормить[2*].

Подумало так и побежало, но вдруг видит — на самом краю стола сидит что-то страшное: — совсем будто боб в саже, и лоснится, а ног много и все растопырками.

Вот первое чудо и закричало со страху и ужаса:

— Что ты, Растопыря, здесь делаешь?

А тот говорит:

— Я здешний коренной житель Таракан Растопыревич, а ты что за пыж, что за шишь?

— Я подпечная мышь.

— Но вот это приятно: соседи значит.

ПРИМЕЧАНИЯ

Публикуется по автографу: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 4. Рукопись не датирована. Вероятно, фрагмент сказки написан в 1880—1890-х гг. В 1888 г. Лесков создал сказку "Маланья — голова баранья", в 1890 г. — "Час воли божией" Возможно, замысел сказки "Смельчаки" возник у писателя в период активного сотрудничества с детскими журналами "Детское чтение", "Игрушечка", "Задушевное слово" в 1880-е годы. (См.: *Старыгина Н.Н.* Н.С.Лесков и детская литература // Проблемы детской литературы. Петрозаводск, 1992. С. 86—103).

В архиве Лескова сохранились другие варианты начала сказки, содержащие значительно большее число исправлений, чем данный фрагмент. Ниже они публикуются по рукописи: *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 44. Л. 2—3 об.

СМЕЛЬЧАКИ
(*Картинка*)

Спекла баба хлебы; вынула их из печи всего пять караваев, один другого румянее и положила на стол да покрыла закатником. По всей избе вкусный дух пошел. А сама баба на повой собралася,— и избу закутала.

Согрелась изба и от сладкого запаха

[1*] Публикация и комментарии Н.Н.Старыгиной.

[2*] Зачеркнута первоначальная фраза: "Сидит чудо и слушает: чего это на дворе за избой собаки на стену мечутся?"

* * *

В бабиной избушке в сумерки выкатилось Чудо из-под печуры ни дать ни взять серый шерстяной клубочек и[1*] хвост ниточкой, ушки шолушинками, глазки бисерки.

Село Чудо и хвостик под себя подвернуло и смотрит: нет ли в избе кого страшного?

Слава Богу: никого в избе нет, только собаки за углом лают, мечутся, а бабы дома нет,— она хлеб из печи вынула, на стол поклала, а сама на повой пошла.

Думает Чудо:

— На кого это собаки так заливаются?.. А! Ишь ты как! Семка-с я вскочу на окно посмотрю, да кстати у мягкого хлебца отгрызу задоринку.

Но только что Чудо тронулось, как видит, что на краю стола под закатником сидит что-то еще его страшнее[2*]: из себя точно боб в саже блестит и весь черненек, растопырился на ножках и усами водит.

Чудо хотело опять под печь броситься да думает: маленький! и говорит ему пошептом[3*]:

— Ты что за Растопыря здесь?

А тот отвечает:

— Я здешний притоманный[1] житель таракан первой гильдии, а ты кто такая?

— Я шишь-пыш, запечная мышь.

— Очень приятно познакомиться[4*].

— Не знаешь ли, Тар<акан>. С чего собаки лают?[5*]

— Краюшку хлеба, небось, высоко видят и съесть хотят[6*].

— А я думаю: не М.М.[7*] они держат.

— А ты ее боишься.

— Как же ее не бояться,— она меня съест.

— А я не боюсь"

* * *

Вылезло Чудо из-за печуры в шерсти да черненькое,— поджало ножки, сидит и оглядывается (мышь).

Видит из щели чей-то тонкий ус шевелится и выходит на свет другое чудо, еще чернее да гладкое (таракан), и тоже стало на месте, растопырился и ни вперед не лезет, ни назад не идет.

И говорит лохматое чудо гладкому пошептом:

— Здравствуй, Растопыря!

А Растопыря отвечает:

— Ты мне не ровня!

— Отчего так?

— Оттого,— говорит Растопыря,— что

[1*] Далее зачеркнуто: "обрезанную <?> ниточку назад вздернуло"

[2*] Далее зачеркнуто: "черно как сажа".

[3*] Зачеркнута далее первоначальная фраза: "— Здравствуй, Таракан Растопырьевич!"

[4*] Зачеркнута первоначальная фраза: "Нет ли здесь кого страшнее нас?"

[5*] Зачеркнута первоначальная фраза: "А ты кого боишься"

[6*] Зачеркнута первоначальная фраза: "Мышь говорит: я никого не боюсь"

[7*] Вероятно, "М.М." означает "Мяу-Мяу"

ЗАМЕТКИ О ЯЗЫКЕ В ЗАПИСНЫХ КНИЖКАХ ЛЕСКОВА

Вступительная статья и публикация Т.С.Карской

На вопрос журналиста: "Где вы черпаете материал для ваших произведений?" — Лесков, указав на свой лоб, ответил: "Вот из этого сундука"[1],— и при этом вспомнил о годах службы у А.Я.Шкотта, когда много путешествовал по России. В рассказе "Старинные психопаты" (1885), говоря о ценности передаваемых из уст в уста историй — "современном продолжении народного творчества", в котором "всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов и фантазия людей данного времени и данной местности", Лесков отметил: "А что это действительно так, в том меня достаточно убеждают записи, сделанные мною во время моих скитаний по разным местам моего отечества" (VII, 451). Так писатель накапливал материал для своих произведений.

Сказанное относится и к речевому материалу. Следует прислушаться к словам Лескова о том, что он много лет собирал этот материал "по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету, на барках, в рекрутских присутствиях, в монастырях"[2]. О достоверности и справедливости признаний Лескова свидетельствуют и четыре его записные книжки, хранящиеся в РГАЛИ[3]. Заполнялись они в 1880—90-е годы и содержат разнообразные материалы. Видное место занимают выписки из различных литературных источников (философских, исторических, художественных произведений), встречаются записи разного рода высказываний, афоризмов, отдельные художественные зарисовки, сценки, библиографические заметки. Эти материалы ждут публикации. Пока же остановимся на двух последних записных книжках, а именно тех, в которых содержатся записи, характеризующие интерес Лескова к русской речевой стихии.

Этот материал частично привлекался исследователями, главным образом в связи с пристрастием писателя к искажениям в духе "народной этимологии" (Л.П.Гроссман, В.А.Гебель, М.С.Горячкина и др.) Л.И.Левандовский при помощи подобных материалов уточнил время создания повести "Заячий ремиз"[4].

Одна из этих двух записных книжек была начата в 1893 г., имеется опорная дата: "9.VI<18>93 г.". По другой дате: "30 ген<варя 18>95 г." — можно судить о том, что она заполнялась до последних дней жизни писателя. Многие записи связаны с напряженной работой над такими произведениями, как "Загон" (1894), "Дама и фефела" (1894), "Заячий ремиз" (1894), в которые и вошли в основном содержащиеся в этой книжке выписки из сочинений Гр. Сковороды, Дж. Кеннана, Фенелона, Г.Буасье, из сборника Кирши Данилова, из апокрифической книги Еноха и из Евангелия. Обращает на себя внимание обилие неиспользованных записей, предназначавшихся для произведений, которые были задуманы, но не осуществлены.

Лесков продолжил записи в новой книжке, начатой, как явствует из его собственноручной пометы, в 1894 г.

Эту вторую записную книжку Лесков назвал "Идиомы" Однако уже на следующей странице помещен материал иного рода. Под рубрикой "Заглавия" расположены столбиком названия произведений — как использованные в известных произведениях ("Заячий ремиз"), так и связанные с неосуществленными замыслами (среди набросков незавершенных произведений Лескова в РГАЛИ находим начало, вернее только эпиграф рукописи, озаглавленной "Шиши"[5]: это заглавие обнаруживается и в записной книжке). Всего в этой книжке на листах 3—7 содержатся 111 записей слов, выражений и целых фраз.

Внешне обе книжки выглядят одинаково. Это небольшие узкие тетрадки мелко-клетчатой бумаги с красным обрезом, в черной клеенчатой обложке. Во второй книжке заполнены лишь первые семь листов, некоторые исписаны и с лицевой и с оборотной стороны. Все записи сделаны мелким, округлым, почти бисерным почерком Лескова, обычно через клеточку, но имеются записи и в промежутках.

Вернемся к лесковскому определению содержания записной книжки — "Идиомы" В его время этот термин еще не приобрел того специфического смысла, который вкладывает в него современная лингвистика. Так, В.Г.Белинский, введя понятие "идиома", объяснял его как "русизм, составляющий народную физиономию языка"[6]. В.И.Даль видел в "идиоме" обозначение "отличительности или особенности языка" и вместе с тем — "наречие, говор"[7].

Смысл, который вкладывает здесь в понятие "идиомы" Лесков, лишь отчасти соответствует словоупотреблению Даля. Для Лескова это прежде всего отклонение от общепринятой литературной речи, диалектные и просторечные слова и выражения, содержащие в себе элемент занятности, невольной каламбурности. Именно подобные примеры живой речи составляют главную часть его заметок, повторно озаглавленную: "Порча слов и речений"

Уже первые девять записей можно рассматривать как отдельную группу, очевидно и побудившую Лескова озаглавить записи таким образом. Строго говоря, "испорчены" здесь только два слова — "рунбище" и "Гунтуев (остров)" Остальные слова и словосочетания — примеры областной (диалектной) речи: "Дож летит — дождь идет; лодья бежит — плывет; конь вздымает сто пудов (поднимает); бык пыхтит (тихо мычит); кот бормочет — тихо мяучит; корова рычит — ревет; пупона на брюхе лошади (попона)"

В шести из этих примеров в центре внимания глаголы. Посчитав их употребление противоречащим литературной норме, Лесков раскрыл их смысл в пояснениях. Областные словари русского языка, областные картотеки в особенности, позволяют установить, что бóльшая часть этих глаголов, употреблявшихся в 1890-х годах, когда заполнялась записная книжка писателя, активно используется и по сей день. Так, в картотеке Словаря русских народных говоров: "Бежать. Плыть по ветру на всех распущенных парусах", "бежали, где парусом, где бичевой" и т.п. То же и в картотеке Псковского словаря, где имеются материалы, подтверждающие запись "лодья бежит": "парусом бежит лотка" — 1946 г.[8]. Ряд словосочетаний, аналогичных "конь вздымает...", записан в дер. Луневщина Гдовского района Псковской области в 1946 г. В словосочетании "бык пыхтит" в таком значении, как у Лескова — "тихо мычит", глагол "пыхтеть" не зарегистрирован, однако в той же картотеке имеются данные, подтверждающие, что в некоторых районах этой области слово "пыхтеть" означает "сердиться" Возможно, Лесков неверно понял смысл данного словоупотребления. То же можно предположить и в отношении глагола "бормотать" ("кот бормочет"). Лесков объясняет его как "тихо мяучит", но подобное толкование не подтверждается областными материалами. Возможно другое его значение: "говорит непонятно", зарегистрированное согласно "Словарю русских народных говоров" в Костромской области, что, впрочем, не исключает его употребления и в других ареалах. Зато словосочетание "корова рычит" является устойчивым. Особенно распространено оно на севере Псковской области близ Гдова, на что указывают не только материалы диалектологической экспедиции 1961 г., получившие отражение в картотеке Псковского словаря, но и материалы Диалектологического атласа. Возможно употребление выходцами из тех же мест и такого слова, как "пупона", где появление звука "у" вместо "о" в предударном слоге после согласных соответствует произносительным вариантам живой разговорной речи в некоторых деревнях Гдовского района.

Не оставляет сомнений реальность и таких разбросанных по страницам книжки Лескова записей диалектизмов: "елтарь", "надрез", "кволиться", "зверовщик", "тасканец", "почесть", "снить", "провещиться" Большая часть этих слов зарегистрирована в картотеке "Словаря русских народных говоров" Слово "зверовщик" помещено в словаре Даля (с пометой "сибирское и пермское"). Наречие "почесть", означающее "почти", зарегистрировано С.М.Кардашевским в его "Курско-орловском словаре"[9]. Находим сведения и об употреблении записанного Лесковым слова "тасканец" (мн. "тасканцы"). В картотеке "Словаря русских народных говоров" дано

целое гнездо слов с корнем "таск", в том числе "тасканка" (волог.) — "гулящая"; "таскаться" (сиб.) — развратничать, но есть и значение "болтаться", "шляться" (волог.). Известно и об употреблении слов "тасканец — тасканцы" в некоторых районах Новгородской области.

Многие записи напоминают отрывки из разговоров: "Разве не видите, теперь церковь идет" (служба в церкви); "такой большой сад, что в нем не только можно гулять, но даже можно блудить как хотите, точно в лесу"; "у вас желудок твердого характера, а у меня со свистулой — сейчас засвищет"

Темы записей — самые разные, в основном злободневные, такие как Всемирные выставки (1889, 1893), постройка Эйфелевой башни: "семимирная выставка", "Фефелова башня" С остро звучавшей среднеазиатской темой связана запись: "Смарканские носовые платки — самаркандские" Технический прогресс нашел отражение в следующем фрагменте: «Локомотив песнь: "До чего народ доходит! Самовар в упряжке ходит", а также: "слезиновые рельсы — резиновые шины"». Политические события оставили такой след: "Мартальезу пели — марсельезу"; "три есть вредные вещи: династий, порох и маргелин в масле", "старый нажим (режим) и резолюция", "стрелять из пуль и из ядер", "сегодня табельные платки опять выкинуты" В записях отражены и разговоры о хворях и их лечении: "Весь подвенечный столб книзу прет", "Надо класть горчичник на подвенечный столб и двигать до хрящика"; "мозоли на подметках"; "макробь, мактерий и бакрод" Некоторые слова и изречения связаны с церковным бытом: "кто строил 1-ый вселенский собор?"; "трактирская Божья матерь (Ахтырская)"; "все двенадцать куплетов Символа веры"; "течение главы Иоанна причетника (отсечение главы Иоанна Предтечи)"; "в ковчеге был цветущий жезл Аваронов, чашка с манной кашей и скрыжи", "быв ко всенощной", "елтарь — алтарь", "воромонах — иеромонах"

Вторую группу образуют у Лескова записи, названные им "Старинные обороты и слова" Их всего 24. Они расположены в записной книжке столбиком и занимают около двух страниц. Удалось установить источник этой группы. Все выписки сделаны из первого тома труда Г.В.Есипова "Раскольничьи дела XVIII столетия, извлеченные из дел Преображенского приказа и тайной розыскных дел канцелярии" (Т. I—II. СПб., 1861), точнее из раздела "Раскольники в Керженских лесах", где приведены три истории жизни: раскольников Авраама Иванова и Александра Дьякона, а также казака-доносчика Левшутина. Повествование ведется от автора, но в него включены в достаточном объеме собственные высказывания героев этих трех историй и допрашивавших их лиц. В сноске Есипов удостоверяет подлинность материала: "Все разговоры, допросы, расспросы и ответы действующих лиц буквально переданы из дела, без всякого прибавления или изменения".

Выписки Лесков сделал выборочно. Иногда он усекал фразы, производил перестановку материала или объединял несколько фраз в одну.

Приведем несколько примеров. У Есипова: "В прошлых годах, в последние лета царствования царя Алексея Михайловича, была на него, Кузьму с братом, причина<...> а не сыскан для того, что от сыску ушел, сказали, что он, Кузьма, в тот пожар сгорел..." (Т. I. С. 563); у Лескова: "В том году была на меня причина (обвинение), а не сыскан, для того, что от сыску ушел,— сказав, что он в пожаре сгорел" У Есипова: "Те жители, так же и пустынники, собрали денег небольшое число и поднесли тому Питириму в почесть" (Там же. С. 596); у Лескова: "Собрали денег небольшое число и поднесли ему в почесть". У Есипова: "Никита Никифоров пришел к нему в бедности и принес калач, а в нем денег мелких серебряных рубль с четвертью" (С. 606); у Лескова: "Пришел к нему в бедность и подал в окно калач, а в калаче денег рубль" У Есипова: "Иногда Авраамий ходил по городу и по селам подмосковским под видом нищего в рубищах, просил милостиню и сказывался странным попом из Нижнего, из Керженских лесов<...> Старица Феодулия в допросе сказала, что знает она раскольничьего попа поротые ноздри" (С. 617); "приехав, стал на постоялом дворе в Рогожской слободе, а у кого — не знает, а в платье мужицком, а не черкесском"; "иногда был в мужичьем платье, а иногда в чернеском" (С. 637); у Лескова приведенные показания слиты в одну лаконичную фразу (при этом "черкесский" изменено на "черкасский"; см. об этом ниже примеч. 17 к публикуемому тексту): "Ходил то в мужицком, то в черкасском, а сказывался странным попом, а ноздри пороты"

Из приведенного сравнения текстов видно, что Лесков устранял лишнюю конкретность и отбирал лишь то, что характеризовало понятия и речь эпохи. Каждая из его выписок представляла собой к тому же как бы опорный штрих к некоему сюжету. Заметим, что последовательность самых последних выписок у Лескова иная, чем в книге Есипова. После только что приведенной лаконичной фразы, вместившей сразу несколько фактов из книги Есипова, следует такая: "В деревне у мужика скупил пашенный жребий и избою построился" Материал для нее взят из очерка "Авраам Иванов" (С. 619), в то время как в предыдущей записи Лесковым были использованы материалы из заключительного очерка "Александр Дьякон" Позаимствовал он данные из очерка "Авраам Иванов" и для заключительной записи: "Дано сорок ударов и ноздри вынуты — для чего отодрался от единства веры"[10].

В виде блоков представлены пословицы и поговорки. Как говорилось, в первой записной книжке их семь, во второй — восемь выстроенных один за другим примеров, и отдельно вписаны еще два. Следовательно, всего записано 17 пословиц и поговорок. Среди них есть как выписки из книжных источников (трудов В.И.Даля[11]), так и записи живого материала. Из книг Даля выписаны следующие пословицы: "Я ли не молодец? У меня ли дети не воры?", "Из стоероса лежни кладут", "Честь да место, садись и хвастай", "Пришла свинья к коню и говорит: и ноги де кривы и шерсть нехороша", "Бороной ворота запирает", "Сперва ты меня повози, а потом я на тебе поезжу", "На чьем току молотят, тому и хлеб возят".

Некоторые пословицы в записи Лескова переработаны: "Богослов — все праздники наизусть знает"; ср. у Даля: "Великий богослов: все праздники знает по перстам (т.е. наизусть, наперечет)" У Лескова: "Гуляшки без рубашки"; в словаре Даля: "Ныне гуляшки, завтра гуляшки, находишься без рубашки". Встречаются у Лескова контаминации тематически близких пословиц. Например, "Коса трубчата двухвосткой стала", у Даля: "Расплетайся, трубчата коса — рассыпайтесь, русы волосы", а также — "Природна трубчата коса, дорога девичья краса", "Стала двухвосткой (коса). Под повойник ушла, запряталась"

Отметим еще наиболее интересные варианты записей Лескова по сравнению с Далем. "Всякая старина свою плешь гладит" У Даля: "Всякая старина свою плешь хвалит". У Лескова: "Медведь лег — и пляски нет" У Даля: "Медведь лег — игра стала" Вариантность лесковских пословиц и поговорок по отношению к материалам Даля, а также другим известным сборникам — явление закономерное. Ведь и Даль нередко показывает, как варьируется одна и та же тема в живой речи народа.

Лишь для трех из записанных Лесковым пословиц не обнаружены книжные источники: "В болоте сидеть на цаплиных яйцах", "Не кидай удочку на чужую будочку", "Вышел его номер, он и помер" Скорее всего эти материалы являлись элементами живой разговорной речи городских низов.

Среди записей Лескова имеются материалы, ранее им уже использованные. Их немного — всего десять. Например, фраза: "У вас желудок твердого характера, а у меня с свистулой — сейчас засвищет",— встречается еще в рассказе "Шерамур" (1879). Здесь она вложена в уста наглого буфетчика, предлагающего объедки своей трапезы домашнему учителю: "У вас<...> желудок крепкого характера,— а у меня с фистулой. Кушайте" (VI, 260). И в "Заметках неизвестного" (1884) в разговоре священника с дьячком о последствиях неудачного гостевания: "— Скажи мне, терпишь ты что-либо на желудке? — Нет, ничего не терплю.— Отчего же ты не терпишь? — Я имею желудок твердого характера" (VII, 380).

Запавшее в память писателя неординарное выражение, как правило, трансформируется у него в зависимости от изображаемых им характеров, конкретной ситуации и стиля произведения. В полном виде фраза, о которой идет речь, дана именно в записной книжке, где слово "засвищет", то есть "пронесет", непосредственно связана со словом "свистула" (искаженное в духе народной речи "фистула").

Аналогична история других записей этой группы. Так, словосочетание "плюс и минус на стирабельной дощечке" было уже по частям использовано в двух рассказах: в "Левше" (1881) — "стирабельные дощечки" и в "Леоне — дворецком сыне" (1881) — "плюсить и минусить" (см. VII, 74, 75, 77); а позднее оно вошло и в рассказ "Полунощники" (1891; IX, 133). Выражение "мозоли на подметках" встречается в рассказе "Шерамур" (1879): "пешком,— говорит,— до самой Москвы пер, даже на подметках мозоли стали" (VI, 271); "начатки и кончатки христианского учения"

— в "Леоне — дворецком сыне" (1881): "я сама и начатки и кончатки учила" (VII, 70); "вышел его номер — он и помер"; в "Полунощниках" (1891): "он сам у своей полной дамы закутился, и попал ему такой номер, что он помер" (IX, 134—135); "течение главы Иоанна причетника (отсечение главы Иоанна Предтечи)" — то же в "Полунощниках", но здесь встречается новое искажение: "течение головы Потоковы" (IX, 170).

Работая над повестью "Заячий ремиз" (1894), Лесков использовал 27 записей, содержащихся в его книжке. Из них три уже встречались в его более ранних произведениях. Так, словосочетание "револьвер-барбос (бульдог)" впервые употребляется в рассказе "Путешествие с нигилистом" (1882), где внятно прозвучал мотив всеобщей паники, вызванной убийством Александра II.

В "Заячьем ремизе" затронута та же тема политических преследований террористов. Обуреваемый желанием отличиться по службе и получить орден, незадачливый становой стремится во что бы то ни стало изловить "потрясователя основ" и вооружается «потребным револьвером, под названием "барбос", на шесть стволов» (IX, 549).

Следующая запись — "Начал меня мативировать: и такая-то я, и сякая-то, и только бы мне и место в болоте сидеть на цаплиных яйцах" — использована в рассказе "Полунощники", а затем и в повести "Заячий ремиз"

В "Полунощниках" глагол "мативировать" звучит в рассказе купеческой компаньонки Марьи Мартыновны об ее неудачных замужествах: "А между тем, как ему две тысячи не додали, то он после только и знал, что стал попрекать, и ужасно все мотивировал и посылал, чтобы я ходила просить, и дома со мной ни за что не хотел сидеть" (IX, 134). И далее — о втором муже: «Он начал в свое оправдание объяснять начальнику: "Помилуйте, ваше превосходительство,— это немыслимо: в ней игла ходит", и опять и этот тоже пошел мативировать» (IX, 135—136). Это слово в устах героини — эвфемизм. Ср. записи диалектологических экспедиций: "Матевировать. Глагол. Ругать матерно — г. Ветлуга, 1900; Ветлужский район — 1918, 1925, 1926; г. Ветлуга, 1936"[12].

Отражена в "Полунощниках" и вторая часть лесковской записи — о высиживании цаплиных яиц. Марья Мартыновна рассказывает о своей поездке к чудотворцу, где она встретила людей, которых называет басомпьерами[13]. «И между ними,— рассказывает она,— один ходит этакой аплетического сложения, и у него страшно выдающийся бугровый нос. Он подходит ко мне и с фоном спрашивает:

"По чьей рекомендации и где пристали?"

Я говорю:

"Это что за спрос! Тебе что за дело?"

А он отвечает:

"Конечно, это наше дело; мы все при нем (чудотворце — *Т.К.*) от Моисея Картоныча"

"Брысь! Это еще кто такой Моисей Картоныч и что он значит?"

"Ага! — говорит,— а вам еще не известно, что он значит! Так узнайте: он в болоте на цаплиных яйцах сидит — живых журавлей выводит"» (IX, 169).

Фраза босяка о выведении из яиц цапли живых журавлей придает его словам затаенный смысл. Моисей Картоныч и "при нем", у "святого дела", ухитрился творить "чудеса" — выводить живых журавлей, то есть извлекать материальную выгоду при содействии организованной им шайки. Строка из записной книжки писателя функционирует здесь как пословица. Точно такой пословицы нам не удалось обнаружить, однако близкая по смыслу есть у Даля: "Он из печеного яйца живого цыпленка высидит"[14].

Слово "мативировать" и фраза о высиживании цаплиных яиц встречаются и в "Заячьем ремизе", но несут совсем иную смысловую и стилистическую нагрузку, чем в приведенных выше случаях. "Мативировать" по значению приближается здесь к словам "объяснять, растолковывать, бранить, распекать" А фраза о цаплиных яйцах становится частью шизофреничного бреда героя и в конечном итоге приобретает символическое значение. Когда Оноприй Перегуд попадает в больницу для душевнобольных, он встречает сумасшедшего в жестяной короне, который сообщает ему, что он отлетает на болота и высиживает там цаплины яйца, из которых выйдет жар-птица (см. IX, 585). Почти теми же словами заканчивает свою исповедь и глав-

ный герой, когда неожиданно признается, что "ночью, когда все уснут", он берет крылья и улетает в болото и там высиживает среди кочек "цаплины яйца, из которых непременно должны выйти жар-птицы" (IX, 588). Жар-птица для Перегуда — символ всеобщего счастья. "Все стараются вывести жар-птицы, только пока еще не выходят потому, что в нас много гордости" (IX, 588). И далее: "Жар-птица не зачинается, когда все сами хотят цаплины яйца съесть" (IX, 589).

Следующая запись в книжке Лескова — "В ковчеге был цветущий жезл Аваронов, чашка с манной кашей и скрыжи",— почти дословная цитата из рассказа "Шерамур" Исключенный за неблагонадежность из учебного заведения герой был принят учителем в имении графини. Местный священник, намереваясь выжить его, устроил пристрастный экзамен ученику. Потерпевший рассказывает: «Ко мне раз поп пришел, когда я ребят учу: "Ну, говорит, отвечай, что хранилось в ковчеге завета!" Мальчик говорит: "расцветший жезл Аваронов, чашка с манной кашей и скрыжи".— "А что на скрыжах?" — "Заповеди",— и все отвечал» (VI, 267).

Библейская лексика переведена здесь в узко бытовой план: вместо "чаша" или "стагна" — "чашка" (т.е. миска), вместо "манна небесная" — "манная каша", высокие слова заменены просторечными: "Аварон" (с народным протетическим "в", вклинившимся между двумя "а"), "скрижали" с наивным простодушием названы "скрыжами" Нелепица эта удовлетворила и экзаменатора, и учителя.

Тот же материал в "Заячьем ремизе" подчинен созданию иной образно-речевой системы. Герои повести — люди иных характеров и побуждений. Добродушный, любящий шутку архиерей — школьный приятель отца Оноприя Перегуда, увидев, что семья друга живет небогато, решил помочь ему вывести в люди сына, главного героя рассказа: «А когда услыхал (архиерей — *Т.К.*), что я уже отучился у дьячка, то спросил меня: что было в Скинии свидения? На что я ответил, что там были скрижи, жезл Аваронов и чаша с манной кашей. И архиерей смеялся и сказал:

— Не робей: ты больше знаешь, как институтская директриса,— и притом рассказал еще, что, когда он в институте спросил у барышень: "какой член символа веры начинается с "чаю", то ни одна не могла отвечать, а директриса сказала: "Они подряд знают, а на куплеты делить не могут"» (IX, 521).

Возможно, архиерей нарочно "не заметил" ошибку мальчика, спутавшего "Скинию свидения" с "ковчегом завета", и пропустил без последствий ляпсус с манной кашей.

В записных книжках обнаруживается и источник замечания архиерея о директрисе института благородных девиц, которая полагает, что "символ веры" делится на "куплеты" Речь идет о записи: "Все двенадцать куплетов Символа веры". Любопытна и реплика наивной матери героя, которая тоже смеялась, как все, хоть и не поняла юмора нарисованной архиереем ситуации: "И я не знаю, где там о чае" (IX, 522)[15].

Из первой записной книжки в "Заячий ремиз" вошла запись: "произнос (выговор) не хорош"; ее вариант есть во второй книжке: "Слово знаю, а произноса нет" В повести обе они как бы слиты, и реплика рассказчика приобретает такой вид: "<...>а я по-французски много слов знаю, но только говорить не могу, потому что у меня носового произносу нет" (IX, 582).

Приведем еще некоторые материалы второй записной книжки в параллелях с их оформлением в повести: "Натянутые дамы ходят — нарядные", "пушистый горошек пахнет (душ<истый>)" — "<...>вместо всех удовольствий по проминаже ходят вечером натянутые дамы, и за ними душистым горошком пахнет" (IX, 557). По-видимому, во избежание обвинений в "эссенционности" Лесков преобразовал комическое "пушистый горошек" в "душистый горошек" "Стали поить и кормить и от темной ночи взирать" — "...вот могут сказать господин князь, который тогда меня взял, и кормил, и поил, и от темной ночи взирал" (IX, 587). Комизм здесь заключен в неуместном употреблении церковно-славянского слова "взирать" ("смотреть") вместо "призирать" или "призревать" "Сперва ты меня повози, а потом я на тебе поезжу" — "Ничего, душко мое, ничего! Ты сначала меня повози, а после я на тебе поезжу!" (IX, 576). "Надо класть горчичник на подвенечный столб и двигать до хрящика" — "Какой-то член (суда.— *Т.К.*) перебил меня вопросом:

— Верно, у вас живот заболел от грибов?

— Не знаю отчего, но вот это самое место на животе и холод во весь подвенечный столб, даже до хрящика...” (IX, 565).

“Бедуар во всю комнату” — “<...>всегда имел в порядке женин бедуар и помещал в нем нарочитых особ женского пола<...>” (IX, 550).

Группа записей использована в повести для создания образа регента архиерейского хора Вековечкина. В записной книжке: «Овечкин просил архиерея переменить фамилию. Архиерей ему велел “прибавить веку” и вышло: Вековечкин». В повести запись приобрела такой вид: «А дабы не поминались прежние оного лютости, то изменена была ему самая его фамилия, а именно, на место прежнего наименования “Овечкин” стал он называться “Вековечкин” И так все его грубые деяния сокрылись через отмену несоответственного этому волку овечьего прозвища» (IX, 527). Использована и запись “богослов — все праздники наизусть знает”: “Почитался он, как богослов, вероятно, только за то, что знал наизусть все решительно праздники и каноны всем праздникам<...>” (IX, 527).

Материал записных книжек Лескова — важное документальное свидетельство сложной языковой работы писателя. Он показывает, какие именно явления народной разговорной речи привлекали его внимание, как осуществлялся отбор отдельных слов, выражений, пословиц и как они потом творчески преобразовывались в его произведениях, какие функции выполняли в их образно-речевом строе как едином целом.

Ниже публикуются фрагменты из двух записных книжек (*РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 109, 110).

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Русские писатели о литературном труде. Л., 1956. Т. III. С. 218.

2 Русские писатели о литературе. Л., 1939. С. 300—309.

3 *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 108, 108-а, 109, 110.

4 *Левандовский Л.И.* К творческой истории повести Н.С.Лескова “Заячий ремиз” // *РЛ*. 1971. № 4. С. 128.

5 На отдельном листке запись рукой Лескова: «“Шиши” Картинки с натуры» и далее эпиграф на древнерусском языке с ссылкой на “Летопись” // *РГАЛИ*. Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 2.

6 *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 2. С. 407.

7 *Даль*. Т. II. С. 8.

8 См.: Картотека Словаря русских народных говоров Института русского языка РАН, а также картотека Псковского словаря и отчеты о диалектологических экспедициях в Псковскую область за 1945 и 1946 гг. (рукопись).— Кафедра русского языка Санкт-Петербургского университета.

9 *Кардашевский С.М.* Курско-орловский словарь. Рукопись. С. 225.

10 У Есипова текст полнее: “Дано ему было 10 ударов кнутом, потом на площади бит всенародно, дано ему 40 ударов и вынуты ноздри, затем послан на каторгу в Петербург” (Т. I. С. 620).

11 Лесков несомненно пользовался первыми изданиями В.И.Даля: “Пословицы русского народа” (Пб., 1861—1862); “Толковый словарь живого великорусского языка” (Т. I—IV. Пб. 1863—1866).

12 Картотека Словаря русских народных говоров Института русского языка РАН. Словарный сектор. Санкт-Петербург. О распространенности этого слова свидетельствует и следующий пассаж из раннего рассказа М.Зощенко “Мемуары старого капельдинера”: «Это мы “Русалку” тогда ставили. Шаляпин, Федор Иванович,— арию, а он, Кириллыч наш, как рявкнет, как рявкнет, собачий хвост... Покрыл, прямо скажу, и оркестр, и Шаляпина... Ну, только за минуту гордости потерпел — очень его матевировали и после со службы поперли» (Вопросы литературы. 1983. № 2. С. 265).

13 Слово “басомпьер”, возможно, употреблялось в какой-то период в мещанских кругах для обозначения городского отребья. Обращает на себя внимание созвучие слов “басомпьер” и “босяк” Вместе с тем, это слово находится в несомненной связи с именем маршала Франции и придворного интригана Франсуа Басомпьера (1579—1646), мемуары которого вышли во Франции в 1877 г. вторым изданием и были, по-видимому, известны в России.

14 *Даль*. Т. IV. С. 676.

15 Имеется в виду 11-й член “Символа веры”: “Чаю воскресения мертвых”

I. ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (начата в 1893 г.)

В Пашковой вере все хорошо, только для чего гусиный жир в лампад пущают[1].

Быв ко всенощной.
Двор большой, ворота бороной заставлены.
Честь и место, садись да хвастай.
Всякая старина свою плешь гладит.
Я ли не молодец? У меня ли дети не воры?
Пришла свинья к коню и говорит: и ноги де кривы, и шерсть нехороша.
Из стоероса лежни кладут.
Произнос (выговор) не хорош.
Пиликан — скрипач, все пиликает.
Коса трубчата двухвосткой стала.

II. ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ (начата в 1894 г.)

1894 (Идиомы)
Заглавия:
Мельмот-скиталец[2].
Валявка и Малявка.
Два мельмота.
Madame Gogot.
Осил[3].
Бес полуденный.
Заячий ремиз.
Кактус.
Траурные кокетки[4].
Путь в Дамаск.
На обухе рожь молотят.
Шиши[5].
Порча слов и речений
Рунбище — рубище.
Гунтуев остров — Гутуев[6].
Дож летит — д<ождь> идет.
Лодья бежит — плывет.
Конь вздымает сто пудов (подн<имает>).
Бык пыхтит (тихо мычит).
Кот бормочет — тих<о> мяучит.
Корова рычит — ревет.
Пупона на брюхо лошади (попона).
Натянутые дамы ходят — нарядные.
Пушистый горошек пахнет (душист<ый>).
“На подорожке столбовой” (Тройка)[7].
Многообожаемый (мн<ого>уважаемый).
Дай мне подпись правой и левой руки.
Зачем в кнут бьют!
Телешом ходил — голый.
Пурмидор, боклажан и la помъ д-амур (по-франц. Пурмидор)[8].
Семимирная выставка.
Стали поить и кормить и от темной ночи взирать.
Разве не видите — теперь *церковь идет* (служба в церкви).

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Рабочие записи Лескова "Заглавия" и "Порча слов и речений"
Начата в 1894 г.

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

Такой большой сад, что в нем не только можно гулять, но даже можно блудить как хотите, точно в лесу.

Слово знаю, а произноса нет.

Тишнота жизни — тишина.

Благодухание — благоухание.

елтарь — алтарь.

воромонах — иеромонах.

Крестол — престол.

За буфет подать вынуть (в алтаре).

Ваше страхоподобие (титул графа).

городские финисеры — санитары.

Мартальезу пели — марсельезу.

Дарвалдай звенит — колокольчик[9].

Весь подвенечный столб к низу прет.

В Пашковом согласии гусиный жир в лампад пущают.

Не кидай удочку на чужую будочку.

Начал меня матевировать: и такая-то я, и сякая-то, и только бы мне и место в болоте сидеть на цаплиных яйцах.

Богослов — все праздники наизусть знает.

Гуляшки без рубашки.

По чужим токам молотит.

Сперва ты меня повози, а потом я на тебе поезжу.

На трудовые заработки годовой псалтыри не закажешь.

Медведь лег и пляски нет.

Смарканские носовые платки — самаркандские.

Слезиновые рельсы — резиновые шины.

Кто строил 1-й вселенский собор?

Тасканец — потаскушка.

Три есть вредные вещи: династий, порох и маргелин в масле.

На углу Веберской и Колбасной.

Старый нажим (режим) и резолюция.

Трактирская Бож<ья> матерь (Ахтырская)[10].

Надо класть горчичник на подвенечный столб и двигать до хрящика.

Варенье из ягод кислосладкого (неопределенного) вкуса с посторонним оттенком.

Револьвер-барбос (бульдог).

Бедуар во всю комнату.

Все двенадцать куплетов символа веры.

Перчатки филь-де-пом.

На чье имя надрез (адрес).

Себезмуд Иваныч (Сигизмунд).

Смотрители (вм. зрители)

Овечкин просил архиерея переменить ему фамилию. Архиерей ему велел "прибавить веку" и вышло: "Вековечкин"

Медведь его драл и ел и головку испробил.

Зверовщик (охотник)[11].

Маниль — ваниль.

Фефёлова башня (Эйфелева).

Аплетон — плутовка, надувала.

Моченой кошкой пахнет (кошачьей мочой).

Убийственник.

Дончихот-тка.— Донкихот.

О-Поль-де-Кок,— опотольдок[12].

Макроб, мактерий и бакрод[13].

Варенье банка надписана: "ягоды неопределенного вкуса с посторонним оттенком"

Течение главы Иоанна причетника (Отсечение главы Иоанна Предтечи).

Локомотив песнь: "До чего народ доходит! Самовар в упряжке ходит!"[14]

Bene olet quod non olet (Хорошо пахнет,— что не пахнет).

Плюс и минус на стирабельной дощечке[15].

Начатки и кончатки христианского учения.

В ковчеге был цветущий жезл Аваронов, чашка с манной кашей и скрыжи.

Очень дурные пороки имеет.

Мозоли на подметках.

Стрелять из пуль и из ядер.

У вас желудок твердого характера, а у меня с свистулой — сейчас засвищет.

Сегодня табельные платки опять выкинуты[16].

Старинные обороты и слова

В том году была на меня причина (обвинение), а не сыскан, для того, что от сыску ушел,— сказал, что он в пожаре сгорел.

Персоною был в их породу, в Нарышкинскую.

Стонал, стонал и измолк.

Лукав, но к церкви прибежен (аттестация).

Колодничий староста посылал арестантов "гулять по миру" (т.е. побираться).

Сбить в речах.

Приводные люди (понятые).

Заскорбел (заболел).

Его не было в лицах, а он чаял себе в розыску льготы.

Бит на козле кнутом.

Приверстали его в службу.

Вышел на переходы (на крыльцо).

Собрали денег небольшое число и поднесли ему в почесть.

От скудости сошли к Москве и торговали на льду санями и рогожами.

Дал посул за очистку (т.е. оправдание).

И тех слов не затевал.

Бедность — тюремная изба.

Пришел к нему в бедность и подал в окно калач, а в калаче денег рубль.

Капрал стоял у бедности.

Встретился гулящий человек.

Учинили-де то простотою своею, а не для скупу.

Ходил то в мужицком, то в черкасском[17], и сказывался странным попом, а ноздри пороты.

В деревне у мужика скупил пашенный жребий и избою построился.

Дано сорок ударов и ноздри вынуты — для чего отодрался от единства веры.

Кволиться — недомогать.

"Вышел его номер — он и помер"

Совсем русский стал: в церковь в нашу ходит и по-русски ругается (по-нашему ругается).

— Мне почесть, мало спалося: зубы болели, а зато много думалось.

— А я сон видел, и как снить перестал, сказал себе: это должно провещиться,— вот оно и провещается.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Василий Александрович *Пашков* (1831—1902), отставной полковник гвардии, последователь английского проповедника лорда Гренвиля Редстока, популярного в России в 1870-е годы; основатель "Общества духовно-нравственного чтения" Лесков проявлял огромный интерес к деятельности редстокистов (или "пашковцев"). См. об этом подробнее во второй книге наст. тома статью О.Е.Майоровой «Лесков в "Новом времени" (1876—1880)». Редстокисты в основном принадлежали к высшим кругам общества. Секта подвергалась преследованиям, в 1884 г. Пашков был выслан из России.

2 "Мельмот-скиталец" — название романа английского писателя Ч.Р.Мэтьюрина (1780—1824).

3 Веревка с подвижной петлей на конце; аркан.

4 Это словосочетание Лесков использовал в незавершенном рассказе "Пумперлей", входящем в цикл "Памятные встречи" (см. в наст. томе текст этого рассказа; публикация Т.А.Алексеевой).

[5] Известны несколько значений слова "шиш": 1. Разбойник, грабитель; воровской атаман. 2. Соглядатай, доносчик.

[6] Гутуев остров (иначе — Гутуевский) — остров в дельте Невы слева от выхода в море. По времени эта запись отсылает к такому событию, как перенесение из Кронштадта на Гутуевский остров торгового порта после открытия в 1885 г. морского канала.

[7] "На подорожке столбовой" — искаженная строка из песни "Вот мчится тройка удалая" на слова Ф.Н.Глинки.

[8] Слово "помидор" в 1880—1890-х годах было сравнительно новым. Лишь в 3-м издании словаря Даля (1903—1909) появляется слово "помидор" с современной орфографией и ударением, а во 2-м издании (1881) приведены такие наименования: "помедор", "помадор", "томат", "помдамур" Примечательно, что в "Курско-орловском словаре" С.М.Кардашевского (см. примеч. 9 к вступительной статье) зарегистрировано наименование "баклажан" (оно и сейчас бытует по отношению к помидору). Именно оно было близко орловцу Лескову, давшему его в качестве первого синонима.

[9] В песне "Вот мчится тройка удалая" (см. примеч. 7) есть слова: "И колокольчик, дар Валдая, гудёт уныло под дугой" Словосочетание "дар Валдая", содержащее намек на легенду о происхождении дорожных колокольчиков от новгородского вечевого колокола, сливалось в одно слово "дарвалдай" настолько часто, что Ф.М.Достоевский предлагал даже узаконить в русском языке слово "дарвалдать" как новый глагол (см. Записные тетради Достоевского за 1872—1875 гг. // *ЛН.* Т. 83. С. 310). В.А.Тихонов в очерке "Грехи тяжкие" объяснял слово "дарвалдать": "<...> звенеть <...> весело и бойко, как вообще звенят колокольчики под дугой" (*НВ.* 1901. 25 дек.) А.Белый включил в поэму "Первое свидание" такой пассаж: «Так звуки слова "дар Валдая" / Балды, над партами болтая, / Переболтают в "дарвалдая"» (*Андрей Белый.* Стихотворения и поэмы. М.— Л., 1966. С. 410).

[10] Имеется в виду чудотворная икона Божьей матери, хранящаяся в соборе г. Ахтырка Сумской области. Ее день празднуется 2 июля по старому стилю.

[11] Бытовавшее в таежных районах России слово, означавшее — охотник на пушного зверя без собак.

[12] Опотольдок — мазь или жидкость, употреблявшаяся для растираний при ревматизме. В записи Лескова она названа О-Поль-де-Кок, т.е. контаминирована с именем и фамилией французского писателя *Поля де Кока* (Paul de Kock; 1793—1871), известного в России своими увлекательными романами из жизни полусвета.

[13] Слово "микроб" получило распространение в связи с эпидемией брюшного тифа в европейской части России в 1892 г.

[14] Слова из песни "Близ Красных ворот, / Что налево поворот" (см. Бюллетени Гос. лит. музея: Лубок. Ч. 1. Русская песня. М., 1939. С. 200—202).

[15] Имелась в виду, вероятно, грифельная доска (или дощечка).

[16] Т.е. платки с соответствующими случаю изображениями и надписями, вывешивавшиеся на стенах домов и в витринах магазинов по т.н. табельным (или царским) дням.

[17] Здесь допущена механическая или сознательная ошибка: в книге Г.Е.Есипова "Раскольничьи дела XVIII столетия, извлеченные из дел Преображенского приказа и тайной розыскных дел канцелярии" (СПб., 1861. Т. I—II), откуда выписана эта фраза (см. подробнее выше, во вступительной статье) — "в чернесском"

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕАЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ

ОРЛОВСКИЕ ИСТОЧНИКИ СЮЖЕТОВ ЛЕСКОВА

(ПО ДОКУМЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ[1*])

Статья Р.М.Алексиной

В письме к В.М.Лаврову Лесков сообщал, что в основу рассказа “Грабеж” (1887) положен реальный случай из орловской жизни: “...место действия — Орел и отчасти Елец. В фабуле быль перемешана с небылицею, а в общем — веселое чтение и верная бытовая картинка воровского города за шестьдесят лет назад, при Трубецком и Куриленко” (XI, 359). Генерал-майора князя П.И.Трубецкого, как и многих других реальных лиц, Лесков вывел в рассказе под их собственными именами. Однако до сих пор далеко не все эти реальные персонажи раскрыты комментаторами.

“Самый лучший часовщик у нас немец Керн почитается <...> к нему через Орлицкий мост надо на Болховскую ехать <...>” (VIII, 123—124),— рассказывает один из главных действующих лиц “Грабежа”, “орловский старожил” (VIII, 113), вспоминающий “историю, имевшую место лет за пятьдесят перед этим” (VIII, 112). Осип Керн действительно жил в Орле на Болховской улице и был баденским подданным[1].

“Удивительный бас Струков” (VIII, 136), которого орловцы ездили слушать в мужской монастырь,— это дьякон Михаил Струков, значащийся в списках хора архиепископа Смарагда[2]. Крестный рассказчика по фамилии Кулабухов (VIII, 144) — это скорее всего Петр Кулабухов, городской голова, живший недалеко от Страховых, родственников Лескова по материнской линии. Знаменателен и адрес рассказчика, имевшего “свой дом на Нижней улице, у Плаутина колодца” (VIII, 113). На той же улице жили Страховы.

Вспоминает рассказчик и орловского полицмейстера “с названием Цыганок” (VIII, 127). Здесь Лесков имел в виду, вероятно, реальное лицо — полицмейстера Орла, капитана Ивана Фанифатьевича Цыганкова-Куриленко[3] (в некоторых документах он назван Цыганковым-Куролесовым).

В начале “Грабежа” упомянуты события, относящиеся к 1887 г. Но история, о которой вспоминает рассказчик, произошла, по его словам, “лет за пятьдесят перед этим” (VIII, 112), т.е. надо полагать — в 1830-е годы. Однако здесь же уточняется: “Дело происходило при покойном орловском губернаторе князе Петре Ивановиче Трубецком”, “незадолго перед знаменитыми орловскими истребительными пожарами” (VIII, 112). Эти пожары в Орле пришлись на 1841, 1843 гг., и особенно сильный, уничтоживший большую часть домов, где жили родственники Лескова,— на

[1*] Приношу глубокую благодарность всем работникам архива, с которыми пришлось совместно работать, за их внимание и помощь.



ОРЕЛ. БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Работа неизвестного художника. 19 марта 1929 г.
Перо и акварель

Собрание Л.Н.Афонина, Орел

1848 г.[4] П.И.Трубецкой правил губернией с 1841 по 1849 г. Полицмейстер “Цыганок” исполнял свои обязанности с 1844 по 1849 г.[5] Таким образом, описанные в “Грабеже” события могли произойти только в 1840-е годы.

Уточняет эту датировку и упоминание еще одного реального лица, прямо, но не точно названного писателем: “Пришли в полицию, а Цыганок сидит уже в присутствии перед зерцалом, а у его дверей стоит молодой квартальный, князь Солнцев-Засекин. Роду был знаменитого, а талану неважного” (VIII, 145).

В истории Орловской губернии были известны два старинных дворянских рода: князья Солнцевы и князья Солнцевы-Засекины. Однако прототипом “молодого квартального”, как свидетельствуют документы, был не Солнцев-Засекин, а Солнцев. Дело в том, что обязанности полицмейстера Цыганков-Куриленко принял от П.Ф.Солнцева[6], не справившегося с этой должностью и ставшего приставом по гражданским делам. В “Списках дворян” есть о нем сведения: “Солнцев Петр Фаддеевич, коллежский асессор, участковый пристав”[7]. С обязанностями пристава он тоже не смог справиться и вызвал гнев П.И.Трубецкого.

Тогда же в Орле служил квартальным надзирателем “Алексей Ионов Богданов”[8], названный в рассказе “квартальный Богданов” (VIII, 114).

Установление фамилии реального лица — квартального Солнцева — помогает нам расшифровать фамилию героя еще в одном произведении Лескова. Действующим лицом “Юдоли” (1892) является квартальный “князь С-в” Его авторская характеристика совпадает с характеристикой героя из “Грабежа”: в князе “только то и было, что он был молод и холост, но совсем необразован, и вдобавок, по совершенной бедности, служил квартальным...” (IX, 283). Далее Лесков сообщает, что «князь С-в был действительный, настоящий князь, из “Рюриковичей”, и в гербе у него стояли многозначительные слова: “*не по грамоте*”» (IX, 283).

* * *

Замысел повести "Юдоль" связан с неурожаем 1891 г. и последовавшим затем голодом. Эти события напомнили писателю детские годы, проведенные в материнском имении — сельце Гавриловском (часть деревни Труфаново), вблизи села Послова, в "Орловском уезде Орловской же губернии" (IX, 219)[9]. Действие повести происходит в этих местах. Имевшийся в первой публикации подзаголовок "Из исторических воспоминаний"(Книжки "Недели" 1892. № 6) означал прежде всего реальность лиц, послуживших прототипами для "Юдоли"

В XV главе повести появляется эпизодический, но довольно подробно обрисованный автором персонаж — жившая в Послове «в замкнутом одиночестве именитая г-жа княгиня Д*, знатная дама, занимавшая перед тем видную "позицию", но вдруг чем-то кому-то не угодившая и удаленная» (IX, 281). В этой характеристике значимо каждое слово. Дело в том, что селом Пословым[10] (как и частью деревни Труфаново)[11] владела Прасковья Николаевна Давыдова, вдова "полковника Владимира Денисова сына Давыдова"[12], приходившегося дядей поэту-партизану Денису Давыдову, а также родным братом генерал-майору флигель-адъютанту Л.Д.Давыдову (отцу декабриста В.Л.Давыдова) и М.Д.Ермоловой (матери А.П.Ермолова и А.М.Каховского)[13]. Теперь могут быть расшифрованы фразы автора: «...жила в замкнутом одиночестве <...> чем-то кому-то не угодившая и удаленная. Говорили <...> что "душа ее не тут",— она живет "в недосягаемых сферах"» (IX, 281). По-видимому, Лесков намекал на ее сочувствие декабристам. Во всяком случае то обстоятельство, что писатель полностью фамилию героини не раскрыл, представляется не случайным.

В финале "Юдоли" рассказано о том, что «в Послове было написано завещание, дававшее после смерти Д* "всем волю"». Речь, конечно, шла о крепостных крестьянах. "Это было величайшее событие во всей губернии, которая такого примера даже немножко испугалась" (IX, 308). Подтверждение реальности этого факта мы нашли в планах села Послова (с деревнями Саньковой, Батавиной, Ярыковой) и в плане деревни Труфаново за 1849 г. Надпись на них свидетельствует, что планы были составлены по приказу палаты государственных имуществ "Орловской губернии и уезда оброчной земли, поступившей в казну от графини Орловой-Чесменской"[14], племянницы Прасковьи Николаевны Давыдовой[15]. Т.е. бывшие крепостные Давыдовой стали государственными крестьянами. Таким образом, задолго до официального акта отмены крепостной зависимости более 1500 крепостных крестьян становились свободными. Об этом факте, естественно, знала губерния и не мог не знать чиновник уголовной палаты Лесков.

Может быть назван прототип еще одного героя "Юдоли" — Луки Кромсая, "шельмы-мужика", умевшего "из всякого положения извлекать себе выгоды <...>" (IX, 272). Он украл деньги и за это был наказан "громовой стрелой" — "страшной грозой, спалившей" его двор (IX, 279): «...туча <...> сверкнула огнем и ударила прямо в чулан, в то место, где у Кромсая была примощена короватка <...> Все это так "феварком и загорелося" Но при этом <...> выкинуло вверх только одну доску <...> к ней прилипло несколько штук копеечек, и все их раскинуло треугольником, а как раз посредине угла сидел серебряный рубль,— будто глаз глядел" (IX, 278). Этот эпизод явно перекликается со случаем из жизни дворового крестьянина Лесковых, который в 1840—1842 годы жил в Гавриловском, а потом в Панине. Свидетельство об этом мы находим в письме Лескова к его сестре Ольге Семеновне Крохиной от 21 июля 1891 г.: "Этого не поправят ни панихиды, ни молебны, ни попы, ни доски с влипшими в них грошами (как гроши Костика на Панине влипли в спинку стоявшей в сарае коляски)"[16]. В записях исповедовавшихся в Добрынской церкви дворовых крестьян М.П.Лесковой за 1850—1860-е годы значится "Константин Антонов" В "Окладном табеле помещиков и крестьян" за 1851 г. сказано: "Лесковой надворной советнице Марии Петровой деревне Паниной, Александровке тож, 2 дворовых от майора Федора Андреева Алымова <...>" Эти дворовые — Костик и Григорий Антоновы — были ею вывезены из сельца Гавриловского Орловского уезда, ее имения[17]. Скорее всего, именно этого Костика вспоминал Лесков и в письме к сестре, и в повести "Юдоль"

* * *

Константина Антонова под его собственным именем Лесков вывел в ранней повести “Житие одной бабы” (1863), автобиографичность которой подчеркивается подзаголовком: “Из гостомельских воспоминаний” Характер “Костика”, “злющего” “маленького мужиченки” (I, 263), напоминает Луку Кромсая: Костик “разбойник разбойником вышел” (I, 264), “держался от семьи, словно волк какой <...> торговал и овсом, и водкой, и господскими жеребцами <...> деньги у него были” (I, 266—267). В “Росписях” Николаевской церкви села Добрыни записано: “Константин Антонов” (фамилии крестьян в этих записях почти никогда не указывали, а называли по отцу). Обратим внимание, что в повести мать Костика называет его отца: “Антоныч, да Антоныч” (I, 264). Костик женится “на двадцать шестом году” (I, 267), т.е. двадцати пяти лет. В 1850 г. у 33-летнего Константина Антонова имеются три дочери. Старшей 8 лет. Следовательно, он стал отцом в 25 лет. Как и у героя Лескова, у Константина Антонова сыновей не было, но тоже были два брата, с теми же именами, что и в повести,— Петр и Егор. В “Росписях” Добрынской церкви за 1850-е годы, значится Петр Антонов, а в 1860-м году упоминается Георгий (т.е. Егор) Антонов, видимо, ранее бывший на оброке. В “Житии...” читаем: “Мать своих младших детей определила в город мастерству учиться: Петьку на четыре года, а Егорку на шесть лет” (I, 264).

Записи о главной героине повести Насте Антоновой в церковных книгах села Добрыни нет. Но в приходской церкви сельца Гавриловского она упомянута дважды — за 1840 и 1841 гг. Настя выходит замуж в Верхнюю Гостомлю за Григория Прокудина при жизни помещика “Митрия Семеновича” — в 1841 г. Верхняя Гостомля относилась к церкви села Жерновец, документы которой не сохранились. Зато жители Гостомли в 1980 г. уверяли, что Прокудины у них жили в деревне до 1979 г. Последняя их представительница уехала теперь к дочери в город.

В этой повести мы дважды встречаемся с именем попа Лариона. В Добрынской церкви в приезды Лескова в 1857, 1860, 1862 гг. дворянским священником был Илларион Оболенский[18].

В эпилоге автор сообщает точную дату смерти своей младшей сестры Маши. Но необходимо отметить, что Маша родилась после смерти отца писателя [19], поэтому, если считать героиню повести Настю Прокудину реальным лицом, тогда она не смогла бы нянчить Машу. Из барышень Лесковых в 1840—1841 гг. была одна Наталья. Видимо, Лескову захотелось здесь вспомнить имя любимицы семьи — только что умершей Машеньки.

У автора в действительности был младший брат Миша, но он учился не в гимназии, как сказано в эпилоге повести (см. I, 384), но в кадетском корпусе. В орловской гимназии в 1847—48 гг. учился другой брат Лескова — Алексей. А вот упомянутый здесь же бывший инспектор гимназии Петр Андреевич Аз-н (I, 384) — реальное лицо: Азбукин Петр Андреевич, коллежский советник, инспектор Орловской губернской гимназии, значащийся в “Списках потомственных и личных дворян”, проживавших в Орле в 1843—1847 гг.[20]. Взят из жизни и “мужик Дмитрий Данилов”, сверстник автора (I, 383)[21].

* * *

Дмитрий Данилов был племянником Ильи Васильевича, изображенного Лесковым в рассказе “Пугало” (1885),— “старого мельника, дедушки Ильи” (VIII, 6). Этот рассказ, как и “Житие одной бабы”, был написан на основе “гостомельских воспоминаний” автора. Сам Лесков сообщал А.С.Суворину в 1887 г., что в основу сюжета положен “истинный кромской случай”, а герой Селиван — реальное лицо (XI, 357—358).

В рассказе упоминаются крепостные девушки, “которых было у нас в комнатах очень много, и все они большею частию назывались Аннушками” (VIII, 16). Судя по записям в книгах Добрынской церкви 1839 г., у Семена Дмитриевича Лескова было в то время три крестьянки с именем Анна, а в 1850 г. появились еще записи об Анне Андреевой и Анне Стефановне (Степановне), нянюшке Лесковых[22].



ОРЕЛ. ГУБЕРНСКАЯ ТЮРЬМА. ВИД С БЕРЕГА

Работа неизвестного художника <1920—1930-е годы>
Перо и акварель

Собрание Л.Н.Афонина, Орел

Место действия рассказа Лескова “Загадочное происшествие в сумасшедшем доме” (1888), упоминается в “Мелочах архиерейской жизни” (1878)

В воспоминаниях о П.И.Якушкине Лесков рассказывал о приезде брата, “имевшего при себе для услуг нашего бывшего крепостного человека, орловского крестьянина Матвея Михайловича Зайцева” (XI, 81). Как нам удалось установить, он приходился внуком “дедушке Илье” Таким образом, из этих воспоминаний мы узнаем фамилию всей семьи, и в комментарии к “Пугалу” можно отметить, что “мельник дедушка Илья” — крепостной крестьянин Лесковых Илья Васильевич Зайцев.

Другого внука мельника Ильи — молодого и красивого кучера Порфирия Михайлова Лесков упоминал в очерках “Русские демономаны”[23]. Документы подтверждают рассказ автора о том, что жену Порфирия с первого месяца замужества “стало водить” В книге Добрынской церкви за 1862 г. Гликерия, жена Порфирия, числится “в бегах”

* * *

Орловские дореформенные судебные порядки нашли отражение в рассказе “Загадочное происшествие в сумасшедшем доме”, напечатанном в 1884 г. с подзаголовком “Извлечено из бумаг Е.В.Пеликана (1858—1878)”[24]. Реальность событий, положенных в его основу, подтверждается документами, обнаруженными нами в архивах Орла и Петербурга.

С 1833 г. отец писателя был избран “заседателем от дворянства” в Уголовную судебную палату. В 1834 г. в палату поступило дело, отнесенное к “особым делам” и порученное С.Д.Лескову: “По наблюдению за следствием над бывшим лесничим Трубчевского уезда Красовским И., судимым за порубку казенного леса”[25]. Оригинал дела до нас не дошел, так как в 1841 г. почти весь архив сгорел. Специальная комиссия, обнаружившая остатки документов, представила по сохранившимся мате-

риалам докладную губернатору. Мы располагаем этой подшивкой документов, пополнявшейся затем новыми, возникшими в ходе дальнейшего расследования.

Процесс начался с 1822 г. и тогда касался самовольной выкурки смолы. В 1824 г. это дело осложнилось самовольной выкуркой угля и рядом других дел. Иван Красовский имел сообщников, которые помогали ему уходить от ответственности. В 1829 г. его имя фигурировало уже в восьми делах "о разных законопротивных поступках" В 1834 г. вместе с делом "о самовольной порубке казенного леса" оно было возвращено губернатором в Уголовную палату "для совокупного рассмотрения с возникшими вновь о лесных порубках".

Это дело было из числа тех, которые "пахли сотнями тысяч" Оно вполне могло быть одной из причин, ускоривших уход Семена Дмитриевича в отставку. В 1846 г. в палату пришел служить сын следователя С.Д.Лескова. В рассказе читаем: "...из-за Красовского, во время его долголетней жизни в орловском остроге, возникали новые дела, а его собственное дело об истреблении вверенных ему казенных лесов все тянулось. На нем, так сказать, воспитывались целые поколения палатских юристов (выписку из него при представлении в Сенат делал сын следователя, начавшего следствие) <...>"[26].

В 1833 г. Красовский был взят под стражу и посажен в Севскую уездную тюрьму. В 1842 г. его перевели в Орловский тюремный замок, где он находился до 1847 г. Таким образом, сообщение Лескова, что Красовский сидел "в Орловском остроге более десяти лет", соответствует истине. В фонде Губернского жандармского управления есть сведения:

"Именной список об арестантах, содержащихся в Орловском тюремном замке по 16 июня 1846 года. Уголовная палата: № 1. В замок поступил 1842 апреля 13, титулярный советник Иван Красовский, 47 лет, зачислен 1843 октября 22"[27]. Следовательно, из Севской тюрьмы он был переведен после того, как погоревшими документами стала заниматься специальная комиссия, а губернатором был назначен князь П.И.Трубецкой. Лесков в то время учился в гимназии и бывал на Монастырке, где жил его товарищ, сын этапного офицера (см.: VI, 409). Тюремный замок располагался между Монастырской слободой и садом губернатора, мимо которого проводили арестованного в присутственные места для допроса. В рассказе Лесков вспоминает: «Я его помню, когда его водили из острога с двумя часовыми мимо так называемого губернаторского сада, где я играл во дни моего детства <...> Когда в Орле была впервые прочтена "Крошка Доррит", то многие говорили, что старый отец маленькой Доррит, живущий в тюрьме и там лицемерствующий, точно будто списан Диккенсом с орловского острожного патриарха — Красовского»[28].

Лесков воссоздал в рассказе портрет и характер преступника: ...Красовский — человек уже очень старый, набожный и постник, джентельмен, с совершенно белой головою, всегда тщательно выбритый и причесанный <...> ходил с часовыми очень спокойно, ласково улыбался знакомым и почему-то *благословлял детей!..*[1*] <...> получил вес и значение в тюрьме; он славился своим благочестием и скупостью <...>"[29]. В архивах сохранились жалобы, написанные Красовским на имя Николая I и министра юстиции графа В.Н.Панина. Перед нами встает действительно "лицемерствующий" человек.

В своих жалобах Красовский сообщал: ...уездный судья Брусилов <...> продолжал меня преследовать, стараясь заводить вновь другие ко вреду моему дела, почему Губернское правление указом от 3 мая 1835 года за № 3662-м отстранило <его> от присутствия по делам моим", но "судья Брусилов продолжал" и "заарестовал капитал", "сделал новый навет о порубке лесов" Потом и советник Орловской палаты уголовного суда стал утверждать, что "укрывший" его городничий "Зинковский доводится родственником", и поэтому "уездный суд может выносить свое заключение" Это тоже он объяснял как "нарушение закона", подчеркивая "обоюдное их соглашение и примерное притеснение, преследование": судья на "свою сторону склоняет чиновников". А, между тем "лес-то рубили крестьяне", и он сам "первый открыл это злоупотребление[30].

[1*] Слова "и почему-то *благословлял детей!..*" в первопечатном тексте рассказа отсутствуют.


Рѣдкій эк.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА

ТОМЪ ШЕСТОЙ

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Н. С. ЛѢСКОВА

ТОМЪ ШЕСТОЙ

СОДЕРЖАНІЕ:

Захудалый родъ. (Семейная хроника князей Протозановыхъ).—Мелочи архіерейской жизни.—Архіерейскіе объѣзды. — Епархіальный судъ. — Русское тайнобрачіе. — Борьба за преобладаніе. — Райскій змѣй. — Синодальный философъ. — Бродяги духовнаго чина. — Сеничкинъ ядъ. — Приключеніе у Спаса въ Наливкахъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
ТИПОГРАФІЯ А. С. СУВОРИНА. ЭРТЕЛЕВЪ ПЕР., Д. 11—2
1889

ИЗЪЯТЫЙ ЦЕНЗУРОЙ ШЕСТОЙ ТОМ
единственного прижизненного собрания сочинений Лескова

Из отпечатанного тиража были вырезаны и сожжены “Мелочи архиерейской жизни” “Борьба за преобладание”, “Райский змей” и другие произведения о церковной жизни Сохранилось несколько (предположительно восемь) полных экземпляров книги

Титульный лист и шмуцтитул экземпляра со штампом Лескова “редкий эк.” и с дарственной надписью: “Акиму Львовичу Флексеру на добрую память и в благодарность за его мужество, с которым он честно опроверг некоторые бесчестно возведенные на меня литературные клеветы Николай Лесков. 22 апр. 1892 г. С.П.б."

Орловский государственный литературный музей И.С.Тургенева, Орел

Лесков вспоминал, что Иван Красовский “в остроге промышлял ростовщичеством, давая под залоги от двугривенного до рубля из десяти процентов в неделю. За это его и хотели задушить”[31].

Из жалоб Красовского мы узнаем, что “содержащийся в замке канцелярист Сахаров <...> приходя на совет к Данилову <...> делал ему, Красовскому, новые ругательства” Смотритель тюрьмы в свою очередь доносит, что “при обыске <...> в комнате арестанта Красовского, учиненном для отобрания имевшегося у него вина <...> в запечатанном полуштофе <...> были у него усмотрены разные, у него у Красовского, вещи весьма значительной ценности состоящие” Он же снова 24 декабря 1845 г.: “...арестант Францишек Козелок с арестантом Исаем Кривошатиным (он же Хован), зайдя к нему в комнату, имели намерение лишить его жизни, из коих Кривошатин схватил его за горло, повалил на пол, стал душить...” Так что этот факт не выдуман писателем.

“Наконец,— писал Лесков,— после двенадцатилетнего содержания в тюрьме Красовского выпустили, но он еще не хотел идти из тюрьмы, говорил, что ему негде жить и нечем жить”[32].

В документах Красовского зафиксировано, что 1 марта 1847 г. Сенат приказал: “Кончить дело без очереди” 5 марта Орловская судебная палата рапортовала об его

окончании без очереди и о том, что Красовский освобожден из тюрьмы "без выезда из Орла"[33].

Как мы теперь знаем, дело Красовского, начатое в 1822 г., продолжалось до 1847 г. Таким образом, оно велось 25 лет! Но в тюрьме преступник сидел четырнадцать лет.

Для "Жития одной бабы", "Пугала", "Грабежа", "Юдоли", "Загадочного происшествия в сумасшедшем доме" материалом послужили детские и юношеские впечатления писателя. Однако и позднее, живя в Петербурге, Лесков не терял связи с родными местами. Он бывал наездами в приокских и гостомельских местах. Земляки, заезжая в столицу, навещали писателя.

* * *

В 1878 г. в газете "Новости" были напечатаны "Мелочи архиерейской жизни" В 1880 г. в "Историческом вестнике" Лесков поместил еще один очерк под заглавием "Владычный взгляд на военное красноречие"[34], вошедший затем в состав "Мелочей..." (глава двенадцатая; см.: VI, 480—502).

Из вступления к очерку мы узнаем, что Лесков написал его под впечатлением «неожиданного "фиаско брачного вопроса в Св. Синоде"» (VI, 480): речь шла о смягчении бракоразводного законодательства. Известно, что Лесков всю жизнь проявлял исключительный интерес к этому "ноющему вопросу русской жизни"[35].

В фонде орловского губернатора сохранилось дело, неопровержимо доказывающее, что сюжетной основой очерка послужил реальный случай.

Комментаторы Собрания сочинений Лескова 1956—1958 гг. правильно расшифровали фамилию героев и название имения: "Т<инько>вы", село "Х<ому>ты" (VI, 484, 676; правда, надо оговорить, что Хомуты Лесков сам ошибочно называл селом: церкви там не было). Найденные документы, в частности дело "О вступлении орловским помещиком Тиньковым в брак с дворянкою девицею Кологривовою, состоящею будто бы с ним в 4-й степени плотского родства"[36], дают дополнительный материал для комментирования очерка.

Лесков подчеркивал, что супруги Тиньковы "жили так благополучно, как будто на союз их самым законным образом низошло самое полнейшее Божеское благословение, которого, казалось бы, ничто не в состоянии нарушить. И муж, и жена были известны за очень хороших людей <...>" (VI, 484). Однако обиженный супругами "изрядный забулдыга" местный дьячок послал архиерею донос "на незаконность брака Т<иньков>ых, повенчанных в недозволенной степени родства" (VI, 484).

Найденные документы свидетельствуют, что бракоразводный процесс начался в 1859 г. Видимо, в свои приезды в Орел в 1860 и 1862 гг. Лесков узнал об этом процессе, причем, возможно,— от самого Александра Тинькова, бывшего гимназического товарища[37]. Тот приехал затем по судебным делам в Петербург и навещал автора очерка. "Я его постоянно видел у себя в эту пору и знаю все перипетии дела до мельчайших подробностей" (VI, 485).

Из обмена посланиями губернатора и епископа мы узнаем: у бывших супругов отобрали "подписку" о том, что "они не будут жить вместе" Об этом же писал в очерке и Лесков: "Их, разумеется, развели, и подписку с них взяли, и покаяние их, где надо, значилось" (VI, 500).

Лесков подчеркивал, что "А.Т<инько>в, довольно родовитый и крупный помещик О<рловс>кой губернии", состоял в родстве с автором очерка (VI, 483). В фондах Государственного музея И.С.Тургенева хранится составленная А.Н.Лесковым "Родословная Алферьевых"[38], откуда ясно, что двоюродная сестра Лескова, Александра Страхова, была замужем за Федором Ивановичем Кологривым, а ее родной брат был женат на Зинаиде Васильевне Тиньковой.

В предисловии к очерку писатель предупреждал: «Я хочу только показать живыми очерками архиерейских отношений к людям, страдавшим от пут этого рокового вопроса, что об архиереях несправедливо заключать по этому "фиаско" "Многие (если не все) епископы в душе совсем не так жестки и бессердечны <...>"» (VI, 483). В очерке мы знакомимся с якобы добрым пастырем, как будто помогающим попавшим в беду людям. Архивные документы помогают нам проследить действительный ход дела и отношение епископа Орловского и Севского Поликарпа к супругам Тиньковым.

Из очередного послания Поликарпа к губернатору графу Левашову от 7 июня 1861 г. мы узнаем:

"В Орловском епархиальном ведомстве производится с 1859 года дело о вступлении орловским помещиком Александром Николаевичем Тиньковым в брак с дворянкою, с девицею Мариею Кологривою, состоящею будто бы с ним, с Тиньковым в 4-й степени плотского родства. Дело это <...> не получает окончания за намеренною уклончивостью от дачи показаний <...> поручителями помещиков: орловского Гвоздева, мценского Афанасия и болховского — Петра Тиньковых: так как у всех ответных к следователю, по сему предмету, отношений Орловской городской полиции, земских судов: Орловского, Мценского и Болховского видны только переезды сказанных лиц с одного места на другое. Желая, по пасторской своей обязанности, сколько возможно поспешно прекратить зло, происходящее от противозаконного брака Тинькова с Кологривою, я покорнейше прошу, милостивый государь, принять самые ближайшие и самые строгие меры к пресечению гг. Тиньковым, Гвоздеву и Кологривой средств уклоняться от дачи следователю, священнику Декопольскому потребных к делу показаний, и о последующем меня уведомить<...>"

С изумительным проворством губернатор 14 июня 1861 г. отдает соответствующее распоряжение. Но пострадавшим, видимо, все сочувствуют. Епископ 26 февраля 1862 г. снова обращается к губернатору с повторным требованием "принять самые ближайшие и строгие меры к пресечению способов прикосновенных к делу сему лицам уклоняться от дачи следователю нужных объяснений": "Не получая до сего времени от Вас по сему делу никакого уведомления, я имею честь покорнейше просить Вас, милостивый государь, почтить меня уведомлением о распоряжении Вашем"[39]. Дело затягивалось, и епископ отдал распоряжение о поисках документов в архиве консистории. Документы были найдены, 4 февраля Поликарп писал губернатору Левашову: "Поелику же церковные правила возбраняют вступление в брак в 4 степени плотского родства, а 221 ст<атья> Уст<ава> Д<уховной> консист<ории> обязывает епархиальное начальство сноситься с местным гражданским начальством о разлучении вступивших в такой незаконный брак от сожительства: то я покорнейше прошу Вас, милостивый государь, учинить зависящее с Вашей стороны распоряжение о немедленном разлучении Александра Николаева Тинькова с женою его Мариею Кологривою и о последующем почитать меня уведомлением.

С истинным почтением и преданностью имею честь быть Вашего сиятельства, милостивого государя, покорнейшим слугою Поликарп, епископ Орловский и Севский"[40].

Одна за другой летели бумаги из дома губернатора к земскому исправнику с предписанием "немедленно распорядиться о разведении орловского помещика Александра Николаева Тинькова с женою его дворянкою Ливенского уезда Мариею Николаевой Кологривою"[41]. 19 апреля 1863 г. земский исправник рапортовал об исполнении предписания губернатора, а тот, в свою очередь, уведомлял об этом епископа[42].

Но Лесков писал, что герои его очерка решили "*не доверять*" приговору консистории, "и Бог их на доброй русской земле терпит. Семья их и до сих пор сохраняет свой прежний счастливый состав и мирное благоденствие <...>" (VI, 500). И действительно, "Памятная книжка Орловской губернии" свидетельствует, что в 1894 г. А.Тиньков был гласным уездного земства[43], а "Списки с недвижимого имущества" на 1898 г. показывают, что городской усадьбой в Орле "по дарственной" мужа владела его жена Мария Кологривая[44].

По-видимому, сюжет очерка опирался, кроме всего прочего, на семейные предания Лесковых—Алферьевых. Об этом вспоминал сын писателя[45]: «Когда у Алферьевых[46] родился сын Сергей[47], Страхов[48] милостиво согласился крестить. Крестною матерью поставили у купели семилетнюю Наталью Петровну[49]. Выходило, что оба восприемника покумились. Прошло еще около восьми лет, стареющий кум женился на расцветшей своей куме. О том, что по каноническим правилам духовные родители окрещенного сами состоят уже в наиближайшем родстве как дух<овные> муж и жена, никто или не подумал, или не знал, или не смел напомнить. Брак состоялся, шли уже дети, и вдруг стряслась негаданная беда.

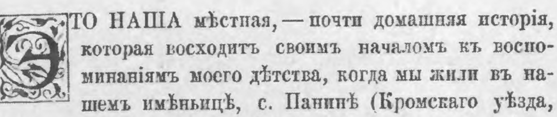


II.

ДВОРЯНСКІЙ БУНТЪ ВЪ ДОБРЫНСКОМЪ ПРИХОДѢ.

„Каковъ попъ—таковъ и приходъ“.
Пословица.

I.



ЭТО НАША мѣстная, — почти домашняя исторія, которая восходитъ своимъ началомъ къ воспоминаніямъ моего дѣтства, когда мы жили въ нашемъ имѣньицѣ, с. Панинѣ (Кромскаго уѣзда, Орловской губерніи). Мѣстность была изъ рода тѣхъ, которыя издавна еще называли „дворянскими гнѣздами“. Вокругъ насъ въ кучкѣ жило много крупнаго и мелкопомѣстнаго дворянства. Въ с. Разновильѣ сидѣлъ князь Трубецкой, въ с. Кривцовѣ—г-да Кривцовы—цѣлый выводокъ, и еще Ададуровы; въ Косаревѣ — старый Илья Ивановичъ Кривцовъ, а въ Зиновьевѣ — большая и притомъ самая образованная семья Ивановыхъ.

Князь Трубецкой представлялъ собою настоящую родовую аристократію околодка, а семейство Ивановыхъ—умственную. У Ададуровыхъ „пили“, а мой отецъ и Илья Кривцовъ „чудили“. Оба были люди очень умные, жили анахоретами и изнывали въ тоскѣ. Илья Ивано-

"ДВОРЯНСКИЙ БУНТ В ДОБРЫНСКОМ ПРИХОДЕ"

Публикация в сборнике Лескова "Русская рознь. Очерки и рассказы (1880—1881)"

СПб., изд. книгопродавца И.Л.Тузова. 1881

Раз как-то Страхов не одарил чем-то нелюбезного ему мелкого священноябедника — местного дьячка. Тот послал в губернскую духовную консисторию донос о незаконности брака. Вчинилось "дело"

Надменный Страхов переполошился и полетел к архиерею. Тот не поскупился на всевозможные утешения, но признал себя бессильным пресечь дело о расторжении незаконно заключенного брака <...> Рос скандал <...> Упрямый боярин заявил, что истратит в сколько угодно раз большие суммы, но вымогателям гроша не даст. С этим он помчался в Петербург, ухлопал там три тысячи рублей серебром и, как ни казалось безнадежным, добился, благодаря хорошим связям и опытному руководительству, не только благоприятного решения дела "Святейшим синодом", но и внушительного "напрягая" орловскому архиерею. Случай этот послужил Лескову для значительно иначе построенного и освещенного повествования ("Мелочи архиерейской жизни"). Наталья Петровна к этим временам уже была настоящая губернская

grande dame, зорко блюла стародворянские традиции вообще и заповедь о невыносе "сора из избы" паче всего прочего. Памятуя ее гнев за первые свои неосторожности в этой области, Лесков на этот раз старательно перетасовал степень родства супругов, инициалы причастных событию лиц, словом, устранил всякую сходность с тем, что когда-то стряслось в Горохове. Строгая тетушка была еще жива и еще разгневить ее не хотелось».

* * *

Один из первых очерков "Мелочей архиерейской жизни" посвящен "молодому сельскому дьячку Лукьяну" (VI, 410), долго ожидавшему "владычного суда" на "орловской монастырке" за свои любовные похождения. Лесков вспоминал, что Лукьян "был человек холостой и состоял дьячком в очень бедном приходе, в селе, которое, кажется, называлось Цветынь и было где-то неподалеку от известного над Окою крутого Ботавинского спуска" (VI, 412). Писатель признавался, что фамилию своего героя забыл (см.: VI, 410).

"Исповедальные ведомости" Георгиевской церкви села Цветынь Орловского уезда, расположенного на реке Цветынке недалеко от деревни Ботавино, свидетельствуют о том, что в этой церкви действительно служил дьячок Лука Кондратов (в 1833 г. ему было 17 лет). С 1837 г. с ним жила его мать, "вдова попадья Екатерина Федосеева — 40 лет" (ср. сообщение Лескова: "При Лукьяне жила мать, которую он очень любил <...>" — VI, 412). С 1842 г. он был женат, видимо — по указанию архиепископа Смарагда, заставившего дьячка "остепениться" Женитьба Луки совпадает с первым годом учебы Лескова в орловской гимназии. Это позволяет предполагать, что хронология событий точно соблюдена в "Мелочах...": сразу после своего заключения на Монастырской слободке, где его и встречал будущий писатель, Лука женился[50].

* * *

Через три года после окончания бракоразводного процесса Тиньковых в Орловской губернии произошло новое событие, которое носило уже не семейный, а "политический характер" В этом деле главными действующими лицами снова выступили епископ Поликарп и губернатор граф Н.А.Левашов. Пострадавшим лицом на этот раз был другой гимназический товарищ Лескова — Петр Николаевич Анцыферов. Как и Тиньков, он приехал в столицу искать правды и также пришел за советом к другу-земляку. В "Памятной книжке" Лескова тогда, наверное, и появился его петербургский адрес: "Анцыферов Петр Николаевич, Канатная, 7, кв. 2"[51]. Беда над ним нависла тоже из-за "кляузы" священнослужителя.

В конце 1880 г. в письме к И.С.Аксакову, в то время издававшему газету "Русь", Лесков сообщал: "Я начал для Вас бытовую историйку (по документам), под заглавием "Дворянский бунт на Добрыньской поповке", и половину написал <...>" (X, 474). Очерк (окончательное заглавие "Дворянский бунт в Добрынском приходе") увидел свет в марте 1881 г. в "Историческом вестнике" Перед редактором журнала С.Н.Шубинским писатель сразу поставил твердое условие: «Выпусков не могу потерпеть никаких, ни на одно слово <...> есть места сильные "об архиереях", но я <...> сделал цензурно <...>» (XI, 249). В том же письме к Шубинскому Лесков датировал "дворянский бунт", т.е. события, положенные в основу очерка, 1866 годом.

Хранящиеся в орловском архиве документы подтверждают автобиографичность очерка, реальность событий и лиц, в нем изображенных. Причем Лесков сохранил фамилии и звания людей, представителей разных сословий.

"Росписи Кромской округи села Добрыни Николаевской церкви" за 1830—1839 и 1850—1878 гг., "Книга на записку о причте означенной (т.е. Николаевской — *Р.А.*) церкви. 1857—1885", "Книга на записку прихода денег"[52] в той же церкви, "Дело о кромском священнике Оболенском, призывавшем крестьян не повиноваться властям"[53], дают важные сведения для комментирования этого очерка.

Среди прихожан Николаевской церкви села Добрыни числятся все названные писателем лица[54]. Из Кривцовых — "малолетняя девица Ольга Петровна Кривцова (позднее — помещица Лисенкова) и "господин поручик Иван Иванович Крив-



СЕЛО ДОБРЫНЬ. НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Впервые упомянута в документах в 1734 г.
Ныне разрушена. Колокольня уничтожена в 1930-е годы

Фотография Н.М.Чернова, 1957 г. Из собрания Р.М.Алексиной (Орел)

Место действия рассказа "Житие одной бабы" (1863)
и очерка "Дворянский бунт в Добрынском приходе" (1880)

цов" — владельцы деревень на Средней Гостомле (Кривцова и Хвостовки). Здесь же назван и "помещик Илья Иванов Кривцов", владелец Косарева. Эти сведения подтверждают точность слов автора, что на Гостомле жил "целый выводок" Кривцовых. Владельцем части сельца Кривцово, как и вспоминал Лесков, действительно был помещик Николай Егорович Ададуров.

Илье Ивановичу Кривцову, "сочинителю молитв", по характеристике писателя, человеку "умному, жившему анахоретом и изнывавшему в тоске", в 1839 г. было 58 лет. Он (как и отец Лескова), видимо, действительно умер в "холерный 1848 год", как и писал Лесков в очерке: в "Росписях" 1850 г. его имени уже нет. Жившая у И.И.Кривцова "Аксинья Матвеевна", "крепостная девушка", упомянутая в очерке, в церковных "Росписях" 1839 г. значится "отпущенной на волю", а после смерти И.И.Кривцова — "кромской мещанкой Ксенией Матвеевной".

"Центр нашей умственности,— писал Лесков,— было семейство Ивановых. Особенно большим образованием отличалась их мать, старушка Настасья Сергеевна из дома Масальских <...>"[55]. В "Росписях" 1839 г. о ней сохранились следующие сведения: "Сельца Нижней Гостомли князя Масальского, живущая по доверенности, подпоручица Анастасия Сергеевна Иванова, 45"[56]. Следовательно, если ей в 1839 г. было 45 лет, то годом ее рождения надо считать 1793 или 1794-й. Поэтому князю К.П.Масальскому (1802—1861), старше которого она была примерно на восемь лет, она могла приходиться племянницей, как и жившая в Орле Анна Николаевна Зиновьева. П.Г.Масальский мог быть их дедом, но владельцем орловского сельца Зиновьева (Нижней Гостомли) был, видимо, сенатор князь А.А.Кольцов-Масальский. После его смерти в 1839 г. Анастасия Сергеевна стала владелицей Зиновьева, которое вплоть до 1917 г. было собственностью ее потомков[57].

Далее Лесков вспоминал об ее дочерях: “Четыре барышни, из коих две младшие были немногим меня старше,— все были очень начитанны и не лишены разнообразных дарований”[58]. Приведем полную запись о семье А.С.Ивановой из церковной “Книги” за 1850 г.: “Сельца Нижней Гостомли, Зиновьева тож, вдова помещица, подпоручица Анастасия Сергеевна Иванова, 57. Дети ее: Ольга Владимирова — 27[59], Анна Николаева — 21[60], поручик Николай Алексеев Иванов — 37, жена его Елизавета Иванова — 25, вдова штабс-капитанша Софья Алексеевна Языкова — 41[61]” (Вера Алексеевна Витовская — 36 лет — в этот период не жила с матерью).

Как видим, автор “Дворянского бунта...” и здесь сохраняет соответствие с реальностью жизни. У Анастасии Сергеевны действительно было четыре дочери и сын (от разных отцов). Младшая дочь на два года была старше писателя.

Лесков упоминал в очерке и сына А.С.Ивановой — “Николая Алексеевича, служившего нашим дворянским предводителем”[62]. Николай Алексеевич Иванов, предводитель уездного дворянства, умер в конце 1856 или в самом начале 1857 г. Среди исповедовавшихся на Страстную неделю в 1857 г. его имени нет, а жена его записана как “вдова” Следовательно, он действительно мог успеть исполнить желание дворянства и попросить у архиепископа Смарагда “приятного” для них священника.

Церковные книги не подтверждают сообщения писателя о том, что его «матушку прихожане раз избрали “старостихою”»[63]. Но вполне вероятно, что после “холерного года” мать Лескова действительно могла выполнять надзор за ремонтными работами “при поправке <...> Добрынской церкви” и следить за расходом денег. С июля 1848 по декабрь 1850 г. за церковного старосту, крестьянина, расписывался “пономарь Алексей Васильев Юрьев” Видимо, из дворян тогда некого было избрать в старосты, а подписи представительницы женского пола в церковной книге по консисторским правилам и не могло быть. Вместе с ней, по уверению сына, выполнял присмотр за ремонтными работами “дьякон Василий Иванович” Судя по “Росписям”, он тоже реальное лицо: “Василий Иванович Николаевский, 36 лет” Помогал им “мужик из деревни Хвостовки” художник-самоучка “Василий Моськин”; он действительно был жителем деревни Хвостовки, где и сейчас живут его потомки.

Среди исповедовавшихся в Добрынской церкви есть фамилии жителей сельца Зиновьева, которых в очерке Лесков называет “свидетелями” Это крестьяне Яков Тишкин, Николай Кащеев, Федор Азаров, Григорий Котов — реальные лица. Сохранились их показания на допросах в ходе расследования “дворянского бунта”[64].

Сохранились сведения и по истории церкви, которая стала одним из центральных мест действия “Дворянского бунта...”:

“Построена когда и кем, неизвестно. Зданием деревянная, с таковою же колокольнею. Крепка. Престол в ней один, в настоящей холодной, во имя Святителя и Чудотворца Николая. Утварью достаточна и ризница в небольшом количестве прилична. Причта положено издавна: священников два, диакон один, дьячков два и пономарей два. Земли при сей церкви восемьдесят девять десятин <...> Дома у священников и церковнослужителей собственные, деревянные, на церковной земле. На содержание священно и церковнослужителей жалований не производится, содержание их посредственное” В “Истории описания церквей и монастырей орловской епархии” говорится, что хотя неизвестно, когда и кем построена эта церковь, но “в 1734 году приход этот уже существовал”[65].

Лесков, вспоминая четырех гостомельских иереев, давал каждому из них детальную характеристику. Попытаемся соотнести текст очерка с имеющимися документами.

«В приходе было два причетника, но “исповедником дворянским” постоянно был отец Василий Б-н», “он был первого разряда и имел много достоинств, за которые ему прощали все его недостатки <...>” “Во время моего детства отцу Василию было лет пятьдесят”, он “двадцать лет назад овдовел в первом месяце после посвящения и матушка Марфа Тихоновна была ему не жена... <...> Карьеру свою от<ец> Василий заключил тем, что в один из своих припадков (т.е. запоев.— *Р.А.*) разбил себе висок”: «Он увидал в этом “перст” и пошел в монахи в П-скую пустынь <...>»[66]. В “Росписи” церкви за 1850 г. зафиксировано: “Священник Василий Петров Бунин, 43. Невестка его, вдова диаконница Марфа Тимофеевна, 48. Диакон Василий Иванов Николаевский, 36 <...> Заштатный диакон Николай Николаев Юрьев, вдов, 64. <...> Девица Мария Николаева, 22[67] <...> Пономарь Андрей Васильев Тапков, 46...”



ОРЕЛ. МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКАЯ УЛИЦА

Работа неизвестного художника, <1920–1930-е годы>
Перо и акварель

Собрание Л.Н.Афонина, Орел

Упоминается в рассказе "Несмертельный Голован" (1879)
и в очерке "Дворянский бунт в Добрынском приходе" (1880)

Из "Сведений о причте" Добрынской церкви мы узнаем, что Василий Бунин выбыл из добрынского причта "1856-го, июня 12-го дня"[68]. Следовательно, ему было в момент пострига "около пятидесяти лет" "Матушкой" же была его невестка, вдова. Лесков ошибся лишь в ее отчестве. Постригся отец Василий в Орловской Богородицкой (Площанской) пустыни, описанной в рассказе "Овцебык" (см. I, 65).

«Другой иерей у нас был отец Пармен,— писал Лесков,— которого мужики звали гайдебур, а другие ёрник <...> Он был годами моложе отца Василия, имел высокий рост и очень красивую наружность: стройный, тонкий, с горбатым носом. Был, подобно отцу Василию, "вдов испервоначала", но матушки при себе не имел, а жил иначе — "налетом" Запоем отец Пармен тоже не пил, а напивался при фантазии и при случае, но в таких разах бывал очень буен и гайдебурил <...>», "раз утром на горячих снегах подняли изувеченного отца Пармена"[69].

Из церковной "Росписи"[70] мы узнаем, что в 1843 г. Пармен имел семью, но в год покупки С.Д.Лесковым Панина хутора действительно был вдов, возрастом не моложе, а старше на год отца Василия, после окончания семинарии получил аттестат 2-го разряда, умер, видимо, в конце 1843 г.

"1843 года ноября 24 дня" в Добрынскую церковь прибыл новый поп, с женой и четырьмя детьми, тоже с аттестатом второго разряда,— Иоанн Петров Василевский, которого, видимо, и звали (как вспоминал Лесков) просто "Рыжий"

"Бунт в Добрынском приходе" начался с приездом следующего священника: «Новоприбывшего иерея Иллариона Оболенского мужики тотчас прозвали "поп Варивон"»; "это был первый поп, который почти совсем не пил вина" Он "был очень многосемеен и очень беден", «как оказалось впоследствии, он "склонен был к прокриминациям", или, по выражению нашего острословного дьякона, был "священно-ябедник"»[71].

В "Книге на записку о причте..."[72] есть сведения об Илларионе, главном виновнике "бунта", из-за которого мог попасть на каторгу товарищ Лескова: "Священник Илларион Дмитриев Оболенский, дьячковский сын. По окончании курса богословских наук в орловской семинарии был уволен с аттестатом первого разряда 1851 года, октября 21 дня. Его высокопреосвященством Смарагдом архиепископом Орловским и Севским и кавалером посвящен во священники Кромского уезда села Короськова к Космодамианской церкви; 1856 года, июня 12 дня тем же высокопреосвященным переведен в означенное село Добрынь на место бывого священника Василия Бунина", "30 лет от рождения" В 1856 г. в записях у него значилась жена и трое детей. (Биографические сведения записаны рукой самого Иллариона).

Новый поп оказался, по свидетельству крестьян, "вымогателем" и "спознался с поляком" (т.е. стал ябедничать становому), "этим же оттолкнул от себя дворян",— рассказывает автор очерка. Из "показаний свидетелей" мы узнаем, что попу было отказано от дома Анастасии Сергеевны Ивановой и ее приказчика Тихона Шаврина. Кроме того, свидетельствовал писатель: «...дамы уговорились за блинами в своей церкви постом не говеть, а "ехать говеть кавалькадою в Орел", и как сказали, так и сделали»[73]. Этот факт в какой-то мере подтверждается церковными "Росписями" Николаевской церкви за 1861—1863 гг. В эти годы у Иллариона почти никто не исповедовался. Помогавший попу "теснить крестьян" становой Альберт Осипович Витовский — тоже не выдуманное лицо. Те же документы фонда губернатора подтверждают, что он был жителем сельца Зиновьева, зятем А.С.Ивановой.

Сохранившиеся переписка губернатора Н.В.Левашова с разными лицами (кромским исправником, мировым посредником уезда, епископом) и копии показаний свидетелей[74] дают некоторую возможность проследить за ходом этого дела и опубликовать документ, написанный главным героем "бунта" — П.Н.Анцыферовым, вступившим в борьбу со священником и (возможно, не без совета Лескова) выдвинувшим контробвинение в адрес Иллариона. В письме, адресованном губернатору, Анцыферов обвинил священника в том, что тот "возмущает крестьян к бунту":

«23 мая 1866 года.

Ваше сиятельство, граф Николай Васильевич!

Священник Кромского уезда Добрынской Николаевской церкви Ларион Оболенский, переведенный из села Короськова того же уезда <...> "за нетерпимость характера", состоя под несколькими следствиями за разные преступления, из мести за ходатайство у орловского преосвященного назначить другого священника, использует время требы: возмущает крестьян на неповиновение и к платежу оброка (по этому предмету производится следствие), а в настоящее время за приказание управляющему не принимать его в доме и заявление протоиерею Орловского кафедрального собора Поликарпу, члену консистории, обратить внимание на его неблаговидные поступки и доложить преосвященству, воспользовавшись моей поездкой в Орел по случаю болезненного состояния моего сына, подкупил одного из крестьян соседнего помещика возвести на меня небывалое преступление, будто я знаю преступника, покушавшегося на жизнь обожаемого монарха, и участвовал даже на каком-то из их сборных пунктов, так ровно будто бы и все дворяне участвуют в этом возмущении и в громадном количестве их взято в крепость <...> между тем вследствие возмущения священником Оболенским к бунту крестьян против помещиков, моя жизнь с семейством и других помещиков в опасении.

Ваше сиятельство, убедительно прошу немедленно поручить кому-либо из известных Вам чиновников произвести строжайшее следствие и командировать в помощь <1 *нрзбр.*> штабс-офицера корпуса жандармов <...>

Покорнейший слуга коллежский асессор кавалер

Петр Николаев Анцыферов.

24 мая 1866 г. Сельцо Зиновьево, Кромского уезда»[75].
На письме личный штамп губернатора: "Объяснить в 3-х дневный срок"

Это письмо поставило представителей губернской духовной и гражданской власти в трудное положение, из которого их выручил благочинный Кромского собора. Он подсказал начальству, что поп Илларион "сумасшедший"

В очерке Лесков воссоздал целую галерею портретов орловских губернаторов, не забыл и кромского помещика М.Н.Лонгинова, известного литератора, ставшего позднее начальником Главного управления по делам печати: “...из всех русских литераторов только одному ему ни один орган печати не захотел напечатать никакого некролога... Самочинства Лонгинова в Орле еще интереснее и совсем в другом роде”,— заключал Лесков свой очерк, обещая читателю “в другое время” написать и о Лонгинове[76].

* * *

Иван Флягин, главный герой повести “Очарованный странник”, рассказывает: “Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К. из Орловской губернии” (IV, 395). Обычно комментаторы расшифровывают криптоним: “Граф Сергей Михайлович Каменский (1771—1835)” (см.: IV, 554), о котором Лесков мог слышать еще в детстве. Однако зачем автор зашифровал в данном случае имя этого помещика, если его отца, “изверга” графа М.Ф.Каменского он открыто называл позднее в очерке “Оживленная память”, а самого Сергея Михайловича описывал в “Тупейном художнике” и в обширной рецензии на “Войну и мир” “Герои отечественной войны по гр. Л.Н.Толстому” (см. X, 146)? Кроме того, название главного имения гр. Каменского — село Сабурово (Каменское тож) не совпадает с обозначением имения графа К. в повести: “В селе Г., где сам граф изволил жить, был огромный, великий домина, флигеля для приезду, театр <...> сады <...> но более всего обращалось внимания на конный завод” (IV, 395). Конные заводы имелись у многих богатых помещиков Орловского края, но из театралов, имевших титул графа, конными заводами владели только граф Каменский и флигель-адъютант Александра I, граф Евграф Федотович Комаровский (1769—1849), о котором Лесков тоже не мог не слышать с детства. С 1802 г. его постоянным местопребыванием в Орловской губернии было село Городище, расположенное неподалеку от Орловско-Рославлевского шоссе, у реки Цон. В губернии у графа было 2834 ревизские души. В Городище был замок, с флигелями “для приезду”, водопроводом, французский и английский сад, фруктовые сады, оранжереи, теплицы, грунтовые сараи, рыбные пруды, бахчи... У графа было пять сыновей и три дочери. Все они были близки ко двору. В 1850-е годы имения Комаровского разделились между наследниками. В 1903 г. один из внуков, живший “постоянно в Италии”, попытался продать родовое поместье великому князю Константину Константиновичу, благодаря чему сохранилось подробное описание Городища.

Официальные данные о селе на 1869 г.: “Городище, село, при р<еке> Цон, 71 двор, крестьян 267 м<ужчин> и 257 ж<енщин>. Церковь православная”[77].

Село располагалось на полпути от Орла к старинному городу Карачеву и неподалеку от Площанской, Богородицкой пустыни, где был пострижен отец Василий, священник Добрынской церкви. В Карачеве Лесков бывал не раз. Видимо, неслучайно Карачев становится местом, куда попадает Иван Флягин, сбежав от графа (см. IV, 406—412).

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См. о нем: Прибавления к “Орловским губернским ведомостям”. 1841. 31 янв. (“ отъезжает за границу Баденский подданный часовой мастер Осип Керн”). См. также: *ГАОО.* Ф. 672. Ед. хр. 1212, 1354.

2 *ГАОО.* Ф. 220. Ед. хр. 25.

3 Там же. Ф. 672. Ед. хр. 1828. Л. 65, 97 об. (Списки потомственных и личных дворян. 1843—1847)

4 Труды Орловской ученой комиссии. 1892. Вып. 1 (раздел “Хроника пожаров 1841—1866”).

5 *ГАОО.* Ф. 672. Ед. хр. 1482. Л. 38—41 об. (“Именной список арестантов...”, 1841—1853 гг.).

6 Дело по предписанию Орловского губернатора о назначении полковника Берсеньева орловским полицмейстером (26 июня 1849 — 8 сентября 1849 г.) // Там же. Ед. хр. 2845.

7 Там же. Ед. хр. 1828. Л. 24, 65, 97 об. См. также “Орловские губернские ведомости” (1843. 18 февр.) — “О взыскании по службе”: “Правящему должность Орловского полицмейстера — приставу полиции Солнцеву”

8 Орловские губернские ведомости. 1838. 22 июля.

[9] О жизни Лесковых в Гавриловском см. во второй книге наст. тома сообщение Р.М.Алексиной “Новое о детских и юношеских годах Лескова. (По материалам орловских архивов)”

[10] *ГАОО*. Ф. 88. Оп. 3. Ед. хр. 153.

[11] Надпись на плане деревни Труфаново за 1838 г. свидетельствует о принадлежности деревни “Пар<асковье> Николаевне Давыдовой” “Прибавление к Орловским губернским ведомостям” за этот же год (№ 18) опубликовало ее вызов соседям-помещикам по поводу размежевания, где она сообщает, что жительство имеет в селе Послове.

[12] Дело о спорном имении в Орловском уезде между помещицей Хитрово А.А. и ее детьми 1790—1791 // *ГАОО*. Ф. 6. Ед. хр. 924.

[13] Дело о разделе имущества после смерти ротмистра Дениса Васильевича Давыдова // Там же. Ед. хр. 1485.

[14] Там же. Ф. 88. Ед. хр. 394, 396.

[15] “Дело о спорном имении...” (см. примеч. 35) доказывает, что супруга “генерал-аншефа Чесменского” — Авдотья Николаевна была родной сестрой П.Н.Давыдовой. Ее дочь Анна Алексеевна Чесменская выполнила “волю” тетки.

[16] Цит. по: *Жизнь Лескова*. Т. 2. С. 125.

[17] *ГАОО*. Ф. 101. Ед. хр. 1342. Л. 8.

[18] Там же. Ед. хр. 105.

[19] См. указанное выше (примеч. 9) сообщение Р.М.Алексиной.

[20] *ГАОО*. Ф. 672. Оп. 1. Ед. хр. 1828; Ф. 64. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 68. Он упомянут и в других произведениях Лескова (см.: VIII, 455; XI, 71—72).

[21] Там же. Ф. 101. Ед. хр. 1342. Л. 8. На самом деле Дмитрий Данилов был старше Лескова на 10 лет.

[22] Там же. Ед. хр. 103, 107, 108, 143.

[23] *Лесков Н.С.* Русские демономаны // Лесков Н.С. Русская рознь. Очерки и рассказы (1880—1881). СПб., 1881. С. 229—230.

[24] *Лесков Н.С.* Загадочное происшествие в сумасшедшем доме. (Извлечено из бумаг Е.В.Пеликана) (1858—1878) // Новь. 1884. № 3. С. 414—421 (перепечатано в прижизненном Собрании сочинений Лескова). Евгений Венцеславович *Пеликан* (ум. 1884) — профессор Петербургской Медико-хирургической академии. После 1858 г. — адъюнкт по кафедре судебной медицины, медицинской полиции и гигиены; потом — директор медицинского департамента Министерства внутренних дел; редактор “Военно-медицинского журнала” Основал архив и сборник судебной медицины и гигиены. В первой главе рассказа Лесков опирался на орловские воспоминания, в следующих главах, сюжетно не связанных с первой, — на документы из архива Пеликана.

[25] *ГАОО*. Ф. 672. Ед. хр. 1482. Л. 576 об.; Ед. хр. 1497, 2045; там же. Ф. 580. Стол 1. Ед. хр. 248. Л. 49.; *ЦГИА*. Ф. 1582. Оп. 36. Ед. хр. 1840, 1841, 1265.

[26] *Соч*. Т. 7. С. 410. Автографы Лесковых в фонде Правительствующего сената (*ЦГИА*) пока не обнаружены.

[27] *ГАОО*. Ф. 672. Оп. 1. Ед. хр. 1482.

[28] *Соч*. Т. 7. С. 409.

[29] Там же.

[30] *ЦГИА*. Ф. 1582. Оп. 36. Ед. хр. 1265.

[31] *Соч*. Т. 7. С. 410.

[32] Там же.

[33] *ГАОО*. Ф. 580. Стол 1. Ед. хр. 248. Л. 49; Ф. 672. Ед. хр. 1497. Л. 3—5.

[34] *ИВ*. 1880. № 6. С. 255—267.

[35] Подробнее см. во второй книге наст. тома вступительную статью А.М.Ранчина к статье Лескова “Бракоразводное забвение. (Причины разводов брачных по законам греко-российской церкви)”.

[36] *ГАОО*. Ф. 580. Стол 1. Ед. хр. 1694. Л. 13.

[37] См. о нем подробнее указанное выше сообщение Р.М.Алексиной.

[38] *ОГМТ*. Ф. 34. Ед. хр. 9164 (основной фонд). “Родословная Алферьевых”

[39] *ГАОО*. Ф. 580. Стол 1. Ед. хр. 1694. Л. 3—3 об., 1—1 об.

[40] Там же. Л. 4—5.

[41] Там же. Л. 6—6 об.

[42] Там же. Л. 10—14.

[43] Памятная книжка Орловской губернии. Орел, 1891. С. 55.

[44] *ГАОО*. Ф. 593. Ед. хр. 593.

[45] *ОГМТ*. Ф. 34. Ед. хр. 1756. Л. 1—3. (Раздел “Тетки Алферьевы и их мужья”).

[46] Алферьевы: Петр Сергеевич (ум. около 1840 г.) — дед Лескова со стороны матери; Акилина Васильевна (р. 1790 — ум. около 1860 г.) — бабка писателя.

[47] Сергей Петрович *Алферьев* (1816—1884), брат матери писателя, профессор Киевского университета.

[48] Михаил Андреевич *Страхов* (ум. в 1836 ?) — первый муж Натальи Петровны, сестры матери писателя. В его имении, селе Горохове, Лесков родился.

[49] Наталья Петровна *Алферьева*, по первому мужу Страхова, по второму мужу Константинова (1809—1879).

[50] "Исповедные ведомости" Георгиевской церкви села Цветынь Орловского уезда Орловской губернии // *ГАОО*. Ф. 101. Ед. хр. 4585.

[51] См. об этом подробнее указанное выше (примеч. 9) сообщение Р.М.Алексиной. Лесков имел на руках копии документов этого дела, некоторые из них сохранились и были переданы его сыном в Государственный литературный музей. Среди них — конфиденциальное отношение Александра Воейкова к Петру Николаевичу Анцыферову, 13 августа 1860 г., имеющее помету Лескова: "Образчик жандармских сообщений. Получено от П.Н.Анцыферова". (Бюллетени Гос. лит. музея: А.Н.Островский, Н.С.Лесков. Рукописи, переписка, документы. М., 1938. С. 130, 132).

[52] *ГАОО*. Ф. 101. Ед. хр. 1339, 1340, 1341, 1342—1379.

[53] Там же. Ф. 580. Стол 1. Ед. хр. 2113.— Документы упоминаются в кн.: *Чернов Н.* Орловские литературные места. Изд. 3-е. Тула, 1970. С. 121—122.

[54] *ГАОО*. Церковный фонд. Оп. 3. Ед. хр. 103, 107, 108, 143. "Росписи Кромской округи села Добрыни Николаевской церковной половины священника Василия Бунина..." и "...половины священника Пармена Андреева..." за 1839, 1850—1859, 1860—1880, 1860—1878 гг.

[55] *Лесков Н.С.* Дворянский бунт в Добрынском приходе // Лесков Н.С. Русская рознь. Очерки и рассказы (1880 и 1881). СПб., 1881. С. 63. Перепеч. в кн.: Лесков Н. На краю света. Л., 1985. С. 496—533.

[56] Сельцо Зиновьево (Нижняя Гостомля) — ныне Моховое, Кромского района Орловской области. Анастасия Сергеевна *Иванова* (рожденная княжна Масальская; 1793 или 1794—1865) (см.: *ГАОО*. Ф. 580. Стол 1. Ед. хр. 2113. Л. 17). Лесков, по его собственному признанию, «с нее намечал некоторые черты в изображении "боярыни Плодомасовой" (в "Соборянах") и "княгини Протозановой" (в "Захудалом роде")» (XI, 182). Уточнение года ее смерти может быть использовано при комментировании хроники "Соборяне"

[57] *ГАОО*. Ф. 101. Ед. хр. 1342, 1344—1352. Исповедальные росписи Николаевской церкви в селе Добрынь (1830—1900-е годы). Ф. 63. Ед. хр. 2769 ("Окладный табель" 1851). Л. 679, 704.

[58] *Лесков Н.С.* Русская рознь... С. 63.

[59] Ольга Владимировна — видимо, внебрачная дочь А.С.Ивановой. Отчество по крестному отцу. О ней см. в очерках "Русские демономаны": «...В хорошем дворянском семействе гг. И<вановых>, в селе З<иновьево> (в 20 верст<ах> от Горохова), стало "водить" барышню Ольгу» (*Лесков Н.С.* Русская рознь... С. 229).

[60] Анна Николаевна — тоже внебрачная дочь А.С.Ивановой. По крестному отцу "Николаевна".

[61] Софья Алексеевна *Языкова* (род. ок. 1809) — старшая дочь А.С.Ивановой.

[62] *Лесков Н.С.* Русская рознь... С. 63.

[63] Там же. С. 84. Ср.: *ГАОО*. Церковный фонд. Оп. 3. Ед. хр. 141 ("Книга на записку прихода и расхода денег в Николаевской церкви..." за 1842—1861 гг.)

[64] Там же. Ф. 580. Стол 1. Ед. хр. 2113. Л. 6—7 об., 14—14 об. и далее.

[65] Историческое описание церквей, приходов и монастырей орловской епархии. Орел, 1905. С. 457.

[66] *Лесков Н.С.* Русская рознь... С. 63—65, 73. О В.Бунине см. также статью Лескова "О происшествии с Кронштадтским священником" // *ПГ*. 1887. 20 марта. Отец Василий постригся в Площанской пустыни Брянского уезда, принял имя Вонифатий, переписывался с М.П.Лесковой.

[67] Мария Николаевна — дочь заштатного дьякона Н.Н.Юрьева. См. о ней в очерке "Пресыщение знатностью" (XI, 184—186).

[68] *ГАОО*. Церковный фонд. Оп. 3. Ед. хр. 105 ("Книга на записку о причте и ведомости о церкви. 1857—1885").

[69] *Лесков Н.С.* Русская рознь... С. 74, 77.

[70] *ГАОО*. Церковный фонд. Оп. 3. Ед. хр. 103.

[71] *Лесков Н.С.* Русская рознь... С. 80—81.

[72] См. примеч. 68.

[73] *Лесков Н.С.* Русская рознь... С. 83.

[74] *ГАОО*. Ф. 580. Стол 1. Ед. хр. 2113. Л. 11—15.

[75] *Там же*. Л. 9—10 об.

[76] *Лесков Н.С.* Русская рознь... С. 114.

[77] Мемуары Е.Ф.Комаровского // *ГАОО*. Ф. 1001. Оп. 1. Ед. хр. 1; Ревизские сказки за 1858 г. // Там же. Ф. 760. Ед. хр. 483; Окладный табель. 1851 г. // Там же. Ф. 63. Ед. хр. 2769; Описание и планы имения графа Комаровского "Городище" // *ЦГИА*. Ф. 573. Оп. 1. Ед. хр. 1042. См. также: *Афонин Леонид*. Повесть об орловском театре. Тула, 1965; Орловская губерния. Списки населенных мест на 1869 г. (СПб., 1871).

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК ОРЛОВЦЕВ — ПРОТОТИПОВ ЛЕСКОВСКИХ ГЕРОЕВ

Составитель Р.М.Алексина

В "Списках потомственных и личных дворян", проживавших в Орле в 1843—1847 гг.[1], значатся фамилии, знакомые нам по произведениям Лескова.

В первой и второй частях Орла[2] жили: Азбукин Петр Андреевич, коллежский советник, инспектор Орловской губернской гимназии (I, 384; VIII, 455; XI, 71—72). Кронеберг Александр Яковлевич, титулярный советник, директор Орловской губернской гимназии (XI, 71). Анцыферов Николай Семенович, отставной ротмистр. Его дети: Николай, Александр, Петр, Михаил (см. выше о Петре Николаевиче, герое "Дворянского бунта в Добрынском приходе"). Глебов Павел Николаевич, отставной подполковник, коллежский советник, уездный предводитель дворянства (XI, 183). Константинов Луциан Ильич, отставной ротмистр (VI, 390, 404), у него пасынки Страховы (VII, 260; XI, 12, 16 и др.) — Андрей, Митрофан и Иосааф[3] и сыновья Владимир и Сергей. Лосев Петр Михайлович, писец первого разряда (VI, 371). Немчинов Андрей Федорович, губернский секретарь (VII, 5)[4]. Солнцев-Засекин Борис Михайлович, князь, поручик (VIII, 145). Шульц Александр Христианович[5], отставной майор (VI, 402—408; VIII, 452). У церкви Василия Великого жил Иван Иванович Андросов (VI, 364—366, 392—393; упомянут также в очерках "Русские демономаны").

В третьей части Орла жили: Деппиш Михаил Балтазарович, надворный советник, служащий при врачебной управе (VI, 414; VIII, 151). Лоренц Василий Иванович[6], надворный советник, служащий при врачебной управе (VI, 404). Милюков Мордарий Васильевич, флота капитан 2-го ранга и кавалер, служащий при Орловской губернской гимназии попечителем (VIII, 452; XI, 71). Сентянин Михаил Егорович, инженер-майор[7]. Трубецкой Петр Иванович, князь, генерал-майор, губернатор (VI, 400—407; VIII, 112, 451—462 и др.) Фортунатов Василий Иванович, надворный советник (III, 510—537; VIII, 452).

"Окладные книги с недвижимого имущества"[8], "Списки владельцев усадебными местами г. Орла. 1877"[9], "Адрес-календари Орловской губернии" подтверждают многие имена и фамилии названных орловцев и дают нам сведения о других земляках писателя, ставших героями его произведений.

"Списки с недвижимого имущества", например, указывают, что в 6-м квартале, под № 47, находился деревянный дом с флигелями Александра Николаевича Тинькова (VI, 483—501). В 9-м квартале, на углу Введенской и Дворянской улиц имела двухэтажный каменный дом "жена лекаря" Елизавета Мордарьевна Якушкина (XI, 71; VIII, 452). Ее дом до 1840 г. принадлежал действительному статскому советнику Петру Алексеевичу Ермолову, отцу А.П.Ермолова[10]. В этом доме, возвратившись с Кавказа в Орел, жил Алексей Петрович (VI, 359; II, 391—400; X, 107, 133—134, 137—139, 157—167). В старой части города, в квартале 39-м, располагался каменный дом и пивоваренный завод Степана Акулова (VI, 364—365)[11]. "У Плаутина колодца", на Нижней улице, в квартале 112-м, имела богатую усадьбу тетка писателя — Н.П.Константинова (по первому мужу Страхова)[12], а напротив нее, на той же улице, в квартале 108, в деревянном домике жила "мещанка Никитишна Беликова", знакомая нам по статье "Тургеневский бережок"[13]. От нее, еще ребенком, будучи гостем тетушки, Лесков услышал повесть о спартанском воспитании детей Тургеневых и о "первой весне" будущего автора "Записок охотника", связанной с прогулками в "подвижной коляске" над Окой. За два года до своей смерти он вспомнил об этом и попросил своих земляков отметить это место "памятным знаком" и на нем обозначить, "что в Орле увидел свет Тургенев"[14].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *ГАОО.* Ф. 672. Оп. 1. Ед. хр. 1828 (не все списки полностью сохранились). В скобках указаны тома собрания сочинений Лескова и страницы, где эти фамилии встречаются. Фамилии даны выборочно.

[2] Орел в XIX в. делился на три административные части; ныне первая — Заводской район; вторая — Железнодорожный район; третья — Советский район.

[3] Упомянут в очерках "Чудеса и знамения. (Наблюдения, опыты и заметки)" // *ЦОВ.* 1878. № 34. С. 2—5. (Там Лесков его просто называет своим двоюродным братом).

[4] Возможно, что до покупки собственного дома (17 августа 1832 г.) семья Лесковых арендовала дом Немчинова.

[5] Судя по "Спискам потомственных и личных дворян", А.Х.Шульц жил во второй части Орла. В "Мелочах архиерейской жизни" герой живет на Полесской площади, т.е. в третьей части города. Возможно, он переехал после пожара 1848 г., уничтожившего много домов второй части Орла. Шульц и Алымов, судя по спискам, составленным не по алфавиту, жили поблизости от родственников Лескова — семьи Луциана Ильича Константинова. Следовательно, писатель мог их знать с детских лет, видеть в доме тетки.

[6] Упоминается в очерке "Бракоразводное забвение. (Причины разводов брачных по законам греко-российской церкви)" Очерк публикуется во второй книге наст. тома.

[7] Фамилия использована для героя романа "На ножах" ("генерал Сентянин").

[8] *ГАОО.* Ф. 593. Ед. хр. 4290.

[9] Там же. Ед. хр. 604. См. по номерам кварталов.

[10] *ГАОО.* Ф. 6. Оп. 3. Ед. хр. 3102. Л. 235 ("Верющее письмо", в середине текста ссылка на дом Петра Алексеевича Ермолова — отца А.П.Ермолова).

[11] О Степане Акулове см. также: *Пясецкий Г.* Исторические очерки г. Орла. Орел, 1874. С. 815.

[12] О втором замужестве тетки Лескова Натальи Петровны см. в "Театральном характере" // Нева. 1983. № 7. С. 118.

[13] *Лесков Н.С.* Тургеневский бережок // Орловский вестник. 1893. 26 авг. В 1821 г. в Орле модным местом прогулок губернской аристократии был бульвар губернатора, у р. Оки. Днем с боннами и нянями там гуляли дворянские дети. С 1832 г. часть бульвара стала аллеей сада губернатора. У Лескова сохранилось в памяти "место" "над Окою", где в детстве гулял Тургенев и где позднее, уже в аллее губернаторского сада, бывал он сам со своей няней.

[14] *Чернов Н.* Орловские литературные места. Изд. 3-е. Тула, 1970. С. 25—34. Памятник Тургеневу открыт в ноябре 1968 г.

ЛЕСКОВ, АРТУР БЕННИ И ПОДПОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛА 1860-х годов

(О РЕАЛЬНОЙ ОСНОВЕ “НЕКУДА” И “ЗАГАДОЧНОГО ЧЕЛОВЕКА”)

Статья Вильяма Эджертона (США)

Два человека, с которыми Лесков был тесно связан в течение нескольких лет, почти с самого приезда в Петербург в январе 1861 г., стали позднее персонажами двух его известных произведений. Речь идет об А.И.Ничипоренко, с которым Лесков познакомился в доме профессора политической экономии И.В.Вернадского (1821—1884), основателя и редактора журнала “Указатель экономический”[1], и об Артуре Бенни, полуполяке-полуангличанине по происхождению, приехавшем в Россию из Англии летом 1861 г. Бенни был убежденным сторонником Герцена; его жизнь в России омрачилась беспочвенными слухами, получившими, однако, достаточно широкое распространение, будто он является агентом III Отделения. Арест в июне 1865 г. и высылка из России положили конец этой клевете.

В романе “Некуда” (1864) Ничипоренко выведен в образе Пархоменко, Бенни — в образе Райнера. В очерке “Загадочный человек” (1870) Лесков рассказывал об обоих, сохранив их настоящие имена и придав повествованию характер документального свидетельства. И в очерке, и в романе Бенни представал как человек глубоко благородный, бескорыстный, смелый и преданный высокой цели. Лесков отмечал лишь его юношескую наивность и незнание некоторых сторон российской жизни. Ничипоренко, напротив, нарисован как человек невоспитанный, глупый, самонадеянный, трусливый и достойный презрения. Лесков тщательно скрывал свою дружбу с ним, продолжавшуюся до отъезда Ничипоренко в Западную Европу 7 апреля 1862 г.[2].

Эта резкая перемена в отношении Лескова к Ничипоренко проливает свет на некоторые события в жизни писателя, относящиеся к 1862 г. и получившие художественное отражение в его произведениях.

В 1871 г. анонимный рецензент “Загадочного человека” (безусловно — А.С.Суворин) обвинял Лескова в клевете на Ничипоренко и объяснял позицию писателя стремлением скрыть свое собственное участие в подпольной политической деятельности: «Да, у г. Лескова также были эти годы заблуждения, эти годы бесшабашного либерализма, горячей веры в лучшее социальное устройство; он с пламенным восторгом смотрел на явления, которые теперь осуждает, и любил то, что теперь ненавидит, поклонялся тому, от чего теперь открещивается. Он даже лихорадочно следил за московской студенческой историей и решался на выходки глупейшего свойства, как восторженный мальчик. Он был в приятельских отношениях с Бенни, который ничего от него не скрывал, и знал, конечно, очень хорошо всю ту Одиссею пропаганды Ничипоренко и Бенни, которую он теперь рассказывает со смехом и самодовольством следователя. Он, одним словом, был грешником, был человеком скомпрометированным, предававшимся с увлечением чтению запрещенной литературы. Пишущий эти строки мог бы рассказать многое в дополнение к “Загадочному чело-



ЛЕСКОВ

Фотография начала 1860-х годов, С.-Петербург

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

веку" и осветить рассказ такими подробностями, которые бросили бы в жар и холод г. Лескова»[3].

Приводимый далее материал свидетельствует о том, что обвинения Суворина не были беспочвенны, хотя он почти наверняка ошибался в природе политической деятельности, в которой мог принимать участие Лесков.

Андрей Иванович Ничипоренко (1837—1863) родился на Украине, в Полтаве, в семье коллежского асессора среднего достатка. Образование он получил в С.-Петербургском коммерческом училище. После окончания курса в 1857 г. поступил на государственную службу, но в январе 1861 г., когда Лесков приехал в Петербург, Ничипоренко был репетитором сына незадолго перед тем овдовевшего профессора Вернадского[4]. Летом 1862 г. он оказался в числе 32 человек, арестованных по обвинению, которое в протоколах полиции фигурировало как "дело о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами", а неофициально называлось "процесс 32-х" Ничипоренко умер в тюрьме 7 ноября 1863 г. до окончания следствия[5].

Вопреки утверждениям Лескова, имеются многочисленные доказательства его дружбы с Ничипоренко: они часто виделись в те полгода, когда оба жили в квартире Вернадского, они сотрудничали в "Указателе экономическом", бывали вместе с Вернадским на заседаниях литературного комитета Свободного экономического общества[6]. 27 февраля 1861 г., на следующий день после смерти Шевченко, они вместе пошли в дом поэта почтить его память (см.: XI, 10).

Лесков познакомил Ничипоренко с В.С.Курочкиным, редактором журнала "Искра", с его братом Николаем, а также со своим давним другом С.С.Громекой[7],

который переехал в Петербург в октябре 1860 г. и стал вести в "Отечественных записках" отдел "Современная хроника России".

Знал ли Лесков, знакомя Ничипоренко и Громеку, что представлял одного тайного корреспондента Герцена другому? Наверное, знал. Ведь Лесков и Громека поддерживали дружеские отношения с давних пор, причем Громека был, по-видимому, человеком темпераментным и увлекающимся, склонным доверять друзьям. Что же касается Ничипоренко, то В.И.Кельсиев характеризовал его позднее так: "...тщеславие было главной пружиной всех его действий, и он вечно рисовался"[8]. Маловероятно, что, прожив полгода в одной квартире с Лесковым, Ничипоренко не похвастался, что связан с Герценом.

К тому времени, когда Лесков приехал в Петербург, Ничипоренко установил регулярную подпольную связь с "лондонскими пропагандистами" через двух своих товарищей по коммерческому училищу — Ивана Александровича Ашмарина, жившего в Петербурге, и Николая Михайловича Владимирова (1829—1914), служившего в Лондоне бухгалтером в русской фирме "Скворцов и К^0"[9].

Когда Лесков познакомил Ничипоренко и Громеку, Герцен и Огарев высоко ценили обоих. После переезда из Одессы в Петербург в октябре 1860 г. Громека продолжал оставаться корреспондентом "Колокола" В марте 1861 г. он поступил на службу в Министерство внутренних дел и стал особенно ценным источником информации для издателей "Колокола" Первое из дошедших до нас писем Громеки в Лондон, датированное апрелем 1861 г., начинается фразой, наводящей на мысль о том, что оно могло быть послано через Ничипоренко. "Не знаю, насколько верен путь, которым посылаю это письмо" А в конце своего длинного сообщения, послужившего, кстати, основой четырех статей в "Колоколе", Громека добавил: "Если путь, которым посылаю это письмо, окажется благополучным, то постараюсь пользоваться им постоянно"[10]. Новый канал связи, очевидно, оказался безопасным, и Громека вновь писал Герцену 11 мая и 20 мая. Судя по последнему письму, Громека и Ничипоренко не только доверяли друг другу, но и собирались вместе эмигрировать из России: "Я читал Ваше доброе письмецо к Андрею Н<ичипоренко>, в котором Вы не одобряете *наших* замыслов перебраться к Вам"[11]. Обсуждаемое письмо Герцена не сохранилось, и мы можем только догадываться, почему он не одобрил этого плана. По-видимому, Герцен считал, что его корреспонденты принесут больше пользы, находясь в России. В том же письме от 20 мая Громека сообщал Герцену о причинах, побуждавших его покинуть Россию: "А посмотрите, что у нас делается: кружки, сплетни, вражда друг к другу, как будто вся литература из иноплеменников, как будто ей нечего любить сообща, не с кем бороться соединенными силами!"[12]

Между тем Ничипоренко пересылал письма из России в Лондон и получал новые номера "Колокола" для распространения в Петербурге. Истинные масштабы этой деятельности никогда не будут, вероятно, восстановлены, однако в июле 1862 г., в ходе "процесса 32-х", Ничипоренко признался, что передавал "Колокол" С.С.Громеке, Н.С.Курочкину, Н.В.Альбертини и И.П.Гаевскому, а также пересылал письма Гаевского и Альбертини в Лондон через Василия Кельсиева[13].

Василий Иванович Кельсиев (1835—1872) был знаком с Ничипоренко еще по Петербургскому коммерческому училищу. После окончания курса в 1855 г. он поступил на службу в Российско-американскую компанию и в 1858 г. вместе с семьей отправился на Аляску. В мае 1859 г., по прибытии в Англию, он познакомился с Герценом, в том же году уволился из компании и остался за границей на положении политического эмигранта. Герцен посвятил Кельсиеву целую главу в "Былом и думах", где отзывался о нем как о "нигилисте с религиозными приемами, нигилисте в дьяконовском стихаре": Кельсиев "учился всему на свете и ничему не научился дотла, читал всякую всячину и надо всем ломал довольно бесплодно голову"[14].

В 1860 г. Герцен поручил ему сбор материалов о старообрядцах. Эта работа полностью захватила Кельсиева и открыла ему новую область приложения его безудержной энергии. Работая над документами о старообрядцах, Кельсиев столкнулся с огромным ранее не известным ему миром русской культуры. Более того, вслед за А.П.Щаповым, двумя годами ранее написавшим книгу о раскольниках[15], Кельсиев пришел к выводу, что старообрядцы являются потенциальным источником политического брожения и после соответствующей агитации станут революционной силой[16].

Вскоре после появления Кельсиева в Лондоне Ничипоренко установил с ним связь через Н.М.Владимирова, привезшего письма для Кельсиева от Ничипоренко и Щапова[17].

Воскресным вечером 1860 г. Герцен познакомил Кельсиева с Артуром Бенни[18]. Молодые люди понравились друг другу и стали друзьями. На их добрые отношения в дальнейшем не повлияли подозрения и клевета, отравившие последние годы короткой жизни Бенни[19].

Артур Вильям Бенни (1839 или 1840—1867) сыграл столь важную роль в жизни Лескова и Ничипоренко, что о нем следует сказать подробно[20]. Он родился в Томашове Мазовецком[21], в Царстве Польском, которое тогда входило в состав Российской империи. Артур был сыном лютеранского священника Яна (или Johann'а) Якова Бенни, полунемецкого-полуитальянского происхождения (предки которого были евреями), женившегося на англичанке Мери Уайт (Mary White). Дома они говорили по-английски: после окончания польской гимназии в Петркове, Артур уехал к родственникам в Англию для продолжения образования. Там, по его собственному свидетельству, он целый год посвятил изучению славянских и восточных языков (в том числе монгольского и “сибирского”) в Британском Музее. Бенни стал британским подданным, получил место в Военном министерстве и работал сначала в Лондоне, а потом в его окрестностях, в Вулвичском Арсенале. Еще до переезда в Лондон он заинтересовался Герценом. В Берлине, по пути в Англию, Бенни прочитал один из номеров “Колокола” “Резкость высказываемых в нем мыслей поражала меня уже тогда,— писал он позднее,— и располагала в пользу идей, которые представляли что-то по-видимому твердого и определенного (так! — *В.Э.*) в сравнении с вялым доктринаризмом и узкой формалистикой немецких либералов”[22]. Как только Бенни прибыл в Лондон, он попытался связаться с Герценом; поначалу, однако, безрезультатно. За год Бенни прочел все выпуски “Полярной звезды” и не пропустил ни одного номера “Колокола” Наконец в ноябре или декабре 1858 г. он случайно встретил Герцена в магазине иностранных книг Роланда. Затем Бенни дважды или трижды посетил Герцена, познакомился с Огаревым и его семьей. В июле 1859 г., оставив государственную службу, Бенни переехал за город и стал служить секретарем у некоего английского аристократа. Однако он продолжал видеться с Герценом во время своих довольно частых поездок в Лондон.

По словам самого Бенни, польское происхождение способствовало его дружбе с Герценом. Так, 1 июля 1860 г. от имени польских жертв царского режима Бенни произнес поздравительную речь на банкете в честь третьей годовщины “Колокола” Банкет начался в 8 часов вечера и закончился в половине четвертого утра. На нем присутствовали едва ли не все русские жители Лондона[23]. Спустя 5 месяцев, в ноябре 1860 г., когда Бенни покидал Лондон, чтобы изучать медицину в Париже, он увез с собой рекомендательные письма Герцена, адресованные И.С.Тургеневу и князю П.В.Долгорукову. Герцен характеризовал Бенни как “юного и чрезвычайно образованного поляка <...> Он отлично знает языки, особенно англ<ийский> и немец<кий>, и серьезно занимается наукой”[24]. Через Бенни Герцен послал Тургеневу свою фотографию, где он был снят вместе с Огаревым. Тургенев сообщал вскоре Герцену: “Бенни был, доставил портрет, очень понравился — и исчез. Надо его отыскать”[25].

Благодаря рекомендательным письмам Герцена Бенни очень быстро познакомился с русскими, жившими в то время в Париже. Он часто встречался с Татьяной Петровной Пассек, родственницей Герцена; в ее доме, где она жила с двумя сыновьями и племянником, собиралась русская молодежь. Именно там завязалось знакомство Бенни с Владимиром Викторовичем Чуйко (1839—1899), учившимся тогда в Сорбонне и позже ставшим известным литературным критиком. Бенни поразил Чуйко не только английской сдержанностью и добросердечной готовностью помогать другим, но и своими убеждениями: “...выдержанный якобинец, не знавший никаких компромиссов и идущий к цели с напряженной энергией человека, глубоко убежденного, но узкого и прямолинейного”[26].

В Париже Бенни встречался и с представителями других славянских групп, в том числе с сербом Павловичем, поляком Генриком Абихтом (в 1863 г. казненным за участие в Польском восстании), с известным чешским эмигрантом, поэтом и журналистом Йозефом Вацлавом Фричем (Лесков завязал с ним дружеские отношения

еще в 1862 г., когда впервые посетил Париж[27]). Много лет спустя, вспоминая о знакомстве с Бенни, Чуйко утверждал, что целью Бенни была эмиграция: он надеялся поддержать польское восстание.

Бенни действительно был сторонником независимости Польши, но исходил прежде всего из общедемократических и социалистических идей. В Париже Бенни случайно познакомился с русским купцом А.Ф.Томашевским, приехавшим в Европу в поисках крупных вкладчиков в разрабатываемые неподалеку от Томска золотые прииски[28]. Несмотря на значительную разницу в возрасте (Томашевскому было около шестидесяти лет), у них завязались дружеские отношения, объяснявшиеся отчасти происхождением обоих. Томашевский был сыном поляка, сосланного в Сибирь во времена императора Павла.

Томашевский не владел иностранными языками, поэтому предложил Бенни быть его переводчиком, а затем просил Бенни поехать вместе в Сибирь.

Бенни принял это предложение из преданности герценовским идеям, а совсем не потому, что его интересовала добыча золота. В мае 1861 г. они уехали из Парижа в Англию, где Бенни представил Томашевского Герцену (принявшему его благожелательно), а также отвез его на Албани-стрит, в дом Василия Кельсиева, где в тот момент находился лидер польского освободительного движения Зыгмунт Сераковский, путешествовавший по Европе как офицер русской армии (в 1863 г. он был повешен)[29].

Рецензия Кельсиева на "Загадочного человека" служит основным источником сведений о Томашевском. Здесь дана его непредвзятая характеристика, куда более отвечающая реальности, чем колоритный портрет Томашевского, нарисованный Лесковым.

По Лескову, Томашевский, будучи у Герцена, согласился помочь организовать секретную типографию в Сибири для перепечатки "Колокола", но после совместного путешествия с Бенни по Европе внезапно отказался от его услуг, сел в Берлине на поезд и вернулся в Россию. Кельсиев оспаривал этот рассказ Лескова — правда, с осторожностью, всегда характерной для него в тех случаях, когда речь шла о живых людях: "Сколько я помню, при г. Т<омашев>ском были разговоры о Сибири и "Колоколе", как были при всяком приезжем, но чтобы он вызывался на какое-нибудь революционное дело, или кто-нибудь подбивал его на что-либо подобное, я как свидетель положительно отрицаю"[30]. Вполне возможно, что Томашевский сочувствовал либеральным идеям и находил удобным для себя использовать таланты Бенни для устройства своих дел. Бенни, в свою очередь, намеревался работать у Томашевского, чтобы наладить распространение "Колокола" в Сибири. Но за время совместного путешествия по Европе их планы могли измениться. Бенни рассказывал Кельсиеву, что Томашевский резко изменил поведение, как только они прибыли в Петербург (кстати, в Россию они приехали, вопреки сообщению Лескова, вместе). Едва Томашевский оказался на территории России, где незнание иностранных языков его больше не стесняло, он стал относиться к Бенни с высокомерием богатого купца, сознающего свое положение в обществе. Но Бенни приехал в Россию, имея в виду собственные цели. С Томашевским он в дальнейшем не встречался[31].

Бенни оказался в Петербурге в конце июня 1861 г. Он привез с собой рекомендательное письмо Кельсиева к Ничипоренко, вскоре познакомившему Бенни с Н.С.Курочкиным, С.С.Громекой и Н.В.Альбертини (который был связан с Громекой совместной работой в "Отечественных записках")[32]. Все они приняли Бенни как эмиссара Герцена.

В Петербурге Бенни пробыл около месяца и, возможно, круг его знакомств был более широким, чем мы предполагаем. О результатах своей деятельности он писал Тургеневу, возвратившемуся в мае из Франции и проводившему лето в орловском имении:

С.-Петербург, 24 июля 1861

Любезный Иван Сергеич.

Когда три месяца тому назад мы прощались на Rue de Rivoli, ни Вы, ни я не подумали, что нам, быть может, так скоро встретить друг друга в России.

Причин и поводов моего путешествия сюда я вам теперь рассказывать не стану, а отложу до нашей встречи, насчет которой я вам и пишу эти несколько строчек. Я уезжаю в следующую субботу (29 числа) с одним молодым человеком А.И.Ничипоренкой, сперва в Нижний, а потом через Москву к нему в Полтавскую губернию.

Мы проедем, разумеется, и через Мценск, и, зная что вы недалеко от него живете, я не могу отказать себе удовольствия заехать к Вам.

В Мценске мы будем около 10 августа.

Надеясь Вас скоро увидеть, я остаюсь

Ваш А.Б е н н и"[33].

Какова была цель путешествия Бенни и Ничипоренко? Согласно показаниям Ничипоренко на следствии, Петербург стал ему "крайне невыносимым" и он предложил Бенни отправиться в путешествие по провинциальной России. Это утверждение должно было, конечно, сбить с толку следственную комиссию. В 1867 г. в "Исповеди" Кельсиев писал, что Бенни "в азарте своем <...> решился выступить агитатором, написал адрес Государю с просьбой о конституции или о чем-то вроде конституции и отправился путешествовать по России для собирания подписей"[34].

Спустя четыре года, в рецензии на "Загадочного человека", Кельсиев уточнил, что Бенни и Ничипоренко вместе написали этот адрес, и он своими глазами видел под ним около пяти подписей, которые позднее были выведены щавелевой кислотой[35]. Очевидно, их попытка собрать подписи в Нижнем Новгороде не удалась.

Лесков познакомился с Бенни в Москве, в редакции "Русской речи", где в то время сотрудничал[36]. Бенни и Ничипоренко оказались тогда в Москве на обратном пути из Нижнего Новгорода. Лесков ввел их в кружок писателей, формировавшийся вокруг газеты "Русская речь" и ее издателя графини Е.В.Салиас де Турнемир. Из Москвы Бенни и Ничипоренко отправились в Орловскую губернию, ненадолго остановились у Тургенева в Спасском, провели вечер в Малоархангельске в доме Виктора Якушкина, которого они встречали еще в Петербурге у Курочкина[37]. В Орле Бенни получил телеграмму, заставившую его и Ничипоренко вернуться в Москву, отказавшись от поездки на юг, в Полтаву.

Вскоре состоялась, возможно, еще одна встреча Бенни с Тургеневым, возвращавшимся в Париж и на несколько дней (с 30 августа по 2 сентября) остановившимся в Москве. Тургенев провел один из вечеров у графини Салиас, где могли присутствовать в числе других литераторов и Бенни, и Лесков. 10 октября, через 10 дней после возвращения в Париж, Тургенев писал Герцену: "Всею душою жажду тебя видеть, да и нужно обо многом весьма важном переговорить с тобой и многое тебе сообщить. (Между прочим, у меня есть к тебе большое письмо от Бенни) <...> Повторяю, нам необходимо видеться"[38]. Очевидно, Бенни передал Тургеневу это письмо в Москве.

Однако Тургенев долгое время не мог съездить в Лондон и повидаться с Герценом. Если бы эта встреча тогда состоялась, возможно, на Артура Бенни не пали бы подозрения в том, что он шпион III Отделения.

Его беды начались в Москве при встрече с И.С.Аксаковым и М.Н.Катковым, когда он тщетно убеждал их подписать составленный им и Ничипоренко адрес императору с просьбой о конституции. По свидетельству Кельсиева, на вопрос Каткова, от чьего имени Бенни распространяет адрес, тот ответил, что является агентом Герцена, но не сумел предъявить доказательств, когда их потребовал Катков[39].

К концу сентября, когда Бенни вернулся в Петербург, там уже широко циркулировали слухи о его связи с III Отделением. Бенни не смог этого перенести и, не дожидаясь ответа Герцена на письмо, переданное с Тургеневым, отплыл с первым же кораблем в Англию, чтобы просить Герцена о письменном опровержении клеветы. По прибытии, к своему огромному огорчению, Бенни обнаружил, что Герцен еще не получил отправленного с Тургеневым письма и, более того, отказал Бенни в его просьбе. Тогда Бенни немедленно поехал в Париж, взял свое письмо у Тургенева и сам переслал его Герцену. 7(19) ноября 1861 г. Герцен отвечал Бенни: «Письмо Ваше пришло, как Вы знаете теперь, только вчера, с лишком через два месяца. Отвечать прежде, стало, я не мог, но обстоятельства были таковы, что вреда от этого нет. Предполагаемый Вами адрес мог бы, при теперешней реакции, погубить Вас и многих. Адрес умеренный, о котором Вы пишете, может, и не дурен (хотя о главном

вопросе — о выкупе крестьянских земель — там и не упомянуто) — но Вы вряд успеете ли что-нибудь сделать. Вы сами в письме дотронулись до больного места. Такие предприятия удаются только коренным жителям; Вы слишком чужды русской среде. Если мысль Вашего адреса соответствует потребностям общества, она пойдет — для нее Вам, стало, нечего делать. Недостаточно иметь верную мысль, надобно ясно знать средства под руками. Вы говорите о успехе распространения "Колокола" и о затруднениях адреса — ясно, что Вы можете делать и чего Вы не сделаете до тех пор, пока Вы не приобретете действительного права гражданства между русскими — и действительного знания всех (пропуск в копии.— *В.Э.*) русской жизни. Говоря об адресе, Вы давали чувствовать, что это согласно с нашим мнением. Вероятно, Вы говорили с людьми, очень мало читающими "Колокол": они Вам прямо сказали бы, что не можем соглашаться, последовательно, на такой адрес — а можем только *не мешать* ему так, как не мешаем долгоруковской конституции[40]. Насчет книг и "Колокола" мы говорили. Две такие вещи, как тайная пропаганда книг и явная или полуявная агитация,— несовместны»[41].

Теперь становится ясно, что в жизни Бенни сыграли важную роль два адреса императору, написанные в 1861 г. Первый — о введении конституции — по свидетельству Кельсиева, был составлен и распространялся Бенни и Ничипоренко. Второй адрес был написан Тургеневым, вероятно, в конце 1861 г. (его не вполне исправную копию обнаружил профессор Андрэ Мазон и опубликовал в 1930 г.) В конце этого документа есть примечание: "Проект адреса Государю, писанный в 1860-м году. Он был вручен Бенни, но впоследствии истреблен"[42]. Имя Тургенева как автора этого адреса к Александру II впервые было упомянуто в 1884 г. в мемуарах П.Л.Лаврова. Вспоминая, как осенью 1861 г. один из литераторов познакомил его с Бенни, только что вернувшимся из-за границы, Лавров писал: «Этот же литератор мне говорил, что Бенни привез с собою разные бумаги от Тургенева и Герцена (кажется) и, между прочим, я очень хорошо помню, что говорилось о "проекте конституции", написанном И.С.Тургеневым. Ни одной из этих бумаг я не видал и не читал <...> Тем не менее мне случилось присутствовать чуть ли не при последней минуте существования этих бумаг. Несколько позже, в период гонений на студентов, арестовали сходку их в квартире литератора Альбертини. Узнал я об этом немедленно на вечере у одного бывшего правоведа (ныне почтенного сенатора, если он не умер, как до меня дошли смутные слухи), где был и Бенни и мой приятель-литератор, меня с ним познакомивший. Бенни очень испугался полученного известия, опасаясь, по-видимому, тоже ареста. Высказана была необходимость сжечь бумаги, которые все находились в кармане у Бенни (не знаю, все ли, но, насколько помнится, тут же говорилось о проекте конституции Ивана Сергеевича). Мой приятель и Бенни удалились в другую комнату обширной квартиры хозяина, который охотно называл себя "чиновником-пролетарием". Там совершалось, по-видимому, ауто-да-фе»[43].

Когда и почему Тургенев передал текст своего адреса Бенни? Наиболее авторитетные исследователи считают, что это произошло зимой 1860—1861 гг. в Париже. Однако ни зимой, ни в конце весны (21 апреля/3 мая), когда Тургенев уезжал в Россию, Бенни даже и не подозревал, что и он вскоре поедет туда тоже. Если Тургенев всерьез намеревался собирать подписи, он мог взять адрес с собой и не поручать столь серьезного дела никому в России не известному Артуру Бенни.

Более того, Василий Кельсиев, утверждавший, что видел адрес Бенни и Ничипоренко собственными глазами, называл его "адресом царствующему Государю Императору о даровании России конституции" и говорил, что видел под ним подписи[44]. В адресе Тургенева конституция не упоминается. Тургенев ограничивался просьбой о продолжении реформ, полной отмене телесных наказаний, введении гласного судопроизводства, ежегодном отчете в государственных расходах и участии общественности в их проверке, о расширении круга деятельности губернских собраний, о сокращении срока службы солдат и о полном уравнении в правах раскольников с прочими русскими гражданами.

Нет оснований предполагать, что Тургенев отдал Бенни текст своего адреса до отъезда в Россию. Более правдоподобная гипотеза заключается в том, что весной 1861 г. Тургенев мог лишь обсуждать свой адрес с Бенни. Весной этого же года Бенни, несомненно, говорил и с П.В.Долгоруковым о его проекте обращения к императору с просьбой о конституции (проект Долгорукова был опубликован в 1860 г.;

Герцен ссылался на этот проект в письме к Бенни 9(17) ноября 1861 г.). Вряд ли, отправляясь с Томашевским в Россию, Бенни намеревался распространять адрес к императору. Скорее, он собирался создать в Сибири сеть для распространения книг Вольной русской типографии и, возможно,— организовать типографию для перепечатки "Колокола"

Есть основания думать, что эти планы были одобрены Герценом. Бенни говорил на следствии, что весной 1861 г. его вера в осуществимость социализма в России была непоколебима, "так что, когда я собирался ехать в Россию, в мае 1861 г. <...> и был по делам в Лондоне, я пошел к Герцену, сказал ему о моем предстоящем путешествии в Сибирь и получил полное его на это одобрение"[45].

После разрыва с Томашевским в Петербурге Бенни остался в русской столице не у дел. Он, вероятно, вспоминал о беседах с Тургеневым и Долгоруковым; может быть, тогда ему и Ничипоренко пришла мысль написать собственный адрес императору и начать сбор подписей под ним. Когда в Москве они попытались получить подпись Каткова и тот спросил у Бенни, кого он представляет, Бенни невольно обманул его, давая понять, что является эмиссаром Герцена. Однако обман этот был невинным, поскольку Герцен действительно одобрил его первоначальные планы. Очевидно, Бенни по юношеской наивности считал, что его новые намерения также встретят одобрение Герцена.

Когда Бенни снова встретился с Тургеневым во время остановки писателя в Москве на пути в Париж, он, несомненно, рассказал Тургеневу о своих злоключениях, и тот, поскольку идея адреса была ему близка, вероятно, вызвался не только передать Герцену письмо Бенни, но и лично поговорить с Герценом, чтобы поддержать Бенни. То обстоятельство, что Тургенев отложил передачу письма на два месяца и лично не встретился с Герценом, имело трагические последствия для Бенни.

Если эта гипотеза верна, мы сможем объяснить и другую загадку: когда и почему Тургенев дал Бенни копию своего адреса к императору. Это произошло, вероятно, в то время, когда Бенни приехал из Лондона в Париж, чтобы взять у Тургенева свое неотправленное письмо Герцену. Возможно, Тургенев хотел загладить вину перед Бенни и помочь ему восстановить доброе имя.

Во всяком случае, адрес Тургенева был среди тех бумаг, которые Бенни повез в Россию в конце ноября 1861 г. в надежде, что они помогут ему поправить репутацию. В письме к Кельсиеву от 7/19 февраля 1862 г. Бенни сообщал: "Приезжая сюда, у меня было еще, кроме герценовского письма, отказывающего во всяком участии в деле адреса, и Вашего *энциклического*, письмо, тоже общее, от Долгорукова и частное — к Анненкову от Тургенева. Кроме того, как я Вам, кажется, уже написал прежде, Тургенев дал мне подлинник составленного им адреса. Люди, которым я показывал эти документы, сначала, казалось, доверяли мне и было даже вошли в сношения, более серьезные, со мною, но вдруг отшатнулись от меня, как я потом узнал, вследствие писем от Александра Ивановича, в которых он отказывался от всякого не только ручательства, но почти знакомства со мною"[46].

За исключением письма Герцена к Бенни от 7(19) ноября 1861 г., ни одно из названных писем не сохранилось. Однако можно полагать, что письмо Кельсиева из Лондона, названное "*энциклическим*", и письма князя Долгорукова из Парижа содержали аргументы в защиту Бенни. Вероятно, Тургенев пытался помочь ему не только тем, что передал ему текст собственного адреса, но также и письмом к П.В.Анненкову.

Как только Бенни вернулся в Петербург, Герцен получил письмо из Дрездена от Марии Карловны Рейхель, сообщавшей о дошедших до нее слухах, будто Бенни — шпион. Герцен незамедлительно отвечал 22 ноября(4 декабря): "Весть, Вами полученная о *Бенни*, откуда? Если из Германии — неважно, если из России — важно. Кто пишет именно? Откуда — из Москвы или из Петерб<урга>?

Если нет подробностей, сейчас напишите, чтоб Вас известили.— Это очень важно. Бенни теперь уже опять в Петербурге и имеет много комиссий. Пожалуйста, не теряйте времени, а с прежней энергией тряхните"[47].

На следующий день (23 ноября/5 декабря) Герцен встретился с Н.М.Владимировым, который собирался тогда в Россию. Он передал ему меморандум с отметкой "Вам самим", где просил в частности: "Сказать, что все знающие меня, но которым я не даю писем рекомендательных к кому-нибудь из серьезных людей,— может, и

прекрасные люди, но я за них не отвечаю. Пусть сами исследуют каждого"[48]. Ясно, что Герцен имел в виду Бенни. На вопрос Владимирова, кому это следует передать, Герцен ответил: "Там увидите, кто спросит Вас, ну, напри<мер>, Кавелину скажите"[49].

Двумя днями позднее Герцен послал Кельсиева к Владимирову на вокзал (тот уже отъезжал в Россию) с еще одной запиской: "Сейчас получили много вестей из России. Между прочим, опять говорят о Бенни и сильно подозревают его. Да когда же я его рекомендовал? Пора быть осторожным <...> О Бенни скажите, во-первых, Нич<ипоренко>"[50].

Пять дней спустя, 30 ноября 1862 г., В.И.Ламанский писал И.С.Аксакову из Петербурга в Москву: "Знаете, меня недавно положительно уверяли, будто Б<енни> оказался шпионом, поляком Бениславским"[51].

В Петербурге Владимиров нашел Ничипоренко и передал ему письмо Герцена с отказом поддержать Бенни[52]. Перед следственной комиссией Ничипоренко признался, что передал письмо Герцена тем людям, с которыми сам познакомил Бенни — Громеке, Альбертини и Николаю Курочкину[53].

Позднее, как ни парадоксально, именно показания Владимирова на следствии привели к тому, что за Бенни был установлен полицейский надзор: среди бумаг, обнаруженных при обыске квартиры Владимирова в ночь с 9 на 10 июня 1862 г., были найдены две записки от Бенни[54].

Ясно, что Бенни не мог сжечь копию адреса Тургенева до 5 октября 1861 г., то есть до дня обыска квартиры Альбертини, так как Лавров вспоминал позднее, что Бенни вернулся из-за границы и привез с собой "разные бумаги от Тургенева и Герцена". На следствии и Бенни показал, что вернулся в Петербург только в начале декабря[55]. Когда бы и при каких обстоятельствах это ни случилось, возможно, что Бенни сжег документы, привезенные от Тургенева и Герцена, не из боязни ареста, но скорее в припадке отчаяния. Это отчаяние выразилось и в его письме Кельсиеву от 7(19) февраля 1862 г., частично приведенном выше. Бенни писал о впечатлении, которое произвело на него переданное Владимировым письмо Герцена: "Я думаю, что Вы согласитесь со мною, что после этого мне не оставалось больше ничего делать, как положить мои документы в сторону и стараться приобресть доверие посредством успеха в других, лишь от меня зависящих предприятиях"[56].

Одно из таких предприятий представляет для нас особенный интерес.

В том же письме Кельсиеву Бенни делился своими планами об «устройстве типографии и <...> покупке литер для печатания здесь тайной газеты "Русской правды"»[57]. Годом позднее, 3(15) мая 1863 г., Бенни рассказывал о "Русской правде" в письме к Герцену, где просил положить конец распространявшейся клевете: «A propos[1*], одна из моих pièces justificatives[2*] находится за границей, именно у П.В.Долгорукого. Это рукопись первого номера "Русской правды", тайного журнала, который я собирался издать вместе с тремя лицами еще в феврале и марте прошлого года. Копию с первого номера я послал Долгорукому в Париж; это было недавно после моего объяснительного письма к Вам, и поэтому я считал невозможным писать Вам до получения Вашего ответа. Издание "Русской правды" было сперва остановлено по недостатку денег, а потом (после появления "Молодой России") совсем брошено»[58].

Эти два письма Бенни, опубликованные в 1955 г. в "Литературном наследстве", позволили подойти к разгадке запутанного вопроса об авторстве "Русской правды" Обе секретные прокламации были напечатаны М.К.Лемке в 1908 г. Поскольку они были изданы «от имени тайного общества "Русская правда"», Лемке писал: "Что это за общество, какова была его организация, планы, задачи и тактика — неизвестно. Нигде мне не пришлось встретить указаний на это: ни в литературе, ни в архивах"[59].

Исходя из приведенных выше писем, можно утверждать, что общества "Русская правда" не существовало, был только Артур Бенни и еще три человека, имена которых пока не установлены[60]. Они, очевидно, и составили две прокламации "Русская правда"

[1*] кстати (*франц.*)

[2*] оправдательных документов (*франц.*)

В обеих выражена глубокая симпатия к полякам, но при этом первая выдержана в высоком стиле со множеством евангельских аллюзий, тогда как вторая написана в ином стиле. Здесь преобладает сатира, а цитаты из Писания сводятся к двум фразам: "пир Валтасара" и "Ведь и по Новому Завету псы едят крохи от господ своих!"

В прокламациях критикуется правительство, в частности, государственный заем на 16 миллионов фунтов стерлингов, обнародованный в начале апреля 1862 г., и доминирующая роль балтийско-германских бюрократов в русском правительстве. Предсказывалась революция.

Когда в 1908 г. Лемке готовил к печати тексты "Русской правды", цензура не пропустила четырех абзацев. В 1963 г. полные тексты этих прокламаций вместе с факсимильными копиями были опубликованы в книге "Русско-польские революционные связи"[61], но с некоторыми неточностями. Полные тексты обеих прокламаций публикуются ниже, по копии, хранящейся в ОР РНБ. Чернилами, наискосок первого листа написано: "Честные славяне просят Вас хранить как залог их братской любви к Вам", а также другой рукой: "1862. г. Ченстохов. № 16"

№ I

г. Петербург 15 марта 1862 г.

РУССКАЯ ПРАВДА

Во имя Христа и человечества возвышаем мы наш голос: первое втуне раздавалось посреди бесстыдных убийств, второе оскорблено в своих лучших чувствах.

Уже минул год, как мы позорно обагрили руки в крови лучших наших братьев. Казалось, что эти святые жертвы, оплаканные всеми честными людьми, пробудят русское правительство от его восточной лени; но, к несчастью, надежды эти до сих пор остаются одними мечтами. Оно нашло весьма удобным — для себя — наводнить бедную, разоренную Польшу своими войсками, спустить на нее Рожновых, Пилсуцких, да петь соловьиные песни под свист казацких нагаек.

Казалось также, что русская молодежь, и в особенности офицеры, поняв весь позор подобной резни безоружных мучеников свободы, возвысят свой голос противу постыдного положения, в которое поставило их отечественное правительство; но и этим надеждам не суждено было осуществиться.

Горе нам! Мы остались такими же безгласными рабами, такою же бессмысленною машиною убийства. Братья! Простите нас, во имя Христа, во имя свободы!

Мы, русские славяне, молчали долго. С одной стороны, воспоминание о недавних преступлениях наших отнимало у нас право голоса; с другой — мы все еще мечтали, что правительство удовлетворит наконец справедливым требованиям давно угнетенного народа. Свет величья и правоты, которым окружила себя польская нация в своем вопросе, был так блестящ, что мы считали правительство поставленным в необходимость удовлетворить ее. В простоте души нашей, мы не полагали возможным требования поляков называть заблуждением уличной партии; святое мученичество их — карою за преступления. К сожалению, оказалось, что С.-Петербургское правительство весьма нещекотливо в средствах для своего успокоения; видно, уроки Меттерниха не пропали для него даром,— и всякое слово народа для него — не голос Божий, но гидра революции.

Это-то правительство, отставши на много десятков лет от народного развития, хочет вести нас к прогрессу путем постепенных реформ; но разве это возможно там, где между народом и верховною властью царствует полное недоверие. Реформы постепенные приведут нас к одному из двух: или они останутся мертвою буквой, или их оживит революция. Подобные фразы, как "point des rêveries"[1*], фразы, подсказанные каким-нибудь немецким конюхом, могли быть еще сносны при начале царствования; но теперь, после долгих и напрасных ожиданий, нам нужны не фразы и обещания, а факты, которые ручались бы нам за исполнение их. Кажется, нам суждено добыть их только потоками нашей крови. Что же! чем больше мучеников будут освящать добытые нами права, тем страшнее будет нарушить их. Теперь мы, в свою

[1*] "Никаких мечтаний" (*франц.*). Выражение из речи Александра II в Варшаве в 1856 г.

очередь, можем сказать: “Point des rêveries”, пусть немецко-батардская бюрократия не кормит нас более соловьиными песнями: голодному не до песен. Чего ожидать нам от этих грабительствующих сенатов, глупейших синодов, домов умалишенных и других заведений для хлама и грязи! Point des rêveries, point des rêveries...

Братья поляки! Когда-то вы писали на своих знаменах: “за нашу и вашу свободу”. Тогда немногие еще понимали ваш великодушный вызов, но теперь познание свободы овладело сердцами всех честных людей, теперь на ваш отклик явятся тысячи. Братья! забудем и простим друг другу все прошлое; впереди же нас нету туч, которые могли бы омрачить наш святой союз: свободный голос решит все, а где свобода — там и истина! Тут споров быть не может! Правительство наше в своей апатии теперь, как и прежде, говорит вам: будьте послушны и кротки, как ягненки, и вас остригут, как баранов! Горько говорить это нам — вашим палачам, хотя палачам невольным, мы сознаем это, и лучше пусть каждый сознает честно свои преступления, чтобы легче было забыть и простить их.

Простите же нас, братья! Дайте нам вашу руку, потому что настает час, когда мы вместе станем под одним знаменем, знаменем свободы. Мужество и постоянство пусть будут нашим девизом! Умирают люди; но идея, всеми сознанная и перечувствованная, не умрет, не достигнув высоты своего осуществления.

Свобода! Свобода! раздается со всех концов мира. Это пробужденная проповедь нашего Спасителя; под ее звуки и враги должны подать друг другу руки, забывая все прошлое и проливая благодарные слезы перед алтарем Христа, Который снова просветляет человека Своим забытым святым учением.

Братья! таких слов не заглушить громом пушек; таких слез не смыть нашим врагам и потоками нашей крови. Пусть льется она! Она еще больше скрепит наш свободный братский союз, и каждая ее капля, по словам пророка, родит нового мученика свободы.

№ 2

С.-Петербург 15 апреля 1862 г.

РУССКАЯ ПРАВДА

Поздравляем бедное отечество наше с новым государственным займом. Адлерберги, Паткули и прочие Штейны и Берги безумеют от зрелища золотых и серебряных монет и готовятся к пирам и попойкам. Упивайтесь, подлые люди, кровью и потом честного русского народа, пока он не раздавил вас как ядовитых гадин; пируйте, пока не настал пир Валтасара!

Впрочем, сказать правду, не все же эти миллионы пойдут в карманы немцев-бюрократов и их наперсниц; останется кое-что и на долю немцев-генералов; пожалуй, перепадет кроха и храброму генералу Хрулеву — воителю у храмов Божиих, и генералу Крыжановскому — Чингис-хану всевозможных судов и следственных комиссий, и быть может, даже доблестному Толстому — витязю Преображенского полка. Ведь и по Новому Завету псы едят крохи от господ своих!

Какая же польза русскому народу от этих денег, которые со временем он должен будет уплатить? Помогут ли они крестьянину заплатить за землю? Нет. Они помогут правительству взять его в рекруты, да марать имя русское новыми подвигами насилия.

Мало того, правительство наше, или, лучше сказать, наше немецкое правительство, видит в этом займе новое средство обокрасть бедный русский народ. Оно выпускает свои же собственные кредитные билеты, уплачивая за бумажный рубль только восемьдесят семь копеек звонкою монетою. Да это просто банкротство! Неужели правительство полагает, будто бы уж русский народ и не догадается, что при помощи этого невинного средства каждый крестьянин, собственник, чиновник и воин теряет восьмую долю своего имущества, своего содержания! Трудно не понять подобного наглого, бесстыдного грабительства.

Куда же мы идем? Куда стремимся?

К разорению материальному, к падению нравственному, из которого народ подымется к новой жизни по трупам своих утеснителей.

Но разве правительство не знает всего этого и не понимает, что делает? Судя по всем его распоряжениям, оно не понимает или, лучше сказать: не хочет понять.

Правительство не хочет верить, что русский крестьянин готов добыть себе волю и землю топором, если ему не дадут их добром.

Оно не желает знать, что русское дворянство, отказываясь от своих сословных прав, не захочет наложить на себя крепостную зависимость от немецких выходцев, не понимающих русской жизни.

Оно не может понять, что весь русский народ желает видеть в главе своей лиц, которые оказали действительные услуги русской земле, а не тех, которые подличали в передних царских дворцов, да обкрадывали государственную казну всеми законными и беззаконными путями.

Оно не видит, что русский народ понял не только бесславие, но и бесполезность угнетения родственной нам Польши. Вместо манифестов о беспорядках в Польше, пусть оно спросит об этом предмете общественного мнения русской земли. Можно присягнуть, что ни один честный русский не захочет отказать своим братьям-соседям управляться своими собственными законами и выборными из своей земли; словом, жить по воле. Русскому народу все равно: шестьдесят ли миллионов считается в Российской империи, или сорок — от этого ему пользы нет. Русскому народу нужен мир, воля, да главное — управляться своими людьми, а не немецкими. Тогда у нас будет мало солдат, да зато и ни одного врага,— тогда только мы будем счастливы; а пока мы будем притеснять других — не видать нам благоденствия, ни покоя.

Правительство забывает, что все в мире имеет свой конец — даже терпение русской армии, угнетаемой, обкрадываемой немецкими начальниками. Кто у нас полководец, генерал, начальник части? Немец, непременно немец, да еще немец, совершенно убежденный, что русский человек создан только для того, чтобы быть рабом немцев. Правительство не видит, что скоро эта армия откажется служить орудием угнетения польского народа, требующего себе воли и земли, подобно русскому народу. Да и быть иначе не может! Не может же армия не понять того, что сознает вся земля русская; не заслуживать же войску русскому на то, чтобы его самые же русские граждане называли разбойниками и грабителями. Что понял народ, то подавно поняло и войско, и горе всем чужеземным утеснителям русской свободы, когда ненависть, тлеющая в груди каждого русского гражданина, каждого русского воина, вырвется наружу с криком: "Смерть немцам, да здравствует свобода!"

В Литографии "Русской правды"

Перейдем теперь к вопросу о том, кто были эти трое, помогавшие Бенни написать обе прокламации.

Вернувшись из Лондона в Петербург в ноябре 1861 г., Бенни не смог устроиться ни в одну из прогрессивных редакций, поскольку его репутация была подорвана. Некоторое время он сотрудничал в "Русском инвалиде", но в феврале 1862 г. ушел из этой газеты и присоединился к Ничипоренко и Лескову, работавшим в "Северной пчеле"[62].

Лесков незадолго до того покинул редакцию "Русской речи", в конце ноября вернулся из Москвы в Петербург и с 1 января 1862 г. стал постоянным сотрудником "Северной пчелы"[63]. Неизвестно, когда Ничипоренко вошел в состав редакции этой газеты, но из письма Бенни к Кельсиеву от 7(19) февраля мы узнаем, что в феврале Ничипоренко уже был зачислен в штат "Северной пчелы"

И Ничипоренко, и Лесков не отшатнулись от Бенни, несмотря на ходившие о нем слухи. Показательно, что 14 апреля 1862 г., не называя его имени, Лесков упомянул Бенни в фельетоне "Страстная суббота в тюрьме" (Северная пчела. № 99): "Я вспомнил одного моего знакомого англичанина, с которым мы почти ежедневно видимся в течение полугода <...>" В письме Кельсиеву от 7(19) февраля 1862 г. Бенни сообщал ему о сотрудничестве с Ничипоренко: «Как вы знаете, я оставил "Инвалид" и работаю теперь с Ничипоренкой в "Пчеле" Кроме отмечивания иностранных газет для переводчиков, я пишу обыкновенно одну или две передовые статьи в день <...> Перешедши в "Пчелу", мы решили с Андреем Ивановичем <Ничипоренко> просить и вас перенести туда вашу корреспонденцию, и я знаю, что и он писал вам по этому поводу»[64].

Перейдя из "Русского инвалида" в "Северную пчелу", Бенни снял большую квартиру над типографией и пригласил пятерых своих друзей жить вместе и делить квартирную плату поровну[65]. Через 20 лет Лесков вспоминал, как он и еще пятеро его приятелей читали в квартире Бенни "Записки из Мертвого дома" Достоевского, печатавшиеся тогда в журнале "Время" "В числе собравшихся,— писал Лесков,— были талантливый молодой беллетрист того времени Василий Ал. Слепцов, доктор М-ов, известный впоследствии эмигрант Варфоломей Зайцев, еще один молодой писатель, я и студент Б-от"[66]. Интересно, что Лесков указал имена всех присутствовавших, но утаил лишь имя "одного молодого писателя" Есть основания полагать, что этим "писателем" был никто иной как Ничипоренко.

Ничипоренко активно распространял "Колокол" в Петербурге и пользовался исключительным доверием Герцена и его окружения. Стоит напомнить, что, когда Бенни приехал в Петербург из Лондона в 1861 г., он привез от Кельсиева рекомендательное письмо к Ничипоренко, а в декабре 1861 г. Герцен послал с Владимировым в Петербург письмо, где просил проинформировать своих сторонников и прежде всего Ничипоренко о необходимости быть осторожными с Бенни. В начале 1862 г., когда реорганизовывался еженедельник "Век", была создана специальная комиссия для разбора возможных споров между сотрудниками и издателем. В эту комиссию вошли А.Н.Энгельгардт, Н.А.Серно-Соловьевич и Ничипоренко[67]. Когда во второй половине 1861 г., по инициативе Герцена, Огарева, Чернышевского, Серно-Соловьевича, Н.Н.Обручева и А.А.Слепцова, сформировалось тайное общество "Земля и воля" и в первые месяцы 1862 г. началась широкая организационная работа, Ничипоренко, по-видимому, вошел в состав одной из первых пятерок. Наиболее значительным доказательством доверия, которое оказывали ему "землевольцы", является назначение Ничипоренко весной 1862 г. связным между центральным комитетом и провинциальными комитетами, созданными А.А.Слепцовым во время январской поездки в Ярославль, Астрахань, Саратов, Казань, Нижний Новгород и Тверь[68].

Когда Кельсиев тайно приехал в Петербург в марте 1862 г., он не смог встретиться с Ничипоренко и стал разыскивать Бенни. «Оказалось, что Бенни знал о моем приезде,— писал Кельсиев впоследствии в "Исповеди",— так как Ничипоренко, его большой приятель, не скрыл, что ждет меня в Петербург, да и вообще Ничипоренко был, как оказалось после, человек весьма ненадежный <...> он франтил своим революционерством, играя роль какого-то заговорщика. Я знал его еще с коммерческого училища, где он шел несколькими классами ниже меня. За границей я узнал, что он посещает университет, славится между товарищами умом и краснотою своих убеждений; потом он сделался постоянным корреспондентом "Колокола", и вообще его считали в Петербурге одним из столпов нашей партии. Только связь с Бенни бросала на него тень, но, к чести Ничипоренки, он не порывал ее в угоду общему мнению»[69].

Будучи "с Высочайшего разрешения, уволен в отпуск за границу с 6 апреля на три месяца"[70], Ничипоренко на следующий день[71] вместе с писателем Н.А.Потехиным отправился в Лондон, где встречался с Герценом и Огаревым, а в начале мая 1862 г. — с Бакуниным. Перед отъездом (30 апреля/12 мая) Ничипоренко получил несколько рекомендательных писем от Бакунина, где о нем говорилось в чисто бакунинских гиперболах. Приведем лишь одну цитату из рекомендательного письма к Гарибальди: "Беру смелость направить к вам друга и соотечественника, который прямо приехал из России и который может дать вам всевозможные сведения о том, что ныне происходит в нашем отечестве. Это человек испытанной скромности и осторожности, справедливый и умный, хорошо поставленный, чтобы знать многое, и который все дело представит вам в настоящем виде. Герцен его знает хорошо и, вероятно, будет тоже рекомендовать"[72].

Приблизительно такое же рекомендательное письмо Бакунин адресовал чешскому поэту-эмигранту Йозефу Вацлаву Фричу, а итальянский патриот-демократ Марк Аврелий Саффи — к Гарибальди и его секретарю. Саффи сообщал, что Ничипоренко после посещения Италии собирается в поездку по славянским землям вдоль Дуная, затем — через Турцию в Грецию[73].

За этим кульминационным моментом революционной карьеры Ничипоренко последовал провал. При переходе австрийско-итальянской границы он испугался

тщательного обыска австрийских пограничников и, ожидая своей очереди в таможне, бросил письма под стол[74]. Пограничники обнаружили их и сразу же выслали копии в Россию. Отказавшись от намерения путешествовать по славянским землям, Ничипоренко вернулся домой, в Прилуцкий уезд Полтавской губернии, где 28 июня был арестован полицией и доставлен в Петербург для допроса в следственной комиссии по быстро разворачивающемуся делу "о лицах, обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами" Дело это началось в первых числах июля арестом П.А.Ветошникова, только что приехавшего в Петербург из Лондона с письмами от Бакунина, Огарева и Кельсиева[75].

Итак, Ничипоренко, по всей видимости, помогал Артуру Бенни в издании "Русской правды" Вторым помощником мог быть Лесков. Писатель, между прочим, поддерживал с Бенни тесные дружеские отношения не только зимой 1861—1862 гг., но и до самого его ареста и высылки из России в 1865 г. Однако есть еще один, более серьезный — психологический — аргумент в пользу этого предположения.

Как уже отмечалось, Лесков упорно пытался создать впечатление, будто у него никогда не было коротких отношений с Ничипоренко. Объяснение лесковской позиции можно найти в протоколах допроса Ничипоренко следственной комиссией зимой 1862—1863 гг. Первый раз Ничипоренко допрашивали 25 октября, повторные допросы проводились 27 и 29 ноября и еще раз — 8 декабря.

Пока шло следствие, распространялись слухи о том, что из-за безрассудных показаний Ничипоренко в дело втягивается все больше и больше людей. Тургенев, тоже попавший из-за него под следствие, писал Герцену 31 января (12 февраля) 1863 г.: "Ничипоренко всех и все выдает"[76], а 21 февраля 1863 г. В.И.Касаткин сообщал Герцену из Женевы: "Ничипоренко, чтобы заслужить прощение, обвиняет всех, кого можно и даже кого нельзя"[77].

Об этом писал и Лесков в авторских примечаниях к "Загадочному человеку": «Невозможно понять, с какой целью покойный Ничипоренко при следствии вызывал из своей памяти самые пустые события, о которых его никто не спрашивал, а иногда просто даже *сочинял* <...> Так, он, например, вспомнил, между прочим, и обо мне и, описывая какой-то сторонний случай, вставил кстати, что "в это де время я познакомился с литератором Лесковым, который своим образом мыслей имел вредное влияние на мои понятия", и далее опять о постороннем. Я сам не читал этих касающихся меня строк, но слыхал о них от Бенни и от Тургенева, которым я вполне верю, а они имели случай читать дело Ничипоренко» (III, 343)[78].

Именно здесь следует искать тот самый психологический аргумент, подтверждающий наше предположение о сотрудничестве Ничипоренко, Лескова и Бенни при составлении "Русской правды" Услышав, что Ничипоренко "выдает всех и все", Лесков не знал, сказал ли тот что-нибудь о "Русской правде",— что-нибудь такое, что не стало публичным достоянием, поскольку придерживается властями для другого случая.

Если эта гипотеза верна, то можем теперь понять, почему Лесков и в "Загадочном человеке", и в "Некуда", и во многих других случаях старался избегать упоминаний о Ничипоренко. Кроме приведенных выше примеров стоит обратить еще внимание, что в другом примечании к "Загадочному человеку", в перечне сотрудников "Северной пчелы", Лесков также опустил имя Ничипоренко (см.: III, 340). Пытаясь переделать собственную биографию начала 60-х годов, Лесков стремился заранее защищать себя от каких-либо внезапных разоблачений.

Наше предположение объясняет не только отчаянные попытки Лескова отгородиться от Ничипоренко, но и мотивы поведения самого Ничипоренко на допросах. Возможно, он пытался сбить следственную комиссию с верного пути, сознавая (как сознавал это и Лесков), какое суровое наказание ждет сочинителей и распространителей прокламаций.

Кто же был третьим помощником Бенни в подготовке "Русской правды"? Ответ на этот вопрос еще более сложен, чем на вопрос о двух первых соавторах.

Поскольку Бенни поделился с Кельсиевым своими планами о "Русской правде" в письме от 7(19) февраля 1862 г., всего за месяц до приезда Кельсиева в Петербург, а тот, прибыв в Россию, стал срочно разыскивать Бенни, можно предположить, что Кельсиев и был третьим соавтором. Через 11 дней после его приезда в Петербург (4 марта) вышел первый номер "Русской правды" (15 марта 1862 г.)

Вполне возможно, что в Петербурге Кельсиев говорил с Бенни о "Русской правде", но маловероятно, что он принимал активное участие в ее сочинении. Во-первых, его вдохновляла совершенно иная идея — контакты со старообрядцами. Во-вторых, Кельсиев прибыл в Петербург нелегально, и поскольку он был слишком хорошо известен в среде революционеров, приходилось быть крайне осторожным. В-третьих, по-видимому, он провел мало времени с Бенни. Четыре из пяти недель, проведенных в России, Кельсиев пробыл в Москве.

Более вероятным кандидатом является студент, которого Лесков назвал "Б-от" (см. выше). Лесков вспоминал, что это был "сын лютеранского пастора из Остзейского края", который «знал по-эстонски и по-латышски и делал для "Северной пчелы" выборки из газет, издававшихся на этих языках. Б-от был настоящий, типический "сын пастора", как замечено у Гейне: белый, румяный, с девственным выражением глаз при страстных ярко-пунцовых и полных устах. Поведение его и Бенни побуждало товарищей звать их "фрейлейнами" Это были молодые юноши чистые, как целомудреннейшие девушки». Лесков рассказывал далее о впечатлении, произведенном на юношу тем фрагментом "Записок из Мертвого дома", где говорится о жестокости начальника Сибирского острога: "Где он? <...> Я убью его! <...> О, клянусь, что я его найду — <...> И Богу лишь ведомо, может быть они и встретились, ибо вскоре наш розовый сын пастора встрял в какую-то компанию, с которою и понес тягостную участь по делу, сущность коего мне обстоятельно не известна. Да Богу же единому ведомо, конечно, и то, когда Б-ту впервые приключилась мысль делать то, чего ему не следовало делать <...>"[79].

Это описание почти полностью совпадает с наружностью Петра Давидовича Баллода, хорошо известного латышского революционного демократа, арестованного 16 июня 1862 г. и высланного в Сибирь за участие в распространении прокламаций. Баллод (1839—1918) вырос в Риге, в семье пастора религиозной секты "моравские братья" (гернгутеры). В 1846 г. его отец решил, что его братская община сможет более надежно защитить себя от немецких помещиков-лютеран, если они перейдут в русскую православную веру. После того как отец стал православным священником, сын Петр был послан в Рижскую духовную семинарию, но в 1856 г. он оставил семинарию и поступил в Петербургский университет, сначала на медицинский факультет, а через 2 года — на физико-математический. Зимой 1861—1862 гг., т.е. в период, к которому относятся воспоминания Лескова о чтении "Записок из Мертвого дома", П.Д.Баллод еще учился в университете[80].

Вряд ли в то время в Петербурге был другой сын протестантского священника из Остзейского края, который говорил по-латышски и чья фамилия начиналась на букву "Б", который был бы арестован и отправлен в Сибирь за нелегальную деятельность и в 1883 г. был еще жив (иначе Лесков написал бы его полное имя, как он это обычно делал; Баллод до самой смерти, последовавшей в 1918 г., жил в Сибири). Но если Б-от это Баллод, то почему Лесков поставил в конце его фамилии "т"? Либо это просто ошибка (так как "д" в конце слова обычно произносится как "т"), либо — попытка зашифровать фамилию.

Баллод отбирал и переводил статьи из эстонских и латышских изданий для "Северной пчелы", следовательно, он работал под началом Бенни, в обязанности которого, согласно письму к Кельсиеву от 7(19) февраля, входило "отмечивание иностранных газет для переводчиков"[81]. Поскольку в 1862 г. Баллод уже принимал активное участие в распространении нелегальных прокламаций, Бенни не составило, наверное, особого труда привлечь его к работе над "Русской правдой" Более того, как уже упоминалось, вторая прокламация написана совершенно другим стилем, чем первая, и содержит резкую критику немецкой бюрократии. Эта критика отвечала настроениям отца Баллода и его товарищей-латышей, живших в Остзейском крае.

Даже если наша гипотеза верна, то о роли каждого из соавторов можно судить лишь предположительно. Эмоциональный и пропольский характер первой прокламации позволяет думать, что ее написал сам Бенни; резкий антинемецкий тон второй, по-видимому, отражает взгляды Баллода. А боевые революционные фразы совпадают с идеями, которые исповедовали и Баллод, и Ничипоренко. Учитывая, что Ничипоренко был связан с "Землей и волей", можно усмотреть определенный смысл в том, что во второй прокламации дважды упоминается "воля и земля" Кроме фразы из второй прокламации — "Адлерберги, Паткули и прочие Штейны и

Берги", характерной для стиля Лескова, в самих текстах трудно найти подтверждение лесковского участия в составлении "Русской правды" Вполне возможно, что его роль сводилась главным образом к молчаливой поддержке.

В начале сентября 1862 г. Лесков поехал за границу и, пробыв там около полугода, в марте 1863 г. вернулся в Петербург. Поездка в Париж через славянские страны, а также намерение посетить Лондон давали ему возможность уйти от травли, которой он подвергался в русской печати после появления его "пожарных" статей, и собрать интересный материал для "Северной пчелы", где его друг Бенни возглавлял заграничный отдел и собирался принять на себя редактирование всей газеты. Вероятно, была и другая причина отъезда: в середине июня был арестован Баллод, а в конце июля — Ничипоренко. Лесков не мог не беспокоиться о том, какие показания они дадут следственной комиссии.

Предположение об участии Лескова в составлении "Русской правды" проливает дополнительный свет на один из эпизодов романа "Некуда" Справедливо считается, что это произведение — roman à clé[1*]. Некоторые исследователи придерживались мнения, что чуть ли не каждый герой "Некуда" имеет реальный прототип. Принято думать, что сам Лесков был прототипом доктора Розанова. Во второй книге романа, где действие разворачивается в Москве, Розанов принимает довольно скромное, если не пассивное участие в деятельности подпольной организации, которая печатает и распространяет прокламации. Самыми активными членами этой организации являются Арапов, Персиянцев и Бычков. В 16-й главе второй книги Розанов попадает в подвал под домом Арапова и встречает там Персиянцева, печатающего революционные прокламации. Персиянцев настолько устал, что Розанов вызывается заменить его, и тот уходит наверх отдыхать. Пробыв в подвале часа три в глубокой задумчивости, Розанов вдруг встает и сжигает отпечатанные прокламации, выносит литографский камень и бросает его в реку. На следующий день товарищи-революционеры обвиняют его в предательстве и шпионаже. Однако в следующую ночь в подвале происходит обыск, и только то, что Розанов сжег прокламации и выбросил камень, спасает героев романа от ареста.

Здесь уместно вспомнить содержание письма Бенни к Герцену от 3(15) мая 1863 г.: «Издание "Русской правды" было сперва остановлено по недостатку денег, а потом (после появления "Молодой России") совсем брошено». Первая прокламация "Русской правды" была напечатана 15 марта 1862 г. "Молодая Россия" впервые была обнаружена 14 мая, когда 4 пачки прокламаций, отправленных из Петербурга в Харьков, были перехвачены на московской почте[82]. Есть небольшая вероятность, что тогда готовилась третья прокламация "Русской правды" и что в эти дни действительно случилось нечто похожее на эпизод из "Некуда" Однако возможно и другое предположение.

В начале статьи мы приводили угрозы Суворина «осветить рассказ "Загадочный человек" такими подробностями, которые бросили бы в жар и холод г. Лескова». Не связан ли эпизод с Розановым, уничтожившим прокламации, не с "Русской правдой" и Петербургом, а с Москвой и кружком Аргиропуло и Заичневского?

Проработав пять месяцев в Москве в редакции "Русской речи", где тогда сотрудничал и Суворин, Лесков, конечно, не мог не знать, что члены этого кружка печатают запрещенную литературу. Некоторые из них были друзьями Евгения Салиаса и частыми гостями его матери, издателя "Русской речи" Ряд исследователей считает, что именно члены этого кружка были прототипами Персиянцева, Бычкова и Арапова — трех персонажей "Некуда", печатавших прокламации, сожженные Розановым[83].

Разумеется, художественное произведение может отражать реальную действительность, но не в меньшей мере оно может отражать и авторское стремление исправить или улучшить пережитое. Если эпизод с Розановым и прокламациями в самом деле отражает связь писателя с "Русской правдой",— возможно, Лесков заставил своего героя сделать то, что хотелось, но не удалось сделать самому писателю. Причем, перемещая этот эпизод из Петербурга в Москву, Лесков, возможно, намеревался тщательно замаскировать свою связь с авторами "Русской правды", от-

---

[1*] роман с намеками (*франц.*)

влекая внимание читателя от реального места событий — от Петербурга. Уничтожение Розановым прокламаций — может быть, исправленная версия участия Лескова в составлении и подпольном издании "Русской правды"

В "Некуда" есть еще один эпизод, где Лесков, по-видимому, тоже пытался скорректировать действительность. В конце романа, в 19-й и 20-й главах третьей книги, действие переносится в восточную Польшу и относится к 14 февраля 1864 г.[84]. Речь здесь идет о судьбе Райнера — главного героя (прототипом которого был Бенни), добровольно вступившего в ряды повстанцев, схваченного царским правительством и позже приговоренного к казни. Известно, что Бенни не принимал участия в польском восстании, а в 1863—1864 гг. постоянно жил в Петербурге. Однако из писем Бенни к Герцену известно, что весной 1863 г. Бенни пытался присоединиться к восставшим. Несомненно, Бенни поделился своими планами и с Лесковым. Эпизод участия Райнера в польском восстании написан Лесковым осенью 1864 г. Писатель здесь как бы исправлял действительность, приводя ее в соответствие со стремлениями своего друга.

В 1870 г., когда Бенни уже не было в живых, Лесков писал в "Загадочном человеке": «Если же сделать вопрос: были ли, однако, у Бенни какие-нибудь отношения к революционному ржонду в Польше или не было никаких, то пишущий эти строки может отвечать, что они *были* <...> Однажды, когда автор этих записок и Артур Бенни жили вместе, в одной квартире, покойного Бенни посетил какой-то пожилой человек, весьма скромной наружности, с владимирским крестом на шее. Бенни имел с этим человеком довольно продолжительный разговор, шедший с глаза на глаз. Проводив владимирского кавалера, Бенни был взволнован и сказал пишущему эти строки, что это приходил петербургский комиссар народного ржонда. При этом Бенни рассказал также, что он уже получил из Варшавы три повестки, требующие, чтобы он явился туда к революционному начальству; но что он, не считая себя поляком, не считал себя и обязанным исполнять это требование, а теперь он *должен поехать, чтобы навсегда отделаться от притязаний, которые на него простирают поляки за его рождение в Польше*. Свое "*я должен поехать*" Бенни мотивировал тем, что у него в Польше живут родные и что он хочет честно разъяснить полякам, что он их *политической* революции не сочувствует, а сочувствует революции международной — *социалистической*.

В эту пору Бенни был уже под судом по оговору Ничипоренки и мог выехать из Петербурга или только тайно, с тем чтобы уже никогда сюда не возвращаться, или же испросив на это разрешение начальства. Он предпочел последнее, подал просьбу о дозволении ему съездить в Польшу "для свидания с умирающим отцом" Просимое разрешение ему было дано на самое короткое время <...> Бенни все сделал аккуратно и, возвратившись назад в Петербург, говорил, что он теперь свободен и что ржонд более никаких претензий простирать на него не будет <...> Бенни через несколько времени и еще раз съездил, точно таким же образом, в Польшу, когда отец его в самом деле захворал и скончался <...>» (III, 372—373).

Опубликованные письма Бенни к Герцену, а также хранящиеся в ГАРФ документы по "процессу 32-х" позволяют проверить точность лесковских слов.

Бенни сообщал Герцену 3(15) мая 1863 г.: "В начале нынешнего года я был в Польше, чтобы еще раз проститься с моим отцом, который и умер у меня на руках"[85]. Об этой поездке свидетельствует и вид на жительство от 8 февраля 1862 г., где имеется полицейская печать, поставленная 10(22) января 1863 г. в Варшаве, по пути Бенни в Варшавскую губернию. Вторая печать была поставлена 19(31) января 1863 г. при возвращении в Петербург[86].

Однако эти даты отражают не ту поездку Бенни, которую имел в виду Лесков, так как сам писатель с сентября 1862 г. по март 1863 г. путешествовал по Европе. Поездки, о которых вспоминал Лесков, Бенни осуществил зимой 1863—1864 гг. В архиве имеются записи о том, что в октябре 1863 г. Бенни просил разрешение навестить в Польше свою больную мать, и 2 ноября 1863 г. получил разрешение на двухнедельную поездку[87]. Есть также сведения о том, что Бенни вернулся в Петербург 17 ноября 1863 г.[88] Через несколько недель он, очевидно, попросил еще одно разрешение на поездку, о которой и упоминает Лесков. Нам неизвестна дата его отъезда, но в документах полиции отмечено, что 8 января 1864 г. генерал-губернатор докладывал о возвращении Бенни из Царства Польского[89]. Это означает, что рас-



АРТУР БЕННИ И ЛЕСКОВ

Фотография. <1861—1862 гг.>

Орловский государственный литературный музей И.С.Тургенева, Орел

сказ Лескова о визите петербургского комиссара повстанцев следует отнести к октябрю 1863 г.

Чем можно объяснить столь глубокую перемену в отношении Бенни к польскому восстанию? В конце 1863 г., по свидетельству Лескова, "он их *политической* революции" не сочувствовал, а весной того же года, судя по письмам Бенни к Герцену, вместе с двумя товарищами намеревался ехать в Вильно, чтобы сформировать "русскую дружину" в рядах восставших. «Такая дружина,— писал он,— послужила <бы>, во-первых, в глазах поляков самым убедительным доказательством истины того положения, что русские и русское правительство — две вещи совершенно разные, а между тем вы сами хорошо знаете, как малое число поляков понимает это теперь, несмотря ни на "Колокол", ни на частые расстреливания русских офицеров в Польше»[90]. Приблизительно 6 недель спустя, 3(15) мая, Бенни писал в припадке негодования и отчаяния, что польский центральный комитет не только не выдал ему бумаги, необходимые для вступления в ряды повстанцев, но и объявил его шпионом: "...теперь, когда уже всеми признаваемые авторитеты и настоящие государственные силы, как центральный комитет русский и польский, попадают на мой счет в ту же гнусную ошибку, как мальчишки и пьяницы <...> тогда, действительно, дело становится для меня серьезным <...> Я требую *суда*, но суда полного и откровенного <...> пусть я, наконец, увижу и услышу моих обвинителей, пусть мне будут представлены категорически все пункты, в которых меня обвиняют, и пусть я имею возможность отвечать на них столь же прямо <...> я имею право требовать от Вас <...> чтобы Вы потребовали этого суда у здешнего комитета (к *польскому* я обращусь лично, и я уверен, что они мне не откажут в удовлетворении)"[91].

Ответ Герцена неизвестен. Но в письме к сыну он выражал полную уверенность в честности Бенни, не скрывая, однако, неприятия его "дурачеств" и "опрометчивости", а также обнаружив полное непонимание страданий Бенни, подвергавшегося долгое время унизительным преследованиям[92]. Вероятно, Бенни так и не получил удовлетворения от польского национального правительства, поскольку он оставался

в Петербурге до визита петербургского представителя ржонда приблизительно 5 месяцев спустя. Об этом посещении и писал Лесков в "Загадочном человеке"

Если перемена в отношении Бенни к польскому восстанию остается весьма загадочной, то она становится еще более непонятной в последние годы его жизни. Последние два года жизни Бенни в России были омрачены не только клеветой, но и финансовыми затруднениями. Лесков помогал ему в поисках переводов, и, когда тот "остался безо всего и <...> у него опять не стало ни кредита, ни платья, ни квартиры <...>", поселил Бенни у себя. "Рано утром,— писал Лесков,— в один весенний день, ночуя у меня в Коломне, против Литовского рынка, Бенни был взят под арест за долг <...>" (III, 365—366). Еще во время его пребывания в долговой тюрьме он был приговорен к трехмесячному заключению и высылке из России навечно "за недоведение до сведения правительства о прибытии в С.-Петербург русского подданного Василия Кельсиева <...> с знанием, что Василий Кельсиев неосужденный государственный преступник"[93].

После изгнания из России Бенни сотрудничал в английских газетах и журналах. Наиболее известной является его статья "Русское общество" ("Russian Society"), напечатанная в "Fortnightly Review "в 1866 г.[94] Эту статью Лесков, не владевший английским, знал достаточно хорошо, чтобы выразить свое одобрение в конце "Загадочного человека" (III, 369). В этой статье Бенни подводил итог своему пятилетнему пребыванию в России и давал остроумную и абсолютно негативную характеристику системе управления страной. Но спустя всего лишь год, как будто еще раз подтверждая своими поступками заглавие посвященного ему очерка "Загадочный человек", Бенни послал через Тургенева и П.В.Анненкова начальнику жандармерии графу П.А.Шувалову письмо, в котором умолял позволить ему возвратиться в Россию и дать возможность "стать истинным и преданным подданным русского царя <...> полезным членом великой русской семьи"[95].

Что заставило Бенни написать это всего через год после того, как вышла его статья "Русское общество"? Возможно, его вдохновлял пример близкого друга Василия Кельсиева, который в мае 1867 г. сдался русским властям, был прощен и спустя 2 месяца полностью восстановлен в гражданстве после того, как Александр II прочел его "Исповедь"[96]. Но если Лесков был прав, утверждая, что в конце 1863 г. Бенни отказался присоединиться к польскому восстанию, поскольку "сочувствует революции международной — социалистической", тогда как же можно понять письмо, которое четыре года спустя Бенни написал Александру II, в период жестокой реакции? Возможно, здесь надо искать личные, а не политические причины. Действительно, Бенни не был эмигрантом: он покинул Россию не по собственному желанию, а был выслан. Несомненно, политическая система России не вызывала у него симпатий, но его дружеские связи в Петербурге были для него, вероятно, важнее, чем польские корни и английские знакомства.

В "Загадочном человеке" Лесков дважды упомянул о дневнике и бумагах, оставшихся после смерти Бенни. «Гораздо большее, вероятно,— писал он,— будет раскрыто в другую пору дневником Бенни и его бумагами, а пока это сделается удобным (что, конечно, случится не при нашей жизни), человека, о котором мы говорим, можно укорить в легкомысленности, но надо верить ручательству Ивана Сергеевича Тургенева, что "*Артур Бенни был человек честный*" <...>» (III, 356, 374). У нас нет сведений о судьбе этих бумаг. Может быть, Бенни взял их с собой за границу, и в этом случае они должны были остаться после его смерти у Марии Николаевны Коптевой (прототип Лизы Бахаревой в "Некуда"), в которую Бенни влюбился в Петербурге и на которой женился в изгнании. Если эти бумаги и дневник когда-нибудь будут найдены, они, наверное, хоть частично помогут разгадать "Загадочного человека"

Тургенев писал Анненкову 9(21) октября 1867 г. о Бенни: "Он возбудил во мне искреннее участие своим нелицемерным желанием загладить свои прошлые, в сущности неважные юношеские увлечения — действительным и усердным служением России, которую одну он признает своим отечеством и вне которой ему решительно не живется. Милость, оказанная нашим добрым царем Кельсиеву,— тем более ободрила Бенни и возбудила в нем надежду, что главное обвинение против него состояло в недоведении до сведения правительства приезда этого самого Кельсиева в Петербург.

Жизнь Бенни действительно тяжела: здешние наши réfugiés[1*] и поляки отворачиваются от него с негодованием — да и он сам избегает их — не имея уже ничего с ними общего,— а доступ в Россию ему запрещен"[97].

В это письмо Тургенева было вложено прошение Бенни, адресованное графу П.А.Шувалову (об этом прошении Лесков упоминал в "Загадочном человеке" — см.: III, 380), на котором Шувалов наложил резолюцию: "повременить впредь до востребования"[98]. Спустя пять недель (28 декабря 1867/9 января 1868 г.) Бенни умер от смертельной раны, полученной в битве у Ментаны в Италии между гарибальдийцами и войсками папы. В то время Бенни работал журналистом в одной английской газете (см.: III, 374—379).

Лесков высоко ценил прекрасные качества Бенни и навсегда остался его преданным другом. Однако при создании "Загадочного человека" писатель явно испытывал смешанные чувства. Он осознавал тщетность мечтаний Бенни. Вместе с тем Лесков писал это произведение и для того, чтобы свести счеты с некоторыми своими противниками. И все же писатель добился главного — он сумел развеять облако подозрений, окружавшее Бенни с первых месяцев его жизни в России. Если, как мы пытались доказать здесь, Лесков действительно был одним из соавторов "Русской правды", этот до сих пор неизвестный факт проливает свет на одну из самых загадочных страниц его творческой биографии.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 О взаимоотношениях Лескова с А.И.Ничипоренко см. также во второй книге наст. тома третий раздел статьи В.А.Громова «Лесков — сотрудник артельного журнала "Век"». Об И.В.Вернадском и его месте в жизни писателя см.: *Жизнь Лескова.* Т. 1. С. 195—197.

2 Дата отъезда Ничипоренко в Европу устанавливается по письму И.А.Ашмарина к Н.М.Владимирову (см. о них далее) от 29 апреля 1862 г., где сообщается, что Ничипоренко уехал в Пасхальную субботу, которая в 1862 г. приходилась на 7 апреля (см.: *ГАРФ.* Ф. 112. Оп. 1. Д. 51. Л. 159).

3 Незагадочный писатель // *ВЕ.* 1871. № 4. С. 901. Авторство устанавливается на основании того, что в 1869—1872 гг. А.С.Суворин рецензировал книги в "Вестнике Европы", а ранее хорошо знал Лескова (статья "Незагадочный писатель" принадлежит перу человека, явно знакомого с Лесковым лично). Подробнее об отношениях Лескова и Суворина см.: *Майорова О.Е.* К истории пожизненного диалога. (Из переписки Н.С.Лескова с А.С.Сувориным) // Новое литературное обозрение. 1993. № 4.

4 Мария Николаевна *Вернадская* (урожд. Шигаева), жена И.В.Вернадского и первая русская женщина — автор статей по политической экономии, умерла в Гейдельберге 1 октября 1860 г.

5 *ГАРФ.* Ф. 112. Оп. 1. Д. 58. Л. 32.

6 См.: *Лесков Н.С.* Письмо из Петербурга // Русская речь. 1861. 4 мая. С. 532.

7 *ГАРФ.* Ф. 112. Оп. 1. Д. 53. Л. 58.

8 *ЛН.* Т. 41—42. С. 310.

9 *ГАРФ.* Ф. 112. Оп. 1. Д. 53. Л. 57, 60.

10 *ЛН.* Т. 62. С. 105—109, 114—118.

11 Там же. С. 121.

12 Там же.

13 *ГАРФ.* Ф. 112. Оп. 1. Д. 53. Л. 58—60.

14 *Герцен.* Т. XI. С. 330, 331.

15 *Щапов А.П.* Русский раскол старообрядства. Казань, 1858.

16 См. предисловие Кельсиева к "Сборнику правительственных сведений о раскольниках" (Лондон. 1860—1862. Вып. 1—4).

17 *Лемке М.К.* Очерки освободительного движения шестидесятых годов. СПб., 1908. С. 68.

18 *Кельсиев В.И.* Рецензия на "Загадочного человека" // Заря. 1871. № 6. С. 4. (пагинация 2-я).

19 Последние годы Кельсиева тоже были полны драматизма. Весной 1862 г. он отправился в Петербург и Москву с турецким паспортом на имя Василия Яни, чтобы установить контакты со старообрядцами и вовлечь их в революционное движение. Нет ничего удивительного в том, что эта попытка не удалась. Поражает, однако, что, пробыв более пяти недель в России, Кельсиев благополучно вернулся в Лондон, причем власти так и не установили его личность и цель поездки. В конце 1862 г. он поехал на Балканы и провел там два года, тщетно пытаясь создать

[1*] беженцы, эмигранты (*франц.*)

революционный центр в среде русских старообрядцев, живших в изгнании в Турции и Румынии. Наконец после восьми лет эмиграции, смерти детей, жены и брата Ивана Кельсиев остался в полном одиночестве. В мае 1867 г. в Бессарабии он сдался русским пограничным властям, поскольку еще с 1862 г. он считался "неосужденным государственным преступником" (*Лемке М.К.* Указ. соч. С. 222). В ожидании наказания Кельсиев написал автобиографическую "Исповедь", где сумел честно рассказать о себе и избежал малейшей компрометации других лиц (см.: *Кельсиев В.И.* Исповедь // *ЛН*. Т. 41—42. С. 253—470).

20 Наиболее авторитетные работы о жизни Бенни: *Рейсер С.А.* Артур Бенни. М., 1933; *McLean, Hugh.* Leskov and his Enigmatic Man // Harvard Slavic Studies. "S-Gravenhage" Mouton and C°. Vol. IV. 1957.— Приведенные нами сведения взяты из этих двух источников, а также из материалов "процесса 32-х" (*ГАРФ*. Ф. 112. Оп. 1б. Л. 50—69).

21 *Волынский А.Л.* Н.С.Лесков. СПб., 1923. С. 196.

22 *ГАРФ*. Ф. 112. Оп. 1б. Д. 53. Л. 119.

23 Там же. Оп. 1. Д. 53. Л. 120. См. также: письмо А.И.Герцена к Н.А.Герцен и М.К.Рейхель от 6 июля (24 июня) 1860 г. // *Герцен*. Т. XXVII. Кн. 1. С. 74.

24 Письмо к П.В.Долгорукову от 18(6) декабря 1860 г. // Там же. С. 121.

25 Письмо от 28 декабря 1860 (9 января 1861 г.) // *Тургенев. Письма*. Т. 4. С. 176.

26 *Волынский А.Л.* Указ. соч. С. 201.

27 Там же. С. 199.

28 *ГАРФ*. Ф. 112. Оп. 1. Д. 53. Л. 112.

29 *Кельсиев В.И.* Рецензия на "Загадочного человека" // Заря. 1871. № 6. С. 5, 7—10 (пагинация 2-я).

30 Там же. С. 8.

31 Там же. С. 8—9 (2-я пагинация).

32 *ГАРФ*. Ф. 112. Оп. 1. Д. 53. Л. 59, 412.

33 *Рейсер С.* Новые материалы о Бенни // Каторга и ссылка. 1931. № 2 (75). С. 140.

34 *ЛН*. Т. 41—42. С. 310.

35 Заря. 1871. № 6. С. 19 (пагинация 2-я).

36 См. "Автобиографическую заметку" писателя (XI, 17); *Жизнь Лескова*. Т. 1. С. 195—196; а также письмо А.С.Суворина от 6 июля 1861 г. к М.Ф.Де-Пуле // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981. С. 128.

37 *ГАРФ*. Ф. 112. Оп. 1. Д. 53.

38 *Тургенев. Письма*. Т. 4. С. 290.

39 *ЛН*. Т. 41—42. С. 310.

40 Князь Петр Владимирович *Долгоруков* (1816—1868) — приверженец конституционной монархии. В 1860—1862 гг. напечатал различные варианты своего обращения к Александру II, где предлагал ввести в России двухпалатную законодательную власть, отмену телесных наказаний, равенство всех перед законом, прекращение арестов и задержаний без суда, уравнение в правах представителей различных конфессий, отмену цензуры, свободу эмиграции. Полный текст предлагаемой им конституции был напечатан в его статье, написанной для французского журнала "Le Véridique" Копия этой статьи была найдена при обыске квартиры Н.А.Серно-Соловьевича после его ареста 7 июля 1862 г. (см.: *ГАРФ*. Ф. 112. Оп. 1. Д. 54. Л. 19—20).

41 *Герцен*. Т. XXVII. Кн. 1. С. 194.

42 См.: *Тургенев. Письма*. Т. 4. С. 393—395, 648—652, 717.

43 И.С.Тургенев в воспоминаниях революционных семидесятников. М., 1930. С. 18. (Впервые: Вестник народной воли. 1884. № 2).

44 Заря. 1871. № 6. С. 19 (пагинация 2-я).

45 *ГАРФ*. Ф. 112. Оп. 1. Д. 53. Л. 122.

46 *ЛН*. Т. 62. С. 24.

47 *Герцен*. Т. XXVII. Кн. 1. С. 201.

48 Там же.

49 *ГАРФ*. Ф. 112. Оп. 1. Д. 52. Л. 30.

50 *Герцен*. Т. XXVII. Кн. 1. С. 202—203.

51 Цит. по: *Рейсер С.* Указ. соч. С. 138.

52 *ГАРФ*. Ф. 112. Оп. 1. Д. 52. Л. 142.

53 Там же. Л. 412.

54 Приведем одну из них, написанную на бланке газеты "Русский инвалид", где Бенни сотрудничал в отделе иностранных новостей после возвращения в Петербург:

«Среда, вечером <5 января 1862 г.>

Любезный мсье Владимиров,— я слышал сегодня от г. Ничипоренки, что, не находя здесь для себя занятия, Вы думаете уехать куда-то. О безрассудности такого намерения с Вашей стороны говорить нечего; но так как одни добрые советы и сожаления Вам очень мало помогут, то я сделаю Вам с большим удовольствием следующее предложение: не хотите ли Вы взять на себя переводы на русский с английского газет и журналов для "Инвалида"? Условия те, чтобы Вы приходили сюда, в редакцию, ежедневно, в 10 ч. утра и работали здесь до 12 или часу (остальную работу Вы

можете взять на ночь на дом, с тем, чтобы ее доставить на другой день). Плата за перевод 1 $\frac{1}{2}$ коп. со строки, а за компиляцию 2 $\frac{1}{2}$ коп.

Так как выбор переводчика от меня зависит, то я был бы чрезвычайно рад, если бы мог этим быть Вам как-нибудь полезным. Если можете, то потрудитесь зайти ко мне завтра вечером; я до того времени постараюсь поговорить с полковником Писаревским (т.е. издателем газеты Н.Г.Писаревским.— *В.Э.*)

Ваш А.Бенни»

(*Лемке М.К.* Указ. соч. С. 69). Дата письма установлена нами следующим образом: Владимиров признался на следствии, что прибыл в Петербург 3 декабря 1861 г., а 7 или 8-го числа пошел на встречу с Бенни (см. *ГАРФ*. Ф. 112. Оп. 1. Д. 52. Л. 142). Когда Бенни писал это письмо ("среда, вечером"), прошло уже достаточно много времени с тех пор, как Владимиров начал искать работу в Петербурге: он уже собирался снова покинуть Россию. Во втором письме к Владимирову, датированном "Воскресенье, ночью", Бенни извинялся, что задержался с ответом на письмо Владимирова от "11-го этого месяца" Речь не могла идти об 11 декабря, поскольку Владимиров приехал в Петербург лишь восемью днями раньше. Следовательно, "11-е" могло относиться только к январю, поскольку 7(19) февраля Бенни сообщал Кельсиеву, что ушел из "Русского инвалида" в "Северную пчелу" Таким образом, письмо Владимирова было написано 11 января. Вероятно, оно было ответом на то письмо, которое Бенни написал в "среду вечером" Среда перед 11 января — это 5-е число. Следовательно, первое письмо Бенни написал 5 января. Его второе письмо, датированное "Воскресенье, ночью", в котором содержатся извинения за задержанный ответ, было написано в следующее воскресенье, 16 января 1862 г.

55 *ГАРФ*. Ф. 112. Оп. 1. Д. 53. Л. 123.

56 *ЛН*. Т. 62. С. 24.

57 Там же. С. 26.

58 Там же. С. 36.

59 *Лемке М.К.* Указ. соч. С. 441—444.

60 Лемке назвал эти прокламации "очень большой библиографической редкостью" Насколько широкое распространение получила "Русская правда", в настоящее время неясно. До нас дошли документы, свидетельствующие о хождении "Русской правды" только на территории Польши. "Русская правда", № 1, где местом и датой выпуска указаны "г. Петербург, 15 марта 1862 г.", попала в Краков в апреле, и о ней писала краковская газета "Czas" (№ 97; 1862. 27 апр.), где полностью приводится довольно большой параграф из этой прокламации. Нелегальная польская газета "Strażnica" (№ 7, 1862. 16/4 апр.) приветствовала "Русскую правду" следующими словами: «Уже третье из русских независимых изданий поставило освобождение Польши в ряду задач будущей свободной, антицарской России: "Колокол", "Великорусс", а теперь "Русская правда" <...> Мы полностью согласны со взглядами "Русской правды" Хорошо зная, что царь — это вечное рабство для России, мы подаем ей руку для борьбы с ним, ожидая сильной агитации, а затем и революции в самой России как момента, когда мы соединимся с ней на поле вооруженной борьбы» (Русско-польские революционные связи. Współpraca rewolucyjna polsko-rosyjska. Т. 1. Восстание 1863 г. Материалы и документы. Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty. Москва — Wrocław, 1963. С. 137).

Приведем сведения о распространении "Русской правды" в армии: «Прокламация "Русская правда" № 1 и 2 распространялась долго и на сравнительно большой территории. Первые донесения о появлении "Русской правды" датированы первой половиной апреля, последние — двадцатыми числами июня 1862 г. Донесения поступали: из Олонецкого, Ладожского, Белозерского, Вологодского, Шлиссельбургского, Нижегородского, Полоцкого, Витебского, Эстляндского пехотных полков, из 6 и 7-го стрелковых батальонов, 7-й полевой и 3-й парковой артиллерийских бригад, 10-го Донского казачьего полка и ряда других частей. В район расквартирования этих частей, кроме Варшавы, входили: Томашов, Красностав, Люблин, Петрков, Калиш, Ченстохов и др. В штаб 1 армии было представлено свыше 30 экз. прокламаций. Судя по донесениям, они рассылались по почте, разбрасывались на улицах, на территории лагерей, в казармах, в местах общественного пользования» (Там же. С. 399). В конце мая 1862 г. три офицера русской армии, находившейся в то время на территории Польши, послали в штаб армии, в Варшаву, копии "Русской правды", изъятые у солдат своих подразделений. Один из этих офицеров, начальник штаба генерал-лейтенант К.Ф.Шейдеман, 29 мая 1862 г. докладывал, что в его частях был обнаружен второй номер "Русской правды", датированный 15 апреля 1862 г., вместе с прокламацией "Русским войскам в Польше" (Там же. С. 400). Интересен до сих пор не замеченный факт — обе прокламации написаны явно одним и тем же почерком. (Ср. факсимиле; Там же. С. 141, 388).

61 Там же. С. 134—140.

62 Точная дата возвращения Ничипоренко в Петербург после его путешествия с Бенни не установлена, но по его формулярному списку (*ГАРФ*. Ф. 112. Оп. 1. Д. 53 б. Л. 317 и следующие) известно, что, бывши в отставке с 10 ноября по 27 декабря 1861 г. "без награждения чином", он был "приказом господина министра финансов, 18 января 1862 года <...> определен в Департамент податей и сборов с причислением к оному с 1861, декабря 27"

[63] Дата устанавливается по письму А.С.Суворина к М.Ф.Де-Пуле от 29 ноября 1861 г. — Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. С. 160, а также и по газете "Северная пчела" (1862, № 1).

[64] *ЛН.* Т. 62. С. 27—28.

[65] См. *Чуковский К.* История Слепцовской коммуны // Чуковский К. Собр. соч.: В 6 тт. М., 1969. Т. 5. С. 302—303, 329—331.

[66] *Лесков Н.С.* Русские деятели в Остзейском крае // *ИВ.* 1883. № 12. С. 509.

[67] *Козьмин Б.П.* Из истории революционной мысли в России. Избранные труды. М., 1961. С. 70—71. Подробнее о реорганизации журнала и составе его обновленной редакции см. во второй книге наст. тома статью В.А.Громова «Лесков — сотрудник артельного журнала "Век"».

[68] *Линков Я.И.* Революционная борьба А.И.Герцена и Н.П.Огарева и тайное общество "Земля и воля" 1860-х годов. М., 1964. С. 245.

[69] *ЛН.* Т. 41—42. С. 310—311.

[70] *ГАРФ.* Ф. 112. Оп. 1. Д. 56. Л. 317.

[71] Там же. Д. 51. Л. 159.

[72] *Лемке М.К.* Указ. соч. С. 86.

[73] Там же. С. 88—92.

[74] Там же. С. 109—110.

[75] Там же. С. 19.

[76] *Тургенев. Письма.* Т. 5. С. 95.

[77] *ЛН.* Т. 41—42. С. 59.

[78] Слова, приписанные Ничипоренко Лесковым, в деле о "процессе 32-х" не обнаружены.

[79] *Лесков Н.С.* Русские деятели в Остзейском крае. С. 509—510.

[80] Валескалн П.И. Революционный демократ Петр Давидович Баллод. Рига, 1957. С. 5—10, 44—88.

[81] Там же. С. 42—43.

[82] *Козьмин Б.П.* Указ. соч. С. 222.

[83] В своей до настоящего времени неопубликованной работе "Письма Лескова и к Лескову" покойный С.П.Шестериков предполагал, что прототипом Персиянцева был И.И.Кельсиев. Аналогичное предположение было выдвинуто американским ученым Хью Маклейном, убедительно аргументировавшим это в своей докторской диссертации "Studies on the Life and Art of Leskov" (Harvard University. 1956. P. 266—278). К его аргументам позволю себе прибавить еще один: несомненно, фамилия Персиянцев пришла на ум Лескову по ассоциации с Персией и Турцией, куда после побега из московской тюрьмы уехал Кельсиев. Кстати, следует отметить то, что перед следственной комиссией И.И.Кельсиев сознался в том, что Лесков познакомил его с графиней Салиас (Политические процессы шестидесятых годов. Вып. 1. Материал подготовлен к печати В.П.Алексеевым под ред. Б.П.Козьмина. М.—Пг., 1923. С. 120).

Шестериков умозрительно заключил, что прототипом Арапова был П.Г.Заичневский, а, по мнению Маклейна, это был, вероятно, Д.П.Евреинов. Я полагаю, что Лесков вообще не имел прототипа Арапова. Более вероятно, что Арапов был обобщающим типом, представляющим собой руководящую силу кружка Аргиропуло и Заичневского. Тем не менее существует до сих пор не замеченная связь между Араповым и Аргиропуло. Как известно, Перикл Эммануилович *Аргиропуло* (1839—1862), по происхождению грек, ребенком приехал в Россию. Во второй главе второй книги "Некуда" (II, 373) Лесков писал: «Квартира Арапова сделалась местом сходок всех наших знакомых. Там кипела деятельность. По другим местам тоже часто бывали собрания; у маркизы были "эписпастики" — как Арапов называл собрания, продолжавшиеся у ней». Как можно объяснить появление этого чисто греческого слова "эписпастики" в речи Арапова, вышедшей из-под пера Лескова? Следует отметить, что Аргиропуло был арестован в Москве лишь 22 июля 1861 г., за несколько недель до приезда Лескова. Принимая во внимание то, что Е.А.Салиас называл его в числе "моих товарищей, главных бунтарей" (*Салиас-де-Турнемир Е.А.* Семь арестов. (Из воспоминаний) // *ИВ.* 1898. № 2. С. 486), весьма вероятно, что Лесков познакомился с ним в доме графини Салиас. Следует также обратить внимание и еще на одну ассоциацию: Аргиропуло — "грек", а Арапов — "темнокожий иностранец"

Вопрос о прототипе Бычкова остается без ответа. Однако Шестериков, ссылаясь на проф. Е.А.Боброва (Семинарии повышенного научно-исследовательского типа по истории литературы. Ростов-на-Дону, 1928. С. 7; Известия Северо-Кавказского гос. университета. 1928. Т. III (XVI). С. 22), был убежден, что прототипом Бычкова был А.А.Козлов.

[84] Время описанных событий датируется благодаря следующему эпизоду:

"Прискакал какой-то верховой: ударили в барабан.

— Подводчики, к командиру! — раздалось по лагерю.— Воля вам с землею от царя пришла. Ступай все, сейчас будут читать про волю" (II, 661).

Имелся в виду декрет Александра II от 19 февраля 1864 г., отменявший крепостное право в Царстве Польском и передававший землю крестьянам.

[85] *ЛН.* Т. 62. С. 34.

[86] *ГАРФ.* Ф. 112. Оп. 1. Д. 56. Л. 258.

[87] Там же. Л. 8.
[88] См.: *Герцен А.И.* Полн. собр. соч. и писем / Под. ред. М.К.Лемке. Пб., 1920. Т. 15. С. 410.
[89] *ГАРФ*. Ф. 112. Оп. 1. Д. 56. Л. 102.
[90] ЛН. Т. 62. С. 32.
[91] Там же. С. 35.
[92] См.: *Герцен*. Т. XXVII. Кн. 1. С. 333.
[93] *Лемке М.К.* Указ. соч. С. 222.
[94] Статья Бенни перепечатана в русском переводе С.А.Рейсером в его кн.: Артур Бенни. С. 93—113.
[95] *Герцен А.И.* Полн. собр. соч. и писем / Под ред. М.К.Лемке. Т. 15. С. 415.
[96] *ЛН*. Т. 41—42. С. 259.
[97] *Тургенев. Письма*. Т. 6. С. 326—327.
[98] *Герцен А.И.* Полн. собр. соч. и писем / Под ред. М.К.Лемке. Т. 15. С. 417.

ГЕРОИ "КАДЕТСКОГО МОНАСТЫРЯ"
(О ПРОТОТИПАХ И ИХ СУДЬБАХ)

Сообщение А.А.Михайлова

Первый из "четырех праведных людей" (VI, 315), которых Лесков описал в рассказе "Кадетский монастырь" (1880),— генерал-майор Михаил Степанович Перский, занимавший с 1820 по 1832 г. должность директора 1-го кадетского корпуса. В мемуарах воспитанников корпуса (К.Зенденгорста, М.Я.Ольшевского, М.И.Пущина, А.Е.Розена) ему уделялось много внимания, причем их отзывы были исключительно положительными[1] и во многом совпадали с тем образом М.С.Перского, который создал Лесков. Однако и автор "Кадетского монастыря", и большинство мемуаристов крайне скупо писали о жизни Перского до его службы в 1-м кадетском корпусе. Между тем некоторые факты заслуживают внимания, поскольку объясняют многие особенности характера будущего "игумена" "кадетского монастыря"

Биографические данные о М.С.Перском содержатся в его формулярном списке, хранящемся в Российском государственном военно-историческом архиве (фонд 1-го кадетского корпуса), и в небольшой статье о нем в "Русском биографическом словаре"[2].

Михаил Степанович Перский родился 18 июня 1776 г., происходил из старинного дворянского рода. Образование он получил в Сухопутном Шляхетском корпусе, позже переименованном в Первый кадетский. Лесков, таким образом, справедливо отмечал, что Перский был "из воспитанников лучшего времени Первого же корпуса" (VI, 317).

Это упоминание о "лучшем времени" не случайно. В пору учения Перского директором корпуса был дальний родственник Екатерины II граф Ф.Е.Ангальт (1732—1794). А.В.Висковатов в "Краткой истории Первого кадетского корпуса" дал ему следующую характеристику: "Знатный вельможа сей совершенно посвятил себя воспитанию кадет, обходился с ними как отец попечительный, наставлял их как мудрец опытный и умел действовать на все их чувства"[3]. В основе педагогических взглядов Ф.Е.Ангальта лежало убеждение, что "человек от природы имеет склонность к добру"[4]. От своих подчиненных директор требовал уважения к личности воспитанника и крайне неодобрительно относился к телесным наказаниям. По воспоминаниям современников, Ангальт был также человеком редкого, граничащего с аскетизмом бескорыстия и тратил на благоустройство корпуса значительную часть собственного жалования[5]. Эти черты личности директора Сухопутного Шляхетского корпуса повлияли, очевидно, на мировоззрение Перского, что отмечалось и некоторыми мемуаристами[6].

По окончании корпуса в 1793 г. Перский был произведен в подпоручики и зачислен в Софийский пехотный полк, из которого в 1794 г. перешел в 4-й батальон Финляндского егерского корпуса. Еще год спустя, в мае 1795 г., он был определен дежурным офицером в 1-й кадетский корпус. Однако уже через четыре года (март 1799) его служба в учебном заведении была прервана в связи с назначением адъютантом к генералу от кавалерии В.Х.Дерфельдену. В этой должности Михаил Степанович принял участие в Итальянском походе А.В.Суворова, причем за мужество, проявленное в ряде сражений, он был награжден орденами св. Анны 2-й и 4-й степени[7]. В конце 1799 г. Перский в звании капитана вернулся в 1-й кадетский корпус

и более не покидал этого места службы, вплоть до самой смерти в 1832 г. С 1806 г. он занимал должность инспектора классов, с 1815 г. — батальонного командира, а с 1820 г. — директора[8].

Как уже отмечалось, почти все мемуаристы из числа воспитанников 1-го кадетского корпуса отзывались о Перском с уважением и симпатией. А.Е.Розен писал: "Душою управления и обучения в корпусе был инспектор классов полковник, флигель-адъютант Михаил Степанович Перский, который соединил в себе все условия образованного и способного человека по всем отраслям государственной службы"[9]. К.Зенденгорст отмечал, что "ласковое обращение с воспитанниками, неусыпные труды и заботы об умственном нашем образовании приобрели М.С.Перскому всеобщее уважение и искреннюю признательность кадет"[10]. "Михаил Степанович,— вспоминал М.Я.Ольшевский,— был умен, образован, деятелен, ласков, приветлив, красив собою"[11]. Единственным исключением из отзывов о Перском являются воспоминания князя Г.А.Абашидзе, носящие хотя и не враждебный, но не хвалебный, как другие, а безразлично-равнодушный характер, что могло объясняться некоторыми обстоятельствами определения автора в корпус (обвинение его отца в заговоре, разлука с семьей и переезд мальчика с Кавказа в Петербург)[12].

Опираясь в "Кадетском монастыре" на неопубликованные воспоминания Г.Д.Похитонова, Лесков особенное внимание уделял таким чертам личности Перского, как гуманное отношение к детям, прекрасное образование и постоянное внимание к учебной работе в корпусе, честность и преданность директора своим питомцам. Все эти качества Михаила Степановича подтверждаются, как видно, множеством мемуарных свидетельств.

В те времена, когда, по словам генерала А.Ф.Петрушевского, считалось, что "проще, лучше и специфичнее розги невозможно найти в педагогическом музее никакого средства"[13], Перский выступил как решительный противник телесных наказаний. Эта позиция производила тем более сильное впечатление на современников, что она резко контрастировала со взглядами непосредственного начальника Перского генерал-лейтенанта Ф.М.Клингера, занимавшего с 1801 по 1820 г. пост директора корпуса и отличавшегося жестокостью[14]. При этом наказания (розги, заключение в карцер, лишение обеда или ужина, ношение позорной солдатской куртки и др.) налагались Ф.М.Клингером не только за собственно дисциплинарные проступки, но и за плохую учебу.

Заняв пост директора, Перский отменил практику наказаний за неуспеваемость, хотя полностью исключить суровые взыскания не мог. Лесков, опираясь на свидетельства Г.Д.Похитонова, писал в "Кадетском монастыре": "Перский *исключительно* занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказания за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил" (VI, 319). "Сечение" в корпусе практиковалось, "но не за науки, а только за фронт и дисциплину, от заведования коими Перский, как сказано, устранялся, вероятно, потому, что нельзя было, по тогдашнему обычаю, обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны" (VI, 320)[15].

Подробное описание жестоких наказаний, применявшихся в корпусе, содержится в рассказе Лескова "Кадетский малолеток в старости"[16], и это описание подтверждается рядом мемуарных свидетельств. Что же касается нежелания директора корпуса заниматься "фронтовой частью", то о нем, кроме Похитонова (и вслед за ним — Лескова), упоминал М.Я.Ольшевский, причем давал этому несколько иное объяснение: "Может быть, нелюбовь Михаила Степановича к фронтовому образованию происходила и от того, что оно отнимало много времени у кадет на изучение тех тонкостей строя, которые начались требоваться от них со вступлением на престол императора Николая I, и в особенности с назначением главным начальником всех военно-учебных заведений великого князя Михаила Павловича"[17].

Все мемуаристы единодушно отмечали заинтересованность Перского ходом учебных занятий. Рассказ Лескова о предпринимавшихся директором регулярных обходах классов и посещении уроков подтверждается свидетельствами М.И.Пущина, А.Е.Розена, М.Я.Ольшевского, К.Зенденгорста. Подобное внимание к повседневной жизни учебного заведения было свойственно большинству директоров кадетских корпусов. Об этом свидетельствуют характеристики, даваемые К.Зенденгорстом и

А.Е.Розеном предшественнику Перского Ф.М.Клингеру и М.Я.Ольшевским — П.П.Годеину, возглавлявшему корпус с 1832 г.[18].

Столь же единодушно мемуаристы писали о высокой честности Перского. Лесков, следуя воспоминаниям Г.Д.Похитонова, отмечал, что даже отсутствие у Перского семьи кадеты объясняли любовью директора к воспитанникам: "Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость" (VI, 319). Холостое положение Перского подчеркивал и М.Я.Ольшевский. Хотя он не давал этому факту прямого истолкования, очень показательно само противопоставление "бессребреника" Перского сменившему его П.П.Годеину, который "был семейный и должен был расходовать значительное количество денег на содержание своего красивого сына, служившего в лейб-гусарах"[19]. Очень интересно в этом отношении и не вошедшее в рассказ Лескова упоминание Похитонова о том, что Перский не взимал оброка с принадлежавших ему крепостных крестьян[20].

Защищая интересы кадетов, Перский безбоязненно вступал в конфликты с людьми самого высокого положения. Лесков пересказывал, опираясь на воспоминания Похитонова, смелые ответы Перского императору Николаю I (который был разгневан тем, что воспитанники корпуса оказали помощь раненным участникам восстания 14 декабря 1825 г.) и описывал его столкновение с назначенным в 1826 г. Главным директором Пажеского и кадетских корпусов Н.И.Демидовым (см.: VI, 323—325).

Назначение Н.И.Демидова не было случайным: встревоженный событиями декабря 1825 г., Николай I видел в новом Главном директоре человека, способного найти и покарать "неблагонадежных" воспитанников военно-учебных заведений, и снабдил его соответствующими инструкциями. Одним из первых мероприятий Демидова было описанное в "Кадетском монастыре" исключение тех воспитанников старшего возраста, которые имели низкие баллы за поведение, и перевод их унтер-офицерами в армейские части. Перский попытался воспротивиться чрезмерно суровому, по его мнению, решению, но безуспешно. У Похитонова завершение спора Демидова с Перским описано следующим образом: "На это воля Государя,— сказал Демидов.

— Тогда,— отвечал Перский,— не надо собирать Совет, а объявить Высочайшее повеление для исполнения"[21]. Лесков передал этот же диалог несколько иначе:

"— Нам об этом не следует рассуждать, а должно только исполнить.

— А! в таком случае не для чего было собирать совет,— отвечал Перский.— Вы бы изволили так сказать сначала, и что приказано, то должно быть исполнено" (VI, 325).

В изложении Похитонова Перский открыто выражает свое несогласие с императором. Возможно, Лесков смягчил слова Перского из цензурных соображений. Ни К.Зенденгорст, ни А.Е.Розен, ни М.И.Пущин о заступничестве Перского за исключаемых кадетов не упоминали. М.Я.Ольшевский отмечал, что директор 1-го кадетского корпуса вообще старался не допускать увольнения до полного окончания курса. Однако он объяснял это не тревогой за судьбу воспитанников, а "нежеланием выносить сор из избы" и считал недостатком в педагогической деятельности Перского, ибо "каждый застарелый лентяй, безнравственный восьмидесяти вершков верзила понимал, что он будет офицером, пожалуй, какого-нибудь гарнизонного батальона <...>"[22].

Михаил Степанович Перский скончался 2 ноября 1832 г. и был погребен в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. Составленное законоучителем 1-го кадетского корпуса Николаем Раевским "Надгробное слово генерал-лейтенанту М.С.Перскому" было напечатано в том же году отдельной брошюрой.

* * *

Характеристика, данная Лесковым другому "праведнику" "Кадетского монастыря", эконому Андрею Петровичу Боброву, также совпадает с отзывами большинства мемуаристов. "Я ставлю его *вторым* только по подчиненности,— писал Лесков,— и потому, что нельзя всех поставить вместе в первых, но по достоинствам души, сердца и характера этот Андрей Петрович был такой же высоко замечательный человек, как сам Перский, и ни в чем не уступал ему, разве только в одной умственной находчивости на ответы. Зато сердцем Бобров был еще теплее" (VI, 329). Среди писем,



ЛЕСКОВ
Фотография, конец 1880-х годов

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

полученных Лесковым после появления в печати "Кадетского монастыря", многие, по его собственному утверждению, были посвящены именно А.П.Боброву и содержали просьбы опубликовать его портрет. Это обстоятельство побудило Лескова написать еще две статьи, специально посвященные эконому корпуса[23].

Как и в случае с Перским, в рассказе "Кадетский монастырь" Лесков ничего не сообщал о службе Боброва до поступления в корпус. Однако в статье "Кадетский малолеток в старости" он отмечал, что Бобров "происходил из простого звания и дослужился до бригадира"[24]. Сходные сведения содержатся в мемуарах К.Зенденгорста: "Андрей Петрович из мелких чиновников дослужился до чина статского советника"[25]. М.Я.Ольшевский писал, что Бобров прошел путь "от писаря до статского советника"[26]. Таким образом, оба мемуариста называли Боброва статским советником (т.е. гражданским чиновником), а, по словам Лескова, он был бригадиром, т.е. военным.

В "Формулярном списке", хранящемся в РГВИА и относящемся к 1820 г., Бобров поименован гражданским чином. Однако, возможно, он был переведен в офице-

ры позднее. В "Формулярном списке" указано также, что Бобров происходил из "солдатских детей"[27]. В 1779 г. он поступил на службу в 1-й кадетский корпус нижним чином. По данным 1785 г. Бобров значится капралом, а по данным 1791 г. — сержантом. В 1797 г. он занял должность помощника полицмейстера корпуса, а в 1804 г. был назначен экономом. Эту должность он исполнял в течение 32 лет, до самой смерти (1836). По замечанию Лескова, Бобров "был *холост*, как и надо по монастырскому уставу <...>" (VI, 329). Сведения эти подтверждаются и данными "Формулярного списка", и мемуаристами[28].

Как в произведениях Лескова, так и в воспоминаниях воспитанников кадетского корпуса отмечалась исключительная честность Боброва. То обстоятельство, что человек, заведовавший всем хозяйством корпуса, не только не посягал на казенные средства, но тратил значительную часть собственного жалования на благоустройство корпуса и помощь кадетам, представлялось современникам невероятным. Общими для большинства мемуаристов стали воспоминания о том, как Бобров кормил арестованных кадетов и одаривал "приданым" выпускников. М.Я.Ольшевский добавляет также, что Бобров "давал приют у себя на квартире и содержал на свой счет" выпускников, которые вышли из корпуса по какой-либо причине не в военную, а в гражданскую службу и еще не нашли вакансии[29].

Эти мотивы широко использованы у Лескова: "...когда посаженных на хлеб, на воду выводили из арестантских на ночлег в роту, Андрей Петрович подстерегал эту процессию, отнимал их у провожатых, забирал к себе в кухню и тут их кормил <...>" (VI, 331—332). И далее: "Он давал всем бедным приданое — серебряные ложки и белье. Каждый выпущенный прапорщик получал от него по три перемены белья, две столовые серебряные ложки, по четыре чайных, восемьдесят четвертой пробы" (VI, 332—333).

Единственное разногласие между большинством мемуаристов и Лесковым сводится к оценке приготовлявшейся в корпусе пищи. Опиравшийся на мемуары Похитонова писатель отмечал, что кормили кадетов "прекрасно и очень сытно" (VI, 331). Однако М.Я.Ольшевский придерживался иного мнения: можно было "приготовлять пищу если не разнообразнее, то вкуснее, чище и опрятнее. Например, чтобы щи были менее кислы и лучший был бы навар, как в щах, так и в супах, да в кашах не попадались бы комья и мочалы, а также не слышалась бы затхлость круп" Однако тут же мемуарист поясняет, что "на отпускаемые казною деньги лучше кормить кадет, как они кормились Бобровым, не было никакой возможности"[30]. Кстати, нежелание Перского вникать в хозяйственную жизнь корпуса М.Я.Ольшевский объяснял, в отличие от Лескова, не тем, что "это было и не нужно при таком экономе, как бригадир Бобров" (VI, 330), а тем, что Перский "не хотел раздражать себя дурною пищею кадет, которую при всем его желании за неимением средств нельзя было улучшить"[31]. Тем не менее и Ольшевский, и другие мемуаристы подчеркивали, что Бобров был очень любим кадетами, видевшими в нем человека "высокой честности и доброты"[32].

А.И.Савельев, сам впоследствии ставший видным военным педагогом, ставил Боброва по силе воздействия на воспитанников рядом с Перским. «Благодаря им,— писал он в заметке в "Педагогическом сборнике" за сентябрь 1900 г.,— развились во мне чувства добра, справедливости и долга, необходимые качества будущего русского гражданина и воина»[33].

* * *

Облик третьего из героев "Кадетского монастыря", корпусного доктора Зеленского, получил меньшее — в сравнении с Перским и Бобровым — отражение в мемуарной литературе. Кроме Похитонова о нем сообщал К.Зенденгорст[34]. Причем ни Лесков, ни кто-либо из мемуаристов не указали имени и отчества Зеленского, что и ввело в заблуждение комментаторов Лескова. В наиболее авторитетном 11-томном собрании сочинений писателя указано, что прототипом этого героя послужил М.С.Зеленский, умерший в 1890 г. (см.: VI, 656). Однако, как следует из его некролога, напечатанного в "Новом времени", Михаил Самуилович Зеленский родился в Крыму 8 октября 1829 г. и, следовательно, в описываемое время не мог занимать пост врача 1-го кадетского корпуса[35].



ОРЕЛ. КУРСКАЯ УЛИЦА. УГОЛ РЕКИ ПЕРЕСЫХАНКИ
Работа неизвестного художника <1920–1930-е годы>. Перо и акварель

Собрание Л.Н.Афонина, Орел



ОРЕЛ. АХТЫНСКАЯ (НИКИТИНСКАЯ) ЦЕРКОВЬ
Работа неизвестного хедожника <1920–1930-е годы>. Перо и акварель

Собрание Л.Н.Афонина, Орел

В фонде 1-го кадетского корпуса в РГВИА хранится "Формулярный список" штаб-лекаря корпуса Федосия Григорьевича Зеленского, датированный 1820 г.[36]. Он родился в 1771 г. Некоторое время учился в Киевской Духовной академии, а в 1788 г. поступил "медико-хирургическим учеником" в Елисаветградский полевой госпиталь. В том же году он был направлен под Очаков, осажденный тогда русскими войсками,— "по множеству там больных и раненых" После этого Ф.Г.Зеленский участвовал в Русско-турецкой войне. С 1792 по 1794 г. он находился в составе русской армии, направленной в Польшу для борьбы с повстанцами. 6 апреля 1794 г. был захвачен в плен. Лишь после взятия Варшавы русскими войсками, в конце 1794 г., он смог вернуться в Россию и в 1795 г. был командирован "для усовершенствования в науках" в Санкт-Петербургский генеральный госпиталь. После этого Зеленский некоторое время служил в Санкт-Петербургском гренадерском полку и в Морском госпитале. В 1799 г. он был принят на службу в 1-й кадетский корпус, где с 1802 г. занимал должность штаб-лекаря. Из "Формулярного списка" видно также, что Зеленский был не холостяком, как сказано у Лескова, а бездетным вдовцом. Это подтверждается и свидетельством К.Зенденгорста, вспоминавшего, что Зеленский скорбел "о потере нежно любимой им жены"[37].

В оценке этого "*третьего* постоянного инока" (VI, 334) "Кадетского монастыря" и Лесков, и мемуаристы вполне единодушны. "Зеленский,— писал К.Зенденгорст,— был очень добрый человек и любил кадетов, когда бывали труднобольные, то он находился в лазарете почти безвыходно, оказывая им всевозможные медицинские пособия, дабы облегчить их страдания"[38]. Те же подробности приводил и Лесков: "...он всегда был при больных. В день несколько раз обойдет, а кроме того еще навернется иногда невзначай и ночью. Если же случался труднобольной кадет, так Зеленский и вовсе его не оставлял — тут и отдыхал возле больного на соседней койке" (VI, 335).

* * *

Кроме трех "коренных старцев <...> кадетского скита" Лесков нарисовал в рассказе яркий портрет еще одного праведника — архимандрита, выполнявшего в корпусе обязанности законоучителя. Этот персонаж не назван по имени: «Решительно не могу вспомнить его имени, потому что мы звали их просто "отец архимандрит", а справиться о его имени теперь трудно» (VI, 342). Но в "Прибавлении к рассказу о кадетском монастыре" писатель уточнял, что это был "архимандрит Ириней, впоследствии епископ, архиерействовавший в Сибири и перессорившийся там с гражданскими властями, а потом скончавшийся в помрачении рассудка" (VI, 350).

Ириней, архиепископ Иркутский, Нерчинский и Якутский (в миру Иван Гаврилович Нестерович) в 1-м кадетском корпусе служил всего 2 года — с 1824 по 1826[39]. Он родился 25 января 1783 г. в селе Старые Дмитрушки под Уманью, в семье священника. По окончании Киевской Духовной академии (1805) был оставлен в этом учебном заведении учителем латинского языка; затем преподавал в Кишиневской семинарии. В 1813 г. он постригся и принял в монашестве имя Ириней. В 1817 г. он стал архимандритом и возглавил семинарию в Кишиневе. В это же время, по просьбе М.С.Воронцова, Ириней взял на себя руководство ланкастерскими школами взаимного обучения.

По установившемуся с 1804 г. порядку, в 1-м кадетском корпусе не было постоянного законоучителя. Эти обязанности исполняли архимандриты, приезжавшие в Петербург "для совершения чреды священнослужения"[40]. В 1824 г. такое назначение получил Ириней. Тогда и произошло описанное Лесковым столкновение архимандрита с Н.И.Демидовым.

Генерал Демидов, "большой ханжа", по словам Лескова, в религии был "суевер и невежда" Отличался он, кроме того, жестоким обращением с подчиненными. "Архимандрит же был христианин в другом роде, и притом <...> он был умен и образован" (VI, 343). После того, как нашалившие кадеты однажды были жестоко наказаны, «архимандрит по окончании обедни сказал в присутствии Демидова проповедь "о предрассудках и пустосвятстве", где только не называл Демидова по имени, а перечислял все его ханжеские глупости» (VI, 346). В конечном итоге конфликт привел к тому, что Ириней досрочно покинул корпус.

Сомнительно утверждение Лескова, что введение в корпусе должности постоянного законоучителя было непосредственно связано с этой ссорой. Во-первых, Ириней оставил корпус в 1826 г., а должность постоянного законоучителя была введена в 1828 г. Во-вторых, мера эта только восстановила порядок, существовавший до 1804 г. и действовавший во всех военно-учебных заведениях России. Неверно также сообщение Лескова, что Ириней был последним из присылавшихся в корпус архимандритов. По данным 1827 г., закон Божий в корпусе преподавал архимандрит Иннокентий, вызванный в Петербург на чреду священнослужения, а в 1828 г. — архимандрит Феоктист[41].

Покинувший корпус Ириней получил довольно высокое назначение: он стал епископом Пензенским и Саратовским, где тоже вступил в конфликт с местными властями. Весьма суровым было также обращение епископа со священниками, пренебрегавшими своими обязанностями. Подробный рассказ об этом содержится в статье священника А.И.Розанова[42]. Вспыльчивый и суровый характер Иринея, его способность вступать в конфликты с людьми самого высокого общественного положения отмечали большинство мемуаристов[43].

В 1830 г. "строптивый архимандрит" был назначен архиепископом Иркутским, Нерчинским и Якутским. Здесь он попытался прекратить грубое вмешательство гражданских властей в дела церкви. Продолжал он и преследование нерадивых священников. Все это послужило причиной ссоры Иринея с генерал-губернатором Восточной Сибири А.С.Лавинским. Противники архиепископа составили донос о его безумии, судя по всему ложный[44]. Результатом явился указ Синода об удалении Иринея из епархии и ссылке его в Вологодский Спасо-Троицкий монастырь. Ириней отказался признать этот указ, отослал его царю как подложный и призвал солдат местного гарнизона защитить его. По воспоминаниям жившего в Иркутске жандармского офицера Э.И.Стогова, Ириней "пошел напролом и был готов призвать народ к бунту против гражданских властей"[45]. Лишь после повторного распоряжения Ириней был вынужден отправиться к месту ссылки.

В течение семи лет ему не разрешалось покидать монастырь и проводить церковные службы. В 1848 г. Ириней был переведен в Ярославский Толгский монастырь. Здесь им был написан ряд богословских работ, напечатанных в "Ярославских епархиальных ведомостях" в 1869 г. Таким образом, сообщение Лескова о том, что архимандрит Ириней "умер в помрачении рассудка", неверно. Но описанный им конфликт Иринея с Демидовым выглядит вполне правдоподобным, если учитывать характер архимандрита.

* * *

Наряду с "праведниками", видную роль в "Кадетском монастыре" играет их главный противник генерал Николай Иванович Демидов. О нем сохранилось много мемуарных свидетельств.

Демидов родился 19 августа 1771 г. Он приходился праправнуком знаменитому уральскому горнозаводчику петровских времен. Как было принято во многих дворянских семьях того времени, Демидов еще в детстве был записан в гвардию и вплоть до производства в генерал-майоры (1803) служил в лейб-гвардии Измайловском полку. Затем он был назначен шефом Петровского пехотного полка, в составе которого принял участие в походе русской армии в Пруссию против войск Наполеона. Участвовал Демидов также и в Русско-шведской войне (1808—1809). Ему была поручена оборона города Васса в Финляндии. В июне 1808 г. Демидов, поверив ложным слухам о приближении крупного шведского отряда, выступил со всеми силами навстречу предполагаемому неприятелю. В результате беззащитный город был захвачен подошедшим с другой стороны противником. Узнав об этом, Демидов вернулся и предпринял штурм. После кровопролитного боя он сумел отбить город. За проявленное в этом сражении мужество Демидов был награжден орденом св. Георгия 3-й степени. Однако этот эпизод выявил и такие черты его характера, как недальновидность, склонность к поспешным решениям и равнодушие к подчиненным, ибо штурм был предпринят без должной подготовки. Демидов кровью солдат искупал собственные ошибки. В 1809 г. он возглавил расквартированную в Финляндии 21-ю пехотную дивизию и оставался с нею до 1817 г., после чего в чине генерал-лейтенанта был назначен командиром 1-й гренадерской дивизии.

В декабре 1826 г. Демидов занял должность Главного начальника Пажеского и кадетских корпусов. О его педагогических взглядах красноречиво свидетельствует составленная им на новом посту инструкция, где требовалось подвергать каждого воспитанника надзору "во всех правилах его нравственности, а как главнейшие составляющие оное суть: покорность, послушание и учтивость, то сии добродетели иметь во всегдашнем предмете и на таковых основывать все правила воспитания каждого из благородных юношей"[46]. Послушание и покорность Демидов ставил гораздо выше образования. "Хорошая нравственность,— писал он,— при некотором даже неуспевании в науках от недостатка способностей, должна быть отличаема паче самих наук"[47].

Такая позиция уже сама по себе предопределила конфликт Демидова с Перским. В то же время взгляды эти, как и жестокие воспитательные меры Демидова, вполне соответствовали курсу, избранному тогда правительством в отношении военно-учебных заведений. Так, процитированная инструкция почти дословно совпадает в главных своих положениях с Высочайшим манифестом от 13 июля 1826 г. Так что слова Лескова о том, что Демидов для того и был назначен, чтобы подтянуть кадетов,— вполне соответствовали истине.

В "Кадетском монастыре", как и в мемуарных источниках, Демидов изображен в довольно мрачном свете. Однако стоит обратить внимание на некоторые расхождения в оценках. Так, у Лескова видное место занимает эпизод, в котором Демидов привозит в корпус конфеты, как бы желая задобрить кадетов после того, как некоторые из их товарищей были переведены из корпуса в армию унтер-офицерами. Но дети, чувствуя неискренность этого поступка, сладости не съедают, а выбрасывают "демидовское угощение" в "известное место" (VI, 328). Слова Демидова звучат у Лескова так: "Вот,— сказал он голосом, который хотел сделать ласковым и делал только приторным,— вот я хочу вам сейчас показать, как мы вас любим" (VI, 327). Однако у Похитонова слова эти переданы иначе: "Вот как Государь вас любит — он послал вам несколько пудов конфет!"[48].

Кадеты знали, таким образом, что это угощение не "демидовское", а царское, и тем не менее они отправили его в "известное место" Поступок воспитанников в реальности был гораздо более решительным, чем в изображении Лескова. С другой стороны, читатель мог догадаться, что стоит за лесковскими словами "мы вас любим"[49].

Демидов скончался в 1833 г. во время поездки на Кавказ для лечения и был погребен в Москве в Андрониевском монастыре.

Итак, лесковские характеристики героев "Кадетского монастыря" в целом совпадают с оценками большинства мемуаристов. Более того, текстуальная близость отдельных эпизодов рассказа и некоторых из указанных выше воспоминаний свидетельствует о том, что писатель был знаком не только с мемуарами Похитонова, послужившими, конечно, главным источником для рассказа. Любопытно, что достоверность приведенных Лесковым фактов дала основание некоторым военным историкам конца XIX в. рассматривать "Кадетский монастырь" как исторический источник. Так, в помещенной в "Русском биографическом словаре" статье о Перском цитаты из "Кадетского монастыря" соседствуют с цитатами из официальных документов[50]. Следует, однако, отметить, что Лескову свойственно и некоторое смещение акцентов при характеристике персонажей, что полностью соответствует его творческой индивидуальности.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: *Зенденгорст К.К.* Первый кадетский корпус в 1813—1825 гг. // *РС.* 1879. № 2. С. 305—316; *Крылов Н.А.* Кадеты сороковых годов // *ИВ.* 1901. № 9. С. 943—967; *Ольшевский М.Я.* Первый кадетский корпус в 1826—1833 гг. // *РС.* 1886. № 1. С. 62—95; *Пущин М.И.* Записки // *РА.* 1908. № 11. С. 411—413; *Розен А.Е.* Записки декабриста. СПб., 1907. С. 11—14; *Савельев А.И.* Биография // Педагогический сборник. 1900. № 9. С. 180.

[2] *РГВИА.* Ф. 314. Оп. 1. Д. 4752. Л. 1—7. Русский биографический словарь. СПб., 1902. Т. XIII. С. 570—571.

[3] *Висковатов А.В.* Краткая история Первого кадетского корпуса. СПб., 1832. С. 46.

[4] Педагогический сборник. 1901. № 12. С. 492.

[5] Военная энциклопедия. СПб., 1911. Т. 2. С. 422.

[6] *Зенденгорст К.К.* Указ. соч. С. 310; *Розен А.Е.* Указ. соч. С. 12.

[7] *РГВИА.* Ф. 314. Оп. 1. Д. 4752. Л. 1—7; *Розен А.Е.* Указ. соч. С. 12.

[8] При этом исполнение обязанностей инспектора классов и директора Перский некоторое время совмещал, что совершенно точно отмечено у Лескова (см.: VI, 317, 318). Кроме службы в корпусе он являлся членом Конференции, учрежденной при Комиссии по составлению Воинского Устава в 1811 г. и Комитета, продолжавшего работу над Уставом в 1816 г. Об этой деятельности Перского упоминает в своих мемуарах Н.И.Греч. (Записки о моей жизни. М., 1990. С. 11). В 1817 г. Перский участвовал в заседаниях комиссии "для определения способов улучшения обучения кантонистов поселенных войск" (Русский биографический словарь. Т. XIII. С. 570).

[9] *Розен А.Е.* Указ. соч. С. 12.

[10] *Зенденгорст К.К.* Указ. соч. С. 310.

[11] *Ольшевский М.Я.* Указ. соч. С. 93—94.

[12] Аб-е <*Абашидзе Г.А.*>. История бедствий одной семьи. Из воспоминаний старого кавказца. // *ИВ.* 1903. № 12. С. 870.

[13] *Петрушевский А.Ф.* Из моих воспоминаний: в кадетском корпусе // *РС.* 1907. № 1. С. 141.

[14] Фридрих Максимилиан *Клингер* (1752—1831) — немецкий писатель, с 1780 г. на русской службе, с 1801 г. директор 1-го кадетского корпуса. Большинство мемуаристов характеризовало Клингера как грубого, жестокого человека. А.Е.Розен писал: "...Максимилиан Клингер, глубокомысленный ученый писатель, скептик, знаменитый классический писатель Германии, но плохой директор: угрюмый в обращении, скупой на слова, медленный в походке, почему прозвали его белым медведем" (*Розен А.Е.* Указ. соч. С. 11—12). Аналогичен отзыв К.Зенденгорста: «...генерал-лейтенант Клингер, весьма угрюмый и суровый человек. Не отличаясь "мягкосердием", Клингер был неумолимо строг с кадетами... Дети боялись его» (*Зенденгорст К.К.* Указ. соч. С. 306).

[15] Ср.: *Похитонов Г.Д.* Мои воспоминания о 1-м кадетском корпусе // *РГАЛИ.* Ф. 275. Оп. 1. Ед. хр. 351. Л. 2.

[16] *Лесков Н.С.* Кадетский малолеток в старости // *ИВ.* 1885. № 4. С. 116—118.

[17] *Ольшевский М.Я.* Указ. соч. С. 88.

[18] *Зенденгорст К.К.* Указ. соч. С. 306; *Розен А.Е.* Указ. соч. С. 12; *Ольшевский М.Я.* Указ. соч. С. 93—94.

[19] *Ольшевский М.Я.* Указ. соч. С. 93.

[20] *Похитонов Г.Д.* Указ. соч. Л. 2.

[21] Там же. Л. 4.

[22] *Ольшевский М.Я.* Указ. соч. С. 76.

[23] *Лесков Н.С.* Один из трех праведников. (К портрету Андрея Петровича Боброва) // *ИВ.* 1885. № 1; *Лесков Н.С.* О находке настоящего портрета Боброва // *НВ.* 1889. 7 апр.

[24] *Лесков Н.С.* Кадетский малолеток в старости // *ИВ.* 1885. № 4. С. 117.

[25] *Зенденгорст К.К.* Указ. соч. С. 310.

[26] *Ольшевский М.Я.* Указ. соч. С. 80.

[27] *РГВИА.* Ф. 314. Оп. 1. Д. 186. Л. 7 об.—8.

[28] *Ольшевский М.Я.* Указ. соч. С. 80.

[29] Там же.

[30] Там же.

[31] Там же. С. 88.

[32] Там же. С. 80.

[33] Педагогический сборник. 1900. № 9. С. 180.

[34] *Зенденгорст К.К.* Указ. соч. С. 310—311.

[35] *НВ.* 1890. 12 июля. Это, к сожалению, не единственная ошибка комментаторов 11-томного собрания сочинений. Адъютантом Главного директора Пажеского и кадетских корпусов генерала Н.И.Демидова в примечаниях (см.: VI, 657) назван Александр Федорович Балговут, тогда как, судя по хранящимся в *РГВИА* документам, должность эту занимал Карл Яковлевич Балговут (см.: *РГВИА.* Ф. 314. Оп. 1 (т. 1). Д. 188. Л. 139—144).

[36] *РГВИА.* Ф. 314. Оп. 1 (т. 1). Д. 186. Л. 4 об.—5.

[37] *Зенденгорст К.К.* Указ. соч. С. 310.

[38] Там же. С. 311.

[39] Подробнее о нем см.: Русский биографический словарь. СПб., 1897. Т. 8. С. 134—135.

[40] См. об этом: Столетие военного министерства. СПб., 1902. Т. 10. С. 19—20. Ср.: VI, 342.

[41] См.: Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето от Р.Х. 1827. СПб., 1827. С. 382. Месяцеслов на лето от Р.Х. 1828. СПб., 1828. С. 382.

[42] *Розанов А.И.* Ириней, епископ Пензенский. 1826—1830 // *РС.* 1879. № 1. С. 159—163.

[43] См.: *Сладкогласов С.П.* Из рассказов духовного ветерана // Пензенские епархиальные ведомости. 1891. № 24.

[44] Текст доноса опубликован: Бунт архиепископа Иринея в Иркутске в 1831 г. Сообщ. А.Н.Сергеев // *РС.* 1879. № 2. С. 361—366.

[45] *Стогов Э.И.* Записки // *РС.* 1903. № 4. С. 132.

[46] Столетие военного министерства. СПб., 1902. Т. 10. Ч. 2. С. 42—43.

[47] Там же. С. 42.

[48] *Похитонов Г.Д.* Указ. соч. Л. 4.

[49] Необходимо, правда, отметить, что Ольшевский дал куда более мягкую характеристику Демидова: «...Н.И.Демидов обращал на себя внимание не столько добротою и любовью к кадетам, которых он называл не иначе, как "детушками", сколько своею карикатурной наружностью и оригинальностью» (*Ольшевский М.Я.* Указ. соч. С. 93). Многим мемуаристам он представлялся, скорее, ревностным исполнителем царской воли и взбалмошным чудаком, чем "совершенно безжалостным человеком" Однако, будучи дополнена авторской фантазией, строгая документальная основа становится лишь более яркой и выразительной. Вместе с тем в рассказах о суеверии Демидова все мемуаристы единодушны. Ольшевский писал, например: "...если поп переходил дорогу в то время, когда он куда-нибудь ехал, то возвращался назад" (Там же. С. 93). Воспитанник 1-го Московского кадетского корпуса Л.А.Кавелин (впоследствии архимандрит Леонид) вспоминал, что Демидов "верил в сны и приметы, счастливые и несчастливые дни,— словом, имел своеобразные религиозные чувства и убеждения и, пользуясь своим влиянием, вольно или невольно вносил эти убеждения в сферу воспитательную" (Душеполезное чтение. 1871. № 1. С. 10). Даже описанные Лесковым шалости воспитанников 1-го кадетского корпуса с подбрасыванием Демидову связанных из лучинок крестиков, действительно имели место, судя по мемуарам И.И.Венедиктова (За шестьдесят лет // *РС.* 1905. № 8. С. 261). Столкновение Демидова с Иринеем из-за "вздорных суеверий" также явно не выдумано Лесковым. Л.А.Кавелин вспоминал, что служивший в 1-м Московском кадетском корпусе законоучителем Александр Шавров "имел благородную смелость выступить против последнего рода действий (т.е. суеверий Демидова.— *А.М.*) то косвенно в проповедях, то и прямо в словесных объяснениях, и едва было не лишился за эту смелость своего места" (Душеполезное чтение. 1871. № 1. С. 11).

[50] См.: Русский биографический словарь. СПб., 1902. Т. XIII. С. 570.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ГАОО — Государственный архив Орловской области, Орел
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации, Москва
ГМТ — Государственный музей Л.Н. Толстого, Москва
ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы Российской Академии наук (Пушкинского Дома), Петербург
ОГЛМТ — Орловский государственный литературный музей И.С.Тургенева, Орел
ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, Москва
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки, Петербург
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства, Москва
РГВИА — Российский государственный военный исторический архив, Москва
РГИА — Российский государственный исторический архив, Петербург

Все ссылки на произведения Лескова даются по изданию: Н.С. Лесков. Собрание сочинений: В 11-ти т. М., 1957–1959 (тома указываются римскими цифрами, страницы — арабскими). Произведения, не вошедшие в это издание, цитируются по *ПСС* и *Соч.* (см. ниже по списку)

Бвед — "Биржевые ведомости"
Бдчт — "Библиотека для чтения"
Быков — П.В.Быков. Библиография сочинений Н.С.Лескова за тридцать лет (1860–1889) // Н.С.Лесков. Собр.соч.: В 12-ти т. Т. 10. Спб., 1890. С. I–XXV
ВЕ — "Вестник Европы"
Веселитская — В.Микулич <Л.А.Веселитская>. Встречи с писателями: Лев Толстой, Достоевский, Н.Лесков, Всеволод Гаршин. Л., 1929
Герцен — А.И.Герцен. Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1954–1966
ГМ — "Голос минувшего"
Даль — В.И. Даль. Словарь живого великорусского языка: В 4-х т. М. 1958–1959
Достоевский — Ф.М. Достоевский. Полн. собр. соч.: В 30-ти т. Л., 1972–1990
Ежегодник — Л.П. Клочкова. Рукописи и переписка Н.С.Лескова. Научное описание // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1971 год. Л., 1973. С. 3–105
Жизнь Лескова — А.Н. Лесков. Жизнь Николая Лескова: В 2-х т. М., 1981
ИВ — "Исторический вестник"
Лесков о литературе и искусстве — Н.С.Лесков о литературе и искусстве. Л., 1984
ЛН — "Литературное наследство"
НВ — "Новое время"
ОЗ — "Отечественные записки"
ПГ — "Петербургская газета"
ПО — "Православное обозрение"
ПСС — Н.С. Лесков. Полн. собр. соч.: В 36-ти т., 3-е изд. СПб., 1902–1903
РА — "Русский архив"
РВ — "Русский вестник"
РЛ — "Русская литература"
РМ — "Русская мысль"
РС — "Русская старина"
РО — "Русское обозрение"
Салтыков-Щедрин — М.Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч.: В 20-ти т. Л., 1965–1977
Совр — "Современник"

Соч. — Н.С. Лесков. Собр. соч.: В 12-ти т. М., 1989
СПбвед — "Санкт-Петербургские ведомости"
СС — Н.С. Лесков. Собр. соч.: В 11-ти т. М. 1957–1959.
Толстой — Л.Н. Толстой. Полн. собр. соч.: В 90 т. (Юбилейное издание). М.—Л., 1928–1958
Толстой. Переписка — Л.Н.Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2-х т., 2-е изд., доп. Т.2. М., 1978
Тургенев. Письма — И.С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми т. Письма. Т. 1–13. М.—Л., 1961–1968
Тургенев — И.С.Тургенев. Полн. собр. соч. и писем: В 30-ти т. Сочинения. Т. 1–12., 2-е изд., испр. и доп. М., 1978–1986
Фаресов — А.И. Фаресов. Против течений: Н.С.Лесков, его жизнь, сочинения, полемика и воспоминания о нем. СПб., 1904
ЦОВ — "Церковно-общественный вестник"
Шестидесятые годы — Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению. Под ред. Н.К.Пиксанова и О.В.Цехновицера. М.—Л. 1940
Revue — Revue des études slaves. Tome cinquante-huitième. Fascicule 3. Nikolaj Semenovič Leskov. 1831–1895. Paris. 1986

СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕАЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОЙ КНИГИ

II. ПУБЛИЦИСТИКА ЛЕСКОВА

ИЗ ПИСАТЕЛЬСКОГО АРХИВА. СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ

ЛЕСКОВ В ГАЗЕТНОЙ ПЕРИОДИКЕ. РАЗЫСКАНИЯ

III. МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ

IV. ЛЕСКОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Литературное наследство

Том 101

НЕИЗДАННЫЙ ЛЕСКОВ

Книга 1

Редактор Е.В.Белова
Художник Э.Л.Эрман
Художественный редактор Н.Н.Михайлова
Технический редактор И.Н.Жмуркина
Корректор Л.В.Манько

ЛР № 02096117

Сдано в набор 16.10.95.
Подписано к печати 27.09.97
Формат 70x108 $^{1}/_{16}$. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Печ. л. 41.00. Тираж 1000 экз.

Издательство “Наследие”
121069, Москва, ул. Поварская, 25а

Московская типография № 2 РАН
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.

Заказ № 2837